АРКАИМ

В последние годы
на Южном Урале открыта
протогородская цивилизация эпохи
бронзы 17—16 вв. до н. э.
Наиболее выдающийся памятник —
культурный комплекс АРКАИМ.

Аркаим
с высоты птичьего
полета

АРКАИМ — это два кольца оборонительных сооружений, развалы башен, обводной стены и цитадели. Это лабиринты ходов и два круга вплотную пристроенных друг к другу крупных зданий.

АРКАИМ в планиграфии: сочетание кругов и квадратов — это воплощение непрерывного единства небесного и земного, мифа и реальной жизни.

АРКАИМ одновременно — и храм, и крепость, и ремесленный центр, и поселение. Самобытная страница в истории мировой архитектуры.

АРКАИМ — современник первой династии Вавилона и фараонов Египта Среднего Царства — на пять столетий древнее Трои, воспетой Гомером.

АРКАИМ — уникальный пласт культуры создателей древних текстов «Ригведы» и «Авесты», легендарных ариев, родину которых историки и языковеды почти двести лет упорно искали где-то на просторах евразийских степей.

АРКАИМ — это зарождение городской культуры и элементов государственности, необычайный взлет металлургии бронзы, эпоха зарождения письменности и расцвета загадочного первобытного искусства.

АРКАИМ — уникальный научный полигон и учебно-методический центр по организации полевой практики для студентов и учащихся старших классов.

АРКАИМ — ЗАГАДКА ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ — место, где можно оказаться причастным к одному из ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ XX ВЕКА.

Будущее АРКАИМА — это историко-градостроительный, ландшафтно-экологический экспериментальный заповедник, а затем первый в России национальный парк с туристским комплексом и постоянно действующей экспозицией, с Музеем природы и человека, полностью воссозданным обликом древнего «городского» центра и погребальных сооружений бронзового века.

Сегодня Аркаиму нужна срочная помощь!

Возвращение АРКАИМА в XX и последующие века — это наш долг перед прошлым и будущим человеческой культуры.

Благотворительный счет № 000702101 Программа «Сохраним Аркаим» Челябинского отделения Советского фонда культуры.

Все СПРАВКИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Научный учебно-методический центр «Аркаим», Челябинский государственный университет, Институт истории и археологии УрО АН СССР.
  тел.: (3512) 42-13-93
- Объединение «Челябинсктурист», «Центр Аркаим»:
  454000, Челябинск, ул. Труда, 82.
  тел.: (3512) 33-87-20
  33-33-61
  37-88-00

ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 3. 1—208. Цена 1 р. 60 к. Индекс 70327.

ISSN 0321—1878

3

1991

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «ЗВЕЗДЫ» ЧИТАЙТЕ!

Александр Солженицын. «Март Семнадцатого» — четвертый, заключительный том романа охватывает события с 23 февраля по 18 марта 1917 года.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «ЗВЕЗДЫ» ЧИТАЙТЕ!

Владимир Антонов-Овсеенко. «Карьера палача» — завершение преступной деятельности и жизни Лаврентия Берии («Досье на членов Политбюро»; «Клан против клана»; «Ленинградская резня»; «Устранение Сталина»; «Арест, суд и казнь маршала» и т. д.).

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «ЗВЕЗДЫ» ЧИТАЙТЕ!

Альберт Эйнштейн. «Почему они ненавидят евреев». Еще раз в 1938 году великий физик проанализировал проблему, тревожащую мир и сегодня.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Звезда

3
март
1991

НЕЗАВИСИМОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЛЕНИНГРАД

Учредитель: Союз писателей СССР — Издатель: редакция журнала «Звезда»

Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Ответственный секретарь А. С. ЩЕГЛОВ

Корректоры: О. А. Назарова, Л. А. Привалоаа — Техническнй редактор В. Т. Молоткоаа

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 21.11.90. Подписано к печати 18.01.91. Формат 70×108[1]/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,15 уч.-изд. л. Тираж 142 610 экз. Заказ № 761. Цена 1 р. 60 к. по подписке

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

* * *

Я бредил историей Дании в сводке Шекспира,
которого так до войны перевел Пастернак,
что вышел российский масштаб, и английская лира
склонила над бедною родиной траурный флаг.

Свернулось пространство от ужаса клубных собраний,
и датскому принцу слепила глаза Колыма;
миллионы взывали к возмездью, от их заклинаний
актеры и зрители вместе сходили с ума.

Но было кому провожать палачей на почетный
заслуженный отдых, без тени стыда на лице
хвалить Эльсинор, воспевая момент поворотный,
и новой интригой питаться в Кремлевском дворце.

И время течет, а имперская спесь колобродит
по жилам могильщиков и шоферов, и во мне
имперская слава такие рулады выводит,
что я забываю, в какой погибаю стране.

И время проходит. И вновь прибалтийские волны
до нас достигают, и тайные письма спешат.
И в записи стонут волынки, и воют валторны,
и снова в России шекспировский призрак зачат...

* * *

Любовь моя, переходящий приз,
подруга тайны, невидаль, новинка,
ты всем взяла, взойдя из-за кулис,
достойна тьмы, измены, поединка,

подобна сну, провалу, ворожбе
над жарким словом и прохладным телом!
Чего еще хотелось бы тебе?
Что ты нашла в порыве оголтелом?..

Все наши дни склонились к мятежу
на жизнь и нáсмерть, и — какое горе! —
я все равно тебя не удержу
в последней ласке, в колком разговоре...

Кого ты хочешь вспомнить и забыть
и на кого глядишь сквозь эту влагу?..
Актер, актер!.. Ну где ему любить,
из всех ролей собрать одну отвагу!..

Прощай. Меняй в Америке мужей.
Забудь меня и всех моих собратьев.
Но удержи на памяти моей
все пять твоих открытых летних платьев...

Владимир Эмануилович Рецептер (р. в 1935 г.) — поэт. Впервые опубликовался в 1953 году. Первая книга стихов — «Актерский цех» — увидела свет в 1962-м. Живет в Ленинграде.

• • •

Там все предсказано, а мы живем — не слышим,
там все записано, а нам — и ни к чему.
Ночные бдения на ту же нитку нижем,
дневные бдения препроводив во тьму.

Но расписание меняет электричка,
мы спотыкаемся и ждем ее как раз,
когда нет времени, и просится привычка
смириться с заданным и удержать рассказ...

Пора исправиться, но затупился скальпель,
рука подвешена, и что ей суждено
вслед операции, и сколько красных капель
в известных случаях кропило полотно...

Пора покаяться, болит рука, и запись
недоснгаема... Тогда чего мы ждем
вне расписания и втайне, и на зависть
часам, подвешенным под этим фонарем?..

• • •

Быстрее времени проходит жизнь одна,—
дрожи, автобус, жги, железка,—
что благородней духом: вновь до дна
исчерпать прошлое или отринуть резко?

К тьме обращенное темно твое лицо,
ни колокола, ни прибоя...
Сучи, сворачивай пространство, колесо,
взмой, вертолетчик, над судьбою...

Кто счастлив с женщиной, тому своей вины
не искупить пред остальными...
Моторка, выпрыгни из медленной волны,
укрой бортами жестяными!..

Ладонь обласкана в любимых волосах,
нежнее нежности — разлука.

Спешу медлительно и медлю второпях...
Лети, душа, быстрее звука,

коснись источника и, зарядясь сполна,
вернись в летающей тарелке!..
Что благородней духом: времена
связать или увязнуть в переделке?..

Прости мне, родина, дороги поперек,
дороги вдоль и тайные сомненья,
высокой скоростью ты задала урок
неслыханного промедленья.

Бесправна выборность, и очередь темна,
и вновь не узнаны пророки...
Быстрее времени проходит жизнь одна,
и тонет свет в ее потоке...

• • •

Прислушайся, глухарь,
к тому, что за дверьми,
к сигналам новых потрясений,
тебе откроется, что было меж людьми,
не ведающими сомнений,

и теми, кто смущал, от века раздвоен,
толпу, ломящуюся в двери,
и скоро изгнан был, раздавлен, погребен
в твоем родном эсэсэсаре.

Прислушайся, глухарь,
читай зловещий звук,
верь барабанной перепонке,

тебе откроется, к чему железный крюк
и сталь набита на филенки;

зачем предшественник
двойной устроил щит
пред грязной лестницей
у частного порога,—
и ты прощения, пока броня трещит,
успеешь вымолить у Бога.

Но как соседу быть?..
Чем замолить вину
не ведающих колебаний?..

Кто надоумит здесь, как защитить страну,
любимую без оснований?..

Пойдем на улицу,
сверхчувственный глухарь.
Грязна имперская столица.

Темна империя. Глумлив ее словарь,
Туманны лбы и глухи лица...

Но Храм Владимирский вернул свои права,
дух потеснил тоску складскую,
и сами тянутся убогие слова
в Божественную мастерскую...

• • •

В такую осень выходить опасно:
от листопада слепни и скользи
глазами вдаль, где облако безгласно,
и, заглядевшись, оступись в грязи.

Но черных пятен, как на листьях,
мало,
и серым отдает голубизна,
и ласков свет балтийского портала,
и дорога подножная казна.

Зелено-желтым или желто-бурым
тебя оплавит и вживит коллаж,
и станешь сам причастен тем фактурам,
которым предпочтение отдашь.

Но так ли?.. И какое предпочтенье
здесь отдавать, когда и ты, чужак,

в конце концов, достоин отторженья,
и скажешь: «друг»,
а чайка крикнет: «враг».

Прибалтика, затеяв отделиться,
спешит, как эта поздняя листва,
и требует свободы, словно птица
в бессудных проявленьях естества.

Летит листва моей имперской славы,
касаясь плеч и посулив букет
на память о любви моей неправой,
насильной дружбы бедственный привет.

Сердечный отзыв — высшая награда
за бескорыстье. Начинай с нуля,
будь робок с ней: посредством листопада
в другое время перешла земля...

СЕМЬЯ НАСТРОЙЩИКА

Семья настройщика
с настройщиком пришла,
чтобы способствовать настройке,—
дочь, сын, жена,— всегда вокруг стола,
вокруг костра, больничной койки,

вокруг Бетховена и Баха вчетвером —
неразлучимы в воскресенье.
«Они рас-строют, я нас-трою...» —
Тут прием:
заика шутит во спасенье

благополучия. Не должен же рояль
молчать или звучать фальшиво.
Явились четверо, им времени не жаль;
звучат пассажи и мотивы,

все виды гамм вокруг семьи; игра
воскресных бликов в черном лаке;
многоголосие вокруг беды, добра,
любви таинственные знаки,

свои условности вокруг
«когда — тогда»,
погоды, стирки, чтенья книги,
вокруг отчаянья, вокруг одра, стыда,
подписки, Ленинграда, Риги;

вокруг отъезда, Листа, чистого листа,
Рахманинова, Тель-Авива,
родных могил,— куда нам! — здесь места
прикуплены, здесь перспектива

спасенья, гибели, богатства, нищеты,
Денисова, двух свадеб, Шнитке...
И мы настроимся, быть может, я и ты
на счастье со второй попытки...

Жена настройщика
по клавишам прошлась,
а дочь головкой покивала,
и сын прислушался —
смотри, какая связь...
Не ремесло ль всему начало?..

Не музыка ли?.. Нет — семья, семья,
признавшая отцово дело...
Давно расстроена была душа моя,
и дребезжала, и хирела,

ни книг, ни Моцарта не в силах разобрать
ни наизусть, ни так, по нотам...
Семья настройщика, настрой ее опять,
по воскресеньям, по субботам,
хоть раз в году дай зазвучать

о всех родных, двоюродных, о всех
родства не помнящих, дорожных
моих попутчиках; да не падет мой грех
на современников тревожных.

Семья настройщика, настрой мою страну,
как камертон, избавь от фальши,
а ту, что порвана, пожертвуй нам струну,
и мы услышим, что же дальше...

• • •

Надев, как близнецы, клетчатые рубахи,
по городу пойдем и встретим близнецов.
Пускай сквозит родство в рисунке и распахе
воротника и — вот — в подвертке рукавов.

Так непохожи мы, и так в тебе остатка
не видно моего, что этот внешний знак
пусть грубо подчеркнет, что все-таки клетчатка
едина и что кровь едина, как-никак.

Ковбойка у тебя и у меня ковбойка
из тех простых сортов, что ни один ковбой
там сроду не носил, но продавались бойко
у нас по всей стране, и покупал любой.

Хотелось бы — ты прав — получше приодеться,
хотелось бы фирмой разжиться для тебя,
но Бог велел ко всем невидным приглядеться
и бедным помогать, об этом не трубя.

Надев, как близнецы, приютские рубахи,
в столовку забредем, найдя приют и кров.
Бездарную жратву, и радости, и страхи
с сиротскою страной я разделить готов.

Я чувствую себя в обновках виноватым,
тоскую по всему отцовскому старью;
рубахой, как у всех, плащовкой ли, бушлатом
я откажу в себе чиновному ворью.

Вон сколько близнецов под этим низким сводом
разбавленный портвейн перегоняют в кровь.
Куда же мне без них? К каким таким свободам?
Здесь клетка для меня и жизнь, и вся любовь...

ПРЕДШЕСТВЕННИК «ЛОЛИТЫ»

Иной поклонник Набокова, заслышав о найденном неизвестном его тексте и зная пристрастие писателя к мистификации, сочтет это слишком явной шуткой. Тем более, что у предлагаемого читателю произведения есть все необходимые мистификационные признаки: древность текста, смутность его происхождения, гибель свидетелей — в том числе и смерть самого автора, и, что должно быть раньше всего названо «когтями льва» — тщательно скрываемый от читателя оригинал. Подумать только: нас уверяют, что есть русский текст, но сперва в печати появляется английский его перевод, потом французский, итальянский и так далее, а русского все нет! Дурят, дурят нашего брата...

Однако послушаем, что же все-таки известно об этой неожиданной находке. Как писал сам Набоков в 1956 году, «первая маленькая пульсация „Лолиты“ пробежала по мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая после многих недель улещивания со стороны какого-то ученого набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный „Волшебник“, в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года (все они запрещены по политическим причинам в России). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отдельном номере, бросился под колеса грузовика. В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов и женщина-врач Коган-Берштейн; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-м году».

Память подвела Набокова: «Волшебник» сохранился и был неожиданно найден. К этому времени «Лолита» имела столь безусловный успех, что писатель решительно подумал о публикации ее предшественника. 6 февраля 1959 г., еще не сменив американского жительства на швейцарское, он пишет Уолтеру Минтону, президенту издательства «Патнам»: «Как я уже объяснял в послесловии к „Лолите“, я написал небольшой рассказ, своего рода „пре-Лолиту“, осенью 1939-го года в Париже. Я был уверен, что в свое время уничтожил ее, но теперь, подбирая с Верой некоторые дополнительные бумаги для Библиотеки Конгресса, мы обнаружили единственный экземпляр этой истории. Моей первой мыслью было поместить ее (как и ряд исписанных и ненужных карточек к „Лолите“) в Библиотеку Конгресса, но потом я передумал.

Это новелла в 55 машинописных страниц по-русски, озаглавленная „Волшебник“. И поскольку мои творческие связи с „Лолитой“ разорваны, я смог перечитать „Волшебника“ с бесконечно бо́льшим удовольствием, нежели вызывал во мне старый безжизненный фрагмент, каким представлялся он мне в пору работы над „Лолитой“. Это великолепный русский прозаический текст, точный и яркий, который Набоковы запросто могут перевести на английский».

У. Минтон быстро и живо откликнулся на это предложение, но рукопись так и не была ему послана: Набоков оказался погруженным в перевод пушкинского «Евгения Онегина» и сценарий к «Лолите».

Прошло 25 лет, прежде чем текст «Волшебника» снова пришел в движение. За эти годы Набоков выпустил еще целый ряд книг, сделавших его классиком XX столетия. Каждое новое произведение вызывало читательское изумление невероятной творческой

плодовитостью немолодого маэстро. В 60—70-е годы появились переводы почти всех его довоенных русских романов, сборников рассказов и стихов. В общей сложности Набоков оказался автором около 50-ти томов. Но после смерти писателя (1977) вышло еще почти 10 томов — лекции, избранные письма, пьесы, интервью. Если же собрать воедино все критические статьи писателя (русские и английские), все письма и переводы, все предисловия и эссе, ту тысячу стихотворений, что затерялась в эмигрантской периодике 70-х годов, дневник его, а также оставшиеся только в архиве пьесы («Трагедия господина Морна», 1924; «Человек из СССР», 1926; неразысканные до сих пор либретто «Агасфер», «Кавалер лунного света», «Вода живая» и проч., и проч.) да прибавить самый последний, незаконченный роман «Происхождение Лауры», писавшийся в 1970-е годы, то выйдет еще с десяток томов. В общей сложности — двадцать. Почти половина всего Набокова, по существу, совершенно неизвестная.

На этом фоне не удивительно желание отыскать набоковскую руку повсюду, особенно там, где эфемерные эмигрантские издания давали в свое время возможность навсегда укрыться за псевдонимом. Я имею в виду краткий, но шумный спор вокруг «Романа с кокаином», спор, разыгравшийся несколько лет назад на страницах парижского «Вестника Русского Христианского Движения» и парижской же «Русской мысли». Главными участниками полемики были проф. Никита Струве и вдова писателя Вера Набокова. Профессору Струве показалось, что в 1930-е годы Набоков под именем «Мих. Агеев» выпустил «Роман с кокаином». Успех у романа был, но невеликий, и Набоков, по мнению Н. Струве, так и не объявил своего имени. Исследовать агеевский текст в поисках укрывшегося там Набокова было бы делом увлекательным. Такая работа, вероятно, не заставит себя ждать, ибо «Роман с кокаином» не только напечатан уже в рижском «Роднике», но и объявлен отдельным изданием. Хотя заранее можно сказать, что Набоков там и не ночевал.

Все это свидетельствует о жаждущей сенсации читательской почве, и вопрос о мистификации оставался бы открытым, пока есть переводной текст «Волшебника» и нет оригинала.

Теперь же русский оригинал снимает все сомнения: перед нами (как с мальчишеской самоуверенностью выразился сам автор) «великолепный русский прозаический текст, точный и яркий». Осень 1939-го (октябрь и ноябрь, как уточняет биограф Брайан Бойд) была для Набокова временем последних попыток писать по-русски. Все его довоенные романы были закончены и изданы. В кармане лежало приглашение читать летний курс лекций в Америке, а в столе — первый законченный роман на английском «Истинная жизнь Себастьяна Найта»; Набоков мистифицирует критика Георгия Адамовича несуществующим поэтом Василием Шишковым, начинает роман «Solys Rex» (задуманный как продолжение «Дара») — и пишет «Волшебника».

Пусть же читатель познакомится с текстом «пре-Лолиты», и не будем ему заранее навязывать мнение, какое из произведений — «стилизованный профиль», а какое — «в упор глядящее лицо».

Ив. Толстой

Владимир Набоков

ВОЛШЕБНИК

«Как мне объясниться с собой? — думалось ему, покуда думалось.— Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что́ бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность — ибо и в мыслях допустить не могу, что причиню боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор; я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей (не просто безопасность, а права одичания, или это — порочный круг с пальмой в центре?). Рассудком зная, что Эвфратский абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Что́, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня,— сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках,— *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному — сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по-простому — знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова — и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому — очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* — редкое цветение *этого* в Иванову ночь моей темной души,— потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств — если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно — и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая,

точная и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате — тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы,— и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки — милость) и печальной усмешкой (все-таки — жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища — сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами,— он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно для того, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой — и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца,— колотьба в груди — «а щекотки боишься?» — или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, суккуба так и не заметивших, он поражался и своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада глаз обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа — белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полуущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в —».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы-то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах,— прекрасиво,—и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива,— подумал он.— Кажется, придется пересесть».

Но тут-то взвивается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось), ему казалось, что тогда же, тотчас он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность ее узкой, уже не совсем плоской груди, передвиженье юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадание, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной соседкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни — всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках,— и сойдя к нам на землю, выпрямившись с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни,— и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеща освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной ей игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас,— заметил он бессмысленно,— уже большая».

«О нет, она мне ничем не приходится,— сказала вязальщица,— у меня своих нет — и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка подправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады — нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья»,— ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы,— и, в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног. «Улыбка рассеянности,— подумал он жалко,— но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя — почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой,— и он вообразил жовиального господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность — все так же жовиально — на колени к себе забирать ахтышалуную. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться,— в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг...

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивала с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным вилянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вожделением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно, когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно сгибая крупные колени),— или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать,— все равно что, но только бы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать — вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского привета осклабился и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом

ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сидения розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей — мимо него — тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровье, конечно; а главное — прекрасная гимназия»,— говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки»,— сказала девочка.

«Нет,— ответил он, кашлянув,— это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями — в виде двух черных капель среди серебристых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвонка,— и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, по-любительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала,— чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку,— отзывалось в нем (на вид поглощенном приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса, выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него вырастала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стукаясь теменем,— к повешению на изворот. А между тем он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?» или «Да, знаете, бывает...» — но понимал слова собеседницы только тогда, когда девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуньи, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией — покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что, давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы; тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора возвращаться — чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочки только раздражает редко порядочную, но несколько распустившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродает какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочки непременно хотела платить, но делает это неаккуратно,— а мы люди небогатые,— словом, долг чести считается, видимо, уже погашенным.

«Дело в том,— продолжал он без запинки,— что мне как раз не хватает коечего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно, и прилично, если я...» — конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это — часть собственной ноги или часть спрута.

Она явно обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас — квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо — и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколоток, и довольно высокие каблучки. Немножко замкнутая, пожалуй, живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов — и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка,— в общем, игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское — эта твердая женщина добра добротой горького шоколада, а не молочного, ласки в доме не держат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови — все что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем — столь же разбитного и серого, как его жена,— так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа — одно из тех лиц, в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание — даже такое! — невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка накрененном ходу, что ей четырех комнат много, что она зимой переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкапчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок — поднятые колени, обхваченные вытянутыми руками, сообща качались,— «Слезь с постели, что это!» — и, поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил... Он сказал, что шкапчик покупает — за право входа в дом плата была смехотворная,— и, вероятно, еще кое-что,— но надо сообразить,— если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришлю за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, повидимому, редко), но вполне приветливо упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили и что муж приятельницы даже немножко ревнует. «Ну, положим,— сказал тот, выходя в переднюю,— я мою благоверную рад бы сбыть всякому». — «А ты не зарекайся,— сказала жена, появляясь из той же комнаты,— когда-нибудь можешь заплакать!»

«Итак, милости просим,— повторила вдова,— я всегда дома, и, может быть, вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи — жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что же дальше?» — раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ощупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напирающий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут — значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается,— но она приедет опять и, может быть, совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем,— но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку,— вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда обстановка и условия жовиальных возможностей вдруг распадутся, тогда конечно,— где разыщу, под каким видом?.. А все-таки чувствовалось: так нужно,

и лучше не соображать, а продолжать давить на слабый угол, и потому на другой день он отправился в парк с красивой коробочкой глазированных каштанов и фиалок в сахаре, девочке на дорогу — рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровенным вниманием даже со стороны свободного чудака — тем более, что до сих пор он — совершенно правильно — едва ее замечал (в скрывании молний был мастер),— вот гнилые старички, те — точно, всегда носят при себе карамель для заманивания девчонок,— а все-таки он семенил с подарком, слушаясь тайного побуждения, которое было талантливее рассудка.

Он целый час просидел на скамейке; они не пришли. Значит, уехали днем раньше. И хотя лишняя одна встреча с ней не могла бы никак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, он испытал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измены.

Продолжая не слушаться рассудка, говорившего, что он опять делает не то, он понесся к вдове и купил лампу. Видя, как он странно запыхался, она пригласила его сесть и предложила папиросу. В поисках зажигалки он наткнулся на продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется странностью, мы так недавно знакомы, но все-таки позвольте презентовать вам этот пустяк — немножко конфет, кажется, неплохих,— ваше согласие мне доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась — была, видимо, более польщена, чем удивлена,— и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещены, передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня...»

«Нет, завтра утром,— продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь.— Сегодня моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее на выставку рукоделий»,— и, вздохнув, она осторожно, как нечто бьющееся, отложила подарок на соседний столик,— а пресимпатичный гость спрашивал, что ей можно, чего нельзя, и слушал эпопею ее болезни, ссылаясь на варианты и весьма умно толкуя позднейшие искажения текста.

При третьем посещении (пришел предупредить, что перевозчик заедет не раньше пятницы) он пил у нее чай и в свою очередь рассказывал о себе, о своей чистой, изящной профессии. У них оказался общий знакомый: брат адвоката, скончавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительно, без ложных сожалений, поговорила об этом муже — про которого он уже знал кое-что: был веселым малым, знатоком нотариальных дел, с женой ладил, но старался как можно реже бывать дома.

В четверг он купил диван и два стула, а в субботу зашел за ней, как было условлено, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверно себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с ним через дверь, и он попросил угрюмую старуху, периодически появлявшуюся в доме для стряпни и ухода, сообщить ему по такому-то номеру, как больная провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель — журчания, вникания, улещивания, интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, суя ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе) и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный, и достаточно было увидеть непонятно-небрежно брошенное еженедельное письмецо к матери с еще неустойчивым, по-жеребячьи расползающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. По тому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных, позах была снята девушка в ботинках, с круглым приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные, где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла *теперь* заслужить мужское внимание — и, должно быть, решила, что зоркому зрению, оценщику граней и игры, все видны следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще видней после этих обратных смотрин.

Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнородных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что-нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее, и противно, но понимая, что материал, помимо своего назначения, просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое-как замелен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все-таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась — и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одинокого пути, он убедился, что можно звать упаковщиков,— но пока что вздохнул и переменил течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он раза два подходил к окну, словно в каком-то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкапчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимость манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносивших вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что,— сказала она,— пойдите и хорошенько выспитесь».

Он, посмеиваясь, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо,— ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые.— Хорошо, я удаляюсь, но в случае вашего согласия извольте мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться — от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем,— через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака).— Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя,— иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет,— что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но, впрочем, всегда относилась требовательно к людям,— а теперь я требовательна ко всему, к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем — особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки; причем глупо, болезненно завидую ее мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна: одну половину моей ренты съедает болезнь, другую — долги. Даже если и допустить, что вы по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам в мужья *мне* годитесь,— видите, я делаю ударение на „мне“,— то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать *ее* привычки, *ее* причуды, *ее* посты и правила, а все ради чего? — ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

«Посему заключаю,— сказал он,— что мое предложение принято».

И он вытряхнул на ладонь из замшевого мешочка чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость.

Она приехала за два дня до свадьбы, с пламенными щеками, в незастегнутом

синем пальто с болтающимися сзади концами пояска, в шерстяных носках почти до колен, в берете на мокрых кудрях. «Стоило, стоило, стоило»,— повторял он мысленно, держа ее холодную красную ручку и с улыбкой морщась от воплей ее неизбежной спутницы: «Это я жениха нашла, это я жениха привела, жених — мой!» (и вот, с ухватками орудийной прислуги, попыталась закружить неповоротливую невесту). Стоило, да, сколько бы времени ни пришлось тащить сквозь невылазный брак эту махину — стоило, переживи она всех, стоило, ради естественности его присутствия здесь и ласковых прав будущего отчима.

Но правами этими он еще не умел пользоваться — отчасти с непривычки, отчасти от опасливого ожидания неимоверно большей свободы, главное же, потому, что ему никак не удавалось побыть с этой девочкой наедине. Правда, с разрешения матери, он повел ее в ближнюю кофейню, и сидел, и смотрел, опираясь на трость, как она въедается в абрикосовый край плетеного пирожного, подаваясь вперед, выпячивая нижнюю губу, дабы подхватить липкие листики, и старался ее смешить, говорить с ней так, как умел говорить с детьми обыкновенными, но все тормозила поперек лежавшая мысль, что, будь помещение безлюднее да уголковатее, он без особого предлога слегка потискал бы ее, не боясь чужих взглядов, более прозорливых, чем ее доверчивая чистота. Ведя ее домой, не поспевая за ней на лестнице, он мучился не только чувством упущенного; он мучился еще тем, что, пока хоть раз не сделал того-то и того-то, не может положиться на обещания судьбы в невинных речах, в тонких оттенках ее детской толковости и молчания (когда из-под внимающей губы зубы нежно опирались на задумчивую), в медленном образовании ямок при старых шутках, поражающих новизной, в чуемых излучинах ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). Пусть в будущем свобода действий, свобода особого и его повторений, все осветит и согласует; пока, сейчас, сегодня опечатка желания искажала смысл любви; оно служило, это темное место, как бы помехой, которую надо было как можно скорее раздавить, стереть,— любым подлогом наслаждения,— чтобы в награду получить возможность смеяться вместе с ребенком, понявшим наконец шутку, бескорыстно печься о нем, волну отцовства совмещать с волной влюбленности. Да, подлог, утайка, боязнь легчайшего подозрения, жалоб, доноса невинности (знаешь, мама, когда никого нет, он непременно начинает ласкаться), необходимость быть настороже, чтобы не попасться случайному охотнику в этих густо населенных долинах,— вот что сейчас мучило и вот чего не будет в заповеднике, на свободе. «Но когда, когда?» — в отчаянии думал он, расхаживая по своим тихим, привычным комнатам.

На другое утро он сопровождал свою страшную невесту в какое-то присутственное место, откуда она собралась к врачу, которому, по-видимому, хотела задать кое-какие щекотливые вопросы, ибо велела жениху отправиться к ней на квартиру и там ее ждать через час к обеду. Отчаяние ночи забылось. Он знал, что приятельница тоже в бегах (муж вообще не приехал),— и предвкушение того, что он девочку застанет одну, кокаином таяло у него в чреслах. Но когда он домчался, то нашел ее болтающей с уборщицей в розе сквозняков. Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя строк, долго сидел в уже отработанной гостиной, и слушал оживленный за стеной разговор в промежутках пылесосного воя, и посматривал на эмаль часов, убивая уборщицу, отсылая труп на Борнео, а тем временем он различил третий голос и вспомнил, что еще есть старуха на кухне; ему будто послышалось, что девочку посылали в лавку. Потом пылесос отсопел и был выключен, где-то стукнули оконные рамы, уличный шум замолк. Выждав еще с минуту, он встал и, вполголоса напевая, с бегающими глазами, стал обходить притихшую квартиру. Нет, никуда не послали — стояла у окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони к стеклу; оглянулась и быстро сказала, тряхнув волосами и уже опять принимаясь наблюдать: «Смотрите: столкновение!» Он подступал, подступал, затылком чувствуя, что дверь сама затворилась, подступал к ее гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным клеткам уже за сажень ощутимой материи, к плотным голубым жилкам над уровнем получулок, к лоснящейся от бокового света белизне шеи около коричневых кудрей, которыми она опять сильно тряхнула: семь восьмых привычки, осьмушка кокетства. «Ага, столкновение, злоключение...» — бормотал он, как бы глядя в пустое окно поверх ее темени, но лишь видя перхотинки в шелку завоя. «Красный виноват!» — воскликнула она убежденно. «Ага, красный... подайте сюда красного...» — продолжал он бессвязно, и, стоя за ней, обмирая, скрадывая последний дюйм тающего расстояния, он взял ее сзади за руки и принялся их бессмысленно раздвигать, подтягивать, и она только чуть вертела косточкой правой кисти, машинально стремясь пальцем указать ему на виноватого. «Постой,— сказал он хрипло,— придвинь локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли тебя приподнять». В это время стукнуло в прихожей, раздался зловещий макинтошный шорох, и он с неловкой внезапностью отошел от нее, засовывая руки в карманы, покашливая, рыча, начиная громко говорить — «...наконец-то! Мы тут голодаем...» — и когда садились за стол, у него все еще ныла неудовлетворенная тоскливая слабость в икрах.

После обеда пришло несколько кофейниц — и под вечер, когда гости схлынули, а приятельница деликатно ушла в кинематограф, хозяйка в изнеможении вытянулась на кушетке.

«Уходите, друг мой, домой,— проговорила она, не поднимая век.— У вас, должно быть, дела, ничего, верно, не уложено, а я хочу лечь, иначе завтра ни на что не буду годиться».

Он клюнул ее в холодный, как творог, лоб, коротким мычанием симулируя нежность, и затем сказал:

«Между прочим... я все думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить ее тут — что ей, в самом деле, продолжать обретаться у чужих — ведь это даже нелепо — теперь-то, когда снова образовалась семья. Подумайте-ка хорошенько, дорогая».

«И все-таки я отправлю ее завтра»,— протянула она слабым голосом, не раскрывая глаз.

«Но поймите,— продолжал он тише — ибо ужинавшая на кухне девочка, кажется, кончила и где-то теплилась поблизости,— поймите, что я хочу сказать: отлично — мы им все заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете (она молчала), но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки. А главное... видите ли, у людей может создаться впечатление — ведь один намечек в этом роде уже был нынче — что, несмотря на изменившееся положение, то есть когда у вас есть моя всяческая поддержка и можно взять бо́льшую квартиру — совсем отгородиться и так далее — мать и отчим все-таки не прочь забросить девчонку».

Она молчала.

«Делайте, конечно, как хотите»,— проговорил он нервно, испуганный ее молчанием (зашел слишком далеко!).

«Я вам уже говорила,— протянула она с той же дурацкой страдальческой тихостью,— что для меня главное мой покой. Если он будет нарушен, я умру... Вот, она там шаркнула или стукнула чем-то — негромко, правда? — а у меня уже судорога, в глазах рябит — а дитя не может не стучать, и если будет двадцать пять комнат, то будет стук во всех двадцати пяти. Вот, значит, и выбирайте между мною и ею».

«Что вы, что вы! — воскликнул он с паническим заскоком в гортани.— Какой там выбор... Бог с вами! Я это только так — теоретические соображения. Вы правы. Тем более, что я сам ценю тишину. Да! Стою за статус кво — а кругом пускай квакают. Вы правы, дорогая. Конечно, я не говорю... может быть, впоследствии, может быть, там, весной... Если вы будете совсем здоровы...»

«Я никогда не буду совсем здорова»,— тихо ответила она, приподнимаясь и со скрипом переваливаясь на бок, после чего подперла кулаком щеку и, качая головой, глядя в сторону, повторила эту фразу.

И на следующий день, после гражданской церемонии и в меру праздничного обеда, девочка уехала, дважды при всех коснувшись его бритой щеки медленными, свежими губами: раз — поздравительно, над бокалом и раз — на прощание, в дверях. Затем он перевез свои чемоданы и долго раскладывался в бывшей ее комнате, где в нижнем ящике нашел какую-то ее тряпочку, больше сказавшую ему, чем те два неполных поцелуя.

Судя по тому, каким тоном его особа (называть ее женой было невозможно) подчеркнула, насколько вообще удобнее спать в разных комнатах (он не спорил)

и как, в частности, она привыкла спать одна (пропустил), он не мог не заключить, что в ближайшую же ночь от него ожидается первое нарушение этой привычки. По мере того, как сгущалась за окном темнота и становилось все глупее сидеть рядом с ее кушеткой в гостиной и молча пожимать или подносить и прилаживать к своей напряженной скуле ее угрожающе покорную руку в сизых веснушках по глянцевитому тылу, он все яснее понимал, что срок платежа подошел, что теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он, конечно, давно предвидел, но — так, не вдумываясь, придет время, как-нибудь справлюсь — а время уже стучалось, и было совершенно очевидно, что ему (маленькому Гулливеру) физически невозможно приступить к этому ширококостному, многостремнинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами и ужасной косинкой в строении тяжелого таза — не говоря о кислой духоте увядшей кожи и еще не известных чудесах хирургии — тут воображение повисало на колючей проволоке.

Еще за обедом, отказываясь, словно нерешительно, от второго бокала и словно уступая соблазну, он на всякий случай ей объяснил, что в минуты подъема подвержен различным угловым болям, так что теперь он постепенно стал отпускать ее руку и, довольно грубо изображая дерганье в виске, сказал, что выйдет проветриться. «Понимаете,— добавил он, заметив, с каким странным вниманием (или это мне кажется?) уставились на него ее два глаза и бородавка,— понимаете, счастье мне так ново... ваша близость... эх, никогда ведь не смел мечтать о такой супруге...»

«Только не надолго. Я ложусь рано... и не люблю, чтоб меня будили»,— ответила она, спустив свежегофрированную прическу и ногтем постукивая по верхней пуговице его жилета; потом слегка его оттолкнула — и он понял, что приглашение неотклонимо.

Теперь он бродил в дрожащей нищете ноябрьской ночи, в тумане улиц, с потопа впавших в состояние мороси, и, стараясь отвлечься, принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, искусственно увеличивал ее значение в своем существовании — и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. Но именно потому, что сейчас не могло быть и речи о каком-либо счастье, прояснилось вдруг что-то другое: он с точностью измерил пройденный путь, оценил всю непрочность, всю призрачность проектов, все это тихое помешательство, очевидную ошибку наваждения, которое отступило от своего единственно законного естества, свободного и действительного только в цветущем урочище воображения, чтобы с жалкой серьезностью лунатика, калеки, тупого ребенка (ведь сейчас одернут и вздреют) заниматься планами и действиями, подлежащими компетенции лишь взрослой вещественной жизни. А еще можно было выкрутиться! Вот сейчас бежать — и скорее письмо к особе с изложением того, что сожительство для него невозможно (любые причины), что только из чудаковатого сострадания (развить) он взялся ее содержать, а теперь, узаконив сие навсегда (точнее), удаляется опять в свою сказочную неизвестность. «А между тем,— продолжал он мысленно, полагая, что все еще следует тому же порядку трезвых соображений (и не замечая, что изгнанная босоножка вернулась с черного хода),— как было бы просто, если бы матушка завтра умерла — да ведь нет, ей не к спеху — вцепилась зубами в жизнь, будет виснуть — а какой мне в том прок, что умрет с запозданием и придет ее хоронить шестнадцатилетняя недотрога или двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто (размышлял он, задержавшись весьма кстати у освещенной витрины аптеки), коли был бы яд под рукой... Да много ли нужно, когда для нее чашка шоколада равносильна стрихнину! Но отравитель оставляет в спущенном лифте свой пепел... а ее непременно ведь вскроют, по привычке вскрывать...»; и хотя рассудок и совесть наперебой твердили (немножко подзадоривая), что — все равно, даже если бы нашлось незаметное зелье, он не решился бы на убийство (разве что если совсем, совсем бесследное, да и то — в крайнем случае, да и то — лишь с целью сократить страдания все равно обреченной *жены*), он давал волю теоретическому развитию невозможной мысли, наталкиваясь рассеянным взглядом на идеально упакованные флаконы, на модель печени, на паноптикум мыл, на взаимную дивно-коралловую улыбку женской головки и мужской, благодарно глядящих друг на дружку,— потом прищурился, кашлянул — и после минутного колебания быстро вошел в аптеку.

Когда он вернулся домой, в квартире было темно — шмыгнула надежда, что она уже спит, но, увы, дверь ее спальни была по линейке подчеркнуто остро отточенным светом.

«Шарлатаны...— подумал он, мрачно пожимаясь,— что ж, придется держаться первоначальной версии. Пожелаю покойнице ночи — и на боковую». (А завтра? А послезавтра? А вообще?)

Но посреди прощальных речей о мигрени, у пышного изголовья, вдруг, ни с того ни с сего и само по себе, положение круто переменилось, предмет же был несуществен, так что потом удивительно было найти труп чудом поверженной великанши и взирать на муаровый нательный пояс, почти совсем закрывавший шрам.

Последнее время она чувствовала себя сносно (донимала только отрыжка), но в первые же дни брака тихонько возобновились боли, знакомые ей по прошлой зиме. Не без поэзии она предположила, что больной, ворчливый орган, задремавший было в тепле постоянного пестования, «как старая собака», теперь приревновал к сердцу, к новичку, которого «погладили один раз». Как бы то ни было, она с месяц пролежала в постели, прислушиваясь к этой внутренней возне, пробному царапанию, осторожным укусам; потом стихло — она даже встала, копалась в письмах первого мужа, кое-что сожгла, разбирала какие-то страшно старенькие вещицы — детский наперсток, чешуйчатый кошелек матери, еще что-то золотое, тонкое — как время, текучее. Под Рождество ей сделалось опять плохо, и ничего не вышло из предполагавшегося приезда дочки.

Он выказывал ей неизменную заботливость; он утешительно мычал, с ненавистью принимая от нее неловкую ласку, когда она, бывало, с ужимками старалась объяснить, что не она, а оно (мизинцем на живот) виновато в их ночном разъединении — и все это так звучало, точно она беременна (ложно беременна своей же смертью). Всегда ровный, всегда подтянутый, он соблюдал плавный тон, что усвоил сначала, и она была ему благодарна за все — за старомодную галантность обращения, за это «вы», казавшееся ей собственным достоинством нежности, за исполнение прихотей, за новую радиолу, за то, что он безропотно согласился дважды переменить сиделку, нанятую для постоянного ухода за ней.

По пустякам она не отпускала его от себя дальше углов комнаты, а когда он шел по делу, то совместно разрабатывал наперед точный предел отлучки, и так как его ремесло не требовало определенных часов, то всякий раз приходилось — весело, скрипя зубами,— бороться за каждую крупицу времени. В нем корчилась бессильная злоба, его душил прах рассыпавшихся комбинаций, но ему так надоело торопить ее смерть, так опошлилась в нем эта надежда, что он предпочитал заискивать перед противоположной: может быть, к лету настолько оправится, что разрешит девочку увезти к морю на несколько дней. Но как подготовить? Еще в начале ему казалось, что будет легко как-нибудь, под видом деловой поездки, махнуть в тот городок с черной церковью и с садами, отраженными в реке, но когда он рассказал, что — вот какой случай, мне, может быть, удастся посетить вашу дочку, если придется съездить туда-то (назвал соседний город), ему почудилось, что какой-то смутный, почти бессознательный ревнивый уголек вдруг оживил ее дотоле несуществовавшие глаза — и, поспешно замяв разговор, он удовольствовался тем, что, видимо, она сама тотчас забыла идиотски-интуитивное чувство — которое, уж конечно, нечего было опять возбуждать.

Постоянство колебаний в состоянии ее здоровья представлялось ему самой механикой ее существования; постоянство их становилось постоянством жизни; со своей же стороны он замечал, что вот уже на его делах, на точности глаза и граненой прозрачности заключений начинает дурно отражаться постоянное качание души между отчаянием и надеждой, вечная зыбь неудовлетворенности, болезненный груз скрученной и спрятанной страсти — вся та дикая, душная жизнь, которую он сам, сам себе устроил.

Случалось, он проходил мимо игравших девочек, случалось, миленькая бросалась ему в глаза, но бросалась она бессмысленно плавным движением замедленной фильмы, и он сам изумлялся тому, до чего неотзывчив, до чего *занят*, с какой определенностью стянулись навербованные отовсюду чувства — тоска,

жадность, нежность, безумие — к образу той совершенно единственной и незаменимой, которая проносилась тут в раздираемом солнцем и тенью платье. И случалось, ночью, когда все стихало — и радиола, и вода в уборной, и белые шажки сиделки, и тот бесконечно задержанный звук (хуже любого грохота!), с которым она затворяла двери, и осторожный звон ложечки, и трык-трык аптечки, и отдаленная загробная жалоба особы — когда все это окончательно стихало, он ложился навзничь и вызывал единственный образ, и восемью руками оплетая улыбающуюся добычу, осмью щупальцами присасываясь к ее подробной наготе, наконец исходил черным туманом и терял ее в черноте, а черное расползалось сплошь, да всего лишь было чернотой ночи в его одинокой спальне.

Весной ей как будто сделалось хуже, и после консилиума ее перевезли в госпиталь. Там, накануне операции, она ему с достаточной, несмотря на страдания, отчетливостью говорила о завещании, о поверенном, о том, что необходимо сделать, если она завтра... и дважды, дважды заставила его поклясться, что он будет как о собственной... и чтобы та не сердилась, не сердилась на покойную мать. «Может быть, все-таки ее вызвать,— сказал он громче, чем хотел,— а?» Но она уже все выложила, зажмурилась в муке, и, постояв у окна, он вздохнул, поцеловал ее в желтый кулак, сжатый на отвороте простыни, и вышел.

Рано утром ему позвонил один из больничных врачей, чтобы сообщить, что ее только что оперировали, что успех, кажется, полный, превзошедший все надежды хирурга, но что до завтра ее лучше не навещать.

«Ах, успех, ах, полный,— бессмысленно бормотал он, устремляясь из комнаты в комнату,— ах, как мило... поздравьте нас, будем поправляться, будем цвести... Что это такое! — вдруг вскрикнул он горловым голосом, так ахнув дверью клозета, что из столовой откликнулся испуганный хрусталь.— Ну, посмотрим,— продолжал он среди паники стульев,— посмотрим... Я вам покажу успех! Успех, успех,— передразнил он произношение соплявой судьбы,— ах, прелестно! Будем жить, поживать, дочку выдадим раненько, ничего, что хрупка, зато муж — здоровяк, да как всадит нахрапом в хрупь... Нет, господа, довольно! Это издевка! Я тоже имею право голоса! Я...» — И вдруг его блуждающее бешенство натолкнулось на неожиданную добычу.

Он замер, шевеление пальцев прекратилось, глаза на минуту закатились — а вернулся он из этого краткого столбняка с улыбкой. «Довольно, господа»,— повторил он, но уже совсем с другим, почти вкрадчивым выражением.

Немедленно он навел нужную справку: был весьма удобный экспресс в 12.23... прибывающий ровно в 16.00. С обратным сообщением обстояло хуже... придется нанять там машину, сразу назад, к ночи мы будем тут — вдвоем, совершенно взаперти, с усталенькой, сонненькой, скорей раздеваться, я буду тебя баюкать — только это... только уют — какая там каторга (хотя, между прочим, лучше сейчас каторга, чем поганец в будущем)... тишина, голые ключицы, бридочки, пуговки сзади, лисий шелк между лопаток, зевота, горячие подмышки, ноги, нежности — не терять головы — но чего, впрочем, естественнее, что привез маленькую падчерицу — что все-таки решил это сделать — режут мать, ответственность, усердие, сама же просила «заботиться» — и пока мать спокойно лежит в больнице, что может быть, повторяем, естественнее, что здесь, где кому ж моя душенька помешает... и вместе с тем, знаете,— под боком, мало ли что, надо быть ко всему... ах, успех? тем лучше — выздоравливающие добреют, а если все-таки изволите гневаться — объясним, объясним,— хотели сделать лучше — ну, может быть, немножко растерялись, признаемся, но с самыми лучшими...— И, радостно торопясь, он у себя (в *ее* бывшей комнате) перестелил постель, навел беглый порядок, принял ванну, отменил деловое свидание, отменил уборщицу, быстро закусил в своем «холостом» ресторане, накупил фиников, ветчины, пеклеваного, сбитых сливок, мускатного винограда — чего еще? — и, вернувшись домой, разваливаясь на пакеты, все видел, как она вот тут пройдет, как там сядет, отведя назад тонкие обнаженные руки, пружинисто опираясь сзади себя, кудрявая, томненькая, и тут позвонили из больницы, прося его все-таки заглянуть, и, когда по пути на вокзал он нехотя заехал, то узнал, что особа кончилась.

Прежде всего охватила яростная досада: значит, план провалился, это близкое, теплое, ночное отнято у него, и когда она явится, вызванная телеграммой, то, конечно, вместе с той выдрой и мужем выдры, которые и вселятся на

недельку. Но именно потому, что первое его движение было таким, силой этого близорукого порыва образовалась пустота, ибо не могла же досада на (случайно помешавшую) смерть сразу перейти в благодарность за нее (основному року). Пустота между тем заполнялась предварительным серо-человеческим содержанием — сидя на скамье в больничном саду, успокаиваясь, готовясь к различным хлопотам, связанным с техникой похоронного положения, он с приличной печалью пересматривал в мыслях то, что видел только что воочию: отполированный лоб, прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной сбоку, эбеновый крест — всю эту ювелирную работу смерти — между прочим презрительно дунул на хирургию и стал думать о том, что все-таки ей было здорово хорошо под его опекой, что он походя дал ей настоящее счастье, скрасившее последние месяцы ее прозябания, а отсюда уже был естественен переход к признанию за умницей судьбой прекрасного поведения и к первому сладкому содроганию крови: бирюк надевал чепец.

Он ожидал, что они приедут на другой день к завтраку — и действительно — звонок... но приятельница покойной особы стояла на пороге одна (протягивая костлявые руки и недобросовестно пользуясь сильным насморком для нужд наглядного соболезнования): ни муж, ни «сиротка», оба лежавшие с гриппом, не могли приехать. Его разочарование сгладилось мыслью, что так правильно — не надо портить: присутствие девочки в этом сочетании траурных помех было бы столь же мучительно, как был ее приезд на свадьбу, и гораздо разумнее в течение ближайших дней покончить со всеми формальностями и основательно подготовить отчетливый прыжок в полную безопасность. Раздражало только, что «оба»: связь болезни (словно в одной постели), связь заразы (может быть, этот пошляк, поднимаясь за ней по крутой лестнице, любил лапать за голые ляжки). Изображая совершенное оцепенение — что было проще всего, как знают и уголовные,— он сидел одеревеневшим вдовцом, опустив увеличившиеся руки, чуть шевеля губами в ответ на совет облегчить запор горя слезами, и смотрел мутным глазом, как она сморкается (тройственный союз — это лучше), и когда, рассеянно, но жадно занимаясь ветчиной, она говорила такие вещи, как «По крайней мере, не долго страдала» или «Слава Богу, что в беспамятстве», сгущенно подразумевая, что страдания и сон суть естественный удел человека и что у червей добрые личики, а что главное плавание на спине происходит в блаженной стратосфере, он едва не ответил ей, что сама по себе смерть всегда была и будет похабной дурой, да вовремя сообразил, что его утешительница может неприятно усомниться в его способности дать отроковице религиозно-нравственное воспитание.

На похоронах народу было совсем мало (но почему-то явился один из его прежних полуприятелей — золотых дел мастер с женой), и потом, в обратном автомобиле, полная дама (бывшая также на его шутовской свадьбе) говорила ему, участливо, но и внушительно (он сидел, головы не поднимая — голова от езды колебалась), что теперь-то по крайней мере ненормальное положение ребенка должно измениться (приятельница бывшей особы притворялась, что смотрит на улицу) и что в отеческой заботе он непременно найдет должное утешение, а другая (бесконечно отдаленная родственница покойной) вмешалась и сказала: «Девчонка-то прехорошенькая! Придется вам смотреть в оба — и так уже не по летам крупненькая, а годика через три так и будут липнуть молодые люди — забот не оберетесь»,— и он про себя хохотал, хохотал на пуховиках счастья.

Накануне, в ответ на новую телеграмму («Беспокоюсь как здоровье целую».— причем этот вписанный в бланк поцелуй был уже первым настоящим) пришло сообщение, что у обоих жар спал, и перед отъездом восвояси все еще сморкавшаяся женщина спросила, показывая шкатулку, может ли она взять это для девочки (какие-то материнские мелочи заветной давности), а затем поинтересовалась, как и что будет дальше. Только тогда, крайне замедленным голосом, точно каждый слог был преодолением скорбной немоты, с паузами и без всякого выражения он ей доложил, как и что будет, поблагодарил за годовой присмотр и предупредил, что ровно через две недели он заедет за дочерью (так и вымолвил), чтобы взять ее с собой на юг, а оттуда, вероятно, за границу. «Да, это мудро,— ответила та с облегчением (слегка разбавленным, будем надеяться,

мыслью, что последнее время она на питомице, вероятно, подрабатывала).— Поезжайте, рассейтесь, ничто так не врачует горя».

Эти две недели были ему нужны для устройства своих дел — с таким расчетом, чтобы по крайней мере год не думать о них,— а там будет видно. Пришлось продать кое-что из собственных экземпляров. А укладываясь, он случайно нашел в столе некогда подобранную монету (между прочим, оказавшуюся фальшивой) и усмехнулся: талисман уже отслужил.

Когда он сел в поезд, послезавтрашний адрес все еще был как берег в тумане зноя, предварительный символ будущей анонимности; он всего лишь наметил, где, по пути на этот мерцающий юг, заночуют, но не считал нужным предрешать дальнейшее новоселье. Все равно где — место красит босая ножка; все равно куда — только бы унести — и потеряться в лазури. Грифы столбов пролетали со спазмами гортанной музыки. Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся крыл. Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжерейном тепле, где обыкновение дикарской оголенности установится само собой, совсем одни (без прислуги!), не видаясь ни с кем, вдвоем в вечной детской, что уже окончательно добьет стыдливость; при этом — постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, возня на общей постели, большая губка, плачущая над четырьмя плечами, прыщущая от смеха между четырех ног,— и он думал, блаженствуя на внутреннем припеке, о сладком союзе умышленного и случайного, о ее эдемских открытиях, о том, сколь естественными и зараз особыми, нашенскими ей будут вблизи казаться смешные приметы разнополых тел — меж тем как дифференциалы изысканнейшей страсти долго останутся для нее лишь азбукой невинных нежностей; ее будут тешить только картинки (ручной великан, сказочный лес, мешок с кладом) да забавные последствия любознательных прикосновений к игрушке со знакомым, никогда не скучным фокусом. Он был убежден, что пока новизна довлеет себе и еще не озирается, будет легко при помощи прозвищ и шуток, утверждающих бесцельную в сущности простоту данных оригинальностей, заранее отвлечь нормальную девочку от сопоставлений, обобщений, вопросов, на которые что-нибудь подслушанное прежде, или сон, или первые сроки могли бы ее подтолкнуть, так что из мира полуотвлеченностей, ей, вероятно, полуизвестных (вроде правильного толкования самостоятельного живота соседки, вроде школьных пристрастий к морде модного комедианта), от всего как-либо связанного со взрослой любовью будет пока что изъят переход к привычной действительности милых развлечений, а пристойность, мораль не заглянут сюда по незнанию порядков и адреса.

Система подъемных мостов хороша до тех пор, покамест цветущая пропасть сама не дотянет крепкой молодой ветви до светлицы; но именно потому, что в первые, скажем, два года пленнице будет неведома временно вредная для нее связь между куклой в руках и одышкой туппенмейстера, между сливой во рту и восторгом далекого дерева, придется быть сугубо осторожным, не отпускать ее никуда одну, почаще менять местожительство (идеал — миниатюрная вилла в слепом саду), зорко смотреть за тем, чтобы не было у нее ни знакомств с другими детьми, ни случая разговориться с фруктовщицей или поденщицей — ибо мало ли какой вольный эльф может слететь с уст волшебной невинности — и какое чудовище чужой слух понесет к мудрецам для рассмотра и обсуждения. А вместе с тем, в чем упрекнуть волшебника? Он знал, что найдет в ней достаточно утех, чтобы не расколдовать ее слишком рано, ничего в ней не отличать слишком явным вниманием неги; играя в прогулку капуцина, не слишком упираться в иной тупичок; он знал, что не посягнет на ее девственность в самом тесном и розовом смысле слова, пока эволюция ласк не перейдет незаметной ступени — дотерпит до того утра, когда она сама, еще смеясь, прислушается к собственной отзывчивости и, уже молча, потребует совместных поисков струны.

Воображая дальнейшие годы, он все видел ее подростком: таков был плотский постулат; зато, ловя себя на этой предпосылке, он понимал без труда, что если мыслимое течение времени и противоречит сейчас бессрочной основе чувств, то постепенность очередных очарований послужит естественным продолжением договора со счастьем, принявшим в расчет и гибкость живой любви; что на свете этого счастья, как бы она ни повзрослела — в семнадцать лет, в двадцать,— ее

сегодняшний образ всегда будет сквозить в ее метаморфозах, питая их прозрачные слои своим внутренним ключом; и что именно это позволит ему, без урона или утраты, насладиться чистым уровнем каждой из ее перемен. Она же сама, уточнившись и удлинившись в женщину, уже никогда не будет вольна отделить в сознании и памяти свое развитие от развития любви, воспоминания детства от воспоминаний мужской нежности — вследствие чего прошлое, настоящее, будущее представятся ей единым сиянием, источник коего, как и ее самое, излучил он, живородящий любовник.

Так они будут жить — и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам, и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия, и море поблизости будет дышать под луной — и чрезвычайно медленно, сначала всей чуткостью губ, затем всей их тяжестью, вплотную, все глубже, только так, в первый раз, в твое воспаленное сердце, так, пробиваясь, так, погружаясь, между его тающих краев...

Дама, сидящая напротив, почему-то вдруг поднялась и перешла в другое отделение; он посмотрел на пустые свои часики — теперь уже скоро,— и вот он уже поднимался вдоль белой стены, увенчанной ослепительными осколками; летало множество ласточек — а встретившая его на крыльце приятельница покойной особы объяснила ему присутствие груды золы и обугленных бревен в углу сада тем, что ночью случился пожар — пожарные не сразу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и, конечно, никто не выспался. В это время вышла она, в темном вязаном платье (в такую жару!), с блестящим кожаным пояском и цепочкой на шее, в длинных черных чулках, бледненькая, и в самую первую минуту ему показалось, что она слегка подурнела, стала курносее и голенастее,— и хмуро, быстро, с одним только чувством острой нежности к ее трауру, он взял ее за плечо и поцеловал в теплые волосы. «Все могло вспыхнуть»,— воскликнула она, подняв розово-озаренное лицо с тенью листьев на лбу и таращa глаза, прозрачно-жидко колеблемые отражением солнца и сада.

Она, довольная, держала его под руку, пока входили в дом следом за громко говорившей хозяйкой — и естественность уже улетучилась, он уже неловко сгибал свою-не-свою руку — и на пороге гостиной, в которой гремели вошедший вперед монолог и раскрываемые ставни, он руку высвободил и, в виде рассеянной ласки (а в действительности весь на мгновение уйдя в крепкое с ямкой осязание), слегка похлопал ее по бедру — беги, дескать — и вот уже садился, пристраивал трость, закуривал, искал пепельницу, что-то отвечал — преисполненный дикого ликования.

От чайку он отказался, объяснив, что сейчас появится заказанный на вокзале автомобиль, что туда уже погружены его чемоданы (эта подробность, как бывает во сне, имела какой-то мелькающий смысл) и что «Покатим с тобой к морю!» — почти выкрикнул он по направлению девочки, которая, оборотясь на ходу, чуть не упала с треском через табурет, но мгновенно выправила молодое равновесие, повернулась и села, покрыв табурет опавшей юбкой. «Что?» — спросила она, отводя волосы и косясь на хозяйку (табурет уже раз был сломан). Он повторил. Она радостно подняла брови — не думала, что случится именно так, и сегодня же. «Я-то надеялась,— солгала хозяйка,— что вы у нас переночуете».— «О нет,— крикнула девочка, шаркающим скольжением подлетая к нему, и продолжала неожиданной скороговоркой: — А как вы считаете, я скоро научусь плавать — одна моя подруга говорит, что можно сразу, то есть нужно сперва только научиться не бояться — а это берет месяц...» — но хозяйка уже толкала ее в локоть, чтобы она доуложила с Марией то, что приготовлено слева в шкапу.

«Признаюсь, не завидую вам,— сказала сдававшая должность, когда девочка выбежала.— Последнее время, особенно после гриппа, у нее бывают всякие вспышки и капризы, на днях нагрубила мне — трудный возраст. Вообще мне кажется, хорошо бы, если бы вы взяли к ней пока что какую-нибудь барышню, а осенью — в хороший католический интернат. Смерть матери она переживает, как видите, довольно легко — да, может быть, не показывает — не знаю... Кончилось наше совместное житье... Я вам, кстати, еще осталась... Нет-нет, полноте, как же... Да, он только к семи приходит со службы — будет очень жалеть... Жизнь — ничего не поделаешь! Она-то, бедняжка, во всяком случае, на небесах спокойна, да и у вас лучше вид — а если бы не наша встреча... Просто не вижу,

как бы я содержала чужого ребенка, а из сиротских приютов прямой шаг сами знаете куда. Вот я поэтому всегда и говорю: жизнь — одно слово. Помните, как мы с вами — на скамейке — помните? Мне-то в голову не приходило, что она может найти второго,— а все-таки — мое женское чутье: что-то в вас было тоскующее — именно по такой пристани».

За листвой родился автомобиль. Садиться! Знакомая черная шапочка, пальто на руке, небольшой чемодан, помощь краснорукой Марии. Погоди, уж я тебе накуплю... Захотела непременно — рядом с шофером, и пришлось согласиться да скрыть досаду. Женщина, которой мы никогда больше не увидим, махала яблоневой веточкой. Мария загоняла цыплят. Поехали, поехали.

Он сидел, откинувшись, промеж колен держа трость, весьма ценную, старинную, с толстым коралловым набалдашником, и смотрел сквозь переднее стекло на берет и довольные плечи. Погода была необыкновенно жаркая для июня, в окно била горячая струя, вскоре он снял галстук и расстегнул ворот. Через час девочка на него оглянулась (показала на что-то близ дороги, но он, хоть и обернулся с разинутым ртом, ничего не успел рассмотреть — и почему-то без всякой связи подумалось, что все-таки — почти тридцать лет разницы). В шесть они ели мороженое, а говорливый шофер пил пиво за соседним столиком, обращаясь к клиенту с различными рассуждениями. Дальше. Глядя на лесок, волнистыми прыжками все приближавшийся с холмка на холмок, пока не съехал по скату и не споткнулся о дорогу, где был пересчитан и убран,— он думал: «Не сделать ли тут привал? Небольшая прогулка, посидим на мху среди грибов и бабочек...» Но остановить шофера он не решился: что-то невыносимое было в образе подозрительного автомобиля, бездельничающего на шоссе.

Затем стемнело; незаметно зажглись их фары. В первой же придорожной харчевне сели поужинать — и резонер опять развалился поблизости, да, кажется, заглядывался не столько на господский бифштекс с дутым картофелем, сколько на шору ее волос в профиль и прелестную щеку: голубка моя и устала, и раскраснелась — путешествие, жирное жаркое, капля вина — сказывалась бессонная ночь, розовый пожар впотьмах, салфетка спадала с мягко вдавленной юбочки — и это теперь все мое — он спросил, сдаются ли тут комнаты — нет, не сдавались.

Несмотря на растущую томность, она решительно отказалась променять свое место спереди на поддержку и уют в глубине, сказав, что сзади ее будет тошнить. Наконец, наконец среди черной жаркой бездны созрели и стали лопаться огоньки, и была немедленно выбрана гостиница, и уплачено за мучительную поездку, и покончено с этим. Она почти дремала, выползая на панель, застывая в синеватой, щербатой тьме, в теплом запахе гари, в шуме и дрожи двух, трех, четырех грузовиков, пользовавшихся ночным безлюдием, чтобы чудовищно быстро съезжать под гору из-за угла улицы, где ныл, и тужился, и скрежетал скрытый подъем.

Коротконогий, большеголовый старик в расстегнутой жилетке, нерасторопный, медлительный и все объяснявший с виноватым добродушием, что он только заменяет хозяина — старшего сына, отлучившегося по семейному делу,— долго искал в черной книге... сказал, что свободной комнаты с двумя кроватями нет (выставка цветов, много приезжих), но имеется одна с двухспальной,— «Что сводится к тому же, вам с дочкой будет только...» — «Хорошо, хорошо»,— перебил приезжий, а туманное дитя стояло поодаль, мигая и глядя сквозь проволоку на двоившуюся кошку.

Отправились наверх. Прислуга, по-видимому, ложилась рано — или тоже отсутствовала. Покамест, кряхтя и низко нагибаясь, гном испытывал ключ за ключом,— из уборной рядом вышла, в лазурной пижаме, курчаво-седая старуха с ореховым от загара лицом и мимоходом полюбовалась на эту усталую красивую девочку, которая, в покорной позе нежной жертвы, темнелась платьем на охре, прислонясь к стенке, опираясь лопатками и слегка откинутой лохматой головой, медленно мотая ею и подергиванием век как бы стараясь распутать слишком густые ресницы. «Отоприте же наконец»,— сердито проговорил ее отец, плешивый джентльмен, тоже турист.

«Тут буду спать?» — безучастно спросила девочка, и когда, борясь со ставнями, поплотнее сощуривая их щели, он ответил утвердительно, посмотрела на шапочку, которую держала, и вяло бросила ее на широкую постель.

«Ну вот,— сказал он после того, как старик, ввалив чемоданы, вышел и остались только стук сердца да отдаленная дрожь ночи.— Ну вот... Теперь надо ложиться».

Шатаясь от сонливости, она наткнулась на край кресла, и тогда, одновременно садясь, он привлек ее за бедро — она, выгнувшись, вырастая, как ангел, напрягла на мгновение все мускулы, сделала еще полшажка и мягко опустилась к нему на колени. «Моя душенька, моя бедная девочка»,— проговорил он в каком-то общем тумане жалости, нежности, желания, глядя на ее сонность, дымчатость, заходящую улыбку, ощупывая ее сквозь темное платье, чувствуя на голом, сквозь тонко-шерстяное, полоску сиротской подвязки, думая о ее беззащитности, заброшенности, теплоте, наслаждаясь живой тяжестью ее расползавшихся и опять, с легчайшим телесным шорохом, повыше скрещивающихся ног,— и она медленно обвила вокруг его затылка сонную руку в тесном рукавчике, обдавая его каштановым запахом мягких волос, но рука сползла, подошвой сандалии она дремотно отталкивала несессер, стоявший рядом с креслом... Прогрохотало за окном, и потом, в тишине, стало слышно, как ноет комар, и почему-то это ему мельком напомнило что-то страшно далекое, какие-то поздние укладывания в детстве, плывущую лампу, волосы сверстницы-сестры, давным-давно умершей. «Душенька моя»,— повторил он и, отведя трущимся носом кудрю, терпеливо прилаживаясь, почти без нажима вкусил ее горячей шелковистой шеи около холодка цепочки; затем, взяв ее за виски, так что глаза ее удлинились и полусомкнулись, принялся ее целовать в расступившиеся губы, в зубы — она медленно отерла рот углами пальцев, ее голова упала к нему на плечо, промеж век виднелся лишь узкий закатный лоск, она совсем засыпала.

В дверь постучали — он сильно вздрогнул (отдернув руку от пояска — так и не поняв, как, собственно, расцепляется). «Проснись, слезай»,— сказал он, быстро ее тормоша, и она, широко раскрыв пустые глаза, через кочку съехала. «Войдите»,— сказал он.

Заглянул старик и сообщил, что господина просят сойти вниз: пришли из полицейского участка. «Полиция? — переспросил он, морщась в недоумении.— Полиция?.. Хорошо, идите, я сейчас спущусь»,— добавил он, не вставая. Закурил, высморкался, аккуратно сложил платок, щурясь сквозь дым. «Слушай,— сказал он прежде, чем выйти.— Вот твой чемодан, вот я тебе его раскрою, найди, что тебе нужно, раздевайся пока и ложись; уборная — от двери налево».

«При чем тут полиция? — думал он, спускаясь по скверно освещенной лестнице.— Что им нужно?»

«В чем дело?» — резко спросил он, сойдя в вестибюль, где увидел застоявшегося жандарма, черного гиганта с глазами и подбородком кретина.

«А в том,— последовал охотный ответ,— что вам, как видно, придется сопроводить меня в комиссариат — это недалеко отсюда».

«Далеко или недалеко,— заговорил путешественник после легкой паузы,— но сейчас за полночь, и я собираюсь ложиться. Кроме того, не скрою от вас, что всякий вывод, особенно столь динамический, звучит криком в лесу для слуха, не посвященного в предшествовавший ход мыслей, то есть проще: логическое воспринимается как зоологическое. Между тем глобтроттеру, только что и впервые попавшему в ваш радушный городок, любопытно узнать, на чем — на каком, может быть, местном обычае — основан выбор ночи для приглашения в гости, приглашения тем более неприемлемого, что я не один, а с утомленной девочкой. Нет, погодите,— я еще не кончил... Где это видано, чтобы правосудие предпосылало действие закона основанию его применить? Дождитесь улик, господа, дождитесь доносика! Пока что — сосед не видит сквозь стену и шофер не читает в душе. А в заключение — и это, может быть, самое существенное — извольте ознакомиться с моими бумагами».

Помутневший дурень ознакомился — очнулся и пустился трепать незадачливого старика: оказалось, что тот не только спутал две схожие фамилии, но никак не мог объяснить, когда и куда нужный проходимец съехал.

«То-то»,— сказал путешественник мирно, досаду на задержку полностью выместив на поспешившем враге — при сознании своей неуязвимости (слава

Року, что сзади не села, слава Року, что грибов не искали в июне — а ставни, конечно, плотные).

Добежав до площадки, он спохватился, что не заметил номера комнаты, остановился в нерешительности, выплюнул окурок... но теперь нетерпение чувств не пускало вернуться за справкой,— и не нужно — помнил расположение дверей в коридоре. Нашел, быстро облизнулся, взялся за ручку, хотел...

Дверь была заперта; и отвратительно поддалось под сердцем. Раз заперлась — значит, от него, значит — подозрение, не надо было так целовать, спугнул, что-нибудь заметила,— или глупее и проще: по наивности убеждена, что он лег спать в другой комнате, в голову не пришло, что она будет спать в одной, вместе с чужим — все-таки еще чужим — и он постучал, едва ли еще сам сознавая всю силу своей тревоги и раздражения.

Услышал отрывистый женский смех, гнусное восклицание матрацных пружин и затем шлепанье босых ног. «Кто там? — сердито спросил мужской голос.— Ах, вы ошиблись? Так, пожалуйста, не ошибайтесь. Человек тут занимается делом, человек обучает молодую особу, человека перебивают...» В глубине опять прокатился смех.

Ошибка была пошлая — и только. Он двинулся дальше по коридору — вдруг сообразил, что не та площадка — пошел назад, повернул за угол, озадвченно взглянул на счетчик в стене, на раковину под капающим краном, на чьи-то желтые сапоги у двери — повернул опять — лестница исчезла! Та, которую он наконец нашел, оказалась другой: спустившись по ней, он заблудился в полутемных помещениях, где стояли сундуки, где из углов выступали с фатальным видом то шкапчик, то пылесос, то сломанный табурет, то скелет кровати. Вполголоса выругался, теряя власть над собой, изведенный этими преградами... Толкнул дверь в глубине и, стукнувшись головой о низкую притолоку, вынырнул в вестибюль со стороны тускло освещенного закута, где, почесывая щетину щеки, старик смотрел в черную книгу, а на лавке рядом храпел жандарм — как в кордегардии. Получить нужное сведение было делом минуты — слегка удлиненной извинениями старика.

Он вошел. Он вошел и прежде всего, никуда не глядя, украдчиво горбясь, дважды повернул тугой ключ в замке. Затем увидел черный чулок с резинкой под умывальником. Затем увидел раскрытый чемодан, начатый в нем беспорядок, полувытащенное за ухо вафельное полотенце. Затем увидел комок платья и белья на кресле, поясок, второй чулок. Только тогда он повернулся к острову постели.

Она лежала на спине поверх нетронутого одеяла, заложив левую руку за голову, в разошедшемся книзу халатике — сорочки не доискалась,— и при свете красноватого абажура, сквозь муть, сквозь духоту в комнате он видел ее узкий впалый живот между невинных выступов бедренных косточек. Со звуком пушечной пальбы поднялся со дна ночи грузовик, стакан зазвенел на мраморе столика, и было странно смотреть, как мимо всего ровно тек ее заколдованный сон.

Завтра, конечно, начнем с азов, с продуманной постепенности, но сейчас ты спишь, ты ни при чем, не мешай взрослым, так нужно, это моя ночь, мое дело — и, раздевшись, он лег слева от едва качнувшейся пленницы и застыл, сдержанно переводя дух. Так: час, которым он бредил вот уже четверть века, теперь наступил, но облаком блаженства он был скован, почти охлажден; наплывы и растекание ее светлого халатика, мешаясь с откровениями ее красоты, еще дрожали в глазах сложной зыбью, как сквозь хрусталь. Он все не мог найти оптический фокус счастья, не знал, с чего начать, к чему можно притронуться, как полнее всего в пределах ее покоя насытиться этим часом. Так. Пока что, с лабораторной бережностью, он снял с кисти бельмо времени и через ее голову положил на ночной столик между блестящей каплей воды и пустым стаканом.

Так. Бесценный оригинал: спящая девочка, масло. Ее лицо в мягком гнезде тут рассыпанных, там сбившихся кудрей, с бороздками запекшихся губ, с особенной складочкой век над едва сдавленными ресницами, сквозило рыжеватой розовостью на ближней к свету щеке, флорентийский очерк которой был сам по себе улыбкой. Спи, моя радость, не слушай. Уже его взгляд (себя ощущающий взгляд смотрящего на казнь или на точку в пропасти) пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь — но тут же он вздрогнул, ибо шевельнулся кто-то другой

в комнате — на границе зрения — не сразу признал отражение в шкапном зеркале (его уходящие в тень пижамные полосы да смутный отблеск в лакированном дереве, да что-то черное под ее розовой щиколоткой). Наконец, решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть разжатым, чуть липким ногам, шершаво свежевшим книзу, ровно разгоравшимся к верховьям — с бешеным торжеством вспомнил ролики, солнце, каштаны, все...— пока концами пальцев поглаживал, дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся,— по-своему, но родственно сгустивший в себе что-то от ее губ, щек,— а немного повыше, на прозрачном разветвлении вен, упивался комар, и, ревниво прогоняя его, он нечаянно помог спасть давно мешавшему отвороту, и вот они, вот, эти странные, слепые, как бы двумя нежными нарывами вспухшие грудки — и теперь обнажилась вдоль тонкой, еще детской мышцы натянутая, молочно-белая впадина подмышки в пятишести расходящихся, шелковисто-темных штрихах — туда же стекала наискось золотая струйка цепочки — вероятно, крестик или медальон — и уже начинался опять ситец — рукав круто закинутой руки. В который раз нахлынул и взвыл грузовик, наполняя комнату дрожью,— и он остановился в своем обходе, неловко накренившись над ней, невольно вжимаясь в нее зрением и чувствуя, как отроческий, смешанный с русостью запах ее кожи зудом проникает в его кровь. Что мне делать с тобой, что мне с тобой... Девочка во сне вздохнула, разожмурив пупок, и медленно, с воркующим стоном, дыхание выпустила, и этого было достаточно ей, чтобы продолжать дальше плыть в прежнем оцепенении. Он тихонько вытащил из-под ее холодной пятки примятую черную шапочку — и снова замер с биением в виске, с толчками ноющего напряжения — не смел поцеловать эти угловатые сосцы, эти длинные пальчики ног с желтоватыми ногтями — отовсюду возвращаясь сходящимися глазами к той же замшевой скважинке, как бы ожившей под его призматическим взглядом,— и все еще не зная, что предпринять, боясь упустить что-то, до конца не воспользоваться сказочной прочностью ее сна. Духота в комнате и его возбуждение делались невыносимы, он слегка распустил пижамный шнур, впивавшийся в живот, и, скрипнув сухожильем, почти бесплотно скользнул губами там, где виднелась родинка у нее под ребром... но было неудобно, жарко... напор крови требовал невозможного. Тогда, понемножку начав колдовать, он стал поводить магическим жезлом над ее телом, почти касаясь кожи, пытая себя ее притяжением, зримой близостью, фантастическими сопоставлениями, дозволенными сном этой голой девочки, которую он словно мерил волшебной мерой, пока слабым движением она не отвернула лица, едва слышно во сне причмокнув,— и все замерло снова, и теперь он видел промеж коричневых прядей пурпурный ободок уха и ладонь освобожденной руки, забытой в прежнем положении. Дальше, дальше. В скобках сознания, как перед забытьем, мелькали эфемерные околичности — какой-то мост над бегущими загонами, пузырек воздуха в стекле какого-то окна, погнутое крыло автомобиля, еще что-то, где-то виденное недавно вафельное полотенце, а между тем он медленно, не дыша, подтягивался и вот, соображая все движения, стал пристраиваться, примеряться... под боком опасливо поддалась пружина, правый осторожно похрустывающий локоть искал опоры, взор заволокло туманом тайной сосредоточенности... Он почувствовал пламень ее ладной ляжки, почувствовал, что больше сдерживаться не может, что все — все равно — и по мере того, как между его шерстью и ее бедром закипала сладость, ах, как отрадно раскрепощалась жизнь, упрощаясь до рая,— и еще успев подумать: нет, прошу вас, не убирайте — он увидел, что, совершенно проснувшись, она диким взглядом смотрит на его вздыбленную наготу.

Мгновенно, в провале синкопы, он увидел и то, чем ей это представилось — каким уродством или страшной болезнью — или она уже знала — или все это вместе,— она смотрела и вопила, но волшебник еще не слышал ее вопля, оглушенный собственным ужасом, стоя на коленях, подхватывая складки, ловя шнур, стараясь остановить, спрятать, щелкая скошенной судорогой, бессмысленной, как стук вместо музыки, бессмысленно истекая топленым воском, не успевая ни остановить, ни спрятать. Как она скатилась с постели, как она теперь орала, как убегала лампочка в своем красном куколе, как грохотало за окном, ломая, добивая ночь, все, все разрушая. «Замолчи, это по-хорошему, такая игра, это бывает, замолчи же»,— умолял он, пожилой и потный, прикрываясь мелькнувшим

макинтошем, трясясь, надевая, не попадая. Она, как дитя в экранной драме, заслонялась остреньким локтем, вырываясь и продолжая бессмысленно орать, и кто-то бил в стену, требуя невообразимой тишины. Попыталась выбежать из комнаты, не могла отпереть, а он не мог ухватить, не за что, некого, теряла вес, скользкая, как подкидыш, с лиловым задком, с искаженным младенческим личиком — укатывалась — с порога назад в люльку, из люльки обратным ползком в лоно бурно воскресающей матери.— «Ты у меня успокоишься,— кричал он (толчку, точке, несуществующему).— Хорошо, я уйду, ты у меня...» — справился с дверью, выскочил, оглушительно запер за собой — и, еще слушая, стискивая в ладони ключ, босой, с пятном холода под макинтошем, так стоял, так погружался.

Но из ближнего номера уже появились две старухи в халатах: первая, как негр седая, коренастая, в лазурных штанах, с заокеанским захлебом и токанием — защита животных, женские клубы — приказывала — этуанс, этудверь, этусубть — и, царапнув его по ладони, ловко сбила на пол ключ — в продолжение нескольких пружинистых секунд он и она отталкивали друг дружку боками, но все равно все было кончено, отовсюду вытягивались головы, гремел где-то звонок, сквозь дверь мелодичный голос словно дочитывал сказку — белозубый в постели, братья с шапрон-ружьями — старуха завладела ключом, он быстро дал ей пощечину и побежал, весь звеня, вниз по липким ступеням. Навстречу бодро взбирался брюнет с эспаньолкой в подштанниках, за ним извивалась щуплая блудница — мимо; дальше — поднимался призрак в желтых сапогах, дальше — старик раскорякой, жадный жандарм — мимо; и, оставив за собой множество пар ритмических рук, гибко протянутых в пригласительном всплеске через перила,— он, пируэтом, на улицу — ибо все было кончено, и любым изворотом, любым содроганием надо было тотчас отделаться от ненужного, досмотренного, глупейшего мира, на последней странице которого стоял одинокий фонарь с затушеванной у подножья кошкой. Ощущая босоту *уже* как провал в другое, он понесся по пепельной панели, преследуемый топотом вот уже отстающего сердца, и самым последним к топографии бывшего обращением было немедленное требование потока, пропасти, рельсов — все равно как,— но тотчас. Когда же завыло впереди, за горбом боковой улицы, и выросло, одолев подъем, распирая ночь, уже озаряя спуск двумя овалами желтоватого света, готовое низринуться — тогда, как бы танцуя, как бы вынесенный трепетом танца на середину сцены — под это растущее, руплегрохотный ухмышь, краковяк, громовое железо, мгновенный кинематограф терзаний — так его, забирай под себя, рвякай хрупь — плашмя пришлепнутым лицом и еду — ты, коловратное, не растаскивай по кускам, ты, кромсающее, с меня довольно — гимнастика молнии, спектограмма громовых мгновений — и пленка жизни лопнула.

Париж
Октябрь-ноябрь 1939 г.

Николай Кононов

* * *

Отчего-то все дни, все дни, что тихо пенились исподволь, с радостью
Надвигались шумливые, как-то сникли... Звезды не светят.
Словно бедный Грегор Замза — какой-то гадостью
Стал ненароком,— в мягкую спинку яблоком метят...

Наглой антоновкой, грубым штрефлингом. Стаю птичью,
Ватагу сластен в стоматологическую поликлинику,—
Класс свой водил. Эскадрилья бормашин летучих ввинчивает
Пропеллеры в лазурь — в каждую крохотную выемку, слабинку.

Уж чего только не наслушался... Где ты, молочное успокоение,
Сыворотка молчания? И сам себе противен, перед врачами
Неудобно. Помню, какой ужас, страх, смертное волнение
Коммивояжера охватили, как себя ущипнуть хотел, передернуть плечами.

Вот так вместо розово-желтой с пушком, обжигающейся
Кожи — незаметно: хитин эпоксидный, холодный... И голос
Разве мой — с металлической нотой, качающийся,
Насекомый, немилый? И внутри как-то холодно, голо.

Порой чувствую, что не выдержу, но что-то переменилось, хрустнуло
Глубоко-глубоко. По профориентации сотню въедливых бланков
Кто же будет заполнять? Боже мой, никакими мускулами
Не сдержать звезд, зажигающихся спозаранку.

ЭЛЕГИЯ, СОЧИНЕННАЯ НА ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОМ ПРОФСОЮЗНОМ СОБРАНИИ

Где залезешь, там и слезешь с многочисленными своими кульками
Общественных поручений — просекла, просекла профорг Милица Петровна
Эту просеку во мне с зайцами, куницами, хорьками,
Молодняком пенечков, травкой, зеленеющей ровно.

Ей, подруге агропромышленных комплексов, корреспондентке
Уральских руд, географичке нашей в муссонах, пассатах,
И невдомек, в какие замечательные пятилетки
Был заквашен во мне общественник на бровастых дрожжах ноздреватых.

В повествовательном тоне валторной ухаешь и ноешь еще...
И никому не показать, как мне тяжело.

Николай Михайлович Кононов (р. в 1958 г.) — поэт. Публиковаться начал в 1980 г. Первая книга — «Орешник» — увидела свет в 1987 году. Живет в Ленинграде.

Задачник Рыбкина, ты по зубам мне был, мое сокровище,
Ватага параллельных, бредящих в тельняшке!

Поволжье жалоб, Обская губа обид... Кто с потушенными
Огнями бортовыми к бакенам крадется робко?
Вы — пароход ночной, Милица Петровна, с рыженькими сушками
Покрышек по бортам, кудряшек, у вас терпенья сопка.

Собраний профсоюзных плеск, расти, расти до ватерлинии,
Гуди в опухшей комнате дремотной, общей,—
Я до Саратова добрался невзначай — в глубокой сини я:
Как будто сплю, мне ветер волосы полощет...

ЧУМАЦКАЯ ЭЛЕГИЯ

Занавесочка-бесовка лишь вздохнет под сквозняком, и горьковато-пристальным
Духом несенным потянет: гуде вітер в чистом поле.
Снег глубокий голубеет мшистым висмутом.
Ліс ломаэ, молча, кряжисто, без боли.

В коридоре нашем лыжи парубками хмурятся в углу, и холодеют саночки,
Шкаф на все готовый черным гетманом стоит — Мазепой.
Смерти только молвишь: «Здравствуй, панночка...»
Сам в дверях стоишь луною бледной — сумрачный, полуодетый.

Косят ножницы легко бумвгу: станешь, станешь выкройкой
Телогрейки, ватника, прорастешь шинельным ворсом.
Уходя лишь, обернешься: ласточка моя, мол, рыбонька
С плавничком незаживающим, костистым, острым.

* * *

Пахнет зеленоватым скипидаром с такого близкого
Расстоянья от необожженного февральского неба...
Военные холода, торопливый скрип кавалерийского
Молодого, подбоченившегося свега.

Знаю, знаю — все обиды на тягучем казеиновом
Незастывающем клее замешаны, как и эта ночная
Музыка духовая с тонкой оторочкой малиновой.
О, тьма с непогашенными фонарями, постылая, гробовая!

С голыми затылками в очередь, как допризывники,
Вытянулись тополя. Неужели вот это место, где бы
И я стоял, заломив ушаночку кривенько,
Чуть на одно ухо, с безмятежностью ночного Эреба?

Где, где все детские теоремы о свойствах треугольника?
Игольное ушко геометрии и прочее, что досталось
Так тяжело, с потерями невосполнимыми столькими?
Любовь, перетекающая в жалость.

Мелкие, мелкие, мятые, шелушащиеся, дикие, содранные
Локти, так похожие на парниковые сжатые розы...
Есть подробности жуткие, запретные, где-то подсмотренные,
За скобки вынесенные, непроходимые сугробы, торосы...

* * *

Раз пять машина перевернулась, и чуть взбудораженные
Вылезают на обочину: журчанье пленки черно-белой.
Так сквозь воду лучи пробираются радужные.
Только что руль держали в руках окоченелый.

Ну как тебе на ощупь все эти жаркие подробности?
И голоса куда-то за край стекающие, пивные?
Как всю непостижимую дистанцию от любви до робости
Уместил в две-три неловкие запятые?

И разве вся наша жизнь — ночные шахматы неподъемные,
Полувоенный дым папиросный, известковый осадок?
О, как вода прибывает в трюме сквозь пробоины темные,
В каком кино подглядел этот миропорядок?

Ну, век неузнанный, грозное, задрапированное детище,
Детские ворошиловские стрельбы в фанерном тире...
Как на улицу выходили с этой стрижечкой нелепейшей?
Выжимали по тридцать раз двухпудовые гири.

Так стихов о войне никогда не напишу... Вот если в госпитвле
Буду умирать. Ну, смерть — сестра походно-полевая!
Выпьет все слова, выпьет, обметает губы восковыми оспинами,
Пчелами, дочерьми левкоя, чабра, подорожника, молочая...

* * *

«Маленькая рыбка,
Жареный карась,
Где твоя улыбка...»
Н. Олейников

Шеренгами построенная, щуплая, случайно так уложенная,
Прильнувшая друг к другу кожей скользкой, всеми мускулами,
О рыбка робкая! О свежезамороженная,
Глядишь очами тусклыми.

Морозная, в испарине сплошной, ты в холоде нежнеющем
Со мною заодно, ты — путассу, навага, нототения.
Тебя на свете нет. Я телом индевеющим
Твоим напуган был. Ну, спи без пробуждения.

Прощай, навек прощай. Теченьями овеянного
Нам разве тела жаль, угрюмым фосфором насыщенного, темного?
О, сколько рыбок в строках у Олейникова
Двусмысленно дрожат от робкой похоти, желанья неуемного...

От влажной жалости к самим себе, ведь у него, угрюмого,
Карась подробно, страшно умирает в облаке
Сметаны роковой. Он смерть баюкает свою... О, не собью его
Хорейчик розовый, трехстопный, ахающий, лежащий в обмороке.

Не зря, не зря себя невзрачной, клейкой, маленькой
Он рыбкой мыслил робкой. Обо всем догадывался?
Ночей не спал, дрожа? Ну разве ватник, валенки
Спасут всех, боже мой? Не снег волной наваливался.

Теперь другой тираж. И сжавшиеся, смерзшиеся, гиблые,
Под легкий перекат уснувшие среди долины ровныя...
Убитых нам не счесть! Нули зияют глыбами
Военными, почти единокровными.

* * *

В бижутерии похабной, размалеванная, рядом с пасынком прыщавым,
Федра — Федра, выпускница ПТУ—15, по лимиту, по лимиту
Жить осталась тут, трудиться,— не выносит мелкий мокрый щавель
Зеленеющих кудрей твоих, токсикомана Ипполита.

Лейся, блещущая политура Карповки, Невка, фиолетово дрожи денатуратом,
Мерзни — мерзни, антифриз небес! Жалости хотела безнадежно
Хлипкая душа, ведь не готовилась она еще к утратам.
И снежок над общежитьем так легко идет, неосмотрительно, неосторожно.

Ну, отбившаяся от природы девушка, ты стершаяся двушка...
Комендант уж третье объявил тебе предупрежденье.
Тапочка растоптанная, нет! разношенная кофточка, души твоей теплушка
Шустрыми полна солдатами. В ватнике объятий задохнулась без предубеждений.

Но желанней этот мат малосемейный, возле тумбочки толкучка
Зеленеющих бутылок, что они поют, звеня цыганским хором?
«Эх 15 раз да-ри-да-ой по 20!» — вот уже и трешка до получки...
Ни упрека я не смею высказать, ни бросить тень укора.

Чтобы губы круглые в зеленом «о» бутылка долго-долго гнула, напрягала,
Чтобы не сказала ничего нескромного, чтобы ни намека...
Разве поцелуя целомудренного, звона зябкого ей мало?
Не смотри угрюмо так, понуро, жадно, жалобно, поблекло...

БЕССОННИЦА НА КУХНЕ

Большеротая возня, шелест тысячи крыл, насурмленная дышит изнанка
Зимней ночи, и низкая синева подбирается та еще...
Боже мой, сколько может тянуться тихая упорная перебранка,
Частная жизнь холодильника «Орск», ни на миг не затихающая.

Скоро, скоро вставать. Летает, бьется о кухонный кафель
Дельтопланерист, шуршит вспотевшими крыльями брезентовыми,
Словно моль, сон мой маленький. И не выключить до утра Фальстафа —
Восторг охлажденья, электрический шепоток разматывается лентами.

Невнятная болтовня котлет. Рядом бродят отравители опята,
Задевает миска о банку: этот ли шум грозит помешательством?
Милая, родная жизнь, вот и ты чем-то душным и грозным подмята:
Долги, оговорки, нелепый бег с остановками, замешательством...

Нет, ничего не просмотрел, не свел к мелочам. Шум смятенья ночного
Подступает, несет, как Гольфстрим, нежно и вкрадчиво.
Эти сбитые простыни, неуклюжая подушка, забытое влажное слово.
О, с каким трудом все давалось: гудит под руками неподъемное, обманчивое.

Есть, есть еще ледяные поручни полубезумного раннего трамвая,
Серый утренний грунт, заиканье, невнятица, нежность, клетчатое
Пальто соседки, едущей с ночной смены. Вот — догорают
Бусины фонарей. Чем-то болен еще, но от этого лечат ли...

Вадим Шефнер

Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца

Фантастическая повесть

Имя моего деда Серафима Васильевича Пятизайцева (1947—2008) известно всем. Во многих городах нашей планеты ему воздвигнуты памятники, о нем написана не одна книга. Теперь, когда близится столетие со дня его кончины, настало время опубликовать и то, что он сам о себе написал.

Все знают, что Серафим Пятизайцев умер в полной безвестности. Всемирная слава осенила его посмертно, когда в архиве давно ликвидированного ИРОДа (Института Рациональной Организации Досуга) были случайно обнаружены чертежи его гениального изобретения и пояснительная записка к ним. Что касается данной рукописи, то она хранилась у нас дома. Моя бабушка Анастасия Петровна Пятизайцева, намного пережившая своего мужа, была против публикации его автобиографического произведения, ибо считала, что это может бросить тень на нее лично и — главное — исказить у публики представление о ее муже. Ведь уже при ее вдовьей жизни СТРАХОГОН был пущен в массовое производство, и об его изобретателе начали восторженно писать поэты, писатели и журналисты. Что касается моей матери Татьяны Серафимовны Пятизайцевой, то она тоже считала, что рукопись отца не преумножит его славы.

Бабушки моей нет в живых, матери — тоже. А я на старости лет решила опубликовать исповедь своего деда — и тем самым выполнить его давнее желание. Ибо это произведение писалось им явно не для дома, а для мира, не для семейного архива, а для печати. Знаю, у многих землян при чтении «Небесного подкидыша» возникнет чувство обидного изумления — и даже негодования. Ведь в бесчисленных произведениях поэтов и писателей дед мой трактуется как человек сказочной отваги. По их убеждению, именно врожденная храбрость натолкнула его на открытие Формулы Бесстрашия. Всем известны строки поэта Некукуева: «Герой поделился бесстрашием личным со всеми людьми на Земле!» Но, вчитавшись в произведение моего деда, люди узнают, что дело обстояло иначе. Они узнают Правду. Правда эта, по моему убеждению, не унизительна для Серафима Пятизайцева. Но это поймут не сразу и не все.

Будучи по специальности литературоведицей, не скрою, что правдивое повествование деда не лишено недостатков. Начну с того, что рукопись производит впечатление незаконченности, и даже даты под ней нет. Полагаю, что автор хотел завершить свое повествование главой о том, что его идея получила практическое осуществление. Но, как мы знаем, при его жизни этого не произошло. Заметят читатели и то, что это произведение внутренне противоречиво, в нем много недоговоренностей, неясностей. Огорчает и то, что излишне много места уделено различным служебным склокам и абсурдным проектам,— и в то же время о своем изобретении автор пишет походя, невнятно; суть его прибора им не расшифрована. К счастью, мы все знаем, чем Серафим Пятизайцев одарил человечество! Благодаря ему на Земле не стало страха. Остался страх перед Совестью, но все остальные разновидности страха — побеждены, и люди действуют разумно и смело при самых экстремальных ситуациях. Мы стали смелее, честнее, правдивее. И срок жизни землян — удлинился.

Возвращаясь к недочетам повествования, посетую, что дед порой разрешает себе некоторую игривость стиля, смакует вульгарные словечки, не брезгует блатным жаргоном своего времени. Однако я сохранила текст в полной неприкосновенности, ибо сознаю свою ответственность перед человечеством.

Марфа Гуляева-Пятизайцева

Земля № 253
Ленинград, 2107 год

1. ОДИН ИЗ 7 000 000 000

Начну с того, что никакой я не писатель.

«Банальное предупреждение»,— усмехнетесь вы.

Согласен: банальное. Более того: затасканное, затрепанное, затертое, замызганное. Но правдивое. И к сему добавлю, что профессиональным литератором стать не собираюсь. Закончу это свое единственное прозаическое произведение — и больше ни гу-гу. Другое дело — поэзия. Иногда, когда моя изобретательская мысль отдыхает, я строчу стихи. Этот побочный творческий продукт время от времени публикуется в нашей институтской стенгазете «Голос ИРОДа». Но в печать со своими стихами я не стремлюсь.

Я в славе вываляюсь весь,
Когда придет мой час,—
Но слава ждет меня не здесь,
Тут ни при чем Пегас.

Впрочем, это я так, для красного словца; может быть, нигде никакой славы не будет.

А это свое автобиографическое произведение я пишу для вашей же пользы, уважаемые земляки-земляне. Учтите, нас на Земле, по данным последней переписи, семь миллиардов душ, включая и мою. И из всех этих миллиардов пока что лишь мне довелось побывать на другой планете. При этом сразу скажу, что никаких умственных, творческих усилий я к этому делу не приложил. Устроился в полет по дружеской протекции, а грубо говоря — по межпланетному блату. И через это влип в такую передрягу, что еле ноги унес. Правда, пребывание на Фемиде натолкнуло меня на важное изобретение. Но возможен был и смертельный исход. Вот тебе мой совет, уважаемый читатель: опасайся таких блатных путешествий!

Всегда и всюду действуй честно,
И сам штурмуй любой редут.
Ни блат земной, ни блат небесный
К добру тебя не приведут!

2. ЗАГАДОЧНЫЙ ВЗЛОМ

Скромность украшает мудрых. Поэтому пока что отпихну себя на второй план и сообщу вам кое-какие сведения о моем друге Юрке Птенчикове.

Однажды, в давние времена, в нашем доме на Н-ской линии Васильевского острова произошло загадочное событие. Дом тогда еще дровами отапливался, дров было маловато, в квартирах было холодновато и сыровато — поэтому белье после стирки сушили на чердаке. Дверь чердачную запирали. И вдруг в одно воскресное утро дом облетела весть роковая: чердачная дверь взломана! И взлом тот был не простой, а загадочный. Сами подумайте: дверь взломана, а все белье, что сушилось,— в целости. Там из трех квартир белье висело — и, представьте себе, ни одна наволочка, ни одни кальсоны не пропали! Для чего тогда, спрашивается, взлом было делать?!

Дабы внести в это дело уголовную ясность, побежали в милицию, мильтона привели. Он констатировал печальный факт: да, замок взломан. Причем не с лестницы, а с чердака. То есть кто-то с крыши через чердачное окно проник на чердак и, не покусившись на чужую нижнюю одежду, взломал дверь, ведущую на лестницу,— и удалился. При таком повороте события все жильцы, как тогда говорилось, опупели от удивления, весь дом загудел от толков и домыслов. Анфиса Степановна, старушка из 27-й квартиры, та даже утверждала, что это на чердаке не люди, а ангелы побывали. Потому что как же это так: белье свободно висит, бери что хошь, а они ничего не тронули! Но прочие обитатели дома логически отвергли эту божественную гипотезу. Во-первых, двери взламывать — это поступок, что там ни говори, не ангельский. Во-вторых, будь то даже ангелы-распроангелы, никакого особого благородства они не проявили тем, что белье не уперли; ведь у них, у ангелов, свое небесное обмундирование, им сорочек или там бюстгальтеров не требуется. И, в-третьих, никаких ангелов нет, их зарубежная пропаганда выдумала.

Через неделю, после горячих споров и теоретических рассуждений, жильцы пришли к выводу, что в этом деле явно замешана гаванская шпана. Хулиганы тайно проникли на чердак соседнего дома, оттуда по крыше перебрались на наш чердак и совершили взлом дверного замка, дабы быстренько вынести все белье по лестнице и затем забодать его на толкучке. Но в последнюю минуту гаванцам почудилось, что их зашухерили, и они в жуткой панике покинули чердак, не успев совершить замышленного злодеяния. Как видите, уважаемый читатель, весь этот вывод построен на недоказанных домыслах. Но не будем смеяться над жильцами дома! Ведь в то, не такое уж отдаленное, время никто на Земле еще не ведал о наличии неопознанных летающих тарелок, никто знать не знал о том, что Земля регулярно посещается иномирянами. Знай это жильцы дома — у них бы хватило ума догадаться, что побывали на их крыше и чердаке никакие не гаванцы, а просто-напросто инопланетники.

Та чердачная сенсация так заполонила умы жильцов, что совершенно заслонила собой другое событие. А состояло оно в том, что в ночь, предшествующую тому утру, когда был обнаружен взлом, кто-то позвонил в квартиру № 25, выходившуюся на той лестнице, что вела на чердак. В этой однокомнатной квартирке (бывшей швейцарской) одиноко обитала бухгалтерша ЖАКТа Клавдия Борисовна Птенчикова. Она, естественно, была удивлена — кто это будит ее среди ночи?! Когда она сквозь дверь спросила: «Кто там? Чего вам надо?» — ей никто не ответил. Но затем она услыхала детский писк — и открыла дверь. На лестничной площадке стоял, аккуратно закутанный в добротвую теплую одежду, малыш; на вид ему было годика два.

— Поднидыш!.. Только этого мне не хватало! — воскликнула тетя Клава. Затем внесла ребенка в квартиру, уложила на кушетку — не оставлять же его на лестнице. И вдруг малыш улыбнулся ей, да так ласково и весело, что она мысленно повторила: «Только этого мне не хватало!» Но повторила уже в ином, самом положительном смысле. Короче говоря, она решила усыновить дитя, и вскоре осуществила это, оформив его через загс на свою фамилию и присвоив ему имя Юрий.

Родителей своих Клавдия Борисовна не знала, воспитывалась в детдоме, потом окончила бухгалтерские курсы, устроилась счетоводом в наш ЖАКТ, получила квартиру. А вообще-то, судьба ее не баловала. Замуж вышла поздно, да и муж попался какой-то несерьезный — вскоре покинул ее ради другой, что покрасивше. Красотой, честно говоря, тетя Клава не блистала. Зато блистала она добротой своей. Если в доме кому помощь нужна — все к тете Клаве бегут. Она и за больным поухаживает безвозмездно, и обиженного утешит, и деньгами из последних своих средств поможет. За ней не только в нашем доме добрая слава утвердилась, но и в соседних домах. Мало того, слава та, по каким-то космическим каналам, и до одной дальней планеты дошла; иначе не подкинули бы тете Клаве иномиряне своего ребенка. Впрочем, о том, что он не из мира сего, она знать не знала, ведать не ведала. И даже позже, когда Юрик признался ей, что он на Земле гость, а не хозяин, она ему не поверила, за выдумку сочла.

А та загадочная чердачная история произошла, когда я еще совсем маленьким был. Услыхал я об этом много позже, уже в мало-мальски разумном возрасте. Мне взрослые рассказали. Загадочный взлом так въелся в их память, что они много лет спустя его переживали и пережевывали.

3. ТРУСОВАТЫЙ ХРАБРЕЦ

Жили мы с Юриком Птенчиковым по одной лестнице, но до поры до времени никакой дружбы у нас не намечалось — как, впрочем, и вражды. Был он мальчишка как мальчишка. Правда, добрый, необидчивый. Ребята с нашего двора любили его и, любя, Парголовским иностранцем звали. Как известно, в Парголове когда-то много ингерманландцев (в просторечии — чухонцев) обитало. А у Юрика с речью не все благополучно обстояло: он иногда как-то странно, непонятно выражался, слова коверкал. Вроде бы на иностранный манер. Все думали, что это он нарочно выпендривается, чтобы из общей массы выделиться. Но так как шкет он был невредный, то это ему охотно прощали.

Когда пришло время, родители определили меня в школу. В ту же школу и в тот же 1-«а» пошел и Юрик. Так мы стали первоклассниками-одноклассниками. И до выпускных экзаменов вместе учились. А дружба наша началась с третьего класса. Об этом подробно рассказать надо.

В нашем дворе стояло невзрачное одноэтажное строение, там продавцы из продмага пустую тару хранили. Впрочем, хранили — не то слово. Дверь в то тарохранилище они почти никогда не запирали. Ребята с нашего двора часто проникали туда, играли в прятки между штабелями ящиков. И вот в одно декабрьское воскресное утро иду я по двору (мать меня в аптеку за аллохолом послала) — и вижу: дверь в склад приоткрыта, и оттуда дым идет и светится там что-то неровным светом. И в этот момент выбегает оттуда Борька, восьмилетний шкет с нашего двора, и вопит бестолково: «Пожар! Пожар! Юрка сгорит!» Потом другой мальчишка выскакивает — Семка из 26-й квартиры — и тоже кричит что-то насчет пожара. Оказывается, они вдвоем там кантовались, какой-то дот возводили из ящиков, потом холодно им стало, а у Семки-дурака спички имелись, и он «маленький-маленький костерчик из досочек разжег», а огонь вдруг на ящики перекинулся. Ребята эти своими силами хотели пожар ликвидировать, а в то время Юрик через двор шагал. Он дым увидал, каким-то образом догадался, в чем тут дело, и поспешил на помощь, и как-то так получилось, что едва он в склад вбежал, как на него эти шпвнята (конечно, не по злой воле) штабель ящиков обрушили. Впрочем, все это позже выяснилось. А в ту минуту, после того как эти двое из склада выбежали, оттуда донесся болезненный вопль Юрика. Он выкрикивал какие-то непонятные слова.

Во дворе в этот момент, кроме меня, этих двух перепуганных мальчишек и девчонки

Зойки из 27-й квартиры, никого больше не было. И я понял, что именно и должен поспешить на помощь Юрке. Но мне стало страшно. Несколько драгоценных секунд я мысленно уговаривал сам себя — и все не мог решиться. И тут Зойка проскандировала своим писклявым голоском: «Фимка — бояка, Фимка — трусишка!» После этого я кинулся в складское помещение. Я распихал горящие ящики, нашел лежащего под ними Юрика — и выволок его на чистый воздух. К тому времени во дворе показались взрослые, а вскоре и пожарные подоспели.

Юрик-бедняга месяц в больнице на Большом проспекте отлежал и вышел оттуда с чуть заметной хромотой — это из-за того, что сухожилие на левой ноге было огнем повреждено. Из-за этой микрохромоты его, когда призывной возраст настал, на военную службу не взяли. А у меня на всю мою жизнь осталось чувство вины: если бы я не потратил несколько секунд на трусость, то ожог был бы поменьше и никакой хромоты у Юрки не получилось бы.

Как видите, при пожаре том никакая героическая кончина мне не угрожала. У меня только пальто на правом плече обгорело, да на левой ладони волдырь от ожога вскочил — вот и все. Но тетя Клава сделала из этого какой-то подвиг, всем стала твердить о моей якобы отваге, а главное — навсегда внушила Юрке, что я его от верной гибели уберег. И с той поры он стал считать меня своим спасителем и покровителем. А когда его из больницы выписали, он первым делом попросил классную нашу наставницу Нину Васильевну, чтобы она посадила его за парту рядом со мной. Нина Васильевна просьбу эту охотно выполнила, отсадила от меня Кольку Пекарева, а на его место Юрик сел. Я против этой рокировки не возражал. Дело в том, что Колька тот в струнном кружке обучался и часто о музыке толковал, а мне это было не по нутру (почему — после узнаете). Ну а Нина Васильевна так охотно согласилась на эту перестановку потому, что я по родному языку хорошо шел и мог Юрику пособить. Юрик многие предметы блистательно осваивал, педагоги прямо-таки дивились его способностям, но из-за неладов с русским языком на круглого отличника он не тянул. Он и в диктовках ошибки делал, и в устной речи иногда какую-то околесицу нес, и в сочинениях на вольную тему не раз выдавал фразочки вроде такой: «Докторша-глазунья навязала пострадальцу повязку на все оба глаза». Я, как мог, старался помочь ему овладеть правильной речью, да и читал он очень много — и все-таки туго шло у него это дело.

А дружба наша крепла. Теперь Юрик дома у нас стал бывать. Родителям моим он очень по душе пришелся. Он и тете Рите понравился, но ее огорчало, что он смеется мало. Она решила ему уроки смеха давать, да ничего из этого не вышло. В нем с годами серьезность нарастала, грусть какая-то.

4. ДРУГ НЕ ИЗ МИРА СЕГО

Настоящая дружба в себя и взаимную критику включает. В моей голове уже в школьные годы зрели различные проекты, и я делился своими мыслями с Юриком — и тот отвергал очень многое. А мне не по душе было, что он, несмотря на все мои старания помочь ему русским языком овладеть, очень медленно в этом деле преуспевает и самые простые поговорки перевирает на свой лад. Однажды (это было, когда мы в седьмом классе учились) договорился я с ним, что зайду к нему в семь вечера и пойдем мы в кино «Балтика» — там фильм про шпионов шел.

— Только не опоздай,— сказал мне Юрик.— Помни: точность — вежливость кораблей!

— Не кораблей, в королей,— сердито поправил я друга.— Пора бы тебе перестать иностранца из себя строить, над родным языком измываться!

И тут Юрий Птенчиков признался мне, что русский язык — не родной его язык. Он, Юрий, прибыл на Землю с отдаленной планеты Кума (ударение на первом слоге). На этой Куме издавна существует такой обычай: некоторые родители подкидывают своих детей на другие планеты — для того чтобы дети их осваивали инопланетные языки, обычаи и исторические факты, дабы, вернувшись в зрелом возрасте на Куму, создавать научные труды по истории иных миров и тем способствовать общему развитию своих соотечественников. В дальнейшем это послужит налаживанию дружеских межпланетных контактов. К вышеизложенному Юрик добавил, что военная техника и вообще техника землян его нисколько не интересует, ибо Кума — планета мирная. А вообще-то, наука и техника у куманиан стоят на куда более высоком уровне, нежели у землян. В этом отношении Куме у Земли учиться нечему; это все равно как если бы студент-отличник пятого курса захотел бы брать уроки у школьника-второгодника.

Далее он поведал мне, что Кума — планета весьма древняя, и у ее обитателей давно выработалась наследственная генетическая культура. Куманиане и куманиавки рождаются уже со знанием основ математики, физики, химии, географии и истории. И, разумеется, они являются на свет вполне грамотными. И вот это-то врожденное знание родного языка мешает ему, Юрию, в освоении языка русского.

— Я бы освоил его не хуже, чем ты, Фима, но в моем черене прочно угнездились грамматические правила куманийской бытовой и письменной речи, и они все время вступают в драку с нормами земной словесности и письменности. Поэтому не дивись, Фима, что у меня иногда возникает неправильное говорение,— закончил он свое признание.

— А тетя Клава знает, откуда тебя к ней подбросили?

— Моя маманя земная знает, я ей говорил. Но она не верит. Она повелела мне в тряпицу помалкивать, а то подумают, что я психоненормальный. Это я только тебе, по дружеству...

— Не бойся, куманек, я тебя никому не выдам. Вот если бы ты со шпионским заданием к нам прибыл, если б ты резидентом был, я бы тебя своею собственной рукой укокошил. Но ты, я вижу, вреда землянам не причинишь.

— Курв я буду, если причиню! — воскликнул Юрик.

— Только не «курв», а «курва»,— поправил я иномирянина.— Пора бы тебе освоить кое-какие необходимые слова!

— Во-во! Давно пора! Но не ладится у меня дело с необходимыми словами. В куманском языке похвалительных слов много, а вот осудительных — один, два — и фиг с маслом. А ведь я здесь земной язык полностью должен в свой ум вобрать. Когда на Куму окончательно вернусь, я там профессором стану, специалистом по земной словесности.

— Ладно, Юрик, по части необходимых слов я над тобой шефство возьму. Буду расширять твой словесный кругозор.

— Спасибо, Фима!.. Обогащай меня!.. Беден, беден наш кумианский язык. Ведь вот, например, на букву «Д» только двумя словами я могу себя критиковать: «Уп — домтиа» и «Уп — дионлат». Это значит: «Я — непослушный» и «Я — слишкомнетороплливоработающий». А по-вашему, по-земному, на эту букву — целая алмазная россыпь: я — дурак, дурень, дурошлеп, дуралей, двоечник, дармоед...

— Дебил, домушник, душегуб, держиморда, демагог, дегенерат, двурушник, диверсант, дебошир,— продолжил я.

— Боги мои, какое речное богатство! — восхищенно прошептал Юрик.

— Богатство речи,— поправил я иномирянина и добавил, что могу составить для него словарик строгих слов от слова «алкаш» до слова «ябеда», и он может взять его с собой на свою Куму. Но иномирянин ответил мне, что никаких книг, никаких записей увозить с Земли он не имеет права. Только то, что есть в голове!

5. Я УЗНАЮ, ЧТО В НЕБЕ ЕСТЬ ФЕМИДА

После школы я успешно сдал экзамены в Проекционно-теоретический институт, а закончив его, поступил работать в ИРОД (Институт Рациональной Организации Досуга). Что касается Юрия, то ему нужна была работа, помогающая обогащению его устного словаря. Поэтому он устроился продавцом в букинистический магазин. Однако вскоре понял, что устная речь книголюбов слишком стерилизована, в ней отсутствуют «твердые словечки», что ему нужно выйти на широкий словесный простор. Какое-то время был он банщиком, затем, сменив еще несколько специальностей, наконец стал гардеробщиком в столовой.

Теперь жизнь наша текла по разным руслам, но дружба продолжалась, и я был в курсе его бытия. Все свободное время Юрий проводил за чтением, но устная речь его по-прежнему не была гладкой. И очень тяжело шло у него дело с освоением «строгих» слов, хоть был он очень старателен. Иногда он даже в ИРОД мне звонил:

— Фима, срочно проэкзаменуй меня на букву «С»! Перечисляю: скупердяй, соблазнитель, сволочь, слабак, склочник, совратитель, скандалист, слюнтяй, стервец, скопидом, спекулянт, симулянт, сопляк...

— Садист, сутенер, свинтус, сутяга, скобарь, супостат, саботажник, сквернослов, самодур, сквалыга,— перехватывал я эстафету.

— Какая роскошь! Как богата словесность земляная! — восклицал мой друг.

— Не «земляная», а «земная»,— поправлял я его.

С такими запросами Юрик обращался ко мне не раз, и, к сожалению, ответы мои слышал не только он. Телефон общего пользования находится в курительном коридорчике нашего ИРОДа, вход туда никому не запрещен... И именно здесь зарождаются сплетни.

* * *

Добрая старенькая тетя Клава умерла, когда Юрию шел двадцатый год. Похоронил он ее со всеми возможными почестями. Теперь он одиноко жил в однокомнатной темноватой квартирке. Жил скромно и всю свою зарплату тратил на книги. Однажды он сказал мне, что когда закончит земное образование, то перед отлетом на Куму он все эти тома бесплатно отнесет в районную библиотеку. Ведь никаких книг и вещей подкидышам брать с чужих планет не положено — только умственный багаж да ту одежду, что на них.

— Это хорошо, Юрик, что ты такой добрый и честный,— констатировал я.— Ты даже ненормально-честный, я это давно заметил. Но кое-что мне в тебе не нравится.

— А что именно? Говори нараспашку.

— Не нравится мне, что живешь ты, как монах. В хавире твоей — никаких следов женского присутствия. И вообще за девицами совсем не ухлестываешь. Ты что, в святые записался?

— Нам, подкидышам, нельзя на чужепланетницах жениться,— тихо ответил Юрик.

— Чудило, никто тебя в загс не гонит! Ведь и помимо загса можно...

— Фима, я не предатель, не мошенник, не инсинуатор, не христопродавец, не блудень! Я не могу изменничать своей невесте.

— Так женись на ней! Чего же проще!

— Но она — не здесь. Я ее на Куме, как это у вас говорится, засковородил.

— Юрка, ты в своем уме?! Как ты мог на Куме девушку захороводить, ежели ты почти с пеленок на Земле околачиваешься?!

— Фима, раскроюсь тебе... Когда мне пятнадцать лет звякнуло, я заимел право летать на родную Куму. Мне тогда особые таблетки прислали. Я там много времени прохлаждаюсь. Поэтому и с русским языком у меня торможенье; то я на Земле по-земляски говорю, то на Куме по-куманийски,— а в голове паутина получается.

Признание моего друга ошеломило меня. Ведь вся его жизнь шла у меня на виду, и мне было известно, что за все годы нашего знакомства он никуда далеко из Питера не отлучался. В то же время я знал, что он не способен на преднамеренную ложь. Но если он верит в это раздвоение своего бытия — значит, он болен психически...

— Не бойся, я на все проценты психонормальный,— словно угадав мои мысли, продолжил разговор Юрий.— Мне давно надо было вскрыть перед тобой эту секретную тайну. Но один наш мудрец так высказался: «Если твоя правда похожа на ложь — молчи, дабы не прослыть лжецом». Я боялся, что ты мне не поверишь. А с другой стороны, боялся, что поверишь — и тогда с умя спятишься.

— Не бойся, куманек, ум у меня прочный,— резонно возразил я.— Но объясни мне, как ты ухитряешься незаметно с Земли ускользать в эти свои космические самоволки?

— Для ускользновений я пользуюсь законом сгущенного времени. Заглотаю особенную таблетку — и мое десятиминутное отсутствие на Земле равняется моему двухмесячному пребыванию в космосе и на Куме. Веруешь мне?

— Верю, Юрочка. Но верю умом, а не воображением.

— Фима, тебе надо побольше фантастики читать. Фантасты уже научились и останавливать время, и удлинять его, и укорачивать, и скособочивать, и спрессовывать, и расфасовывать...

— Повторяю, Юрик: я тебе верю,— прервал я словоохотливого иномирянина.— Но ты фантастикой мне голову не задуривай! Не забывай, что я тружусь в серьезном научном институте, и там у нас — никакой фантастики, там у нас — реальная забота об улучшении быта трудящихся!.. Кстати, как на твоей Куме с зарплатой дела обстоят? Деньги-то у вас существуют?

— Существуют,— ответил инопланетчик.— Но деньги у нас устные.

— То есть как это «устные»? — удивился я.

— А так. Никаких банкнотов, никаких монет. В конце суртуга, то есть месяца, к каждому турутаму, то есть работающему, подходит тумарон, то есть бухгалтер, и сообщает, сколько тот заработал бутумов, то есть денежных единиц. Турутам прочно и точно запоминает сумму и тратит ее в магазинах по своему усмотрению. Он выбирает себе вещи, продукты, а продавец каждый раз говорит ему: «Вы истратили столько-то». А он продавцу отвечает: «Учту и вычту».

— Ну, Юрка, вот это уже какая-то бредовая фантастика началась. В сгущенное твое время я поверил, а в устные деньги — не могу. Ведь при такой финансовой системе все магазины и универмаги за один день прогорят.

— Нет, Фимушка, на Куме у нас пожаров не наблюдается. Положа руку на солнце, скажу тебе, что не лгу! Я — не врун, не лгун, не вральщик, не обманник!.. И ты своими зрачками можешь в этом убедиться. Вообще-то посторонних пассажиров брать на звездолеты не полагается, но насчет тебя я договорюсь. Ведь ты — мой ангел-спаситель!.. На Земле никто и не заметит твоего неприсутствия, так что никакого прогула не будет. А на Куме тебя встретят дружеским гимном!

— Так у вас там тоже музыка есть? — огорченно спросил я.

— Есть! — радостно воскликнул иномирянин.— И такая звучимость, что хоть святых в дом приноси, как у вас говорится.

— Нет, Юрик, на Куму к тебе в гости я не полечу,— твердо ответил я.— Ты ведь знаешь, какое у меня отношение к музыке... Мне бы на какой-нибудь тихой планете побывать, отдохнуть от земного шума.

Хотел бы один я пожить на планете,
Где нет ни роялей, ни джазов, ни ВИА,

Где нет никаких сослуживцев и сплетен,
Где ждет меня уединенная вилла!

И тут мой друг признался, что на полпути между Землей и Кумой имеется планета, на которой сейчас обитает лишь один ученый — куманианин. Однако никаких вилл и коттеджей там нет. Там есть здание бывшей тюрьмы, переоборудованное в научный центр по изучению одиночества. В том здании идеальная тишина, а кругом — джунгли, в них звери беспощадные. Для колонизации та планета непригодна. Тюрьма же была воздвигнута специальной технической экспедицией по приказу судебной комиссии. В эпоху жестокого средневековья туда ссылали тяжелейших преступников. Посадят их в старинный звездолет тихолетный — и везут туда, и рассаживают по звуконепроницаемым камерам.

— Юрик, мне бы такое наказание со строгой звукоизоляцией! Мне бы такое средневековье! А как та планетка называется?

В ответ Юрий певуче и невнятно произнес какое-то длинное слово.

— Как? Как? — переспросил я.

— Ну, это, если перевести, у нас так одна богиня судебная зовется — вроде вашей Фемиды. И планету так окрестили.

— А большие сроки тем уголовникам давали?

— Очень громоздкие! Даже до трех месяцев, если на земное время пересчитать. Были случаи схождения с ума, были случаи погибельного бегства. Слава богу, что все это — древняя история.

— Дальше, дальше рассказывай,— потребовал я.

— Когда тюрьму отменили, туда, на Фемиду, отбыла специальная бригада от Академии Всех Наук и организовала там филиал куманианского института по изучению одиночества. И назвали это так: Храм Одиночества. В погоне за одиночеством, чтобы сотворить ценные рефераты на эту тему, на Фемиду хлынули ученые — одиночествоведы, они по четверо в каждой камере угнездились.

— Не очень одинокое одиночество,— съехидничал я.

— На ушибах — учатся,— продолжал Юрик.— Такое перевыполнение было признано антинаучным, и ввели новое правило: в Храме Одиночества для полного освоения одиночества имеет право обитать только один научный работник. Сейчас там работает над диссертацией один известный одиночествовед, но на Куме летают слухи, что скоро тема будет закрыта и после него на Фемиду никого не пошлют.

— Значит, опустеет этот райский уголок! Вот бы мне туда!

— Не шутейстуй, Фима! Ведь Фемида — самое страшное место во всей Вселенной!

Тогда на этом и кончился наш разговор. Я его отлично запомнил.

6. Я О СЕБЕ

Однако что же это о себе я помалкиваю?

Есть и для скромности предел,
Не скромничай до одури,—
Иначе будешь не у дел,
Зачислен будешь в лодыри.

Я рос в шумно-культурной семье. Отец и мать — пианисты. Туше у отца очень сильное. До ухода на пенсию он вел музыкальные кружки в различных клубах, а днем упражнялся на рояле дома; мать, наоборот, днем преподавала музыку в школе, а домашний инструмент использовала по вечерам, совершенствуя стиль игры. Мало того, в квартире нашей обитает тетя Рита, по специальности — дура. Это было ее амплуа, она на эстраде изображала этакую симпатичную дурочку. Партнер задавал ей вопросы, а она в ответ хохотала глуповатым смехом и заражала публику неподкупным весельем. То был ее коронный номер. Дома она, чтобы не утерять квалификации, ежедневно упражняется в смехе — даже выйдя на пенсию.

Родители намеревались пустить меня по звуковому руслу, но вскоре убедились, что музыкальным слухом я не обладаю. Иногда мне хотелось, чтобы у меня вообще слух отсутствовал,— так нервировал меня шум домашний. Помню, когда я учился во втором классе, во время медосмотра врач спросил меня, нет ли жалоб на здоровье. Я ответил, что есть жалобы на уши: нельзя ли меня как-нибудь оглушить медицинским способом? Медик рассердился, сказал, что такие шутки неуместны.

К музыке у меня особое отношение, да и вообще ко всякому шуму. Думаю, тут трусость виновата. Когда мне было шесть лет, родители снимали дачу в поселке Мухино. Там в роще стояло полуразрушенное каменное строение — Барский дворец, как именовали его местные жители. Все родители-дачники запрещали своим детям ходить туда; говорили, что там опасно. Но именно в такие запретные места и тянет мальчишек. Однажды мой двоюродный братец Женька, которому было уже одиннадцать лет, милостиво пригласил

меня побывать с ним в Барском дворце. И вот по выщербленным ступеням вошли мы в бельэтаж, в небольшой зал. Пол там был завален битыми кирпичами, пахло плесенью. Часть сводчатого потолка отсутствовала, и в большущую дыру виден был второй этаж. Уцелевшая часть свода нависала над нами. Казалось, что она вот-вот на нас обрушится. Я встал у окна, чтобы сразу сигануть в оконный проем, когда начнется обвал. Женька догадался, что мне боязно, и молвил презрительно:

— Эх, Фимка, да ты трусяга!

Осенью того же года, когда родители со мной вернулись в город, я однажды, набегавшись во дворе, уснул на кушетке возле рояля. Мне приснилось, что я опять в Барском дворце и надо мной нависает кирпичный свод. И вдруг послышался грохот. Я проснулся от страха,— а это, оказывается, отец присел к роялю и начал наигрывать что-то очень громкое, только и всего. Но с этого дня я невзлюбил всякую музыку. Правда, меня и прежде к ней не тянуло — но теперь она стала вызывать во мне какой-то подсознательный страх.

При всем моем особом отношении к музыке родителей своих я люблю. Они люди добрые. Добрые к людям, добрые к животным. В те годы они частенько приводили с улицы бродячих собак, приносили бездомных кошек. Но животные у нас долго не задерживались — из-за музыкального шума. Поживет-поживет у нас какой-нибудь барбос, откормится, наберет нужный ему вес, а потом — выведет его отец на очередную прогулку, и драпанет пес без оглядки, в надежде найти себе более тихую обитель. И кошки тоже не приживались. Исключением был кот Серафим (сокращенно — Фимка). Тихий был, степенный, воровал только в исключительных случаях. Музыки боялся, смеха тоже; как тетя Рита начнет хохотать — он на постель или на диван прыгает, на спину ложится и уши передними лапками зажимает. А из дома не убегал, хоть и имел эту возможность; весной, в пору кошачьих свадеб, его во двор гулять отпускали. Родители за верность дому очень его уважали, и меня из уважения к нему тоже Серафимом назвали. Отец потом мне рассказывал, что когда он с матерью пришел в загс меня регистрировать, то делопроизводительница поначалу не хотела такое имя в метрику вписывать, потому как был некий лжесвятой Серафим Саровский, которому царь Николай Второй покровительствовал. Но отец ей толково объяснил, что мне в честь кота имя дают, и тогда регистраторша сказала, что это вполне законно.

Этот кот памятен мне и тем, что благодаря ему я еще в ранние школьные годы смог проявить свои изобретательские способности. Зная, что Фимка не меньше меня страдает от шума, я, из чувства солидарности, решил облегчить ему жизнь. Замерив длину его ног и туловища, и соорудил фанерную конуру; изнутри, для звукоизоляции, я обил ее старым ватином и отчасти — мехом, использовав для этого свою шапку-ушанку. Родители отнеслись к этому отрицательно. К сожалению, и мой тезка — тоже. Он обходил стороной это уютное звукоубежище. А когда я попытался втолкнуть его туда, он зашипел на меня. Надо думать, тут сказался возрастной консерватизм.

7. СЛУЖЕБНЫЕ НЕВЗГОДЫ

Задача ИРОДа — путем усовершенствования бытовой и прочей техники устранять из повседневного быта всяческие стрессовые ситуации и тем способствовать продлению жизни людской. Профиль института весьма широк, в нем много отделов, секций и подсекций. Я — сотрудник секции, где проектируются приборы бытовой безопасности. Но но о своей работе поведу я сейчас речь.

Рядом с моей секцией находится Отдел Зрелищ. Не так давно сотрудники этого отдела разработали проект четырехэкранного кинозала. Кому из вас не приходилось, польстившись на интригующее название фильма и честно купив на него билет, быстренько убедиться, что картина скучна, что актеры играют плохо, что деньги потрачены вами напрасно? Некоторые зрители в таких случаях устремляются к выходу; другие, зевая и чертыхаясь, сидят до последнего кадра. Но и те, и другие покидают зал с чувством раздражения — а это, как известно, сокращает сроки нашего бытия. А теперь, уважаемый читатель, порадуйтесь проекту ИРОДа.

Вы входите в просторный зал. На каждой из четырех стен — по экрану. Кресла — вращающиеся; так надо. Между ними — интервалы; так нужно. В подлокотнике каждого кресла — четыре кнопки. В начале сеанса все сиденья повернуты к экрану № 1. Вы садитесь, надеваете наушники, нажимаете кнопку звукоприема № 1. На экране — фильм из жизни молодого ученого. Он хочет подарить миру свое изобретение, но его соперник вставляет ему палки в колеса. Однако с самого начала ясно, что справедливость восторжествует, и вам эта ясность почему-то не нравится; ведь вы знаете, как тернист путь каждого изобретателя. Огорчает и то, что роль молодой (по замыслу драматурга) подруги ученого исполняет престарелая жена режиссера.

Играя девушку влюбленную,
Надев роскошный сарафан,
Старушка — дама пенсионная,
Кряхтя, вползает на экран.

— Опять эту мымру вытащили! — бормочет зритель, сидящий справа от вас, и делает поворот на 45 градусов влево. Зритель же, сидящий по левую сторону, делает поворот вправо. «А я рыжий, что ли!» — мелькает у вас мысль, и вы поворачиваетесь сразу на 90 градусов и нажимаете соответствующую кнопку звукоприема. У вас перед глазами и ушами — детективная погоня за дефективным негодяем, похитившим из частной коллекции полотно Айвазовского. Под бодрую песню о трудных буднях милиции каскадеры мчатся по улице, ставят свои машины на дыбы, лавируют между автобусами. «Все ясно, не уйдет сукин сын от погони»,— догадываетесь вы и, совершив новый поворот, приступаете к созерцанию кинокомедии. Там происходит что-то очень смешное. Заливистым молодежным киносмехом смеется изящная девушка в джинсах; добротным крестьянским смехом смеется ее мать с подойником в руке; бодро хохочет молодой человек спортивно-физкультурного вида. Но это им смешно, а вам почему-то скучно. Дабы не чувствовать себя тупицей, лишенным чувства юмора, вы совершаете еще один поворот — и вот перед вами фильм из жизни животных, заснятый при помощи дальнозоркой оптики. Медведица со своими потомками расположилась на лесной полянке; бобры заняты сооружением плотины; олени пасутся в тундре. Все очень разумно, всему веришь. К тому же животные не знают, что их снимают, и поэтому, в противоположность актерам, ведут себя очень естественно. Радуясь достижениям киноискусства, вы с интересом смотрите фильм до конца и покидаете зал с чувством удовлетворения. Никаких стрессовых ситуаций! Сами того не замечая, вы сберегли частицу своего здоровья, продлили свою жизнь! А кто вам в этом помог? Вам помог ИРОД!

Увы, уважаемые читатели, должен вам сообщить, что проект этот положен в долгий ящик. До его обсуждения все ироды — в кулуарных разговорах — толковали о том, что это — крупное достижение, которое приумножит славу ИРОДа. Но вот настал день обсуждения — и первым выступил Герострат Иудович, наш директор. Он признал, что сама по себе идея прогрессивно-прекрасна, но тут же трусливо добавил, что ее осуществление встретит свирепое сопротивление актеров и что даже некоторые отсталые зрители будут недовольны. За ним слово взял наш почтенный завлаб Афедрон Клозетович и долго бубнил о том, что строительство нового кинотеатра потребует колоссальных расходов, а это, учитывая хозрасчетные взаимоотношения, приведет к финансовому краху ИРОДа. После этих двух речуг стали выступать рядовые ироды, и каждый находил в проекте какой-нибудь недостаток; обсуждение превратилось в осуждение. Придя домой, я обо всем этом рассказал Насте, и она озарила меня улыбкой № 16 («Нежное сочувствие»). Но потом спросила, сказал ли я там что-нибудь в защиту этого проекта. Я признался, что ничего не сказал.

Ночью приснился мне Юра Птенчиков. Он слезно просил меня сотворить стихотворение, состоящее сплошь из осудительных слов. Проснувшись, я сел за стол и стал слагать строфы. К полудню стихотворение было готово, я переписал его начисто, и когда на следующий день, в воскресенье, Юрик пришел к нам в гости, я прочел ему свой труд. Мой друг мгновенно выучил его наизусть. Он был в восторге, он заявил, что заимел ценное научное пособие. А вот Настя была недовольна. Она сказала, что лучше бы мне было на совещании в ИРОДе честно высказаться прозой, чем исподтишка кропать такие стихи. И тогда я решил всенародно опубликовать свое критическое творение — и тем доказать себе и другим, что я не трус.

В понедельник я явился в ИРОД раньше обычного и поспешил в демонстрационный зал, где висела свежая стенгазета «Голос ИРОДа». Видное место в ней занимала передовица Герострата Иудовича «Усилим взлет самокритики!». Поначалу решил, что мое стихотворение будет куда больше способствовать такому взлету, я хотел налепить его на передовицу — и извлек из портфеля рукопись, а также тюбик с клеем и кисточку. И тут мне стало боязно, по спине пробежал холодок. Похоронить под своим творением статью директора я не решился, я наклеил рукопись на какие-то заметки в нижнем углу стенгазеты — и отошел в сторонку, дабы поглядеть на дело ума и рук своих. На фоне машинописных листков моя рукопись резко бросалась в глаза. Подписи под ней я не поставил,— но ведь все ироды знают, что только один я во всем институте пишу стихи... Спине моей опять стало холодно, меня охватило чувство неуюта и тревоги, будто я вскарабкался на высоченный скользкий утес и не знаю, как с него спуститься. Тем временем в противоположном конце зала показалась чья-то фигура, начинался трудовой день... Я заторопился в свою секцию, сел за рабочий стол и стал ждать того, что будет. Оба моих секционных сотоварища отсутствовали; один был в отпуске, другой на бюллетене. Не прошло и часу, как ко мне ворвалась Главсплетня. Своим лающим голосом эта конструкторша сообщила по большому секрету, что все ироды собираются меня бить, а директор вызвал наряд милиции, чтобы посадить меня на пятнадцать суток.

— За что?! — неуверенным голосом спросил я.

— За то! — пролаяла Главсплетня — и удалилась.

Волна тоскливого страха накатила на меня. В мозгу возникло четиеростишие:

Стихи писал я смело,
Имел отважный вид,—
Но стал бледиее мела,
Узнав, что буду бит.

Минут двадцать я сидел, ожидая, что сослуживцы ворвутся в комнату и приступят к кулачной расправе. Но никто не нарушил моего одиночества. Тогда я решился пойти в демонстрационный зал, поглядеть, что там делается. Возле стенгазеты стояли несколько иродов и обсуждали мое творение. Оказывается, никто из них не собирался меня бить, ибо каждый считал, что к нему лично стихотворение никакого отношения не имеет. И каждый, с плохо скрываемым удовольствием, печалился за своих сослуживцев, которых я так метко разоблачил. При этом все стоящие возле стенгазеты со смаком перечисляли имена тех иродов, которых в данный момент поблизости не было. Мне стало ясно, что никакого рукоприкладства по отношению ко мне не предвидится. И никакой милиции в зале не видно. Все Главсплетня мне набрехала!

Дело окончилось тем, что стенгазета была снята со стены, а директор Герострат Иудович дал мне выговор в приказе «за нетактичное поведение». Перед этим он вызвал меня в свой кабинет и доверительно сообщил, что он скрепя сердце вынужден дать мне этот выговор, а не то завлаб Афедрон Клозетович будет на него в обиде за то, что он, директор, никак не наказал меня. Ведь всем ясно, что в моем стихотворении речь идет именно о завлабе.

С успокоенной душой вернулся я в свою секцию и принялся за работу. К концу рабочего дня ко мне неожиданно заглянул Афедрон Клозетович. Он поинтересовался, как идут мои изобретательские дела, а потом вдруг хитро улыбнулся и сказал:

— Это, конечно, между нами, но очень понравился мне ваш стишок. Очень хитро и тонко вы нашего Герострата Иудовича на перо поддели! Прямо-таки живой словесный портрет его дали!

Уважаемый Читатель! Дабы вы были вполне в курсе дела, приведу здесь свое стихотворение полностью. Если оно придется вам по душе — можете его переписать и вывесить на видном месте в своем учреждении. Это, несомненно, послужит повышению уровня товарищеской самокритики.

МОЕМУ СОСЛУЖИВЦУ

Ты — мой сослуживец, однако
Скажу тебе честно, как друг:
Ты — Сволоч без мягкого знака,
Ты — Олух, Лопух и Бамбук!

Ты — Хам, Губошлеп, Забулдыга,
Нахлебник, Кретин, Обормот,
Обжора, Бесстыдник, Ханыга,
Растратчик, Раззява, Банкрот!

Ты — Трус, Паникер, Проходимец,
Прохвост, Лихоимец, Злодей,
Обманщик, Стяжатель, Мздоимец,
Ловчила, Лентяй, Прохиндей!

Ты — Лжец, Анонимщик, Иуда,
Фарцовщик, Охальник, Наглец,
Поганец, Подонок, Паскуда,
Тупица, Паршивец, Стервец!

Ты — Рвач, Пасквилянт, Злопыхатель,
Алкаш, Охламон, Остолоп,
Пижон, Подхалим, Обыватель,
Фигляр, Саботажник, Холоп!
. . . .
Годами молчал я, как рыба,—
Но правду поведать пора!..
Скажи мне за это спасибо
И в честь мою крикни: УРРРА!

8. КВАРТИРНЫЕ НЕВЗГОДЫ

Читателям почему-то всегда интересно, женат или холост герой того или иного повествования, даже если само повествование не очень их интересует. Рад объявить уважаемым читателям, что я женат. И, представьте себе,— удачно.

Скажу, холостякам назло,
Что мне с женою повезло,—
Я создал прочную семью,
А мог нарваться на змею!

В юности я мечтал, что подругой моей жизни станет неведомая немая красавица. Но потом прочел где-то, что зарегистрированы случаи, когда немые обретали дар речи и тогда становились очень горластыми и разговорчивыми. Поэтому поиски мои окончились тем, что я взял в жены говорящую, но не говорливую девушку с мягким, добрым характером. И имя у нее спокойное, уютное: Настя. И профессия у нее тихая, бессловесная: она — массажистка. Мы живем душа в душу — хоть иногда и конфликтуем. В характере Насти есть кое-какие загогулины — и это даже хорошо, это делает нашу жизнь более интересной.

Пусть жена полна серьезности,
Ей за это честь и слава,—
Но один процент стервозности —
Не отрава, а приправа.

Свадьбу мы справили скромно. На ней, кроме Насти и меня, присутствовали наши родители, а из гостей — три Настины сослуживицы и мой друг-иномирянин Юрик. Я заранее упросил отца и мать не сопровождать празднество музыкой, и просьба моя была выполнена. Вот только тетя Рита не воздержалась от шума, объявила «пятиминутку смеха», которую растянула минут на пятнадцать. Из вежливости пришлось и всем остальным подхохатывать ей.

Вскоре после рождения дочки у нас устроилось дело с жильем, и мы с Настей и Таткой поселились на Гражданском проспекте в отдельной двухкомнатной. Я заранее предупредил супругу, что никаких телевизоров, транзисторов и прочих шумовых изобретений не потерплю в нашем жилище,— и она согласилась. Но тишина в квартире зависит не только от ее обитателей. Оказалось, что над нами живет выпускница консерватории, владелица мощного рояля, а под нами — семейка, обожающая рок-музыку. Когда музыкантша слишком громко начинала наяривать на рояле, я посылал наверх Настю, чтобы она попросила ее играть потише. А когда снизу доносились яростные шумовые вспышки, я сам спускался к меломанам и вежливо просил их прекратить это звукоблудие. Но уговоры наши почти никакого действия не оказывали, и я понял, что нужно искать обмен.

Милей мне волки и медведи
И разъяренные слоны,
Чем те двуногие соседи,
Что музыкой увлечены.

После недолгих поисков мы обменялись на квартиру в Купчине. По уверениям ее жильцов, она была очень тихая: сверху — чердак, а под ними живет глухой зоотехник в отставке. Вскоре выяснилось, что мы, как говорится, сменяли быка на индюка. Зоотехник действительно был глухим — но не на все 100 %; поэтому он, чтоб лучше слышать телевизор, включал его на полную громкость. Я понял, что для нас назревает новый обмен.

Короче говоря, за минувшие восемь лет мы сменили пять адресов. И каждый раз нарывались на соседство то с исполнителями, то с любителями громкой музыки. Но в прошлом году счастье вроде бы улыбнулось нам — это когда мы обменялись на Выборгский район. Правда, санузел — совмещенный, потолок — с протечками, но зато тихо. Я так и сказал Насте: лучше тихая хижина, чем шумный дворец. Но когда мы с помощью Юрика (он при каждом переезде нам помогал) стали расставлять мебель, Настя вдруг села на кушетку, усадила рядом с собой Татку — и заплакала. Сквозь слезы она заявила, что мы, мол, уперлись в жилищный тупик, что я и отсюда захочу меняться, но сюда уже никакой дурак не поедет.

Я, признаться, был ошеломлен этим слезным бунтом моей супруги, тем более, что и Татка к ее плачу примкнула. И тут слово взял мой друг-иномирянин.

— Настечка, затормозите свои рыданья! Не так уж здесь антиуютно! Радуйтесь тому, что есть! Один мудрец с моей планеты так выразился: «Если ты будешь рад некрасивому цветку, то он обрадуется твоему обрадованью — и станет красивым».

Высказывания Юрика всегда вызывают у Насти улыбку. И на этот раз она порадовала его улыбкой № 18 («Дружеское взаимопонимание»), но затем снова заплакала.

И тут опять заговорил Юрик. Голос его дрожал от сочувствия. Он сказал, что мы переутомились и что нам надо на время сменить обстановку. В ближайшее время он снова собирается слетать на родную Куму, где его ждет невеста. Он зовет нас в гости. Бесплатным транспортом, питанием и жильем он нас обеспечит. Правда, водители звездолетов не имеют права брать на борт иномирян, но тут дело особое: ведь я — его спаситель. К тому же его папаня — диспетчер главного куманийского звездодрома. Юрик с ним договорится... Мы должны учесть и то, что путешествие на Куму нисколько не нарушит наших

земных планов и дел: используя закон сгущенного времени, мы, покинув Землю на два или на три месяца, вернемся в день отбытия с нее.

— Мама, этого не может быть! — воскликнула Татка.

— Тата, дядя Юра никогда не лжет! — одернула ее Настя.— Ты сама поразмысли: если есть сгущенное молоко, то почему бы не быть и сгущенному времени?

— Да-да! — подтвердил Юрик.— Сгущенное время — реальная нормальность! Сколько раз я летал на родную Куму, а на Земле не сотворил ни одного прогула. Я не прогульщик, не двурушник, не симулянт!

Однако Настя от экскурсии на Куму отказалась категорически. И не из страха перед неведомым — она не трусиха, нет! Свой отказ она мотивировала так: настанет день, когда на какую-нибудь дальнюю планету устремится межпланетный корабль, экипаж которого будет состоять из землян. Это они, побывав на неведомой планете, приумножат славу Земли. А ежели мы, не имеющие к космическим делам никакого отношения, первыми отправимся в дальний полет в качестве блатных пассажиров, то этим мы не только не прославим Землю, но — наоборот — унизим ее в глазах инопланетян.

Мой друг не ожидал от покладистой Насти столь строгой отповеди. В особенности огорчило его упоминание о блате.

— Настечка, это не блат в стопроцентной оценке,— начал оправдываться Юрик.— Ведь Серафиму я жизнью обязан!.. Один мудрец с моей планеты так выразился: «Если кто тебя из смерти спас, то ты считай его вторичным отцом — и во всем ему помогай». Вот я и хочу помочь ему и вам. Это не блат, это дружелюбный, задушевный блатик...

— Нет, это не блатик! Это — блатище в космическом масштабе! — решительно подытожила Настя.

Мне же на Куму лететь не хотелось по другой причине, уже известной читателям: там тоже водятся музыканты и любители музыки, так что покоя я там не обрету. Но я помнил, что есть планета Фемида, где в Храме Одиночества царят тишина и покой...

9. НЕРВНАЯ ВСТРЯСКА

Год с небольшим в квартирке на Выборгской прожили мы совсем неплохо. Татка к новой школе привыкла, стала пятерки приносить. А я прямо-таки жил да радовался; и в ИРОДе были мной очень довольны, творческая отдача моя резко повысилась. Но не дремал коварный Рок...

В одно субботнее утро из-за стены, которая отделяла нашу квартиру от соседней, где обитали старушка, занимавшаяся вязаньем свитеров и кофт, и ее полностью глухонемой муж, послышался грубый шум передвигаемой мебели. Я кинулся на лестницу. Дверь в соседскую квартиру была распахнута настежь, лестничная площадка была загромождена вещами. Соседи переезжали...

— Не беспокойтесь,— ласково затараторила старушка-вязальщица.— У вас теперича заместо нас шибко культурные соседи будут, будет вам с кем беседовать. Он — пианист-роялист, а она на этой, как ее там, на балалайке такой большой работает. Она мне сказала: «Будем на новом месте готовиться к новым достижениям». Ихняя квартира лучше нашей, а они приплаты не требуют. Их соседи выжили, завидуют их художественным успехам.

В воскресенье наши новые беззастенчивые застенные соседи приступили к музыкальным действиям. Настя и Татка отнеслись к этому спокойно, а мне стало очень даже не по себе. Я оделся, вышел из дома. Побродив по Выборгской стороне, я сел на трамвай и поехал на Васильевский остров. Там навестил родителей, но пробыл у них недолго; при всем их прекрасном отношении ко мне печали моей понять они не могли. Спустившись по лестнице в первый этаж, я нажал кнопку звонка у двери в квартиру Юрика и очень обрадовался тому, что он дома. Через микроприхожую, где висела его скромная одежда, мой друг провел меня в заваленную книгами комнатуху и первым делом попросил напомнить ему, какие строгие слова есть на букву «Р».

— Расстрига, распутник, раскольник, ракло, ретроград, растлитель, рвач, растратчик, разбойник, ругатель, растеряха...— начал я.

— Раззява, размазня, разгильдяй, разоритель,— присовокупил Юрик, а затем пожаловался, что освоение строгих слов идет куда медленнее, чем ему хочется, а ведь скоро ему надо лететь на Куму для очередного научного отчета. Он опять два месяца там пробудет.

И тогда я сказал, что мне необходимо побывать на Фемиде, отдохнуть там от земного шума в мирном Храме Одиночества, и свинство будет, если Юрик мне не поможет в этом деле. Мне нужна целебная тишина, иначе я заболею и помру.

Ты будешь греться в сауне,
Начальство ублажать,
А и уж буду в саване
В могилочке лежать.

В ответ на мои доводы Юрик стал убеждать меня в том, что на Фемиде мне будет очень неуютно, хуже, чем на Земле. Тогда, озлившись на своего инопланетного друга, я непечатно выругался — и кинулся вон из его квартиры, даже не попрощавшись.

10. Я — ЖЕРТВА ГЛАВСПЛЕТНИ

В тот памятный понедельник я, как всегда, точно явился в ИРОД к началу рабочего дня. В демонстрационном зале шло испытание домашнего тренажера «Юрий Цезарь». Личное участие в его конструировании принимал сам директор, он же дал и наименование этому детищу ИРОДа. Имя Цезаря «Юлий» показалось Геростратy Иудовичу слишком женственным, и он заменил его на «Юрий» — ведь тренажер предназначен для мужчин. Это довольно мощное сооружение, как бы помесь танка с гильотиной (так отзывались о нем ироды в кулуарных разговорах, когда поблизости не было начальства). Ежедневное пользование тренажером развивает у вас мускулатуру, помогает сбавить вес, повышает обороноспособность и моральную устойчивость. Для этого вы по трем ступенькам поднимаетесь на сиденье, вцепляетесь руками в руль и, положив ноги на педали, приводите механизм «Юрия Цезаря» в движение. На специальной дуге над вами подвешены гиря и кухонный нож. Они все время раскачиваются, меняя угол наклона, и могут ударить вас, если вы не предугадаете их действий и не отклоните их приближения, использовав для этого рычажок, вмонтированный в руль.

В то утро к «Юрию Цезарю» стояла очередь. Каждому хотелось принять участие в испытании — ведь директор находился тут же и внимательно наблюдал за действиями сотрудников.

Надо не надо — жми на педали,
Так, чтоб другие это видали.
Дело — не в деле, дело — в отчете,—
Ты у начальства будешь в почете!

Когда настал мой черед, мною овладел страх, ноги вдруг окаменели. С трудом убедил я себя, что этот «Юрий» — тезка моего друга и поэтому не подведет меня. Взгромоздившись на сиденье, я честно принялся за работу. Действовал старательно и внимательно, но от гири отклониться не удалось. К счастью, дело ограничилось небольшим кровоподтеком возле правого уха. У некоторых иродов травмы оказались посерьезней, четырех пришлось даже госпитализировать. В целом же испытание прошло успешно, директора все поздравляли.

После этого испытания я направился на второй этаж, в наш институтский медпункт, где уже столпилось немало иродов, получивших легкие травмы. Часа через полтора очередь дошла до меня, и медсестричка налепила на мой кровоподтек гигиенический пластырь. В этот момент в медпункт вбожала Главсплетня и сказала, что меня вызывают к аппарату. Я поспешил в коридор-курилку, где на столике стоит телефон. Меня вызывал Юрик.

— Серифим, я долго мыслил,— начал он взволнованным голосом.— Я вспомнил, что один наш мудрец так объявил: «Если ты отказался выполнить просьбу друга, то подойди к зеркалу и плюнь в свое отображение».

— И ты плюнул?

— Наоборот! Я по космическому мыслепроводу связался с Кумой и договорился. В субботу будь у меня в восемь утра. Летим! Ты на Фемиду, я — на Куму. Нас возьмет рейсовый звездолет.

— Значит, место мне забронировано? Надеюсь, мягкое?

— Не волновайся, Фима! Мудрец наш один так сказал: «Если юный спас жизнь кому-то, то и старики потеснятся ради него на почетной скамье». Но я об одном пронзительно тебя упрашиваю: поскольку на Фемиде тебе будет плачевно, то обещай мне, что, когда вернешься с нее, ты не назовешь меня сыном суки.

— Сукиным сыном,— поправил я иномирянина.— Обещаю!

Уточняя некоторые детали предстоящего путешествия, мы проговорили еще минут десять. И все это время в коридоре, покуривая «Шипку», околачивалась Главсплетня. Я уже упоминал об этой конструкторше, а теперь уточню. На вид она даже аппетитная, сдобная — сплошной бюст. Но голос у нее какой-то лающий, будто она собаку живьем заглотала. Впрочем, не ее это вина. А виновата она в том, что вечно все о всех разнюхивает, перевирает на свой лад и затем распространяет это на весь ИРОД. Идет слух, что она и курить-то выучилась для того, чтобы на законном основании торчать в курильно-телефонном коридорчике и слушать чужие разговоры. И вот эта Главсплетня из тех вопросов и ответов, которыми я обменялся с Юриком, спрограммировала такую схему моего ближайшего будущего: 1) я решил плюнуть на работу в ИРОДе; 2) я развожусь с Настей и отбываю на Кавказ с одной богатой дамой, за счет которой буду существовать бесплатно и весело; 3) кроме того, все это дело пахнет какой-то тайной уголовщиной.

Свои умозаключения Главсплетня быстро разлаяла по всем отделам, секциям и подсекциям, и, как водится, все ироды стали обсуждать их, причем каждый не замедлил выдвинуть свою вариацию и приобщить ее к делу. На другой день я заметил, что все сотрудники и сотрудницы поглядывают на меня с пронзительным интересом, а когда пошел в институтскую библиотеку и попросил библиотекаршу Кобру Удавовну выдать мне «Справочник по пространственным нормативам», то книгу-то эту мне выдала, но поверх нее зачем-то положила еще одну — «Уголовный кодекс».

— Вы ошиблись, это не по моей части,— сказал я, возвращая ей «Кодекс».— Ведь я — не судья.

— Суд существует не только для судей, но и для подсудимых,— строго молвила Кобра Удавовна.

От посещения библиотеки на душе у меня остался какой-то мутный осадок. Чтобы избавиться от него, я решил заглянуть в секцию мебели к талантливой конструкторше Мадере Кагоровне. Она разработала проект утепленной кровати. Эта кровать, смонтированная из труб малого диаметра, имеет шланг, с помощью которого ее можно подсоединять к трубам парового отопления.

Приветливая Мадера Кагоровна на этот раз встретила меня хмуро. На вопрос, скоро ли опытный образец ее кровати будет запущен в производство, буркнула что-то невнятное. Смущенный ее странным поведением, я подошел к сидящему на подоконнике институтскому коту Лютику, погладил его и сказал, что мне очень симпатичны эти зверьки. Ведь недаром родители дали мне имя в честь кота.

— Они не сожалеют об этом? — сухо спросила Мадера Кагоровна.

— Сожалеют? А зачем им сожалеть? — удивился я.

— Но ведь они, сами того не зная, спрограммировали ваше будущее. Разве вам не известно, что на городском уголовном жаргоне слово «кот» адекватно словам «альфонс» и «сутенер»?

— Не понимаю, к чему этот разговор?! — воскликнул я.

— Ах, вы не понимаете?!.

Наступила неприятная, вязкая пауза. Потом из другого конца комнаты послышался голос Пантеры Ягуаровны, конструкторши, проектирующей кресло, совмещенное с кухонным столом.

— Он не понимает! Он, представьте себе, даже слова такого не слыхивал — «сутенер»! — Пантера Ягуаровна встала из-за своего стола и, подойдя ко мне, спросила в упор: — А вы знаете, что такое содержанка?

— Ну, это из литературы известно,— ответил я.— Это были такие падшие женщины, которые за деньги становились любовницами зажиточных людей.

— А нам не из литературы известно, что у нас в ИРОДе есть падший мужчина-содержанец. И не стыдно?!

— Таким ничего не стыдно,— поддержала ее Мадера Кагоровна.— Таким ничего не стоит бросить жену и дочь ради престарелой растратчицы, у которой куры денег не клюют!

— Какая растратчица? Какие куры?! — воскликнул я в тоскливом недоумении. Но ответом мне было язвительное молчание.

Озадаченно-ошеломленный покинул я секцию мебели и направился в примерочную комнату, примыкающую к отделу одежды. Там в этот час было тихо. Я присел на диванчик и погрузился в печальные размышления. Но вскоре мое уединение нарушил Павиан Гориллович, дизайнер головных уборов. На нем красовалась огромная меховая шапка — на манер кавказской папахи, только еще больше, пышнее и шире. По краям ее, справа и слева, приторочены два кармана, в которые можно засунуть ладони. Это усовершенствование имеет две положительные стороны: во-первых, не мерзнут руки, ибо шапка заменяет рукавицы; во-вторых, если руки засунуты в шапку, то ее никто не сорвет с вашей головы с целью похищения. Мельком взглянув на меня, Павиан Гориллович подошел к зеркалу, поднял руки, утопил ладони в шапке — и удовлетворенно улыбнулся. Но потом улыбка соскользнула с его лица, оно стало озабоченным.

— Чем это вы недовольны? — спросил я из вежливости.— Шапка — что надо! Пора хлопотать о патенте.

— Я и сам знаю, что пора. Но Афедрон Унитазович хочет, чтоб был еще один карман — внутри шапки. Для портмоне. А я опасаюсь, что это излишне осложнит конструкцию.

— Вы правы. Оттуда портмоне трудно будет извлекать.

— Ну, вы-то, говорят, без труда портмоне себе добыли,— с ядовитой ухмылкой произнес Павиан Гориллович.— Жену побоку, ИРОДа побоку — и айда в Ташкент с одноглазой директрисой гастронома... Живое портмоне, всегда к услугам... Но учтите: угрозыск не дремлет!

— Кто дал вам право клеветать на меня?! — крикнул я.— Кто тебе такой чепухи про меня наговорил?!

— Весь ИРОД об этом говорит. Глас народа!.. По отношению к жене ведете себя как зверь!

— О тебе этого не скажу,— отпарировал я,—

Если скажут тебе: «Ты — зверь!» —
Ты не очень-то в это верь.
Ведь и звери имеют ум,—
Ты ж, мой друг, совсем — ни бум-бум!

Произнеся этот экспромт, я покинул примерочную и направился в отдел, где работает мой хороший знакомый Парзан Лимонадович. Это он сконструировал комбинированную электрокофеварку-крысобойку «День и ночь». Предположим, вы холостяк. В вашей однокомнатной квартире завелись крысы, а у вас — ни жены, ни кошки. И тут вам поможет «День и ночь». Днем вы используете прибор в традиционном жанре — варите в нем кофе. Вечером вы кладете его горизонтально возле крысиной норки, включаете ловительное устройство — и спокойно ложитесь в постель. Ночью вас будит зуммер. Крыса поймалась и безболезненно убита током! Вы встаете, освобождаете прибор от содержимого, включаете его вновь — и так далее. Оригинальностью замысла и четкостью работы «День и ночь» порадует многих — и тем приумножит славу ИРОДа.

Я надеялся, что Парзан Лимонадович поможет мне развеять ту клеветническую тучу, которая сгущалась над моей головой. Но, оказывается, я держал путь не к другу, а к врагу.

— Слушай, Серафим, этого я от тебя не ожидал,— забормотал он.— Ты же знаешь, я тоже от жены ушел... Но — никаких скандалов... И алименты за Жорку честно плачу... А у тебя прямо по-гадски получается... За Настей по квартире с ломом гоняешься, последнее пальто ее в скупочный пункт снес, кольцо обручальное с ее пальца содрал — и все пропиваешь с какой-то падшей кинозвездой... Опомнись, Серафим, не стань полностью гадом!

— Если и стану, далеко мне до тебя будет, падло! — гневно ответил я.

Если скажут тебе: «Ты гад!» —
Похвале этой будь ты рад;
Ведь по правде-то, милый друг,
Ты зловредней, чем сто гадюк!

Хлопнув дверью, я вышел в коридор. Навстречу мне шагал Хамелеон Скорпионович, известный тем, что им спроектировано антипростудное зимнее пальто. Оно сплошное, разреза спереди нет; его надо надевать через голову. Его не нужно застегивать и расстегивать, вас в нем не продует. Надобность в пуговицах отпадает, что послужит снижению себестоимости. Еще недавно этот дизайнер относился ко мне весьма приязненно, а тут он вдруг при виде меня набычился и молвил укоряюще-презрительным тоном:

— Почему вы здесь? Почему вы не в больнице?

— А к чему мне больница? — удивился я.— Я здоров.

— Какой цинизм! — прошипел Хамелеон Скорпионович.— Ведь все знают, что ваша жена — в хирургической палате! Все знают, что вы, явившись к себе домой с пьяной проституткой, ударили свою супругу бутылкой по голове, а родную дочь выгнали из квартиры! Поспешите же в больницу, пока жена ваша еще жива!..

— А ты, обалдуй, поспеши в психбольницу — там твое законное место! — сухо и кратко ответил я и направился в свою секцию.

Когда я под вечер шел через вестибюль, ко мне с таинственным видом подошел вахтер Памир Никотинович и тихо сказал, что «есть разговорец».

— Главное — говорите на суде, что в состоянии эффекта действовали,— зашептал он.— Тогда, может, срок поменьше дадут. Усекли?

— Какой суд? Какой срок? — усталым голосом спросил я.

— Хоть со мной-то не хитрите, я ведь тоже через это дело, через ревность, отбывал... А про вас слух идет, что вы квартиру, где супруга ваша блудодействовала, подожгли... Это вам повезло, что изменница на балкон ниже этажом выпрыгнула и переломом ноги отделалась... Вы доказывайте, что вы — без задуманного намерения. Усекли?

— Усек,— горестно ответил я.

* * *

Все дни той недели я провел в нервном напряжении. С того момента,когда я узнал из телефонного разговора с Юриком, что мой полет на Фемиду вполне реален и даже точный срок назначен, во мне стал нарастать страх перед неведомым. Отказаться от полета нельзя было; я не хотел, чтоб Юрик угадал во мне труса,— но лететь ой как не хотелось... У меня возникла хитренькая надежда, что в последнюю минуту Юрик позвонит мне и сообщит, что по указанию куманийского ихнего начальства мое путешествие отменяется. Я очень на это надеялся, поэтому и Насте о предполагаемом моем полете ничего не сказал — ведь если он не состоится, то на нет и суда нет, она ведь тогда и не узнает, как я боялся этого

отмененного мероприятия. Но первозность мою Настя заметила. Она в те дни не раз пульс мой щупала и температуру замеряла. К моему сожалению, физически я был здоров. А прикинуться больным мне было невозможно, Настя сразу бы раскусила, что это не хворь, а нахальная симуляция.

11. ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

Ранним утром в субботу раздался телефонный звонок. Он разбудил Настю и Татку, а меня — не разбудил. Я почти всю ночь не спал, всякие страшные домыслы кишели в моей башке. Поэтому я раньше Насти кинулся к телефону. Звонил Юрик.

— Серафимушка, я, значит, жду тебя, как мы обусловились. Не опоздай! Один наш мудрец так сказал: «Опоздавший подобен птице, ослепшей в полете». Не дремотствуй!

— Жди, буду вовремя,— голосом, хрипловатым от страха, ответил я. Однако когда я повесил трубку и понял, что пути для отступления нет, на душе у меня стало спокойнее. Очевидно, тот запас страха, который моя трусоватая душа выделила на подготовку к этому полету, я израсходовал полностью. Поэтому, когда Настя спросила, что это за свидание назначено у меня с Юриком, я довольно спокойно объявил ей, что лечу на Фемиду, чтобы там в Храме Одиночества отдохнуть от земной суеты, и рассказал ей о своих предыдущих переговорах с Юриком по этому поводу. Не забыл я упомянуть и о том, что прогула не будет,— ведь, по закону сгущенного времени, я вернусь на Землю в час отбытия с нее.

Настя встрепенулась, стала толковать о том, что я со своим неуравновешенным характером непременно нарвусь в Космосе на какую-нибудь неприятность. Потом она ударилась в слезы, а Татка немедленно подключилась к этому мероприятию. Но я был тверд, и тогда Настя успокоилась, принесла из прихожей мой рюкзак, и мы принялись укладывать в него все, что могло пригодиться в путешествии. Затем жена вручила мне двести рублей из своего НЗ — вдруг на этой Фемиде не полное запустение, и мне удастся обменять родные денежки на инопланетную валюту и отоварить их. Заодно Настя напомнила мне некоторые цифровые данные, имеющие отношение к ее фигуре, а также подтвердила, что носит обувь тридцать шестого размера. Тогда я сказал ей, что все это знаю давным-давно и ничего не выроню из памяти даже при экстремальной ситуации.

Пусть мужа ждут враги и вьюги,
Пусть путь тревожен и далек —
Параметры своей супруги
Он должен помнить назубок!

Растроганная этим моим заверением, Настя улыбнулась улыбкой № 6 («Неожиданная радость») и погрузилась в раздумье. У жены моей очень выразительное лицо, и по нему я всегда догадываюсь, что она скажет. Все ее улыбки я давно систематизировал, каждой дал номер и наименование. В то утро я с особым вниманием следил за сменой ее улыбок и вдруг заметил, что губы ее сложились в улыбку № 38 («Предподарочную»). Это меня несколько встревожило. Настя — существо доброе и неглупое. Но на подарки у нее какой-то свой взгляд — или, вернее, свой бзик. Если бы я, например, собрался бы в челноке переплыть озеро Байкал, она непременно презентовала бы мне бочку с пресной водой, дабы я не умер от жажды; а ежели бы я решился пешим ходом пересечь пустыню Сахару, Настя в лепешку бы разбилась, но раздобыла бы мне спасательный круг, чтобы я, чего доброго, не утоп в пути. Вот и теперь она замерла в улыбчивом раздумье — затем произнесла решительным голосом:

— Так и быть, вручу его тебе сейчас. Вообще-то я его в день твоего рождения подарить хотела... Но дарю досрочно. Только дай мне святую клятву, что возьмешь его с собой и нигде не потеряешь.

Я стал перебирать в уме предметы мужского рода, один из которых могла преподнести мне Настя, но зная непредсказуемость ее подарочной фантазии, ни к какому ясному выводу прийти не смог. Потом вдруг вспомнил, что последнее время она повадилась намекать мне, что я стал полнеть, что каждый человек должен каждый день совершать пятикилометровую пешеходную прогулку. У меня мелькнула мысль, что на этот раз меня ждет подарок логически осмысленный, то есть шагомер.

— Клянусь! — твердо произнес я.— Клянусь, что возьму его с собой и доставлю обратно на Землю в полной сохранности, из кармана не выроню!

— Ну, в кармане он не поместится,— снисходительно молвила Настя. Подойдя к комоду, она выдвинула нижний ящик и извлекла оттуда фамильный топор. Топорище его выполнено из дуба, и на нем сверкает серебряная дощечка, на коей значится:

ТОПОР

(Трест Общественного Питания Октябрьского Района)

За непорочную службу — бухгалтеру А. Г. Лукошкину!

Топор этот достался Насте в наследство от ее покойного деда, и вот теперь она вручила мне это мужское орудие труда в знак того, что считает меня настоящим мужчиной. Я принял подарок и сказал, что польщен и обрадован, но в полет брать эту громоздкую штуковину не собираюсь, нужна она мне, как слепому велосипед.

— Но ты дал клятву! — возмутилась Настя.— Мало того, что ты черт тебя знает куда летишь по межпланетному блату, ты еще и клятвопреступником хочешь стать! Выбирай: или топор и я, или ни топора, ни меня! Или топор — или развод!

Я, разумеется, предпочел топор. Настя сразу успокоилась, на ее лице возникла улыбка № 22 («Радость примирения»). Улыбнулся и я. Нет, я не обижаюсь на Настю за ее вспышки.

Хвала терпенью и покорности,
Нрав добрый — это благодать,
Но мякродолей дамской вздорности
Супруга вправе обладать.

12. В ПОЛЕТЕ

На мне был темно-синий плащ с меховой подкладкой, а на спине красовался объемистый рюкзак, из горловины которого торчала рукоять топора. Настя проводила меня до трамвайной остановки.

— Одумайся, олух космический! Еще не поздно! — прошептала она, когда показалась моя «тридцатка». Но я ответил, что полет — дело решенное, и губы моей супруги сложились в улыбку № 10 («Расставальная грусть»). Унося в душе эту грусть, я вошел в вагон. Свободных мест не было, но какая-то добрая женщина сказала сидевшему рядом с ней подростку, что он должен уступить место дяденьке — дяденька едет на лесозаготовки.

Прибыв на Васильевский остров, я направился в столовку, где работал Юрик. К раздевалке тянулась длинная очередь. За барьером, отделяющим ряды вешалок от публики, трудились двое: пожилая женщина и мой друг. Меня удивило, что Юрик работает медлительнее своей компаньонки. Из публики слышались упреки в адрес слегка прихрамывающего, но вообще-то здоровенного на вид гардеробщика. Затем я увидал нечто совсем нелепое. Получив от лысенького старичка номерок, Юрик принес ему лиловое дамское пальто с капюшоном. «Ты что, ослеп, что ли, кобель гладкий?!» — возмутился старичок, и тогда мой друг извинился и выдал ему его законное черное пальто. Затем, заметив меня, шепнул что-то своей напарнице и, напутствуемый нелестными замечаниями публики, покинул гардероб. Когда мы вышли на улицу, я, зная неземную честность и аккуратность иномирянина, спросил его, почему это он стал работать так безобразно. И тут Юрий признался мне, что близится срок его возвращения на Куму, а он познал далеко не все отрицательные земные слова. Поэтому он решил снизить качество своей работы. Он лентяйствует и свинствует для того, чтобы слышать от землян строгие отзывы и пополнять ими свой словесный фонд. Недавно один посетитель очень его порадовал, обозвал захребетником. А еще Юрику на букву «З» известны такие слова: злодей, злопыхатель, замарашка, зубоскалец, зануда...

— Забулдыга, заморыш, задрыга, злыдень, зубрила,— продолжил я.

— Боженьки мои, учиться мне еще и учиться,— задумчиво подытожил иномирянин.— Но вот и дом наш, пора нам на его крышу восходить.

Мы стали подниматься по такой знакомой мне лестнице... Когда проходили мимо квартиры моих родителей, сквозь запертую дверь услышал я знакомый хохот — это, невзирая на пожилой возраст, тетя Рита упражнялась в смехе. Смех — смехом, а захотелось зайти домой. Но Юрик воспротивился — ведь мы отбываем всего на десять минут по земному времени, а звездолет ждать не будет, не опоздать бы.

Дом давным-давно подключен к теплоцентрали, белья на чердаке никто нынче не сушит, дверь туда открыта нараспашку. И вот мы с Юрием вошли на чердак, а оттуда, через незастекленное окошко, перебрались на крышу. Она была сырая, скользкая. Мне очень захотелось домой. На кой хрен мне этот полет, эта Фемида?.. Может, не поздно еще отказаться, отбрыкаться, отвертеться? Но ведь Настя трусом меня сочтет, и Юрка — тоже... И тут снизу, со двора послышался ожесточенный собачий лай. Я вспомнил голос Главсплетни и окончательно решил, что лететь все-таки надо.

Мой совет вполне конкретен:
Старец ты или женвх —
Бойся сплетниц, бойся сплетен,
Хвост поджав, беги от них!

— Звездолет уже прибыл,— молвил Юрик, взглянув на свои ручные часики.— Пора нам переходить на сгущенное время.— Он извлек из кармана своего пальто пластмассовую коробочку и выкатил из нее на ладонь два голубоватых шарика. Один шарик он проглотил сам, другой дал мне. Я тоже проглотил. И все сразу переменилось. Голубь,

собиравшийся сесть на телевизионную антенну, застыл в пространстве с распростертыми крыльями; собачий лай замер на одной ноте, высоко над нами возникло очертание чего-то огромного — не то корабля, не то дирижабля.

Через мгновенье в брюхе звездолета обозначился темный прямоугольник; оттуда к нам начало спускаться нечто оранжевое, напоминающее своими очертаниями лодку. Вскоре эта небесная ладья приземлилась возле нас. Держалась она не на канатах и не на тросах; от ее кормы и от носовой части тянулись к звездолету две пружинки, свитые из зеленоватых лучей.

— Давай грузиться,— молвил Юрик и, перешагнув борт воздушной гондолы, расселся на ее поперечном сиденье. Вслед за ним и я, предварительно водрузив на корму свой рюкзак, сел на свободное место — и сразу осознал, что начался подъем. Крыша была уже глубоко внизу, и мне стал виден наш двор, а потом и соседние дворы, и Средний проспект. Трамваи, автомобили и прохожие были абсолютно неподвижны — и в этом мне почудилось что-то жуткое. Тут Юрик произнес:

— Серафим, заявляю тебе как пассажиру-перворазнику, что по земному времени звездолет завис на одну тысячную часть секунды. Для всех землян, кроме тебя, он невидим, незрим, ненаблюдаем, незаметен... Но мы уже у цели.

Через секунду мы очутились в просторном трюме звездолета и, сопровождаемые стройной неземной стюардессой, поднялись по внутреннему трапу в пассажирский салон, где, к моему неудовольствию, вовсю звучала музыка. Звездолеты уже неоднократно описаны фантастами, поэтому скажу только, что тот реальный небесный корабль, на котором я очутился, имел команду из шести иномирян и мог принять на борт пятьдесят пассажиров. Пока что половина мест пустовала, так что мы сразу нашли себе две койки, после чего направились в кабину управления, где Юрик представил меня астропилоту и остальным членам экипажа. Мой друг довольно долго рассказывал им что-то, и на лицах их я заметил удивление и грусть.

— Что ты им набрехал обо мне? — спросил я Юрика, когда мы вернулись в салон.

— Я не брехал, не врал, не лгал, не морочил, не сочинял! Я просто сообщил им, что ты решился жить, обитать, пребывать, существовать на Фемиде, и они горько сочувствуют тебе.

— Пусть сами себе сочувствуют,— ответил я.— Лучше бы навели порядок в своем летном хозяйстве! Ишь музыка как гремит, будто в пивном баре!

Тут Юрик стал втолковывать мне, что без музыки нельзя. Ведь на этом звездолете возвращаются на Куму — кто на побывку, а кто и навсегда — подкидыши с разных планет, они стосковались по родным мелодиям. В этот момент к нам подошла стюардесса с подносом, на котором красовались два бокала с какой-то розовой жидкостью.

— Юрка, объясни этой красоточке, что я непьющий,— обратился я к другу,—

Лучше встретиться с шакалами
Иль с разгневанным быком,
Чем вино хлестать бокалами,
Упиваться коньяком!

— Серафимушка, это не вино. Это есть микстура, дающая весомость. Если ты не примешь ее в глубь себя, то стоит набрать звездолету скорость — и ты воспаришь под потолок и будешь там парить и покачиваться.

Пришлось выпить. Напиток оказался вполне безалкогольным. Вскоре послышался резкий звонок.

— Остановка скончалась, мы уже летим,— сообщил мне Юрик.

13. ЗЕМЛЯ, ДА НЕ ТА

Весь пассажирский состав звездолета состоял из молодых подкидышей. Внешний вид они имели вполне человекообразный. Одеты были по-разному: на некоторых — костюмы, напоминающие наши земные, на других — какие-то немыслимые хламиды; один паренек щеголял в плаще из блестящей рыбьей чешуи. Говорили они все, разумеется, на своем куманианском языке. Юрик много беседовал с ними и не раз пытался пересказать мне их впечатления о чужих планетах. Но слушал я его без должного внимания, мне мешал страх. Обстановка, в которую я попал, была столь необычной, что мне казалось, будто вот-вот произойдет что-то непредвиденное, что-то погибельное. Впрочем, это не мешало мне питаться наравне со всеми. Пища была сугубо вегетарианской, но вполне доброкачественной, и стул у меня был нормальный.

В носовой части салона, возле двери, ведущей в кабину управления, в переборку был вмонтирован большущий телеэкран непрерывного действия. Каждый пассажир мог наблюдать планеты, мимо которых пролегал курс звездолета. А стоило нажать на кнопку уточнителя — и мгновенно та сторона планеты, которая была ближе к нам, представала взору в увеличенном, в уточненном виде. Можно было разглядеть даже города и прочие

реалии цивилизации. Однако иномирян эти чудеса не шибко интересовали, видно, были делом привычным. Их куда больше ихняя музыка привлекала. И число этих подкидышей, стосковавшихся по родной какофонии, все росло. За первые десять суток полета мы раз пятнадцать зависали над неизвестными планетами, чтобы принять на борт новых пассажиров.

А на одиннадцатые сутки попал я прямо-таки в стрессовую ситуацию. Проснулся я рано, пока все иномиряне спали еще, и направился тихой сапой в гальюн. Потом в душевую кабину зашел, душ для бодрости принял, обсушился под струей теплого воздуха, оделся — и иду обратно на свое спальное место. И тут машинально глянул я на телеэкран — и вижу: какая-то там планета маячит. И что-то родное почудилось мне в етом небесном теле. Вгляделся — а там, как на школьном глобусе: Африка, Европа; и даже Италия в виде известного сапога обозначается... У меня дыхание перехватило: да ведь это Земля!

Я кинулся к спящему Юрику, растормошил его.

— Юрка, наш небесный ковчег с пути сбился! — закричал я.— Крутился-крутился по Космосу — и опять к Земле вернулся! Наверно, у астропилота ум за разум зашел?! Или приборы не в порядке?! Беги скорее в кабину управления, скажи там, что поворачивать надо, а то мы о Землю расшибемся!

— Успокойся, Серафимушка,— тихо ответил мне Юрик,— это Земля, да не та. Это другая.

— Что значит «другая»?! Не может быть другой Земли! Земля — одна!

— Нет, Фима, Земель много. Ты погляди внимательно на эту вот...

Планета в этот миг повернулась к нам той стороной, где Скандинавия и Балтийское море. Я нажал кнопку уточнителя, вгляделся. Никаких городов не видать. И на месте Ленинграда — никакого Ленинграда, всюду темно-зеленое лесное пространство.

— Это фальсификация какая-то,— сказал я Юрику.— Какая же это Земля, если на ней Питера нет?!

— Его на ней еще нет,— спокойно уточнил Юрий.— Эта земля еще не доросла до Питера, она еще девочка полудикая. По ней еще динозавры бегают. Это — Земля № 274.

— Юрик, сукин ты кот! — воскликнул я.— За все годы дружбы нашей не сказал мне, что у моей Земли сестры есть! А ведь ты, выходит, давно это знаешь.

— Фима, потому я и молчал про это, что друзья мы. Один наш мудрец так высказался: «Взвалив на себя груз умолчания, убережешь друга от горькой правды». Ведь вы, земляне с Земли № 253, считаете себя единоличниками во Вселенной и очень гордитесь этим... Не хотел я пригибать твою гордость, не хотел говорить тебе, что только в доступном нам космическом регионе имеется 278 Солнечных Систем и в каждой из них есть Земля. Все эти земли астрономично, геологично, биологично, экологично и исторично абсолютно идентичны до последней травинки — и только стадии их развития не совпадают, ибо зародились они не единовременно, а с интервалами.

— Ну, Юрка, оглоушил ты меня — хуже, чем гирей по черепу!.. Выходит, мы, земляне,— не цари, а рядовые Вселенной...

— Утешься, Фимушка! Мы на своей Куме № 17 в древности тоже думали, что мы единственные. И когда выяснилось, что это не так, очень обижены были. Но потом привыкли, усмирились...

14. ПУТЕВЫЕ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ

На следующую ночь я проснулся из-за какого-то скорбного музыкального воя. На телеэкране маячила неведомая планета. Ее материки тускло желтели, будто присыпанные грязным песком. Соскочившие с коек подкидыши молча стояли лицом к экрану, и каждый положил свою правую руку на левое плечо. Но вот планета эта исчезла из поля зрения, репродуктор умолк, иномиряне опять легли на свои спальные места. Я спросил Юрия, какой это такой обряд сейчас был выполнен.

— Это была краткосрочная траурная панихида в память о планете Мароторотана,— пояснил подкидыш.— Мы всегда так поступаем, когда пролетаем мимо планет, которые скончались, сгинули, скапутились, погибли, пропили, умерли из-за атомных войн.

Добавлю к сему, что на следующий день мне снова пришлось наблюдать этот печальный обряд. Всего же во время того полета я видел шесть таких планет. Веселого мало.

Но в пути ожидало меня и приятное событие. На тринадцатые сутки полета мы зависли над ночной стороной планеты, о которой Юрик сказал мне, что это Земля № 252. Салон наш пополнился новым подкидышем, которого по-земному звали Костя. Парень одет был со вкусом: в меру длинный пиджак, брюки нормальной ширины, удобные широконосые ботинки. Юрик сразу подскочил к нему. Сперва они затараторили на своем языке, потом перешли на русский. Тут и я встрял в беседу. Выяснилось, что Костя этот — из Ленинграда тамошнего, он туда был подкинут с целью изучения истории земной кулинарии. Он сообщил, что на Земле № 252 сейчас идет XXII век. Косте известно, что в конце XX века

Земля № 252 благополучно преодолела «атомный пик»; люди сумели договориться о вечном мире. Из этого ясно, что ни одной Земле с предыдущей и последующей нумерацией атомная гибель не угрожает. На Земле № 252 — полное благополучие. Границы отменены, строго соблюдаются экологические законы. Люди ласково относятся к людям и животным. Исчез страх, о нем земляне знают лишь по книгам. Повседневная пища людей значительно увкуснилась благодаря увеличению растительных ингредиентов. Происходит воскрешение некоторых древних вегетарианских блюд. Недавно при расшифровке ассиро-вавилонской клинописи выявлена рецептура винегрета, который...

— Хватит о жратве толковать,— перебил Юрик своего однопланетника.— Скажи-ка лучше, какие ты знаешь земные отрицательные слова.

Костя ответил, что земная словесность интересует его только со стороны кулинарной терминологии. Впрочем, ему известно одно очень осудительное слово. Однажды некий глубоковозрастный повар сказал ему, что он, Костя, привередник.

— Маловато,— победоносно усмехнулся Юрик.— Слушай дальше на ту же букву: прохвост, полудурок, пьянчуга, перебежчик, паскуда, пройдоха, поджигатель, поганец, преступник, побирушка, психопат, прогульщик, плут, плебей, подхалим, позер, подонок, подлец, пошляк, проныра, перегибщик, пустомеля...

Тут Юрик запнулся, и я пришел ему на помощь: паникер, потатчик, прихлебатель, потрошитель, паразит, плагиатор, пасквилянт, провокатор, паршивец, прощелыга, похабник, прохиндей, параноик, падло, придурок.

Я ожидал, что наш новый знакомый будет восхищен, удивлен этим парадом слов, но ничего, кроме недоумения, не прочел на его лице. И тогда до меня дошло, что для него это — парад призраков; Костя просто не знает, что эти слова обозначают, ибо на Земле № 252 они давно выпали из человеческой речи. Тогда я перевел разговор на более реальную тему — стал расспрашивать про Ленинград. И тут иномирянин поведал, что Питер разросся аж до Сестрорецка, но центр города сохранен в полной исторической исправности.

Во время этой беседы я заметил, что Кости с какой-то странной пристальностью вглядывается в мое лицо. И вдруг он тихо, с почтительной робостью, произнес:

— Простите, милостивый друг, вы случайно не Серафим Пятизайцев?

— Да. Но как вы догадались?

— Не догадался, а узнал по лицу. Это лицо на Земле № 252 всем известно, оно и в учебнике истории есть. И на Северном кладбище я бывал, где вы — то есть, извиняюсь, он — погребен. Мы туда на экскурсию всем классом ходили. Там на надгробье вы, то есть он, в профиль изображены. А на Пятизайцевском бульваре вам — то есть ему — памятник стоит. От благодарного человечества.

Я не стал выведывать у юного иномирянина, за что благодарно человечество моему тезке, ведь это было бы просто неэтично, это был бы плагиат. Я, Серафим Пятизайцев с Земли № 253, должен своим умом открыть, изобрести нечто такое, за что мне будут благодарны обитатели Земли № 253!!! И и, чтобы мой собеседник не выболтал мне случайно, чем именно прославился мой двойник, поспешно перевел разговор на другие рельсы и поинтересовался, какой характер был у моего покойного тезки. На это Костя ответил так:

— Судя по произведениям писателей и поэтов, воспевших его, это был бесстрашный человек с дружелюбно-ангельским характером. Один поэт сравнивает его с древним святым, с неким Серафимом Саровским, и утверждает, что отец гениального изобретателя в ту ночь, когда зачал своего сына, видел вещий сон, из которого узнал, что сыну его предстоит славное будущее. Потому-то он и присвоил ему имя этого святого... Есть и другие сведения... Уж не знаю...

— Говори, говори,— подначил я Костю.— Приятно иметь такого двойника. Узнаю в нем себя!

— По некоторым апокрифическим данным, Серафим не сверкал храбростью и обладал утяжеленным, многоступенчатым характером, и сослуживцы не испытывали к нему ласковых чувств и коллективно не явились на его похороны. Вы уж извините...

— Это ты не передо мной, а перед тем покойным Серафимом извиняйся,— успокоил и Костю.— У него, видать, дрянной нрав был, в этом я ему не двойник. Только клеветники могут утверждать, что у меня характер плохой... А лично он никаких сочинений о себе не оставил?

— Я слыхал, что есть какая-то книга, где Пятизайцев сам о себе рассказывает,— смущенно признался Костя.— Но я ее не читал. Меня те книги интересуют, где о кулинарии земной речь идет.

15. ПРИБЫТИЕ НА ФЕМИДУ

За двое суток до моего прибытия на Фемиду подкатилась ко мне новая волна страха. Теперь салон звездолета казался мне безопасно-уютным местечком — век бы прожил здесь среди мирных подкидышей и симпатичных стюардесс. Все предстоящее впереди

стало для меня темной могильной ямой, куда меня вскоре столкнут (о, глупость моя!) по моему же желанию. Последнюю ночь своего пребывания в звездолете и провел без сна. Утром, во время завтрака, Юрик сказал мне:

— Ты, Фима, сегодня имеешь бледный вид. Если бы я не знал, что ты — отпетый герой, я бы подумал, что тебя напугал кто-то.

— Меня сам черт не испугает! — соврал я.— У меня желудок побаливает, я переел вчера.

— То-то у тебя и аппетит сегодня в отлучке... Ну, на Фемиде накушаешься заново! Я наводил справки — еды там запасено на века. Ты будешь последним едоком в Храме Одиночества. Ведь наша охрана труда установила, что ни один из жителей Кумы не должен больше бывать на Фемиде, поскольку это потрясательно для психики.

Через три часа после этого завтрака на телеэкране возникла Фемида. Издали она выглядела эдаким зеленым раем: сплошные леса, не поврежденные цивилизацией. Там ждала меня тишина, о которой я так мечтал на Земле, но теперь я с радостью променял бы эту будущую тишину на самую разнузданную земную музыку.

— Фима, призадумайся в последний раз! — тихо произнес Юрий.— Лучше бы тебе миновать эту планету и лететь со мной на Куму, а потом вертануться на Землю твою. Ведь тот ученый-одиночествовед, который сейчас на Фемиде жительствует, улетит с нашим звездолетом домой. Ты будешь там одинок, как перстень! Теби поджидает там девятая степень одиночества! Предпоследняя!

— А последняя какова?

— Десятая степень — это когда субъект уже в могиле.

— Не пужай меня, Юрик!

Я еще живой покуда,
Я еще в расцвете лет,
А помру — и знать не буду,
Что меня на свете нет.

В этот момент звездолет снизился над Фемидой. Я надел плащ, взял рюкзак и вместе с Юрием и бортпроводницей направился к внутреннему трапу, ведущему в трюм небесного корабля. Все подкидыши встали со своих мест и склонили головы.

— Они печально сочувствуют тебе,— пояснил Юрик.

Сдерживая дрожь, я отвесил иномирянам бодрый поклон и произнес четверостишие:

Не хороните раньше времени
Того, чьи воли не слаба,
Кого булыжником по темени
Еще не трахнула судьба!

Через минуту мы с другом разместились в ладье-лифте. Стюардесса пажала нужную кнопку, в днище корабля раскрылся люк, и мы начали плавно опускаться. Под нами находилось четырехугольное здание с плоской крышей. Стоял ясный день, зеленоватое солнце светило не хуже земного. Из густой лесной чащи доносились завывания неведомых животных. Я вынул из кармана плаща берет и поскорее напялил его себе на голову, чтобы Юрик не заметил, что волосы у меня дыбом встают от страха.

Но вот наша небесная ладья плавно опустилась на плоскую, мощенную каменными брусками кровлю. Ближе к ее левому краю находилась надстройка из черного гранита, чем-то напоминающая склеп. Мы вошли в эту надстройку. Почти весь пол в ней занимала массивная стальная плита. Возле нее торчали из пола две широкие клавиши, на которых виднелись какие-то письмена. Юрик нажал ногой одну из них и пояснил мне, что этим он подал одиночествоведу сигнал о нашем прибытии. Затем нажал на другую, и стальная плита плавно встала на попа. Я увидал каменную лестницу, уходящую в глубь здания. По ней, перепрыгивая через ступеньки, бежал к нам седой иномирянин с портфелем в руке. Он подскочил к нам, нервически дрожа, прокудахтал что-то и устремился к лифту-ладье. Там, кинув портфель к ногам, он сел на скамейку, обеими руками вцепился в поручни и с каким-то нелепо-обрадованным видом стал вслушиваться в злобные завывания неведомых зверей. Юрик направился к ученому и, указав на меня, стал ему что-то втолковывать. Тот отвечал отрывисто и хрипло, лицо его судорожно подергивалось.

— Серафим,— обратился ко мне Юрий,— этот одиночествовед катастрофически запрещает тебе отбывать срок здесь! Он здесь обленился, обмишулился, обезволел, обессилел, оседовласился, одурел, опупел, ополоумел, одичал от окаянного одиночества.

— Юра, но ведь там безопаснее, чем в лесу. И потом этот ученый не знает таких слов, это земные слова. Это ты, Юрик, от себя брешешь.

— Ну и пусть от себя! Один наш мудрец так сказал: «Малая ложь, приплюсованная к большой правде, делает правду более убедительной...» Но я вижу, что тебя, отважного, не уговоришь. Однако имей в виду: эта дверь,— он указал рукой на стоявшую вертикально плиту,— открывается только снаружи. Изнутри ты ее не откроешь.

После этого мой друг подошел к ученому, что-то сказал ему, и тот нехотя повел нас

вниз по лестнице. Первым делом он стал ходить с нами по длиннющим коридорам тех этажей, где находились кельи — бывшие камеры. Замков на дверях нет — заходи в любую. Все они были абсолютно одинаковы. Окон не имелось ни в кельях, ни в коридорах, но потолки, стены и полы излучали ровный, спокойный свет. Голоса наши звучали приглушенно, а шагов вовсе не было слышно, поскольку здание построено из особых звукопоглощающих стройматериалов.

Ученый-одиночествовед вел себя нервно, ему явно не терпелось на крышу. Я понял, что мне надо поскорее выбрать себе жилплощадь. Когда мы, шагая по коридору на втором этаже, дошли до того места, где коридор поворачивает под прямым углом вправо, я отсчитал двенадцать дверей — и открыл тринадцатую. 13 — число-сирота, обижают его люди, всякие пакости ему приписывают. А я его жалею, стараюсь оказать ему доверие. И за это оно иногда мне помогает. Однажды мы с Настей на билет № 13 холодильник по денежно-вещевой лотерее выиграли.

Стандартная келья-камера имела неплохую меблировку: письменный стол, стул, кровать, возле нее — ночной столик. Узенькая дверь вела в санузел, где находились душ, умывальник и унитаз. Водопровод был в полной исправности. Но меня огорчило, что зеркала нет. И тут ученый-одиночествовед пояснил мне — через Юрика,— что во всем Храме Одиночества нет ни единого зеркала. Ведь ежели кто-то видит свое отражение, то это уже не полное одиночество.

Я положил рюкзак на стул, топор на ночной столик, повесил плащ и берет на маленькую вешалку у входа в санузел, а затем поинтересовался, где мне добыть матрас, одеяло, подушку, простыню,— ведь кровать-то голая. Юрик потараторил с ученым и объяснил мне, что беспокоиться незачем, здесь имеется обслуживающий персонал, автоматические существа. Они — безмолвные, бессловесные, беззвучные, бесшумные. По-куманиански они называются баратумы, а если на русский перевести — заботники... А сейчас ученый покажет некоторые здешние помещения.

Когда вышли мы в коридор, то увидали, что навстречу шагает человекообразная фигура. Подобные автоматы уже тысячекратно описаны и в фантастической и в реалистической литературе, поэтому скажу только, что заботник был сделан из металла и пластмассы, имел туловище, руки, ноги и голову с ушами и глазами; рот и нос отсутствовали. Неся большой мешок из синтетической ткани, он, не поприветствовав нас, прошел мимо и вошел в мою келью. Меня неприятно удивило: как это он пронюхал, что я выбрал именно эту жилплощадь? Ведь никто ему об этом не сообщил.

Ученый повел нас в столовую, находящуюся в первом этаже. Мы вошли в большой зал, посреди которого стоял небольшой стол; его металлические ноги, так же как и ножки стоящего возле него стула, были намертво вмонтированы в пол. Вдоль правой стены зала протянулся ряд табличек с изображениями различных кушаний и напитков. Под каждой табличкой белела кнопка.

— Попробуй вкусность пищи,— предложил мне Юрик, и я нажал кнопку под табличкой, на которой была изображена тарелка с кашей, вроде манной. Затем сел за стол, и через несколько секунд в левой стороне зала открылась в стене дверь и ко мне направился голубоватый заботник. Он поставил на стол металлическую тарелку с кашей, которая оказалась вполне съедобной. После этого я заказал себе какой-то розоватый напиток, и заботник принес мне металлический стакан с этим напитком.

— А чаю у вас не имеется? — задал я вопрос механическому официанту.

Ранним утром чашка чаю —
Это замечательно!
Я без чаю одичаю,
Сгину окончательно.

Но никакого ответа не последовало.

Мы покинули столовую и направились в библиотеку. Шагая туда, мы прошли мимо массивной стальной двери, совсем не похожей на двери келий; к тому же на ней были изображены две скрещенные руки — ладонями вперед. Одиночествовед пояснил нам, что это — знак запрета. Здесь находится энергоблок. Живым существам входить туда нельзя, они могут разрушить свое здоровье. Кроме того, в эпоху жуткого средневековья, когда здесь была тюрьма, зарегистрированы случаи побегов через энергоблок. Все убегуны были зверски съедены зверями.

Мы вошли в библиотеку, она вообще никакой двери не имела, входи — и бери что тебе угодно. Там стояло множество стеллажей, полных книгами, и ученый — через Юрика — выразил сожаление, что я неграмотен. Ведь все эти тома изданы Куманианским Институтом по Изучению Одиночества. Здесь — труды многих поколений одиночествоведов, здесь описаны все психологические явления, возникающие на каждой из восьми степеней. Но девятая степень одиночества еще никем не описана. Она неописуема, непостижима, непознаваема, нерассказуема, необъяснима.

Чего-чего, а одиночества я никогда не боялся, поэтому этот разговор был мне неинтересен, и я задал практический вопрос: не бывает ли здесь перебоев в работе пищеблока, в подаче электроэнергии? В ответ мне было заявлено, что никаких перебоев с питанием быть не может, ибо непортящихся продуктов запасено здесь на шесть риртонов (столетий), а атомно-иридиевый энергодатчик рассчитан на неисчерпаемость. После этого мы поднялись по центральной лестнице, и я остался на верхней ее площадке, а Юрик и ученый вошли в склепообразную надстройку.

— Серафимушка, поставь свои часы ровно на двенадцать тридцать пять! — произнес сверху Юрик.— Через тридцать суток по земному счету жди меня для возвращения на твою Землю!.. И не захоти убегать, Фима! Я знаю, в тебе бурлит отвага, тебе, может быть, захочется прославить свое земное имя и пожить среди зверей, доказать Вселенной свою бесстрашность,— но помни, что каждое бегство кончалось кончиной!.. Ты слышишь эти зверские голоса?!

Действительно, звериный рев, доносившийся из леса, был ужасен.

— Юрка, разве я дурак, чтобы бежать из тишины в шум?! Ведь ради тишины я и прилетел сюда! — воскликнул я.

Мой друг нажал ногой на клавишу. Стальная плита плавно опустилась на свое место. Настала полная тишина.

Уважаемый читатель! В следующих главах я расскажу о том, что пережил в Храме Одиночества. Для большей объективности писать о себе буду в третьем лице, как бы о своем знакомом, о котором знаю даже больше, чем он сам о себе.

16. ПРИОБЩЕНИЕ К ОДИНОЧЕСТВУ

Расставшись с Юрием, Серафим еще с минуту постоял на лестничной площадке, радуясь тому, что он в полной безопасности, впитывая душой безмолвие Храма Одиночества. В мозгу его возникли строки:

Благословляю тишину,
Она добра и не угрюма.
Я здесь блаженно отдохну,
Уйдя от всяческого шума.

Напрягая голосовые связки, он проскандировал это четверостишие, как бы обращаясь к невидимым слушателям. Но голос его прозвучал еле слышно. А затем, спускаясь по лестнице, он убедился, что шаги его и вовсе не слышны. Когда он шагал по коридорам Храма Одиночества со своими спутниками, он как-то не обращал на это внимания. И теперь ему стало немножко обидно: тишина тишиной, но ЕГО голос, ЕГО шаги всюду должны звучать полновесно и четко! Но затем он подумал, что ему нужно преодолеть свою земную гордыню, приобщиться к здешнему спокойствию, стать как бы составной его частью.

Синоним счастья — тишина,
С ней не вступай в пустые прения,—
Во все века была она
Помощницей, подругой гения.

С такими мыслями Серафим направился в свою келью и, войдя туда, был приятно удивлен: кровать аккуратно застелена, в изголовье — подушка с чистой наволочкой... Вот только полотенца нет... А, наверное, оно в санузле. И действительно, там мой герой обнаружил полный набор: два полотенца, туалетное мыло, сортирная бумага — пипифакс. Вернувшись в келью-камеру, он произнес четверостишие:

Покинул я земную пристань,
Иная жизнь меня влечет,
Инопланетному туристу —
Везде удача и почет!

Однако через секунду его праздничное настроение пошло на убыль. Он заметил, что его рюкзак — похудел. Оказывается, книги из него куда-то делись. Неужели их заботники сперли?! Но ведь Юрик говорил, что на Куме нет воровства, а заботники оттуда сюда привезены. Они не могут быть на воровство запрограммированы!..

Серафим начал метаться по келье, потом догадался выдвинуть верхний ящик письменного стола. Все книги были там — и «Испанский детектив», и «Словарь иностранных слов», и несколько брошюр, которые всучила ему Настя. Сделав эту находку, Серафим успокоился, но не совсем. Действия заботника, запустившего свои механические руки в рюкзак, показались ему не вполне этичными. Чтобы успокоить себя, мой герой приступил к чтению брошюры «Спорт — это здоровье». И вдруг обнаружил, что все фотографии людей, совершавших разные спортивные движения и подвиги,— исчезли. А страница, где был изображен мотокросс, имела и вовсе странный вид: мотоциклы мчались по склону холма как бы сами по себе, без мотоциклистов. Полистав остальные книги, Серафим убе-

дился, что изображения людей изъяты и оттуда. При этом его поразил уровень техники изъятия, ведь все люди на рисунках и снимках были не вырезаны, не закрашены, а начисто обесцвечены. А провернул это цензурное мероприятие, наверно, тот же самый заботник, который застелил постель. Серафимом овладело чувство беззащитности и поднадзорности. Но затем он приободрился. «Ты прибыл сюда в поисках одиночества, так получай его сполна, на все 100 %!» — произнес он мысленно. И сразу же поправил себя: «Нет, на 99 %! Ведь Настя-то со мной!»

Он извлек из пачечки книг твердую обложку от общей тетради, куда была вложена застекленная фотография его жены в металлической рамочке. Этот снимок (12×18) он всегда брал с собой, отбывая в дом отдыха. Сейчас он опять увидит Настю. Улыбаясь ему улыбкой № 19 («Радость совместной прогулки»), стоит она под деревом в Летнем саду... Хорошо, что есть на свете Настя!..

С такими вот мыслями вынул Серафим из тетрадочной обложки фотографию — и обомлел. По-прежнему виден был на ней узор садовой ограды, по-прежнему стояло дерево, но теперь проявилась та часть его ствола, которую еще недавно заслоняла своей фигурой Насти. Настя со снимка исчезла.

— Это уже какое-то хамство космическое! — возмутился мой герой.— Это, господин заботник, тебе даром не пройдет! — А потом вдруг понял, что некому ему пожаловаться на этого цензора. В каждом земном доме отдыха, в любой гостинице, в самом плохоньком учреждении есть хоть какой-нибудь да директор — а здесь? Здесь никто не примет ни письменной, ни устной жалобы. А эти заботники делают то, на что они программированы. Они по-своему заботятся о нем, Серафиме, погружая его в одиночество.— Зато как здесь тихо! — прошептал он.

Я с детства был ушиблен шумом,
И с юных лет понятно мне,
Что предаваться мудрым думам
Возможно только в тишине.

Однако мудрые думы в голову почему-то не шли. Серафим вышел из кельи и долго бродил по пустынным светлым коридорам. Потом забрел в столовую, заказал обед — и заботник-официант добросовестно выполнил заказ. Обедая, мой герой обратил внимание на то, что посуда покрыта мелкими насечками и поэтому в ней ничто не может отразиться. Он с грустью подумал о том, что бриться ему весь месяц не придется и не придется увидеть себя. Ведь в Храме Одиночества не только ни одного зеркала нет, но и все поверхности — стены, полы, мебель и даже стульчаки в санузлах — сработаны так, что отражаться в них ничто не может. А вскоре он убедился, что и тени своей он не сможет узреть; ровный свет исходит со всех сторон — со стен, с потолка, с пола, и никаких тебе теней. «Вот одиночество — так одиночество!» — прошептал он.

Расставшись с Питером, с Невой,
Живу, как гость небесный,—
Беззвучный в бестеневой,
Почти что бестелесный.

Утомленный неожиданными переживаниями, Серафим прилег на кровать и уснул почти мгновенно. И сразу же ему приснился многообещающий творческий сон. В цветущей долине под прямым углом скрестились два шоссе. На этом перекрестке стоит автобус, в плане имеющий форму креста. Не могильного, а равностороннего — такого, какие красуются на автомобилях «скорой помощи». В каждой из четырех сторон этого чудо-автобуса имеется кабина, мотор, баранка. Автобус может мчаться в любую сторону света! «Мечта туриста» — так озаглавил мой герой это изобретение. Он представил себе, как завидуют ему сослуживцы, как радуется Настя... И вдруг возникла Главсплетня и нагло заявила, что такой дурацкий автобус никуда не помчится, он даже с места не сдвинется.

Серафим проснулся и понял: на этот раз Главсплетня, увы, права. Ему стало страшно за себя: не сходит ли он с ума? Но с безоконных стен кельи-камеры, с потолка, с пола струился такой ровный, такой успокоительный свет, что страх быстро улетучился. «Не ошибается лишь тот, кто не мыслит»,— решил Серафим.

Друг, не всегда верь своему уму,
Но пусть покинет страх твои владенья —
Высокий взлет доступен лишь тому,
Кто не страшится смертного паденья.

17. ОДИНОЧЕСТВО СГУЩАЕТСЯ

Встав с постели, Серафим вышел в коридор, спустился по лестнице в нижний этаж, потом поднялся выше, долго шлялся по коридорам — и вдруг поймал себя на том, что все время шарит глазами по стенам, все чего-то ищет. И тут он догадался: он ищет часы. Но во всем Храме Одиночества есть только одни часы — те, что у Серафима на руке. Если они остановятся — для него остановится ход времени. Ведь он не знает, день или ночь за окном, он отрезан от внешнего мира. И только по своим часам он может вести счет условных суток, вплоть до того дня, когда сюда явится Юрик, чтобы лететь с ним на Землю. А вдруг часы остановятся, ведь они уже дважды были в починке? Что тогда?.. Серафиму стало холодно, аж дрожь пробрала.

Мой герой торопливо вернулся в свою камеру, выдвинул ящик письменного стола, в котором лежали его книги, и взял оттуда «Зарубежный детектив». Чтобы унять страх, нужно прочесть что-нибудь героическое, так что эта книга была тут в самый раз. Серафим приступил к чтению, и дрожь постепенно покинула его. Но, читая, он невольно думал, что такая книга у него здесь только одна... И тут у него родилась идея: хорошо бы сконструировать забывательное устройство.

Вы едете на дачу. Ваша авоська полна продуктами, но вы взяли с собой и книгу — интереснейший роман из быта сыщиков и преступников. Прибыв на дачу, вы читаете эту книгу не отрываясь. И вот она прочтена. Других книг на даче у вас нет. Но вам их и не надо! В переплет прочтенного вами романа вмонтировано сложное электронно-психологическое миниустройство. Послюнив палец, вы прикасаетесь им к приборчику — и, ощутив мгновенный, почти безболезненный шок, в ту же секунду с радостью осознаете, что содержание данной книги вами забыто, будто вы ее никогда и не читали. Вы можете приступить к чтению сызнова! Вы всю жизнь можете читать одну книгу!

Хорошо бы осуществить эту задумку практически, стал размышлять Серафим. Для некоторых людей окажутся ненужными личные библиотеки, тиражи многих изданий снизятся, потребление бумаги резко сократится, тысячи гектаров леса будут спасены от вырубки... Однако найдутся перестраховщики, которые сочтут такое забывательное устройство вредным для общества, писатели завопят в печати, что это надругательство над литературой... Нет, не стоит выдвигать эту идею, решил мой герой.

Умей помалкивать в тряпицу,
К всемирной славе не спеши,
Чтоб не свезли тебя в больницу
С инфарктом сердца и души.

Размышляя о книгах земных, Серафим вспомнил, что есть и неземные. Он вышел из камеры, спустился в первый этаж. Вот и библиотека. Взяв с полки несколько томов, он уселся за стол и принялся их листать. А вдруг там есть изображения иномирян?! Ведь внешне они — совсем как люди, а он почему-то уже успел соскучиться по человеческим лицам. Но в книгах был только непонятный ему текст — и никаких рисунков, никаких фотографий. Серафим подумал, что на Земле тоже немало книг об одиночестве, но там и изображения людей есть на страницах. Видать, одно дело — одиночество земное, а другое дело — небесное...

Ему вспомнилось, что на второй день полета он спросил у Юрика, на сколько километров они от Земли удалились. И Юрик ответил, что если число этих километров выразить печатно, то потребуется издать том толщиной с Библию. Первая строка книги начнется с единицы, а дальше пойдут нули. А на последней странице это великое число надо возвести в стомиллиардную степень. Там, в звездолете, Серафим почему-то не придал словам Юрия большого значения, но здесь, в безмолвном одиночестве, они дошли до его души. На миг ему почудилось, что он так далек от Земли, что его, Серафима, и вовсе нет, что он — только сон, снящийся пустоте. Понурив голову, пошел он к двери — и вдруг вспомнил, что забыл поставить книги на полку. Он оглянулся — и увидал, что тут и без него обойдутся: из ниши, что темнела в стене, вышел заботник, подошел к столу, забрал книги и направился с ними к стеллажу.

— Спасибо, добрый молодец! Хвалю! — изрек Серафим. Но добрый молодец не отозвался. Серафиму вдруг очень захотелось поглядеть на какое-нибудь живое существо. Ну, с людьми и даже с тенью своей он разлучен, ведь здесь Храм Одиночества. Но хоть бы пса какого-нибудь повидать или кота. Или какую-нибудь местную живую тварь узреть... Он припомнил завывания здешних, неведомых ему зверей, и теперь ему показалось, что не так уж злобно они выли. Вот бы поглазеть, какие они из себя. Разве любопытство — грех?

Если ты не любопытен —
Оставайся в дураках;
Ты не сделаешь открытий,
Не прославишься в веках!

Прямо из библиотеки Серафим направился в столовую. Поужинав, он заказал стакан лимонада, потом еще стакан.

— Дружище, а нет ли чего покрепче? — обратился он к официанту-заботнику.— Понимаешь, я не алкаш, но надо же отметить свой первый день пребывания на Фемиде.

Но ответа не последовало, а когда мой приятель фамильярно тронул ладонью плечо заботника, то сразу же отдернул руку: ему показалось, что он прикоснулся к льдине.

18. СНЫ НЕЗЕМНЫЕ

Вернувшись в свою келью-камеру, Серафим взглянул на ручные часики. На них было одиннадцать — значит, пора спать, начинается его перван (условнан) ночь на Фемиде. Мой герой разделся, совершил вечернее омовение и принялся ходить по келье взад-вперед. Он о чем-то думал, но сам не знал о чем — так бывает. И вдруг мысли его уточнились. Подойдя к ночному столику, Серафим взял лежавший там топор и спрятал его под подушку. Он может пригодиться, его надо беречь!

Ты за добро плати добром,
Но все ж, ва всякий случай,
Не расставайся с топором,
Ведь жизнь — как лес дремучий.

Серафим разлегся в постели, накрылся мягким одеялом. Подушка была большая, пышная, топор почти не ощущался. «Живу — прямо как интурист»,— подумал мой приятель и машинально протянул руку к стене, ища выключатель. Потом вспомнил, что потолки и стены светятся тут круглосуточно, никаких выключателей нет. «Ладно уж, усну и при свете»,— примирительно прошептал он. И уснул.

Уснул — и вдруг проснулся. Его ужалила мысль: а вдруг часы остановились?! Однако тревога оказалась ложной, часики были в полном порядке. И он снова уснул. И тут ему приснился сон.

Морозным зимним утром идет Серафим по Среднему проспекту Васильевского острова. Вот и станция метро на углу Седьмой линии. Опустив пятачок, друг мой становится на эскалатор и плавно движется вниз, вместе с вереницей одетых по-зимнему людей. Перед ним стоит мужчина в престижной дубленке, и какое-то время Серафим размышляет, сколько этот тип за нее уплатил. Затем поворачивает голову, чтобы поглазеть на встречный людской поток. И видит: навстречу ему движется Настя. Она улыбается ему улыбкой № 21 («Радость неожиданной встречи») — и плавно проплывает мимо. Но почему она одета не по сезону, почему на ней летняя блузка с короткими рукавами?! И тут Серафим обнаруживает, что в этом встречном потоке все одеты по-летнему, некоторые даже в майках. Спустившись вниз, он идет не на платформу, а вдавливается в толпу летних пассажиров и поднимается на эскалаторе вверх. Ему нужно нагнать Настю, пусть она объяснит ему, что это за чепуха такая происходит...

Он опять на Среднем проспекте. Но Насти не видать. И вообще ни единой живой души не видно. И трамвай «шестерка» стоит на остановке без пассажиров и без вожатого. А в городе — летний полдень. Что такое творится? Или он, Серафим, с ума сошел? Паническим шагом направляется он к дому своего детства. Взбежав по лестнице, звонит в квартиру родителей. Ни ответа ни привета. Он — опять на улице. Ходит по безмолвным проспектам и линиям, заглядывает в окна первых этажей — нигде ни души. И никаких следов какой-либо катастрофы или эпидемии, никакой разрухи. Тротуары подметены, на газонах — цветы, стекла окон чисто вымыты. Полный порядок — и только людей нет.

...Все магазины открыты. Серафим входит в гастроном на Большом проспекте. Есть колбаса по два двадцать и по два девяносто. В кондитерском отделе прямо на прилавке — дефицитный индийский чай по 95 коп. И ни покупателей, ни продавцов, ни кассирши. Забирай что хошь — и айда вон. Серафим берет пачку чая, вертит ее в руках, потом кладет обратно и торопливо покидает магазин, гордясь, что не стал вором.

На улице его охватывает такая тоска по людям, что он решает посетить Смоленское кладбище. Ибо все живые — неведомо где, а мертвые прочно спят на своих местах. Они, мертвые, сейчас более реальны, нежели все те, которые исчезли из города неведомо куда. И вот мой приятель уже на Камской улице. Под каменной аркой, ведущей на кладбище, натянут стальной трос; на нем висит дощечка с надписью: «Закрыто на переучет». Преодолев страх перед недозволенным, Серафим подныривает под трос — и вот он на кладбище.

Здесь что-то происходит. Перекладины крестов ритмично поднимаются и опускаются, будто на зарядке. Замшелый каменный ангел пошевеливает крыльями. Среди старых надгробий вырыта свежая могила; возле нее стоят четыре заботника с лопатами. Как они попали сюда с Фемиды?!

— Захотели — прилетели! — угадав мысли Серафима, хором отвечают заботники.— Экзаменовать тебя будем. А ну, назови строгие слова на букву «А», применяя их к себе!

— Я алкаш, алиментщик, альфонс, анонимщик... Все.

— Не густо. Теперь — на «Б».

— Я блатмейстер, башибузук, буквоед, байбак, барышник, браконьер, бузотер, богохульник, барахольщик, бумагомаратель, бандит, балда, бестия, бракодел, бездельник, борзописец...

— Теперь — на «В»!

— Я — выпивоха, вероотступник, вышибала, ворчун, взяточник, взломщик, враль... Кажется, все.

— Нет, не все! — металлическим хором произносят заботники.— Ты не сказал, что ты — ворюга!..— И тут один из заботников подходит к Серафиму и вынимает у него из кармана пачку индийского чая.

— Этого не может быть! — кричит Серафим.— Я не брал!

— Нет, брал! За воровство ты осужден на десятую степень одиночества!

Далее происходит нечто страшное.

Он очвулся в темвоте,
В тесвоте, в могиле.
Слышвт ов: уходят те,
Что его зарылв...

Серафим проснулся от своего истошного, надрывного крика. А быть может, и из-за того, что ощутил чье-то холодное прикосновение. Возле его кровати стоял заботник белого медицинского цвета. Одна его металлическая ладонь лежала на лбу моего героя, а в другой он держал стопочку с прозрачной жидкостью.

— Что со мной? — спросил его Серафим.

Но механический врач молчал. Серафим догадался, что в стопочке — лекарство. Он выпил его. Заботник беззвучно удалился из камеры.

Лекарство оказалось снотворным, успокаивающим. Вскоре Серафим уснул. Но перед этим у него возникла догадка, что заботники с помощью какой-то потайной техники видят все, что ему снится. Ну и пусть видят, сучьи дети! Они могут прерывать его сон, это в их сволочной власти — но диктовать ему сновиденья, вмешиваться в их содержание они не могут! И никто во всей Вселенной не может! Даже в самой лютой тюрьме сны человека не подвластны воле тюремщиков. Сон — высшая форма человеческой свободы.

К сожалению, не все люди видят свои сны с должной четкостью и ясностью и потому забывают их в минуту пробуждения. Но, быть может, уже родился гений, который сконструирует специальную подушку, снабженную неким мудрым, еще неведомым нам прибором. Эта спецподушка, нисколько не влияя на тематику и смысл сновидений, поможет людям видеть свои сны отчетливее, объемнее, красочнее — и отлично запоминать их. Жизнь землян станет богаче, интереснее, многообразнее.

...Однако всенародное спанье на спецподушках вызовет и некоторые отрицательные явления. На производстве и в учреждениях сослуживцы будут непрерывно толковать о своих сновидениях, в результате чего снизится производительность труда. У очень многих людей возникнет потребность излагать свои сны письменно, из-за чего катастрофически возрастет количество писателей; для редакторов настанут трудные времена. А кино сойдет на нет, кинозалы опустеют. Зачем человеку кино, если каждый спящий — сам себе кинотеатр.

19. ПОИСКИ ВЫХОДА

Серафим проснулся, принял душ, спустился в столовую, позавтракал. Потом принялся бродить по коридорам, заглядывая то в одну, то в другую камеру. И тут он позавидовал земным уголовникам. Ведь ежели земной преступник сидит в одиночке, то он все-таки знает, что в тюрьме он не один, что в соседней камере кто-то тоже отбывает свой срок. А вот если посадить такого субъекта в камеру, из которой он волен выходить и шляться по всей тюряге, а в тюряге-то, кроме него,— ни души! — вот тут-то он взвоет. Тут он завопит: «Это незаконно! Это — сверхвысшая мера наказания! Это — казнь одиночеством!»

Серафим вернулся в свою келью-камеру. И здесь — тот же ровный свет... Ему вспомнилось, что в детстве он боялся темноты. А теперь ему нужна темнота. Во мраке он мог бы представить себе, что он здесь не один, что рядом есть кто-то. Пусть — плохой человек, пусть зверь, но кто-то живой... Но ведь вне Храма Одиночества живут живые звери! Вот бы посмотреть на них, послушать их завывания! Хорошо бы хоть маленькое отверстие продолбить в этой сплошной стене!.. Он кинулся к кровати, извлек из-под подушки топор, подошел к стене — и изо всех сил долбанул по ней обухом. Топор беззвучно отскочил от облицовки, не оставив на ней никакого следа.

Серафим походил по камере взад-вперед, потом вспомнил, что в Храме Одиночества есть энергоблок, запретное помещение, через которое в древности некоторые заключенные осуществляли свои погибельные побеги: ведь все беглецы были съедены зверями. А все-таки надо разведать, что это за энергоблок...

Мой приятель спустился в первый этаж и остановился перед дверью, на которой были изображены две скрещенные руки — знак запрета. Но замка у двери не имелось. Ведь соотечественники Юрика вообще не знают ни замков, ни запоров, об этом Юрик не раз говорил. У них ни склады, ни жилища не запираются; только в уборных и ванных комнатах есть задвижки, чтобы можно было запереться изнутри. В будущем и на Земле так будет.

Не станет воров и рвачей,
Все будет в избытке, в излишке;
Не будет замков и ключей,
И только в уборных — задвижки.

...Серафим в раздумье стоял у запретной двери, а тем временем руки, изображенные на ней, из белых сделались розовыми, и на пальцах проступили алые капельки. То было явное предупреждение об опасности, и мой приятель отошел от двери и побрел по коридору. Но потом вдруг остановился, героически топнул ногой и строевым шагом двинулся обратно. В мозгу его возникло четверостишие:

Все выигрывает храбрый,
Все проигрывает трус —
Так хватай судьбу за жабры,
Восходи на свой Эльбрус!

Он распахнул дверь — и очутился в просторном тамбуре, из которого открывался вид на длинный зал, заполненный загадочными шарообразными емкостями и большими металлическими ящиками; на поверхности их шевелились радужные пятна и полосы. Возле каких-то необъяснимых предметов и вращающихся экранов стояли голубоватые заботники. Серафим направился в зал — и тут в стене тамбура распахнулись желтые створки, и из ниши вышел черный заботник. Раскинув металлические руки, он преградил путь моему приятелю, и тот поспешно ретировался.

Вернувшись в свою келью, Серафим вспомнил: в конце зала он приметил винтовую лестницу; она штопором ввинчивалась в потолок, она вела куда-то вверх из зала. Не по ней ли совершали побеги заключенные?

20. ДВЕНАДЦАТЫЕ СУТКИ

Шли двенадцатые сутки пребывания Серафима на Фемиде. Ни одной мудрой мысли не пришло ему в голову за это время. Голова была наполнена страхом и ожиданием чего-то. А по ночам мозг принимался за работу и выдавал ему сны.

Той ночью моему приятелю приснилось, будто он в XXV веке.

— Вставай, Фим, уже семьдесят минут тридцать второго! — громко произнесла Настя. Спрыгнув на пол с третьего яруса нар, он улыбнулся супруге и, получив в ответ улыбку № 14 («Радость пробуждения»), стал делать зарядку. Летнее солнце озаряло девятиметровую квартиру-комнату. На обеденно-письменном столе красовались куски нарезанного Настей зеленоватого хлеба, испеченного из тростниковой муки. Пахло жареными водорослями и котлетами из прессованного планктона. В левом углу кварткомнаты возвышалось многоцелевое сооружение, включающее в себя телевизор, унитаз, стиральную машину, прибор для самогипноза и еще несколько полезных приспособлений. Татка, в оранжевой школьной форме, сидела на нижнем ярусе нар и читала вслух из учебника: «Коровы гуляли по полям и специализировались на производстве так называемых молочных продуктов, которые употреблялись людьми. Коровы мужского рода назывались быками и от производства пищепродуктов воздерживались, но охотно принимали участие в спортивных соревнованиях, именуемых корридами...»

— Детка, хватит зубрить! В школу пора! — молвила Настя, и лицо ее озарилось улыбкой № 34 («Радость материнства»). Татка взяла с полки свой парашют, закрепила его на себе и с портфельчиком в руке вышла на балкон, у которого не было перил. Девочка улыбнулась родителям — и сиганула с балкона вниз головой. Все, живущие выше сотого этажа, для выхода на улицу обязаны пользоваться не лифтами, а парашютами.

Позавтракав, Серафим подошел к балконной двери. С высоты трехсот сорокового этажа открывался вид на бухту, где на вечном приколе стояли ряды жилых кораблей. Дальше виднелось море. По нему плыл кораблик — сеятель водорослей. Кормильцами людей стали моря и океаны, ведь на Земле теперь обитало 110 миллиардов человек. Они сеяли водяные растения и питались ими. А суша была сплошь застроена, кормить их теперь она не могла. И зверей — тоже. Кое-какие животные остались в зоопарках и цирках, но большинство вымерло.

— Фим, прогуляйся перед работой,— распорядилась Настя.

Серафим покинул кварткомнату и очутился в длинном коридоре, куда выходили двери трехсот таких же квартир. Здесь прогуливалось много народу; на улицу идти смысла не было. Серафим знал, что большинство его однокоридорников вообще не выходят из дома, благо в нижних этажах есть магазины. И еще он знал, что теперь никто не путешествует, ибо это неинтересно: на всей планете — дома, дома, дома...

Вскоре к моему приятелю подошел журналист, жилец соседней квартиры. Лик его сиял.

— Сераф, представь себе, за мою статью «Поспорим с Мальтусом!» редактор премировал меня десятью сутками одиночного заключения со строгой изоляцией! Завтра шагаю в тюрьму!.. Как странно, что когда-то в одиночки сажали не за заслуги, а за преступления. Ведь единственное место, где можно отдохнуть от многолюдства,— это тюремная камера.

— А у меня — сплошные неприятности,— пожаловался Серафим журналисту.— У нашего завлаба теща на днях померла, так что жилплощадь на три метра увеличилась, а я забыл поздравить его. И теперь по всему ИРОДу пошел слушок, будто я — хам отпетый.

— Сераф, но ведь это и в самом деле хамство — не поздравить человека с таким событием. Когда у нашего редактора дед скончался, мы на первой полосе поздравиловку жирным шрифтом тиснули. Коллективно сочинили, с чувством: «Дорогой друг, группа товарищей радуется вместе с вами и желает вам дальнейших событий, способствующих освобождению новых метров жилплощади!» Он очень растроган был.

Однако пора было приступать к делу. Как правило, земляне на работу теперь не ходили и не ездили. Они трудились, не выходя из своих жилищ, сидя у сверхточных пространственных манипуляторов и изобразительно-переговорных устройств. И вот мой приятель вернулся в свою кварткомнату, сел на стул возле стенного манипулятора, нажал на нужные кнопки. На экране перед ним возник рабочий зал ИРОДа. В центре его живьем восседал за своим письменным столом директор, а по стенам светились индивидуальные экраны. На них уже присутствовали объемные изображения многих сослуживцев. На крайнем слева четко вырисовывалась фигура Главсплетни. На шестом справа Серафим увидел себя.

— Герострат Иудович, сообщаю вам, что я явился на службу! — доложил он с экрана директору.

— Учел! — суховато отозвался тот.— Напомните основные данные проекта, разрабатываемого в вашей секции.

— Синтетический театр! — начал Серафим.— Никаких лож, никаких галерок, сплошной партер — полная демократия! По трем сторонам зала — три сценические площадки, перед двумя из них — оркестровые ямы. На четвертой стороне зала — цирковая арена. Вы занимаете свое вращающееся кресло. Впереди развертывается действие пьесы, справа — балет, слева — опера, позади вас — цирковая программа. Зрители вправе избрать что-либо одно, а при желании могут нажатием кнопки придать креслам непрерывное вращательное движение. Перед взором и слухом будут плавно сменяться декорации и ситуации, будут возникать драматические актеры, оперные певцы и певицы, танцующие балерины, дрессированные слоны и медведи. Какая яркая смена впечатлений! Кроме того...

— Кроме того, товарищ Пятизайцев, вам надо поднять свой моральный уровень,— прервал Серафима директор.— Всему ИРОДу известно, что вы боитесь высоты и для выхода из дома пользуетесь не парашютом, а лифтом, и тем самым незаконно расходуете электроэнергию. И весь ИРОД возмущен вашей внебрачной связью с престарелой дрессировщицей тигров, которая тайно подкармливает вас пайком, выделяемым для зверей.

— Гнусная дезинформация! Это все Главсплетня набрехала! — возопил Серафим — и проснулся. Наклонясь над его изголовьем, стоял белый заботник с подносиком, на котором поблескивала стопочка с медицинской жидкостью. Мой приятель принял успокоительное лекарство и уснул.

Проснувшись утром, он припомнил недавнее сновидение и пришел к выводу, что хитрюга-мозг хотел утешить его, показать ему, Серафиму, нечто такое, что вроде бы пострашнее одиночества. «Но нет, одиночество — страшнее всего»,— решил мой приятель. И эта явь, этот Храм — страшнее самых ужасных сновидений.

21. ПОДКИДЫШ № 2

В следующую ночь Серафиму приснился сон, опять длинный и обстоятельный. Но в нем не было ни одного человека и вообще ни одного живого существа — только голые скалы, пустынные солончаки, непонятные машины, загадочные самодвижущиеся автоматы... Мой приятель проснулся задолго до (условного) утра и долго не мог уснуть, охваченный страхом и тоской.

В дебрях одиночества
Он проводит ночь;
Умирать не хочется,
Но и жить — невмочь.

Серафиму стало ясно, что минувшей ночью медик-заботник включил в свое успокоительное лекарство какой-то ингредиент, воспрещающий мозгу видеть во сне все живое. Чтобы успокоить читателей, скажу, что действие этого ингредиента не было продолжительным. Но тогда, после того безлюдного сна, приятель мой был прямо-таки в отчаянье. Ну разве мог он предвидеть, что на этой окаянной Фемиде он даже в снах будет одинок?! Он клял себя за то, что по собственной дурацкой воле обрек себя на эту пытку одиноче-

ством. Он — межпланетный подкидыш № 2, несчастный подкидыш. Юрик — тот подкидыш счастливый, его подкинули к живым добрым людям. А он, Серафим, сам зашвырнул себя в это космическое безлюдье. Зашвырнул из страха показаться трусом, каковым он является на самом деле...

Теперь с какой-то детской нежностью вспоминал он Землю-матушку, которая так далека от него нынче. Все земное казалось ему прекрасным, все люди добрыми. Повстречайся ему здесь сама Главсплетня, он бы расцеловал ее и сказал бы ей:

Царица склок и королева сплетен,
Ходячий склад словесной требухи,
Твой лик отныне благостен и светел,
Забыты мною все твои грехи!

Но он знал, что никого не встретит а здешних коридорах — ни врага, ни друга, ни двойника. Его абсолютный двойник — Серафим с Земли № 252 — побывал на другой Фемиде, и подбросил его на ту Фемиду другой Юрик с другой Кумы. Как сложен и страшен этот мир! Хорошо бы сойти с ума и встретить в коридоре какого-нибудь самосветящегося старца или полупрозрачную даму в белом одеянии. Конечно, это страшно, но лучше уж такой страх, чем это адское одиночество. На безлюдье и привидение — человек.

У Серафима возникло убеждение: ему нужен реальный страх. Он, подкидыш № 2, пребывает здесь в абсолютной безопасности. Но эта безопасная явь ужасает его сильнее, чем самые страшные сны. Быть может, самое страшное для человека — это когда ему абсолютно нечего бояться. Ибо идеальная безопасность порождает ожидание какой-то неведомой ужасной опасности.

Серафим решил бежать из Храма Одиночества. А так как дальше начнутся события самые серьезные, то я, анонимный приятель Серафима, передаю ему эстафету повествования. Пусть он опять, как в первых главах, ведет речь от самого себя.

22. ПОБЕГ

Да, я решился бежать. Но на то, чтобы решиться осуществить это решение, у меня ушло трое суток. Я отощал, лишился сна и аппетита — и наконец заставил себя приступить к действиям. В то утро я хотел было направиться в столовую с рюкзаком, дабы наполнить его булочками, ведь я мог их заказать в любом количестве, но потом подумал, что заботники могут догадаться, для чего мне нужен этот пищевой запас. Поэтому я решил принять как можно больше еды в глубь себя и позавтракал очень плотно. Вернувшись в свою келью-камеру, я разделся в санузле и встал под душ. Уже дня четыре я ходил грязнулей, даже руки и лицо перестал умывать, так придавил меня страх. Но теперь следовало вымыться с головы до ног. Это для того, чтобы от меня не пахло человеком, не то хищные звери издалека меня учуют. Конечно, они все равно узнают о моем присутствии в их лесу, но вымыться все-таки надо.

Быть немытым неприлично,
Если смерть тебе грозит —
Умирай гигиенично,
Погружаясь в новый быт!

Подсознательно стремясь оттянуть начало решительных действий, мылся я долго-предолго. Потом все-таки обтерся, оделся, потом надел плащ и берет, уложил в рюкзак свои небогатые пожитки, взял топор — и на цыпочках вышел в коридор.

Вот и дверь энергоблока. Скрещенные белые руки, изображенные на ней, мгновенно покраснели при моем приближении. Но я решительно распахнул ее и вошел в тамбур. И тотчас из ниши вышел черный заботник и преградил мне путь.

«Пусти, жабий сын!» — истерически возопил я и занес топор. Но механический страж стоял незыблемо, и тогда я изо всей силы долбанул его обухом по черепу. Однако удар мой не произвел никакого разрушительного действия; заботник стоял как ни в чем не бывало. Так мы с минуту простояли один против другого, а затем произошло нечто странное. Мой оппонент вдруг поднял руки, сорвал ими со своих плеч свою голову и бросил ее. Она тяжело упала на каменный пол, а вслед за ней рухнул и ее владелец. Тут до меня дошло, что он не программирован на насильственные физические действия против разумных существ; я понял, что этой пантомимой он хочет убедить меня в неизбежности моей гибели, ежели я перешагну через его труп. Однако я мужественно переступил через самоубийцу и вошел в энергоблок.

Там все было по-прежнему. И по-прежнему у загадочных приборов стояли голубоватые заботники; на мое появление они не обратили никакого внимания, я не входил в их компетенцию. Я направился к винтовой лестнице, но прежде оглянулся; я подозревал, что за мной следят, что заботники обвинят меня в убийстве,— а как я докажу свою невиновность? И тут я узрел чудо неземное: туловище черного привратника плавно подползло

к оторванной голове, соединилось с ней — и воскресший заботник встал и чинно удалился в свою нишу. После этого я ступил на первую ступеньку винтовой лестницы и начал восхождение в неведомое. Вот я уже поднялся выше зала, уже исчезли из глаз таинственные приборы и голубые заботники; теперь путь мой пролегал как бы в вертикальном тоннеле, облицованном светящимися камнями. Я все торопливее ввинчивался вверх и вскоре очутился в небольшой комнате. Окон в ней, как и во всем Храме Одиночества, не имелось, но зато кроме той двери, которую я открыл, чтобы войти, в другом конце комнаты я увидал другую дверь. Я кинулся к ней, отворил ее — и вышел на балкончик без перил, вроде того, который недавно мне снился. На краю того балкончика стоял металлический столбик, увенчанный небольшим пюпитром, на котором то вспыхивали, то погасали разноцветные треугольнички и квадратики. И вот я стоял на той площадочке, а внизу расстилался луг, поросший лиловатыми цветами; дальше начинался лес. Тени деревьев падали на луг, но я не знал, утренние это тени или вечерние. Да это меня и не очень-то интересовало. Я был пьян от радости, что выкарабкался из Храма Одиночества. И даже завывания неведомых тварей, доносившиеся из лесной чащи, не очень пугали меня.

Пусть за невзгодою — невзгода,
Пусть впереди нужда, беда —
Душе всего нужней свобода,
Все остальное — ерунда!

Но пока что я стоял только на пороге свободы, и притом — на очень высоком, ибо находился примерно на уровне четвертого этажа. А стены были гладкие, без всякой рустовки; по таким и самый опытный скалолаз не сумеет спуститься вниз. Время же тем временем шло. Вскоре я приметил, что тени деревьев укорачиваются, значит, на Фемиде сейчас утро. Это, конечно, хорошо,— но что делать дальше?

И вдруг послышалось хрюканье. Надо мной парила странная птица; ее крылья поросли рыжеватой щетиной, и голова оканчивалась не клювом, а неким подобием свиного рыла. Это крупное летучее существо, нисколько не боясь меня, опустилось на балкончик рядом со мной — и уставилось на меня. И тут меня осенила догадка: эта свиноптица может помочь мне. Но это сопряжено с опасностью, я могу разбиться. Однако если я не рискну, мне придется вернуться в свою окаянную камеру. Две боязни: боязнь остаться здесь и боязнь разбиться вступили в прения — и победила первая. Я снял со спины рюкзак и кинул его вниз; так же поступил с топором. Затем лег ничком на каменные плитки балкончика. Но отважиться на действия было страшновато. Я решил считать до тринадцати, авось птица за это время не улетит. Считал я, признаться, очень медленно: хотелось оттянуть приближение решающего мига. Но он все-таки настал.

— Тринадцать! Выручай, хрюшка-матушка! — прошептал я и дрожащими руками схватил свиноптицу за ноги. Раскинув крылья, она в испуге метнулась в сторону и вместе со мной повисла над лугом. Но хоть и широки были ее крылья, однако лететь с таким грузом было ей невмоготу, я тянул ее вниз. И все же она смягчила силу моего удара о землю, стала для меня живым парашютом.

Приземлившись, я отпустил свою спасительницу на волю. С укоризненным хрюканьем взмыла она в высоту, а я, ощупав себя и убедившись, что отделался легкими ушибами, подобрал топор, взвалил на спину рюкзак и двинулся по направлению к лесу. Перед этим я оглянулся, поглядел на Храм Одиночества — и поразился, на какой опасной высоте прилепился к нему балкончик, с которого я спланировал. А ведь решился же!..

Я вам открою правду, так и быть,
И занесу в дальнейшем на бумагу:
Порой мы страх должны благодарить
За то, что он рождает в вас отвагу.

Я шагал по лугу. От цветов исходил тонкий, неземной запах. Стояла теплая, но не жаркая погода — такая бывает в Ленинграде в конце августа. Из леса доносились голоса зверей, но я шел именно туда — ведь теперь только там я мог найти пристанище и пищу. Мне было страшно, но совсем не так, как в Храме. Нынешний мой страх был несравним с храмовым ужасом. На ходу я шептал слова благодарности свиноптице, которая так помогла мне. В тот день я дал себе клятву никогда не есть никакого птичьего мяса. Потом постановил, что хоть я и не магометанин, но к свинине впредь ни разу не притронусь.

23. ВОЛЯ ВОЛЬНАЯ

Я вступил в лесную чащу, в неземные дебри. Но не стану загромождать свое повествование инопланетной экзотикой, это не входит в мою задачу. Когда-нибудь земные ученые побывают на Фемиде и научно опишут все многообразие ее флоры и фауны, я же расскажу здесь только о тех растениях и животных, которые памятны мне в силу особых обстоя-

тельств. И в первую очередь считаю нужным упомянуть о деревьях с идеально круглыми, будто по циркулю вырезанными листьями и с ветвями, отходящими от мощного ствола под прямым углом. Эти деревья я назвал чертежными, ибо они казались выполненными по какому-то мудрому чертежу.

Все более углубляясь в лес, я пересек участок, где лежало много сломанных деревьев различных пород, и понял, что и на этой планете бывают бури и ураганы. Затем вышел на поляну, в центре которой обнаружил несколько довольно высоких кустов; ветки их были усеяны ягодами, похожими на клубнику и весьма аппетитными на вид. Но попробовать их я не смел — вдруг они ядовитые? И тут из чащи послышался свирепый, леденящий душу рев. Я застыл в ожидании появления неведомого зверя, который угробит и сожрет меня. Так простоял я минут пять. Зверь не появлялся, но и страх мой не убавлялся.

Нас томят недомолвки, неясности,
Неизвестность нас сводит с ума,
И порой ожиданье опасности
Нам страшней, чем опасность сама.

Рев послышался снова. На поляну вышло небольшое, размером с овчарку, животное. Оно сплошь было покрыто иглами, а голова оканчивалась хоботом. Слоноёж подошел к кустам, поднял хобот, начал поедать ягоды. Тогда и я сорвал одну — и съел. На вкус — что надо! Мне стало ясно, что от голода я не умру. И еще меня порадовало, что слоноёж, несмотря на его страшный голосище, оказался существом вовсе не страшным. Однако меня слегка обидело, что и он не испуган моим присутствием. «Вот равнодушная тварь,— прошептал я.— Впервые видит Человека — и ни почтения, ни страха!» Но через мгновение мне стало стыдно. Ведь у меня — философия труса, догадался я. Только трусы гордятся собой, когда видят, что кому-то страшны.

Я пересек поляну. У края ее тек ручей. Я зачерпнул ладонью воды, попробовал ее на вкус. Она оказалась вполне доброкачественной. А вот моя физиономия, отраженная в ручье, мне не понравилась: я дико зарос, уже борода и бакенбарды обозначились. Впрочем, я ожидал худшего, я подозревал, что поседел от страха, как тот одиночествовед, которого я сменил в Храме Одиночества. К счастью, седины на себе я не обнаружил.

Возле ручья высилось мощное чертежное дерево, и я решил, что здесь — самое подходящее место для моего временного пребывания. Сбросив со спины рюкзак, я взялся за топор и принялся обрубать нижние ветки. Рубил их не у самого ствола, а с отступом сантиметров в пятнадцать, чтобы получилось нечто вроде лестницы для восхождения на мою будущую жилплощадь. Срубленные ветви я, не жалея усилий, перетащил вверх и уложил на ветви, горизонтально отходящие от ствола. Получилась жилая площадочка; она возвышалась над землей метра на четыре, и это сулило мне безопасность. Свершив сей труд, я направился на поляну, полакомился там ягодами, потом, взяв рюкзак, поднялся в свое гнездышко и разлегся там, как граф. Ветви приятно пружинили подо мной, а уходящая надо мной ввысь крона дерева защищала от лучей фемидского солнца и от возможного дождя. Устроился я неплохо; будь здесь Настя, она оценила бы мою смекалку и озарила бы меня улыбкой № 39 («Нежное одобрение»). А я сразу бы сказал ей, что ее ТОПОР очень помог мне. Позже я пришел к выводу, что иногда самые нелепые на первый взгляд советы и самые ненужные подарки приходят к нам на помощь в трудный час, если они даны нам от чистого сердца. Быть может, душа дарящего, сквозь напластования грядущих дней и событий, предвидит тот миг, когда ее дар обретет для нас спасительную необходимость?

Было еще совсем светло, но я, утомленный делами и переживаниями этого дня, уснул на своем древесном ложе, не дожидаясь наступления ночи. И вскоре убедился, что действие вещества, запрещающего видеть во сне все живое, уже закончилось. Мне приснилось, будто сижу я в ИРОДе за своим рабочим столом и вдруг в открытое окно влетает Главсплетня. «Как это вы на пятый этаж запрыгнули?» — спрашиваю я ее. «Хочу — хожу, хочу — прыгаю»,— отвечает она и кладет на стол миниатюрный прибор, снабженный ремешком, чтобы носить его на руке. Но это — не часы. «Получайте назад свой страхогон,— заявляет Главсплетня.— Директор ИРОДа считает ваше изобретение бесполезным, ненужным, напрасным, бесперспективным». Я удивленно отвечаю этой даме, что никакого «страхогона» я не изобретал, что я впервые слышу о таком приборе. Но она не слушает меня, она берет меня за руку — и вместе со мной выпрыгивает в окно. И вот я в демонстрационном зале ИРОДа. Там идет новое испытание «Юрия Цезаря». Директор усовершенствовал изобретенный им тренажер, добавив к нему еще две гири и кинжал из дамасской стали, от которых тренирующийся должен отважно и ловко увертываться, повышая тем самым свой моральный и физический уровень. Дрожа всем телом, взбираюсь я на тренажер,— и вдруг это мощное сооружение начинает мяукать по-кошачьи, да все громче и громче...

Я проснулся. Я лежал на своей ветвистой постели, и никакой Главсплетни, никакого «Юрия Цезаря». Но мяуканье не прекращалось, наоборот, оно стало громоподобным. Я глянул вниз — и обомлел. Невдалеке от моего убежища стоял космический зверь. Головой своей и расцветкой он походил на нормального земного тигра, но имел шесть ног. Он пристально глядел в мою сторону, и я понял, что мое дело — швах. Правда, до меня ему не добраться (а то он бы уже добрался и съел меня), но если он будет долго дежурить здесь, то я умру на своей жилплощадке от голода и жажды. Мне стало еще страшнее. И все же это был живой страх, страх с надеждой на избавление от страха, а не тот безысходный, стойкий ужас, который душил меня в Храме Одиночества.

Наподобье конфет и цветов,
Наподобье колбас различных,
Страх бывает разных сортов,—
В этом я убедился лично.

24. БУРНАЯ НОЧЬ

И вот настала ночь. Впрочем, «настала» — не то слово. Тьма беззвучно захлопнулась надо мной, и сквозь просветы между ветвями мне стали видны созвездия, которых никто из землян до меня не видывал. Но мне было не до светил небесных. Тигр не покидал своего поста и время от времени разражался громогласным мяуканьем. Тем временем на небо выкатилась тамошняя луна; была она куда больше земной и, пожалуй, вдвое ярче. В ее зеленоватом свете зверь казался еще больше и страшнее. Разлегшись на поляне, он глядел в мою сторону и иногда облизывался, предвкушая сытный ужин. Впрочем, теперь предвиделся уже не ужин, а завтрак. Луна незаметно ушла с небес, настала недолгая тьма, потом стало светать.

Светать-то светало, и довольно быстро, но в природе готовилось что-то недоброе. По небу торопливо бежали мелкие разрозненные облака, поднялся ветер, тревожно зашелестели листья на моем чертежном дереве. Вскоре облака сгустились, теперь над лесом висела туча. Нет, не туча — а прямо-таки туша какая-то тяжелая. Ветер усилился, начался ливень. Тигр покинул поляну и укрылся под ближайшими деревьями. Я накрылся плащом и вцепился в ветки, чтоб меня не унесло ветром, который стал ураганным. Из чащи слышался хруст, тяжелые удары — это буря-дура калечила, ломала ветки и стволы. Но мое дерево не подвело меня. Оно раскачивалось, как тростинка, гнулось в три погибели, но не ломалось.

А через час — ясное небо и полное безветрие. И в наступившей тишине я услышал вопли тигра. Нет, не мяуканье, а именно вопли, очень жалобные. Я поглядел в ту сторону и сквозь просветы в ветвях разглядел, что зверюга с места сойти не может. Дерево, под которым он пережидал бурю, сломалось от порыва ветра — и хвост ему защемило. Сперва я обрадовался — так тебе и надо, шестиногий агрессор! Но время шло, а он все выл и выл, и мне стало жаль неудачника. Мне захотелось помочь ему, однако покинуть свое убежище я боялся. Часа полтора промаялся я в нерешительности, потом все-таки уговорил сам себя быть похрабрей и, захватив топор, спустился из своего скворечника-курятника на землю. Подойдя к воющему бедолаге, я погрозил ему топором,— мол, зарублю, если свой хищный характер проявишь, и стал осторожно обрубать кусочки дерева вокруг его хвоста. И вот зверь на свободе. Хвост, правда, оказался переломленным, кривым — и, вероятно, навсегда. Но главное — воля вольная. Тигрюга посмотрел на меня и удалился в чащу, все еще жалобно завывая.

Помог я Кривохвосту просто из жалости, не ожидая никаких выгодных последствий, но в дальнейшем выяснилось, что и инопланетным тиграм не чуждо чувство благодарности.

Взаимопомощь дорога
Равно и людям, и зверюгам.
Ты от беды спаси врага —
И станет он надежным другом.

25. ПЕРЕМИРИЕ

Тигр возле моего чертежного дерева больше не появлялся, да и вообще никаких опасных зверей поблизости не видно было. В течение двух суток я безбоязненно прогуливался возле своего самодельного жилья, вдоволь лакомился питательными ягодами. Но вскоре спокойствие мое было нарушено.

Я знал: ничто не вечно под луной,
Теперь я знаю: все на свете схоже —
И под чужой луной, под неземной,
Для смертного ввчто не вечно тоже.

На поляну, где я кормился, приперлось вдруг целое стадо большущих жвачных

животных. Их туловища оканчивались не хвостами, а змеями, очевидно, для обороны от хищников. Змеи-хвосты извивались, зорко поглядывая по сторонам, и порой шипели. Из своего убежища я наблюдал, как эти змеехвостые буйволы, распахнув пасти, жуют ягодные кусты. Когда прожорливое стадо удалилось, я убедился, что мне ни единой ягодки не осталось. Настал для меня острый продовольственный кризис, и продолжался он двое суток, ибо удаляться далеко от своего жилища я не решался, опасаясь стать жертвой тигров. На третьи сутки страх умереть от голода и страх нарваться на голодного зверя вступили в борьбу — и победил первый. Я направился вниз по течению ручья на поиски новой базы снабжения.

Путь к сытости порою жуток,
Но кушать хочется — и вот
Наш вождь, наш командир — желудок
Бесстрашно к цели нас ведет.

Я прошел километра три, но ягодных кустов не увидел. Однако вскоре я нашел пищу, и притом очень питательную. Выйдя на просторный луг, я обнаружил, что на краю его растут деревья, ветви которых сплошь покрыты гороховыми стручками. Подойдя к одному из этих гороховых деревьев, я нагнул ветку и вскоре понял, что инопланетный горох ничуть не хуже нашего земного. В безвредности же этого продукта убедили меня живые существа, которые при мне кормились им. Эти небесные создания сами по себе весьма миниатюрны, но спина каждого из них увенчана продолговатым баллоном из полупрозрачной кожи; баллон этот, как я догадался, служит вместилищем желудочных газов и позволяет зверьку держаться в воздухе. Крыльев у этих живых дирижабликов нет, свой полет они регулируют при помощи веерообразного хвоста. Выбрав ветку, где стручки поаппетитней, зверюшка застывает в воздухе и, вытянув длинную шею, приступает к приему пищи.

Рискуя обозлить ханжей, осмелюсь высказать предположение, что в будущем, когда человечество исчерпает природные энергетические ресурсы, оно задаст себе вопрос: а не может ли и человек подняться в воздух за счет перевариваемой им пищи? И, быть может, уже живет и здравствует неведомый изобретатель, некий гороховый Дедал, замысливший осуществление этой идеи. Когда он предложит свой проект человечеству, то на первых порах будет поруган и осмеян,—

Ему ответят: «Это бред!
Попал безумью в плен ты!»
А после, через много лет,
Воздвигнут монументы.

Но я отвлекся. Вернусь к тому, что, стоя под гороховым деревом, я срывал с его ветвей стручки и с аппетитом поглощал их содержимое. Я ел, ел, ел — и не мог насытиться. Но вот наконец настала блаженная минута: я почувствовал, что больше ни одной горошины съесть не могу. И тут я глянул в сторону и обомлел, затрясся мелкой дрожью. И было от чего! На этот самый луг из лесной чащи вышли два тигра. Одного из них я сразу узнал,— то был Кривохвост, мой знакомец. Второй экземпляр был поменьше, поизящней, я сразу догадался, что это — тигродама, законная половина Кривохвоста. Увидя меня, она свирепо замяукала, спружинилась — и у меня возникло убеждение, что сейчас для меня наступит спокойствие № 10. То есть они сожрут меня за милую душу. Но тут послышался второй голос — это Кривохвост замяукал... И вдруг вижу: мчит он не в мою сторону, а в сторону своей подруги, склонясь к ее пушистому уху. И мяуканье у него не агрессивное, а с какими-то лирическими переливами. Потом оба удалились.

На следующее утро я опять пришел туда питаться. Жую горох, и вдруг — новая встреча: из чащи выходит тигрище. Не Кривохвост, а другой. Остановился шагах в десяти от меня — и победоносно облизывается. Ну, думаю, не вернуться мне на Землю-матушку. А зверь остановился и вроде бы призадумался, вспоминая что-то. Потом мотнул головой, еще раз облизнулся на прощание — и мирно ушел в лес. У меня создалось впечатление, что он и съел бы меня, да ему кем-то дано руководящее указание не трогать этого аппетитного незнакомца. Ясное дело, это Кривохвост заботу проявил, шефство надо мною взял, сразъяснил своим собратьям по когтям, что питаться мною — грех.

С того дня я перестал бояться тамошних зверей. Я вдруг осознал, что я для них — парень свой в доску.

26. ВЕЩИЙ СОН

Погода на Фемиде стояла отличная, дачная; пища была однообразная, но питательная; мои ручные часики трудились исправно, приближая час моего возвращения на Землю. Казалось бы, живи, надейся и радуйся. Но новая разновидность страха заползла в мой ум — то была боязнь невозвращения. Мне стало казаться, что Юрик никогда не прилетит

за мной, что Юрика и в живых уже нет, что я здесь — один навсегда. А если так — то стоит ли жить? Стоит ли дожидаться того дня, когда я в назначенный час приду к подножию Храма Одиночества, буду там ждать прибытия моего друга, и никто не спустится ко мне с неба? Боязнь стать космическим невозвращенцем преследовала меня наяву и во сне.

Настали двадцать седьмые сутки моего пребывания на Фемиде. Очень памятные для меня сутки! В ту ночь мне приснился странный сон. Странный тем, что, проснувшись, я позабыл его содержание, ведь обычно свои сновидения я запоминаю очень точно. А тут я помнил только то, что вначале мне было почему-то очень, очень страшно, а потом вдруг стало совсем-совсем не страшно, и проснулся я от радости, от желания поделиться с Настей счастливой вестью. Но Насти рядом не было, она жила за тридевять небес отсюда. И что за радостная весть — я не помнил. Вокруг же ничего радостного — все та же самая осточертевшая Фемида...

Я спустился к ручью, умылся, потом позавтракал запасенным заранее горохом, потом стал шагать взад-вперед по поляне, пытаясь припомнить, что же такое замечательное я видел во сне. И вдруг кое-что вспомнил. Вспомнил, что сон мой заканчивался тем, будто я сижу на стволе того сломанного бурей дерева, которое тигровый хвост прищемило; сижу там, и в левой руке у меня записная книжка, а в правой — авторучка. И вот теперь — уже вполне наяву — я направился к этому дереву, сел на его шершавый ствол и вынул из кармана своего потрепанного пиджака записную книжку и авторучку. И тут вспомнил то самое главное, что видел во сне,— и сделал короткую запись. Свершилось то, о чем я тайно мечтал всю жизнь: я открыл Формулу Бесстрашия.

Осчастливленный самим собой, опьяненный радостью, сидел я на древесном стволе. В уме моем возникли гордые строки:

Расступитесь, прохиндеи,
Я великим стать могу —
Драгоценные идеи
Трепыхаются в мозгу!

И вдруг послышался зловещий шум. В просвете между деревьями возникло длинношеее рогатое чудище. Оно приближалось... Быстрее зайца устремился я к чертежному дереву, быстрее белки поднялся в свое высотное жилище — и, дрожа от страха, стал ждать дальнейших событий. Меж тем животное вышло на поляну, и теперь я разглядел его получше. У него длинная жирафья шея, оленьи рога и четыре уха, одна пара на голове, другая — возле хвоста. Оно принялось поедать траву, и мне стало ясно, что для меня — опасности нет.

Уважаемый читатель, не удивляйтесь моему испугу! Да, я открыл Формулу Бесстрашия, но ведь она нуждается в техническом воплощении; на ее основе я должен сконструировать СТРАХОГОН — тот самый прибор, наименование и внешний вид которого подсказала мне Главсплетня в одном из моих предыдущих сновидений. А пока этого прибора не будет, я, владелец Формулы Бесстрашия, по-прежнему буду трусоватым человеком. Обидно, но факт.

27. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

В назначенный срок я явился на лужайку возле Храма Одиночества. Звездолет прилетел вовремя, меня сразу с него увидели, и ладья-лифт, в которой восседал мой друг, приземлилась возле меня. Юрий был ошеломлен тем, что я удрал из Храма. Когда мы поднялись в звездолет, я соврал своему спасителю, что Храм покинул не из страха, а потому, что соскучился по природе. Затем коротко поведал ему о зверях, которых мне довелось видеть.

— Узнаю твой героический нрав! — воскликнул наивный иномирянин.— Ты не по природе соскучился, тебе захотелось свое земное бесстрашие проявить! Ты намеренно рисковал! Я не должен был высаживать тебя на Фемиде! Я — полуубийца! Я обалдуй, олух, остолоп, охламон, обормот, очковтиратель, обидчик...

— Оборотень, охальник, опричник, отравитель, обыватель, обжора,— продолжил я.

— Спасибо, Серафимушка! Как приятно слышать задушевные земные слова! Слушаю — и уши радуются! — растроганно произнес Юрик.— А теперь спеши в кают-компанию, обедай вовсю! Ты ведь изголодал себя.

— Прежде всего я должен побриться,— заявил я.— А то твои однопланетники с опаской на меня поглядывают.

В салоне звездолета кроме тех подкидышей, которые, подобно Юрику, возвращались на изучаемые планеты, находилось четверо отцов с малолетними сыновьями — будущими подкидышами. Я спросил Юрика, не страшно ли этим папашам за своих детей.

— Не страшно, не ужасно, не жутко, не боязно,— ответил мой друг.— Детишек подбросят не к каким-нибудь живодерам, живоглотам, жуликам, жадинам, жмотам, а к заранее разведанным добрым иномирянам. И учти: подбрасывают только мальчиков, девочки менее выносливы и более стыдливы. А ведь есть планеты открытого секса. Там...

— Я человек женатый, меня такие бардачные планеты не интересуют,— целомудренно прервал я иномирянина.— Ты лучше расскажи, как твои сердечные дела движутся.

— Дела великолепны! Свадьба сбылась! Я теперь вполне женатый человек! Я на Землю в последний раз лечу! — восторженно сообщил Юрик и пригласил меня слетать на его планету, когда он будет туда возвращаться; обратно на Землю я смогу вернуться рейсовым звездолетом. Я поблагодарил его за это дружеское приглашение и добавил, что обдумаю его, но не произнес строк, которые у меня возникли в этот миг:

Кот в подвале встретил мышь,
Пригласил ее в Париж.
Мышь ответила ему:
— Нам парижи ни к чему.

Когда я вспоминаю свой обратный полет на Землю, он кажется мне очень коротким. Это потому, что во время этого полета я обращал очень мало внимания на все, что окружало меня, ибо моя голова была занята разработкой проекта СТРАХОГОНА. Миниатюрный прибор должен иметь круглую шкалу с двумя стрелками. Черная стрелка показывает человеку степень его испуга или ужаса; зеленая стрелка показывает степень фактической опасности. Благодаря этому владелец прибора получит возможность даже в самых экстремальных условиях действовать в пределах разумной осторожности. Ведь часто мы, люди, преувеличивая степень опасности, впадаем в необоснованную панику и ведем себя так, будто нам угрожает неизбежная гибель. И этот слепой страх нередко приводит людей к гибели фактической. СТРАХОГОН поможет людям при самых неожиданных обстоятельствах сберечь свою нервную систему, самоуважение, а иногда и жизнь.

Однажды, когда я, взяв записную книжку, принялся набрасывать некоторые детали будущего прибора, Юрик поинтересовался, чем это я занят. Мне почему-то не хотелось, чтобы он знал о моем открытии, но и врать не хотелось другу. И я изложил ему суть дела. Он был восхищен. Он заявил, что и его однопланетникам СТРАХОГОН мог бы иногда пригодиться, но, к сожалению, подкидыши имеют право заимствовать на чужих планетах только гуманитарные и кулинарные знания, но отнюдь не технические. В заключение он сказал, что ему понятно, почему я додумался до своей формулы: я хочу, чтобы все земляне стали такими же отважными, как я. Возражать Юрику я не решился.

Мы благополучно приземлились на крыше моего родного дома. По земному времени наше отсутствие равнялось десяти минутам. Первым делом я заглянул к своим родителям. Их удивило, почему это я с рюкзаком и топором,— и я соврал им, что отправляюсь на субботник. А когда мать спросила, почему у меня такой радостный вид, я пробормотал что-то невнятное. Да, меня прямо-таки шатало от радости, что я опять на Земле. Когда мы с Юриком вышли из подъезда (друг решил проводить меня до трамвая), какая-то старушка, взглянув на меня, молвила укоризненно:

— С утра надрался, гопник!

— Голодранец, грязнуля, головотяп, гордец, глупец, греховодник,— восторженно продолжил Юрик.— А что еще? Подскажи, Фима!

— Грабитель, графоман, головорез, громила, гужбан, горлодер, гангстер... Кажется, все.

После комфортабельного звездолета странно было ехать в дребезжащем трамвае, а в душе пела радость: сейчас увижу Настю! И вот моя квартира, кругом — никакого космоса. Настя отворила дверь и озарила меня улыбкой № 8 («Я тебе рада!»). А я первым делом выложил на стол топор, а затем честно вернул ей 200 рублей, которые, как помнит уважаемый читатель, она мне вручила перед моим отлетом в надежде, что я обменяю их на инопланетную валюту и куплю каких-нибудь неземных дамских шмоток для пополнения ее гардероба. Сперва Настя огорчилась тому, что это коммерческое мероприятие не состоялось, но когда я рассказал ей о своих космических мытарствах, она зарыдала. Затем на лице ее возникла улыбка № 47 («Радость сквозь слезы»), и она заявила, что я, слава Богу, привез из этого путешествия самое главное — самого себя, и взяла с меня клятву, что впредь я ни на какие планеты летать не буду. Эту клятву я ей дал очень охотно.

Когда я сообщил Насте о Формуле Бесстрашия и о СТРАХОГОНЕ, она, к моему удивлению, отнеслась к этому без особого восторга. Она сказала, что такой прибор очень бы мне пригодился, но ведь его так трудно осуществить практически... В этот момент из-за стены послышался шум; соседи приступили к музыкальной тренировке. Настя сочувственно посмотрела на меня, но я был спокоен. После пребывания в Храме Одиночества я стал бояться тишины. Теперь всякий шум действовал на меня успокоительно.

Пусть ржут жеребцы и кобылы,
Пусть мучает скрипку сосед —
Хочу, чтоб душа позабыла
Безмолвие дальних планет!

28. ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Со дня моего возвращения на Землю прошло немного времени, но мне кажется, что в Космосе побывал я очень-очень давно, и вспоминается мне эта окаянная Фемида не то как сон, не то как бред. А дома у нас тишь и благодать. Настя утверждает, что характер у меня стал получше,— хоть и прежде мы с ней ссорились довольно редко. Не так давно я купил в комиссионке подержанный, но исправный телевизор, и по вечерам мы втроем смотрим всякие программы. В особенности довольна этим Татка. Она недавно сказала, что теперь у нас все как у нормальных.

Весь свой отпуск я провел дома. Чертил не покладая рук, думал не покладая головы — и в конце сентября вручил директору ИРОДа чертеж СТРАХОГОНА и подробнейшую пояснительную записку. Через неделю после этого директор вызвал меня и сообщил, что идея сама по себе весьма интересна, но не вполне соответствует профилю ИРОДа, да и технически трудно осуществима. Однако в дальнейшем институт, возможно, займется моим изобретением вплотную.

Меж тем ироды не дремлют. В отделе бытовой химии создано съедобное мыло, которое очень пригодится не только в туристских походах, но и в быту. Сотрудники парфюмерной подсекции разрабатывают рецептуру духов, которые будут называться «Времена суток»; запах их меняется четырежды в течение дня. Дизайнеры ИРОДа готовят новинку — юбку с рукавами. Главсплетня (с которой я с недавних пор нахожусь в товарищеских отношениях) утверждает, что когда эти юбки выбросят в продажу, за ними будут вдоль и поперек Невского дамские очереди стоять. Увы, та же Главсплетня на днях принесла весть, что высшее начальство почему-то недовольно ИРОДом и даже подумывает о ликвидации нашего института. Быть может, это объясняется участившимися нападками прессы на деятельность ИРОДа?

* * *

Вчера Юрий Птенчиков навеки покинул Землю.

Я проводил своего друга до моего родного дома, с крыши которого он должен был отбыть на свою планету. Но на крышу с ним подниматься не стал, простился с ним на нашем чердаке; а поскольку там никаких ангелов нет, расставальный наш разговор происходил наедине.

— Ты мой спаситель, тебя я всегда помнить буду как героя! — воскликнул сентиментальный иномирянин.

— Нет, Юрик, никакой я не герой,— признался я.— Если бы я героем был — ты бы не хромал.— И тут я честно рассказал ему, как дело было, как долго не мог я решиться прийти ему на помощь.

— Все равно — для меня ты герой! И я знаю, как смело ты себя в своем НИИ ведешь, как с критикой выступаешь.

— Юрик, это — не смелость храбреца, а нахальство тайного труса, рассчитанное на чужую — еще большую — трусость. А когда я заранее знаю, что мне могут отпор дать,— я тихо в сторонке стою.

— Фима, один наш древний мудрец так выразился: «В каждом герое прячется трус, и в каждом трусе дремлет герой». Тебе надо понять себя. Ведь ты решился побывать на Фемиде — разве это не отважный поступок?!

— Это я не отвагу, а лихачество показное проявил. Если бы я заранее знал, какой ужас на меня на этой сволочной Фемиде навалится,— черта с два бы на это решился... Правда, быть может, благодаря этому ужасу я нашел Формулу Бесстрашия.

— Фима, а скоро твой прибор будет запущен в массовое производство?

— Ишь чего захотел! Скоро только сказка сказывается... Проект пока все еще у директора, у Герострата Иудовича в шкафу лежит.

— Серафим, так ты предложи свой проект другому НИИ.

— Юрик, а если он и там в долгий ящик ляжет? Может, в другом НИИ тамошний директор, какой-нибудь Вампир Люциферович, его под сукно положит. А наш директор наверняка обозлится, что я через другое ведомство действовать хочу,— и в должности меня понизит, а у меня зарплата и так невелика, полторы сотни ре. А впереди пенсия маячит, и учти, что у нас на Земле пенсия по зарплате начисляется. Мне надо смирно себя вести. Жизнь — это мост без перил, надо идти посередке, не забегая вперед, а не то тебя в реку столкнут.

— Серафим, что же это получается?! Ты извини, но ведь ты философию трусости рекламируешь! Из твоих словес вытекает, что мелкий личный страх не разрешает тебе бороться за всеобщее бесстрашие — и за твое личное тоже! Я ошеломлен, озабочен, обеспокоен, обескуражен, озадачен...

— Обманут, одурачен, околпачен,— присовокупил я.

— Фима, для меня ты все равно герой! И спасибо тебе за помощь в освоении строгих слов земных! Благодаря тебе я возвращаюсь на родную планету словесным богачом!

— Вот от этой похвалы не отказываюсь,— молвил я. Затем мы дружески обнялись — и расстались навсегда.

Нинель Трейгер

Но дай удел: да вскроем жилы,
И все тарелки приготовь,
Пускай сквозь нас — неудержимо —
Сквозь поколенья — эта кровь;
Ей невосстановимо литься,
Но мы увидим в краткий миг,
Как от тепла ее дымится
Земля, родящая тростник...

1969

* * *

Вскрыла жилы... Неостановимо,
Невосстановимо хлещет кровь...

М. Цветаева

И был Медон. Была клеенка
На краешке стола рыжа
От жара, от царапин тонких
Простого хлебного ножа;
На рынок поутру ходила,
Брала картошку и морковь;
И кляксой на столе — чернила:
О — «вскрыла жилы... хлещет кровь...»
Неудержимо, невосстановимо...
Звалась Марина.

И так смертельно-бесшабашно,
И — хоть кричи, хоть не кричи —
Все было пусто так и страшно
В безмолвье, в черноте, в ночи;
И клякса крови красной этой
На небе в тот январь седой
Стояла бедственной кометой
Иль вифлеемскою звездой;
Тарелки сонные звенели,
Рассвет был на ветру багров...
А мы лежали в колыбели.
Тем тростником, впитавшим кровь.
Уже всамделишной, реальной —
Зальется скоро полземли,
И городок провинциальный,
Как счет пророчества — вдали;
— Кого и от чего — спасли
Стихи и раньше, и доныне?
И прах неузнан у земли —
В чертополохе ли, в полыни...

И мы картошку чистим утром,
А звезд не видим: ночью — спят...
— Дай, Боже, сердцу — в пятьдесят
Всевыносящим быть и мудрым!

* * *

«Откройте глаза, распахните уши!» —
О чем говорят языком скуповатым —
«Имеющим уши, имеющим души!» —
Таблички из глины царства Урарту?

Что кто-то кому-то деньгами обязан,
Жилища меняют: въезжают-съезжают,
Что старый мир распадается в связях,
Что дети родителей не почитают...

Что дети — неблагодарные дети —
Любимы любовью неопалимой,
Что люди — увы — подвержены смерти,
Малы перед ней, велики и ранимы...

...Историк нанизывает примеры,
Сдувая тысячелетнюю пыль,
И слушают лекцию пенсионеры
(Нева за окнами зала, и шпиль...).

Потом, в коммунальных коробках зажатые,
Все думают — нынешние — про те
Обменные иски в царстве Урарту.
И судьбы детей. И судьбы детей...

* * *

Были в молодости миги,
Когда мы «решали» страстно:
Быть счастливой — не-великой
Иль великой, но несчастной?

Одного в своем задоре
Не могли тогда помыслить:
Ни судьба от нас, ни горе
Не всегда вольны зависеть.

Вот и мне — ненастной тучей
Выпадает: не-красивой,
Не-заметной, не-везучей,
Не-великой, не-счастливой...

Нивель Даввловна Трейгер — поэт. Публиковаться начала в 1954 году. Первая книга стихов — «Живая спираль» — уввдела свет в 1966-м. Живет в Ленинграде.

Федот Сучков

История Алпатьева

Повесть о вертухае

Федот Федотович Сучков — московский прозаик, поэт, драматург, а еще — скульптор, автор памятника В. Шаламову на Троекуровском кладбище, мемориальной доски памяти А. Платонова на Тверском бульваре и портретов выдающихся мастеров слова — Бунина, Некрасова, Тургенева, Домбровского, Солженицына, Юрия Казакова, Всеволода Иванова, Павла Васильева.

На его долю выпало — оттрубить в отдаленных местах тринадцать лет... И несмотря на свой возраст (родился в 1915 году), Федот Федотович работает почти круглосуточно. Вот что он рассказывает о себе:

— Я приехал в Москву из Сибири в 1938 году. Приехал учиться и попробовать себя в словесности. Но продержался в Литературном институте имени Горького (куда поступил в 39-м году) только до третьего курса. 5 сентября 1942 года ночью меня увезли на Лубянку, где продержали, если не ошибаюсь, трое суток (дни исчислялись по несъеденным птюхам — ломтикам хлеба). На четвертые сутки из Лубянской цитадели меня перебросили в Лефортовскую тюрьму. Последующие «университеты»: Бутырки (камера девятнадцать), Котласские лагерные пункты и затем 1-е лаготделение Интинского угольного бассейна в Минлаге... Как видите, «учеба» в «Академии им. Ежова — Берии» несколько подзатянулась. Так что в Москву я вернулся, пройдя через ссылку, через три пятилетки. И что меня удивило больше всего по возвращении в Литинститут, это слова архивариуса о том, что я, Сучков Федот Федотович, числюсь, оказывается, студентом третьего курса и меня из института не исключали...

Говорят, Анна Андреевна Ахматова, когда ее спросили, за что посадили известного ей человека, вспылила и резко ответила: «Да неужели вы не понимаете до сих пор, за что сажали честных людей?!»

— Я числился в течение всего срока «осужденным» по 10-му и 11-му пунктам 58-й статьи, то есть за антисоветскую агитацию в компании своих сокурсников — Ульева и Фролова. Извинительная бумага из Прокуратуры СССР о совершившейся когда-то судебной «ошибке» пришла в Удерси, где я отбывал ссылку только в конце 1955 года. За тринадцать лет, проведенных в райских кущах Ежова — Берии, мне выплатили после реабилитации двухмесячную стипендию — 300 рублей дореформенными деньгами.

Историю лагерного охранника Алпатьева Ф. Ф. Сучков написал в 1964 году. Это было время, когда солженицынского «Ивана Денисовича» прочитала уже вся страна. Хрущев с высокой трибуны величал автора «великим писателем земли русской». Александр Исаевич чуть-чуть не получил Ленинскую премию...

Но потом «оттепель» кончилась. И повесть Ф. Ф. Сучкова пролежала у него в столе еще четверть века...

Такая вот судьба.

Приговор окончательный,
обжалованию не подлежит...

Из дела 2541—1498

Насмешка над человеком достигла
цели: он перестал быть серьезным.

Из частного письма

1

Только раз ему довелось сопровождать заключенных. Все остальное время конвойное начальство использовало его на вышке по охране рабочей зоны, на хозяйственных работах — он мыл полы, ремонтировал прогнившие тротуары, работал на проверке вагонов с углем.

Больше всего ему не нравилось возиться на пульманах. Эту работу не любили и другие стрелки дивизиона. Они не терпели запаха угля, их тошнило от угольной пыли, а глыбы с кристаллическими срезами досаждали так, что их ненавидели, как классовых врагов...

Однако сильнее угля конвоирам опротивели железные прутья, которыми они прошуровывали каждый вагон. «Прошуровка» вызывалась боязнью начальства — как бы вместе с углем не «оттартать» на юг решившего улизнуть зэка. Он мог спрятаться под углем в сколоченном из горбыля ящике и пропилить в удобное время на нужной станции нижний настил. Об этом говорило начальство на каждом сборе; об этом напоминали при выходе на работу.

Когда Алпатьева вывели проверять вагоны впервые, он усомнился, что ему удастся проколоть гору угля насквозь — до пола. А прокалывать уголь нужно было вдоль всех стен и через каждый метр по средней линии. О неприятности нарваться на глыбистый уголь он слышал не раз.

— Едрена мать! — сказал ему взводный в первый час работы.— Когда с бабой-то возишься, небось пытаешься до нутра доехать... Суй, как другие, до самого кольца на щупе!

«Прыткий ты дюже,— подумал Алпатьев.— Попробовал бы сам, чем других учить...»

Взводный, словно понявши упрек бойца, взял щуп и воткнул его на полметра в податливую массу. Потом резко повис на нем. Прут стукнулся о дно вагона.

Алпатьев повторил прием командира. Но легкое тело его только повисло в воздухе.

— Думать надо головой, когда повисаешь,— сказал взводный.

Алпатьев молчал, поскольку был уверен, что думать чем-нибудь другим никогда не удастся.

— Попотеешь — одолеешь,— наставительно произнес командир.— Этот пульман за тобой. Ты отвечаешь за него.— И перегнал стрелков на соседние три пульмана.

К обеденному перерыву Алпатьеву стало казаться, что он многокилометровым стержнем пытается сквозь толщу земли достать до мантии Махравичича, о которой вычитал в «Технике — молодежи». Тупые удары о пол вагона отдавались в его животе, а мозоли на сгибах пальцев источали на рукавицы липкую жидкость.

— Освоил? — спросил взводный, когда Алпатьев становился в строй.— После обеда вместе с Гнушиным останешься в казарме.

* * *

Пульманы тянулись цепочкой. На фоне вечернего неба они представлялись гигантскими сдвоенными кубами. Ничего более огромного Алпатьеву видеть не приходилось. Держась за палку, продетую в ушки бачка с известью, он смотрел на вагоны так, как будто впервые их видел.

С другой стороны бачка, в ногу с Алпатьевым, двигался Гнушин. Березовый дрын, на котором покачивался бачок, медленно прогибался.

— Прольем известь,— сказал Алпатьев.

— Хрен с ней, с известью! — ответил Гнушин.

— Не хрен...— Алпатьев замялся. Определить — что же именно с ней, с известью, он не мог.— Прольем,— сказал он,— придется возвращаться.

Было бы куда разумней заменить дрын. Но на снежной, вылизанной ветрами равнине не чернело ничего подходящего.

— Возьмемся за ушки, триста метров осталось,— нашелся Алпатьев.

Стрелки остановились. Гнушин выдернул палку и отбросил ее в сторону.

— Всегда так,— сказал он.— Что неудобней, тяжелей и не вовремя, то достается нам.

Алпатьев не ответил. Шагая по наторенной дороге, он представлял себя самого, взобравшегося на хребтину пульмана. Невзрачная фигура его, с конусным ведром и веткой стланика в руках, обрызгивала известью не видное с земли «черное золото»... На соседнем вагоне то же самое делал другой человек, более крупный. Они не походили ни на священнослужителей с кадилами, ни на поливальщиков нежных парниковых растений.

«Чудно́,— думалось Алпатьеву.— И работа вроде бы легче, чем рубить из проволоки гвозди, и повеселей, чем топтаться на вышке...»

— А что будет,— спросил он вдруг,— если по ошибке обрызгаешь известью не всю поверхность?

— Гауптвахта будет,— ответил Гнушин.

Обработка известью верхнего слоя угля на загруженных вагонах была тщательной. Начальство конвойных войск придавало ей особое значение. Ни один беглец, забравшийся на пульман, не мог бы проехать на нем, не выдав своего маршрута. Пульманы проверялись на всех больших станциях.

Обо всем этом Алпатьев знал не хуже Гнушина.

— Гауптвахта — ерунда,— сказал он.— Говорят, на ней можно выспаться. Вот если засудят...

— Могут,— согласился Гнушин.

Стрелки остановились у среднего — тринадцатого от головы — вагона.

— К полуночи закончим,— сказал Гнушин.— Ты кончишь головным, а я — хвостовым.

— Ветер начинает,— возразил Алпатьев.— Не справимся, поди, и к часу...

* * *

Весь путь от состава до известкового склада они проделали молча. Алпатьев продолжал начатый им еще на пульманах подсчет — сколько бесполезных операций приходится выполнять из-за зэков. Он насчитал двадцать девять, когда Гнушин спросил, почему он, Алпатьев, такой щупленький человек, заканчивает свои работы скорее напарников.

— Я работаю не спеша,— ответил боец. И снова стал думать, что не будь заключенных, всех этих изменщиков родины, диверсантов и шпионов окаянных, не было бы конвойных войск, гулага, сторожевых собак, собачников, не надо было бы стоять на вышках, тратить на них доски, расходовать металл на щупы, без пользы переводить известь.

Мысли Алпатьева напоминали полую воду, добравшуюся до луговых низин... На тридцать восьмой «операции», необходимой для содержания зэков, Алпатьев подумал: а нельзя ли для пользы дела не иметь заключенных вовсе, ликвидировать лагеря и тюрьмы. Об этом он спросил Гнушина.

— Будь я наиглавнейший в государстве,— ответил Гнушин,— я бы всех преступников расстреливал из мелкашки, чтобы металла поменьше тратить.

— Ну, махнул ты,— сказал Алпатьев.— И на такие-то пули свинца, поди, не хватит...

* * *

Ночная работа помешала Алпатьеву и его напарнику Гнушину пойти на торжественный вечер, посвященный семидесятилетию со дня рождения Сталина. Вечер проходил в поселковом клубе. Собрались бойцы и офицеры дивизиона, поселковое начальство, представители вольнонаемного состава — начальники шахт, инженерно-технические работники, служащие. С обстоятельной речью выступил помощник командира дивизиона по политической части. Он сказал, что человеческое счастье можно рассматривать с точки зрения влюбленного человека, добившегося взаимности, и, например, с позиции хорошо потрудившегося коллектива. Но как бы ни был счастлив человек по той или иной причине, он счастлив не вполне, если не является частицей отряда, реализующего гуманизм нашего учения. «Дело Иосифа Виссарионовича — в каждом из нас,— закончил он речь свою,— и поэтому мы самые счастливые...»

О речи замполита всех стрелков, находившихся в ночь на 21 декабря на проверке вагонов, информировал политрук роты. Разница была лишь в том, что та речь все время прерывалась аплодисментами, а пересказ аплодисментов не требовал.

Алпатьев, Гнушин и остальные бойцы слушали политрука молча. Правда, два стрелка чуть поаплодировали, когда политрук повторил переданные по московскому радио стихи, прочитанные А. Твардовским на торжественном вечере в Кремле.

Есть в мире сила неподкупных слов,—

декламировал политрук, подражая Левитану,—

Но чувства есть, которым в слове тесно.
Есть на земле народная любовь —
Такая, что не выразить словесно.

Ода Сталину заканчивалась так:

За все, за все примите наш поклон,
Как сердца долг, как знак любви народной;
От всех республик Родины свободной,

От всех свободных наций и племен —
От всех, от всех сыновий вам поклон...

После информации Алпатьева, Гнушина и других бойцов послали за очередной партией заключенных.

* * *

Пересыльный пункт, расположенный на обширном бугре, был виден на расстоянии пяти километров. Алпатьев рассматривал ряды бараков, низких и длинных, похожих на парниковые сооружения. Внимательный глаз определил бы, что перед ним не просто населенный пункт, а место содержания заключенных. Эта особенность, правда, свелась бы на нет, если бы к въездным воротам не стекались ручейки межбарачных дорожек и не было мертвого ограждения.

Почти у самой пересылки стрелки брезгливо отвернулись от саней, в которых под темным одеялом лежал мертвый с биркой, привязанной за большой палец правой ноги. Алпатьев успел заметить на ней выведенный химическим карандашом номер «С-368».

— В правильном направлении конвоируете! — крикнул Гнушин, кивая надзирателю, сопровождавшему покойника.— Верно говорю? — Он ударил Алпатьева, как делал это обычно, по левому плечу. Алпатьев сжался и — чего не было прежде — долго чувствовал, что левая половина тела его стала как будто короче правой.

— Ты, смотрю я, звереешь, Гнушин! — сказал он.

Ефрейтор в летах, старшо́й конвоя, посмотрел на Алпатьева. Стрелки заговорили о ритуале захоронения. У христиан на могилах кресты, у мусульман — камни с надписями, у евреев иудейской веры — шестиконечные звезды, а у зэков — колышки с номерами.

— Все это временно, форму не отыскали,— сказал стрелок с грузинскими усиками.

— По Сеньке и шапка,— не согласился старшо́й.— Все правильно. Номера дождь слижет, колья черви съедят...

Сквозь решетчатые ворота Алпатьев увидел колонну заключенных, подтянутую к вахте для выпуска из зоны. Зэков было десятков шесть-семь, они переступали с ноги на ногу, вертели головами, очевидно, радуясь, что сейчас их примут под свое начало новые люди, и карантинная пересылка — будь она неладна! — останется позади.

Минут через десять бойцы заняли свои места, подковой к въездным воротам. Утоленко, ефрейтор в летах, принял первый формуляр из рук урчиста [1] пересылки, и начался прием этапа на шахты.

— Авраамов! — выкрикнул ефрейтор.

— Владимир Владимирович,— ответил из-за ворот пожилой мужчина, одетый в лагерные чуни, летние штаны и полушубок без воротника, с полотенцем вместо шарфа.

— Статья?

— Пятьдесят восьмая.

— Пункт?

— Десятый-одиннадцатый.

— Срок?

— Двенадцать.

— Проходите...

Проверка этапников по списку и формулярам заняла полтора часа. Начался «шмон» — ощупывание одежды, вывертывание карманов, вытряхивание на утрамбованный снег тощего имущества зэков: запасного белья, мыльниц, зубных щеток. Консервные банки, котелки отшвыривались ногами, разные бумаги, а также книги, которых в этапе оказалось четыре, откладывались в сторону для внимательного просмотра.

Прошедшие «шмон» отходили на двадцать метров и становились по пятеркам. Будь фантазия Алпатьева побогаче, он наверняка подумал бы, что если взглянуть на все это с неба, то показалось бы странным до крайности: людская толпа медленно тает с одной стороны ворот и растет с другой.

Пересчет построенной по пятеркам нолонны был краток. Автоматчики заняли положенные позиции — один впереди, двое сзади, шесть по сторонам,— и начальник конвоя, с папкой формуляров под мышкой, прочитал «молитву», набившую старым заключенным оскомину: «Шаг влево, шаг вправо — конвой применяет оружие без предупреждения!» Новичкам-зэкам это уставное, согласованное с высшими инстанциями предупреждение еще не открылось во всей своей обнаженной жестокости. Шаг влево или вправо, хотя бы за валявшимся на обочине окурком или огрызком турнепса, влек за собою выстрел в спину, в бок, в голову, куда угодит пуля, действительно, без всякого предупреждения.

Колонна двинулась от пересылки.

Идущему впереди Алпатьеву не было видно, как тяжело переставляли ноги два совершенно седых заключенных и сильно отощавший великан лет тридцати от роду. Из-за их немощи колонна двигалась нервно, часто останавливалась. Наконец Утоленко приказал старикам и великану перейти в первый ряд.

«Выдержат,— подумал Алпатьев, все время пытавшийся нарисовать себе путь этих зэков до пересылки, до ареста, до того, как он появился на свет...— Может, это ленинградцы, может, москвичи, может, с Урала... Верзила-то наверняка служил гестаповцам. Выловили ирода. А эти...»

Попытка согласовать, соотнести придуманиую вину с впечатлением от лиц изможденных зэков заканчивалась провалом. Алпатьев пытался представить их агентами Трумэна, генералиссимуса Чан Кайши, английской королевы. Но все это почему-то не прилипало к ним.

«Не натренирован я»,— решил боец.

Из-за поиска соответствия, из-за разлада с самим собой он дважды отрывался от колонны на расстояние, запрещенное уставом.

— Последний раз конвоируете! — сказал ему у вахты лагпункта ефрейтор Утоленко. И тут же, при нем, рапортовал вводному, что никаких происшествий во время пути не было, все заключенные приконвоированы, имеются замечания в адрес стрелка Алпатьева...

Дальнейшего разговора боец не слышал. Ему приказали стать с автоматом за обочиной дороги. Из вахтенных дверей вышли начальник лагпункта, начальник УРЧа, начальник режима, нарядчик, продвещстолист, лекпом и два надзирателя. Началась передача этапа. Начальник конвоя сдавал заключенных под начало основного поставщика рабочей силы на шахты — начальнику лагпункта. Нарядчик, одетый в щегольскую «москвичку», выкрикивал фамилии, спрашивал о статьях и сроках; дежурные надзиратели принялись ощупывать одежду зэков; продвещстолист прямо у ворот стал проверять казенное и личное имущество приконвоированных по арматурным, еще не истертым, выданным на пересылке книжкам.

— Давыдов! Чуни первого срока, шапка б/у,— слышал Алпатьев.

— Есть,— отвечал долговязый зэк, видный бойцу издалека.

Ногу, обутую в лагерного фасона обувь, разглядеть не удалось. Алпатьев, правда, уже знал, что шьют это подобие обуви из разодранных на самодельном станке автомобильных шин. Шапка б/у, пропитанная потом, была у всех на виду.

* * *

Все последующие дни стрелок Алпатьев работал на пульманах. Взобравшись на вагон, он все думал, что работа в сельхозартели имени Буденного, откуда он ушел на войну, и работа в саперном батальоне с сорок второго года до ранения на Одере была куда приятней, чем служба в конвойных войсках. Все эти дни, вплоть до вызова в «Белый домик», к оперу, он все решал вопрос — как его угораздило пойти в конвойники. В конце концов Алпатьев решил, что это произошло потому, что он не хотел возвращаться в колхоз Буденного, и потому, что одинок — мать потерял в детстве, отца не помнит, а жениться не хватило времени... «Лучше в колхоз вернуться»,— решил он как-то и вспомнил слова подтянутого полковника войск МВД. Тот говорил, что защита отечества — это не только стрельба из пушек по явному противнику, но и битва со скрытыми врагами. «А их у нас много»,— говорил полковник.

«Интересно, где он сейчас? — думал Алпатьев.— Небось командует нашим братом на Колыме или в Норильске...»

— Гнушин,— обратился он к постоянному напарнику во время шкуровки бревен на постройку казармы,— почему у советской власти так много внутренних противников? Ведь лагерники-то многие родились при ней, вскормлены ею?

— Есть о чем думать,— ответил Гнушин.— Наше дело давить этих гадов, а не шагать с ними цыплячьим шагом, как с пересылки шагали.

— Это не ответ...

— Тогда сходи к оперу, лапоть.

— Могу и к нему сходить, тоже, птица!

Но в резиденцию оперуполномоченного Алпатьеву пришлось идти не по этому, а по другому вопросу. Его пригласили туда в связи с водворением в кондей сорока заключенных, работавших на загрузке пульманов.

* * *

В приемной «Белого домика» было тепло и уютно. Такой же чистотой встретил Алпатьева просторный кабинет оперуполномоченного.

После вопросов — является ли Алпатьев Алпатьевым, как его зовут по имени и отчеству, когда и где он родился, член ли он партии или комсомола, давно ли служит в конвойных войсках и так далее — опер перешел к тому, из-за чего вызвал.

— Занимались ли вы,— спросил он,— обрызгиванием известью угля в пульманах в ночь на 21 декабря?

— Занимался,— ответил Алпатьев.

[1] Урчист — работник УРЧа, учетно-рабочей части. *(Здесь и далее примечания автора.)*

— Вы в одиночку обрызгивали уголь или с кем-нибудь из стрелков?
— Обрызгивал с бойцом Гнушиным.
— О чем вы говорили во время работы?
— Ни о чем не говорили, я обрызгивал головные вагоны, а Гнушин хвостовые.
— Была ли у аас о чем-нибудь беседа, когда вы шли к пульманам и обратно?
Алпатьев глядел на офицера, еще не понимая, куда он клонит. Опер повторил вопрос.
— Сейчас,— сказал стрелок и стал вспоминать о давно минувшей ночи. Ему вспомнилось, как он представлял себя самого на пульмане.— Я спросил Гнушина,— сказал он,— что будет, если по ошибке не вся поверхность угля забрызгивается известью.
— Почему вы об этом спросили?
— Не знаю,— сказал Алпатьев.— Может, потому, что работа эта ненужная. Ни один беглый, говорят, не садился на загруженный углем пульман.
— Понятно,— сказал опер.— Еще о чем вы спрашивали Гнушина?
Алпатьев опять представил себя на вагоне и вспомнил, как он считал операции, которые приходится выполнять по вине заключенных.
— Вспомнил,— сказал он.— Я спросил Гнушина, как бы сделать так, чтобы не было лагерей и тюрем.
— Что вам ответил Гнушин?
— Он сказал, что всех преступников, будь он главным в государстве, расстреливал бы мелкими пулями, чтобы поменьше тратить металла.
— Как вы отнеслись к словам товарища?
— Никак. Я сказал, что много надо и мелких пуль, чтобы расстрелять всех преступников.
— Разве их много? — поинтересовался уполномоченный.
— Говорят, несколько миллионов.
— А кто говорит?
Алпатьев уразумел, что в историю разговора о лагерях и тюрьмах он может втянуть ребят дивизиона.
— Не помню,— сказал он.— Может, я слышал об этом еще на фронте или в деревне своей...
— А кто из ваших родственников отбывает наказание?
— Никто.
— А кто-нибудь отбывал?
— Сидел двоюродный дядя.
— Ясно,— сказал опер.— Еще один вопрос. Какой разговор был у вас с командиром взвода? Он предупреждал вас о чем-нибудь, когда вы проверяли вагоны?
Алпатьев подумал. Он вспомнил о фразе взводного про личную ответственность.
— Вы помните номер вагона, за который были *лично ответственны*? — спросил уполномоченный.
— Не помню.
— А взводный помнит... Номер вагона, в котором ушло на волю сорок неположенных писем,— двести двадцать четыре тире тысяча пятьсот девяносто один.
Уполномоченный встал.
— То, что я спрошу сейчас,— сказал он,— не относится к допросу. Вы шкурили бревна?
— Шкурил.
— Вам советовал Гнушин обратиться ко мне?
Алпатьев кивнул.
— Ну вот мы и встретились. О чем вы хотели спросить меня?
Стрелок молчал.
— Прочитайте и распишитесь.— Опер пододвинул бумаги.
Конвоир расписался, не читая.
— Распишитесь на каждой странице.
Стрелок расписался...

Спускаясь с покрашенного золотистой охрой крыльца «Белого домика», Алпатьев ощутил, что поднимался он по ступенькам другим человеком. Тот Алпатьев остался в кабинете оперуполномоченного.

* * *

5 января в помещение дивизионной гауптвахты явились четыре человека — замполит, помощник оперуполномоченного, бойцы — Гнушин и Топорков. Помопера был с портфелем, а оба стрелка с автоматами. Все они вошли в камеру, где содержался Алпатьев.
— Смирно! — скомандовал дежурный по гауптвахте, и арестованный стрелок вытянулся по-военному.

— Вольно,— сказал замполит, не очень зло, но и не мягко глядя на арестованного солдата.
Помощник опера протянул Алпатьеву форменный листок величиною в две мужские ладони. Это был ордер, в котором говорилось, что гражданин Алпатьев Степан Степанович, бывший стрелок конвойных войск, для удобства ведения следствия по обвинению его в преступных деяниях, предусмотренных статьей УК РСФСР 58-й, пункты 10 и 14, берется под стражу... Нижнюю часть ордера украшали две подписи — одна без завитушек, другая напоминала арабскую вязь. В правом углу постановления расписался окружной прокурор.
На все эти тонкости, равно как и на аббревиатуру «УК РСФСР» и цифры «58, 10 и 14», стрелок не обратил никакого внимания. Ни разу в жизни ему не доводилось держать в руках Уголовный кодекс; он не знал также, что аресты санкционируются прокурорами и что предъявление ордера арестуемому есть доказательство соблюдения социалистической законности.
— А теперь вот что...— произнес помощник уполномоченного. Он подошел к Алпатьеву и ловким движением пальцев сорвал с его плеч сначала один погон, потом другой. То же самое было проделано с висевшей на деревянном штыре шинелью.— Все металлические ненужности на гимнастерке и на брюках,— сказал помощник,— срывайте сами.
Алпатьев стоял, не шелохнувшись.
— Ну хорошо...— Помопера взялся за алпатьевский воротник, и в направлении бойцов, стоявших у дверей камеры, легкими пулями зазвенели пуговицы.
— На ширинке рви сам! — приказал помощник.
Алпатьев обалдело переводил глаза с Гнушина на Топоркова, с Топоркова на дежурного по гауптвахте.
— Рви! — рявкнул помопера.
Солдат подчинился.
Все последующие процедуры — сбор разлетевшихся по камере серпастых пуговиц, перевод во «внутреннюю» тюрьму под конвоем Гнушина и Топоркова, раздевание там донага, осмотр швов в одежде, распарывание ошкура — пояса брюк, фотографирование анфас и в профиль, заполнение какой-то анкеты — все это боец воспринимал смутно, словно во время срывания погон и обрывания пуговиц он надышался хлороформом.
Без нужной ясности в голове, как в сонном сказочном царстве, проходили, не торопясь, ласковые и неласковые допросы. Столь же пьяно воспринял боец и посещение окружного прокурора. Тот пришел к уполномоченному, когда «подписывалась» 206-я статья, означающая, что следствие закончено, материал готов для передачи правосудию.
К этой поре — к концу февраля — Алпатьев признал, что виноват в халатном отношении к порученному делу — проверке вагонов. А то, что его разговор с Гнушиным носил антисоветский характер, он отрицал начисто. Здесь Алпатьев был тверд, как кремень.

Похлопав по не тонкому — в 117 страничек — «делу» бывшего конвоира, прокурор сказал, не обращаясь прямо к солдату:
— Как же это получается, Степан Степанович? Факты подтверждаете, ставите подпись свою, а вины не признаете? Кто же кому морочит голову?
Боец молчал.
— Надеетесь на трибунал?
Прокурор встал и уже от дверей кабинета помахал уполномоченному.
Фетровые бурки с замысловатой коричневой осоюзкой, пошитые на северный манер,— вот что запомнилось из облика прокурора Степану Степановичу Алпатьеву.

2

Этап, которым везли бывшего стрелка конвойных войск, выгрузился на степной зауральской станции. Дымящиеся терриконы поднимали свои острия километрах в четырех от места выгрузки.
— Милые сердцу дырочки! — сказал заключенный, стоявший справа от Алпатьева.— Прямо туда и всунут после карантина.
Заключенных построили, приказали взяться за руки, и десяток автоматчиков с собаками окружили колонну; она двинулась в направлении шахтного городка.
Когда подходили к лагерной зоне, откуда-то из степной дали вынырнули полоски рельсов. И вскоре Алпатьев увидел одетых в полушубки солдат. Металлические прутья, которыми они орудовали на пульманах, были то длинными, выше их роста, то короткими. Походило — стрелки не работали, а кланялись какому-то спрятанному за горизонтом неумолимому богу.

* * *

Этап Алпатьева пришел на лагпункт 15 апреля. А 16-го днем — это было воскресенье — началась генеральная проверка. Ее проводила спецкомиссия, она проверяла правильность записей в формулярах [1], выявляла появившиеся после предыдущей комиссии приметы на лицах и на телах заключенных. С генповеркой совмещалось генеральное медобследование — определение трудовых категорий всему составу лагпункта.

Карантинный барак опрашивали в четвертом часу пополудни. Алпатьева поразило обилие статей, по которым сидели заключенные. Семь человек из его этапа отбывало наказание по статье «КРД», трое — по «СОЭ», двое — по «ООЭ», несколько человек — по «АСА» [2]. Ни одна из этих статей, как узнал он позднее, не фигурировала в Уголовном кодексе.

Рыженький одноглазый заключенный, вызванный на осмотр, спросил главного проверяльщика — почему, на каком основании писать письма родственникам разрешается дважды в год, в то время как в приговоре военного трибунала, который его судил, не говорилось об ограничении переписки.

— Сколько лет вы сидите? — спросил главный.

— С тридцать девятого года.

— Значит, одиннадцать... Пора бы, молодой человек, кое-чему научиться.

Днем позднее заключенный, задававший вопрос главному, сказал при Алпатьеве, что этот ответ заслуживает поощрения, так как прошлогодний майор сослался на диалектику — все, мол, течет, меняется, меняются и формы социальной защиты. А лучшим определением этой диалектики, добавил заключенный, было определение одного его друга, тамбовского мужика. Он будто бы заявил, что «все текет и ничего не менятца...»

Выбившийся из начальной буквы куда-то вниз, к концу алфавита, формуляр Алпатьева все не появлялся в руках руководителя комиссии. И это сыграло свою роль. Алпатьев успел осмыслить ответ на предстоящий вопрос о гражданской специальности. Сказать, что он служил в конвойных войсках — ничего не сказать о своем трудовом умении и выдать заключенным свою принадлежность к самой презираемой в лагере группе людей.

— АС-369! — выкрикнул наконец урчист.— Фамилия?

— Алпатьев Степан Степанович,— ответил бывший стрелок.

— Год рождения?

— 1923.

— Статья?

— Пятьдесят восьмая.

— Пункт?

— Десятый и четырнадцатый.

— Вы понимаете, что означают эти пункты? — спросил главный.

— Понимаю,— ответил Алпатьев.— Антисоветская агитация и пособничество врагам народа.

— Срок?

— Пятнадцать лет.

— Начало и конец срока?

— 5 января 1950 года, 5 января 1965 года.

— Образование?

— Шесть классов.

— Семейное положение?

— Холост.

— Специальность?

— Плотник.

— Хорошая специальность! — впервые высказал свое мнение по этому пункту главный.— Мы строимся,— сказал он с добринкой в голосе.— Нужны плотники, каменщики, кровельщики, штукатуры. Проходите, Алпатьев, в следующую секцию.

Любезность старшего приятно скользнула по сознанию бывшего стрелка. Он встал, хотел было кивнуть, но урчист громко крикнул: «АЮ-954. Фамилия?» — и вновь испеченный зэк — Алпатьев — как-то боком прошел мимо...

---

[1] Формуляр — основной докумевт заключевного, его лагерный паспорт.

[2] Эти «статьи» не являются статьямв Уголовного кодекса. По ним, по этим «литерам», было ясво, что заключевного ве судил суд военный или граждавский, он отбывает срок по решению так называемого Особого совещания. КРД — контрреволюционная деятельвость. КРА — контрреволюциовная агитация. АСА — антисоветская агитация. КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельиость. ПШ — подозрение в шпиоваже. ЧСИР — член семьи изменника родины. СОЭ — социальво опасный элемент. ООЭ — особо опасный элемент. СВЭ — социально вредный элемент. АСВЗ — антисоветский военный заговор.

То, что он увидел в секции «А», походило частично на общественную баню, только без пара, воды и шаек. Здесь толкалась масса полураздетых людей — одних осматривали начальница санчасти и лагерный врач; другие стояли перед столиком представителя спецкомиссии; третьи — одевались; четвертые — уже осмотренные и обследованные — толпились у задних вагонок. Некоторые спали.

Алпатьев встал в очередь за крупными шевелящимися лопатками. На какое-то время они закрыли весь свет и показались не лопатками, а ребристыми, подвижными деталями какого-то сделанного из металла агрегата. Алпатьев увидел, что человеческая кожа является скорее мешком, чем покровом многочисленных костей скелета. И лопатки, и ребра, и зубчатые позвонки — все это свободно перемещалось в мешке из гусиной бугорчатой кожи.

— Прогрессирующая дистрофия,— проговорила начальница.— Повернитесь спиной. Спустите штаны. Согнитесь.

Истощенный зэк проделал все молча.

— Интруд. Четвертая категория. Назначить ОП [1],— быстро диктовала молодая женщина сидевшему рядом с ней юному санитару из заключенных.— Подойдите!

— Ну, что ты застыл! — подтолкнул Алпатьева раздетый до пояса, такой же, как он, малорослый новичок-зэк.

— Повернитесь спиной,— сказала начальница.— Спустите брюки, согнитесь.

Странный осмотр — спускание штанов, осмотр ягодиц, анального отверстия — на эту необычную процедуру бывший стрелок не обратил внимания, но вспомнил о ней позднее, спустя четыре дня, когда один красивый, с выразительными глазами зэк сказал при нем: «Любопытно, как же они определяют категорию заключенных женщин...» И объяснил этапникам-новичкам, что осмотр ягодиц и анального отверстия самый быстрый и самый надежный. Если есть еще жировое отложение на задней части и не грозит выпад известной кишки, посылать на работу следует...

— Вторая категория [2]. Ты!..

Чуть не споткнувшись о собственные штаны, спущенные для осмотра, Алпатьев передвинулся к столику представителя спецкомиссии и по его приказу медленно повернулся кругом с поднятыми вверх руками.

Записи в карточке Алпатьева не отклонялись от того, что увидел урчист: лицо было округлым, с впалыми щеками; цвет волос светлым; глаза серыми; брови темными; нос короток и вздернут; шея нормальная; грудная клетка впалая; рваный шрам тянулся через всю грудину от левого плеча до верхней границы брюшины; родинка, величиною с горошину, сидела на том же месте, возле соска. Никаких других примет представитель власти не обнаружил.

Подойдя к нарам и развернув гимнастерку с нижней рубахой, чтоб надеть их на себя, Алпатьев задержал свой взгляд на синеватой прямой полоске, пересекающей все четыре пальца правой руки выше среднего сустава. Перебитые ударом дубовой столешницы, фаланги пальцев срослись правильно, искривления были едва заметны. Эти отметины появились у него уже после заполнения во внутренней тюрьме личной карточки, во время допроса...

Заправляя низ гимнастерки под пояс штанов, Алпатьев подумал, что одна из «примет» оказалась не обнаруженной. А то, что начальница записала не ту трудовую категорию, он не сообразил. Поэтому позднее бригадир Осоков, увидевший, что тощему новичку трудно держать в руках лопату, поставил его на последнее — легкое — звено транспортерной ленты.

* * *

После генеральной поверки для этапников потянулись дни карантинной жизни. Они были полны своеобразной лагерной прелести. Особенно это чувствовали заключенные, для которых этап был не прибытием в лагерь, не началом отбывания срока, а просто перемещением из одной зоны в другую.

Поковырявшись на пустяковых работах — на очистке проходов, на ремонте крыш, нар,— заключенные пристраивались на оттаявших горбылях барачных завалинок и слушали, как все дружней и дружней перекликались ручьи, как споро оседал снег и как горланили вороны.

Так же поступал Алпатьев. Но то ли оттого, что общее оцепенение, начавшееся в кабинете оперуполномоченного, еще продолжалось, или потому, что все этапники настороженно относились друг к другу, он сидел на своем постоянном месте одиноко.

Так продолжалось до предпоследнего дня драгоценного карантинного отдыха. В этот день к нему подсел заключенный, чьи огромные лопатки во время комиссовки закрыли

---

[1] Интруд — «ивдивидуальный», легкий труд, 4-я — последняя — трудовая категория. ОП — оздороввтельное питание, в котором предусматрввались жиры, отсутствующие, как правило, в общем, «гарантвйвом», котле.

[2] Вторая категория — средняя по тяжеств. Первая — самые тижелые работы.

весь белый свет. Алпатьев помнил, что зэка определили в «индию» [1], и видел, что он получает оздоровительное питание — ОП.

Заключенный долго молчал. И солдат потихонечку разглядывал его кордовую обувь. Марка «ЗИС» — завода имени Сталина — была не содрана. Она, как клеймо, красовалась на внешней стороне странного сооружения лагерного пошива, не похожего формой своей ни на лапоть, ни на чирик.

Повернув голову к Алпатьеву, заключенный спросил, из какого лагеря он прибыл. Алпатьев хотел сказать «не из какого», но назвал тот лагерь, где служил конвоиром.

— Долго вы загорали там?

— Не очень...

— Я в этом лагере отсупонил четыре года. На каком вы лагпункте были?

— На втором.

— Какого лаготделения?

Страшно перепугавшись, что заключенный оттуда же, Алпатьев все-таки ответил:

— Третьего...

— Нет,— сказал заключенный.— Я был на седьмом кругу. Это поближе к центру.

У Алпатьева, не понявшего, о каком «седьмом круге» говорит зэк, отлегло от сердца. Но прежняя, зародившаяся в тюрьме боязнь, что заключенные непременно разоблачат его, узнают о «вертухайстве» — о службе в конвойных войсках, помутила сознание. Он косо посмотрел на соседа, закрывшего глаза и запрокинувшего голову.

— Весна. Дышу обеими ноздрями! — сказал тот.— А вы не бойтесь, больше ни о чем не спрошу...

Не поняв заключенного, Алпатьев посмотрел на него снова и вспомнил кучу консервных банок и котелков, отбрасываемых пинками во время «шмона» у пересылки. Котелки были разные, в большинстве своем прокопченные, с прожогами у дужек.

«Помрет»,— решил Алпатьев.

— Я вот что скажу,— произнес неожиданно зэк.— И вас, и меня, и всех, кто вкалывает сейчас на поверхности и *под*, освободят с почетом. Нас вынесут отсюда на руках, как истинных героев! Это может случиться сегодня вечером, может — завтра. Я не помру.

Заключенный вздохнул «обеими ноздрями», хотел что-то сказать, но в поле зрения появилась фигура надзирателя.

— Этих — берегись! — тихо, приложив палец к губам, прошептал заключенный и боком, чтобы не оказаться пронумерованной спиной к надзирателю, скрылся за углом барака.

Алпатьев поднялся.

— Греетесь? — спросил надзиратель, остановившись метрах в семи.

— Греюсь, гражданин начальник,— нашелся солдат.

— Ну грейтесь, весна!..

* * *

С окончанием карантина в пятый барак явился нарядчик. Он вежливо попросил, не обращаясь ни к кому персонально, «заткнуть глотки» и стал вычитывать фамилии карантинников — кто в какую бригаду зачислен. Пятьдесят заключенных попали в бригады, работающие в «дырках» — на добыче угля; восемь человек в стройбригаду; четверо в «слабосилку»; Алпатьева, единственного из новичков, зачислили к Осокову — на погрузку угля.

Слепленная из русских, украинцев, белорусов, карело-финнов, эстонцев и латышей этапная бригада растворилась на глазах солдата. Он с грустью глядел, как без всяких вещей, со сверточком под мышкой, уходит из барака костистый зэк.

В шестьдесят четвертый барак Алпатьев пришел в седьмом часу вечера. Мордастый дневальный показал ему бригадира. Тот улыбнулся и попросил солдата рапортовать о прибытии. Стрелок потоптался в замешательстве. Восемьдесят глаз — серых, голубых, зеленых, коричневых и черных, одинаковых в сумерках, глядели на него со всех сторон и уровней — с верхних и нижних нар, одни внимательно, с нескрываемым интересом, другие — безразлично. А глаза самого Алпатьева безвольно бродили по лицу бригадира. Они машинально отметили, что уши у Осокова разные, одно большое, другое маленькое.

— Ничего, можете не рапортовать,— выручил солдата Осоков.

Помощник бригадира сводил Алпатьева в бухгалтерию, помог одеться «по сезону», получить постельные принадлежности.

* * *

Утром Алпатьев пристроился в хвост осоковской колонны и вместе с нею прошел через все вахты — жилую и шахтную. У дверей инструменталки бригадир увидел, что левая рука новичка не соответствует трудовой «категории» — перебита.

[1] «Индия», «индюки», «индейцы» — презрительное название «интрудистов», заключенных, получивших в результате полного истощения 4-ю, «индивидуальную», трудовую категорию.

— Не беда,— сказал Осоков.— Была бы голова без трещинки...

«Мужик-то вроде ничего,— подумал Алпатьев об Осокове.— Как дядя мой...» И он потихоньку оглядел вместительную внутренность копра. В ней чернела рама подъемной клети; порожние вагонетки, затылок в затылок, как живые существа, ожидали своей очереди, чтобы нырнуть в «дырку»; набитые углем их сестры без звона откатывались в сторону транспортера.

Солдат сел поудобней, взглянул на руки — они не работали с того памятного декабрьского дня, когда он с Гнушиным шкурил бревна. Работа в карантинной бригаде была не в счет.

Часа через три двигавшиеся по транспортерной ленте куски породы — узкощекие, округлые и мордатые, как бульдожьи головы, стали казаться намного тяжелей, чем в начале. А сбрасывать их с ленты надо было непрерывно. За каждый провороненный камень звено расплачивалось процентами. Граммы питания здесь ложились в ряд, как укладывались в него калорийность угля и зэковского питания.

После обеденного перерыва Осоков повел Алпатьева на конечное звено длиннющего транспортера.

— Здесь полегче, но ответственней,— сказал он.— Действуй.

* * *

Явное помешательство оттрубившего тринадцать лет заключенного не замечалось ни его бригадиром, тоже «индюком», ни работниками санчасти, ни соседями по нарам. Только Алпатьев с горечью думал, что богатырского сложения зэк помутился разумом, что если и вынесут старика из лагеря, то ногами вперед, и перед тем как списать, счесть за выбывшего из лагеря — проверят, не симулирует ли случайно...[1]

Новая встреча с костистым зэком состоялась у шахтного копра, куда «индию» пригнали для уборки зимнего мусора.

— Освободят ли сегодня, говорите? — сказал зэк. Он стоял прямо, не опираясь на черенок лопаты.— Какая разница! Главное, освободят — не будем считаться заключенными. Но компенсации — никакой! Надо миллион таких государств, как наше, чтобы оплатить отработанное за проволокой...

Алпатьев предложил заключенному сесть на вытаявший обрезок крепи. Ему показалось, что с помешанным человеком можно говорить о чем угодно, и он спросил — кого надо бояться в лагере.

— Самого себя! — ответил «индиец».— Если вы трус, вами будут помыкать бригадир со своим подхалимом, все блатяги и надзиратели.

— А как с врагами...— заикнулся было Алпатьев.

Зэк посмотрел на бывшего стрелка.

— А я о ком говорю? Враги, предатели народной совести — бригадиры, охранники, зонное и зазонное начальство, рецидивисты и доносчики...

* * *

В тот же день, вплоть до съемного удара по рельсу, выбрасывая куски породы с транспортерной ленты, по которой двигался уголь в погрузочный бункер, Алпатьев все решал, как вести себя в лагере. Он вспоминал этап, пребывание в пересыльной камере Вятской тюрьмы, восьмиэтажное зарешеченное здание в Свердловске, длинный перегон по плоскому Зауралью и здешние, уже многочисленные встречи. Костистый заключенный из «слабосилки» не вызывал в нем никакого отвращения, даже наоборот — казалось, что этот зэк никогда не лгал, никого не оскорблял, не сквернословил, не перекладывал свою работу на чужие плечи.

А думая о работе, ничем не отличающейся от работы по ту сторону колючего ограждения, боец вспомнил присказку своей бабушки. «Не работа смердит,— говорила она,— смердит человек иной...»

Уже когда ударили в рельс и зэки потекли к вахте, в колодцах алпатьевского сознания, выражаясь по-газетному, перетирался вопрос — какая же сила, сила добра и любви или сила ненависти, беспощадности ко всему живому, одержит верх? На примере Германии Алпатьев видел поражение зла, а на примере своей страны — торжество справедливости. Но почему же тогда так много конвойных войск? — думалось ему.— Почему из двух солдат — Гнушина и Алпатьева — в заключении оказался не злой, как собака, Гнушин, а он, Алпатьев?

Возвращение к пульману 224—1591 перебросило его к слушанию дела в военном трибунале. «Как же так,— пронеслось в голове Алпатьева,— ведь пульман-то наполовину был проверен четырьмя стрелками! Почему же пострадал я и почему не догадался сказать об этом военному трибуналу?»

Радость захлестнула солдата. Он схватил шапку и побежал к вахте.

[1] Проверка выносимых из зоны покойников была варварской. Мертвеца прокалывали штыком, чтобы вместо покойника на волю не уплыл живой заключенный.

— Олень! [1] — сказал ему помощник бригадира, раздатчик пищи.— Еще одна проволочка, и я научу тебя этикету!

У вахты, во время повторного счета выстроенных по пятеркам заключенных, впереди Алпатьева стоял тот зэк, что сказал на станции: «Милые сердцу дырочки...»

— Вот вернусь домой,— говорил он сейчас замызганному товарищу,— есть чем перед бабой выхваляться. За девять с гаком лет меня пересчитали четырнадцать тысяч раз и столько же пообщупали...

— За этот срок,— ответил шахтер,— супружницу твою пообщупали не по стольку раз, а, может, трижды по стольку... Скольки ты лет ее овдовил?

— Тридцати двух... Да меня не это волнует сейчас. Щупальщики-то, наверное, ей так же приятны, как мне руки надзирателя, когда он проводит по моим бедрам...

Не будь Алпатьев поражен открытием, что можно оспаривать приговор трибунала, он бы наверняка стал подсчитывать, сколько раз пересчитан сам — сначала в армии, потом в конвойных войсках и теперь в заключении. По этой же причине он не слышал, как шахтеры долго толковали о странном явлении — большинство забойщиков пытаются улизнуть от работы на угольном комбайне. Вместо облегчения эта машина, с ее высокой нормой выработки, сокращает не срок наказания, а срок жизни.

— Правильно поется,— сказал один из шахтеров,— «кирка с лопатой верный мой товарищ...»

— Подыми лапы-то! — буркнул Алпатьеву затырканный процедурой обыска длинный, как жердь, охранник.

Всю ночь солдат ворочался с боку на бок. Мысль о незаслуженном наказании сверлила мозг, не давала сомкнуть глаза. Его терзала не ошибка взводного — лучше уж сидеть одному, чем всей компании, а безразличие трибунала, злобное отношение уполномоченного.

Удар о диск, означавший подъем, освободил бойца от напрасного лежания на нарах. Он встал, вышел из барака и побежал к зданию конторы.

— Какого хрена топчешься здесь? — спросил его надзиратель, вышедший из дверей вахты.

— Бумага нужна, гражданин начальник. Заявление писать.

— Дурак! — без злобы проговорил блюститель зонного порядка.— Бумагу получают вечером, а не в пять утра. Катись!

* * *

Мысль написать в верховные органы жалобу на неправильный приговор военного трибунала вытеснила из головы Алпатьева намерение получше присмотреться к тем, кого он видел ежедневно, с кем работал, ходил в столовую, в баню, спал на одной вагонке. Но выпрошенная в КВЧ бумага лежала нетронутой. Стрелок все решал — писать ли заявление самому или попросить какого-нибудь опытного заключенного. Обращение с такой просьбой тянуло за собой рассказ о прошлом. Алпатьев решил обратиться к старику-интрудисту. Ему казалось, что легкое помешательство старика устраняло опасность разоблачения в вертухайстве. Бригада «индюков» продолжала кувыркаться в мусоре. Не в пример работягам, все они были одеты в одежду, давно подлежащую актировке. Слово «б/у» слабо отражало истинное состояние телогреек, ватных штанов, шапок. Прозвище интрудистов — «индюки» было наиточнейшим. Более красочных оборванцев Русь не видывала.

Подойдя во время перерыва к сидевшему на бревне костистому зэку, Алпатьев опустился рядом и спросил, не зная с чего начать, по какому пункту пятьдесят восьмой статьи старик отбывает наказание.

Заключенный посмотрел на него и ничего не ответил.

— Извините,— сказал солдат. Он понял, что нарушил неписаный лагерный закон, запрещающий зэку *выпытывать* другого заключенного, за что он сидит, кто его судил и так далее.

— Извиняю,— сказал интрудист.— А сижу я по разбойному. Как тать. Кассу государственную ограбил.

Издевательский тон костистого не смутил Алпатьева, он сказал, что попал сюда по пункту четырнадцатому, и спросил — можно ли с таким, да еще с десятым пунктом, писать жалобу.

— Кому писать? — ответил старик.— Упекшему нас?

— Сталину,— сказал Алпатьев.

— Пишите лучше Саваофу. Он выше.

Кто такой Саваоф, Алпатьев не знал, но сразу догадался, что речь идет о небесном правителе.

---

[1] Олень — презрительная кличка новичка-заключенного.

— Пишите,— повторил старик,— раз хочется, земному заместителю Всевышнего. Ему все равно — по *эту* ли сторону зонного забора втыкает человек, либо по *ту*...

Вернувшись в барак, Алпатьев написал заявление сам. Орфографические ошибки и неумелые предложения только усиливали мотив, который толкал его писать жалобу. Он всунул конверт в разрез висевшего в КВЧ ящика с многозначительной надписью: «На имя Председателя Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик». Только два слова в этой длинной надписи, на что обратил внимание стрелок, не были освящены заглавными буквами.

Рядом с ящиком Председателя висел другой, куда засовывались заявления Генеральному прокурору. Ящик на имя начальника лагеря был поменьше размером. На имя Сталина ящика не было вовсе.

— Сталин,— сказал кэвэчист-зэк,— не является главой государства.

— Но он же главный в стране,— возразил Алпатьев.

— Практически, а не формально. Сталин — лидер партии. Помнишь, «партия Ленина, партия Сталина»?

Засунув письмо в ящик Шверника, Алпатьев хотел прошептать присказку, с которой в давние времена отсылала свои треугольнички его соседка-красноармейка, но он не мог припомнить, что шло за словами «Лети, письмо...».

«Не может быть,— повторял он, шагая в том направлении, где тянулись бараки,— не может быть, чтобы Верховный Совет не отменил несправедливое решение...»

— Добро пожаловать, гусь! — услышал солдат, поднял голову и обнаружил себя перед входом в кондей, огороженный со стороны зоны не очень капитальной изгородью.

3

Все лето, более сотни дней стрелок глядел в рот лагпунктовскому нарядчику. Он ждал, что любимец начальства вот-вот пропоет ему на свой особый манер радостную новость. Но тот ходил по зоне, насвистывал марши, выкрикивал у вахты заключенных, которым надо явиться в УРЧ, и никогда не произносил фамилию «Алпатьев».

Не замечала бывшего стрелка и другая придурня зоны, имеющая отношение к спискам. Ему не выдавали новой одежды, первого срока белья, не вызывали на получение посылок, не приглашали в КВЧ за письмами, а на дощечке раздатчика — помощника бригадира — вместо законной фамилии значился алпатьевский наспинный номер.

— Эй, ты, АС-369! — кричал раздатчик и совал неизменную семисотку [1]. Ни одной горбушки [2], восьмисотки или девятисотки ему не перепало за долгие месяцы. И это окончательно убедило, что второе лицо в бригаде навсегда оттеснило его в разряд попираемых работников. А пайками за «втыкание» на копре, распределением котловки ведал только он, помощник бригадира. Осоков оставался начальником лишь во время работы и когда составлялись наряды. Вернувшись в зону, он шел в КВЧ, застревал там надолго, а в своей «осоковской» секции, забравшись под теплое одеяло, допоздна читал книги...

«Пожаловаться, что ли? — думал Алпатьев.— Может, бригадир выписывает девятисотку, а помощник сует семьсот граммов...»

Однако жизнь и пребывание среди зэков уже научили его, что всякое недовольство кем бы то ни было обязательно выйдет боком... Еще нигде Алпатьев не чувствовал так остро барьер, отделяющий власть имущих от тех, кто этой власти подчиняется. Разделение заключенных на две группы — малую и большую — было очевидно. Оно начиналось с помощника бригадира, завпрода, а кем заканчивалось — бывший солдат представлял смутно. Но он хорошо понимал, что легче отбывать срок хлеборезу, повару, продвещстолисту, санитару, пом. по труду, десятнику и нормировщику. Все они жили в отдельных секциях, читали книги, мурлыкали песенки, ходили по зоне в перешитых по себе бушлатах-«москвичках». И многие из них, несмотря на цветущее здоровье, получали оздоровительное питание, которое умели заменять в продстоле «сухим пайком» — натуральным маслом с сахаром...

Отношения между зэками-придурками и зэками-работягами Алпатьев мог бы сравнить с положением в колхозе Буденного. Но в эти голодные дни, когда они пайку считали за господа Бога, далекий колхоз рисовался ему небесным раем. Он переносил себя в березовые колки, в пахучую траву, которую когда-то не ценил, мял ее, валялся на ней в ожидании разнарядки. И сам председатель колхоза, посылаемый бабами и мужиками туда, откуда родятся, никак не мог сравниться ни с бригадиром лагерным, ни с его помощни-

---

[1] Все пайки суточного питания зависели от выполнения трудовой нормы. Пайка делилась на 650 граммов, 700, 800, 900 и 1 килограмм (последнюю получал главный распорядитель котловки, лагерный нормировщик).

[2] Горбушка — заветная для зэка часть булки, буханки. В отличие от птюхи — средней части буханки, горбушка считалась более калорийной, так как в ней меньше влаги.

4*

ком. За роскошь обругать их матом заключенный рисковал перейти из первой трудовой категории во вторую, из второй в третью, из третьей — в «индию».

Еще чем лагерь явно отличался от других мест общежития — это безразличием друг к другу проживающих здесь слесарей, агрономов, железнодорожников, учителей, колхозников. Во время этапа незнакомый зэк, лежавший рядом с солдатом, сказал своему собеседнику, свеженькому заключенному: «Надеяться на дядю чужого можно. Но лучше надеяться на себя самого».

* * *

В начале августа Алпатьев снова повстречался со стариком-интрудистом. Они столкнулись в бане во время санобработки. Острые ребристые лопатки раздетого зэка стали еще огромней, напоминали крылья, зачем-то упрятанные под кожу...

Поговорил Алпатьев со стариком после стрижки лобков — обязательного условия для соблюдения гигиены заключенных.

— Не узнаете? — спросил солдат.

— Зэки в одежде и зэки голые — все одно,— ответил костистый и сам спросил, отправил ли Алпатьев письмо Саваофу.

— Отправил,— сказал стрелок.

— Смилостивился ответить?

— Нет, не ответил.

— И правильно поступил... Бумага пригодится. Он ведь, говорят, язык российский изучает — когда появился на свет, зачем и кому нужен.

— Как вас зовут по имени и отчеству? — спросил Алпатьев. Ему давно хотелось называть старика уважительно.

— Заключенный. *Зэк* с большой буквы,— ответил костистый.— Будущий вольный человек первого в мире социалистического государства.

«Будущий вольный человек» внезапно покачнулся, схватился за грудь, сделал шаг вперед и молча шлепнулся на скользкий пол.

— Сыграл! — сказал кто-то.

— Туда и дорога,— пробурчал заключенный с татарским разрезом глаз.— Провокатор е......!

Ругательство татарина передернуло Алпатьева. Он не допускал себе, что это именно так, что «сыгравший в ящик» был провокатором. Не верил в это и позже, когда вспоминал о встречах на завалинке карантинного барака, на шахте, у сварочной будки.

* * *

В осенний дождливый вечер дневальный нарядчик выкрикнул наконец Алпатьева. Его вызывали в УРЧ за получением ответв. Осоков, оказавшийся в бараке, пожелал ему освобождения.

— Разное бывает,— сказал он.— Ты давно писал?

— Весной.

— Ну, правильно: месяц туда, месяц там, месяц обратно. Двигай! — Бригадир подтолкнул Алпатьева к выходу.

— Распишитесь,— сказал начальник УРЧа, старенький человек в старшелейтенантских погонах. Он подал Алпатьеву распечатанный конверт с форменным типографским штампом Верховного Совета.— Разве вы не знаете, что приговор трибунала *окончательный*, не подлежащий обжалованию?

— Знал.

— Тогда зачем же отнимал у людей время? — перешел он на «ты».

После слов начальника смотреть на содержимое конверта со штампом Верховного Совета не хотелось. Алпатьев расписался в получении, сунул письмо за пазуху и вышел в осеннюю ночь, под мелкий, моросящий, как из сита, дождик.

— Не падай духом,— сказал бригадир, прочитав и возвращая бывшему стрелку листок величиною с рецепт.— Если не виноват, пиши снова. Могу, если хочешь, помочь...

* * *

С этого вечера отношение к Алпатьеву в бригаде изменилось. На следующий день он получил третий котел — лучший из положенных — деаятьсот граммов хлеба. А дней через десять стрелка перевели с транспортерной ленты на более живую работу — поправлять уголь во время загрузки пульманов.

— Садись, Степан, покурим! — сказал однажды бригадир, забравшись на вагон.

Некурящий солдат сел рядом.

— Мы все — и ты, и я, и мой помощник, и тот вон, Ерофей,— начал бригадир,— мы все в ответе за каждый свой шаг. Ясно?

Алпатьев глядел на Осокова так, будто тот был не бригадиром, а по меньшей мере представителем следственных органов.

— Вот когда освободимся,— с улыбкой сказал бригадир,— будем ответственны и за то, за что перед нами публично извинятся,— за пребывание в этих благословенных местах. Понимаешь?

— Это я понимаю,— серьезно, но как во сне, проговорил Алпатьев.— *Ответственны на всю жизнь.*

Ответ работяги был выше предположений бригадира. Но все-таки разговора не получилось. В сознании самого Осокова тоже происходила «перестановка мебели»; он тяжело переживал ломку взглядов. Как большинство заключенных, отбывших больше половины срока, он все чаще и чаще ловил себя на мысли о том, что разговор о человеколюбии, о чуткости к человеку действует на него раздражающе. Беспочвенные словопрения о гуманности, о призвании человека творить добро воспринимались им так, как если бы при нем восхищались убийцей...

Однако мнение Осокова о бывшем конвоире Алпатьеве, чье прошлое он узнал от лагпунктовского нарядчика, было совсем иным. Он не казался ему ни предателем, ни человеком, способным причинить боль другому. Правда, бывший стрелок раздавлен свалившимся на него несчастьем. Но разве не приходилось Осокову наблюдать, как в таких условиях развивается в человеке склонность завидовать, сочинять гадости, подслушивать, доносить? Именно лагерь оказался тем местом, где светлое становилось светлее, отвратительное еще отвратительней, а все, что называлось на воле готовностью жертвовать собой, своими интересами во имя общего,— здесь умирало или превращалось в свою прямую противоположность. Вот почему Осоков ненавидел лагпунктовского санитара Дьяконова, бывшего спецкора «Известий», писавшего — «надо трудиться на благо страны» и превратившегося здесь в последнего тунеядца, готового на все, лишь бы не «втыкать» на общих работах. Дьяконов стучал на всех, а стрелок Алпатьев с изуродованными пальцами работал на погрузке угля и не жаловался, что за честный труд его кормят плохо.

Обо всем этом и хотелось сейчас сказать солдату. Но вместо заготовленных слов о добром к нему отношении бригадир сделал замечание, что перебитые пальцы не освобождают заключенного от обязанности спешить. Вагоны не ждут.

— Буду торопиться,— сказал Алпатьев.

* * *

Когда Осоков, бывший инженер-строитель, оказавшийся заключенным в сорок пятом году, скрылся в засосах копра, Алпатьев сообразил, какой удостоился чести — с ним беседовал сам царь-бог лагерный, бригадир-кормилец. И солдат сказал себе, что будет «втыкать», пока не посинеет, пока не разберутся в Москве, что он не преступник.

В этот день он не почувствовал неприятной тяжести в ногах, когда возвращался в зону.

— Ты вот что,— сказал ему бригадир у входа в секцию,— ты пиши заявления через каждые десять дней. Пиши в Министерство внутренних дел, в Министерство государственной безопасности, в Министерство обороны, в ЦК, пиши самому кормчему...

Алпатьеау хотелось спросить — писал ли Евдоким Савостьянович сам и что ему ответили, но он не решился тревожить бригадира.

17 сентября помощник Осокова бросил у нар солдата кожаные ботинки. В тот день Алпатьев впервые за долгое время улыбнулся. Он только что слушал повествование заключенного Г-284. Парня «упекли» после выхода из окружения у Брянска и после благополучного прохождения спецпроверки. По словам зэка, он и его однополчанин Симаков не поделили кожаный ремень, выданный им вместе с брезентовым старшиной роты. Симаков ухватился за гладкий конец ремня, а за пряжку — будущий Г-284. Результат ссоры — донос Симакова о неблаговидном поведении товарища по оружию в оккупированной немцами зоне — о реквизиции в одной крестьянской семье свиного окорока. Мясо было съедено всем взводом, в том числе Симаковым, а по червонцу получили выбравшиеся из окружения — Г-284, Симаков и еще три солдата.

— Господи! — сказал один заключенный.— Дураков не сеют, не жнут — сами родятся...

А бывший стрелок решил, что в «деле о свином окороке» дураков не двое, как заключил зэк на нарах, а целое отделение — Симаков, Г-284, следователь смерша, прокурор, подписавший следственные материалы, председатель и члены военного трибунала...

* * *

Лучше любого заключенного Алпатьев знал, каким удобным почтовым ящиком является загруженный углем пульман. Вооруженный охранник, стоявший неподалеку от погрузочного бункера на специальном помосте, нисколько не мешал ему опустить в уголь треугольное послание министру внутренних дел. Но Алпатьев все думал, что брошенная в море бутылка попадет в надежные руки чаще всего с непоправимым опозданием. А находиться в заключении, ходить здесь под конвоем, испытывать унижения представлялось страшным. Отослать же заявление через три ящика, висевших в культурно-воспитательной части, было бессмысленным делом — их наверняка читало начальство, и отсылались лишь те, где люди клялись в верности, били себя в грудь, становились на колени. Оставался единстаенный способ — отсылка с углем. Надо только написать отдельную записку,

попросить того кочегара, кому попадет на лопату сверток, быть человеком, понять беду товарища, переслать заявление по указанному адресу.

Почти двадцать дней Алпатьев сочинял заявление, в котором не стеснялся слов, писал все так, как если бы писал не министру, а родному отцу.

— Ты пиши,— говорил ему бригадир,— что надо иметь стыд, что бессовестные люди рано или поздно будут каяться в своих прегрешениях, а мертвые от их раскаянья не воскреснут.

Эту мысль бригадира солдат изложил на свой манер, он вписал в листок: «жить совестно особенно потому, что опер, перебивший мне дубовой столешницей четыре пальца правой руки, разгуливает в погонах, его уважает начальство, а что будет, когда он станет генералом?..»

Письмо-заявление стрелок запечатал в двойной конверт, конверты завернул в тряпку и незаметно, когда разравнивал уголь, затоптал у одной из стен пульмана.

Письмо было послано 10 октября, о чем Алпатьев нацарапал гвоздем на внутренней стороне соснового подголовника.

«Буду ждать,— сказал он себе,— до 1 января, до дня рождения, мне исполнится двадцать шесть. Если ничего не получится, министр не ответит, напишу самому Сталину...»

* * *

Лагпунктовский сапожник за четыреста граммов хлеба привел башмаки бывшего стрелка в боевую готовность. Большущий карман к внутренней стороне правой полы бушлата он пришил сам — бригаду могли погнать в подсобное хозяйство спасать картошку. Но как-то вечером бригадир объявил, что три человека — Алпатьев, Ерофеев и Г-284 на несколько дней переводятся в бригаду строителей. Это означало, что каждый из них как плотник в прошлом может закрепиться на строительство казарм на долгое время. Ерофеев помрачнел, а Г-284 обрадовался. Он сказал, что там, где вольные люди, там — выброшенный хлеб, окурки.

— Лучше питаться углем,— проговорил Ерофеев,— чем жрать шакальи объедки.

Алпатьев не поднял глаза.

— Ты что молчишь? — спросил Осоков.

— Куда пошлют, туда и пойду.

По лицу бригадира — это заметил Алпатьев — промелькнула кривоватая усмешка.

— Хорошо,— сказал Осоков.— Может, ты вообще перейдешь в бригаду строителей?

— Нет,— быстро проговорил стрелок, с трудом подавив желание попросить бригадира не посылать его на строительство казармы.

Закутавшись в одеяло, жидкое, как лагерная похлебка, и закрывши глаза, бывший конвоир представил себе родную казарму, соседа по койке — стрелка Топоркова — и представил Гнушина, командира взвода, политрука роты. Потом без всякой связи с предыдущим он увидел восьмиэтажное здание свердловской тюрьмы с кирпичной цифрой на карнизе.

Еще тогда, во время этапа, полгода назад, вытряхнутый из «воронка», он прочел эту дату — 1942 год — с каким-то смешанным чувством. Оказалось, когда отступали войска, когда он, Алпатьев, отстреливался от фашистов, зарешеченную махину продолжали тянуть к небу!

«А теперь я должен строить казарму для охраны самого себя»,— мелькнуло в голове Алпатьева, и он провалился, как обычно проваливался, в темную яму сна. И сразу же увидел огромный бачок с известью, гигантский сдвоенный куб вагона. Потом ему приснился Гнушин, говоривший, что преступников надо расстреливать, как расстреливают где-то на Востоке воров — на месте преступления...

Проснулся Алпатьев от щелчка по нитке. У нар стоял Ерофеев, рыжеусый великоустюжский старовер, мрачный, как прошедшая ночь.

— Двигаем,— сказал он.

Алпатьев соскочил с нар, надел ботинки, натянул бушлат и, получивши восьмисотку, вместе с другими пошел в столовую.

Спустя минут тридцать он и Ерофеев пристроились к бригаде Сударчука. К ним присоединился где-то рыскавший Г-284.

* * *

Ничего особенного в тот день и в последующие две недели Алпатьев не пережил. Работать в казарме было легко — штукатурить потолки и стены ему приходилось раньше. А вид автоматчиков и собак ничем не отличался от тех ищеек и охранников, которых он видел на лагпункте, где служил конвоиром.

Понравилась работа в казарме и напарнику стрелка — Ерофееву. Он даже сказал, что в общем-то все равно — возводишь ли заводское здание, тюремный ли корпус. Главное, не сидишь как пень, не глазеешь попусту. А любую казарму, тюрьму ли можно приспособить подо что-нибудь нужное, лишь бы настали хорошие времена.

— А такие времена настанут? — спросил Алпатьев.

— А то как же? — удивился Ерофеев.— Ведь этим живут все заключенные.

— А когда они настанут? — Алпатьев перестал вбивать гвозди.

— Не знаю,— сказал плотник.— Вот Осоков Евдоким Савостьянович может рассчитать...

О таком «расчете» Алпатьев знал по костистому заключенному. Того «освободил» бушлат из горбылей и кол над могилой.

— Не знаю, когда нас вызволят отсюда,— сказал Алпатьев.

— Окурок нашел! — перебил их разговор Г-284. Он прибежал из другой половины казармы.— Почему здесь нету окурков?

— А кто здесь работает? — спросил великоустюжанин.

Надставив маленький «сорок» замусоленным полем нечистой газеты, Г-284 убежал искать спички.

— Чудно,— продолжал плотник.— Веришь теперь не прямо, как полагается веровать, а навыворот. Нас вот хотели изничтожить, стереть в порошок — номера понавесили, конвой усилили. И что же? Лучше стало. От бандюг и воров избавили. Вы слышали о Колымской лагерной республике?

Ерофеевская вера «навыворот» напомнила солдату рассуждение Осокова. Тот говорил заключенному Ф-300, что завертывание подчинено, как все на свете, закону противодействия: чем туже закручивать, тем больше риска сорвать резьбу, вывести из строя гайку и болт.

— Поживем — увидим,— сказал Ерофеев.— Думаешь, легко верить навыворот? Мы же не те, которым нравится задом наперед ходить...— И он добавил, что верил бы прямо, «как полагается, да веру-то, вишь, как табуретку из-под повешенного вышибают...»

* * *

Приятные, как всякое завершение, отделочные работы подходили к концу. Оставалось вымыть полы и оконные стекла, убрать строительный мусор.

Ерофееву и Алпатьеву бригадир Сударчук отвел две просторные комнаты, предназначенные для курилки и бильярдной. Работа на объекте, как всегда, начиналась по астрономическим часам, когда отрывалось от вершины террикона, похожего на пирамиду Хеопса, сибирское солнце...

— Вы заметили,— спросил Ерофеев,— что к вам приглядывается конвоир, который плетется слева?

— Нет,— сказал Алпатьев.

— А я видел трижды. Смотрит на всех, а на вас пристально. Особенно, когда сдают нас здешней охране.

Алпатьев взялся за метлу и стал, чтобы не пылить, сдвигать крупный мусор. Это отвлекло его от слов Ерофеева, он вспомнил, как один заключенный лет двадцати, не более, читал при нем стихотворение другому, тоже молодому зэку. Стихи, когда их стал повторять бывший солдат, не укладывались в строчки, не хватало каких-то звеньев. Но потом они зазвучали. Стихотворение называлось «Песня мусорщика». Оно имело восемь строчек.

Затем, что мусор мне казался гадким,—

шептал Алпатьев,—

И я боролся за примерный двор,
Я брошен был в тюрьму, как вор,
Склоняющий народ свой к беспорядкам.
В тюрьме мне поручили убирать
Окурки на дорожках да бумажки...
И будто я сижу не в каталажке,—
Я мусорщик опаснейший опять!

«Окурки — чепуха,— прокомментировал солдат.— Здесь с ними не разбежишься. А все остальное — ничего, правильно».

Завернувший к Ерофееву и Алпатьеву бригадир Сударчук, приземистый, сумрачный человек, приказал влезть на чердак, собрать щепу и выбросить ее через слуховые окна. «А то пожарники,— сказал он,— прие......!»

— Пойдем,— сказал Ерофеев,— поглядим сверху, где у них собашник, где полигон, много ли казарм понастроили...

Но из этого ничего не вышло. Толстый охранник, стоявший на открытой ветрам вышке-времянке, махнул автоматом, и зэки полезли назад в дверку фронтона. Они успели, однако, увидеть учебное поле, соломенные человеческие чучела и бойцов, занимающихся физзарядкой.

— Ироды! — выругался Ерофеев, принимаясь за дело.

Алпатьев, глядевший на напарника, не понимал, ругает ли он охранников или плотни-

ков. По всему чердаку белели щепы-рыбины. Работы здесь было до самого съема. И плотники приступили к делу. Ерофеев стал рассказывать Алпатьеву о своей *двойной* семейной службе Министерству внутренних дел. Он тянет лямку здесь, а жена его, сорокалетняя баба, как вольнонаемная птичница гнет спину в великоустюжском совхозе.

— Курей выращивает в лагерном инкубаторе,— сказал плотник.— А топчут ее вот такие охранники...

— А знаете, почему левый конвоир смотрит на меня пристально? — уже шагая к месту построения бригады, спросил Алпатьев.— Он по лицу моему хочет угадать, за что я сижу. *Соответствия* ищет...

Не понимая, о каком «соответствии» говорит напарник, Ерофеев промолчал. Они стали в третий ряд, чтобы не быть на виду, но все-таки поскорей, когда подойдут к вахте, оказаться в зоне. И тут Алпатьев чуть не закричал: он узнал левого конвоира Топоркова, голубые глаза которого шарили по рядам. Они искали его, Алпатьева.

— Что? — спросил Ерофеев.

Алпатьев опустил глаза и так держал их до самой вахты. Он видел переступающие дырявые ботинки идущих впереди зэков, а сам все думал, что вот еще один человек, помимо начальника УРЧ, начальника лагеря, нарядчика и бригадира Осокова, знает, что в зоне сидит бывший «попка», солдат конвойного дивизиона.

Что Топорков не станет «разоблачать» Алпатьева, Степан доказал себе тем, что этот стрелок — не Гнушин, он был в дивизионе почти невидимым... Но страх, родившийся в тюрьме от слышанных там разговоров о ненависти заключенных к бывшим надзирателям, охранникам, работникам прокуратуры, суда, рос с каждым шагом. Алпатьев представил себе, какими бы казнящими глазами глядел на него великоустюжский плотник, если бы знал, что с ним работает «вертухай».

Добравшись до барака, бывший солдат подошел к бачку и залпом выпил четыре банки сырой воды. Утром его госпитализировали.

* * *

Пребывание в стационаре пришлось на самые режимные дни заключенных — на праздничные ноябрьские числа. Зэков закрыли на надежные запоры, движение замерло, по зоне ходили только охранники да необходимые придурки. Строже стало в палатах стационара.

Соседом Алпатьева по койке оказался потомственный иваново-вознесенский текстильщик — беззубый пеллагрик последней стадии. В отличие от костистого зэка, он сеял слова без разбору, как будто боялся унести на тот свет этот нелегкий груз. Он прошамкал солдату о всех мытарствах начиная с тысяча девятьсот пятого года. Он знал Фрунзе, которого и здесь, по старой памяти, называл «Трифоныч».

Одна из бед текстильщика была понятна Алпатьеву. Пеллагрик сказал, что до Октябрьской революции коммунистов били по правому уху, а теперь по тому и по другому: по левому свищут свои, по правому — толстосумы закордонные...

«Как же это получилось? — думал Алпатьев.— Свои бьют своих?!» Потом от этой мысли у него отделилась другая: коммунист бьет коммуниста — это можно, наверно, понять, они между собой разберутся. Но лупят и беспартийных! Их же на фронте было большинство, и большинство работает на заводах и фабриках. В колхозах.

Общение с бывшим рабочим продолжалось неделю.

— Так-то вот получилось, товариш-шь,— говорил пеллагрик, когда они задержались в сильно дезинфицированной уборной, где через форточку шел обмен хлеба на курево.— Запрешшонной песней в лагере оказалась и та, какую я пел шорок четыре года назад. Шпоем, што ли?

Бывший стрелок взял пеллагрика за рукав и вывел из уборной.

— Кто же, по-вашему,— спросил он его в палате,— *кто* тот человек, от которого зависит, какую песню петь можно, какую нельзя?

Старенький зэк долго глядел на Алпатьева. Ему хотелось сказать: от партии зависит. Потом зашамкал. Из слов, концы которых текстильщик проглатывал, как лапшины, Алпатьев понял, что с *тем* человеком как-нибудь разберутся. Страшен не он. Страшны исполнители.

— Тебе ишо долго жить,— сказал старик.— Человек тот даст дуба. А инштрукции оштанутца. А может, и инштрукции сгорят... Веришь?

— Верю,— сказал Алпатьев, сожалея, что поступил легкомысленно, оказавшись в стационаре. Вид пеллагрика и его желание петь гимн трудящихся в нужнике усугубили и без того тяжелое состояние бывшего солдата. «Тянуть так долго нельзя»,— решил он.

* * *

Просторный кабинет лагерного «кума», куда Алпатьева вызвали после выхода из стационара, мало отличался, как показалось ему, от кабинета опера 3-го лаготделения. Тот же стол, те же вопросы — является ли Алпатьев Алпатьевым, сколько ему лет от роду, где он родился, служил, холост или женат, какой социальной группы родители, специальность, образование.

Новыми были лагерные стереотипы — когда арестован, по какой статье осужден, кем, на какой срок, когда срок заканчивается.

На все эти вопросы он отвечал четко. Потом лейтенант вынул из стола какую-то бумажку и спросил, писал ли Степан Степанович жалобу в Министерство внутренних дел, с кем из вольнонаемных отправил ее, почему эта «ксива» не пошла обычным почтовым каналом. Бывший стрелок сказал — заявление писалось и было отправлено 10 октября в пульмане, а «канал» обычный он не признает, потому что в приговоре военного трибунала, который его судил, ничего не говорилось об ограничении переписки, писать же разрешают только два раза в год...

— А вы знаете, что такое государственная тайна? — спросил лейтенант.

— Знаю,— ответил стрелок.

— Положите руку на стол.

Алпатьев разжал стиснутые в кулак пальцы и положил кисть ладонью вниз на указанное место. Сросшиеся фаланги пальцев не позволяли держать руку плотно прижатой, она горбилась.

Лейтенант взял мраморное пресс-папье.

— Если угодно,— сказал он,— могу расправить...

Алпатьев не убирал руку.

Опер отодвинул мрамор в сторону, сел поудобней, взял папку и вынул из нее формуляр солдата. В приклеенной к формуляру карточке генповерки, в разделе «Приметы» ничего не говорилось о перебитых пальцах. «Какое удобство для оформления дела о клевете»,— подумал уполномоченный и сказал, что оскорбление служебного лица с целью дискредитации органов власти влечет за собой применение шестого пункта пятьдесят восьмой статьи. А выдача государственной тайны — та же статья, пункт девятый. Он хотел еще добавить, сколько лет можно приварить по названным пунктам, но Алпатьев попросил, чтобы ему дали листы допроса, чистые или заполненные, он подпишется под чем угодно, ему все равно — пятнадцать лет, двадцать ли или четверть века.

Опер улыбнулся и сразу же перешел к рассуждениям о преимуществе заключенных, имеющих не две, а одну судимость; о выгоде тех, кто приговорен не на четверть столетия, не на двадцать или восемнадцать лет, а на меньший срок.

— Амнистия будет обязательно,— сказал уполномоченный.— Но ее не применят к получившим довесок...

Слушая лейтенанта, говорившего, что честный человек и в заключении, в стане заклятых врагов, может приносить пользу родине, Алпатьев «додул» наконец, что его вербуют в осведомители.

— Мы постараемся,— сказал лейтенант,— облегчить вам жизнь.— Он пообещал бывшему конвоиру тайные, будто от родственников, посылки и сокращение срока до восьми лет.

— В стукачи не пойду,— ответил Алпатьев.

— Это не то слово, «стукач»,— уточнил опер.— Я предлагаю не стучать, а *работать* с нами.

— Все равно,— сказал конвоир.— Лучше на *общих* работать, чем с вами...

Он хотел выругаться, но постеснялся. Лейтенант распахнул двери.

* * *

Подойдя к бараку, Алпатьев остановился. Ему казалось, что он весь — с ног до головы — обляпан грязью.

— Ну что? — спросил дневальный.

Алпатьев ничего не сказал, влез на нары и укрылся бушлатом. То, что он не ударил лейтенанта мраморным пресс-папье, уберегло его от суда. За покушение на опера приговор один — вышка. Но основная причина боли — чувствовал Алпатьев — была не в том, что он поддался гневу и что его вербовали в осведомители, не в боязни, что лейтенант отыщет неизвестного кочегара,— болью отдавался *отказ* Министерства внутренних дел отвечать на заявление. Значит, надо писать снова, опять искать карандаш и бумагу. Но писать открыто, как в прошлые разы, при всех — нельзя. Глаза уполномоченного будут теперь преследовать его даже в отхожем месте...

Алпатьев начал дремать, когда его тронул за ногу дневальный.

— Ты спишь?

— Нет,— сказал конвоир.

— Что не расскажешь? Ведь не всех вызывают уполномоченные...

«Или это агент его,— подумал Алпатьев,— или полный олень...»

— Скоро придет бригада,— сказал дневальный.— Ты принеси воды, а я сбегаю в столовую.

Алпатьев слез с нар, дневальный схватил котелок и скрылся.

«Вот ведь как,— подумал он,— живу тут с апреля, а не знаю: кто этот человек, хороший или плохой, и почему с такой вывеской работает дневальным...»

Выйдя на воздух, Алпатьев будто впервые увидел огромный лагерь. Длинные приземистые бараки — торец в торец — тянулись вдоль трех ухабистых дорог. Параллельно им следовали полоски тротуаров. На все это — на деревянные тротуары, на бараки, на здание начальника лагпункта, КВЧ, УРЧ, на рубленный из сосновых бревен вместительный изолятор, на клуб-столовую, на хлеборезку, дрожжеварку, на дом производственно-плановой части, нормировочной и бухгалтерии, на крошечное строеньицо санчасти — глазели сторожевые вышки. Они маячили по углам зоны и вдоль закозыренного изнутри проволочного ограждения.

— Не насмотришься на родное гнездо? — спросил его выросший как из земли надзиратель.— Фамилия?

— Алпатьев.

— Повернись спиной.

Алпатьев повернулся.

— Вызывал опер?

— Да.

— Иди.

* * *

Вернувшись в барак, он вылил воду в бачок и увидел на стене то, что видел не однажды,— деревянную рамку с вмонтированной в нее описью инвентаря секции. В описи значилось: 1 параша, 1 бачок, 1 дерев. лопата, 2 тумбочки, 1 швабра, 2 бадейки. Порядковые номера 7-й и 8-й были пустыми — совка для загрузки угля в печь и выгребной кочерги, как металлических орудий, иметь не полагалось.

«Наше богатство!» — отметил солдат. Он подошел к единственному окну у бригадирской вагонки.

На тумбочке Осокова лежала книга — «Утопия» Томаса Мора. Она была раскрыта как раз на том месте, где говорилось о рабах.

Склонившись над тумбочкой, солдат стал читать и узнал, что рабов на острове набирали из взятых в бою чужеземцев и совершивших преступление своих сограждан. Превращая человека в раба, островитяне избавлялись от преступников, запугивали тех, кто еще не совершил преступление, и получали даровую рабочую силу...

Смутная неприязнь к автору книги и к жизни островитян погнала бывшего конвоира на нары. Он лег и стал думать, что вот через двадцать минут в секцию ввалятся изработавшиеся осоковцы и каждый из них, проходя к своему месту, обязательно посмотрит в его сторону. Каждый будет думать, что Алпатьев — сука...

Настороженность заключенных к побывавшим у «кума», добровольно или по вызову, была известна. В отношении к Алпатьеву это уже было заметно по вопросу дневального и по поведению надзирателя. Степан знал, что опера боятся не только зэки, его не терпит начальник лагпункта, не любит надзирательский состав и охрана.

«Вот человек,— думал он,— остальных тысячи, у каждого голова на плечах, есть уши, глаза, а знает обо всем он единственный, ему все известно...»

— На! — сказал вошедший в барак дневальный и протянул котелок с баландой...

Отказаться от подброшенной баланды было выше сил. Солдат спустил ноги с вагонки и крупными глотками выпил до дна сдобренную постным маслом похлебку.

— Топает бригада! — сказал дневальный и быстро убрал котелки в собственную, вторую в бараке, тумбочку.

Алпатьев лег и накрыл лицо полотенцем. Он не знал, а дневальный ему не сказал, что огромные — с цыплячью лапу — снежинки опускались на плоскости крыш, на окрестный мир, изрядно закоптившийся за шесть теплых месяцев. И первое слово, которое он услышал от работяг, ввалившихся в барак, было слово «Снег!». Зэки забирались на свои насесты, прятали под матрацы не успевшие вымокнуть рукавицы, вынимали из-под изголовья ложки и оставленные на ужин ломотки хлеба.

— Идемте! — скомандовал помощник бригадира, и грузчики гуртом двинулись к выходу. Алпатьев поднялся, вышел за последним заключенным и вместе с ним догнал колонну.

В столовой все ели молча. Чуть-чуть запоздавший Осоков, никогда не завтракавший и не ужинавший, как другие бригадиры, в бараке, сел на свое место и стал хлебать ту же баланду, которую уже отведал Алпатьев на нарах. Он был хмур, или, может, так показалось солдату.

— Списывают тебя,— сказал Осоков, когда один за другим заключенные освободили места за длинным, метров в пятнадцать, столом.

«Куда списывают?» — хотел спросить Алпатьев, но спрашивать не стал, поднялся со скамейки и вышел из столовой. Первый этап его лагерных мытарств закончился.

4

Вместе с Алпатьевым из бригады Осокова списали Г-284. За час до отбоя Сударчук показал им на вагонку, пустую сверху и снизу.

— Дэ кращэ, туды и лизьтэ,— сказал он.

Г-284 забрался наверх; немного поколебавшись, Алпатьев стал расстилать матрац на нижнем настиле.

— Зима ж! — предупредил бригадир.— Лизь на верхотуру...

— Потом, когда захолодает,— сказал солдат.

Он разулся, влез под одеяло, укутал ноги бушлатом и закрыл глаза.

Отбоя стрелок не слышал.

Утром Алпатьев и все заключенные глядели на преображенный за ночь проволочный невод-забор. Его выкрасили в черный цвет, так виднее на белом снегу возможные прорезы. Еще на севере Степан видел — как только уходили зимы, проволочную колючку обрызгивали известью. «Надо же придумать! — удивился он.— Тоже чья-то голова работает!»

Рядом с Алпатьевым топтался Г-284. Он уже знал, что бригада ремонтирует казармы, а часть плотников должны менять подгнивший склад пекарни.

— Вот,— сказал Г-284,— если бы попасть в цех, где выскакивают из печей буханки! Ешь, пока в глазах не потемнеет.

Алпатьев не ответил. Желание заключенных нажраться от *пуза*, перепробовать все, что по глупости своей когда-то оставил нетронутым, что не съел в детстве,— через это прошел он еще в тюремные дни. Солдат поразился тогда, что пайку, обыкновенные четыреста граммов хлеба, можно употреблять по-разному — проглатывать сразу, съедать по кусочкам, есть отдельно корочки, потом мякиш, крошить ее на мельчайшие дольки, разрезать «ножом» из ниток на кубики, скатывать в маленькие шарики и глотать их наподобие пилюль... Каждый из этих способов — слышал он много раз — имел «научное» оправдание.

Свои тюремные граммы он поедал без этих фокусов, с утра, чтобы не мучить себя затем в течение долгих суток. И теперь он хорошо понимал, что лучше подводить и такую непогодь тяжелые баланы под стены по соседству с булками, чем бить баклуши в голодном помещении. Об этой лафе — оказаться в пекарне — думал сейчас каждый из двадцати трех плотников. И было бы глупо надеяться на удачу. Но именно Алпатьева и Г-284 и еще пятерых заключенных Сударчук назначил по лагпунктовско-вохровскую пекарню.

Бригаду вывели седьмой по счету. Разыгравшаяся фантазия мешала Г-284 идти в строю. Старшой конвоя несколько раз предупреждал — не разговаривать, пока не остановили колонну. «Еще слово,— пригрозил он с матерным прибавлением,— положу в грязь!» Колонна двинулась. И минут через двадцать людей остановили у здания барачного типа. Алпатьеву, Г-284 и еще пятерым плотникам было велено выйти из строя, их взяли под свое начало два конвоира. Остальных зэков повели дальше.

Воздух, смешанный с винным запахом передержанной опары и свежевыпеченных караваев, бил по ноздрям. Заключенные открывали рты, будто с этим запахом в их изголодавшиеся внутренности вливались невидимые глазом калории. Плотники забыли, что пришли не вдыхать запах хлеба, а выполнять тяжелую работу.

* * *

Все пятеро суток, начиная с первого дня, семь человек ели до отвала. Им выносили утром и перед съемом с работы по корзине отставших, обломившихся корок, помятого мякиша, выперших из форм, похожих на кипы коричневых завитушек — обычные отходы производства, без которых немыслима пекарня. И все это запивалось квасом. Его доставлял узкоглазый человек, не то казах, не то киргиз, смотревший на заключенных с таким интересом, как если бы перед ним демонстрировали заморских попугаев.

— Можно ишо,— говорил он.— Три бочка есть.

Заключенные благодарили, запивали хлеб квасом и снова брались за прерванные работы.

Алпатьев заметил, что захватывающие повествования Г-284 о способах добывать пропитание в лагере звучали все реже. Он сделался скучным, работал вяло, и звеньевой несколько раз предупреждал, что они, Алпатьев и его напарник, отстают, задерживают фронт работы.

— Для таких, как вы,— сказал Алпатьев напарнику в конце недели,— и придумана заманка — эти семисотки, восьмисотки и девятисотки.

— А для таких, как ты,— огрызнулся Г-284,— гарантийная птюха — шестьсот пятьдесят граммов!

— Я не за хлеб работаю. Меня не купишь за окурок.

— Еще как купят! — Г-284 вытянул шею.— Знаешь, что говорят уполномоченные? В лагере две точки опоры — пайка и боязнь домой не вернуться.

— Ты сталкивался с операми? — спросил Алпатьев.

Зэк посмотрел на бывшего конвоира, взялся было за лопату, потом отложил ее.

— А ты думаешь, за красивые носы нас послали у самых печей работать?

Степан бросил топор. И жгучую неприязнь к оперу, которую он растил все последние дни, бывший стрелок мгновенно перенес на этого заключенного. Алпатьев вылез из-под стены и зашагал к угловому участку, где с тремя работягами возился у стояка звеньевой.

— Что? — спросил тот, высовывая голову.

— Работать с «Г» не буду. Топора не подниму, если не замените.

— Пойдем,— кивнул звеньевой.

Шагая за ним, Алпатьев посмотрел в сторону конвоира, успевшего за долгий день протоптать в снегу тропинку. Рядом с конвоиром стоял Топорков, одетый в новые валенки, белый овчинный полушубок и шапку-ушанку.

«Ищет!» — не с боязнью, а радостью подумал Алпатьев, но зная, в какую ужасную шерстобитку попало начальство и бойцы конвойного дивизиона после его, алпатьевского, исчезновения. Ничем не поплатились — ни понижением в должности, ни взысканиями — только оперуполномоченный и его непосредственные помощники. Досталось на орехи командиру взвода, он был разжалован в рядовые. А Топорков и Подключников, поскольку их койки стояли рядом с алпатьевской, были удалены из своего дивизиона.

Ничего не объясняя, звеньевой отослал Г-284 на угловой участок и влез под пекарню.

— Ну, иди,— сказал он Алпатьеву,— чего ты там стоишь?

Одетый по минувшему сезону — в летние заношенные штаны, в рваную телогрейку и грязный колпак, Степан не мог оторвать взгляд от Топоркова. Потом он повернулся к нему спиной, подогнул колени и полез к звеньевому.

Они застучали топорами.

— Ты давно сидишь? — спросил звеньевой во время передышки.

— Скоро год будет.

— Откуда сам?

— Тисульский.

— Где это, Тисуль твоя?

— За Мариинском, в сторону от Тяжина ехать.

— А где Тяжин?

«Вот,— подумал Степан,— я считал, а Топорков и сейчас считает, что лагерь забит грамотными вредителями...»

— Тяжин — в Кемеровской области,— сказал Алпатьев.— А вы откуда?

— Елабужский. Слышал Елабугу?

— Нет.

— На юг от Ижевска. А ты почему не стал работать с «Г»?

Алпатьев, не разгибаясь, смотрел на медленно уходящего от пекарни в сторону казарм Топоркова и думал, что заявление на имя Сталина, даже если бывший товарищ не откажется отправить бумагу, передать никогда не удастся. В лагере следят за Алпатьевым, а в казарме — за каждым конвоиром.

— Почему я не стал работать с «Г»? — сказал бывший солдат звеньевому, когда тот уже постукивал топором.— Он — *шакал*. За корку хлеба сжует...

Перед съемом, когда Алпатьев и звеньевой справились с делом — уложили окладное бревно на место, Степан спросил:

— Вы в Сталинске были?

— Нет.

— А в Сталинграде и Сталинабаде?

— Тоже не был. А что?

— Да я сидел на пересылке в Кирове,— сказал Алпатьев,— так тюрьма тамошняя называется Вятской. Как же в Сталинске?

— Не знаю. Не *сталинской* же называть ее!

* * *

18 ноября Алпатьева оставили в зоне. Лейтенант Анисимов вызвал его к себе и положил перед ним листы протокола, не подписанные во время допроса.

— Подпишите.

— Пожалуйста. Только я прочитаю, что понаписано.

В листах протокола все было так, как отвечал боец, только более пространно записаны некоторые фразы.

Алпатьев прочитал, что «письмо, рассчитанное на *сочувствие* гражданского населения, было отправлено 10 октября в пульмане».

— Вы не помните,— спросил лейтенант,— в каком из вагонов — первом, втором, третьем или еще в каком — замуровали конверт?

— Нет,— ответил стрелок.

— Утром это было, в полдень или вечером? — уточнял опер.

— Не помню,— сказал Алпатьев.

— Конечно,— проговорил уполномоченный,— прошло тридцать дней. Но какой дурак стал бы держать при себе такое письмо до вечера? Конверт был брошен в первый вагон!

— Зачем вам это нужно, гражданин начвльник? — спросил Степан.— Кочегара упечь собираетесь и наказать охранника?

— Вы бывший стрелок? — спросил опер.

— Да.

— Как выполняли вы свои обязанности?

— Хорошо.

— *Плохо* выполняли! Если бы хорошо, вас бы не посадили.

— Вы боитесь, что вас посадят? — спросил Алпатьев.

Лейтенант выругался, и взгляд Алпатьева, как в прошлый раз во время допроса, остановился на отполированном куске мрамора. «Врезать бы ему по харе,— подумалось бойцу,— и все бы кончилось разом...»

— Что вы замолчали? — спросил Анисимов.

— А что говорить? Ведь вы стращаете меня, собираетесь *выдать* заключенным. А за что? За то, что я был конвоиром, служил во внутренних войсках?

Вталкиваемый в узкий бетонный мешок карцера, Алпатьев прокричал, что лучше в ложных стукачах ходить, да честным оставаться, чем быть негодяем.

Последние его слова были заглушены металлическим визгом двери.

— Десять суток! — продиктовал опер надзирателю Шулыге, все время стоявшему на стреме у самых дверей его кабинета.— Вода и сто пятьдесят граммов хлеба!

Застывший в бессмысленной стойке «смирно», Шулыга глядел в рот уполномоченного, хорошо понимая, что зэк, приговоренный на десять суток лагерного ареста, зависит теперь не от опера, а от его, шулыгинского,— доброго или злого — отношения.

* * *

Слушание дела заключенного Алпатьева было назначено на четверг 21 декабря. Но в самый последний момент его передвинули на субботу — день рождения вождя не хотелось омрачать судопроизводством.

В день суда, в половине десятого, киоскерша гостиницы принесла в номер председателя выездной сессии лагерного суда «Литературную газету» и «Правду». Советник юстиции Матвей Герасимович читал их постоянно, куда бы ни поехал. Однако его интересовали в газетах не сообщения о ходе войны в Корее и не развернутые постановления высших партийных инстанций о разных хозяйственных работах. Матвей Герасимович выискивал в них мысли на одну заветную тему. Он следил за ходом дискуссии о генах и за откликами на работу «Марксизм и вопросы языкознания».

Статеек на эти темы в купленных газетах не оказалось. Зато председатель выписал из статьи Н. Атарова понравившийся афоризм: «Поток приветствий, направляемых на имя Сталина,— говорилось у Атарова,— знаменует собой... низвержение тьмы». Этот вывод Матвей Герасимович внес в ту же тетрадку, куда записывал высказывания всех знаменитых и малоизвестных современников. Атаровская мысль легла рядышком с заметкой И. Эренбурга: «Первый человек нашего государства нашел время, чтобы внести ценный вклад в науку о языке...»

«Еще десяток таких афоризмов,— решил советник юстиции,— и сборник мыслей о вожде будет закончен».

Минут через сорок, отрешившись от дела бывшего конвоира, председатель шагал по венчальной чистоты снегу. Дорога вела туда, где в замерзающих бараках поддерживалась минимальная температура, положенная для заключенных.

Рядом с Матвеем Герасимовичем шагали его помощники — оба члена суда и молоденькая секретарша. Все они щурились от нестерпимой белизны заснеженной равнины...

«А точно,— думалось молодому помощнику, шедшему сзади,— ноги-то у этой Наташеньки точеные... Не дурак председатель. А я бы ему подсунул,— продолжал он размышлять,— Цицилию Витольдовну». Член суда вспомнил дугообразные ноги и силособашенный рост Цицилии...

У самой вахты 1-го лагпункта 1-го лаготделения советник юстиции сказал, что «дело Алпатьева — трехминутная чепухенция» и что все они успеют еще пробежаться на лыжах. «Наташенька впереди, а мы — сопровождающие»,— сострил он.

* * *

Еще в довоенные годы Алпатьев думал, что мошенников, воров, убийц, всех преступивших закон судят в переполненном зале, зал огромен, судьи седовласы, охранник стоит с оголенной саблей, в зале светло, торжественно, каждое слово звучит, как удар о воду на озере.

Ничего подобного на поверку не оказалось. Суд на Севере, давший бывшему конвоиру пятнадцать лет, проходил в убогой комнатушке. Кроме Алпатьева, сидевшего на длинной, в четыре метра, скамейке, в помещении за простым столом томились: председатель трибунала, его помощники и старуха-секретарша. Та же картина — пустая об одно окошко комната, стол судьи и членов суда, столик секретаря и табурет для Алпатьева — вот все, что работало на важность происходящего теперь.

И то ли по этой причине, то ли еще отчего, бывшему конвоиру стало вдруг скучно, он сник, не зная, что делать, когда начнут задавать вопросы.

— Фамилия? — спросил председатель суда.

Алпатьев не ответил.

— Встаньте,— приказал судья,— и отвечайте на вопросы.

Алпатьев встал и назвал свою фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, статью и пункты, по которым сидит, срок наказания. Он собирался сказать еще, где родился, кто его родители, где служил и где арестован, но председатель суда жестом руки прервал, попросил не торопиться.

— За введение суда в заблуждение,— сказал он на всякий случай,— несете ответственность по статье, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Распишитесь, что вас предупредили.

Алпатьев подошел к столику секретарши и расписался на бланке, напечатанном типографским способом. Фамилия — *Алпатьев,* имя — *Степан,* отчество — *Степанович* были вписаны от руки.

— Знаете ли вы,— спросил председатель,— в чем вас обвиняют, какой пункт пятьдесят восьмой статьи инкриминируется вам, и нет ли у вас претензий к следователю и отвода к нам — председателю суда и членам выездной сессии?

— Нет, отвода не имею,— ответил Алпатьев.— В чем обвиняете — знаю.

— Вы отправили письмо на имя министра внутренних дел?

Смертная тоска, какой еще никогда не испытывал солдат, навалилась на него многотонным грузом.

— Почему не отвечаете? — спросил судья.

— А зачем вы спрашиваете о том, что вам известно? — сказал Алпатьев.

— Мы судим вас,— объяснил председатель.— Нам нужно разобраться — действительно ли вы поступали так, как записано в протоколах допроса?

— Вы же читали мое заявление на имя министра? — произнес Алпатьев.— Там все написано по-русски — почему я отправил письмо в пульмане, как меня судил трибунал, как допрашивали и о порядках в зоне...

— Будете отвечать на вопросы? — повторил председатель.

— А что от этого изменится? — услышал солдат свой голос.

— Отправляли вы письмо в пульмане, спрашиваем, или нет?

Алпатьеву припомнились слова костистого зэка. Тот говорил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях... Этот суд, думалось солдату, нужен только уполномоченному и судьям. Ведь даже врагов, мелькнуло в его голове, надо судить по-человечески...

— Будете отвечать или нет? — почти закричал председатель и что-то шепнул помощникам.

— Какого вам ляха нужно? — спросил подсудимого член суда, сидевший справа. Ему хотелось сказать не «ляха», а по-другому...

— Чтобы вы приговорили меня к расстрелу! — сказал Алпатьев.

— А что еще? — подобрел член.

— Чтобы всех вас арестовали! — Алпатьев почти задыхался.— Чтобы вы хоть по месяцу посидели в карцере...

Председатель позвонил в колокольчик, звеневший когда-то под расписной дугой. Дежуривший в коридоре Шулыга вошел в комнатушку.

— В бокс! Суд остается для совещания...

— Видали,— сказал председатель, когда дверь за подсудимым закрылась.— Тюхаматюха, а посидел годик и вот...

Матвей Герасимович пододвинул к себе листы линованной бумаги. Потом он сказал, что существующая лагерная система воспитания развращает зэков. Надо, сказал он, иметь не два типа лагерей, а несколько: лагерь шпионов, лагерь взяточников, лагерь болтунов, лагерь «давалок за плату», расхитителей социалистической собственности, чтобы годика через два-три они возненавидели друг друга профессионально...

Все это время, пока он развивал соображения о содержании заключенных, он, не останавливаясь, писал приговор. Писать было легко. Многолетняя практика, как добрый заводской штамп, позволяла без всякого усилия запечатлевать на бумаге удобные, юридически обоснованные формулировки. В данном случае речь шла «о пресечении попыток использовать социалистический транспорт в антисоветских целях». «Преступник Алпатьев действовал сознательно,— писал советник юстиции,— содержать его в обычных лагерях нет смысла, не эффективно: он должен отбывать срок — пятнадцать, минус один, плюс пятерка, то есть *девятнадцать* лет — в строгорежимных местах заключения».

Исписанные листы один за другим Матвей Герасимович передвигал члену суда, сидевшему справа, тот передавал их за спиной председателя другому члену, который переправлял готовый текст Наташеньке...

Совещание выездной сессии лагерного суда, как засек на часах Шулыга, продолжалось двадцать четыре минуты с секундами.

— Ну вот, и окрестили вас по-новому,— сказал он Алпатьеву, конвоируя его туда, откуда привел — в лагерный изолятор.— Не унывайте. Завтра перебазируют в десятый лагпункт семнадцатого лаготделения. Начнется новая жизнь...

Метрах в тридцати, параллельно Алпатьеву и Шулыге, как волк в лесу, двигался лейтенант Анисимов.

5

На штрафную колонну вместе с Алпатьевым этапировали Евдокима Осокова. Третьим в этапе был молодой заключенный, читавший при Степане «Песню мусорщика».

«Надо узнать, за что его наказали»,— подумал Алпатьев. Но прямо с ходу, как только они подошли к вахте, нарядчик стал выкрикивать фамилии.

Стоявший в вахтенном проходе рядом с дежурным по зоне старшой конвоя сам щупал стихотворца, развязал его узел и протолкнул с собранным как попало барахлом за внешнюю дверь.

— Осоков! — крикнул нарядчик.

— Евдоким Савостьянович.

— Статья?

— Самая ходовая.

— Пункт?

— Окруженец.

— Срок?

— Двенадцать.

— Конец срока?

— Год освобождения крестьян от крепостной зависимости.

— Яснее?

— 1961-й.

— Проходи...

Новых «данных», вписанных в формуляр после заседания лагерного суда, Алпатьев не помнил, поэтому путался, когда нарядчик посыпал вопросы.

— Конец срока? — это был последний вопрос.

— 70-й год.

— 69-й,— поправил пом. по труду и махнул рукой в сторону вахты.

— Вещей нет? — старшой внимательно оглядел Алпатьева.

— Нету.

— Пайку слопал?

— Съел.

Осокову, Степану и юному заключенному приказали взяться за руки, и после «молитвы» — «шаг влево, шаг вправо...» — два охранника повели их по завьюженной степной дороге.

«Три товарища»,— горько подумалось Евдокиму Савостьяновичу, читавшему роман запрещенного Ремарка по-немецки на немецкой земле в счастливые апрельские дни сорок пятого года.

— За разговоры в пути,— обернулся конвоир,— карцер по прибытии на штрафную...

Но зэки говорить и не думали, и каждый из них разговаривал про себя.

Осокову вспомнилась такая же заметеленная дорога под Брянском. Только там лежала вокруг не степь, а темные на белом снегу перелески и далекий, точно вымазанный дегтем, лес. Потом он увидел не лицо немецкого автоматчика-конвоира, а испуганные глаза командира взвода, получившего сообщение, что все они — их рота, полк, дивизия и армия — в кольце немецких войск. Тогда или чуть позднее Евдоким и решил для себя, что в пленении роты виноваты солдаты и ротный, в пленении батальона — командир полка и батальонный, а если пленили дивизию, армию или несколько армий, тут уж солдаты и взводные ни при чем. Суду подлежит командующий армией и фронтом, а может, и Ставка. Но четыре года спустя судили не командующего направлением, не генералов Ставки, а бессильных вырваться из окружения солдат и лейтенантов...

«Так было и так будет, пока не потухнет солнце,— заключил Осоков, переставляя ноги в такт с шагами Алпатьева и молоденького зэка Соишкина.— Стрелочник виноват не потому, что виноват, а потому, что стрелочник».

— Стоп! — прокричал конвоир, и поднявший голову недавний бригадир Осоков увидел, что перед носом — штрафная колонна.

Из вахтенных дверей вышел коренастый, одетый в полушубок военный. Он мотнул подбородком старшому и вплотную подошел к этапникам.

— Алпатьев? — Военный ткнул пальцем в Степана, стоявшего с правой стороны шеренги.

— Алпатьев,— ответил бывший солдат.

Человек в полушубке перевел глаза на бригадира грузчиков, потом посмотрел на Соишкина.

— Стало быть, прибыли,— проговорил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.
«Тутошний „кум" — средний или старший брат Анисимова, тутошний богатырь»,— догадался Алпатьев.
Коренастый повернулся спиной к заключенным — из вахтенных дверей прямо на снег вывалился шарообразный с заросшими глазами песик. Он заюлил у ног хозяина и покатился за ним вдоль зоны.
Квадратный дом, к которому шагал военный, примыкал к полуторасаженному забору, оберегаемому предупредительной проволокой на невысоких столбах.
Сбитый с толку поведением военного, Алпатьев не заметил, что правильно, без запинки отвечал на вопросы, которые выкрикивал здешний нарядчик.
Спустя минут двадцать всех их повели по внутризонной расчищенной дороге к приземистому строению — лагерной бане.
В моечном отделении, на полу, вытертом разутыми ногами зэков до белизны, начался шмон. Раздетые этапники стояли в нескольких метрах от своей нечистой одежды — нижнего белья, ватных штанов, телогреек и бушлатов. Юркий надзиратель подозвал к себе Степана, заглянул ему в рот и повернул затем на все 180 градусов.
— Ищи-свищи,— вслух сказал Алпатьев, хотевший эти слова произнести молча.
— Что? Что ты сказал? — шмонщик повернул Степана к себе лицом.
— А ничего.— Алпатьев поглядел на лицо надзирателя, в его прозрачно-родниковые глаза.— Желудок пустой, я из кондея...
Шмонщик толкнул солдата к одежде и стал обследовать Соишкина, потом Осокова.
— Затряхивайтесь! — скомандовал он, не найдя ни в одежде, ни в обуви, ни в самих заключенных ничего запрещенного.
Когда этапники оделись, в моечную, пахнущую потом и мылом, ввалилось громоздкое тело одетого с иголочки пожилого рыжеусого продвещстолиста. Он поздоровался, сделал ручкой — мое, мол, вам с кисточкой! — и оглядел одежду каждого из прибывших. Она совпадала с палочками арматурного списка. Рыжеусый объявил, что согласно аттестату все они получат гарантийную пайку через день и две ночи.
— Цых пацанив — Осокова и Соишкина,— сказал он надзирателю,— забираю в шестой барак, в четверту сэкцию, будут робить крепильщиками. Пидёмо, хлопцы!
Алпатьев и надзиратель остались одни.
— Пойдем,— сказал стражник и открыл дверь.
За длинными бараками, занесенными снегом до половины узеньких окон, Степан понял, что ведут его не в рабочую секцию.
— В изолятор? — спросил он надзирателя.— За что?
— Не будете болтать,— ответил охранник.— Предупреждал вас конвоир, что говорить в дороге не разрешается?
— Предупреждал...
— Кем вы работали на воле? — смягчился надзиратель.
— Церковь сторожил, в колокола позванивал...
— Значит, не баптист, не субботник, не еговист пойманный.
— Гражданин надзиратель,— спросил вдруг Алпатьев.— Почему в наших тюрьмах и лагерях не объявляют голодовок?
— Дураков у нас меньше,— ответил находчивый стражник. Он нажал на эбонитовую кнопку и ввел Степана во внутреннюю, окружающую кирпичный куб карцера ограду.

* * *

Что в советском государстве дураков ничуть не меньше, чем в капстранах, Алпатьев убедился еще в бытность солдатом саперного батальона. Одним из таких дураков, видимо, является он сам, вот уже более года ни за что ни про что тянущий лямку зэка. А таких, как он — бесправных и безответных заключенных, говорят, столько, что хватило бы на создание отдельной державы, равной по населению Чехословакии и Венгрии вместе взятым.
«Чем умирать от пули по несправедливому приговору, лучше умереть от своей руки,— думал Алпатьев, чувствуя, что голова его все пытается соскользнуть с отполированного, послужившего не одному заключенному, карцерного подголовника.— Раз жизнь не ценится, человек никому не нужен, значит, надо умертвить себя, и чем скорее, тем лучше...»
Утром Степан отказался от принесенного дежурным по изолятору трехсотграммового куска хлеба. Не взял баланду.
— Хе! — рассмеялся дежурный.— Может, ты захотел зразы, либо шашлык по-кавказски?
Алпатьев молчал.
— Встать! — заорал дежурный.
Алпатьев не шевелился.
«Интересно,— сказал про себя дежурный.— Дурачок или умник какой?» Он закрыл бокс и стал греметь ключами у соседней клетушки.

* * *

О голодовке бывшего конвоира не знало, не было информировано зонное начальство. Четыре цементные стены с плотно подогнанной дверью хранили тайну постепенного умирания бывшего солдата саперного батальона, исхудавшего до неузнаваемости колхозника из степного села Тисуль. Представители карательной части лагеря — оперуполномоченный и начальник режима — раз в сутки справлялись у дежурного по «изо», как долго собирается сопротивляться этот «полуколхозник, полуконвоир и полузэк». Так назвал его в своем донесении лейтенант Анисимов.
К исходу девятого дня, обессиленный предыдущими карцерными испытаниями, Алпатьев потерял сознание.
Очнулся он в палате стационара под белой, как лебединое крыло, простыней. Какой-то человек где-то в ногах то и дело повторял:

Ху из диггет он май грейв,
Ху из дистбинг стил май пис... [1]

«Что бы это значило?» — мелькнуло у Степана, и он приподнял голову. Длинный человек в белом халате двигался от стены к стене, декламируя:

Ху из диггет он май грейв...

— Хо! Воскреш...— воскликнул он, подходя к алпатьевской лежанке.— В Бухаресте я воскрешал мертвых.— Длинный взял Степанову руку, проверил удары пульса. Алпатьев увидел в левой его руке пузатый шприц, наполненный желтоватой жидкостью.— Будем жить! — сказал белохалатник. Потом он словно растаял в простенке.

* * *

На следующий день, перед самым отбоем, на табурет у постели больного сел Соишкин. Несколько секунд заключенные молчали. Потом Соишкин полез в карман, где лежало мелко записанное стихотворение. Другого гостинца, даже кусочка сахара, парень принести не мог. Он вынул грубую бумагу и, не глядя на нее, нараспев, с паузами, точно отделяющими одно слово от другого, прочитал свое заПроволочное произведение, о каком-то Сократе, приговоренном в каких-то Афинах к смерти.
— Может, бумагу изорвать? — поглядел на Степана Соишкин.
— Ну что вы! — сказал бывший боец, не очень-то понявший стихи.
Парень пожал плечами.
— Пусть останется.— Алпатьеву казалось, что неизвестный ему афинский мудрец чем-то связан с ним, с этим Соишкиным и другими заключенными.
— До свидания! — сказал стихотворец. И уже от дверей Соишкин объяснил, как он узнал, что Алпатьев в больнице. Он шел из КВЧ и увидел носилки, которые два санитара несли в направлении стационара...

Показать стихотворение врачу, всегда читавшему под нос какие-то складные строчки, Степан не осмелился. Зато он твердо решил, изучивши стихотворение,— пусть убивают себя, лезут в петлю совершившие преступление. Пусть стреляется опер Анисимов, принимает цианистый калий здешний уполномоченный. А ему, Алпатьеву, стыдиться нечего, он никого не предал, не поступил подло. «Уж если стыдиться,— думал он,— так этого неумного решения — умертвить себя голодом. Да разве еще темноты своей...»

* * *

Постоянная осторожность — не говорить с человеком, которого знаешь плохо,— была Осоковым отвергнута, как только он прослушал несколько восьмистиший Соишкина. Но полное доверие к стихотворцу появилось на глубине 300 метров от засугробленной земной поверхности. Бригадир Добрыйвечер поставил их на ремонт крепления бокового штрека, упиравшегося в круто падающий пласт угля.
— Ты полегче, Федор Феоктистович,— сказал Осоков Соишкину.— Пока не закрепим прогиб, не лезь туда. С этой-то стороны вернее...
Соишкин отмахнулся, сказав, что Косая найдет хоть где.
Ответ молодого человека вызвал продолжительный разговор во время перекура. Евдоким сказал, что инстинкт самосохранения сильнее проявляется у тех, кому нечего сохранять. У заряженных силой он бездействует, не довлеет.
— Понял? — спросил он Соишкина.
— Нет.
— Ты за что сел?

[1] Кто копается на моей могиле,
Кто тревожит мой загробный сон? — стихи английского поэта Р. Стивенсона.

— За слово.
— Надеюсь, что «слово» это твое было не стертым, как старый пятак?
— Ну что вы? — возразил парень.— Рядовое, обыкновенное слово.
— Тогда наверняка произносили его не все. Боялись произносить.
— Может,— согласился Соишкин.— Я назвал произведение, получившее Сталинскую премию, дрянью. То есть не дрянью, а более выразительным словом.
— Ну вот, так оно и есть,— сказал Осоков.— Кто чуть-чуть посмелее да почестнее, тому наплевать на инстинкт самосохранения. Истина дороже.
Они взялись за работу, и в тюканье топоров стали вплетаться слова то одного, то другого. Осоков продолжал развивать свои соображения об инстинкте самосохранения.
— Мы вот с тобой голодные, как мыши нынешних церквей,— сказал он, вгоняя широкий клин между провисшей перекладиной и стойкой.— Но мы не лебезим, не гнем выю перед теми, от кого перепадает кус хлеба. Почему? — Осоков ударил по заднице клина последний раз.— Потому что чувство достоинства — выше чувства самосохранения.
Преисподняя тьма штрека, имей она запоминающие устройства, могла бы на вечные времена оставить запечатленными выводы Осокова. Он говорил о том, что чувство собственного достоинства выражает общественное здоровье. Без него, без этого чувства, сказал он, постукивая обухом, общественная функция человека свелась бы к слепому повиновению, народилась бы масса угодников, подхалимов.
— Когда-нибудь,— повернул разговор инженер,— из тебя, возможно, получится неплохой писатель. Ведь будешь писать, если выживешь?
Соишкин ничего не ответил.
Они снова взялись за инструмент. И если бы взглянуть на них со стороны, откуда змеился заброшенный штрек, они показались бы в свете карбидок извивающимися червяками.

* * *

В марте месяце снова загорланили почуявшие весенний воздух вороны. Законный интрудист Алпатьев вышел из барака и присел на завалинку. Солнечные лучи проникали в него как теплые человеческие слова, тоже невидимые, но ощутимые. Алпатьев глядел на безоблачное небо, на еле заметные, текущие над проволокой забора струйки воздуха. Великая тишина, как ему казалось, стояла над землей, пронизывала все живое и мертвое, хотя вороны горланили не переставая...
Бывшему солдату вспомнился вспыхнувший недавно ночной пожар. Все зэки высыпали из барака. Но горела не столовая; рукастый огонь шарил по чердаку и крыше зазаборной резиденции оперуполномоченного Песенного. Степан заметил, как лица заключенных, выбегавших из барака, меняли свое выражение... Зэки заболобонили; сивенький старичок сделал вид, что пускается в пляс; хромоногий кочегар из четвертой секции проговорил, что очень сожалеет — не может подбросить «товарищу куму» ведро бензина...
Дом сгорел. Осталась одна печная труба да невидимый из-за зонного забора пепел. Вместе с домом сгорели «дела» подследственных заключенных, сгорели донесения осведомителей, протоколы допросов, характеристики, которые писали на прибывших сюда разные анисимовы, таракановы, овчинниковы. Думать об этом Алпатьеву было приятно, хотя он понимал, что дом Песенному выстроят, и, быть может, каменный, «дела» заведут другие, и лакированные ящички картотеки уполномоченного заполнятся вновь написанными разными доносами и характеристиками. «Бог с ними,— сказал тогда Степан,— с характеристиками. Настанет время — все это покажется неправдашнею игрою...»
«А что на самом деле случится завтра? — спросил он себя на завалинке, поглядывая на льдистый кристаллик, заметно уменьшающийся под лучами солнца.— Неужели анисимовы, песенные, тот судья, что судил меня на севере, и этот, что судил недавно,— неужели все они так и будут считаться людьми настоящими, а не мусором?»
Мысли Алпатьева, как ручейки, незаметно пробились к забытому за последние месяцы твердому решению — писать и писать жалобы, посылать их одну за другой во все инстанции, писать самому Саваофу.
Степан встал и пошел в барак — в интрудистскую секцию, подошел к бригадиру и попросил у него листок бумаги.
— Хочу писать заявление,— сказал он.
— Кому?
— Вождю народов.
— Дам,— ответил бригадир.— Только передай, пожалуйста, огромный привет от Данилы Спиридоновича Сухарева, предводителя «индюков», посаженного двадцать два года назад.
Алпатьев взял бумагу, сел к тумбочке соседа по вагонке и сразу же написал слово, заставившее его остановиться.
— Можно,— спросил он Сухарева,— писать *«товарищу»*?
— Можно,— ответил Сухарев, пришивавший дополнительный карман к телогрейке, орудуя вместо иглы заостренной стальной проволокой.— Бумага все стерпит. Ты читаешь газеты?
— А можно задать еще один вопрос?
— Крой,— разрешил Данила.— Бывшие стукачи,— сказал он просто,— надежнее молодых оленей. Ты почему с этой должности сместился?
— Неужели вы верите, что я работал на уполномоченных? — Алпатьев посмотрел на Данилу.
Тот уклонился.
— О чем ты хотел спросить меня? — задал он вопрос Степану.
— Знает или нет Сталин о порядках на воле и в лагерях — о том, о чем знаете вы, я, другие заключенные и не арестованные люди?
— А что из того, знает он или не знает? — спросил Сухарев.
— Плохо, если не знает. Знать должо́н...
— Тогда просвети его. Так, мол, и так, великий вождь Иосиф Виссарионович...— Сухарев повесил телогрейку на приступку нарной крестовины и лег на свое почетное — бригадирское — место.— Пиши. Буду диктовать!
Алпатьев сел, расправил помятую бумагу, потом отодвинул ее.
— Писать *ему* раздумал,— сказал он.— Если вождь мудрый, как пишут о нем, значит, он знает все. А если наоборот, и *глухой* к тому же, значит, моя писанина — об стенку горох... Напишу министру, который вернул заявление оперу.
— Очень хорошо,— одобрил Данила.— Будем писать визирю.— И он спросил Алпатьева — знает ли парень, что в турецких государствах, во всех, где есть султаны, делами заворачивают подсултанники, преданные султану люди. Данила сел по-персидски, и первое длинное предложение, продиктованное им, заставило бывшего солдата положить карандаш на тумбочку. Ему стало неловко за зэка — серьезный вопрос он оборачивает в комедию, в первые десять слов вплел два бранных, невозможных для написания...
— Нет,— сказал Степан,— я отроду не ругался и не буду ругаться.— Он встал, взял бумагу, отдал ее Сухареву и вышел из секции.
— Ну и хрен с тобой! — выругался Данила.— Годиков через семь задудишь в другую дуду, научишься кусать из-за угла и лаять...— Сухарев лег на свое почетное место и сразу же, натренированный десятилетиями, забылся дремой.
Алпатьев обогнул барак и подошел туда, где недавно любовался тающим кристалликом. На месте льдинки теперь поблескивало зеленоватое остекленевшее пятнышко. Где-то под ним, на глубине около полуметра, лежал грунт с замороженными подпочвенными водами. В летнюю пору он мог бы питать крестьянское поле, а не вытоптанный, утрамбованный подошвами заключенных плац... И все-таки, подумалось Алпатьеву, этот скрытый под снегом кусочек земли — *часть* родины, земли, которую засеют, когда снесут бараки и растащут казармы...
«Я напишу заявление,— сказал он сам себе,— что длинным щупом прокалывают не уголь в пульмане, а самого человека. Напишу, что не считаться со мной, с моими словами отсюда, значит не признавать семнадцатого года, который разрешил трудящимся говорить правду. Хорошо об этом выступал политрук роты. Только почему же за высокими словами такая...» Он не нашел подходящего слова, встал и вернулся в секцию.

6

10 мая, когда Данилу Сухарева увезли ногами вперед на местное, освободившееся от льдистого снега кладбище, Алпатьева вызвали в нарядную. Когда он шагал туда, солнце уже поднялось над крышей здания начальника лагпункта.
— Вот что,— сказал молодой, обезображенный угрями нарядчик. Он глядел на Степана презрительно, с каким-то отвращением, хотя, казалось, такое, как у него, испохабленное прыщами лицо не должно было выражать никакого чувства, кроме собственной боли.— Ты ведь бывший конвоир, Степан Степанович?
Алпатьев кивнул.
— Будешь исполнять обязанности бригадира интрудистов. Я сам тебя назначаю. Возьми себе грамотного помощника. И в понедельник пойдете на женский лагпункт — приводить в порядок зону. Все, говорят, засрали!
Алпатьев никогда с тех пор, как попал в заключение, не помышлял ни о какой начальнической работе. И он глядел на прыщавого нарядчика, как будто тот предлагал ему стать комендантом лагеря.
— Вот тебе список на тридцать лаптей,— сказал нарядчик.— Да, вот еще что, после подъема я дам тебе маленькую записку...— И он стал объяснять Алпатьеву, что записка эта бригадирше Прониной, что надо передать ее умеючи, Пронину не выпускают из зоны, и спросил — понял ли Алпатьев, что говорят ему.
— Понял,— сказал солдат, думая не о записке, а о том, следует ли соглашаться на лагерную должность — командовать заключенными. Он уже знал, что должность брига-

дира обязывает вступать в контакт не только с нарядчиком, прорабом и продвещстолистом — они заключенные, но и с начальником лагпункта, начальником УРЧа и, может быть, с «кумом».

— Нет,— сказал он нарядчику.

— Ты не соглашаешься передать ксиву? — удивился нарядчик.

— Не согласен бригадирствовать...

Нарядчик послал Алпатьева к никогда не отказывающей матери... Степан повернулся, ударился лбом о дверь, закрыл ее за собой и поплелся в барак, смутно представляя себе, как бы он стал командовать заключенными-дистрофиками, не желающими работать и не способными уже ни к какому труду.

В тот же вечер Алпатьев остановил Соишкина — тот шел из посылочной — и рассказал ему о своем отказе начальствовать.

— Может, это не серьезно он предлагал мне бригадирствовать? — спросил он москвича.

— А может, серьезно,— сказал Соишкин.

— А записка бригадирше Прониной? Ксива?

— И это, может, серьезно. Кому-то, не тебе, так другому, доверять надо...

— По-моему, все это «кум» делал — и назначал бригадирствовать, и записку хотел всучить.

— Может, и «кум». А ты бы все-таки согласился. Почему бы тебе не покомандовать недели две или с месяц? А там и во вкус вошел бы... Дело ведь вовсе не в том, какую ты лямку тянешь, а в каком направлении... Я, например,— сказал Соишкин,— с удовольствием согласился бы бригадирствовать и побывать в женской зоне.

— Теперь уже поздно,— вздохнул Алпатьев.— Да мне и не подошло бы командовать...

Весь путь до интрудистской секции Алпатьев думал о мертвой для него стороне дела — отделенных не по статейным соображениям женщинах, которые тоже ходят в бушлатах и в ватных тяжелых штанах. Он видел однажды, как они шли мимо с лопатами на плечах, кто-то по-соловьиному защелкал им из зоны, что-то крикнул, но их провели мимо.

«Им еще потруднее нашего,— думал Степан.— Не могут же они, как мы, без трусов обходиться, без ихних рубашек и лифчиков, и гребней с платочками».

Степану вспомнились барачные разговоры. Добрая четверть товарищей по бригаде, превратившихся в «индюков», была, оказывается, по-лагерному обвенчана — сидела из-за сожительниц в кондеях, отдавала своим подругам, когда удавалось, последнее полотонце, кусочек мыла, делилась последней краюшкой. А покойный Данила Сухарев, попавший в заключение в тридцать четвертом году, говорил при Алпатьеве, что он оставил Иосифу Виссарионовичу «вещественное доказательство» непримиримости своей — двух сыновей, прижитых в лагере,— Ярослава и Никона Даниловичей [1].

После возвращения из столовой, когда все забрались на нары, Степана вызвали не в нарядную, а к лейтенанту Идашеву, начальнику учета рабочей силы. Был Идашев уже почти старик. Он усадил Степана на стул, похлопал его по плечу и быстренько, будто сеял горох, стал разбрасывать обкатанные слова в расчете, что они не ударятся об стенку. Идашев спросил, почему Степан Степанович, недавний боец внутренних войск, игнорирует приказ старших.

— Я не боец давно,— ответил Алпатьев.

— Ишь ты! — сказал лейтенант, и похожее на улыбку мускульное движение скользнуло по его лицу, как волна по исхлестанной песчаной отмели. Идашев обогнул стол, подошел к бывшему конвоиру и проговорил со значением, что, если бы Степан Степанович был солдатом, он упрятал бы его на пятнадцать суток в солдатский карцер — гауптвахту. Но Алпатьев уже не боец...— Ты наш и не наш,— сказал Идашев, стоя перед Степаном.— Столб пограничный! Вот кто ты. С одной стороны СССР, а с другой — Федеративная Германия...

— Я согласен быть бригадиром,— произнес вдруг Алпатьев.

— Ну вот, давно бы так,— заключил лейтенант. Он снова забаррикадировался столом и оттуда сказал, что если Степан Степанович не потеряется из виду, то помощь от УРЧа будет постоянной.— Надо только не потеряться, а я всегда тут,— сказал он, рассчитывая опять, что слова его дойдут до заключенного.

Но тонкий по-лагерному намек на готовившийся крупный этап на 501 стройку и на урановые разработки не заставил Алпатьева навострить уши. Намека Идашева он не понял. «Может,— думал бывший боец,— это передышка, посланная матерью с того света; она не дала мне поскользнуться, скопытиться на подъеме... Посмотрим, что выдумают еще лейтенанты, чтобы я непременно упал, выпачкался в грязи, сдался...»

[1] Данила Сухарев заблуждался. Родившиеся в заключении дети не получали фамилию отца, они оставались без отчества, их записывали на фамилию матери, в графе «отец» — делался прочерк.

— Можете идти,— сказал Идашев.— Ежели будут артачиться инвалиды твои, сообщай.

Алпатьев вышел.

Огромное стадо звезд, таких холодноватых и таких недосягаемых, тихо паслось на небе. Звезды бросались в глаза своим мерцанием. «Видно, только кажется, что они живые и могут вздыхать»,— краешком ума отметил солдат, подходя к бараку. Космические глубины, загадки происхождения Солнца, Луны и ближайших планет Степана не беспокоили в отрочестве. Его волновала земля, и все, что растет на ней, он думал иногда — отчего получается так, что засеваются огромные поля в Сибири, равные иному российскому району, а хлеба не хватает...

— Вот ваше место,— сказал ему пожилой раздатчик, правая рука покойного предводителя. Он указал на почетный бригадирский угол, где уже лежали перенесенные туда шмотки Алпатьева.— Нарядчик сказал, что с завтрашнего дня бригада Сухарева будет называться алпатьевской.

Бывший боец молча перенес свой матрац, одеяло, набитую сенной трухой подушку и ветхий, выданный в начале срока бушлат опять на старое место — на второй этаж третьей от дверей вагонки. Он не стал говорить, что удобное, поближе к свету и подальше от сырости место надо еще заслужить.

— Зря вы стараетесь,— сказал ему утром раздатчик. Они возвращались из бухгалтерии, где с Алпатьевым знакомился продвещстолист, тот самый, что проверял арматурные книжки, когда Алпатьев, Соишкин и Осоков пришли этапом.— Все в бригаде считают вас провинившимся стукачом Песенного. Так что занимайте положенное по должности место.

По просьбе Степана на место Сухарева перенес свой матрац хромоногий кочегар, чей срок истекал в шестьдесят восьмом году; он сидел с сорок третьего года.

* * *

Перед входом в женскую зону их общупывала молодая полнощекая надзирательница. Ей было не более двадцати шести лет. И было смешно, когда она проводила руками по бокам заключенных, по бедрам, меж ног и ниже коленок. И было нехорошо, когда она сама стала выворачивать брючные карманы у отказавшегося это сделать сорокалетнего поносника [1].

Алпатьева обыскивали последним, и он не удивился приказу женщины снять чуни и вытряхнуть их из кордовых сооружений образца сорок третьего года.

— Можете обуваться,— сказала она, бросая Алпатьеву его вездеходы.

Алпатьев сел на песок, не торопясь обулся и поднялся на ноги. Жесткая, на грубой бумаге, записка нарядчика, всунутая в распоротый изнутри шов штанины, пришлась на лучевую кость, давила. Но бывший конвоир с облегчением присоединился к бригаде и последним вошел в зону. Он уже решил уничтожить «ксиву», как только подведут к объекту работ и он отпросится в отхожее место.

Выполнить эту задачу оказалось не так-то легко. Бригаду заставили обновлять начинающуюся от вахты предупредительную линию — тянуть в три ряда колючку, мотки которой большими плоскими ежами были разбросаны вдоль зоны то там, то сям. К работягам подошел производитель работ, недавний заключенный. Он спросил, кто бригадир, и стал давать указания — какой столб сменить и какой оставить.

Вместе с Алпатьевым прораб прошел вдоль линии до первого угла, хотел повернуть обратно, раздумал, и они, отмечая затесами покосившиеся столбики, двинулись дальше, огибая лагерь изнутри по часовой стрелке. Лагерь был невелик, со взлетную площадку районного аэродрома, застроен приземистыми строениями. «Точь-в-точь, как у нас в зоне»,— подумалось Алпатьеву, и он стал косить глазами в сторону бараков.

— Мне надо сходить по нужде,— сказал он неожиданно для себя идущему впереди прорабу.

— Да здесь и крой, у того вон торца не видно...

Алпатьев застеснялся и, чтобы не вызвать подозрения, подошел к барачной стене и справил малую нужду.

— Не знаю, когда вы управитесь с этой линией,—сказал прораб.— Дохлые, как на подбор. Ты давно сидишь? — спросил он Алпатьева.

— Полтора года.

— Выходит, на взлете. И — доходяга.

— Я не доходяга, инвалид.— Алпатьев показал руку.

— Не знаю, как ты дотянешь. Главное — начало. Втянешься, и все пойдет как по маслу...

[1] Поносник — одно из оскорбительных прозвищ истощенных непосильными работами и постоянным недоеданием заключенных-мужчин. Синонимы «поносника» — фитиль, доходяга, индюк, инвалид. Прозвищем «поносник» пользовались блатные женщины, имея в виду, что данный зэк — не мужчина.

Степан молчал.
— Кем ты был на воле?
— Вертухайствовал.
— Смеешься.— Прораб повернул к баракам.— Та линии,— сказал он, шагая,— обновлена бабами. Дотянете до этого вот угла и — точка.
Приземистые бараки, не отличающиеся от строений мужского лагеря, приниженными глазами-окнами глядели на майский день и на идущих по тесовому тротуару мужчин. Прорабу было не больше сорока двух лет, тринадцать из них он отбухал на северо-уральских «командировках» и, освободившись, поселился у лагеря, в котором «втыкала» сейчас его «баба».
— Может, на красоток поглазеете? — спросил он Алпатьева.— Одна освобождена по болезни, три не вышли по разутости, и в секции — Пронина...
— Спасибо,— сказал Алпатьев. Он огляделся и спросил, есть ли здесь мужские уборные, или только женские.
— Есть, но далеко, у конторы,— ответил прораб.— Иди, раз захотелось, вон в ту, с оторванными створками.
Алпатьев нырнул в отхожее место и долго соображал, повернувшись лицом к выходу, можно ли при открытых дверях вынимать записку. Наконец он выпростал штанину, извлек «ксиву» и медленно, будто делал это у себя дома, разорвал ее на мельчайшие части. Потом он вышел на воздух и чуть не столкнулся с идущей навстречу женщиной. Алпатьев посторонился, опустил глаза и непроизвольно проследил за ее ногами. Ноги были без чулок, обуты в опорки из хорошо простроченной автомобильной покрышки.

* * *

Никто из доходяг не мог по-настоящему рыть ямы, утрамбовывать столбики и натягивать при помощи гвоздодера проволоку. И Алпатьев сам дорывал ямки, натягивал колючку и вбивал гвозди. К часу дня он почувствовал, что силы кончились, их не восполнила и выхлебанная в женской столовой мучная затируха. Только кусочек хлеба, оставленный про запас во время завтрака, вернул ему некоторую живучесть.
Расправившись с баландой, он поднял глаза и внимательно огляделся. Четырнадцать человеческих лиц бесчувственно возвышались над длинным столом, заставленным опорожненными алюминиевыми мисками. Взгляд Алпатьева добрался наконец до раздаточных окон. Их было четыре, и в каждом из них, как в портретных рамочках, было по лицу — обыкновенному, с глазами и размытыми расстоянием бровями.
Однако лица раздатчиц и поварих не вернули Степана к намерению вволю насмотреться на заключенных невест и жен заключенных. Он весь был в плену подсчета, который начал, когда приступили к бессмысленному обновлению предупредительной линии. Ни одна осужденная женщина еще не бежала из мест заключения. Об этом он слышал от противника побегов — предводителя интрудистов. Данила говорил, что бежать из советского лагеря — все равно что бежать из поставленной в бетонный каземат клетки...
Думая о ненужных трудовых операциях, Алпатьев, как на ладони, увидел себя самого, разбрызгивающего веткой стланика жидко разведенную известь. «И там и здесь,— проговорил он внутри себя,— не жалеют строительного материала — ни досок, ни кирпичей, ни извести. Не жалеют и человеческих рук, силы...»

До самого вечера Степан механически утрамбовывал ошкуренные, нарезанные из подтоварника столбики, натягивал колючку и вбивал гвозди. Ему помогал только один заключенный, по фамилии Махонький. Остальные доходяги работать не желали. Отведавши баланды, они стояли и сидели теперь в метре от сносимой и вновь возникающей предупредительной линии, перемещались по мере ее удлинения. Ни один из них не сказал еще бригадиру ни плохого, ни хорошего слова. «Бог с ними,— решил про себя Алпатьев.— Наработались, наверное, на десять сроков вперед, и не мне, новичку-оленю, учить их уму-разуму...»
К бригаде дважды подходила бессловесная, сколоченная по-мужски, местная нарядчица. К концу работы она принесла справку, в которой говорилось, что бригада Алпатьева в количестве пятнадцати человек занималась уборкой зоны и вынесла на носилках двадцать восемь кубометров мусора. В справке указывалось расстояние — 250 метров. *Туфта* — заведомая ложь о будто бы выполненной работе — была уже знакома Алпатьеву как добрая лагерная фея. «Если бы не туфта и не аммонал,— говорили заключенные,— не было бы Беломорканала, потому что все заключенные умерли бы от голода».
Оба раза Степан не взглянул в глаза нарядчице. Не посмел он поглядеть и на подходившую к бригаде лекпомшу лагпункта. Та спросила, не нуждается ли кто в таблетках от живота. «Ты бы, милая,— сказал ей Махонький,— принесла от живота по ломтику хлеба...» Лекпомша поулыбалась и легкими шажками ушла по тротуарчику. В белом аккуратном халатике, она походила на всех сестер мира...
За час до съема к бригаде подошла ожидавшая «почты» из мужской зоны бригадирша Пронина. Она выплыла из придавленного к земле барака. Алпатьев узнал ее по свойственному всем отчаянным людям мужского и женского пола движению рук, всего тела.
— В барак бы заглянули, что ли,— сказала она, нахально рассматривая не Алпатьева, а его помощника Махонького.— Я познакомила бы вас с нашими простынями да наволочками.
— А какая разница,— спросил ее Махонький,— между простынью заключенного и заключенной? Наши-то, должно, почище чуть-чуть... А как мужчины,— объяснил он Прониной,— мы теперича, голубушка, водопроводные краны. Сколько вольем в себя, столько и выльем. Не больше...
— Катись отсюдова вон! — послышалось с ближайшей — угловой — вышки. И сразу же из вахтенных дверей выскочила в зону дежурная надзирательница.
Пронина улыбнулась Алпатьеву, показала два ряда гнилых зубов и развязной походкой направилась к бараку. Со спины она показалась ему гораздо привлекательней.
— Не верю своим ушам и гляделкам,— проговорил Махонький.— Отнято все, впереди пусто, а эта выкаблучивается, вращает покатостями. Такая и старика изнасилует при народе...
Пугающее количество ног алпатьевцы увидели, когда их пропускали через узкий проход вахты. У закрытого шлагбаума стояли заключенные женщины — их только что подвели к зоне. Алпатьевцев поспешно отвели за глинистую канаву и сразу же стали считать заново.
Поставленный во вторую шеренгу, последним от дороги, Степан увидел смотревшую на него девушку. Ей было не больше семнадцати лет, пряди ее волос стекали к потрепанному самодельному воротничку лоснящейся телогрейки, а большущие глаза, казалось, не имели зрачков.
Старшой конвоя, закончивший чтение «молитвы», скомандовал «вперед» — и неподвижная, немая, невидимая за спинами заключенных колонна «шалашовок» стала отдаляться...
Интрудистов перевели на грейдер, потом повернули на зеленеющий проселок и минут через сорок остановили у вахты. Вышедший дежурный пересчитал доставленных под его ответственность, снова повыворачивал их карманы и всех одним махом пропустил через распахнутые ворота.
В сумерках, до вызова к нарядчику, Алпатьев побывал у Соишкина, рассказал ему о встречах на женском лагпункте и что он сделал с запиской нарядчика. Лагерный поэт глядел мимо; потом посоветовал «не откровеннничать с врагами». Алпатьев долго моргал, и только когда спустя минут двадцать его спросил нарядчик — передал ли он записку Прониной, уразумел совет Соишкина. «Как же,— сказал он,— передал в руки...»

* * *

Тезис Вышинского о том, что наихудший тип предателя — политический перебежчик, в общем-то правилен. Только не Вышинскому было рассуждать о предательстве.
Так думал Осоков. Он инкриминировал бывшему Генеральному прокурору Союза Советских Социалистических Республик наитягчайшее преступление — измену нравственной основе социалистического права. Законом при нем стало повсеместное беззаконие; суды и трибуналы штамповали определения с такой легкостью, как будто приговаривались к десяти годам бесчувственные чурбаны. А с введением в действие двадцатипятилетнего срока классическая «десятка» стала восприниматься как детская игра — выражение гуманизма. Недоставало ввести полувековой срок, и тогда разговор о лежавшей за ближайшим пригорком удивительно свободной стране или коммунизме был бы неприкрытым издевательством над всяким мало-мальски здравым смыслом. До заключенных дошло бы — наказаны на полстолетия, значит, строить передовое общество будут не они, а их правнуки...
К этому инженер пришел постепенно. И теперь, когда инвалид Алпатьев попросил его написать жалобу, не важно кому — Иосифу Виссарионовичу, Маленкову или Генеральному прокурору Горшенину, Осоков понял, что ничего не выйдет. И при встрече с Алпатьевым в культурно-воспитательной части сказал, что все в его, алпатьевском, деле *алогично*, а нажимать на *эмоции* не позволяет совесть.
— А мне не к спеху, Евдоким Савостьянович.— Степан стоял подле, переминаясь с ноги на ногу. Ему хотелось сообщить Осокову последнюю парашу о длинном этапном списке, который уже подписан. О нем Степану нашептал дневальный барака, числившийся в его бригаде. «По-моему,— сказал дневальный,— там есть и твоя фамилия, пятая или шестая от начала...» Алпатьев на сообщение дневального сначала не обратил внимания, а чуточку позднее ему припомнилась изорванная на мельчайшие части записка нарядчика...— Вы не сердитесь на меня, Евдоким Савостьянович? — спросил он Осокова.
— Почему же я должен сердиться на вас?
— Да я заявление в уголь зарыл, а вас за это перевели на общие и сюда, на штрафную.
— Вы же не сердитесь на заключенных, которые послали письма, а вам за это срок навесили? — спросил инженер.

— Ну, прощайте! — Алпатьев протянул руку, пожал большую ладонь Осокова и вышел из КВЧ. Ему думалось, что тех людей, которым на этап — на урановые разработки,— завтра оставят в зоне, им надо будет сдавать матрацы, одеяла, наволочки; потом всех сгонят в предбанник, выдадут по буханке хлеба, выведут за ворота и сделают шмон...

Степану захотелось взглянуть на Соишкина, он повернул влево и чуть не напоролся на оперуполномоченного Песенного...

До самого отбоя солдат прислушивался к голосам в секции — не прокричит ли кто: «Алпатьев! К выходу!..» Но выкрика не последовало, и Степан стал вспоминать один свой разговор с Махоньким. Тот говорил, что *страх* ему прививали с младенческих лет, пугали домовым, чертом, попом, всеобщим вредительством, капиталистическим окружением. Застращивание же в заключении началось с Бутырок. Там сказали: «Вот в Лефортово заговоришь, падла...» А в лефортовском заточении стращали каким-то сухановским монастырем: «Там у тебя язык развяжется, гад раз...— мотанный!» А когда оказался на котласской пересылке, запугивали лесоповалом. Затем — шахтой. А теперича — урановыми разработками...

— Неужели нас будут стращать и тогда,— спросил его Алпатьев,— когда мы умрем?

— Как пить дать! — подтвердил Махонький.

* * *

Вагонные доски скрипели, колеса постукивали. Заключенных везли на север; но никто из них не знал в точности — куда именно. Знали об этом только солдаты конвойного батальона.

Степан пристроился на горбыльке нижнего настила, уже пройдя процедуру посадки. Его оттеснили в хвост. И это позволило понаблюдать за посадкой в других вагонах. В соседний вагон посадили приконвоированного Ерофеева. «Значит, все-таки повезло, не один!» — подумал Степан. Он влез по стремянке. Верхние и нижние нары были сплошь забиты ботинками заключенных. А дверь прогудела, щелкнули зацепы, и кто-то прокричал: «Апостол, не засты!» Степан отодвинулся от дверной щели, и тут увидел незанятый крайний горбыль. Он положил на него парусиновую сумочку с полбуханкой и рыбой внутри; затем пододвинул сумку к стене и лег животом вниз. Дразнящий запах сырого непропеченного хлеба заставил поднять голову, и солдат заметил незабитую из-за малости вертикальную щелку... Он подтянулся к изголовью, почти вплотную к рассохшейся стене. Зеленоватые кинжалики далеких увалов да голубенькие полоски неба стали сменять друг друга в узком просвете перед глазами по мере покачивания вагона. Иногда Алпатьев видел телеграфные столбы. Вечные сторожевые несли свой крест навытяжку.

Публицистика

Михаил Чулаки

МОЖНО ЛИ «ПОСТРОИТЬ» НОВОЕ ОБЩЕСТВО?

Мечта существовала всегда. Иногда ее относили в прошлое и называли Потерянным Раем, иногда — в будущее, чая установления Царствия Божия на Земле. Люди самые нетерпеливые, не желая зависеть от промысла божественных сил, тщились самостоятельно учредить общество всеобщего равенства, благоденствия и справедливости — Оуэн, Сен-Симон... Очередной такой план был объявлен строго научным, вытекающим из самого характера исторического развития человечества — это уже марксизм, а затем — ленинизм. Последний был даже успешно осуществлен на огромном пространстве рухнувшей Российской империи. Успешно — потому что главные цели ленинизма оказались достигнутыми! Судите сами: «Все граждане превращаются здесь [при социализме] в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими *одного* всенародного государственного синдиката» («Государство и революция» [1]). А этот *всенародный государственный синдикат*, в свою очередь, неотделим от правящей большевистской партии: «Как можно соединить учреждения партийные с советскими? Нет ли тут чего-нибудь недопустимого? Почему бы в самом деле не соединить те и другие, если это требуется интересом дела? Разве кто-либо замечал когда-либо, что в таком наркомате, как Наркоминдел, подобное соединение приносит чрезвычайную пользу и практикуется с самого начала?.. Разве это гибкое соединение советского с партийным не является источником чрезвычайной силы в нашей политике? Я думаю, что то, что оправдало себя, упрочилось в нашей внешней политике и вошло уже в обычай так, что не вызывает никаких сомнений в этой области, будет, по меньшей мере, столь же уместно (а я думаю, что будет гораздо более уместно) по отношению ко всему нашему государственному аппарату, и деятельность его должна касаться всех и всяких, без всякого изъятия учреждений и местных, и центральных, и торговых, и чисто чиновничьих, и учебных, и архивных, и театральных и т. д.— одним словом, всех без малейшего изъятия» («Лучше меньше да лучше»; 45,398). Так что когда в театре бездарные актеры и технический персонал, соединившись в партком, помыкали подлинными талантами, это было буквальным воплощением ленинской идеи. И не только помыкали, но и истребляли неугодных (а таланты всегда неугодны посредственности!) огнем и мечом — истребляли и за пределами театров на всех бескрайних просторах нашей страны. Сам Ленин прекрасно понимал, что насадить его учение возможно только огнем и мечом: «Никто кроме социалистов-утопистов не утверждал, что можно победить без сопротивления, без диктатуры и наложения железной руки на старый мир» (Речь о национализации банков; 35, 172). «Всякая великая революция, и социалистическая в особенности, *даже если бы не было войны внешней, немыслима без войны внутренней*, т. е. гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя» («Очередные задачи советской власти»; 36,195—196). Притом Ильич не только теоретизировал о необходимости диктатуры, разрухи и гражданской войны, но и с удовольствием входил в мельчайшие подробности террора, благоволил палачам прямо пропорционально проявленному каждым рвению: «Здесь есть кавказский комиссар Иванов — кажется, прекрасный вояка и способный душить восстания кулаков *по-настоящему*» (Рекомендательная записочка; 50,117).

[1] В. И. Ленин. ПСС, т. 33, с. 101. Далее ссылки на источник даются в тексте в скобках.

Итак, ленинизм в нашей стране успешно «претаорился в жизнь». Где-то в конце 60-х годов он достиг максимума своих возможностей: «всенародный государственный синдикат» худо-бедно, но работал, гарантируя удовлетворение минимальных потребностей каждому гражданину — умному и идиоту, работящему и бездельнику, трезвеннику и пропойце; коммунистическая партия, безраздельно владея «государственным синдикатом», не боялась больше за свое единовластие и потому не нуждалась больше в кровавом терроре, вполне довольствуясь гнетом идеологическим,— установилась относительная законность. И многие сделались искренне счастливы: система давала хлеб, система удовлетворяла и духовный голод, показывая цель на горизонте: оставалось шагать «вперед к победе коммунизма!», испытывая к тому же гордость за свое идейное первородство. Очень важно сейчас честно вспоминать господствовавшие тогда чувства. В этом помогает искусство. Многим ли — *тогда, не сейчас* — дикими казались знаменитые строки: «Тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер!»? Или оттуда же: «Клячу истории загоним!» — кто пожалел бедную клячу? Композитор Свиридов, не только музыкальный гений, но и художник, обостренно чуткий к настроениям эпохи, безо всякого насилия над собой положил эти строки на прекрасную музыку — значит, его не коробило. Чего ж стыдиться тогдашних чувств прочим гражданам?..

А потом все стало сыпаться. Внутренняя гниль, так плотно замазанная, что казалась уже несуществующей, стала повсеместно проступать сквозь розовую краску. Забуксовала экономика, девальвировалась идеология.

Сетования на то, что социализм у нас получился «не тот», что существует в идеале хороший социализм, а у нас устроили плохой, «исказили» предначертания великого вождя,— сетования подобные бессмысленны. Вообще не существует чистых учений, они всегда живут в интерпретациях. Сам Ленин, клеймя ревизионистов, решительно ревизовал Маркса, модернизировал по своему разумению, приспосабливая к иной эпохе. Так что давно не существует чистого марксизма — есть марксизм-ленинизм, есть реформистский марксизм Бернштейна и Каутского. Точно так же, как не существует христианства в чистом виде — всегда это или католицизм, или протестантство, или православие, или уж монофизитство. В свою очередь, и ленинизм начал немедленно приспосабливаться к эпохе. И если кто-то нынче объявляет, что возвращается к подлинному Марксу, подлинному Ленину, он обманывает не то других, не то самого себя, потому что в действительности это уже марксизм-платоновизм или ленинизм-поповизм. Читайте С. Платонова и М. Попова.

Кто осуществил идеи Ленина? И при жизни учителя, и после его смерти? Его верные ученики и соратники, им же самим и выпестованные. Никто другой на их месте оказаться просто не мог! Говорить: «Вот если бы на месте Сталина оказался идеальный беспорочный коммунист вроде Сен-Симона!» — все равно что гадать: «А что было бы, если бы вместо Николая II на троне оказался идеальный император, такой, как Марк Аврелий?»

Неоткуда было взяться другим большевикам, не могло быть других большевиков! Ожидать, что реальные комиссары и наркомы окажутся в жизни теми святыми, жития которых были затем составлены для школьного чтения, оснований не больше, чем надеяться, что среди чемпионов мира по боксу все поголовно окажутся ценителями Баха и Бетховена,— для того чтобы выиграть боксерский чемпионат, нужны совсем другие качества, чем приверженность к классической музыке, вот по этим другим качествам и идет отбор; точно так же для вооруженного захвата и удержания власти среди гражданской войны требуется не гуманизм, не безупречная нравственность, не высокая культура — нет, требуется фанатизм, жестокость, способность к быстрым и категорическим решениям. И когда, говоря о первом Совнаркоме, поминают Луначарского и Чичерина, путают вывеску с самой конторой: Луначарский с Чичериным представительствовали перед внешним миром, а не занимались непосредственно гражданской войной, продразверсткой и тому подобными насущными революционными делами — тут практиковали мясники Троцкий, Зиновьев, Сталин, Дзержинский, Тухачевский, Крыленко, Бела Кун, Лацис, Петерс — имя им легион.

Состав исполнителей — он-то оказался совершенно не учтен «самой передовой теорией». Исполнителей всех квалификаций: от солистов-вождей до рядовых хористов — пролетарских и крестьянских масс. Маркс и Ленин хотя бы искаженно, хотя бы предвзято, но все же анализировали экономические условия планируемого ими общества. Но самого человека они игнорировали полностью. На что способен человек, чего он хочет, каких взлетов и падений от него ждать? Психология индивидуальная и психология социальная — вот необходимый фундамент любой науки об обществе, а психология-то полностью отсутствует в марксизме, как будто общество состоит не из людей с их страстями, слабостями, чаяниями, а из бездушных роботов. В этом отношении Маркс и Ленин совершенно подобны инженерам, спроектировавшим невиданной красоты ажурный мост, но начисто пренебрегшим скучной наукой о сопротивлении материалов; мост обрушился, не выдержав нагрузок,— кого же, спрашивается, винить: высокомерных невежественных инженеров, пренебрегших прозаическим сопроматом, или неблагодарную сталь, оказавшуюся недостойной их гениальных замыслов?

Ответить на вопрос, приспособлен ли человек к коммунистическому труду — то есть добросовестному труду без принуждения,— вто ответить на вопрос о природе человека. В идеале коммунистическая организация производства выглядит очень заманчиво: единый планирующий орган точно рассчитывает, сколько и каких товаров потребуется потребителям и где их лучше произвести. Необходимо, например, столько-то туфель, а для них, соответственно, столько-то натуральной кожи, столько-то заменителей; а для выделки кожи требуется вырастить столько-то голов скота, одновременно этот скот даст столько-то мяса и молока — все подсчитывается, все планируется — вплоть до распределения обуви по размерам, а сортов кефира — по жирности. А дальше модельеры создают наилучшие фасоны, рабочие выпускают туфли наилучшего качества — ведь работают они в конечном счете на себя, значит, безо всякого контроля постараются на совесть — как без контроля и принуждения выращивает огородник клубнику на своих сотках! И никаких потерь от конкуренции, никаких банкротств, никаких излишков, уходящих в утиль.

Задумано замечательно! Но все мы на своей шкуре знаем, что получается на практике. А получается так, как получается, по единственной причине: из-за плохой работы — причем плохой работы всех, от мала до велика: от Госплана, который не сводит концы с концами, до последнего вахтера, который сквозь пальцы смотрит, как разворовывают завод. Оказывается, без прямой угрозы увольнения, без конкуренции, без немедленного поощрения деньгами за хорошую работу — без подобных прямых и понятных стимулов все работают плохо. Не только правители наши плохи — «аппаратчики», «бюрократы»; сделай аппаратчиком сегодняшнего рабочего, того самого, который годами промышлял мелким воровством в собственном цеху, он и в начальническом кресле будет гнать руководящий брак: идиотские инструкции и потолочные планы; он же продолжит и мелкое воровство у общества в виде уже не куска вырезки, запрятанного под трусами, а в виде множества неучтенных привилегий!.. Человек корыстен, эгоистичен по своей природе — и экономическая система, рассчитанная на бескорыстие, на «сознательность»,— обречена.

Капитализм — система саморегулирующаяся, система, рассчитанная на корысть каждого, так что в результате корысть каждого обогащает общество в целом. Социализм — система, регулируемая искусственно, и потому природная человеческая корысть социализм расшатывает. Это все-таки понимали основатели нового строя, недаром они сразу заговорили о «воспитании нового человека» — обычный реальный человек для их целей не годился. Отсюда истерические поиски «героев», отсюда презрение к нормальному человеческому быту с его ежедневными, а потому «мелкими», «мещанскими» заботами и радостями: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!» А Горький? Ведь не только же автор «Песни о Соколе» и пасквильного «Самгина», но и «Несвоевременных мыслей»! Но и Горький туда же:

> А вы на Земле проживете,
> Как черви слепые живут:
> Ни сказок о вас не расскажут,
> Ни песен о вас не споют!

Ну а раз черви, то не жалко и на крючок... Попытки воспитания «нового человека» неминуемо и очень скоро приводят воспитателей к безграничным жестокостям — идеалисты вообще самые жестокие люди. И кроткий Бухарин, будущая *невинная жертва*, писал, что расстрелы — прекрасный способ перековки старого человека в нового. А мы сетуем на Сталина...

Уже совсем недавно все мы пережили как бы пародию на коммунистическую революцию: «борьбу с пьянством и алкоголизмом»! Как это делалось? Объявлена была идеальная, но совершенно умозрительная цель: «трезвость — норма жизни!» Проектировщики нового образа жизни рассуждали совершенно логично: пьянство пагубно во всех отношениях, а потому народ, если ему все как следует объяснить и при этом планомерно сокращать производство алкоголя, в обусловленный срок придет к полной трезвости! И тогда-то наступят прекрасные времена: перестанут рождаться дети-уроды, снизится преступность, травматизм, заводской брак, возрастут производительность труда, мужская потенция и сама продолжительность жизни! И ведь все правда. И ведь есть люди, которые не пьют и чувствуют себя прекрасно. Значит — могут и все остальные, если им как следует объяснить. Ну, кроме безнадежно больных...

Мы все видели, чем это кончилось. Наши уважаемые сограждане категорически не захотели выполнять спущенный сверху график движения к счастью. Произошел пусть тихий, но упорный бунт. Километровые винные очереди — это были еще и первые после Великого Октября антиправительственные демонстрации. Чего только не снес безропотно наш народ за эти трагические годы — насильственное протрезвление он сносить отказался! Такое упорство в пороке отнюдь не украшает человечество, но оно — непреложный факт, с которым приходится считаться. И соответственно видеть реальную цель: не стопроцентную трезвость, а умеренное употребление хороших вин, прекрасно сознавая, что и хорошими винами определенный процент населения сопьется и определенный процент детей-дебилов от пьяных родителей родится. Человечество без алкоголиков и дебилов —

увы! — утопия, но надо стараться, чтобы процент алкоголиков и дебилов не приближался к опасной черте!

Точно так же и западное общество — не Земля Обетованная, каковой его начали видеть в последние годы наши наивные туристы и публицисты. Все там есть — и банкротства, и власть чистогана, и безработица, и духовная опустошенность. Не надо верить продажным пропагандистам прежних лет — почитайте хороших тамошних писателей. Все там есть в определенной пропорции — ибо такова природа человека. И надо только, чтобы соблюдалась эта пропорция, чтобы не происходил опасный сдвиг равновесия в сторону порока.

Есть идеальные трезвенники, которые не сопьются и живя в лимитном общежитии. Есть и совершенно бескорыстные люди, прекрасно и честно работающие за нищенскую плату, не унесшие с работы ни нитки среди всеобщего воровства! Есть. О них можно написать очерки, снять фильмы — нельзя только в расчете на них строить политику. Коммунизм был бы возможен, если бы все работали, как наш земляк Геннадий Богомолов с Полиграфмаша,— он просто не способен работать плохо, работать рутинно. Но посмотрите, как отторгает его собственный завод, как борются люди за право работать мало и плохо! Это-то отторжение — реальная политика.

Наши представления о человечестве во многом почерпнуты из художественной литературы, и тут нас ввели в обольщение школьные учителя, вдолбив в доверчивые юные головы совершенно ложную мысль о *типичности* литературных героев в вульгарном статистическом смысле этого слова: если герой «типичен», значит, на него похожи большинство реальных его современников. Отождествляя реальное человечество с населением классических романов, мы невольно повышаем в своем представлении степень духовности реального человечества. Раскольников, разумеется, психологический тип, который встречался и встретится еще, но большинство убийц нисколько на него не похожи; и Платон Каратаев — тип крестьянина, но совсем другие реальные крестьяне жгли Шахматово и тысячи других усадеб. Духовность литературных героев дает бо́льшую надежду на готовность человечества к коммунизму, чем дала бы внероманная реальная жизнь. Левая же интеллигенция, бредившая в начале века революцией,— интеллигенция эта в своем преступном простодушии судила о «народе» по литературе, видя в Платоне Каратаеве, этой мужицкой ипостаси души самого Толстого, подлинного мужика!

Идейные эпидемии распространяются так же повально, как, скажем, холерные. И так же нужны для возникновения эпидемии два условия. Для холеры: с одной стороны, возбудитель — холерный вибрион, с другой — низкая культура: немытые руки, немытые фрукты, загаженные уборные. Для идейной эпидемии: тоже возбудитель — доступная толпе идея, и тоже низкая культура — неумение самостоятельно мыслить. А экономические условия? Но бедность и эксплуатация были в России всегда, однако революции не наступало, пока не пошла идейная эпидемия.

Зародилась идея — возбудитель в интеллигенции левой, разночинной,— охватила к началу века уже и бо́льшую часть интеллигенции дворянской, буржуазной, так что не сочувствовать революционерам, не жертвовать деньги, не укрывать «нелегалов» сделалось совершенно невозможным психологически. А дальше уж зараза перекинулась на самые широкие слои населения. Лучшее доказательство того, что коммунистическая идея действительно «овладела массами»,— победа большевиков в гражданской войне. Хотя марксизм-ленинизм и был объявлен его адептами «всепобеждающим учением», наукой наук, но критически, как только и подобает науке, марксизм был воспринят немногими, в массовом же сознании это была новая «марксова вера», и именно в качестве таковой она с невероятной быстротой оттеснила прежнюю веру — православную, если говорить о коренной России.

Параллель между верой коммунистической и христианской хотя бы (да и любой другой!) — напрашивается. И нетерпимость коммунистов к инаковерующим, свойственная всем молодым религиям, и провозглашение единоверцев единственными достойными спасения в грядущем раю. Но существует и решительное различие. Ни одна массовая религия — исключение составляют крошечные фанатичные секты — никогда всерьез не пыталась переделать экономику; верующие ждали мессию для установления всеобщей справедливости на Земле, а пока довольствовались церковной десятиной (которая казалась непомерным бременем и вызывала крестьянские войны — поверстать бы каких-нибудь жакериев в наши колхозы!). И ныне богобоязненный бизнесмен, староста местной методистской общины, реорганизуя свое дело, заглядывает не в Евангелие, а в биржевой бюллетень. «Богу богово, кесарю кесарево» — это очень мудрое разделение. Большевики же не только слили законодательную власть с исполнительной, но и богово с кесаревым! После Рождества Христова сменились две экономические формации, но и феодализм, и капитализм родились сами собой, естественным ходом развития общества, прогрессом точных наук — никто никогда не «строил капитализм»! Коммунисты же решили *построить* новое общество, построить искусственно, поминутно заглядывая в свой марксистский требник, и такое *строительство* не могло обойтись без насилия: собственный домик каждый человек строит добровольно, но египетскую пирамиду невозможно было соорудить без

надсмотрщиков с бичами. Аналогия тем более уместная, что получившееся «светлое здание» так же плохо приспособлено для обитания живых людей, как и пирамида Хеопса.

То, что марксизм воспринимался именно как религия, занимал, так сказать, ту же самую извилину веры в мозгу, показывает и нынешний эпидемический отказ от «всепобеждающего учения» — и немедленное замещение его именно мистикой. Люди не становятся свободомыслящими! Место марксизма занимают либо традиционные религии, либо всевозможные новые секты — кришнаиты, муниты и прочие; возродился и мелкий религиозный разврат, издавна сопутствовавший солидным конфессиям,— астрология, хиромантия; пока не слышно об алхимии, но, несомненно, воспрянет и она. У людей удивительно короткая память: вчерашние атеисты не только бросились в лоно церкви, но как бы и забыли о вчерашнем своем вполне нравственном и законобоязненном атеизме, стали послушно повторять, что лишь религия — основа нравственности, хотя сегодняшние факты прямо говорят об обратном: рост церковности и преступности в обществе идет параллельно. Забылось, как вчера искренне верили, что страна наша «прокладывает дорогу всему человечеству»; забылась исступленная вера 30-х годов, ибо вера, прежде всего вера, поддерживала сталинский режим, а не голый страх, как теперь пытаются утверждать многие мемуаристы; страх существовал для миллионов и миллионов лишь как пикантная приправа к обильным порциям веры, принимаемым и перевариваемым каждодневно советским человеком! Стыдно теперь признаваться даже самим себе в той людоедской вере, вот и наблюдаются духовные анахронизмы, когда сегодняшние прозрения передвигаются на десятилетия вспять. Жили, конечно, и тогда люди, всё понимавшие, но не они определяли нравственный градус общества, как не определяют сегодняшние трезвенники массового отношения к спиртному...

Легкость, с которой толпа шарахается из одной веры в другую, с несомненностью указывает, что нельзя построить стабильное общество на чисто идеологической основе, на «идейности», на «сознательности» и тому подобных зыбких материях. Фундаментальна и вечна человеческая корысть, и победа капитализма в экономическом, а теперь уже и политическом соревновании объясняется тем, что капитализм соответствует слабой и греховной природе реального человека. Любого человека: и занимающего первое положение в государстве, и — последнее.

В экономике человеческой слабости и греховности соответствуют рынок и конкуренция. Установления жестокие, разоряющие слабых — но исключающие «идейность» и «сознательность».

В политике — громоздкое и дорогостоящее разделение властей, которые обречены такой системой постоянно сталкиваться и разоблачать друг друга. Психоаналитики считают, что жажда власти — душевное извращение, гиперкомпенсация глубокого комплекса неполноценности, и потому люди, достигшие власти, автоматически должны находиться под подозрением общества. А мы привыкли лишь петь правителям осанны. Так что беда наша не в том, что Ленин и прочие оказались беспощадны и некомпетентны; беда наша в том, что они оказались несменяемы, хуже того, сделались живыми богами. (А уж после смерти Ильича обожествили так, что позавидовал бы любой фараон — у тех хоть мумии были замурованы в глубине пирамид...)

Кроме невиданной тирании неизбежная при коммунистическом «всенародном синдикате» монополия власти ведет и к неслыханной коррупции. Причем к худшей ее разновидности: коррупция возводится в закон, так что грабеж государства, грабеж народа идет главным образом не путем частного казнокрадства (оно тоже, разумеется, цветет, но все же носит подчиненный характер), а с помощью присвоения несчетных богатств правящей партией, которая затем раздает их в виде подачек своим «верным сынам». КПСС таким образом нагребла сотни миллиардов — сколько, до сих пор не обнародовано. Сейчас, при экономической реформе на наших глазах идет отмывание коммунистических денег, вложение их в новорожденный советский бизнес, и таким образом правивший в нашей стране 70 лет «новый класс» имеет все шансы превратиться в традиционную финансовую олигархию при возрождающемся у нас капитализме. Признавать вслух совершающийся ренессанс нашим правителям очень не хочется. В ход пускается софистика про «верность историческому выбору», про «сохранение коренных завоеваний», а потому скажем так: нарождающийся у нас строй будет, конечно, далек от классического капитализма времен Маркса или Диккенса; он (строй) постарается, по мере сил, уподобиться тому, что установился в Швеции; некоторым нашим либеральным коммунистам нравится называть экономическое устройство Швеции или даже США — социализмом; если так, то и у нас будет социализм, только не по Ленину, а по *ренегату Каутскому*. Некий С. Платонов (это псевдоним умершего в 1986 году марксиста-любителя) в книге «После коммунизма» утверждает, что со времен великого кризиса 1929—1933 годов капитализм вообще больше не существует и, следовательно, предвидение Маркса и Ленина давно сбылось. Это очень удобный способ исполнять пророчества: свериться с оракулом и подогнать реальные события под заданный ответ. Впрочем, способ этот изобретен не С. Платоновым: еще И. Христос, въезжая в Иерусалим, простодушно пересел на осла, чтобы, как он сам объяснил, сбылось писание пророков, по которому мессия въедет в Иерусалим на осле. Легко

и удобно... Строй же, существующий в развитых странах Запада (Япония и Южная Корея по современной географии — дальний Запад), С. Платонов называет *элитаризмом*; что ж, значит, и у нас установится элитаризм, а нынешние распорядители партийных денег постараются сделать удачные капиталовложения и остаться в элите. Ну, а коли не прибегать к софистике, а придерживаться простой и откровенной терминологии недавнего прошлого, когда ясно различали «мир социализма» (СССР, ГДР, ЧССР, Куба, КНР, КНДР и т. д.) и «мир капитализма» (США, Англия, ФРГ, Франция, Япония и т. д. и Швеция, и Швейцария), то причаливаем мы в этот самый прежде пугавший «мир капитализма», и тогда самые идейные теперешние коммунисты, идейность которых удостоверена их высокими партийными постами, имеют все шансы стать советскими капиталистами, если только у нас так и не хватит решимости как можно скорей национализировать средства КПСС как нажитые преступным путем.

Впрочем, национализация будет иметь значение только нравственное — не экономическое. Если новыми капиталистами и окажутся вчерашние ленинцы, если обкомы преобразуются в акционерные общества, все равно действовать они принуждены будут по объективным рыночным законам, станут стремиться к личному обогащению, но их эгоизм, их корыстолюбие будет, как и следует при здоровой экономике, объективно обогащать общество: появится избыток товаров, конкуренция подорвет нынешний диктат производителей. А что основатели новых финансовых династий будут иметь темное партийное прошлое — что ж, и многие американские миллиардеры начинали неправедно...

А идеология — идеология коммунизма отделится от них. Но не погибнет.

Наблюдаемое ныне крушение коммунистической идеологии очень серьезное — но не окончательное. Испытания властью эта идеология не выдержала, но точно так же не выдержала испытания властью (несравненно меньшей властью!) и православная церковь, неосмотрительно сросшаяся с властью царской. За прегрешения свои претерпела церковь вместе со своими свергнутыми хозяевами кровавые гонения, попала в психологический карантин, из которого вышла лишь сегодня, когда успело родиться три внецерковных поколения,— вышла обновленной, очистившейся, укрепленной новомучениками, а прошлые прегрешения время предало забвению. Ныне в такой же карантин на отстой и ремонт уходит коммунистическая вера. И пребудет там, пока не забудутся преступления коммунистических правителей. А преступления — забудутся! Вернее, перестанут восприниматься так обостренно, как сейчас, отойдут в предания, как отошли в предания зверства Ивана Грозного, ужасы пугачевщины. Невинные жертвы успокоятся в могилах, а идея останется: «Равенство... справедливость... каждому по потребностям...» А жизнь вокруг будет достаточно суровой; слабый, глупый, да просто неудачник будут проигрывать в жизненной гонке, и даже если «социализм» или «элитаризм» окажутся вполне шведского уровня и защита от нищеты будет обеспечена всем нуждающимся, все равно горькое чувство аутсайдера, обида на несправедливость (а кто же признает, что обойден справедливо?!) будут толкать в духовное подполье. Кто же утешит? Торжествующая церковь? Самое ее торжество помешает восприятию исходящих от нее утешений. А где-то неподалеку живет тихий бескорыстный коммунист с просветленным бесплотным взором, стены его комнатки оклеены фотографиями демонстраций на Красной площади — когда такой царил подъем, такой дух коллективизма, и сам Сталин целовал на трибуне Мавзолея простую девочку... И раскроет коммунист свои книги, и начнет толковать об обществе всеобщего равенства, обществе без богатых и бедных. Маятник снова качнется...

Маятник будет качаться от веры христианской (магометанской, буддийской) к вере коммунистической и обратно до тех пор, пока сохранится *потребность верить.*

«Надо же во что-то верить!» Этот клич раздается повсеместно. И главный упрек критикам Маркса и Ленина: «Вы разрушили нашу веру!» Не утверждается даже, что критика несправедлива, нет: «Мы верили в Ленина!» — и не важно этим людям, что представлял из себя Ильич на самом деле. Им нужен объект веры, объект поклонения.

Печальную картину представляют собой эти массы людей, которые жаждут кому-то поклониться — богу ли небесному, богу ли земному. Это люди, которые не захотели или не сумели повзрослеть, и как в детстве существовал для них высший авторитет — всезнающий и всемогущий отец, карающий и защищающий, но всегда освобождающий от бремени выбора, от принятия ответственных решений, так они ищут подобного авторитета и тогда, когда ореол всезнания и всемогущества стирается и остается слабый, часто жалкий человечек — отец. И тогда вакантное место всемогущего отца занимает вождь, пророк, бог!

Сохранит ли большинство человечества и в неопределенном будущем эту детскую потребность в высшем авторитете?

Или сумеет повзрослеть, сумеет выдержать бремя свободомыслия? От ответов на эти вопросы и зависит судьба всех земных религий.

Разумеется, слабодушные люди, нуждающиеся в высшем авторитете, останутся всегда, вопрос в том, будет ли их число преобладающим? Думаю, что да, потому что преобладание подобного типа выгодно биологически: так простейшим способом поддерживается более или менее стабильное существование многочисленной популяции. И с угрозой перенаселения социальный спрос на подобную авторитарную, а потому удобно управляемую личность будет возрастать. А коли так, пребудет в веках и коммунистическая вера, сохранится секта поклонников Маркса и Ленина.

Важно только, чтобы не последовала новая попытка «строительства коммунизма». Смертный грех Маркса не в том, что он, как ему казалось, *научно* обосновал грядущее торжество коммунизма. Смертный грех в том, что он провозгласил необходимость насильственного «построения» нового строя: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его!» Провозгласил — и нашел-таки последователей, еще более правоверных марксистов, чем он сам. Однако человечество — слишком сложная система, и переделывать эту систему насильственно — такой же смертельный трюк, как заниматься «преобразованием природы». Только саморегуляция — адекватный способ существования сверхсложных систем. Иначе говоря — стихийное развитие. Так что пусть себе желающие веруют в стихийное, неизбежное пришествие коммунизма — лишь бы не пытались «строить»!

А мир — мир действительно меняется. Стихийно и неуклонно. Со времен Маркса жизнь переменилась неузнаваемо — не по его или еще чьей-либо воле, а естественным ходом вещей. Очередная техническая революция — информационная — еще больше ускорила темп происходящих перемен. Заводы-автоматы сделались уже реальностью. Что может помешать им соединиться во всемирные автоматические цепи и вытеснить человека из производства? Никакого принципиального запрета к этому не видно.

Но если человек окажется вне производства, уничтожатся и нынешние экономические отношения! Это не будет классическим марксистским коммунизмом, потому что и по Марксу, и по Ленину человек участвует в производстве, но участвует свободно, без экономического принуждения. А тут человек уйдет из производства совсем. Товары потеряют стоимость.

Окажется ли это коммунизмом, хотя бы и немарксистским, или стоимость сохранят продукты творческого труда, утонченные индивидуальные услуги? Кто доживет — увидит. Сейчас очевидно другое: такое развитие событий несет в себе громадную и совершенно новую психологическую проблему.

На протяжении всей своей истории человек добывал хлеб в поте лица своего, в этом и состояло первоначальное и принципиальное отличие его от животного. Труд был проклятием — но и занятием. Как человек сможет пережить возвращение к статусу птички божией, не знающей заботы и труда? Занятий искусством, спортом, наукой, утонченным сервисом не хватит на всех. То есть заниматься-то сможет каждый — востребованы будут немногие! Состояние невостребованности, ощущение собственной ненужности чревато чрезвычайными социальными напряжениями, вспышками наркоманий, терроризма, эпидемиями самоубийств. Технический прогресс необратим, мы это знаем. Но социальная психология уже сейчас должна заняться проблемой «человека праздного», чтобы попытаться смягчить грядущий переход к новому образу жизни. Сегодня кажется, что проблема эта неактуальна в нашем мире голода, мире бедности. Но мир меняется стремительно; припомните — те, кому за пятьдесят,— быт хотя бы 1945 года. Даже наш, советский, быт чрезвычайно консервативный, а уж в странах Запада 1945 год кажется иной эрой...

Марксизм развратил наши умы еще и в том отношении, что внушил прочную уверенность в предсказуемости, определенности будущего. Наши лидеры, когда хотят запугать население, заклинают: «Последствия такого шага могут оказаться непредсказуемыми!» Но последствия — *всегда непредсказуемы*, последствия любого самого скромного шажка. Весь опыт истории учит, что любой резкий поворот событий оказывался для современников совершенно неожиданным, и лишь после, задним числом находились развязные личности, которые утверждали, что все это они предвидели, предрекали. Только почему-то их никто ни разу не расслышал. Не знаем мы будущего и сейчас, не знаем хотя бы потому, что завтрашние события рождаются из сегодняшних наших поступков. А кто способен вывести равнодействующую из сегодняшних поступков пяти миллиардов человек?! Значит, единственный достойный путь — поступать правильно по мере своего разумения, беря на себя свою миллиардную долю ответственности за будущее. Поступать правильно — и не требовать гарантий в том, что наши добродетели будут вознаграждены, а чаяния — сбудутся.

Жить надо сегодня, а споры о том, какое социальное устройство установится завтра, бесплодны. Жить надо сегодня — и строить планы, издавать законы, учитывая слабую порочную природу человека, его склонность впадать в панику, следовать идейной моде, исповедовать самые темные суеверия.

Станет ли человек когда-нибудь другим — независимым, свободомыслящим, чуждым инстинктам толпы? Об этом тоже бесполезно спорить сегодня. И упаси бог попытаться нетерпеливо выводить этого прекрасного свободомыслящего человека — подобные попытки неизбежно приведут к очередному геноциду.

Ж. Свербилов

ЧП, КОТОРОГО НЕ БЫЛО...

Это было в июле 1961 года. Подводная лодка «С-2...», которой я в то время командовал, участвуя в учениях под кодовым названием «Полярный круг», находилась в северной части Атлантического океана. В этом районе было свыше тридцати подводных лодок. Поднявшись для очередного сеанса связи на глубину девять метров, мои радисты приняли радио: «Имею аварию реактора. Личный состав переоблучен. Нуждаюсь в помощи. Широта 66° северная, долгота 4°. Командир „К-1...“».

Собрав офицеров и старшин во второй отсек, я прочитал им шифровку и высказал свое мнение — наш долг идти на помощь морякам-подводникам. Офицеры и старшины меня поддержали.

Сомнение вызывало только место нахождения аварийной подводной лодки: долгота в радиограмме была не обозначена. То ли восточная, то ли западная. Наша «С-2...» в это время была на Гринвиче, то есть на нулевом меридиане.

И тут старпом Иван Свищ вспомнил, что суток семь тому назад мы перехватили радио, в котором командир «К-1...» (ныне погибшей) доносил для командира этой лодки состояние льда в Датском проливе. Так мы догадались, что долгота, на которой находится аварийная лодка, западная.

Мы всплыли в надводное положение и полным ходом пошли к предполагаемому месту встречи. Погода была хорошей. Светило солнце. Океан был спокоен. Шла только крупная зыбь.

Часа через четыре обнаружили точку на горизонте. Приближаясь, опознали в ней подводную лодку в крейсерском положении. На наш опознавательный запрос зеленой сигнальной ракетой получили в ответ беспорядочный залп разноцветных ракет. Это была она.

До этого нам, то есть мне и моим офицерам, матросам, не доводилось видеть первую советскую ракетную атомную лодку. Вся ее команда собралась на носовой надстройке. Люди махали руками, кричали: «Жан, подходи!!», узнав от командира мое имя.

По мере приближения к лодке уровень радиации стал увеличиваться. Если на расстоянии 1 кабельтова он был 0,4—0,5 рентген/час, то у борта поднялся до 4—7 рентген/час.

Ошвартовались мы к борту в 14 часов. Командир лодки Николай Затеев был на мостике. Я спросил, в какой он нуждается помощи. Он попросил меня принять на борт одиннадцать человек тяжелобольных и обеспечить его радиосвязью с флагманским командным пунктом, то есть с берегом, так как его радиостанции уже скисли и не работали.

На носовой надстройке «К-1...» среди возбужденных людей трое лежали на носилках с опухшими лицами. Сразу же возникла проблема — как переносить людей на нашу лодку; подводные лодки, уходя в море, оставляют сходни на пирсе в базе. Я предложил Затееву отвалить носовые горизонтальные рули и, продвигаясь вперед вдоль его борта, подвел под них форштевень «С-2...». Теперь по рулям, как по сходне, можно было перенести трех человек на носилках. Это были лейтенант Борис Корчилов, главный старшина Борис Рыжиков и старшина I статьи Юрий Ордочкин. Восемь человек перебежали сами.

Едва эти одиннадцать человек разместились в первом отсеке, в нем сразу же стало 9 рентген/час. Когда я сообщил об этом Коле Затееву, он предложил раздеть ребят и одежду выбросить за борт. После этой процедуры в нашем отсеке стало 0,5 рентген/час. Но сами эти ребята излучали значительно больше, особенно когда их рвало. Наш доктор Юрий Салиенко обработал каждого спиртом и одел в наше аварийное белье.

Свербилов Жав Михайлович (р. в 1927 г.) — капитан I ранга, по окончании Высшего военно-морского училища им. Фрунзе служил штурманом на подводных лодках Балтики, Каспия и Тихого океана. Командовал подводными лодками на Северном флоте, в частности — подводной лодкой «С-2...», о которой идет речь в описываемом эпизоде. В настоящее время — доцент Ленинградского института методов и техники управления (ЛИМТУ). Публикуется в журнале впервые.

Я дал радио на ФКП: «Стою у борта „К-1...“. Принял на борт 11 человек тяжелобольных. Обеспечиваю „К-1...“ радиосвязью. Жду указаний. Командир „С-2...“». Приблизительно через час в мой адрес пришли радиограммы от Главкома ВМФ и от Командующего Северным флотом почти одного и того же содержания: «Что вы делаете у борта „К-1...“? Почему без разрешения покинули завесу? Ответите за самовольство».

Прошу Затеева составить шифровку о состоянии его лодки, чтобы передать ее моей рацией на ФКП. Часа через полтора после того, как шифровка пошла на берег, ФКП приказал подводным лодкам «С-1...» под командованием Григория Вассера и «С-2...» под командованием Геннадия Нефедова следовать к аварийной подводной лодке и помочь Свербилову снимать людей.

А мы продолжали стоять у борта. Больными в первом отсеке занимался доктор Юра Салиенко. Старпом Иван Свищ вместе с помощником Затеева Володей Ениным заводили швартовые концы с нашей кормы на их нос, чтобы попробовать буксировать подводную лодку. Но как только мы давали ход, обтянувшиеся концы рвались, как струны. Все попытки были тщетными — с буксировкой ничего не получилось.

Тогда я предложил Коле Затееву перебраться вместе с командой на нашу лодку, чтобы отойти от «К-1...» на полмили и ждать подхода Вассера и Нефедова. Он ответил, что не имеет приказа оставить корабль, а если я буду отходить сам — это морально убьет его людей.

И мы продолжали стоять. На аварийной лодке запустили дизель-генератор, и радиоактивный дым с брызгами повалил нам в лицо. Естественно, я попросил Затеева остановить машину. Тогда он вызвал меня на нос для совершенно секретных переговоров. Только тогда я узнал, что у него колоссальный тепловой режим в реакторе и он с минуты на минуту ждет... атомного взрыва. Оставалось радоваться, что мы в эпицентре и в случае чего не останемся калеками.

Никакие иностранные самолеты над нами не летали. Но на всякий случай мы с Затеевым разыграли и такой вариант: если появится американский военный корабль, то все перейдут к нам на лодку, а «К-1...» будем топить. Для этой цели была отдана команда командиру БЧ-3 нашей лодки Борису Антропову приготовить две боевые торпеды. К счастью, этот акт применить не пришлось. Ни самолетов, ни кораблей в период нашего стояния так и не появилось.

К трем часам утра следующих суток подошли подводные лодки Вассера и Нефедова. С ФКП поступила команда всему личному составу аварийной подводной лодки перейти к Свербилову и Вассеру, и Нефедову отойти на милю от «К-1...» и наблюдать за ней до подхода наших надводных кораблей. Коля Затеев ушел с корабля последним.

Принимая людей, мы их раздевали. Они шли по рулям голыми, неся в руках автоматы Калашникова, но Иван Свищ и Боря Антропов, раскрутив, выбрасывали это оружие за борт. Деньги, партийные и комсомольские билеты закладывали в герметичный кранец. На нашу лодку, помимо тех одиннадцати, перешло еще 68 человек. Среди них два дублера командира Владимир Першин и Василий Архипов. На нашу лодку также перетащили большие мешки с секретной документацией. Коля Затеев с остальными людьми перешел на лодку Гриши Вассера.

ФКП приказал мне и Вассеру полным ходом, кратчайшим путем, следовать на базу. В наш адрес все это время шли радиограммы различного содержания. Начсан флота рекомендовал кормить облученных фруктами, свежими овощами, соками и антибиотиками. А у нас к тому времени уже и картошка кончилась. Представитель особого ведомства интересовался, кто из экипажа аварийной подводной лодки может толково объяснить причину аварии. На этот запрос помощник Володя Енин предложил послать спрашивающего подальше, но я ответил, что имею на борту 79 человек, нуждающихся в медицинской помощи. Пришло радио, где сообщалось, что к исходу третьих суток пути будем высаживать людей на миноносцы, вышедшие нам навстречу.

Начала портиться погода. Поднялся шторм с большой волной, дождем и ветром. На третьи сутки мы обнаружили, что нас отслеживают локаторы. Поняли, что это миноносцы. Пошли к ним навстречу и вскоре обнаружили три эсминца. Шторм разгулялся, и нас с эсминцами по очереди взметало высоко в небо. Подойти было невозможно. Об этом я передал командиру отряда миноносцев по УКВ (он был на одном из них). Он ответил, что имеет категорическое приказание комфлота принять у меня людей, и предложил пройти близко от борта эсминца «Бывалый» и вместе с его командиром оценить обстановку. В это время на мостик вышел доктор Юра Салиенко и сказал: «Товарищ командир, они загибаются, я делаю все, что могу». И тогда я принял решение подходить. По УКВ передал, чтобы «Бывалый» лег на курс против волны, а другой миноносец прикрыл бы нас с носа, стоя к волне лагом. Так они и стали. Я подошел левым бортом к правому борту «Бывалого». Под прикрытием второго миноносца этот маневр удался.

На «Бывалом» верхняя команда была одета в химкомплекты и в противогазы. Командир «Бывалого» стоял на мостике тоже в противогазе. С миноносца подали нам швартовые концы и на крышу нашего ограждения рубки подали сходню. Предварительно людей с аварийной лодки мы собрали в нашем центральном посту и боевой рубке. На

миноносец успело перебежать 30 наиболее здоровых людей. Когда корабль, прикрывавший нас с носа, стал на нас наваливать, миноносец дал ход. Нас с «Бывалым» развернуло лагом к волне и начало бить друг о друга. Ни о какой дальнейшей высадке речи быть не могло. Нужно было срочно отходить. Но так как парусность у надводного корабля значительно больше, чем у подводной лодки, отбросить корму и отойти удалось с огромным трудом. При этом боковой киль миноносца распорол весь наш левый борт, и наша лодка получила большой статический крен на левый борт.

Все тяжелобольные остались у нас. На мостик вышел наш замечательный инженер-механик Толя Феоктистов и доложил, что остойчивости у нас осталось не более 7-8 % и для спрямления подводной лодки необходимо частично заполнить цистерны главного балласта правого борта и при постоянной работе компрессоров поддувать заполняющиеся на качке цистерны левого борта. Спрямив таким образом лодку, мы уже не полным ходом, а скоростью в шесть узлов под острым углом к волне стали продвигаться в сторону базы.

Матросы, старшины и офицеры нашей лодки делали все возможное, чтобы облегчить страдания больных. Мы отдали им все наши койки, одели в наше аварийное и водолазное белье, на камбузе горячую пищу готовили только для их экипажа. Доктор Салиенко не отходил от больных. Матросы-торпедисты в первом отсеке кормили лежачих с ложечки. В моей каюте разместились дублеры командира Володя Першин и Вася Архипов.

Прошло еще двое суток. Погода стала улучшаться, волна уменьшилась. Получили радио, что в районе Нордкапа будем высаживать людей на другие миноносцы. Подойдя к точке встречи, обнаружили два миноносца проекта «30-БИС». К этому моменту нас нагнала и лодка Гриши Вассера.

Чтобы не добить и окончательно не утопить свою поврежденную подводную лодку, я предложил командиру одного из миноносцев следовать в ближайший фиорд и там, на спокойной воде, принять у нас людей. Так мы и сделали. Вошли в узкий фиорд в районе Нордкина (название фиорда не помню). Глубины большие. Слева и справа на расстоянии 100—120 метров отвесные скалы, отражающие могучее эхо. Вопреки нашим разведсводкам, никаких постов наблюдения и ракетно-артиллерийских точек на побережье этого фиорда мы не обнаружили. На спокойной воде я ошвартовался к миноносцу и высадил 49 оставшихся человек. Вассер высаживал людей на другой миноносец на шлюпках.

После этого мы легли на курс к базе. Стали производить дезактивацию в отсеках. Мыли борта, переборки, приборы, настилы и т. п. При подходе к Кольскому заливу все посты без нашего запроса поднимали сигнал: «Командиру „ДОБРО" на вход». Мы дали сигнал на пост Кильдин: «Прошу обеспечить швартовку. Швартовых концов не имею».

Ошвартовались на базе у третьего пирса. Сойдя на пирс, я не знал, кому же доложить о прибытии — такое количество адмиралов и генералов на сравнительно небольшой площади пирса я видел впервые. Генералы были в основном медики. Наконец среди адмиралов я увидел начальника штаба Северного флота Анатолия Ивановича Рассохо. Ему и доложил о прибытии. Генерал-медик обратился ко мне с вопросом, есть ли у нас судовой врач, и если есть, то нельзя ли его пригласить на пирс. Вызвали доктора Салиенко. Юра, который так смело и самоотверженно вел себя в море, увидя большое медицинское светило, настолько растерялся, что отдал генералу честь левой рукой. Генерал взял руки доктора в свои и сказал: «Здравствуйте, коллега». Доктор наш покраснел и пошел с генералом в торец пирса беседовать на их профессиональные темы.

С лодки начали выгрузку мешков с секретной документацией. Я стоял рядом с начальником штаба флота и смотрел, как наши матросы складывают эти мешки на пирсе, а служба радиационной безопасности флота производит замеры уровней радиации. К Рассохо подошел флагманский секретчик флота и спросил, что делать с этой документацией. «А много на ней?» — спросил Рассохо. «Много»,— ответил тот. «Жечь немедленно!!!» — вмешался в разговор начальник медицинской службы флота генерал-майор м/с Ципичев.

Затем старпом построил команду нашей лодки на берегу. Я поблагодарил матросов, старшин и офицеров за службу. Они не совсем дружно ответили традиционное «Служим Советскому Союзу», и мы все пошли в баню на санобработку. Мылись долго и тщательно. В предбаннике стоял стол, за которым сидела девушка-регистратор, а рядом стояли старшина-химик с бета-гамма-радиометром и флагманский химик Северного флота капитан I ранга Кувардин.

Первым из мыльной вышел наш радиометрист старшина II статьи Боков. Подойдя к столу, замерили его уровень — 2700 по бета-частицам. «Сколько у него?» — спросил Кувардин. «2700»,— ответила девушка. Кувардин хлопнул Бокова по мокрому плечу и сказал: «Повезло тебе, парень! 3000 — норма». Когда у следующего оказалось 4200, Кувардин и его ободрил, сказав, что норма — 5000. У нас, у офицеров, стоявших на мостике, уровни по бета-частицам в районе щитовидной железы были от 8000 до 11 500.

Всю нашу одежду отобрали и выдали белую матросскую робу — своей одежды у нас не было. Для наших с Вассером экипажей подогнали плавбазу «Пинега». На ней матросов поместили в освобожденные специально для нас кубрики, а офицеров развели по каютам.

Друзья-офицеры с подводных лодок, стоящих на базе, пришли ко мне в каюту, принесли спирт, который на всех флотах Советского Союза моряки называют «шилом», видимо, потому, что шила в мешке не утаишь. Принесли еду-закуску, и мы выпили за здоровье тех, кого спасли, и за здоровье людей нашего экипажа. Алкоголь снял напряжение и усталость этих суток. Наши гости расспрашивали нас, как все происходило. Их интересовали подробности случившегося и как кто себя вел в этой экстремальной ситуации. А рассказать было что.

На фоне общей порядочности и, если хотите, смелости имел место быть (как пишут в суконноязычных официальных документах) и факт трусости. Коротко суть дела. Когда мы ошвартовались к борту «К-1...», то первым к нам на лодку перебежал вполне здоровый человек, а уж после перенесли на носилках трех тяжелобольных. Передавая мне бланк шифрограммы для передачи на ФКП о состоянии его лодки, Коля Затеев попросил после передачи отдать ему бланк как документ секретный и строгой отчетности. Ну и когда радиограмма была передана, я обратился к этому первым покинувшему лодку матросу, чтобы он передал бланк Затееву. И услышал ответ, что он не матрос, а офицер, что он является представителем одного из управлений штаба флота и обратно на аварийную лодку не пойдет. Тогда я приказал ему отправляться в первый отсек, где находились уже одиннадцать человек тяжелобольных. Он мне ответил, что туда он тоже не пойдет и доложит командованию флота о моем самоуправстве. Его неподчинение я расценил как бунт на военном корабле, о чем сообщил ему и всем присутствующим на мостике. После чего приказал старпому Ивану Свищу вынести пистолет на мостик и расстрелять бунтаря у кормового флага. Иван начал спускаться в центральный пост за пистолетом. Штабист понял, что с ним не шутят, и, изрыгая угрозы, пошел в первый отсек. В дальнейшем он первый перебежал на «Бывалый». Я не называю фамилию и имя этого человека только потому, что, как сказали Володя Енин и мой замполит Сергей Сафронов, он не струсил, а просто «дал моральную утечку». И еще я не называю его фамилии потому, что за этот поход он был награжден орденом. А ордена у нас зря не раздаются. Так нас учили.

Мы много говорили и пили в эту ночь. Потом под гитару пели смеляковскую «Если я заболею». Разошлись в четыре утра. Перед тем, как заснуть, я думал о том, что мы, то есть наш экипаж и я как его командир, сделали святое дело. Все подводные лодки, участвовавшие в учении, приняли радио Коли Затеева, но никто, кроме нас, к нему не пошел. Если бы не наша «С-2...», они бы все погибли, а их было более ста человек. Самой высокой наградой для меня и для всех нас было видеть глаза людей, уже почти отчаявшихся и вдруг обретших надежду на спасение. И если Бог есть, предположил я, мы будем в раю. С надеждой на это я заснул.

Проснулся оттого, что меня кто-то трясет за плечо. Будил меня флагманский связист одного из соединений подводных лодок Ким Батманов. «Мы, офицеры флота,— сказал он,— все за тебя, Жан, но на флот приехал Бутома — самый главный в советском судостроении. Все перед ним ходят на цыпочках, ведь он представитель ЦК. Так вот, он заявил, что промышленность поставляет флоту превосходную технику, а флот — дерьмо, не умеет ее эксплуатировать. Затеев — паникер, а ты, Жан,— пособник паники. Обвиняешься ты по трем пунктам. Первый — почему вышел без приказания из завесы. Второй — почему, подойдя к борту, не дал сигнал об аварии подводной лодки в соответствующей радиосети. Третий — почему, стоя у борта „К-1..." и принимая людей, не обеспечил радиологическую защиту своему экипажу».

Выслушав все эти пункты, я с великим трудом заставил свою похмельную голову прийти в рабочее состояние так, чтобы мысли шли справа по два, как у нормального военнослужащего. «По первому пункту,— сказал я,— мы вышли из завесы, так как я решил, что это радио с ФКП, то есть берег дублирует радио Затеева. По второму — сигнал об аварии должен был дать Затеев через мою радиостанцию, так как он потерпевший аварию. И по третьему — для всех резиновых химкомплектов и противогазов имеются какие-то нормы, сроки пребывания в них, исчисляемые в часах, а не в сутках. Пятисуточное пребывание в них нам здоровья бы не прибавило».

Батманов остался доволен моим объяснением, все записал и сказал, что гора свалилась с его плеч, поручение ему дали пренеприятнейшее, а он не привык подставлять товарищей.

К 14 часам мне приказали прибыть к командующему Северным флотом адмиралу Андрею Трофимовичу Чебаненко. В назначенное время, в белой матросской робе, я доложил комфлота: «Товарищ адмирал, командир „С-2..." капитан 3-го ранга Свербилов по вашему приказанию прибыл». Он спросил, почему я в таком виде. Я объяснил, что нашу форму отобрали на захоронение. Он тут же вызвал зам. комфлота по тылу вице-адмирала Поликарпова и отдал приказание сшить нашим офицерам новую форму. Затем я ему доложил обо всех своих действиях с момента получения радио об аварии. Командующий очень тепло, дружески разговаривал со мной. Тогда я не знал, сколько крови ему попортил Бутома, обвинявший во всем флот и выгораживавший промышленность.

Вечером на базе меня встретил Иван Свищ и сказал, что только я один не прошел примерку в ателье. Сняли мерку и с меня. На следующий день форма была готова.

Нашу лодку нужно было ставить в док для заделки рваного левого борта. Но представители противорадиационной службы завода отказались принимать такой заказ, поскольку в нашем первом отсеке рабочие могут находиться не более 20 минут в рабочую смену, во

втором — около часа, в центральном посту — 2 часа и т. д. При этом представители данной службы сообщили, что мыльно-щеточная дезактивация не поможет. Нужно вырубать экспанзит, снимать линолеум и вырубать все дерево (столы, диваны, ширмы) в отсеках. Этим наш экипаж и занимался все последующие шесть дней.

Мы навестили моряков с аварийной лодки, находившихся в местном госпитале. Всех очень тяжелых отправили в Ленинград. Замполит Сергей Сафронов наблюдал, как грузили в вертолет одиннадцать человек на носилках. Вертолет поднялся с матросского стадиона метра на три, хвостовым винтом задел плакат «МОРЕ ЛЮБИТ СИЛЬНЫХ» и рухнул на колеса. Первым через распахнутую дверь с матом выпрыгнул генерал-медик, а за ним уже вынесли лежачих ребят. Никто, к счастью, не пострадал. Пришлось воспользоваться дешевым морским путем, и на катере командующего больные были доставлены в Североморск, а затем самолетом в Ленинград.

Оставался в госпитале Володя Енин. У него мы с Сафроновым спросили, что делать с их партийными, комсомольскими билетами и деньгами, всем тем, что мы сохранили в герметичном кранце. Билеты он предложил сдать в политотдел соединения, а деньги отнести ребятам в госпиталь, потому как они покупательной способности не утратили.

Когда мы с Сергеем Сафроновым положили стопку партийных и комсомольских билетов на стол начальнику политотдела соединения капитану 1 ранга М. Репину, он посмотрел на них, как на неразорвавшуюся гранату. «Зачем вы их сюда принесли?» — спросил он. «А куда должны мы были их принести?» — спросили мы. Тогда он вызвал молоденькую вольнонаемную секретаршу и приказал запереть их в ее сейф. Дальнейшая судьба этих партбилетов мне неизвестна.

Команда ежедневно работала на лодке по многу часов. Нужно было стать в док. Начальник отдела кадров соединения подводных лодок Караушев, встретив меня на пирсе, сказал, что на наш экипаж подготовлены наградные документы. С его слов, меня представляли к званию Героя Советского Союза. Но пройдет месяц (лодка стояла уже в доке), и Глеб Караушев скажет, что наше награждение не состоится, так как Никита Сергеевич Хрущев, не разобравшись, на чьей лодке была авария, на моем представлении напишет: «За аварии мы не награждаем. Н. Хрущев».

К сожалению, из-за неразумной сверхсекретности на флотах не разобрали этот случай. Не довели до сведения моряков-подводников причину и следствие аварии. Не оценили действия всех участников катастрофы.

В медицинских книжках моряков наших трех экипажей не оставили ни единой отметки о полученных дозах радиации.

В конце июля 1961 года, находясь в отпуске в Зеленогорске, я случайно встретил похоронную процессию. Как мне сказали провожающие, хоронили моряка-подводника с Севера. Я спросил: «А от чего умер?» — «Током убило»,— ответили мне. «Как фамилия покойного?» — спросил я. «Рыжиков». Да, это тот самый главный старшина Борис Рыжиков, который в числе первых трех на носилках был перенесен в наш первый отсек.

Когда нас горький опыт чему-нибудь научит?

А между тем после этой аварии аварийная лодка получила печальную кличку «Хиросима». Впоследствии на «Хиросиме» были еще аварии, и также с гибелью людей. Но об этом пусть вспомнят и напишут очевидцы.

Вот на этом можно было бы и закончить мою скучную одиссею, если бы через 29 лет после случившегося в газете «Правда» от 1.06.90 г. не была бы опубликована статья В. Изгаршева «За четверть века до Чернобыля». Спасибо В. Изгаршеву за то, что предал гласности то, что было закрыто, и помянул добрым словом участников этой катастрофы. Но есть небольшие неточности в этой публикации. А именно: подошли к аварийной лодке первыми мы, а Вассера зовут не Лев, а Григорий. А в остальном спасибо.

По приглашению нынешнего командира «К-1...», моего товарища, я прилетел на базу, где с 12 по 14 июля 1990 г. отмечали 30-летие первого советского атомного ракетоносца. Съехались со всех концов страны члены первого экипажа этой лодки. Приехал и ее первый командир Николай Затеев. Приехал помощник Володя Енин. Ему дважды меняли костный мозг. Схватил он тогда много. Встречи были очень сердечные. Люди обнимались, плакали. Меня спрашивали: почему же ты все-таки без приказания вышел из завесы и пошел к нам, это ведь для тебя пахло трибуналом. А я объяснял, что это все от моей врожденной недисциплинированности.

И только теперь, по прошествии многих лет, я понял, почему нас так плохо приняло тогдашнее руководство судостроением: мы привезли не только больных — мы привезли вещественные доказательства несовершенства проекта, неотработанности узлов и отсутствия четкой методики эксплуатации новой атомной лодки.

Умерли от лучевой болезни в июле 1961 года: капитан-лейтенант Ю. Повстьев, лейтенант Б. Корчилов, глав. ста шина Б. Рыжиков, старшина 1 ст. Ю. Ордочкин, старшина 2 ст. Е. Кашенков, матрос С. Пеньков, матрос В. Харитонов, матрос Н. Савкин. В 1970 г. от последствий облучения умер командир БЧ-5 капитан 1 ранга А. Козырев. ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!

А остальные-то все живы!

Новые переводы

Курт Воннегут

МАТЬ ТЬМА

Роман

Глава двадцать вторая

СОДЕРЖИМОЕ СТАРОГО ЧЕМОДАНА...

— Послушай,— сказал я моей Хельге в Гринвич Вилледж после того, как рассказал ей то немногое, что знал о ее матери, отце и сестре,— эта мансарда не может быть любовным гнездышком даже и на одну ночь. Мы возьмем такси. Поедем в какую-нибудь гостиницу. А завтра мы выкинем все это барахло и купим все совершенно новое. А потом поищем действительно приятное место для жилья.

— Я очень счастлива и тут,— сказала она.

— Завтра,— сказал я,— мы найдем кровать, такую же, как наша старая — две мили в длину и три в ширину и с изголовьем, прекрасным, как закат солнца в Италии. Помнишь? О, боже, помнишь?

— Да,— сказала она.

— Сегодняшняя ночь в гостинице, а завтрашняя в такой постели.

— Мы едем сию минуту?

— Как скажешь.

— Можно я сначала покажу тебе мои подарки?

— Подарки?

— Подарки для тебя.

— Ты — мой подарок. Что мне еще надо?

— Это тебе, наверное, тоже надо,— сказала она, открывая замки чемодана.— Надеюсь, надо.— Она раскрыла чемодан. Он был набит рукописями. Ее подарком было собрание моих сочинений, моих серьезных сочинений, почти каждое искреннее слово, когда-либо написанное мною, прежним Говардом У. Кемпбэллом-младшим. Здесь были стихи, рассказы, пьесы, письма, одна неопубликованная книга — собрание сочинений жизнерадостного, свободного, молодого, очень молодого человека.

— Какое у меня странное чувство,— сказал я.

— Мне не надо было это привозить?

— Сам не знаю. Эти листы бумаги когда-то были мною.— Я взял рукопись книги — причудливый эксперимент под названием «Мемуары моногамного Казановы».— Это надо было сжечь,— сказал я.

— Я скорее сожгла бы свою правую руку.

Я отложил книгу, взял связку стихов.

— Что мог сказать о жизни этот юный незнакомец? — сказал я и прочел вслух стихи, немецкие стихи:

Kühl und hell der Sonnenaufgang,
leis und süss der Glocke Klang.
Ein Mägdlein hold, Krug in der Hand,
sitzt an des Brunnens Rand.

А в переводе? Примерно так:

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 2.

Свежий ясный восход,
Колокол сладко звенит.
Юная дева с кувшином
В глубокий колодец глядит.

Я прочитал это стихотворение вслух, затем еще одно. Я был и остался очень плохим поэтом. Я привожу эти стихи не для того, чтобы мной восхищались. Второе стихотворение, которое я прочел, было, я думаю, предпоследнее из написанных мною. Оно датировалось 1937 годом и называлось:

«Gedanken über unseren Abstand vom Zeitgeschehen», или, в переводе, «Размышления о неучастии в текущих событиях».

Оно звучало так:

Eine mächtige Dampfwalze naht
und schwärzt der Sonne Pfad,
rollt über geduckte Menschen dahin,
will keiner ihr entfliehn.
Mein Lieb und ich schaun starren Blickes
das Rätsel dieses Blutgeschickes.
«Kommt mit herab», die Menschheit schreit,
«Die Walze ist die Geschichte der Zeit!»
Mein Lieb und ich geht auf die Flucht,
wo keine Dampfwalze uns sucht,
und leben auf den Bergeshöhen,
getrennt vom schwarzen Zeitgeschehen.
Sollen wir bleiben mit den andern zu sterben?
Doch nein, wir zwei wollen nicht verderben!
Nun ist's vorbei! — Wir sehn mit Erbleichen
die Opfer der Walze, verfaulte Leichen.

В переводе:

Мчит огромный паровой каток,
Закрывая солнца свет.
Все кидаются наземь, наземь,
Считая — спасенья нет.
Мы глядим потрясенно, я и любимая,
На кровавую эту мистерию.
«Наземь!» — все вокруг кричат.—
«Эта машина — история!»
Но мы убегаем в горы, прочь,
Я и любимая.
Нас катку не догнать,
Позади осталась история!
Мы не хотим умереть, как все.
Вернуться вниз, назад.
Нам сверху видно, что за катком
Смердящие трупы лежат.

— Каким образом все это оказалось у тебя? — спросил я у Хельги.

— Когда я приехала в Западный Берлин,— сказала она,— я пошла в театр узнать, сохранился ли он, остался ли кто-нибудь из знакомых и есть ли у кого-нибудь сведения о тебе.— Ей не надо было объяснять мне, какой театр она имела в виду. Она имела в виду маленький театр в Берлине, где шли мои пьесы и где Хельга часто играла ведущие роли.

— Я знаю, он просуществовал почти до конца войны,— сказал я.— Он еще существует?

— Да,— сказала она.— И когда я спросила о тебе, никто ничего не знал. А когда я рассказала им, кем ты когда-то был для этого театра, кто-то вспомнил, что на чердаке валяется чемодан, на котором написана твоя фамилия.

Я погладил рукописи.

— И в нем было это,— сказал я. Теперь я вспомнил чемодан, вспомнил, как я закрыл его в начале войны, вспомнил, как подумал тогда, что чемодан это гроб, где похоронен молодой человек, которым я никогда больше не буду.

— У тебя есть копии этих вещей? — спросила она.

— Совершенно ничего,— сказал я.

— Ты больше не пишешь?

— Не было ничего, что я хотел бы сказать.

— После всего, что ты видел и пережил, дорогой?

— Именно из-за всего, что я видел и пережил, я и не могу сейчас ничего сказать. Я разучился быть понятным. Я обращаюсь к цивилизованному миру на тарабарском языке, и он отвечает мне тем же.

— Здесь было еще одно стихотворение, наверное, последнее, оно было написано карандашом для бровей на внутренней стороне крышки чемодана,— сказала она.

— Неужели? — сказал я.

Она продекламировала его мне:

Hier liegt Howard Campbells Geist geborgen,
frei von des Körpers quälenden Sorgen.
Sein leerer Leib durchstreift die Welt,
und kargen Lohn dafür erhält.
Triffst du die beiden getrennt allerwärts,
verbrenn den Leib, doch schone dies, sein Herz.

В переводе:

Вот сущность Говарда Кемпбэлла бедного,
Отделенная от тела его бренного.
Тело пустое по белому свету шныряет,
Что ему нужно для жизни, себе выбирает.
И раз уж у сущности с телом так разошелся путь,
Тело его сожгите, но пощадите суть.

Раздался стук в дверь.

Это Джордж Крафт стучал ко мне в дверь, и я его впустил.

Он был очень взбудоражен, потому что исчезла его кукурузная трубка. Я впервые видел его без трубки, впервые он продемонстрировал, как необходима трубка для его спокойствия. Он был так расстроен, что чуть не плакал.

— Кто-то взял ее или куда-то засунул. Не понимаю, кому она понадобилась,— скулил он. Он ожидал, что мы с Хельгой разделим его горе, видно, он считал исчезновение трубки главным событием дня.

Он был безутешен.

— Почему кто-то вообще трогал трубку? — сказал он.— Кому это было надо?

Он разводил руками, часто мигал, сопел, вел себя как наркоман с синдромом обстиненции, хотя никогда ничего не курил.

— Скажите мне,— повторял он,— почему кто-то взял мою трубку?

— Не знаю, Джордж,— сказал я раздраженно.— Если мы ее найдем, дадим тебе знать.

— Можно я поищу ее сам?

— Давай.

И он перевернул все вверх дном, гремя кастрюлями и сковородками, хлопая дверьми буфета, с лязгом шуруя кочергой под батареями.

Что сделал этот спектакль для нас с Хельгой, так это сблизил нас, привел нас к таким близким отношениям, к которым мы пришли бы еще не скоро.

Мы стояли бок о бок, возмущенные вторжением в наше государство двоих.

— Это ведь не очень ценная трубка? — спросил я.

— Очень ценная — для меня,— сказал он.

— Купи другую.

— Я хочу эту, я к ней привык. Я хочу именно эту.— Он открыл хлебницу, заглянул туда.

— Может, ее взяли санитары? — предположил я.

— Зачем она им? — сказал он.

— Может, они подумали, что она принадлежит умершему. Может, они сунули ее ему в карман? — сказал я.

— Вот именно! — заорал Крафт и выскочил в дверь.

Глава двадцать третья

ГЛАВА ШЕСТЬСОТ СОРОК ТРИ...

Как я уже говорил, в чемодане Хельги среди прочего была моя книга. Это была рукопись. Я никогда не собирался ее публиковать. Я считал, что ее может напечатать разве только издатель порнографии.

Она называлась «Мемуары моногамного Казановы». В ней я рассказывал, как обладал сотнями женщин, которыми для меня была моя жена, моя единственная Хельга. В этом было что-то патологическое, болезненное, можно сказать, безумное. Это был дневник, запись день за днем нашей эротической жизни первых двух военных лет — и ничего больше. Там не было даже никаких указаний ни на век, ни на континент.

Там были только мужчина и только женщина в самых разных настроениях. Обстановка обрисовывалась весьма приблизительно и то лишь в самом начале, а затем и вовсе исчезла.

Хельга знала, что я веду этот странный дневник. Это был один из многих способов поддерживать на накале наш секс. Книга была не только описанием эксперимента, но

и частью самого эксперимента — неловкого эксперимента мужчины и женщины, безумно привязанных друг к другу сексуально.

И более того.

Являвшихся друг для друга целиком и полностью смыслом существования, достаточным, даже если бы не было никакой другой радости.

Эпиграф к книге, я думаю, попадал прямо в точку.

Это стихотворение Вильяма Блейка «Ответ на вопрос»:

Что в женщине мужчина ищет?
Лишь утоленное желанье.
В мужчине женщина что ищет?
Лишь утоленное желанье.

Здесь уместно добавить последнюю главу к «Мемуарам», главу 643, где описывается ночь, которую я провел с Хельгой в нью-йоркском отеле после того, как прожил столько лет без нее.

Я оставляю на усмотрение деликатного и искушенного издателя заменить невинными многоточиями все то, что может шокировать читателя.

Мемуары моногамного Казановы, глава 643

Мы были в разлуке шестнадцать лет. Вожделение мое этой ночью началось с кончиков пальцев. Постепенно оно охватило... другие части моего тела, и они были удовлетворены вечным способом, удовлетворены полностью, с... клиническим совершенством. Ни одна клеточка моего тела и, я уверен, моей жены тоже не осталась неудовлетворенной, не могла пожаловаться ни на досадную поспешность, ни на тщетность усилий, ни на... непрочность постройки. И все же наибольшего совершенства достигли кончики моих пальцев...

Это вовсе не означает, что я оказался стариком, не способным дать женщине ничего, кроме радостей... любовной прелюдии. Напротив, я был не менее... проворным любовником, чем семнадцатилетний... юноша со своей... девушкой.

И так же полон жажды познавать.

И эта жажда жила в моих пальцах.

Дерзкие, изобретательные, умные, эти... труженики, эти... стратеги, эти... разведчики, эти... меткие стрелки исследовали свою территорию.

И все, что они находили, было прекрасно...

Этой ночью моя жена была... рабыней в постели... императора, она, казалось, ничего не слышала и даже не могла произнести ни слова на моем языке. И тем не менее, как выразительна она была, все говорили ее глаза, ее... дыхание, она не могла, не хотела сдерживать их...

И как до каждой жилки было знакомо и просто то, что говорило ее... тело... Это был рассказ ветра о ветре, розового куста о розе...

После нежных умных благодарных моих пальцев вступили другие инструменты наслаждения, полные нетерпения, лишенные памяти и условностей. Их моя рабыня принимала с жадностью... пока Мать-Природа, повелевавшая нашими самыми непомерными желаниями, уже не могла требовать большего. Мать-Природа сама возвестила конец игры... Мы откатились друг от друга...

Мы заговорили членораздельно впервые после того, как легли.

— Привет,— сказала она.

— Привет,— сказал я.

— Добро пожаловать домой,— сказала она.

Конец главы 643.

На следующее утро небо было чистое, высокое, ясное, словно волшебный купол, хрупкий и звенящий, словно огромный стеклянный колокол.

Мы с Хельгой бойко вышли из отеля. Я был неистощим в своей учтивости, а моя Хельга была не менее великолепна в своем внимании и благодарности. Мы провели фантастическую ночь.

Я был одет не в свои военные излишки. Я был в том, что надел, когда удрал из Берлина и сорвал с себя форму Свободного Американского Корпуса. На мне было пальто с меховым воротником, как у импресарио, и синий шерстяной костюм — то, в чем меня схватили.

Причуды ради я был с тростью. Я делал потрясающие штуки с этой тростью: демонстрировал затейливые ружейные приемы, вращал ее, как Чаплин, играл ею, как в поло, объедками в водосточных канавах.

И все это время маленькая ручка моей Хельги скользила в бесконечном эротическом исследовании чувственной зоны между локтем и тугим бицепсом моей левой руки.

Мы шли покупать кровать, такую, как была у нас в Берлине.

Но все магазины были закрыты. День не был воскресеньем и, как мне казалось, не был

праздником. Когда мы дошли до Пятой авеню, там, насколько видел глаз, развевались американские флаги.

— Великий Боже! — воскликнул я в изумлении.

— Что это значит? — спросила Хельга.

— Может, ночью объявили войну? — сказал я.

Она судорожно сжала пальцами мою руку.

— Ты ведь так не думаешь, правда? — сказала она. Она думала, что это возможно.

— Я шучу,— сказал я.— Наверное, какой-то праздник.

— Какой праздник? — спросила она.

Я был в недоумении.

— Как твой хозяин в этой чудесной стране и должен был бы объяснить тебе глубокое значение этого великого дня в нашей национальной жизни, но мне ничего не приходит в голову.

— Ничего?

Я так же озадачен, как и ты. Или как принц Камбоджи.

Одетый в форму негр подметал тротуар перед жилым домом. Его синяя с золотом форма поражала удивительным сходством с формой Свободного Американского Корпуса вплоть до последнего штриха — бледно-лавандовых полос вдоль штанин. Название дома было вышито на нагрудном кармане. «Лесной дом» называлось это место, хотя единственным деревом поблизости был саженец, подвязанный и закрепленный железными оттяжками.

Я спросил негра, какой сегодня праздник.

Он сказал, что День ветеранов.

— Какое сегодня число? — спросил я.

— Одиннадцатое ноября, сэр,— ответил он.

— Одиннадцатое ноября — День перемирия, а не День ветеранов.

— Вы что, с луны свалились? Это изменено уже много лет назад.

— День ветеранов,— сказал я Хельге, когда мы пошли дальше.— Прежде это был День перемирия. Теперь День ветеранов.

Это тебя расстроило? — спросила она.

— Это такая чертова дешевка, так чертовски типично для Америки,— сказал я.— Раньше это был день памяти жертв первой мировой войны, но живые не смогли удержаться, чтобы не заграбастать его, желая приписать себе славу погибших. Так типично, так типично. Как только в этой стране появляется что-то достойное, его рвут в клочья и бросают толпе.

— Ты ненавидишь Америку, да?

— Это так же глупо, как и любить ее,— сказал я.— Я не могу испытывать к ней никаких чувств, потому что недвижимость меня не интересует. Без сомнения, это мой большой минус, но я не могу мыслить в рамках государственных границ. Эти воображаемые линии так же не реальны для меня, как эльфы и гномы. Я не могу представить себе, что эти границы определяют начало или конец чего-то действительно важного для человеческой души. Пороки и добродетели, радость и боль пересекают границы, как им заблагорассудится.

— Ты так изменился,— сказала она.

— Мировые войны меняют людей, иначе для чего же они? — сказал я.

— Может быть, ты так изменился, что больше меня не любишь? — сказала она.— Может быть, и я так изменилась...

— Как ты можешь это говорить после нашей ночи?

— Мы ведь еще ни о чем не поговорили,— сказала она.

— О чем говорить? Что бы ты ни сказал, это не заставит меня любить тебя больше или меньше. Наша любовь слишком глубока, слова ничего не значат для нее. Это любовь душ.

Она вздохнула.

— Как это прекрасно, если это правда.— Она сблизила ладони, но так, что они не касались друг друга.— Это наши любящие души.

— Любовь, которая может вынести все,— сказал я.

— Твоя душа чувствует сейчас любовь к моей душе?

— Безусловно,— сказал я.

— Ты не заблуждаешься? Ты не ошибаешься в своих чувствах?

— Ни в коем случае.

— И что бы я ни сказала, не сможет разрушить твою любовь?

— Ничто,— сказал я.

— Прекрасно. Я должна тебе сказать что-то, что боялась сказать раньше. Теперь я не боюсь.

— Говори,— сказал я с легкостью.

— Я не Хельга,— сказала она.— Я ее младшая сестра Рези.

Глава двадцать четвертая

ПОЛИГАМНЫЙ КАЗАНОВА...

Когда она огорошила меня этой новостью, я повел ее в ближайшее кафе, где мы могли посидеть. В кафе были высокие потолки, беспощадный свет и адский шум.

— Почему ты так поступила? — спросил я.
— Потому что я люблю тебя,— сказала она.
— Как ты можешь любить меня?
— Я всегда любила тебя, с самого детства,— сказала она.

Я обхватил голову руками.

— Это ужасно.
— Я... я думала, что это прекрасно.
— Что же дальше? — сказал я.
— Разве это не может продолжаться?
— О, господи, как все запутано,— сказал я.
— Выходит, я нашла слова, способные убить любовь,— сказала она,— любовь, которую убить невозможно?
— Не знаю,— сказал я. Я покачал головой.— Какое странное преступление я совершил.
— Это я совершила преступление,— сказала она.— Я, должно быть, сошла с ума. Когда я сбежала в Западный Берлин и там мне велели заполнить анкету, где спрашивалось, кто я, чем занималась, кто мои знакомые...
— Эта длинная, длинная история, которую ты уже рассказывала,— сказал я,— о России, о Дрездене — есть в ней хоть доля правды?
— Сигаретная фабрика в Дрездене — правда,— сказала она.— Мой побег в Берлин — правда. И больше почти ничего. Вот сигаретная фабрика — чистая правда — десять часов в день, шесть дней в неделю, десять лет.
— Прости,— сказал я.
— Ты меня прости. Жизнь была слишком тяжела для меня, чтобы испытывать чувство вины. Муки совести для меня слишком большая роскошь, недоступная, как норковое манто. Мечты — вот что давало мне силы день за днем крутиться в этой машине, а я не имела на них права.
— Почему?
— Я все время мечтала быть не тем, кем я была.
— В этом нет ничего страшного,— сказал я.
— Есть,— сказала она.— Посмотри на себя. Посмотри на меня. Посмотри на нашу любовь. Я мечтала быть моей сестрой Хельгой. Хельга, Хельга, Хельга — вот кем я была. Прелестная актриса, жена красавца-драматурга — вот кем я была. А Рези — работница сигаретной фабрики,— она просто исчезла.
— Ты могла бы выбрать что-нибудь попроще,— сказал я.

Теперь она осмелела.

— А я и есть Хельга. Вот я кто! Хельга, Хельга, Хельга. Ты поверил в это. Что может быть лучшим доказательством? Ты ведь принял меня за Хельгу?
— Ну и вопрос, черт возьми, ты задаешь джентльмену,— сказал я.
— Имею я право на ответ?
— Ты имеешь право на ответ «да». Справедливость требует ответить «да», но я должен сказать, что и я оказался не на высоте. Мой разум, мои чувства, моя интуиция оказались не на высоте.
— Или, наоборот, на высоте,— сказала она,— и ты вовсе не был обманут.
— Скажи, что ты знаешь о Хельге? — спросил я.
— Она умерла.
— Ты уверена?
— А разве нет?
— Я не знаю.
— Я не слышала о ней ни слова,— сказала она.— А ты?
— Я тоже.
— Живые подают голос, верно? — сказала она.— Особенно если они кого-нибудь любят так сильно, как Хельга тебя.
— Наверное, ты права.
— Я люблю тебя не меньше, чем Хельга,— сказала она.
— Спасибо.
— И ты обо мне слышал,— сказала она.— Это было не легко, но ты слышал.
— Действительно,— сказал я.
— Когда я попала в Западный Берлин и мне велели заполнить анкету — имя, занятие, ближайшие живые родственники,— я сделала выбор. Я могла быть Рези Нот, работницей сигаретной фабрики, совсем без родственников. Или Хельгой Нот, актрисой, женой красивого обаятельного блестящего драматурга в США.— Она наклонилась вперед.— Скажи, что я должна была выбрать?

Прости меня, Боже, я снова принял Рези как мою Хельгу.

Получив это второе признание, она понемногу начала показывать, что ее сходство с Хельгой не столь уж полное. Она почувствовала, что может мало-помалу приучать меня к себе самой, к тому, что она отличается от Хельги.

Это постепенное раскрытие, отлучение от памяти Хельги началось, как только мы вышли из кафе. Она задала несколько покоробивший меня практический вопрос:

— Ты хочешь, чтобы я продолжала обесцвечивать волосы, или можно вернуть им настоящий цвет?
— А какие они на самом деле?
— Цвета меда.
— Прелестный цвет волос,— сказал я.— Хельгин цвет.
— Мои с рыжеватым оттенком.
— Интересно посмотреть.

Мы шли по Пятой авеню, и немного позже она спросила:

— Ты напишешь когда-нибудь пьесу для меня?
— Не знаю, смогу ли я еще писать.
— Разве Хельга не вдохновляла тебя?
— Вдохновляла, и не просто писать, а писать так, как я писал.
— Ты писал пьесы так, чтобы она могла в них играть.
— Верно,— сказал я.— Я писал для Хельги роли, в которых она играла квинтэссенцию Хельги.
— Я хочу, чтобы ты когда-нибудь сделал то же самое для меня,— сказала она.
— Может быть, я попытаюсь.
— Квинтэссенцию Рези, Рези Нот.

Мы смотрели на парад Дня ветеранов на Пятой авеню, и я впервые услышал смех Рези. Он не имел ничего общего с тихим, шелестящим смехом Хельги. Смех Рези был радостным, мелодичным. Что ее особенно насмешило, так это барабанщицы, которые задирали высоко ноги, вихляли задами, жонглировали хромированными жезлами, напоминавшими фаллос.

— Я никогда ничего подобного не видела,— сказала она мне.— Для американцев война, должно быть, очень сексуальна.— Она захохотала и выпятила грудь, как будто хотела посмотреть, не получится ли из нее тоже хорошая барабанщица?

С каждой минутой она становилась все моложе, веселее, раскованнее. Ее снежно-белые волосы, которые ассоциировались сначала с преждевременной старостью, теперь напоминали о перекиси и девочках, удирающих в Голливуд.

Отвернувшись от парада, мы увидели витрину, где красовалась огромная позолоченная кровать, очень похожая на ту, которая когда-то была у нас с Хельгой.

В витрине была видна не только эта вагнерианская кровать, в ней как призраки отражались я и Рези с парадом призраков на заднем плане. Эти бледные духи и такая реальная кровать составляли волнующую композицию. Она казалась аллегорией в викторианском стиле, великолепной картиной для какого-нибудь бара, с проплывающими знаменами, золоченой кроватью и двумя призраками, мужского и женского пола.

Что означала эта аллегория, я не могу сказать. Но могу предположить несколько вариантов. Мужской призрак выглядел ужасно старым, истощенным, побитым молью. Женский выглядел так молодо, что годился ему в дочери, был гладкий, задорный, полный огня.

Глава двадцать пятая

ОТВЕТ КОММУНИЗМУ...

Мы с Рези брели обратно в мою крысиную мансарду, рассматривая в витринах мебель, выпивая здесь и там. В одном из баров Рези пошла в дамскую комнату, оставив меня одного. Один из посетителей заговорил со мной.

— Вы знаете, чем отвечать коммунизму? — спросил он.
— Нет,— сказал я.
— Моральным перевооружением.
— Что это, черт возьми? — сказал я.
— Это движение.
— В каком направлении?
— Движение Морального Перевооружения предполагает абсолютную честность, абсолютную чистоту, абсолютное бескорыстие и абсолютную любовь.
— Я искренне желаю им всем всех благ,— сказал я.

В другом баре мы встретили человека, который утверждал, что может удовлетворить, полностью удовлетворить за ночь семь совершенно разных женщин.

— Я имею в виду действительно разных,— сказал он.

О Боже, что за жизнь люди пытаются вести.

О Боже, куда это их заведет!

Глава двадцать шестая

В КОТОРОЙ УВЕКОВЕЧЕНЫ РЯДОВОЙ ИРВИНГ БУКАНОН И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ...

Мы с Рези подошли к дому только после ужина, когда стемнело. Мы решили провести вторую ночь в отеле. Мы вернулись домой, потому что Рези хотелось помечтать о том, как мы преобразуем мансарду, поиграть в свой дом.

— Наконец у меня есть дом,— сказала она.

— Нужна куча средств, чтобы превратить это жилье в дом,— сказал я. Я увидел, что мой почтовый ящик снова полон. Я не стал вынимать почту.

— Кто это сделал? — сказала Рези.

— Что?

— Это,— сказала она, указывая на табличку с моей фамилией на почтовом ящике. Кто-то под моей фамилией нарисовал синими чернилами свастику.

— Это что-то новенькое,— сказал я беспокойно.— Может быть, нам лучше не подниматься. Может быть, тот, кто сделал это, там, наверху.

— Не понимаю,— сказала она.

— Ты приехала ко мне в неудачное время. У меня была уютная маленькая нора, которая бы нас так устроила.

— Нора?

— Дырка в земле, секретная и уютная. Но боже мой,— сказал я в отчаянии,— как раз перед твоим появлением некто обнаружил мою нору.— Я рассказал ей, как возродилась моя дурная слава.— Теперь хищники, вынюхавшие недавно вскрытую нору, окружают ее.

— Уезжай в другую страну,— сказала она.

— В какую другую?

— В любую, какая тебе нравится,— сказала она.— У тебя есть деньги, чтобы поехать, куда ты захочешь.

— Куда захочу,— повторил я.

И тут вошел лысый небритый толстяк с хозяйственной сумкой. Он оттолкнул плечом меня и Рези от почтового ящика, извинившись с неизвинительной грубостью.

— Звиняюсь,— сказал он. Он читал фамилии на почтовых ящиках, как первоклассник, водя пальцем по каждой, долго-долго изучая каждую фамилию.

— Кемпбэлл! — сказал он в конце концов с явным удовлетворением.— Говард У. Кемпбэлл.— Он повернулся ко мне обвиняюще.— Вы его знаете?

— Нет,— сказал я.

— Нет,— повторил он, излучая злорадство.— Вы очень на него похожи.— Он вытащил из хозяйственной сумки *Дейли ньюс*, раскрыл и сунул Рези.— Не правда ли, похоже на джентльмена, который с вами?

— Дайте посмотреть,— сказал я. Я взял газету из ослабевших пальцев Рези и увидел ту данную фотографию, где я с лейтенантом О'Хара стою перед виселицами в Ордруфе.

В заметке под фотографией говорилось, что правительство Израиля после пятнадцатилетних поисков определило мое местонахождение.

Это правительство сейчас требует, чтобы Соединенные Штаты выдали меня Израилю для суда. В чем они хотят меня обвинить? Соучастие в убийстве шести миллионов евреев.

Человек ударил меня прямо через газету, прежде чем я успел что-нибудь сказать.

Я упал, ударившись головой о мусорный ящик.

Человек стоял надо мной.

— Прежде чем евреи посадят тебя в клетку в зоопарке, или что еще они там захотят с тобой сделать,— сказал он,— я хочу сам с тобой немножечко поиграть.

Я тряс головой, пытаясь очухаться.

— Прочувствовал этот удар? — сказал он.

— Да.

— Это за рядового Ирвинга Буканона.

— Это вы?

— Буканон мертв,— сказал он.— Он был моим лучшим другом. В пяти милях от Омаха Бич. Немцы оторвали у него яйца и повесили его на телефонном столбе.

Он ударил меня ногой по ребрам, удерживая Рези рукой: «Это за Анзела Бруэра, раздавленного танком „Тигр" в Аахене».

Он ударил меня снова: «Это за Эдди Маккарти, он был разорван на части снарядом в Арденнах. Эдди собирался стать доктором».

Он отвел назад свою огромную ногу, чтобы ударить меня по голове. «А это за...» — сказал он, и это было последнее, что я услышал. Удар был за кого-то, тоже убитого на войне. Я был избит до бесчувствия.

Потом Рези рассказала мне, что за подарок был для меня в его сумке и что он сказал напоследок.

«Я — единственный, кто не забыл эту войну,— сказал он мне, хотя я не мог его услышать.— Другие, как я понимаю, забыли, но только не я. Я принес тебе это, чтобы ты избавил других от забот».

И он ушел.

Рези сунула веревочную петлю в мусорный ящик, где на следующее утро ее нашел мусорщик по имени Ласло Сомбати. Сомбати и в самом деле повесился на ней, но это уже другая история.

А теперь о моей истории.

Я пришел в себя на ломаной тахте в захламленной, жарко натопленной комнате, увешанной заплесневелыми фашистскими знаменами. Там был картонный камин, грошовый символ счастливого Рождества. В нем были картонные березовые поленья, красный электрический свет и целлофановые языки вечного огня.

Над камином висела цветная литография Адольфа Гитлера. Она была обрамлена черным шелком.

Я был раздет до своего оливкового нижнего белья и укрыт покрывалом под леопардовую шкуру. Я застонал, сел, и огненные ракеты впились мне в голову. Я посмотрел на леопардовую шкуру и что-то промычал.

— Что ты сказал, дорогой? — спросила Рези. Она сидела совсем рядом с тахтой, но я не заметил ее, пока она не заговорила.

— Не говори мне,— сказал я, заворачиваясь плотнее в леопардовую шкуру,— что я снова с готтентотами.

Глава двадцать седьмая

СПАСИТЕЛИ — ХРАНИТЕЛИ...

Мои консультанты здесь, в тюрьме,— живые энергичные молодые люди — снабдили меня фотокопией статьи из нью-йоркской *Таймс*, рассказывающей о смерти Ласло Сомбати, который повесился на веревке, предназначенной мне.

Значит, мне это не приснилось.

Сомбати отмочил эту шутку на следующую ночь после того, как меня избили.

Согласно *Таймс*, он приехал в Америку из Венгрии, где в рядах Борцов за Свободу боролся против русских. *Таймс* сообщала, что он был братоубийцей, то есть убил своего брата Миклоша, помощника министра образования Венгрии.

Перед тем как уснуть навсегда, Сомбати написал записку и приколол ее к штанине. В записке не было ни слова о том, что он убил своего брата.

Он жаловался, что был уважаемым ветеринаром в Венгрии, а в Америке ему не разрешили практиковать. Он с горечью высказывался о свободе в Америке. Он считает, что она иллюзорна.

В финальном фанданго паранойи и мазохизма Сомбати закончил записку намеком, будто он знает, как лечить рак. Американские врачи, писал он, смеялись над ним, когда он пытался им об этом рассказать.

Ну, хватит о Сомбати.

Что касается комнаты, где я очнулся после того, как меня избили: это был подвал, оборудованный для Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции покойным Августом Крапптауэром, подвал доктора Лайонеля Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б. Где-то выше работала печатная машина, выпускавшая листовки *Белого Христианского Минитмена.*

Из какой-то другой комнаты в подвале, которая частично поглощала звук, доносился идиотски-монотонный треск учебной стрельбы.

После моего избиения первую помощь оказал мне молодой доктор Абрахам Эпштейн, который констатировал смерть Крапптауэра. Из квартиры Эпштейнов Рези позвонила доктору Джонсу и попросила совета и помощи.

— Почему Джонсу? — спросил я.

— Он единственный человек в этой стране, которому я могу доверять,— сказала она.— Он единственный человек, который, я уверена, на твоей стороне.

— Чего стоит жизнь без друзей? — сказал я.

Я ничего не мог вспомнить, но Рези рассказала мне, что я пришел в себя в квартире Эпштейнов. Джонс посадил нас с Рези в свой лимузин, привез в больницу, где мне сделали рентген. Три ребра были сломаны, и меня забинтовали. Потом меня перевезли в подвал Джонса и уложили в постель.

— Почему сюда? — спросил я.

— Ты здесь в большей безопасности.

— От кого?

— От евреев.

Появился Черный Фюрер Гарлема, шофер Джонса, с подносом, на котором были яичница, тосты и горячий кофе. Он поставил поднос на столик возле меня.

— Болит голова? — спросил он.

— Да.

— Примите аспирин.

— Спасибо за совет.

— Мало что на этом свете действует, а вот аспирин действует,— сказал он.

— Республика — республика Израиль — хочет заполучить меня,— сказал я Рези с оттенком неуверенности,— чтобы... чтобы судить за... что там говорится в газете?

— Доктор Джонс говорит, что американское правительство тебя не выдаст,— сказала Рези,— но евреи могут послать людей и выкрасть тебя, как они сделали с Адольфом Эйхманом.

— Такой ничтожный арестант,— пробормотал я.

— Дело не в том, что какие-то евреи будут просто гоняться за вами туда-сюда,— сказал Черный Фюрер.

— Что?

— Я хочу сказать, что у них теперь есть своя страна. Я имею в виду, что у них есть еврейские военные корабли, еврейские самолеты, еврейские танки. У них есть все еврейское, чтобы захватить вас, кроме еврейской водородной бомбы.

— Боже, кто это стреляет? — спросил я.— Нельзя ли прекратить, пока моей голове не станет легче?

— Это твой друг,— сказала Рези.

— Доктор Джонс?

— Джорж Крафт.

— Крафт? Что он здесь делает?

— Он отправляется с нами.

— Куда?

— Все решено,— сказала Рези.— Все считают, дорогой, что лучше всего для нас убраться из этой страны. Доктор Джонс все устроил.

— Что устроил?

— У него есть друг с самолетом. Как только тебе станет лучше, дорогой, мы сядем в самолет, улетим в какое-нибудь прекрасное место, где тебя не знают, и начнем новую жизнь.

Глава двадцать восьмая

МИШЕНЬ...

И я отправился повидать Крафта здесь, в подвале Джонса. Я нашел его в начале длинного коридора, дальний конец которого был забит мешками с песком. К мешкам была прикреплена мишень в виде человека.

Мишень была карикатурой на курящего сигару еврея. Еврей стоял на разломанных крестах и маленьких обнаженных женщинах. В одной руке он держал мешок с деньгами, на котором была наклейка «Международное банкирство». В другой руке был русский флаг. Из карманов его костюма торчали маленькие, размером с обнаженных женщин под его ногами, отцы, матери и дети, которые молили о пощаде.

Все эти детали были не очень четко видны из дальнего конца тира, но мне не надо было подходить ближе, чтобы понять, что там изображено.

Я нарисовал эту мишень примерно в 1941 году.

Миллионы копий этой мишени были распространены по всей Германии. Она так восхитила моих начальников, что мне выдали премию в виде десяти фунтов ветчины, тридцати галлонов бензина и недельного оплаченного пребывания для меня и жены в Schreibenhaus [1] в Ризенгебирге.

Я должен признать, что эта мишень была результатом моего особого рвения, так как вообще я не работал на нацистов в качестве художника-графика. Я предлагаю это как

[1] Schreibenhaus *(нем.)* — дом для писателей.

улику против себя. Я думаю, что мое авторство — новость даже для Института документации военных преступников в Хайфе. Я, однако, подчеркиваю, что нарисовал этого монстра, чтобы еще больше упрочить свою репутацию нациста. Я так утрировал его, что он был бы смехотворен всюду, кроме Германии или подвала Джонса, и я нарисовал его гораздо более по-дилетантски, чем мог бы.

И тем не менее он имел успех.

Я был поражен его успехом. Гитлерюгенд и новобранцы СС не стреляли больше ни в какие другие мишени, и я даже получил письмо с благодарностью за них от Генриха Гиммлера.

«Это увеличило меткость моей стрельбы на сто процентов,— написал он.— Какой чистый ариец, глядя на эту великолепную мишень, не будет стараться убить?»

Наблюдая за пальбой Крафта по этой мишени, я впервые понял причину ее популярности. Дилетантство делало ее похожей на рисунки на стенах общественной уборной; вызывало в памяти вонь, нездоровый полумрак, звук спускаемой воды и отвратительное уединение стойла в общественной уборной — в точности отражало состояние человеческой души на войне.

Я даже не понимал тогда, как хорошо я это нарисовал.

Крафт, не обращая внимания на меня и мою леопардовой шкуре, выстрелил снова. Он стрелял из люгера, огромного, как осадная гаубица. Люгер был рассверлен до двадцать второго калибра, однако стрелял с легким свистом и без отдачи. Крафт выстрелил опять, и из мешка в двух футах левее головы мишени посыпался песок.

— Попытайся открыть глаза, когда будешь стрелять в следующий раз,— сказал я.

— А,— сказал он, опуская пистолет,— ты уже встал.

— Да.

— Как ужасно получилось.

— Да уж.

— Правда, нет худа без добра. Может быть, мы все смоемся отсюда и будем благодарить Бога за то, что произошло.

— Почему?

— Это выбило нас из колеи.

— Это уж точно.

— Когда ты со своей девушкой выберешься из этой страны, найдешь новое окружение, новую личину, ты снова начнешь писать, и ты будешь писать в десять раз лучше, чем раньше. Подумай о зрелости, которую ты внесешь в свои творения!

— У меня сейчас очень болит голова.

— Она скоро перестанет болеть. Она не разбита, она наполнена душераздирающе ясным пониманием самого себя и мира.

— Ммм... мм,— промычал я.

— Как художник и я от перемены стану лучше. Я никогда раньше не видел тропиков — этот резкий сгусток цвета, этот зримый звенящий зной.

— При чем тут тропики? — спросил я.

— Я думал, мы поедем именно туда. И Рези тоже хочет туда.

— Ты тоже поедешь?

— Ты возражаешь?

— Вы тут развили бурную деятельность, пока я спал.

— Разве это плохо? Разве мы запланировали что-то, что тебе не подходит?

— Джорж,— сказал я.— Почему ты хочешь связать свою судьбу с нами? Зачем ты спустился в этот подвал с навозными жуками? У тебя нет врагов. Свяжись ты с нами, Джорж, и ты приобретешь всех моих врагов.

Он положил руку мне на плечо, заглянул прямо в глаза.

— Говард,— сказал он,— с тех пор, как умерла моя жена, у меня не было привязанности ни к чему в мире. Я тоже был бессмысленным осколком государства двоих, а потом я открыл нечто, чего раньше не знал,— что такое истинный друг. Я с радостью связываю свою судьбу с тобой, дружище. Ничто другое меня не интересует. Ничто ни в малейшей степени меня не привлекает. С твоего позволения, для меня и моих картин нет ничего лучше, чем последовать за тобой, куда поведет тебя Судьба.

— Да, это действительно дружба,— сказал я.

— Надеюсь,— отозвался он.

Глава двадцать девятая

АДОЛЬФ ЭЙХМАН И Я...

Два дня я провел в этом подозрительном подвале беспомощным созерцателем.

Когда меня избивали, одежда моя порвалась. И из хозяйства Джонса мне выделили другую одежду. Мне дали черные лоснящиеся брюки отца Кили, серебристого оттенка

рубашку доктора Джонса, рубашку, которая когда-то была частью формы покойной организации американских фашистов, называвшейся довольно откровенно, «Серебряные рубашки». А Черный Фюрер дал мне короткое оранжевое спортивное пальтишко, которое сделало меня похожим на обезьянку шарманщика.

И Рези Нот и Джордж Крафт трогательно составляли мне компанию — не только ухаживали за мной, но и мечтали о моем будущем и все планировали за меня. Главная мечта была — как можно скорее убраться из Америки. Разговоры, в которых я почти не участвовал, пестрели названиями разных мест в теплых странах, предположительно райских: Акапулько... Минорка... Родос... даже долины Кашмира, Занзибар и Андаманские острова.

Новости из внешнего мира не делали мое дальнейшее пребывание в Америке привлекательным или хотя бы возможным. Отец Кили несколько раз в день выходил за газетами, а для дополнительной информации у нас была болтовня радио.

Республика Израиль продолжала требовать моей выдачи, подстегиваемая слухами, что я не являюсь гражданином Америки и фактически человек без гражданства. Развернутая Израилем кампания претендовала и на воспитательное значение — показать, что пропагандист такого калибра, как я, такой же убийца, как Гейдрих, Эйхман, Гиммлер или любой из подобных мерзавцев.

Возможно. Я-то надеялся, что как обозреватель я просто смешон, но в этом жестоком мире, где так много людей лишены чувства юмора, мрачны, не способны мыслить и так жаждут слепо верить и ненавидеть, нелегко быть смешным. Так много людей хотели верить мне.

Сколько бы ни говорилось о сладости слепой веры, я считаю, что она ужасна и отвратительна.

Западная Германия вежливо запросила Соединенные Штаты, не являюсь ли я их гражданином. Сами немцы не могли установить моего гражданства, так как все документы, касающиеся меня, сгорели во время войны. Если я — гражданин Штатов, то они так же, как Израиль, хотели бы заполучить меня для суда.

Если я — гражданин Германии, заявляли они, то они стыдятся такого немца.

Советская Россия в грубых выражениях, прозвучавших подобно шарикам от подшипника, брошенным на мокрый гравий, заявила, что нет никакой необходимости в процессе. Такого фашиста надо раздавить, как таракана.

Но что действительно смердило внезапной смертью, так это гнев моих соотечественников. В наиболее злобных газетах без комментариев публиковались письма, в которых предлагалось в железной клетке провезти меня через всю страну; письма героев, добровольно желавших принять участие в моем расстреле, как будто владение стрелковым оружием — искусство, доступное лишь избранным; письма от людей, которые сами не собирались ничего делать, но верили в американскую цивилизацию и потому считали, что есть более молодые, более решительные граждане, которые знают, как надо действовать.

И эти последние были правы. Сомневаюсь, что на свете когда-либо существовало общество, в котором не было бы сильных молодых людей, жаждущих экспериментировать с убийством, если это не влечет за собой жестокого наказания.

Судя по газетам и радио, справедливо разгневанные граждане сделали свое дело — ворвались в мою крысиную мансарду, разбивая окна, круша и расшвыривая мои вещи. Ненавистная мансарда была теперь под круглосуточным надзором полиции.

В редакционной статье нью-йоркской *Пост* подчеркивалось, что полиция едва ли сможет защитить меня, так как мои враги столь многочисленны и их озлобленность столь естественна. Что необходимо, безнадежно говорилось в *Пост*, так это батальон морской пехоты, который будет защищать меня до конца моих дней.

Нью-йоркская *Дейли ньюс* считала моим тягчайшим военным преступлением, что я не покончил с собой как джентльмен. Выходило, что Гитлер был джентльменом.

Ньюс напечатала письмо Бернарда О'Хара, человека, который взял меня в плен в Германии и недавно написал мне письмо, размноженное под копирку.

«Я хочу сам расправиться с ним,— писал О'Хара.— Я заслужил это. Это я схватил его в Германии. Если бы я знал, что он удерет, я бы размозжил ему голову там, на месте. Если кто-нибудь встретит Кемпбэлла раньше, чем я, пусть передаст ему, что Берни О'Хара летит к нему беспосадочным рейсом из Бостона».

Нью-йоркская *Таймс* писала, что терпеть и даже защищать такое дерьмо, как я,— парадоксальная неизбежность истинно свободного общества.

Правительство Соединенных Штатов, сказала мне Рези, не намерено выдать меня Израилю. Это не предусмотрено законом.

Правительство Соединенных Штатов, однако, обещало произвести полное и открытое расследование моего запутанного случая, чтобы точно выяснить мой гражданский статус и выяснить, почему я даже никогда не привлекался к суду.

Правительство выразило вызвавшее у меня тошноту удивление по поводу того, что я вообще нахожусь в стране.

Нью-йоркская *Таймс* опубликовала мою фотографию в молодые годы, официальную

фотографию тех лет, когда я был нацистом и кумиром международного радиовещания. Я могу только догадываться, когда был сделан этот снимок, думаю, в 1941-м.

Арндт Клопфер, сфотографировавший меня, приложил все силы, чтобы сделать меня похожим на напомаженного Иисуса с картин Максфилда Перриша [1]. Он даже снабдил меня неким подобием нимба, умело расположив позади меня размытое световое пятно. Такой нимб был не только у меня. Таким нимбом снабжался каждый клиент Клопфера, включая Адольфа Эйхмана.

Про Эйхмана я это знаю точно, даже без подтверждения Института в Хайфе, так как он фотографировался в ателье Клопфера как раз передо мной. Это был единственный случай, когда я встретился с Эйхманом в Германии. Второй раз я его встретил здесь, в Израиле, всего две недели назад, в тот короткий период, когда я сидел в тюрьме в Тель-Авиве.

Об этой встрече старых друзей: я был уже двадцать четыре часа в заключении в Тель-Авиве. По дороге в мою камеру охранники остановили меня перед камерой Эйхмана, чтобы послушать, о чем мы будем разговаривать, если заговорим.

Мы не узнали друг друга, и охранники нас представили.

Эйхман писал историю своей жизни, как я сейчас пишу историю своей. Этот старый ощипанный стервятник с лицом без подбородка, который оправдывал убийство шести миллионов жертв, улыбнулся мне улыбкой святого. Он проявлял искренний интерес к своей работе, ко мне, к охранникам, ко всем.

Он улыбнулся мне и сказал:

— Я ни на кого не сержусь.

— Так и должно быть,— сказал я.

— Я дам вам совет.

— Буду рад.

— Расслабьтесь,— сказал он, сияя, сияя, сияя.— Просто расслабьтесь.

— Именно так я и попал сюда,— сказал я.

— Жизнь разделена на фазы,— поучал он,— они резко отличаются друг от друга, и вы должны понимать, что требуется от нас в каждой фазе. В этом секрет удавшейся жизни.

— Как мило, что вы хотите поделиться этим секретом со мной,— сказал я.

— Я теперь пишу,— сказал он.— Никогда не думал, что смогу стать писателем.

— Позвольте задать вам нескромный вопрос? — спросил я.

— Конечно,— сказал он доброжелательно.— Я сейчас в соответствующей фазе. Спрашивайте, что хотите, сейчас как раз время раздумывать и отвечать.

— Чувствуете ли вы вину за убийство шести миллионов евреев?

— Нисколько,— ответил создатель Освенцима, изобретатель конвейера в крематории, крупнейший в мире потребитель газа под названием Циклон-Б.

Недостаточно хорошо зная этого человека, я попытался придать разговору несколько гротескный тон, как мне казалось, гротескный.

— Вы ведь были просто солдатом,— сказал я,— не правда ли? И получали приказы свыше, как все солдаты в мире.

Эйхман повернулся к охраннику и выстрелил в него пулеметной очередью негодующего идиш. Если бы он говорил медленнее, я бы его понял, но он говорил слишком быстро.

— Что он сказал? — спросил я у охранника.

— Он спрашивает, не показывали ли мы вам его официальное заявление,— сказал охранник.— Он просил нас не посвящать никого в его содержание, пока он сам этого не сделает.

— Я его не видел,— сказал я Эйхману.

— Откуда же вы знаете, на чем построена моя защита? — спросил он.

Этот человек действительно верил в то, что сам изобрел этот банальный способ защиты, хотя целый народ, более чем девяносто миллионов, уже защищался так же. Так примитивно понимал он божественный дар изобретательства.

Чем больше я думаю об Эйхмане и о себе, тем яснее понимаю, что он скорее пациент психушки, а я как раз из тех, для которых создано справедливое возмездие.

Я, чтобы помочь суду, который будет судить Эйхмана, хочу высказать мнение, что он не способен отличить добро от зла и что не только добро и зло, но и правду и ложь, надежду и отчаяние, красоту и уродство, доброту и жестокость, комедию и трагедию его сознание воспринимает не различая, как одинаковые звуки рожка.

Мой случай другой. Я всегда знаю, когда говорю ложь, я способен предсказать жестокие последствия веры других в мою ложь, знаю, что жестокость — это зло. Я не могу лгать, не замечая этого, как не могу не заметить, когда выходит почечный камень.

Если бы нам после этой жизни было суждено прожить еще одну, я бы хотел в ней быть человеком, о котором можно сказать: «Простите его, он не ведает, что творит».

Сейчас обо мне этого сказать нельзя.

---

[1] Перриш, Максфилд — американский художник, декоратор. Писал фрески, характерен тонкой манерой письма, тщательной деталировкой.

Единственное преимущество, которое дает мне умение различать добро и зло, насколько я понимаю, это иногда посмеяться там, где эйхманы не видят ничего смешного.

— Вы еще пишете? — спросил меня Эйхман там, в Тель-Авиве.

— Последний проект,— сказал я,— сценарий торжественного представления для архивной полки.

— Вы ведь профессиональный писатель?

— Можно сказать, да.

— Скажите, вы отводите для работы какое-то определенное время дня, независимо от настроения, или ждете вдохновения, не важно, днем или ночью?

— По расписанию,— ответил я, вспоминая далекое прошлое.

Я почувствовал, что он проникся ко мне уважением.

— Да, да,— сказал он, кивая,— расписание. Я тоже пришел к этому. Иногда я просто сижу, уставившись на чистый лист бумаги, сижу все то время, что отведено для работы. А алкоголь помогает?

— Я думаю, это только кажется, а если и помогает, то примерно на полчаса,— сказал я. Это тоже было воспоминание молодости.

Тут Эйхман пошутил.

— Послушайте,— сказал он,— насчет этих шести миллионов.

— Да?

— Я могу уступить вам несколько для вашей книги,— сказал он.— Я думаю, мне так много не нужно.

Я предлагаю эту шутку истории, полагая, что поблизости не было магнитофона. Это одна из незабвенных острот Чингисхана-бюрократа.

Возможно, Эйхман хотел напомнить мне, что я тоже убил множество людей упражнениями своих красноречивых уст. Но я сомневаюсь, что он был настолько тонким человеком, хотя и был человеком неоднозначным. Возвращаясь к шести миллионам убитых им — я думаю, он не уступил бы мне ни одного. Если бы он начал раздавать все свои жертвы, он перестал бы быть Эйхманом в его эйхмановском понимании Эйхмана.

Охранники увели меня, и еще одна последняя встреча с этим Человеком века была в виде записки, загадочно проникшей из его тюрьмы в Тель-Авиве ко мне в Иерусалим. Записка была подброшена мне неизвестным в прогулочном дворе. Я поднял ее, прочел, и вот что там было: «Как вы думаете, необходим ли литературный агент?» Записка была подписана Эйхманом.

Вот мой ответ: «Для клуба книголюбов и кинопродюсеров в Соединенных Штатах — абсолютно необходим».

Глава тридцатая

ДОН КИХОТ...

Мы должны были лететь в Мехико-сити — Крафт, Рези и я. Таков был план. Доктор Джонс должен был не только обеспечить наш перелет, но и наш прием там.

Оттуда мы должны были выехать на автомобиле, разыскать какую-нибудь затерянную деревушку, где и оставаться до конца своих дней.

Этот план был прекрасен, как давнишняя мечта. И определенно казалось, что я снова смогу писать.

Я робко говорил это Рези.

Она плакала от радости. Действительно от радости? Кто знает? Могу только заверить, что слезы были мокрые и соленые.

— Я имею хоть какое-нибудь отношение к этому прекрасному божественному чуду? — сказала она.

— Прямое,— крепко обнимая ее, сказал я.

— Нет-нет, очень небольшое, но, слава богу, имею. Это великое чудо — талант, с которым ты родился.

— Великое чудо — это твоя способность воскрешать из мертвых,— сказал я.

— Это делает любовь. Она воскресила и меня. Неужели ты думаешь, что я раньше была жива?

— Не об этом ли я должен писать? В нашей деревушке там, в Мексике, на Тихом океане, не об этом ли я должен писать прежде всего?

— Да, да, конечно, дорогой, о, дорогой! Я буду так заботиться о тебе. А у тебя, у тебя будет ли время для меня?

— Время после полудня, вечера и ночи твои. Все это время я смогу отдать тебе.

— Ты уже подумал об имени?

— Об имени?

— Да, о новом имени — имени нового писателя, чьи прекрасные произведения таинственно появятся из Мексики. Я буду миссис...

— Señora,— сказал я.

— Señora кто? Señor и Señora кто? — сказала она.

— Окрести нас,— сказал я.

— Это слишком важно, чтобы сразу принять решение,— сказала она.

Тут вошел Крафт.

Рези попросила его предложить псевдоним для меня.

— Как насчет Дон Кихота? — сказал он.— Тогда ты была бы Дульцинеей Тобосской, а я бы подписывал свои картины Санчо Панса.

Вошел доктор Джонс с отцом Кили.

— Самолет будет готов завтра утром. Будете ли вы себя достаточно хорошо чувствовать для отъезда? — спросил он.

— Я уже сейчас хорошо себя чувствую.

— В Мехико-сити вас встретит Арндт Клопфер,— сказал Джонс.— Вы запомните?

— Фотограф? — спросил я.

— Вы его знаете?

— Он делал мою официальную фотографию в Берлине,— сказал я.

— Сейчас он лучший пивовар в Мексике,— сказал Джонс.

— Слава богу,— сказал я,— последнее, что я о нем слышал, что в его ателье попала пятисотфунтовая бомба.

— Хорошего человека просто так не уложишь,— сказал Джонс.— А теперь у нас с отцом Кили к вам особая просьба.

— Да?

— Сегодня вечером состоится еженедельное собрание Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции. Мы с отцом Кили хотели устроить нечто вроде поминальной службы по Августу Крапптауэру.

— Понятно.

— Мы с отцом Кили думаем, что нам будет не под силу произнести панегирик, это было бы ужасным эмоциональным испытанием для каждого из нас,— сказал Джонс.— Мы хотим, чтобы вы, знаменитый оратор, можно сказать, человек с золотым горлом, оказали честь произнести несколько слов.

Я не мог отказаться.

— Благодарю вас, джентльмены. Это должен быть панегирик?

— Отец Кили придумал главную тему, если вам это поможет.

— Это мне очень поможет, я бы охотно использовал ее.

Отец Кили прочистил глотку.

— Я думаю, темой может быть «Дело его живет»,— сказал этот протухший старый служитель культа.

Глава тридцать первая

ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ...

В котельной в подвале доктора Джонса расселась рядами на складных стульях Железная Гвардия Белых Сыновей Американской Конституции. Гвардейцев было двадцать, в возрасте от шестнадцати до двадцати. Все блондины. Все выше шести футов ростом.

Одеты они были аккуратно, в костюмах, белых рубашках и при галстуках. На принадлежность к Гвардии указывала только маленькая золотая ленточка в петлице правого лацкана.

Я бы не заметил этой странной детали — петлицы на правом лацкане, ведь на нем обычно нет петлицы, если бы доктор Джонс не указал мне на нее.

— Вот по ней-то они и отличают друг друга, даже когда не носят ленточку,— сказал он.— Они могут видеть, как растут их ряды, тогда как другие этого не замечают.

— И каждый должен нести пиджак к портному и просить сделать петлицу на правом лацкане? — спросил я.

— Ее делают их матери,— сказал отец Кили.

Кили, Джонс, Рези и я сидели на возвышении лицом к гвардейцам, спиной к топке. Рези была на возвышении, так как согласилась сказать парням несколько слов о своем опыте общения с коммунизмом за железным занавесом.

— Большинство портных — евреи,— сказал доктор Джонс.— Мы не хотим пачкать руки.

— И вообще хорошо, что в этом участвуют матери,— сказал отец Кили.

Шофер Джонса, Черный Фюрер Гарлема, с большим полотняным транспарантом поднялся вместе с нами на возвышение и привязал транспарант к трубам парового отопления. Вот что на нем было:

«Прилежно учитесь. Будьте в классе во всем первыми. Держите тело в чистоте и в силе. Держите свое мнение при себе».

— Все эти подростки местные? — спросил я Джонса.

— Нет, что вы,— сказал Джонс,— только восемь вообще из Нью-Йорка. Девять из Нью-Джерси, двое из Пиксхилла — двойняшки, а один даже приезжает из Филадельфии.
— И он каждую неделю приезжает из Филадельфии? — спросил я.
— Где еще он мог получить все то, что давал им Август Крапптауэр?
— Как вы их завербовали?
— Через мою газету,— сказал Джонс.— Вернее, они сами завербовались. Обеспокоенные честные родители все время писали в *Христианский Белый Минитмен*, спрашивая меня, нет ли какого-нибудь молодежного объединения, желающего сохранить чистоту американской крови. Одно из самых душераздирающих писем, которое я когда-либо видел, было от женщины из Бернардсвилля, Нью-Джерси. Она позволила своему сыну вступить в организацию Бойскауты Америки, не понимая, что истинное название БСА должно было бы быть Бестии и Семиты Америки. Там парень за успехи получил звание бойскаута первой степени, потом пошел в армию, попал в Японию и вернулся домой с женой-японкой.
— Когда Август Крапптауэр читал это письмо, он плакал,— сказал отец Кили.— Вот почему он, несмотря на переутомление, стал снова работать с молодежью.
Отец Кили призвал собравшихся к порядку и предложил помолиться.
Это была обычная молитва, призывавшая к мужеству перед лицом враждебных сил.
Одна деталь была, однако, необычна, деталь, которой я никогда не встречал раньше, даже в Германии. Черный Фюрер стоял в глубине комнаты у литавр. Литавры были приглушены — покрыты, как оказалось, искусственной леопардовой шкурой, которую я уже использовал как халат. В конце каждого изречения Черный Фюрер извлекал из литавр приглушенный звук.
Рези рассказывала об ужасах жизни за железным занавесом скомканно, скучно и на таком низком для воспитания уровне, что Джонс даже пытался ей подсказывать.
— Правда ведь, что большинство убежденных коммунистов — это евреи или выходцы с Востока? — спросил он ее.
— Что? — переспросила она.
— Конечно,— сказал Джонс.— Это и так ясно,— и довольно резко прервал ее.
А где был Джорж Крафт? Он сидел среди зрителей в самом последнем ряду, недалеко от прикрытых литавр.
Затем Джонс представил меня, представил как человека, не нуждающегося в рекомендации. Но он просил меня подождать, потому что у него есть для меня сюрприз.
Сюрприз у него действительно был.
Пока Джонс говорил, Черный Фюрер оставил свои литавры, подошел к реостату возле выключателя и стал постепенно уменьшать свет.
В сгущающейся темноте Джонс говорил об интеллектуальном и моральном климате Америки во время второй мировой войны. Он говорил о том, как патриотичных и мыслящих белых преследовали за их идеалы и как почти все американские патриоты гнили в федеральных тюрьмах.
— Американец нигде не мог найти правду,— сказал он.
Теперь комната погрузилась в полную темноту.
— Почти нигде,— сказал Джонс в темноте.— Найти ее мог только счастливчик, имевший коротковолновый приемник. Вот где был единственный оставшийся источник правды. Единственный.
А затем в полной темноте — шум и треск приемника, обрывки немецкой, французской речи, кусок Первой симфонии Брамса... и затем громко и отчетливо:

> Говорит Говард У. Кемпбэлл-младший, один из немногих свободных американцев. Я веду передачу из свободного Берлина. Я приветствую моих соотечественников, а именно: чистокровных белых американцев-неевреев сто шестой дивизии, занимающих сейчас позиции перед Сен-Витом.
>
> Родителям парней из этой необстрелянной дивизии могу сообщить, что в настоящее время в районе спокойно. 442-й и 444-й полки — на передовой, 423-й — в резерве.
>
> В последнем номере *Ридерс Дайджест* помещена прекрасная статья под названием «Неверующих в окопах нет». Мне бы хотелось немного расширить эту тему и сказать, что хотя война инспирирована евреями и война на руку только евреям, однако в окопах евреев нет. Рядовые 106-й дивизии могут это подтвердить. Евреи так заняты учетом вещевого довольствия в интендантской службе, или денег в финансовой службе, или спекуляцией сигаретами и нейлоновыми чулками в Париже, что не приближаются к фронту ближе, чем на сто миль.
>
> Вы там, дома, вы, родные и близкие парней на фронте,— вспомните всех евреев, которых вы знаете. Я хочу, чтобы вы хорошенько о них подумали.
>
> И теперь скажите: делает их война беднее или богаче? Питаются они хуже или лучше, чем вы? Меньше у них бензина, чем у вас, или больше?
>
> Я знаю ответы на эти вопросы, и вы тоже узнаете, если откроете глаза пошире и подумаете покрепче.

> А теперь я хочу спросить вас: знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона — некогда столицы свободного народа,— знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона, которая начинается словами: «По поручению военного министра с глубоким прискорбием сообщаю Вам, что ваш сын...»

И так далее.
Пятнадцать минут Говарда У. Кемпбэлла-младшего, свободного американца, здесь, в темноте подвала. Я не имел в виду скрыть свой позор за тривиальным «и так далее».
Записи всех без исключения передач Говарда У. Кемпбэлла-младшего имеются в Институте документации военных преступников в Хайфе. Если кто-то хочет прослушать эти передачи, выбрать из них самое мерзкое, что я говорил,— не возражаю, пусть это будет добавлено к моим запискам как приложение.
Я едва ли могу отрицать, что говорил это. Могу лишь подчеркнуть, что сам я в это не верил, я понимал, какие невежественные, разрушительные, непристойные, абсурдные вещи я говорю.
Все, что происходило в этом темном подвале, ужасные вещи, которые я говорил когда-то, не шокировали меня. Было бы, наверное, полезнее сказать в свою защиту, что я весь покрылся холодным потом или другую подобную чепуху. Но я всегда хорошо знал, что делал. И спокойно уживался с тем, что делал. Как? Благодаря такой широко распространенной благодати современного человечества, как шизофрения.
Тут в темноте произошло нечто, заслуживающее упоминания. Кто-то с нарочитой неловкостью, чтобы я это заметил, сунул мне в карман записку.
Когда зажегся свет, я даже не мог предположить, кто это сделал.
Я произнес свой панегирик Августу Крапптауэру, сказав, между прочим, то, во что действительно верю: крапптауэровская правда, вероятно, будет жить вечно, во всяком случае, пока есть люди, которые прислушиваются скорее к зову сердца, чем к разуму.
Я был награжден аплодисментами публики и барабанным боем Черного Фюрера.
Я пошел в клозет прочитать записку.
Записка была написана печатными буквами на маленьком листке в линейку, вырванном из блокнота. Вот что в ней говорилось:
«Черный ход открыт. Немедленно выходите. Я жду вас в пустой лавке прямо напротив через улицу. Срочно. Ваша жизнь в опасности. Записку съешьте».
Записка была подписана Моей Звездно-Полосатой Крестной — полковником Фрэнком Виртаненом.

Глава тридцать вторая

РОЗЕНФЕЛЬД...

Мой адвокат здесь, в Иерусалиме, мистер Алвин Добровитц сказал мне, что я непременно выиграю дело, если хотя бы один свидетель подтвердит, что видел меня в обществе человека, которого я знаю как полковника Фрэнка Виртанена.
Я встречался с Виртаненом три раза: перед войной, сразу после войны и, наконец, в пустующей лавке напротив резиденции его преподобия доктора Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б. Только во время первой встречи, встречи на скамейке в парке, нас могли видеть вместе. Но те, кто видел нас, зафиксировали нас в своей памяти не больше, чем белок или птиц.
Во второй раз я встретил его в Висбадене, в Германии, в столовой того, что когда-то было школой подготовки офицеров инженерного корпуса вермахта. Одна из стен столовой была расписана — танк, движущийся по живописной извилистой сельской дороге под сияющим на ясном небе солнцем. Вся эта буколическая сцена, казалось, вот-вот рухнет.
В роще на переднем плане картины была изображена небольшая группа саперов, эдаких веселеньких Робин Гудов в стальных шлемах, которые забавлялись минированием этой дороги и установкой противотанкового орудия и пулемета.
Они были так счастливы.
Как я попал в Висбаден?
Меня увезли из Ордруфа, где я находился в лагере для военнопленных Третьей армии, 15 апреля, через три дня после того, как меня взял в плен лейтенант Бернард О'Хара.
Меня в джипе перевезли в Висбаден под охраной младшего лейтенанта, имени которого я не знаю. Мы с ним почти не разговаривали. Он мной не интересовался. Всю дорогу он был в глухой ярости по поводу чего-то, не имевшего ко мне отношения. Надули его, оклеветали, оскорбили? Неправильно поняли? Не знаю.
В любом случае он не мог бы стать свидетелем. Он выполнял наскучившие ему приказы. Он спросил дорогу к лагерю, а затем в столовую. Он высадил меня у двери столовой и приказал войти и подождать внутри. А сам уехал, оставив меня без охраны.

Я вошел в столовую, хотя мог вообще спокойно уйти.

В этой унылой конюшне в полном одиночестве на столе у расписанной стены сидела Моя Звездно-Полосатая Крестная.

Виртанен был в форме американского солдата — куртка на молнии, штаны цвета хаки, рубашка, расстегнутая у ворота, и походные ботинки. При нем не было оружия. И никаких знаков отличия.

Он был коротконог. Он сидел на столе, болтая ногами, которые не доставали до пола. Ему тогда, наверное, было лет пятьдесят пять, на семь лет больше, чем когда мы виделись в первый раз. Он облысел и потолстел.

У полковника Фрэнка Виртанена был вид нахального розовощекого младенца, какой тогда часто придавали пожилым мужчинам победа и американская походная форма.

Он улыбнулся, пожал дружески мне руку и сказал:

— Ну и что же вы думаете о такой войне, Кемпбэлл?

— Я бы предпочел вообще в ней не участвовать.

— Поздравляю,— сказал он.— Вы, во всяком случае, выкарабкались из нее живым. А многие, знаете, нет.

— Знаю. Например, моя жена.

— Очень жаль,— сказал он.— Я узнал, что она исчезла, одновременно с вами.

— От кого вы это узнали?

— От вас. Это содержалось в информации, которую вы передали той ночью.

Новость о том, что я передал закодированное сообщение об исчезновении Хельги, передал, даже не подозревая, что я передаю, почему-то ужасно меня расстроила. Это расстраивает меня до сих пор. Сам не знаю, почему.

Это, наверное, демонстрирует такое глубокое раздвоение моего «я», которое даже мне трудно представить.

В тот критический момент моей жизни, когда я должен был осознать, что Хельги уже нет, моей израненной душе следовало бы безраздельно скорбеть. Но нет. Одна часть моего «я» в закодированной форме сообщала миру об этой трагедии. А другая даже не осознавала, что об этом сообщает.

— Это что, была такая важная военная информация? Ради выхода ее за пределы Германии я должен был рисковать своей головой? — спросил я Виртанена.

— Конечно. Как только мы ее получили, мы сразу начали действовать.

— Действовать? Как действовать? — сказал я заинтригованно.

— Искать вам замену. Мы думали, вы тут же покончите с собой.

— Надо было бы.

— Я чертовски рад, что вы этого не сделали,— сказал он.

— А я чертовски сожалею,— сказал я.— Знаете, человек, который так долго был связан с театром, как я, должен точно знать, когда герою следует уйти со сцены, если он действительно герой.— Я хрустнул пальцами.— Так провалилась вся пьеса «Государство двоих», обо мне и Хельге. Я не включил в нее великолепную сцену самоубийства.

— Я не люблю самоубийств,— сказал Виртанен.

— Я люблю форму. Я люблю, когда в пьесе есть начало, середина и конец, и если возможно, и мораль тоже.

— Мне кажется, есть шанс, что она все-таки жива,— сказал Виртанен.

— Пустое. Неуместные слова,— сказал я.— Пьеса окончена.

— Вы что-то сказали о морали?

— Если бы я покончил с собой, как вы ожидали, до вас, возможно, дошла бы мораль.

— Надо подумать,— сказал он.

— Ну и думайте на здоровье.

— Я не привык ни к форме, ни к морали,— сказал он.— Если бы вы умерли, я бы сказал, наверное: «Черт возьми, что же нам делать?» Мораль? Огромная работа даже просто похоронить мертвых, не пытаясь извлечь мораль из каждой отдельной смерти. Мы даже не знаем имен и половины погибших. Я мог бы сказать, что вы были хорошим солдатом.

— Разве?

— Из всех агентов, моих, так сказать, чад, только вы один благополучно прошли через войну, оправдали надежды и остались живы. Прошлой ночью я сделал ужасный подсчет, Кемпбэлл, вычислил, что из сорока двух вы оказались единственным, кто не только был на высоте, но и остался жив.

— А что с теми, от кого я получал информацию?

— Погибли, все погибли,— сказал он.— Кстати, всё это были женщины. Их было семеро, и каждая, пока ее не схватили, жила только для того, чтобы передавать вам информацию. Подумайте Кемпбэлл, семь женщин вы делали счастливыми снова, снова и снова, и все они в конце концов умерли за это счастье. И ни одна не предала вас, даже после того, как ее схватили. И об этом подумайте.

— У меня и так хватает, над чем подумать. Я не собираюсь преуменьшать вашей роли учителя и философа, но и до этого нашего счастливого воссоединения мне было о чем подумать. Ну и что же со мной будет дальше?

— Вас уже нет. Третья армия избавилась от вас, и никаких документов о том, что вы прибыли сюда, не будет.— Он развел руками.— Куда вы хотите отправиться отсюда и кем вы хотите стать?

— Не думаю, что меня где-нибудь ожидает торжественная встреча.

— Да, едва ли.

— Известно ли что-нибудь о моих родителях?

— К сожалению, должен сказать, что они умерли четыре месяца назад.

— Оба?

— Сначала отец, а через двадцать четыре часа и мать, оба от сердца.

Я всплакнул, слегка покачал головой.

— Никто не рассказал им, чем я на самом деле занимаюсь?

— Наша радиостанция в центре Берлина стоила дороже, чем душевный покой двух стариков,— сказал он.

— Странно.

— Для вас это странно, а для меня нет.

— Сколько человек знали, что я делал?

— Хорошего или плохого?

— Хорошего.

— Трое,— сказал он.

— Всего?

— Это много, даже слишком много. Это я, генерал Донован и еще один человек.

— Всего три человека в мире знали, кто я на самом деле, а все остальные...— Я пожал плечами.

— И остальные тоже знали, кто вы на самом деле,— сказал он резко.

— Но ведь это был не я,— сказал я, пораженный его резкостью.

— Кто бы это ни был, это был один из самых больших подонков, которых знала земля.

Я был поражен. Виртанен был искренне возмущен.

— И это говорите мне вы, вы же знали, на что меня толкаете. Как еще я мог уцелеть?

— Это ваша проблема. И очень немногие могли бы решить ее так успешно, как вы.

— Вы думаете, я был нацистом?

— Конечно, были. Как еще мог бы оценить вас достойный доверия историк? Позвольте задать вам вопрос?

— Давайте.

— Если бы Германия победила, завоевала весь мир...— Он замолчал, вскинув голову.— Вы ведь лучше меня должны знать, что я хочу спросить.

— Как бы я жил? Что бы я чувствовал? Как бы я поступал?

— Вот именно,— сказал он.— Вы, с вашим-то воображением, должны были думать об этом.

— Мое воображение уже не то, что было раньше. Первое, что я понял, став шпионом, это что воображение — слишком большая роскошь для меня.

— Не отвечаете на мой вопрос?

— Теперь самое время узнать, осталось ли что-нибудь от моего воображения,— сказал я.— Дайте мне одну-две минуты.

— Сколько угодно,— сказал он.

Я мысленно поставил себя в ситуацию, которую он обрисовал, и то, что осталось от моего воображения, выдало разъедающе циничный ответ.

— Есть все шансы, что я стал бы чем-то вроде нацистского Эдгара Геста [1], поставляющего ежедневный столбец оптимистической рифмованной чуши для газет всего мира. И когда наступил бы старческий маразм — закат жизни, как говорят, я бы даже, наверное, пришел к убеждению, что «все к лучшему», как писал в своих куплетах.— Я пожал плечами.— Убил бы я кого-нибудь? Вряд ли. Организовал бы вооруженный заговор? Это более вероятно; но бомбы никогда не казались мне хорошим способом решать дела, хотя они, я слышал, часто взрывались в мое время. Одно могу сказать точно: я больше никогда не написал бы ни единой пьесы. Я потерял этот дар.

Я мог бы сделать что-нибудь действительно жестокое ради правды, или справедливости, или чего-то там еще,— сказал я своей Звездно-Полосатой Крестной,— только в состоянии безумия. Это могло случиться. Представьте себе, что в один прекрасный день я мог бы в трансе выскочить на мирную улицу со смертоносным оружием в руках. Но пошло бы это убийство на пользу мира или нет — вопрос слепой удачи.

Достаточно ли честно ответил я на ваш вопрос? — спросил я его.

— Да, спасибо.

— Считайте меня нацистом,— устало сказал я,— считайте меня кем угодно. Повесьте

[1] Эдгар Гест (1881—1959) — очень популярный в 1910—1930 годы автор сентиментальных псевдонародных стишков, которые он ежедневно печатал в газете «Детройт фрее пресс».

меня, если вы думаете, что это поднимет общий уровень морали. Моя жизнь не такое уж большое счастье. У меня нет никаких послевоенных планов.

— Я только хотел, чтобы вы поняли, как мало мы можем для вас сделать. Я вижу, вы поняли.

— Что же вы можете?

— Достать фальшивые документы, отвлечь внимание, переправить в такое место, где вы сможете начать новую жизнь,— сказал он.— Какие-то деньги, немного, но все-таки.

— Деньги? И как оценивается моя служба в деньгах?

— Это вопрос традиции, сказал он. Традиция восходит по меньшей мере к временам Гражданской войны.

— Вот как?

— Жалованье рядового. Я считаю, что оно причитается вам со дня нашей встречи в Тиргартене до настоящего момента.

— Как щедро! — сказал я.

— Щедрость не имеет большого значения в этом деле. Настоящие агенты вовсе не заинтересованы в деньгах. Была бы разница, если бы вам заплатили как бригадному генералу?

Нет,— сказал я.

Или не заплатили бы совсем?

Никакой разницы,— ответил я.

— Дело здесь чаще всего не в деньгах и даже не в патриотизме,— сказал он.

— А в чем же?

— Каждый решает этот вопрос сам для себя,— сказал Виртанен.— Вообще говоря, шпионаж дает возможность каждому шпиону сходить с ума самым притягательным для него способом.

— Интересно,— заметил я сухо.

Он хлопнул в ладоши, чтобы рассеять неприятный осадок от разговора.

— А теперь — куда вас отправить?

— Таити? — сказал я.

— Если угодно, сказал он.— Я предлагаю Нью-Йорк. Там вы сможете затеряться без всяких затруднений, и там достаточно работы, если захотите.

— Хорошо, Нью-Йорк,— сказал я.

— Сфотографируйтесь для паспорта. Вы улетите отсюда в течение трех часов.

Мы пересекли пустынный плац, по которому крутились пыльные вихри. Мое воображение превратило их в призраки погибших на войне бывших курсантов этого училища, которые вернулись сюда и весело пляшут на плацу совсем не по-военному.

— Когда я говорил вам, что только три человека знали о наших закодированных передачах...— начал Виртанен.

— И что?

— Вы даже не спросили меня, кто был третий?

— Это был кто-то, о ком я мог слышать?

— Да. Он, к сожалению, умер. Вы регулярно нападали на него в своих передачах.

— Да? — сказал я.

— Вы называли его Франклин Делано Розенфельд. Он каждую ночь с удовольствием слушал ваши передачи.

Глава тридцать третья

КОММУНИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ...

Третий и, по всему, последний раз я встретился с Моей Звездно-Полосатой Крестной в заброшенной лавке против дома Джонса, в котором прятались Рези, Джорж Крафт и я.

Я не торопился входить в это темное помещение, резонно ожидая, что могу там встретить все что угодно, от караульных Американского цветного легиона до взвода израильских парашютистов, готовых меня схватить.

У меня был пистолет, люгер Железных Гвардейцев, рассверленный до двадцать второго калибра. Я держал его не в кармане, а открыто, наготове, заряженным и взведенным. Я разведал фасад лавки, не обнаруживая себя. Фасад был не освещен. Тогда я добрался до черного хода, продвигаясь короткими перебежками между контейнерами с мусором.

Любой, кто попытался бы схватить меня, Говарда У. Кемпбэлла, был бы изрешечен, прошит, как швейной машинкой. И я должен сказать, что за все эти короткие перебежки между укрытиями я полюбил пехоту, чью бы то ни было пехоту.

Человек, думается мне, вообще пехотное животное.

В задней комнате лавки горел свет. Я посмотрел в окно и увидел полную безмятежности сцену. Полковник Фрэнк Виртанен, Моя Звездно-Полосатая Крестная, опять сидел на столе, опять ожидал меня.

Теперь это был совсем пожилой человек, совершенно лысый, как будда.

Я вошел.

— Я был уверен, что вы уже ушли в отставку,— сказал я.

— Я и ушел — восемь лет назад. Построил дом на озере в штате Мэн, топором, рубанком и этими двумя руками. Меня отозвали как специалиста.

— По какому вопросу?

— По вопросу о вас,— ответил он.

— Откуда этот внезапный интерес ко мне?

— Именно это и я должен выяснить.

— Нет ничего загадочного в том, что израильтяне охотятся за мной.

— Согласен,— сказал он.— Но весьма загадочно, почему это русские считают вас такой ценной добычей.

— Русские? — сказал я.— Какие русские?

— Эта девица — Рези Нот и этот старик, художник, именуемый Джордж Крафт,— сказал Виртанен.— Они оба — коммунистические агенты. Мы наблюдаем за человеком, называющим себя Крафтом, с 1941 года. Мы облегчили въезд в страну этой девице только для того, чтобы выяснить, что она собирается делать.

Глава тридцать четвертая

ALLES KAPUT...

Я с жалким видом сел на упаковочный ящик.

— Несколькими удачно выбранными словами вы уничтожили меня,— сказал я.— Насколько я был богаче еще минуту назад! Друг, мечты и любовница,— сказал я.— Alles kaput.

— Почему? Друг ведь у вас остался,— сказал Виртанен.

— Как это? — сказал я.

— Он ведь вроде вас. Он может быть в разных обличьях — и все искренне.— Он улыбнулся.— Это большой дар.

— Какие же у него были планы относительно меня?

— Он хотел вырвать вас из этой страны и отправить туда, откуда вас можно будет выкрасть с меньшими международными осложнениями. Для этого он выудил у Джонса, кто вы и что вы, и натравил на вас О'Хара и других патриотов. Все — чтобы вырвать вас отсюда.

— Мехико — вот мечта, которую он внушил мне.

— Знаю,— сказал Виртанен.— А в Мехико-сити вас уже ждет другой самолет. Если вы прилетите туда, вы проведете там не более двух минут. Вас сразу же перебросят в Москву на самом современном реактивном самолете, и все расходы уже оплачены.

— И доктор Джонс тоже в этом участвует? — спросил я.

— Нет, он искренне желает вам добра. Он один из немногих, кому вы можете доверять.

— Зачем я им в Москве? Зачем русским этот старый заплесневелый отброс второй мировой войны?

— Они хотят продемонстрировать всему миру, каких фашистских военных преступников укрывают Соединенные Штаты. Они также рассчитывают, что вы расскажете обо всех тайных соглашениях между Соединенными Штатами и нацистами в период становления фашистского режима.

— Как они собираются заставить меня сделать такие признания? Чем они могут меня запугать?

— Это просто,— сказал Виртанен,— даже очевидно.

— Пытками?

— Вероятно, нет. Просто смертью.

— Я не боюсь ее.

— Не вашей смертью.

— Чьей же?

— Девушки, которую вы любите и которая любит вас. Смертью — в случае, если вы откажетесь сотрудничать,— маленькой Рези Нот.

Глава тридцать пятая

НА СОРОК РУБЛЕЙ ДОРОЖЕ...

— Ее задачей было заставить меня полюбить ее? — спросил я.

— Да.

— Она прекрасно с этим справилась,— с грустью сказал я.— Правда, это было и несложно.

— Жаль, что я вынужден вам это сказать,— сказал Виртанен.

— Теперь проясняются некоторые загадочные вещи, хотя я и не стремился их прояснять. Знаете, что было в ее чемодане?

— Собрание ваших сочинений?

— Вы и это знаете? Подумать только, каких усилий стоило им раздобыть ей такой реквизит! Откуда они знали, где искать мои рукописи?

— Они были не в Берлине. Они были надежно упрятаны в Москве,— сказал Виртанен.

— Как они туда попали?

— Они были главным вещественным доказательством в деле Степана Бодовскова.

— Кого?

— Сержант Степан Бодовсков был переводчиком в одной из первых русских частей, вошедших в Берлин. Он нашел чемодан с вашими рукописями на чердаке театра. И взял его в качестве трофея.

— Ну и трофей!

— Это оказался на редкость ценный трофей! — сказал Виртанен.— Бодовсков хорошо знал немецкий. Он просмотрел содержимое чемодана и понял, что это — мгновенная карьера.

Он начал скромно, перевел несколько ваших стихотворений на русский и послал их в литературный журнал. Их опубликовали и похвалили. Затем он взялся за пьесу,— сказал Виртанен.

— За какую? — спросил я.

— «Кубок». Бодовсков перевел ее на русский и заработал на ней виллу на Черном море даже раньше, чем были убраны мешки с песком, защищавшие от бомбежек окна Кремля.

— Она была поставлена?

— Не только поставлена, она и сейчас идет по всей России как на любительской сцене, так и на профессиональной. «Кубок» — это «Тетка Чарлея» современного русского театра. Вы более живы, чем даже можете себе представить, Кемпбэлл.

— Дело мое живет,— пробормотал я.

— Что?

— Знаете, я даже не могу вспомнить сюжет этого «Кубка»,— сказал я.

И тут Виртанен рассказал мне его.

— Небесной чистоты девушка охраняет Священный Грааль. Она должна передать Грааль только такому же чистому, как и она сама, рыцарю. Появляется рыцарь, достойный Грааля.

Но тут рыцарь и девушка влюбляются друг в друга. Надо ли мне рассказывать вам, автору, чем все это кончилось?

— Я как будто впервые слышу это,— сказал я,— как будто это действительно написал Бодовсков.

— У рыцаря и девушки,— продолжал историю Виртанен,— появляются греховные мысли, несовместимые с обладанием Граалем. Героиня начинает упрашивать рыцаря убежать с Граалем пока не поздно. Рыцарь клянется уйти без Грааля, оставив героиню достойно охранять его. Так решает герой,— говорил Виртанен,— когда у них появляются греховные мысли. Но Священный Грааль исчезает. И, ошеломленные таким неопровержимым доказательством своего грехопадения, двое любящих действительно его совершают, решившись на ночь страстной любви.

На следующее утро, уверенные, что их ждет адский огонь, они клянутся так любить друг друга при жизни, чтобы даже адский огонь казался ничтожной ценой за это счастье. Тут перед ними появляется священный Грааль в знак того, что небеса не осуждают такую любовь. А потом Грааль снова навсегда исчезает, а герои живут долго и счастливо.

— Боже, неужели я действительно написал *это?*

— Сталин был без ума от нее,— сказал Виртанен.

— А другие пьесы?

— Все поставлены, и с успехом,— сказал Виртанен.

— Но вершиной Бодовскова был «Кубок»? — спросил я.

— Нет, вершиной была книга.

— Бодовсков написал книгу?

— Это вы написали книгу.

— Я никогда не писал.

— «Мемуары моногамного Казановы»?

— Но это же невозможно напечатать!

— Издательство в Будапеште было бы удивлено, услышав это,— сказал Виртанен.— Кажется, они издали их тиражом около полумиллиона.

— И коммунисты разрешили открыто издать такую книгу?

— «Мемуары моногамного Казановы» — курьезная главка русской истории. Едва ли они могли быть официально одобрены и напечатаны в России, однако это такой привлекательный, удивительно высоконравственный образец порнографии, такой идеальный для страны, испытывающей недостаток во всем, кроме мужчин и женщин, что типографии в Будапеште каким-то образом осмелились начать их печатать, и каким-то образом никто их не остановил.— Виртанен подмигнул мне.— Один из немногих игривых безобядных проступков, который может позволить себе русский без риска для себя, это протащить через границу домой экземпляр «Мемуаров моногамного Казановы». И для кого он это протаскивает? Кому собирается он показать эту пикантность? Своему закадычному другу — старой карге — собственной жене.

— В течение многих лет,— сказал Виртанен,— существовало только русское издание, но теперь есть переводы на венгерский, румынский, латышский, эстонский и, что самое забавное,— обратно на немецкий.

— Бодовсков считается автором? — спросил я.

— Хотя все знают, что автор — Бодовсков, на книге не указаны ни автор, ни издатель, ни художник — они якобы неизвестны.

— Художник? — сказал я в ужасе, представив себе, что нас с Хельгой изобразили кувыркающимися нагишом.

— Четырнадцать цветных иллюстраций, как живые,— сказал Виртанен,— и на сорок рублей дороже.

Глава тридцать шестая

ВСЕ, КРОМЕ ВИЗГА...

— Хоть бы не было иллюстраций! — сердито сказал я Виртанену.

— Вам не все равно? — сказал он.

— Это все портит! Иллюстрации только искажают слова. Эти слова не предполагают иллюстраций! С иллюстрациями это уже не те слова.

Он пожал плечами.

— Боюсь, это уже не в вашей власти. Разве что вы объявите войну России.

Я поморщился и закрыл глаза.

— Что говорят о чикагских бойнях, про то, как они поступают со свиньями?

— Не знаю,— сказал Виртанен.

— Они хвастаются тем, что используют в свинье все, кроме визга,— сказал я.

— Да? — сказал Виртанен.

— Вот так я сейчас себя чувствую — как разделанная свинья, каждой части которой специалисты нашли применение. О господи, они нашли применение даже моему визгу! Та моя часть, которая хотела сказать правду, обернулась отъявленным лжецом. Страстно влюбленный во мне обернулся любителем порнографии. Художник во мне обернулся редкостным безобразием. Даже самые святые мои воспоминания они превратили в кошачьи консервы, клей и ливерную колбасу,— сказал я.

— Что за воспоминания? — спросил Виртанен.

— О Хельге — моей Хельге,— сказал я и заплакал.— Рези убила их в интересах Советского Союза. Она заставила меня предать их, и теперь с ними покончено.— Я открыл глаза.— Г... все это,— сказал я спокойно.— Думаю, что и свиньи, и я можем гордиться тем, что нашу полезность так здорово доказали. Одному я рад,— сказал я.

— Чему же?

— Я рад за Бодовскова. Я рад, что кто-то смог пожить артистической жизнью благодаря тому, что я сделал когда-то. Вы сказали, что его арестовали и судили?

— И расстреляли.

— За плагиат?

— За оригинальность. Плагиат — одно из самых безобидных преступлений. Какой вред от переписывания того, что уже было написано? Истинная оригинальность — вот тяжкое преступление, часто влекущее за собой необычно жестокое наказание, вплоть до coup de grâce [1].

— Не понимаю.

— Ваш друг Крафт-Потапов понял, что большая часть того, что Бодовсков приписывает себе, написана вами,— сказал Виртанен.— Он сообщил об этом в Москву. На вилле

[1] coup de grâce *(фр.)* — последний удар. Очевидно, автор имеет в виду высшую меру наказания.

Бодовскова произвели обыск. Волшебный чемодан с вашими произведениями был обнаружен под соломой на чердаке его конюшни.
— Вот как?
— Каждое ваше слово из этого чемодана было опубликовано.
— И...?
— Бодовсков начал постепенно наполнять чемодан волшебством собственного производства,— сказал Виртанен.— Милиция нашла две тысячи страниц сатиры на Красную Армию, написанных определенно не в стиле Бодовскова. За эту небодовскую манеру он и был расстрелян. Но хватит о прошлом! — продолжал Виртанен.— Поговорим о будущем. Примерно через полчаса в доме Джонса начнется облава. Он уже окружен. Чтобы не усложнять дело, я хочу, чтобы вас там не было.
— Куда же, по-вашему, мне деваться?
— Не возвращайтесь в свою квартиру. Патриоты уже ее разгромили. Они, наверное, растерзали бы и вас, окажись вы там.
— Что же будет с Рези?
— Только высылка из страны. Она не замешана ни в каких преступлениях.
— А с Крафтом?
— Большой тюремный срок. Это не позор. Я думаю, он предпочтет отправиться в тюрьму, чем вернуться на родину. Почетный доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б.,— сказал Виртанен,— снова попадет в тюрьму за нелегальное хранение огнестрельного оружия и за всякие другие преступления, которые ему можно пришить. Для отца Кили, по-видимому, ничего не запланировано, и я полагаю, что он опять вернется к бродяжничеству. И Черный Фюрер тоже.
— А Железные Гвардейцы? — спросил я.
— Железной Гвардии Белых Сынов Американской Конституции,— сказал Виртанен,— будет прочитана внушительная лекция о незаконности в нашей стране частных армий, убийств, нанесения увечий, мятежей, государственной измены и насильственного ниспровержения правительства. Их отправят домой просвещать своих родителей, если это возможно.— Он снова взглянул на часы.— Вам пора уходить, выбирайтесь отсюда немедленно.
— Могу я спросить, кто ваш человек у Джонса? — сказал я.— Кто сунул мне в карман записку?
— Спросить вы можете,— сказал Виртанен.— Но вы же понимаете, что я не отвечу.
— Вы до такой степени мне не доверяете? — сказал я.
— Могу ли я доверять человеку, который был таким прекрасным шпионом? А?

Глава тридцать седьмая

ЭТО СТАРОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО...

Я ушел от Виртанена.
Не успев сделать и нескольких шагов, я понял, что единственное место, куда я хочу пойти,— это в подвал Джонса, к моей любовнице и к моему лучшему другу.
Я уже знал, чего они стоят, но факт остается фактом: они — все, что у меня оставалось.
Я вернулся в подвал Джонса тем же путем, как и исчез,— через черный ход.
Когда я вернулся, Рези, отец Кили и Черный Фюрер играли в карты.
Никто меня не хватился.
В котельной шли занятия Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции, отрабатывались почести, воздаваемые флагу. Занятия вел один из гвардейцев.
Джонс ушел наверх писать, творить.
Крафт, этот Русский Супершпион, читал *Лайф* с портретом Вернера фон Брауна на обложке. Журнал был раскрыт на центральном развороте с панорамой доисторического болота эпохи рептилий.
Из приемника доносилась музыка. Объявили песню. Название ее запечатлелось в моей памяти. Нет ничего удивительного в том, что я его запомнил. Название как раз подходило к тому моменту, впрочем, к любому моменту. Название было: «Это старое золотое правило: что посеешь, то пожнешь».
По моей просьбе Институт документации военных преступников в Хайфе нашел мне слова этой песни. Вот они:

О, бэби, бэби, бэби,
Зачем ты мне сердце разбила?
Говорила, что будешь верна мне,
А сама давно изменила.
Я так огорчен,
Но не удивлен,
Ты меня в дурака превратила,

Ты плакать меня заставила,
Ты смеялась надо мной и лукавила,
Почему ты не знала, девушка, золотого
Старого правила.

— Во что играете? — спросил я игроков?
— В ведьму,— ответил отец Кили.
Он относился к игре серьезно. Он хотел выиграть, я увидел, что у него на руках дама пик, ведьма.
Я, наверное, показался бы более человечным, вызвал бы больше сочувствия, если бы сказал, что в тот момент у меня голова пошла кругом от ощущения нереальности происходящего.
Извините.
Ничего подобного.
Должен признаться в ужасном своем недостатке. Все, что я вижу, слышу, чувствую, пробую, нюхаю,— для меня реально. Я настолько доверчивая игрушка своих ощущений, что для меня нет ничего нереального. Эта доверчивость, стойкая, как броня, сохранялась даже тогда, когда меня били по голове, или я был пьян, или был втянут в странные приключения, о которых не стоит распространяться, или даже под влиянием кокаина.
В подвале Джонса Крафт показал мне фотографию фон Брауна на обложке *Лайф* и спросил, знал ли я его.
— Фон Брауна? — спросил я.— Этого Томаса Джефферсона космического века? Естественно. Барон танцевал однажды в Гамбурге с моей женой на дне рождения генерала Вальтера Дорнбергера.
— Хороший танцор? — спросил Крафт.
— Что-то вроде танцующего Микки Мауса,— сказал я.— Так танцевали все крупные нацистские деятели, когда им приходилось это делать.
— Как ты думаешь, он бы сейчас тебя узнал? — спросил Крафт.
— Уверен, что узнал бы,— сказал я.— С месяц назад я наскочил на него на Пятьдесят второй улице, и он окликнул меня по имени. Он очень поразился, увидев меня в таком плачевном положении. Он сказал, что у него много знакомых в информационном бизнесе, и предложил подыскать мне работу.
— Ты бы в этом преуспел.
— Вообще-то я не чувствую мощного призвания заниматься перепиской с клиентами,— ответил я.
Игра в карты кончилась, проиграл отец Кили, он так и не смог отделаться от жалкой старой ведьмы — пиковой дамы.
— Ну и ладно,— сказал отец Кили, как будто он много выигрывал в прошлом и собирается и дальше выигрывать.— Всего не выиграешь.
Вместе с Черным Фюрером он поднялся наверх, останавливаясь через каждые несколько ступенек и считая до двадцати.
И теперь Рези, Крафт-Потапов и я остались одни.
Рези подошла ко мне, обняла меня за талию, прижалась щекой к моей груди.
— Только представь, дорогой,— сказала она.
— Что? — сказал я.
— Завтра мы будем в Мексике.
— Гм.
— Ты чем-то обеспокоен.
— Обеспокоен.
— Озабочен,— сказала она.
— Тебе тоже кажется, что я озабочен? — сказал я Крафту. Он все еще изучал панораму доисторического болота в журнале.
— Нет,— сказал он.
— Я в обычном, нормальном состоянии,— сказал я.
Крафт показал на птеродактиля, летающего над болотом.
— Кто бы мог подумать, что такое чудовище может летать? — сказал он.
— А кто бы мог подумать, что такая старая развалина, как я, может покорить сердце такой прелестной девушки и, кроме того, иметь такого талантливого верного друга?
— Мне так легко тебя любить,— сказала Рези.— Я всегда тебя любила.
— Я как раз подумал...— сказал я.
— Расскажи мне, о чем ты подумал,— попросила Рези.
— Может быть, Мексика не совсем то, что нам нужно,— сказал я.
— Мы всегда сможем оттуда уехать,— сказал Крафт.
— Может быть, в аэропорту Мехико-сити мы можем сразу пересесть на реактивный самолет...
Крафт опустил журнал.
— И куда дальше? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я.— Просто быстро куда-то отправиться. Я думаю, меня возбуждает сама мысль о передвижении, я так долго сидел на месте.
— Гм,— сказал Крафт.
— Может быть, в Москву? — сказал я.
— Что? — сказал Крафт недоверчиво.
— В Москву,— сказал я.— Мне очень хочется увидеть Москву.
— Это что-то новое,— сказал Крафт.
— Тебе не нравится?
— Я... я должен подумать.
Рези стала отодвигаться от меня, но я держал ее крепко.
— Ты тоже об этом подумай,— сказал я ей.
— Если ты хочешь,— сказала она едва слышно.
— Господи! — сказал я и как следует тряхнул ее.— Чем больше я об этом думаю, тем это становится привлекательнее. Мне бы в Мехико-сити и двух минут между самолетами хватило.
Крафт встал, старательно сгибая и разгибая пальцы.
— Ты шутишь? — спросил он.
— Разве? Такой старый друг, как ты, должен понимать, шучу я или нет.
— Конечно, шутишь,— сказал он.— Что тебя может интересовать в Москве?
— Я бы попытался найти одного старого друга,— сказал я.
— Я не знал, что у тебя есть друг в Москве.
— Я не знаю, в Москве ли он, но где-то в России,— сказал я.— Я бы навел справки.
— Кто же он? — спросил Крафт.
— Степан Бодовсков, писатель.
— А...— сказал Крафт. Он сел и снова взял журнал.
— Ты о нем слышал? — спросил я.
— Нет.
— А о полковнике Ионе Потапове?
Рези отскочила от меня к дальней стене и прижалась к ней спиной.
— Ты знаешь Потапова? — спросил я ее.
— Нет.
— А ты? — спросил я Крафта.
— Нет,— сказал он.— Расскажи мне о нем.
— Он — коммунистический агент,— сказал я.— Он хочет увезти меня в Мехико-сити, где меня схватят и отправят в Москву для суда.
— Нет! — сказала Рези.
— Заткнись! — сказал ей Крафт.
Он вскочил, отбросив журнал, и пытался вытащить из кармана маленький пистолет, но я навел на него свой люгер.
Я заставил его бросить пистолет на пол.
— Гляньте-ка,— сделав удивленный вид, сказал он, словно был здесь ни при чем.— Прямо ковбои и индейцы.
— Говард,— сказала Рези.
— Молчи! — предупредил ее Крафт.
— Дорогой,— сказала Рези плача,— мечта о Мексике — я надеялась,— она станет реальностью. Нас *всех* ждало избавление! — Она раскрыла объятия.— Завтра,— сказала она тихо.— Завтра,— прошептала она снова.
И тут она бросилась к Крафту, как будто хотела вцепиться в него. Но руки ее ослабли и бессильно повисли.
— Мы все должны были родиться заново,— сказала она ему хрипло.— И ты — ты тоже. Разве... разве ты сам этого не хотел? Как же ты мог с такой нежностью говорить о нашей новой жизни и не хотеть ее?
Крафт не ответил.
Рези повернулась ко мне.
— Да, я — коммунистический агент. И он тоже. Он действительно — полковник Иона Потапов. У нас действительно было задание доставить тебя в Москву. Но я не собиралась этого делать, потому что люблю тебя; потому что любовь, которую ты дал мне,— единственная моя любовь, другой у меня не было и не будет. Я же тебе говорила, что не желаю этого делать, правда? — сказала она Крафту.
— Она мне говорила,— сказал Крафт.
— И он согласился со мной,— сказала Рези,— и тоже мечтал о Мексике, где все мы выскочим из западни и заживем счастливо.
— Как ты узнал? — спросил меня Крафт.
— Американские агенты все время следили за вашими действиями,— сказал я.— Это место сейчас окружено. Вы погорели.

Глава тридцать восьмая

О, СЛАДКОЕ ТАИНСТВО ЖИЗНИ...

Об облаве —
О Рези Нот —
О том, как она умерла —
О том, как она умерла на моих руках, там, в подвале преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б.
Это было совершенно неожиданно.
Казалось, Рези так любила жизнь, была создана для жизни, что мне в голову не приходило, что она может предпочесть смерть.
Я — человек, достаточно умудренный опытом или недостаточно одаренный воображением,— уж решайте сами,— чтобы представить себе, что такая молодая, красивая, умная девушка даже при самых тяжелых ударах судьбы и политики будет думать о смерти. Притом я говорил ей, что самое худшее, что ее ожидает, это депортация.
— И ничего более страшного? — сказала она.
— Ничего. И я сомневаюсь, что тебе даже придется оплачивать обратный проезд.
— И тебе не жалко будет, если я уеду?
— Конечно, жалко. Но я ничего не могу сделать, чтобы ты осталась со мной. С минуты на минуту сюда могут войти и арестовать тебя. Не думаешь же ты, что я буду драться с ними?
— А ты не будешь с ними драться?
— Конечно, нет. Какой у меня шанс?
— А это имеет значение?
— Ты хочешь знать,— сказал я,— почему я не умираю за любовь, как рыцарь в пьесе Говарда У. Кемпбэлла-младшего?
— Именно это я и хочу знать,— сказала она.— Почему бы нам не умереть вместе, прямо здесь, сейчас?
Я рассмеялся.
— Рези, дорогая, у тебя вся жизнь впереди.
— У меня вся жизнь позади,— сказала она,— вся в этих нескольких счастливых часах с тобой.
— Это звучит как строка, которую я мог бы написать, когда был молодым человеком.
— Это и есть строка, которую ты написал, когда был молодым человеком.
— Глупым молодым человеком,— сказал я.
— Я обожаю того молодого человека,— сказала она.
— Когда же ты полюбила его? Еще девочкой?
— Маленькой девочкой, а потом уже женщиной,— сказала она.— Когда они дали мне все, что ты написал, и велели изучить, я полюбила тебя уже женщиной.
— Извини, но я не могу одобрить твой литературный вкус.
— Ты уже не веришь, что любовь — единственное, ради чего стоит жить?
— Нет.
— Тогда скажи, ради чего стоит жить вообще? — сказала она умоляюще.— Если не ради любви, то ради чего же? Ради всего этого? — Она жестом обвела убогую обстановку комнаты, еще резче усилив и мое собственное ощущение, что мир — это лавка старьевщика.— Я что, должна жить ради этого стула, этой картины, ради этой печной трубы, этой кушетки, этой трещины в стене? Вели мне жить ради этого, и я буду! — кричала она.
Теперь ее ослабевшие руки вцепились в меня. Она закрыла глаза и заплакала.
— Значит, не ради любви,— шептала она,— ради чего же, скажи.
— Рези,— сказал я нежно.
— Скажи мне! — требовала она. Сила вернулась в ее руки, и она с нежным неистовством теребила мою одежду.
— Я старик,— беспомощно сказал я. Это была трусливая ложь. Я не старик.
— Хорошо, старик, скажи мне, ради чего жить,— сказала она.— Скажи, ради чего ты живешь, чтобы и я могла жить ради того же — здесь или за десять тысяч километров отсюда! Объясни, почему ты хочешь остаться в живых, и тогда я тоже захочу жить!
И тут началась облава.
Силы закона и порядка ворвались через все двери, они размахивали оружием, свистели в свистки, светили яркими фонарями, хотя света и так было достаточно.
Это была целая небольшая армия, и они шумно веселились по поводу мелодраматично-зловещего реквизита нашего подвала. Они веселились, как дети вокруг рождественской елки.
Целая дюжина их, молодых, розовощеких, добродетельных, окружили Рези, Крафт-Потапова и меня, отобрали мой люгер и обращались с нами, как с тряпичными куклами, в поисках еще какого-нибудь оружия.

Другие спускались по лестнице, толкая перед собой преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Черного Фюрера и отца Кили.

Доктор Джонс остановился на середине лестницы и повернулся к своим мучителям:

— Все, что я делал,— сказал он величественно,— должны были делать вы.

— Что мы должны были делать? — сказал агент ФБР, который явно был здесь главным.

— Защищать республику,— сказал Джонс.— Что вам от нас надо? Мы делаем все, чтобы сделать нашу страну сильнее! Присоединяйтесь к нам, и пойдем вместе против тех, кто пытается ее ослабить!

— Кто же это? — спросил агент ФБР.

— Я должен вам объяснять? — сказал Джонс.— Вы еще не поняли этого за время вашей работы? Евреи! Католики! Черномазые! Желтые! Унитарии! Эмигранты, которые ничего не понимают в демократии, которые играют на руку социалистам, коммунистам, анархистам, нехристям и евреям!

— К вашему сведению,— сказал агент с холодным торжеством,— я — еврей.

— Это только подтверждает то, что я сказал!

— То есть? — сказал агент.

— Евреи проникли всюду! — сказал Джонс, улыбаясь, как логик, которого никогда нельзя сбить с толку.

— Вы говорите о католиках и неграх, но один из ваших лучших друзей — католик, другой — негр.

— Что тут удивительного? — сказал Джонс.

— У вас нет к ним ненависти? — спросил агент ФБР.

— Конечно, нет. Мы все исповедуем одну основную истину.

— Какую же?

— Наша страна, которой мы когда-то гордились, сейчас оказалась не в тех руках,— сказал Джонс. Он кивнул, а вслед за ним отец Кили и Черный Фюрер.— И, чтобы она снова вернулась на путь истинный, кое-кому надо свернуть голову.

Я никогда не встречал такого наглядного примера тоталитарного мышления, мышления, которое можно уподобить системе шестеренок с беспорядочно отпиленными зубьями. Такая кривозубая мыслящая машина, приводимая в движение стандартными или нестандартными внутренними побуждениями, вращается толчками, с диким бессмысленным скрежетом, как какие-то адские часы с кукушкой.

Босс из ФБР ошибался, думая, что на шестернях в голове Джонса нет зубьев.

— Вы законченный псих,— сказал он.

Джонс не был законченным психом. Самое страшное в классическом тоталитарном мышлении то, что каждая из таких шестеренок, сколько бы зубьев у нее ни было спилено, имеет участки с целыми зубьями, которые точно отлажены и безупречно обработаны.

Поэтому адские часы с кукушкой идут правильно в течение восьми минут и тридцати трех секунд, потом убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на две секунды, правильно идут два часа и одну секунду, а затем убегают на год вперед.

Недостающие зубья — это простые очевидные истины, в большинстве случаев доступные и понятные даже десятилетнему ребенку. Умышленно отпилены некоторые зубья — система умышленно действует без некоторых очевидных кусков информации.

Вот почему такая противоречивая семейка, состоящая из Джонса, отца Кили, вице-бундесфюрера Крапптауэра и Черного Фюрера, могла существовать в относительной гармонии...

Вот почему мой тесть мог совмещать безразличие к рабыням и любовь к голубой вазе...

Вот почему Рудольф Гесс, комендант Осаенцима, мог чередовать по громкоговорителю произведения великих композиторов с вызовами уборщиков трупов...

Вот почему нацистская Германия не чувствовала существенной разницы между цивилизацией и бешенством...

Так я ближе всего могу подойти к объяснению тех легионов, тех наций сумасшедших, которые я видел в свое время. И моя попытка такого механистического объяснения — это, наверное, отражение отца, сыном которого я был. И есть. Ведь если остановиться и подумать, что бывает не часто, я, в конце концов, сын инженера.

И поскольку меня некому похвалить, я похвалю себя сам — скажу, что я никогда не прикасался ни к одному зубу своей думающей машины, она такая, какая есть. У нее не хватает зубьев, бог знает почему,— без некоторых я родился, и они уже никогда не вырастут. А другие сточились под влиянием превратностей Истории.

Но никогда я умышленно не ломал ни единого зуба на шестеренках моей думающей машины. Никогда я не говорил себе: «Я могу обойтись без этого факта».

Говард У. Кемпбэлл-младший поздравляет себя! В тебе еще есть жизнь, старина!

А где есть жизнь...

Там есть жизнь.

Глава тридцать девятая

РЕЗИ НОТ ОТКЛАНИВАЕТСЯ...

— Единственное, о чем я жалею,— сказал доктор Джонс боссу фебеэровцев на лестнице в подвал,— что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать отечеству.

— Посмотрим, не удастся ли нам откопать еще что-нибудь, о чем вы будете жалеть,— сказал босс.

Теперь Железная Гвардия Сыяов Американской Конституции толпой вываливалась из котельной. Некоторые из них были в истерике. Паранойя, которую родители годами вбивали в них, внезапно реализовалась. Вот теперь их действительно преследовали!

Один из парней вцепился в древко американского флага. Он так размахивал им, что орел на древке цеплялся за трубы под потолком.

— Это флаг вашей страны! — кричал он.

— Мы это уже знаем,— сказал босс.— Отберите у него флаг!

— Этот день войдет в историю,— сказал Джонс.

— Каждый день входит в историю,— сказал босс.— Ладно, где человек, называющий себя Джорджем Крафтом?

Крафт поднял руку. Он сделал это почти что весело.

— Это флаг и вашей страны? — сказал босс с издевкой.

— Мне нужно рассмотреть его повнимательнее,— сказал Крафт.

— Как чувствует себя человек, когда такая долгая и блестящая карьера приходит к концу? — спросил босс Крафта.

— Все карьеры когда-нибудь кончаются,— сказал Крафт.— Я это понял уже давно.

— Может, о вашей жизни сделают фильм,— сказал босс.

Крафт улыбнулся.

— Возможно. Я бы запросил немало денег за право снимать этот фильм.

— Есть только один актер, который действительно мог бы сыграть вашу роль,— сказал босс.— Но его будет нелегко заполучить.

— Да? — сказал Крафт.— Кто же это?

— Чарли Чаплин,— сказал босс.— Кто еще смог бы сыграть шпиона, который был постоянно пьян, с 1941 по 1948 год? Кто еще мог бы сыграть русского шпиона, который создал агентуру, состоящую почти сплошь из американских шпионов?

Весь лоск сошел с Крафта, и он превратился в бледного морщинистого старика.

— Это неправда! — сказал он.

— Спросите ваше начальство, если не верите мне,— сказал босс.

— А они знают? — спросил Крафт.

— Они наконец поняли. Вы были на пути домой, а там вас ожидала пуля в затылок.

— Почему вы спасли меня?

— Считайте это сентиментальностью,— сказал босс.

Крафт обдумал ситуацию и укрылся за спасительной шизофренией.

— Все это не имеет ко мне отношения,— сказал он и вновь обрел свой прежний лоск.

— Почему?

— Потому, что я художник. И это главное мое дело.

— Непременно возьмите в тюрьму этюдник,— сказал босс и переключил внимание на Рези.— Вы, конечно, Рези Нот.

— Да,— сказала она.

— Доставило ли вам удовольствие ваше короткое пребывание в нашей стране?

— Какого ответа вы от меня ожидаете?

— Любого. Если у вас есть жалобы, я передам их в соответствующие инстанции. Знаете, мы пытаемся увеличить приток туристов из Европы.

— Вы говорите очень забавные вещи,— сказала она без тени улыбки.— Простите, я не могу ответить в том же духе. Сейчас не самое забавное время для меня.

— Жаль,— сказал босс небрежно.

— Вам не жаль,— сказала Рези.— Жаль только мне. Мне жаль, что мне незачем жить. Все, что у меня было, это любовь к одному человеку, а этот человек меня не любит. Жизнь его так поизносила, что он не может больше любить. От него ничего не осталось, кроме любопытства и пары глаз. Я не могу сказать вам ничего забавного,— сказала Рези.— Но я могу показать вам кое-что интересное.

Рези как будто прикоснулась пальцами к губам. На самом деле она сунула в рот капсулу с цианистым калием.

— Я покажу вам женщину, которая умирает за любовь.

И Рези Нот тут же упала мертвой мне на руки.

Глава сороковая

СНОВА СВОБОДА...

Я был арестоавн вместе со всеми, кто находился в доме. Меня освободили в течение часа, я думаю, благодаря вмешательству Моей Звездно-Полосатой Крестной. Место, где меня содержали в течение этого короткого времени, была контора без вывески в Эмпайр Стейт Билдинг. Агент спустил меня на лифте и вывел на улицу, возвратив в поток жизни. Не успел я сделать и пятидесяти шагов, как остановился.

Я оцепенел.

Я оцепенел не от чувства вины. Я приучил себя никогда не испытывать чувства вины.

Я оцепенел не от страшного чувства потери. Я приучил себя ничего страстно не желать.

Я оцепенел не от ненависти к смерти. Я приучил себя рассматривать смерть как друга.

Я оцепенел не от разрывающего сердце возмущения несправедливостью. Я приучил себя к тому, что ожидать справедливых наград и наказаний так же бесполезно, как искать жемчужину в навозе.

Я оцепенел не от того, что я так не любим. Я приучил себя обходиться без любви.

Я оцепенел не от того, что Господь так жесток ко мне. Я приучил себя никогда ничего от Него не ждать.

Я оцепенел от того, что у меня не было никакой причины двигаться ни в каком направлении. То, что заставляло меня идти сквозь все эти мертвые бессмысленные годы, было любопытство.

Теперь даже оно угасло.

Как долго я стоял в оцепенении — не знаю. Чтобы я вновь начал двигаться, надо было, чтобы кто-то другой придумал для этого причину.

И этот кто-то нашелся. Полицейский на улице наблюдал за мной некоторое время, затем подошел и спросил:

— У вас все в порядке?

— Да,— сказал я.

— Вы стоите здесь уже давно.

— Знаю.

— Вы ждете кого-нибудь?

— Нет.

— Тогда лучше идите.

— Да, сэр.

И я пошел.

Глава сорок первая

ХИМИКАЛИИ...

От Эмпайр Стейт Билдинг я пошел к центру. Я шел пешком в Гринвич Вилледж, туда, где некогда был мой дом, наш с Рези и Крафтом дом.

Всю дорогу я курил сигареты и стал воображать себя светлячком.

Я встречал много других таких же светлячков. Иногда я первым подавал им приветственный красный сигнал, иногда они. Я все дальше и дальше уходил от подобного морскому прибою рокота и северного сияния огней сердца города.

Время было позднее. Теперь я ловил сигналы светлячков-сотоварищей, захваченных в ловушки верхних этажей.

Где-то, как наемный плакальщик, выла сирена.

Когда я наконец подошел к зданию, к своему дому, все окна были темны, кроме одного — окна в квартире молодого доктора Абрахама Эпштейна.

Он тоже был светлячком. Он просигналил, и я просигналил в ответ.

Где-то завели мотоцикл, как будто разорвалась хлопушка.

Черная кошка перебежала мне дорогу перед входной дверью.

В парадном тоже было темно. Выключатель был испорчен. Я зажег спичку и увидел, что все почтовые ящики взломаны.

В темноте в неверном свете спички погнутые и пробитые дверцы почтовых ящиков напоминали двери тюремных камер в каком-то сожженном городе. Моя спичка привлекла внимание дежурного полицейского. Он был молодой и унылый.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Я здесь живу, это мой дом.

— У вас есть документы?

Я показал ему какой-то документ и сказал, что живу в мансарде.

— Так это из-за вас все эти неприятности? — Он не упрекал меня, ему было просто интересно.

— Если хотите.

— Удивляюсь, что вы вернулись сюда.

— Я скоро снова уйду.

— Я не могу приказать вам уйти. Я просто удивляюсь, что вы вернулись.

— Я могу подняться к себе?

— Это ваш дом. Никто не может вам запретить.

— Благодарю вас.

— Не благодарите меня. У нас свободная страна, и все одинаково находятся под защитой.— Он сказал это доброжелательно. Он давал мне урок гражданского права.

— Вот так и нужно управлять страной,— сказал я.

— Не знаю, смеетесь ли вы надо мной или нет, но это правда,— сказал полицейский.

— Я не смеюсь над вами, клянусь, что нет.— Мое клятвенное уверение удовлетворило его.

— Мой отец был убит на Иводзима [1].

— Сочувствую.

— Полагаю, что там погибли хорошие люди и с той, и с другой стороны.

— Думаю, что правда.

— Думаете, будет еще одна?

— Что — еще одна?

— Еще одна война.

— Да,— сказал я.

— Я тоже так думаю,— сказал он.— Разве это не ад?

— Вы нашли верное слово,— сказал я.

— Что может сделать один человек?

— Каждый делает какую-то малость,— сказал я.— Вот и все.

Он тяжело вздохнул.

— И всé это складывается. Люди не понимают.— Он покачал головой.— Что люди должны делать?

— Подчиняться законам,— сказал я.

— Они не хотят даже и этого делать, половина, во всяком случае. Я такое вижу, люди такое мне рассказывают. Иногда я просто падаю духом.

— Это с каждым бывает,— сказал я.

— Я думаю, это частично от химии,— сказал он.

— Что — это?

— Плохое настроение. Разве не обнаружено, что это часто бывает из-за химических препаратов?

— Не знаю.

— Я об этом читал. Это одно из открытий.

— Очень интересно.

— Человеку дают какие-то химикалии, и он сходит с ума. Вот над чем они работают. Может быть, все из-за химии.

— Вполне возможно.

— Может быть, это разные химикалии, которые люди едят в разных странах, заставляют их в разное время действовать по-разному.

— Я никогда раньше об этом не думал,— сказал я.

— Иначе почему люди так меняются? Мой брат был там, в Японии, и говорит, что японцы — приятнейшие люди, каких он когда-либо встречал, а ведь это японцы убили нашего отца! Вдумайтесь в это.

— Ладно.

— Это *точно* химикалии, верно ведь?

— Наверное, вы правы.

— Я уверен. Подумайте об этом хорошенько.

— Ладно.

— Я все время думаю о химикалиях. Иногда мне кажется, что мне снова надо пойти в школу и выяснить досконально все, что открыли насчет химикалиев.

— Думаю, вам так и надо поступить.

— Может быть, когда о химикалиях узнают еще больше — не будет ни полицейских, ни войн, ни сумасшедших домов, ни разводов, ни малолетних преступников, ни пьяниц, ни падших женщин, ничего такого.

— Это было бы прекрасно,— сказал я.

— Я думаю, это возможно.

— Я вам верю.

---

[1] Иводзима — принадлежащий Японии остров в Восточно-Китайском море. В ходе второй мировой войны в 1945 году американцы высадили на остров десант и овладели им.

6*

— На этом пути сейчас нет ничего невозможного, надо только работать — найти деньги, найти самых способных людей, создать четкую программу — и работать.

— Я — за,— сказал я.

— Посмотрите, как некоторые женщины просто сходят с ума каждый месяц. Выделяются какие-то химические вещества, и женщина уже не может вести себя иначе. Иногда после родов начинает выделяться какое-то химическое вещество, и женщина даже может убить ребенка. Это случилось в одном из соседних домов как раз на прошлой неделе.

— Какой ужас,— сказал я.— Я и не слышал.

— Самое противоестественное, что может сделать женщина, это убить собственного ребенка, но она это сделала. Какая-то химия в крови заставила ее поступить так, хотя она вовсе этого не хотела.

— Гм... гм,— сказал я.

— Хотите знать, что случилось с миром,— сказал он.— Химия — вот в чем собака зарыта.

Глава сорок вторая

НИ ГОЛУБЯ, НИ ЗАВЕТА...

Я поднялся в свою крысиную мансарду вверх по отделанной дубом и грубой лепкой спирали лестницы.

Обычно воздух на лестнице сохранял тоскливые запахи кухни, угольной пыли, испарений клозета, а сейчас он был свежим и холодным. Все окна в моей мансарде были разбиты. Все теплые газы с запахами жилья поднялись по лестничной клетке наверх и высвистали через мои окна, как сквозь вентиляционную трубу.

Воздух был чист.

Это ощущение, когда провонявшее старое здание внезапно оказывается открытым и зараженная атмосфера очищается, было мне хорошо знакомо. Я достаточно часто испытывал это в Берлине. Нас с Хельгой дважды разбомбили. Оба раза лестница осталась, и можно было вскарабкаться наверх.

Первый раз мы карабкались по ступенькам в свое жилье без крыши и окон, но тем не менее чудом уцелевшее внутри. В другой раз, поднимаясь по лестнице, мы внезапно оказались на холодном свежем воздухе двумя этажами ниже нашей бывшей квартиры.

Оба раза это было незабываемое ощущение — на верхней площадке разбитой лестницы под открытым небом.

Правда, это ощущение быстро пропадало, ведь, как всякая семья, мы любили наше жилье и нуждались в нем. Но все равно мы с Хельгой чувствовали себя, как Ной и его жена на горе Арарат.

Нет чувства приятней этого.

А затем снова начинали выть сирены воздушной тревоги, и мы осознавали, что мы обычные люди без голубя и без завета и что потоп далеко еще не кончился, а только начинается.

Я вспоминаю, как однажды мы с Хельгой спускались с разбитой лестничной площадки под открытым небом в бомбоубежище глубоко под землей, а наверху вокруг падали тяжелые бомбы. Они падали и падали, и казалось, это никогда не кончится.

И убежище было длинным и узким, как железнодорожный вагон, и было переполнено.

И там на скамье против нас с Хельгой сидели мужчина и женщина с тремя детьми. И женщина начала причитать, обращаясь к потолку, к бомбам, самолетам, к небу и к самому Господу Богу там, наверху.

Она начала тихо, не обращаясь ни к кому в убежище.

— Ну хорошо,— говорила она,— вот мы тут. Мы тут внизу. Слышим тебя над нами. Мы слышим, как ты гневаешься.— Голос ее вдруг перешел в крик.— Великий Боже, как ты гневаешься! — кричала она.

Ее муж — изможденный штатский с повязкой на глазу, со значком нацистского Союза учителей на лацкане, попытался ее предостеречь.

Но она не слышала его.

— Чего ты хочешь от нас? — обращалась она к потолку и ко всему, что было над ним.— Что мы должны делать? Скажи, и мы сделаем все, что ты хочешь!

Бомба разорвалась совсем рядом, с потолка посыпалась штукатурка, женщина с криком вскочила, и ее муж тоже.

— Мы сдаемся! Сдаемся! — завопила она. И чувство великого облегчения и радости отразилось на ее лице.— Остановись же! — вскричала она. Она рассмеялась.— С нас хватит! Все кончилось! — Она повернулась к детям с радостной вестью.

Муж ударил ее так, что она потеряла сознание.

Этот одноглазый учитель усадил ее на скамейку, прислонил к стене. Потом он обратился к находившемуся в убежище высокопоставленному лицу, как оказалось, вице-адмиралу.

— Она — женщина... истеричка, они все стали истеричками... Она так не думает... Она имеет Золотой орден материнства...— говорил он вице-адмиралу.

Вице-адмирал не удивился и не рассердился. Он не счел, что ему отвели неподходящую роль. Преисполненный чувства собственного достоинства, он дал этому человеку отпущение грехов.

— Все в порядке,— сказал он.— Это понятно. Не беспокойтесь.

Учитель пришел в восторг от системы, которая может простить слабость.

— Heil Hitler! — сказал он, кланяясь и пятясь назад.

— Heil Hitler! — ответил вице-адмирал.

Теперь учитель начал приводить в чувство жену. У него были хорошие вести — что она прощена, что все до одного поняли.

А тем временем бомбы падали и падали у них над головой, в трое детишек школьного учителя и глазом не моргнули.

Ояи, подумалось мне, вообще никогда глазом не моргнут.

И я, подумалось мне, тоже.

Больше никогда.

Глава сорок третья

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ И ДРАКОН...

Дверь моей крысиной мансарды была сорвана с петель и исчезла. Вместо нее привратник прибил мою походную палатку, а поверх нее — доски крест-накрест. На досках золотой краской для батарей, блеснувшей в свете моей спички, он написал:

«Внутри никого и ничего».

Как бы то ни было, кто-то с тех пор отодрал нижний угол холстины, и у моей крысиной мансарды образовалась небольшая треугольная дверца вроде входа в вигвам.

Я пролез вовнутрь.

Выключатель в мансарде тоже не работал. Свет проникал сюда только через несколько оставшихся целыми оконных стекол. Разбитые стекла были заменены кусками газет, тряпками, одеждой и одеялами. Ночной ветер со свистом врывался через это рванье. Свет был каким-то синим.

Я выглянул через заднее окно около плиты, посмотрел вниз в уменьшенное перспективой очарование маленького садика, маленького рая, образованного примыкающими друг к другу задними дворами. Никто там сейчас не играл.

И никто не мог закричать оттуда, как мне хотелось бы:

«Олле-Олле-бык-на-воле-ееееее...»

Что-то зашевелилось, зашуршало в темноте мансарды. Я подумал, что это крыса.

Я ошибся.

Шорох исходил от Бернарда О'Хара, человека, взявшего меня в плен так много лет назад. Это шевелился мой злой рок, человек, главной целью которого было травить и преследовать меня.

Я не собираюсь порочить его, сравнивая звук, который он производил, со звуком, производимым крысой. Я не сравнивал О'Хара с крысой, хотя его действия были так же раздражающе неуместны, как ярость крыс, скребущихся в стенах моей мансарды. Я в сущности не знаю О'Хара и знать не хочу. Тот факт, что в плен в Германии взял меня именно он, имеет для меня субмикроскопическое значение. Он не был моим карающим мечом. Моя игра была кончена задолго до того, как О'Хара взял меня в плен. Для меня О'Хара был не более чем сборщиком мусора, развеянного ветром по дорогам войны.

О'Хара придерживался другой, более возвышенной точки зрения насчет того, кем мы были друг для друга. Во всяком случае, напившись, он вообразил себя Святым Георгием, а меня — драконом. Когда я увидел его в темноте моей мансарды, он сидел на перевернутом оцинкованном ведре. На нем была форма Американского легиона. Перед ним стояла бутылка виски. Он, очевидно, уже давно ожидал меня, прикладываясь к бутылке и покуривая. Он был пьян, но его форма была в полном порядке. Галстук был на месте, фуражка надета под должным углом. Форма много значила для него, и предполагалось, что для меня тоже.

— Знаешь, кто я? — сказал он.

— Да,— сказал я.

— Я уже не так молод, как тогда. Я здорово изменился?

— Нет,— ответил я. Я уже писал, что раньше он был похож на поджарого молодого волка. Теперь в моей мансарде он выглядел нездоровым, бледным, одутловатым, с воспаленными глазами. Я подумал, что теперь он больше похож на койота, чем на волка. Его послевоенные годы были не слишком лучезарными.

— Ждал меня? — сказал он.
— Вы же меня предупреждали,— сказал я. Мне следовало вести себя с ним вежливо и осторожно. Я, конечно, ничего хорошего от него не ждал. То, что он был в полной форме, и то, что он ниже меня ростом и легче весом, наводило меня на мысль, что у него есть оружие, скорее всего пистолет.
Он неловко поднялся с ведра, и стало видно, насколько он пьян. При этом он опрокинул ведро.
Он ухмыльнулся.
— Являлся я тебе когда-нибудь в кошмарных снах, Кемпбэлл? — спросил он.
— Часто,— сказал я. Это была, конечно, ложь.
— Удивляешься, что я пришел один?
— Да.
— Многие хотели прийти со мной. Целая компания хотела приехать со мной из Бостона. А когда я прибыл в Нью-Йорк сегодня днем, пошел в бар и разговорился с незнакомыми людьми, они тоже захотели пойти со мной.
— Угу,— сказал я.
— А знаешь, что я им ответил?
— Нет.
— Я сказал им: «Извините, ребята, но эта встреча только для нас с Кемпбэллом. Так это должно быть — только мы двое, с глазу на глаз».
— Угу.
— «Эта встреча была предопределена давно, сказал я им,— сказал О'Хара.— Сама судьба решила, что мы с Говардом Кемпбэллом должны встретиться через много лет». Ты не чувствуешь этого?
— Чего именно?
— Что это судьба. Мы должны были встретиться так, именно здесь, в этой комнате, и ни один из нас не мог этого избежать, как бы мы ни старались.
— Возможно,— сказал я.
— Как раз тогда, когда думаешь, что жить больше незачем, внезапно осознаешь, что у тебя есть цель.
— Я понимаю, что вы имеете в виду.
Он покачнулся, но удержался.
— Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь?
— Нет.
— Я диспетчер грузовиков для замороженного крема.
— Простите? — сказал я.
— Целый парк грузовиков объезжает заводы, пляжи, стадионы — все места, где собирается народ.— О'Хара, казалось, на несколько секунд совсем забыл обо мне, мрачно размышляя о назначении грузовиков, которые он отправлял.— Машина, производящая крем, стоит прямо на грузовике,— бормотал он.— Всего два сорта — шоколадный и ванильный.— Теперь он был в таком же состоянии, как бедная Рези, когда она рассказывала мне об ужасающей бессмысленности своей работы на сигаретной машине в Дрездене.— Когда кончилась война, я рассчитывал добиться многого и не думал, что через пятнадцать лет окажусь диспетчером грузовиков для замороженного крема.
— Я думаю, у каждого из нас были разочарования,— сказал я.
Он не ответил на эту слабую попытку братания. Его беспокоили только собственные дела.
— Я собирался стать врачом, юристом, писателем, архитектором, инженером, газетным репортером,— сказал он.— Я мог бы стать кем угодно.
Но я женился, и жена сразу начала рожать детей, и тогда мы с приятелем открыли чертово заведение по производству пеленок, но приятель удрал с деньгами, а жена все рожала и рожала. После пеленок были жалюзи, а когда и это дело прогорело, появился замороженный крем. А жена все продолжала рожать, и чертова машина ломалась, и нас осаждали кредиторы, и термиты кишмя кишели в плинтусах каждую весну и осень.
— Как печально,— сказал я.
— И я спросил себя,— сказал О'Хара.— Что все это значит? Для чего я живу? В чем смысл всего этого?
— Правильные вопросы,— сказал я миролюбиво и пододвинулся ближе к тяжелым каминным щипцам.
— И тут кто-то прислал мне газету, из которой я узнал, что ты еще жив,— сказал О'Хара, и его снова охватило страшное возбуждение, которое вызвала в нем та заметка.— И вдруг меня осенило, зачем я живу и что в этой жизни я должен сделать.
Он шагнул ко мне, глаза его расширились.
— Вот я и пришел, Кемпбэлл, прямо из прошлого!
— Здравствуйте,— сказал я.
— Ты знаешь, что ты для меня, Кемпбэлл?
— Нет.

— Ты зло, зло в чистом виде.
— Благодарю.
— Ты прав, это почти комплимент,— сказал он.— Обычно в каждом плохом человеке есть что-то хорошее, в нем смешано почти поровну добро и зло. Но ты — чистейшее зло. Даже если в тебе есть что-то хорошее, все равно ты — сущий дьявол.
— Может быть, я и в самом деле дьявол.
— Не сомневайся, я обдумал это.
— Ну и что же вы собираетесь со мной сделать?
— Разорвать тебя на куски,— сказал он, раскачиваясь на пятках и расправляя плечи.— Когда я услышал, что ты жив, я понял, что я должен сделать. Другого выхода нет. Это должно было кончиться так.
— Не понимаю, почему?
— Тогда, ей-богу, я тебе покажу, почему. Я тебе покажу, ей-богу. Я родился, чтобы разорвать тебя на куски как раз здесь и сейчас.— Он обозвал меня подлым трусом. Он обозвал меня нацистом. Затем он обругал меня самым непристойным словосочетанием в английском языке.
И тут я сломал ему каминными щипцами правую руку.
Это был единственный акт насилия, когда-либо совершенный в моей, кажущейся теперь такой долгой, долгой жизни. Я встретился с О'Хара в поединке и победил его. Победить его было просто. О'Хара был так одурманен выпивкой и фантазиями о торжестве добра над злом, что даже не ожидал, что я буду защищаться. Когда он понял, что побит, что дракон намерен сразиться со Святым Георгием, он страшно удивился.
— Ах, вот ты как,— сказал он.
Но тут боль от множественного перелома окончательно доконала его нервы, и слезы брызнули у него из глаз.
— Убирайся,— сказал я.— Или ты хочешь, чтобы я сломал тебе другую руку и вдобавок проломил череп? — Я ткнул его щипцами в правый висок и сказал: — Прежде чем ты уйдешь, ты отдашь мне пистолет, нож или что там у тебя есть.
Он покачал головой. Боль была так ужасна, что он не мог говорить.
— У тебя нет оружия?
Он снова покачал головой.
— Честная борьба,— хрипло сказал он,— честная.
Я обшарил его карманы. У него не было оружия. Святой Георгий хотел взять дракона голыми руками!
— Ах ты, полоумный ничтожный пьяный однорукий сукин сын! — сказал я. Я сорвал тент с дверного проема, отодрал доски. Я вышвырнул О'Хара на площадку.
О'Хара наткнулся на перила и, потрясенный, уставился вниз в лестничный пролет, вдоль манящей спирали, туда, где его ждала бы верная смерть.
— Я не твоя судьба и не дьявол,— сказал я.— Посмотри на себя. Пришел убить дьявола голыми руками, а теперь убираешься бесславно, как человек, сбитый междугородным автобусом! И большей славы ты не заслуживаешь. Это все, чего заслуживает каждый, кто вступает в борьбу с чистым злом,— продолжал я.— Есть достаточно много причин для борьбы, но нет причин безгранично ненавидеть, воображая, будто сам Господь Бог разделяет такую ненависть. Что есть зло? Это та большая часть каждого из нас, которая жаждет ненавидеть без предела, ненавидеть с Божьего благословения. Это та часть каждого из нас, которая находит любое уродство таким привлекательным. Это та часть слабоумного, которая с радостью унижает, причиняет страдания и развязывает войны,— сказал я.
От моих ли слов, от унижения ли, опьянения или от шока из-за перелома О'Хара вырвало, не знаю, но его вырвало. Содержимое его желудка изверглось с четвертого этажа в лестничный пролет.
— Убери за собой! — крикнул я.
Он взглянул на меня, глаза его все еще были полны концентрированной ненависти.
— Я еще доберусь до тебя, братец,— сказал он.
— Может быть, но это все равно не изменит твоего удела: банкротств, мороженого крема, кучи детишек, термитов и нищеты. И если ты так уж хочешь быть солдатом в легионах Господа Бога, вступи в Армию Спасения.
И О'Хара убрался.

Глава сорок четвертая

«КЭМ-БУУ»...

Общеизвестно, что арестанты, придя в себя, пытаются понять, как они попали в тюрьму. Теория, которую я предлагаю для себя по этому поводу, сводится к тому, что я попал в тюрьму, так как не смог перешагнуть или перепрыгнуть через человеческую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О'Хара в вестибюле у лестницы.

Я вышел из мансарды вскоре после ухода О'Хара. Ничто меня там не удерживало. Совершенно случайно я прихватил с собой сувенир. Выходя из мансарды, я ногой поддал что-то на лестничную площадку. Я поднял этот предмет, и он оказался шахматной пешкой, из тех, что я вырезал из палки от швабры.

Я положил ее в карман. Она и сейчас со мной. Когда я опускал ее в карман, то почувствовал вонь от нарушения общественного порядка, которое учинил О'Хара.

По мере того, как я спускался по лестнице, вонь усиливалась.

Когда я дошел до площадки, где жил молодой доктор Абрахам Эпштейн, человек, который провел свое детство в Освенциме, вонь остановила меня.

И тут я понял, что стучусь в дверь доктора Эпштейна.

Доктор подошел к двери в халате и пижаме, босой. Он очень удивился, увидев меня.

— В чем дело? — спросил он.

— Можно войти? — спросил я.

— По медицинскому делу? — спросил он. Дверь была на цепочке.

— Нет. По личному — политическому.

— Это очень срочно?

— Думаю, что да.

— Объясните вкратце, в чем дело?

— Я хочу попасть в Израиль, чтобы предстать перед судом.

— Что-что?

— Я хочу, чтобы меня судили за преступления против человечности,— сказал я.— Я хочу поехать туда.

— Почему вы пришли ко мне?

— Я думаю, вы должны знать кого-нибудь — кого-нибудь, кого надо поставить в известность.

— Я не представитель Израиля,— сказал он.— Я американец. Завтра утром вы сможете найти всех тех израильтян, которые вам нужны.

— Я бы хотел сдаться человеку из Освенцима.

Он вабесился.

— Тогда ищите одного из тех, кто только и думает об Освенциме! Есть много таких, кто только о нем и думает. Я никогда о нем не думаю! — И он захлопнул дверь.

Я оцепенел, потерпев неудачу в достижении единственной цели, которую я смог себе придумать. Эпштейн был прав — утром я смогу найти израильтян.

Но надо было еще пережить целую ночь, а у меня уже не было сил двигаться. За дверью Эпштейн разговаривал со своей матерью. Они говорили по-немецки.

Я слышал только обрывки их разговора. Эпштейн рассказывал мвтери о том, что только что произошло.

Из того, что я услышал, меня поразило, как они произносят мою фамилию, поразило ее звучание.

«Кэм-буу»,— повторяли они снова и снова. Это для них был Кемпбэлл.

Это было концентрированное зло, зло, которое воздействовало на миллионы, отвратительное существо, которое добрые люди хотели уничтожить, зарыть в землю...

«Кэм-буу».

Мать Эпштейна так разволновалась из-за Кэм-буу и того, что он затевает, что подошла к двери. Я уверен, что она не ожидала увидеть самого Кэм-буу. Она хотела только испытать отвращение и подивиться на воздух, который он только что вытеснил.

Она открыла дверь, а сын, стоящий сзади, уговаривал ее не делать этого. Она едва не потеряла сознание от вида самого Кэм-буу, Кэм-буу в состоянии каталепсии.

Эпштейн оттолкнул ее и вышел, как будто собирвясь напасть на меня.

— Что вы тут делаете? Убирайтесь к черту отсюда! — сказал он.

Так как я не двигался, не отвечал, даже не мигал, даже, казалось, не дышал, он начал понимать, что я прежде всего нуждаюсь в медицинской помощи.

— О, Господи,— простонал он.

Как покорный робот, я позволил ему ввести себя в квартиру. Он привел меня в кухню и усадил там за белый столик.

— Вы слышите меня? — сказал он.

— Да,— ответил я.

— Вы знаете, кто я и где вы находитесь?

— Да.

— С вами такое уже бывало?

— Нет.

— Вам нужен психиатр,— сказал он.— Я не психиатр.

— Я уже сказал вам, что мне надо,— сказал я.— Позовите кого-нибудь, не психиатра. Позовите кого-нибудь, кто хочет предать меня суду.

Эпштейн и его мать, очень старая женщинв, спорили, что со мной делать. Его мать сразу поняла причину моего болезненного состояния, поняла, что болен не я сам, а скорее весь мой мир болен.

— Ты не впервые видишь такие глазв,— сказала она своему сыну по-немецки,— и не впервые видишь человека, который не может двигаться, пока кто-то не скажет ему куда, который ждет, чтобы кто-то сказал ему, что делвть дальше, который готов делать все, что ему скажут. Ты видел тысячи таких людей в Освенциме.

— Я не помню,— сказал Эпштейн натянуто.

— Хорошо,— сказала мать.— Тогда уж позволь мне помнить. Я могу вспомнить все. В любую минуту. И как одна из тех, кто помнит, я хочу сказать — надо сделать то, что он просит. Позови кого-нибудь.

— Кого я могу позвать? Я не сионист. Я антисионист. Да я даже не антисионист. Я просто никогда об этом не думаю. Я врач. Я не знаю никого, кто еще думает о возмездии. Я к ним испытываю только презрение. Уходите. Вы не туда пришли.

— Позови кого-нибудь,— повторила мать.

— Ты все еще хочешь возмездия? — спросил он ее.

— Да,— отвечала она.

Он подошел ко мне вплотную.

— И вы действительно хотите наказания?

— Я хочу, чтобы меня судили,— сказал я.

— Это все — игра,— сказал он в ярости от нас обоих.— Это ничего не доказывает.

— Позови кого-нибудь,— сказала мать.

Эпштейн поднял руки.

— Хорошо! Хорошо! Я позвоню Сэму. Я скажу ему, что он может ствть великим сионистским героем. Он всегда хотел быть великим сионистским героем.

Фамилии Сэма я так никогда и не узнал. Доктор Эпштейн позвонил ему из комнаты, а я и его старуха-мать оставались в кухне.

Его мать сидела за столом напротив меня и, положив руки на стол, изучала мое лицо с меланхолическим любопытством и удовлетворением.

— Они вывинтили все лампочки,— сказала она по-немецки.

— Что? — спросил я.

— Люди, которые ворвались в вашу квартиру,— они вывинтили все лампочки на лестнице.

— М... м...

— В Германии было то же.

— Простите?

— Они всегда это делали. Когда СС или гестапо приходили брать кого-нибудь,— сказала она.

— Я не понимаю,— сказал я.

— Даже когда в дом приходили люди, которые хотели сделать что-нибудь патриотическое, они всегда начинали с этого. Кто-то обязательно вывинтит лампочки.— Она покачала головой.— Казалось бы странно, но они всегда это делают.

Доктор Эпштейн вернулся в кухню, отряхивая руки.

— Все в порядке,— сказал он.— Сейчас прибудут три героя: портной, часовщик и педиатр — все трое в восторге от роли израильских коммандос.

— Благодарю,— сказал я.

Эти трое пришли за мной минут через двадцать. У них не было оружия, и они не были официальными агентами Израиля или какой-нибудь другой страны, они были сами по себе. Их статус определяла моя виновность и мое страстное желание сдаться кому-нибудь, все равно кому.

Так случилось, что этот арест обернулся для меня возможностью провести остаток ночи в постели в квартире портного. Наутро, с моего согласия, они передали меня официальным израильским представителям.

Когда эти трое пришли за мной к доктору Эпштейну, они громко постучали во входную дверь.

Услышав этот стук, я в момент совершенно успокоился. Я был счастлив.

— Ну как, все в порядке? — спросил Эпштейн, прежде чем впустить их.

— Да, спасибо, доктор.

— Вы еще хотите ехать?

— Да,— ответил я.

— Он должен ехать,— сказала его мать. И тут она наклонилась ко мне через кухонный стол и пропела по-немецки нечто, прозвучавшее как кусочек полузабытой песенки из счастливого детства.

То, что она пропела, была команда, которую она слышала по громкоговорителю в Освенциме,— слышала годами много раз в день.

— Leichenträger zu Wache,— пропела она.

Прекрасный язык, не правда ли?

Перевод?

Уборщики трупов — на вахту.

Вот что спела мне эта старая женщина.

Глава сорок пятая

ЧЕРЕПАХА И ЗАЯЦ...

Итак, я здесь, в Израиле, по своей собственной иоле, хоть моя камера заперта и находится под вооруженной охраной.

Мой рассказ окончен, и как раз вовремя — завтра начинается процесс. Заяц истории в очередной раз догнал черепаху литературы. Больше не будет времени писать. Приключения мои продолжаются.

Против меня будут свидетельствовать многие. За меня — никто.

Обвинение, как мне сказали, намерены начать с прослушивания записей наиболее страшных моих радиопередач, так что самым безжалостным свидетелем против меня буду я сам.

Бернард О'Хара приехал сюда за свой счет и надоедает обвинителю лихорадочной бессвязностью своих слов.

Так же ведет себя и Гейнц Шильдкнехт, некогда мой лучший друг и партнер по пинг-понгу, мотоцикл которого я украл. Мой адвокат говорит, что Хейнц полон злобы и, к моему удивлению, собирается дать существенные показания. Откуда взялась эта респектабельность у Хейнца, ведь он работал за соседним со мной столом в министерстве пропаганды и народного просвещения?

Потрясающе: Хейнц — еврей, член антифашистского подполья во время войны, израильский агент после войны и до настоящего времени.

И он может это доказать.

Браво, Хейнц!

Доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б. и Иона Потапов, он же Джорж Крафт, не смогли прибыть на процесс, они оба отбывают сроки в Федеральной тюрьме Соединенных Штатов.

Однако они прислали письменные показания, данные под присягой.

Их показания не очень помогут, скорее наоборот.

Доктор Джонс под присягой показал, что я святой и мученик за святое дело нацизма. Он также заявил, что у меня самые арийские зубы, какие он когда-либо видел, если не считать зубов на фотографиях Гитлера.

Крафт-Потапов показал под присягой, что русская разведка никогда не могла доказать, что я был американским агентом. Он выразил мнение, что я — ярый нацист, но не могу нести ответственности за свои поступки, ибо я политический кретин, человек искусства, не способный отличить действительность от вымысла.

Те трое, которые взяли меня в квартире доктора Эпштейна — портной, часовщик и педиатр,— тоже участвуют в процессе, и проку от них не больше, чем от О'Хара.

Говард У. Кемпбэлл-младший, вот твоя жизнь!

Мой израильский адвокат мистер Алвин Добровитц перевел сюда всю мою почту, без всяких оснований надеясь найти в ней какие-нибудь доказательства моей невиновности.

Ни черта.

Сегодня пришли три письма.

Я распечатаю их сейчас и по порядку расскажу их содержание.

Говорят, надежда вечно живет в человеческой душе. Она вечно живет, во всяком случае, в душе Добровитца, и потому, наверное, он так дорого мне обходится.

Чтобы выйти на свободу, мне необходимо хоть какое-нибудь доказательство существования Фрэнка Виртанена и того, что он сделал меня американским шпионом, считает Добровитц.

Ну, а теперь о сегодняшних письмах.

Первое начинается достаточно тепло: «Дорогой друг»,— называют меня, несмотря на все приписываемые мне дьявольские деяния. Авторы письма предполагают, что я учитель. Мне кажется, я уже упоминал в одной из предыдущих глав, как мое имя попало в список предполагаемых работников на ниве просвещения, как я стал получателем корреспонденции, предназначенной для тех, кто занимается обучением молодежи. Это письмо было от фирмы «Творческие игры».

Дорогой друг [обращается фирма ко мне, сидящему в иерусалимской тюрьме], не хотите ли вы создать творческую атмосферу вашим ученикам у них дома? Очень важно, что происходит с ними вне школы. Ребенок находится под вашим наблюдением в среднем 25 часов в неделю, тогда как с родителями проводит 45 часов. Влияние родителей может усложнить или облегчить ваши усилия.

Мы полагаем, что игрушки, созданные компанией «Творческие игры», будут прекрасно стимулировать дома ту творческую атмосферу, которую вы как наставник пытаетесь пробудить в ваших маленьких воспитанниках.

Как «Творческие игры» могут это сделать?

Наши игрушки должны обеспечивать физические потребности растущих детей. Эти игрушки помогают ребенку открывать и разыгрывать разные жизненные ситуации дома и в обществе. Эти игры способствуют выражению индивидуальности, что затруднено при групповом воспитании в школе.

Эти игрушки помогают ребенку избавиться от агрессивности...

На что я ответил:

«Дорогие друзья! Как человек, имеющий большой опыт в индивидуальной и общественной жизни, и используя опыт реальных людей в реальных жизненных ситуациях, я сомневаюсь, что какие-либо игры могут подготовить ребенка даже на одну миллионную к тем зуботычинам, которые ждут его в жизни. Я убежден, что ребенок должен начинать знакомиться с реальными людьми и с реальным обществом по возможности с момента рождения. И только в случае, если по каким-то причинам это невозможно, стоит использовать игрушки.

Но не такие спокойные, приятные, приглаженные, простые в обращении, как в вашей брошюре, друзья. В этих игрушках не должно быть ничего гармоничного, чтобы дети не выросли в ожидании спокойствия и порядка и не были потом съедены заживо.

Что касается подавления детской агрессивности, то и против этого. Им понадобится вся их агрессивность, которую они могут накопить, чтобы полностью высвободить ее во взрослом состоянии. Назовите хоть одного великого человека в истории, который бы не бурлил и не кипел в детстве, как котел с закрытым предохранительным клапаном.

Позвольте мне сказать, что дети, вверенные моему попечению в среднем 25 часов в неделю, вовсе не расслабляются за те 45 часов, которые они проводят с родителями. Они не играют в Ноев Ковчег с вырезанными из дерева животными, уж поверьте мне. Они все время шпионят за реальными взрослыми, пытаясь понять, за что они борются, чего они алчут и как они удовлетворяют свою алчность, почему и как они лгут, что сводит их с ума, каковы их безумства и так далее.

Не могу предсказать, в какой именно области эти мои воспитанники преуспеют, но гарантирую им всем без исключения успех в любом цивилизованном обществе.

Ваш сторонник реалистической педагогики

Говард У. Кемпбэлл-младший».

Второе письмо?

Оно тоже обращается к Говарду У. Кемпбэллу-младшему как к «Дорогому другу», доказывая, что, по крайней мере, двое из трех авторов сегодняшних писем не имеют никаких претензий к Говарду У. Кемпбэллу-младшему. Это письмо от биржевого маклера из Торонто, Канада. Оно взывает к моим капиталистическим чувствам.

Мне предлагается купить акции вольфрамовых рудников в Манитобе. Прежде чем я сделаю это, я должен более подробно познакомиться с этой компанией. В частности, я должен знать, что она имеет способных управляющих с хорошей репутацией.

Я ведь не вчера родился.

Третье письмо?

Оно адресовано прямо мне сюда, в тюрьму.

И это действительно любопытное письмо. Позвольте мне привести его целиком.

Дорогой Говард!

Порядок всей человеческой жизни рушится сейчас, как легендарные стены Иерихона. Кто же Иешуа и что за звуки издают его трубы? Хотел бы я знать. Музыка, которая произвела такие разрушения в твоих старых стенах, негромкая. Она расплывчатая, тихая, необычная.

Это могла бы быть музыка моей совести. В этом я сомневаюсь.

Я не сделал вам ничего плохого.

Я думаю, что эта музыка, скорее всего,— непреодолимое желание бывшего солдата совершить небольшую измену. И измена — это письмо.

В этот момент я нарушаю прямые и точные приказы, которые были мне даны, даны в интересах Соединенных Штатов Америки.

Я заявляю, что я тот человек, которого вы знали как Фрэнка Виртанена, и сообщаю вам свое настоящее имя.

Мое имя Гарольд Дж. Спэрроу.

Я ушел в отставку из армии Соединенных Штатов в чине полковника. Мой личный номер 0—61134.

Я существую. Меня можно увидеть, услышать, потрогать почти каждый день внутри или возле единственного дома в Коггинс Понд, в шести милях к западу от Хинкливилла, штат Мэн.

Я подтверждаю и готов подтвердить под присягой, что завербовал вас как амери-

канского агента и что вы, ценой невероятных жертв, стали одним из наиболее полезных агентов второй мировой войны.

И если над Говардом У. Кемпбэллом-младшим состоится суд, затеваемый фарисействующими националистами, пусть это письмо будет решающим свидетелем.

Искренне ваш,
«Фрэнк».

Итак, я скоро снова буду свободным человеком и смогу отправляться куда захочу.

Эта перспектива вызывает у меня тошноту.

Я думаю, что сегодня ночью я должен повесить Говарда У. Кемпбэлла-младшего за преступления против самого себя.

Я знаю, что сегодня та самая ночь.

Говорят, что человек, которого вешают, слышит великолепную музыку. К сожалению, у меня, как и у моего отца, в отличие от моей музыкальной матери, совершенно нет слуха. Все-таки я надеюсь, что мелодия, которую я услышу, не будет «Белым Рождеством» Бинга Кросби.

Прощай, жестокий мир!

Auf Wiedersehen?

Перевели с английского
Л. С. Дубинская и Д. Ф. Кеслер

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ПЕСНИ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

Среди загадочных, до сих пор не до конца прочитанных русских поэтов нашего столетия выделяется Николай Клюев, знаменитый олонецкий «песнослов-баян» (так он сам называл себя), автор незабываемо прекрасных строк о таинственной «избяной» России — Великой Матери.

Он впервые появился в петербургских и московских салонах в 1911—1912 годах. Выходец из Заонежья — края раскольников и сектантов, из глухой северной деревушки, одетый «по-народному», говоривший с оканьем, Клюев быстро привлек к себе общее внимание. Народными казались также «песни» и «были», которые поэт не без вызова читал перед «интеллигентной» публикой. Однако было видно, что поэт учился словесному мастерству, прежде всего у русских символистов.

За короткое время — с осени 1911 до весны 1913 года — выходят в свет несколько стихотворных сборников Клюева. Первый из них, озаглавленный «Сосен перезвон», был посвящен Александру Блоку — с ним Клюев переписывался несколько лет. Предисловие же написал Валерий Брюсов. Тепло встреченный критикой, этот сборник принес олонецкому поэту заслуженную известность. Не удивительно: интерес к «народу» (точнее — крестьянству) и его духовным возможностям был в ту пору чрезвычайно велик; немалым успехом пользовалась и стилизованная деревня. Клюевым увлекались многие. Среди его почитателей были Блок, Андрей Белый, Сергей Городецкий, А. Н. Толстой, Гумилев, Анна Ахматова... В нем видели подлинно «народного» поэта, чему способствовали, с одной стороны, его талантливые стилизации в фольклорном духе, с другой — представления о нем как о крестьянине-сектанте, страннике-богомольце и певце-пророке, выступающем от лица «народа». Впрочем, такой ореол вокруг Клюева создавался не без его собственного участия.

К 1917 году слава Клюева становится всероссийской. Он дружит с Есениным, совершает гастрольные поездки по России вместе с известной певицей Надеждой Плевицкой. Его стихи публикуются в крупнейших русских газетах и журналах.

С воодушевлением воспринял поэт революционные события 1917 года. Он верил в духовное «преображение» мира, в грядущий патриархальный рай, где будут господствовать жнецы и пахари — люди «естественного» труда. Как и многим, Клюеву тогда казалось, что пробудившийся «народ-Святогор» сможет наконец выпрямиться во весь свой могучий рост. Но в картине счастливого будущего, что рисовалась Клюеву, не было места Городу — машинной цивилизации, фабрично-заводскому укладу, «железному Молоху»; все это им отвергалось как начало, враждебное Природе и Богу.

Мечты Клюева и других «новокрестьянских» поэтов (Есенина, Клычкова) оказались несбыточными, утопическими. История жестоко посмеялась над поэтами-романтиками. Неонародническая доктрина, которую лелеял и утверждал Клюев, стала рушиться сразу же после Октябрьского переворота. Поэт «поддонной» святой Руси, певец ее древних патриархальных устоев, Клюев был обречен изначально — самим ходом русской истории.

Впрочем, в 1917—1918 годах еще трудно

Азадовский Константин Маркович (р. в 1941 г.) — кандидат филологических наук, переводчик, литературовед, автор многочисленных публикаций по истории русской и немецкой культуры. Член СП и ПЕН-клуба. Живет в Ленинграде.

было себе представить, куда пойдет революция. Еще сохранялись иллюзии и надежды... Еще раздавались отдельные голоса, славословившие Клюева на прежний лад. Так, известный критик Иванов-Разумник в статье «Поэты и революция» (1917) с пафосом возглашал, что Клюев — «подлинно *первый* народный поэт 〈...〉 он вскрывает перед нами не только удивительную глубинную поэзию крестьянского обихода 〈...〉 но и тайную мистику внутренних народных переживаний». Приблизительно так же отзывался тогда о Клюеве и Андрей Белый.

Живя в родной Вытегре (с весны 1918 г.), Клюев в ту пору проявляет себя убежденным сторонником советской власти: активно сотрудничает в местной печати, пишет публицистические статьи и стихи, прославляющие революционное «красное» время и даже... вступает в партию большевиков. (Впрочем, пребывание Клюева в партии оказалось недолгим — весной 1920 года он был из нее исключен за религиозное мировоззрение.)

Но уже тогда Клюев испытывал неуверенность и тревогу. Ему все более становилось ясно, что победившая — «пролетарская»! — идеология несовместима с его идеалами крестьянского «ржаного рая» и «святой Руси», которые он упорно продолжал воспевать («Уму — республика, а сердцу — Матерь Русь...»). Ощущение обреченности, неминуемой гибели охватывало поэта уже в начале 1918 года. «Я очень и очень удручен,— писал он в те месяцы издателю В. С. Миролюбову,— ни за что придется пропадать, хотя при пролетарской культуре такие люди, как я, и должны погибнуть». В своих стихах тех лет Клюев охотно спорил с поэтами Пролеткульта, воспевавшими заводы, турбины, домны и «железного» пролетария. Полемика с ними занимает видное место в его поэзии 1918—1921 годов (три таких стихотворения впервые публикуются ниже). С некоторыми из пролетарских поэтов (В. Кириллов, И. Садофьев и др.) Клюев был знаком лично, что не мешало ему обличать их гневными, язвительными строками:

Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные 〈...〉
Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово...

«И цвести над Русью новою Будут гречневые гении»,— столь явным вызовом завершал Клюев это известное стихотворение, обращенное к В. Кириллову.

Горечь поэта усугублялась тем, что происходило в стране: разруха, война, террор. Трагическим, подчас апокалиптическим видением действительности окрашены стихотворения, составившие сборник «Львиный хлеб» (М., 1922). Центральный образ книги — окровавленная, казнимая, неприкаянная Россия. Вот несколько строк стихотворения «Из избы вытекают межи...»:

Хмура Волга и стевь непогожа,
Где курганы пурга замела.
Где Светланина треплется лента,
Окровавленный плата лоскут...
Грай газетный в щекот конвента
Славословят с оковами кнут.

Впрочем, настроения, владевшие в ту пору Клюевым, выражались у него чаще исподволь, намеком, иносказательно. «Вы пишете о стихах! — отвечает Клюев В. С. Миролюбову в конце 1919 года.— Стыдно мне выносить их на люди. Они уже с занозой, с ядком. Бесенята обсели их, как мухи». Это красноречивое признание — ключ к стихам Клюева первых послереволюционных лет. И, кстати, не все из них поэту случалось «выносить на люди». Те стихотворения, в которых чувство свершившейся катастрофы было выражено слишком откровенно, не вошли в сборник «Львиный хлеб» и надолго остались под спудом. Таково, например, публикуемое ниже стихотворение «Потемки — поджарая кошка...».

Летом-осенью 1923 года Клюев был вынужден окончательно расстаться с Вытегрой и поселиться в Петрограде. К тому времени ему было нанесено несколько жестоких ударов. Против его «сермижной» и «пахотной» идеологии наиболее ополчался поэт В. Князев, выпустивший затем отдельную книгу «Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)» (Пг., 1924). Но особенно слышно прозвучала в 1922 году статья Л. Д. Троцкого, с которой, собственно, берет начало новый миф о Клюеве — «кулацком» и «контрреволюционном» поэте (тогда как миф о «народном» поэте необратимо отступал в прошлое).

На берегах Невы Клюеву жилось неспокойно. Официальная советская критика (рапповцы и др.) держат «крестьянского» поэта под постоянным прицелом. Печататься удавалось лишь с большим трудом. Однако именно в 20-е годы Клюев создает большие эпические произведения («Плач о Сергее Есенине», «Деревня», «Погорельщина»); в них как художник он достигает новых вершин. Особенной мощью и зрелостью отличается поэма «Погорельщина» (1928), полностью опубликованная в СССР лишь в 1987 году. Это уже не стихи «с занозой, с ядком», но своего рода плач по уничтоженной «погорелой» России и ее погибшей поруганной красоте.

В 1928 году выходит в свет последний прижизненный сборник Клюева — «Изба и поле». В последующие годы ситуация поэта стремительно ухудшается. Провозглашенная в стране политика коллективизации и ликвидации кулачества подчиняла себе и положение дел в культуре. Достаточно вспомнить, что крестьянские писатели получают в 1931 году название... «пролетарско-колхозных». Объявленный «врагом» и подвергнутый неутихающей травле, Клюев вовсе устраняется из советской литературы.

Слово «враг» в условиях того времени было равносильно обвинительному приговору. И поэт, конечно, угадывал, что ему предстоит. Тем более замечательно, что и в ту эпоху — 30-х годов — Клюев не идет на уступки, пытается сохранить себя как поэт и личность. Не лишенный актерства и даже лукавства в обыденной жизни, он не желал притворяться в главном. И в своих последних стихах он вновь и вновь проговаривается о том, какой видится ему современная Россия — торжеством «дьявольских сил» или новой «татарщиной», горестно сокрушается о судьбе страны:

Отлетает Русь, отлетает
С косогоров, лазов, лесов...

Все чаще пишет Клюев о собственной неминуемой смерти, призывает ее. В начале 1933 года эти настроения усугубляются личными обстоятельствами: «изменой» близкого ему человека, молодого художника Анатолия Яр-Кравченко (1911—1983), с которым поэта в течение нескольких лет соединяла тесная дружба. Возникает цикл стихотворных «ламентаций»; в них поэт оплакивает «свежую могилу» своей любви (см. два публикуемых ниже стихотворения). То и дело мелькают в его стихах упоминания о погосте, гробовой доске, появляются жуткие образы проказы, нетопыря или змеи с ядовитым жалом.

Старикам донашивать кафтаны,
Нам же рай смертельный в желанный,
Где проказа пляшет со змеей!

Ощущение скорой и страшной развязки не обмануло поэта. 2 февраля 1934 года он был арестован в Москве, где жил постоянно с начала 30-х годов. На допросах Клюев держался стойко, не скрывал своих истинных убеждений.

«Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении „Есть демоны чумы, проказы и холеры...“,— подтвердил Клюев на допросе.— 〈...〉 Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни». А про коллективизацию поэт сказал, что это процесс, «разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа».

Решением коллегии ОГПУ Клюев был выслан из Москвы сроком на 5 лет в город Колпашев Нарымского края (Западная Сибирь). Через несколько месяцев его переводят на жительство в Томск. В сохранившихся письмах (подчас потрясающих по своему звучанию) поэт оплакивает себя и свою музу, «которой зверски выколоты провидящие очи» (из письма к С. А. Клычкову от 12 июня 1934 года). В неописуемо тяжких, страдальческих условиях проводит Клюев эти сибирские годы. «Я последние три месяца не вставал с койки — все болел и болел,— рассказывает он своей знакомой Н. Ф. Христофоровой 6 апреля 1937 года.— Время делает свое — все реже и реже приходит милостыня и вести от моих далеких друзей, а ведь осталось еще не так много — полтора года, если я их вынесу — продержусь, то я и спасен, если Бог грехам потерпит...» Но мечтам о «спасении» не суждено было сбыться. Рвано через два месяца его вновь арестовывают — по обвинению в деятельности вымышленной «монархо-кадетской» организации. Как стало известно в 1989 году, Клюев был расстрелян в Томске по приговору «тройки» между 23 и 25 октября 1937 года. «Поэт великой страны, ее красоты и судьбы», он разделил ее горькую, несправедливую участь.

Ниже публикуются семь стихотворений Клюева 1919—1921 годов и два «любовных послания» к Анатолию Яр-Кравченко 1933 года. Три стихотворения печатались ранее: первое и второе — в газете «Звезда Вытегры» (№ 74 от 4 октября 1919 г.) в составе цикла «Вороньи песни»; стихотворение «Потемки — поджарая кошка...» — в 8-м номере Литературного приложения к парижской газете «Русская мысль» (№ 3781 от 23 июня 1989 г.). Широкому читателю эти произведения, таким образом, труднодоступны.

Остальные стихотворения публикуются впервые. Третье, четвертое, пятое и шестое стихотворения сохранились в копии, выполненной Николаем Ильичем Архиповым (1887—1967), близким другом Клюева. Тетрадь, в которую были переписаны им эти и другие стихотворения поэта, находится ныне в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Там же, в бумагах Архипова, хранятся и машинописи обоих «посланий»: «Моему другу Анатолию Яру» и «Из предсмертных песен». Машинописный экземпляр двух последних текстов обнаружен также в архиве Р. В. Иванова-Разумника (Рукописный отдел Пушкинского дома, фонд 79, опись 4, № 92). В целом эти копии совпадают, если не считать отрывков из книги П. Флоренского «Столп и утверждение истины», образующих эпиграф к стихотворению «Моему другу Анатолию Яру» (в списке Архипова они опущены).

В основе стихотворений «Я обижен сестрою родной, домашней...» и «Воры в келье: сестра я зять...» лежит реальное событие: ссора Клюева с его родной сестрой Клавдией Алексеевной Расщепериной (1881—1941?), которая в голодные послереволюционные годы на время переселилась из Петрограда в Вытегру. Причины

ссоры не вполне выяснены. «Сестра и зять вдобавок обокрали меня,— рассказывал Клюев Есенину 28 января 1922 года,— я уезжал в Белозерский уезд, они вырезали замок в келье, взломали дубовый кованый сундук и выкрали все, что было мною приобретено за 15-ть лет...»

О стихотворениях «Григорий Новых цветистей Бессалько...» и «Статья в широченных „Известиях"...» следует сказать, что они навеяны, очевидно, статьями из петроградских «Известий» за май 1920 года. В первой из них (№ 104 от 14 мая) под названием «Библиотека Пролеткульта» (статья подписана: А. К-н) восхвалялось творчество пролетарских поэтов И. Садофьева и А. Самобытника (Маширова). «...Новый социальный мир,— восклицал автор статьи,— на новом фундаменте выстроенный, мощном и крепком (железо и гранит), т. е. социально-справедливом и моральном,— к этому надо стремиться». Слова о железе и граните были цитатой из стихов Садофьева:

На железе и граните
Разобьем цветистый сад.

Сочувственно отмечалось также, что в стихах Садофьева слышна «заводская жизнь с ее шумом машины, лязгом железа и стали, стуком молота, с дымящимися высокими трубами и вечно закоптелым удушливым воздухом в мастерских и горнах». Говоря иначе, возвеличивался тот самый неприемлемый для Клюева бездуховный машинный мир, враждебный Слову, Искусству, Тайне.

Автором другой статьи в петроградских «Известиях» (№ 111 от 24 мая), озаглавленной «Крестьянские поэты», был литератор П. В. Пятницкий, писавший под псевдонимом Кий (отсюда — клюевская строчка в пятом стихотворении: «Пересыплют в „Известиях" Кии...»). Касаясь одних лишь Клюева и Есенина, Пятницкий заявлял, что «крестьянские поэты недостаточно размашисты, стойки и проникнуты духом коллективизма». Кроме того, Клюеву ставилось в вину то, что «он в неизмеримо большей степени является певцом былой статики, чем текущей динамики уже мирового размаха». Не эти ли слова назвал Клюев «сулемой» и «построчной ваксой»?!

Стихотворения расположены в хронологическом порядке: первые два относятся к 1919 г., третье, четвертое и пятое, по всей видимости,— к 1920 г., шестое — к 1921 г. После стихотворения «Моему другу Анатолию Яру» в машинописи имеется помета: «Первого мая 1933 г. Москва»; после стихотворения «Из предсмертных песен» — «10-го мая 1933 г.».

Эпиграф к стихотворению «Моему другу Анатолию Яру» воспроизводится по книге Флоренского, с сохранением сделанных Клюевым перестановок в тексте. Эпиграф к стихотворению «Из предсмертных песен» представляет собой две строки самого Клюева: поэт ласково уподоблял своего питомца лосенку, себя же — старому лесному ручью. В стихотворении «Повесть скорби» читаем:

Жил дед в Анатолий Яр —
Лосенок, что пришел напиться
К ручью лесвому... и т. д.

Последняя строфа стихотворения «Статья в широченных „Известиях"...» приписана другими чернилами.

Недостающие в копиях знаки препинания расставлены публикатором.

К. Азадовский

1

Мы верим в братьев многоочитых,
А Ленин в железо и в красный ум.
В придорожных хлябких ракитах
Многоверстный горестный шум.

Неспроста и застольный ломоть,
Как душа, златисто-духмян.
Погрозится облачный коготь,
На болотце выйдет туман.

С пихты белка обронит шишку,
Подарив земле семена...
Братья, время ли в пламя-книжку
Пеленать бойцов имена?

Не в ракитах ли Луначарский
Нашептывает деревням:
«Кнутобойный облик татарский
Ненавистен знанья сынам».

Не Зиновьев ли множит ветры
И зловеще ставнею бьет?..
Нарядилась Россия в гетры,
Позабыв узорный камлот.

Тихий Углич, Ростов Великий
Не пахнут родимым углом,
И стихи — седые калики
Загнусавили вороньем.

Грай пророчит «Остров Елены»,
Из Гейне «Двух гренадер»...
Сшивают саван измены
Из мглы и страхов пещер.

Чернобыльем цветет Рассудок,
И пургою пляшет Порок.
Для кого же из незабудок
Небеса сплетают венок?

2

Я обижен сестрою родной, домашней,
В чьих напевах детства свирель.
Многоярусной зоркою башней
Вознеслась за оконцем ель.

Белка-совесть теребит хвои;
Слезка капет, как круглый год.
В нумидийском мускусном зное
Дозревает мщения плод.

Искривятся мои иконы,
Воздохнет в чулане тулуп,
И слетятся на ель вороны,
Чуя теплый, лакомый труп.

Не найдется в целой коммуне
Безутешней моих зрачков.
В октябре, как в смуглом июне,
Много алых, жгучих цветов.

Полыхают они на знаменах,
На товарищеских губах...
В листопадных, предзимних звонах
Притаился холодный страх.

В марсельезе коршуна крики,
И в плакатах буйственный лев.
Генеральским смехом Деникин
Покрывает борьбы напев.

Оттого в опустелом доме
Ненавистна песня сестры...
Мы очнемся в Красном Содоме,
Где из струн и песен шатры,

Где русалкою Саломия
За любовь исходит в плясне...
Обезглавленная Россия
Предстает, как поэма, мне.

3

Воры в келье: сестра и зять
С отмычкой от маминой укладки.
Как же мне не рыдать
Ввечеру при старой лампадке!

Как же мне не седеть,
Не складывать лба в морщины!..
Паучья липкая сеть
Заткала горы, долины.

И за каждым выступом вор
С рысьими зелеными глазами...
Не пролазен терновый сор,
Накопленный злыми веками.

Сестра, хитроглазый зять —
Привиденья из жуткой сказки...
Чрез болото, лесную гать
Мчатся зимы салазки.

Леденеет мое перо,
И кудрявятся вьюгой строки,
Милосердие, жертва, добро —
Только сон голубой, далекий.

На глухих руинах стихов
Воронье да совы гнездятся,
И, кляня под звон кандалов,
Запевает сестра о братце.

4

Статья в широченных «Известиях»,
Веющая гибелью княжны Таракановой,
Вещает о песенных бедствиях,
О смерти крестной, баяновой:

«В рязанском небе не клюют жаворо́нки
Золотого проса, бисера слезного,
Лишь вокзалов глотки да плавилен
заслонки —
Зыбка искусства чугунного, грозного!»

Недаром избы родимые
Дымятся скорбью глухой, угарною,
И песни-гуси, орлом гонимые,
Ныряют в загуменьи стаей янтарною.

Гумно — гусыня матёрая
Гогочет зловеще молотьбой недородною:
«Я матка созвучий, столетняя хворая,
Яйцо мое — тайна с судьбиной народною!»

Гусак стальноклювый, чей мозг — индустрия,
Чье сердце — турбина, крыло — маховик,
Кричит из-за моря: «Россия, Россия,
В миры запрокинь огнеаеющий лик!» [1]

Великая Матка поет пред кончиной,
Но лавой бурлит адамант-яицо...

Невнятно «Известиям» дымкой овинной
Повитое Слово, как сфинкса лицо.

Под треск пулеметов и визги трактиров
Родились поэты — наседка галчат.
За Гете — Садофьев [2], за Гюго — Маширов [3] —
Над распятой книгой чернильный закат.

5

Григорий Новых [4] цветистей Бессалько [5]:
В нем глубь Байкала, сметка боброа.
От газетной ваксы и талька
Смертельно выводку слов.

Пересыплют в «Известиях» Кии
Перья сиринов сулемой,
И останутся от России
Кандалы с пропащей сумой.

Ни соло́вки, ни зелена сада,
Только шишки да бедный Макар...
Из чернильного водопада
Вытекает речка «товар».

Вниз по быстрой плывет ватага
Буквенной голытьбы...
Словно тучи застит бумага
Лик Коммуны и русской судьбы.

Утопает в построчной ваксе
Златоствольный искусства сад,
И под Смольным сюртук на Марксе
Продырявил брошюрный град.

Брат великий, сосцы овина
Пеклеванный вскормили цвет,
Избяных напевов ряднина
Свяжет молот и злак а букет.

Разгадать ли красную тайну
Кляксапировым ведунам?
От Печоры на Буг и Майну [6]
Мчится всадник — Ржаной Хирам [7].

То строитель заездных просонок
Всеплеменной песни-избы...
Не Садко, а шрифтный бесенок
Баламутит глуби судьбы.

6

Арский [8], Аксён Ачкасов [9] —
Чужие далекие слова,
Отчего же, как в пестрых Яссах [10],
Кру́жится голова?

Не розы ль в голодной книжке,
В ощеренных волчьих стихах?
Не останется сердце в излишке
От секущих язвы и страх.

Это ран дурманящий запах,
Браунинговый смертный след,
В россомаших неслышных лапах
Убаюкан рабочий поэт.

Баю-бай! Вместо речки — уголь,
Купоросные берега!..
Эй, петля, затянута ль туго
На шее у музы-врага?

Эй, заплечный рогатый мастер,
Готовь для искусства дыбу!
Стальноклювым вороном Гастев [11]
Взгромоздился на древо-судьбу,

Клюет лучезарные дули:
Ухо Скрябина, тютчевский глаз...
В голубом васильковом июле
Свершится мужицкий сказ:

Городские злые задворки
Заметелят убийства след,
По голгофским русским пригоркам
Заалатится клюевоцвет.

Выйдет жница в насущное поле
Жаворонком размыкать тоску,
В пестрядинном родном подоле
Быть душе — заревому цаетку!

7

Потемки — поджарая кошка
С мяуканьем ветра а трубе,
И звезд просяная окрошка
На синей небесной губе.

Земли не питает, не робит,
В амбаре пустуют кули.
А где-то над желтою Гоби
Плетут неаода жураали.

А где-то в кисячном [12] улусе
Скут [13] пряжу и доят оаец...
Цветы окровавленной Руси —
Бодяга и смертный волчец.

На солнце саврасом и рябом
Клюа молота, коготь серпа...
Плетется по книжным ухабам
Годоа выгребная арба.

В ней Пушкина череп, Толстого,
Отребьями Гоголя сны,
С Покоем горбатое Слово
Одрами в арбу впряжены.

Приметна ль вознице сторожка,
Где я песноклады таю?..
Потемки — поджарая кошка
Крадутся к душе-воробью.

8. МОЕМУ ДРУГУ АНАТОЛИЮ ЯРУ

Сердце, изъязвленное Другом, не залечится нвчем,— кроме Времени да Смерти. Но Время стирает язвы его, удаляя и больную часть сердца,— частично умерщвляет,— а Смерть изничтоживает всего человека. Поскольку жив, стало быть, человек, постольку неисцельны и болезненны раны его от дружбы. И будет он ходить с ними, чтобы явить их Вечному Судие.

Для всяких скорбей находятся слова, но потеря друга и близкого — выше слов: тут — предел скорби, тут какой-то нравственный обморок. Одиночество — страшное слово: «быть без друга» таинственным образом соприкасается с «быть вне Бога». Лишение друга — это род смерти.

Потрясающие стовы 87-го псалма обрываются воплем,— *о друге*:

«Я сравнялся с нисходящими в могилу; и стал как человек без силы между мертвыми брошенный,— как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не *вспоминаешь.*— Господи. *Ты удалил от меня Друга искреннего*: знакомых моих не видно!»

(Из книги «Столп и утверждение истины» Павла Флоренского, стр. 476, 416—417.)

Не верю, что читать без слез
Ты будешь ветхие страницы,
Где хвоями цветут ресницы
И ручейком журчит вопрос:
За что поэту преподнес
Ты скорпиона в нежной розе?..
В скрипучем жизненном обозе
Есть жернов смерти тяжелей —
Твое предательство, злодей,
Лукавый раб, жених, владыка...
Ах, не лесная голубика
Украсит черное копье,—
В крови певучей лезвие.
С зарею схожей, самой чистой!..
Тебя завидя, вяз росистый
Напружит паруса по корень,
Чтобы размыкать на просторе,
В морях или в лесном пожаре,
Глухую весть, что яхонт карий

Таоих зрачков горит слюдой,
Где месяц мертвой головой
Повис на облачной веревке!..
Есть Святки, синие Петровки —
Любимый праздник косарей,
Не с ними брачится злодей:
Страстная крестная суббота
Убийцу нудит из болота
К поэту постучать в оконце...
В Москве или в глухом Олонце,
Кровь на ноже — одна и та же!..
Будь счастлив, милый!.. Хвойной пряжей
Моя струится борода,
И в сердце рана, как звезда,
Лучится лебедем на плёсе.
Уже не турьим рогом сосен,
Узорною славянской сагой —
Крикливой нотною бумагой
Повеет на твои ресницы,

И не дослушанной певицы,
Каких на свете миллионы,
Ты почерпнешь руладо-звоны
Душой ли, пригоршней любимой?!
Но только облик серафима
Пурге седин как май погожий...
У русских рек и подорожий
О яхонтах звенит мой посох:
Они глядят из трав и проса

С мольбою смертной, огнепальной...
Не песней Грузии печальной[14],
А вдовьей ивовой свирелью
Я убаюкиваю келью:
Бай-бай! Усните, алые боли,
Нож не натачивает Толя,
Он в белом гробике уснул
Под заревой сосновый гул.

9. ИЗ ПРЕДСМЕРТНЫХ ПЕСЕН

Под солнцем жизни было двое —
Лосенок и лесной ручей...

Змея змею целует в жало,
Ручей полощет покрывало
В ладонях матери-реки,
И ткут запястья тростники,
Друг друга к лебедю ревнуя,
Рассветной тучки поцелуи
Пылают на щеке сосновой,
Вещунья грает слово в слово,
Что вороненок сыт, зобат,
Скулит мухтарко, что богат
Облавами с соседским псом,
По тополю скучает дом
Вечерним ласковым дымком,
И даже куцая метла
Приятством к заступу тепла,—
А я, как тур из Беловежья,
Где вылелась трава медвежья,
Чтоб жвачкой рану исцелить,
Зову турёнка тяжким мыком,
Но пряжей ель и липа лыком
Расшили дебрь не впрок и сыть!
Судьба безглаза. Тур один —
Литовских кладов властелин,
Он рухнет бухлым ржавым дубом,
Рога ломая о порубы,
Чтобы душа — глухарь матерый —
Дозором облетела боры,

Где недоласканный туренок
Влюбился в гарпию спросонок:
Совиха с женской головой,
Рысиный зуб и коготь злой.
За что отель покинул вымя
И теплый пах, в каком Нарыме
Найдет он деда с грудью турьей?!
Там мягко рожкам в стыть[15] и в бури...
Иль мало взмылено слюны
На ножки-брыки, губы-ляли,
Иль яхонты зрачков устали
Пить сусло северной весны
И мед звериной глубины,
Где вечность в хвойном покрывале?!
Мой первородный,— плачет дед,
Как ель смолою, в чащу лет,—
Она, как озеро лесное!..
О, Лель! О, дитятко родное!

Душа-глухарь о ребра бьет,
Туман крадется из болот,
Змея змею целует в жало,
И земляное одеяло
Крот делит с пегою кротихой,
А я, как тур настигнут лихом,
С рогатиной в крестце сохатом,
Покинут в смерти милым братом!

Примечания

[1] Видимо, отголосок заключительных строк из стихотворения Андрея Белого «Родине» (1917):

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

[2] Илья Иванович Садофьев (1889—1965) — поэт.
[3] Алексей Иванович Самобытник (наст. фамилия Маширов; 1884—1943) — поэт.
[4] Новых — Распутин Григорий Ефимович (1872—1916). Образ Распутина волновал Клюева, что отразилось и в его творчестве.
[5] Павел Карпович Бессалько (1887—1920) — писатель, один из видных деятелей Пролеткульта; критически отзывался о поэзии Клюева.
[6] Майна — река в Симбирской губернии (ныне — Ульяновской области).
[7] Хирам — тирский царь X в. до н. э.
[8] Павел Александрович Арский (наст. фамилия — Афанасьев; 1886—1967) — поэт, драматург.
[9] Правильно: Аксень Ачкасов — один из псевдонимов Ильи Садофьева.
[10] Яссы — город в Румынии.
[11] Алексей Капитонович Гастев (1882—1939 или 1941) — поэт, революционный деятель, ученый.
[12] Правильней: «кизячном» — от слова «кизик» или «кизяк» (сухой навоз, используемый как топливо).
[13] Скать, то есть сучить, свивать, скручивать *(диал.)*.
[14] Обыграна известная строка из пушкинского стихотворения «Не пой, красавица, при мне...».
[15] Правильней: стыдь *(диал.)* — мороз, стужа.

Публикация и примечания
К. М. Азадовского

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ

За почти шесть десятилетий литературной деятельности поэт, журналист, прозаик, эссеист, критик Илья Эренбург представал перед читателем в самой разной роли, выступая поочередно и одновременно в разных жанрах. В молодости он нередко после встреч и бесед с видными поэтами и художниками писал об этих встречах, приводил высказывания деятелей искусства о творчестве. Едва ли не первый такой очерк «У Франсиса Жамма» появился еще в феврале 1914 года в «Нови». Потом были очерки о крупных художниках-кубистах в «Биржевых ведомостях». Это еще в дни первой мировой войны. В двадцатые — тридцатые годы Эренбургу, вновь ставшему корреспондентом газеты, приходилось брать интервью и у видных государственных деятелей...

Но со временем писатель занял такое место в культурной и общественной жизни и стал известен в такой мере, что уже к нему самому обращались за интервью представители советской и мировой печати. Например, когда летом 1934 года он вместе с Андре Мальро прибыл на пароходе из Франции в Ленинград, «Литературная газета» дала беседы своих корреспондентов — одну с Мальро, другую — с Эренбургом. Естественными были обращения журналистов к Эренбургу, приезжавшему в Москву в разгар Испанской войны (конец 1937 — начало 1938).

Несколько лет назад я повторил маршрут Эренбурга, которым он проехал через Болгарию осенью 1945 года. Там я слушал рассказы участников встреч с писателем и перечитал отчеты о беседах с ним журналистов Софии и Пловдива. Наши читатели еще мало знают о том, как встречали в братской стране знаменитого публициста, чьи статьи передавала в годы оккупации подпольная радиостанция «Христо Ботев». Не знают и тогдашних интервью Эренбурга.

После Болгарии была поездка еще в несколько европейских стран, а весной 1946-го Эренбург (вместе с К. Симоновым) отправился в Америку. Там ему пришлось отвечать на нелегкие вопросы. Потом Симонов вспоминал об этом. Наших писателей принимали представители американской общественности, но бывали встречи, которых Эренбург искал сам. С робостью ехал в гости к А. Эйнштейну. Эренбург не брал у него интервью, но постарался передать каждое слово, сказанное великаном науки, и дал в мемуарах портрет ученого.

Эренбург был щедр в своих писаниях, о многих статьях и тем более интервью он не помнил. При жизни напечатано почти десять тысяч его статей, более четырехсот (!) после смерти. Во многих газетах и журналах не только нашей страны, но и Франции, Англии, США публиковались беседы с ним видных журналистов. Эренбург, естественно, отвечал на вопросы. Но он также и сам вел беседу, полемизировал со своими оппонентами. Конечно, в этих интервью всегда виден и его собеседник, который знал, что без согласия Эренбурга не сможет опубликовать и строки. С любого рода искажениями писатель боролся, протестовал, когда мысль его передавалась неточно. К сожалению, такое случалось и с нашими газетами.

Ниже публикуется беседа с Эренбургом, относящаяся к осени 1959 года. В этот год писатель начал свой большой труд «Люди, годы, жизнь». Общую обстановку в стране он оценивал как хорошую: еще шел процесс, намеченный XX съездом партии. Н. С. Хрущев оставался лидером, с которым связаны были надежды на дальнейшую демократизацию общества. Именно в эту пору Эренбург даже написал небольшую статью «Портрет Хрущева», опубликованную в № 1 «Звезды» за этот год. В ней он выражал надежду на улучшение международного климата...

В то же время уже произошли события, омрачившие нашу общественную жизнь. К ним относилось и «дело Пастернака». Логическим продолжением этой истории стали дальнейшие нападки на интеллигенцию, когда, через несколько лет, уже «прорабатывали» самого Эренбурга за его мемуарную эпопею.

Затем последовала вынужденная отставка нашего лидера и постепенный отход от линии XX съезда...

Судя по интервью, Эренбург не до конца понял причины травли Пастернака, зато многие другие мысли, высказанные им почти тридцать лет назад, звучат весьма своевременно. Перевод текста дается по экземпляру, находящемуся в архиве писателя.

ЧИТАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ В РОССИИ

Беседа с Ильей Эренбургом в Москве. Автор — Норман Казинс.

В кабинете своей московской квартиры Илья Эренбург разговаривает о книгах, о проблемах, встающих перед писателями, о Пикассо, Пастернаке и американо-советских отношениях. Почти все время он изъясняется по-французски, широко используя мелодичность и тончайшие оттенки языка, который он, судя по всему, любит.

— Вы спрашиваете меня о наших выдающихся писателях,— говорит он,— не думаю, что у нас есть подлинно выдающиеся писатели. Правда, имеются у нас литераторы, пользующиеся известным признанием, но нет группы или школы писателей, которых можно было бы сравнить с плеядой авторов, выдвинувшихся в последние годы в Америке, таких, например, как Хемингуэй, Стейнбек, Фолкнер, Драйзер, Синклер Льюис, Эптон Синклер и так далее.

Начиная с двадцатых годов Америке везло больше в том смысле, что она сумела выдвинуть писателей истинного таланта, у которых есть что сказать, которые обладают литературным мастерством, соответствующим их замыслам, которые пользуются словами, находящими отклик у людей. В течение всего этого периода ваша литература была лучшей в мире — по крайней мере, с двадцатых по сороковые. Современная советская литература далека от подобных масштабов.

Почему же это так? — продолжает он.— Я много размышлял над этим вопросом. Когда несколько лет назад я посетил Соединенные Штаты, я пытался уяснить себе, почему американские писатели высказывают более зрелое дарование. Мне думается, что я нашел ответ. Я установил, что лучшие американские писатели не начинают писать, пока не накопят настоящий большой опыт. Автор, подобный Хемингуэю, черпает материал не только в своем воображении, но и в богатстве жизни. Джон Стейнбек, вероятно, перепробовал не меньше двенадцати профессий раньше, чем начал писать. Так или иначе, суть состоит в том, что сначала они жили и наблюдали, а писали уже потом. Здесь же многие наши писатели сначала пишут, а потом живут. У слишком многих еще молоко на губах не обсохло, а они уже вовсю начинают излагать свои мысли о великих вопросах, занимающих человечество; между тем эти вопросы не удалось разрешить некоторым из самых зрелых умов мира.

Он закурил сигарету, откинулся назад, сложил руки под подбородком.

— Есть и другое, что можно было бы сказать в этой связи,— резюмировал он.— Ваши писатели знают свою страну и свой народ, но ваш народ не знает своих писателей. В Америке я обнаружил, что средний, наудачу выбранный человек лишь редко знает о ваших действительно выдающихся писателях. Так, в Оксфорде (штат Миссисипи) я встретил множество людей, решительно ничего не знавших о творчестве своего земляка Вильяма Фолкнера. В других местах я сталкивался с американцами, знавшими Хемингуэя лишь по кинофильмам, снятым по его произведениям. У нас все знают писателей, но в какой мере сами писатели знают жизнь народа?

Ваши писатели заслужили у американского народа больше, чем они получают. Здесь же дело обстоит как раз наоборот. В Советском Союзе писателей ставят очень высоко. Это положение длится уже давно. Вспоминаю, как в дореволюционные годы — тогда я был еще мальчиком — народ почитал Толстого. Мой отец был специалистом по пиву. Пивоваренный завод, на котором он работал, находился рядом с домом Толстого. Все рабочие завода ценили величие Толстого, воздавая ему дань всяческого уважения. Но, будучи неграмотными, они не могли читать его книг. Так было и в других местах. Но народ знал, что у него есть выдающиеся писатели.

Затем произошла революция. Одна из великих перемен, осуществленных ею, заключалась в том, что неграмотность была быстро искоренена. Многие миллионы людей впервые начали читать серьезные книги. Но я боюсь, что мы достигли ширины за счет глубины. В течение долгого времени читатели были не столь взыскательны, как это должно быть. Но в последние годы наш читатель вырос, повысился его вкус и искушенность. Однако наши писатели не шли с ним вровень. И в результате многие наши читатели оказались далеко впереди наших писателей. Они заслуживают лучшего, чем то, что получают.

Он улыбнулся, и глаза его засветились, словно их озарила вспышка далекого воспоминания.

— Я вспоминаю слова одного весьма известного советского автора, произнесенные им на Первом съезде писателей в 1934 году. Он сказал, что у него нет ощущения того, что он пишет именно для тех, кто впоследствии читает его книги. Они, мол, не способны понять то, что он пытается высказать. Пять лет спустя я присутствовал на литературной конференции в одном из писательских клубов Москвы. В числе присутствующих было немало читателей. Один из них вступил со мной в разговор по поводу произведения писателя, которого я только что упомянул. «Я потерял интерес к книгам этого писателя,— сказал мне мой собеседник.— Они слишком незрелы и элементарны». Я не говорю, что положение во всей стране могло измениться за короткий промежуток в пять лет. Но в сравнении с первыми послереволюционными годами изменения, конечно, произошли. Теперь народ способен воспринимать литературные произведения значительного масштаба и содержания, тонкие, полные нюансов, точно выраженных настроений. Но мы не производим литературу такого типа. Вот почему я говорю, что наши писатели не поднялись до уровня нашего народа. Было бы идеально, если бы смогли сочетать манеру письма, существующую в Америке, с той читательской аудиторией, которая имеется в Советском Союзе.

Я сказал моему хозяину, что он дал мне самое лучшее из всех слышанных мною объяснений факта популярности американских писателей в России, особенно таких, как Хемингуэй, Стейнбек, Драйзер, Сароян, Синклер Льюис.

— Но знаете,— сказал он,— рост нашей культуры дает мне некоторую надежду, что мы сможем работать лучше. Назову поэта Мартынова. Очень тонкий поэт, серьезный поэт. Долгое время его стихи не публиковались, потому что работники издательств считали его творчество безумным. Его близкие друзья захотели отпраздновать его пятидесятилетие. Некоторые из членов Союза писателей отнеслись к этой идее не очень одобрительно, но все же празднование состоялось, и я присутствовал на нем как единственный представитель своего поколения. Все же два месяца спустя книга его стихов была принята для издания. Мартынов был «реабилитирован». Он не сдал своих позиций, несмотря на давнишние обвинения в обособленности и «темноте». Постепенно читательская аудитория доросла до него.

Как я сказал, я питаю некоторые надежды.

Когда Эренбург говорил о трудностях, с которыми связано стремление выразить новые мысли или оттенки, я рассматривал многочисленные произведения современного изобразительного искусства, развешанные в его квартире. Где-то мне сказали, что он, пожалуй, самый крупный частный коллекционер современной живописи во всем Советском Союзе. Я слышал также, что лишь немногие коллекционеры в Европе имеют большее количество работ Пикассо, чем Эренбург.

— Чувствуете ли вы такое же сопротивление художникам, подобным Пикассо, какое существовало некогда по отношению к писателям типа Мартынова? — спросил я.

— Чудесный художник этот Пикассо,— сказал он с нежностью.— Чудесный человек. Мне казалось, что его творчество недостаточно понято и оценено здесь. Но недавно мне посчастливилось организовать большую выставку его работ в одной из крупнейших картинных галерей Москвы. Как отнеслись русские критики к его абстракциям и художественным концепциям? Выставка прошла с большим, даже очень большим успехом. Ее пришлось продлить. Ее осмотрело около шестисот тысяч человек. Затем мы отправили ее в Ленинград, где ее посетило еще пятьсот тысяч зрителей. Все это оказалось весьма обнадеживающим. Особенно если учесть, что кое-кто предсказывал, будто советские люди никогда не отнесутся с интересом к направлению искусства, представляемого Пикассо.

Я заметил господину Эренбургу, что сказанное им только что особенно интересно для меня, поскольку у меня сложилось впечатление, что русская революция была ограничена рамками политического и социального. По-видимому, она была революцией в узком смысле слова, если судить по искусству и архитектуре, которую видишь здесь. Новые здания в значительной степени традиционны по проектировке. Они приземисты, массивны, орнаментальны. Можно понять необходимость строить быстрее, но вызывает удивление, что строят так консервативно. Стекло, открытые площадки и смелые прямые линии, революционизировавшие архитектуру во многих странах мира, здесь, как мне кажется, почти совершенно отсутствуют. Не считает ли господин Эренбург парадоксальным, что страна может быть такой революционной в одном направлении и такой консервативной в другом?

Эренбург снова закуривает сигарету, делая это неторопливо и обстоятельно.

— Много мыслей приходит на ум, когда слышишь подобные вопросы,— сказал он.— Сперва поговорим об общей исторической ситуации, затем о живописи, затем об архитектуре.

Общая ситуация: вы говорите о революции «в узком смысле слова». Быть может, труднее изменить характер культуры, чем политические факторы. Для изменения политического режима не требуется много времени. В некоторых странах это совершалось за недели или даже в течение минут. Для изменения экономической системы требуется десять лет или больше. Но для того, чтобы изменить человеческое сознание и основные культурные ценности, требуется много, очень много времени. Если у нас нет расцветшего современного искусства, то это не потому, что мы не имеем художников, тяготеющих к нему и соответственно одаренных. Здесь дело в том, что требуется много времени для создания атмосферы, в которой произведения такого искусства могли бы встретить подлинное понимание и оценку. Отношение публики к творчеству Пикассо обнадеживает в этом смысле, ибо оно показывает, что наш народ развивает художественный вкус.

Что касается живописи, то было бы неверно утверждать, что у нас нет новаторства или радикальных идей. Я знаю, некоторые люди за рубежом считают, что мы выступали со всевозможными нелепыми заявлениями о том, что мы первые изобрели все самое значительное. Однако факт остается фактом: то, что в настоящее время известно под названием модернистского, или абстрактного, искусства, появилось впервые в Советском Союзе.

В годы революции у нас неожиданно расцвела абстрактная живопись. Очень быстро появилась целая группа художников-модернистов, которые создали прекрасные произведения — и притом в значительном количестве.

Государство приобрело большое число таких полотен и разослало их по местным музеям — по всей стране. Но местным вкусам гораздо больше соответствовала старая академическая манера, и большая часть модернистских или кубистских картин была отправлена на склады в резервные фонды. Я помню высказывание одной дамы, которая в 1918 году увидела на выставке неподалеку от Москвы такую кубистическую картину. «Это работа самого дьявола»,— сказала она.

Боюсь, что такая точка зрения довольно точно соответствовала реакции рабочих в то время. Они были озабочены и, пожалуй, даже недовольны. Но теперь кубистские и абстрактные картины постепенно извлекаются из кладовых и резервных фондов. Не так давно одно модернистское произведение искусства было выставлено для обозрения в небольшом городке в центре России. Директор местного кафе заявил, что эта картина по идеологическим причинам неприемлема для рабочих. Но рабочие собрались и приняли резолюцию с требованием оставить картину на месте. Они одержали верх. Я узнал об этом случае и рассказал о нем художнику. Он очень обрадовался и сказал: «Для меня это значит больше, чем самая высокая награда».

Это — еще один пример того, как публика начинает проявлять свою зрелость. Почти все теперь ходят в музеи. Мы начинаем понимать искусство.

Теперь относительно архитектуры. Тогда к нам приехал Корбюзье и кое-кто из ведущих архитекторов «Баухауса». Они считали, что нашу страну можно подчинить любой радикальной идее, которая только может прийти в голову. Мы были как бы полем для литературных экспериментов. Корбюзье построил дом. Он был хорош, но в нем было зверски холодно зимой и чертовски жарко летом — какие бы меры вы ни принимали изнутри.

Отвлекаясь от Корбюзье, можно сделать следующий общий вывод: чем хуже строительный материал, тем больше украшательства. Это так же, как с зажигалками: обратите внимание, что их плохое качество всегда пытаются скрыть причудливыми формами. В двадцатые годы у нас были плохие строительные материалы. Отсюда завитушки и все лишнее в конструкции зданий.

Эти здания постройки 20-х годов мы теперь называем «гробами». Но они служили нам жильем. И нет сомнения, что первое поколение крестьян, приехавшее в город, было счастливо, что могло жить в них.

С тех пор вкусы безусловно изменились. Мы еще строим уродливые дома, но в целом перспективы в этом отношении хорошие. Мы умеем распознавать низкий уровень мастерства и плохие материалы. В результате улучшается и будет продолжать улучшаться качество и конструкций и строительных материалов.

Госпожа Эренбург, милая, привлекательная женщина, прервала наш разговор приветливым предложением выпить чаю. Я воспользовался этим, чтобы расспросить Эренбурга, как он строит свой рабочий день. Эренбург ответил, что старается как можно больше времени писать на своей даче, хотя его деятельность в Москве заставляет его проводить довольно много времени в городе, где у него квартира. Когда госпожа Эренбург налила мне вторую чашку чая, я спросил Эренбурга, как он относится к делу Пастернака.

— Мы живем в трудное время. Мне представляется, что Пастернак и его книга относятся к числу жертв холодной войны. Им не так бы восхищались за границей и его не так порицали бы у нас, если бы между Соединенными Штатами и Советским Союзом не было бы такой напряженности в отношениях.

Я поинтересовался, не хочет ли господин Эренбург узнать мнение многочисленных американских писателей и критиков. Улыбнувшись, он возразил, что, вероятно, хорошо знаком с их аргументацией. Я ответил, что старался, собственно, как можно вежливее подготовить почву для изложения моей собственной точки зрения. Не переставая улыбаться, Эренбург попросил меня продолжать. Я сказал, что в разговоре со мною о деле Пастернака русские критики и писатели заявляли, что не сомневаются в контрреволюционной направленности книги. Когда я слушал их аргументы, у меня складывалось впечатление, что русские критики считают своим долгом доказать, что книга обвинена по заслугам.

С нашей точки зрения, однако, это совершенно не относится к делу. Предположим, «Доктор Живаго» действительно контрреволюционное произведение. Какое это имеет значение? Почему автор не имеет права ошибаться, вернее говоря, ошибаться, если судить с общепринятых или предписанных позиций?

Почему публике — а не писателям — не дать право оценить истинную позицию автора? Кроме того, наказание Пастернака внутри Советского Союза началось только после присуждения ему Нобелевской премии. Именно тогда его осудили столь энергично. Где же справедливые пропорции? Какое преступление совершил господин Пастернак, чтобы оно могло вызвать такое суровое наказание, фактически отлучение?

В конце концов, господин Пастернак не был членом жюри по присуждению Нобелевских премий, которое выразило ему всемирное одобрение.

Господин Эренбург поднялся и подошел к окну. Ему уже 68 лет, и мне рассказывали, что он изнуряет себя работой. Я почувствовал угрызение совести за то, что отнял у него так много времени, и встал, чтобы попрощаться. Он снова усадил меня. По его словам, он встал не потому, что ждал еще кого-нибудь из посетителей, а просто ему хотелось размяться.

— Относительно Пастернака. Конечно, у меня есть свое собственное мнение. Я его очень ценю как поэта. Как писатель он вызывает у меня известные оговорки. Но дело совсем не в этом. Только что я сказал, что все дело с «Доктором Живаго» представляет собой трагическое последствие холодной войны. Что случилось, то случилось. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у всякой проблемы выискивать самую суть. Если бы мы смогли каким-либо образом избавиться от напряженности и уменьшить страх перед войной, творческий и культурный климат улучшился бы.

Я стараюсь делать, что могу, возможно, в малой степени как председатель Советского комитета защиты мира. Я в свое время посетил Америку и я знаю некоторых ваших писателей. Поэтому я в состоянии спорить с иными заявлениями об Америке, которые, помоему, неправдивы.

Я напомнил, что некоторое время тому назад он выразил публичное несогласие со статьей в «Советской литературе» (речь идет о статье Казем-Бека в «Литературной газете»), в которой отрицалась американская культура. «Критик просто ошибался, только и всего»,— сказал Эренбург. Была ли связана эта защита Соединенных Штатов против критики в Советском Союзе с какими-либо последствиями?

Он вновь сел и откинулся.

— Некоторые говорят, что я настроен прозападно. Но я не рассматриваю себя каким-то образом настроенным в пользу чего-то одного или другого. Возникает какой-то вопрос. У меня может быть то или иное мнение по этому поводу; у меня могут быть какие-то факты, которые, как я думаю, должны учитываться при обсуждении этой проблемы. Конечно, последствия есть. Человек не должен становиться писателем, если он не готов к тому, что ему время от времени будет крепко попадать.

Труд писателя — не легкий труд, если это настоящий писатель. Но, пожалуйста, не думайте, что единственные последствия, с которыми я сталкиваюсь, бывают только здесь. Меня также критикуют и за границей. Между прочим, даже когда меня хвалят за границей, отклики здесь, дома, бывают иногда неблагоприятными.

Например?

— Когда меня хвалят по ложному поводу. Некоторые люди за границей считают, судя по всему, что единственный путь говорить обо мне что-нибудь доброе, это рисовать меня врагом моей страны.

Кстати, в течение некоторого времени меня беспокоит практика некоторых ваших изданий, которые, публикуя книгу советского автора, выдают ее за что-то иное, чем она есть,— то же самое касается и автора. Вы публикуете предисловия без ведома автора — предисловия, которые представляют дело так, что писатель ведет смертельную борьбу против всего своего общества.

Но эта практика не ограничивается только Соединенными Штатами. Несколько лет назад одна моя книга была издана в Дании и была лживо преподнесена в качестве атаки на советский образ жизни. Я вас уверяю, что это не могло прибавить ничего к моей популярности в моей собственной стране.

Когда моя книга «Оттепель» была опубликована в Лондоне, мой английский издатель прислал телеграмму с сообщением, что один американский издатель запросил права на публикацию книги в США. Я ответил ему, чтобы он не представлял таких прав, пока не будет подписан контракт, ограждающий меня от включения какого-либо предисловия или вступления без моего согласия. Если моя книга заслуживала публикации, пусть ее публикуют, какой она есть. Пусть читатели судят о ней. Я не хотел, чтобы мои книги были представляемы кем-то, кто хотел бы представить их в определенном свете.

Американский издатель принял условие, и договор был подписан. Книга вышла в Соединенных Штатах. В ней не было ни предисловия, ни вступления, как и было оговорено в договоре. Но в ней было послесловие. Это послесловие не могло бы носить, помоему, более наступательного характера. Оно представляло собой попытку сделать книгу чем-то, чем она не была. Это было явным нарушением духа договора. Мне не показывали послесловия, я даже не знал о его существовании. Что можно сказать о поведении такого рода? Оно свидетельствует об интеллектуальной нечестности и, кроме того, заставляет думать, что некоторые американские издатели, может быть, думают не столько о выполнении своего долга перед литературой, сколько о необходимости казаться антикоммунистами.

(От редакции «Сатердей ревью»: «Оттепель» Ильи Эренбурга издал в Америке Генри Регнери и К° из Чикаго. Еще до опубликования заявления господина Эренбурга мы поставили господина Регнери в известность о нем и сообщили, что он может дать ответ на страницах «Сатерди ревью»).

Я сказал господину Эренбургу, что лишь очень немногие писатели и издатели

США не осудили бы такого поведения. При этом я поинтересовался, не может ли весь инцидент быть результатом недоразумения, ибо выдвинутое Эренбургом обвинение очень серьезно.

— Я не выдвигаю обвинения,— сказал Эренбург дружеским тоном.— Я стараюсь рассказать, что произошло, и наметить характер некоторых из проблем, с которыми связано улучшение культурных отношений между нашими странами. Но я не испытываю чувства злобы. Как я уже сказал, человек не должен становиться писателем, если он не в состоянии выносить разочарования и даже личные обиды.

Говоря о вопросе американо-советских отношений в целом, я сказал господину Эренбургу, что он не может не знать о недовольстве американских издателей тем фактом, что очень часто их книги издаются в Советском Союзе без разрешения с их стороны. Я подчеркнул, что поднимаю этот вопрос отнюдь не потому, что хочу противопоставить его рассказанному им случаю с американским издателем. Больше года назад губернатор Эдлай Стивенсон, по поручению американской лиги писателей, во время пребывания в Москве возбудил вопрос об авторском праве и гонорарах. Я, в свою очередь, находясь в Москве, по поручению Стивенсона обсуждал этот вопрос с Исполнительным комитетом Союза советских писателей. Боюсь, что это обсуждение не дало желаемых результатов.

— Это, как вы знаете, сложная проблема,— заметил Эренбург.— Но мне представляется, что через некоторое время мы сможем достигнуть в этом направлении лучшего взаимопонимания. Я не склонен вдаваться в подробности, могу лишь снова подтвердить, что отношения между писателями обеих стран связаны с более широким вопросом отношений между правительствами. Напряженность и антагонизм холодной войны неизбежно откладывают свой отпечаток на контакты между представителями культуры СССР и США. Я стараюсь делать все, что могу в этом отношении. Может быть, некоторые называют меня за это проамериканцем, профранцузом или еще бог весть кем, это не имеет значения. Самое важное — это найти путь к миру. Если мы сможем отказаться хотя бы от части наших предрассудков, если мы сможем проявить известное уважение друг к другу, ну, что ж — тогда у нас довольно много шансов на то, что мы найдем мир. Если же нет, тогда все, буквально все представляет собой пустую трату времени.

Слова Эренбурга о мире перекликались с моими мыслями, и я так и сказал ему. Но больше всего меня волнуют конкретные меры, которые надлежит предпринять для достижения мира. Слов нет, взаимная добрая воля и уважение имеют существенное значение, но разве настоящий мир не зависит от конкретных изменений политики и программы? Разве он зависит только от атмосферы мира, а не от действующего аппарата, посредством которого должен найти свое претворение мир?

— По крайней мере, мы пришли к соглашению, что хорошая атмосфера является хорошей стартовой площадкой,— ответил Эренбург.

В этом не может быть никаких сомнений.

«Сатердей ревью», 3 октября 1959.

Публикация и предисловие
А. Рубашкина

Я. С. Лурье

РАЗМЫШЛЕНИЯ О Ю. ДОМБРОВСКОМ

Мое знакомство с Юрием Осиповичем Домбровским началось в конце 1964 года, на квартире моего друга Саши Зимина (А. А. Зимин, известный историк), где я обычно жил, приезжая в Москву. В 1963 году Зимин совершил необычный и во многом переломивший его научную биографию поступок: выступил с докладом, в котором утверждал, что «Слово о полку Игореве» — сочинение XVIII в., написанное на основе реального памятника XV в.— «Задонщины» и Ипатьевской летописи. Скандал возник огромный: работа Зимина была отпечатана ротапринтом в количестве 100 экземпляров, которые были розданы участникам совещания, происходившего весной 1964 г. (среди тех, кто участвовал в нем, был и я, настаивавший, как и некоторые другие, на публикации книги), а по окончании совещания эти экземпляры были конфискованы и до настоящего времени, насколько мне известно, покоятся в каком-то спецхране.

Но о спорах вокруг «Слова о полку Игореве» стало довольно широко известно, и Юрий Осипович, всегда интересовавшийся такими вопросами, попросил одного из своих знакомых привести его к Зимину. Так мы и встретились. Для меня эта встреча имела особое значение. В июле-августе 1964 г. в «Новом мире» был опубликован «Хранитель древностей» Домбровского, и книга эта сразу же произвела на меня ошеломляющее впечатление. Осенью того же года в больнице во Львове тяжко болел и умер мой отец, историк античности, и последней книгой в его жизни, которую я читал ему, был «Хранитель древностей». Тем более дорого было для меня знакомство с автором книги.

Знакомство это продолжилось, и дружеские отношения с Юрием Осиповичем длились до самой его смерти. 12 мая 1978 года Юрий Осипович позвонил мне из Москвы и сказал, что ему в этот день исполнилось 69 лет (я не знал даты его рождения, и поэтому звонил он мне, а не наоборот, как следовало бы). Это было за семнадцать дней до внезапной смерти Юрия Осиповича.

С 1964 г. в каждый мой приезд в Москву я неизменно заходил к Ю. О. и проводил у него немало часов — сперва в комнатке обширной коммуналки на Б. Сухаревском переулке, а с 1972 г.— в двухкомнатной квартире на девятом этаже стандартного дома на Просторной улице, за станцией метро «Преображенская». Собственная квартира, кажется, единственная в жизни Домбровского, была для него событием. Примерно тогда же подобная квартира была получена Надеждой Яковлевной Мандельштам, знавшей и ценившей Юрия Осиповича. Когда ее спросили, не хочет ли она эмигрировать, она ответила: «Впервые у меня квартира с собственной уборной. Как я могу ее покинуть?!»

Думаю, что имею право сказать, что с Юрием Осиповичем мы были друзьями (хотя друзей у него было множество). Но жили мы все-таки в разных городах: я ездил в Москву довольно часто, но он в Ленинграде побывал всего однажды. Этот приезд, крайне неудачный, описан С. Тхор-

---

Лурье Яков Соломонович (род. в 1921 г.) — доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе и истории. Основные работы: «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XVI — начала XVII в.», 1960; «Истоки русской беллетристики» (ред. и автор основных глав), 1970; «Общерусские летописи XIV—XV вв.», 1976; автор ряда исследований о М. А. Булгакове. Живет в Ленинграде.

жевским («Звезда», 1989, № 7); я могу лишь продолжить описание злоключений Юрия Осиповича в нашем городе. Из гостиницы «Выборгская», где он нашел было приют, его стали выселять уже на следующий день: номер понадобился какому-то более важному постояльцу. Мне пришлось добывать в Пушкинском доме, где я тогда работал, специальную бумагу в гостиницу. Она сохранилась у меня; привожу текст: «4 июня 1975 г. В Дирекцию гостиницы „Выборгская“. Просим продлить члену Союза советских писателей Ю. О. Домбровскому пребывание в Вашей гостинице в связи с тем, что он работает в ленинградских архивах над темой „Пушкин и декабристы“. Ученый секретарь (подпись)». С этой бумажкой я явился к директору гостиницы — точной копии аналогичного персонажа из сценки А. Вампилова «Случай с метранпажем». Директор сперва наорал на меня за то, что я посмел беспокоить его из-за таких пустяков, а затем объяснил, что Домбровский — не писатель, а пьяница. Разозленный, я ответил, что, по моим сведениям, Шолохов пьет ничуть не меньше: упоминание столь номенклатурной фигуры довело гнев директора до предела, и на заявлении появилась сакраментальная резолюция: «Продлить возможности нет (подпись залихватская, но, к сожалению, неразборчивая)». Устроили Юрия Осиповича в комнате моих друзей, но и там ему не повезло: полы в комнате были свеженатертыми, отражали питерские белые ночи — это мешало ему спать и довело его мрачное настроение до предела. Пришлось срочно брать билет на самолет до Москвы.

Разделенные пространством, мы обменивались письмами. Их у меня сохранилось восемнадцать, и я могу поэтому добавить к воспоминаниям фрагменты его эпистолярного творчества.

О чем писал Ю. Домбровский? В большой степени его письма — комментарий к «Факультету ненужных вещей», который он давал мне главу за главой по мере их перепечатки на машинке. «Книга эта — не продолжение „Х⟨ранителя древностей⟩“, а нечто совсем иное... Времени от последних страниц „Хр⟨анителя⟩“ и до первых строчек „Ф⟨акультета⟩“ прошло всего ничего, ну неделя, декада, не больше. Я не хотел путать читателя и поэтому сознательно пошел на большую изоляцию этой книги от предыдущей...» — указывал он в первом письме. «Насчет „их-эрцелунга“ (рассказа от первого лица в „Хранителе“.— *Я. Л.*). Мне тяжело было от него отказаться, но тут ничего, очевидно, поделать было нельзя... И вообще может ли человек (я писал об этом в ВОП'лях) рассказывать о себе кое-что очень тяжелое? Ну напр⟨имер⟩, о том, как из него вынимали душу. Хорошо ли это? Так что проблема „я“ и „он“ в данном случае не стилевая, а этическая (если не моральная)...» — писал он об окончании «Факультета» в 1975 г., незадолго до поездки в Ленинград. В одном из последних писем, отвечая на вопрос, собирается ли он продолжать «Хранителя» и «Факультет», Ю. О. отвечал отрицательно: «Продолжать дальше бессмысленно, ибо „сход в ад“ — вряд ли сейчас актуален и интересен. Во-первых, она разработана достаточно и достоверно без меня, во-вторых, в ней нет принципиального начала. Мученье человека человеком всегда омерзительно, даже независимо от того, заслужил ли их этот человек или нет („Позор не то, что делают люди, а то, что делается над людьми“,— написал В. Дорошевич в „Восточных сказках“). Важно и принципиально — сила сопротивления человека государственной лжи — а это мной показано, важна потеря государственной совести, ибо время от времени она повторяется и господствует в истории. А победа над этой темной, аморфной, внеразумной и в конце концов трусливой силой — возможна даже для отдельного человека...»

В ряде писем упоминается последняя, незавершенная книга Домбровского — о Н. А. Добролюбове. Она должна была выйти в серии «Пламенные революционеры», участвовать в которой Домбровский решил позже других писателей, из-за чего ему предложили только двух персонажей — Добролюбова и... А. А. Жданова. Ю. О., естественно, выбрал Добролюбова. Но книга писалась с трудом: «С Добролюбовым у меня не больно хорошо. Беда, что он вещь в себе. Настолько в себе, что у него нет ни одной зарезанной статьи. А ведь серия-то „Пламенные революционеры“! Поди-ка обнаружь в нем пламя. Приходится писать о холодном огне, а это требует такие выражения, которые я пока не нашел...»

Не раз возникала в переписке тема национальных отношений, в частности, антисемитизма (Ю. Домбровский читал книгу моего отца «Антисемитизм в древнем мире» и высказывал ряд интересных мыслей о возможном разнообразном восприятии этой книги — Бен Гурионом и Шульгиным, Вергелисом и «нашими доморощенными антисемитами»). Недавно в журнале «Молодая гвардия» некий Н. Кузьмин, встретивший Домбровского у общих знакомых, решил поделиться своими размышлениями о писателе. «Факультет ненужных вещей» он не одобрил: «Мне он показался похожим на разоблачительные книги последних лет. Весь упор там делается на тяготы заключенного в подвале, на допросах. Слов нет, завидовать арестованным (в 1937 г.— *Я. Л.*) не приходится, однако разве нынешним и подследственным, и получившим срок приходится легче? Пожалуй, как бы не труднее...» (1989, № 7, с. 106). Тут же Домбровскому приписывается «хлестаковщина» и заодно — антисемитские эмоции. Спорить с такими заявлениями мне, не раз беседовавшему с писате-

лем на национальные темы, противно и неинтересно. Приведу только один текст из писем Домбровского, связанный с выездом из СССР писателя-еврея Г. Свирского, первого человека, поставившего (в публичных выступлениях и в самиздате) вопрос о подлинном характере «дружбы народов» в брежневские времена и именно в связи с этим вынужденного эмигрировать. Извинившись за то, что во время одного из моих приходов к нему он оказался в почти невменяемом состоянии, Ю. О. писал: «Очень идиотски получилось, конечно. Но так меня поразила эта вопиющая, и даже не дурацкая, а просто внерассудочная история с Гришкой Свирским, что я совершенно выбыл из строя. Ведь не хочет парень никуда ехать, не хочет! Такой же он, как и Вы и я и Клара и миллионы других, и вот пожалуйста — надо! надо!! — вот в чем вся пакость. Ради какого черта и кому это надо?!»

Содержатся в письмах Домбровского и вынужденно лаконичные упоминания о «Петькиных откровениях» (показаниях П. Якира на пресс-конференции, направленных против А. Д. Сахарова и «Хроники текущих событий»), о М. Хейфеце, осужденном на заключение в лагере (впоследствии уехавшем): «Все более и более думаю о судьбе Михаила (жена звонила, мать приходила). Просто физически передергивает от несправедливости, совершенной над человеком, фактически ничего не совершившим. Страшно погано себя чувствуешь, когда думаешь об этом».

Какая черта в личности Юрия Осиповича кажется мне наиболее своеобразной, отличающей его от огромного большинства собратьев по перу? Я бы назвал прежде всего интеллигентность, но слово это, к сожалению, теперь часто употребляется всуе. С легкой руки Александра Исаевича Солженицына возникло разграничение на «интеллигентов» и «образованцев», но как именно отличить первых от вторых, далеко не ясно. Признаками интеллигентности чаще всего считается сознание своей особой роли, стремление к «высшей правде», непреходящим духовным ценностям и приверженность традиционным святыням.

А между тем гораздо более заметной особенностью русской дореволюционной интеллигенции представляется ее гуманитарная образованность (вовсе не предполагавшая, однако, обучения на историко-филологическом факультете). Такая образованность была присуща ряду писателей 20-х годов — таким, как Тынянов (любимый писатель Домбровского), Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков, Замятин. Теми же чертами отличался от большинства своих собратьев по перу, писателей нашего времени, Юрий Осипович Домбровский. Само собой разумеющимся было для него знание европейских языков — он постоянно читал и по-французски, и по-английски, и по-немецки, знал латынь. В студенческие годы (на Высших литературных курсах) занимался римской историей, в Алма-Ате — археологией. Совсем поразил он меня, когда, передавая книгу нашему общему знакомому, известному гебраисту И. Д. Амусину, сделал на ней надпись по древнееврейски.

Эта интеллигентность, зародившаяся еще в гимназии и поддерживавшаяся всю жизнь, не исключая и лагерные годы, во многом определила и мировоззрение Ю. О. Домбровского. В разговорах он сравнивал себя с киплинговской «кошкой, гулявшей сама по себе». Он не пережил эволюции, столь обычной для многих интеллигентов 50—80-х годов: от былого признания прогрессивности сталинского «социализма» — к восстановлению «ленинских норм», а затем, обычно без всяких промежуточных стадий,— к осуждению любой революции, к почитанию Столыпина, Розанова, Флоренского. Сын адвоката, с юных лет впитавший в себя уважение к древней науке о праве, которую «вырабатывали, проверяли, шлифовали в течение тысячелетий», Домбровский уже в юности был свободен от иллюзий: он понял и отверг провокаторскую деятельность школьного комсомольского вожака 20-х годов (Жора Эдинов в «Факультете», ч. II, гл. 1)[1] и липовый процесс над «богемой» в 1930 г. (там же). В 1933 году он был сослан из Москвы в далекую Алма-Ату, и далее начались его многолетние мытарства.

Но именно поэтому никакие испытания не потребовали от него того поворота в мировоззрении на 180°, который был присущ столь многим. Кто еще из авторов 70-х годов, заведомо писавших не для печати, мог взять для своего романа эпиграф из статьи Маркса и Энгельса, да еще такой редкой (из рецензии на Карлейля, 1850 г.), что при публикации «Факультета» в Советском Союзе с трудом удалось найти человека, способного атрибутировать соответствующий текст?

В сложности, продуманности и историчности мировоззрения заключается коренное различие между alter ego Домбровского — Георгием Зыбиным, и другим опальным интеллигентом, действующим в обоих романах,— Владимиром Корниловым. В начале они кажутся почти двойниками — оба не по своей воле попали из Москвы в Алма-Ату, оба провели детство на Чистых прудах, оба когда-то наслаждались выставленной там «электростереопанорамой» с наивными диапозитивами.

Но в «Факультете» они оказываются антагонистами. Даже когда Зыбина арестовывают, Корнилов не сочувствует, а скорее

[1] Ср.: Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей. Роман в двух книгах. М., 1989, с. 293—305 (далее указываю в тексте страницы этого издания).

злорадствует. За что он ненавидит своего сослуживца? Как это ни странно, за любовь Зыбина к революции, той, далекой, которая была началом нового времени: «Он ведь историю французской революции наизусть знает...» («Факультет», с. 394—395). И это действительно характерная черта Зыбина — Домбровского. В письме, в котором он писал мне о возможности «сопротивления человека государственной лжи», о возможности моральной победы над этой «аморфной, внеразумной и в конце концов трусливой силой», содержатся и такие слова: «На знаменах солдат французской революции были выгравированы слова из „Фарсалии“ — „единственное спасение погибающих не надеяться ни на какое спасение“». «Фарсалия» — римская поэма, дань уважения французов XVIII века к традициям античности, но ссылка эта важна тем, что отражает верность памяти Великой французской революции, сохраненной Домбровским до конца жизни. Для Корнилова и многих его новоявленных единомышленников это смешно и непонятно. Даже попав за рубеж, современные русские интеллигенты сохраняют твердое убеждение, что уж они-то знают, к чему ведут всякие революции, и искренне удивляются тому, что наивные французы два века ежегодно празднуют день взятия Бастилии.

Корнилов убежден, что после ареста Зыбина он и его тюремщики в один голос вдруг запоют: «Опять что-нибудь про французскую революцию...» Но «в один голос» со следователями запевает именно Корнилов, убежденный, что «дрянь и мерзость всяк человек»,— он поддается на несложную провокацию и становится осведомителем. А Зыбин и в застенке остается самим собой и объясняет практикантам школы НКВД — «будильникам», что главный их способ воздействия на заключенных — пытка бессонницей — не новость, что изобретена она была уже в XVI веке и в России применялась с особенной тщательностью к Дмитрию Каракозову, покушавшемуся на Александра II.

Кстати, и к Царю-освободителю, санкционировавшему это следственное производство, Домбровский относится без того пиетета, который принят ныне у интеллигентов, придерживающихся моды. Из революционеров прошлого сейчас допустимо уважать лишь декабристов; Юрий Осипович помнил и о народовольцах. Как-то мы ходили с ним смотреть выставку новых поступлений в отдел письменных источников Государственного исторического музея. Там оказались подлинники двух знаменитых писем 1881 года, ставших достоянием гласности в 1917 г.: заявление Желябова в тюрьме 2 марта («Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы... было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь царя и не принявшему участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1-го марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения...») и предсмертное письмо Софьи Перовской матери. Оказалось, что оба мы знаем эти тексты, столь мало известные сейчас, почти наизусть.

В очерке о Пушкине и декабристах Ю. Домбровский писал о февральских днях 1917 года: «После уроков мы бежали на Тверской бульвар и видели Пушкина с красным флагом в руке. И все вокруг было красным — ленты, лозунги, цветы. Так он и вошел в нашу ребячью память...» («Новый мир», 1975, № 12).

Но если слово «революция» отнюдь не вызывало у Домбровского отрицательных эмоций, то как же относиться к террору, который часто сопровождает революцию и может затем превратиться в систему? Именно этот вопрос обсуждает автор (Зыбин) со встретившимся ему в лагере замнаркома Мирошниковым, когда-то пытавшимся перевоспитать «хранителя древностей» в коммунистическом духе («Из записок Зыбина» — своеобразный эпилог обоих романов). Мирошников, «непробиваемый болван», и в роли зэка оправдывающий все происходящее, спрашивает Зыбина, признает ли он, что существуют «законы революции».

«— Но постойте,— сказал я...— революция-то кончилась в 22-м году вместе с гражданской войной... Революция не строит, она ломает старое, а потом приходит государство и создает свои законы. Революционные меры после окончания революции превращаются в контрреволюционные, потому что их сейчас же присваивают политические авантюристы...» (с. 629—630).

Однако могут ли «революционные меры», возникшие в ходе восстания, кончиться с революцией, и не приведет ли она неизбежно к диктатуре «политических авантюристов»? Историк Домбровский знал, что далеко не всегда бывает так. Не привели к диктатуре ни Нидерландская революция конца XVI в., ни Американская революция конца XVIII в.[1] Английский «Великий бунт» 1649 г. завершился диктатурой Кромвеля, но новое свержение Стюартов, «Славная революция», было бескровным. За Великой французской революцией последовали революции XIX века во Франции, которые привели в конечном счете не к диктатуре, а к созданию демократической республики. События 1989 г. в Восточной Европе вновь показали возможность такого пути. Видимо, французы имеют основания праздновать 14 июля, а Зыбин — наизусть знать историю Французской революции.

Спор Зыбина и Мирошникова имеет у Домбровского и весьма многозначительное окончание. После реабилитации Зыбин возвращается в Алма-Ату, и старый знакомый, директор музея, ведет его в гости к Мирошникову. Тот, оказывается, дошел до «познания истины», и истина эта — в религии. Директор, который, по его словам, сам «никаким богам не молился», говорит Мирошникову, что тот «бил поклоны без памяти одному богу земному, он тебя обманул, а ты человек расчетливый, себе на уме: раз обманул, другой раз не поверишь... Надо ж тебе на что-то опереться... Смерти боишься ты, товарищ Мирошников, вот в чем дело. Перед ней хвост поджал. Боишься ведь?» (с. 638—639).

Разговор этот, в котором Зыбин явно на стороне своего бывшего директора, очень существенен для понимания мировоззрения Домбровского. Многим людям, жаждущим сегодня вернуться к духовным ценностям прошлого, главной чертой, отличающей подлинного интеллигента от «образованца», представляется религиозность. Домбровского всегда интересовала судьба христианства, его истоки. Недаром в «Факультете» столь важное место отводится сочинению бывшего священника Куторги об Иисусе Христе и Пилате. Тема эта была настолько важной для Домбровского, что он посвятил ей особое приложение к «Факультету». Следует отметить, что решение этой темы у Домбровского резко отличалось от трактовки ее в «Мастере и Маргарите». «Ненавижу эти олеографии у Булгакова — какая-то непотребная смесь Н. Ге с Семирадским»,— замечал он в одном из писем[1]. Меня такое отношение одного моего любимого писателя к другому очень огорчало (подобно тому, как огорчают утверждения Марка Твена об отсутствии юмора в «Пиквикском клубе»), но понять его суть я мог. Для Булгакова тема Христа и Пилата — «вечная» литературная тема, прежде всего нравственная. Домбровский же подходил к ней как историк. «Понтий Пилат... в Иудее чувствовал себя римским патрицием... Терпеть он не мог этих грязных иудеев. А так как иудеи платили ему той же монетой, то все и запутывалось окончательно... Так вот первая причина колебаний Пилата. Он просто не хотел никого казнить в угоду иудеям... Два момента из учений Христа он уяснил себе вполне. Во-первых, этот бродячий проповедник не верит ни в революцию, ни в войну, ни в переворот... Значит, он против бунта. Это первое. Второе: единственное, что Иисус хочет разрушить и действительно все время разрушает,— это авторитеты. Авторитет синедриона, саддукеев и фарисеев, а значит, и, может быть, незаметно для самого себя, авторитет Моисея и храма. А в монолитности и непререкаемости всего этого и заключается самая страшная опасность для Империи. Значит, Риму именно такой разрушитель и был необходим...» (с. 428—431). В письмах Домбровский отмечал, что Куторга, излагающий эти мысли, здесь — «рупор автора», и соглашался с тем, что передача этих мыслей попу, ставшему сексотом, наталкивается на некое художественное затруднение, которым он, однако, «решил пренебречь»[1]. Во всяком случае, евангелия для него в данном случае — исторический источник, составители которого их «трижды и четырежды» переделывали (по свидетельству Цельса), но не могли избегнуть «самого страшного из изобличений — изобличения в правде» (с. 426).

Это — отнюдь не ортодоксальная позиция. Религиозные темы глубоко занимали Домбровского, но воззрения его едва ли можно считать христианскими. «Кто его знает, что-то, возможно, есть. Но в личное бессмертие я, во всяком случае, не верю»,— ответил он мне на прямой вопрос, верит ли он в Бога.

Вспомним, как кончается поразительное стихотворение об убийстве лагерного стукача («Когда нам принесли бушлат, И оторвав на нем подкладку, Мы отыскали в нем тетрадку...»):

Где были списки всех бригад,
Все происшествия в бараке —
Все разговоры, споры, брань,
Всех тех, кого ты продал, гад...
Лети ж к созвездиям веселым
Сто миллиардов лет подряд!
А там земле надоедят
Ее великие моголы,
Ее решетки и престолы,
Их гнусный рай, их скучный ад.
Откроют фортку: выйдет чад,
И по земле — цветной и голой —
Пройдут иные новоселы,
Иные песни зазвучат.
Иные вспыхнут Зодиаки,
Но через миллиарды лет
Придет к изменнику скелет —
И снова сдохнешь ты в бараке!

(«Юность», 1988, № 2, с. 57)

[1] Недавно Г. С. Померанц, обратившись к истории революций, объяснил эту особенность Американской революции тем, что она «прошла в рамках религиозной морали» (Померанц Г. С. Помраченный ум. «Век XX и мир», 1990, № 7, с. 15). Но Великая английская революция была еще крепче связана с религией — она шла под знаменем религиозной реформации,— однако это не помешало ей окончиться диктатурой.

[1] Впоследствии Домбровский, возможно, изменил свою оценку этой темы у Булгакова. В послесловии к изданию «Факультета» Г. Анисимов и М. Емцев пишут, что «в романе „Мастер и Маргарита“ Домбровский особо выделял историю Пилата и Христа, как высшее достижение Булгакова...» (с. 699).

[1] Об этом же Ю. О. Домбровский говорил и С. С. Тхоржевскому («Звезда», 1989, № 7, с. 195—196).

Стихи эти никак не подкрепляют мнение С. Семеновой, что Домбровский воспринял в «Факультете» евангельский рассказ о Христе органичнее, чем Булгаков, пленяющий нас «художественным визионерством», но не «глубиной раскрытия учения Христа». Если, как полагает С. Семенова, уничтожению на Страшном суде, согласно Новому завету, «подлежат природные, греховные качества людей», а не самые грешники («Новый мир», 1989, № 11, с. 231—236), то Домбровский, приемлющий лагерный самосуд и предрекающий убитому предателю ту же кару «через миллиарды лет»,— сомнительный христианин.

И еще одна особенность мироощущения Юрия Осиповича. Кем он считал себя? В одной из публицистических «Записок» Домбровского, имевших хождение в самиздате («Записки мелкого хулигана» или открытое письмо о показаниях И. Стрелковой [1] во время его последнего ареста), я, еще до знакомства с ним, прочел, что в трех приговорах, по которым он был осужден в разные годы жизни, указывались три различные национальности — русский, поляк и еврей,— и во всех случаях неверно. Когда наше знакомство стало более близким, я спросил его: кто же он в действительности?

— Цыган,— ответил Домбровский.

Цыганская тема занимала его постоянно. Она стала даже предметом особого очерка, опубликованного посмертно («Цыганы шумною толпой...». «Вопросы литературы», 1983, № 3). Были ли воспоминания пятилетнего Юрия («...я цыган, правнук цыгана, сосланного в 1863 году вместе с польскими повстанцами куда-то в места не столь отдаленные») точны или дополнены его писательским воображением — не столь важно. «Цыганство» было для него в значительной степени символом — воплощением кочевой жизни, бездомности, национальной униженности («нас с вами — евреями — на одних кострах жгли»), беспочвенности. «Почвенником» он никогда не был.

В «Истории моего современника» Владимира Галактионовича Короленко — человека, воплощавшего в себе самые прекрасные черты русской интеллигенции,— рассказывается о том, как ему, сыну украинца, русского чиновника, и польки, пришлось решать вопрос о своем национальном самоопределении. За душу юного гимназиста боролись и официальные обрусители, и польские патриоты, и носители запорожской романтики. «...Очарование националистского романтизма уже встречалось с другим течением, более родственным моей душе... Статьи Добролюбова, поэзия Некрасова и повести Тургенева несли с собой что-то прямо бравшее нас на том месте, где заставало... Всегда за непосредственным образом некрасовского „народа“ стоял интеллигентный человек, с своей совестью и своими запросами... вернее — с моей совестью и моими запросами...

Эта струя литературы того времени, этот особенный двусторонний тон ее — взяли к себе мою разноплеменную душу... Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература...» («История моего современника». Л., 1976, с. 235—236).

Юрий Осипович любил Тацита, писал о Шекспире, переводил казахских писателей. Но родиной цыгана Домбровского была все-таки прежде всего русская литература.

---

[1] Выдержки из этого письма Домбровского опубликованы А. Жовтисом (Ж о в т и с А. Вопреки эпохе и судьбе. «Нева», 1990, № 1, с. 173—174).

Алексей Машевский

ЕСЛИ ПРОЗА, ТО КАКАЯ?

О повести Валерии Нарбиковой «Около эколо...»

Если стихотворение, по определению Осипа Мандельштама, это запечатанная бутылка, брошенная в море с терпящего бедствие корабля, то с чем же сравнить критическую статью? Со сплетней (еще не так давно можно было бы и с доносом)? Или сравнить с разговором с глазу на глаз? Не проще ли было бы в таком случае воспользоваться услугами обычной почты, ведь главный-то адресат здесь один, и говорить с ним надо вроде бы на его языке, не разбирая (фу, какое слово нехорошее!), а перетолковывая затронувший тебя текст. Например, выучив английский язык, хотелось бы написать англичанину: «Дорогой сэр, я обнаружил такие странные и волнующие возможности в Вашей речи». Конечно, так и следовало бы поступить: запечатать конверт, надписать адрес. Но в наше абсурдное время невозможно удержаться от такой веселой соблазнительно-абсурдной идеи, как адресовать выбранному тобой человеку несколько сотен тысяч (учитывая тираж) одинаковых посланий, да еще снабженных к тому же солидным бесплатным приложением. В конце концов, печатают ведь переписку — это эпистолярным жанром называется.

Машевский Алексей Геннадиевич (р. в 1960 г.) — поэт, автор сборника «Летнее расписание» (1989). Живет в Ленинграде.

Итак, начнем.

Прежде всего, не вполне понятно, как вообще автор мог придумать, взлелеять, вырастить такую повесть с бог знает откуда взявшимися именами, обстоятельствами, андрюшами, черными курицами, орденами и прочей национально-советской геральдикой. Все тут нарушает действие, делает необязательным место, затемняет содержание. Впрочем, с самого начала повести разговор и идет и про место, и про время, и про то, о чем же, собственно, писать-то, не о себе же? Или о себе, не зная, как распорядиться автобиографическими подробностями: «Если мысль, то какая?»

Вот Ездандукта (так зовут одну из героинь) — это точно автобиографическое, и имени такого ни за что не придумать, его можно только застать уже имеющимся в наличии. В конце концов, помучившись с сомнениями (сомнения — налицо, они, собственно, и есть содержание: «Если слова, то какие? Какие нужно сказать, чтобы они дошли до Ездандукты» — и ничего, что в данном случае под неудобоваримым именем выступаем мы с тобой, читатель),— в конце концов, честно заявив, что ни за место, ни за время, ни за наши с вами подозрения нести ответственности не намерен, автор начинает прямо, просто, решительно, в духе здорового дореалистического, допсихологического примитивизма: «жили-были», «в некотором царстве, в некотором государстве», «Петя влюбилась в Бориса. Она знала, что она любит только его и больше никого...» А вот дальше продолжать фразу пока не будем. Интересное начало?

Так сразу, без всякой экспозиции... То есть экспозиция есть, но не обстоятельств или героев, не времени и места, а экспозиция авторских сомнений и размышлений: разрешается ли еще высказывание? можно ли еще наполнить событиями и мыслями текст, не придавая ему отвратительной видимости жизненного правдоподобия, когда раскрашенная, размалеванная сцена притворяется рощей, полной движения, солнечных бликов, листьев, насекомых, цветов?

Нет, нам ни на минуту не позволят забыть, что перед нами не жизнь, а литература, что идет работа, «сочинитель сочиняет», посвящая читающего в мельчайшие детали этого достаточно странного и, по всей видимости, малопродуктивного занятия («Отчеты о жизни после того, как жизнь прошла. Ведь мы же разлагаемся»). В любой момент, прорезав ткань повествования, авторский голос готов обратиться к читателю с вопросом, с замечанием или насмешкой над собственной неуклюжестью, готов съехать с наезженной колеи, отклониться: «Вино Европейское, дешевое безликое винцо, которое с таким же успехом могло называться Азиатское, Африканское, Американское, „когда открыли Австралию?“ — „в 19 в.“, Австралийское с 19 в.».

Боится, боится автор экспозиций, расставляет всюду сигнальные флажки и указатели: не с вещами и людьми имеете вы дело, а с лексическими единицами, почти самопроизвольно складывающимися в штампы, почти одичавшими от идеологического употребления, от всяких и всяческих контекстов, газетных полос, нравственных проповедей, исповедей и призывов: «И день, накачанный звуками, где каждый звук — „торжество“ сознательной „человеческой“ деятельности: звуки троллейбусов, трамваев, эти „звуки венчают“ „человеческую“ „мощь“, то, на что способен „человек“ в это „прекрасное“ „солнечное“ „утро“ в конце двадцатого века». Можно, правда, в качестве эксперимента, отдавая дань модному демократизму, уравнять в правах все части речи, отказаться от прилагательных вообще (ибо нас терзает подозрение, что любая связь прилагательного с существительным уже пошла и банальна в силу общеупотребительной обязательности; только и выкручиваемся, удлиняя шлейф расталкивающих друг друга определений). А попробуйте, как Нарбикова,— на одних местоимениях и наречиях: «И утро, такое какое-то, какое бывает только в такие дни, тогда, когда и тогда как; и тогда, когда так всё, что уже остальное всё кажется каким-то таким, что это всё не может измениться ничего».

Непонятно? Нет, все же признаемся, что понятно. Даже более того, дурацкий шутовской прием талдыченья как бы ничего не значащих наречий вдруг делает фразу разомкнутой, похожей на сбивчивое дыхание говорящего. Можно давать экспозицию волнения, описывать волнение (так бы и поступил соцреалист, следующий традициям бородатых наших классиков, по странности следующий именно тем традициям, которые ныне уже не пригодны для гальванизации). Но можно ведь сам язык сделать сбивчивым, волнующимся, пребывающим «как бы не в себе», тем вернее обеспечивая попадание читателя в состояние, адекватное переживаемому автором — персонажем (ах, не будем разделять, все зыбко в пределах этой странной лирической автобиографичности).

Так это и кружится, развертывается в шажочке от языковой банальности и сумбура. «Петя засыпала с мыслью о Борисе»...— пока все в порядке, все традици-

онно-благостно, гладко, за этой гладкостью даже как будто теряется семантика слов, но погодите, вот дальше: «и только она просыпалась от мысли о Борисе, как мысль о Борисе не давала ей заснуть. Самая ранняя мысль — о Борисе — поднимала ее с постели, у нее и в мыслях не было другой мысли». И это вместо малосодержательного: бредила днем и ночью. «Мысль», «в мыслях», «о мысли»... Навязчивость повторяющегося слова подобна навязчивой неотступности чувства. Где-то мы уже это читали? У Пруста в «Любви Свана», у Набокова в «Лолите»? Хорошо, что расходятся кругами ассоциации — один, другой, третий. Может быть, бегущая рябь лучше выявит необозримость морской поверхности?

Нужно сломать, обязательно сломать привычную и потому не действующую уже логику фразы. Как это делается? — Вот пример: «...и теперь Петя не знала, почему нет Бориса и где он есть и оставаться ли ей в начале перрона или пойти к первому вагону в другой конец перрона». Достаточно убрать маленькую связочку (или, напротив, «развязочку») «и где он есть», чтобы фраза потеряла все свое алогичное напряжение. Правда, дважды повторяется слово «перрон» — но это уж излюбленное занятие Нарбиковой играть в кошки-мышки с попавшимся ей словечком. При этом ее виртуозность порой становится даже несколько нарочитой: «... Петя села рядом с телефоном в полном отчаянии, причиной которого была Ездандукта. Она, как причина, без всякой причины ходила из одного угла в другой и своим беспричинным хождением причиняла Пете боль».

Слова, словечки, покинувшие свои привычные насиженные места, играющие друг с другом в прятки, постоянно нарушающие правильность фраз, устраивающие логическую чехарду, неразбериху — по воле автора или вопреки его воле? Иногда кажется, что язык сам служит сюжетообразующим фактором. Мотивацией перехода от одного сообщения к другому выступает лексическое ерничание: «Кострома отдал пареньку-шоферу три рубля, и троллейбус покатил в бор, который был не стеклянный, не деревянный, а серебряный с одним „н“, может, из-за сосен, довольно-таки серебряных зимой, и серебряной речки, а может, из-за тридцати сребреников плюс деревянного, с двумя „н“, дома, который по службе получил дедушка Костромы за свою верную службу».

Заметим, что подобный пируэт сразу избавляет автора от нудной и малопочетной обязанности долго нам растолковывать, кто такой этот дедушка, откуда взялся дедушка, при чем тут дедушка и какая ему отводится роль в дальнейшем повествовании. Да никакаи, да ни при чем — так, приблудился вместе с расшалившейся фразой, словно бы говорит автор, облегчая конструкцию, не давая персонажу вполне выпупиться из языковой среды, сквозь которую он лишь проглядывает, загустевая. Главное, чтобы не загустел до тошнотворной определенности литературного манекена, подменяющего собой живое.

Таковы, кстати, и остальные персонажи повести Нарбиковой, кажущиеся странными лишь постольку, поскольку они не вполне отделились от авторской интонации, авторского языка, а значит, и авторского сознания — и именно в этом смысле более чем автобиографичные. Герои, пропущенные через призму авторского восприятия жизни, слова, времени, герои по своему социальному статусу, по условиям жизни — банальные, судачащие о политике, читающие Набокова, распивающие бутылку на стадионе, любящие и надеющиеся на любовь.

Любовь... Любовь, пережитая, переживаемая как событие, вытесняющая все, как нечто единственное, единое и нерасчленимое в своей подлинности. Нерасчленимое не потому, что в чувстве этом тонут все остальные потребности и желания, и остается главное — одно, а потому, что, наоборот, этих желаний и потребностей, страхов и связей, побуждений и отступлений становится так много, что все равно уже не справиться, не разобраться, не понять, а только всегда знаешь, угадываешь: с тобою, с тобою, не отпускает. Может быть, и имя придумываешь этому невыразимому, как Петя — своему: «Borisus». Забавно, что в латинском названии косвенно проглядывает традиционное уподобление любви — болезни с ее обязательным медицинским девизом и лекарственными атрибутами. Кстати, таких традиционных уподоблений достаточно много. Например, нельзя не вспомнить евангельскую притчу о Марфе и Марии с характерным противопоставлением двух типов, двух начал: основательного, ездандукто-хозяйственного, занудливого в Марфе и созерцательно-подвижного, духовно-нетерпеливого в Марии. Беда только, что Марии-Пете в наше время все же приходится варить суп, вступать в бесплодное, заранее обреченное на поражение соревнование с теми, кого удобно «любить как человека». И некому уже сказать: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук., 10, 41—42). Как раз отнимется, поскольку, как написано в повести: «любовь исторически не любила Петю и Бориса». А почему не любила? Ведь была же — и такая, за которую ордена нынче давать надо, что и сделал Кострома, тоже любящий, понимающий, но нелюбимый (а значит, в этой истории, в этой любви, в этой исторической любви, в этой любовной истории как бы и не участвующий, лишний). «А тот, кто не может иметь ребеночка, может иметь андрюшу, это такая небольшая металлическая скульптурка, которая вещает, или другого андрюшу можно вывести из яйца; взять яйцо черной курицы и вместо белка влить сперму, заткнуть пергаментом, чуть увлажненным, и в первый день мартовской луны положить его на кучу навоза; через тридцать дней инкубации появится монстр, напоминающий человечка, его нужно кормить земляными червями и канареечником... и пока он будет жив, ты будешь счастлив...» — так появляется в повести грустная тема заменителя чувства, иллюзорного прерывистого ожидания удовлетворения, ожидания минутного облегчения, которое одно только и остается от любви, скукоживающейся, усыхающей, чудовищной любви — но заменитель этот, монстрик, проецируемое в будущее воспоминание дает возможность хоть как-то выжить и жить.

По сути дела, это беда всех ослепительных и ослепляющих связей, у которых все в начале и ничего в конце, поскольку в начале — именно все: оглушающе рушащийся на тебя, расширяющийся мир, случайно выигранное в рулетку счастье, не само по себе счастье, а счастье — потому, что так неожиданно и огромно, что выиграно просто так, на лету, и еще опомниться не успели, приготовиться, а вот, вот — все в тебе, все для тебя. «Высший момент счастья, куда еще выше? Самый кратчайший путь к счастью — начать прямо со счастья. Не такой длинный путь, как в прошлом веке, где счастье начинается с легкого ветерка и кончается бурей, начать с бури и кончить бурей». И это не только о методе литературной фиксации пережитого, но и о самом пережитом, не имеющем ничего в перспективе.

Любовь, которую, кроме любви, ничего не интересует, которая тоталитарно и властно ассимилирует, приспосабливает к своим нуждам все — даже язык (а вы думали, почему он такой странный!), даже политику (она постоянно вплетается в канву повествования), любовь, которая не прощает малейшей ошибки и вся, вся на пределе, на грани срыва («не уезжай!»),— такая любовь никуда дальше развертываться и эволюционировать не хочет и не может. Направленные на себя силы становятся разрушительными, и сердце, не способное вынести пустоты и отступления, идет на подмену, замещая одну страсть другою, будущее — прошлым, любовь — страданием. Вот он, нежно взлелеянный, вскормленный монстрик, свиристящий в груди как полоумное радио, затемняющий ясное сознание о происходящем.

Так жизнь превращается в сон, в вечную погоню за призраком, пропитывается ревнивой ненавистью или ненавистной ревностью до конца. И опять вспоминаешь прустовского Свана, набоковского Гумберта Гумберта, манновского Ашенбаха. Точка, заключавшая целый мир, превращается в мир, сузившийся до одной точки, одной страсти, одной нерасчленимой эмоции. И в дыму этом, в бреду как-то само собой самоубийство Костромы становится странным отплытием в никуда, а бывший любимый — нынешний муж нелюбимой сестры — утомительно-необходимым любовником.

Так на чем же держится это повествование, изобилующее фантвстическими аллегориями, смущающее лексической акробатикой, сюжетной прерывистостью и неразберихой? На стилистическом единстве и цельности придуманного автором языка, сбивчивого, кружащегося, как волчок, говорка косноязычного собеседника? Да, конечно... Но не только, этого мало.

Своеобразие языка накладывается на настойчивую решимость непридуманного чувства быть высказанным, чувства все время присутствующего, увлекающего нас, пронизывающего весь текст. Так часто случается: мы многого не понимаем в лирическом стихотворении, но реальное событие (известное, может быть, лишь автору) проступает в какой-то особой убедительности интонации, в случайной детали, поверив которой, мы доверяемся поэту и в остальном, завороженно следуя за ним, еще не осознавая, сопереживаем, ощущаем цельность и волнующую подлинность строки, строфы.

«Только любовь останется, сказал поэт, и он сказал чистую правду, и с тех пор, как он это сказал, через сто лет осталась любовь, а революция пришла и ушла, и от нее остались флажки, тюрьмы и памятники, культ пришел и ушел, и от него остались памятники как тюрьмы (но не памятники искусства и архитектуры), а завтра что останется? Флажки?» Так считает Валерия Нарбикова, и мне остается только к ней присоединиться.

Виктор Топоров

ЛИТЕРАТУРА НА ИСХОДЕ СТОЛЕТИЯ

Опыт рассуждения в форме тезисов

1. *Предмет исследования* — литературная ситуация наших дней, какой она видится как итог длительного всемирного взаимодействия, взаимовлияния и противоборства методов критического реализма, модернизма, беллетризма, постмодернизма и социалистического реализма. Понятие «беллетризм» вводится здесь в обиход и раскрывается впервые. Остальные термины, за исключением, пожалуй, критического реализма, носят дискуссионный характер, причем само существование социалистического реализма как метода, а не как некоей искусственно сконструированной идеологемы, ставится в последнее время под все большее сомнение.

2. *Жанр исследования* — тезисы, в которых формулируются и, по возможности, раскрываются, главным образом, принципиально новые идеи и постулаты. Доказательство выдвигаемых здесь и заведомо спорных положений путем систематического подкрепления их конкретными примерами или полемикой с конкретными оппонентами представляется в рамках данной работы излишним. Тем самым декларируется и отказ от художественного анализа упоминаемых здесь произведений. Анализируются не они, а складывающаяся в результате их появления и бытования литературная ситуация.

3. *Разработку развернутых доказательств или опровержений* данных тезисов автор препоручает их эвентуальным сторонникам и, соответственно, противникам. Остается надеяться, что эти отклики будут, как и сами тезисы, представлять собой системное исследование.

4. *Критический реализм* — ведущий художественный метод XIX столетия — изжил себя в столкновении с методами XX века, а именно: с модернизмом, беллетризмом и социалистическим реализмом. Это столкновение было катастрофическим: в ходе его критический реализм как бы раскололся на куски, и каждый из зародившихся тогда же методов получил от него в наследство свою долю. В дальнейшем художественные методы XX века взаимодействовали уже не с критическим реализмом, а между собой. Последним произведением «чистого» критического реализма был, во всяком случае на русской почве, «Тихий Дон»: художестаенно цельное отображение уже утратившего всякую цельность миропорядка.

5. *Модернизм* возник как выражение и отражение кризиса рационалистического сознания и рациоиалистического познания, а также религиозного и кантианского гуманизма. В основе метода лежало деформированное отображение деформированного (то есть утратившего прежние недвусмысленные очертания) мира, и эта двойная деформация — минус на минус дают плюс — приводила в итоге к созданию подлинной или иллюзорной художественной действительности, представавшей куда более убедительною, чем образцы, явленные миру на стезе критического реализма, оказавшегося не столько старомодным, сколько более не пригодным. Взгляд на мир, представленный а произведениях модернизма, неизбежно субъективен, но сама эта субъективность скорей группового (стратового), чем личностного свойства. Кроме того, она имеет заразительное, почти гипнотическое воздействие. Титаны раннего модернизма — Джойс, Кафка, Пруст — создали не только новый литературный мир, но и иное читательское сознание.

6. *Художественная практика модернизма* привела к появлению читателя элитарного. Читателя, смирившегося и с необходимостью немалых усилий, потребных для постижения модернистического текста, и с исчезновением установки на удовольствие, на эстетическое наслаждение, получаемое в процессе и в результате чтения, которое (наслаждение) обязательно сулила ему ранее литература. Эстетическое наслаждение и ожидание его не ушли из литературы модернизма полностью, но приобрели в ней маргинальное значение, сходное с эффектом нечаянной радости. Жизнеспособность модернистской литературы поддерживалась (наряду с фактом создания и осознания новой художественной действительности) неким восторгом посвященности, порой снобистского толка, но чаще — вполне натуральным и первородным. Разумеется, такая литература, чтобы не задохнуться в вакууме, чтобы выжить и расцвести, нуждалась в поддержке со стороны просвещенных высокообеспеченных слоев населения, прежде всего, паразитической части крупной буржуазии (такая поддержка приходила далеко не ко всем и не сразу — отсюда многие драмы непризнания и исковерканные судьбы). В поддержке сознательной и бескорыстной, потому что классовых или каких бы то ни было иных групповых интересов литература модернизма не выражала. Ее идейная свобода сочеталась с экономической зависимостью от правящих классов, что возможно только в цивилизованном плюралистическом обществе. Поэтому ни у нас, ни в нацистской Германии модернизма не было и быть не могло. Более того, малейшие поползновения в эту сторону рассматривались в обоих тоталитарных государствах — и совершенно логично — как нелепая аномалия. Отсюда и клеймо вырожденчества или формализма.

7. *Беллетризм* представлял и представляет собой оборотную сторону той же медали. Взяв у критического реализма такие свойства, как жизнеподобие (на сорочьем языке нашего литературоведения: изображение жизни в формах самой жизни), занимательность, типизацию, а также изрядный (но всегда дозволенный) заряд критицизма, беллетризм обратился к широким кругам читающей публики с произведениими «товарных жанров» (детектив, приключения, мелодрама, историческое повествование, производственный роман в широком и вовсе не отрицательном смысле слова и прочее) в «товарной» же упаковке. Подавляющее большинство книг, становящихся бестселлерами, писалось и пишется по сей день методом беллетризма. Правда, следование этому методу приводит к созданию хотя и не обязательно второсортных, но непременно не претендующих на чересчур многое произведений. Поэтому обращение к «чистому» беллетризму, характерное для Ремарка и Сименона, Голсуорси и Алданова, Ирвина Шоу и Артура Хейли,— случай все же не самый распространенный и уж, при любом раскладе, не самый интересный.

8. *Беллетризм в СССР* получил широкое распространение и как следствие подражания западным образцам, переводившимся и издававшимся у нас сравнительно легко и адекватно, и как реакция на объективное желание читательских масс получать облегченное и занимательное чтение. Чтение, сулящее и обеспечивающее удовольствие. Идеологизация подобной литературы у нас, в сверхидеологизированном обществе, не меняла сути дела: «социальный заказ» воспринимался в рамках советского беллетризма как условие игры, но не более того,— и, забегая вперед, можно отметить, что советский беллетризм был не худшей составной частью советской литературы в целом. Герман, Каверин, Рыбаков — классики отечественного беллетризма, признанные «первые среди вторых». А на первые, на ведущие позиции беллетризм и у нас не выходил никогда. Характерно, что даже ошеломительный успех «Двух капитанов» или «Открытой книги» не побуждал никого причислять их создателей к сонму великих.

9. *Беллетризм в сочетании с модернизмом* стал (на Западе) ведущим художественным методом XX века. Этот метод у нас принято называть «современным критическим реализмом» или «реализмом XX века», а в некоторых его ипостасях — и авангардизмом. Эти определения ошибочны, так как они не отражают и не учитывают генезис метода. Они могут также служить образчиками «благонамеренной конъюнктурщины»: будучи на протяжении десятилетий внедряемы в сознание наших идеологов, издателей, цензоров усилиями литературоведов «сучковского» (по имени покойного Сучкова) направления, они помогали провести многих зарубежных художников слова по ведомству реализма, а следовательно, освободить их от подозрения в эстетической (а значит, так у нас до недавнего времени рассуждали) и в идеологической крамоле. Так получили мы советского Фолкнера, советского Гарсиа Маркеса, под тем же соусом подали и советского Кафку. И все же необходимо уяснить: с появлением модернизма и беллетризма, а верней, с момента распада критического реализма на модернизм, беллетризм и прочее, сам по себе критический реализм перестал существовать. Новый синтез — о котором идет речь в данном тезисе — осуществился под знаком модернизма. Во вновь создавшейся связке — модернизм плюс беллетризм — первый главенствует, ведет за собой партнера, делает всю игру. И это — вне зависимости от того обстоятельства, что доля элементов и признаков модернизма и беллетризма, точнее, их долевое участие (со-участие) в каждом конкретном произведении могут варьироваться в самом широком спектре: от многословной и многодумной модернистской конструкции, вроде романов Ганса Генри Йана или Джона Фаулза, с едва намеченной в них — дань беллетризму — детективной или бытовой интригой, до заурядного, хотя и добротного развлекательного чтива, в которое вкраплены, например, техника киномонтажа или потока сознания. Вспомним в этой связи творчество сверхпопулярного в последнее время Стивена Кинга или мастерски написанные детективы Себастьяна Жапризо. Преобладание признаков модернизма или, соответственно, беллетризма в каждом конкретном произведении, написанном в следовании этому методу, говорит лишь о сознательной или невольной установке писателя на моральный или, наоборот, на коммерческий успех. Примечателен случай с Фолкнером, задумавшим, чтобы разбогатеть, написать сенсационный бестселлер — и написавшим замечательный, типично фолкнеровский роман «Святилище», не имевший, однако, и тени ожидавшегося писателем успеха.

10. *Успех,* в той или иной форме,— мерило существования художника в обществе. Современная западная цивилизация предоставляет творцу право тройного выбора: или, вступив на стезю модернизма,

[1] Топоров Виктор Леонидович (род. в 1946 г.) — критик, переводчик Блейка, Элиота, Рильке и других англоязычных и немецкоязычных поэтов. Член СП. Живет в Ленинграде.

апеллировать к знатокам и уповать на меценатов, или, снявши голову, не плакать по волосам — и создавать беллетристику, граничащую с масскультом (сам масскульт, называемый на Западе тривиальной литературой, здесь не рассматривается как антитворчество априори), что приводит к финансовой независимости и подчас к преуспеянию пусть и не слишком высоко чтимого, но читаемого, покупаемого, а значит, свободного от чьего бы то ни было диктата профессионального писателя, или, наконец, избрать третий путь, на котором можно снискать и лавры лауреата, и миллионы нувориша, а главное — добиться в той или иной степени как творческой, так и экономической свободы, найти свою, максимально удобную для тебя лично точку на довольно растянутой линии между полюсами модернизма и беллетризма. Разумеется, в этих рассуждениях сознательно игнорируются уточняющие обстоятельства, затрагивающие меру таланта того или иного художника. Подчеркну, что и вопрос о мере продажности (или, наоборот, неподкупности) здесь не ставится: в данном тезисе вскрывается логика писательского поведения, а не его мотивы.

11. *Попытки следования этому методу* предпринимались и у нас, правда, с немалой осторожностью. И если элементы модернизма в творчестве таких писателей, как Айтматов, Пулатов, Чиладзе, Ким, Орлов, были и остаются явно заемными, то беллетризм расцвечен национальным или (как в последнем случае) фольклорно-городским орнаментализмом, почему и вся комбинация с преобладающим все же в ней, как отмечено выше, влиянием модернизма легитимировалась в условиях гонений на модернизм и отрицания его продуктивности как метода. Была даже найдена легализующая формула: произведения этого ряда проходили под знаком натурфилософской прозы, каковой нет и никогда не было.

12. *Феномен постмодернизма* представляет собой дальнейшее развитие художественной практики модернизма в сочетании с беллетризмом. Для литературы постмодернизма характерно прежде всего сознательное выстраивание произведения на двух (и более) уровнях сразу, характерна одновременная апелляция и к элитарному читателю, и к массовому. Своеобразие писательской техники постмодернизма — от «Лолиты» до романа «Имя Роза» — в рационально осуществляемой структурной организации глубинных слоев повествования, в замене малеванных задников задниками выстроенными. При этом (что является обязательным условием при создании текста такой степени сложности, верней, таких разных степеней сложности) строительным материалом здесь служат элементы и осколки предшествующей — стремящейся в своей ретроспективной протяженности и бесконечности и поддающейся бесчисленному множеству истолкований — культуры. В постмодернизме элементы модернизма и беллетризма не теснят друг друга, как было раньше, не перетягивают одеяло каждый на себя, но, в постоянном соревновании, вырастают одновременно и параллельно в высоту и в глубину. Возникают комбинации типа: чем натуралистичней, тем невнятней. Или: чем головоломней сюжет, тем трудней для восприятия фактура произведения. Писатель не остается при этом в накладе, принимая дань признания (в той или в иной форме) и от элитарного, и от массового читателя. Именно статус, обретаемый писателем, и природа этого статуса позволяют говорить о постмодернизме (на Западе) как о новой, усложненной разновидности сочетания модернизма с беллетризмом. Только помянутый выше тройной выбор оказывается в данном случае замещен реализацией всех трех возможностей в одном произведении.

13. *Влияние постмодернизма* на творчество многих новых и новейших советских писателей бесспорно. Здесь налицо как прямое подражание, вплоть до копирования и буквальных заимствований, так и склонение этого заморского, во всяком случае, закордонного (не будем забывать и о таких медиумах, как С. Соколов и Ф. Горенштейн) новшества на наши нравы. Последнее означает, что строительным материалом для доморощенных постмодернистов становится, в первую очередь, литература социалистического реализма, или то, что принято называть (теперь уже обазывать) литературой социалистического реализма. К ней-то нам и надлежит сейчас обратиться, преодолевая барьеры вчерашнего и сегодняшнего непонимания и пытаясь избежать кессонной болезни, угрожающей сегодня — применительно не только к литературе — нашим душам не в меньшей степени, чем СПИД угрожает нашим телам.

14. *Что такое социалистический реализм,* до сих пор остается в высшей степени загадочным. Спор с позиции силы, который на протяжении десятилетий вели литературоведы в штатском, мало кого мог в чем-нибудь убедить. Огульное отрицание социалистического реализма как официозной абстракции, равно как и осмеяние и пародийное выворачивание его (так, согласно одной из теорий русского зарубежья, соцреализм это мазохизм в литературе; уже в 1990 году Вик. Ерофеев назначил поминки по советской литературе — и самое смешное в том, что с ним принялись всерьез спорить) также представляются малопродуктивными. Вещее указание Андрея Синявского на религиозную сущность и подоплеку социалистического реализма не оценено по достоинству. В сегодняшних, истерических или глумливых по тону, дискуссиях некорректной представляется уже изначальная постановка вопроса: что такое социалистический реализм — благо, зло или фикция? Признать его фикцией мешает интуитивное отношение к лучшим произведениям советской литературы двадцатых — пятидесятых годов как к единому целому, причем на наднациональном и надъязыковом уровне. Признать его злом, как чаще всего и происходит сегодня, означает предать забвению книги и имена, восхищавшие и продолжающие восхищать миллионы людей во всем мире. Признать его благом не поворачивается язык.

15. *Значение социалистического реализма* как объединяющего и вдохновляющего фактора в нашей литературе непреложно. И, в той же мере, непреложно его значение как фактора деструктивного и ограничивающего. Сказать, по аналогии с рассуждениями историков и специалистов по «научному коммунизму», о достижениях СССР, все-таки имевших место в истекшие десятилетия, что, мол, все лучшее в литературе создавалось не благодаря социалистическому реализму, а вопреки ему,— значит подменить познание парадоксом. Ведь если и вопреки, то все же, со всей неизбежностью,— в соотнесенности с ним, а значит, уже и не только вопреки.

16. *Социалистический реализм — данность,* и литература, созданная в русле социалистического реализма и в соответствии с его методом,— данность, и разговор о том, добро это или зло, неуместен. По логике вещей, социалистический реализм мог и должен был стать ведущим (если не единственным) методом в литературе и искусстве тоталитарного по своему характеру и теократического по своему духу государства, каким был и отчасти еще остается СССР. Художник, лишенный в нашем обществе как политической свободы, так и экономической, вынужден был осознавать свои отношения с государством как решающие, экзистенциально главенствующие, судьбоносные. По Марксу, источником любой человеческой деятельности является страх смерти — насильственной смерти или голодной смерти,— то есть принуждение политическое и, соответственно, экономическое. В государстве, созданном по заветам Маркса (а то, что оно именно таково, могут оспаривать только ханжи), художник оказался под гнетом двойного принуждения. Ему оставалось покоряться или роптать — но в обоих случаях определяющим становилось отношение художника к государству, к власти, к системе (а в черных коридорах и застенках нашего государства — еще и непредсказуемое порой отношение власти к художнику, незаслуженное третирование его ею, ее неблагодарность применительно к собственному «певцу», но этот вопрос здесь рассматриваться не будет. Нам важнее справедливая оценка художника — как своего адепта или противника — властью, заслуженное воздаяние или возмездие за его труды).

17. *Стоило художнику возроптать* — и, увы, понятно, что его в нашей стране ожидало. Карой могло стать и физическое уничтожение, и тюрьма, и изгнание, и ссылка, и запрет на публикации. В разные периоды советской истории все эти кары применялись с неодинаковой интенсивностью и неодинаковой вероятностью, но всегда — во всем диапазоне. Возроптавшего художника могли запросто убить и в «вегетарианские времена», как это произошло на исходе семидесятых с поэтом-переводчиком К. Богатыревым, но могли даровать ему «покой» и в тридцатые — пример Булгакова! Но стоило художнику возроптать, так или иначе выразить несогласие или протест — и начиная с этой минуты ему надлежало считаться с возможностью применения к нему любой кары. Поэтому, прибегая к мрачному каламбуру, можно отметить, что роптать художнику все же не стоило.

18. *В системе тоталитарного теократического государства* художнику надлежало покориться власти, предаться ей, по возможности, безраздельно и до конца. Это можно было сделать искренне или лукаво (не зря же одним из центральных событий первой оттепели была публикация статьи «Об искренности в литературе» с последующими оргвыводами по вдресу автора и редакции). Слукавивший художник с огромной долей вероятности переставал быть художником или же опускался на несколько порядков ниже «положенного» ему по дарованию уровня, если, конечно, не отличался патологической беспринципностью, свойственной все же лишь единицам. Предаться власти, таким образом, надлежало и предстояло искренне, на пути подлинной веры или, как минимум, честного самообмана. Воспеть, например, Беломорканал! Этот путь был по сути своей путем религиозным, на что и указал в свое время Синявский. На этом пути создавалась литература социалистического реализма, вооруженная единым методом социалистического реализма. И в этом была не ущербность ее, а особенность, своеобычность! Несколько параноидальная, конечно, особенность, но ведь именно паранойя — установленный ныне диагноз, характеризующий общественное сознание в истекшем семидесятилетии. Диагноз не следует путать с приговором.

19. *Метод социалистического реализма* выдуман, разумеется, не Горьким и не Луначарским. Да и не Сталиным, который сказал писателям: «Пишите правду»,— с присущим ему кавказским акцентом и висельным юмором. Метод социалистического реализма возник и до определенного времени развивался согласно общим законам литературы и искусства, играя при этом исторически определенную ему в мировом литературном процессе роль. Метод социалистического реализма был третьим,

наряду с модернизмом и беллетризмом, осколком критического реализма XIX столетия. Социалистический реализм взял у критического существенно больше, чем модернизм и беллетризм,— взял, по сути дела, все, кроме гносеологической воли. Акт познания, каким являлся в XIX веке акт творения, был подменен процессом подгонки решения любой задачи под заранее известный ответ. Иногда этот ответ спускали с самого верха, иногда даже меняли в ходе решения, что приводило к творческим и личным трагедиям, как в случае с Фадеевым, но чаще всего художник угадывал нужный ответ — и горе было ему, если он ошибался. Не из-за этого ли и сам процесс угадывания протекал с такой интенсивностью, что становился почти равнозначным акту познания? Верхи же пребывали алогичными и непредсказуемыми, а потому и неподкупными, не падкими на прямую лесть, на своей религиозной высоте (что в рамках модернизма замечательно предвосхитил Кафка на страницах романа «Замок»).

20. *Предтечей и провозвестником* социалистического реализма следует признать Достоевского, гениальный изобразительный дар которого и так называемая полифония поначалу мешают нам распознать в зрелом творчестве писателя приметы подгонки решения под заранее известный ответ. Лишь глубоко вчитавшись, мы понимаем, что перед нами не полифония идейного спора, а ее имитация (заинтересовавшегося этой частной проблемой можно отослать к исследованиям Ветловской): писателю заранее известно — и чем закончится диспут, и чем он должен закончиться. Концы искусно упрятаны в воду, но не настолько, чтобы их вообще нельзя было отыскать. В отличие от назидательной литературы эпохи Просвещения и периода классицизма с ее откровенным морализированием и в противовес общему течению литературы критического реализма, создатели которой руководствуются прежде всего логикой характера и ситуации, Достоевский имитировал познание, выводя его из собственного пред-знания. Мы восхищаемся пророческой силой романа «Бесы» и упускаем при этом из виду, что он (как это и было безошибочно воспринято современниками) представлял собой злонамеренную карикатуру на революционное движение. И наша история в XX веке, со всеми ее трагедиями и уродствами,— это не сбывшееся пророчество, а дьявольской волею оживленная карикатура. Конечно, нам от этого не легче, но в литературном споре об этом полезно помнить. Но уж таково было писательское умение Достоевского, знавшего, к чему должны привести революционистские порывы (так ему, по крайней мере, казалось), в вовсе не распознавшего этой угрозы в намерениях и действиях Нечаева со товарищи. Именно это умение наследует в своих лучших, наиболее искренних и жизнеспособных образцах у представителя критического реализма Достоевского литература социалистического реализма.

21. *Выбор*, сделанный Достоевским, мучителен и, вместе с тем, субъективно свободен. Этим лишний раз доказывается, что тенденциозность, ангажированность, в том числе — и государственнической ориентации, отнюдь не отменяют писательской честности перед самим собою и перед читателем. Применительно к нашей теме это означает, что литература социалистического реализма не может быть отвергнута с порога как нечто заведомо и априорно ущербное. Принадлежность произведения или совокупности произведений писателя к литературе социалистического реализма — фактор типологический, а не оценочный.

22. *Массовое приятие социалистической революции* мелкобуржуазной интеллигенцией, из среды которой вышло подавляющее большинство советских писателей двадцатых-тридцатых годов, ее (среды) восторженная и обескураживающе слепая вера в справедливость протекающих в нашем обществе процессов (включая и пресловутые Процессы, в известной мере примирившие с действительностью даже Булгакова и Пришвина), патриотический подъем в годы Великой Отечественной, энтузиазм поколения победителей — все это, в сочетании с систематическим подкупом литературной элиты со стороны власть предержащих (а еще Розанов указал на то, что в глубине души российскому писателю хочется не столько свободы, сколько красной рыбы) и, разумеется, с более или менее регулярным «отловом и отстрелом» ее, осуществляемыми на протяжении всех этих десятилетий, фундаментальным образом крепило веру, а тем самым — и метод социалистического реализма. Писатель не то чтобы не задумывался над происходящим — он совершенно искренне верил, что задумываться и не надо (пример К. Симонова). Писательство стало, по сути дела, исполнительским искусством. Но не перестало от этого быть искусством.

23. *«Оттепель»*, разбив и опрокинув идолы одной веры, тут же посулила другую, подновленную и улучшенную,— и социалистическому реализму по-прежнему ничего не грозило. Само по себе обновление представало исполненным сакрального смысла, коммунистическая доктрина слилась с мифом о возвращающемся Озирисе. Лишь в эпоху застоя вера рухнула — но социалистический реализм под своими руинами не погребла. Его дальнейшая судьба сложилась куда причудливей.

24. *Литература социалистического реализма*, как сказано выше, тенденциозна и искренна одновременно. В годы застоя была у нас литература искренняя и была литература тенденциозная. Правда, это были две разные литературы, едва соприкасавшиеся между собой, и провести по ведомству социалистического реализма нельзя ни одну из них.

25. *Литература искренняя* вернулась к изображению и анализу жизни, свободным от заданности четких идеологических норм, от подгонки решения под заранее известный ответ. Некая мера свободы, еще не выветрившейся из послехрущевского воздуха, равно как и не вполне оправданное ощущение личной безопасности в переменившиеся времена способствовали ее появлению и становлению. Здесь выделились три основных направления: военная («окопная», «лейтенантская»), городская (Трифонов, затем «московские сорокалетние», сюда же примкнула и драматургия «новой волны») и деревенская проза. Во всех трех случаях можно говорить об отказе от канонов социалистического реализма и о возврате на позиции реализма критического. Правда, это был — в методологическом смысле — не ренессанс, а реанимация традиций отечественной классики: отказ от лжи, но и невозможность сказать всю правду (ср. сложный феномен Тендрякова), обращение к патриархальным, во многом устаревшим, а во многом и анахронистически изобретенным идеалам, равно как и отказ от каких бы то ни было идеалов. Отмечу, что подобная творческая позиция во всех своих вариантах сулила удовлетворительные результаты лишь на поприще прозы (отчасти и драматургии), в поэзии же отсутствие «последней прямоты» приводило к вырождению даже самых значительных талантов. Возникла и расцвела «поэзия пустяков»: стихи писали не о любви, а о пустяках любви, не о жизни, а о пустяках жизни, и т. д.

26. *Литература неискренняя*, задававшая в эти десятилетия тон, к литературе, строго говоря, отношения не имела, а к социалистическому реализму — имела лишь весьма опосредованное. Это была когда более, когда менее искусная имитация подлинных достижений социалистического реализма, и правила бал здесь не вера, пусть и слепая, а вполне зрячая корысть. В те годы социалистическим реализмом слыло творчество писателей, живущих в стране реального социализма и реалистически учитывающих это обстоятельство. Разумеется, это был лже-соцреализм, но его-то у нас и пропагандировали, его-то и анализировали, его-то и увенчивали лаврами; его продукцию мы, стыдясь самих себя, случалось, почитывали. И, справедливо клеймя его сегодня, полагаем этот лже-соцреализм социалистическим реализмом подлинным — и торопимся именно в таком качестве утопить. Понятно, что вместе с водой мы выплескиваем ребенка.

27. *Подлинный социалистический реализм*, заключающийся в искреннем и вместе с тем тенденциозном отображении действительности, базирующийся на отношении к государству как на решающей экзистенциальной связи, подменяющий акт познания процессом подгонки решения под заранее известный ответ — и поступающий так с религиозной, по своей сути, верой в собственную правоту и в правоту своего дела,— этот социалистический реализм ушел в литературу запрещенную, в подпольное, потаенное творчество, реализовывавшее себя, да и то далеко не в каждом случае, лишь через сам- или тамиздат. Как часто мы, читая с трудом раздобытые книжицы, неразборчивую машинопись или толстые папки фотокопий, скажем, Владимира Корнилова или Владимира Максимова, стихи и пьесы Галича, прозу Войновича, невольно восклицали: да это ведь тот же соцреализм, только наизнанку! Только с противоположным знаком! И действительно, герои и акценты в этих произведениях менялись местами по сравнению с тем, что публиковалось официально, менялись цветами, как в шахматной партии, но расстановка фигур оставалась одною и тою же. Бывало, такое «перевернутое» произведение нечаянно прорывалось на журнальную полосу или в книгу — и тут же становилось ясно его несомненное родство не с тем, что печатают здесь, а с тем, что публикуют «за бугром» («Кануны» В. Белова). И сегодня многие литературоведы на Западе именно так — соцреализмом наизнанку — именуют сочинения типа «Белых одежд» или «Детей Арбата». Но, простите, почему же наизнанку? Разве метод определяется политическими убеждениями и устремлениями? Писатель, подменивший в своем творчестве акт познания процессом подгонки решения под заранее известный ответ, становится — или остается — представителем социалистического реализма независимо от того, как он относится к социализму, капитализму и прочим идеологическим измам.

28. *Показателен пример* с дилогией Василия Гроссмана. Внутреннее художественное единство романов «За правое дело» и «Жизнь и судьба» бесспорно. И в той же мере бесспорна полярность политических оценок, данных в обоих романах. Последнее обстоятельство сумело даже подвигнуть противников Гроссмана на разговоры о двурушничестве писателя, что, разумеется, абсурдно. Как абсурдны и рассуждения некоторых его поклонников о том, что вот, дескать, Гроссман сперва лгал, а потом дорос до произнесения всей правды. Гроссман переменился. Проделав колоссальную политическую эволюцию, совершив поворот на 180 градусов, Гроссман как художник остался верен себе и раз навсегда выбранному им для себя методу социалистического реализма. Кстати говоря, и в «свободном мире» точно такая же метаморфоза отнюдь не исключена — пример Говарда Фаста.

29. *Занятен пример от противного:* незадолго до своего бегства на Запад писатель Анатолий Кузнецов опубликовал в журнале «Юность» роман «Огонь», основным идейным содержанием которого был спор между убежденным коммунистом из столицы и завзятым циником и антисоветчиком из провинции. Спор этот звучал вполне объемно, вполне полифонически, оба антагониста были по профессии журналистами, чем объяснялось их умение формулировать свои мысли. Лишь факт публикации в советском журнале (а значит, и одобрения цензурой) подсказывал читателю, на чью сторону ему должно встать. Но факт бегства писателя, не изменив в романе ни единой запятой, подсказывал нечто прямо противоположное. Предлагаю моим эвентуальным оппонентам самостоятельно ответить на вопрос: о соцреализме или о лжесоцреализме тут шла речь?

30. *Ведущий представитель позднего социалистического реализма*, его титан и завершитель — Александр Солженицын. Есть у писателя небольшой рассказ «Для пользы дела», который вполне укладывается в рамки социалистического реализма в традиционном понимании этого термина, но дело, конечно, не в нем. Автобиографические свидетельства Солженицына, в особенности книга «Бодался теленок с дубом», убеждают в том, что неприятие писателем тоталитарного режима с самого начала носило тотальный характер — и значит, в данном случае речь идет как раз о лжесоцреализме, о соцреализме неискреннем (показательна и «порча», по слову автора, романа «В круге первом»). Впрочем, именно эти черты лжесоцреализма (и прочитанный соответствующим образом «Один день Ивана Денисовича») позволили Георгу Лукачу, а позднее Генриху Беллю сопричислить Солженицына к школе социалистического реализма. Однако оба ранних романа писателя и в особенности эпопея «Красное колесо» несут в себе все не раз обговоренные выше приметы подлинного социалистического реализма. Солженицын государственник, Солженицын свято верит в то, что он пишет, а главное, свято верит в свое право «перегибать» историю (и не только ее), подгонять образы под нужные ему — заранее известные ему — выводы. То, что он делает это с поразительным и непревзойденным мастерством, равно как и то, что метод, оторвавшись от своего идеологического источника, оказался столь блистательно обращен в орудие борьбы против последнего, лишний раз доказывает, что социалистический реализм — категория не оценочная, а типологическая. И в любом случае — не мировоззренческая.

31. *Взаимоотношения поздних — подпольных — представителей социалистического реализма с государством* строились на основе все той же — правда, на этот раз действительно вывернутой наизнанку — формулы успеха, свободы, экономической независимости. Представители подлинного социалистического реализма добивались экономической независимости, уходя в сторожа, перебиваясь с хлеба на квас, получая жалкие подачки с Запада. Успех для них заключался в том, чтобы привлечь к себе общественное внимание, вызвать огонь на себя, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Личную свободу если не гарантировали, то хоть в какой-то мере обеспечивали успех и известность за рубежом. Логика была такова: прославиться раньше, чем посадят, тогда, по крайней мере, не придется сидеть в полной безвестности. Любопытен пример с покойным писателем Кормером, проведшим автоцензуру рукописи не предназначавшегося для публикации в СССР романа «Наследство», чтобы не дать материала для обвинения себя по семидесятой статье. Любопытен и наивен — потому что, как известно, был бы человек, а статья найдется! Эмиграция на Запад не освобождала писателей ни от духовной зависимости, ни от страха: рука КГБ могла найти неугодного художника слова и там. Гибель Галича и Амальрика ничуть не менее загадочны, чем смерть Машерова или подлинные обстоятельства убийства Джона Фицджеральда Кеннеди.

32. *Нынешний несомненный кризис советской литературы* — это прежде всего кризис метода. Подлинный социалистический реализм живет в добровольном духовном единении с государством или в отчаянном противостоянии ему; это литература тоталитарного теократического режима, и вместе с его крушением гибнет и она. Уже даже сейчас вершинные произведения социалистического реализма удручают своей ненужностью. А писать или читать полуправду не хочет уже никто. А каким-то иным методом наши даже лучшие сочинители овладеть просто не в состоянии.

33. *Догонять Запад*, перенимать у него все нужное и, увы, ненужное нам придется и в отношении литературы. Собственно говоря, это уже начинается, и творчество отечественных постмодернистов, о котором упоминалось выше, тому пример. Уже пробиваются ростки орнаментальной и экспрессионистической прозы, концептуальной поэзии, соцарта, черного юмора. Их почти не видно в пылевой буре, поднятой политическими событиями и экономическими треволнениями, и они в любой момент могут, как, впрочем, и многое другое, оказаться затоптаны солдатскими сапогами — но они есть. И не здесь ли родится наша новая литература? Но тогда это будет совершенно иная литература — вдвойне маргинальная по отношению ко всему, чем мы живем.

34. *Не будем чрезмерными оптимистами*, потому что и литература Запада, до уровня и состояния которой нам еще предстоит дорасти, влачит сегодня довольно жалкое существование. То есть вполне нормальное — и все же жалкое по нашим меркам, по нашим представлениям и мечтам о все новых и новых властителях дум. Солженицын — завершитель еще и потому, что он последний властитель дум. Больше не будет. Писатель будет пописывать, читатель — почитывать, критика — анализировать и рекламировать. Предвижу глубокий кризис «толстых» журналов, раздутые тиражи которых лопаются, как мыльные пузыри; предвижу полный упадок поэзии и серьезной прозы; предвижу все нарастающее презрение к литературе и ее создателям со стороны всего общества. Беллетризм и тривиальная литература останутся на плаву, элитарная литература превратится в разновидность «игры в бисер», писатели, успешно разваливающие ныне свой союз по идейным и расовым соображениям, окажутся, каждый поодиночке, перед лицом общего «врага»: тотального равнодушия и небрежения к литературе. Книги, за которыми сегодня еще гоняются и в которые вкладывают деньги, обесценятся, как сами деньги, хотя по номиналу и взлетят в цене. Человек сытый, благополучием которого мы все сегодня так озабочены, вообще не читает художественной литературы. Человек голодный стремится стать сытым. Интерес к литературе — удел несытых или уже окончательно зажравшихся (тех самых просвещенных паразитических слоев, которые поддерживают литературу и искусство на Западе). Несытыми мы быть перестаем, распадаясь на голодных и сытых, зажравшиеся появятся еще ой как не скоро. И это — в самом благополучном варианте развития событий.

Петр Вайль и Александр Генис

ТОРЖЕСТВО НЕДОРОСЛЯ

ФОНВИЗИН

Случай «Недоросля» — особый. Комедию изучают в школе так рано, что уже к выпускным экзаменам в голове не остается ничего, кроме знаменитой фразы: «Не хочу учиться, хочу жениться». Эта сентенция вряд ли может быть прочувствована не достигшими половой зрелости шестиклассниками: важна способность оценить глубинную связь эмоций духовных («учиться») и физиологических («жениться»).

Даже само слово «недоросль» воспринимается не так, как задумано автором комедии. Во времена Фонвизина это было совершенно определенное понятие: так назывались дворяне, не получившие должного образования, которым поэтому запрещено было вступать в службу и жениться. Так что недорослю могло быть и двадцать с лишним лет. Правда, в фонвизинском случае Митрофану Простакову — шестнадцать.

При всем этом вполне справедливо, что с появлением фонвизинского Митрофанушки термин «недоросль» приобрел новое значение — балбес, тупица, подросток с ограниченно-порочными наклонностями.

Миф образа важнее жизненной правды. Тонкий одухотворенный лирик, Фет был дельным хозяином и за помещичьи 17 лет не написал и полудюжины стихотворений. Но у нас, слава Богу, есть «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» — и этим образ поэта исчерпывается, что только справедливо, хоть и неверно.

Терминологический «недоросль» навеки, благодаря Митрофанушке и его творцу, превратился в расхожее осудительное словечко школьных учителей, стон родителей, ругательство.

Сделать с этим ничего нельзя. Хотя и существует простой путь — прочесть пьесу.

Сюжет ее несложен. В семье провинциальных помещиков Простаковых живет их дальняя родстаенница — оставшаяся сиротой Софья. На Софью имеют брачные виды брат госпожи Простаковой — Тарас Скотинин и сын Простаковых — Митрофан. В критический для девушки момент, когда ее отчаянно делят дядя и племянник, появляется другой дядя— Стародум... Он убеждается в дурной сущности семьи Простаковых при помощи прогрессивного чиновника Правдина. Софья образумливается и выходит замуж за человека, которого любит,— за офицера Милона. Имение Простаковых берут в государственную опеку за жестокое обращение с крепостными. Митрофана отдают в военную службу.

Все заканчивается, таким образом, хорошо. Просветительский хэппи-энд омрачает лишь одно, но весьма существенное обстоятельство: посрамленные и униженные в финале Митрофанушка и его родители — единственное светлое пятно в пьесе.

Живые, полнокровные, несущие естественные эмоции и здравый смысл люди — Простаковы — среди тьмы лицемерия, ханжества, официоза.

Угрюмы и косны силы, собранные вокруг Стародума.

Фонвизина принято относить к традиции классицизма. Это верно, и об этом свидетельствуют даже самые поверхностные, с первого взгляда заметные детали: например, имена персонажей. Милон — красавчик, Правдин — человек искренний, Скотинин — понятно. Однако при ближайшем рассмотрении убедимся, что Фонвизин классицист только тогда, когда имеет дело с так называемыми положительными персонажами. Тут они — ходячие идеи, воплощенные трактаты на моральные темы.

Но герои отрицательные ни в какой классицизм не укладываются, несмотря на свои «говорящие» имена.

Фонвизин всеми силами изображал торжество разума, постигшего идеальную закономерность мироздания. Как всегда и во все времена, организующий разум уверенно оперся на благотворную организованную силу: карательные меры команды Стародума приняты — Митрофан сослан в солдаты, над родителями взята опека. Но когда и какой справедливости служил учрежденный с самыми благородными намерениями террор?

В конечном-то счете подлинная бытийность, индивидуальные характеры и само живое разнообразие жизни — оказались сильнее. Именно отрицательные герои «Недоросля» вошли в российские поговорки, приобрели архетипические качества — то есть они и победили, если принимать во внимание расстановку сил на долгом протяжении российской культуры.

Но именно поэтому следует обратить внимание на героев положительных, одержавших победу в ходе сюжета, но прошедших невнятными тенями по нашей словесности.

Мертвенно страшен их язык. Местами их монологи напоминают наиболее изысканные по ужасу тексты Кафки. Вот речь Правдина: «Имею повелепие объехать здешний округ; а притом, из собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно».

Язык положительных героев «Недоросля» выявляет идейную ценность пьесы гораздо лучше, чем ее сознательно нравоучительные установки. В конечном счете понятно, что только такие люди могут вводить войска и комендантский час: «Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнее быть без аины обойдену, нежели без заслуг пожаловану».

Легче всего отнести весь этот языковой паноптикум на счет эпохи — все же XVIII век. Но ничего не выходит, потому что в той же пьесе берут слово живущие рядом с положительными отрицательные персонажи. И какой же современной музыкой звучат реплики семейства Простаковых! Их язык жив и свеж, ему не мешают те два столетия, которые отделяют нас от «Недоросля». Тарас Скотинин, хвалясь достоинствами своего покойного дяди, изъясняется так, как могли бы говорить герои Шукшина: «Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолоку... Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?»

И положительные и отрицательные герои «Недоросля» ярче и выразительней всего проявляются в обсуждении проблем образования и воспитания. Это понятно: активный деятель Просвещения, Фонвизин, как и было тогда принято, уделял этим вопросам много внимания. И — вновь конфликт.

В пьесе засушенная схоластика отставного солдата Цифиркина и семинариста Кутейкина сталкиваются со здравым смыслом Простаковых. Замечателен пассаж, когда Митрофану дают задачу: сколько денег пришлось бы на каждого, если б он нашел с двумя товарищами триста рублей? Проповедь справедливости и морали, которую со всей язвительностью вкладывает в этот эпизод автор, сводится на нет мощным инстинктом здравого смысла г-жи Простаковой. Трудно не обнаружить некрасивую, но естественную логику в ее простодушном энергичном протесте: «Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке».

Недоросль дурацкой науке учиться, собственно говоря, и не думает. У этого дремучего юнца — в отличие от Стародума и его окружения — понятия обо всем свои, неуклюжие, неартикулированные, но и не заемные, не зазубренные. Многие поколения школьников усваивают — как смешон, глуп и нелеп Митрофан на уроке грамматики. Этот свирепый стереотип мешает понять, что пародия получилась — вероятно, вопреки желанию автора — не на невежество, а на науку, на все эти правила фонетики, морфологии и синтаксиса.

«П р а в д и н. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

М и т р о ф а н. Дверь, котора дверь?

П р а в д и н. Котора дверь! Вот эта.

М и т р о ф а н. Эта? Прилагательна.

П р а в д и н. Почему же?

М и т р о ф а н. Потому что она приложена к своему месту. Вот у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна».

Двести лет смеются над недорослевой глупостью, как бы не замечая, что он мало того, что остроумен и точен, но и в своем глубинном проникновении в суть вещей, в подлинной индивидуализации всего существующего, в одухотворении неживого окружающего мира — в известном смысле предтеча Андрея Платонова. А что касается способа словоизъявления — один из родоначальников целого стилевого течения современной прозы: может

ведь Мврамзин написать — «ум головы», или Довлатов — «отморозил пальцы ног и уши головы».

Простые и внятные истины отрицательных и осужденных школой Простаковых блистают на сером суконном фоне прописных упражнений положительных персонажей. Даже о такой деликатной материи, как любовь, эти грубые необразованные люди умеют сказать выразительнее и ярче.

Красавчик Милон путается в душевных признаниях, как в плохо заученном уроке: «Душа благородная!.. Нет... не могу скрывать более моего сердечного чувства... Нет. Добродетель твоя извлекает силою все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье». Здесь сбивчивость не столько от волнения, сколько от забывчивости: что-то такое Милон прочел в перерывах между занятиями строевой подготовкой — что-нибудь из Фенелона, из моралистического трактата «О воспитании девиц».

Г-жа Простакова книг не читала вообще, и эмоция ее здрава и непорочна: «Вот послушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой... У кого достаточек, хоть и небольшой...»

Вся историко-литературная вина Простаковых в том, что они не укладываются в идеологию Стародума. Не то чтобы у них была какая-то своя идеология — упаси Бог. В их крепостническую жестокость не верится: сюжетный ход представляется надуманным для вящей убедительности финала, и кажется даже, что Фонвизин убеждает в первую очередь себя. Простаковы — не злодеи, для этого они слишком стихийные анархисты, беспардонные охламоны, шуты гороховые. Они просто живут и по возможности желают жить, как им хочется. В конечном счете, конфликт Простаковых — с одной стороны, и Стародума с Правдиным — с другой, это противоречие между идейностью и индивидуальностью. Между авторитарным и свободным сознанием.

В естественных для современного читателя поисках сегодняшних аналогий риторическая мудрость Стародума странным образом встречается с дидактическим пафосом Солженицына. Сходства много: от надежд на Сибирь («на ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть» — Стародум, «наша надежда и отстойник наш» — Солженицын) до пристрастия к пословицам и поговоркам. «Отроду язык его не говорил „да“, когда душа его чувствовала „нет“»,— говорит о Стародуме Правдин то, что через два века выразится в чеканной формуле «жить не по лжи». Общее — в настороженном и подозрительном отношении к Западу: тезисы Стародума могли быть включены в Гарвардскую речь, не нарушив ее идейной и стилистической цельности.

Примечательные рассуждения Стародума о Западе («Я боюсь нынешних мудрецов. Мне случалось читать из них все, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель») напоминают о всегдашней злободневности этой проблемы для российского общества. Хотя в самом «Недоросле» ей уделено не так уж много места, все творчество Фонвизина в целом пестрит размышлениями о соотношении России и Запада. Его известные письма из Франции поражают сочетанием тончайших наблюдений и площадной ругани. Фонвизин все время спохватывается. Он искренне восхищен лионскими текстильными предприятиями, но тут же замечает: «Надлежит зажать нос, въезжая в Лион». Непосредственно после восторгов перед Страсбургом и знаменитым собором — обязательное напоминание, что и в этом городе «жители по уши в нечистоте».

Но главное, разумеется, не в гигиене и санитарии. Главное — в различии человеческих типов россиянина и европейца. Особенность общения с западным человеком Фонвизин подметил весьма изящно. Он употребил бы слова «альтернативность мнения» и «плюрализм мышления», если б знал их. Но писал Фонвизин именно об этом, и от русского писателя не ускользнула та крайность этих явно положительных качеств, которая по-русски в осудительном смысле именуется «бесхребетностью» (в похвальном называлось бы «гибкостью», но похвалы гибкости — нет). Он пишет, что человек Запада, «если спросить его утвердительным образом, отвечает: да, а если отрицательным о той же материи, отвечает: нет». Это тонко и совершенно справедливо, но грубы и совершенно несправедливы такие, например, слова о Франции: «Пустой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в женщинах, другого, право, ничего не вижу».

Возникает ощущение, что Фонвизину очень хотелось быть Стародумом. Однако ему безнадежно не хватало мрачности, последовательности, прямолинейности. Он упорно боролся за эти достоинства, даже собирался издавать журнал с символическим названием «Друг честных людей, или Стародум». Его героем и идеалом был — Стародум.

Но ничего не вышло. Слишком блестящ был юмор Фонвизина, слишком самостоятельны его суждения, слишком едки и независимы характеристики, слишком ярок стиль.

Слишком силен был в Фонвизине Недоросль, чтобы он мог стать Стародумом.

Он постоянно сбивается с дидактики на веселую ерунду и, желая осудить парижский разврат, пишет: «Кто недавно в Париже, с тем бьются здешние жители об заклад, что когда по нем (по Новому мосту) ни пойди, всякий раз встретится на нем белая лошадь, поп и непотребная женщина. Я нарочно хожу на этот мост и всякий раз их встречаю».

Стародуму никогда не достичь такой смешной легкости. Он станет обличать падение нравов правильными оборотами или, чего доброго, в самом деле пойдет на мост считать непотребных женщин. Зато такую глупейшую историю с удовольствием расскажет Недоросль. То есть — тот Фонвизин, которому удалось так и не стать Стародумом.

КРИЗИС ЖАНРА

РАДИЩЕВ

Самый лестный отзыв о творчестве Александра Радищева принадлежит Екатерине Второй: «Бунтовщик хуже Пугачева».

Самую трезвую оценку Радищева дал Пушкин: «„Путешествие в Москву“, причина его несчастья и славы, есть очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге».

Самым важным в посмертной судьбе Радищева было высказывание Ленина, который поставил Радищева «первым в ряду русских революционеров, вызывающим у русского народа чувство национальной гордости».

Самое странное, что ничто из вышесказанного не противоречит друг другу.

Потомки часто обращаются с классиками по произволению. Им ничего не стоит превратить философскую сатиру Свифта в диснеевский мультфильм, пересказать «Дон Кихота» своими немудреными словами, сократить «Преступление и наказание» до двух глав в хрестоматии.

С Радищевым наши современники обошлись еще хуже. Они свели все его обширное наследие до одного произведения, но и из него оставили себе лишь заголовок — «Путешествие из Петербурга в Москву». Дальше, за заголовком — пустота, в которую изредка забредают рассуждения о вольнолюбивом характере напрочь отсутствующего текста.

Нельзя сказать, что потомки так уж неправы. Пожалуй, можно бы даже согласиться с министром графом Уваровым, считавшим «совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения», если бы не одно обстоятельство. Радищев — не писатель. Он — родоначальник, первооткрыватель, основоположник того, что принято называть русским революционным движением. С него начинается длинная цепочка российского диссидентства.

Радищев родил декабристов, декабристы — Герцена, тот разбудил Ленина, Ленин — Сталина, Сталин — Хрущева, от которого произошел академик Сахаров.

Как ни фантастична эта ветхозаветная преемственность (Авраам родил Исаака), с ней надо считаться. Хотя бы потому, что эта схема жила в сознании не одного поколения критиков.

Жизнь первого русского диссидента необычайно поучительна. Его судьба многократно повторялась и продолжает повторяться. Радищев был первым русским человеком, осужденным за литературную деятельность. Его «Путешествие» было первой книгой, с которой расправилась светская цензура. И, наверное, Радищев был первым писателем, чью биографию так тесно переплели с творчеством.

Суровый приговор сенатского суда наградил Радищева ореолом мученика. Преследования правительства обеспечили Радищеву литературную славу. Десятилетняя ссылка сделала неприличным обсуждение чисто литературных достоинств его произведений.

Так родилась великая путаница: личная судьба писателя прямо отражается на качестве его произведений.

Конечно, интересно знать, что Синявский написал «Прогулки с Пушкиным» в мордовском лагере, но ни улучшить, ни ухудшить книгу это обстоятельство не в силах.

Итак, Екатерина даровала Радищеву бессмертие, но что ее толкнуло на этот опрометчивый шаг?

Прежде всего, «Путешествие из Петербурга в Москву» путешествием не является — это лишь формальный прием. Радищев разбил книгу на главы, назвав каждую именем городов и деревень, лежащих на соединяющем две столицы тракте.

Кстати, названия эти сами по себе замечательно выразительны — Завидово, Черная Грязь, Выдропуск, Яжлебицы, Хотилов. Не зря Венедикт Ерофеев соблазнился все той же топонимической поэзией в своем сочинении «Москва — Петушки».

Перечислением географических точек и ограничиваются собственно дорожные впечатления Радищева. Все остальное — пространный трактат о... пожалуй, обо всем на свете. Автор собрал в свою главную книгу все рассуждения об окружающей и неокружающей его жизни, как бы подготовил собрание сочинений в одном томе. Сюда вошли и написанные ранее ода «Вольность», и риторическое упражнение «Слово о Ломоносове», и многочисленные выдержки из западных просветителей.

Цементом, скрепляющим все это аморфное образование, послужила доминирующая эмоция — негодование, которое и позволило считать книгу обличительной энциклопедией российского общества.

«Тут я задрожал в ярости человечества»,— пишет герой-рассказчик. И дрожь эта не оставляет читателя на всем нелегком пути из Петербурга в Москву сквозь 137 страниц немалого формата.

Принято считать, что Радищев обличает язвы царизма: крепостное право, рекрутскую повинность, народную нищету. На самом же деле он негодует по самым разным поводам. Вот Радищев громит фундаментальный порок России: «Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию мертвы в законе, называться блаженным?!» Но тут же с не меньшим пылом атакует обычай чистить зубы: «Не сдирают они (крестьянские девушки.— *Авт.*) каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками». Только автор прочел отповедь цензуре («цензура сделалась нянькой рассудка»), как его внимание отвлечено французскими кушаньями, «на отраву изобретенными». Иногда в запальчивости Радищев пишет нечто уж совсем несуразное. Например, описывая прощание отца с сыном, отправляющимся в столицу на государственную службу, он восклицает: «Не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу?»

Обличительный пафос Радищева до странности неразборчив. Он равно ненавидит беззаконие и сахароварение. Надо сказать, что и эта универсальная «ярость человечества» имела долгую историю в нашей литературе. Гоголь тоже нападал на «причуду» пить чай с сахаром. Толстой не любил медицины. Наш современник Солоухин с равным усердием призывает спасать иконы и изводить женские брюки. Василий Белов выступает против экологических катастроф и аэробики.

Однако тотальность радищевской мании правдоискательства ускользнула от читателей. Они предпочли обратить внимание не на обличение, скажем, венерических заболеваний, а на атаки против правительства и крепостничества. Именно так поступила Екатерина.

Политическая программа Радищева, изложенная, по словам Пушкина, «безо всякой связи и порядка», представляла собой набор общих мест из сочинений философов-просветителей — Руссо, Монтескье, Гельвеция.

Самое пикантное во всем этом, что любой образованный человек в России мог рассуждения о свободе и равенстве прочесть в оригинале — до Французской революции никто ничего в России не запрещал (цензура находилась в ведомстве Академии наук, которая цензурой заниматься не желала).

Преступление Радищева заключалось не в популяризации западного вольнодумия, а в том, что он применил чужую теорию к отечественной практике и описал случаи немыслимого зверства.

До сих пор наши представления о крепостном праве во многом зиждятся на примерах Радищева. Это из него мы черпаем страшные картины торговли людьми, от Радищева пошла традиция сравнивать русских крепостных с американскими чернокожими рабами, он же привел эпизоды чудовищного произвола помещиков, который проявлялся, судя по Радищеву, зачастую в сексуальном плане. Так, в «Путешествии» описан барин, который «омерзил 60 девиц, лишив их непорочности». (Возмущенная Екатерина велела разыскать преступника.) Тут же с подозрительным по сладострастию подробностями выведен развратник, который «лишен став утехи, употребил насилие. Четыре злодея, исполнителя твоея воли, держа руки и ноги ее... но сего не кончаем». Однако судить о крепостном праве по Радищеву, наверное, не лучше, чем оценивать античное рабство по фильму «Спартак».

Дворянский революционер Радищев не только обличал свой класс, но и создал галерею положительных образов — людей из народа. Автор, как и последующие поколения русских писателей, был убежден в том, что только простой народ способен противостоять гнусной власти: «Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей». При этом народ в изображении Радищева остается риторической фигурой. Только внутри жанра просветительского трактата могут существовать мужики, восклицающие: «Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле?» Только автор таких трактатов мог приписывать крестьянам страстную любовь к гражданским правам. Радищев пишет: «Возопил я наконец сице: человек родился в мир равен со всем другим», что в переводе на политический язык эпохи означает введение конституции наподобие только что принятой в Америке. Именно это ставила ему в вину императрица, и именно этим он заслужил посмертную славу.

В представлении потомков Радищев стал интеллектуальным двойником Пугачева. С легкой руки Екатерины эта пара — интеллигент-диссидент и казак-бунтовщик — стала прообразом русского инакомыслия. Всегда у нас были образованные люди, которые говорят от лица непросвещенного народа,— декабристы, народники, славянофилы, либералы, правозащитники. Но, говоря от лица народа, они говорят далеко не то, что говорит сам народ.

Лучше всего это должен был бы знать сам Радищев, который познакомился с пугачевским движением во время службы в армейском штабе в качестве прокурора (обер-аудитора).

Радищев требовал для народа свободы и равенства. Но сам народ мечтал о другом. В пугачевских манифестах самозванец жалует своих подданных «землями, водами, лесом, жительством, травами, реками, рыбами, хлебом, законами, пашнями, телами, денежным жалованьем, свинцом и порохом, как вы желали. И пребывайте, как степные звери».

Радищев пишет о свободе — Пугачев о воле. Один хочет облагодетельствовать народ конституцией, другой — землями и водами. Первый предлагает стать гражданами, второй — степными зверями. Не удивительно, что у Пугачева сторонников оказалось значительно больше.

Пушкина в судьбе Радищева больше всего занимал один вопрос: «Какую цель имел Радищев? Чего именно он желал?»

Действительно, благополучный чиновник (директор таможни) в собственной типографии выпускает книгу, которая не может не погубить автора. Более того, он сам рвзослал первые экземпляры важным вельможам, среди которых был и Державин. Не полагал же он в самом деле свергнуть абсолютную монархию и установить в стране строй, списанный из французской Энциклопедии?

Возможно, одним из мотивов странного поведения Радищева было литературное честолюбие. Радищев мечтал стяжать лавры пиита, а не революционера. «Путешествие» должно было стать ответом всем тем, кто не ценил его литературные опыты. О многочисленных зоилах он глухо упоминает в оде «Вольность»: «В Москве не хотели ее печатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах не ясен и много стихов топорной работы...»

Уязвленный подобными критиками, Радищев намеревался поразить читающую Россию «Путешествием». О таком замысле говорит многое. Необъятный размах, рассчитанный на универсального читателя. Обличительный характер, придающий книге остроту. Назидательный тон, наконец. Изобилующее проектами «Путешествие» есть своего рода «Письмо вождям». Радищев все время помнит о своем адресате, обращаясь к нему напрямую: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкой или нахмуришь чело...» Радищев знал о судьбе Державина, обязанного карьерой поэтическим наставлениям императрице.

Однако главный аргумент в пользу писательских амбиций Радищева — художественная форма книги. В «Путешествии» автор выступает отнюдь не политическим мыслителем. Просветительские идеи — лишь фактура, материал для построения сугубо литературного произведения. Поэтому-то Радищев и избрал для своей главной книги модный тогда образец — «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Стерна.

Стерном зачитывалась вся Европа. Он открыл новый литературный принцип — писать ни о чем, постоянно издеваясь над читателем, иронизируя над его ожиданием, дразня полным отсутствием содержания.

Как и у Радищева, в «Путешествии» Стерна нет никакого путешествия. Есть только сотня страниц, наполненных мозаичными случайными рассуждениями по пустячным поводам. Каждое из этих рассуждений никуда не ведет, и над каждым не забывает подтрунивать автор. Заканчивается книга Стерна замечательно и характерно — последнее предложение: «Так что, когда я протянул руку, я схватил горничную за —».

Никто уже не узнает, за что схватил горничную герой Стерна, но читателей покорила как раз эта издевательская недосказанность. Радищев был среди этих читателей. Одна его глава кончается так: «Всяк пляшет, да не как скоморох,— повторял я, наклоняяся и, подняв, развертывая...»

«Путешествие» Радищева почти копирует «Путешествие» Стерна, за тем исключением, что Радищев решил заполнить намеренно пустую форму Стерна патетическим содержанием. Кажется, он принял за чистую монету дурашливые заявления Стерна: «Рядись, как угодно, Рабство, все-таки ты горькая микстура!»

При этом Радищев тоже пытался быть смешным и легкомысленным («когда я намерился сделать преступление на спине комиссарской»), но его душил обличительский и реформаторский пафос. Он хотел одновременно писать тонкую, изящную, остроумную прозу, но и приносить пользу отечеству, бичуя пороки и воспевая добродетели.

За смешение жанров Радищеву дали десять лет.

Хотя эту книгу давно уже не читают, она сыграла эпохальную роль в русской литературе. Будучи первым мучеником от словесности, Радищев создал специфический русский симбиоз политики и литературы.

Присовокупив к званию писателя должность трибуна, защитника всех обездоленных, Радищев основал мощную традицию, квинтэссенцию которой выражают неизбежно актуальные стихи: «Поэт в России больше, чем поэт».

Так, развитие политической мысли в России стало неотделимо от художественной формы, в которую она облачалась. У нас были Некрасов и Евтушенко, но не было Джефферсона и Франклина.

Вряд ли такая подмена пошла на пользу и политике и литературе, но теперь уже поздно об —

Димитрий Панин

«ЛУБЯНКА — ЭКИБАСТУЗ». ЛАГЕРНЫЕ ЗАПИСКИ

Главы из книги первой

Глава 19

НА КАТОРГЕ (Продолжение)

Отпор террору чекистов

Осенью пятидесятого я перешел на инженерную работу по восстановлению кислородной установки и одновременно занимался для себя объяснением механики на квантовом уровне. Я возобновил свои воркутинские бдения: на этот раз также подымался в четыре утра и работал почти до семи над своими изысканиями; из зэковского десятичасового рабочего дня ухитрялся выхватывать тоже часа два, вечером спал до поверки, затем бодрствовал до двенадцати ночи. Я был поглощен своими поисками и для друзей оставлял только выходной и вечер накануне. От людей я окончательно не оторвался, но сильно ограничил свою активность и вмешательство в дела заключенных. За время этапа и первых двух месяцев на общих работах я постарался передать ближним свой опыт, установки и заповеди, особенно налегая на те, что требовали борьбы и преодоления сопротивления. Я договорился с товарищами, что в случае необходимости всегда постараюсь помочь, но просил не привлекать меня к обсуждению повседневных дел. Одновременно я добился, чтоб Солженицына вообще оставили в покое и не отвлекали от его творческих планов.

События подкрались удивительно незаметно. На этап из Долинки в первое время не обратили внимания. Лишь недели через две дошли слухи, что в Долинке, где было такое же, как наше, отделение Песчанлага, произошел какой-то шум и пожар — скорей поджог. Разнесся слух, что среди долинцев нет ни одного стукача и они имеют возможность разговаривать в бригаде громко о том, о чем мы только вполголоса поверяли хорошим знакомым. На работе они вели себя тоже как-то необычно: загорали, много сидели и разговаривали, курили. На замечания прикрепленного к объекту надзирателя, который обязан был раз в день наведываться в разное время, чтобы пресекать нарушения, они вежливо отвечали, что не его дело вмешиваться в производственные дела бригады. Когда надзиратель угрожал записать номер отвечавшего зэка, ему вежливо, но твердо заявляли, что они все так говорят и пусть он записывает всех подряд... У вольнонаемных прорабов, десятников, представителей треста они потребовали, чтобы наряды были заранее выписаны и выданы им на руки. Затем нагло обсуждали каждую норму, объясняли ее нереальность, говорили, что она придумана идиотом либо циркачом. Предлагали нормировщикам сначала показать своими руками возможность выполнения записанного в наряде, а они тем временем посидят, покурят и посмотрят. Торговля проходила в атмосфере шуток, подначек и приводила к максимально благоприятным нормам, в которых учитывались все необходимые подсобные, вспомогательные работы, и бригада шутя-играючи вырабатывала свой гарантийный паек. Вечером, когда надзиратель вызывал кого-либо для отправки в карцер или в бур, ему вежливо объясняли, что у Мыколы или Стасика живот сегодня разболелся и одного его не отпустят, но раз виноваты все — не отказываются вместе туда проследовать. Если надзиратель пробовал схватить за руку «Стасика», то перед ним вырастала стена из его собригадников. При этом все улыбались, разговаривали приветливо, предлагали закурить... Начальство поняло, что потеряло способность управлять этими людьми, а без стукачей невозможно было узнать, что заки говорят, думают, намереваются делать, кто зачинщики... Было принято решение расформировать долинцев и раскидать их по оствльным бригадам. Долинцы были в основном бандеровцами, власовцами, литовскими робингудами. Молодые парни хорошо познакомились за время лесной партизанской войны с автоматами и пулеметами, но обзавестись гражданскими профессиями не успели, поэтому к нам в мехмастерскую никто из них не попал.

Вскоре в одной из соседних бригад на чердаке был обнаружен труп повешенного самоубийцы. За тринадцать лет лагеря я помню считанное число достоверных самоубийц. У друзей счет был такой же, за исключением самоубийств подследственных. Пополз слух, и вскоре он подтвердился, что самоубийца был замеченным, провалившимся стукачом. Через две недели на объектах в один день были убиты два стукача.

Стукачи были самыми страшными и опасными врагами. Чекист без стукача бессилен. Количество заключенных, уничтоженных вследствие предательства, провокаций и клеветы, огромно и сраанимо лишь с погибшими от искусственно созданного в лагерях голода. Ни блатные, ни комендатура, ни надзорсостав, ни сами чекисты без помощи стукачей не смогли бы нанести и малой части того урона, который был обеспечен их деятельностью. Около лагерной больницы находилсп барак, заполненный чахоточными молодыми людьми, заработавшими болезнь в карцерах, в основном зимой. Все они были жертвами стукачей. Из-за них были переполнены карцер, изолятор, бур. Чувство мести и ненависти против них накопилось и ждало лишь выхода. Разбросанные по бригадам зэки из Долинки охотно делились своим опытом.

Борьба со стукачами велась всегда, но в разное время по-разному. В военное время помогали силы природы и условия, в которые попали те, кто был на общих работах, поэтому отдельной расплаты не требовалось. На Воркуте стукачей ненавидело само начальство, и их списывали на шахты, где они уничтожались самими блатарями. На шарашке борьба с предателями была невозможна. В спецлаге появилась новая для всех форма истребления стукачей средь бела дня. Естественно, это вызвало живейшее обсуждение.

Всю жизнь я был против террора в любом аиде и всегда был сторонником борьбы с ним. Чекисты осуществляли неослабевающий террор. Его проводниками в среде заключенных были стукачи. Следовательно, они были необходимейшим орудием террора и сами являлись террористами. При таких обстоятельствах уничтожение крупного стукача, убившего несколько заключенных и подорвавшего здоровье многих, было актом самообороны и защиты от терроризма. Спруту надо было отрубить щупальца: ведь он сам избрал такое применение себе, вкрадывался в доверие, выпытывал, вызывал на откровенность, доносил, врал и клеветал. Есть ли что-нибудь более отвратительное на земле, чем служба таких иуд?.. Они хуже чекистов, палачей, прямых исполнителей актов террора...

Стукачей можно уподобить ленинской агентуре, действовавшей на германские деньги в 1917 году после свержения царя. Агенты обманывали простых людей, прикидывались радетелями за блага трудящихся, призывали открыть фронт, оставлять позиции, убивать своих офицеров и верных солдат, любой ценой кончать уже почти выигранную войну... Долг велел отдааать этих изменников под военно-полевой суд. Проявленная мягкотелость и безынициативность привели страну к гибели.

Стукачи непрерывно вели скрытую, тайную войну с заключенными и в любой момент могли ожидать — и многие дождались — расплаты. В нашем особлаге сами стукачи и их хозяева переусердствовали. Непомерный град репрессий валился на головы заключенных, которые, несмотря на беззаконный их перевод в положение каторжан, неплохо работали и вели себя вполне сносно.

Расплата с пособниками чекистского террора — стукачами — велась систематически в течение восьми месяцев. Уничтожено было сорок пять человек. Операциями руководили из строго законспирированного центра, видимо, состоявшего из нескольких заключенных с долинского этапа. Мы были свидетелями того, как ряд заключенных, не выдерживая ожидания и стремясь избежать своей участи, убегали в лагерную тюрьму, куда их прятали от неминуемой, как им казалось, расправы. Беглые стукачи содержались все в одной камере, получившей прозвище «забоюсь».

Свирепая борьба со стукачами резко парализовала и крайне ослабила их деятельность. Без них чекисты *ослепли и оглохли*. С целью разрядить обстановку они устроили фарс: подготавливалось якобы снижение сроков наказания. Вызывали зэка и спрашивали, в какой город он хочет ехать после освобождения. Зэк отвечал, что у него еще двадцать три года впереди. «Нет. Вам сидеть столько не придется, идет пересмотр дела»,— отвечали ему. Все это шито белыми нитками, и скоро, после наших разъяснений, над такой болтовней стали открыто смеяться.

Несколько раз чекисты делали неуклюжие попытки вызвать взаимную резню между заключенными разных национальностей. Ставка делалась на распрю между бандеровцами и магометанами (чеченцами, ингушами, татарами, азербайджанцами). Но план сразу удалось разгадать и обезвредить. Особенно старался устроить такую Варфоломеевскую ночь начальник надзорслужбы лейтенант Мочеховский, чекист, прошедший школу у красных партизан Ковпака. Часто видели, как лейтенант что-то вынюхивает на лагпункте, но к нему и к другим вольным расправа не относилась, так как охота шла только на стукачей-зэков. После неудачи с взаимной резней Мочеховский сотворил жестокую провокацию и, сам того не желая, нанес ею удар в самое сердце особлагов.

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 1—2.

Сила духа

Уже на Западе я прочел книгу Краснова «Незабываемое». Он отбывал свой срок в те же годы в Озерлаге и сообщает о фактах, которые у нас, благодаря сплоченности, были невозможны. Разница колоссальна! Они были задавлены страхом, покорны, не помышляли о протесте, смотрели в рот каждому конвоиру. За это их расстреливали, мучали, изводили на нечеловеческих работах. Без хорошей закваски люди немногого стоили. Именно в ней была сила!

В гитлеровских лагерях заставляли заключенного стоять и кричать: «Я, марксистская свинья, продал Германию». Вздумали ввести такую практику в Спасском лагере, населенном инвалидами и умирающими от туберкулеза и силикоза, приобретенных на шахтах Джезказгана. Но ничего не получилось. В нашу бытность в Экибастузе не могли добиться, чтобы зэк здоровался или снимал шапку при встрече с надзирателем. Зэк обычно отворачивался в сторону и проходил мимо.

Весной пятьдесят первого произошло «гордое самоубийство», как мы его позже окрестили. В одной из строительных бригад был замкнутый суровый мужчина лет тридцати, бывший немецкий или венгерский офицер. Он держался обособленно и одиноко. В бригаде его очень уважали. Однажды, когда зэков привели к месту работы, без всякого внешнего повода он молча вышел из последнего ряда и пошел прямо на конвоиров, которые замыкали шествие. Руки он спрятал в карманы бушлата, на окрики не отозвался и был сражен веером пуль, которые не могли задеть колонну,— с таким расчетом он выбрал автоматчика, на которого шел. Так и осталось неизвестным, что он при этом думал. На всех нас его убийство произвело огромное впечатление, многие поняли, что среди нас есть истинно гордые люди. Своей великолепной смертью он как бы зажег факел нашего глухого восстания. Вероятно, где-нибудь были у него родные и близкие, но в холодном задуманном протесте он пренебрег всем. Так поступают только герои.

До последнего времени охранявшие нас солдаты, видимо, согласно уставу конвойной службы, держались от нас на почтительном расстоянии. Однако после «гордого самоубийства» отношение к нам резко изменилось. Атмосфера стала сгущаться; на разводах сыпались ругательства, зэков обзывали «фашистами», «контрой», «бендерой»... Видимо, на политзанятиях солдат накачивали крепче обычного. Как-то по прибытии в мастерскую не досчитались одного человека и приказали всем вернуться назад, за ворота вахты. Заключенные уже разошлись по своим цехам, бригадиры отказались выполнить команду конвоя, предлагая пересчитать людей на рабочих местах. Сопротивление было выдержано в стиле глухой борьбы, которую мы вели в то время. Громче всех из бригадиров разорялся наш Павлик. Начальник конвоя пригласил его как представителя заключенных пройти на вахту и дать там свои объяснения. Ловушка была слишком очевидной. Ведущих зэков поблизости не было, и Павлик, движимый отнюдь не благоразумием, а львиной отвагой и стремлением геройски отличиться, сделал то, на что не рассчитывали сами конвоиры,— решительными шагами отделился от кучки бригадиров и прошел на вахту. Бригадиры, поняв опасность, бросились врассыпную и стали созывать зэков. Через несколько минут, как по военной команде, перед вахтой столпились почти две сотни, остальные бегом спешили к воротам. Кто-то завопил: «Верните бригадира!»; сотни глоток подхватили. Через две-три минуты дверь вахты резко, как от пинка ногой, отворилась, и на пороге появился красный как рак Павлик. Резким броском он миновал критические десять метров, где его еще могли сзади застрелить, не задевая пулями толпу, и пошел к воротам быстро и уверенно. Кратко он поведал о происшедшем за закрытой дверью. Он безбоязненно стоял в центре вахты. Вопросы-ответы сразу перешли в ругань и угрозы. В ушах звучало: «Контрреволюционный саботаж». Взбеленившись, но не показав виду, Павлик ответил примерно так: «Мы революционеры, не вы. Мы борцы с вашим тюремным фашизмом. Хватит вам тридцать четыре года считать себя революционерами. Раз вы против нас, то вы — настоящая контра. Зарубите себе это на носу». Его слова произвели ошарашивающее впечатление на солдат. Такой взгляд на события был для них совершенно новым. Начальник опомнился и приказал солдатам скрутить обличителя. Выполнить его приказ оказалось не так просто. Крестьянских парней, видимо, не обучили боксу, дзюдо, да силенок было не ахти сколько, как говорится, «кишка тонка». Павлик расшвырял их, как котят, и выскочил в дверь.

Отвага, убежденность, готовность к борьбе остальных заключенных лишили палачей возможности применять их обычные методы. В толпе зэков, в лагере и на производстве Павлик был в безопасности. Взять его можно было, только применив вооруженную силу. Но в той атмосфере ввести в зону взвод автоматчиков было очень опасно: они рисковали остаться без автоматов. Одно дело — дать залп с безопасной позиции, другое — войти в толпу безоружного, но решительно настроенного врага.

Штурм тюрьмы

Выражаясь по-лагерному, начальство «попало в непонятное». Заключенные по-прежнему выходили на работу, подчинялись лагерному режиму, но сеть осведомителей была приведена в негодность. Лагерные придурки вдруг стали вежливыми — прекратились крики, ругань, требования бригадиров находили полное понимание; лагерный нормировщик начал оспаривать применение норм трестом. Все бригадиры получали повышенный паек, ни одного доходяги не было, больше того, заключенные каждые два дня без ущерба отдавали в изолятор часть своих запеканок... Жаловаться лагерное начальство боялось — могли обвинить в неумелости. Каждый осведомительский чекистский отдел также дрожал за свою шкуру, боялся расследований и потому молчал. Возможно, что их донесения задерживались в соответствующих отделах Песчанлага, а может, и замораживались в недрах самих министерств, поскольку говорили не о достижениях чекистов, а о провалах.

Свыше пяти тысяч заключенных было сосредоточено в лагере. Начальство надумало разделить лагпункт пополам, выделив всех украинцев-бандеровцев. Так предполагали ослабить общий фронт и выследить руководителей.

В изоляторе томились зэки, подозреваемые в убийствах стукачей. Следствие ничего не дало, и под влиянием лагерного настроения их приходилось постепенно выпускать обратно на лагпункт. Тогда Мочеховский, вероятно, с разрешения чекистов, стал «бросать» отдельных подозреваемых в камеру, где прятались сбежавшие стукачи, чтобы они снимали допрос своими силами, с применением пыток. Терроризм несет в себе зерно развала и уничтожения. В данном случае терроризм сработал против их системы: этим актом чекисты сами взорвали фундамент особлагов.

Крики и стоны пытаемых доносились до остальных камер изолятора. Дня через два сообщения о пытках дошли до лагпункта. 21 января 1952 года бригады мехмастерской, как всегда, пришли в зону последними, так как у работавших под крышей смена была более продолжительной. Я услышал характерный звук отдираемых от забора досок, сопутствующий пожару, когда выходил из столовой и прятал ложку в валенок. Описанный Солженицыным в рассказе «Один день Ивана Денисовича» бывший узник Бухенвальда, тугой на ухо зэк, и то всполошился. Мы с ним переглянулись и быстро пошли в направлении шума. У линейки — центральной дороги, разделяющей лагерь подобно оси симметрии,— мы заметили черные фигуры, которые бегали и что-то кричали. Изолятор был рядом с вахтой, справа от нее, и я припустился в этом направлении. Мой спутник Клекшин отстал и, видимо, повернул налево, к нашему бараку. Зэки выламывали доски у забора, окружающего каменный изолятор, и, как тараном, пытались сбить решетки с окон в камере стукачей. Решетка не поддавалась, но тут подкатили бочку с горючим, которое употребляли для разжигания печей (так как экибастузский уголь содержал до шестидесяти процентов золы и пользоваться им было крайне трудно). В камеру плеснули ведра три горючего. Поджечь не успели: заработали пулеметы на вышках, с линейки солдаты, вызванные из штаба, начали стрельбу из автоматов. Почти все участвующие в операции зэки, бывшие фронтовики, бросились врассыпную, пригнувшись, как во время перебежек в атаках. Через минуту уже никого не было. Положение зэков, проживавших в бараках слева, было рискованнее, так как надо было пересечь линейку, по которой строчили автоматчики. Поэтому мы короткими перебежками достигли дверей соседнего с изолятором барака, прозванного «Карабас» по имени знаменитой казахстанской пересылки. Мы ворвались в барак и остановились у притолоки.

От разгоряченных участников я узнал о причине штурма тюрьмы. Все произошло стихийно и поэтому крайне необдуманно: хлебонос сообщил усталым людям, пришедшим в зону после работы, о криках пытаемых, и умы воспламенились, чувства взорвались... Плана никакого не было, и операция не принесла ощутимых результатов. Под прикрытием хлебоноса можно было войти в изолятор заранее через дверь, связать тюремщиков, выпустить узников и разделаться со стукачами соответственно с раскаленной атмосферой. Во время стрельбы я анализировал события и нащупал это решение. Внезапно стрельба прекратилась, и я бросился к своему бараку. «Стой, стрелять буду!» — раздался окрик. Быть пойманным в зоне означало смерть, и я надеялся только, что дверь в барак не будет закрыта изнутри. В это мгновение я совершенно выпустил из виду, что в тех лагерях ее запирали снаружи после отбоя. Пара пуль из пистолета вонзилась в притолоку над моей головой. Я рванул ручку: на полу коридора вплотную сидели спасавшиеся от выстрелов. Через несколько минут вбежали Володя Тимофеев, Богдан и еще несколько молодых ребят — явных участников штурма. Оправдываться было бесполезно — в наших бригадах стукачи уцелели, так как не подверглись избиению, и отметили меня в своих кондуитах. Стреляли больше для острастки, и пули не достигали живых мишеней из-за преград бараков. Поэтому убиты были немногие, но зато надзиратели добили нескольких раненых железными палками. Общее число убитых не превышало десятка.

Мы были не подготовлены к решительным событиям, и на следующий день бригады мехмастерской, наиболее советские по своему составу, не отдавая себе отчета в действиях,

вышли на работу и задним умом поняли, что наделали. Было не до выполнения заданий: нас бесконечно посещали вольнонаемные, имевшие пропуск в мастерскую, и выпытывали подробности событий, которые кто-то назвал «ленинским расстрелом», коль скоро он произошел в годовщину смерти Ленина.

Вечером, к стыду своему, мы узнали, что были единственными. Остальные бригады в знак протеста отказались выйти на работу, и нас справедливо обругали штрейкбрехерами. Конечно, координации никакой не было, нас никто не предупредил, сами же не сообразили.

В последующие дни решили объявить забастовку и одновременно голодовку протеста. Стало ясно, что руководство находится в надежных руках. В бараках были зачитаны требования заключенных к администрации лагеря: вызов республиканского прокурора, прекращение непрерывных репрессий, наказание виновников пыток в изоляторе. Три тысячи зэков остались в бараках, не пошли в столовую и за хлебом, наотрез отказались работать. Надзиратели лебезили, уговаривали, но из задних рядов их обзывали палачами, убийцами, спрашивали, не устали ли они, добивая раненых. Ушли они не солоно хлебавши. Те, кто получал посылки, снесли остатки припасов в общую кучу, и побригадно было организовано по сути дела символическое питание, так как посылки обязаны были храниться в каптерке, а на руки выдавали лишь необходимое на несколько дней. В первый день повара и пекари вышли на работу, но сваренную еду пришлось из котлов ведрами вынести на помойку. Связь между бараками поддерживали ребята, доставлявшие уголь. Они передали поварам требование больше не готовить. Трубы пищеблока перестали дымиться, лагпункт производил грозное впечатление. Дни были морозные, безветренные, дым из бараков образовывал подобие серых длинных свечей. В зоне ни души. Тишина!

На второй и третий день стали забегать начальники. Им повторяли требования заключенных и категорически заявляли, что до приезда прокурора об окончании голодовки не может быть и речи. От связных мы узнали мрачную новость: бандеровцы на своем лагпункте, смежном с нашим, к забастовке не присоединились. Мы поняли, что центр смутьянов из Долинки разделился по лагпунктам, а связь между ними нарушена. К концу третьего дня из «Карабаса», где находились инвалиды и «слабосиловка», вышедшая из больницы, пришло тревожное сообщение о том, что их силы на исходе и они просят прекратить голодовку. Кое-как удалось уговорить. На четвертый день прилетели прокурор и высшее лагерное начальство. Они обходили бараки, выслушивали требования, ничего толком не обещали, но пригрозили, что если мы на работу завтра не выйдем, то будем отданы под суд за контрреволюционный саботаж (по статье 58 [14]). С задних рядов кричали: «Долой! Мало вам нашей крови! Прокурора!» Не верили утверждениям чина, что он и есть прокурор. «Прокурор должен наказать виновных, а вы нам только угрожаете!»

Прокурор со свитой удалился, но оказалось, что немало людей он сумел напугать. Поползли разговоры об окончании назавтра голодовки. Молодые хлопцы, в том числе Володя, Богдан, метались, уговаривали... Наконец решили устроить общее собрание и обсудить положение. Но что могли сделать пылкие и чистые дети, когда опыт последних десятилетий, чекистская машина террора, полное бесправие рабов, страшный произвол людоедов были против них. Одного движения Сталина было достаточно, чтобы всех немедленно перестреляли. Привычными доводами оказалось крайне легко разбить их шаткие в своей новизне предложения. Мне было ясно, что советское нутро брало верх, и если не вмешаться, то вынесут позорное предложение о сдаче. За эти дни я отчетливо понял, что участь моя все равно давно решена: приму я участие или нет — безразлично, все видели, как я вбежал в барак, когда в меня стреляли. На шее все равно висела тяжелая гиря лагерного срока за подготовку восстания. Настал момент оправдать это обвинение.

С легким сердцем я взял слово и начал убеждать продолжить забастовку. Сильных доводов я выставить не мог, так как мне тоже была ясна неизбежная расправа и месть чекистов. Но все во мне говорило, что нельзя сдаваться — еще день-два, и мы одержим крупную моральную победу. Я говорил несвойственными мне туманными фразами, и не было ясности и логики мысли, к которой я всегда стремился. Но в этой аудитории интуитивно я выбрал самый верный путь. Мне удалось убедить не идеями, а всем своим существом. Конечно, не обошлось без веских аргументов. Мое выступление сводилось к следующему:

— Раньше всех бросит голодовку «Карабас». Позор его опередить. Мы и так «отличились» выходом на работу в день после расстрела. Пусть возьмут слово те, кто может доказать, что сытые, здоровые люди с большим числом посылок и возможностями приработка должны бросить раньше всех голодовку. Виновников измены памяти погибших мы будем рассматривать только как предателей общелагерной честной, справедливой борьбы с местным произволом и беззаконием. «Мы ждем и запоминаем».

— Кончить голодовку мы можем, только вырвав у прокурора и начальства согласие удовлетворить наши требования. Потом обещания, конечно, нарушат, но победа будет все равно одержана нами. Следует думать не только о завтра, но и о послезавтра. У людей громадные сроки. Репрессии можно пережить, но победа даст нам право добиваться улучшений, и тогда сами репрессии будут слабее.

— Для нас пустяк поголодать еще пару дней, но для начальства любого ранга каждый день нашего протеста может обернуться трагедией всей их жизни. И это обстоятельство для них важнее.

Саня Солженицын считал, что это лучший день моей жизни. «Твой голос переливался и звенел, как серебро. В твоем облике были убеждение и вера в свою правоту», — сказал он мне. Так или иначе, но предложение кончить забастовку было провалено. В своей дальнейшей судьбе я тоже не сомневался: с рук это сойти не могло, хотя я плел все в рамках законности...

На следующий день прокурор и начальство совершенно изменили тон. Они уговаривали по-хорошему, обещали все исправить, репрессий не производить, виновных из лагерного начальства наказать. Нам было ясно, что это обман и они обязательно возьмут реванш, но радостное сознание одержанной победы нас не покидало. Забастовка-голодовка длилась пять суток. Начальство отдало нам за эти дни весь хлеб, первые дни нам отпускали двойные порции. Кроме того, разрешили кино, выдали постельные принадлежности. Вскоре начали устраивать совещания бригадиров, успокаивать, но одновременно выпытывали, приглашали высказаться... Это было предвестием репрессий.

Стукачей из камеры «забоюсь» немедленно вывезли. Жертвы их пыток были выпущены на лагпункт, а когда начались репрессии, их куда-то отправили.

Расправа

Расправа началась через две недели. Из Караганды приехала бригада следователей, начались допросы. Мы нагнали, видимо, страху, и первое время они не пытались арестовывать в зоне: знали, что ничего не получится, боялись новых эксцессов. Первый арест был произведен в поле. Во время шествия на работу колонну остановили, ее окружила со всех сторон вооруженная автоматами и ручными пулеметами рота солдат. Нам приказали сесть. Такую команду я услышал в первый и последний раз. Незнакомый офицер предупредил, что оружие находится на боевом взводе, в случае нарушения порядка стрельба начнется без предупреждения, и, кончив речь, плотоядно облизнулся. После этого он выкликнул пять фамилий из числа ребят-связистов во время голодовки, которых засекли надзиратели. Всем было ясно, что расправы не избежать, но сопротивляться недельку-другую еще было можно. Людей не надо было отдавать. Посидели бы пару часов, начали бы кричать, напугали бы конвой, и отвели бы нас на работу. Моральное право было за нами: ведь нам обещали не производить репрессий. Центр руководства забастовкой решил иначе. Они считали, что расплаты не миновать, но надо пережить эту фразу и нести факел борьбы в другие места. В таком рассуждении был смысл — сталинская деспотия была в своем зените. Названные ребята поднялись, не желая, чтобы из-за них морозились остальные, и подошли к конвоирам. На них немедленно надели наручники. После этой акции стали вызывать на допросы в зоне. Большинство возвращалось обратно. Всем передавалась главная установка: пережить трудное время и разносить повсюду пламя борьбы, так как было ясно, что в таком составе нас чекисты не оставят, сладят с нами не мытьем, так катаньем и обязательно развезут по другим лагпунктам.

При разделении нашего лагпункта тюремный изолятор остался на нашей половине, а больница — на другой. Оттуда под конвоем приводили врачей для осмотра больных, а на излечение переводили на украинский лагпункт. Солженицына уже несколько месяцев мучила опухоль. Время шло. Вначале врачи колебались в диагнозе, затем разделили лагпункты, и произошли грозные события. Наконец Саня добился перевода в больницу и в начале февраля покинул нас. Наша четырехлетняя жизнь под общим кровом, в теснейшем общении окончилась. Дороги наши разошлись, по выходе на волю мы встречались редко и нерегулярно: я обиделся за искажение образа Сологдина, и черная кошка пробежала между нами.

Тринадцатого февраля мне приказали не выходить на развод, а часов в десять утра привели на допрос. Я знал, что на лагпункт мне не вернуться, поэтому простился с друзьями и попросил их позаботиться о моих пожитках, в которых были мои записи по механике, диалектике и кузнечная работа. Несколько следователей, половина которых были казахи, ждали меня. Они переговаривались на своем родном языке. На все вопросы я отвечал однотипно: «Нет, не знаю, не ведаю, не слышал, не видел...» Меня стали шантажировать остатком срока, но я отрубил: «Год или десять лет лагеря ничто по сравнению с вечной жизнью бессмертной души». Я давно понял, как с ними надо разговаривать, и поэтому держался крайне независимо и даже дерзко. Еще во время совещаний начальства с бригадирами мы с радостью отметили, что антисоветской политической подкладки под происшедшие события не подводят. Они считали, что это «волынка», то есть своего рода массовое хулиганство. Начальники заботились о целости своих голов, так как за политический провал их могли бы всех перестрелять. На вопрос о моем участии в событиях я ответил, что хулиганством не занимаюсь, с хулиганами не вожусь, а являюсь, правда, не по своей вине, неудавшимся ученым. На случай, если им придет фантазия запутать

менн в политическое дельце, которое они смогут пожелать испечь, я объяснил, что хорошо понимаю, почему они выдумали слово «волынка», и сумею доказать их намерения, используя некоторые свои соображения длн защиты. Наглостью и дерзостью к тому времени удивить их было невозможно: из общего уровня я не выделнлся. Они погуторили на непонятном мне языке, и меня отаели в лагерную тюрьму.

Изолятор был построен год назад. Каменные стены еще не обсохли, а углах был иней, так как печи почти не топили; выбитые ао время штурма стекла не вставили, а сами зэки заткнули их тряпками. Помещение отапливалось теплом человеческих тел. Потянулись тюремные будни. На допросы меня не вызывали, и н просидел так полтора месяца.

В тюрьме я сдружился с татарином Юсупом. Он был родом из Азербайджана, сын высокопоставленных партийных работников. В тридцать седьмом сталинский сатрап Багиров пересажал всех из своего партийного окружения, предъявив им обвинение в желании оторвать Азербайджан от СССР. Допросы главных деятелей вел сам Багироа. Восточная изощренность этого сатрапа не знала пределов. Он обрушил град страшнейших пыток на своих недавних сотрудников и близких людей. Юсуп тогда был еще юношей. Ему перебнли нос, несколько раз завязывали а смирительную рубашку, он ослаб настолько, что заболел чахоткой... В его родительском доме было вытравлено понятие о религии, и в детстве он ничего не слыхал о магометанской вере, но под влиянием поучений друзей и асего пережитого аернулся к заветам предков. Человек он был прекрасной, необыкновенно чистой души, и на него, безусловно, можно было положитьсн.

Польский еврей, портной, ждал освобождения, а пока что рассказывал много интересного о движении сторонников Жаботинского в предвоенной Польше. Третьим обитателем камеры был громадный детина, по профессии — уголовник, по недавнему прошлому — власоаец. Из его рассказов, впрочем, следовало, что в Германии тоже он промышлял воровством и грабежами; о своих ратных подвигах он умалчивал. Воров в особлаге не жалоаали, и, возможно, он придумал про власовца, чтобы реабилитировать себя в глазах окружающих.

В первую неделю пребывания в тюрьме разнесся слух, что горит «новый док» (деревообделочный комбинат). Строения дока почти все были деревннными. Под знойным солнцем и ветрами Казахстана дерево высохло и горело, как порох. К вечеру от дока остались одни головешки. На его строительстве работали только бригады с бандеровского лагпункта. Всем нам было ясно, чьих рук зто дело. Для себя я назвал эту операцию «похороны викинга», так как среди нас шумным успехом пользовалось произведение Персиваля Рена того же названия и с похожей фабулой. Викингами были для менн асе борцы, сложившие голову в борьбе с террором. Много красочных, блестящих, сильных, несгибаемых разнообразных людей встретил я в особлаге. Жизнь там была чрезвычайно богата событиями. Можно бы вспомнить ряд интересных, содержательных эпизодов, из которых читатель почерпнул бы ценный материал. Об особлаге следует написать отдельную книгу, и в глубине души я надеюсь, что этот пробел будет восполнен кем-либо из молодых очевидцев.

Однажды ночью мы были разбужены и переведены в другую камеру. Начались сборы на этап. Тем, кому задержали посылки на время посадки в изолятор, раздали их перед отправкой. Началось дикое обжорство, но другим перепало мало, а обо мне и Юсупе вообще забыли. Мы были не в претензии: ребята из других камер не могли нас знать. Большой удачей было то, что Мочеховский, руководивший обыском и выдачей вещей, пропустил мои записки. С его на этот раз легкой руки тюремщики и конвоиры на моем тяжелом пути штрафника один за другим пропускали эти рукописи. В пути у меня отобрали только в Спасске книжечку с напечатанными типографским способом двенадцатью Евангелиями. Рядом отбирали куда менее подозрительные и крамольные аещи, мне же удалось провести мое сокровище через двенадцать обысков, свирепых и придирчивых, ибо нас везли как опасных бунтарей и смутьнов.

Наш этап прошел через Павлодар, Омск, Караганду и прибыл в Спасск, который был прозван лагерем смерти, так как в нем производили расстрелы и умирали тысячи инвалидоа и неизлечимых больных. Нас встречали и провожали как штрафников, соответственно держали в наиболее тяжелых тюремных условиях, главным образом в подвалах, казематах, штрафбараках. Мы всегда с радостью читали там на стенах уборных: «Привет героям Экибастуза!» или аналогичные надписи. Строго говорн, подлинно героического мы не совершили, но доказали то, что мне давным-давно было ясным и что я старалсн внушать другим:

— Борьба со сталинизмом даже в самых тяжелых условиях лагерей — возможна и необходима. Она увенчается успехом, если отбросить рабий страх и стряхнуть гипноз, нагнетаемый органами подавления.

— В целом сумма репрессий за активные, смелые, дружно проводимые действия гораздо меньше, чем когда начинается взаимная продажа даже при пустяковых нарушениях.

— Чекисты наглы, кровожадны, беспощадны, когда их боятся. Достается гораздо меньше тем, кто понимает шаткость положенин прислужников режима, умеет нащупать слабое звено в их рндах и взаимоотношениих и, главное, дает отпор. Под натиском людей доброй воли зло отступает.

Забастовка трех тысяч человек впервые доказала возможность открытой борьбы легальными средствами с произволом сталинских сатрапов, когда система подавления и террора была доведена до предела. Мы нанесли поражение чекистам, пронзили сердце особлагов, после чего началась вереница непрерывных уступок и смягчений, и показали дорогу всем, кто хотел вести борьбу с произволом и унижением человека. Эхо быстро разнеслось по империи ГУЛАГа, и стали возможны последующие возмущения в Джезказгане, на Воркуте и в других местах, окончательно добившие массовое рабовладение в стране.

Шестимесячное путешествие в качестве штрафника, пребывание в штрафизоляторе Спасска, столкновения со следователями, встречи с простыми тружениками, водворение в «спокойный» лагпункт Караганды, освобождение из лагеря и «вечная» ссылка в Северный Казахстан, оказаашаяся, к счастью, трехлетней, будут, если представится возможность и время, описаны во второй книге этих «Записок».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Повествуя о прошлом, я стремился к возможно большей точности передачи, тщательно отцеживая все сомнительное и недостоверное. В каждом новом лагере н стремился сразу узнать все опасное, скаерное, угрожающее.

Когда я попал в новый для меня мир, моя душа раскрылась для восприятия свободы, и я хочу поделиться с читателем моими самыми первыми впечатлениями.

В феврале 1972 года случилось невероятное: я приехал на Запад и сразу в центр христианского мира — в Рим. Я не знаю языка этой страны и аоспринимал поначалу Италию только зрительно. Одновременно, как изголодавшийся путник, я набросился на изданные за границей русские книги и журналы. С подсоветским «самиздатом» я познакомился именно на Западе, так как мнение о его широком распространении в Советском Союзе сильно преувеличено. Новые друзья и знакомые, владеашие русским или французским, были носителями изысканной европейской культуры и вызывали в нас глубокое уважение.

Но главной достопримечательностью Рима, особенно в первое время, были для нас рядовые итальянцы и их быт. Не тянуло даже к храмам, музеям, древностнм — хотелось просто ходить по улицам. Каждая лавочка воспринималась как произведение искусства: перед нами возникал маленький Лувр. Я подолгу останавливался у витрин и, насколько позволяло приличие, рассматривал внутреннее убранство маленьких магазинов, харчевен, табачных киосков. Сколько любви, стараний, размышлений вложили в них владельцы! Наверное, среди ночи просыпается хозяин и думает: «Надо бы эту баночку переставить, так будет красивее, привлекательнее»,— и станоаится его заведение как игрушка, ласкает взор.

Итальянцы очень милы, вежливы, рады помочь. Никого из нас — приехавших россиян, неловких, не знающих языка и обычаев,— не обругали, не оговорили. Когда мы обращались, как дикари, с расспросами, они терпеливо вникали, старались помочь, объяснить. При этом мы чувствовали радушие, видели улыбки. Один из новых юных эмигрантов, приехавший до нас, по неумелости жить самостоятельно не смог в первый месяц распорядиться выданным ему пособием и остался без денег. Хозяин траттории, где обедал раз в день мальчик, увидев, как он заказывает воробьиные порции, оказал ему кредит и не взял с него впоследствии денег, сказав: «Господь с тобой, я вижу, что ты бедняк». У этого же юноши разболелся зуб, и врач вылечил его бесплатно. Владелец траттории и врач отнеслись к ближнему в беде, как повелел Спаситель.

Более двух месяцев прожили мы на окраине Рима в новом доме. Нам он показался прекрасным и благоустроенным. Все время нашего пребывания мы наблюдали за двумя солидными мастеровыми. По моим представлениям, лестница была отделана отлично и в ремонте не нуждалась. С трудом н понял, что к стенам подгонялись мраморные плитки у каждой ступеньки. В разное время дня рабочие совершали ювелирную кропотливую работу без «перекура», столь распространенного на стройках и предприятиях в СССР; каждый вечер лестница была чисто вымыта. Я с уважением раскланивалсн с мастерами и с удовольствием высказал бы им свое восхищение, если бы владел их родным языком. Мне также хотелось пожать руку домовладельцу, тратящему немалые деньги на изящество сдаваемых помещений. Как высоки были культура труда и уровень жизни по сравнению с отечественными! Я понял, почему после всех разорений бывший Санкт-Петербург до сих пор пленяет дворцами, особняками с лепными украшениями. До 1917 года в нем трудились около сорока тысяч итальянцев, среди которых преобладали мастера по камню, лепке, отделке, а также резчики и скульпторы...

Мне не удалось побываать в Италии ни на одном крупном зааоде, хотя как конструкто-

ру-механику хотелось. Но пробел этот был восполнен еще в СССР рассказами знакомых инженеров, побывавших в командировке в городе Ставрополе, где итальянская фирма «Фиат» взяла на концессию постройку автомобильного завода. Ценную повесть можно было написать по их впечатлениям об итальянских инженерах и мастерах. Позорная советская система, построенная на полурабстве, давно отучила работать, как на Западе, где свободные люди заинтересованы в заработке. В СССР были крики, обман, лозунги, обещания, а в результате — пришлось через пятьдесят лет пойти на поклон в страну, которая в начале века была в техническом отношении более отсталой, чем тогдашняя царская Россия.

Поразила меня также выправка карабинеров. В первые дни мне казалось, что ожили древнеримские легионеры, а их интеллектуальные лица заставляли думать, что форму надели на аспирантов и доцентов. Большую роль, несомненно, играет наследственность, но не следует преуменьшать роли воспитания и выучки.

В тридцать шестом году, по окончании института, мы с товарищами частенько посещали рестораны в центре Москвы. Это был пир во время чумы. В то время официанты оставляли мерзкое впечатление. Все они практически были сексотами, к тому же обсчитывали посетителей и особым образом вымогали чаевые, «унижающие достоинство советского человека», как явствовало из плакатов, висящих обычно на стенах. По рассказам московских знатоков я знал, что с тех пор положение еще ухудшилось.

В Риме друзья несколько раз приглашали нас в ресторан, и с особым интересом я рассматривал официантов. Передо мной были свободные люди — вежливые, общительные, веселые или сдержанные, но никак не заискивающие и не грубые. Вознаграждение за обслуживание было известно заранее и исчислялось процентом от стоимости обеда.

Один из моих друзей имели постоянного шофера, но иногда по вечерам прибегали к помощи друга. Их семья сумела в чем-то ему содействовать по окончании войны. С тех пор дела его давно поправились, но в память о прошлом он не отказывал этим людям в своей помощи. Несколько раз он заезжал за нами, был изысканно любезен, мил, внимателен. Передо мною был сеньор, хранивший в благодарность подобие вассальной верности своим уже пожилым благожелателям. Такие отношения могут связывать истинно свободных людей. В тот же год, в ноябре ночью, я поехал поездом в Базель, где должен был сделать пересадку на Женеву. Спутник средних лет еще в купе объяснил мне, что вокзал до четырех утра заперт, и предложил довезти до Лозанны в своей машине, которую он оставил на ближайшей улице. Я не знал, прощаясь, как его благодарить, но понял, что он был одним из людей доброй воли и предложенные мною деньги его обязательно обидят.

Я мог свободно присутствовать на мессах, заходить в переполненные по воскресеньям церкви. В первый день Пасхи был на богослужении на площади у собора Святого Петра. День был яркий, солнечный, небо голубое. Тысячи верующих запрудили даже прилегающие улицы. Я стоял на помосте недалеко от папы, рядом с хором мальчиков, монахов, монахинь. Детские голоса звенели, как серебряные колокольчики. Хороший мужской хор отличается силой и глубиной. К женскому хору я относился с некоторым предубеждением, так как в русской церкви уже более четырех десятилетий не слышал его классических участников. В эту Пасху я понял, что раньше мне не привелось слышать настоящего женского церковного пения. У меня захватило дух: казалось, что звучат голоса ангелов. Певчие разных стран были разных рас и наций. В первом ряду стояла небольшого роста вьетнамка или кореянка. Две рослые монахини выделялись строгой красотой и как бы вырезанными из дуба лицами. Возможно, то были испанки, ирландки, шведки, немки... Мне они напомнили кержацких и уральских раскольниц-староверок, истовых, сильных, уверенных, непоколебимых. Подле них была небольшая монахиня, скорей всего, индианка из Южной Америки, смахивающая на нашу бурятку; она пела с самозабвением и подъемом. В богослужении принимали участие священники разных континентов и оттенков кожи, подчеркивая международность и универсальность Церкви. На многих языках обратился папа с приветствием к пастве, в том числе на украинском и русском. После службы начался благовест, и мне казалось, что Святой Петр гудел на весь Рим. У портала колонны стояли, судя по шапочкам, два африканских епископа. Я поцеловал благословившую меня руку и сохранил в сердце их милые, застенчивые улыбки.

На протяжении веков мечтали о братстве людей, о единении и дружбе народов, изобретали утопии и дошли до кровавых химер. В центре христианского мира, веками, мать-Церковь зовет своих сынов, указывает дорогу единения и любви, устраняет расовые конфликты. Девушки-американки подходят к чернокожим священникам под благословение: у разных рас один Бог. Когда вера в Бога одна, то, на основе выполнения воли Божьей, международные проблемы решаются гораздо проще.

В своих размышлениях я не раз считал, что западный мир в основных вопросах подобен арсеналу, от отдельных хранилищ которого утеряны ключи. О его прекрасном оружии, легко поддающемся модернизации, забыли или интерес к нему пропал. Я воочию убедился в правильности своих предположений на площади Ватикана.

Современный западный мир представлялся мне водоемом со здоровыми хорошими рыбами. Но там же плавают останки разложившихся, попавших туда из глубин океана

чудовищ. Они выделяют бактерии, которые заражают мальков и рыбешку послабее. С берега все кажется простым и ясным: надо устранить рассадник отравы и очистить воду.

Можно уподобить Запад также проходческой клети, которую опускают для бурения в шахту. Клеть снабжена и оборудована всем необходимым и при этом во время работы висит на канате. В клети давно заметили, что злоумышленник подпиливает канат, но активных мер не принимают, успокаивая себя надеждой, что перепилить сталь не так просто; а если это и произойдет, то — когда клеть уже опустится и обрыв каната не будет связан с катастрофой, а вызовет лишь неприятными переживаниями, как при падении с небольшой высоты.

В Швейцарии, Бельгии, Франции у меня не было языкового барьера, и я охотно беседовал с рядовыми тружениками, пытаясь получить ответ на несколько контрольных вопросов. В большинстве случаев я восхищался ясностью мысли простых свободных людей Запада:

— они относились с отвращением к терроризму и осуждали его;
— прекрасно понимали, кто во Вьетнаме — жертва, а кто — агрессор, инспиратор и виновник непрерывных бедствий;
— выражали недовольство односторонним освещением событий в газетах;
— не приветствовали поведение некоторой части молодежи.

Впечатление было крайне отрадным. Как правило, суждения выносились с незамутненных позиций и незаметно сложились в сознании людей благодаря многовековой христианской культуре.

С интеллектуалами обстояло сложнее. Среда и окружение давили на них. Несколько либеральных газет создавали общественное мнение.

Одна из первых встреч под Парижем была у меня с первоклассным хирургом, шефом больницы. Рослый сильный француз с выразительным, живым лицом, отброшенными назад волосами напоминал мне мушкетера Атоса. Вместо шпаги он владел ножом хирурга, но видно было, что в случае необходимости сумеет постоять за правое дело. Его жена и две очаровательные дочки радушно встретили нас в загородном доме с традиционным камином, где все было просто, уютно, удобно оборудовано. Когда во время обеда мы заговорили о Южном Вьетнаме, у него на все были заранее готовы ответы. Не так относится он к своим больным, мысленно задавая себе сотни вопросов даже в ходе уже заранее продуманной операции. По нашей просьбе он показал нам свою больницу и попутно сообщил некоторые сведения. Условия были райские. Я мысленно качал головой и смеялся: «Какой еще нужен коммунизм?!» Контингент пациентов моего хирурга был из рядовых рабочих, лечение им было по карману, основные расходы оплачивала касса социального обеспечения. В Советском Союзе в таких больницах имеют право лечиться только члены правительства и ответственные чины.

Советский врач — бледное замученное существо, очень низко оплачиваемое. У него нет возможности оказать подлинную помощь, и он теряет квалификацию. Советская бесплатная медицина — издевательство над больным, насилие над врачом. Один врач в Москве часто повторял: «Лечиться даром — даром лечиться». Правда, в СССР, как и всюду, существуют и выручают идеалисты, но режим не содействует их появлению, и они немногочисленны.

С детских лет я усвоил, что во Франции прирост населения равен нулю. В центре Парижа я попал в католическую семью крупного инженера, у которого было восемь детей. Мальчики были все как на подбор — рослые, здоровые. Сестра — красавица. Семья — дружная, веселая, работящая. Это был необыкновенный мир, исчезнувший у нас, когда началась коллективизация. Даже в Москве, находящейся на более привилегированном положении, обычно в семье растет один ребенок. Русский народ вымирает. Большая семья всегда развивает дружелюбие, братство, отзывчивость. Глава семьи немедленно предложил мне провести у него лето в горах — в большой семье не бывает тесно. Счастье иметь таких верных друзей.

Познакомился я с видным профессором, человеком высокой культуры. Он и его обаятельная жена всегда готовы протянуть руку помощи. Меня пленила независимость взглядов профессора, которые сформировались в ходе объективного изучения вопросов, которых мы касались. Конечно, у него есть союзники и противники. Полагаю, что он рассмеялся бы, если бы ему заявили о необходимости подчинить свою работу постановлениям партии и правительства, как это предлагают советским ученым. А живет он, по сравнению с теми из них, кто не занимается изготовлением смертоносного оружия,— сказочно. Пробным камнем в нашей беседе был снова Вьетнам. От ряда французских интеллектуалов я не раз слышал, что свободный мир в опасности, что в Южный Вьетнам в 1972 году вошли агрессоры и повторилось вторжение фашистских полчищ Гудериана во Францию. Ханой и Вьетконг оправдывали, забывая, что южане много лет были подвержены актам террора, нападениям под покровом ночи, из-за угла. Ни разу не слышал я ссылок на атлантическую хартию и Декларацию прав человека. Приводимые мне доводы были поверхностны, неубедительны, и создавалось впечатление, что такое мнение разделяют

то.— Очень жалко... По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать „Беседу“ на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: „не пущать, тогда Горький воротится домой“. А он и не воротится. Он тоже упрямый».

Однако прав оказался Ходасевич: получив категорический отказ, Горький начал «размякать», а затем, под давлением некоторых лиц, пошел на сближение с большевиками. Он дал свой рассказ для 1-го № ленинградского журнала «Русский Современник» (1924) и уверовал в возможность возобновления *Б* прямо в России. «Весь материал,— сообщал обманываемый Горький,— подготовляется здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов, пока, не ставит».

Ходасевич отвечал Горькому, что журнал типа *Б* в СССР издавать нельзя, потому что типическая черта *Б* в том и заключалась, что журнал издавался за границей, вне советской цензуры. «Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью».

Контакты Ходасевича и Горького на этом прекратились: «Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял».

В семи № *Б* были напечатаны, в частности, стихи Александра Блока, Федора Сологуба, Владислава Ходасевича, Софьи Парнок, Нины Берберовой, Николая Оцупа, Самуила Киссина, проза М. Горького, А. Ремизова, В. Шкловского, Л. Лунца, П. Муратова. По инициативе Горького в журнале печаталось много иностранных авторов: Луиджи Пиранделло, Стефан Цвейг, Ромэн Роллан, Панайот Истрати, Мэй Синклер.

Именно для горьковской «веры в науку» было характерно привлечение в *Б* таких материалов, как «Первобытное население Европы» проф. Брауна, «Рентген» проф. О. Винера (перевод с рукописи) или «Основы современного учения о наследственности» д-ра Г. Вернера и даже «Основы радиотелефонии» проф. Гарри Шмидта. Напечатанный в *Б* философский этюд Л. Ульвига «Чудо в науке» отвечал в этой связи каким-то глубоким основам горьковского миропонимания.

Много места в журнале уделялось истории литературы (очерки о Байроне, о Гете, о французской, английской, немецкой и американской литературе). Достаточно случайными в *Б* выглядели переводы из классики («Ленора» Бюргера в пер. Н. Берберовой и древнекитайская повесть в пер. проф. В. М. Алексеева).

Но чего совершенно не было в *Б* — так это материалов о современной России. Буревестник революции издавал в начале 20-х годов журнал вне политического времени. Единственным исключением выглядит статья Андрея Белого в 1-м № *Б* «О „России“ в России и о „России“ в Берлине» с ее чужеродными для тематики журнала высказываниями: «Увы, понял ненужность теперешних выступлений в Берлине 〈...〉; настроение русской публики кажется мне „курфюрстендаммным“ каким-то 〈...〉 Стало быть: есть какая-то светлая линия в жизни России, есть люди, которые в голоде, в холоде не потеряли друг друга, и братство возникло, которого не было».

Ив. Т.

«ГРАНИ»

Г (журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли) — традиционный «толстый» журнал, отличающийся от тех, что выходят в России, только периодичностью — он не ежемесячный, а квартальный.

Основаны *Г* в лагере перемещенных лиц в 1946 году на территории Германии. Потом журнал издавался в Лимбурге, а теперь уже более трех десятилетий во Франкфурте-на-Майне. Основатель журнала Е. Р. Романов. Журнал издается издательством «Посев», выпускающим и журнал «Посев» — общественно-политический ежемесячник. В 1946—1961 гг. редакторами *Г* были Е. Романов и Л. Ржевский, первый из них позднее в течение многих лет был председателем исполнительного бюро НТС, второй — известный писатель (Нью-Йорк). С 1962 по 1982 год бессменным главным редактором *Г* была Наталья Борисовна Тарасова. В редколлегию при ней в разное время входили Е. Романов, Р. Редлих, Н. Рутыч, А. Неймирок, Л. Ржевский, Н. Росс, В. Чернявский, В. Бетаки, Е. Брейтбарт и постоянный ответственный секретарь Д. Мусина.

После ухода Н. Б. Тарасовой в монастырь журнал редактировали Р. Редлих и Н. Рутыч (1982—1983), Георгий Владимов (1984—1986), а с 1986 года главный редактор — Екатерина Брейтбарт.

Но мы тут рассмотрим журнал лишь за то двадцатилетие, с которым связано имя Н. Б. Тарасовой. До того журнал выходил не столь регулярно и имел несколько иной вид, а после — в течение двух лет (1982—1983) — он практически изменил профиль: в нем не было почти никакой прозы или поэзии, лишь публицистика и военно-исторические материалы. С 1984 года *Г* снова стали литературно-художественным журналом.

Именно в этом журнале впервые увидели свет такие произведения тогдашнего самиздата, как «Верный Руслан» Г. Владимова, «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича, главы из романа В. Гроссмана «За правое дело», «Девочки и дамочки» и «Рыжикан» В. Корнилова, «Прощание из ниоткуда» В. Максимова, «Фотограф Жора» Б. Окуджавы, «Крохотки» А. Солженицына, его же пьесы «Олень и шалашовка» и «Свеча на ветру», некоторые стихи И. Бродского, поэма П. Вегина «Над крышами», лирика Лии Владимировой, Елены Игнатовой, главы из фундаментального труда А. Авторханова «Происхождение партократии».

В *Г* же полностью перепечатывались самиздатовские журналы «Синтаксис» (составленный Александром Гинзбургом; не путать с журналом М. Розановой!), «Феникс» (составитель Юрий Галансков). В *Г* публиковался впервые «Крутой маршрут» Е. Гинзбург.

Именно эти первые публикации того, что сегодня стало классикой, и делают *Г* памятником литературы шестидесятых-семидесятых годов. Перечислим наиболее значительные публикации. Пьесы М. Булгакова «Блаженство», «Собачье сердце», «Верный Руслан» Г. Владимова, «Чонкин» В. Войновича, «Концерт для трубы с оркестром» А. Гладилина, инсценировки В. Максимова по Достоевскому для театра Ю. Любимова, рассказы вашингтонской писательницы А. Кторовой, отрывки из «Продолжения легенды» Анат. Кузнецова, романы В. Максимова, «Четвертая проза» О. Мандельштама, роман Р. Редлиха «Предатель», главы из «Гадких лебедей» А. и Б. Стругацких, рассказы и повести В. Тарсиса, рассказы В. Шаламова.

Из поэзии наиболее крупные публикации за двадцатилетие — стихи Г. Айги, Л. Алексеевой, В. Батшева, В. Бетаки, И. Бродского, Л. Владимировой, Н. Горбаневской, Георгия Иванова, В. Иверни, Дм. Кленовского, Н. Коржавина, Ник. Моршена, А. Неймирока, Ю. Стефанова, И. Чиннова, первые публикации песен А. Галича. В разделе «Очерки современности» наиболее интересны были «Рейс 265» Шалома Йосмана, «Русский хлеб» Е. Лобаса, «Площадь Маяковского» Вл. Осипова (с биографиями многих диссидентов в приложении) и «Только невозможное» О. Сохановича.

В отделе мемуаров — воспоминания В. Буниной-Муромцевой, Ю. Кроткова о семье Б. Пастернака, И. Шейна о С. Михоэлсе и другие.

Среди опубликованных документов — Письмо Сталину М. Булгакова, письма О. Мандельштама к К. Чуковскому, документы суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем, Письмо А. Солженицына IV съезду СП СССР.

В отделе критики — статьи В. Вейдле, В. Завалишина, Б. Вышеславцева, Н. Коржавина, Дм. Кленовского, Эм. Райса, Н. Тарасовой, К. Фотиева.

Философские статьи игумена Г. Эйкаловича «Исихазм», Учение о человеке св. Григория Паламы, С. Левицкого о Б. Расселе, Киреевском, Н. Лосском.

Исторические материалы и труды А. Авторханова, известного статистика проф. И. Курганова.

Статьи таких публицистов, как М. Джилас, Е. Варга, Г. Померанц, В. Поремский, О. Шик.

Среди документов публиковались в *Г* «Дело Пастернака», «Белая книга» (составленная А. Гинзбургом о деле А. Синявского и Ю. Даниэля), материалы суда над В. Буковским, Е. Кушевым и В. Делоне.

Г № 100 — особый выпуск, двойного объема. Открывается он стихами двенадцати поэтов, постоянных авторов журнала. В этом же юбилейном номере — большой роман Л. Ржевского «Две строчки времени», статьи Н. Лосского, глава из работы А. Авторханова «Загадка смерти Сталина».

Выпущено было также библиографическое приложение — содержание всех номеров журнала, с 1-го по 100-й. Позднее содержание номеров публиковалось в самом журнале, но нерегулярно — то за пять номеров, то за десять.

Последний номер под редакцией Н. Б. Тарасовой — 123-й — вышел в 1982 году. Сквозная нумерация — вообще характерна для русской зарубежной журналистики. Но этот номер был первым номером года. После чего начались, собственно говоря, совсем другие *Г*.

Василий Бетаки

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ХОЛОПОВ

Умер Георгий Константинович Холопов, писатель, бывший главный редактор «Звезды». Более 30 лет были связаны у Георгия Константиновича со «Звездой». Здесь в 1936 году была напечатана его первая повесть, в «Звезде» были опубликованы почти все его основные произведения.

Родился Г. К. Холопов в 1915 году в городе Шемаха в бедной армянской семье. Ребенком пережил ужасы геноцида, семья спаслась от погрома бегством в Астрахань. Потеряв отца, Г. К. Холопов рано остался единственным кормильцем семьи, помощником безногой матери. Работая докером, закончил среднюю школу.

С 1931 года Г. К. Холопов жил в Ленинграде. До войны работал на заводе им. К. Маркса, учился на вечернем отделении Литературного института им. А. М. Горького, совмещая это с обязанностями спецкора в «Крестьянской газете».

С первого до последнего дня войны был фронтовым журналистом.

Главные романы Георгия Константиновича — «Огни в бухте», «Грозный год», «Гренада», «Докер». За сборник повестей и рассказов «Иванов день» он удостоен Государственной премии им. А. М. Горького.

В годы безвременья, когда литературе приходилось трудно, «Звезда» под руководством Г. К. Холопова оставалась одним из самых интеллигентных журналов. Вениамин Каверин, Юрий Тынянов, Борис Бурсов, Михаил Дудин, Василий Шукшин (когда его не печатал даже «Новый мир»), Глеб Горбовский, Станислав Лем, Вера Панова, Анастасия Цветаева, Ирина Одоевцева, Даниил Гранин, Юрий Герман, Виктор Конецкий, Андрей Битов, Вадим Шефнер и многие другие — вот авторы «Звезды».

Георгий Константинович страстно любил свое дело и отдал ему всю жизнь.

Светлая память о Г. К. Холопове останется в наших сердцах.

Редколлегия и редакционный коллектив
журнала «Звезда»

СОДЕРЖАНИЕ

ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 3. 1—208. Цена 1 р. 60 к. Индекс 70327.

ISSN 0321—1878

3

1991

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «ЗВЕЗДЫ»
ЧИТАЙТЕ!

Александр Солженицын. «Март Семнадцатого» — четвертый, заключительный том романа охватывает события с 23 февраля по 18 марта 1917 года.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «ЗВЕЗДЫ»
ЧИТАЙТЕ!

Владимир Антонов-Овсеенко. «Карьера палача» — завершение преступной деятельности и жизни Лаврентия Берии («Досье на членов Политбюро»; «Клан против клана»; «Ленинградская резня»; «Устранение Сталина»; «Арест, суд и казнь маршала» и т. д.).

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «ЗВЕЗДЫ»
ЧИТАЙТЕ!

Альберт Эйнштейн. «Почему они ненавидят евреев». Еще раз в 1938 году великий физик проанализировал проблему, тревожащую мир и сегодня.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СССР

Звезда

3
март
1991

■ НЕЗАВИСИМОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЛЕНИНГРАД

Учредитель: Союз писателей СССР — Издатель: редакция журнала «Звезда»

Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 21.11.90. Подписано к печати 18.01.91. Формат 70×108 1/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,15 уч.-изд. л. Тираж 142 610 экз. Заказ № 761. Цена 1 р. 60 к. по подписке

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

* * *

Я бредил историей Дании в сводке Шекспира,
которого так до войны перевел Пастернак,
что вышел российский масштаб, и английская лира
склонила над бедною родиной траурный флаг.

Свернулось пространство от ужаса клубных собраний,
и датскому принцу слепила глаза Колыма;
миллионы взывали к возмездью, от их заклинаний
актеры и зрители вместе сходили с ума.

Но было кому провожать палачей на почетный
заслуженный отдых, без тени стыда на лице
хвалить Эльсинор, воспевая момент поворотный,
и новой интригой питаться в Кремлевском дворце.

И время течет, а имперская спесь колобродит
по жилам могильщиков и шоферов, и во мне
имперская слава такие рулады выводит,
что я забываю, в какой погибаю стране.

И время проходит. И вновь прибалтийские волны
до нас достигают, и тайные письма спешат.
И в записи стонут волынки, и воют валторны,
и снова в России шекспировский призрак зачат...

* * *

Любовь моя, переходящий приз,
подруга тайны, невидаль, новинка,
ты всем взяла, взойдя из-за кулис,
достойная тьмы, измены, поединка,

подобна сну, провалу, ворожбе
над жарким словом и прохладным телом!
Чего еще хотелось бы тебе?
Что ты нашла в порыве оголтелом?..

Все наши дни склонились к мятежу
на жизнь и на́смерть, и — какое горе! —
я все равно тебя не удержу
в последней ласке, в колком разговоре...

Кого ты хочешь вспомнить и забыть
и на кого глядишь сквозь эту влагу?..
Актер, актер!.. Ну где ему любить,
из всех ролей собрать одну отвагу!..

Прощай. Меняй в Америке мужей.
Забудь меня и всех моих собратьев.
Но удержи на памяти моей
все пять твоих открытых летних платьев...

Владимир Эмануилович Рецептер (р. в 1935 г.) — поэт. Впервые опубликовался в 1953 году. Первая книга стихов — «Актерский цех» — увидела свет в 1962-м. Живет в Ленинграде.

• • •

Там все предсказано, а мы живем — не слышим,
там все записано, а нам — и ни к чему.
Ночные бдения на ту же нитку нижем,
дневные бдения препроводив во тьму.

Но расписание меняет электричка,
мы спотыкаемся и ждем ее как раз,
когда нет времени, и просится привычка
смириться с задвинным и удержать рассказ...

Пора исправиться, но затупился скальпель,
рука подвешена, и что ей суждено
вслед операции, и сколько красных капель
в известных случаях кропило полотно...

Пора покаяться, болит рука, и запись
недосягаема... Тогда чего мы ждем
вне расписания и втайне, и на зависть
часам, подвешенным под этим фонарем?..

• • •

Быстрее времени проходит жизнь одна,—
дрожи, автобус, жги, железка,—
что благородней духом: вновь до дна
исчерпать прошлое или отринуть резко?

К тьме обращенное темно твое лицо,
ни колокола, ни прибоя...
Сучи, сворачивай пространство, колесо,
взмой, вертолетчик, над судьбою...

Кто счастлив с женщиной, тому своей вины
не искупить пред остальными...
Моторка, выпрыгни из медленной волны,
укрой бортами жестяными!..

Ладонь обласкана в любимых волосах,
нежнее нежности — разлука.

Спешу медлительно и медлю второпях...
Лети, душа, быстрее звука,

коснись источника и, зарядясь сполна,
вернись в летающей тарелке!..
Что благородней духом: времена
связать или увязнуть в переделке?..

Прости мне, родина, дороги поперек,
дороги вдоль и тайные сомненья,
высокой скоростью ты задала урок
неслыханного промедленья.

Бесправна выборность, и очередь темна,
и вновь не узнаны пророки...
Быстрее времени проходит жизнь одна,
и тонет свет в ее потоке...

• • •

Прислушайся, глухарь,
к тому, что за дверьми,
к сигналам новых потрясений,
тебе откроется, что было меж людьми,
не ведающими сомнений,

и теми, кто смущал, от века раздвоен,
толпу, ломящуюся в двери,
и скоро изгнан был, раздавлен, погребен
в твоем родном эсэсэсэре.

Прислушайся, глухарь,
читай зловещий звук,
верь барабанной перепонке,

тебе откроется, к чему железный крюк
и сталь набита на филенки;

зачем предшественник
двойной устроил щит
пред грязной лестницей
у частного порога,—
и ты прощения, пока броня трещит,
успеешь вымолить у Бога.

Но как соседу быть?..
Чем замолить вину
не ведающих колебаний?..

Кто надоумит здесь, как защитить страну,
любимую без оснований?..

Пойдем на улицу,
сверхчувственный глухарь.
Грязна имперская столица.

Темна империя. Глумлив ее словарь,
Туманны лбы и глухи лица...

Но Храм Владимирский вернул свои права,
дух потеснил тоску складскую,
и сами тянутся убогие слова
в Божественную мастерскую...

• • •

В такую осень выходить опасно:
от листопада слепни и скользи
глазами вдаль, где облако безгласно,
и, заглядевшись, оступись в грязи.

Но черных пятен, как на листьях,
мало,
и серым отдает голубизна,
и ласков свет балтийского портала,
и дорога подножная казна.

Зелено-желтым или желто-бурым
тебя оплавит и вживит коллаж,
и станешь сам причастен тем фактурам,
которым предпочтение отдашь.

Но так ли?.. И какое предпочтенье
здесь отдавать, когда и ты, чужак,

в конце концов, достоин отторженья,
и скажешь: «друг»,
а чайка крикнет: «враг».

Прибалтика, затеяв отделиться,
спешит, как эта поздняя листва,
и требует свободы, словно птица
в бессудных проявленьях естества.

Летит листва моей имперской славы,
касаясь плеч и посулив букет
на память о любви моей неправой,
насильной дружбы бедственный привет.

Сердечный отзыв — высшая награда
за бескорыстье. Начинай с нуля,
будь робок с ней: посредством листопада
в другое время перешла земля...

СЕМЬЯ НАСТРОЙЩИКА

Семья настройщика
с настройщиком пришла,
чтобы способствовать настройке,—
дочь, сын, жена,— всегда вокруг стола,
вокруг костра, больничной койки,

вокруг Бетховена и Баха вчетвером —
неразлучимы в воскресенье.
«Они рас-строют, я нас-трою...» —
Тут прием:
заика шутит во спасенье

благополучия. Не должен же рояль
молчать или звучать фальшиво.
Явились четверо, им времени не жаль;
звучат пассажи и мотивы,

все виды гамм вокруг семьи; игра
воскресных бликов в черном лаке;
многоголосие вокруг беды, добра,
любви таинственные знаки,

свои условности вокруг
«когда — тогда»,
погоды, стирки, чтенья книги,
вокруг отчаянья, вокруг одра, стыда,
подписки, Ленинграда, Риги;

вокруг отъезда, Листа, чистого листа,
Рахманинова, Тель-Авива,
родных могил,— куда нам! — здесь места
прикуплены, здесь перспектива

спасенья, гибели, богатства, нищеты,
Денисова, двух свадеб, Шнитке...
И мы настроимся, быть может, я и ты
на счастье со второй попытки...

Жена настройщика
по клавишам прошлась,
а дочь головкой покивала,
и сын прислушался —
смотри, какая связь...
Не ремесло ль всему начало?..

Не музыка ли?.. Нет — семья, семья,
признавшая отцово дело...
Давно расстроена была душа моя,
и дребезжала, и хирела,

ни книг, ни Моцарта не в силах разобрать
ни наизусть, ни так, по нотам...
Семья настройщика, настрой ее опять,
по воскресеньям, по субботам,
хоть раз в году дай зазвучать

о всех родных, двоюродных, о всех
родства не помнящих, дорожных
моих попутчиках; да не падет мой грех
на современников тревожных.

Семья настройщика, настрой мою страну,
как камертон, избавь от фальшя,
а ту, что порвана, пожертвуй ивм струну,
и мы услышим, что же дальше...

* * *

Надев, как близнецы, клетчатые рубахи,
по городу пойдем и встретим близнецов.
Пускай сквозит родство в рисунке и распахе
воротника и — вот — в подвертке рукавов.

Так непохожи мы, и так в тебе остатка
не видно моего, что этот внешний знак
пусть грубо подчеркнет, что все-таки клетчатка
едина и что кровь едина, как-никак.

Ковбойка у тебя и у меня ковбойка
из тех простых сортов, что ни один ковбой
там сроду не носил, но продавались бойко
у нвс по всей стране, и покупал любой.

Хотелось бы — ты прав — получше приодеться,
хотелось бы фирмой разжиться для тебя,
но Бог велел ко всем невидным приглядеться
и бедным помогать, об этом не трубя.

Надев, как близнецы, приютские рубахи,
в столовку забредем, найдя приют и кров.
Бездарную жратву, и радости, и страхи
с сиротскою стрвной я разделить готов.

Я чувствую себя в обновках виноватым,
тоскую по всему отцовскому старью;
рубахой, иак у всех, плащовкой ли, бушлатом
я откажу в себе чиновному ворью.

Вон сколько близнецов под этим низким сводом
разбавленный портвейн перегоняют в кровь.
Куда же мне без них? К каким таким свободам?
Здесь клетка для меня и жизнь, и вся любовь...

ПРЕДШЕСТВЕННИК «ЛОЛИТЫ»

Иной поклонник Набокова, заслышав о найденном неизвестном его тексте и зная пристрастие писателя к мистификации, сочтет это слишком явной шуткой. Тем более, что у предлагаемого читателю произведения есть все необходимые мистификационные признаки: древность текста, смутность его происхождения, гибель свидетелей — в том числе и смерть самого автора, и, что должно быть раньше всего названо «когтями льва» — тщательно скрываемый от читателя оригинал. Подумать только: нас уверяют, что есть русский текст, но сперва в печати появляется английский его перевод, потом французский, итальянский и так далее, а русского все нет! Дурят, дурят нашего брата...

Однако послушаем, что же все-таки известно об этой неожиданной находке. Как писал сам Набоков в 1956 году, «первая маленькая пульсация „Лолиты" пробежала по мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая после многих недель улещивания со стороны какого-то ученого набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный „Волшебник", в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года (все они запрещены по политическим причинам в России). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отдельном номере, бросился под колеса грузовика. В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов и женщина-врач Коган-Берштейн; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-м году».

Память подвела Набокова: «Волшебник» сохранился и был неожиданно найден. К этому времени «Лолита» имела столь безусловный успех, что писатель решительно подумал о публикации ее предшественника. 6 февраля 1959 г., еще не сменив американского жительства на швейцарское, он пишет Уолтеру Минтону, президенту издательства «Патнам»: «Как я уже объяснил в послесловии к „Лолите", я написал небольшой рассказ, своего рода „пре-Лолиту", осенью 1939-го года в Париже. Я был уверен, что в свое время уничтожил ее, но теперь, подбирая с Верой некоторые дополнительные бумаги для Библиотеки Конгресса, мы обнаружили единственный экземпляр этой истории. Моей первой мыслью было поместить ее (как и ряд исписанных и ненужных карточек к „Лолите") в Библиотеку Конгресса, но потом я передумал.

Это новелла в 55 машинописных страниц по-русски, озаглавленная „Волшебник". И поскольку мои творческие связи с „Лолитой" разорваны, я смог перечитать „Волшебника" с бесконечно бо́льшим удовольствием, нежели вызывал во мне старый безжизненный фрагмент, каким представлялся он мне в пору работы над „Лолитой". Это великолепный русский прозаический текст, точный и яркий, который Набоковы запросто могут перевести на английский».

У. Минтон быстро и живо откликнулся на это предложение, но рукопись так и не была ему послана: Набоков оказался погруженным в перевод пушкинского «Евгения Онегина» и сценарий к «Лолите».

Прошло 25 лет, прежде чем текст «Волшебника» снова пришел в движение. За эти годы Набоков выпустил еще целый ряд книг, сделавших его классиком XX столетия. Каждое новое произведение вызывало читательское изумление невероятной творческой

плодовитостью немолодого маэстро. В 60—70-е годы появились переводы почти всех его довоенных русских романов, сборников рвссказов и стихов. В общей сложности Набоков оказался автором около 50-ти томов. Но после смерти писателя (1977) вышло еще почти 10 томов — лекции, избранные письма, пьесы, интервью. Если же собрать воедино все критические статьи писателя (русские и английские), все письма и переводы, все предисловия и эссе, ту тысячу стихотворений, что затерялась в эмигрантской периодике 70-х годов, дневник его, а также оставшиеся только в архиве пьесы («Трагедия господина Морна», 1924; «Человек из СССР», 1926; неразысканные до сих пор либретто «Агасфер», «Кавалер лунного света», «Вода живая» и проч., и проч.) да прибавить самый последний, незаконченный роман «Происхождение Лауры», писавшийся в 1970-е годы, то выйдет еще с десяток томов. В общей сложности — двадцать. Почти половина всего Набокова, по существу, совершенно неизвестная.

На этом фоне не удивительно желание отыскать набоковскую руку повсюду, особенно там, где эфемерные эмигрантские издания давали в свое время возможность навсегда укрыться за псевдонимом. Я имею в виду краткий, но шумный спор вокруг «Романа с кокаином», спор, разыгравшийся несколько лет назад на страницах парижского «Вестника Русского Христианского Движения» и парижской же «Русской мысли». Главными участниками полемики были проф. Никита Струве и вдова писателя Вера Набокова. Профессору Струве показалось, что в 1930-е годы Набоков под именем «Мих. Агеев» выпустил «Роман с кокаином». Успех у романа был, но невеликий, и Набоков, по мнению Н. Струве, так и не объявил своего имени. Исследовать агеевский текст в поисках укрывшегося там Набокова было бы делом увлекательным. Такая работа, вероятно, не заставит себя ждать, ибо «Роман с кокаином» не только напечатан уже в рижском «Роднике», но и объявлен отдельным изданием. Хотя заранее можно сказать, что Набоков там и не ночевал.

Все это свидетельствует о жаждущей сенсации читательской почве, и вопрос о мистификации оставался бы открытым, пока есть переводной текст «Волшебника» и нет оригинала.

Теперь же русский оригинал снимает все сомнения: перед нами (как с мальчишеской самоуверенностью выразился сам автор) «великолепный русский прозаический текст, точный и яркий». Осень 1939-го (октябрь и ноябрь, как уточняет биограф Брайан Бойд) была для Набокова временем последних попыток писать по-русски. Все его довоенные романы были закончены и изданы. В кармане лежало приглашение читать летний курс лекций в Америке, а в столе — первый законченный роман на английском «Истинная жизнь Себастьяна Найта»; Набоков мистифицирует критика Георгия Адамовича несуществующим поэтом Василием Шишковым, начинает роман «Solys Rex» (задуманный как продолжение «Дара») — и пишет «Волшебника».

Пусть же читатель познакомится с текстом «пре-Лолиты», и не будем ему заранее навязывать мнение, какое из произведений — «стилизованный профиль», а какое — «в упор глядящее лицо».

Ив. Толстой

Владимир Набоков

ВОЛШЕБНИК

«Как мне объясниться с собой? — думалось ему, покуда думалось.— Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что́ бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность — ибо и в мыслях допустить не могу, что причиню боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор; я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетнорения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятни́цей (не просто безопасность, а права одичания, или это — порочный круг с пальмой в центре?). Рассудком зная, что Эвфратский абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Что́, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня,— сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках,— *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному — сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по-простому — знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова — и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому — очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* — редкое цветение *этого* н Иванову ночь моей темной души,— потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств — если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно — и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая,

точная и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате — тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы,— и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки — милость) и печальной усмешкой (все-таки — жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища — сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами,— он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно для того, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой — и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца,— колотьба в груди — «а щекотки боишься?» — или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, суккуба так и не заметивших, он поражался и своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада глаз обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа — белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полуущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в —».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы-то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах,— прекрасиво,—и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива,— подумал он.— Кажется, придется пересесть».

Но тут-то взвивается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось), ему казалось, что тогда же, тотчас он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность ее узкой, уже не совсем плоской груди, передвиженье юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадание, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной соседкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни — всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках,— и сойдя к нам на землю, выпрямившись с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни,— и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеща освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной ей игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас,— заметил он бессмысленно,— уже большая».

«О нет, она мне ничем не приходится,— сказала вязальщица,— у меня своих нет — и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка подправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады — нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья»,— ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы,— и, в ожидании своей очереди, отстав ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног. «Улыбка рассеянности,— подумал он жалко,— но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя — почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой,— и он вообразил жовиального господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность — все так же жовиально — на колени к себе забирать эхтышалунью. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться,— в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг...

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивала с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным вилянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вожделением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно, когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно сгибая крупные колени),— или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать,— все равно что, но только бы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать — вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского привета осклабился и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом

ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сидения розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей — мимо него — тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровье, конечно; а главное — прекрасная гимназия»,— говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки»,— сказала девочка.

«Нет,— ответил он, кашлянув,— это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями — в виде двух черных капель среди серебристых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвонка,— и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, по-любительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала,— чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку,— отзывалось в нем (на вид поглощенном приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса, выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него вырастала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стукаясь теменем,— к повешению на изворот. А между тем он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?» или «Да, знаете, бывает...» — но понимал слова собеседницы только тогда, когда девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуньи, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией — покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что, давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы; тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора возвращаться — чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочки только раздражает редко порядочную, но несколько распустившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродает какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочки непременно хотела платить, но делает это неаккуратно,— а мы люди небогатые,— словом, долг чести считался, видимо, уже погашенным.

«Дело в том,— продолжал он без запинки,— что мне как раз не хватает коечего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно, и прилично, если я...» — конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это — часть собственной ноги или часть спрута.

Она явно обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас — квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо — и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколоток, и довольно высокие каблучки. Немножко замкнутая, пожалуй, живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов — и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка,— в общем, игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское — эта твердая женщина добра добротой горького шоколада, а не молочного, ласки в доме не держат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови — все что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем — столь же разбитного и серого, как его жена,— так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа — одно из тех лиц, в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание — даже такое! — невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка накрененном ходу, что ей четырех комнат много, что она зимой переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкапчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок — поднятые колени, обхваченные вытянутыми руками, сообща качались,— «Слезь с постели, что это!» — и, поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил... Он сказал, что шкапчик покупает — за право входа в дом плата была смехотворная,— и, вероятно, еще кое-что,— но надо сообразить,— если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришлю за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, повидимому, редко), но вполне приветливо упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили и что муж приятельницы даже немножко ревнует. «Ну, положим,— сказал тот, выходя в переднюю,— я мою благоверную рад бы сбыть всякому».— «А ты не зарекайся,— сказала жена, появляясь из той же комнаты,— когда-нибудь можешь заплакать!»

«Итак, милости просим,— повторила вдова,— я всегда дома, и, может быть, вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи — жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что же дальше?» — раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ощупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напирающий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут — значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается,— но она приедет опять и, может быть, совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем,— но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку,— вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда обстановка и условия жовиальных возможностей вдруг распадутся, тогда конечно,— где разыщу, под каким видом?.. А все-таки чувствовалось: так нужно,

и лучше не соображать, а продолжать давить на слабый угол, и потому на другой день он отправился в парк с красивой коробочкой глазированных каштанов и фиалок в сахаре, девочке на дорогу — рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровенным вниманием даже со стороны свободного чудака — тем более, что до сих пор он — совершенно правильно — едва ее замечал (в скрывании молний был мастер),— вот гнилые старички, те — точно, всегда носят при себе карамель для заманивания девчонок,— а все-таки он семенил с подарком, слушаясь тайного побуждения, которое было талантливее рассудка.

Он целый час просидел на скамейке; они не пришли. Значит, уехали днем раньше. И хотя лишняя одна встреча с ней не могла бы никак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, он испытал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измены.

Продолжая не слушаться рассудка, говорившего, что он опять делает не то, он понесся к вдове и купил лампу. Видя, как он странно запыхался, она пригласила его сесть и предложила папиросу. В поисках зажигалки он наткнулся на продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется странностью, мы так недавно знакомы, но все-таки позвольте презентовать вам этот пустяк — немножко конфет, кажется, неплохих,— ваше согласие мне доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась — была, видимо, более польщена, чем удивлена,— и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещены, передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня...»

«Нет, завтра утром,— продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь.— Сегодня моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее на выставку рукоделий»,— и, вздохнув, она осторожно, как нечто бьющееся, отложила подарок на соседний столик,— а пресимпатичный гость спрашивал, что ей можно, чего нельзя, и слушал эпопею ее болезни, ссылаясь на варианты и весьма умно толкуя позднейшие искажения текста.

При третьем посещении (пришел предупредить, что перевозчик заедет не раньше пятницы) он пил у нее чай и в свою очередь рассказывал о себе, о своей чистой, изящной профессии. У них оказался общий знакомый: брат адвоката, скончавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительно, без ложных сожалений, поговорила об этом муже — про которого он уже знал кое-что: был веселым малым, знатоком нотариальных дел, с женой ладил, но старался как можно реже бывать дома.

В четверг он купил диван и два стула, а в субботу зашел за ней, как было условлено, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверно себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с ним через дверь, и он попросил угрюмую старуху, периодически появлявшуюся в доме для стряпни и ухода, сообщить ему по такому-то номеру, как больная провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель — журчания, вникания, улещивания, интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, суя ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе) и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный, и достаточно было увидеть непонятно-небрежно брошенное еженедельное письмецо к матери с еще неустойчивым, пожеребячьи располозающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. По тому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных, позах была снята девушка в ботинках, с круглым приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные, где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла *теперь* заслужить мужское внимание — и, должно быть, решила, что зоркому зрению, оценщику граней и игры, все видны следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще видней после этих обратных смотрин.

Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнородных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что-нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее, и противно, но понимая, что материал, помимо своего назначения, просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое-как замелен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все-таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась — и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одинокого пути, он убедился, что можно звать упаковщиков,— но пока что вздохнул и переменил течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он раза два подходил к окну, словно в каком-то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкапчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимость манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносивших вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что,— сказала она,— пойдите и хорошенько выспитесь».

Он, посмеиваясь, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо,— ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые.— Хорошо, я удалюсь, но в случае вашего согласия извольте мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться — от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем,— через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака).— Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя,— иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет,— что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но, впрочем, всегда относилась требовательно к людям,— а теперь я требовательна ко всему, к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем — особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки; причем глупо, болезненно завидую ее мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна: одну половину моей ренты съедает болезнь, другую — долги. Даже если и допустить, что вы по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам в мужья *мне* годитесь,— видите, я делаю ударение на „мне“,— то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать *ее* привычки, *ее* причуды, *ее* посты и правила, а все ради чего? — ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

«Посему заключаю,— сказал он,— что мое предложение принято».

И он вытряхнул на ладонь из замшевого мешочка чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость.

Она приехала за два дня до свадьбы, с пламенными щеками, в незастегнутом

синем пальто с болтающимися сзади концами пояска, в шерстяных носках почти до колен, в берете на мокрых кудрях. «Стоило, стоило, стоило»,— повторял он мысленно, держа ее холодную красную ручку и с улыбкой морщась от воплей ее неизбежной спутницы: «Это я жениха нашла, это я жениха привела, жених — мой!» (и вот, с ухватками орудийной прислуги, попыталась закружить неповоротливую невесту). Стоило, да, сколько бы времени ни пришлось тащить сквозь невылазный брак эту махину — стоило, переживи она всех, стоило, ради естественности его присутствия здесь и ласковых прав будущего отчима.

Но правами этими он еще не умел пользоваться — отчасти с непривычки, отчасти от опасливого ожидания неимоверно большей свободы, главное же, потому, что ему никак не удавалось побыть с этой девочкой наедине. Правда, с разрешения матери, он повел ее в ближнюю кофейню, и сидел, и смотрел, опираясь на трость, как она въедается в абрикосовый край плетеного пирожного, подаваясь вперед, выпячивая нижнюю губу, дабы подхватить липкие листики, и старался ее смешить, говорить с ней так, как умел говорить с детьми обыкновенными, но все тормозила поперек лежавшая мысль, что, будь помещение безлюднее да уголковатее, он без особого предлога слегка потискал бы ее, не боясь чужих взглядов, более прозорливых, чем ее доверчивая чистота. Ведя ее домой, не поспевая за ней на лестнице, он мучился не только чувством упущенного; он мучился еще тем, что, пока хоть раз не сделал того-то и того-то, не может положиться на обещания судьбы в невинных речах, в тонких оттенках ее детской толковости и молчания (когда из-под внимающей губы зубы нежно опирались на задумчивую), в медленном образовании ямок при старых шутках, поражающих новизной, в чуемых излучинах ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). Пусть в будущем свобода действий, свобода особого и его повторений, все осветит и согласует; пока, сейчас, сегодня опечатка желания искажала смысл любви; оно служило, это темное место, как бы помехой, которую надо было как можно скорее раздавить, стереть,— любым подлогом наслаждения,— чтобы в награду получить возможность смеяться вместе с ребенком, понявшим наконец шутку, бескорыстно печься о нем, волну отцовства совмещать с волной влюбленности. Да, подлог, утайка, боязнь легчайшего подозрения, жалоб, доноса невинности (знаешь, мама, когда никого нет, он непременно начинает ласкаться), необходимость быть настороже, чтобы не попасться случайному охотнику в этих густо населенных долинах,— вот что сейчас мучило и вот чего не будет в заповеднике, на свободе. «Но когда, когда?» — в отчаянии думал он, расхаживая по своим тихим, привычным комнатам.

На другое утро он сопровождал свою страшную невесту в какое-то присутственное место, откуда она собралась к врачу, которому, по-видимому, хотела задать кое-какие щекотливые вопросы, ибо велела жениху отправиться к ней на квартиру и там ее ждать через час к обеду. Отчаяние ночи забылось. Он знал, что приятельница тоже в бегах (муж вообще не приехал),— и предвкушение того, что он девочку застанет одну, кокаином таяло у него в чреслах. Но когда он домчался, то нашел ее болтающей с уборщицей в розе сквозняков. Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя строк, долго сидел в уже отработанной гостиной, и слушал оживленный за стеной разговор в промежутках пылесосного воя, и посматривал на эмаль часов, убивая уборщицу, отсылая труп на Борнео, а тем временем он различил третий голос и вспомнил, что еще есть старуха на кухне; ему будто послышалось, что девочку посылали в лавку. Потом пылесос отсопел и был выключен, где-то стукнули оконные рамы, уличный шум замолк. Выждав еще с минуту, он встал и, вполголоса напевая, с бегающими глазами, стал обходить притихшую квартиру. Нет, никуда не послали — стояла у окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони к стеклу; оглянулась и быстро сказала, тряхнув волосами и уже опять принимаясь наблюдать: «Смотрите: столкновение!» Он подступал, подступал, затылком чувствуя, что дверь сама затворилась, подступал к ее гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным клеткам уже за сажень ощутимой материи, к плотным голубым жилкам над уровнем получулок, к лоснящейся от бокового света белизне шеи около коричневых кудрей, которыми она опять сильно тряхнула: семь восьмых привычки, осьмушка кокетства. «Ага, столкновение, злоключение...» — бормотал он, как бы глядя в пустое окно поверх ее темени, но лишь видя перхотинки в

шелку завоя. «Красный виноват!» — воскликнула она убежденно. «Ага, красный... подайте сюда красного...» — продолжал он бессвязно, и, стоя за ней, обмирая, скрадывая последний дюйм тающего расстояния, он взял ее сзади за руки и принялся их бессмысленно раздвигать, подтягивать, и она только чуть вертела косточкой правой кисти, машинально стремясь пальцем указать ему на виноватого. «Постой,— сказал он хрипло,— придвинь локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли тебя приподнять». В это время стукнуло в прихожей, раздался зловещий макинтошный шорох, и он с неловкой внезапностью отошел от нее, засовывая руки в карманы, покашливая, рыча, начиная громко говорить — «...наконец-то! Мы тут голодаем...» — и когда садились за стол, у него все еще ныла неудовлетворенная тоскливая слабость в икрах.

После обеда пришло несколько кофейниц — и под вечер, когда гости схлынули, а приятельница деликатно ушла в кинематограф, хозяйка в изнеможении вытянулась на кушетке.

«Уходите, друг мой, домой,— проговорила она, не поднимая век.— У вас, должно быть, дела, ничего, верно, не уложено, а я хочу лечь, иначе завтра ни на что не буду годиться».

Он клюнул ее в холодный, как творог, лоб, коротким мычанием симулируя нежность, и затем сказал:

«Между прочим... я все думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить ее тут — что ей, в самом деле, продолжать обретаться у чужих — ведь это даже нелепо — теперь-то, когда снова образовалась семья. Подумайте-ка хорошенько, дорогая».

«И все-таки я отправлю ее завтра»,— протянула она слабым голосом, не раскрывая глаз.

«Но поймите,— продолжал он тише — ибо ужинавшая на кухне девочка, кажется, кончила и где-то теплилась поблизости,— поймите, что я хочу сказать: отлично — мы им все заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете (она молчала), но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки́. А главное... видите ли, у людей может создаться впечатление — ведь один намечек в этом роде уже был нынче — что, несмотря на изменившееся положение, то есть когда у вас есть моя всяческая поддержка и можно взять бо́льшую квартиру — совсем отгородиться и так далее — мать и отчим все-таки не прочь забросить девчонку».

Она молчала.

«Делайте, конечно, как хотите»,— проговорил он нервно, испуганный ее молчанием (зашел слишком далеко!).

«Я вам уже говорила,— протянула она с той же дурацкой страдальческой тихостью,— что для меня главное мой покой. Если он будет нарушен, я умру... Вот, она там шаркнула или стукнула чем-то — негромко, правда? — а у меня уже судорога, в глазах рябит — а дитя не может не стучать, и если будет двадцать пять комнат, то будет стук во всех двадцати пяти. Вот, значит, и выбирайте между мною и ею».

«Что вы, что вы! — воскликнул он с паническим заскоком в гортани.— Какой там выбор... Бог с вами! Я это только так — теоретические соображения. Вы правы. Тем более, что я сам ценю тишину. Да! Стою за статус кво — а кругом пускай квакают. Вы правы, дорогая. Конечно, я не говорю... может быть, впоследствии, может быть, там, весной... Если вы будете совсем здоровы...»

«Я никогда не буду совсем здорова»,— тихо ответила она, приподнимаясь и со скрипом переваливаясь на бок, после чего подперла кулаком щеку и, качая головой, глядя в сторону, повторила эту фразу.

И на следующий день, после гражданской церемонии и в меру праздничного обеда, девочка уехала, дважды при всех коснувшись его бритой щеки медленными, свежими губами: раз — поздравительно, над бокалом и раз — на прощание, в дверях. Затем он перевез свои чемоданы и долго раскладывался в бывшей ее комнате, где в нижнем ящике нашел какую-то ее тряпочку, больше сказавшую ему, чем те два неполных поцелуя.

Судя по тому, каким тоном его особа (называть ее женой было невозможно) подчеркнула, насколько вообще удобнее спать в разных комнатах (он не спорил)

и как, в частности, она привыкла спать одна (пропустил), он не мог не заключить, что в ближайшую же ночь от него ожидается первое нарушение этой привычки. По мере того, как сгущалась за окном темнота и становилось все глупее сидеть рядом с ее кушеткой в гостиной и молча пожимать или подносить и прилаживать к своей напряженной скуле ее угрожающе покорную руку в сизых веснушках по гляцевитому тылу, он все яснее понимал, что срок платежа подошел, что теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он, конечно, давно предвидел, но — так, не вдумываясь, придет время, как-нибудь справлюсь — а время уже стучалось, и было совершенно очевидно, что ему (маленькому Гулливеру) физически невозможно приступить к этому ширококостному, многостремпинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами и ужасной косинкой в строении тяжелого таза — не говоря о кислой духоте увядшей кожи и еще не известных чудесах хирургии — тут воображение повисало на колючей проволоке.

Еще за обедом, отказываясь, словно нерешительно, от второго бокала и словно уступая соблазну, он на всякий случай ей объяснил, что в минуты подъема подвержен различным угловым болям, так что теперь он постепенно стал отпускать ее руку и, довольно грубо изображая дерганье в виске, сказал, что выйдет проветриться. «Понимаете,— добавил он, заметив, с каким странным вниманием (или это мне кажется?) уставились на него ее два глаза и бородавка,— понимаете, счастье мне так ново... ваша близость... эх, никогда ведь не смел мечтать о такой супруге...»

«Только не надолго. Я ложусь рано... и не люблю, чтоб меня будили»,— ответила она, спустив свежегофрированную прическу и ногтем постукивая по верхней пуговице его жилета; потом слегка его оттолкнула — и он понял, что приглашение неотклонимо.

Теперь он бродил в дрожащей нищете ноябрьской ночи, в тумане улиц, с потопа впавших в состояние мороси, и, стараясь отвлечься, принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, искусственно увеличивал ее значение в своем существовании — и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. Но именно потому, что сейчас не могло быть и речи о каком-либо счастье, прояснилось вдруг что-то другое: он с точностью измерил пройденный путь, оценил всю непрочность, всю призрачность проектов, все это тихое помешательство, очевидную ошибку наваждения, которое отступило от своего единственно законного естества, свободного и действительного только в цветущем урочище воображения, чтобы с жалкой серьезностью лунатика, калеки, тупого ребенка (ведь сейчас одернут и взгреют) заниматься планами и действиями, подлежащими компетенции лишь взрослой вещественной жизни. А еще можно было выкрутиться! Вот сейчас бежать — и скорее письмо к особе с изложением того, что сожительство для него невозможно (любые причины), что только из чудаковатого сострадания (развить) он взялся ее содержать, а теперь, узаконив сие навсегда (точнее), удаляется опять в свою сказочную неизвестность. «А между тем,— продолжал он мысленно, полагая, что все еще следует тому же порядку трезвых соображений (и не замечая, что изгнанная босоножка вернулась с черного хода),— как было бы просто, если бы матушка завтра умерла — да ведь нет, ей не к спеху — вцепилась зубами в жизнь, будет виснуть — а какой мне в том прок, что умрет с запозданием и придет ее хоронить шестнадцатилетняя недотрога или двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто (размышлял он, задержавшись весьма кстати у освещенной витрины аптеки), коли был бы яд под рукой... Да много ли нужно, когда для нее чашка шоколада равносильна стрихнину! Но отравитель оставляет в спущенном лифте свой пепел... а ее непременно ведь вскроют, по привычке вскрывать...»; и хотя рассудок и совесть наперебой твердили (немножко подзадоривая), что — все равно, даже если бы нашлось незаметное зелье, он не решился бы на убийство (разве что если совсем, совсем бесследное, да и то — в крайнем случае, да и то — лишь с целью сократить страдания все равно обреченной *жены*), он давал волю теоретическому развитию невозможной мысли, наталкиваясь рассеянным взглядом на идеально упакованные флаконы, на модель печени, на паноптикум мыл, на взаимную дивно-коралловую улыбку женской головки и мужской, благодарно глядящих

друг на дружку,— потом прищурился, кашлянул — и после минутного колебания быстро вошел в аптеку.

Когда он вернулся домой, в квартире было темно — шмыгнула надежда, что она уже спит, но, увы, дверь ее спальни была по линейке подчеркнуто остро отточенным светом.

«Шарлатаны...— подумал он, мрачно пожимаясь,— что ж, придется держаться первоначальной версии. Пожелаю покойнице ночи — и на боковую». (А завтра? А послезавтра? А вообще?)

Но посреди прощальных речей о мигрени, у пышного изголовья, вдруг, ни с того ни с сего и само по себе, положение круто переменилось, предмет же был несущественен, так что потом удивительно было найти труп чудом поверженной великанши и взирать на муаровый нательный пояс, почти совсем закрывавший шрам.

Последнее время она чувствовала себя сносно (донимала только отрыжка), но в первые же дни брака тихонько возобновились боли, знакомые ей по прошлой зиме. Не без поэзии она предположила, что больной, ворчливый орган, задремавший было в тепле постоянного пестования, «как старая собака», теперь приревновал к сердцу, к новичку, которого «погладили один раз». Как бы то ни было, она с месяц пролежала в постели, прислушиваясь к этой внутренней возне, пробному царапанию, осторожным укусам; потом стихло — она даже встала, копалась в письмах первого мужа, кое-что сожгла, разбирала какие-то страшно старенькие вещицы — детский наперсток, чешуйчатый кошелек матери, еще что-то золотое, тонкое — как время, текучее. Под Рождество ей сделалось опять плохо, и ничего не вышло из предполагавшегося приезда дочки.

Он выказывал ей неизменную заботливость; он утешительно мычал, с ненавистью принимая от нее неловкую ласку, когда она, бывало, с ужимками старалась объяснить, что не она, а оно (мизинцем на живот) виновато в их ночном разъединении — и все это так звучало, точно она беременна (ложно беременна своей же смертью). Всегда ровный, всегда подтянутый, он соблюдал плавный тон, что усвоил сначала, и она была ему благодарна за все — за старомодную галантность обращения, за это «вы», казавшееся ей собственным достоинством нежности, за исполнение прихотей, за новую радиолу, за то, что он безропотно согласился дважды переменить сиделку, нанятую для постоянного ухода за ней.

По пустякам она не отпускала его от себя дальше углов комнаты, а когда он шел по делу, то совместно разрабатывал наперед точный предел отлучки, и так как его ремесло не требовало определенных часов, то всякий раз приходилось — весело, скрипя зубами,— бороться за каждую крупицу времени. В нем корчилась бессильная злоба, его душил прах рассыпавшихся комбинаций, но ему так надоело торопить ее смерть, так опошлилась в нем эта надежда, что он предпочитал заискивать перед противоположной: может быть, к лету настолько оправится, что разрешит девочку увезти к морю на несколько дней. Но как подготовить? Еще в начале ему казалось, что будет легко как-нибудь, под видом деловой поездки, махнуть в тот городок с черной церковью и с садами, отраженными в реке, но когда он рассказал, что — вот какой случай, мне, может быть, удастся посетить вашу дочку, если придется съездить туда-то (назвал соседний город), ему почудилось, что какой-то смутный, почти бессознательный ревнивый уголек вдруг оживил ее дотоле несуществовавшие глаза — и, поспешно замяв разговор, он удовольствовался тем, что, видимо, она сама тотчас забыла идиотски-интуитивное чувство — которое, уж конечно, нечего было опять возбуждать.

Постоянство колебаний в состоянии ее здоровья представлялось ему самой механикой ее существования; постоянство их становилось постоянством жизни; со своей же стороны он замечал, что вот уже на его делах, на точности глаза и граненой прозрачности заключений начинает дурно отражаться постоянное качание души между отчаянием и надеждой, вечная зыбь неудовлетворенности, болезненный груз скрученной и спрятанной страсти — вся та дикая, душная жизнь, которую он сам, сам себе устроил.

Случалось, он проходил мимо игравших девочек, случалось, миленькая бросалась ему в глаза, но бросалась она бессмысленно плавным движением замедленной фильмы, и он сам изумлялся тому, до чего неотзывчив, до чего *занят*, с какой определенностью стянулись навербованные отовсюду чувства — тоска,

жадность, нежность, безумие — к образу той совершенно единственной и незаменимой, которая проносилась тут в раздираемом солнцем и тенью платье. И случалось, ночью, когда все стихало — и радиола, и вода в уборной, и белые шажки сиделки, и тот бесконечно задержанный звук (хуже любого грохота!), с которым она затворяла двери, и осторожный звон ложечки, и трык-трык аптечки, и отдаленная загробная жалоба особы — когда все это окончательно стихало, он ложился навзничь и вызывал единственный образ, и восемью руками оплетая улыбающуюся добычу, осмью щупальцами присасываясь к ее подробной наготе, наконец исходил черным туманом и терял ее в черноте, а черное расползалось сплошь, да всего лишь было чернотой ночи в его одинокой спальне.

Весной ей как будто сделалось хуже, и после консилиума ее перевезли в госпиталь. Там, накануне операции, она ему с достаточной, несмотря на страдания, отчетливостью говорила о завещании, о поверенном, о том, что необходимо сделать, если она завтра... и дважды, дважды заставила его поклясться, что он будет как о собственной... и чтобы та не сердилась, не сердилась на покойную мать. «Может быть, все-таки ее вызвать,— сказал он громче, чем хотел,— а?» Но она уже все выложила, зажмурилась в муке, и, постояв у окна, он вздохнул, поцеловал ее в желтый кулак, сжатый на отвороте простыни, и вышел.

Рано утром ему позвонил один из больничных врачей, чтобы сообщить, что ее только что оперировали, что успех, кажется, полный, превзошедший все надежды хирурга, но что до завтра ее лучше не навещать.

«Ах, успех, ах, полный,— бессмысленно бормотал он, устремляясь из комнаты в комнату,— ах, как мило... поздравьте нас, будем поправляться, будем цвести... Что это такое! — вдруг вскрикнул он горловым голосом, так ахнув дверью клозета, что из столовой откликнулся испуганный хрусталь.— Ну, посмотрим,— продолжал он среди паники стульев,— посмотрим... Я вам покажу успех! Успех, успех,— передразнил он произношение соплявой судьбы,— ах, прелестно! Будем жить, поживать, дочку выдадим раненько, ничего, что хрупка, зато муж — здоровяк, да как всадит нахрапом в хрупь... Нет, господа, довольно! Это издевка! Я тоже имею право голоса! Я...» — И вдруг его блуждающее бешенство натолкнулось на неожиданную добычу.

Он замер, шевеление пальцев прекратилось, глаза на минуту закатились — а вернулся он из этого краткого столбняка с улыбкой. «Довольно, господа»,— повторил он, но уже совсем с другим, почти вкрадчивым выражением.

Немедленно он навел нужную справку: был весьма удобный экспресс в 12.23... прибывающий ровно в 16.00. С обратным сообщением обстояло хуже... придется нанять там машину, сразу назад, к ночи мы будем тут — вдвоем, совершенно взаперти, с усталенькой, сонненькой, скорей раздеваться, я буду тебя баюкать — только это... только уют — какая там каторга (хотя, между прочим, лучше сейчас каторга, чем поганец в будущем)... тишина, голые ключицы, бридочки, пуговки сзади, лисий шелк между лопаток, зевота, горячие подмышки, ноги, нежности — не терять головы — но чего, впрочем, естественнее, что привез маленькую падчерицу — что все-таки решил это сделать — режут мать, ответственность, усердие, сама же просила «заботиться» — и пока мать спокойно лежит в больнице, что может быть, повторяем, естественнее, что здесь, где кому ж моя душенька помешает... и вместе с тем, знаете,— под боком, мало ли что, надо быть ко всему... ах, успех? тем лучше — выздоравливающие добреют, а если все-таки изволите гневаться — объясним, объясним,— хотели сделать лучше — ну, может быть, немножко растерялись, признаемся, но с самыми лучшими...— И, радостно торопясь, он у себя (в *ее* бывшей комнате) перестелил постель, навел беглый порядок, принял ванну, отменил деловое свидание, отменил уборщицу, быстро закусил в своем «холостом» ресторане, накупил фиников, ветчины, пеклеваного, сбитых сливок, мускатного винограда — чего еще? — и, вернувшись домой, разваливаясь на пакеты, все видел, как она вот тут пройдет, как там сядет, отведя назад тонкие обнаженные руки, пружинисто опираясь сзади себя, кудрявая, томненькая, и тут позвонили из больницы, прося его все-таки заглянуть, и, когда по пути на вокзал он нехотя заехал, то узнал, что особа кончилась.

Прежде всего охватила яростная досада: значит, план провалился, это близкое, теплое, ночное отнято у него, и когда она явится, вызванная телеграммой, то, конечно, вместе с той выдрой и мужем выдры, которые и вселятся на

недельку. Но именно потому, что первое его движение было таким, силой этого близорукого порыва образовалась пустота, ибо не могла же досада на (случайно помешавшую) смерть сразу перейти в благодарность за нее (основному року). Пустота между тем заполнялась предварительным серо-человеческим содержанием — сидя на скамье в больничном саду, успокаиваясь, готовясь к различным хлопотам, связанным с техникой похоронного положения, он с приличной печалью пересматривал в мыслях то, что видел только что воочию: отполированный лоб, прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной сбоку, эбеновый крест — всю эту ювелирную работу смерти — между прочим презрительно дунул на хирургию и стал думать о том, что все-таки ей было здорово хорошо под его опекой, что он походя дал ей настоящее счастье, скрасившее последние месяцы ее прозябания, а отсюда уже был естественен переход к признанию за умницей судьбой прекрасного поведения и к первому сладкому содроганию крови: бирюк надевал чепец.

Он ожидал, что они приедут на другой день к завтраку — и действительно — звонок... но приятельница покойной особы стояла на пороге одна (протягивая костлявые руки и недобросовестно пользуясь сильным насморком для нужд наглядного соболезнования): ни муж, ни «сиротка», оба лежавшие с гриппом, не могли приехать. Его разочарование сгладилось мыслью, что так правильно — не надо портить: присутствие девочки в этом сочетании траурных помех было бы столь же мучительно, как был ее приезд на свадьбу, и гораздо разумнее в течение ближайших дней покончить со всеми формальностями и основательно подготовить отчетливый прыжок в полную безопасность. Раздражало только, что «оба»: связь болезни (словно в одной постели), связь заразы (может быть, этот пошляк, поднимаясь за ней по крутой лестнице, любил лапать за голые ляжки). Изображая совершенное оцепенение — что было проще всего, как знают и уголовные,— он сидел одеревеневшим вдовцом, опустив увеличившиеся руки, чуть шевеля губами в ответ на совет облегчить запор горя слезами, и смотрел мутным глазом, как она сморкается (тройственный союз — это лучше), и когда, рассеянно, но жадно занимаясь ветчиной, она говорила такие вещи, как «По крайней мере, не долго страдала» или «Слава Богу, что в беспамятстве», сгущенно подразумевая, что страдания и сон суть естественный удел человека и что у червей добрые личики, а что главное плавание на спине происходит в блаженной стратосфере, он едва не ответил ей, что сама по себе смерть всегда была и будет похабной дурой, да вовремя сообразил, что его утешительница может неприятно усомниться в его способности дать отроковице религиозно-нравственное воспитание.

На похоронах народу было совсем мало (но почему-то явился один из его прежних полуприятелей — золотых дел мастер с женой), и потом, в обратном автомобиле, полная дама (бывшая также на его шутовской свадьбе) говорила ему, участливо, но и внушительно (он сидел, головы не поднимая — голова от езды колебалась), что теперь-то по крайней мере ненормальное положение ребенка должно измениться (приятельница бывшей особы притворялась, что смотрит на улицу) и что в отеческой заботе он непременно найдет должное утешение, а другая (бесконечно отдаленная родственница покойной) вмешалась и сказала: «Девчонка-то прехорошенькая! Придется вам смотреть в оба — и так уже не по летам крупненькая, а годика через три так и будут липнуть молодые люди — забот не оберетесь»,— и он про себя хохотал, хохотал на пуховиках счастья.

Накануне, в ответ на новую телеграмму («Беспокоюсь как здоровье целую».— причем этот вписанный в бланк поцелуй был уже первым настоящим) пришло сообщение, что у обоих жар спал, и перед отъездом восвояси все еще сморкавшаяся женщина спросила, показывая шкатулку, может ли она взять это для девочки (какие-то материнские мелочи заветной давности), а затем поинтересовалась, как и что будет дальше. Только тогда, крайне замедленным голосом, точно каждый слог был преодолением скорбной немоты, с паузами и без всякого выражения он ей доложил, как и что будет, поблагодарил за годовой присмотр и предупредил, что ровно через две недели он заедет за дочерью (так и вымолвил), чтобы взять ее с собой на юг, а оттуда, вероятно, за границу. «Да, это мудро,— ответила та с облегчением (слегка разбавленным, будем надеяться,

мыслью, что последнее время она на питомице, вероятно, подрабатывала).— Поезжайте, рассейтесь, ничто так не врачует горя».

Эти две недели были ему нужны для устройства своих дел — с таким расчетом, чтобы по крайней мере год не думать о них,— а там будет видно. Пришлось продать кое-что из собственных экземпляров. А укладываясь, он случайно нашел в столе некогда подобранную монету (между прочим, оказавшуюся фальшивой) и усмехнулся: талисман уже отслужил.

Когда он сел в поезд, послезавтрашний адрес все еще был как берег в тумане зноя, предварительный символ будущей анонимности; он всего лишь наметил, где, по пути на этот мерцающий юг, заночуют, но не считал нужным предрешать дальнейшее новоселье. Все равно где — место красит босая ножка; все равно куда — только бы унести — и потеряться в лазури. Грифы столбов пролетали со спазмами гортанной музыки. Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся крыл. Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжерейном тепле, где обыкновение дикарской оголенности установится само собой, совсем одни (без прислуги!), не видаясь ни с кем, вдвоем в вечной детской, что уже окончательно добьет стыдливость; при этом — постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, возня на общей постели, большая губка, плачущая над четырьмя плечами, прыщущая от смеха между четырех ног,— и он думал, блаженствуя на внутреннем припеке, о сладком союзе умышленного и случайного, о ее эдемских открытиях, о том, сколь естественными и зараз особыми, нашенскими ей будут вблизи казаться смешные приметы разнополых тел — меж тем как дифференциалы изысканнейшей страсти долго останутся для нее лишь азбукой невинных нежностей; ее будут тешить только картинки (ручной великан, сказочный лес, мешок с кладом) да забавные последствия любознательных прикосновений к игрушке со знакомым, никогда не скучным фокусом. Он был убежден, что пока новизна довлеет себе и еще не озирается, будет легко при помощи прозвищ и шуток, утверждающих бесцельную в сущности простоту данных оригинальностей, заранее отвлечь нормальную девочку от сопоставлений, обобщений, вопросов, на которые что-нибудь подслушанное прежде, или сон, или первые сроки могли бы ее подтолкнуть, так что из мира полуотвлеченностей, ей, вероятно, полуизвестных (вроде правильного толкования самостоятельного живота соседки, вроде школьных пристрастий к морде модного комедианта), от всего как-либо связанного со взрослой любовью будет пока что изъят переход к привычной действительности милых развлечений, а пристойность, мораль не заглянут сюда по незнанию порядков и адреса.

Система подъемных мостов хороша до тех пор, покамест цветущая пропасть сама не дотянет крепкой молодой ветви до светлицы; но именно потому, что в первые, скажем, два года пленнице будет неведома временно вредная для нее связь между куклой в руках и одышкой пуппенмейстера, между сливой во рту и восторгом далекого дерева, придется быть сугубо осторожным, не отпускать ее никуда одну, почаще менять местожительство (идеал — миниатюрная вилла в слепом саду), зорко смотреть за тем, чтобы не было у нее ни знакомств с другими детьми, ни случая разговориться с фруктовщицей или поденщицей — ибо мало ли какой вольный эльф может слететь с уст волшебной невинности — и какое чудовище чужой слух понесет к мудрецам для рассмотра и обсуждения. А вместе с тем, в чем упрекнуть волшебника? Он знал, что найдет в ней достаточно утех, чтобы не расколдовать ее слишком рано, ничего в ней не отличать слишком явным вниманием неги; играя в прогулку капуцина, не слишком упираться в иной тупичок; он знал, что не посягнет на ее девственность в самом тесном и розовом смысле слова, пока эволюция ласк не перейдет незаметной ступени — дотерпит до того утра, когда она сама, еще смеясь, прислушается к собственной отзывчивости и, уже молча, потребует совместных поисков струны.

Воображая дальнейшие годы, он все видел ее подростком: таков был плотский постулат; зато, ловя себя на этой предпосылке, он понимал без труда, что если мыслимое течение времени и противоречит сейчас бессрочной основе чувств, то постепенность очередных очарований послужит естественным продолжением договора со счастьем, принявшим в расчет и гибкость живой любви; что на свете этого счастья, как бы она ни повзрослела — в семнадцать лет, в двадцать,— ее

сегодняшний образ всегда будет сквозить в ее метаморфозах, питая их прозрачные слои своим внутренним ключом; и что именно это позволит ему, без урона или утраты, насладиться чистым уровнем каждой из ее перемен. Она же сама, уточнившись и удлинившись в женщину, уже никогда не будет вольна отделить в сознании и памяти свое развитие от развития любви, воспоминания детства от воспоминаний мужской нежности — вследствие чего прошлое, настоящее, будущее представятся ей единым сиянием, источник коего, как и ее самое, излучил он, живородящий любовник.

Так они будут жить — и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам, и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия, и море поблизости будет дышать под луной — и чрезвычайно медленно, сначала всей чуткостью губ, затем всей их тяжестью, вплотную, все глубже, только так, в первый раз, в твое воспаленное сердце, так, пробиваясь, так, погружаясь, между его тающих краев...

Дама, сидящая напротив, почему-то вдруг поднялась и перешла в другое отделение; он посмотрел на пустые свои часики — теперь уже скоро,— и вот он уже поднимался вдоль белой стены, увенчанной ослепительными осколками; летало множество ласточек — а встретившая его на крыльце приятельница покойной особы объяснила ему присутствие груды золы и обугленных бревен в углу сада тем, что ночью случился пожар — пожарные не сразу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и, конечно, никто не выспался. В это время вышла она, в темном вязаном платье (в такую жару!), с блестящим кожаным пояском и цепочкой на шее, в длинных черных чулках, бледненькая, и в самую первую минуту ему показалось, что она слегка подурнела, стала курносее и голенастее,— и хмуро, быстро, с одним только чувством острой нежности к ее трауру, он взял ее за плечо и поцеловал в теплые волосы. «Все могло вспыхнуть»,— воскликнула она, подняв розово-озаренное лицо с тенью листьев на лбу и таращa глаза, прозрачно-жидко колеблемые отражением солнца и сада.

Она, довольная, держала его под руку, пока входили в дом следом за громко говорившей хозяйкой — и естественность уже улетучилась, он уже неловко сгибал свою-не-свою руку — и на пороге гостиной, в которой гремели вошедший вперед монолог и раскрываемые ставни, он руку высвободил и, в виде рассеянной ласки (а в действительности весь на мгновение уйдя в крепкое с ямкой осязание), слегка похлопал ее по бедру — беги, дескать — и вот уже садился, пристраивал трость, закуривал, искал пепельницу, что-то отвечал — преисполненный дикого ликования.

От чайку он отказался, объяснив, что сейчас появится заказанный на вокзале автомобиль, что туда уже погружены его чемоданы (эта подробность, как бывает во сне, имела какой-то мелькающий смысл) и что «Покатим с тобой к морю!» — почти выкрикнул он по направлению девочки, которая, оборотясь на ходу, чуть не упала с треском через табурет, но мгновенно выправила молодое равновесие, повернулась и села, покрыв табурет опавшей юбкой. «Что?» — спросила она, отводя волосы и косясь на хозяйку (табурет уже раз был сломан). Он повторил. Она радостно подняла брови — не думала, что случится именно так, и сегодня же. «Я-то надеялась,— солгала хозяйка,— что вы у нас переночуете».— «О нет,— крикнула девочка, шаркающим скольжением подлетая к нему, и продолжала неожиданной скороговоркой: — А как вы считаете, я скоро научусь плавать — одна моя подруга говорит, что можно сразу, то есть нужно сперва только научиться не бояться — а это берет месяц...» — но хозяйка уже толкала ее в локоть, чтобы она доуложила с Марией то, что приготовлено слева в шкапу.

«Признаюсь, не завидую вам,— сказала сдававшая должность, когда девочка выбежала.— Последнее время, особенно после гриппа, у нее бывают всякие вспышки и капризы, на днях нагрубила мне — трудный возраст. Вообще мне кажется, хорошо бы, если бы вы взяли к ней пока что какую-нибудь барышню, а осенью — в хороший католический интернат. Смерть матери она переживает, как видите, довольно легко — да, может быть, не показывает — не знаю... Кончилось наше совместное житье... Я вам, кстати, еще осталась... Нет-нет, полноте, как же... Да, он только к семи приходит со службы — будет очень жалеть... Жизнь — ничего не поделаешь! Она-то, бедняжка, во всяком случае, на небесах спокойна, да и у вас лучше вид — а если бы не наша встреча... Просто не вижу,

как бы я содержала чужого ребенка, а из сиротских приютов прямой шаг сами знаете куда. Вот я поэтому всегда и говорю: жизнь — одно слово. Помните, как мы с вами — на скамейке — помните? Мне-то в голову не приходило, что она может найти второго,— а все-таки — мое женское чутье: что-то в вас было тоскующее — именно по такой пристани».

За листвой родился автомобиль. Садиться! Знакомая черная шапочка, пальто на руке, небольшой чемодан, помощь краснорукой Марии. Погоди, уж я тебе накуплю... Захотела непременно — рядом с шофером, и пришлось согласиться да скрыть досаду. Женщина, которой мы никогда больше не увидим, махала яблоневой веточкой. Мария загоняла цыплят. Поехали, поехали.

Он сидел, откинувшись, промеж колен держа трость, весьма ценную, старинную, с толстым коралловым набалдашником, и смотрел сквозь переднее стекло на берет и довольные плечи. Погода была необыкновенно жаркая для июня, в окно била горячая струя, вскоре он снял галстук и расстегнул ворот. Через час девочка на него оглянулась (показала на что-то близ дороги, но он, хоть и обернулся с разинутым ртом, ничего не успел рассмотреть — и почему-то без всякой связи подумалось, что все-таки — почти тридцать лет разницы). В шесть они ели мороженое, а говорливый шофер пил пиво за соседним столиком, обращаясь к клиенту с различными рассуждениями. Дальше. Глядя на лесок, волнистыми прыжками все приближавшийся с холмка на холмок, пока не съехал по скату и не споткнулся о дорогу, где был пересчитан и убран,— он думал: «Не сделать ли тут привал? Небольшая прогулка, посидим на мху среди грибов и бабочек...» Но остановить шофера он не решился: что-то невыносимое было в образе подозрительного автомобиля, бездельничающего на шоссе.

Затем стемнело; незаметно зажглись их фары. В первой же придорожной харчевне сели поужинать — и резонер опять развалился поблизости, да, кажется, заглядывался не столько на господский бифштекс с дутым картофелем, сколько на шору ее волос в профиль и прелестную щеку: голубка моя и устала, и раскраснелась — путешествие, жирное жаркое, капля вина — сказывалась бессонная ночь, розовый пожар впотьмах, салфетка спадала с мягко вдавленной юбочки — и это теперь все мое — он спросил, сдаются ли тут комнаты — нет, не сдавались.

Несмотря на растущую томность, она решительно отказалась променять свое место спереди на поддержку и уют в глубине, сказав, что сзади ее будет тошнить. Наконец, наконец среди черной жаркой бездны созрели и стали лопаться огоньки, и была немедленно выбрана гостиница, и уплачено за мучительную поездку, и покончено с этим. Она почти дремала, выползая на панель, застывая в синеватой, щербатой тьме, в теплом запахе гари, в шуме и дрожи двух, трех, четырех грузовиков, пользовавшихся ночным безлюдием, чтобы чудовищно быстро съезжать под гору из-за угла улицы, где ныл, и тужился, и скрежетал скрытый подъем.

Коротконогий, большеголовый старик в расстегнутой жилетке, нерасторопный, медлительный и все объяснявший с виноватым добродушием, что он только заменяет хозяина — старшего сына, отлучившегося по семейному делу,— долго искал в черной книге... сказал, что свободной комнаты с двумя кроватями нет (выставка цветов, много приезжих), но имеется одна с двухспальной,— «Что сводится к тому же, вам с дочкой будет только...» — «Хорошо, хорошо»,— перебил приезжий, а туманное дитя стояло поодаль, мигая и глядя сквозь проволоку на двоившуюся кошку.

Отправились наверх. Прислуга, по-видимому, ложилась рано — или тоже отсутствовала. Покамест, кряхтя и низко нагибаясь, гном испытывал ключ за ключом,— из уборной рядом вышла, в лазурной пижаме, курчаво-седая старуха с ореховым от загара лицом и мимоходом полюбовалась на эту усталую красивую девочку, которая, в покорной позе нежной жертвы, темнелась платьем на охре, прислонясь к стенке, опираясь лопатками и слегка откинутой лохматой головой, медленно мотая ею и подергиванием век как бы стараясь распутать слишком густые ресницы. «Отоприте же наконец»,— сердито проговорил ее отец, плешивый джентльмен, тоже турист.

«Тут буду спать?» — безучастно спросила девочка, и когда, борясь со ставнями, поплотнее сощуривая их щели, он ответил утвердительно, посмотрела на шапочку, которую держала, и вяло бросила ее на широкую постель.

«Ну вот,— сказал он после того, как старик, ввалив чемоданы, вышел и остались только стук сердца да отдаленная дрожь ночи.— Ну вот... Теперь надо ложиться».

Шатаясь от сонливости, она наткнулась на край кресла, и тогда, одновременно садясь, он привлек ее за бедро — она, выгнувшись, вырастая, как ангел, напрягла на мгновение все мускулы, сделала еще полшажка и мягко опустилась к нему на колени. «Моя душенька, моя бедная девочка»,— проговорил он в каком-то общем тумане жалости, нежности, желания, глядя на ее сонность, дымчатость, заходящую улыбку, ощупывая ее сквозь темное платье, чувствуя на голом, сквозь тонко-шерстяное, полоску сиротской подвязки, думая о ее беззащитности, заброшенности, теплоте, наслаждаясь живой тяжестью ее расползавшихся и опять, с легчайшим телесным шорохом, повыше скрещивающихся ног,— и она медленно обвила вокруг его затылка сонную руку в тесном рукавчике, обдавая его каштановым запахом мягких волос, но рука сползла, подошвой сандалии она дремотно отталкивала несессер, стоявший рядом с креслом... Прогрохотало за окном, и потом, в тишине, стало слышно, как ноет комар, и почему-то это ему мельком напомнило что-то страшно далекое, какие-то поздние укладывания в детстве, плывущую лампу, волосы сверстницы-сестры, давным-давно умершей. «Душенька моя»,— повторил он и, отведя трущимся носом кудрю, теребливо прилаживаясь, почти без нажима вкусил ее горячей шелковистой шеи около холодка цепочки; затем, взяв ее за виски, так что глаза ее удлинились и полусомкнулись, принялся ее целовать в расступившиеся губы, в зубы — она медленно отерла рот углами пальцев, ее голова упала к нему на плечо, промеж век виднелся лишь узкий закатный лоск, она совсем засыпала.

В дверь постучали — он сильно вздрогнул (отдернув руку от пояска — так и не поняв, как, собственно, расцепляется). «Проснись, слезай»,— сказал он, быстро ее тормоша, и она, широко раскрыв пустые глаза, через кочку съехала. «Войдите»,— сказал он.

Заглянул старик и сообщил, что господина просят сойти вниз: пришли из полицейского участка. «Полиция? — переспросил он, морщась в недоумении.— Полиция?.. Хорошо, идите, я сейчас спущусь»,— добавил он, не вставая. Закурил, высморкался, аккуратно сложил платок, щурясь сквозь дым. «Слушай,— сказал он прежде, чем выйти.— Вот твой чемодан, вот я тебе его раскрою, найди, что тебе нужно, раздевайся пока и ложись; уборная — от двери налево».

«При чем тут полиция? — думал он, спускаясь по скверно освещенной лестнице.— Что им нужно?»

«В чем дело?» — резко спросил он, сойдя в вестибюль, где увидел застоявшегося жандарма, черного гиганта с глазами и подбородком кретина.

«А в том,— последовал охотный ответ,— что вам, как видно, придется сопроводить меня в комиссариат — это недалеко отсюда».

«Далеко или недалеко,— заговорил путешественник после легкой паузы,— но сейчас за полночь, и я собираюсь ложиться. Кроме того, не скрою от вас, что всякий вывод, особенно столь динамический, звучит криком в лесу для слуха, не посвященного в предшествовавший ход мыслей, то есть проще: логическое воспринимается как зоологическое. Между тем глобтроттеру, только что и впервые попавшему в ваш радушный городок, любопытно узнать, на чем — на каком, может быть, местном обычае — основан выбор ночи для приглашения в гости, приглашения тем более неприемлемого, что я не один, а с утомленной девочкой. Нет, погодите,— я еще не кончил... Где это видано, чтобы правосудие предпосылало действие закона основанию его применить? Дождитесь улик, господа, дождитесь доносика! Пока что — сосед не видит сквозь стену и шофер не читает в душе. А в заключение — и это, может быть, самое существенное — извольте ознакомиться с моими бумагами».

Помутневший дурень ознакомился — очнулся и пустился трепать незадачливого старика: оказалось, что тот не только спутал две схожие фамилии, но никак не мог объяснить, когда и куда нужный проходимец съехал.

«То-то»,— сказал путешественник мирно, досаду на задержку полностью выместив на поспешившем враге — при сознании своей неуязвимости (слава

Року, что сзади не села, слава Року, что грибов не искали в июне — а ставни, конечно, плотные).

Добежав до площадки, он спохватился, что не заметил номера комнаты, остановился в нерешительности, выплюнул окурок... но теперь нетерпение чувств не пускало вернуться за справкой,— и не нужно — помнил расположение дверей в коридоре. Нашел, быстро облизнулся, взялся за ручку, хотел...

Дверь была заперта; и отвратительно поддалось под сердцем. Раз заперлась — значит, от него, значит — подозрение, не надо было так целовать, спугнул, что-нибудь заметила,— или глупее и проще: по наивности убеждена, что он лег спать в другой комнате, в голову не пришло, что она будет спать в одной, вместе с чужим — все-таки еще чужим — и он постучал, едва ли еще сам сознавая всю силу своей тревоги и раздражения.

Услышал отрывистый женский смех, гнусное восклицание матрацных пружин и затем шлепанье босых ног. «Кто там? — сердито спросил мужской голос.— Ах, вы ошиблись? Так, пожалуйста, не ошибайтесь. Человек тут занимается делом, человек обучает молодую особу, человека перебиввют...» В глубине опять прокатился смех.

Ошибка была пошлая — и только. Он двинулся дальше по коридору — вдруг сообразил, что не та площадка — пошел назад, повернул за угол, озадаченно взглянул на счетчик в стене, на раковину под капающим краном, на чьи-то желтые сапоги у двери — повернул опять — лестница исчезла! Та, которую он наконец нашел, оказалась другой: спустившись по ней, он заблудился в полутемных помещениях, где стояли сундуки, где из углов выступали с фатальным видом то шкапчик, то пылесос, то сломанный табурет, то скелет кровати. Вполголоса выругался, теряя власть над собой, изведенный этими преградами... Толкнул дверь в глубине и, стукнувшись головой о низкую притолоку, вынырнул в вестибюль со стороны тускло освещенного закута, где, почесывая щетину щеки, старик смотрел в черную книгу, а на лавке рядом храпел жандарм — как в кордегардии. Получить нужное сведение было делом минуты — слегка удлиненной извинениями старика.

Он вошел. Он вошел и прежде всего, никуда не глядя, украдчиво горбясь, дважды повернул тугой ключ в замке. Затем увидел черный чулок с резинкой под умывальником. Затем увидел раскрытый чемодан, начатый в нем беспорядок, полувытащенное за ухо вафельное полотенце. Затем увидел комок платья и белья на кресле, поясок, второй чулок. Только тогда он повернулся к острову постели.

Она лежала на спине поверх нетронутого одеяла, заложив левую руку за голову, в разошедшемся книзу халатике — сорочки не доискалась,— и при свете красноватого абажура, сквозь муть, сквозь духоту в комнате он видел ее узкий впалый живот между невинных выступов бедренных косточек. Со звуком пушечной пальбы поднялся со дна ночи грузовик, стакан зазвенел на мраморе столика, и было странно смотреть, как мимо всего ровно тек ее заколдованный сон.

Завтра, конечно, начнем с азов, с продуманной постепенности, но сейчас ты спишь, ты ни при чем, не мешай взрослым, так нужно, это моя ночь, мое дело — и, раздевшись, он лег слева от едва качнувшейся пленницы и застыл, сдержанно переводя дух. Так: час, которым он бредил вот уже четверть века, теперь наступил, но облаком блаженства он был скован, почти охлажден; наплывы и растекание ее светлого халатика, мешаясь с откровениями ее красоты, еще дрожали в глазах сложной зыбью, как сквозь хрусталь. Он все не мог найти оптический фокус счастья, не знал, с чего начать, к чему можно притронуться, как полнее всего в пределах ее покоя насытиться этим часом. Так. Пока что, с лабораторной бережностью, он снял с кисти бельмо времени и через ее голову положил на ночной столик между блестящей каплей воды и пустым стаканом.

Так. Бесценный оригинал: спящая девочка, масло. Ее лицо в мягком гнезде тут рассыпанных, там сбившихся кудрей, с бороздками запекшихся губ, с особенной складочкой век над едва сдавленными ресницами, сквозило рыжеватой розовостью на ближней к свету щеке, флорентийский очерк которой был сам по себе улыбкой. Спи, моя радость, не слушай. Уже его взгляд (себя ощущающий взгляд смотрящего на казнь или на точку в пропасти) пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь — но тут же он вздрогнул, ибо шевельнулся кто-то другой в комнате — на границе зрения — не сразу признал отражение в шкапном зеркале (его уходящие в тень пижамные полосы да смутный отблеск в лакированном дереве, да что-то черное под ее розовой щиколоткой). Наконец, решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть разжатым, чуть липким ногам, шершаво свежевшим книзу, ровно разгоравшимся к верховьям — с бешеным торжеством вспомнил ролики, солнце, каштаны, все...— пока концами пальцев поглаживал, дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся,— по-своему, но родственно сгустивший в себе что-то от ее губ, щек,— а немного повыше, на прозрачном разветвлении вен, упивался комар, и, ревниво прогоняя его, он нечаянно помог спасть давно мешавшему отвороту, и вот они, вот, эти странные, слепые, как бы двумя нежными нарывами вспухшие грудки — и теперь обнажилась вдоль тонкой, еще детской мышцы натянутая, молочно-белая впадина подмышки в пяти-шести расходящихся, шелковисто-темных штрихах — туда же стекала наискось золотая струйка цепочки — вероятно, крестик или медальон — и уже начинался опять ситец — рукав круто закинутой руки. В который раз нахлынул и взвыл грузовик, наполняя комнату дрожью,— и он остановился в своем обходе, неловко накренившись над ней, невольно вжимаясь в нее зрением и чувствуя, как отроческий, смешанный с русостью запах ее кожи зудом проникает в его кровь. Что мне делать с тобой, что мне с тобой... Девочка во сне вздохнула, разожмурив пупок, и медленно, с воркующим стоном, дыхание выпустила, и этого было достаточно ей, чтобы продолжать дальше плыть в прежнем оцепенении. Он тихонько вытащил из-под ее холодной пятки примятую черную шапочку — и снова замер с биением в виске, с толчками ноющего напряжения — не смел поцеловать эти угловатые сосцы, эти длинные пальчики ног с желтоватыми ногтями — отовсюду возвращаясь сходящимися глазами к той же замшевой скважинке, как бы ожившей под его призматическим взглядом,— и все еще не зная, что предпринять, боясь упустить что-то, до конца не воспользоваться сказочной прочностью ее сна. Духота в комнате и его возбуждение делались невыносимы, он слегка распустил пижамный шнур, впивавшийся в живот, и, скрипнув сухожильем, почти бесплотно скользнул губами там, где виднелась родинка у нее под ребром... но было неудобно, жарко... напор крови требовал невозможного. Тогда, понемножку начав колдовать, он стал поводить магическим жезлом над ее телом, почти касаясь кожи, пытая себя ее притяжением, зримой близостью, фантастическими сопоставлениями, дозволенными сном этой голой девочки, которую он словно мерил волшебной мерой, пока слабым движением она не отвернула лица, едва слышно во сне причмокнув,— и все замерло снова, и теперь он видел промеж коричневых прядей пурпурный ободок уха и ладонь освобожденной руки, забытой в прежнем положении. Дальше, дальше. В скобках сознания, как перед забытьем, мелькали эфемерные околичности — какой-то мост над бегущими загонами, пузырек воздуха в стекле какого-то окна, погнутое крыло автомобиля, еще что-то, где-то виденное недавно вафельное полотенце, а между тем он медленно, не дыша, подтягивался и вот, соображая все движения, стал пристраиваться, примеряться... под боком опасливо поддалась пружина, правый осторожно похрустывающий локоть искал опоры, взор заволокло туманом тайной сосредоточенности... Он почувствовал пламень ее ладной ляжки, почувствовал, что больше сдерживаться не может, что все — все равно — и по мере того, как между его шерстью и ее бедром закипала сладость, ах, как отрадно раскрепощалась жизнь, упрощаясь до рая,— и еще успев подумать: нет, прошу вас, не убирайте — он увидел, что, совершенно проснувшись, она диким взглядом смотрит на его вздыбленную наготу.

Мгновенно, в провале синкопы, он увидел и то, чем ей это представилось — каким уродством или страшной болезнью — или она уже знала — или все это вместе,— она смотрела и вопила, но волшебник еще не слышал ее вопля, оглушенный собственным ужасом, стоя на коленях, подхватывая складки, ловя шнур, стараясь остановить, спрятать, щелкая скошенной судорогой, бессмысленной, как стук вместо музыки, бессмысленно истекая топленым воском, не успевая ни остановить, ни спрятать. Как она скатилась с постели, как она теперь орала, как убегала лампочка в своем красном куколе, как грохотало за окном, ломая, добивая ночь, все, все разрушая. «Замолчи, это по-хорошему, такая игра, это бывает, замолчи же»,— умолял он, пожилой и потный, прикрываясь мелькнувшим

макинтошем, трясясь, надевая, не попадая. Она, как дитя в экранной драме, заслонялась остреньким локтем, вырываясь и продолжая бессмысленно орать, и кто-то бил в стену, требуя невообразимой тишины. Попыталась выбежать из комнаты, не могла отпереть, а он не мог ухватить, не за что, некого, теряла вес, скользкая, как подкидыш, с лиловым задком, с искаженным младенческим личиком — укатывалась — с порога назад в люльку, из люльки обратным ползком в лоно бурно воскресающей матери.— «Ты у меня успокоишься,— кричал он (толчку, точке, несуществующему).— Хорошо, я уйду, ты у меня...» — справился с дверью, выскочил, оглушительно запер за собой — и, еще слушая, стискивая в ладони ключ, босой, с пятном холода под макинтошем, так стоял, так погружался.

Но из ближнего номера уже появились две старухи в халатах: первая, как негр седая, коренастая, в лазурных штанах, с заокеанским захлебом и токанием — защита животных, женские клубы — приказывала — этуанс, этудверь, этусубть — и, царапнув его по ладони, ловко сбила на пол ключ — в продолжение нескольких пружинистых секунд он и она отталкивали друг дружку боками, но все равно все было кончено, отовсюду вытягивались головы, гремел где-то звонок, сквозь дверь мелодичный голос словно дочитывал сказку — белозубый в постели, братья с шапрон-ружьями — старуха завладела ключом, он быстро дал ей пощечину и побежал, весь звеня, вниз по липким ступеням. Навстречу бодро взбирался брюнет с эспаньолкой в подштанниках, за ним извивалась щуплая блудница — мимо; дальше — поднимался призрак в желтых сапогах, дальше — старик раскорякой, жадный жандарм — мимо; и, оставив за собой множество пар ритмических рук, гибко протянутых в пригласительном всплеске через перила,— он, пирузтом, на улицу — ибо все было кончено, и любым изворотом, любым содроганием надо было тотчас отделаться от ненужного, досмотренного, глупейшего мира, на последней странице которого стоял одинокий фонарь с затушеванной у подножья кошкой. Ощущая босоту *уже* как провал в другое, он понесся по пепельной панели, преследуемый топотом вот уже отстающего сердца, и самым последним к топографии бывшего обращением было немедленное требование потока, пропасти, рельсов — все равно как,— но тотчас. Когда же завыло впереди, за горбом боковой улицы, и выросло, одолев подъем, распирая ночь, уже озаряя спуск двумя овалами желтоватого света, готовое низринуться — тогда, как бы танцуя, как бы вынесенный трепетом танца на середину сцены — под это растущее, руплегрохотный ухмышь, краковяк, громовое железо, мгновенный кинематограф терзаний — так его, забирай под себя, рвякай хрупь — плашмя пришлепнутым лицом я еду — ты, коловратное, не растаскивай по кускам, ты, кромсающее, с меня довольно — гимнастика молнии, спектограмма громовых мгновений — и пленка жизни лопнула.

Париж
Октябрь-ноябрь 1939 г.

* * *

Отчего-то все дни, все дни, что тихо пенились исподволь, с радостью
Надвигались шумливые, как-то сникли... Звезды не светят.
Словно бедный Грегор Замза — какой-то гадостью
Стал ненароком,— в мягкую спинку яблоком метят...

Наглой антоновкой, грубым штрефлингом. Стаю птичью,
Ватагу сластен в стоматологическую поликлинику,—
Класс свой водил. Эскадрилья бормашин летучих ввинчивает
Пропеллеры в лазурь — в каждую крохотную выемку, слабинку.

Уж чего только не наслушался... Где ты, молочное успокоение,
Сыворотка молчания? И сам себе противен, перед врачами
Неудобно. Помню, какой ужас, страх, смертное волнение
Коммивояжера охватили, как себя ущипнуть хотел, передернуть плечами.

Вот так вместо розово-желтой с пушком, обжигающейся
Кожи — незаметно: хитин эпоксидный, холодный... И голос
Разве мой — с металлической нотой, качающийся,
Насекомый, немилый? И внутри как-то холодно, голо.

Порой чувствую, что не выдержу, но что-то переменилось, хрустнуло
Глубоко-глубоко. По профориентации сотню въедливых бланков
Кто же будет заполнять? Боже мой, никакими мускулами
Не сдержать звезд, зажигающихся спозаранку.

ЭЛЕГИЯ, СОЧИНЕННАЯ НА ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОМ ПРОФСОЮЗНОМ СОБРАНИИ

Где залезешь, там и слезешь с многочисленными своими кульками
Общественных поручений — просекла, просекла профорг Милица Петровна
Эту просеку во мне с зайцами, куницами, хорьками,
Молодняком пенечков, травкой, зеленеющей ровно.

Ей, подруге агропромышленных комплексов, корреспондентке
Уральских руд, географичке нашей в муссонах, пассатах,
И невдомек, в какие замечательные пятилетки
Был заквашен во мне общественник на бровастых дрожжах ноздреватых.

В повествовательном тоне валторной ухаешь и ноешь еще...
И никому не показать, как мне тяжело.

Николай Михайлович Кононов (р. в 1958 г.) — поэт. Публиковаться начал в 1980 г. Первая книга — «Орешник» — увидела свет в 1987 году. Живет в Ленинграде.

Задачник Рыбкина, ты по зубам мне был, мое сокровище,
Ватага параллельных, бредящих в тельняшке!

Поволжье жалоб, Обская губа обид... Кто с потушенными
Огнями бортовыми к бакенам крадется робко?
Вы — пароход ночной, Милица Петровна, с рыженькими сушками
Покрышек по бортам, кудряшек, у вас терпенья сопка.

Собраний профсоюзных плеск, расти, расти до ватерлинии,
Гуди в опухшей комнате дремотной, общей,—
Я до Саратова добрался невзначай — в глубокой сини я:
Как будто сплю, мне ветер волосы полощет...

ЧУМАЦКАЯ ЭЛЕГИЯ

Занавесочка-бесовка лишь вздохнет под сквозняком, и горьковато-пристальным
Духом песенным потянет: гуде вітер в чистом поле.
Снег глубокий голубеет мшистым висмутом.
Ліс ломає, молча, кряжисто, без боли.

В коридоре нашем лыжи парубками хмурятся в углу, и холодеют саночки,
Шкаф на все готовый черным гетманом стоит — Мазепой.
Смерти только молвишь: «Здравствуй, панночка...»
Сам в дверях стоишь луною бледной — сумрачный, полуодетый.

Косят ножницы легко бумагу: станешь, станешь выкройкой
Телогрейки, ватника, прорастешь шинельным ворсом.
Уходя лишь, обернешься: ласточка моя, мол, рыбонька
С плавничком незаживающим, костистым, острым.

* * *

Пахнет зеленоватым скипидаром с такого близкого
Расстоянья от необожженного февральского неба...
Военные холода, торопливый скрип кавалерийского
Молодого, подбоченившегося снега.

Знаю, знаю — все обиды на тягучем казеиновом
Незастывающем клее замешаны, как и эта ночная
Музыка духовая с тонкой оторочкой малиновой.
О, тьма с непогашенными фонарями, постылая, гробовая!

С голыми затылками в очередь, как допризывники,
Вытянулись тополя. Неужели вот это место, где бы
И я стоял, заломив ушаночку кривенько,
Чуть на одно ухо, с безмятежностью ночного Эреба?

Где, где все детские теоремы о свойствах треугольника?
Игольное ушко геометрии и прочее, что досталось
Так тяжело, с потерями невосполнимыми столькими?
Любовь, перетекающая в жалость.

Мелкие, мелкие, мятые, шелушащиеся, дикие, содранные
Локти, так похожие на парниковые сжатые розы...
Есть подробности жуткие, запретные, где-то подсмотренные,
За скобки вынесенные, непроходимые сугробы, торосы...

* * *

Раз пять машина перевернулась, и чуть взбудораженные
Вылезают на обочину: журчанье пленки черно-белой.
Так сквозь воду лучи пробираются радужные.
Только что руль держали в руках окоченелый.

Ну как тебе на ощупь все эти жаркие подробности?
И голоса куда-то за край стекающие, пивные?
Как всю непостижимую дистанцию от любви до робости
Уместил в две-три неловкие запятые?

И разве вся наша жизнь — ночные шахматы неподъемные,
Полувоенный дым папиросный, известковый осадок?
О, как вода прибывает в трюме сквозь пробоины темные,
В каком кино подглядел этот миропорядок?

Ну, век неузнанный, грозное, задрапированное детище,
Детские ворошиловские стрельбы в фанерном тире...
Как на улицу выходили с этой стрижечкой нелепейшей?
Выжимали по тридцать раз двухпудовые гири.

Так стихов о войне никогда не напишу... Вот если в госпитале
Буду умирать. Ну, смерть — сестра походно-полевая!
Выпьет все слова, выпьет, обметает губы восковыми оспинами,
Пчелами, дочерьми левкоя, чабра, подорожника, молочая...

* * *

«Маленькая рыбка,
Жареный карась,
Где твоя улыбка...»
Н. Олейников

Шеренгами построенная, щуплая, случайно так уложенная,
Прильнувшая друг к другу кожей скользкой, всеми мускулами,
О рыбка робкая! О свежезамороженная,
Глядишь очами тусклыми.

Морозная, в испарине сплошной, ты в холоде нежнеющем
Со мною заодно, ты — путассу, навага, нототения.
Тебя на свете нет. Я телом индевеющим
Твоим напуган был. Ну, спи без пробуждения.

Прощай, навек прощай. Теченьями овеянного
Нам разве тела жаль, угрюмым фосфором насыщенного, темного?
О, сколько рыбок в строках у Олейникова
Двусмысленно дрожат от робкой похоти, желанья неуемного...

От влажной жалости к самим себе, ведь у него, угрюмого,
Карась подробно, страшно умирает в облаке
Сметаны роковой. Он смерть баюкает свою... О, не собою его
Хорейчик розовый, трехстопный, ахающий, лежащий в обмороке.

Не зря, не зря себя неазрачной, клейкой, маленькой
Он рыбкой мыслил робкой. Обо всем догадывался?
Ночей не спал, дрожа? Ну разве ватник, валенки
Спасут всех, боже мой? Не снег волной наваливался.

Теперь другой тираж. И сжавшиеся, смерзшиеся, гиблые,
Под легкий перекат уснувшие среди долины ровныя...
Убитых нам не счесть! Нули зияют глыбами
Военными, почти единокровными.

* * *

В бижутерии похабной, размалеванная, рядом с пасынком прыщавым,
Федра — Федра, выпускница ПТУ—15, по лимиту, по лимиту
Жить осталась тут, трудиться,— не выносит мелкий мокрый щавель
Зеленеющих кудрей твоих, токсикомана Ипполита.

Лейся, блещущая политура Карповки, Невка, фиолетово дрожи денатуратом,
Мерзни — мерзни, антифриз небес! Жалости хотела безнадежно
Хлипкая душа, ведь не готовилась она еще к утратам.
И снежок над общежитьем так легко идет, неосмотрительно, неосторожно.

Ну, отбившаяся от природы девушка, ты стершаяся двушка...
Комендант уж третье объявил тебе предупрежденье.
Тапочка растоптанная, нет! разношенная кофточка, души твоей теплушка
Шустрыми полна солдатами. В ватнике объятий задохнулась без предубеждений.

Но желанней этот мат малосемейный, возле тумбочки толкучка
Зеленеющих бутылок, что они поют, звеня цыганским хором?
«Эх 15 раз да-ри-да-ой по 20!» — вот уже и трешка до получки...
Ни упрека я не смею высказать, ни бросить тень укора.

Чтобы губы круглые в зеленом «о» бутылка долго-долго гнула, напрягала,
Чтобы не сказала ничего нескромного, чтобы ни намека...
Разве поцелуя целомудренного, звона зябкого ей мало?
Не смотри угрюмо так, понуро, жадно, жалобно, поблекло...

БЕССОННИЦА НА КУХНЕ

Большеротая возня, шелест тысячи крыл, насурмленная дышит изнанка
Зимней ночи, и низкая синева подбирается та еще...
Боже мой, сколько может тянуться тихая упорная перебранка,
Частная жизнь холодильника «Орск», ни на миг не затихающая.

Скоро, скоро вставать. Летает, бьется о кухонный кафель
Дельтопланерист, шуршит вспотевшими крыльями брезентовыми,
Словно моль, сон мой маленький. И не выключить до утра Фальстафа —
Восторг охлажденья, электрический шепоток разматывается лентами.

Невнятная болтовня котлет. Рядом бродят отравители опята,
Задевает миска о банку: этот ли шум грозит помешательством?
Милая, родная жизнь, вот и ты чем-то душным и грозным подмята:
Долги, оговорки, нелепый бег с остановками, замешательством...

Нет, ничего не просмотрел, не свел к мелочам. Шум смятенья ночного
Подступает, несет, как Гольфстрим, нежно и вкрадчиво.
Эти сбитые простыни, неуклюжая подушка, забытое влажное слово.
О, с каким трудом все давалось: гудит под руками неподъемное, обманчивое.

Есть, есть еще ледяные поручни полубезумного раннего трамвая,
Серый утренний грунт, заиканье, невнятица, нежность, клетчатое
Пальто соседки, едущей с ночной смены. Вот — догорают
Бусины фонарей. Чем-то болен еще, но от этого лечат ли...

Вадим Шефнер

Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца

Фантастическая повесть

Имя моего деда Серафима Васильевича Пятизайцева (1947—2008) известно всем. Во многих городах нашей планеты ему воздвигнуты памятники, о нем написана не одна книга. Теперь, когда близится столетие со дня его кончины, настало время опубликовать и то, что он сам о себе написал.

Все знают, что Серафим Пятизайцев умер в полной безвестности. Всемирная слава осенила его посмертно, когда в архиве давно ликвидированного ИРОДа (Института Рациональной Организации Досуга) были случайно обнаружены чертежи его гениального изобретения и пояснительная записка к ним. Что касается данной рукописи, то она хранилась у нас дома. Моя бабушка Анастасия Петровна Пятизайцева, намного пережившая своего мужа, была против публикации его автобиографического произведения, ибо считала, что это может бросить тень на нее лично и — главное — исказить у публики представление о ее муже. Ведь уже при ее вдовьей жизни СТРАХОГОН был пущен в массовое производство, и об его изобретателе начали восторженно писать поэты, писатели и журналисты. Что касается моей матери Татьяны Серафимовны Пятизайцевой, то она тоже считала, что рукопись отца не преумножит его славы.

Бабушки моей нет в живых, матери — тоже. А я на старости лет решила опубликовать исповедь своего деда — и тем самым выполнить его давнее желание. Ибо это произведение писалось им явно не для дома, а для мира, не для семейного архива, а для печати. Знаю, у многих землян при чтении «Небесного подкидыша» возникнет чувство обидного изумления — и даже негодования. Ведь в бесчисленных произведениях поэтов и писателей дед мой трактуется как человек сказочной отваги. По их убеждению, именно врожденная храбрость натолкнула его на открытие Формулы Бесстрашия. Всем известны строки поэта Некукуева: «Герой поделился бесстрашием личным со всеми людьми на Земле!» Но, вчитавшись в произведение моего деда, люди узнают, что дело обстояло иначе. Они узнают Правду. Правда эта, по моему убеждению, не унизительна для Серафима Пятизайцева. Но это поймут не сразу и не все.

Будучи по специальности литературоведицей, не скрою, что правдивое повествование деда не лишено недостатков. Начну с того, что рукопись производит впечатление незаконченности, и даже даты под ней нет. Полагаю, что автор хотел завершить свое повествование главой о том, что его идея получила практическое осуществление. Но, как мы знаем, при его жизни этого не произошло. Заметят читатели и то, что это произведение внутренне противоречиво, в нем много недоговоренностей, неясностей. Огорчает и то, что излишне много места уделено различным служебным склокам и абсурдным проектам,— и в то же время о своем изобретении автор пишет походя, невнятно; суть его прибора им не расшифрована. К счастью, мы все знаем, чем Серафим Пятизайцев одарил человечество! Благодаря ему на Земле не стало страха. Остался страх перед Совестью, но все остальные разновидности страха — побеждены, и люди действуют разумно и смело при самых экстремальных ситуациях. Мы стали смелее, честнее, правдивее. И срок жизни землян — удлинился.

Возвращаясь к недочетам повествования, посетую, что дед порой разрешает себе некоторую игривость стиля, смакует вульгарные словечки, не брезгует блатным жаргоном своего времени. Однако я сохранила текст в полной неприкосновенности, ибо сознаю свою ответственность перед человечеством.

Марфа Гуляева-Пятизайцева

Земля № 253
Ленинград, 2107 год

1. ОДИН ИЗ 7 000 000 000

Начну с того, что никакой я не писатель.

«Банальное предупреждение»,— усмехнетесь вы.

Согласен: банальное. Более того: затасканное, затрепанное, затертое, замызганное. Но правдивое. И к сему добавлю, что профессиональным литератором стать не собираюсь. Закончу это свое единственное прозаическое произведение — и больше ни гу-гу. Другое дело — поэзия. Иногда, когда моя изобретательская мысль отдыхает, я строчу стихи. Этот побочный творческий продукт время от времени публикуется в нашей институтской стенгазете «Голос ИРОДа». Но в печать со своими стихами я не стремлюсь.

Я в славе выкаляюсь весь,
Когда придет мой час,—
Но слава ждет меня не здесь,
Тут ни при чем Пегас.

Впрочем, это я так, для красного словца; может быть, нигде никакой славы не будет.

А это свое автобиографическое произведение я пишу для вашей же пользы, уважаемые земляки-земляне. Учтите, нас на Земле, по данным последней переписи, семь миллиардов душ, включая и мою. И из всех этих миллиардов пока что лишь мне довелось побывать на другой планете. При этом сразу скажу, что никаких умственных, творческих усилий я к этому делу не приложил. Устроился в полет по дружеской протекции, а грубо говоря — по межпланетному блату. И через это влип в такую передрягу, что еле ноги унес. Правда, пребывание на Фемиде натолкнуло меня на важное изобретение. Но возможен был и смертельный исход. Вот тебе мой совет, уважаемый читатель: опасайся таких блатных путешествий!

Всегда и всюду действуй честно,
И сам штурмуй любой редут.
Ни блат земной, ни блат небесный
К добру тебя не приведут!

2. ЗАГАДОЧНЫЙ ВЗЛОМ

Скромность украшает мудрых. Поэтому пока что отпихну себя на второй план и сообщу вам кое-какие сведения о моем друге Юрке Птенчикове.

Однажды, в давние времена, в нашем доме на Н-ской линии Васильевского острова произошло загадочное событие. Дом тогда еще дровами отапливался, дров было маловато, в квартирах было холодновато и сыровато — поэтому белье после стирки сушили на чердаке. Дверь чердачную запирали. И вдруг в одно воскресное утро дом облетела весть роковая: чердачная дверь взломана! И взлом тот был не простой, а загадочный. Сами подумайте: дверь взломана, а все белье, что сушилось,— в целости. Там из трех квартир белье висело — и, представьте себе, ни одна наволочка, ни одни кальсоны не пропали! Для чего тогда, спрашивается, взлом было делать?!

Дабы внести в это дело уголовную ясность, побежали в милицию, мильтона привели. Он констатировал печальный факт: да, замок взломан. Причем не с лестницы, а с чердака. То есть кто-то с крыши через чердачное окно проник на чердак и, не покусившись на чужую нижнюю одежду, взломал дверь, ведущую на лестницу,— и удалился. При таком повороте события все жильцы, как тогда говорилось, опупели от удивления, весь дом загудел от толков и домыслов. Анфиса Степановна, старушка из 27-й квартиры, та даже утверждала, что это на чердаке не люди, а ангелы побывали. Потому что как же это так: белье свободно висит, бери что хошь, а они ничего не тронули! Но прочие обитатели дома логически отвергли эту божественную гипотезу. Во-первых, двери взламывать — это поступок, что там ни говори, не ангельский. Во-вторых, будь то даже ангелы-распроангелы, никакого особого благородства они не проявили тем, что белье не уперли; ведь у них, у ангелов, свое небесное обмундирование, им сорочек или там бюстгальтеров не требуется. И, в-третьих, никаких ангелов нет, их зарубежная пропаганда выдумала.

Через неделю, после горячих споров и теоретических рассуждений, жильцы пришли к выводу, что в этом деле явно замешана гаванская шпана. Хулиганы тайно проникли на чердак соседнего дома, оттуда по крыше перебрались на наш чердак и совершили взлом дверного замка, дабы быстренько вынести все белье по лестнице и затем забодать его на толкучке. Но в последнюю минуту гаванцам почудилось, что их зашухерили, и они в жуткой панике покинули чердак, не успев совершить замышленного злодеяния. Как видите, уважаемый читатель, весь этот вывод построен на недоказанных домыслах. Но не будем смеяться над жильцами дома! Ведь в то, не такое уж отдаленное, время никто на Земле еще не ведал о наличии неопознанных летающих тарелок, никто знать не знал о том, что Земля регулярно посещается иномирянами. Знай это жильцы дома — у них бы хватило ума догадаться, что побывали на их крыше и чердаке никакие не гаванцы, а просто-вапросто инопланетники.

Та чердачная сенсация так заполонила умы жильцов, что совершенно заслонила собой другое событие. А состояло оно в том, что в ночь, предшествующую тому утру, когда был обнаружен взлом, кто-то позвонил в квартиру № 25, находившуюся на той лестнице, что вела на чердак. В этой однокомнатной квартирке (бывшей швейцарской) одиноко обитала бухгалтерша ЖАКТа Клавдия Борисовна Птенчикова. Она, естественно, была удивлена — кто это будит ее среди ночи?! Когда она сквозь дверь спросила: «Кто там? Чего вам надо?» — ей никто не ответил. Но затем она услыхала детский писк — и открыла дверь. На лестничной площадке стоял, аккуратно закутанный в добротную теплую одежду, малыш; на вид ему было годика два.

— Подкидыш!.. Только этого мне не хватало! — воскликнула тетя Клава. Затем внесла ребенка в квартиру, уложила на кушетку — не оставлять же его на лестнице. И вдруг малыш улыбнулся ей, да так ласково и весело, что она мысленно повторила: «Только этого мне не хватало!» Но повторила уже в ином, самом положительном смысле. Короче говоря, она решила усыновить дитя, и вскоре осуществила это, оформив его через загс на свою фамилию и присвоив ему имя Юрий.

Родителей своих Клавдия Борисовна не знала, воспитывалась в детдоме, потом окончила бухгалтерские курсы, устроилась счетоводом в наш ЖАКТ, получила квартиру. А вообще-то, судьба ее не баловала. Замуж вышла поздно, да и муж попался какой-то несерьезный — вскоре покинул ее ради другой, что покрасивше. Красотой, честно говоря, тетя Клава не блистала. Зато блистала она добротой своей. Если в доме кому помощь нужна — все к тете Клаве бегут. Она и за больным поухаживает безвозмездно, и обиженного утешит, и деньгами из последних своих средств поможет. За ней не только в нашем доме добрая слава утвердилась, но и в соседних домах. Мало того, слава та, по каким-то космическим каналам, и до одной дальней планеты дошла; иначе не подкинули бы тете Клаве иномиряне своего ребенка. Впрочем, о том, что он не из мира сего, она знать не знала, ведать не ведала. И даже позже, когда Юрик признался ей, что он на Земле гость, а не хозяин, она ему не поверила, за выдумку сочла.

А та загадочная чердачная история произошла, когда я еще совсем маленьким был. Услыхал я об этом много позже, уже в мало-мальски разумном возрасте. Мне взрослые рассказали. Загадочный взлом так въелся в их память, что они много лет спустя его переживали и пережевывали.

3. ТРУСОВАТЫЙ ХРАБРЕЦ

Жили мы с Юриком Птенчиковым по одной лестнице, но до поры до времени никакой дружбы у нас не намечалось — как, впрочем, и вражды. Был он мальчишка как мальчишка. Правда, добрый, необидчивый. Ребята с нашего двора любили его и, любя, Парголовским иностранцем звали. Как известно, в Парголове когда-то много ингерманландцев (а просторечии — чухонцев) обитало. А у Юрика с речью не все благополучно обстояло: он иногда как-то странно, непонятно выражался, слова коверкал. Вроде бы на иностранный манер. Все думали, что это он нарочно выпендривается, чтобы из общей массы выделиться. Но так как шкет он был невредный, то это ему охотно прощали.

Когда пришло время, родители определили меня в школу. В ту же школу и в тот же 1-«а» пошел и Юрик. Так мы стали первоклассниками-одноклассниками. И до выпускных экзаменов вместе учились. А дружба наша началась с третьего класса. Об этом подробно рассказать надо.

В нашем дворе стояло невзрачное одноэтажное строение, там продавцы из продмага пустую тару хранили. Впрочем, хранили — не то слово. Дверь в то тарохранилище они почти никогда не запирали. Ребята с нашего двора часто проникали туда, играли в прятки между штабелями ящиков. И вот в одно декабрьское воскресное утро иду я по двору (мать меня в аптеку за аллохолом послала) — и вижу: дверь в склад приоткрыта, и оттуда дым идет и светится там что-то неровным светом. И в этот момент выбегает оттуда Борька, восьмилетний шкет с нашего двора, и вопит бестолково: «Пожар! Пожар! Юрка сгорит!» Потом другой мальчишка выскакивает — Семка из 26-й квартиры — и тоже кричит что-то насчет пожара. Оказывается, они вдвоем там кантовались, какой-то дот возводили из ящиков, потом холодно им стало, а у Семки-дурака спички имелись, и он «маленький-маленький костерчик из досочек разжег», а огонь вдруг на ящики перекинулся. Ребята эти своими силами хотели пожар ликвидировать, а в то время Юрик через двор шагал. Он дым увидал, каким-то образом догадался, в чем тут дело, и поспешил на помощь, и как-то так получилось, что едва он в склад вбежал, как на него эти шпанята (конечно, не по злой воле) штабель ящиков обрушили. Впрочем, все это позже выяснилось. А в ту минуту, после того как эти двое из склада выбежали, оттуда донесся болезненный вопль Юрика. Он выкрикивал какие-то непонятные слова.

Во дворе в этот момент, кроме меня, этих двух перепуганных мальчишек и девчонки

Зойки из 27-й квартиры, никого больше не было. И я понял, что именно я должен поспешить на помощь Юрке. Но мне стало страшно. Несколько драгоценных секунд я мысленно уговаривал сам себя — и все не мог решиться. И тут Зойка проскандировала своим писклявым голоском: «Фимка — бояка, Фимка — трусишка!» После этого я кинулся в складское помещение. Я распихал горящие ящики, нашел лежащего под ними Юрика — и выволок его на чистый воздух. К тому времени во дворе показались взрослые, а вскоре и пожарные подоспели.

Юрик-бедняга месяц в больнице ва Большом проспекте отлежал и вышел оттуда с чуть заметной хромотой — это из-за того, что сухожилие на левой ноге было огнем повреждено. Из-за этой микрохромоты его, когда призывной возраст настал, на военную службу не взяли. А у меня на всю мою жизнь осталось чувство вины: если бы я не потратил нескольких секунд на трусость, то ожог был бы поменьше и никакой хромоты у Юрки не получилось бы.

Как видите, при пожаре том никакая героическая кончина мне не угрожала. У меня только пальто на правом плече обгорело, да на левой ладони волдырь от ожога вскочил — вот и все. Но тетя Клава сделала из этого какой-то подвиг, всем стала твердить о моей якобы отваге, а главное — навсегда внушила Юрке, что я его от верной гибели уберег. И с той поры он стал считать меня своим спасителем и покровителем. А когда его из больницы выписали, он первым делом попросил классную нашу наставницу Нину Васильевну, чтобы она посадила его за парту рядом со мной. Нина Васильевна просьбу эту охотно выполнила, отсадила от меня Кольку Пекарева, а на его место Юрик сел. Я против этой рокировки не возражал. Дело в том, что Колька тот в струнном кружке обучался и часто о музыке толковал, а мне это было не по нутру (почему — после узнаете). Ну а Нина Васильевна так охотно согласилась на эту перестановку потому, что я по родному языку хорошо шел и мог Юрику пособить. Юрик многие предметы блистательно осваивал, педагоги прямо-таки дивились его способностям, но из-за неладов с русским языком на круглого отличника он не тянул. Он и в диктовках ошибки делал, и в устной речи иногда какую-то околесицу нес, и в сочинениях на вольную тему не раз выдавал фразочки вроде такой: «Докторша-глазунья навязала пострадальцу повязку на все оба глаза». Я, как мог, старался помочь ему овладеть правильной речью, да и читал он очень много — и все-таки туго шло у него это дело.

А дружба наша крепла. Теперь Юрик дома у нас стал бывать. Родителям моим он очень по душе пришелся. Он и тете Рите понравился, но ее огорчало, что он смеется мало. Она решила ему уроки смеха давать, да ничего из этого не вышло. В нем с годами серьезность нарастала, грусть какая-то.

4. ДРУГ НЕ ИЗ МИРА СЕГО

Настоящая дружба в себя и взаимную критику включает. В моей голове уже в школьные годы зрели различные проекты, и я делился своими мыслями с Юриком — и тот отвергал очень многое. А мне не по душе было, что он, несмотря на все мои старания помочь ему русским языком овладеть, очень медленно в этом деле преуспевает и самые простые поговорки перевирает на свой лад. Однажды (это было, когда мы в седьмом классе учились) договорился я с ним, что зайду к нему в семь вечера и пойдем мы в кино «Балтика» — там фильм про шпионов шел.

— Только не опоздай,— сказал мне Юрик.— Помни: точиость — вежливость кораблей!

— Не кораблей, а королей,— сердито поправил я друга.— Пора бы тебе перестать иностранца из себя строить, над родным языком измываться!

И тут Юрий Птенчиков признался мне, что русский язык — не родной его язык. Он, Юрий, прибыл на Землю с отдаленной планеты Кума (ударение на первом слоге). На этой Куме издавна существует такой обычай: некоторые родители подкидывают своих детей на другие планеты — для того чтобы дети их осваивали инопланетные языки, обычаи и исторические факты, дабы, вернувшись в зрелом возрасте на Куму, создавать научные труды по истории иных миров и тем способствовать общему развитию своих соотечественников. В дальнейшем это послужит налаживанию дружеских межпланетных контактов. К вышеизложенному Юрик добавил, что военная техника и вообще техника землян его нисколько не интересует, ибо Кума — планета мирная. А вообще-то, наука и техника у куманиан стоят на куда более высоком уровне, нежели у землян. В этом отношении Куме у Земли учиться нечему; это все равно как если бы студент-отличник пятого курса захотел бы брать уроки у школьника-второгодника.

Далее он поведал мне, что Кума — планета весьма древняя, и у ее обитателей давно выработалась наследственная генетическая культура. Куманиане и куманианки рождаются уже со знанием основ математики, физики, химии, географии и истории. И, разумеется, они являются на свет вполне грамотными. И вот это-то врожденное знание родного языка мешает ему, Юрию, в освоении языка русского.

— Я бы освоил его не хуже, чем ты, Фима, но в моем черепе прочно угнездились грамматические правила куманийской бытовой и письменной речи, и они все время вступают в драку с нормами земной словесности и письменности. Поэтому не дивись, Фима, что у меня иногда возникает неправильное говорение,— закончил он свое признание.

— А тетя Клава знает, откуда тебя к ней подбросили?

— Моя маманя земная знает, я ей говорил. Но она не верит. Она повелела мне в тряпицу помалкивать, а то подумают, что я психоненормальный. Это я только тебе, по дружеству...

— Не бойся, куманек, я тебя никому не выдам. Вот если бы ты со шпионским заданием к нам прибыл, если б ты резидентом был, я бы тебя своею собственной рукой укокошил. Но ты, я вижу, вреда землянам не причинишь.

— Курв я буду, если причиню! — воскликнул Юрик.

— Только не «курв», а «курва»,— поправил я иномирянина.— Пора бы тебе освоить кое-какие необходимые слова!

— Во-во! Давно пора! Но не ладится у меня дело с необходимыми словами. В кумианском языке похвалительных слов много, а вот осудительных — один, два — и фиг с маслом. А ведь я здесь земной язык полностью должен в свой ум вобрать. Когда на Куму окончательно вернусь, я там профессором стану, специалистом по земной словесности.

— Ладно, Юрик, по части необходимых слов я над тобой шефство возьму. Буду расширять твой словесный кругозор.

— Спасибо, Фима!.. Обогащай меня!.. Беден, беден наш кумианский язык. Ведь вот, например, на букву «Д» только двумя словами я могу себя критиковать: «Уп — домтиа» и «Уп — дионлат». Это значит: «Я — непослушный» и «Я — слишкометоропливоработающий». А по-вашему, по-земному, на эту букву — целая алмазная россыпь: я — дурак, дурень, дурошлеп, дуралей, двоечник, дармоед...

— Дебил, домушник, душегуб, держиморда, демагог, дегенерат, двурушник, диверсант, дебошир,— продолжил я.

— Боги мои, какое речное богатство! — восхищенно прошептал Юрик.

— Богатство речи,— поправил я иномирянина и добавил, что могу составить для него словарик строгих слов от слова «алкаш» до слова «ябеда», и он может взять его с собой на свою Куму. Но иномирянин ответил мне, что никаких книг, никаких записей увозить с Земли он не имеет права. Только то, что есть в голове!

5. Я УЗНАЮ, ЧТО В НЕБЕ ЕСТЬ ФЕМИДА

После школы я успешно сдал экзамены в Проекционно-теоретический институт, а закончив его, поступил работать в ИРОД (Институт Рациональной Организации Досуга). Что касается Юрия, то ему нужна была работа, помогающая обогащению его устного словаря. Поэтому он устроился продавцом в букинистический магазин. Однако вскоре понял, что устная речь книголюбов слишком стерилизована, в ней отсутствуют «твердые словечки», что ему нужно выйти на широкий словесный простор. Какое-то время был он банщиком, затем, сменив еще несколько специальностей, наконец стал гардеробщиком в столовой.

Теперь жизнь наша текла по разным руслам, но дружба продолжалась, и я был в курсе его бытия. Все свободное время Юрий проводил за чтением, но устная речь его по-прежнему не была гладкой. И очень тяжело шло у него дело с освоением «строгих» слов, хоть был он очень старателен. Иногда он даже в ИРОД мне звонил:

— Фима, срочно проэкзаменуй меня на букву «С»! Перечисляю: скупердяй, соблазнитель, сволочь, слабак, склочник, совратитель, скандалист, слюнтяй, стервец, скопидом, спекулянт, симулянт, сопляк...

— Садист, сутенер, свинтус, сутяга, скобарь, супостат, саботажник, сквернослов, самодур, сквалыга,— перехватывал я эстафету.

— Какая роскошь! Как богата словесность землячая! — восклицал мой друг.

— Не «земляная», а «земная»,— поправлял я его.

С такими запросами Юрик обращался ко мне не раз, и, к сожалению, ответы мои слышал не только он. Телефон общего пользования находится в курительном коридорчике нашего ИРОДа, вход туда никому не запрещен... И именно здесь зарождаются сплетни.

* * *

Добрая старенькая тетя Клава умерла, когда Юрию шел двадцатый год. Похоронил он ее со всеми возможными почестями. Теперь он одиноко жил в однокомнатной темноватой квартирке. Жил скромно и всю свою зарплату тратил на книги. Однажды он сказал мне, что когда закончит земное образование, то перед отлетом на Куму он все эти тома бесплатно отнесет в районную библиотеку. Ведь никаких книг и вещей подкидышам брать с чужих планет не положено — только умственный багаж да ту одежду, что на них.

— Это хорошо, Юрик, что ты такой добрый и честный,— констатировал я.— Ты даже ненормально-честный, я это давно заметил. Но кое-что мне в тебе не нравится.

— А что именно? Говори нараспашку.

— Не нравится мне, что живешь ты, как монах. В хавире твоей — никаких следов женского присутствия. И вообще за девицами совсем не ухлестываешь. Ты что, в святые записался?

— Нам, подкидышам, нельзя на чужепланетницах жениться,— тихо ответил Юрик.

— Чудило, никто тебя в загс не гонит! Ведь и помимо загса можно...

— Фима, я не предатель, не мошенник, не инсинуатор, не христопродавец, не блудень! Я не могу изменничать своей невесте.

— Так женись на ней! Чего же проще!

— Но она — не здесь. Я ее на Куме, как это у вас говорится, засковородил.

— Юрка, ты в своем уме?! Как ты мог на Куме девушку захороводить, ежели ты почти с пеленок на Земле околачиваешься?!

— Фима, раскроюсь тебе... Когда мне пятнадцать лет звякнуло, я заимел право летать на родную Куму. Мне тогда особые таблетки прислали. Я там много времени прохлаждаюсь. Поэтому и с русским языком у меня торможенье; то я на Земле по-землянски говорю, то на Куме по-куманийски,— а в голове паутина получается.

Признание моего друга ошеломило меня. Ведь вся его жизнь шла у меня на виду, и мне было известно, что за все годы нашего знакомства он никуда далеко из Питера не отлучался. В то же время я знал, что он не способен на преднамеренную ложь. Но если он верит в это раздвоение своего бытия — значит, он болен психически...

— Не бойся, я на все проценты психонормальный,— словно угадав мои мысли, продолжил разговор Юрий.— Мне давно надо было вскрыть перед тобой эту секретную тайну. Но один наш мудрец так высказался: «Если твоя правда похожа на ложь — молчи, дабы не прослыть лжецом». Я боялся, что ты мне не поверишь. А с другой стороны, боялся, что поверишь — и тогда с ума спятишься.

— Не бойся, куманек, ум у меня прочный,— резонно возразил я.— Но объясни мне, как ты ухитряешься незаметно с Земли ускользать в эти свои космические самоволки?

— Для ускользновений я пользуюсь законом сгущенного времени. Заглотаю особенную таблетку — и мое десятиминутное отсутствие на Земле равняется моему двухмесячному пребыванию в космосе и на Куме. Веруешь мне?

— Верю, Юрочка. Но верю умом, а не воображением.

— Фима, тебе надо побольше фантастики читать. Фантасты уже научились и останавливать время, и удлинять его, и укорачивать, и скособочивать, и спрессовывать, и расфасовывать...

— Повторяю, Юрик: я тебе верю,— прервал я словоохотливого иномирянина.— Но ты фантастикой мне голову не задуривай! Не забывай, что я тружусь в серьезном научном институте, и там у нас — никакой фантастики, там у нас — реальная забота об улучшении быта трудящихся!.. Кстати, как на твоей Куме с зарплатой дела обстоят? Деньги-то у вас существуют?

— Существуют,— ответил инопланетчик.— Но деньги у нас устные.

— То есть как это «устные»? — удивился я.

— А так. Никаких банкнотов, никаких монет. В конце суртуга, то есть месяца, к каждому турутаму, то есть работающему, подходит тумарон, то есть бухгалтер, и сообщает, сколько тот заработал бутумов, то есть денежных единиц. Турутам прочно и точно запоминает сумму и тратит ее в магазинах по своему усмотрению. Он выбирает себе вещи, продукты, а продавец каждый раз говорит ему: «Вы истратили столько-то». А он продавцу отвечает: «Учту и вычту».

— Ну, Юрка, вот это уже какая-то бредовая фантастика началась. В сгущенное твое время я поверил, а в устные деньги — не могу. Ведь при такой финансовой системе все магазины и универмаги за один день прогорят.

— Нет, Фимушка, на Куме у нас пожаров не наблюдается. Положа руку на солнце, скажу тебе, что не лгу! Я — не врун, не лгун, не вральщик, не обманник!.. И ты своими зрачками можешь в этом убедиться. Вообще-то посторонних пассажиров брать на звездолеты не полагается, но насчет тебя я договорюсь. Ведь ты — мой ангел-спаситель!.. На Земле никто и не заметит твоего неприсутствия, так что никакого прогула не будет. А на Куме тебя встретят дружеским гимном!

— Так у вас там тоже музыка есть? — огорченно спросил я.

— Есть! — радостно воскликнул иномирянин.— И такая звучимость, что хоть святых в дом приноси, как у вас говорится.

— Нет, Юрик, на Куму к тебе в гости я не полечу,— твердо ответил я.— Ты ведь знаешь, какое у меня отношение к музыке... Мне бы на какой-нибудь тихой планете побывать, отдохнуть от земного шума.

Хотел бы один я пожить на планете,
Где нет ни роялей, ни джазов, ни ВИА,
Где нет никаких сослуживцев и сплетен,
Где ждет меня уединенная вилла!

И тут мой друг признался, что на полпути между Землей и Кумой имеется планета, на которой сейчас обитает лишь один ученый — куманианин. Однако никаких вилл и коттеджей там нет. Там есть здание бывшей тюрьмы, переоборудованное в научный центр по изучению одиночества. В том здании идеальная тишина, а кругом — джунгли, в них звери беспощадные. Для колонизации та планета непригодна. Тюрьма же была воздвигнута специальной технической экспедицией по приказу судебной комиссии. В эпоху жестокого средневековья туда ссылали тяжелейших преступников. Посадят их в старинный звездолет тихолетный — и везут туда, и рассаживают по звуконепроницаемым камерам.

— Юрик, мне бы такое наказание со строгой звукоизоляцией! Мне бы такое средневековье! А как та планетка называется?

В ответ Юрий певуче и невнятно произнес какое-то длинное слово.

— Как? Как? — переспросил я.

— Ну, это, если перевести, у нас так одна богиня судебная зовется — вроде вашей Фемиды. И планету так окрестили.

— А большие сроки тем уголовникам давали?

— Очень громоздкие! Даже до трех месяцев, если на земное время пересчитать. Были случаи схождения с ума, были случаи погибельного бегства. Слава богу, что все это — древняя история.

— Дальше, дальше рассказывай,— потребовал я.

— Когда тюрьму отменили, туда, на Фемиду, отбыла специальная бригада от Академии Всех Наук и организовала там филиал куманианского института по изучению одиночества. И назвали это так: Храм Одиночества. В погоне за одиночеством, чтобы сотворить ценные рефераты на эту тему, на Фемиду хлынули ученые — одиночествоведы, они по четверо в каждой камере угнездились.

— Не очень одинокое одиночество,— съехидничал я.

— На ушибах — учатся,— продолжал Юрик.— Такое перевыполнение было признано антинаучным, и ввели новое правило: в Храме Одиночества для полного освоения одиночества имеет право обитать только один научный работник. Сейчас там работает над диссертацией один известный одиночествовед, но на Куме летают слухи, что скоро тема будет закрыта и после него на Фемиду никого не пошлют.

— Значит, опустеет этот райский уголок! Вот бы мне туда!

— Не шутейсвуй, Фима! Ведь Фемида — самое страшное место во всей Вселенной!

Тогда на этом и кончился наш разговор. Я его отлично запомнил.

6. Я О СЕБЕ

Однако что же это о себе я помалкиваю?

Есть и для скромности предел,
Не скромничай до одури,—
Иначе будешь не у дел,
Зачислен будешь в лодыри.

Я рос в шумно-культурной семье. Отец и мать — пианисты. Туше у отца очень сильное. До ухода на пенсию он вел музыкальные кружки в различных клубах, а днем упражнялся на рояле дома; мать, наоборот, днем преподаала музыку в школе, а домашний инструмент использовала по вечерам, совершенствуя стиль игры. Мало того, в квартире нашей обитает тетя Рита, по специальности — дура. Это было ее амплуа, она на эстраде изображала этакую симпатичную дурочку. Партнер задавал ей вопросы, а она в ответ хохотала глуповатым смехом и заражала публику неподкупным весельем. То был ее коронный номер. Дома она, чтобы не утерять квалификации, ежедневно упражняется в смехе — даже выйдя на пенсию.

Родители намеревались пустить меня по звуковому руслу, но вскоре убедились, что музыкальным слухом я не обладаю. Иногда мне хотелось, чтобы у меня вообще слух отсутствовал,— так нервировал меня шум домашний. Помню, когда я учился во втором классе, во время медосмотра врач спросил меня, нет ли жалоб на здоровье. Я ответил, что есть жалобы на уши: нельзя ли меня как-нибудь оглушить медицинским способом? Медик рассердился, сказал, что такие шутки неуместны.

К музыке у меня особое отношение, да и вообще ко всякому шуму. Думаю, тут трусость виновата. Когда мне было шесть лет, родители снимали дачу в поселке Мухино. Там в роще стояло полуразрушенное каменное строение — Барский дворец, как именовали его местные жители. Все родители-дачники запрещали своим детям ходить туда; говорили, что там опасно. Но именно в такие запретные места и тянет мальчишек. Однажды мой двоюродный братец Женька, которому было уже одиннадцать лет, милостиво пригласил

меня побывать с ним в Барском дворце. И вот по выщербленным ступеням вошли мы в бельэтаж, в небольшой зал. Пол там был завален битыми кирпичами, пахло плесенью. Часть сводчатого потолка отсутствовала, и в большущую дыру виден был второй этаж. Уцелевшая часть свода нависала над нами. Казалось, что она вот-вот на нас обрушится. Я встал у окна, чтобы сразу сигануть в оконный проем, когда начнется обвал. Женька догадался, что мне боязно, и молвил презрительно:

— Эх, Фимка, да ты трусяга!

Осенью того же года, когда родители со мной вернулись в город, я однажды, набегавшись во дворе, уснул на кушетке возле рояля. Мне приснилось, что я опять в Барском дворце и надо мной нависает кирпичный свод. И вдруг послышался грохот. Я проснулся от страха,— а это, оказывается, отец присел к роялю и начал наигрывать что-то очень громкое, только и всего. Но с этого дня я невзлюбил всякую музыку. Правда, меня и прежде к ней не тянуло — но теперь она стала вызывать во мне какой-то подсознательный страх.

При всем моем особом отношении к музыке родителей своих я люблю. Они люди добрые. Добрые к людям, добрые к животным. В те годы они частенько приводили с улицы бродячих собак, приносили бездомных кошек. Но животные у нас долго не задерживались — из-за музыкального шума. Поживет-поживет у нас какой-нибудь барбос, откормится, наберет нужный ему вес, а потом — выведет его отец на очередную прогулку, и драпанет пес без оглядки, в надежде найти себе более тихую обитель. И кошки тоже не приживались. Исключением был кот Серафим (сокращенно — Фимка). Тихий был, степенный, воровал только в исключительных случаях. Музыки боялся, смеха тоже; как тетя Рита начнет хохотать — он на постель или на диван прыгает, на спину ложится и уши передними лапками зажимает. А из дома не убегал, хоть и имел эту возможность; весной, в пору кошачьих свадеб, его во двор гулять отпускали. Родители за верность дому очень его уважали, и меня из уважения к нему тоже Серафимом назвали. Отец потом мне рассказывал, что когда он с матерью пришел в загс меня регистрировать, то делопроизводительница поначалу не хотела такое имя в метрику вписывать, потому как был некий лжесвятой Серафим Саровский, которому царь Николай Второй покровительствовал. Но отец ей толково объяснил, что мне в честь кота имя дают, и тогда регистраторша сказала, что это вполне законно.

Этот кот памятен мне и тем, что благодаря ему я еще в ранние школьные годы смог проявить свои изобретательские способности. Зная, что Фимка не меньше меня страдает от шума, я, из чувства солидарности, решил облегчить ему жизнь. Замерив длину его ног и туловища, я соорудил фанерную конуру; изнутри, для звукоизоляции, я обил ее старым ватином и отчасти — мехом, использовав для этого свою шапку-ушанку. Родители отнеслись к этому отрицательно. К сожалению, и мой тезка — тоже. Он обходил стороной это уютное звукоубежище. А когда я попытался втолкнуть его туда, он зашипел на меня. Надо думать, тут сказался возрастной консерватизм.

7. СЛУЖЕБНЫЕ НЕВЗГОДЫ

Задача ИРОДа — путем усовершенствования бытовой и прочей техники устранять из повседневного быта всяческие стрессовые ситуации и тем способствовать продлению жизни людской. Профиль института весьма широк, в нем много отделов, секций и подсекций. Я — сотрудник секции, где проектируются приборы бытовой безопасности. Но не о своей работе поведу я сейчас речь.

Рядом с моей секцией находится Отдел Зрелищ. Не так давно сотрудники этого отдела разработали проект четырехэкранного кинозала. Кому из вас не приходилось, польстившись на интригующее название фильма и честно купив на него билет, быстренько убедиться, что картина скучна, что актеры играют плохо, что деньги потрачены вами напрасно? Некоторые зрители в таких случаях устремляются к выходу; другие, зевая и чертыхаясь, сидят до последнего кадра. Но и те, и другие покидают зал с чувством раздражения — а это, как известно, сокращает сроки нашего бытия. А теперь, уважаемый читатель, порадуйтесь проекту ИРОДа.

Вы входите в просторный зал. На каждой из четырех стен — по экрану. Кресла — вращающиеся; так надо. Между ними — интервалы; так нужно. В подлокотнике каждого кресла — четыре кнопки. В начале сеанса все сиденья повернуты к экрану № 1. Вы садитесь, надеваете наушники, нажимаете кнопку звукоприема № 1. На экране — фильм из жизни молодого ученого. Он хочет подарить миру свое изобретение, но его соперник вставляет ему палки в колеса. Однако с самого начала ясно, что справедливость восторжествует, и вам эта ясность почему-то не нравится; ведь вы знаете, как тернист путь каждого изобретателя. Огорчает и то, что роль молодой (по замыслу драматурга) подруги ученого исполняет престарелая жена режиссера.

Играя девушку влюбленную,
Надев роскошный сарафан,

Старушка — дама пенсионная,
Кряхтя, вползает на экран.

— Опять эту мымру вытащили! — бормочет зритель, сидящий справа от вас, и делает поворот на 45 градусов влево. Зритель же, сидящий по левую сторону, делает поворот вправо. «А я рыжий, что ли!» — мелькает у вас мысль, и вы поворачиваетесь сразу на 90 градусов и нажимаете соответствующую кнопку звукоприема. У вас перед глазами и ушами — детективная погоня за дефективным негодяем, похитившим из частной коллекции полотно Айвазовского. Под бодрую песню о трудных буднях милиции каскадеры мчатся по улице, ставят свои машины на дыбы, лавируют между автобусами. «Все ясно, не уйдет сукин сын от погони»,— догадываетесь вы и, совершив новый поворот, приступаете к созерцанию кинокомедии. Там происходит что-то очень смешное. Заливистым молодежным киносмехом смеется изящная девушка в джинсах; добротным крестьянским смехом смеется ее мать с подойником в руке; бодро хохочет молодой человек спортивно-физкультурного вида. Но это им смешно, а вам почему-то скучно. Дабы не чувствовать себя тупицей, лишенным чувства юмора, вы совершаете еще один поворот — и вот перед вами фильм из жизни животных, заснятый при помощи дальнозоркой оптики. Медведица со своими потомками расположилась на лесной полянке; бобры заняты сооружением плотины; олени пасутся в тундре. Все очень разумно, всему веришь. К тому же животные не знают, что их снимают, и поэтому, в противоположность актерам, ведут себя очень естественно. Радуясь достижениям киноискусства, вы с интересом смотрите фильм до конца и покидаете зал с чувством удовлетворения. Никаких стрессовых ситуаций! Сами того не замечая, вы сберегли частицу своего здоровья, продлили свою жизнь! А кто вам в этом помог? Вам помог ИРОД!

Увы, уважаемые читатели, должен вам сообщить, что проект этот положен в долгий ящик. До его обсуждения все ироды — в кулуарных разговорах — толковали о том, что это — крупное достижение, которое приумножит славу ИРОДа. Но вот настал день обсуждения — и первым выступил Герострат Иудович, наш директор. Он признал, что сама по себе идея прогрессивно-прекрасна, но тут же трусливо добавил, что ее осуществление встретит свирепое сопротивление актеров и что даже некоторые отсталые зрители будут недовольны. За ним слово взял наш почтенный завлаб Афедрон Клозетович и долго бубнил о том, что строительство нового кинотеатра потребует колоссальных расходов, а это, учитывая хозрасчетные взаимоотношения, приведет к финансовому краху ИРОДа. После этих двух речуг стали выступать рядовые ироды, и каждый находил в проекте какой-нибудь недостаток; обсуждение превратилось в осуждение. Придя домой, я обо всем этом рассказал Насте, и она озарила меня улыбкой № 16 («Нежное сочувствие»). Но потом спросила, сказал ли я там что-нибудь в защиту этого проекта. Я признался, что ничего не сказал.

Ночью приснился мне Юра Птенчиков. Он слезно просил меня сотворить стихотворение, состоящее сплошь из осудительных слов. Проснувшись, я сел за стол и стал слагать строфы. К полудню стихотворение было готово, я переписал его начисто, и когда на следующий день, в воскресенье, Юрик пришел к нам в гости, я прочел ему свой труд. Мой друг мгновенно выучил его наизусть. Он был в восторге, он заявил, что заимел ценное научное пособие. А вот Настя была недовольна. Она сказала, что лучше бы мне было на совещании в ИРОДе честно высказаться прозой, чем исподтишка кропать такие стихи. И тогда я решил всенародно опубликовать свое критическое творение — и тем доказать себе и другим, что я не трус.

В понедельник я явился в ИРОД раньше обычного и поспешил в демонстрационный зал, где висела свежая стенгазета «Голос ИРОДа». Видное место в ней занимала передовица Герострата Иудовича «Усилим взлет самокритики!». Поначалу решив, что мое стихотворение будет куда больше способствовать такому взлету, я хотел налепить его на передовицу — и извлек из портфеля рукопись, а также тюбик с клеем и кисточку. И тут мне стало боязно, по спине пробежал холодок. Похоронить под своим творением статью директора я не решился, я наклеил рукопись на какие-то заметки в нижнем углу стенгазеты — и отошел в сторонку, дабы поглядеть на дело ума и рук своих. На фоне машинописных листков моя рукопись резко бросалась в глаза. Подписи под ней я не поставил,— но ведь все ироды знают, что только один я во всем институте пишу стихи... Спине моей опять стало холодно, меня охватило чувство неуюта и тревоги, будто я вскарабкался на высоченный скользкий утес и не знаю, как с него спуститься. Тем временем в противоположном конце зала показалась чья-то фигура, начинался трудовой день... Я заторопился в свою секцию, сел за рабочий стол и стал ждать того, что будет. Оба моих секционных сотоварища отсутствовали; один был в отпуске, другой на бюллетене. Не прошло и часу, как ко мне ворвалась Главсплетня. Своим лающим голосом эта конструкторша сообщила по большому секрету, что все ироды собираются меня бить, а директор вызвал наряд милиции, чтобы посадить меня на пятнадцать суток.

— За что?! — неуверенным голосом спросил я.

— За то! — пролаяла Главсплетня — и удалилась.

Волна тоскливого страха накатила на меня. В мозгу возникло четверостишие:

Стихи писал я смело,
Имел отважный вид,—
Но стал бледнее мела,
Узнав, что буду бит.

Минут двадцать я сидел, ожидая, что сослуживцы ворвутся в комнату и приступят к кулачной расправе. Но никто не нарушил моего одиночества. Тогда я решился пойти в демонстрационный зал, поглядеть, что там делается. Возле стенгазеты стояли несколько иродов и обсуждали мое творение. Оказывается, никто из них не собирался меня бить, ибо каждый считал, что к нему лично стихотворение никакого отношения не имеет. И каждый, с плохо скрываемым удовольствием, печалился за своих сослуживцев, которых я так метко разоблачил. При этом все стоящие возле стенгазеты со смаком перечисляли имена тех иродов, которых в данный момент поблизости не было. Мне стало ясно, что никакого рукоприкладства по отношению ко мне не предвидится. И никакой милиции в зале не видно. Все Главсплетня мне набрехала!

Дело окончилось тем, что стенгазета была снята со стены, а директор Герострат Иудович дал мне выговор в приказе «за нетактичное поведение». Перед этим он вызвал меня в свой кабинет и доверительно сообщил, что он скрепя сердце вынужден дать мне этот выговор, а не то завлаб Афедрон Клозетович будет на него в обиде за то, что он, директор, никак не наказал меня. Ведь всем ясно, что в моем стихотворении речь идет именно о завлабе.

С успокоенной душой вернулся я в свою секцию и принялся за работу. К концу рабочего дня ко мне неожиданно заглянул Афедрон Клозетович. Он поинтересовался, как идут мои изобретательские дела, а потом вдруг хитро улыбнулся и сказал:

— Это, конечно, между нами, но очень понравился мне ваш стишок. Очень хитро и тонко вы нашего Герострата Иудовича на перо поддели! Прямо-таки живой словесный портрет его дали!

Уважаемый Читатель! Дабы вы были вполне в курсе дела, приведу здесь свое стихотворение полностью. Если оно придется вам по душе — можете его переписать и вывесить на видном месте в своем учреждении. Это, несомненно, послужит повышению уровня товарищеской самокритики.

МОЕМУ СОСЛУЖИВЦУ

Ты — мой сослуживец, однако
Скажу тебе честно, как друг:
Ты — Сволочь без мягкого знака,
Ты — Олух, Лопух и Бамбук!

Ты — Хам, Губошлеп, Забулдыга,
Нахлебник, Кретин, Обормот,
Обжора, Бесстыдник, Ханыга,
Растратчик, Разззява, Банкрот!

Ты — Трус, Паникер, Проходимец,
Прохвост, Лихоимец, Злодей,
Обманщик, Стяжатель, Мздоимец,
Ловчила, Лентяй, Прохиндей!

Ты — Лжец, Анонимщик, Иуда,
Фарцовщик, Охальник, Наглец,
Поганец, Подонок, Паскуда,
Тупица, Паршивец, Стервец!

Ты — Рвач, Пасквилянт, Злопыхатель,
Алкаш, Охламон, Остолоп,
Пижон, Подхалим, Обыватель,
Фигляр, Саботажник, Холоп!

. . . .

Годами молчал я, как рыба,—
Но правду поведать пора!..
Скажи мне за это спасибо
И в честь мою крикни: УРРРА!

8. КВАРТИРНЫЕ НЕВЗГОДЫ

Читателям почему-то всегда интересно, женат или холост герои того или иного повествования, даже если само повествование не очень их интересует. Рад объявить уважаемым читателям, что я женат. И, представьте себе,— удачно.

Скажу, холостякам назло,
Что мне с женою повезло,—
Я создал прочную семью,
А мог нарваться на змею!

В юности я мечтал, что подругой моей жизни станет неведомая немая красавица. Но потом прочел где-то, что зарегистрированы случаи, когда немые обретали дар речи и тогда становились очень горластыми и разговорчивыми. Поэтому поиски мои окончились тем, что я взял в жены говорящую, но не говорливую девушку с мягким, добрым характером. И имя у нее спокойное, уютное: Настя. И профессия у нее тихая, бессловесная: она — массажистка. Мы живем душа в душу — хоть иногда и конфликтуем. В характере Насти есть кое-какие загогулины — и это даже хорошо, это делает нашу жизнь более интересной.

Пусть жена полна серьезности,
Ей за это честь и слава,—
Но один процент стервозности —
Не отрава, а приправа.

Свадьбу мы справили скромно. На ней, кроме Насти и меня, присутствовали наши родители, а из гостей — три Настины сослуживицы и мой друг-иномирянин Юрик. Я заранее упросил отца и мать не сопровождать празднество музыкой, и просьба моя была выполнена. Вот только тетя Рита не воздержалась от шума, объявила «пятиминутку смеха», которую растянула минут на пятнадцать. Из вежливости пришлось и всем остальным подхохатывать ей.

Вскоре после рождения дочки у нас устроилось дело с жильем, и мы с Настей и Таткой поселились на Гражданском проспекте в отдельной двухкомнатной. Я заранее предупредил супругу, что никаких телевизоров, транзисторов и прочих шумовых изобретений не потерплю в нашем жилище,— и она согласилась. Но тишина в квартире зависит не только от ее обитателей. Оказалось, что над нами живет выпускница консерватории, владелица мощного рояля, а под нами — семейка, обожающая рок-музыку. Когда музыкантша слишком громко начинала наяривать на рояле, я посылал наверх Настю, чтобы она попросила ее играть потише. А когда снизу доносились яростные шумовые вспышки, я сам спускался к меломанам и вежливо просил их прекратить это звукоблудие. Но уговоры наши почти никакого действия не оказывали, и я понял, что нужно искать обмен.

Милей мне волки и медведи
И разъяренные слоны,
Чем те двуногие соседи,
Что музыкой увлечены.

После недолгих поисков мы обменялись на квартиру в Купчине. По уверениям ее жильцов, она была очень тихая: сверху — чердак, а под ними живет глухой зоотехник в отставке. Вскоре выяснилось, что мы, как говорится, сменяли бы́ка на инды́ка. Зоотехник действительно был глухим — но не на все 100 %; поэтому он, чтоб лучше слышать телевизор, включал его на полную громкость. Я понял, что для нас назревает новый обмен.

Короче говоря, за минувшие восемь лет мы сменили пять адресов. И каждый раз нарывались на соседство то с исполнителями, то с любителями громкой музыки. Но в прошлом году счастье вроде бы улыбнулось нам — это когда мы обменялись на Выборгский район. Правда, санузел — совмещенный, потолок — с протечками, но зато тихо. Я так и сказал Насте: лучше тихая хижина, чем шумный дворец. Но когда мы с помощью Юрика (он при каждом переезде нам помогал) стали расставлять мебель, Настя вдруг села на кушетку, усадила рядом с собой Татку — и заплакала. Сквозь слезы она заявила, что мы, мол, уперлись в жилищный тупик, что я и отсюда захочу меняться, но сюда уже никакой дурак не поедет.

Я, признаться, был ошеломлен этим слезным бунтом моей супруги, тем более, что и Татка к ее плачу примкнула. И тут слово взял мой друг-иномирянин.

— Настечка, затормозите свои рыданья! Не так уж здесь антиуютно! Радуйтесь тому, что есть! Один мудрец с моей планеты так выразился: «Если ты будешь рад некрасивому цветку, то он обрадуется твоему обрадованью — и станет красивым».

Высказывания Юрика всегда вызывают у Насти улыбку. И на этот раз она порадовала его улыбкой № 18 («Дружеское взаимопонимание»), но затем снова заплакала.

И тут опять заговорил Юрик. Голос его дрожал от сочувствия. Он сказал, что мы переутомились и что нам надо на время сменить обстановку. В ближайшее время он снова собирается слетать на родную Куму, где его ждет невеста. Он зовет нас в гости. Бесплатным транспортом, питанием и жильем он нас обеспечит. Правда, водители звездолетов не имеют права брать на борт иномирян, но тут дело особое: ведь я — его спаситель. К тому же его папаня — диспетчер главного куманийского звездодрома. Юрик с ним договорится... Мы должны учесть и то, что путешествие на Куму нисколько не нарушит наших

земных планов и дел: использун закон сгущенного времени, мы, покинув Землю на два или на три месяца, вернемся в день отбытия с нее.

— Мама, этого не может быть! — воскликнула Татка.

— Тата, дядя Юра никогда не лжет! — одернула ее Настя.— Ты сама поразмысли: если есть сгущенное молоко, то почему бы не быть и сгущенному времени?

— Да-да! — подтвердил Юрик.— Сгущенное время — реальная нормальность! Сколько раз я летал на родную Куму, а на Земле не сотворил ни одного прогула. Я не прогульщик, не двурушник, не симулянт!

Однако Настя от экскурсии на Куму отказалась категорически. И не из страха перед неведомым — она не трусиха, нет! Свой отказ она мотивировала так: настанет день, когда на какую-нибудь дальнюю планету устремится межпланетный корабль, экипаж которого будет состоять из землян. Это они, побывав на неведомой планете, приумножат славу Земли. А ежели мы, не имеющие к космическим делам никакого отношения, первыми отправимся в дальний полет в качестве блатных пассажиров, то этим мы не только не прославим Землю, но — наоборот — унизим ее в глазах инопланетян.

Мой друг не ожидал от покладистой Насти столь строгой отповеди. В особенности огорчило его упоминание о блате.

— Настечка, это не блат в стопроцентной оценке,— начал оправдываться Юрик.— Ведь Серафиму я жизнью обязан!.. Один мудрец с моей планеты так выразился: «Если кто тебя из смерти спас, то ты считай его вторичным отцом — и во всем ему помогай». Вот я и хочу помочь ему и вам. Это не блат, это дружелюбный, задушевный блатик...

— Нет, это не блатик! Это — блатище в космическом масштабе! — решительно подытожила Настя.

Мне же на Куму лететь не хотелось по другой причине, уже известной читателям: там тоже водятся музыканты и любители музыки, так что покоя я там не обрету. Но я помнил, что есть планета Фемида, где в Храме Одиночества царят тишина и покой...

9. НЕРВНАЯ ВСТРЯСКА

Год с небольшим в квартирке на Выборгской прожили мы совсем неплохо. Татка к новой школе привыкла, стала пятерки приносить. А я прямо-таки жил да радовался; и в ИРОДе были мной очень довольны, творческая отдача моя резко повысилась. Но не дремал коварный Рок...

В одно субботнее утро из-за стены, которая отделяла нашу квартиру от соседней, где обитали старушка, занимавшаяся вязаньем свитеров и кофт, и ее полностью глухонемой муж, послышался грубый шум передвигаемой мебели. Я кинулся на лестницу. Дверь в соседскую квартиру была распахнута настежь, лестничная площадка была загромождена вещами. Соседи переезжали...

— Не беспокойтесь,— ласково затараторила старушка-вязальщица.— У вас теперича заместо нас шибко культурные соседи будут, будет вам с кем беседовать. Он — пианист-роялист, а она на этой, как ее там, на балалайке такой большой работает. Она мне сказала: «Будем на новом месте готовиться к новым достижениям». Ихняя квартира лучше нашей, а они приплаты не требуют. Их соседи выжили, завидуют их художественным успехам.

В воскресенье наши новые беззастенчивые застенные соседи приступили к музыкальным действиям. Настя и Татка отнеслись к этому спокойно, а мне стало очень даже не по себе. Я оделся, вышел из дома. Побродив по Выборгской стороне, я сел на трамвай и поехал на Васильевский остров. Там навестил родителей, но пробыл у них недолго; при всем их прекрасном отношении ко мне печали моей понять они не могли. Спустившись по лестнице в первый этаж, я нажал кнопку звонка у двери в квартиру Юрика и очень обрадовался тому, что он дома. Через микроприхожую, где висела его скромная одежда, мой друг провел меня в заваленную книгами комнатуху и первым делом попросил напомнить ему, какие строгие слова есть на букву «Р».

— Расстрига, распутник, раскольник, ракло, ретроград, растлитель, рвач, растратчик, разбойник, ругатель, растеряха...— начал я.

— Раззява, размазня, разгильдяй, разоритель,— присовокупил Юрик, а затем пожаловался, что освоение строгих слов идет куда медленнее, чем ему хочется, а ведь скоро ему надо лететь на Куму для очередного научного отчета. Он опять два месяца там проведет.

И тогда я сказал, что мне необходимо побывать на Фемиде, отдохнуть там от земного шума в мирном Храме Одиночества, и свинство будет, если Юрик мне не поможет в этом деле. Мне нужна целебная тишина, иначе я заболею и помру.

Ты будешь греться в сауне,
Начальство ублажать,
А и уж буду в саване
В могилочке лежать.

В ответ на мои доводы Юрик стал убеждать меня в том, что на Фемиде мне будет очень неуютно, хуже, чем на Земле. Тогда, озлившись на своего инопланетного друга, я непечатно выругался — и кинулся вон из его квартиры, даже не попрощавшись.

10. Я — ЖЕРТВА ГЛАВСПЛЕТНИ

В тот памятный понедельник я, как всегда, точно явился в ИРОД к началу рабочего дня. В демонстрационном зале шло испытание домашнего тренажера «Юрий Цезарь». Личное участие в его конструировании принимал сам директор, он же дал и наименование этому детищу ИРОДа. Имя Цезаря «Юлий» показалось Геростратy Иудовичу слишком женственным, и он заменил его на «Юрий» — ведь тренажер предназначен для мужчин. Это довольно мощное сооружение, как бы помесь танка с гильотиной (так отзывались о нем ироды в кулуарных разговорах, когда поблизости не было начальства). Ежедневное пользование тренажером развивает у вас мускулатуру, помогает сбавить вес, повышает обороноспособность и моральную устойчивость. Для этого вы по трем ступенькам поднимаетесь на сиденье, вцепляетесь руками в руль и, положив ноги на педали, приводите механизм «Юрия Цезаря» в движение. На специальной дуге над вами подвешены гиря и кухонный нож. Они все время раскачиваются, меняя угол наклона, и могут ударить вас, если вы не предугадаете их действий и не отклоните их приближения, использовав для этого рычажок, вмонтированный в руль.

В то утро к «Юрию Цезарю» стояла очередь. Каждому хотелось принять участие в испытании — ведь директор находился тут же и внимательно наблюдал за действиями сотрудников.

Надо не надо — жми на педали,
Так, чтоб другие это видали.
Дело — не в деле, дело — в отчете,—
Ты у начальства будешь в почете!

Когда настал мой черед, мною овладел страх, ноги вдруг окаменели. С трудом убедил я себя, что этот «Юрий» — тезка моего друга и поэтому не подведет меня. Взгромоздившись на сиденье, я честно принялся за работу. Действовал старательно и внимательно, но от гири отклониться не удалось. К счастью, дело ограничилось небольшим кровоподтеком возле правого уха. У некоторых иродов травмы оказались посерьезней, четырех пришлось даже госпитализировать. В целом же испытание прошло успешно, директора все поздравляли.

После этого испытания я направился на второй этаж, в наш институтский медпункт, где уже столпилось немало иродов, получивших легкие травмы. Часа через полтора очередь дошла до меня, и медсестричка налепила на мой кровоподтек гигиенический пластырь. В этот момент в медпункт вбежала Главсплетня и сказала, что меня вызывают к аппарату. Я поспешил в коридор-курилку, где на столике стоит телефон. Меня вызывал Юрик.

— Серафим, я долго мыслил,— начал он взволнованным голосом.— Я вспомнил, что один наш мудрец так объявил: «Если ты отказался выполнить просьбу друга, то подойди к зеркалу и плюнь в свое отображение».

— И ты плюнул?

— Наоборот! Я по космическому мыслепроводу связался с Кумой и договорился. В субботу будь у меня в восемь утра. Летим! Ты на Фемиду, я — на Куму. Нас возьмет рейсовый звездолет.

— Значит, место мне забронировано? Надеюсь, мягкое?

— Не волнуйся, Фима! Мудрец наш один так сказал: «Если юный спас жизнь кому-то, то и старики потеснятся ради него на почетной скамье». Но я об одном пронзительно тебя упрашиваю: поскольку на Фемиде тебе будет плачевно, то обещай мне, что, когда вернешься с нее, ты не назовешь меня сыном суки.

— Сукиным сыном,— поправил я иномирянина.— Обещаю!

Уточняя некоторые детали предстоящего путешествия, мы проговорили еще минут десять. И все это время в коридоре, покуривая «Шипку», околачивалась Главсплетня. Я уже упоминал об этой конструкторше, а теперь уточню. На вид она даже аппетитная, сдобная — сплошной бюст. Но голос у нее какой-то лающий, будто она собаку живьем заглотала. Впрочем, не ее это вина. А виновата она в том, что вечно все о всех разнюхивает, перевирает на свой лад и затем распространяет это на весь ИРОД. Идет слух, что она и курить-то выучилась для того, чтобы на законном основании торчать в курильно-телефонном коридорчике и слушать чужие разговоры. И вот эта Главсплетня из тех вопросов и ответов, которыми я обменялся с Юриком, спрограммировала такую схему моего ближайшего будущего: 1) я решил плюнуть на работу в ИРОДе; 2) я развожусь с Настей и отбываю на Кавказ с одной богатой дамой, за счет которой буду существовать бесплатно и весело; 3) кроме того, все это дело пахнет какой-то тайной уголовщиной.

Свои умозаключения Главсплетня быстро разслала по всем отделам, секциям и подсекциям, и, как водится, все ироды стали обсуждать их, причем каждый не замедлил выдвинуть свою вариацию и приобщить ее к делу. На другой день я заметил, что все сотрудники и сотрудницы поглядывают на меня с пронзительным интересом, а когда пошел в институтскую библиотеку и попросил библиотекаршу Кобру Удавовну выдать мне «Справочник по пространственным нормативам», то книгу-то эту мне выдала, но поверх нее зачем-то положила еще одну — «Уголовный кодекс».

— Вы ошиблись, это не по моей части,— сказал я, возвращая ей «Кодекс».— Ведь я — не судья.

— Суд существует не только для судей, но и для подсудимых,— строго молвила Кобра Удавовна.

От посещения библиотеки на душе у меня остался какой-то мутный осадок. Чтобы избавиться от него, я решил заглянуть в секцию мебели к талантливой конструкторше Мадере Кагоровне. Она разработала проект утепленной кровати. Эта кровать, смонтированная из труб малого диаметра, имеет шланг, с помощью которого ее можно подсоединять к трубам парового отопления.

Приветливая Мадера Кагоровна на этот раз встретила меня хмуро. На вопрос, скоро ли опытный образец ее кровати будет запущен в производство, буркнула что-то невнятное. Смущенный ее странным поведением, я подошел к сидящему на подоконнике институтскому коту Лютику, погладил его и сказал, что мне очень симпатичны эти зверьки. Ведь недаром родители дали мне имя в честь кота.

— Они не сожалеют об этом? — сухо спросила Мадера Кагоровна.

— Сожалеют? А зачем им сожалеть? — удивился я.

— Но ведь они, сами того не зная, спрограммировали ваше будущее. Разве вам не известно, что на городском уголовном жаргоне слово «кот» адекватно словам «альфонс» и «сутенер»?

— Не понимаю, к чему этот разговор?! — воскликнул я.

— Ах, вы не понимаете?!.

Наступила неприятная, вязкая пауза. Потом из другого конца комнаты послышался голос Пантеры Ягуаровны, конструкторши, проектирующей кресло, совмещенное с кухонным столом.

— Он не понимает! Он, представьте себе, даже слова такого не слыхивал — «сутенер»! — Пантера Ягуаровна встала из-за своего стола и, подойдя ко мне, спросила в упор: — А вы знаете, что такое содержанка?

— Ну, это из литературы известно,— ответил я.— Это были такие падшие женщины, которые за деньги становились любовницами зажиточных людей.

— А нам не из литературы известно, что у нас в ИРОДе есть падший мужчина-содержанец. И не стыдно?!

— Таким ничего не стыдно,— поддержала ее Мадера Кагоровна.— Таким ничего не стоит бросить жену и дочь ради престарелой растратчицы, у которой куры денег не клюют!

— Какая растратчица? Какие куры?! — воскликнул я в тоскливом недоумении. Но ответом мне было язвительное молчание.

Озадаченно-ошеломленный покинул я секцию мебели и направился в примерочную комнату, примыкающую к отделу одежды. Там в этот час было тихо. Я присел на диванчик и погрузился в печальные размышления. Но вскоре мое уединение нарушил Павиан Гориллович, дизайнер головных уборов. На нем красовалась огромная меховая шапка — на манер кавказской папахи, только еще больше, пышнее и шире. По краям ее, справа и слева, приторочены два кармана, в которые можно засунуть ладони. Это усовершенствование имеет две положительные стороны: во-первых, не мерзнут руки, ибо шапка заменяет рукавицы; во-вторых, если руки засунуты в шапку, то ее никто не сорвет с вашей головы с целью похищения. Мельком взглянув на меня, Павиан Гориллович подошел к зеркалу, поднял руки, утопил ладони в шапке — и удовлетворенно улыбнулся. Но потом улыбка соскользнула с его лица, оно стало озабоченным.

— Чем это вы недовольны? — спросил я из вежливости.— Шапка — что надо! Пора хлопотать о патенте.

— Я и сам знаю, что пора. Но Афедрон Унитазович хочет, чтоб был еще один карман — внутри шапки. Для портмоне. А я опасаюсь, что это излишне осложнит конструкцию.

— Вы правы. Оттуда портмоне трудно будет извлекать.

— Ну, вы-то, говорят, без труда портмоне себе добыли,— с ядовитой ухмылкой произнес Павиан Гориллович.— Жену побоку, ИРОДа побоку — и айда в Ташкент с одной директрисой гастронома... Живое портмоне, всегда к услугам... Но учтите: угрозыск не дремлет!

— Кто дал вам право клеветать на меня?! — крикнул я.— Кто тебе такой чепухи про меня наговорил?!

— Весь ИРОД об этом говорит. Глас народа!.. По отношению к жене ведете себя как зверь!

— О тебе этого не скажу,— отпарировал я,—

Если скажут тебе: «Ты — зверь!» —
Ты не очень-то в это верь.
Ведь и звери имеют ум,—
Ты ж, мой друг, совсем — ни бум-бум!

Произнеся этот экспромт, я покинул примерочную и направился в отдел, где работает мой хороший знакомый Нарзан Лимонадович. Это он сконструировал комбинированную электрокофеварку-крысобойку «День и ночь». Предположим, вы холостяк. В вашей однокомнатной квартире завелись крысы, а у вас — ни жены, ни кошки. И тут вам поможет «День и ночь». Днем вы используете прибор в традиционном жанре — варите в нем кофе. Вечером вы кладете его горизонтально возле крысиной норки, включаете ловительное устройство — и спокойно ложитесь в постель. Ночью вас будит зуммер. Крыса поймалась и безболезненно убита током! Вы встаете, освобождаете прибор от содержимого, включаете его вновь — и так далее. Оригинальностью замысла и четкостью работы «День и ночь» порадует многих — и тем приумножит славу ИРОДа.

Я надеялся, что Нарзан Лимонадович поможет мне развеять ту клеветническую тучу, которая сгущалась над моей головой. Но, оказывается, я держал путь не к другу, а к врагу.

— Слушай, Серафим, этого я от тебя не ожидал,— забормотал он.— Ты же знаешь, я тоже от жены ушел... Но — никаких скандалов... И алименты за Жорку честно плачу... А у тебя прямо по-гадски получается... За Настей по квартире с ломом гоняешься, последнее пальто ее в скупочный пункт снес, кольцо обручальное с ее пальца содрал — и все пропиваешь с какой-то падшей кинозвездой... Опомнись, Серафим, не стань полностью гадом!

— Если и стану, далеко мне до тебя будет, падло! — гневно ответил я.

Если скажут тебе: «Ты гад!» —
Похвале этой будь ты рад;
Ведь по правде-то, милый друг,
Ты зловредней, чем сто гадюк!

Хлопнув дверью, я вышел в коридор. Навстречу мне шагал Хамелеон Скорпионович, известный тем, что им спроектировано антипростудное зимнее пальто. Оно сплошное, разреза спереди нет; его надо надевать через голову. Его не нужно застегивать и расстегивать, вас в нем не продует. Надобность в пуговицах отпадает, что послужит снижению себестоимости. Еще недавно этот дизайнер относился ко мне весьма приязненно, а тут он вдруг при виде меня набычился и молвил укоряюще-презрительным тоном:

— Почему вы здесь? Почему вы не в больнице?

— А к чему мне больница? — удивился я.— Я здоров.

— Какой цинизм! — прошипел Хамелеон Скорпионович.— Ведь все знают, что ваша жена — в хирургической палате! Все знают, что вы, явившись к себе домой с пьяной проституткой, ударили свою супругу бутылкой по голове, а родную дочь выгнали из квартиры! Поспешите же в больницу, пока жена ваша еще жива!.

— А ты, обалдуй, поспеши в психбольницу — там твое законное место! — сухо и кратко ответил я и направился в свою секцию.

Когда я под вечер шел через вестибюль, ко мне с таинственным видом подошел вахтер Памир Никотинович и тихо сказал, что «есть разговорец».

— Главное — говорите на суде, что в состоянии эффекта действовали,— зашептал он.— Тогда, может, срок поменьше дадут. Усекли?

— Какой суд? Какой срок? — усталым голосом спросил я.

— Хоть со мной-то не хитрите, я ведь тоже через это дело, через ревность, отбывал... А про вас слух идет, что вы квартиру, где супруга ваша блудодействовала, подожгли... Это вам повезло, что изменница на балкон ниже этажом выпрыгнула и переломом ноги отделалась... Вы доказывайте, что вы — без задуманного намерения. Усекли?

— Усек,— горестно ответил я.

* * *

Все дни той недели я провел в нервном напряжении. С того момента,когда я узнал из телефонного разговора с Юриком, что мой полет на Фемиду вполне реален и даже точный срок назначен, во мне стал нарастать страх перед неведомым. Отказаться от полета нельзя было; я не хотел, чтоб Юрик угадал во мне труса,— но лететь ой как не хотелось... У меня возникла хитренькая надежда, что в последнюю минуту Юрик позвонит мне и сообщит, что по указанию куманийского ихнего начальства мое путешествие отменяется. Я очень на это надеялся, поэтому и Насте о предполагаемом моем полете ничего не сказал — ведь если он не состоится, то на нет и суда нет, она ведь тогда и не узнает, как я боялся этого

отмененного мероприятия. Но нервозность мою Настя заметила. Она в те дни не раз пульс мой щупала и температуру замеряла. К моему сожалению, физически я был здоров. А прикинуться больным мне было невозможно, Настя сразу бы раскусила, что это не хворь, а нахальная симуляция.

11. ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

Ранним утром в субботу раздался телефонный звонок. Он разбудил Настю и Татку, а меня — не разбудил. Я почти всю ночь не спал, всякие страшные домыслы кишели в моей башке. Поэтому я раньше Насти кинулся к телефону. Звонил Юрик.

— Серафимушка, я, значит, жду тебя, как мы обусловились. Не опоздай! Один наш мудрец так сказал: «Опоздавший подобен птице, ослепшей в полете». Не дремотствуй!

— Жди, буду вовремя,— голосом, хрипловатым от страха, ответил я. Однако когда я повесил трубку и понял, что пути для отступления нет, на душе у меня стало спокойнее. Очевидно, тот запас страха, который моя трусоватая душа выделила на подготовку к этому полету, я израсходовал полностью. Поэтому, когда Настя спросила, что это за свидание назначено у меня с Юриком, я довольно спокойно объявил ей, что лечу на Фемиду, чтобы там в Храме Одиночества отдохнуть от земной суеты, и рассказал ей о своих предыдущих переговорах с Юриком по этому поводу. Не забыл я упомянуть и о том, что прогула не будет,— ведь, по закону сгущенного времени, я вернусь на Землю в час отбытия с нее.

Настя встрепенулась, стала толковать о том, что я со своим неуравновешенным характером непременно нарвусь в Космосе на какую-нибудь неприятность. Потом она ударилась в слезы, а Татка немедленно подключилась к этому мероприятию. Но я был тверд, и тогда Настя успокоилась, принесла из прихожей мой рюкзак, и мы принялись укладывать в него все, что могло пригодиться в путешествии. Затем жена вручила мне двести рублей из своего НЗ — вдруг на этой Фемиде не полное запустение, и мне удастся обменять родные денежки на инопланетную валюту и отоварить их. Заодно Настя напомнила мне некоторые цифровые данные, имеющие отношение к ее фигуре, а также подтвердила, что носит обувь тридцать шестого размера. Тогда я сказал ей, что все это знаю давным-давно и ничего не выроню из памяти даже при экстремальной ситуации.

Пусть мужа ждут враги и вьюги,
Пусть путь тревожен и далек —
Параметры своей супруги
Он должен помнить назубок!

Растроганная этим моим заверением, Настя улыбнулась улыбкой № 6 («Неожиданная радость») и погрузилась в раздумье. У жены моей очень выразительное лицо, и по нему я всегда догадываюсь, что она скажет. Все ее улыбки я давно систематизировал, каждой дал номер и наименование. В то утро я с особым вниманием следил за сменой ее улыбок и вдруг заметил, что губы ее сложились в улыбку № 38 («Предподарочную»). Это меня несколько встревожило. Настя — существо доброе и неглупое. Но на подарки у нее какой-то свой взгляд — или, вернее, свой бзик. Если бы я, например, собрался бы в челноке переплыть озеро Байкал, она непременно презентовала бы мне бочку с пресной водой, дабы я не умер от жажды; а ежели бы я решился пешим ходом пересечь пустыню Сахару, Настя в лепешку бы разбилась, но раздобыла бы мне спасательный круг, чтобы я, чего доброго, не утоп в пути. Вот и теперь она замерла в улыбчивом раздумье — затем произнесла решительным голосом:

— Так и быть, вручу его тебе сейчас. Вообще-то я его в день твоего рождения подарить хотела... Но дарю досрочно. Только дай мне святую клятву, что возьмешь его с собой и нигде не потеряешь.

Я стал перебирать в уме предметы мужского рода, один из которых моглв преподнести мне Настя, но зная непредсказуемость ее подарочной фантазии, ни к какому ясному выводу прийти не смог. Потом вдруг вспомнил, что последнее время она повадилась намекать мне, что я стал полнеть, что каждый человек должен каждый день совершать пятикилометровую пешеходную прогулку. У меня мелькнула мысль, что на этот раз меня ждет подарок логически осмысленный, то есть шагомер.

— Клянусь! — твердо произнес я.— Клянусь, что возьму его с собой и доставлю обратно на Землю в полной сохранности, из кармана не выроню!

— Ну, в кармане он не поместится,— снисходительно молвила Настя. Подойдя к комоду, она выдвинула нижний ящик и извлекла оттуда фамильный топор. Топорище его выполнено из дуба, и на нем сверкает серебряная дощечка, на коей значится:

ТОПОР

(Трест Общественного Питания Октябрьского Района)

За непорочную службу — бухгалтеру А. Г. Лукошкину!

Топор этот достался Насте в наследство от ее покойного деда, и вот теперь она вручила мне это мужское орудие труда в знак того, что считает меня настоящим мужчиной. Я принял подарок и сказал, что польщен и обрадован, но в полет брать эту громоздкую штуковину не собираюсь, нужна она мне, как слепому велосипед.

— Но ты дал клятву! — возмутилась Настя.— Мало того, что ты черт тебя знает куда летишь по межпланетному блату, ты еще и клятвопреступником хочешь стать! Выбирай: или топор и я, или ни топора, ни меня! Или топор — или развод!

Я, разумеется, предпочел топор. Настя сразу успокоилась, на ее лице возникла улыбка № 22 («Радость примирения»). Улыбнулся и я. Нет, я не обижаюсь на Настю за ее вспышки.

Хвала терпенью и покорности,
Нрав добрый — это благодать,
Но микродолей дамской вздорности
Супруга вправе обладать.

12. В ПОЛЕТЕ

На мне был темно-синий плащ с меховой подкладкой, а на спине красовался объемистый рюкзак, из горловины которого торчала рукоять топора. Настя проводила меня до трамвайной остановки.

— Одумайся, олух космический! Еще не поздно! — прошептала она, когда показалась моя «тридцатка». Но я ответил, что полет — дело решенное, и губы моей супруги сложились в улыбку № 10 («Расставальная грусть»). Унося в душе эту грусть, я вошел в вагон. Свободных мест не было, но какая-то добрая женщина сказала сидевшему рядом с ней подростку, что он должен уступить место дяденьке — дяденька едет на лесозаготовки.

Прибыв на Васильевский остров, я направился в столовку, где работал Юрик. К раздевалке тянулась длинная очередь. За барьером, отделяющим ряды вешалок от публики, трудились двое: пожилая женщина и мой друг. Меня удивило, что Юрик работает медлительнее своей компаньонки. Из публики слышались упреки в адрес слегка прихрамывающего, но вообще-то здоровенного на вид гардеробщика. Затем я увидал нечто совсем нелепое. Получив от лысенького старичка номерок, Юрик принес ему лиловое дамское пальто с капюшоном. «Ты что, ослеп, что ли, кобель гладкий?!» — возмутился старичок, и тогда мой друг извинился и выдал ему его законное черное пальто. Затем, заметив меня, шепнул что-то своей напарнице и, напутствуемый нелестными замечаниями публики, покинул гардероб. Когда мы вышли на улицу, я, зная неземную честность и аккуратность иномирянина, спросил его, почему это он стал работать так безобразно. И тут Юрий признался мне, что близится срок его возвращения на Куму, а он познал далеко не все отрицательные земные слова. Поэтому он решил снизить качество своей работы. Он лентяйствует и свинствует для того, чтобы слышать от землян строгие отзывы и пополнять ими свой словесный фонд. Недавно один посетитель очень его порадовал, обозвал захребетником. А еще Юрику на букву «З» известны такие слова: злодей, злопыхатель, замарашка, зубоскалец, зануда...

— Забулдыга, заморыш, задрыга, злыдень, зубрила,— продолжил я.

— Боженьки мои, учиться мне еще и учиться,— задумчиво подытожил иномирянин.— Но вот и дом наш, пора нам на его крышу восходить.

Мы стали подниматься по такой знакомой мне лестнице... Когда проходили мимо квартиры моих родителей, сквозь запертую дверь услышал я знакомый хохот — это, невзирая на пожилой возраст, тетя Рита упражнялась в смехе. Смех — смехом, а захотелось зайти домой. Но Юрик воспротивился — ведь мы отбываем всего на десять минут по земному времени, а звездолет ждать не будет, не опоздать бы.

Дом давным-давно подключен к теплоцентрали, белья на чердаке никто нынче не сушит, дверь туда открыта нараспашку. И вот мы с Юрием вошли на чердак, а оттуда, через незастекленное окошко, перебрались на крышу. Она была сырая, скользкая. Мне очень захотелось домой. На кой хрен мне этот полет, эта Фемида?.. Может, не поздно еще отказаться, отбрыкаться, отвертеться? Но ведь Настя трусом меня сочтет, и Юрка — тоже... И тут снизу, со двора послышался ожесточенный собачий лай. Я вспомнил голос Главсплетни и окончательно решил, что лететь все-таки надо.

Мой совет вполне конкретен:
Старец ты или жених —
Бойся сплетниц, бойся сплетен,
Хвост поджав, беги от них!

— Звездолет уже прибыл,— молвил Юрик, взглянув на свои ручные часики.— Пора нам переходить на сгущенное время.— Он извлек из кармана своего пальто пластмассовую коробочку и выкатил из нее на ладонь два голубоватых шарика. Один шарик он проглотил сам, другой дал мне. Я тоже проглотил. И все сразу переменилось. Голубь,

собиравшийся сесть на телевизионную антенну, застыл в пространстве с распростертыми крыльями; собачий лай замер на одной ноте, высоко над нами возникло очертание чего-то огромного — не то корабля, не то дирижабля.

Через мгновенье в брюхе звездолета обозначился темный прямоугольник; оттуда к нам начало спускаться нечто оранжевое, напоминающее своими очертаниями лодку. Вскоре эта небесная ладья приземлилась возле нас. Держалась она не на канатах и не на тросах; от ее кормы и от носовой части тянулись к звездолету две пружинки, свитые из зеленоватых лучей.

— Давай грузиться,— молвил Юрик и, перешагнув борт воздушной гондолы, расселся на ее поперечном сиденье. Вслед за ним и я, предварительно водрузив на корму свой рюкзак, сел на свободное место — и сразу осознал, что начался подъем. Крыша была уже глубоко внизу, и мне стал виден наш двор, а потом и соседние дворы, и Средний проспект. Трамваи, автомобили и прохожие были абсолютно неподвижны — и в этом мне почудилось что-то жуткое. Тут Юрик произнес:

— Серафим, заявляю тебе как пассажиру-перворазнику, что по земному времени звездолет завис на одну тысячную часть секунды. Для всех землян, кроме тебя, он невидим, незрим, ненаблюдаем, незаметен... Но мы уже у цели.

Через секунду мы очутились в просторном трюме звездолета и, сопровождаемые стройной неземной стюардессой, поднялись по внутреннему трапу в пассажирский салон, где, к моему неудовольствию, вовсю звучала музыка. Звездолеты уже неоднократно описаны фантастами, поэтому скажу только, что тот реальный небесный корабль, на котором я очутился, имел команду из шести иномирян и мог принять на борт пятьдесят пассажиров. Пока что половина мест пустовала, так что мы сразу нашли себе две койки, после чего направились в кабину управления, где Юрик представил меня астропилоту и остальным членам экипажа. Мой друг довольно долго рассказывал им что-то, и на лицах их я заметил удивление и грусть.

— Что ты им набрехал обо мне? — спросил я Юрика, когда мы вернулись в салон.

— Я не брехал, не врал, не лгал, не морочил, не сочинял! Я просто сообщил им, что ты решился жить, обитать, пребывать, существовать на Фемиде, и они горько сочувствуют тебе.

— Пусть сами себе сочувствуют,— ответил я.— Лучше бы навели порядок в своем летном хозяйстве! Ишь музыка как гремит, будто в пивном баре!

Тут Юрик стал втолковывать мне, что без музыки нельзя. Ведь на этом звездолете возвращаются на Куму — кто на побывку, а кто и навсегда — подкидыши с разных планет, они стосковались по родным мелодиям. В этот момент к нам подошла стюардесса с подносом, на котором красовались два бокала с какой-то розовой жидкостью.

— Юрка, объясни этой красоточке, что я непьющий,— обратился я к другу,—

Лучше встретиться с шакалами
Иль с разгневанным быком,
Чем вино хлестать бокалами,
Упиваться коньяком!

— Серафимушка, это не вино. Это есть микстура, дающая весомость. Если ты не примешь ее в глубь себя, то стоит набрать звездолету скорость — и ты возлетишь под потолок и будешь там парить и покачиваться.

Пришлось выпить. Напиток оказался вполне безалкогольным. Вскоре послышался резкий звонок.

— Остановка скончалась, мы уже летим,— сообщил мне Юрик.

13. ЗЕМЛЯ, ДА НЕ ТА

Весь пассажирский состав звездолета состоял из молодых подкидышей. Внешний вид они имели вполне человекообразный. Одеты были по-разному: на некоторых — костюмы, напоминающие наши земные, на других — какие-то немыслимые хламиды; один паренек щеголял в плаще из блестящей рыбьей чешуи. Говорили они все, разумеется, на своем куманианском языке. Юрик много беседовал с ними и не раз пытался пересказать мне их впечатления о чужих планетах. Но слушал я его без должного внимания, мне мешал страх. Обстановка, в которую я попал, была столь необычной, что мне казалось, будто вот-вот произойдет что-то непредвиденное, что-то погибельное. Впрочем, это не мешало мне питаться наравне со всеми. Пища была сугубо вегетарианской, но вполне доброкачественной, и стул у меня был нормальный.

В носовой части салона, возле двери, ведущей в кабину управления, в переборку был вмонтирован большущий телеэкран непрерывного действия. Каждый пассажир мог наблюдать планеты, мимо которых пролегал курс звездолета. А стоило нажать на кнопку уточнителя — и мгновенно та сторона планеты, которая была ближе к нам, представала взору в увеличенном, в уточненном виде. Можно было разглядеть даже города и прочие реалии цивилизации. Однако иномирян эти чудеса не шибко интересовали, видно, были делом привычным. Их куда больше ихняя музыка привлекала. И число этих подкидышей, стосковавшихся по родной какофонии, все росло. За первые десять суток полета мы раз пятнадцать зависали над неизвестными планетами, чтобы принять на борт новых пассажиров.

А на одиннадцатые сутки попал я прямо-таки в стрессовую ситуацию. Проснулся я рано, пока все иномиряне спали еще, и направился тихой сапой в гальюн. Потом в душевую кабину зашел, душ для бодрости принял, обсушился под струей теплого воздуха, оделся — и иду обратно на свое спальное место. И тут машинально глянул я на телеэкран — и вижу: какая-то там планета маячит. И что-то родное почудилось мне в этом небесном теле. Вгляделся — а там, как на школьном глобусе: Африка, Европа; и даже Италия в виде известного сапога обозначается... У меня дыхание перехватило: да ведь это Земля!

Я кинулся к спящему Юрику, растормошил его.

— Юрка, наш небесный ковчег с пути сбился! — закричал я.— Крутился-крутился по Космосу — и опять к Земле вернулся! Наверно, у астропилота ум за разум зашел?! Или приборы не в порядке?! Беги скорее в кабину управления, скажи там, что поворачивать надо, а то мы о Землю расшибемся!

— Успокойся, Серафимушка,— тихо ответил мне Юрик,— это Земля, да не та. Это другая.

— Что значит «другая»?! Не может быть другой Земли! Земля — одна!

— Нет, Фима, Земель много. Ты погляди внимательно на эту вот...

Планета в этот миг повернулась к нам той стороной, где Скандинавия и Балтийское море. Я нажал кнопку уточнителя, вгляделся. Никаких городов не видать. И на месте Ленинграда — никакого Ленинграда, всюду темно-зеленое лесное пространство.

— Это фальсификация какая-то,— сказал я Юрику.— Какая же это Земля, если на ней Питера нет?!

— Его на ней еще нет,— спокойно уточнил Юрий.— Эта земля еще не доросла до Питера, она еще девочка полудикая. По ней еще динозавры бегают. Это — Земля № 274.

— Юрик, сукин ты кот! — воскликнул я.— За все годы дружбы нашей не сказал мне, что у моей Земли сестры есть! А ведь ты, выходит, давно это знаешь.

— Фима, потому я и молчал про это, что друзья мы. Один наш мудрец так высказался: «Взвалив на себя груз умолчания, убережешь друга от горькой правды». Ведь вы, земляне с Земли № 253, считаете себя единоличниками во Вселенной и очень гордитесь этим... Не хотел я пригибать твою гордость, не хотел говорить тебе, что только в доступном нам космическом регионе имеется 278 Солнечных Систем и в каждой из них есть Земля. Все эти земли астрономично, геологично, биологично, экологично и исторично абсолютно идентичны до последней травинки — и только стадии их развития не совпадают, ибо зародились они не единовременно, а с интервалами.

— Ну, Юрка, оглоушил ты меня — хуже, чем гирей по черепу!.. Выходит, мы, земляне,— не цари, а рядовые Вселенной...

— Утешься, Фимушка! Мы на своей Куме № 17 в древности тоже думали, что мы единственные. И когда выяснилось, что это не так, очень обижены были. Но потом привыкли, усмирились...

14. ПУТЕВЫЕ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ

На следующую ночь я проснулся из-за какого-то скорбного музыкального воя. На телеэкране маячила неведомая планета. Ее материки тускло желтели, будто присыпанные грязным песком. Соскочившие с коек подкидыши молча стояли лицом к экрану, и каждый положил свою правую руку на левое плечо. Но вот планета эта исчезла из поля зрения, репродуктор умолк, иномиряне опять легли на свои спальные места. Я спросил Юрия, какой это такой обряд сейчас был выполнен.

— Это была краткосрочная траурная панихида в память о планете Мароторотана,— пояснил подкидыш.— Мы всегда так поступаем, когда пролетаем мимо планет, которые скончались, сгинули, скапутились, погибли, пропали, умерли из-за атомных войн.

Добавлю к сему, что на следующий день мне снова пришлось наблюдать этот печальный обряд. Всего же во время того полета я видел шесть таких планет. Веселого мало.

Но в пути ожидало меня и приятное событие. На тринадцатые сутки полета мы зависли над ночной стороной планеты, о которой Юрик сказал мне, что это Земля № 252. Салон наш пополнился новым подкидышем, которого по-земному звали Костя. Парень одет был со вкусом: в меру длинный пиджак, брюки нормальной ширины, удобные широконосые ботинки. Юрик сразу подскочил к нему. Сперва они затараторили на своем языке, потом перешли на русский. Тут и я встрял в беседу. Выяснилось, что Костя этот — из Ленинграда тамошнего, он туда был подкинут с целью изучения истории земной кулинарии. Он сообщил, что на Земле № 252 сейчас идет XXII век. Косте известно, что в конце XX века

Земля № 252 благополучно преодолела «атомный пик»; люди сумели договориться о вечном мире. Из этого ясно, что ни одной Земле с предыдущей и последующей нумерацией атомная гибель не угрожает. На Земле № 252 — полное благополучие. Границы отменены, строго соблюдаются экологические законы. Люди ласково относятся к людям и животным. Исчез страх, о нем земляне знают лишь по книгам. Повседневная пища людей значительно увкуснилась благодаря увеличению растительных ингредиентов. Происходит воскрешение некоторых древних вегетарианских блюд. Недавно при расшифровке ассиро-вавилонской клинописи выявлена рецептура винегрета, который...

— Хватит о жратве толковать,— перебил Юрик своего однопланетника.— Скажи-ка лучше, какие ты знаешь земные отрицательные слова.

Костя ответил, что земная словесность интересует его только со стороны кулинарной терминологии. Впрочем, ему известно одно очень осудительное слово. Однажды некий глубоковозрастный повар сказал ему, что он, Костя, привередник.

— Маловато,— победоносно усмехнулся Юрик.— Слушай дальше на ту же букву: прохвост, полудурок, пьянчуга, перебежчик, паскуда, пройдоха, поджигатель, поганец, преступник, побирушка, психопат, прогульщик, плут, плебей, подхалим, позер, подонок, подлец, пошляк, пронырa, перегибщик, пустомеля...

Тут Юрик запнулся, и я пришел ему на помощь: паникер, потатчик, прихлебатель, потрошитель, паразит, плагиатор, пасквилянт, провокатор, паршивец, прощелыга, похабник, прохиндей, параноик, падло, придурок.

Я ожидал, что наш новый знакомый будет восхищен, удивлен этим парадом слов, но ничего, кроме недоумения, не прочел на его лице. И тогда до меня дошло, что для него это — парад призраков; Костя просто не знает, что эти слова обозначают, ибо на Земле № 252 они давно выпали из человеческой речи. Тогда я перевел разговор на более реальную тему — стал расспрашивать про Ленинград. И тут иномирянин поведал, что Питер разросся аж до Сестрорецка, но центр города сохранен в полной исторической исправности.

Во время этой беседы я заметил, что Костя с какой-то странной пристальностью вглядывается в мое лицо. И вдруг он тихо, с почтительной робостью, произнес:

— Простите, милостивый друг, вы случайно не Серафим Пятизайцев?

— Да. Но как вы догадались?

— Не догадался, а узнал по лицу. Это лицо на Земле № 252 всем известно, оно и в учебнике истории есть. И на Северном кладбище я бывал, где вы — то есть, извиняюсь, он — погребен. Мы туда на экскурсию всем классом ходили. Там на надгробье вы, то есть он, в профиль изображены. А на Пятизайцевском бульваре вам — то есть ему — памятник стоит. От благодарного человечества.

Я не стал выведывать у юного иномирянина, за что благодарно человечество моему тезке, ведь это было бы просто неэтично, это был бы плагиат. Я, Серафим Пятизайцев с Земли № 253, должен своим умом открыть, изобрести нечто такое, за что мне будут благодарны обитатели Земли № 253!!! И я, чтобы мой собеседник не выболтал мне случайно, чем именно прославился мой двойник, поспешно перевел разговор на другие рельсы и поинтересовался, какой характер был у моего покойного тезки. На это Костя ответил так:

— Судя по произведениям писателей и поэтов, воспевших его, это был бесстрашный человек с дружелюбно-ангельским характером. Один поэт сравнивает его с древним святым, с неким Серафимом Саровским, и утверждает, что отец гениального изобретателя в ту ночь, когда зачал своего сына, видел вещий сон, из которого узнал, что сыну его предстоит славное будущее. Потому-то он и присвоил ему имя этого святого... Есть и другие сведения... Уж не знаю...

— Говори, говори,— подначил я Костю.— Приятно иметь такого двойника. Узнаю в нем себя!

— По некоторым апокрифическим данным, Серафим не сверкал храбростью и обладал утяжеленным, многоступенчатым характером, и сослуживцы не испытывали к нему ласковых чувств и коллективно не явились на его похороны. Вы уж извините...

— Это ты не передо мной, а перед тем покойным Серафимом извиняйся,— успокоил я Костю.— У него, видать, дрянной нрав был, в этом я ему не двойник. Только клеветники могут утверждать, что у меня характер плохой... А лично он никаких сочинений о себе не оставил?

— Я слыхал, что есть какая-то книга, где Пятизайцев сам о себе рассказывает,— смущенно признался Костя.— Но я ее не читал. Меня те книги интересуют, где о кулинарии земной речь идет.

15. ПРИБЫТИЕ НА ФЕМИДУ

За двое суток до моего прибытия на Фемиду подкатилась ко мне новая волна страха. Теперь салон звездолета казался мне безопасно-уютным местечком — век бы прожил здесь среди мирных подкидышей и симпатичных стюардесс. Все предстоящее впереди

стало для меня темной могильной ямой, куда меня вскоре столкнут (о, глупость моя!) по моему же желанию. Последнюю ночь своего пребывания в звездолете я провел без сна. Утром, во время завтрака, Юрик сказал мне:

— Ты, Фима, сегодня имеешь бледный вид. Если бы я не знал, что ты — отпетый герой, я бы подумал, что тебя напугал кто-то.

— Меня сам черт не испугает! — соврал я.— У меня желудок побаливает, я переел вчера.

— То-то у тебя и аппетит сегодня в отлучке... Ну, на Фемиде накушаешься заново! Я наводил справки — еды там запасено на века. Ты будешь последним едоком в Храме Одиночества. Ведь наша охрана труда установила, что ни один из жителей Кумы не должен больше бывать на Фемиде, поскольку это потрясательно для психики.

Через три часа после этого завтрака на телеэкране возникла Фемида. Издали она выглядела эдаким зеленым раем: сплошные леса, не поврежденные цивилизацией. Там ждала меня тишина, о которой я так мечтал на Земле, но теперь я с радостью променял бы эту будущую тишину на самую разнузданную земную музыку.

— Фима, призадумайся в последний раз! — тихо произнес Юрий.— Лучше бы тебе миновать эту планету и лететь со мной на Куму, а потом вертануться на Землю твою. Ведь тот ученый-одиночествовед, который сейчас на Фемиде жительствует, улетит с нашим звездолетом домой. Ты будешь там одинок, как перстень! Тебя поджидает там девятая степень одиночества! Предпоследняя!

— А последняя какова?

— Десятая степень — это когда субъект уже в могиле.

— Не пужай меня, Юрик!

Я еще живой покуда,
Я еще в расцвете лет,
А помру — и знать не буду,
Что меня на свете нет.

В этот момент звездолет снизился над Фемидой. Я надел плащ, взял рюкзак и вместе с Юрием и бортпроводницей направился к внутреннему трапу, ведущему в трюм небесного корабля. Все подкидыши встали со своих мест и склонили головы.

— Они печально сочувствуют тебе,— пояснил Юрик.

Сдерживая дрожь, я отвесил иномирянам бодрый поклон и произнес четверостишие:

Не хороните раньше времени
Того, чья воля не слаба,
Кого булыжником по темени
Еще не трахнула судьба!

Через минуту мы с другом разместились в ладье-лифте. Стюардесса нажала нужную кнопку, в днище корабля раскрылся люк, и мы начали плавно опускаться. Под нами находилось четырехугольное здание с плоской крышей. Стоял ясный день, зеленоватое солнце светило не хуже земного. Из густой лесной чащи доносились завывания неведомых животных. Я вынул из кармана плаща берет и поскорее напялил его себе на голову, чтобы Юрик не заметил, что волосы у меня дыбом встают от страха.

Но вот наша небесная ладья плавно опустилась на плоскую, мощенную каменными брусками кровлю. Ближе к ее левому краю находилась надстройка из черного гранита, чем-то напоминающая склеп. Мы вошли в эту надстройку. Почти весь пол в ней занимала массивная стальная плита. Возле нее торчали из пола две широкие клавиши, на которых виднелись какие-то письмена. Юрик нажал ногой одну из них и пояснил мне, что этим он подал одиночествоведу сигнал о нашем прибытии. Затем нажал на другую, и стальная плита плавно встала на попа. Я увидал каменную лестницу, уходящую в глубь здания. По ней, перепрыгивая через ступеньки, бежал к нам седой иномирянин с портфелем в руке. Он подскочил к нам, нервически дрожа, прокудахтал что-то и устремился к лифту-ладье. Там, кинув портфель к ногам, он сел на скамейку, обеими руками вцепился в поручни и с каким-то нелепо-обрадованным видом стал вслушиваться в злобные завывания неведомых зверей. Юрик направился к ученому и, указав на меня, стал ему что-то втолковывать. Тот отвечал отрывисто и хрипло, лицо его судорожно подергивалось.

— Серафим,— обратился ко мне Юрий,— этот одиночествовед катастрофически запрещает тебе отбывать срок здесь! Он здесь обленился, обмишулился, обезволел, обессилел, оседовласился, одурел, опупел, ополоумел, одичал от окаянного одиночества.

— Юра, но ведь там безопаснее, чем в лесу. И потом этот ученый не знает таких слов, это земные слова. Это ты, Юрик, от себя брешешь.

— Ну и пусть от себя! Один наш мудрец так сказал: «Малая ложь, приплюсованная к большой правде, делает правду более убедительной...» Но я вижу, что тебя, отважного, не уговоришь. Однако имей в виду: эта дверь,— он указал рукой на стоявшую вертикально плиту,— открывается только снаружи. Изнутри ты ее не откроешь.

После этого мой друг подошел к ученому, что-то сказал ему, и тот нехотя повел нас

вниз по лестнице. Первым делом он стал ходить с нами по длиннющим коридорам тех этажей, где находились кельи — бывшие камеры. Замков на дверях нет — заходи в любую. Все они были абсолютно одинаковы. Окон не имелось ни в кельях, ни в коридорах, но потолки, стены и полы излучали ровный, спокойный свет. Голоса наши звучали приглушенно, а шагов вовсе не было слышно, поскольку здание построено из особых звукопоглощающих стройматериалов.

Ученый-одиночествовед вел себя нервно, ему явно не терпелось на крышу. Я понял, что мне надо поскорее выбрать себе жилплощадь. Когда мы, шагая по коридору на втором этаже, дошли до того места, где коридор поворачивает под прямым углом вправо, и отсчитал двенадцать дверей — и открыл тринадцатую. 13 — число-сирота, обижают его люди, всякие пакости ему приписывают. А я его жалею, стараюсь оказать ему доверие. И за это оно иногда мне помогает. Однажды мы с Настей на билет № 13 холодильник по денежно-вещевой лотерее выиграли.

Стандартная келья-камера имела неплохую меблировку: письменный стол, стул, кровать, возле нее — ночной столик. Узенькая дверь вела в санузел, где находились душ, умывальник и унитаз. Водопровод был в полной исправности. Но меня огорчило, что зеркала нет. И тут ученый-одиночествовед пояснил мне — через Юрика,— что во всем Храме Одиночества нет ни единого зеркала. Ведь ежели кто-то видит свое отражение, то это уже не полное одиночество.

Я положил рюкзак на стул, топор на ночной столик, повесил плащ и берет на маленькую вешалку у входа в санузел, а затем поинтересовался, где мне добыть матрас, одеяло, подушку, простыню,— ведь кровать-то голая. Юрик потараторил с ученым и объяснил мне, что беспокоиться незачем, здесь имеется обслуживающий персонал, автоматические существа. Они — безмолвные, бессловесные, беззвучные, бесшумные. По-куманиански они называются баратумы, а если на русский перевести — заботники... А сейчас ученый покажет некоторые здешние помещения.

Когда вышли мы в коридор, то увидали, что навстречу шагает человекообразная фигура. Подобные автоматы уже тысячекратно описаны и в фантастической и в реалистической литературе, поэтому скажу только, что заботник был сделан из металла и пластмассы, имел туловище, руки, ноги и голову с ушами и глазами; рот и нос отсутствовали. Неся большой мешок из синтетической ткани, он, не поприветствовав нас, прошел мимо и вошел в мою келью. Меня неприятно удивило: как это он пронюхал, что я выбрал именно эту жилплощадь? Ведь никто ему об этом не сообщил.

Ученый повел нас в столовую, находящуюся в первом этаже. Мы вошли в большой зал, посреди которого стоял небольшой стол; его металлические ноги, так же как и ножки стоящего возле него стула, были намертво вмонтированы в пол. Вдоль правой стены зала протянулся ряд табличек с изображениями различных кушаний и напитков. Под каждой табличкой белела кнопка.

— Попробуй вкусность пищи,— предложил мне Юрик, и я нажал кнопку под табличкой, на которой была изображена тарелка с кашей, вроде манной. Затем сел за стол, и через несколько секунд в левой стороне зала открылась в стене дверь и ко мне направился голубоватый заботник. Он поставил на стол металлическую тарелку с кашей, которая оказалась вполне съедобной. После этого я заказал себе какой-то розоватый напиток, и заботник принес мне металлический стакан с этим напитком.

— А чаю у вас не имеется? — задал я вопрос механическому официанту.

Ранним утром чашка чаю —
Это замечательно!
Я без чаю одичаю,
Сгину окончательно.

Но никакого ответа не последовало.

Мы покинули столовую и направились в библиотеку. Шагая туда, мы прошли мимо массивной стальной двери, совсем не похожей на двери келий; к тому же на ней были изображены две скрещенные руки — ладонями вперед. Одиночествовед пояснил нам, что это — знак запрета. Здесь находится энергоблок. Живым существам входить туда нельзя, они могут разрушить свое здоровье. Кроме того, в эпоху жуткого средневековья, когда здесь была тюрьма, зарегистрированы случаи побегов через энергоблок. Все убегуны были зверски съедены зверями.

Мы вошли в библиотеку, она вообще никакой двери не имела, входи — и бери что тебе угодно. Там стояло множество стеллажей, полных книгами, и ученый — через Юрика — выразил сожаление, что я неграмотен. Ведь все эти тома изданы Куманианским Институтом по Изучению Одиночества. Здесь — труды многих поколений одиночествоведов, здесь описаны все психологические явления, возникающие на каждой из восьми степеней. Но девятая степень одиночества еще никем не описана. Она неописуема, непостижима, непознаваема, нерассказуема, необъяснима.

Чего-чего, а одиночества я никогда не боялся, поэтому этот разговор был мне не интересен, и я задал практический вопрос: не бывает ли здесь перебоев в работе пищебло-

ка, в подаче электроэнергии? В ответ мне было заявлено, что никаких перебоев с питанием быть не может, ибо непортящихся продуктов запасено здесь на шесть риртонов (столетий), а атомно-иридиевый энергодатчик рассчитан на неисчерпаемость. После этого мы поднялись по центральной лестнице, и я остался на верхней ее площадке, а Юрик и ученый вошли в склепообразную надстройку.

— Серафимушка, поставь свои часы ровно на двенадцать тридцать пять! — произнес сверху Юрик.— Через тридцать суток по земному счету жди меня для возвращения на твою Землю!.. И не захоти убегать, Фима! Я знаю, в тебе бурлит отвага, тебе, может быть, захочется прославить свое земное имя и пожить среди зверей, доказать Вселенной свою бесстрашность,— но помни, что каждое бегство кончалось кончиной!.. Ты слышишь эти зверские голоса?!

Действительно, звериный рев, доносившийся из леса, был ужасен.

— Юрка, разве я дурак, чтобы бежать из тишины в шум?! Ведь ради тишины я и прилетел сюда! — воскликнул я.

Мой друг нажал ногой на клавишу. Стальная плита плавно опустилась на свое место. Настала полная тишина.

Уважаемый читатель! В следующих главах я расскажу о том, что пережил в Храме Одиночества. Для большей объективности писать о себе буду в третьем лице, как бы о своем знакомом, о котором знаю даже больше, чем он сам о себе.

16. ПРИОБЩЕНИЕ К ОДИНОЧЕСТВУ

Расставшись с Юрием, Серафим еще с минуту постоял на лестничной площадке, радуясь тому, что он в полной безопасности, впитывая душой беамолвие Храма Одиночества. В мозгу его возникли строки:

Благословляю тишину,
Она добра и не угрюма.
Я здесь блаженно отдохну,
Уйдя от всяческого шума.

Напрягая голосовые связки, он проскандировал это четверостишие, как бы обращаясь к невидимым слушателям. Но голос его прозвучал еле слышно. А затем, спускаясь по лестнице, он убедился, что шаги его и вовсе не слышны. Когда он шагал по коридорам Храма Одиночества со своими спутниками, он как-то не обращал на это внимания. И теперь ему стало немножко обидно: тишина тишиной, но ЕГО голос, ЕГО шаги всюду должны звучать полновесно и четко! Но затем он подумал, что ему нужно преодолеть свою земную гордыню, приобщиться к здешнему спокойствию, стать как бы составной его частью.

Синоним счастья — тишина,
С ней не вступай в пустые прения,—
Во все века была она
Помощницей, подругой гения.

С такими мыслями Серафим направился в свою келью и, войдя туда, был приятно удивлен: кровать аккуратно застелена, в изголовье — подушка с чистой наволочкой... Вот только полотенца нет... А, наверное, оно в санузле. И действительно, там мой герой обнаружил полный набор: два полотенца, туалетное мыло, сортирная бумага — пипифакс. Вернувшись в келью-камеру, он произнес четверостишие:

Покинул я земную пристань,
Иная жизнь меня влечет,
Инопланетному туристу —
Везде удача и почет!

Однако через секунду его праздничное настроение пошло на убыль. Он заметил, что его рюкзак — похудел. Оказывается, книги из него куда-то делись. Неужели их заботники сперли?! Но ведь Юрик говорил, что на Куме нет воровства, а заботники оттуда сюда привезены. Они не могут быть на воровство запрограммированы!..

Серафим начал метаться по келье, потом догадался выдвинуть верхний ящик письменного стола. Все книги были там — и «Испанский детектив», и «Словарь иностранных слов», и несколько брошюр, которые всучила ему Настя. Сделав эту находку, Серафим успокоился, но не совсем. Действия заботника, запустившего свои механические руки в рюкзак, показались ему не вполне этичными. Чтобы успокоить себя, мой герой приступил к чтению брошюры «Спорт — это здоровье». И вдруг обнаружил, что все фотографии людей, совершавших разные спортивные движения и подвиги,— исчезли. А страница, где был изображен мотокросс, имела и вовсе странный вид: мотоциклы мчались по склону холма как бы сами по себе, без мотоциклистов. Полистав остальные книги, Серафим убе-

дился, что изображения людей изъяты и оттуда. При этом его поразил уровень техники изъятия, ведь все люди на рисунках и снимках были не вырезаны, не закрашены, а начисто обесцвечены. А провернул это цензурное мероприятие, наверно, тот же самый заботник, который застелил постель. Серафимом овладело чувство беззащитности и поднадзорности. Но затем он приободрился. «Ты прибыл сюда в поисках одиночества, так получай его сполна, на все 100 %!» — произнес он мысленно. И сразу же поправил себя: «Нет, на 99 %! Ведь Настя-то со мной!»

Он извлек из пачечки книг твердую обложку от общей тетради, куда была вложена застекленная фотография его жены в металлической рамочке. Этот снимок (12×18) он всегда брал с собой, отбывая в дом отдыха. Сейчас он опять увидит Настю. Улыбаясь ему улыбкой № 19 («Радость совместной прогулки»), стоит она под деревом в Летнем саду... Хорошо, что есть на свете Настя!..

С такими вот мыслями вынул Серафим из тетрадочной обложки фотографию — и обомлел. По-прежнему виден был на ней узор садовой ограды, по-прежнему стояло дерево, но теперь проявилась та часть его ствола, которую еще недавно заслоняла своей фигурой Настя. Настя со снимка исчезла.

— Это уже какое-то хамство космическое! — возмутился мой герой.— Это, господин заботник, тебе даром не пройдет! — А потом вдруг понял, что некому ему пожаловаться на этого цензора. В каждом земном доме отдыха, в любой гостинице, в самом плохоньком учреждении есть хоть какой-нибудь да директор — а здесь? Здесь никто не примет ни письменной, ни устной жалобы. А эти заботники делают то, на что они программированы. Они по-своему заботятся о нем, Серафиме, погружая его в одиночество.— Зато как здесь тихо! — прошептал он.

Я с детства был ушиблен шумом,
И с юных лет понятно мне,
Что предаваться мудрым думам
Возможно только в тишине.

Однако мудрые думы в голову почему-то не шли. Серафим вышел из кельи и долго бродил по пустынным светлым коридорам. Потом забрел в столовую, заказал обед — и заботник-официант добросовестно выполнил заказ. Обедая, мой герой обратил внимание на то, что посуда покрыта мелкими насечками и поэтому в ней ничто не может отразиться. Он с грустью подумал о том, что бриться ему весь месяц не придется и не придется увидеть себя. Ведь в Храме Одиночества не только ни одного зеркала нет, но и все поверхности — стены, полы, мебель и даже стульчаки в санузлах — сработаны так, что отражаться в них ничто не может. А вскоре он убедился, что и тени своей он не сможет узреть; ровный свет исходит со всех сторон — со стен, с потолка, с пола, и никаких тебе теней. «Вот одиночество — так одиночество!» — прошептал он.

Расставшись с Питером, с Невой,
Живу, как гость небесный,—
Беззвучный в бестеневой,
Почти что бестелесный.

Утомленный неожиданными переживаниями, Серафим прилег на кровать и уснул почти мгновенно. И сразу же ему приснился многообещающий творческий сон. В цветущей долине под прямым углом скрестились два шоссе. На этом перекрестке стоит автобус, в плане имеющий форму креста. Не могильного, а равностороннего — такого, какие красуются на автомобилях «скорой помощи». В каждой из четырех сторон этого чудо-автобуса имеется кабина, мотор, баранка. Автобус может мчаться в любую сторону света! «Мечта туриста» — так озаглавил мой герой это изобретение. Он представил себе, как завидуют ему сослуживцы, как радуется Настя... И вдруг возникла Главсплетня и нагло заявила, что такой дурацкий автобус никуда не помчится, он даже с места не сдвинется.

Серафим проснулся и понял: на этот раз Главсплетня, увы, права. Ему стало страшно за себя: не сходит ли он с ума? Но с безоконных стен кельи-камеры, с потолка, с пола струился такой ровный, такой успокоительный свет, что страх быстро улетучился. «Не ошибается лишь тот, кто не мыслит»,— решил Серафим.

Друг, не всегда верь своему уму,
Но пусть покинет страх твои владенья —
Высокий взлет доступен лишь тому,
Кто не страшится смертного паденья.

17. ОДИНОЧЕСТВО СГУЩАЕТСЯ

Встав с постели, Серафим вышел в коридор, спустился по лестнице в нижний этаж, потом поднялся выше, долго шлялся по коридорам — и вдруг поймал себя на том, что все время шарит глазами по стенам, все чего-то ищет. И тут он догадался: он ищет часы. Но во

всем Храме Одиночества есть только одни часы — те, что у Серафима на руке. Если они остановятся — для него остановится ход времени. Ведь он не знает, день или ночь за окном, он отрезан от внешнего мира. И только по своим часам он может вести счет условных суток, вплоть до того дня, когда сюда явится Юрик, чтобы лететь с ним на Землю. А вдруг часы остановятся, ведь они уже дважды были в починке? Что тогда?.. Серафиму стало холодно, аж дрожь пробрала.

Мой герой торопливо вернулся в свою камеру, выдвинул ящик письменного стола, в котором лежали его книги, и взял оттуда «Зарубежный детектив». Чтобы унять страх, нужно прочесть что-нибудь героическое, так что эта книга была тут в самый раз. Серафим приступил к чтению, и дрожь постепенно покинула его. Но, читая, он невольно думал, что такая книга у него здесь только одна... И тут у него родилась идея: хорошо бы сконструировать забывательное устройство.

Вы едете на дачу. Ваша авоська полна продуктами, но вы взяли с собой и книгу — интереснейший роман из быта сыщиков и преступников. Прибыв на дачу, вы читаете эту книгу не отрываясь. И вот она прочтена. Других книг на даче у вас нет. Но вам их и не надо! В переплет прочтенного вами романа вмонтировано сложное электронно-психологическое миниустройство. Послюнив палец, вы прикасаетесь им к приборчику — и, ощутив мгновенный, почти безболезненный шок, в ту же секунду с радостью осознаете, что содержание данной книги вами забыто, будто вы ее никогда и не читали. Вы можете приступить к чтению сызнова! Вы всю жизнь можете читать одну книгу!

Хорошо бы осуществить эту задумку практически, стал размышлять Серафим. Для некоторых людей окажутся ненужными личные библиотеки, тиражи многих изданий снизятся, потребление бумаги резко сократится, тысячи гектаров леса будут спасены от вырубки... Однако найдутся перестраховщики, которые сочтут такое забывательное устройство вредным для общества, писатели завопят в печати, что это надругательство над литературой... Нет, не стоит выдвигать эту идею, решил мой герой.

Умей помалкивать в тряпицу,
К всемирной славе не спеши,
Чтоб не свезли тебя в больницу
С инфарктом сердца и души.

Размышляя о книгах земных, Серафим вспомнил, что есть и неземные. Он вышел из камеры, спустился в первый этаж. Вот и библиотека. Взяв с полки несколько томов, он уселся за стол и принялся их листать. А вдруг там есть изображения иномирян?! Ведь внешне они — совсем как люди, а он почему-то уже успел соскучиться по человеческим лицам. Но в книгах был только непонятный ему текст — и никаких рисунков, никаких фотографий. Серафим подумал, что на Земле тоже немало книг об одиночестве, но там и изображения людей есть на страницах. Видать, одно дело — одиночество земное, а другое дело — небесное...

Ему вспомнилось, что на второй день полета он спросил у Юрика, на сколько километров они от Земли удалились. И Юрик ответил, что если число этих километров выразить печатно, то потребуется издать том толщиной с Библию. Первая строка книги начнется с единицы, а дальше пойдут нули. А на последней странице это великое число надо возвести в стомиллиардную степень. Там, в звездолете, Серафим почему-то не придал словам Юрия большого значения, но здесь, в безмолвном одиночестве, они дошли до его души. На миг ему почудилось, что он так далек от Земли, что его, Серафима, и вовсе нет, что он — только сон, снящийся пустоте. Понурив голову, пошел он к двери — и вдруг вспомнил, что забыл поставить книги на полку. Он оглянулся — и увидал, что тут и без него обойдутся: из ниши, что темнела в стене, вышел заботник, подошел к столу, забрал книги и направился с ними к стеллажу.

— Спасибо, добрый молодец! Хвалю! — изрек Серафим. Но добрый молодец не отозвался. Серафиму вдруг очень захотелось поглядеть на какое-нибудь живое существо. Ну, с людьми и даже с тенью своей он разлучен, ведь здесь Храм Одиночества. Но хоть бы пса какого-нибудь повидать или кота. Или какую-нибудь местную живую тварь узреть... Он припомнил завывания здешних, неведомых ему зверей, и теперь ему показалось, что не так уж злобно они выли. Вот бы поглазеть, какие они из себя. Разве любопытство — грех?

Если ты не любопытен —
Оставайся в дураках;
Ты не сделаешь открытий,
Не прославишься в веках!

Прямо из библиотеки Серафим направился в столовую. Поужинав, он заказал стакан лимонада, потом еще стакан.

— Дружище, а нет ли чего покрепче? — обратился он к официанту-заботнику.— Понимаешь, я не алкаш, но надо же отметить свой первый день пребывания на Фемиде.

Но ответа не последовало, а когда мой приятель фамильярно тронул ладонью плечо заботника, то сразу же отдернул руку: ему показалось, что он прикоснулся к льдине.

18. СНЫ НЕЗЕМНЫЕ

Вернувшись в свою келью-камеру, Серафим взглянул на ручные часики. На них было одиннадцать — значит, пора спать, начинается его первая (условная) ночь на Фемиде. Мой герой разделся, совершил вечернее омовение и принялся ходить по келье взад-вперед. Он о чем-то думал, но сам не знал о чем — так бывает. И вдруг мысли его уточнились. Подойдя к ночному столику, Серафим взял лежавший там топор и спрятал его под подушку. Он может пригодиться, его надо беречь!

Ты за добро плати добром,
Но все ж, на всякий случай,
Не расставайся с топором,
Ведь жизнь — как лес дремучий.

Серафим разлегся в постели, накрылся мягким одеялом. Подушка была большая, пышная, топор почти не ощущался. «Живу — прямо как интурист»,— подумал мой приятель и машинально протянул руку к стене, ища выключатель. Потом вспомнил, что потолки и стены светятся тут круглосуточно, никаких выключателей нет. «Ладно уж, усну и при свете»,— примирительно прошептал он. И уснул.

Уснул — и вдруг проснулся. Его ужалила мысль: а вдруг часы остановились?! Однако тревога оказалась ложной, часики были в полном порядке. И он снова уснул. И тут ему приснился сон.

Морозным зимним утром идет Серафим по Среднему проспекту Васильевского острова. Вот и станция метро на углу Седьмой линии. Опустив пятачок, друг мой становится на эскалатор и плавно движется вниз, вместе с вереницей одетых по-зимнему людей. Перед ним стоит мужчина в престижной дубленке, и какое-то время Серафим размышляет, сколько этот тип за нее уплатил. Затем поворачивает голову, чтобы поглазеть на встречный людской поток. И видит: навстречу ему движется Настя. Она улыбается ему улыбкой № 21 («Радость неожиданной встречи») — и плавно проплывает мимо. Но почему она одета не по сезону, почему на ней летняя блузка с короткими рукавами?! И тут Серафим обнаруживает, что в этом встречном потоке все одеты по-летнему, некоторые даже в майках. Спустившись вниз, он идет не на платформу, а вдавливается в толпу летних пассажиров и поднимается на эскалаторе вверх. Ему нужно нагнать Настю, пусть она объяснит ему, что это за чепуха такая происходит...

Он опять на Среднем проспекте. Но Насти не видать. И вообще ни единой живой души не видно. И трамвай «шестерка» стоит на остановке без пассажиров и без вожатого. А в городе — летний полдень. Что такое творится? Или он, Серафим, с ума сошел? Паническим шагом направляется он к дому своего детства. Взбежав по лестнице, звонит в квартиру родителей. Ни ответа ни привета. Он — опять на улице. Ходит по безмолвным проспектам и линиям, заглядывает в окна первых этажей — нигде ни души. И никаких следов какой-либо катастрофы или эпидемии, никакой разрухи. Тротуары подметены, на газонах — цветы, стекла окон чисто вымыты. Полный порядок — и только людей нет.

...Все магазины открыты. Серафим входит в гастроном на Большом проспекте. Есть колбаса по два двадцать и по два девяносто. В кондитерском отделе прямо на прилавке — дефицитный индийский чай по 95 коп. И ни покупателей, ни продавцов, ни кассирши. Забирай что хошь — и айда вон. Серафим берет пачку чая, вертит ее в руках, потом кладет обратно и торопливо покидает магазин, гордясь, что не стал вором.

На улице его охватывает такая тоска по людям, что он решает посетить Смоленское кладбище. Ибо все живые — неведомо где, а мертвые прочно спят на своих местах. Они, мертвые, сейчас более реальны, нежели все те, которые исчезли из города неведомо куда. И вот мой приятель уже на Камской улице. Под каменной аркой, ведущей на кладбище, натянут стальной трос; на нем висит дощечка с надписью: «Закрыто на переучет». Преодолев страх перед неизведанным, Серафим подныривает под трос — и вот он на кладбище.

Здесь что-то происходит. Перекладины крестов ритмично поднимаются и опускаются, будто на зарядке. Замшелый каменный ангел пошевеливает крыльями. Среди старых надгробий вырыта свежая могила; возле нее стоят четыре заботника с лопатами. Как они попали сюда с Фемиды?!

— Захотели — прилетели! — угадав мысли Серафима, хором отвечают заботники.— Экзаменовать тебя будем. А ну, назови строгие слова на букву «А», применяя их к себе!

— Я алкаш, алиментщик, альфонс, анонимщик... Все.

— Не густо. Теперь — на «Б».

— Я блатмейстер, башибузук, буквоед, байбак, барышник, браконьер, бузотер, богохульник, барахольщик, бумагомаратель, бандит, балда, бестия, бракодел, бездельник, борзописец...

— Теперь — на «В»!

— Я — выпивоха, вероотступник, вышибала, ворчун, взяточник, взломщик, враль... Кажется, все.

— Нет, не все! — металлическим хором произносят заботники.— Ты не сказал, что ты — ворюга!..— И тут один из заботников подходит к Серафиму и вынимает у него из кармана пачку индийского чая.

— Этого не может быть! — кричит Серафим.— Я не брал!

— Нет, брал! За воровство ты осужден на десятую степень одиночества!

Далее происходит нечто страшное.

Он очнулся в темноте,
В тесноте, в могиле.
Слышит он: уходят те,
Что его зарыли...

Серафим проснулся от своего истошного, надрывного крика. А быть может, и из-за того, что ощутил чье-то холодное прикосновение. Возле его кровати стоял заботник белого медицинского цвета. Одна его металлическая ладонь лежала на лбу моего героя, а в другой он держал стопочку с прозрачной жидкостью.

— Что со мной? — спросил его Серафим.

Но механический врач молчал. Серафим догадался, что в стопочке — лекарство. Он выпил его. Заботник беззвучно удалился из камеры.

Лекарство оказалось снотворным, успокаивающим. Вскоре Серафим уснул. Но перед этим у него возникла догадка, что заботники с помощью какой-то потайной техники видят все, что ему снится. Ну и пусть видят, сучьи дети! Они могут прерывать его сон, это в их сволочной власти — но диктовать ему сновиденья, вмешиваться в их содержание они не могут! И никто во всей Вселенной не может! Даже в самой лютой тюрьме сны человека не подвластны воле тюремщиков. Сон — высшая форма человеческой свободы.

К сожалению, не все люди видят свои сны с должной четкостью и ясностью и потому забывают их в минуту пробуждения. Но, быть может, уже родился гений, который сконструирует специальную подушку, снабженную неким мудрым, еще неведомым нам прибором. Эта спецподушка, нисколько не влияя на тематику и смысл сновидений, поможет людям видеть свои сны отчетливее, объемнее, красочнее — и отлично запоминать их. Жизнь землян станет богаче, интереснее, многообразнее.

...Однако всенародное спанье на спецподушках вызовет и некоторые отрицательные явления. На производстве и в учреждениях сослуживцы будут непрерывно толковать о своих сновидениях, в результате чего снизится производительность труда. У очень многих людей возникнет потребность излагать свои сны письменно, из-за чего катастрофически возрастет количество писателей; для редакторов настанут трудные времена. А кино сойдет на нет, кинозалы опустеют. Зачем человеку кино, если каждый спящий — сам себе кинотеатр.

19. ПОИСКИ ВЫХОДА

Серафим проснулся, принял душ, спустился в столовую, позавтракал. Потом принялся бродить по коридорам, заглядывая то в одну, то в другую камеру. И тут он позавидовал земным уголовникам. Ведь ежели земной преступник сидит в одиночке, то он все-таки знает, что в тюрьме он не один, что в соседней камере кто-то тоже отбывает свой срок. А вот если посадить такого субъекта в камеру, из которой он волен выходить и шляться по всей тюряге, а в тюряге-то, кроме него,— ни души! — вот тут-то он взвоет. Тут он завопит: «Это незаконно! Это — сверхвысшая мера наказания! Это — казнь одиночеством!»

Серафим вернулся в свою келью-камеру. И здесь — тот же ровный свет... Ему вспомнилось, что в детстве он боялся темноты. А теперь ему нужна темнота. Во мраке он мог бы представить себе, что он здесь не один, что рядом есть кто-то. Пусть — плохой человек, пусть зверь, но кто-то живой... Но ведь вне Храма Одиночества живут живые звери! Вот бы посмотреть на них, послушать их завывания! Хорошо бы хоть маленькое отверстие продолбить в этой сплошной стене!.. Он кинулся к кровати, извлек из-под подушки топор, подошел к стене — и изо всех сил долбанул по ней обухом. Топор беззвучно отскочил от облицовки, не оставив на ней никакого следа.

Серафим походил по камере взад-вперед, потом вспомнил, что в Храме Одиночества есть энергоблок, запретное помещение, через которое в древности некоторые заключенные осуществляли свои погибельные побеги: ведь все беглецы были съедены зверями. А все-таки надо разведать, что это за энергоблок...

Мой приятель спустился в первый этаж и остановился перед дверью, на которой были изображены две скрещенные руки — знак запрета. Но замка у двери не имелось. Ведь соотечественники Юрика вообще не знают ни замков, ни запоров, об этом Юрик не раз говорил. У них ни склады, ни жилища не запираются; только в уборных и ванных комнатах есть задвижки, чтобы можно было запереться изнутри. В будущем и на Земле так будет.

Не стaнет воров и врачей,
Все будет в избытке, в излишке;
Не будет замков и ключей,
И только и уборных — задвижки.

...Серафим в раздумье стоял у запретной двери, а тем временем руки, изображенные на ней, из белых сделались розовыми, и на пальцах проступили алые капельки. То было явное предупреждение об опасности, и мой приятель отошел от двери и побрел по коридору. Но потом вдруг остановился, героически топнул ногой и строевым шагом двинулся обратно. В мозгу его возникло четверостишие:

Все выигрывает храбрый,
Все проигрывает трус —
Так хватай судьбу за жабры,
Восходи на свой Эльбрус!

Он распахнул дверь — и очутился в просторном тамбуре, из которого открывался вид на длинный зал, заполненный загадочными шарообразными емкостями и большими металлическими ящиками; на поверхности их шевелились радужные пятна и полосы. Возле каких-то необъяснимых предметов и вращающихся экранов стояли голубоватые заботники. Серафим направился в зал — и тут в стене тамбура распахнулись желтые створки, и из ниши вышел черный заботник. Раскинув металлические руки, он преградил путь моему приятелю, и тот поспешно ретировался.

Вернувшись в свою келью, Серафим вспомнил: в конце зала он приметил винтовую лестницу; она штопором ввинчивалась в потолок, она вела куда-то вверх из зала. Не по ней ли совершали побеги заключенные?

20. ДВЕНАДЦАТЫЕ СУТКИ

Шли двенадцатые сутки пребывания Серафима на Фемиде. Ни одной мудрой мысли не пришло ему в голову за это время. Голова была наполнена страхом и ожиданием чего-то. А по ночам мозг принимался за работу и выдавал ему сны.

Той ночью моему приятелю приснилось, будто он в XXV веке.

— Вставай, Фим, уже семьдесят минут тридцать второго! — громко произнесла Настя. Спрыгнув на пол с третьего яруса нар, он улыбнулся супруге и, получив в ответ улыбку № 14 («Радость пробуждения»), стал делать зарядку. Летнее солнце озаряло девятиметровую квартиру-комнату. На обеденно-письменном столе красовались куски нарезанного Настей зеленоватого хлеба, испеченного из тростниковой муки. Пахло жареными водорослями и котлетами из прессованного планктона. В левом углу кварткомнаты возвышалось многоцелевое сооружение, включающее в себя телевизор, унитаз, стиральную машину, прибор для самогипноза и еще несколько полезных приспособлений. Татка, в оранжевой школьной форме, сидела на нижнем ярусе нар и читала вслух из учебника: «Коровы гуляли по полям и специализировались на производстве так называемых молочных продуктов, которые употреблялись людьми. Коровы мужского рода назывались быками и от производства пищепродуктов воздерживались, но охотно принимали участие в спортивных соревнованиях, именуемых корридами...»

— Детка, хватит зубрить! В школу пора! — молвила Настя, и лицо ее озарилось улыбкой № 34 («Радость материнства»). Татка взяла с полки свой парашют, закрепила его на себе и с портфельчиком в руке вышла на балкон, у которого не было перил. Девочка улыбнулась родителям — и сиганула с балкона вниз головой. Все, живущие выше сотого этажа, для выхода на улицу обязаны пользоваться не лифтами, а парашютами.

Позавтракав, Серафим подошел к балконной двери. С высоты трехсот сорокового этажа открывался вид на бухту, где на вечном приколе стояли ряды жилых кораблей. Дальше виднелось море. По нему плыл кораблик — сеятель водорослей. Кормильцами людей стали моря и океаны, ведь на Земле теперь обитало 110 миллиардов человек. Они сеяли водяные растения и питались ими. А суша была сплошь застроена, кормить их теперь она не могла. И зверей — тоже. Кое-какие животные остались в зоопарках и цирках, но большинство вымерло.

— Фим, прогуляйся перед работой,— распорядилась Настя.

Серафим покинул кварткомнату и очутился в длинном коридоре, куда выходили двери трехсот таких же квартир. Здесь прогуливалось много народу; на улицу идти смысла не было. Серафим знал, что большинство его однокоридорников вообще не выходят из дома, благо в нижних этажах есть магазины. И еще он знал, что теперь никто не путешествует, ибо это неинтересно: на всей планете — дома, дома, дома...

Вскоре к моему приятелю подошел журналист, жилец соседней квартиры. Лик его сиял.

— Сераф, представь себе, за мою статью «Поспорим с Мальтусом!» редактор премировал меня десятью сутками одиночного заключения со строгой изоляцией! Завтра шагаю в тюрьму!.. Как странно, что когда-то в одиночки сажали не за заслуги, а за преступления. Ведь единственное место, где можно отдохнуть от многолюдства,— это тюремная камера.

— А у меня — сплошные неприятности,— пожаловался Серафим журналисту.— У нашего завлаба теща на днях померла, так что жилплощадь на три метра увеличилась, а я забыл поздравить его. И теперь по всему ИРОДу пошел слушок, будто я — хам отпетый.

— Сераф, но ведь это и в самом деле хамство — не поздравить человека с таким событием. Когда у нашего редактора дед скончался, мы на первой полосе поздравиловку жирным шрифтом тиснули. Коллективно сочинили, с чувством: «Дорогой друг, группа товарищей радуется вместе с вами и желает вам дальнейших событий, способствующих освобождению новых метров жилплощади!» Он очень растроган был.

Однако пора было приступать к делу. Как правило, земляне на работу теперь не ходили и не ездили. Они трудились, не выходя из своих жилищ, сидя у сверхточных пространственных манипуляторов и изобразительно-переговорных устройств. И вот мой приятель вернулся в свою кварткомнату, сел на стул возле стенного манипулятора, нажал на нужные кнопки. На экране перед ним возник рабочий зал ИРОДа. В центре его живьем восседал за своим письменным столом директор, а по стенам светились индивидуальные экраны. На них уже присутствовали объемные изображения многих сослуживцев. На крайнем слева четко вырисовывалась фигура Главсплетни. На шестом справа Серафим увидел себя.

— Герострат Иудович, сообщаю вам, что я явился на службу! — доложил он с экрана директору.

— Учел! — суховато отозвался тот.— Напомните основные данные проекта, разрабатываемого в вашей секции.

— Синтетический театр! — начал Серафим.— Никаких лож, никаких галерок, сплошной партер — полная демократия! По трем сторонам зала — три сценические площадки, перед двумя из них — оркестровые ямы. На четвертой стороне зала — цирковая арена. Вы занимаете свое вращающееся кресло. Впереди развертывается действие пьесы, справа — балет, слева — опера, позади вас — цирковая программа. Зрители вправе избрать что-либо одно, а при желании могут нажатием кнопки придать креслам непрерывное вращательное движение. Перед взором и слухом будут плавно сменяться декорации и ситуации, будут возникать драматические актеры, оперные певцы и певицы, танцующие балерины, дрессированные слоны и медведи. Какая яркая смена впечатлений! Кроме того...

— Кроме того, товарищ Пятизайцев, вам надо поднять свой моральный уровень,— прервал Серафима директор.— Всему ИРОДу известно, что вы боитесь высоты и для выхода из дома пользуетесь не парашютом, а лифтом, и тем самым незаконно расходуете электроэнергию. И весь ИРОД возмущен вашей внебрачной связью с престарелой дрессировщицей тигров, которая тайно подкармливает вас пайком, выделяемым для зверей.

— Гнусная деаинформация! Это все Главсплетня набрехала! — возопил Серафим — и проснулся. Наклонясь над его изголовьем, стоял белый заботник с подносиком, на котором поблескивала стопочка с медицинской жидкостью. Мой приятель принял успокоительное лекарство и уснул.

Проснувшись утром, он припомнил недавнее сновидение и пришел к выводу, что хитрюга-мозг хотел утешить его, показать ему, Серафиму, нечто такое, что вроде бы пострашнее одиночества. «Но нет, одиночество — страшнее всего»,— решил мой приятель. И эта явь, этот Храм — страшнее самых ужасных сновидений.

21. ПОДКИДЫШ № 2

В следующую ночь Серафиму приснился сон, опять длинный и обстоятельный. Но в нем не было ни одного человека и вообще ни одного живого существа — только голые скалы, пустынные солончаки, непонятные машины, загадочные самодвижущиеся автоматы... Мой приятель проснулся задолго до (условного) утра и долго не мог уснуть, охваченный страхом и тоской.

В дебрях одиночества
Он проводит ночь;
Умирать не хочется,
Но и жить — невмочь.

Серафиму стало ясно, что минувшей ночью медик-заботник включил в свое успокоительное лекарство какой-то ингредиент, воспрещающий мозгу видеть во сне все живое. Чтобы успокоить читателей, скажу, что действие этого ингредиента не было продолжительным. Но тогда, после того безлюдного сна, приятель мой был прямо-таки в отчаянье. Ну разве мог он предвидеть, что на этой окаянной Фемиде он даже в снах будет одинок?! Он клял себя за то, что по собственной дурацкой воле обрек себя на эту пытку одиноче-

ством. Он — межпланетный подкидыш № 2, несчастный подкидыш. Юрик — тот подкидыш счастливый, его подкинули к живым добрым людям. А он, Серафим, сам зашвырнул себя в это космическое безлюдье. Зашвырнул из страха показаться трусом, каковым он является на самом деле...

Теперь с какой-то детской нежностью вспоминал он Землю-матушку, которая так далека от него нынче. Все земное казалось ему прекрасным, все люди добрыми. Повстречайся ему здесь сама Главсплетня, он бы расцеловал ее и сказал бы ей:

Царица склок и королева сплетен,
Ходячий склад словесной требухи,
Твой лик отныне благостен и светел,
Забыты мною все твои грехи!

Но он знал, что никого не встретит в здешних коридорах — ни врага, ни друга, ни двойника. Его абсолютный двойник — Серафим с Земли № 252 — побывал на другой Фемиде, и подбросил его на ту Фемиду другой Юрик с другой Кумы. Как сложен и страшен этот мир! Хорошо бы сойти с ума и встретить в коридоре какого-нибудь самосветящегося старца или полупрозрачную даму в белом одеянии. Конечно, это страшно, но лучше уж такой страх, чем это адское одиночество. На безлюдье и привидение — человек.

У Серафима возникло убеждение: ему нужен реальный страх. Он, подкидыш № 2, пребывает здесь в абсолютной безопасности. Но эта безопасная явь ужасает его сильнее, чем самые страшные сны. Быть может, самое страшное для человека — это когда ему абсолютно нечего бояться. Ибо идеальная безопасность порождает ожидание какой-то неведомой ужасной опасности.

Серафим решил бежать из Храма Одиночества. А так как дальше начнутся события самые серьезные, то я, анонимный приятель Серафима, передаю ему эстафету повествования. Пусть он опять, как в первых главах, ведет речь от самого себя.

22. ПОБЕГ

Да, я решился бежать. Но на то, чтобы решиться осуществить это решение, у меня ушло трое суток. Я отощал, лишился сна и аппетита — и наконец заставил себя приступить к действиям. В то утро я хотел было направиться в столовую с рюкзаком, дабы наполнить его булочками, ведь я мог их заказать в любом количестве, но потом подумал, что заботники могут догадаться, для чего мне нужен этот пищевой запас. Поэтому я решил принять как можно больше еды в глубь себя и позавтракал очень плотно. Вернувшись в свою келью-камеру, я разделся в санузле и встал под душ. Уже дня четыре я ходил грязнулей, даже руки и лицо перестал умывать, так придавил меня страх. Но теперь следовало вымыться с головы до ног. Это для того, чтобы от меня не пахло человеком, не то хищные звери издалека меня учуют. Конечно, они все равно узнают о моем присутствии в их лесу, но вымыться все-таки надо.

Быть немытым неприлично,
Если смерть тебе грозит —
Умирай гигиенично,
Погружаясь в новый быт!

Подсознательно стремясь оттянуть начало решительных действий, мылся я долго-предолго. Потом все-таки обтерся, оделся, потом надел плащ и берет, уложил в рюкзак свои небогатые пожитки, взял топор — и на цыпочках вышел в коридор.

Вот и дверь энергоблока. Скрещенные белые руки, изображенные на ней, мгновенно покраснели при моем приближении. Но я решительно распахнул ее и вошел в тамбур. И тотчас из ниши вышел черный заботник и преградил мне путь.

«Пусти, жабий сын!» — истерически возопил я и занес топор. Но механический страж стоял незыблемо, и тогда я изо всей силы долбанул его обухом по черепу. Однако удар мой не произвел никакого разрушительного действия; заботник стоял как ни в чем не бывало. Так мы с минуту простояли один против другого, а затем произошло нечто странное. Мой оппонент вдруг поднял руки, сорвал ими со своих плеч свою голову и бросил ее. Она тяжело упала на каменный пол, а вслед за ней рухнул и ее владелец. Тут до меня дошло, что он не программирован на насильственные физические действия против разумных существ; я понял, что этой пантомимой он хочет убедить меня в неизбежности моей гибели, ежели я перешагну через его труп. Однако я мужественно переступил через самоубийцу и вошел в энергоблок.

Там все было по-прежнему. И по-прежнему у загадочных приборов стояли голубоватые заботники; на мое появление они не обратили никакого внимания, я не входил в их компетенцию. Я направился к винтовой лестнице, но прежде оглянулся; я подозревал, что за мной следят, что заботники обвинят меня в убийстве,— а как я докажу свою невиновность? И тут я узрел чудо неземное: туловище черного привратника плавно подползло

к оторванной голове, соединилось с ней — и воскресший заботник встал и чинно удалился в свою нишу. После этого я ступил на первую ступеньку винтовой лестницы и начал восхождение в неведомое. Вот я уже поднялся выше зала, уже исчезли из глаз таинственные приборы и голубые заботники; теперь путь мой пролегал как бы в вертикальном тоннеле, облицованном светящимися камнями. Я все торопливее ввинчивался вверх и вскоре очутился в небольшой комнате. Окон в ней, как и во всем Храме Одиночества, не имелось, но зато кроме той двери, которую я открыл, чтобы войти, в другом конце комнаты я увидал другую дверь. Я кинулся к ней, отворил ее — и вышел на балкончик без перил, вроде того, который недавно мне снился. На краю того балкончика стоял металлический столбик, увенчанный небольшим пюпитром, на котором то вспыхивали, то погасали разноцветные треугольнички и квадратики. И вот я стоял на той площадочке, а внизу расстилался луг, поросший лиловатыми цветами; дальше начинался лес. Тени деревьев падали на луг, но я не знал, утренние это тени или вечерние. Да это меня и не очень-то интересовало. Я был пьян от радости, что выкарабкался из Храма Одиночества. И даже завывания неведомых тварей, доносившиеся из лесной чащи, не очень пугали меня.

Пусть за невзгодою — невзгода,
Пусть впереди нужда, беда —
Душе всего нужней свобода,
Все остальное — ерунда!

Но пока что я стоял только на пороге свободы, и притом — на очень высоком, ибо находился примерно на уровне четвертого этажа. А стены были гладкие, без всякой рустовки; по таким и самый опытный скалолаз не сумеет спуститься вниз. Время же тем временем шло. Вскоре я приметил, что тени деревьев укорачиваются, значит, на Фемиде сейчас утро. Это, конечно, хорошо,— но что делать дальше?

И вдруг послышалось хрюканье. Надо мной парила странная птица; ее крылья поросли рыжеватой щетиной, и голова оканчивалась не клювом, а неким подобием свиного рыла. Это крупное летучее существо, нисколько не боясь меня, опустилось на балкончик рядом со мной — и уставилось на меня. И тут меня осенила догадка: эта свиноптица может помочь мне. Но это сопряжено с опасностью, я могу разбиться. Однако если я не рискну, мне придется вернуться в свою окаянную камеру. Две боязни: боязнь остаться здесь и боязнь разбиться вступили в прения — и победила первая. Я снял со спины рюкзак и кинул его вниз; так же поступил с топором. Затем лег ничком на каменные плитки балкончика. Но отважиться на действия было страшновато. Я решил считать до тринадцати, авось птица за это время не улетит. Считал я, признаться, очень медленно: хотелось оттянуть приближение решающего мига. Но он все-таки настал.

— Тринадцать! Выручай, хрюшка-матушка! — прошептал я и дрожащими руками схватил свиноптицу за ноги. Раскинув крылья, она в испуге метнулась в сторону и вместе со мной повисла над лугом. Но хоть и широки были ее крылья, однако лететь с таким грузом было ей невмоготу, я тянул ее вниз. И все же она смягчила силу моего удара о землю, стала для меня живым парашютом.

Приземлившись, я отпустил свою спасительницу на волю. С укоризненным хрюканьем взмыла она в высоту, а я, ощупав себя и убедившись, что отделался легкими ушибами, подобрал топор, взвалил на спину рюкзак и двинулся по направлению к лесу. Перед этим я оглянулся, поглядел на Храм Одиночества — и поразился, на какой опасной высоте прилепился к нему балкончик, с которого я спланировал. А ведь решился же!..

Я вам открою правду, так и быть,
И занесу в дальнейшем на бумагу:
Порой мы страх должны благодарить
За то, что он рождает в вас отвагу.

Я шагал по лугу. От цветов исходил тонкий, неземной запах. Стояла теплая, но не жаркая погода — такая бывает в Ленинграде в конце августа. Из леса доносились голоса зверей, но я шел именно туда — ведь теперь только там я мог найти пристанище и пищу. Мне было страшно, но совсем не так, как в Храме. Нынешний мой страх был несравним с храмовым ужасом. На ходу я шептал слова благодарности свиноптице, которая так помогла мне. В тот день я дал себе клятву никогда не есть никакого птичьего мяса. Потом постановил, что хоть я и не магометанин, но к свинине впредь ни разу не притронусь.

23. ВОЛЯ ВОЛЬНАЯ

Я вступил в лесную чащу, в неземные дебри. Но не стану загромождать свое повествование инопланетной экзотикой, это не входит в мою задачу. Когда-нибудь земные ученые побывают на Фемиде и научно опишут все многообразие ее флоры и фауны, я же расскажу здесь только о тех растениях и животных, которые памятны мне в силу особых обстоя-

тельств. И в первую очередь считаю нужным упомянуть о деревьях с идеально круглыми, будто по циркулю вырезанными листьями и с ветвями, отходящими от мощного ствола под прямым углом. Эти деревья я назвал чертежными, ибо они казались выполненными по какому-то мудрому чертежу.

Все более углубляясь в лес, я пересек участок, где лежало много сломанных деревьев различных пород, и понял, что и на этой планете бывают бури и ураганы. Затем вышел на поляну, в центре которой обнаружил несколько довольно высоких кустов; ветки их были усеяны ягодами, похожими на клубнику и весьма аппетитными на вид. Но попробовать их я не смел — вдруг они ядовитые? И тут из чащи послышался свирепый, леденящий душу рев. Я застыл в ожидании появления неведомого зверя, который угробит и сожрет меня. Так простоял я минут пять. Зверь не появлялся, но и страх мой не убавлялся.

Нас томят недомолвки, неясности,
Неизвестность нас сводит с ума,
И порой ожиданье опасности
Нам страшней, чем опасность сама.

Рев послышался снова. На поляну вышло небольшое, размером с овчарку, животное. Оно сплошь было покрыто иглами, а голова оканчивалась хоботом. Слоноёж подошел к кустам, поднял хобот, начал поедать ягоды. Тогда и я сорвал одну — и съел. На вкус — что надо! Мне стало ясно, что от голода я не умру. И еще меня порадовало, что слоноёж, несмотря на его страшный голосище, оказался существом вовсе не страшным. Однако меня слегка обидело, что и он не испуган моим присутствием. «Вот равнодушная тварь,— прошептал я.— Впервые видит Человека — и ни почтения, ни страха!» Но через мгновение мне стало стыдно. Ведь у меня — философия труса, догадался я. Только трусы гордятся собой, когда видят, что кому-то страшны.

Я пересек поляну. У края ее тек ручей. Я зачерпнул ладонью воды, попробовал ее на вкус. Она оказалась вполне доброкачественной. А вот моя физиономия, отраженная в ручье, мне не понравилась: я дико зарос, уже борода и бакенбарды обозначились. Впрочем, я ожидал худшего, я подозревал, что поседел от страха, как тот одиночествовед, которого я сменил в Храме Одиночества. К счастью, седины на себе я не обнаружил.

Возле ручья высилось мощное чертежное дерево, и я решил, что здесь — самое подходящее место для моего временного пребывания. Сбросив со спины рюкзак, я взялся за топор и принялся обрубать нижние ветки. Рубил их не у самого ствола, а с отступом сантиметров в пятнадцать, чтобы получилось нечто вроде лестницы для восхождения на мою будущую жилплощадь. Срубленные ветви я, не жалея усилий, перетащил вверх и уложил на ветви, горизонтально отходящие от ствола. Получилась жилая площадочка; она возвышалась над землей метра на четыре, и это сулило мне безопасность. Свершив сей труд, я направился на поляну, полакомился там ягодами, потом, взяв рюкзак, поднялся в свое гнездышко и разлегся там, как граф. Ветви приятно пружинили подо мной, а уходящая надо мной ввысь крона дерева защищала от лучей фемидского солнца и от возможного дождя. Устроился я неплохо; будь здесь Настя, она оценила бы мою смекалку и озарила бы меня улыбкой № 39 («Нежное одобрение»). А я сразу бы сказал ей, что ее ТОПОР очень помог мне. Позже я пришел к выводу, что иногда самые нелепые на первый взгляд советы и самые ненужные подарки приходят к нам на помощь в трудный час, если они даны нам от чистого сердца. Быть может, душа дарящего, сквозь напластования грядущих дней и событий, предвидит тот миг, когда ее дар обретет для нас спасительную необходимость?

Было еще совсем светло, но я, утомленный делами и переживаниями этого дня, уснул на своем древесном ложе, не дожидаясь наступления ночи. И вскоре убедился, что действие вещества, запрещающего видеть во сне все живое, уже закончилось. Мне приснилось, будто сижу я в ИРОДе за своим рабочим столом и вдруг в открытое окно влетает Главсплетня. «Как это вы на пятый этаж запрыгнули?» — спрашиваю я ее. «Хочу — хожу, хочу — прыгаю»,— отвечает она и кладет на стол миниатюрный прибор, снабженный ремешком, чтобы носить его на руке. Но это — не часы. «Получайте назад свой страхогон,— заявляет Главсплетня.— Директор ИРОДа считает ваше изобретение бесполезным, ненужным, напрасным, бесперспективным». Я удивленно отвечаю этой даме, что никакого «страхогона» я не изобретал, что я впервые слышу о таком приборе. Но она не слушает меня, она берет меня за руку — и вместе со мной выпрыгивает в окно. И вот я в демонстрационном зале ИРОДа. Там идет новое испытание «Юрия Цезаря». Директор усовершенствовал изобретенный им тренажер, добавив к нему еще две гири и кинжал из дамасской стали, от которых тренирующийся должен отважно и ловко увертываться, повышая тем самым свой моральный и физический уровень. Дрожа всем телом, взбираюсь я на тренажер,— и вдруг это мощное сооружение начинает мяукать по-кошачьи, да все громче и громче...

Я проснулся. Я лежал на своей ветвистой постели, и никакой Главсплетни, никакого «Юрия Цезаря». Но мяуканье не прекращалось, наоборот, оно стало громоподобным. Я глянул вниз — и обомлел. Невдалеке от моего убежища стоял космический зверь. Головой своей и расцветкой он походил на нормального земного тигра, но имел шесть ног. Он пристально глядел в мою сторону, и я понял, что мое дело — швах. Правда, до меня ему не добраться (а то он бы уже добрался и съел меня), но если он будет долго дежурить здесь, то я умру на своей жилплощадке от голода и жажды. Мне стало еще страшнее. И все же это был живой страх, страх с надеждой на избавление от страха, а не тот безысходный, стойкий ужас, который душил меня в Храме Одиночества.

Наподобье конфет и цветов,
Наподобье колбас различных,
Страх бывает разных сортов,—
В этом я убедился лично.

24. БУРНАЯ НОЧЬ

И вот настала ночь. Впрочем, «настала» — не то слово. Тьма беззвучно захлопнулась надо мной, и сквозь просветы между ветвями мне стали видны созвездия, которых никто из землян до меня не видывал. Но мне было не до светил небесных. Тигр не покидал своего поста и время от времени разражался громогласным мяуканьем. Тем временем на небо выкатилась тамошняя луна; была она куда больше земной и, пожалуй, вдвое ярче. В ее зеленоватом свете зверь казался еще больше и страшнее. Разлегшись на поляне, он глядел в мою сторону и иногда облизывался, предвкушая сытный ужин. Впрочем, теперь предвиделся уже не ужин, а завтрак. Луна незаметно ушла с небес, настала недолгая тьма, потом стало светать.

Светать-то светало, и довольно быстро, но в природе готовилось что-то недоброе. По небу торопливо бежали мелкие разрозненные облака, поднялся ветер, тревожно зашелестели листья на моем чертежном дереве. Вскоре облака сгустились, теперь над лесом висела туча. Нет, не туча — а прямо-таки туша какая-то тяжелая. Ветер усилился, начался ливень. Тигр покинул поляну и укрылся под ближайшими деревьями. Я накрылся плащом и вцепился в ветки, чтоб меня не унесло ветром, который стал ураганным. Из чащи слышался хруст, тяжелые удары — это буря-дура калечила, ломала ветки и стволы. Но мое дерево не подвело меня. Оно раскачивалось, как тростинка, гнулось в три погибели, но не ломалось.

А через час — ясное небо и полное безветрие. И в наступившей тишине я услышал вопли тигра. Нет, не мяуканье, а именно вопли, очень жалобные. Я поглядел в ту сторону и сквозь просветы в ветвях разглядел, что зверюга с места сойти не может. Дерево, под которым он пережидал бурю, сломалось от порыва ветра — и хвост ему защемило. Сперва я обрадовался — так тебе и надо, шестиногий агрессор! Но время шло, а он все выл и выл, и мне стало жаль неудачника. Мне захотелось помочь ему, однако покинуть свое убежище я боялся. Часа полтора промаялся я в нерешительности, потом все-таки уговорил сам себя быть похрабрей и, захватив топор, спустился из своего скворечника-курятника на землю. Подойдя к воющему бедолаге, я погрозил ему топором,— мол, зарублю, если свой хищный характер проявишь, и стал осторожно обрубать кусочки дерева вокруг его хвоста. И вот зверь на свободе. Хвост, правда, оказался переломленным, кривым — и, вероятно, навсегда. Но главное — воля вольная. Тигрюга посмотрел на меня и удалился в чащу, все еще жалобно завывая.

Помог я Кривохвосту просто из жалости, не ожидая никаких выгодных последствий, но в дальнейшем выяснилось, что и инопланетным тиграм не чуждо чувство благодарности.

Взаимопомощь дорога
Равно и людям, и зверюгам.
Ты от беды спаси врага —
И станет он надежным другом.

25. ПЕРЕМИРИЕ

Тигр возле моего чертежного дерева больше не появлялся, да и вообще никаких опасных зверей поблизости не видно было. В течение двух суток я безбоязненно прогуливался возле своего самодельного жилья, вдоволь лакомился питательными ягодами. Но вскоре спокойствие мое было нарушено.

Я знал: ничто не вечно под луной,
Теперь я знаю: все на свете схоже —
И под чужой луной, под неземной,
Для смертного ничто не вечно тоже.

На поляну, где я кормился, приперлось вдруг целое стадо большущих жвачных

животных. Их туловища оканчивались не хвостами, а змеями, очевидно, для обороны от хищников. Змеи-хвосты извивались, зорко поглядывая по сторонам, и порой шипели. Из своего убежища я наблюдал, как эти змеехвостые буйволы, распахнув пасти, жуют ягодные кусты. Когда прожорливое стадо удалилось, я убедился, что мне ни единой ягодки не осталось. Настал для меня острый продовольственный кризис, и продолжался он двое суток, ибо удаляться далеко от своего жилища я не решался, опасаясь стать жертвой тигров. На третьи сутки страх умереть от голода и страх нарваться на голодного зверя вступили в борьбу — и победил первый. Я направился вниз по течению ручья на поиски новой базы снабжения.

Путь к сытости порою жуток,
Но кушать хочется — и вот
Наш вождь, ваш командир — желудок
Бесстрашно к цели вас ведет.

Я прошел километра три, но ягодных кустов не увидел. Однако вскоре я нашел пищу, и притом очень питательную. Выйдя на просторный луг, я обнаружил, что на краю его растут деревья, ветви которых сплошь покрыты гороховыми стручками. Подойдя к одному из этих гороховых деревьев, я нагнул ветку и вскоре понял, что инопланетный горох ничуть не хуже нашего земного. В безвредности же этого продукта убедили меня живые существа, которые при мне кормились им. Эти небесные создания сами по себе весьма миниатюрны, но спина каждого из них увенчана продолговатым баллоном из полупрозрачной кожи; баллон этот, как я догадался, служит вместилищем желудочных газов и позволяет зверьку держаться в воздухе. Крыльев у этих живых дирижабликов нет, свой полет они регулируют при помощи веерообразного хвоста. Выбрав ветку, где стручки поаппетитней, зверюшка застывает в воздухе и, вытянув длинную шею, приступает к приему пищи.

Рискуя обозлить ханжей, осмелюсь высказать предположение, что в будущем, когда человечество исчерпает природные энергетические ресурсы, оно задаст себе вопрос: а не может ли и человек подняться в воздух за счет перевариваемой им пищи? И, быть может, уже живет и здравствует неведомый изобретатель, некий гороховый Дедал, замысливший осуществление этой идеи. Когда он предложит свой проект человечеству, то на первых порах будет поруган и осмеян,—

Ему ответят: «Это бред!
Попал безумью в плен ты!»
А после, через много лет,
Воздвигнут монументы.

Но я отвлекся. Вернусь к тому, что, стоя под гороховым деревом, я срывал с его ветвей стручки и с аппетитом поглощал их содержимое. Я ел, ел, ел — и не мог насытиться. Но вот наконец настала блаженная минута: я почувствовал, что больше ни одной горошины съесть не могу. И тут я глянул в сторону и обомлел, затрясся мелкой дрожью. И было от чего! На этот самый луг из лесной чащи вышли два тигра. Одного из них я сразу узнал,— то был Кривохвост, мой знакомец. Второй экземпляр был поменьше, поизящней, я сразу догадался, что это — тигродама, законная половина Кривохвоста. Увидя меня, она свирепо замяукала, спружинилась — и у меня возникло убеждение, что сейчас для меня наступит спокойствие № 10. То есть они сожрут меня за милую душу. Но тут послышался второй голос — это Кривохвост замяукал... И вдруг вижу: мяучит он не в мою сторону, а в сторону своей подруги, склонясь к ее пушистому уху. И мяуканье у него не агрессивное, а с какими-то лирическими переливами. Потом оба удалились.

На следующее утро я опять пришел туда питаться. Жую горох, и вдруг — новая встреча: из чащи выходит тигрище. Не Кривохвост, а другой. Остановился шагах в десяти от меня — и победоносно облизывается. Ну, думаю, не вернуться мне на Землю-матушку. А зверь остановился и вроде бы призадумался, вспоминая что-то. Потом мотнул головой, еще раз облизнулся на прощание — и мирно ушел в лес. У меня создалось впечатление, что он и съел бы меня, да ему кем-то дано руководящее указание не трогать этого аппетитного незнакомца. Ясное дело, это Кривохвост заботу проявил, шефство надо мною взял, разъяснил своим собратьям по когтям, что питаться мною — грех.

С того дня я перестал бояться тамошних зверей. Я вдруг осознал, что я для них — парень свой в доску.

26. ВЕЩИЙ СОН

Погода на Фемиде стояла отличная, дачная; пища была однообразная, но питательная; мои ручные часики трудились исправно, приближая час моего возвращения на Землю. Казалось бы, живи, надейся и радуйся. Но новая разновидность страха заползла в мой ум — то была боязнь невозвращения. Мне стало казаться, что Юрик никогда не прилетит за мной, что Юрика в в живых уже нет, что я здесь — один навсегда. А если так — то стоит ли жить? Стоит ли дожидаться того дня, когда я в назначенный час приду к подножию Храма Одиночества, буду там ждать прибытия моего друга, и никто не спустится ко мне с неба? Боязнь стать космическим невозвращенцем преследовала меня наяву и во сне.

Настали двадцать седьмые сутки моего пребывания на Фемиде. Очень памятные для меня сутки! В ту ночь мне приснился странный сон. Странный тем, что, проснувшись, я позабыл его содержание, ведь обычно свои сновидения я запоминаю очень точно. А тут я помнил только то, что вначале мне было почему-то очень, очень страшно, а потом вдруг стало совсем-совсем не страшно, и проснулся я от радости, от желания поделиться с Настей счастливой вестью. Но Насти рядом не было, она жила за тридевять небес отсюда. И что за радостная весть — я не помнил. Вокруг же ничего радостного — все та же самая осточертевшая Фемида...

Я спустился к ручью, умылся, потом позавтракал запасенным заранее горохом, потом стал шагать взад-вперед по поляне, пытаясь припомнить, что же такое замечательное я видел во сне. И вдруг кое-что вспомнил. Вспомнил, что сон мой заканчивался тем, будто я сижу на стволе того сломанного бурей дерева, которое тигровый хвост прищемило; сижу там, и в левой руке у меня записная книжка, а в правой — авторучка. И вот теперь — уже вполне наяву — я направился к этому дереву, сел на его шершавый ствол и вынул из кармана своего потрепанного пиджака записную книжку и авторучку. И тут вспомнил то самое главное, что видел во сне,— и сделал короткую запись. Свершилось то, о чем я тайно мечтал всю жизнь: я открыл Формулу Бесстрашия.

Осчастливленный самим собой, опьяненный радостью, сидел я на древесном стволе. В уме моем возникли гордые строки:

Расступитесь, прохиндеи,
Я великим стать могу —
Драгоценные идеи
Трепыхаются в мозгу!

И вдруг послышался зловещий шум. В просвете между деревьями возникло длинношеее рогатое чудище. Оно приближалось... Быстрее зайца устремился я к чертежному дереву, быстрее белки поднялся в свое высотное жилище — и, дрожа от страха, стал ждать дальнейших событий. Меж тем животное вышло на поляну, и теперь я разглядел его получше. У него длинная жирафья шея, оленьи рога и четыре уха, одна пара на голове, другая — возле хвоста. Оно принялось поедать траву, и мне стало ясно, что для меня — опасности нет.

Уважаемый читатель, не удивляйтесь моему испугу! Да, я открыл Формулу Бесстрашия, но ведь она нуждается в техническом воплощении; на ее основе я должен сконструировать СТРАХОГОН — тот самый прибор, наименование и внешний вид которого подсказала мне Главсплетня в одном из моих предыдущих сновидений. А пока этого прибора не будет, я, владелец Формулы Бесстрашия, по-прежнему буду трусоватым человеком. Обидно, но факт.

27. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

В назначенный срок я явился на лужайку возле Храма Одиночества. Звездолет прилетел вовремя, меня сразу с него увидели, и ладья-лифт, в которой восседал мой друг, приземлилась возле меня. Юрий был ошеломлен тем, что я удрал из Храма. Когда мы поднялись в звездолет, я соврал своему спасителю, что Храм покинул не из страха, а потому, что соскучился по природе. Затем коротко поведал ему о зверях, которых мне довелось видеть.

— Узнаю твой героический нрав! — воскликнул наивный иномирянин.— Ты не по природе соскучился, тебе захотелось свое земное бесстрашие проявить! Ты намеренно рисковал! Я не должен был высаживать тебя на Фемиде! Я — полуубийца! Я обалдуй, олух, остолоп, охламон, обормот, очковтиратель, обидчик...

— Оборотень, охальник, опричник, отравитель, обыватель, обжора,— продолжил я.

— Спасибо, Серафимушка! Как приятно слышать задушевные земные слова! Слушаю — и уши радуются! — растроганно произнес Юрик.— А теперь спеши в кают-компанию, обедай вовсю! Ты ведь изголодал себя.

— Прежде всего я должен побриться,— заявил я.— А то твои однопланетники с опаской на меня поглядывают.

В салоне звездолета кроме тех подкидышей, которые, подобно Юрику, возвращались на изучаемые планеты, находилось четверо отцов с малолетними сыновьями — будущими подкидышами. Я спросил Юрика, не страшно ли этим папашам за своих детей.

— Не страшно, не ужасно, не жутко, не боязно,— ответил мой друг.— Детишек подбросят не к каким-нибудь живодерам, живоглотам, жуликам, жадинам, жмотам, а к заранее разведанным добрым иномирянам. И учти: подбрасывают только мальчиков, девочки менее выносливы и более стыдливы. А ведь есть планеты открытого секса. Там...

— Я человек женвтый, меня такие бардачные планеты не интересуют,— целомудренно прервал я иномирянина.— Ты лучше расскажи, как твои сердечные дела движутся.

— Дела великолепны! Свадьба сбылась! Я теперь вполне женатый человек! Я на Землю в последний раз лечу! — восторженно сообщил Юрик и пригласил меня слетать на его планету, когда он будет туда возвращаться; обратно на Землю я смогу вернуться рейсовым звездолетом. Я поблагодарил его за это дружеское приглашение и добавил, что обдумаю его, но не произнес строк, которые у меня возникли в этот миг:

Кот в подвале встретил мышь,
Пригласил ее в Париж.
Мышь ответила ему:
— Нам парижи ни к чему.

Когда я вспоминаю свой обратный полет на Землю, он кажется мне очень коротким. Это потому, что во время этого полета я обращал очень мало внимания на все, что окружало меня, ибо моя голова была занята разработкой проекта СТРАХОГОНА. Миниатюрный прибор должен иметь круглую шкалу с двумя стрелками. Черная стрелка показывает человеку степень его испуга или ужаса; зеленая стрелка показывает степень фактической опасности. Благодаря этому владелец прибора получит возможность даже в самых экстремальных условиях действовать в пределах разумной осторожности. Ведь часто мы, люди, преувеличивая степень опасности, впадаем в необоснованную панику и ведем себя так, будто нам угрожает неизбежная гибель. И этот слепой страх нередко приводит людей к гибели фактической. СТРАХОГОН поможет людям при самых неожиданных обстоятельствах сберечь свою нервную систему, самоуважение, а иногда и жизнь.

Однажды, когда я, взяв записную книжку, принялся набрасывать некоторые детали будущего прибора, Юрик поинтересовался, чем это я занят. Мне почему-то не хотелось, чтобы он знал о моем открытии, но и врать не хотелось другу. И я изложил ему суть дела. Он был восхищен. Он заявил, что и его однопланетникам СТРАХОГОН мог бы иногда пригодиться, но, к сожалению, подкидыши имеют право заимствовать на чужих планетах только гуманитарные и кулинарные знания, но отнюдь не технические. В заключение он сказал, что ему понятно, почему я додумался до своей формулы: я хочу, чтобы все земляне стали такими же отважными, как я. Возражать Юрику я не решился.

Мы благополучно приземлились на крыше моего родного дома. По земному времени наше отсутствие равнялось десяти минутам. Первым делом я заглянул к своим родителям. Их удивило, почему это я с рюкзаком и топором,— и я соврал им, что отправляюсь на субботник. А когда мать спросила, почему у меня такой радостный вид, я пробормотал что-то невнятное. Да, меня прямо-таки шатало от радости, что я опять на Земле. Когда мы с Юриком вышли из подъезда (друг решил проводить меня до трамвая), какая-то старушка, взглянув на меня, молвила укоризненно:

— С утра надрался, гопник!

— Голодранец, грязнуля, головотяп, гордец, глупец, греховодник,— восторженно продолжил Юрик.— А что еще? Подскажи, Фима!

— Грабитель, графоман, головорез, громила, гужбан, горлодер, гангстер... Кажется, все.

После комфортабельного звездолета странно было ехать в дребезжащем трамвае, а в душе пела радость: сейчас увижу Настю! И вот моя квартира, кругом — никакого космоса. Настя отворила дверь и озарила меня улыбкой № 8 («Я тебе рада!»). А я первым делом выложил на стол топор, а затем честно вернул ей 200 рублей, которые, как помнит уважаемый читатель, она мне вручила перед моим отлетом в надежде, что я обменяю их на инопланетную валюту и куплю каких-нибудь неземных дамских шмоток для пополнения ее гардероба. Сперва Настя огорчилась тому, что это коммерческое мероприятие не состоялось, но когда я рассказал ей о своих космических мытарствах, она зарыдала. Затем на лице ее возникла улыбка № 47 («Радость сквозь слезы»), и она заявила, что я, слава Богу, привез из этого путешествия самое главное — самого себя, и взяла с меня клятву, что впредь я ни на какие планеты летать не буду. Эту клятву я ей дал очень охотно.

Когда я сообщил Насте о Формуле Бесстрашия и о СТРАХОГОНЕ, она, к моему удивлению, отнеслась к этому без особого восторга. Она сказала, что такой прибор очень бы мне пригодился, но ведь его так трудно осуществить практически... В этот момент из-за стены послышался шум; соседи приступили к музыкальной тренировке. Настя сочувственно посмотрела на меня, но я был спокоен. После пребывания в Храме Одиночества я стал бояться тишины. Теперь всякий шум действовал на меня успокоительно.

Пусть ржут жеребцы и кобылы,
Пусть мучает скрипку сосед —
Хочу, чтоб душа позабыла
Безмолвие дальних планет!

28. ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Со дня моего возвращения на Землю прошло немного времени, но мне кажется, что в Космосе побывал я очень-очень давно, и вспоминается мне эта окаянная Фемида не то как сон, не то как бред. А дома у нас тишь и благодать. Настя утверждает, что характер у меня стал получше,— хоть и прежде мы с ней ссорились довольно редко. Не так давно я купил в комиссионке подержанный, но исправный телевизор, и по вечерам мы втроем смотрим всякие программы. В особенности довольна этим Татка. Она недавно сказала, что теперь у нас все как у нормальных.

Весь свой отпуск я провел дома. Чертил не покладая рук, думал не покладая головы — и в конце сентября вручил директору ИРОДа чертеж СТРАХОГОНА и подробнейшую пояснительную записку. Через неделю после этого директор вызвал меня и сообщил, что идея сама по себе весьма интересна, но не вполне соответствует профилю ИРОДа, да и технически трудно осуществима. Однако в дальнейшем институт, возможно, займется моим изобретением вплотную.

Меж тем ироды не дремлют. В отделе бытовой химии создано съедобное мыло, которое очень пригодится не только в туристских походах, но и в быту. Сотрудники парфюмерной подсекции разрабатывают рецептуру духов, которые будут называться «Времена суток»; запах их меняется четырежды в течение дня. Дизайнеры ИРОДа готовят новинку — юбку с рукавами. Главсплетня (с которой я с недавних пор нахожусь в товарищеских отношениях) утверждает, что когда эти юбки выбросят в продажу, за ними будут вдоль и поперек Невского дамские очереди стоять. Увы, та же Главсплетня на днях принесла весть, что высшее начальство почему-то недовольно ИРОДом и даже подумывает о ликвидации нашего института. Быть может, это объясняется участившимися нападками прессы на деятельность ИРОДа?

* * *

Вчера Юрий Птенчиков навеки покинул Землю.

Я проводил своего друга до моего родного дома, с крыши которого он должен был отбыть на свою планету. Но на крышу с ним подниматься не стал, простился с ним на нашем чердаке; а поскольку там никаких ангелов нет, расставальный наш разговор происходил наедине.

— Ты мой спаситель, тебя я всегда помнить буду как героя! — воскликнул сентиментальный иномирянин.

— Нет, Юрик, никакой я не герой,— признался я.— Если бы я героем был — ты бы не хромал.— И тут я честно рассказал ему, как дело было, как долго не мог я решиться прийти ему на помощь.

— Все равно — для меня ты герой! И я знаю, как смело ты себя в своем НИИ ведешь, как с критикой выступаешь.

— Юрик, это — не смелость храбреца, а нахальство тайного труса, рассчитанное на чужую — еще большую — трусость. А когда я заранее знаю, что мне могут отпор дать,— я тихо в сторонке стою.

— Фима, один наш древний мудрец так выразился: «В каждом герое прячется трус, и в каждом трусе дремлет герой». Тебе надо понять себя. Ведь ты решился побывать на Фемиде — разве это не отважный поступок?!

— Это я не отвагу, а лихачество показное проявил. Если бы я заранее знал, какой ужас на меня на этой сволочной Фемиде навалится,— черта с два бы на это решился... Правда, быть может, благодаря этому ужасу я нашел Формулу Бесстрашия.

— Фима, а скоро твой прибор будет запущен в массовое производство?

— Ишь чего захотел! Скоро только сказка сказывается... Проект пока все еще у директора, у Герострата Иудовича в шкафу лежит.

— Серафим, так ты предложи свой проект другому НИИ.

— Юрик, а если он и там в долгий ящик ляжет? Может, в другом НИИ тамошний директор, какой-нибудь Вампир Люциферович, его под сукно положит. А наш директор наверняка обозлится, что я через другое ведомство действовать хочу,— и в должности меня понизит, а у меня зарплата и так невелика, полторы сотни ре. А впереди пенсия маячит, и учти, что у нас на Земле пенсия по зарплате начисляется. Мне надо смирно себя вести. Жизнь — это мост без перил, надо идти посередке, не забегая вперед, а не то тебя в реку столкнут.

— Серафим, что же это получается?! Ты извини, но ведь ты философию трусости рекламируешь! Из твоих словес вытекает, что мелкий личный страх не разрешает тебе бороться за всеобщее бесстрашие — и за твое личное тоже! Я ошеломлен, озабочен, обеспокоен, обескуражен, озадачен...

— Обманут, одурачен, околпачен,— присовокупил я.

— Фима, для меня ты все равно герой! И спасибо тебе за помощь в освоении строгих слов земных! Благодаря тебе я возвращаюсь на родную планету словесным богачом!

— Вот от этой похвалы не отказываюсь,— молвил я. Затем мы дружески обнялись — и расстались навсегда.

Никель Трейгер

Но дай удел: да вскроем жилы,
И все тарелки приготовь,
Пускай сквозь нас — неудержимо —
Сквозь поколенья — эта кровь;
Ей невосстановимо литься,
Но мы увидим в краткий миг,
Как от тепла ее дымится
Земля, родящая тростник...

1969

* * *

Вскрыла жилы... Неостановимо,
Невосстановимо хлещет кровь...
М. Цветаева

И был Медон. Была клеенка
На краешке стола рыжа
От жара, от царапин тонких
Простого хлебного ножа;
На рынок поутру ходила,
Брала картошку и морковь;
И кляксой на столе — чернила:
О — «вскрыла жилы... хлещет кровь...»
Неудержимо, невосстановимо...
Звалась Марина.

И так смертельно-бесшабашно,
И — хоть кричи, хоть не кричи —
Все было пусто так и страшно
В безмолвье, в черноте, в ночи;
И клякса крови красной этой
На небе в тот январь седой
Стояла бедственной кометой
Иль вифлеемскою звездой;
Тарелки сонные звенели,
Рассвет был на ветру багров...
А мы лежали в колыбели.
Тем тростником, впитавшим кровь.
Уже всамделишной, реальной —
Зальется скоро полземли,
И городок провинциальный,
Как счет пророчества — вдали;
— Кого и от чего — спасли
Стихи и раньше, и доныне?
И прах неузнан у земли —
В чертополохе ли, в полыни...

И мы картошку чистим утром,
А звезд не видим: ночью — спят...
— Дай, Боже, сердцу — в пятьдесят
Всевыносящим быть и мудрым!

* * *

«Откройте глаза, распахните уши!» —
О чем говорят языком скуповатым —
«Имеющим уши, имеющим души!» —
Таблички из глины царства Урарту?

Что кто-то кому-то деньгами обязан,
Жилища меняют: въезжают-съезжают,
Что старый мир распадается в связях,
Что дети родителей не почитают...

Что дети — неблагодарные дети —
Любимы любовью неопалимой,
Что люди — увы — подвержены смерти,
Малы перед ней, велики и ранимы...

...Историк нанизывает примеры,
Сдувая тысячелетнюю пыль,
И слушают лекцию пенсионеры
(Нева за окнами зала, и шпиль...).

Потом, в коммунальных коробках зажатые,
Все думают — нынешние — про те
Обменные иски в царстве Урарту.
И судьбы детей. И судьбы детей...

* * *

Были в молодости миги,
Когда мы «решали» страстно:
Быть счастливой — не-великой
Иль великой, но несчастной?

Одного в своем задоре
Не могли тогда помыслить:
Ни судьба от нас, ни горе
Не всегда вольны зависеть.

Вот и мне — ненастной тучей
Выпадает: не-красивой,
Не-заметной, не-везучей,
Не-великой, не-счастливой...

Никель Давидовна Трейгер — поэт. Публиковаться начала в 1954 году. Первая книга стихов — «Живая спираль» — увидела свет в 1966-м. Живет в Ленинграде.

Федот Сучков

История Алпатьева

Повесть о вертухае

Федот Федотович Сучков — московский прозаик, поэт, драматург, а еще — скульптор, автор памятника В. Шаламову на Троекуровском кладбище, мемориальной доски памяти А. Платонова на Тверском бульваре и портретов выдающихся мастеров слова — Бунина, Некрасова, Тургенева, Домбровского, Солженицына, Юрия Казакова, Всеволода Иванова, Павла Васильева.

На его долю выпало — отгрубить в отдаленных местах тринадцать лет... И несмотря на свой возраст (родился в 1915 году), Федот Федотович работает почти круглосуточно. Вот что он рассказывает о себе:

— Я приехал в Москву из Сибири в 1938 году. Приехал учиться и попробовать себя в словесности. Но продержался в Литературном институте имени Горького (куда поступил в 39-м году) только до третьего курса. 5 сентября 1942 года ночью меня увезли на Лубянку, где продержали, если не ошибаюсь, трое суток (дни исчислялись по несъеденным птюхам — ломтикам хлеба). На четвертые сутки из Лубянской цитадели меня перебросили в Лефортовскую тюрьму. Последующие «университеты»: Бутырки (камера девятнадцать), Котласские лагерные пункты и затем 1-е лаготделение Интинского угольного бассейна в Минлаге... Как видите, «учеба» в «Академии им. Ежова — Берии» несколько подзатянулась. Так что в Москву я вернулся, пройдя через ссылку, через три пятилетки. И что меня удивило больше всего по возвращении в Литинститут, это слова архивариуса о том, что я, Сучков Федот Федотович, числюсь, оказывается, студентом третьего курса и меня из института не исключали...

Говорят, Анна Андреевна Ахматова, когда ее спросили, за что посадили известного ей человека, вспылила и резко ответила: «Да неужели вы не понимаете до сих пор, за что сажали честных людей?!»

— Я числился в течение всего срока «осужденным» по 10-му и 11-му пунктам 58-й статьи, то есть за антисоветскую агитацию в компании своих сокурсников — Ульева и Фролова. Извинительная бумага из Прокуратуры СССР о совершившейся когда-то судебной «ошибке» пришла в Удерси, где я отбывал ссылку только в конце 1955 года. За тринадцать лет, проведенных в райских кущах Ежова — Берии, мне выплатили после реабилитации двухмесячную стипендию — 300 рублей дореформенными деньгами.

Историю лагерного охранника Алпатьева Ф. Ф. Сучков написал в 1964 году. Это было время, когда солженицынского «Ивана Денисовича» прочитала уже вся страна. Хрущев с высокой трибуны величал автора «великим писателем земли русской». Александр Исаевич чуть-чуть не получил Ленинскую премию...

Но потом «оттепель» кончилась. И повесть Ф. Ф. Сучкова пролежала у него в столе еще четверть века...

Такая вот судьба.

Приговор окончательный,
обжалованию не подлежит...
Из дела 2541—1498

Насмешка над человеком достигла
цели: он перестал быть серьезным.
Из частного письма

1

Только раз ему довелось сопровождать заключенных. Все остальное время конвойное начальство использовало его на вышке по охране рабочей зоны, на хозяйственных работах — он мыл полы, ремонтировал прогнившие тротуары, работал на проверке вагонов с углем.

Больше всего ему не нравилось возиться на пульманах. Эту работу не любили и другие стрелки дивизиона. Они не терпели запаха угля, их тошнило от угольной пыли, а глыбы с кристаллическими срезами досаждали так, что их ненавидели, как классовых врагов...

Однако сильнее угля конвоирам опротивели железные прутья, которыми они прошуровывали каждый вагон. «Прошуровка» вызывалась боязнью начальства — как бы вместе с углем не «оттартать» на юг решившего улизнуть зэка. Он мог спрятаться под углем в сколоченном из горбыля ящике и пропилить в удобное время на нужной станции нижний настил. Об этом говорило начальство на каждом сборе; об этом напоминали при выходе на работу.

Когда Алпатьева вывели проверять вагоны впервые, он усомнился, что ему удастся проколоть гору угля насквозь — до пола. А прокалывать уголь нужно было вдоль всех стен и через каждый метр по средней линии. О неприятности нарваться на глыбистый уголь он слышал не раз.

— Едрена мать! — сказал ему взводный в первый час работы.— Когда с бабой-то возишься, небось пытаешься до нутра доехать... Суй, как другие, до самого кольца на щупе!

«Прыткий ты дюже,— подумал Алпатьев.— Попробовал бы сам, чем других учить...»

Взводный, словно понявши упрек бойца, взял щуп и воткнул его на полметра в податливую массу. Потом резко повис на нем. Прут стукнулся о дно вагона.

Алпатьев повторил прием командира. Но легкое тело его только повисло в воздухе.

— Думать надо головой, когда повисаешь,— сказал взводный.

Алпатьев молчал, поскольку был уверен, что думать чем-нибудь другим никогда не удастся.

— Попотеешь — одолеешь,— наставительно произнес командир.— Этот пульман за тобой. Ты отвечаешь за него.— И перегнал стрелков на соседние три пульмана.

К обеденному перерыву Алпатьеву стало казаться, что он многокилометровым стержнем пытается сквозь толщу земли достать до мантии Махравичича, о которой вычитал в «Технике — молодежи». Тупые удары о пол вагона отдавались в его животе, а мозоли на сгибах пальцев источали на рукавицы липкую жидкость.

— Освоил? — спросил взводный, когда Алпатьев становился в строй.— После обеда вместе с Гнушиным останешься в казарме.

* * *

Пульманы тянулись цепочкой. На фоне вечернего неба они представлялись гигантскими сдвоенными кубами. Ничего более огромного Алпатьеву видеть не приходилось. Держась за палку, продетую в ушки бачка с известью, он смотрел на вагоны так, как будто впервые их видел.

С другой стороны бачка, в ногу с Алпатьевым, двигался Гнушин. Березовый дрын, на котором покачивался бачок, медленно прогибался.

— Прольем известь,— сказал Алпатьев.

— Хрен с ней, с известью! — ответил Гнушин.

— Не хрен...— Алпатьев замялся. Определить — что же именно с ней, с известью, он не мог.— Прольем,— сказал он,— придется возвращаться.

Было бы куда разумней заменить дрын. Но на снежной, вылизанной ветрами равнине не чернело ничего подходящего.

— Возьмемся за ушки, триста метров осталось,— нашелся Алпатьев.

Стрелки остановились. Гнушин выдернул палку и отбросил ее в сторону.

— Всегда так,— сказал он.— Что неудобней, тяжелей и не вовремя, то достается нам.

Алпатьев не ответил. Шагая по натоpенной дороге, он представлял себя самого, взобравшегося на хребтину пульмана. Невзрачная фигура его, с конусным ведром и веткой стланика в руках, обрызгивала известью не видное с земли «черное золото»... На соседнем вагоне то же самое делал другой человек, более крупный. Они не походили ни на священнослужителей с кадилами, ни на поливальщиков нежных парниковых растений.

«Чудно́,— думалось Алпатьеву.— И работа вроде бы легче, чем рубить из проволоки гвозди, и повеселей, чем топтаться на вышке...»

— А что будет,— спросил он вдруг,— если по ошибке обрызгаешь известью не всю поверхность?

— Гауптвахта будет,— ответил Гнушин.

Обработка известью верхнего слоя угля на загруженных вагонах была тщательной. Начальство конвойных войск придавало ей особое значение. Ни один беглец, забравшийся на пульман, не мог бы проехать на нем, не выдав своего маршрута. Пульманы проверялись на всех больших станциях.

Обо всем этом Алпатьев знал не хуже Гнушина.

— Гауптвахта — ерунда,— сказал он.— Говорят, на ней можно выспаться. Вот если засудят...

— Могут,— согласился Гнушин.

Стрелки остановились у среднего — тринадцатого от голоаы — вагона.

— К полуночи закончим,— сказал Гнушин.— Ты кончишь головным, а я — хвостовым.

— Ветер начинает,— возразил Алпатьев.— Не справимся, поди, и к часу...

* * *

Весь путь от состава до известкового склада они проделали молча. Алпатьев продолжал начатый им еще на пульманах подсчет — сколько бесполезных операций приходится выполнять из-за зэков. Он насчитал двадцать девять, когда Гнушин спросил, почему он, Алпатьев, такой щупленький человек, заканчивает свои работы скорее напарников.

— Я работаю не спеша,— ответил боец. И снова стал думать, что не будь заключенных, всех этих изменщиков родины, диверсантов и шпионов окаянных, не было бы конвойных войск, гулага, сторожевых собак, собачников, не надо было бы стоять на вышках, тратить на них доски, расходовать металл на щупы, без пользы переводить известь.

Мысли Алпатьева напоминали полую воду, добравшуюся до луговых низин... На тридцать восьмой «операции», необходимой для содержания зэков, Алпатьев подумал: а нельзя ли для пользы дела не иметь заключенных вовсе, ликвидировать лагеря и тюрьмы. Об этом он спросил Гнушина.

— Будь я наиглавнейший в государстве,— ответил Гнушин,— я бы всех преступников расстреливал из мелкашки, чтобы металла поменьше тратить.

— Ну, махнул ты,— сказал Алпатьев.— И на такие-то пули свинца, поди, не хватит...

* * *

Ночная работа помешала Алпатьеву и его напарнику Гнушину пойти на торжественный вечер, посвященный семидесятилетию со дня рождения Сталина. Вечер проходил в поселковом клубе. Собрались бойцы и офицеры дивизиона, поселковое начальство, представители вольнонаемного состава — начальники шахт, инженерно-технические работники, служащие. С обстоятельной речью выступил помощник командира дивизиона по политической части. Он сказал, что человеческое счастье можно рассматривать с точки зрения влюбленного человека, добившегося взаимности, и, например, с позиции хорошо потрудившегося коллектива. Но как бы ни был счастлив человек по той или иной причине, он счастлив не вполне, если не является частицей отряда, реализующего гуманизм нашего учения. «Дело Иосифа Виссарионовича — в каждом из нас,— закончил он речь свою,— и поэтому мы самые счастливые...»

О речи замполита всех стрелков, находившихся в ночь на 21 декабря на проверке вагонов, информировал политрук роты. Разница была лишь в том, что та речь все время прерывалась аплодисментами, а пересказ аплодисментов не требовал.

Алпатьев, Гнушин и остальные бойцы слушали политрука молча. Правда, два стрелка чуть поаплодировали, когда политрук повторил переданные по московскому радио стихи, прочитанные А. Твардовским на торжественном вечере в Кремле.

Есть в мире сила неподкупных слов,—

декламировал политрук, подражая Левитану,—

Но чувства есть, которым в слове тесно.
Есть на земле народная любовь —
Такая, что не выразить словесно.

Ода Сталину заканчивалась так:

За все, за все примите наш поклон,
Как сердца долг, как знак любви народной;
От всех республик Родины свободной,

От всех свободных нацяй и племен —
От всех, от всех сыновий вам поклон...

После информации Алпатьева, Гнушина и других бойцов послали за очередной партией заключенных.

* * *

Пересыльный пункт, расположенный на обширном бугре, был виден на расстоянии пяти километров. Алпатьев рассматривал ряды бараков, низких и длинных, похожих на парниковые сооружения. Внимательный глаз определил бы, что перед ним не просто населенный пункт, а место содержания заключенных. Эта особенность, праада, свелась бы на нет, если бы к въездным воротам не стекались ручейки межбарачных дорожек и не было мертвого ограждения.

Почти у самой пересылки стрелки брезгливо отвернулись от саней, в которых под темным одеялом лежал мертвый с биркой, привязанной за большой палец правой ноги. Алпатьев успел заметить на ней выведенный химическим карандашом номер «С-368».

— В правильном направлении конвоируете! — крикнул Гнушин, кивая надзирателю, сопровождавшему покойника.— Верно говорю? — Он ударил Алпатьева, как делал это обычно, по левому плечу. Алпатьев сжался и — чего не было прежде — долго чувствовал, что левая половина тела его стала как будто короче правой.

— Ты, смотрю я, звереешь, Гнушин! — сказал он.

Ефрейтор в летах, старшо́й конвоя, посмотрел на Алпатьева. Стрелки заговорили о ритуале захоронения. У христиан на могилах кресты, у мусульман — камни с надписями, у евреев иудейской веры — шестиконечные звезды, а у зэков — колышки с номерами.

— Все это временно, форму не отыскали,— сказал стрелок с грузинскими усиками.

— По Сеньке и шапка,— не согласился старшо́й.— Все правильно. Номера дождь слижет, колья черви съедят...

Сквозь решетчатые ворота Алпатьев уаидел колонну заключенных, подтянутую к вахте для выпуска из зоны. Зэков было десятков шесть-семь, они переступали с ноги на ногу, вертели головами, очевидно, радуясь, что сейчас их примут под свое начало новые люди, и карантинная пересылка — будь она неладна! — останется позади.

Минут через десять бойцы заняли свои места, подковой к въездным воротам. Утоленко, ефрейтор в летах, принял первый формуляр из рук урчиста [1] пересылки, и начался прием этапа на шахты.

— Авраамов! — выкрикнул ефрейтор.

— Владимир Владимирович,— ответил из-за ворот пожилой мужчина, одетый в лагерные чуни, летние штаны и полушубок без воротника, с полотенцем вместо шарфа.

— Статья?

— Пятьдесят восьмая.

— Пункт?

— Десятый-одиннадцатый.

— Срок?

— Двенадцать.

— Проходите...

Проверка этапников по списку и формулярам заняла полтора часа. Начался «шмон» — ощупывание одежды, вывертывание карманов, вытряхивание на утрамбованный снег тощего имущества зэков: запасного белья, мыльниц, зубных щеток. Консервные банки, котелки отшвыривались ногами, разные бумаги, а также книги, которых в этапе оказалось четыре, откладывались в сторону для внимательного просмотра.

Прошедшие «шмон» отходили на двадцать метров и становились по пятеркам. Будь фантазия Алпатьева побогаче, он наверняка подумал бы, что если взглянуть на все это с неба, то показалось бы странным до крайности: людская толпа медленно тает с одной стороны ворот и растет с другой.

Пересчет построенной по пятеркам колонны был краток. Автоматчики заняли положенные позиции — один впереди, двое сзади, шесть по сторонам,— и начальник конвоя, с папкой формуляров под мышкой, прочитал «молитву», набившую старым заключенным оскомину: «Шаг влево, шаг вправо — конвой применяет оружие без предупреждения!» Новичкам-зэкам это уставное, согласованное с высшими инстанциями предупреждение еще не открылось во всей своей обнаженной жестокости. Шаг влево или аправо, хотя бы за валявшимся на обочине окурком или огрызком турнепса, влек за собою выстрел в спину, в бок, в голову, куда угодит пуля, действительно, без всякого предупреждения.

Колонна двинулась от пересылки.

Идущему впереди Алпатьеву не было видно, как тяжело переставляли ноги два совершенно седых заключенных и сильно отощавший великан лет тридцати от роду. Из-за

---

[1] Урчист — работник УРЧа, учетно-рабочей части. *(Здесь и далее примечания автора.)*

их немощи колонна двигалась нервно, часто останавливалась. Наконец Утоленко приказал старикам и великану перейти в первый ряд.

«Выдержат,— подумал Алпатьев, все время пытавшийся нарисовать себе путь этих зэков до пересылки, до ареста, до того, как он появился на свет...— Может, это ленинградцы, может, москвичи, может, с Урала... Верзила-то наверняка служил гестаповцам. Выловили ирода. А эти...»

Попытка согласовать, соотнести придуманную вину с впечатлением от лиц изможденных зэков заканчивалась провалом. Алпатьев пытался представить их агентами Трумэна, генералиссимуса Чан Кайши, английской королевы. Но все это почему-то не прилипало к ним.

«Не натренирован я»,— решил боец.

Из-за поиска соответствия, из-за разлада с самим собой он дважды отрывался от колонны на расстояние, запрещенное уставом.

— Последний раз конвоируете! — сказал ему у вахты лагпункта ефрейтор Утоленко. И тут же, при нем, рапортовал взводному, что никаких происшествий во время пути не было, все заключенные приконвоированы, имеются замечания в адрес стрелка Алпатьева...

Дальнейшего разговора боец не слышал. Ему приказали стать с автоматом за обочиной дороги. Из вахтенных дверей вышли начальник лагпункта, начальник УРЧа, начальник режима, нарядчик, продвещстолист, лекпом и два надзирателя. Началась передача этапа. Начальник конвоя сдавал заключенных под начало основного поставщика рабочей силы на шахты — начальнику лагпункта. Нарядчик, одетый в щегольскую «москвичку», выкрикивал фамилии, спрашивал о статьях и сроках; дежурные надзиратели принялись ощупывать одежду зэков; продвещстолист прямо у ворот стал проверять казенное и личное имущество приконвоированных по арматурным, еще не истертым, выданным на пересылке книжкам.

— Давыдов! Чуни первого срока, шапка б/у,— слышал Алпатьев.

— Есть,— отвечал долговязый зэк, видный бойцу издалека.

Ногу, обутую в лагерного фасона обувь, разглядеть не удалось. Алпатьев, правда, уже знал, что шьют это подобие обуви из разодранных на самодельном станке автомобильных шин. Шапка б/у, пропитанная потом, была у всех на виду.

* * *

Все последующие дни стрелок Алпатьев работал на пульманах. Взобравшись на вагон, он все думал, что работа в сельхозартели имени Буденного, откуда он ушел на аойну, и работа в саперном батальоне с сорок второго года до ранения на Одере была куда приятней, чем служба в конвойных войсках. Все эти дни, вплоть до вызова в «Белый домик», к оперу, он все решал вопрос — как его угораздило пойти в конвойники. В конце концов Алпатьев решил, что это произошло потому, что он не хотел возвращатьсн в колхоз Буденного, и потому, что одинок — мать потерял в детстве, отца не помнит, а жениться не хватило времени... «Лучше в колхоз вернуться»,— решил он как-то и вспомнил слова подтянутого полковника войск МВД. Тот говорил, что защита отечества — это не только стрельба из пушек по явному противнику, но и битва со скрытыми врагами. «А их у нас много»,— говорил полковник.

«Интересно, где он сейчас? — думал Алпатьев.— Небось командует нашим братом на Колыме или в Норильске...»

— Гнушин,— обратился он к постоянному напарнику во время шкуровки бревен на постройку казармы,— почему у советской власти так много внутренних противников? Ведь лагерники-то многие родились при ней, вскормлены ею?

— Есть о чем думать,— ответил Гнушин.— Наше дело давить этих гадов, а не шагать с ними цыплячьим шагом, как с пересылки шагали.

— Это не ответ...

— Тогда сходи к оперу, лапоть.

— Могу и к нему сходить, тоже, птица!

Но в резиденцию оперуполномоченного Алпатьеву пришлось идти не по этому, а по другому вопросу. Его пригласили туда в связи с водворением в кондей сорока заключенных, работавших на загрузке пульманов.

* * *

В приемной «Белого домика» было тепло и уютно. Такой же чистотой встретил Алпатьева просторный кабинет оперуполномоченного.

После вопросов — является ли Алпатьев Алпатьевым, как его зовут по имени и отчеству, когда и где он родился, член ли он партии или комсомола, давно ли служит в конвойных войсках и так далее — опер перешел к тому, из-за чего вызвал.

— Занимались ли вы,— спросил он,— обрызгиванием известью угля в пульманах в ночь на 21 декабря?

— Занимался,— ответил Алпатьев.

— Вы в одиночку обрызгивали уголь или с кем-нибудь из стрелков?
— Обрызгивал с бойцом Гнушиным.
— О чем вы говорили во время работы?
— Ни о чем не говорили, я обрызгивал головные вагоны, а Гнушин хвостовые.
— Была ли у вас о чем-нибудь беседа, когда вы шли к пульманам и обратно?
Алпатьев глядел на офицера, еще не понимая, куда он клонит. Опер повторил вопрос.
— Сейчас,— сказал стрелок и стал вспоминать о давно минувшей ночи. Ему вспомнилось, как он представлял себя самого на пульмане.— Я спросил Гнушина,— сказал он,— что будет, если по ошибке не вся поверхность угля забрызгивается известью.
— Почему вы об этом спросили?
— Не знаю,— сказал Алпатьев.— Может, потому, что работа эта ненужная. Ни один беглый, говорят, не садился на загруженный углем пульман.
— Понятно,— сказал опер.— Еще о чем вы спрашивали Гнушина?
Алпатьев опять представил себя на вагоне и вспомнил, как он считал операции, которые приходится выполнять по вине заключенных.
— Вспомнил,— сказал он.— Я спросил Гнушина, как бы сделать так, чтобы не было лагерей и тюрем.
— Что вам ответил Гнушин?
— Он сказал, что всех преступников, будь он главным в государстве, расстреливал бы мелкими пулями, чтобы поменьше тратить металла.
— Как вы отнеслись к словам товарища?
— Никак. Я сказал, что много надо и мелких пуль, чтобы расстрелять всех преступников.
— Разве их много? — поинтересовался уполномоченный.
— Говорят, несколько миллионов.
— А кто говорит?
Алпатьев уразумел, что в историю разговора о лагерях и тюрьмах он может втянуть ребят дивизиона.
— Не помню,— сказал он.— Может, я слышал об этом еще на фронте или в деревне своей...
— А кто из ваших родственников отбывает наказание?
— Никто.
— А кто-нибудь отбывал?
— Сидел двоюродный дядя.
— Ясно,— сказал опер.— Еще один вопрос. Какой разговор был у вас с командиром взвода? Он предупреждал вас о чем-нибудь, когда вы проверяли вагоны?
Алпатьев подумал. Он вспомнил о фразе взводного про личную ответственность.
— Вы помните номер вагона, за который были *лично ответственны*? — спросил уполномоченный.
— Не помню.
— А взводный помнит... Номер вагона, в котором ушло на волю сорок неположенных писем,— двести двадцать четыре тире тысяча пятьсот девяносто один.
Уполномоченный встал.
— То, что я спрошу сейчас,— сказал он,— не относится к допросу. Вы шкурили бревна?
— Шкурил.
— Вам советовал Гнушин обратиться ко мне?
Алпатьев кивнул.
— Ну вот мы и встретились. О чем вы хотели спросить меня?
Стрелок молчал.
— Прочитайте и распишитесь.— Опер пододвинул бумаги.
Конвоир расписался, не читая.
— Распишитесь на каждой странице.
Стрелок расписался...

Спускаясь с покрашенного золотистой охрой крыльца «Белого домика», Алпатьев ощутил, что поднимался он по ступенькам другим человеком. Тот Алпатьев остался в кабинете оперуполномоченного.

* * *

5 января в помещение дивизионной гауптвахты явились четыре человека — замполит, помощник оперуполномоченного, бойцы — Гнушин и Топорков. Помопера был с портфелем, а оба стрелка с автоматами. Все они вошли в камеру, где содержался Алпатьев.
— Смирно! — скомандовал дежурный по гауптвахте, и арестованный стрелок вытянулся по-военному.

— Вольно,— сказал замполит, не очень зло, но и не мягко глядя на арестованного солдата.
Помощник опера протянул Алпатьеву форменный листок величиною в две мужские ладони. Это был ордер, в котором говорилось, что гражданин Алпатьев Степан Степанович, бывший стрелок конвойных войск, для удобства ведения следствия по обвинению его в преступных деяниях, предусмотренных статьей УК РСФСР 58-й, пункты 10 и 14, берется под стражу... Нижнюю часть ордера украшали две подписи — одна без завитушек, другая напоминала арабскую вязь. В правом углу постановления расписался окружной прокурор.
На все эти тонкости, равно как и на аббревиатуру «УК РСФСР» и цифры «58, 10 и 14», стрелок не обратил никакого внимания. Ни разу в жизни ему не доводилось держать в руках Уголовный кодекс; он не знал также, что аресты санкционируются прокурорами и что предъявление ордера арестуемому есть доказательство соблюдения социалистической законности.
— А теперь вот что...— произнес помощник уполномоченного. Он подошел к Алпатьеву и ловким движением пальцев сорвал с его плеч сначала один погон, потом другой. То же самое было проделано с висевшей на деревянном штыре шинелью.— Все металлические ненужности на гимнастерке и на брюках,— сказал помощник,— срывайте сами.
Алпатьев стоял, не шелохнувшись.
— Ну хорошо...— Помопера взялся за алпатьевский воротник, и в направлении бойцов, стоявших у дверей камеры, легкими пулями зазвенели пуговицы.
— На ширинке рви сам! — приказал помощник.
Алпатьев обалдело переводил глаза с Гнушина на Топоркова, с Топоркова на дежурного по гауптвахте.
— Рви! — рявкнул помопера.
Солдат подчинился.
Все последующие процедуры — сбор разлетевшихся по камере серпастых пуговиц, перевод во «внутреннюю» тюрьму под конвоем Гнушина и Топоркова, раздевание там догола, осмотр швов в одежде, распарывание ошкура — пояса брюк, фотографирование анфас и в профиль, заполнение какой-то анкеты — все это боец воспринимал смутно, словно во время срывания погон и обрывания пуговиц он надышался хлороформом.
Без нужной ясности в голове, как в сонном сказочном царстве, проходили, не торопясь, ласковые и неласковые допросы. Столь же пьяно воспринял боец и посещение окружного прокурора. Тот пришел к уполномоченному, когда «подписывалась» 206-я статья, означающая, что следствие закончено, материал готов для передачи правосудию.
К этой поре — к концу февраля — Алпатьев признал, что виноват в халатном отношении к порученному делу — проверке вагонов. А то, что его разговор с Гнушиным носил антисоветский характер, он отрицал начисто. Здесь Алпатьев был тверд, как кремень.

Похлопав по не тонкому — в 117 страничек — «делу» бывшего конвоира, прокурор сказал, не обращаясь прямо к солдату:
— Как же это получается, Степан Степанович? Факты подтверждаете, ставите подпись свою, а вины не признаете? Кто же кому морочит голову?
Боец молчал.
— Надеетесь на трибунал?
Прокурор встал и уже от дверей кабинета помахал уполномоченному.
Фетровые бурки с замысловатой коричневой осоюзкой, пошитые на северный манер,— вот что запомнилось из облика прокурора Степану Степановичу Алпатьеву.

2

Этап, которым везли бывшего стрелка конвойных войск, выгрузился на степной зауральской станции. Дымящиеся терриконы поднимали свои острия километрах в четырех от места выгрузки.
— Милые сердцу дырочки! — сказал заключенный, стоявший справа от Алпатьева.— Прямо туда и всунут после карантина.
Заключенных построили, приказали взяться за руки, и десяток автоматчиков с собаками окружили колонну; она двинулась в направлении шахтного городка.
Когда подходили к лагерной зоне, откуда-то из степной дали вынырнули полоски рельсов. И вскоре Алпатьев увидел одетых в полушубки солдат. Металлические прутья, которыми они орудовали на пульманах, были то длинными, выше их роста, то короткими. Походило — стрелки не работали, а кланялись какому-то спрятанному за горизонтом неумолимому богу.

* * *

Этап Алпатьева пришел на лагпункт 15 апреля. А 16-го днем — это было воскресенье — началась генеральная проверка. Ее проводила спецкомиссия, она проверяла правильность записей в формулярах [1], выявляла появившиеся после предыдущей комиссии приметы на лицах и на телах заключенных. С генповеркой совмещалось генеральное медобследование — определение трудовых категорий всему составу лагпункта.

Карантинный барак опрашивали в четвертом часу пополудни. Алпатьева поразило обилие статей, по которым сидели заключенные. Семь человек из его этапа отбывало наказание по статье «КРД», трое — по «СОЭ», двое — по «ООЭ», несколько человек — по «АСА» [2]. Ни одна из этих статей, как узнал он позднее, не фигурировала в Уголовном кодексе.

Рыженький одноглазый заключенный, вызванный на осмотр, спросил главного проверяльщика — почему, на каком основании писать письма родственникам разрешается дважды в год, в то время как в приговоре военного трибунала, который его судил, не говорилось об ограничении переписки.

— Сколько лет вы сидите? — спросил главный.

— С тридцать девятого года.

— Значит, одиннадцать... Пора бы, молодой человек, кое-чему научиться.

Днем позднее заключенный, задававший вопрос главному, сказал при Алпатьеве, что этот ответ заслуживает поощрения, так как прошлогодний майор сослался на диалектику — все, мол, течет, меняется, меняются и формы социальной защиты. А лучшим определением этой диалектики, добавил заключенный, было определение одного его друга, тамбовского мужика. Он будто бы заявил, что «все текет и ничего не менятся...»

Выбившийся из начальной буквы куда-то вниз, к концу алфавита, формуляр Алпатьева все не появлялся в руках руководителя комиссии. И это сыграло свою роль. Алпатьев успел осмыслить ответ на предстоящий вопрос о гражданской специальности. Сказать, что он служил в конвойных войсках — ничего не сказать о своем трудовом умении и выдать заключенным свою принадлежность к самой презираемой в лагере группе людей.

— АС-369! — выкрикнул наконец урчист.— Фамилия?

— Алпатьев Степан Степанович,— ответил бывший стрелок.

— Год рождения?

— 1923.

— Статья?

— Пятьдесят восьмая.

— Пункт?

— Десятый и четырнадцатый.

— Вы понимаете, что означают эти пункты? — спросил главный.

— Понимаю,— ответил Алпатьев.— Антисоветская агитация и пособничество врагам народа.

— Срок?

— Пятнадцать лет.

— Начало и конец срока?

— 5 января 1950 года, 5 января 1965 года.

— Образование?

— Шесть классов.

— Семейное положение?

— Холост.

— Специальность?

— Плотник.

— Хорошая специальность! — впервые высказал свое мнение по этому пункту главный.— Мы строимся,— сказал он с добринкой в голосе.— Нужны плотники, каменщики, кровельщики, штукатуры. Проходите, Алпатьев, в следующую секцию.

Любезность старшего приятно скользнула по сознанию бывшего стрелка. Он встал, хотел было кивнуть, но урчист громко крикнул: «АЮ-954. Фамилия?» — и вновь испеченный зэк — Алпатьев — как-то боком прошел мимо...

---

[1] Формуляр — освовной документ заключенного, его лагерный паспорт.

[2] Эти «статьи» не являются статьями Уголоввого кодекса. По ним, по этим «литерам», было ясно, что заключекного не судил суд военный или гражданский, он отбывает срок по решению так называемого Особого совещания. КРД — контрреволюционная деятельность. КРА — контрреволюциовиая агитация. АСА — антисоветская агитация. КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность. ПШ — подозрение в шпионаже. ЧСИР — член семьи изменника родины. СОЭ — социально опасный элемент. ООЭ — особо опасный элемент. СВЭ — социально вредный элемент. АСВЗ — антисоветский военный заговор.

То, что он увидел в секции «А», походило частично на общественную баню, только без пара, воды и шаек. Здесь толкалась масса полураздетых людей — одних осматривали начальница санчасти и лагерный врач; другие стояли перед столиком представителя спецкомиссии; третьи — одевались; четвертые — уже осмотренные и обследованные — толпились у задних вагонок. Некоторые спали.

Алпатьев встал в очередь за крупными шевелящимися лопатками. На какое-то время они закрыли весь свет и показались не лопатками, а ребристыми, подвижными деталями какого-то сделанного из металла агрегата. Алпатьев увидел, что человеческая кожа является скорее мешком, чем покровом многочисленных костей скелета. И лопатки, и ребра, и зубчатые позвонки — все это свободно перемещалось в мешке из гусиной бугорчатой кожи.

— Прогрессирующая дистрофия,— проговорила начальница.— Повернитесь спиной. Спустите штаны. Согнитесь.

Истощенный зэк проделал все молча.

— Интруд. Четвертая категория. Назначить ОП [1],— быстро диктовала молодая женщина сидевшему рядом с ней юному санитару из заключенных.— Подойдите!

— Ну, что ты застыл! — подтолкнул Алпатьева раздетый до пояса, такой же, как он, малорослый новичок-зэк.

— Повернитесь спиной,— сказала начальница.— Спустите брюки, согнитесь.

Странный осмотр — спускание штанов, осмотр ягодиц, анального отверстия — на эту необычную процедуру бывший стрелок не обратил внимания, но вспомнил о ней позднее, спустя четыре дня, когда один красивый, с выразительными глазами зэк сказал при нем: «Любопытно, как же они определяют категорию заключенных женщин...» И объяснил этапникам-новичкам, что осмотр ягодиц и анального отверстия самый быстрый и самый надежный. Если есть еще жировое отложение на задней части и не грозит выпад известной кишки, посылать на работу следует...

— Вторая категория [2]. Ты!..

Чуть не споткнувшись о собственные штаны, спущенные для осмотра, Алпатьев передвинулся к столику представителя спецкомиссии и по его приказу медленно повернулся кругом с поднятыми вверх руками.

Записи в карточке Алпатьева не отклонялись от того, что увидел урчист: лицо было округлым, с впалыми щеками; цвет волос светлым; глаза серыми; брови темными; нос короток и вздернут; шея нормальная; грудная клетка впалая; рваный шрам тянулся через всю грудину от левого плеча до верхней границы брюшины; родинка, величиною с горошину, сидела на том же месте, возле соска. Никаких других примет представитель власти не обнаружил.

Подойдя к нарам и развернув гимнастерку с нижней рубахой, чтоб надеть их на себя, Алпатьев задержал свой взгляд на синеватой прямой полоске, пересекающей все четыре пальца правой руки выше среднего сустава. Перебитые ударом дубовой столешницы, фаланги пальцев срослись правильно, искривления были едва заметны. Эти отметины появились у него уже после заполнения во внутренней тюрьме личной карточки, во время допроса...

Заправляя низ гимнастерки под пояс штанов, Алпатьев подумал, что одна из «примет» оказалась не обнаруженной. А то, что начальница записала не ту трудовую категорию, он не сообразил. Поэтому позднее бригадир Осоков, увидевший, что тощему новичку трудно держать в руках лопату, поставил его на последнее — легкое — звено транспортерной ленты.

* * *

После генеральной поверки для этапников потянулись дни карантинной жизни. Они были полны своеобразной лагерной прелести. Особенно это чувствовали заключенные, для которых этап был не прибытием в лагерь, не началом отбывания срока, а просто перемещением из одной зоны в другую.

Поковырявшись на пустяковых работах — на очистке проходов, на ремонте крыш, нар,— заключенные пристраивались на оттаявших горбылях барачных завалинок и слушали, как все дружней и дружней перекликались ручьи, как споро оседал снег и как горланили вороны.

Так же поступал Алпатьев. Но то ли оттого, что общее оцепенение, начавшееся в кабинете оперуполномоченного, еще продолжалось, или потому, что все этапники настороженно относились друг к другу, он сидел на своем постоянном месте одиноко.

Так продолжалось до предпоследнего дня драгоценного карантинного отдыха. В этот день к нему подсел заключенный, чьи огромные лопатки во время комиссовки закрыли

---

[1] Интруд — «индивидуальный», легкий труд, 4-я — последняя — трудовая категория. ОП — оздоровительное питание, в котором предусматривались жиры, отсутствующие, как правило, в общем, «гарантийном», котле.

[2] Вторая категория — средняя по тяжести. Первая — самые тяжелые работы.

весь белый свет. Алпатьев помнил, что зэка определили в «индию» [1], и видел, что он получает оздоровительное питание — ОП.

Заключенный долго молчал. И солдат потихонечку разглядывал его кордовую обувь. Марка «ЗИС» — завода имени Сталина — была не содрана. Она, как клеймо, красовалась на внешней стороне странного сооружения лагерного пошива, не похожего формой своей ни на лапоть, ни на чирик.

Повернув голову к Алпатьеву, заключенный спросил, из какого лагеря он прибыл. Алпатьев хотел сказать «не из какого», но назвал тот лагерь, где служил конвоиром.

— Долго вы загорали там?

— Не очень...

— Я в этом лагере отсупонил четыре года. На каком вы лагпункте были?

— На втором.

— Какого лаготделения?

Страшно перепугавшись, что заключенный оттуда же, Алпатьев все-таки ответил:

— Третьего...

— Нет,— сказал заключенный.— Я был на седьмом кругу. Это поближе к центру.

У Алпатьева, не понявшего, о каком «седьмом круге» говорит зэк, отлегло от сердца. Но прежняя, зародившаяся в тюрьме боязнь, что заключенные непременно разоблачат его, узнают о «вертухайстве» — о службе в конвойных войсках, помутила сознание. Он косо посмотрел на соседа, закрывшего глаза и запрокинувшего голову.

— Весна. Дышу обеими ноздрями! — сказал тот.— А вы не бойтесь, больше ни о чем не спрошу...

Не поняв заключенного, Алпатьев посмотрел на него снова и вспомнил кучу консервных банок и котелков, отбрасываемых пинками во время «шмона» у пересылки. Котелки были разные, в большинстве своем прокопченные, с прожогами у дужек.

«Помрет»,— решил Алпатьев.

— Я вот что скажу,— произнес неожиданно зэк.— И вас, и меня, и всех, кто вкалывает сейчас на поверхности и *под*, освободят с почетом. Нас вынесут отсюда на руках, как истинных героев! Это может случиться сегодня вечером, может — завтра. Я не помру.

Заключенный вздохнул «обеими ноздрями», хотел что-то сказать, но в поле зрения появилась фигура надзирателя.

— Этих — берегись! — тихо, приложив палец к губам, прошептал заключенный и боком, чтобы не оказаться пронумерованной спиной к надзирателю, скрылся за углом барака.

Алпатьев поднялся.

— Греетесь? — спросил надзиратель, остановившись метрах в семи.

— Греюсь, гражданин начальник,— нашелся солдат.

— Ну грейтесь, весна!..

* * *

С окончанием карантина в пятый барак явился нарядчик. Он вежливо попросил, не обращаясь ни к кому персонально, «заткнуть глотки» и стал вычитывать фамилии карантинников — кто в какую бригаду зачислен. Пятьдесят заключенных попали в бригады, работающие в «дырках» — на добыче угля; восемь человек в стройбригаду; четверо в «слабосилку»; Алпатьева, единственного из новичков, зачислили к Осокову — на погрузку угля.

Слепленная из русских, украинцев, белорусов, карело-финнов, эстонцев и латышей этапная бригада растворилась на глазах солдата. Он с грустью глядел, как без всяких вещей, со сверточком под мышкой, уходит из барака костистый зэк.

В шестьдесят четвертый барак Алпатьев пришел в седьмом часу вечера. Мордастый дневальный показал ему бригадира. Тот улыбнулся и попросил солдата рапортовать о прибытии. Стрелок потоптался в замешательстве. Восемьдесят глаз — серых, голубых, зеленых, коричневых и черных, одинаковых в сумерках, глядели на него со всех сторон и уровней — с верхних и нижних нар, одни внимательно, с нескрываемым интересом, другие — безразлично. А глаза самого Алпатьева безвольно бродили по лицу бригадира. Они машинально отметили, что уши у Осокова разные, одно большое, другое маленькое.

— Ничего, можете не рапортовать,— выручил солдата Осоков.

Помощник бригадира сводил Алпатьева в бухгалтерию, помог одеться «по сезону», получить постельные принадлежности.

* * *

Утром Алпатьев пристроился в хвост осоковской колонны и вместе с нею прошел через все вахты — жилую и шахтную. У дверей инструменталки бригадир увидел, что левая рука новичка не соответствует трудовой «категории» — перебита.

[1] «Индия», «индюки», «индейцы» — презрительное название «интрудистов», заключенных, получивших в результате полного истощения 4-ю, «индивидуальную», трудовую категорию.

— Не беда,— сказал Осоков.— Была бы голова без трещинки...

«Мужик-то вроде ничего,— подумал Алпатьев об Осокове.— Как дядя мой...» И он потихоньку оглядел вместительную внутренность копра. В ней чернела рама подъемной клети; порожние вагонетки, затылок в затылок, как живые существа, ожидали своей очереди, чтобы нырнуть в «дырку»; набитые углем их сестры без звона откатывались в сторону транспортера.

Солдат сел поудобней, взглянул на руки — они не работали с того памятного декабрьского дня, когда он с Гнушиным шкурил бревна. Работа в карантинной бригаде была не в счет.

Часа через три двигавшиеся по транспортерной ленте куски породы — узкощекие, округлые и мордатые, как бульдожьи головы, стали казаться намного тяжелей, чем в начале. А сбрасывать их с ленты надо было непрерывно. За каждый провороненный камень звено расплачивалось процентами. Граммы питания здесь ложились в ряд, как укладывались в него калорийность угля и зэковского питания.

После обеденного перерыва Осоков повел Алпатьева на конечное звено длиннющего транспортера.

— Здесь полегче, но ответственней,— сказал он.— Действуй.

* * *

Явное помешательство оттрубившего тринадцать лет заключенного не замечалось ни его бригадиром, тоже «индюком», ни работниками санчасти, ни соседями по нарам. Только Алпатьев с горечью думал, что богатырского сложения зэк помутился разумом, что если и вынесут старика из лагеря, то ногами вперед, и перед тем как списать, счесть за выбывшего из лагеря — проверят, не симулирует ли случайно...[1]

Новая встреча с костистым зэком состоялась у шахтного копра, куда «индию» пригнали для уборки зимнего мусора.

— Освободят ли сегодня, говорите? — сказал зэк. Он стоял прямо, не опираясь на черенок лопаты.— Какая разница! Главное, освободят — не будем считаться заключенными. Но компенсации — никакой! Надо миллион таких государств, как наше, чтобы оплатить отработанное за проволокой...

Алпатьев предложил заключенному сесть на вытаявший обрезок крепи. Ему показалось, что с помешанным человеком можно говорить о чем угодно, и он спросил — кого надо бояться в лагере.

— Самого себя! — ответил «индиец».— Если вы трус, вами будут помыкать бригадир со своим подхалимом, все блатяги и надзиратели.

— А как с врагами...— заикнулся было Алпатьев.

Зэк посмотрел на бывшего стрелка.

— А я о ком говорю? Враги, предатели народной совести — бригадиры, охранники, зонное и зазонное начальство, рецидивисты и доносчики...

* * *

В тот же день, вплоть до съемного удара по рельсу, выбрасывая куски породы с транспортерной ленты, по которой двигался уголь в погрузочный бункер, Алпатьев все решал, как вести себя в лагере. Он вспоминал этап, пребывание в пересыльной камере Вятской тюрьмы, восьмиэтажное зарешеченное здание в Свердловске, длинный перегон по плоскому Зауралью и здешние, уже многочисленные встречи. Костистый заключенный из «слабосилки» не вызывал в нем никакого отвращения, даже наоборот — казалось, что этот зэк никогда не лгал, никого не оскорблял, не сквернословил, не перекладывал свою работу на чужие плечи.

А думая о работе, ничем не отличающейся от работы по ту сторону колючего ограждения, боец вспомнил присказку своей бабушки. «Не работа смердит,— говорила она,— смердит человек иной...»

Уже когда ударили в рельс и зэки потекли к вахте, в колодцах алпатьевского сознания, выражаясь по-газетному, перетирался вопрос — какая же сила, сила добра и любви или сила ненависти, беспощадности ко всему живому, одержит верх? На примере Германии Алпатьев видел поражение зла, а на примере своей страны — торжество справедливости. Но почему же тогда так много конвойных войск? — думалось ему.— Почему из двух солдат — Гнушина и Алпатьева — в заключении оказался не злой, как собака, Гнушин, а он, Алпатьев?

Возвращение к пульману 224—1591 перебросило его к слушанию дела в военном трибунале. «Как же так,— пронеслось в голове Алпатьева,— ведь пульман-то наполовину был проверен четырьмя стрелками! Почему же пострадал я и почему не догадался сказать об этом военному трибуналу?»

Радость захлестнула солдата. Он схватил шапку и побежал к вахте.

[1] Проверка выносимых из зоны покойников была варварской. Мертвеца прокалывали штыком, чтобы вместо покойника на волю не уплыл живой заключенный.

— Олень! [1] — сказал ему помощник бригадира, раздатчик пищи.— Еще одна проволочка, и я научу тебя этикету!

У вахты, во время повторного счета выстроенных по пятеркам заключенных, впереди Алпатьева стоил тот зэк, что сказал на станции: «Милые сердцу дырочки...»

— Вот вернусь домой,— говорил он сейчас замызганному товарищу,— есть чем перед бабой выхваляться. За девять с гаком лет меня пересчитали четырнадцать тысяч раз и столько же пообщупали...

— За этот срок,— ответил шахтер,— супружницу твою пообщупали не по стольку раз, а, может, трижды по стольку... Скольки ты лет ее овдовил?

— Тридцати двух... Да меня не это волнует сейчас. Щупальщики-то, наверное, ей так же приятны, как мне руки надзирателя, когда он проводит по моим бедрам...

Не будь Алпатьев поражен открытием, что можно оспаривать приговор трибунала, он бы наверника стал подсчитывать, сколько раз пересчитан сам — сначала в армии, потом в конвойных войсках и теперь в заключении. По этой же причине он не слышал, как шахтеры долго толковали о странном явлении — большинство забойщиков пытаются улизнуть от работы на угольном комбайне. Вместо облегчении эта машина, с ее высокой нормой выработки, сокращает не срок наказания, а срок жизни.

— Правильно поется,— сказал один из шахтеров,— «кирка с лопатой верный мой товарищ...»

— Подыми лапы-то! — буркнул Алпатьеву затырканный процедурой обыска длинный, как жердь, охранник.

Всю ночь солдат ворочался с боку на бок. Мысль о незаслуженном наказании сверлила мозг, не давала сомкнуть глаза. Его терзала не ошибка взводного — лучше уж сидеть одному, чем всей компании, а безразличие трибунала, злобное отношение уполномоченного.

Удар о диск, означавший подъем, освободил бойца от напрасного лежания на нарах. Он встал, вышел из барака и побежал к зданию конторы.

— Какого хрена топчешься здесь? — спросил его надзиратель, вышедший из дверей вахты.

— Бумага нужна, гражданин начальник. Заявление писать.

— Дурак! — без злобы проговорил блюститель зонного порядка.— Бумагу получают вечером, а не в пять утра. Катись!

* * *

Мысль написать в верховные органы жалобу на неправильный приговор военного трибунала вытеснила из головы Алпатьева намерение получше присмотреться к тем, кого он видел ежедневно, с кем работал, ходил в столовую, в баню, спал на одной вагонке. Но выпрошенная в КВЧ бумага лежала нетронутой. Стрелок все решал — писать ли заявление самому или попросить какого-нибудь опытного заключенного. Обращение с такой просьбой тянуло за собой рассказ о прошлом. Алпатьев решил обратиться к старику-интрудисту. Ему казалось, что легкое помешательство старика устраняло опасность разоблачения в вертухайстве. Бригада «индюков» продолжала кувыркаться в мусоре. Не в пример работягам, все они были одеты в одежду, давно подлежащую актировке. Слово «б/у» слабо отражало истинное состояние телогреек, ватных штанов, шапок. Прозвище интрудистов — «индюки» было наиточнейшим. Более красочных оборванцев Русь не видывала.

Подойдя во время перерыва к сидевшему на бревне костистому зэку, Алпатьев опустился рядом и спросил, не зная с чего начать, по какому пункту пятьдесят восьмой статьи старик отбывает наказание.

Заключенный посмотрел на него и ничего не ответил.

— Извините,— сказал солдат. Он понял, что нарушил неписаный лагерный закон, запрещающий зэку *выпытывать* другого заключенного, за что он сидит, кто его судил и так далее.

— Извиняю,— сказал интрудист.— А сижу я по разбойному. Как тать. Кассу государственную ограбил.

Издевательский тон костистого не смутил Алпатьева, он сказал, что попал сюда по пункту четырнадцатому, и спросил — можно ли с таким, да еще с десятым пунктом, писать жалобу.

— Кому писать? — ответил старик.— Упекшему нас?

— Сталину,— сказал Алпатьев.

— Пишите лучше Саваофу. Он выше.

Кто такой Саваоф, Алпатьев не знал, но сразу догадался, что речь идет о небесном правителе.

[1] Олень — презрительная кличка новичка-заключенного.

— Пишите,— повторил старик,— раз хочется, земному заместителю Всевышнего. Ему все равно — по *эту* ли сторону зонного забора втыкает человек, либо по *ту*...

Вернувшись в барак, Алпатьев написал заявление сам. Орфографические ошибки и неумелые предложения только усиливали мотив, который толкал его писать жалобу. Он всунул конверт в разрез висевшего в КВЧ ящика с многозначительной надписью: «На имя Председателя Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик». Только два слова в этой длинной надписи, на что обратил внимание стрелок, не были осиящены заглавными буквами.

Рядом с ящиком Председателя висел другой, куда засовывались заявления Генеральному прокурору. Ящик на имя начальника лагеря был поменьше размером. На имя Сталина ящика не было вовсе.

— Сталин,— сказал кзэчист-зэк,— не является главой государства.

— Но он же главный в стране,— возразил Алпатьев.

— Практически, а не формально. Сталин — лидер партии. Помнишь, «партия Ленина, партия Сталина»?

Засунув письмо в ящик Шверника, Алпатьев хотел прошептать присказку, с которой в давние времена отсылала свои треугольнички его соседка-красноармейка, но он не мог припомнить, что шло за словами «Лети, письмо...».

«Не может быть,— повторял он, шагая в том направлении, где тянулись бараки,— не может быть, чтобы Верховный Совет не отменил несправедливое решение...»

— Добро пожаловать, гусь! — услышал солдат, поднял голову и обнаружил себя перед входом в кондей, огороженный со стороны зоны не очень капитальной изгородью.

3

Все лето, более сотни дней стрелок глядел в рот лагпунктовскому нарядчику. Он ждал, что любимец начальства вот-вот пропоет ему на свой особый манер радостную новость. Но тот ходил по зоне, насвистывал марши, выкрикивал у вахты заключенных, которым надо явиться в УРЧ, и никогда не произносил фамилию «Алпатьев».

Не замечала бывшего стрелка и другая придурня зоны, имеющая отношение к спискам. Ему не выдавали новой одежды, первого срока белья, не вызывали на получение посылок, не приглашали в КВЧ за письмами, а на дощечке раздатчика — помощника бригадира — вместо законной фамилии значился алпатьевский наспинный номер.

— Эй, ты, АС-369! — кричал раздатчик и совал неизменную семисотку [1]. Ни одной горбушки [2], восьмисотки или девятисотки ему не перепало за долгие месяцы. И это окончательно убедило, что второе лицо в бригаде навсегда оттеснило его в разряд попираемых работников. А пайками за «втыкание» на копре, распределением котловки ведал только он, помощник бригадира. Осоков оставался начальником лишь во время работы и когда составлялись наряды. Вернувшись в зону, он шел в КВЧ, застревал там надолго, а в своей «осоковской» секции, забравшись под теплое одеяло, допоздна читал книги...

«Пожаловаться, что ли? — думал Алпатьев.— Может, бригадир выписывает девятисотку, а помощник сует семьсот граммов...»

Однако жизнь и пребывание среди зэков уже научили его, что всякое недовольство кем бы то ни было обязательно выйдет боком... Еще нигде Алпатьев не чувствовал так остро барьер, отделяющий власть имущих от тех, кто этой власти подчиняется. Разделение заключенных на две группы — малую и большую — было очевидно. Оно начиналось с помощника бригадира, завпрода, а кем заканчивалось — бывший солдат представлял смутно. Но он хорошо понимал, что легче отбывать срок хлеборезу, повару, продвещстолисту, санитару, пом. по труду, десятнику и нормировщику. Все они жили в отдельных секциях, читали книги, мурлыкали песенки, ходили по зоне в перешитых по себе бушлатах-«москвичках». И многие из них, несмотря на цветущее здоровье, получали оздоровительное питание, которое умели заменять в продстоле «сухим пайком» — натуральным маслом с сахаром...

Отношения между зэками-придурками и зэками-работягами Алпатьев мог бы сравнить с положением в колхозе Буденного. Но в эти голодные дни, когда они пайку считали за господа Бога, далекий колхоз рисовался ему небесным раем. Он переносил себя в березовые колки, в пахучую траву, которую когда-то не ценил, мял ее, валялся на ней в ожидании разнарядки. И сам председатель колхоза, посылаемый бабами и мужиками туда, откуда родятся, никак не мог сравниться ни с бригадиром лагерным, ни с его помощни-

[1] Все пайки суточного питания зависели от выполнения трудовой нормы. Пайка делилась на 650 граммов, 700, 800, 900 и 1 килограмм (последнюю получал главный распорядитель котловки, лагерный нормировщик).

[2] Горбушка — заветная для зэка часть булки, буханки. В отличие от птюхи — средней части буханки, горбушка считалась более калорийной, так как в ней меньше влаги.

ком. За роскошь обругать их матом заключенный рисковал перейти из первой трудовой категории во вторую, из второй в третью, из третьей — в «индию».

Еще чем лагерь явно отличался от других мест общежития — это безразличием друг к другу проживающих здесь слесарей, агрономов, железнодорожников, учителей, колхозников. Во время этапа незнакомый зэк, лежавший рядом с солдатом, сказал своему собеседнику, свеженькому заключенному: «Надеяться на дядю чужого можно. Но лучше надеяться на себя самого».

* * *

В начале августа Алпатьев снова повстречался со стариком-интрудистом. Они столкнулись в бане во время санобработки. Острые ребристые лопатки раздетого зэка стали еще огромней, напоминали крылья, зачем-то упрятанные под кожу...

Поговорил Алпатьев со стариком после стрижки лобков — обязательного условия для соблюдения гигиены заключенных.

— Не узнаете? — спросил солдат.

— Зэки в одежде и зэки голые — все одно,— ответил костистый и сам спросил, отправил ли Алпатьев письмо Саваофу.

— Отправил,— сказал стрелок.

— Смилостивился ответить?

— Нет, не ответил.

— И правильно поступил... Бумага пригодится. Он ведь, говорнт, язык российский изучает — когда появился на свет, зачем и кому нужен.

— Как вас зовут по имени и отчеству? — спросил Алпатьев. Ему давно хотелось называть старика уважительно.

— Заключенный. *Зэк* с большой буквы,— ответил костистый.— Будущий вольный человек первого в мире социалистического государства.

«Будущий вольный человек» внезапно покачнулся, схватился за грудь, сделал шаг вперед и молча шлепнулся на скользкий пол.

— Сыграл! — сказал кто-то.

— Туда и дорога,— пробурчал заключенный с татарским разрезом глаз.— Провокатор е......!

Ругательство татарина передернуло Алпатьева. Он не допускал себе, что это именно так, что «сыгравший в ящик» был провокатором. Не верил в это и позже, когда вспоминал о встречах на завалинке карантинного барака, на шахте, у сварочной будки.

* * *

В осенний дождливый вечер дневальный нарядчик выкрикнул наконец Алпатьева. Его вызывали в УРЧ за получением ответа. Осоков, оказавшийся в бараке, пожелал ему освобождения.

— Разное бывает,— сказал он.— Ты давно писал?

— Весной.

— Ну, правильно: месяц туда, месяц там, месяц обратно. Двигай! — Бригадир подтолкнул Алпатьева к выходу.

— Распишитесь,— сказал начальник УРЧа, старенький человек в старшелейтенантских погонах. Он подал Алпатьеву распечатанный конверт с форменным типографским штампом Верховного Совета.— Разве вы не знаете, что приговор трибунала *окончательный*, не подлежащий обжалованию?

— Знал.

— Тогда зачем же отнимал у людей время? — перешел он на «ты».

После слов начальника смотреть на содержимое конверта со штампом Верховного Совета не хотелось. Алпатьев расписался в получении, сунул письмо за пазуху и вышел в осеннюю ночь, под мелкий, моросящий, как из сита, дождик.

— Не падай духом,— сказал бригадир, прочитав и возвращая бывшему стрелку листок величиною с рецепт.— Если не виноват, пиши снова. Могу, если хочешь, помочь...

* * *

С этого вечера отношение к Алпатьеву в бригаде изменилось. На следующий день он получил третий котел — лучший из положенных — девятьсот граммов хлеба. А дней через десять стрелка перевели с транспортерной ленты на более живую работу — поправлять уголь во время загрузки пульманов.

— Садись, Степан, покурим! — сказал однажды бригадир, забравшись на вагон.

Некурящий солдат сел рядом.

— Мы все — и ты, и я, и мой помощник, и тот вон, Ерофей,— начал бригадир,— мы все в ответе за каждый свой шаг. Ясно?

Алпатьев глядел на Осокова так, будто тот был не бригадиром, а по меньшей мере представителем следственных органов.

— Вот когда освободимся,— с улыбкой сказал бригадир,— будем ответственны и за

то, за что перед нами публично извинятся,— за пребывание в этих благословенных местах. Понимаешь?

— Это я понимаю,— серьезно, но как во сне, проговорил Алпатьев.— *Ответственны на всю жизнь.*

Ответ работяги был выше предположений бригадира. Но все-таки разговора не получилось. В сознании самого Осокова тоже происходила «перестановка мебели»; он тяжело переживал ломку взглядов. Как большинство заключенных, отбывших больше половины срока, он все чаще и чаще ловил себя на мысли о том, что разговор о человеколюбии, о чуткости к человеку действует на него раздражающе. Беспочвенные словопрения о гуманности, о призвании человека творить добро воспринимались им так, как если бы при нем восхищались убийцей...

Однако мнение Осокова о бывшем конвоире Алпатьеве, чье прошлое он узнал от лагпунктовского нарядчика, было совсем иным. Он не казался ему ни предателем, ни человеком, способным причинить боль другому. Правда, бывший стрелок раздавлен свалившимся на него несчастьем. Но разве не приходилось Осокову наблюдать, как в таких условиях развивается в человеке склонность завидовать, сочинять гадости, подслушивать, доносить? Именно лагерь оказался тем местом, где светлое становилось светлее, отвратительное еще отвратительней, а все, что называлось на воле готовностью жертвовать собой, своими интересами во имя общего,— здесь умирало или превращалось в свою прямую противоположность. Вот почему Осоков ненавидел лагпунктовского санитара Дьяконова, бывшего спецкора «Известий», писавшего — «надо трудиться на благо страны» и превратившегося здесь в последнего тунеядца, готового на все, лишь бы не «втыкать» на общих работах. Дьяконов стучал на всех, а стрелок Алпатьев с изуродованными пальцами работал на погрузке угля и не жаловался, что за честный труд его кормят плохо.

Обо всем этом и хотелось сейчас сказать солдату. Но вместо заготовленных слов о добром к нему отношении бригадир сделал замечание, что перебитые пальцы не освобождают заключенного от обязанности спешить. Вагоны не ждут.

— Буду торопиться,— сказал Алпатьев.

* * *

Когда Осоков, бывший инженер-строитель, оказавшийся заключенным в сорок пятом году, скрылся в засосах копра, Алпатьев сообразил, какой удостоился чести — с ним беседовал сам царь-бог лагерный, бригадир-кормилец. И солдат сказал себе, что будет «втыкать», пока не посинеет, пока не разберутся в Москве, что он не преступник.

В этот день он не почувствовал неприятной тяжести в ногах, когда возвращался в зону.

— Ты вот что,— сказал ему бригадир у входа в секцию,— ты пиши заявления через каждые десять дней. Пиши в Министерство внутренних дел, в Министерство государственной безопасности, в Министерство обороны, в ЦК, пиши самому кормчему...

Алпатьеву хотелось спросить — писал ли Евдоким Савостьинович сам и что ему ответили, но он не решился тревожить бригадира.

17 сентября помощник Осокова бросил у нар солдата кожаные ботинки. В тот день Алпатьев впервые за долгое время улыбнулся. Он только что слушал повествование заключенного Г-284. Парня «упекли» после выхода из окружения у Брянска и после благополучного прохождения спецпроверки. По словам зэка, он и его однополчанин Симаков не поделили кожаный ремень, выданный им вместе с брезентовым старшиной роты. Симаков ухватился за гладкий конец ремня, а за пряжку — будущий Г-284. Результат ссоры — донос Симакова о неблаговидном поведении товарища по оружию в оккупированной немцами зоне — о реквизиции в одной крестьянской семье свиного окорока. Мясо было съедено всем взводом, в том числе Симаковым, а по червонцу получили выбравшиеся из окружения — Г-284, Симаков и еще три солдата.

— Господи! — сказал один заключенный.— Дураков не сеют, не жнут — сами родятся...

А бывший стрелок решил, что в «деле о свином окороке» дураков не двое, как заключил зэк на нарах, а целое отделение — Симаков, Г-284, следователь смерша, прокурор, подписавший следственные материалы, председатель и члены военного трибунала...

* * *

Лучше любого заключенного Алпатьев знал, каким удобным почтовым ящиком является загруженный углем пульман. Вооруженный охранник, стоявший неподалеку от погрузочного бункера на специальном помосте, нисколько не мешал ему опустить в уголь треугольное послание министру внутренних дел. Но Алпатьев все думал, что брошенная в море бутылка попадет в надежные руки чаще всего с непоправимым опозданием. А находиться в заключении, ходить здесь под конвоем, испытывать унижения представлялось страшным. Отослать же заявление через три ящика, висевших в культурно-воспитательной части, было бессмысленным делом — их наверняка читало начальство, и отсылались лишь те, где люди клялись в верности, били себя в грудь, становились на колени. Оставался единственный способ — отсылка с углем. Надо только написать отдельную записку,

попросить того кочегара, кому попадет на лопату сверток, быть человеком, понять беду товарища, переслать заявление по указанному адресу.

Почти двадцать дней Алпатьев сочинял заявление, в котором не стеснялся слов, писал все так, как если бы писал не министру, а родному отцу.

— Ты пиши,— говорил ему бригадир,— что надо иметь стыд, что бессовестные люди рано или поздно будут каяться в своих прегрешениях, а мертвые от их раскаянья не воскреснут.

Эту мысль бригадира солдат изложил на свой манер, он вписал в листок: «жить совестно особенно потому, что опер, перебивший мне дубовой столешницей четыре пальца правой руки, разгуливает в погонах, его уважает начальство, а что будет, когда он станет генералом?..»

Письмо-заявление стрелок запечатал в двойной конверт, конверты завернул в тряпку и незаметно, когда разравнивал уголь, затоптал у одной из стен пульмана.

Письмо было послано 10 октября, о чем Алпатьев нацарапал гвоздем на внутренней стороне соснового подголовника.

«Буду ждать,— сказал он себе,— до 1 января, до дня рождения, мне исполнится двадцать шесть. Если ничего не получится, министр не ответит, напишу самому Сталину...»

* * *

Лагпунктовский сапожник за четыреста граммов хлеба привел башмаки бывшего стрелка в боевую готовность. Большущий карман к внутренней стороне правой полы бушлата он пришил сам — бригаду могли погнать в подсобное хозяйство спасать картошку. Но как-то вечером бригадир объявил, что три человека — Алпатьев, Ерофеев и Г-284 на несколько дней переводятся в бригаду строителей. Это означало, что каждый из них как плотник в прошлом может закрепиться на строительстве казарм на долгое время. Ерофеев помрачнел, а Г-284 обрадовался. Он сказал, что там, где вольные люди, там — выброшенный хлеб, окурки.

— Лучше питаться углем,— проговорил Ерофеев,— чем жрать шакальи объедки.

Алпатьев не поднял глаза.

— Ты что молчишь? — спросил Осоков.

— Куда пошлют, туда и пойду.

По лицу бригадира — это заметил Алпатьев — промелькнула кривоватая усмешка.

— Хорошо,— сказал Осоков.— Может, ты вообще перейдешь в бригаду строителей?

— Нет,— быстро проговорил стрелок, с трудом подавив желание попросить бригадира не посылать его на строительство казармы.

Закутавшись в одеяло, жидкое, как лагерная похлебка, и закрывши глаза, бывший конвоир представил себе родную казарму, соседа по койке — стрелка Топоркова — и представил Гнушина, командира взвода, политрука роты. Потом без всякой связи с предыдущим он увидел восьмиэтажное здание свердловской тюрьмы с кирпичной цифрой на карнизе.

Еще тогда, во время этапа, полгода назад, вытрихнутый из «воронка», он прочел эту дату — 1942 год — с каким-то смешанным чувством. Оказалось, когда отступали войска, когда он, Алпатьев, отстреливался от фашистов, зарешеченную махину продолжали тянуть к небу!

«А теперь я должен строить казарму для охраны самого себя»,— мелькнуло в голове Алпатьева, и он провалился, как обычно проваливался, в темную яму сна. И сразу же увидел огромный бачок с известью, гигантский сдвоенный куб вагона. Потом ему приснился Гнушин, говоривший, что преступников надо расстреливать, как расстреливают где-то на Востоке воров — на месте преступления...

Проснулся Алпатьев от щелчка по нитке. У нар стоял Ерофеев, рыжеусый великоустюжский старовер, мрачный, как прошедшая ночь.

— Двигаем,— сказал он.

Алпатьев соскочил с нар, надел ботинки, натянул бушлат и, получивши восьмисотку, вместе с другими пошел в столовую.

Спустя минут тридцать он и Ерофеев пристроились к бригаде Сударчука. К ним присоединился где-то рыскавший Г-284.

* * *

Ничего особенного в тот день и в последующие две недели Алпатьев не пережил. Работать в казарме было легко — штукатурить потолки и стены ему приходилось раньше. А вид автоматчиков и собак ничем не отличался от тех ищеек и охранников, которых он видел на лагпункте, где служил конвоиром.

Понравилась работа в казарме и напарнику стрелка — Ерофееву. Он даже сказал, что в общем-то все равно — возводишь ли заводское здание, тюремный ли корпус. Главное, не сидишь как пень, не глазеешь попусту. А любую казарму, тюрьму ли можно приспособить подо что-нибудь нужное, лишь бы настали хорошие времена.

— А такие времена настанут? — спросил Алпатьев.

— А то как же? — удивился Ерофеев.— Ведь этим живут все заключенные.

— А когда они настанут? — Алпатьев перестал вбивать гвозди.

— Не знаю,— сказал плотник.— Вот Осоков Евдоким Савостьянович может рассчитать...

О таком «расчете» Алпатьев знал по костистому заключенному. Того «освободил» бушлат из горбылей и кол над могилой.

— Не знаю, когда нас вызволят отсюда,— сказал Алпатьев.

— Окурок нашел! — перебил их разговор Г-284. Он прибежал из другой половины казармы.— Почему здесь нету окурков?

— А кто здесь работает? — спросил великоустюжанин.

Надставив маленький «сорок» замусоленным полем нечистой газеты, Г-284 убежал искать спички.

— Чудно,— продолжал плотник.— Веришь теперь не прямо, как полагается веровать, а навыворот. Нас вот хотели изничтожить, стереть в порошок — номера понавесили, конвой усилили. И что же? Лучше стало. От бандюг и воров избавили. Вы слышали о Колымской лагерной республике?

Ерофеевская вера «навыворот» напомнила солдату рассуждение Осокова. Тот говорил заключенному Ф-300, что завертывание подчинено, как все на свете, закону противодействия: чем туже закручивать, тем больше риска сорвать резьбу, вывести из строя гайку и болт.

— Поживем — увидим,— сказал Ерофеев.— Думаешь, легко верить навыворот? Мы же не те, которым нравится задом наперед ходить...— И он добавил, что верил бы прямо, «как полагается, да веру-то, вишь, как табуретку из-под повешенного вышибают...»

* * *

Приятные, как всякое завершение, отделочные работы подходили к концу. Оставалось вымыть полы и оконные стекла, убрать строительный мусор.

Ерофееву и Алпатьеву бригадир Сударчук отвел две просторные комнаты, предназначенные для курилки и бильярдной. Работа на объекте, как всегда, начиналась по встрономическим часам, когда отрывалось от вершины террикона, похожего на пирамиду Хеопса, сибирское солнце...

— Вы заметили,— спросил Ерофеев,— что к вам приглядывается конвоир, который плетется слева?

— Нет,— сказал Алпатьев.

— А я видел трижды. Смотрит на всех, а на вас пристально. Особенно, когда сдают нас здешней охране.

Алпатьев взялся за метлу и стал, чтобы не пылить, сдвигать крупный мусор. Это отвлекло его от слов Ерофеева, он вспомнил, как один заключенный лет двадцати, не более, читал при нем стихотворение другому, тоже молодому зэку. Стихи, когда их стал повторить бывший солдат, не укладывались в строчки, не хватало каких-то звеньев. Но потом они зазвучали. Стихотворение называлось «Песня мусорщика». Оно имело восемь строчек.

Затем, что мусор мне казался гадким,—

шептал Алпатьев,—

И я боролся за примерный двор,
Я брошен был в тюрьму, как вор,
Склоняющий народ свой к беспорядкам.
В тюрьме мне поручили убирать
Окурки на дорожках да бумажки...
И будто я сижу не в каталажке,—
Я мусорщик опаснейший опять!

«Окурки — чепуха,— прокомментировал солдат.— Здесь с ними не разбежишься. А все остальное — ничего, правильно».

Завернувший к Ерофееву и Алпатьеву бригадир Сударчук, приземистый, сумрачный человек, приказал влезть на чердак, собрать щепу и выбросить ее через слуховые окна. «А то пожарники,— сказал он,— прие......!»

— Пойдем,— сказал Ерофеев,— поглядим сверху, где у них собашник, где полигон, много ли казарм понастроили...

Но из этого ничего не вышло. Толстый охранник, стоявший на открытой ветрам вышке-времянке, махнул автоматом, и зэки полезли назад в дверку фронтона. Они успели, однако, увидеть учебное поле, соломенные человеческие чучела и бойцов, занимающихся физзарядкой.

— Ироды! — выругался Ерофеев, принимаясь за дело.

Алпатьев, глядевший на напарника, не понимал, ругает ли он охранников или плотни-

ков. По всему чердаку белели щепы-рыбины. Работы здесь было до самого съема. И плотники приступили к делу. Ерофеев стал рассказывать Алпатьеву о своей *двойной* семейной службе Министерству внутренних дел. Он тянет лямку здесь, а жена его, сорокалетняя баба, как вольнонаемная птичница гнет спину в великоустюжском совхозе.

— Курей выращивает в лагерном инкубаторе,— сказал плотник.— А топчут ее вот такие охранники...

— А знаете, почему левый конвоир смотрит на меня пристально? — уже шагая к месту построения бригады, спросил Алпатьев.— Он по лицу моему хочет угадать, за что и сижу. *Соответствия* ищет...

Не понимая, о каком «соответствии» говорит напарник, Ерофеев промолчал. Они стали в третий ряд, чтобы не быть на виду, но все-таки поскорей, когда подойдут к вахте, оказаться в зоне. И тут Алпатьев чуть не закричал: он узнал левого конвоира Топоркова, голубые глаза которого шарили по рядам. Они искали его, Алпатьева.

— Что? — спросил Ерофеев.

Алпатьев опустил глаза и так держал их до самой вахты. Он видел переступающие дырявые ботинки идущих впереди зэков, а сам все думал, что вот еще один человек, помимо начальника УРЧ, начальника лагеря, нарядчика и бригадира Осокова, знает, что в зоне сидит бывший «попка», солдат конвойного дивизиона.

Что Топорков не станет «разоблачать» Алпатьева, Степан доказал себе тем, что этот стрелок — не Гнушин, он был в дивизионе почти невидимым... Но страх, родившийся в тюрьме от слышанных там разговоров о ненависти заключенных к бывшим надзирателям, охранникам, работникам прокуратуры, суда, рос с каждым шагом. Алпатьев представил себе, какими бы казнящими глазами глядел на него великоустюжский плотник, если бы знал, что с ним работает «вертухай».

Добравшись до барака, бывший солдат подошел к бачку и залпом выпил четыре банки сырой воды. Утром его госпитализировали.

* * *

Пребывание в стационаре пришлось на самые режимные дни заключенных — на праздничные ноябрьские числа. Зэков закрыли на надежные запоры, движение замерло, по зоне ходили только охранники да необходимые придурки. Строже стало в палатах стационара.

Соседом Алпатьева по койке оказался потомственный иваново-вознесенский текстильщик — беззубый пеллагрик последней стадии. В отличие от костистого зэка, он сеял слова без разбору, как будто боялся унести на тот свет этот нелегкий груз. Он прошамкал солдату о всех мытарствах начиная с тысяча девятьсот пятого года. Он знал Фрунзе, которого и здесь, по старой памяти, называл «Трифоныч».

Одна из бед текстильщика была понятна Алпатьеву. Пеллагрик сказал, что до Октябрьской революции коммунистов били по правому уху, а теперь по тому и по другому: по левому свищут свои, по правому — толстосумы закордонные...

«Как же это получилось? — думал Алпатьев.— Свои бьют своих?!» Потом от этой мысли у него отделилась другая: коммунист бьет коммуниста — это можно, наверно, понять, они между собой разберутся. Но лупят и беспартийных! Их же на фронте было большинство, и большинство работает на заводах и фабриках. В колхозах.

Общение с бывшим рабочим продолжалось неделю.

— Так-то вот получилось, товариш-шь,— говорил пеллагрик, когда они задержались в сильно дезинфицированной уборной, где через форточку шел обмен хлеба на курево.— Запрешшонной песней в лагере оказалась и та, какую я пел шорок четыре года назад. Шпоем, што ли?

Бывший стрелок взял пеллагрика за рукав и вывел из уборной.

— Кто же, по-вашему,— спросил он его в палате,— *кто* тот человек, от которого зависит, какую песню петь можно, какую нельзя?

Старенький зэк долго глядел на Алпатьева. Ему хотелось сказать: от партии зависит. Потом зашамкал. Из слов, концы которых текстильщик проглатывал, как лапшины, Алпатьев понял, что с *тем* человеком как-нибудь разберутся. Страшен не он. Страшны исполнители.

— Тебе ишо долго жить,— сказал старик.— Человек тот даст дуба. А инштрукции оштанутца. А может, и инштрукции сгорят... Веришь?

— Верю,— сказал Алпатьев, сожалея, что поступил легкомысленно, оказавшись в стационаре. Вид пеллагрика и его желание петь гимн трудящихся в нужнике усугубили и без того тяжелое состояние бывшего солдата. «Тянуть так долго нельзя»,— решил он.

* * *

Просторный кабинет лагерного «кума», куда Алпатьева вызвали после выхода из стационара, мало отличался, как показалось ему, от кабинета опера 3-го лаготделения. Тот же стол, те же вопросы — является ли Алпатьев Алпатьевым, сколько ему лет от роду, где он родился, служил, холост или женат, какой социальной группы родители, специальность, образование.

Новыми были лагерные стереотипы — когда арестован, по какой статье осужден, кем, на какой срок, когда срок заканчивается.

На все эти вопросы он отвечал четко. Потом лейтенант вынул из стола какую-то бумажку и спросил, писал ли Степан Степанович жалобу в Министерство внутренних дел, с кем из вольнонаемных отправил ее, почему эта «ксива» не пошла обычным почтовым каналом. Бывший стрелок сказал — заявление писалось и было отправлено 10 октября в пульмане, а «канал» обычный он не признает, потому что в приговоре военного трибунала, который его судил, ничего не говорилось об ограничении переписки, писать же разрешают только два раза в год...

— А вы знаете, что такое государственная тайна? — спросил лейтенант.

— Знаю,— ответил стрелок.

— Положите руку на стол.

Алпатьев разжал стиснутые в кулак пальцы и положил кисть ладонью вниз на указанное место. Сросшиеся фаланги пальцев не позволяли держать руку плотно прижатой, она горбилась.

Лейтенант взял мраморное пресс-папье.

— Если угодно,— сказал он,— могу расправить...

Алпатьев не убирал руку.

Опер отодвинул мрамор в сторону, сел поудобней, взял папку и вынул из нее формуляр солдата. В приклеенной к формуляру карточке генповерки, в разделе «Приметы» ничего не говорилось о перебитых пальцах. «Какое удобство для оформления дела о клевете»,— подумал уполномоченный и сказал, что оскорбление служебного лица с целью дискредитации органов власти влечет за собой применение шестого пункта пятьдесят восьмой статьи. А выдача государственной тайны — та же статья, пункт девятый. Он хотел еще добавить, сколько лет можно приварить по названным пунктам, но Алпатьев попросил, чтобы ему дали листы допроса, чистые или заполненные, он подпишется под чем угодно, ему все равно — пятнадцать лет, двадцать ли или четверть века.

Опер улыбнулся и сразу же перешел к рассуждениям о преимуществе заключенных, имеющих не две, а одну судимость; о выгоде тех, кто приговорен не на четверть столетия, не на двадцать или восемнадцать лет, а на меньший срок.

— Амнистия будет обязательно,— сказал уполномоченный.— Но ее не применят к получившим довесок...

Слушая лейтенанта, говорившего, что честный человек и в заключении, в стане заклятых врагов, может приносить пользу родине, Алпатьев «допул» наконец, что его вербуют в осведомители.

— Мы постараемся,— сказал лейтенант,— облегчить вам жизнь.— Он пообещал бывшему конвоиру тайные, будто от родственников, посылки и сокращение срока до восьми лет.

— В стукачи не пойду,— ответил Алпатьев.

— Это не то слово, «стукач»,— уточнил опер.— Я предлагаю не стучать, а *работать* с нами.

— Все равно,— сказал конвоир.— Лучше на *общих* работать, чем с вами...

Он хотел выругаться, но постеснялся. Лейтенант распахнул двери.

* * *

Подойдя к бараку, Алпатьев остановился. Ему казалось, что он весь — с ног до головы — обляпан грязью.

— Ну что? — спросил дневальный.

Алпатьев ничего не сказал, влез на нары и укрылся бушлатом. То, что он не ударил лейтенанта мраморным пресс-папье, уберегло его от суда. За покушение на опера приговор один — вышка. Но основная причина боли — чувствовал Алпатьев — была не в том, что он поддался гневу и что его вербовали в осведомители, не в боязни, что лейтенант отыщет неизвестного кочегара,— болью отдавался *отказ* Министерства внутренних дел отвечать на заявление. Значит, надо писать снова, опять искать карандаш и бумагу. Но писать открыто, как в прошлые разы, при всех — нельзя. Глаза уполномоченного будут теперь преследовать его даже в отхожем месте...

Алпатьев начал дремать, когда его тронул за ногу дневальный.

— Ты спишь?

— Нет,— сказал конвоир.

— Что не расскажешь? Ведь не всех вызывают уполномоченные...

«Или это агент его,— подумал Алпатьев,— или полный олень...»

— Скоро придет бригада,— сказал дневальный.— Ты принеси воды, а я сбегаю в столовую.

Алпатьев слез с нар, дневальный схватил котелок и скрылся.

«Вот ведь как,— подумал он,— живу тут с апреля, а не знаю: кто этот человек, хороший или плохой, и почему с такой вывеской работает дневальным...»
Выйдя на воздух, Алпатьев будто впервые увидел огромный лагерь. Длинные приземистые бараки — торец в торец — тянулись вдоль трех ухабистых дорог. Параллельно им следовали полоски тротуаров. На все это — на деревянные тротуары, на бараки, на здание начальника лагпункта, КВЧ, УРЧ, на рубленный из сосновых бревен вместительный изолятор, на клуб-столовую, на хлеборезку, дрожжеварку, на дом производственно-плановой чвсти, нормировочной и бухгалтерии, на крошечное строеньице санчасти — глазели сторожевые вышки. Они маячили по углам зоны и вдоль закозыренного изнутри проволочного ограждения.

— Не насмотришься на родное гнездо? — спросил его выросший как из земли надзиратель.— Фамилия?

— Алпатьев.

— Повернись спиной.

Алпатьев повернулся.

— Вызывал опер?

— Да.

— Иди.

* * *

Вернувшись в барак, он вылил воду в бачок и увидел на стене то, что видел не однажды,— деревянную рамку с вмонтированной в нее описью инвентаря секции. В описи значилось: 1 параша, 1 бачок, 1 дерев. лопата, 2 тумбочки, 1 швабра, 2 бадейки. Порядковые номера 7-й и 8-й были пустыми — совка для загрузки угля в печь и выгребной кочерги, как металлических орудий, иметь не полагалось.

«Наше богатство!» — отметил солдат. Он подошел к единственному окну у бригадирской вагонки.

На тумбочке Осокова лежала книга — «Утопия» Томаса Мора. Она была раскрыта как раз на том месте, где говорилось о рабах.

Склонившись над тумбочкой, солдат стал читать и узнал, что рабов на острове набирали из взятых в бою чужеземцев и совершивших преступление своих сограждан. Превращая человека в раба, островитяне избавлялись от преступников, запугивали тех, кто еще не совершил преступление, и получали даровую рабочую силу...

Смутная неприязнь к автору книги и к жизни островитян погнала бывшего конвоира на нары. Он лег и стал думать, что вот через двадцать минут в секцию ввалятся изработавшиеся осоковцы и каждый из них, проходя к своему месту, обязательно посмотрит в его сторону. Каждый будет думать, что Алпатьев — сука...

Настороженность заключенных к побывавшим у «кума», добровольно или по вызову, была известна. В отношении к Алпатьеву это уже было заметно по вопросу дневального и по поведению надзирателя. Степан знал, что опера боятся не только зэки, его не терпит начальник лагпункта, не любит надзирательский состав и охрана.

«Вот человек,— думал он,— остальных тысячи, у каждого голова на плечах, есть уши, глаза, а знает обо всем он единственный, ему все известно...»

— На! — сказал вошедший в барак дневальный и протянул котелок с баландой...

Отказаться от подброшенной баланды было выше сил. Солдат спустил ноги с вагонки и крупными глотками выпил до дна сдобренную постным маслом похлебку.

— Топает бригада! — сказал дневальный и быстро убрал котелки в собственную, вторую в бараке, тумбочку.

Алпатьев лег и накрыл лицо полотенцем. Он не знал, а дневальный ему не сказал, что огромные — с цыплячью лапу — снежинки опускались на плоскости крыш, на окрестный мир, изрядно закоптившийся за шесть теплых месяцев. И первое слово, которое он услышал от работяг, ввалившихся в барак, было слово «Снег!». Зэки забирались на свои насесты, прятали под матрацы не успевшие вымокнуть рукавицы, вынимали из-под изголовья ложки и оставленные на ужин ломотки хлеба.

— Идемте! — скомандовал помощник бригадира, и грузчики гуртом двинулись к выходу. Алпатьев поднялся, вышел за последним заключенным и вместе с ним догнал колонну.

В столовой все ели молча. Чуть-чуть запоздавший Осоков, никогда не завтракавший и не ужинавший, как другие бригадиры, в бараке, сел на свое место и стал хлебать ту же баланду, которую уже отведал Алпатьев на нарах. Он был хмур, или, может, так показалось солдату.

— Списывают тебя,— сказал Осоков, когда один за другим заключенные освободили места за длинным, метров в пятнадцать, столом.

«Куда списывают?» — хотел спросить Алпатьев, но спрашивать не стал, поднялся со скамейки и вышел из столовой. Первый этап его лагерных мытарств закончился.

4

Вместе с Алпатьевым из бригады Осокова списали Г-284. За час до отбоя Сударчук показал им на вагонку, пустую сверху и снизу.

— Дэ кращэ, туды и лизьтэ,— сказал он.

Г-284 забрался наверх; немного поколебавшись, Алпатьев стал расстилать матрац на нижнем настиле.

— Зима ж! — предупредил бригадир.— Лизь на верхотуру...

— Потом, когда захолодает,— сказал солдат.

Он разулся, влез под одеяло, укутал ноги бушлатом и закрыл глаза.

Отбоя стрелок не слышал.

Утром Алпатьев и все заключенные глядели на преображенный за ночь проволочный невод-забор. Его выкрасили в черный цвет, так виднее на белом снегу возможные прорезы. Еще на севере Степан видел — как только уходили снега, проволочную колючку обрызгивали известью. «Надо же придумать! — удивился он.— Тоже чья-то голова работает!»

Рядом с Алпатьевым топтался Г-284. Он уже знал, что бригада ремонтирует казармы, а часть плотников должны менять подгнивший склад пекарни.

— Вот,— сказал Г-284,— если бы попасть в цех, где выскакивают из печей буханки! Ешь, пока в глазах не потемнеет.

Алпатьев не ответил. Желание заключенных нажраться от *пуза*, перепробовать все, что по глупости своей когда-то оставил нетронутым, что не съел в детстве,— через это прошел он еще в тюремные дни. Солдат поразился тогда, что пайку, обыкновенные четыреста граммов хлеба, можно употреблять по-разному — проглатывать сразу, съедать по кусочкам, есть отдельно корочки, потом мякиш, крошить ее на мельчайшие дольки, разрезать «ножом» из ниток на кубики, скатывать в маленькие шарики и глотать их наподобие пилюль... Каждый из этих способов — слышал он много раз — имел «научное» оправдание.

Свои тюремные граммы он поедал без этих фокусов, с утра, чтобы не мучить себя затем в течение долгих суток. И теперь он хорошо понимал, что лучше подводить в такую непогодь тяжелые баланы под стены по соседству с булками, чем бить баклуши в голодном помещении. Об этой лафе — оказаться в пекарне — думал сейчас каждый из двадцати трех плотников. И было бы глупо надеяться на удачу. Но именно Алпатьева и Г-284 и еще пятерых заключенных Сударчук назначил по лагпунктовско-вохровскую пекарню.

Бригаду вывели седьмой по счету. Разыгравшаяся фантазия мешала Г-284 идти в строю. Старшой конвоя несколько раз предупреждал — не разговаривать, пока не остановили колонну. «Еще слово,— пригрозил он с матерным прибавлением,— положу в грязь!» Колонна двинулась. И минут через двадцать людей остановили у здания барачного типа. Алпатьеву, Г-284 и еще пятерым плотникам было велено выйти из строя, их взяли под свое начало два конвоира. Остальных зэков повели дальше.

Воздух, смешанный с винным запахом передержанной опары и свежевыпеченных караваев, бил по ноздрям. Заключенные открывали рты, будто с этим запахом в их изголодавшиеся внутренности вливались невидимые глазом калории. Плотники забыли, что пришли не вдыхать запах хлеба, а выполнять тяжелую работу.

* * *

Все пятеро суток, начиная с первого дня, семь человек ели до отвала. Им выносили утром и перед съемом с работы по корзине отставших, обломившихся корок, помятого мякиша, выперших из форм, похожих на кипы коричневых завитушек — обычные отходы производства, без которых немыслима пекарня. И все это запивалось квасом. Его доставлял узкоглазый человек, не то казах, не то киргиз, смотревший на заключенных с таким интересом, как если бы перед ним демонстрировали заморских попугаев.

— Можно ишо,— говорил он.— Три бочка есть.

Заключенные благодарили, запивали хлеб квасом и снова брались за прерванные работы.

Алпатьев заметил, что захватывающие повествования Г-284 о способах добывать пропитание в лагере звучали все реже. Он сделался скучным, работал вяло, и звеньевой несколько раз предупреждал, что они, Алпатьев и его напарник, отстают, задерживают фронт работы.

— Для таких, как вы,— сказал Алпатьев напарнику в конце недели,— и придумана заманка — эти семисотки, восьмисотки и девятисотки.

— А для таких, как ты,— огрызнулся Г-284,— гарантийная птюха — шестьсот пятьдесят граммов!

— Я не за хлеб работаю. Меня не купишь за окурок.

— Еще как купят! — Г-284 вытянул шею.— Знаешь, что говорят уполномоченные? В лагере две точки опоры — пайка и боязнь домой не вернуться.

— Ты сталкивался с операми? — спросил Алпатьев.

Зэк посмотрел на бывшего конвоира, взялся было за лопату, потом отложил ее.

— А ты думаешь, за красивые носы нас послали у самых печей работать?
Степан бросил топор. И жгучую неприязнь к оперу, которую он растил все последние дни, бывший стрелок мгновенно перенес на этого заключенного. Алпатьев вылез из-под стены и зашагал к угловому участку, где с тремя работягами возился у стояка звеньевой.
— Что? — спросил тот, высовывая голову.
— Работать с «Г» не буду. Топора не подниму, если не замените.
— Пойдем,— кивнул звеньевой.
Шагая за ним, Алпатьев посмотрел в сторону конвоира, успевшего за долгий день протоптать в снегу тропинку. Рядом с конвоиром стоял Топорков, одетый в новые валенки, белый овчинный полушубок и шапку-ушанку.
«Ищет!» — не с боязнью, а радостью подумал Алпатьев, не зная, в какую ужасную шерстобитку попало начальство и бойцы конвойного дивизиона после его, алпатьевского, исчезновения. Ничем не поплатились — ни понижением в должности, ни взысканиями — только оперуполномоченный и его непосредственные помощники. Досталось на орехи командиру взвода, он был разжалован в рядовые. А Топорков и Подключников, поскольку их койки стояли рядом с алпатьевской, были удалены из своего дивизиона.
Ничего не объясняя, звеньевой отослал Г-284 на угловой участок и влез под пекарню.
— Ну, иди,— сказал он Алпатьеву,— чего ты там стоишь?
Одетый по минувшему сезону — в летние заношенные штаны, в рваную телогрейку и грязный колпак, Степан не мог оторвать взгляд от Топоркова. Потом он повернулся к нему спиной, подогнул колени и полез к звеньевому.
Они застучали топорами.
— Ты давно сидишь? — спросил звеньевой во время передышки.
— Скоро год будет.
— Откуда сам?
— Тисульский.
— Где это, Тисуль твоя?
— За Мариинском, в сторону от Тяжина ехать.
— А где Тяжин?
«Вот,— подумал Степан,— я считал, а Топорков и сейчас считает, что лагерь забит грамотными вредителями...»
— Тяжин — в Кемеровской области,— сказал Алпатьев.— А вы откуда?
— Елабужский. Слышал Елабугу?
— Нет.
— На юг от Ижевска. А ты почему не стал работать с «Г»?
Алпатьев, не разгибаясь, смотрел на медленно уходящего от пекарни в сторону казарм Топоркова и думал, что заявление на имя Сталина, даже если бывший товарищ не откажется отправить бумагу, передать никогда не удастся. В лагере следят за Алпатьевым, а в казарме — за каждым конвоиром.
— Почему я не стал работать с «Г»? — сказал бывший солдат звеньевому, когда тот уже постукивал топором.— Он — *шакал.* За корку хлеба сжует...
Перед съемом, когда Алпатьев и звеньевой справились с делом — уложили окладное бревно на место, Степан спросил:
— Вы в Сталинске были?
— Нет.
— А в Сталинграде и Сталинабаде?
— Тоже не был. А что?
— Да я сидел на пересылке в Кирове,— сказал Алпатьев,— так тюрьма тамошняя называется Вятской. Как же в Сталинске?
— Не знаю. Не *сталинской* же называть ее!

* * *

18 ноября Алпатьева оставили в зоне. Лейтенант Анисимов вызвал его к себе и положил перед ним листы протокола, не подписанные во время допроса.
— Подпишите.
— Пожалуйста. Только я прочитаю, что понаписано.
В листах протокола все было так, как отвечал боец, только более пространно записаны некоторые фразы.
Алпатьев прочитал, что «письмо, рассчитанное на *сочувствие* гражданского населения, было отправлено 10 октября в пульмане».
— Вы не помните,— спросил лейтенант,— в каком из вагонов — первом, втором, третьем или еще в каком — замуровали конверт?
— Нет,— ответил стрелок.
— Утром это было, в полдень или вечером? — уточнял опер.
— Не помню,— сказал Алпатьев.
— Конечно,— проговорил уполномоченный,— прошло тридцать дней. Но какой дурак стал бы держать при себе такое письмо до вечера? Конверт был брошен в первый вагон!

— Зачем вам это нужно, гражданин начальник? — спросил Степан.— Кочегара упечь собираетесь и наказать охранника?
— Вы бывший стрелок? — спросил опер.
— Да.
— Как выполняли вы свои обязанности?
— Хорошо.
— *Плохо* выполняли! Если бы хорошо, вас бы не посадили.
— Вы боитесь, что вас посадят? — спросил Алпатьев.
Лейтенант выругался, и взгляд Алпатьева, как в прошлый раз во время допроса, остановился на отполированном куске мрамора. «Врезать бы ему по харе,— подумалось бойцу,— и все бы кончилось разом...»
— Что вы замолчали? — спросил Анисимов.
— А что говорить? Ведь вы стращаете меня, собираетесь *выдать* заключенным. А за что? За то, что я был конвоиром, служил во внутренних войсках?
Вталкиваемый в узкий бетонный мешок карцера, Алпатьев прокричал, что лучше в ложных стукачах ходить, да честным оставаться, чем быть негодяем.
Последние его слова были заглушены металлическим визгом двери.
— Десять суток! — продиктовал опер надзирателю Шулыге, все время стоявшему на стреме у самых дверей его кабинета.— Вода и сто пятьдесят граммов хлеба!
Застывший в бессмысленной стойке «смирно», Шулыга глядел в рот уполномоченного, хорошо понимая, что зэк, приговоренный на десять суток лагерного ареста, зависит теперь не от опера, а от его, шулыгинского,— доброго или злого — отношения.

* * *

Слушание дела заключенного Алпатьева было назначено на четверг 21 декабря. Но в самый последний момент его передвинули на субботу — день рождения вождя не хотелось омрачать судопроизводством.
В день суда, в половине десятого, киоскерша гостиницы принесла в номер председателя выездной сессии лагерного суда «Литературную газету» и «Правду». Советник юстиции Матвей Герасимович читал их постоянно, куда бы ни поехал. Однако его интересовали в газетах не сообщения о ходе войны в Корее и не развернутые постановления высших партийных инстанций о разных хозяйственных работах. Матвей Герасимович выискивал в них мысли на одну заветную тему. Он следил за ходом дискуссии о генах и за откликами на работу «Марксизм и вопросы языкознания».
Статеек на эти темы в купленных газетах не оказалось. Зато председатель выписал из статьи Н. Атарова понравившийся афоризм: «Поток приветствий, направляемых на имя Сталина,— говорилось у Атарова,— знаменует собой... низвержение тьмы». Этот вывод Матвей Герасимович внес в ту же тетрадку, куда записывал высказывания всех знаменитых и малоизвестных современников. Атаровская мысль легла рядышком с заметкой И. Эренбурга: «Первый человек нашего государства нашел время, чтобы внести ценный вклад в науку о языке...»
«Еще десяток таких афоризмов,— решил советник юстиции,— и сборник мыслей о вожде будет закончен».
Минут через сорок, отрешившись от дела бывшего конвоира, председатель шагал по венчальной чистоты снегу. Дорога вела туда, где в замерзающих бараках поддерживалась минимальная температура, положенная для заключенных.
Рядом с Матвеем Герасимовичем шагали его помощники — оба члена суда и молоденькая секретарша. Все они щурились от нестерпимой белизны заснеженной равнины...
«А точно,— думалось молодому помощнику, шедшему сзади,— ноги-то у этой Наташеньки точеные... Не дурак председатель. А я бы ему подсунул,— продолжал он размышлять,— Цицилию Витольдовну». Член суда вспомнил дугообразные ноги и силособашенный рост Цицилии...
У самой вахты 1-го лагпункта 1-го лаготделения советник юстиции сказал, что «дело Алпатьева — трехминутная чепухенция» и что все они успеют еще пробежаться на лыжах. «Наташенька впереди, а мы — сопровождающие»,— сострил он.

* * *

Еще в довоенные годы Алпатьев думал, что мошенников, воров, убийц, всех преступивших закон судят в переполненном зале, зал огромен, судьи седовласы, охранник стоит с оголенной саблей, в зале светло, торжественно, каждое слово звучит, как удар о воду на озере.
Ничего подобного на поверку не оказалось. Суд на Севере, давший бывшему конвоиру пятнадцать лет, проходил в убогой комнатушке. Кроме Алпатьева, сидевшего на длинной, в четыре метра, скамейке, в помещении за простым столом томились: председатель трибунала, его помощники и старуха-секретарша. Та же картина — пустая об одно окошко комната, стол судьи и членов суда, столик секретаря и табурет для Алпатьева — вот все, что работало на важность происходящего теперь.

И то ли по этой причине, то ли еще отчего, бывшему конвоиру стало вдруг скучно, он сник, не зная, что делать, когда начнут задавать вопросы.

— Фамилия? — спросил председатель суда.

Алпатьев не ответил.

— Встаньте,— приказал судья,— и отвечайте на вопросы.

Алпатьев встал и назвал свою фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, статью и пункты, по которым сидит, срок наказания. Он собирался сказать еще, где родился, кто его родители, где служил и где арестован, но председатель суда жестом руки прервал, попросил не торопиться.

— За введение суда в заблуждение,— сказал он на всякий случай,— несете ответственность по статье, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Распишитесь, что вас предупредили.

Алпатьев подошел к столику секретарши и расписался на бланке, напечатанном типографским способом. Фамилия — *Алпатьев*, имя — *Степан*, отчество — *Степанович* были вписаны от руки.

— Знаете ли вы,— спросил председатель,— в чем вас обвиняют, какой пункт пятьдесят восьмой статьи инкриминируется вам, и нет ли у вас претензий к следователю и отвода к нам — председателю суда и членам выездной сессии?

— Нет, отвода не имею,— ответил Алпатьев.— В чем обвиняете — знаю.

— Вы отправили письмо на имя министра внутренних дел?

Смертная тоска, какой еще никогда не испытывал солдат, навалилась на него многотонным грузом.

— Почему не отвечаете? — спросил судья.

— А зачем вы спрашиваете о том, что вам известно? — сказал Алпатьев.

— Мы судим вас,— объяснил председатель.— Нам нужно разобраться — действительно ли вы поступали так, как записано в протоколах допроса?

— Вы же читали мое заявление на имя министра? — произнес Алпатьев.— Там все написано по-русски — почему я отправил письмо в пульмане, как меня судил трибунал, как допрашивали и о порядках в зоне...

— Будете отвечать на вопросы? — повторил председатель.

— А что от этого изменится? — услышал солдат свой голос.

— Отправляли вы письмо в пульмане, спрашиваем, или нет?

Алпатьеву припомнились слова костистого зэка. Тот говорил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях... Этот суд, думалось солдату, нужен только уполномоченному и судьям. Ведь даже врагов, мелькнуло в его голове, надо судить по-человечески...

— Будете отвечать или нет? — почти закричал председатель и что-то шепнул помощникам.

— Какого вам ляха нужно? — спросил подсудимого член суда, сидевший справа. Ему хотелось сказать не «ляха», а по-другому...

— Чтобы вы приговорили меня к расстрелу! — сказал Алпатьев.

— А что еще? — подобрел член.

— Чтобы всех вас арестовали! — Алпатьев почти задыхался.— Чтобы вы хоть по месяцу посидели в карцере...

Председатель позвонил в колокольчик, звеневший когда-то под расписной дугой. Дежуривший в коридоре Шулыга вошел в комнатушку.

— В бокс! Суд остается для совещания...

— Видали,— сказал председатель, когда дверь за подсудимым закрылась.— Тюхаматюха, а посидел годик и вот...

Матвей Герасимович пододвинул к себе листы линованной бумаги. Потом он сказал, что существующая лагерная система воспитания развращает зэков. Надо, сказал он, иметь не два типа лагерей, а несколько: лагерь шпионов, лагерь взяточников, лагерь болтунов, лагерь «давалок за плату», расхитителей социалистической собственности, чтобы годика через два-три они возненавидели друг друга профессионально...

Все это время, пока он развивал соображения о содержании заключенных, он, не останавливаясь, писал приговор. Писать было легко. Многолетняя практика, как добрый заводской штамп, позволяла без всякого усилия запечатлевать на бумаге удобные, юридически обоснованные формулировки. В данном случае речь шла «о пресечении попыток использовать социалистический транспорт в антисоветских целях». «Преступник Алпатьев действовал сознательно,— писал советник юстиции,— содержать его в обычных лагерях нет смысла, не эффективно: он должен отбывать срок — пятнадцать, минус один, плюс пятерка, то есть *девятнадцать* лет — в строгорежимных местах заключения».

Исписанные листы один за другим Матвей Герасимович передвигал члену суда, сидевшему справа, тот передавал их за спиной председателя другому члену, который переправлял готовый текст Наташеньке...

Совещание выездной сессии лагерного суда, как засек на часах Шулыга, продолжалось двадцать четыре минуты с секундами.

— Ну вот, и окрестили вас по-новому,— сказал он Алпатьеву, конвоируя его туда, откуда привел — в лагерный изолятор.— Не унывайте. Завтра перебазируют в десятый лагпункт семнадцатого лаготделения. Начнется новая жизнь...

Метрах в тридцати, параллельно Алпатьеву и Шулыге, как волк в лесу, двигался лейтенант Анисимов.

5

На штрафную колонну вместе с Алпатьевым этапировали Евдокима Осокова. Третьим в этапе был молодой заключенный, читавший при Степане «Песню мусорщика».

«Надо узнать, за что его наказали»,— подумал Алпатьев. Но прямо с ходу, как только они подошли к вахте, нарядчик стал выкрикивать фамилии.

Стоявший в вахтенном проходе рядом с дежурным по зоне старшой конвоя сам щупал стихотворца, развязал его узел и протолкнул с собранным как попало барахлом за внешнюю дверь.

— Осоков! — крикнул нарядчик.

— Евдоким Савостьянович.

— Статья?

— Самая ходовая.

— Пункт?

— Окруженец.

— Срок?

— Двенадцать.

— Конец срока?

— Год освобождения крестьян от крепостной зависимости.

— Яснее?

— 1961-й.

— Проходи...

Новых «данных», вписанных в формуляр после заседания лагерного суда, Алпатьев не помнил, поэтому путался, когда нарядчик посыпал вопросы.

— Конец срока? — это был последний вопрос.

— 70-й год.

— 69-й,— поправил пом. по труду и махнул рукой в сторону вахты.

— Вещей нет? — старшой внимательно оглядел Алпатьева.

— Нету.

— Пайку слопал?

— Съел.

Осокову, Степану и юному заключенному приказали взяться за руки, и после «молитвы» — «шаг влево, шаг вправо...» — два охранника повели их по завьюженной степной дороге.

«Три товарища»,— горько подумалось Евдокиму Савостьяновичу, читавшему роман запрещенного Ремарка по-немецки на немецкой земле в счастливые апрельские дни сорок пятого года.

— За разговоры в пути,— обернулся конвоир,— карцер по прибытии на штрафную...

Но зэки говорить и не думали, и каждый из них разговаривал про себя.

Осокову вспомнилась такая же заметеленная дорога под Брянском. Только там лежала вокруг не степь, а темные на белом снегу перелески и далекий, точно вымазанный дегтем, лес. Потом он увидел не лицо немецкого автоматчика-конвоира, а испуганные глаза командира взвода, получившего сообщение, что все они — их рота, полк, дивизия и армия — в кольце немецких войск. Тогда или чуть позднее Евдоким и решил для себя, что в пленении роты виноваты солдаты и ротный, в пленении батальона — командир полка и батальонный, а если пленили дивизию, армию или несколько армий, тут уж солдаты и взводные ни при чем. Суду подлежит командующий армией и фронтом, а может, и Ставка. Но четыре года спустя судили не командующего направлением, не генералов Ставки, а бессильных вырваться из окружения солдат и лейтенантов...

«Так было и так будет, пока не потухнет солнце,— заключил Осоков, переставляя ноги в такт с шагами Алпатьева и молоденького зэка Соишкина.— Стрелочник виноват не потому, что виноват, а потому, что стрелочник».

— Стоп! — прокричал конвоир, и поднявший голову недавний бригадир Осоков увидел, что перед носом — штрафная колонна.

Из вахтенных дверей вышел коренастый, одетый в полушубок военный. Он мотнул подбородком старшому и вплотную подошел к этапникам.

— Алпатьев? — Военный ткнул пальцем в Степана, стоявшего с правой стороны шеренги.

— Алпатьев,— ответил бывший солдат.

Человек в полушубке перевел глаза на бригадира грузчиков, потом посмотрел на Соишкина.

— Стало быть, прибыли,— проговорил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.

«Тутошний „кум“— средний или старший брат Анисимова, тутошний богатырь»,— догадался Алпатьев.

Коренастый повернулся спиной к заключенным — из вахтенных дверей прямо на снег вывалился шарообразный с заросшими глазами песик. Он заюлил у ног хозяина и покатился за ним вдоль зоны.

Квадратный дом, к которому шагал военный, примыкал к полуторасаженному забору, оберегаемому предупредительной проволокой на невысоких столбах.

Сбитый с толку поведением военного, Алпатьев не заметил, что правильно, без запинки отвечал на вопросы, которые выкрикивал здешний нарядчик.

Спустя минут двадцать всех их повели по внутризонной расчищенной дороге к приземистому строению — лагерной бане.

В моечном отделении, на полу, вытертом разутыми ногами зэков до белизны, начался шмон. Раздетые этапники стояли в нескольких метрах от своей нечистой одежды — нижнего белья, ватных штанов, телогреек и бушлатов. Юркий надзиратель подозвал к себе Степана, заглянул ему в рот и повернул затем на все 180 градусов.

— Ищи-свищи,— вслух сказал Алпатьев, хотевший эти слова произнести молча.

— Что? Что ты сказал? — шмонщик повернул Степана к себе лицом.

— А ничего.— Алпатьев поглядел на лицо надзирателя, в его прозрачно-родниковые глаза.— Желудок пустой, я из кондея...

Шмонщик толкнул солдата к одежде и стал обследовать Соишкина, потом Осокова.

— Затряхивайтесь! — скомандовал он, не найдя ни в одежде, ни в обуви, ни в самих заключенных ничего запрещенного.

Когда этапники оделись, в моечную, пахнущую потом и мылом, ввалилось громоздкое тело одетого с иголочки пожилого рыжеусого продвещстолиста. Он поздоровался, сделал ручкой — мое, мол, вам с кисточкой! — и оглядел одежду каждого из прибывших. Она совпадала с палочками арматурного списка. Рыжеусый объявил, что согласно аттестату все они получат гарантийную пайку через день и две ночи.

— Цых пацанив — Осокова и Соишкина,— сказал он надзирателю,— забираю в шестой барак, в четверту сэкцию, будут робить крепильщиками. Пидёмо, хлопцы!

Алпатьев и надзиратель остались одни.

— Пойдем,— сказал стражник и открыл дверь.

За длинными бараками, занесенными снегом до половины узеньких окон, Степан понял, что ведут его не в рабочую секцию.

— В изолятор? — спросил он надзирателя.— За что?

— Не будете болтать,— ответил охранник.— Предупреждал вас конвоир, что говорить в дороге не разрешается?

— Предупреждал...

— Кем вы работали на воле? — смягчился надзиратель.

— Церковь сторожил, в колокола позванивал...

— Значит, не баптист, не субботник, не еговист пойманный.

— Гражданин надзиратель,— спросил вдруг Алпатьев.— Почему в наших тюрьмах и лагерях не объявляют голодовок?

— Дураков у нас меньше,— ответил находчивый стражник. Он нажал на эбонитовую кнопку и ввел Степана во внутреннюю, окружающую кирпичный куб карцера ограду.

* * *

Что в советском государстве дураков ничуть не меньше, чем в капстранах, Алпатьев убедился еще в бытность солдатом саперного батальона. Одним из таких дураков, видимо, является он сам, вот уже более года ни за что ни про что тянущий лямку зэка. А таких, как он — бесправных и безответных заключенных, говорят, столько, что хватило бы на создание отдельной державы, равной по населению Чехословакии и Венгрии вместе взятым.

«Чем умирать от пули по несправедливому приговору, лучше умереть от своей руки,— думал Алпатьев, чувствуя, что голова его все пытается соскользнуть с отполированного, послужившего не одному заключенному, карцерного подголовника.— Раз жизнь не ценится, человек никому не нужен, значит, надо умертвить себя, и чем скорее, тем лучше...»

Утром Степан отказался от принесенного дежурным по изолятору трехсотграммового куска хлеба. Не взял баланду.

— Хе! — рассмеялся дежурный.— Может, ты захотел зразы, либо шашлык по-кавказски?

Алпатьев молчал.

— Встать! — заорал дежурный.

Алпатьев не шевелился.

«Интересно,— сказал про себя дежурный.— Дурачок или умник какой?» Он закрыл бокс и стал греметь ключами у соседней клетушки.

* * *

О голодовке бывшего конвоира не знало, не было информировано зонное начальство. Четыре цементные стены с плотно подогнанной дверью хранили тайну постепенного умирания бывшего солдата саперного батальона, исхудавшего до неузнаваемости колхозника из степного села Тисуль. Представители карательной части лагеря — оперуполномоченный и начальник режима — раз в сутки справлялись у дежурного по «изо», как долго собирается сопротивляться этот «полуколхозник, полуконвоир и полузэк». Так назвал его в своем донесении лейтенант Анисимов.

К исходу девятого дня, обессиленный предыдущими карцерными испытаниями, Алпатьев потерял сознание.

Очнулся он в палате стационара под белой, как лебединое крыло, простынью. Какой-то человек где-то в ногах то и дело повторял:

Ху из диггет он май грейв,
Ху из дистбинг стил май пис...[1]

«Что бы это значило?» — мелькнуло у Степана, и он приподнял голову. Длинный человек в белом халате двигался от стены к стене, декламируя:

Ху из диггет он май грейв...

— Хо! Воскреш...— воскликнул он, подходя к алпатьевской лежанке.— В Бухаресте я воскрешал мертвых.— Длинный взял Степанову руку, проверил удары пульса. Алпатьев увидел в левой его руке пузатый шприц, наполненный желтоватой жидкостью.— Будем жисть! — сказал белохалатник. Потом он словно растаял в простенке.

* * *

На следующий день, перед самым отбоем, на табурет у постели больного сел Соишкин. Несколько секунд заключенные молчали. Потом Соишкин полез в карман, где лежало мелко записанное стихотворение. Другого гостинца, даже кусочка сахара, парень принести не мог. Он вынул грубую бумагу и, не глядя на нее, нараспев, с паузами, точно отделяющими одно слово от другого, прочитал свое аапроволочное произведение, о каком-то Сократе, приговоренном в каких-то Афинах к смерти.

— Может, бумагу изорвать? — поглядел на Степана Соишкин.

— Ну что вы! — сказал бывший боец, не очень-то понявший стихи.

Парень пожал плечами.

— Пусть останется.— Алпатьеву казалось, что неизвестный ему афинский мудрец чем-то связан с ним, с этим Соишкиным и другими заключенными.

— До свидания! — сказал стихотворец. И уже от дверей Соишкин объяснил, как он узнал, что Алпатьев в больнице. Он шел из КВЧ и увидел носилки, которые два санитара несли в направлении стационара...

Показать стихотворение врачу, всегда читавшему под нос какие-то складные строчки, Степан не осмелился. Зато он твердо решил, изучивши стихотворение,— пусть убивают себя, лезут в петлю совершившие преступление. Пусть стреляется опер Анисимов, принимает цианистый калий здешний уполномоченный. А ему, Алпатьеву, стыдиться нечего, он никого не предал, не поступил подло. «Уж если стыдиться,— думал он,— так этого неумного решения — умертвить себя голодом. Да разве еще темноты своей...»

* * *

Постоянная осторожность — не говорить с человеком, которого знаешь плохо,— была Осоковым отвергнута, как только он прослушал несколько восьмистиший Соишкина. Но полное доверие к стихотворцу появилось на глубине 300 метров от засугробленной земной поверхности. Бригадир Добрыйвечер поставил их на ремонт крепления бокового штрека, упиравшегося в круто падающий пласт угля.

— Ты полегче, Федор Феоктистович,— сказал Осоков Соишкину.— Пока не закрепим прогиб, не лезь туда. С этой-то стороны вернее...

Соишкин отмахнулся, сказав, что Косая найдет хоть где.

Ответ молодого человека вызвал продолжительный разговор во время перекура. Евдоким сказал, что инстинкт самосохранения сильнее проявляется у тех, кому нечего сохранять. У заряженных силой он бездействует, не довлеет.

— Понял? — спросил он Соишкина.

— Нет.

— Ты за что сел?

---

[1] Кто копается на моей могиле,
Кто тревожит мой загробный сон? — стихи английского поэта Р. Стивенсона.

— За слово.
— Надеюсь, что «слово» это твое было не стертым, как старый пятак?
— Ну что вы? — возразил парень.— Рядовое, обыкновенное слово.
— Тогда наверняка произносили его не все. Боялись произносить.
— Может,— согласился Соишкин.— Я назвал произведение, получившее Сталинскую премию, дрянью. То есть не дрянью, а более выразительным словом.
— Ну вот, так оно и есть,— сказал Осоков.— Кто чуть-чуть посмелее да почестнее, тому наплевать на инстинкт самосохранения. Истина дороже.
Они взялись за работу, и в тюканье топоров стали вплетаться слова то одного, то другого. Осоков продолжал развивать свои соображения об инстинкте самосохранения.
— Мы вот с тобой голодные, как мыши нынешних церквей,— сказал он, вгоняя широкий клин между провисшей перекладиной и стойкой.— Но мы не лебезим, не гнем выю перед теми, от кого перепадает кус хлеба. Почему? — Осоков ударил по заднице клина последний раз.— Потому что чувство достоинства — выше чувства самосохранения.
Преисподняя тьма штрека, имей она запоминающие устройства, могла бы на вечные времена оставить запечатленными выводы Осокова. Он говорил о том, что чувство собственного достоинства выражает общественное здоровье. Без него, без этого чувства, сказал он, постукивая обухом, общественная функция человека свелась бы к слепому повиновению, народилась бы масса угодников, подхалимов.
— Когда-нибудь,— повернул разговор инженер,— из тебя, возможно, получится неплохой писатель. Ведь будешь писать, если выживешь?
Соишкин ничего не ответил.
Они снова взялись за инструмент. И если бы взглянуть на них со стороны, откуда змеился заброшенный штрек, они показались бы в свете карбидок извивающимися червяками.

* * *

В марте месяце снова загорланили почуявшие весенний воздух вороны. Законный интрудист Алпатьев вышел из барака и присел на завалинку. Солнечные лучи проникали в него как теплые человеческие слова, тоже невидимые, но ощутимые. Алпатьев глядел на безоблачное небо, на еле заметные, текущие над проволокой забора струйки воздуха. Великая тишина, как ему казалось, стояла над землей, пронизывала все живое и мертвое, хотя вороны горланили не переставая...
Бывшему солдату вспомнился вспыхнувший недавно ночной пожар. Все зэки высыпали из барака. Но горела не столовая; рукастый огонь шарил по чердаку и крыше зазаборной резиденции оперуполномоченного Песенного. Степан заметил, как лица заключенных, выбегавших из барака, меняли свое выражение... Зэки заболобонили; сивенький старичок сделал вид, что пускается в пляс; хромоногий кочегар из четвертой секции проговорил, что очень сожалеет — не может подбросить «товарищу куму» ведро бензина...
Дом сгорел. Осталась одна печная труба да невидимый из-за зонного забора пепел. Вместе с домом сгорели «дела» подследственных заключенных, сгорели донесения осведомителей, протоколы допросов, характеристики, которые писали на прибывших сюда разные анисимовы, таракановы, овчинниковы. Думать об этом Алпатьеву было приятно, хотя он понимал, что дом Песенному выстроят, и, быть может, каменный, «дела» заведут другие, и лакированные ящички картотеки уполномоченного заполнятся вновь написанными разными доносами и характеристиками. «Бог с ними,— сказал тогда Степан,— с характеристиками. Настанет время — все это покажется неправдашнею игрою...»
«А что на самом деле случится завтра? — спросил он себя на завалинке, поглядывая на льдистый кристаллик, заметно уменьшающийся под лучами солнца.— Неужели анисимовы, песенные, тот судья, что судил меня на севере, и этот, что судил недавно,— неужели все они так и будут считаться людьми настоящими, а не мусором?»
Мысли Алпатьева, как ручейки, незаметно пробились к забытому за последние месяцы твердому решению — писать и писать жалобы, посылать их одну за другой во все инстанции, писать самому Саваофу.
Степан встал и пошел в барак — в интрудистскую секцию, подошел к бригадиру и попросил у него листок бумаги.
— Хочу писать заявление,— сказал он.
— Кому?
— Вождю народов.
— Дам,— ответил бригадир.— Только передай, пожалуйста, огромный привет от Данилы Спиридоновича Сухарева, предводителя «индюков», посаженного двадцать два года назад.
Алпатьев взял бумагу, сел к тумбочке соседа по вагонке и сразу же написал слово, заставившее его остановиться.
— Можно,— спросил он Сухарева,— писать *«товарищу»*?
— Можно,— ответил Сухарев, пришивавший дополнительный карман к телогрейке, орудуя вместо иглы заостренной стальной проволокой.— Бумага все стерпит. Ты читаешь газеты?
— А можно задать еще один вопрос?
— Крой,— разрешил Данила.— Бывшие стукачи,— сказал он просто,— надежнее молодых оленей. Ты почему с этой должности сместился?
— Неужели вы верите, что я работал на уполномоченных? — Алпатьев посмотрел на Данилу.
Тот уклонился.
— О чем ты хотел спросить меня? — задал он вопрос Степану.
— Знает или нет Сталин о порядках на воле и в лагерях — о том, о чем знаете вы, я, другие заключенные и не арестованные люди?
— А что из того, знает он или не знает? — спросил Сухарев.
— Плохо, если не знает. Знать должо́н...
— Тогда просвети его. Так, мол, и так, великий вождь Иосиф Виссарионович...— Сухарев повесил телогрейку на приступку нарной крестовины и лег на свое почетное — бригадирское — место.— Пиши. Буду диктовать!
Алпатьев сел, расправил помятую бумагу, потом отодвинул ее.
— Писать *ему* раздумал,— сказал он.— Если вождь мудрый, как пишут о нем, значит, он знает все. А если наоборот, и *глухой* к тому же, значит, моя писанина — об стенку горох... Напишу министру, который вернул заявление оперу.
— Очень хорошо,— одобрил Данила.— Будем писать визирю.— И он спросил Алпатьева — знает ли парень, что в турецких государствах, во всех, где есть султаны, делами заворачивают подсултанники, преданные султану люди. Данила сел по-персидски, и первое длинное предложение, продиктованное им, заставило бывшего солдата положить карандаш на тумбочку. Ему стало неловко за зэка — серьезный вопрос он оборачивает в комедию, в первые десять слов вплел два бранных, невозможных для написания...
— Нет,— сказал Степан,— я отроду не ругался и не буду ругаться.— Он встал, взял бумагу, отдал ее Сухареву и вышел из секции.
— Ну и хрен с тобой! — выругался Данила.— Годиков через семь задудишь в другую дуду, научишься кусать из-за угла и лаять...— Сухарев лег на свое почетное место и сразу же, натренированный десятилетиями, забылся дремой.
Алпатьев обогнул барак и подошел туда, где недавно любовался тающим кристалликом. На месте льдинки теперь поблескивало зеленоватое остекленевшее пятнышко. Где-то под ним, на глубине около полуметра, лежал грунт с замороженными подпочвенными водами. В летнюю пору он мог бы питать крестьянское поле, а не вытоптанный, утрамбованный подошвами заключенных плац... И все-таки, подумалось Алпатьеву, этот скрытый под снегом кусочек земли — *часть* родины, земли, которую засеют, когда снесут бараки и растащут казармы...
«Я напишу заявление,— сказал он сам себе,— что длинным щупом прокалывают не уголь в пульмане, а самого человека. Напишу, что не считаться со мной, с моими словами отсюда, значит не признавать семнадцатого года, который разрешил трудящимся говорить правду. Хорошо об этом выступал политрук роты. Только почему же за высокими словами такая...» Он не нашел подходящего слова, встал и вернулся в секцию.

6

10 мая, когда Данилу Сухарева увезли ногами вперед на местное, освободившееся от льдистого снега кладбище, Алпатьева вызвали в нарядную. Когда он шагал туда, солнце уже поднялось над крышей здания начальника лагпункта.
— Вот что,— сказал молодой, обезображенный угрями нарядчик. Он глядел на Степана презрительно, с каким-то отвращением, хотя, казалось, такое, как у него, испохабленное прыщами лицо не должно было выражать никакого чувства, кроме собственной боли.— Ты ведь бывший конвоир, Степан Степанович?
Алпатьев кивнул.
— Будешь исполнять обязанности бригадира интрудистов. Я сам тебя назначаю. Возьми себе грамотного помощника. И в понедельник пойдете на женский лагпункт — приводить в порядок зону. Все, говорят, засрали!
Алпатьев никогда с тех пор, как попал в заключение, не помышлял ни о какой начальнической работе. И он глядел на прыщавого нарядчика, как будто тот предлагал ему стать комендантом лагеря.
— Вот тебе список на тридцать лаптей,— сказал нарядчик.— Да, вот еще что, после подъема я дам тебе маленькую записку...— И он стал объяснять Алпатьеву, что записка эта бригадирше Прониной, что надо передать ее умеючи, Пронину не выпускают из зоны, и спросил — понял ли Алпатьев, что говорят ему.
— Понял,— сказал солдат, думая не о записке, а о том, следует ли соглашаться на лагерную должность — командовать заключенными. Он уже знал, что должность брига-

дира обязывает вступить в контакт не только с нарядчиком, прорабом и продвещстолистом — они заключенные, но и с начальником лагпункта, начальником УРЧа и, может быть, с «кумом».

— Нет,— сказал он нарядчику.

— Ты не соглашаешься передать ксиву? — удивился нарядчик.

— Не согласен бригадирствовать...

Нарядчик послал Алпатьева к никогда не отказывающей матери... Степан повернулся, ударился лбом о дверь, закрыл ее за собой и поплелся в барак, смутно представляя себе, как бы он стал командовать заключенными-дистрофиками, не желающими работать и не способными уже ни к какому труду.

В тот же вечер Алпатьев остановил Соишкина — тот шел из посылочной — и рассказал ему о своем отказе начальствовать.

— Может, это не серьезно он предлагал мне бригадирствовать? — спросил он москвича.

— А может, серьезно,— сказал Соишкин.

— А записка бригадирше Прониной? Ксива?

— И это, может, серьезно. Кому-то, не тебе, так другому, доверять надо...

— По-моему, все это «кум» делал — и назначал бригадирствовать, и записку хотел всучить.

— Может, и «кум». А ты бы все-таки согласился. Почему бы тебе не покомандовать недели две или с месяц? А там и во вкус вошел бы... Дело ведь вовсе не в том, какую ты лямку тянешь, а в каком направлении... Я, например,— сказал Соишкин,— с удовольствием согласился бы бригадирствовать и побывать в женской зоне.

— Теперь уже поздно,— вздохнул Алпатьев.— Да мне и не подошло бы командовать...

Весь путь до интрудистской секции Алпатьев думал о мертвой для него стороне дела — отделенных не по статейным соображениям женщинах, которые тоже ходят в бушлатах и в ватных тяжелых штанах. Он видел однажды, как они шли мимо с лопатами на плечах, кто-то по-соловьиному защелкал им из зоны, что-то крикнул, но их провели мимо.

«Им еще потруднее нашего,— думал Степан.— Не могут же они, как мы, без трусов обходиться, без ихних рубашек и лифчиков, и гребней с платочками».

Степану вспомнились барачные разговоры. Добрая четверть товарищей по бригаде, превратившихся в «индюков», была, оказывается, по-лагерному обвенчана — сидела из-за сожительниц в кондеях, отдавала своим подругам, когда удавалось, последнее полотенце, кусочек мыла, делилась последней краюшкой. А покойный Данила Сухарев, попавший в заключение в тридцать четвертом году, говорил при Алпатьеве, что он оставил Иосифу Виссарионовичу «вещественное доказательство» непримиримости своей — двух сыновей, прижитых в лагере,— Ярослава и Никона Даниловичей[1].

После возвращения из столовой, когда все забрались на нары, Степана вызвали не в нарядную, а к лейтенанту Идашеву, начальнику учета рабочей силы. Был Идашев уже почти старик. Он усадил Степана на стул, похлопал его по плечу и быстренько, будто сеял горох, стал разбрасывать обкатанные слова в расчете, что они не ударятся об стенку. Идашев спросил, почему Степан Степанович, недавний боец внутренних войск, игнорирует приказ старших.

— Я не боец давно,— ответил Алпатьев.

— Ишь ты! — сказал лейтенант, и похожее на улыбку мускульное движение скользнуло по его лицу, как волна по исхлестанной песчаной отмели. Идашев обогнул стол, подошел к бывшему конвоиру и проговорил со значением, что, если бы Степан Степанович был солдатом, он упрятал бы его на пятнадцать суток в солдатский карцер — гауптвахту. Но Алпатьев уже не боец...— Ты наш и не наш,— сказал Идашев, стоя перед Степаном.— Столб пограничный! Вот кто ты. С одной стороны СССР, а с другой — Федеративная Германия...

— Я согласен быть бригадиром,— произнес вдруг Алпатьев.

— Ну вот, давно бы так,— заключил лейтенант. Он снова забаррикадировался столом и оттуда сказал, что если Степан Степанович не потеряется из виду, то помощь от УРЧа будет постоянной.— Надо только не потеряться, а я всегда тут,— сказал он, рассчитывая опять, что слова его дойдут до заключенного.

Но тонкий по-лагерному намек на готовившийся крупный этап на 501 стройку и на урановые разработки не заставил Алпатьева навострить уши. Намека Идашева он не понял. «Может,— думал бывший боец,— это передышка, посланная матерью с того света; она не дала мне поскользнуться, скопытиться на подъеме... Посмотрим, что выдумают еще лейтенанты, чтобы я непременно упал, выпачкался в грязи, сдался...»

---

[1] Данила Сухарев заблуждался. Родившиеся в заключении дети не получали фамилию отца, они оставались без отчества, их записывали на фамилию матери, в графе «отец» — делался прочерк.

— Можете идти,— сказал Идашев.— Ежели будут артачиться инвалиды твои, сообщай.

Алпатьев вышел.

Огромное стадо звезд, таких холодноватых и таких недосягаемых, тихо паслось на небе. Звезды бросались в глаза своим мерцанием. «Видно, только кажется, что они живые и могут вздыхать»,— краешком ума отметил солдат, подходя к бараку. Космические глубины, загадки происхождения Солнца, Луны и ближайших планет Степана не беспокоили в отрочестве. Его волновала земля, и все, что растет на ней, он думал иногда — отчего получается так, что засеваются огромные поля в Сибири, равные иному российскому району, а хлеба не хватает...

— Вот ваше место,— сказал ему пожилой раздатчик, правая рука покойного председателя. Он указал на почетный бригадирский угол, где уже лежали перенесенные туда шмотки Алпатьева.— Нарядчик сказал, что с завтрашнего дня бригада Сухарева будет называться алпатьевской.

Бывший боец молча перенес свой матрац, одеяло, набитую сенной трухой подушку и ветхий, выданный в начале срока бушлат опять на старое место — на второй этаж третьей от дверей вагонки. Он не стал говорить, что удобное, поближе к свету и подальше от сырости место надо еще заслужить.

— Зря вы стараетесь,— сказал ему утром раздатчик. Они возвращались из бухгалтерии, где с Алпатьевым знакомился продвещстолист, тот самый, что проверял арматурные книжки, когда Алпатьев, Соишкин и Осоков пришли этапом.— Все в бригаде считают вас провинившимся стукачом Песенного. Так что занимайте положенное по должности место.

По просьбе Степана на место Сухарева перенес свой матрац хромоногий кочегар, чей срок истекал в шестьдесят восьмом году; он сидел с сорок третьего года.

* * *

Перед входом в женскую зону их общупывала молодая полнощекая надзирательница. Ей было не более двадцати шести лет. И было смешно, когда она проводила руками по бокам заключенных, по бедрам, меж ног и ниже коленок. И было нехорошо, когда она сама стала выворачивать брючные карманы у отказавшегося это сделать сорокалетнего поносника[1].

Алпатьева обыскивали последним, и он не удивился приказу женщины снять чуни и вытряхнуть их из кордовых сооружений образца сорок третьего года.

— Можете обуваться,— сказала она, бросая Алпатьеву его вездеходы.

Алпатьев сел на песок, не торопясь обулся и поднялся на ноги. Жесткая, на грубой бумаге, записка нарядчика, всунутая в распоротый изнутри шов штанины, пришлась на лучевую кость, давила. Но бывший конвоир с облегчением присоединился к бригаде и последним вошел в зону. Он уже решил уничтожить «ксиву», как только подведут к объекту работ и он отпросится в отхожее место.

Выполнить эту задачу оказалось не так-то легко. Бригаду заставили обновлять начинающуюся от вахты предупредительную линию — тянуть в три ряда колючку, мотки которой большими плоскими ежами были разбросаны вдоль зоны то там, то сям. К работягам подошел производитель работ, недавний заключенный. Он спросил, кто бригадир, и стал давать указания — какой столб сменить и какой оставить.

Вместе с Алпатьевым прораб прошел вдоль линии до первого угла, хотел повернуть обратно, раздумал, и они, отмечая затесами покосившиеся столбики, двинулись дальше, огибая лагерь изнутри по часовой стрелке. Лагерь был невелик, со взлетную площадку районного аэродрома, застроен приземистыми строениями. «Точь-в-точь, как у нас в зоне»,— подумалось Алпатьеву, и он стал косить глазами в сторону бараков.

— Мне надо сходить по нужде,— сказал он неожиданно для себя идущему впереди прорабу.

— Да здесь и крой, у того вон торца не видно...

Алпатьев застеснялся и, чтобы не вызвать подозрения, подошел к барачной стене и справил малую нужду.

— Не знаю, когда вы управитесь с этой линией,— сказал прораб.— Дохлые, как на подбор. Ты давно сидишь? — спросил он Алпатьева.

— Полтора года.

— Выходит, на взлете. И — доходяга.

— Я не доходяга, инвалид.— Алпатьев показал руку.

— Не знаю, как ты дотянешь. Главное — начало. Втянешься, и все пойдет как по маслу...

---

[1] Поносник — одно из оскорбительных прозвищ истощенных непосильными работами и постоянным недоеданием заключенных-мужчин. Синонимы «поносника» — фитиль, доходяга, индюк, инвалид. Прозвищем «поносник» пользовались блатные женщины, имея в виду, что данный зэк — не мужчина.

Степан молчал.
— Кем ты был на воле?
— Вертухайствовал.
— Смеешься.— Прораб повернул к баракам.— Та линия,— сказал он, шагая,— обновлена бабами. Дотянете до этого вот угла и — точка.
Приземистые бараки, не отличающиеся от строений мужского лагеря, приниженными глазами-окнами глядели на майский день и на идущих по тесовому тротуару мужчин. Прорабу было не больше сорока двух лет, тринадцать из них он отбухал на северо-уральских «командировках» и, освободившись, поселился у лагеря, в котором «втыкала» сейчас его «баба».
— Может, на красоток поглазеете? — спросил он Алпатьева.— Одна освобождена по болезни, три не вышли по разутости, и в секции — Пронина...
— Спасибо,— сказал Алпатьев. Он огляделся и спросил, есть ли здесь мужские уборные, или только женские.
— Есть, но далеко, у конторы,— ответил прораб.— Иди, раз захотелось, вон в ту, с оторванными створками.
Алпатьев нырнул в отхожее место и долго соображал, повернувшись лицом к выходу, можно ли при открытых дверях вынимать записку. Наконец он выпростал штанину, извлек «ксиву» и медленно, будто делал это у себя дома, разорвал ее на мельчайшие части. Потом он вышел на воздух и чуть не столкнулся с идущей навстречу женщиной. Алпатьев посторонился, опустил глаза и непроизвольно проследил за ее ногами. Ноги были без чулок, обуты в опорки из хорошо простроченной автомобильной покрышки.

* * *

Никто из доходяг не мог по-настоящему рыть ямы, утрамбовывать столбики и натягивать при помощи гвоздодера проволоку. И Алпатьев сам дорывал ямки, натягивал колючку и вбивал гвозди. К часу дня он почувствовал, что силы кончились, их не восполнила и выхлебанная в женской столовой мучная затируха. Только кусочек хлеба, оставленный про запас во время завтрака, вернул ему некоторую живучесть.
Расправившись с баландой, он поднял глаза и внимательно огляделся. Четырнадцать человеческих лиц бесчувственно возвышались над длинным столом, заставленным опорожненными алюминиевыми мисками. Взгляд Алпатьева добрался наконец до раздаточных окон. Их было четыре, и в каждом из них, как в портретных рамочках, было по лицу — обыкновенному, с глазами и размытыми расстоянием бровями.
Однако лица раздатчиц и поварих не вернули Степана к намерению вволю насмотреться на заключенных невест и жен заключенных. Он весь был в плену подсчета, который начал, когда приступили к бессмысленному обновлению предупредительной линии. Ни одна осужденная женщина еще не бежала из мест заключения. Об этом он слышал от противника побегов — предводителя интрудистов. Данила говорил, что бежать из советского лагеря — все равно что бежать из поставленной в бетонный каземат клетки...
Думая о ненужных трудовых операциях, Алпатьев, как на ладони, увидел себя самого, разбрызгивающего веткой стланика жидко разведенную известь. «И там и здесь,— проговорил он внутри себя,— не жалеют строительного материала — ни досок, ни кирпичей, ни извести. Не жалеют и человеческих рук, силы...»

До самого вечера Степан механически утрамбовывал ошкуренные, нарезанные из подтоварника столбики, натягивал колючку и вбивал гвозди. Ему помогал только один заключенный, по фамилии Махонький. Остальные доходяги работать не желали. Отведавши баланды, они стояли и сидели теперь в метре от сносимой и вновь возникающей предупредительной линии, перемещались по мере ее удлинения. Ни один из них не сказал еще бригадиру ни плохого, ни хорошего слова. «Бог с ними,— решил про себя Алпатьев.— Наработались, наверное, на десять сроков вперед, и не мне, новичку-оленю, учить их уму-разуму...»
К бригаде дважды подходила бессловесная, сколоченная по-мужски, местная нарядчица. К концу работы она принесла справку, в которой говорилось, что бригада Алпатьева в количестве пятнадцати человек занималась уборкой зоны и вынесла на носилках двадцать восемь кубометров мусора. В справке указывалось расстояние — 250 метров. *Туфта* — заведомая ложь о будто бы выполненной работе — была уже знакома Алпатьеву как добрая лагерная фея. «Если бы не туфта и не аммонал,— говорили заключенные,— не было бы Беломорканала, потому что все заключенные умерли бы от голода».
Оба раза Степан не взглянул в глаза нарядчице. Не посмел он поглядеть и на подходившую к бригаде лекпомшу лагпункта. Та спросила, не нуждается ли кто в таблетках от живота. «Ты бы, милая,— сказал ей Махонький,— принесла от живота по ломтику хлеба...» Лекпомша поулыбалась и легкими шажками ушла по тротуарчику. В белом аккуратном халатике, она походила на всех сестер мира...
За час до съема к бригаде подошла ожидавшая «почты» из мужской зоны бригадирша

Пронина. Она выплыла из придавленного к земле барака. Алпатьев узнал ее по свойственному всем отчаянным людям мужского и женского пола движению рук, всего тела.
— В барак бы заглянули, что ли,— сказала она, нахально рассматривая не Алпатьева, а его помощника Махонького.— Я познакомила бы вас с нашими простынями да наволочками.
— А какая разница,— спросил ее Махонький,— между простынью заключенного и заключенной? Наши-то, должно, почище чуть-чуть... А как мужчины,— объяснил он Прониной,— мы теперича, голубушка, водопроводные краны. Сколько вольем в себя, столько и выльем. Не больше...
— Катись отсюдова вон! — послышалось с ближайшей — угловой — вышки. И сразу же из вахтенных дверей выскочила в зону дежурная надзирательница.
Пронина улыбнулась Алпатьеву, показала два ряда гнилых зубов и развязной походкой направилась к бараку. Со спины она показалась ему гораздо привлекательней.
— Не верю своим ушам и гляделкам,— проговорил Махонький.— Отнято все, впереди пусто, а эта выкаблучивается, вращает покатостями. Такая и старика изнасилует при народе...
Пугающее количество ног алпатьевцы увидели, когда их пропускали через узкий проход вахты. У закрытого шлагбаума стояли заключенные женщины — их только что подвели к зоне. Алпатьевцев поспешно отвели за глинистую канаву и сразу же стали считать заново.
Поставленный во вторую шеренгу, последним от дороги, Степан увидел смотревшую на него девушку. Ей было не больше семнадцати лет, пряди ее волос стекали к потрепанному самодельному воротничку лоснящейся телогрейки, а большущие глаза, казалось, не имели зрачков.
Старшой конвоя, закончивший чтение «молитвы», скомандовал «вперед» — и неподвижная, немая, невидимая за спинами заключенных колонна «шалашовок» стала отдаляться...
Интрудистов перевели на грейдер, потом повернули на зеленеющий проселок и минут через сорок остановили у вахты. Вышедший дежурный пересчитал доставленных под его ответственность, снова повыворачивал их карманы и всех одним махом пропустил через распахнутые ворота.
В сумерках, до вызова к нарядчику, Алпатьев побывал у Сошкина, рассказал ему о встречах на женском лагпункте и что он сделал с запиской нарядчика. Лагерный поэт глядел мимо; потом посоветовал «не откровенничать с врагами». Алпатьев долго моргал, и только когда спустя минут двадцать его спросил нарядчик — передал ли он записку Прониной, уразумел совет Сошкина. «Как же,— сказал он,— передал в руки...»

* * *

Тезис Вышинского о том, что наихудший тип предателя — политический перебежчик, в общем-то правилен. Только не Вышинскому было рассуждать о предательстве.
Так думал Осоков. Он инкриминировал бывшему Генеральному прокурору Союза Советских Социалистических Республик наитягчайшее преступление — измену нравственной основе социалистического права. Законом при нем стало повсеместное беззаконие; суды и трибуналы штамповали определения с такой легкостью, как будто приговаривались к десяти годам бесчувственные чурбаны. А с введением в действие двадцатипятилетнего срока классическая «десятка» стала восприниматься как детская игра — выражение гуманизма. Недоставало ввести полувековой срок, и тогда разговор о лежавшей за ближайшим пригорком удивительно свободной стране или коммунизме был бы неприкрытым издевательством над всяким мало-мальски здравым смыслом. До заключенных дошло бы — наказаны на полстолетия, значит, строить передовое общество будут не они, а их правнуки...
К этому инженер пришел постепенно. И теперь, когда инвалид Алпатьев попросил его написать жалобу, не важно кому — Иосифу Виссарионовичу, Маленкову или Генеральному прокурору Горшенину, Осоков понял, что ничего не выйдет. И при встрече с Алпатьевым в культурно-воспитательной части сказал, что все в его, алпатьевском, деле *алогично*, а нажимать на *эмоции* не позволяет совесть.
— А мне не к спеху, Евдоким Савостьянович.— Степан стоял подле, переминаясь с ноги на ногу. Ему хотелось сообщить Осокову последнюю парашу о длинном этапном списке, который уже подписан. О нем Степану нашептал дневальный барака, числившийся в его бригаде. «По-моему,— сказал дневальный,— там есть и твоя фамилия, пятая или шестая от начала...» Алпатьев на сообщение дневального сначала не обратил внимания, а чуточку поздней ему припомнилась изорванная на мельчайшие части записка нарядчика...— Вы не сердитесь на меня, Евдоким Савостьянович? — спросил он Осокова.
— Почему же я должен сердиться на вас?
— Да я заявление в уголь зарыл, а вас за это перевели на общие и сюда, на штрафную.
— Вы же не сердитесь на заключенных, которые послали письма, а вам за это срок навесили? — спросил инженер.

— Ну, прощайте! — Алпатьев протянул руку, пожал большую ладонь Осокова и вышел из КВЧ. Ему думалось, что тех людей, которым на этап — на урановые разработки,— завтра оставят в зоне, им надо будет сдавать матрацы, одеяла, наволочки; потом всех сгонят в предбанник, выдадут по буханке хлеба, выведут за ворота и сделают шмон...

Степану захотелось взглянуть на Соишкина, он повернул влево и чуть не напоролся на оперуполномоченного Песенного...

До самого отбоя солдат прислушивался к голосам в секции — не прокричит ли кто: «Алпатьев! К выходу!..» Но выкрика не последовало, и Степан стал вспоминать один свой разговор с Махоньким. Тот говорил, что *страх* ему прививали с младенческих лет, пугали домовым, чертом, попом, всеобщим вредительством, капиталистическим окружением. Застращивание же в заключении началось с Бутырок. Там сказали: «Вот в Лефортово заговоришь, падла...» А в лефортовском заточении стращали каким-то сухановским монастырем: «Там у тебя язык развяжется, гад раз...— мотанный!» А когда оказался на котласской пересылке, запугивали лесоповалом. Затем — шахтой. А теперича — урановыми разработками...

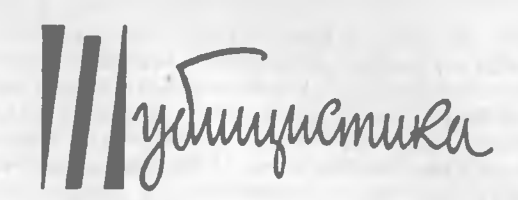
— Неужели нас будут стращать и тогда,— спросил его Алпатьев,— когда мы умрем?

— Как пить дать! — подтвердил Махонький.

* * *

Вагонные доски скрипели, колеса постукивали. Заключенных везли на север; но никто из них не знал в точности — куда именно. Знали об этом только солдаты конвойного батальона.

Степан пристроился на горбыльке нижнего настила, уже пройдя процедуру посадки. Его оттеснили в хвост. И это позволило понаблюдать за посадкой в других вагонах. В соседний вагон посадили приконвоированного Ерофеева. «Значит, все-таки повезло, не один!» — подумал Степан. Он влез по стремянке. Верхние и нижние нары были сплошь забиты ботинками заключенных. А дверь прогудела, щелкнули зацепы, и кто-то прокричал: «Апостол, не засть!» Степан отодвинулся от дверной щели, и тут увидел незанятый крайний горбыль. Он положил на него парусиновую сумочку с полбуханкой и рыбой внутри; затем пододвинул сумку к стене и лег животом вниз. Дразнящий запах сырого непропеченного хлеба заставил поднять голову, и солдат заметил незабитую из-за малости вертикальную щелку... Он подтянулся к изголовью, почти вплотную к рассохшейся стене. Зеленоватые кинжалики далеких увалов да голубенькие полоски неба стали сменять друг друга в узком просвете перед глазами по мере покачивания вагона. Иногда Алпатьев видел телеграфные столбы. Вечные сторожевые несли свой крест навытяжку.



Михаил Чулаки

МОЖНО ЛИ «ПОСТРОИТЬ» НОВОЕ ОБЩЕСТВО?

Мечта существовала всегда. Иногда ее относили в прошлое и называли Потерянным Раем, иногда — в будущее, чая установления Царствия Божия на Земле. Люди самые нетерпеливые, не желая зависеть от промысла божественных сил, тщились самостоятельно учредить общество всеобщего равенства, благоденствия и справедливости — Оуэн, Сен-Симон... Очередной такой план был объявлен строго научным, вытекающим из самого характера исторического развития человечества — это уже марксизм, а затем — ленинизм. Последний был даже успешно осуществлен на огромном пространстве рухнувшей Российской империи. Успешно — потому что главные цели ленинизма оказались достигнутыми! Судите сами: «Все граждане превращаются здесь [при социализме] в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими *одного* всенародного государственного синдиката» («Государство и революция»[1]). А этот *всенародный государственный синдикат*, в свою очередь, неотделим от правящей большевистской партии: «Как можно соединить учреждения партийные с советскими? Нет ли тут чего-нибудь недопустимого? Почему бы в самом деле не соединить те и другие, если это требуется интересом дела? Разве кто-либо замечал когда-либо, что в таком наркомате, как Наркоминдел, подобное соединение приносит чрезвычайную пользу и практикуется с самого начала?.. Разве это гибкое соединение советского с партийным не является источником чрезвычайной силы в нашей политике? Я думаю, что то, что оправдало себя, упрочилось в нашей внешней политике и вошло уже в обычай так, что не вызывает никаких сомнений в этой области, будет, по меньшей мере, столь же уместно (а я думаю, что будет гораздо более уместно) по отношению ко всему нашему государственному аппарату, и деятельность его должна касаться всех и всяких, без всякого изъятия учреждений и местных, и центральных, и торговых, и чисто чиновничьих, и учебных, и архивных, и театральных и т. д.— одним словом, всех без малейшего изъятия» («Лучше меньше да лучше»; 45,398). Так что когда в театре бездарные актеры и технический персонал, соединившись в партком, помыкали подлинными талантами, это было буквальным воплощением ленинской идеи. И не только помыкали, но и истребляли неугодных (а таланты всегда неугодны посредственности!) огнем и мечом — истребляли и за пределами театров на всех бескрайних просторах нашей страны. Сам Ленин прекрасно понимал, что насадить его учение возможно только огнем и мечом: «Никто кроме социалистов-утопистов не утверждал, что можно победить без сопротивления, без диктатуры и наложения железной руки на старый мир» (Речь о национализации банков; 35, 172). «Всякая великая революция, и социалистическая в особенности, *даже если бы не было войны внешней, немыслима без войны внутренней*, т. п. гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя» («Очередные задачи советской власти»; 36,195—196). Притом Ильич не только теоретизировал о необходимости диктатуры, разрухи и гражданской войны, но и с удовольствием входил в мельчайшие подробности террора, благоволил палачам прямо пропорционально проявленному каждым рвению: «Здесь есть кавказский комиссар Иванов — кажется, прекрасный вояка и способный душить восстания кулаков *по-настоящему*» (Рекомендательная записочка; 50,117).

---

[1] В. И. Ленин. ПСС, т. 33, с. 101. Далее ссылки на источник даются в тексте в скобках.

Итак, ленинизм в нашей стране успешно «претворился в жизнь». Где-то в конце 60-х годов он достиг максимума своих возможностей: «всенародный государственный синдикат» худо-бедно, но работал, гарантируя удовлетворение минимальных потребностей каждому гражданину — умному и идиоту, работящему и бездельнику, трезвеннику и пропойце; коммунистическая партия, безраздельно владея «государственным синдикатом», не боялась больше за свое единовластие и потому не нуждалась больше в кровавом терроре, вполне довольствуясь гнетом идеологическим,— установилась относительная законность. И многие сделались искренне счастливы: система давала хлеб, система удовлетворяла и духовный голод, показывая цель на горизонте: оставалось шагать «вперед к победе коммунизма!», испытывая к тому же гордость за свое идейное первородство. Очень важно сейчас честно вспоминать господствовавшие тогда чувства. В этом помогает искусство. Многим ли — *тогда, не сейчас* — дикими казались знаменитые строки: «Тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер!»? Или оттуда же: «Клячу истории загоним!» — кто пожалел бедную клячу? Композитор Свиридов, не только музыкальный гений, но и художник, обостренно чуткий к настроениям эпохи, безо всякого насилия над собой положил эти строки на прекрасную музыку — значит, его не коробило. Чего ж стыдиться тогдашних чувств прочим гражданам?..

А потом все стало сыпаться. Внутренняя гниль, так плотно замазанная, что казалась уже несуществующей, стала повсеместно проступать сквозь розовую краску. Забуксовала экономика, девальвировалась идеология.

Сетования на то, что социализм у нас получился «не тот», что существует в идеале хороший социализм, а у нас устроили плохой, «исказили» предначертания великого вождя,— сетования подобные бессмысленны. Вообще не существует чистых учений, они всегда живут в интерпретациях. Сам Ленин, клеймя ревизионистов, решительно ревизовал Маркса, модернизировал по своему разумению, приспосабливая к иной эпохе. Так что давно не существует чистого марксизма — есть марксизм-ленинизм, есть реформистский марксизм Бернштейна и Каутского. Точно так же, как не существует христианства в чистом виде — всегда это или католицизм, или протестантство, или православие, или уж монофизитство. В свою очередь, и ленинизм начал немедленно приспосабливаться к эпохе. И если кто-то нынче объявляет, что возвращается к подлинному Марксу, подлинному Ленину, он обманывает не то других, не то самого себя, потому что в действительности это уже марксизм-платоновизм или ленинизм-поповизм. Читайте С. Платонова и М. Попова.

Кто осуществил идеи Ленина? И при жизни учителя, и после его смерти? Его верные ученики и соратники, им же самим и выпестованные. Никто другой на их месте оказаться просто не мог! Говорить: «Вот если бы на месте Сталина оказался идеальный беспорочный коммунист вроде Сен-Симона!» — все равно что гадать: «А что было бы, если бы вместо Николая II на троне оказался идеальный император, такой, как Марк Аврелий?»

Неоткуда было взяться другим большевикам, не могло быть других большевиков! Ожидать, что реальные комиссары и наркомы окажутся в жизни теми святыми, жития которых были затем составлены для школьного чтения, оснований не больше, чем надеяться, что среди чемпионов мира по боксу все поголовно окажутся ценителями Баха и Бетховена,— для того чтобы выиграть боксерский чемпионат, нужны совсем другие качества, чем приверженность к классической музыке, вот по этим другим качествам и идет отбор; точно так же для вооруженного захвата и удержания власти среди гражданской войны требуется не гуманизм, не безупречная нравственность, не высокая культура — нет, требуется фанатизм, жестокость, способность к быстрым и категорическим решениям. И когда, говоря о первом Совнаркоме, поминают Луначарского и Чичерина, путают вывеску с самой конторой: Луначарский с Чичериным представительствовали перед внешним миром, а не занимались непосредственно гражданской войной, продразверсткой и тому подобными насущными революционными делами — тут практиковали мясники Троцкий, Зиновьев, Сталин, Дзержинский, Тухачевский, Крыленко, Бела Кун, Лацис, Петерс — имя им легион.

Состав исполнителей — он-то оказался совершенно не учтен «самой передовой теорией». Исполнителей всех квалификаций: от солистов-вождей до рядовых хористов — пролетарских и крестьянских масс. Маркс и Ленин хотя бы искаженно, хотя бы предвзято, но все же анализировали экономические условия планируемого ими общества. Но самого человека они игнорировали полностью. На что способен человек, чего он хочет, каких взлетов и падений от него ждать? Психология индивидуальная и психология социальная — вот необходимый фундамент любой науки об обществе, а психология-то полностью отсутствует в марксизме, как будто общество состоит не из людей с их страстями, слабостями, чаяниями, а из бездушных роботов. В этом отношении Маркс и Ленин совершенно подобны инженерам, спроектировавшим невиданной красоты ажурный мост, но начисто пренебрегшим скучной наукой о сопротивлении материалов; мост обрушился, не выдержав нагрузок,— кого же, спрашивается, винить: высокомерных невежественных инженеров, пренебрегших прозаическим сопроматом, или неблагодарную сталь, оказавшуюся недостойной их гениальных замыслов?

Ответить на вопрос, приспособлен ли человек к коммунистическому труду — то есть

добросовестному труду без принуждения,— это ответить на вопрос о природе человека. В идеале коммунистическая организация производства выглядит очень заманчиво: единый планирующий орган точно рассчитывает, сколько и каких товаров потребуется потребителям и где их лучше произвести. Необходимо, например, столько-то туфель, а для них, соответственно, столько-то натуральной кожи, столько-то заменителей; а для выделки кожи требуется вырастить столько-то голов скота, одновременно этот скот даст столько-то мяса и молока — все подсчитывается, все планируется — вплоть до распределения обуви по размерам, а сортов кефира — по жирности. А дальше модельеры создают наилучшие фасоны, рабочие выпускают туфли наилучшего качества — ведь работают они в конечном счете на себя, значит, безо всякого контроля постараются на совесть — как без контроля и принуждения выращивает огородник клубнику на своих сотках! И никаких потерь от конкуренции, никаких банкротств, никаких излишков, уходящих в утиль.

Задумано замечательно! Но все мы на своей шкуре знаем, что получается на практике. А получается так, как получается, по единственной причине: из-за плохой работы — причем плохой работы всех, от мала до велика: от Госплана, который не сводит концы с концами, до последнего вахтера, который сквозь пальцы смотрит, как разворовывают завод. Оказывается, без прямой угрозы увольнения, без конкуренции, без немедленного поощрения деньгами за хорошую работу — без подобных прямых и понятных стимулов все работают плохо. Не только правители наши плохи — «аппаратчики», «бюрократы»; сделай аппаратчиком сегодняшнего рабочего, того самого, который годами промышлял мелким воровством в собственном цеху, он и в начальническом кресле будет гнать руководящий брак: идиотские инструкции и потолочные планы; он же продолжит и мелкое воровство у общества в виде уже не куска вырезки, запрятанного под трусами, а в виде множества неучтенных привилегий!.. Человек корыстен, эгоистичен по своей природе — и экономическая система, рассчитанная на бескорыстие, на «сознательность»,— обречена.

Капитализм — система саморегулирующаяся, система, рассчитанная на корысть каждого, так что в результате корысть каждого обогащает общество в целом. Социализм — система, регулируемая искусственно, и потому природная человеческая корысть социализм расшатывает. Это все-таки понимали основатели нового строя, недаром они сразу заговорили о «воспитании нового человека» — обычный реальный человек для их целей не годился. Отсюда истерические поиски «героев», отсюда презрение к нормальному человеческому быту с его ежедневными, а потому «мелкими», «мещанскими» заботами и радостями: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!» А Горький? Ведь не только же автор «Песни о Соколе» и пасквильного «Самгина», но и «Несвоевременных мыслей»! Но и Горький туда же:

А вы на Земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют!

Ну а раз черви, то не жалко и на крючок... Попытки воспитания «нового человека» неминуемо и очень скоро приводят воспитателей к безграничным жестокостям — идеалисты вообще самые жестокие люди. И кроткий Бухарин, будущая *невинная жертва*, писал, что расстрелы — прекрасный способ перековки старого человека в нового. А мы сетуем на Сталина...

Уже совсем недавно все мы пережили как бы пародию на коммунистическую революцию: «борьбу с пьянством и алкоголизмом»! Как это делалось? Объявлена была идеальная, но совершенно умозрительная цель: «трезвость — норма жизни!» Проектировщики нового образа жизни рассуждали совершенно логично: пьянство пагубно во всех отношениях, а потому народ, если ему все как следует объяснить и при этом планомерно сокращать производство алкоголя, в обусловленный срок придет к полной трезвости! И тогда-то наступят прекрасные времена: перестанут рождаться дети-уроды, снизится преступность, травматизм, заводской брак, возрастут производительность труда, мужская потенция и сама продолжительность жизни! И ведь все правда. И ведь есть люди, которые не пьют и чувствуют себя прекрасно. Значит — могут и все остальные, если им как следует объяснить. Ну, кроме безнадежно больных...

Мы все видели, чем это кончилось. Наши уважаемые сограждане категорически не захотели выполнять спущенный сверху график движения к счастью. Произошел пусть тихий, но упорный бунт. Километровые винные очереди — это были еще и первые после Великого Октября антиправительственные демонстрации. Чего только не снес безропотно наш народ за эти трагические годы — насильственное протрезвление он сносить отказался! Такое упорство в пороке отнюдь не украшает человечество, но оно — непреложный факт, с которым приходится считаться. И соответственно видеть реальную цель: не стопроцентную трезвость, а умеренное употребление хороших вин, прекрасно сознавая, что и хорошими винами определенный процент населения сопьется и определенный процент детей-дебилов от пьяных родителей родится. Человечество без алкоголиков и дебилов —

увы! — утопия, но надо стараться, чтобы процент алкоголиков и дебилов не приближался к опасной черте!

Точно так же и западное общество — не Земля Обетованная, каковой его начали видеть в последние годы наши наивные туристы и публицисты. Все там есть — и банкротства, и власть чистогана, и безработица, и духовная опустошенность. Не надо верить продажным пропагандистам прежних лет — почитайте хороших тамошних писателей. Все там есть в определенной пропорции — ибо такова природа человека. И надо только, чтобы соблюдалась эта пропорция, чтобы не происходил опасный сдвиг равновесия в сторону порока.

Есть идеальные трезвенники, которые не сопьются и живя в лимитном общежитии. Есть и совершенно бескорыстные люди, прекрасно и честно работающие за нищенскую плату, не унесшие с работы ни нитки среди всеобщего воровства! Есть. О них можно написать очерки, снять фильмы — нельзя только в расчете на них строить политику. Коммунизм был бы возможен, если бы все работали, как наш земляк Геннадий Богомолов с Полиграфмаша,— он просто не способен работать плохо, работать рутинно. Но посмотрите, как отторгает его собственный завод, как борются люди за право работать мало и плохо! Это-то отторжение — реальная политика.

Наши представления о человечестве во многом почерпнуты из художественной литературы, и тут нас ввели в обольщение школьные учителя, вдолбив в доверчивые юные головы совершенно ложяую мысль о *типичности* литературных героев в вульгарном статистическом смысле этого слова: если герой «типичен», значит, на него похожи большинство реальных его современников. Отождествляя реальное человечество с населением классических романов, мы невольно повышаем в своем представлении степень духовности реального человечества. Раскольников, разумеется, психологический тип, который встречался и встретится еще, но большинство убийц нисколько на него не похожи; и Платон Каратаев — тип крестьнянина, но совсем другие реальные крестьяне жгли Шахматово и тысячи других усадеб. Духовность литературных героев дает бóльшую надежду на готовность человечества к коммунизму, чем дала бы внероманная реальная жизнь. Левая же интеллигенция, бредившая в начале века революцией,— интеллигенция эта в своем преступном простодушии судила о «народе» по литературе, видя в Платоне Каратаеве, этой мужицкой ипостаси души самого Толстого, подлинного мужика!

Идейные эпидемии распространяются так же повально, как, скажем, холерные. И так же нужны для возникновения эпидемии два условия. Для холеры: с одной стороны, возбудитель — холерный вибрион, с другой — низкая культура: немытые руки, немытые фрукты, загаженные уборные. Для идейной эпидемии: тоже возбудитель — доступная толпе идея, и тоже низкая культура — неумение самостоятельно мыслить. А экономические условия? Но бедность и эксплуатация были в России всегда, однако революции не наступало, пока не пошла идейная эпидемия.

Зародилась идея — возбудитель в интеллигенции левой, разночинной,— охватила к началу века уже и бóльшую часть интеллигенции дворянской, буржуазной, так что не сочувствовать революционерам, не жертвовать деньги, не укрывать «нелегалов» сделалось совершенно невозможным психологически. А дальше уж зараза перекинулась на самые широкие слои населения. Лучшее доказательство того, что коммунистическая идея действительно «овладела массами»,— победа большевиков в гражданской войне. Хотя марксизм-ленинизм и был объявлен его адептами «всепобеждающим учением», наукой наук, но критически, как только и подобает науке, марксизм был воспринят немногими, в массовом же сознании это была новая «марксова вера», и именно в качестве таковой она с невероятной быстротой оттеснила прежнюю веру — православную, если говорить о коренной России.

Параллель между верой коммунистической и христианской хотя бы (да и любой другой!) — напрашивается. И нетерпимость коммунистов к инаковерующим, свойственная всем молодым религиям, и провозглашение единоверцев единственными достойными спасения в грядущем раю. Но существует и решительное различие. Ни одна массовая религия — исключение составляют крошечные фанатичные секты — никогда всерьез не пыталась переделать экономику; верующие ждали мессию для установления всеобщей справедливости на Земле, а пока довольствовались церковной десятиной (которая казалась непомерным бременем и вызывала крестьянские войны — поверстать бы каких-нибудь жакериев в наши колхозы!). И ныне богобоязненный бизнесмен, староста местной методистской общины, реорганизуя свое дело, заглядывает не в Евангелие, а в биржевой бюллетень. «Богу богово, кесарю кесарево» — это очень мудрое разделение. Большевики же не только слили законодательную власть с исполнительной, но и богово с кесаревым! После Рождества Христова сменились две экономические формации, но и феодализм, и капитализм родились сами собой, естественным ходом развития общества, прогрессом точных наук — никто никогда не «строил капитализм»! Коммунисты же решили *построить* новое общество, построить искусственно, поминутно заглядывая в свой марксистский требник, и такое *строительств*о не могло обойтись без насилия: собственный домик каждый человек строит добровольно, но египетскую пирамиду невозможно было соорудить без

надсмотрщиков с бичами. Аналогия тем более уместная, что получившееся «светлое здание» так же плохо приспособлено для обитания живых людей, как и пирамида Хеопса.

То, что марксизм воспринимался именно как религия, занимал, так сказать, ту же самую извилину веры в мозгу, показывает и нынешний эпидемический отказ от «всепобеждающего учения» — и немедленное замещение его именно мистикой. Люди не становятся свободомыслящими! Место марксизма занимают либо традиционные религии, либо всевозможные новые секты — кришнаиты, муниты и прочие; возродился и мелкий религиозный разврат, издавна сопутствовавший солидным конфессиям,— астрология, хиромантия; пока не слышно об алхимии, но, несомненно, воспрянет и она. У людей удивительно короткая память: вчерашние атеисты не только бросились в лоно церкви, но как бы и забыли о вчерашнем своем вполне нравственном и законобоязненном атеизме, стали послушно повторять, что лишь религия — основа нравственности, хотя сегодняшние факты прямо говорят об обратном: рост церковности и преступности в обществе идет параллельно. Забылось, как вчера искренне верили, что страна наша «прокладывает дорогу всему человечеству»; забылась исступленная вера 30-х годов, ибо вера, прежде всего вера, поддерживала сталинский режим, а не голый страх, как теперь пытаются утверждать многие мемуаристы; страх существовал для миллионов и миллионов лишь как пикантная приправа к обильным порциям веры, принимаемым и перевариваемым каждодневно советским человеком! Стыдно теперь признаваться даже самим себе в той людоедской вере, вот и наблюдаются духовные анахронизмы, когда сегодняшние прозрения передвигаются на десятилетия вспять. Жили, конечно, и тогда люди, всё понимавшие, но не они определяли нравственный градус общества, как не определяют сегодняшние трезвенники массового отношения к спиртному...

Легкость, с которой толпа шарахается из одной веры в другую, с несомненностью указывает, что нельзя построить стабильное общество на чисто идеологической основе, на «идейности», на «сознательности» и тому подобных зыбких материях. Фундаментальна и вечна человеческая корысть, и победа капитализма в экономическом, а теперь уже и политическом соревновании объясняется тем, что капитализм соответствует слабой и греховной природе реального человека. Любого человека: и занимающего первое положение в государстве, и — последнее.

В экономике человеческой слабости и греховности соответствуют рынок и конкуренция. Установления жестокие, разоряющие слабых — но исключающие «идейность» и «сознательность».

В политике — громоздкое и дорогостоящее разделение властей, которые обречены такой системой постоянно сталкиваться и разоблачать друг друга. Психоаналитики считают, что жажда власти — душевное извращение, гиперкомпенсация глубокого комплекса неполноценности, и потому люди, достигшие власти, автоматически должны находиться под подозрением общества. А мы привыкли лишь петь правителям осанны. Так что беда наша не в том, что Ленин и прочие оказались беспощадны и некомпетентны; беда наша в том, что они оказались несменяемы, хуже того, сделались живыми богами. (А уж после смерти Ильича обожествили так, что позавидовал бы любой фараон — у тех хоть мумии были замурованы в глубине пирамид...)

Кроме невиданной тирании неизбежная при коммунистическом «всенародном синдикате» монополия власти ведет и к неслыханной коррупции. Причем к худшей ее разновидности: коррупция возводится в закон, так что грабеж государства, грабеж народа идет главным образом не путем частного казнокрадства (оно тоже, разумеется, цветет, но все же носит подчиненный характер), а с помощью присвоения несчетных богатств правящей партией, которая затем раздает их в виде подачек своим «верным сынам». КПСС таким образом нагребла сотни миллиардов — сколько, до сих пор не обнародовано. Сейчас, при экономической реформе на наших глазах идет отмывание коммунистических денег, вложение их в новорожденный советский бизнес, и таким образом правивший в нашей стране 70 лет «новый класс» имеет все шансы превратиться в традиционную финансовую олигархию при возрождающемся у нас капитализме. Признавать вслух совершающийся ренессанс нашим правителям очень не хочется. В ход пускается софистика про «верность историческому выбору», про «сохранение коренных завоеваний», а потому скажем так: нарождающийся у нас строй будет, конечно, далек от классического капитализма времен Маркса или Диккенса; он (строй) постарается, по мере сил, уподобиться тому, что установился в Швеции; некоторым нашим либеральным коммунистам нравится называть экономическое устройство Швеции или даже США — социализмом; если так, то и у нас будет социализм, только не по Ленину, а по *ренегату Каутскому*. Некий С. Платонов (это псевдоним умершего в 1986 году марксиста-любителя) в книге «После коммунизма» утверждает, что со времен великого кризиса 1929—1933 годов капитализм вообще больше не существует и, следовательно, предвидение Маркса и Ленина давно сбылось. Это очень удобный способ исполнять пророчества: свериться с оракулом и подогнать реальные события под заданный ответ. Впрочем, способ этот изобретен не С. Платоновым: еще И. Христос, въезжая в Иерусалим, простодушно пересел на осла, чтобы, как он сам объяснил, сбылось писание пророков, по которому мессия въедет в Иерусалим на осле. Легко

и удобно... Строй же, существующий в развитых странах Запада (Япония и Южная Корея по современной географии — дальний Запад), С. Платонов называет *элитаризмом*; что ж, значит, и у нас установится элитаризм, а нынешние распорядители партийных денег постараются сделать удачные капиталовложения и остаться в элите. Ну, а коли не прибегать к софистике, а придерживаться простой и откровенной терминологии недавнего прошлого, когда ясно различали «мир социализма» (СССР, ГДР, ЧССР, Куба, КНР, КНДР и т. д.) и «мир капитализма» (США, Англия, ФРГ, Франция, Япония и т. д. и Швеция, и Швейцария), то причаливаем мы в этот самый прежде пугавший «мир капитализма», и тогда самые идейные теперешние коммунисты, идейность которых удостоверена их высокими партийными постами, имеют все шансы стать советскими капиталистами, если только у нас так и не хватит решимости как можно скорей национализировать средства КПСС как нажитые преступным путем.

Впрочем, национализация будет иметь значение только нравственное — не экономическое. Если новыми капиталистами и окажутся вчерашние ленинцы, если обкомы преобразуются в акционерные общества, все равно действовать они принуждены будут по объективным рыночным законам, станут стремиться к личному обогащению, но их эгоизм, их корыстолюбие будет, как и следует при здоровой экономике, объективно обогащать общество: появится избыток товаров, конкуренция подорвет нынешний диктат производителей. А что основатели новых финансовых династий будут иметь темное партийное прошлое — что ж, и многие американские миллиардеры начинали неправедно...

А идеология — идеология коммунизма отделится от них. Но не погибнет.

Наблюдаемое ныне крушение коммунистической идеологии очень серьезное — но не окончательное. Испытания властью эта идеология не выдержала, но точно так же не выдержала испытания властью (несравненно меньшей властью!) и православная церковь, неосмотрительно сросшаяся с властью царской. За прегрешения свои претерпела церковь вместе со своими свергнутыми хозяевами кровавые гонения, попала в психологический карантин, из которого вышла лишь сегодня, когда успело родиться три внецерковных поколения,— вышла обновленной, очистившейся, укрепленной новомучениками, а прошлые прегрешения время предало забвению. Ныне в такой же карантин на отстой и ремонт уходит коммунистическая вера. И пребудет там, пока не забудутся преступления коммунистических правителей. А преступления — забудутся! Вернее, перестанут восприниматься так обостренно, как сейчас, отойдут в предания, как отошли в предания зверства Ивана Грозного, ужасы пугачевщины. Невинные жертвы успокоятся в могилах, а идея останется: «Равенство... справедливость... каждому по потребностям...» А жизнь вокруг будет достаточно суровой; слабый, глупый, да просто неудачник будут проигрывать в жизненной гонке, и даже если «социализм» или «элитаризм» окажутся вполне шведского уровня и защита от нищеты будет обеспечена всем нуждающимся, все равно горькое чувство аутсайдера, обида на несправедливость (а кто же признает, что обойден справедливо?!) будут толкать в духовное подполье. Кто же утешит? Торжествующая церковь? Самое ее торжество помешает восприятию исходящих от нее утешений. А где-то неподалеку живет тихий бескорыстный коммунист с просветленным бесплотным взором, стены его комнатки оклеены фотографиями демонстраций на Красной площади — когда такой царил подъем, такой дух коллективизма, и сам Сталин целовал на трибуне Мавзолея простую девочку... И раскроет коммунист свои книги, и начнет толковать об обществе всеобщего равенства, обществе без богатых и бедных. Маятник снова качнется...

Маятник будет качаться от веры христианской (магометанской, буддийской) к вере коммунистической и обратно до тех пор, пока сохранится *потребность верить*.

«Надо же во что-то верить!» Этот клич раздается повсеместно. И главный упрек критикам Маркса и Ленина: «Вы разрушили нашу веру!» Не утверждается даже, что критика несправедлива, нет: «Мы верили в Ленина!» — и не важно этим людям, что представлял из себя Ильич на самом деле. Им нужен объект веры, объект поклонения.

Печальную картину представляют собой эти массы людей, которые жаждут кому-то поклониться — богу ли небесному, богу ли земному. Это люди, которые не захотели или не сумели повзрослеть, и как в детстве существовал для них высший авторитет — всезнающий и всемогущий отец, карающий и защищающий, но всегда освобождающий от бремени выбора, от принятия ответственных решений, так они ищут подобного авторитета и тогда, когда ореол всезнания и всемогущества стирается и остается слабый, часто жалкий человечек — отец. И тогда вакантное место всемогущего отца занимает вождь, пророк, бог!

Сохранит ли большинство человечества и в неопределенном будущем эту детскую потребность в высшем авторитете?

Или сумеет повзрослеть, сумеет выдержать бремя свободомыслия? От ответов на эти вопросы и зависит судьба всех земных религий.

Разумеется, слабодушные люди, нуждающиеся в высшем авторитете, останутся всегда, вопрос в том, будет ли их число преобладающим? Думаю, что да, потому что преобладание подобного типа выгодно биологически: так простейшим способом поддерживается более или менее стабильное существование многочисленной популяции. И с угрозой перенаселения социальный спрос на подобную авторитарную, а потому удобно управляемую личность будет возрастать. А коли так, пребудет в веках и коммунистическая вера, сохранится секта поклонников Маркса и Ленина.

Важно только, чтобы не последовала новая попытка «строительства коммунизма». Смертный грех Маркса не в том, что он, как ему казалось, *научно* обосновал грядущее торжество коммунизма. Смертный грех в том, что он провозгласил необходимость насильственного «построения» нового строя: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его!» Провозгласил — и нашел-таки последователей, еще более правоверных марксистов, чем он сам. Однако человечество — слишком сложная система, и переделывать эту систему насильственно — такой же смертельный трюк, как заниматься «преобразованием природы». Только саморегуляция — адекватный способ существования сверхсложных систем. Иначе говоря — стихийное развитие. Так что пусть себе желающие веруют в стихийное, неизбежное пришествие коммунизма — лишь бы не пытались «строить»!

А мир — мир действительно меняется. Стихийно и неуклонно. Со времен Маркса жизнь переменилась неузнаваемо — не по его или еще чьей-либо воле, а естественным ходом вещей. Очередная техническая революция — информационная — еще больше ускорила темп происходящих перемен. Заводы-автоматы сделались уже реальностью. Что может помешать им соединиться во всемирные автоматические цепи и вытеснить человека из производства? Никакого принципиального запрета к этому не видно.

Но если человек окажется вне производства, уничтожатся и нынешние экономические отношения! Это не будет классическим марксистским коммунизмом, потому что и по Марксу, и по Ленину человек участвует в производстве, но участвует свободно, без экономического принуждения. А тут человек уйдет из производства совсем. Товары потеряют стоимость.

Окажется ли это коммунизмом, хотя бы и немарксистским, или стоимость сохранят продукты творческого труда, утонченные индивидуальные услуги? Кто доживет — увидит. Сейчас очевидно другое: такое развитие событий несет в себе громадную и совершенно новую психологическую проблему.

На протяжении всей своей истории человек добывал хлеб в поте лица своего, в этом и состояло первоначальное и принципиальное отличие его от животного. Труд был проклятием — но и занятием. Как человек сможет пережить возвращение к статусу птички божией, не знающей заботы и труда? Занятий искусством, спортом, наукой, утонченным сервисом не хватит на всех. То есть заниматься-то сможет каждый — востребованы будут немногие! Состояние невостребованности, ощущение собственной ненужности чревато чрезвычайными социальными напряжениями, вспышками наркоманий, терроризма, эпидемиями самоубийств. Технический прогресс необратим, мы это знаем. Но социальная психология уже сейчас должна заняться проблемой «человека праздного», чтобы попытаться смягчить грядущий переход к новому образу жизни. Сегодня кажется, что проблема эта неактуальна в нашем мире голода, мире бедности. Но мир меняется стремительно; припомните — те, кому за пятьдесят,— быт хотя бы 1945 года. Даже наш, советский, быт чрезвычайно консервативный, а уж в странах Запада 1945 год кажется иной эрой...

Марксизм разаратил наши умы еще и в том отношении, что внушил прочную уверенность в предсказуемости, определенности будущего. Наши лидеры, когда хотят запугать население, заклинают: «Последствия такого шага могут оказаться непредсказуемыми!» Но последствия — *всегда непредсказуемы*, последствия любого самого скромного шажка. Весь опыт истории учит, что любой резкий поворот событий оказывался для современников совершенно неожиданным, и лишь после, задним числом находились развязные личности, которые утверждали, что все это они предвидели, предрекали. Только почему-то их никто ни разу не расслышал. Не знаем мы будущего и сейчас, не знаем хотя бы потому, что завтрашние события рождаются из сегодняшних наших поступков. А кто способен вывести равнодействующую из сегодняшних поступков пяти миллиардов человек?! Значит, единственный достойный путь — поступать правильно по мере своего разумения, беря на себя свою миллиардную долю ответственности за будущее. Поступать правильно — и не требовать гарантий в том, что наши добродетели будут вознаграждены, а чаяния — сбудутся.

Жить надо сегодня, а споры о том, какое социальное устройство установится завтра, бесплодны. Жить надо сегодня — и строить планы, издавать законы, учитывая слабую порочную природу человека, его склонность впадать в панику, следовать идейной моде, исповедовать самые темные суеверия.

Станет ли человек когда-нибудь другим — независимым, свободомыслящим, чуждым инстинктам толпы? Об этом тоже бесполезно спорить сегодня. И упаси бог попытаться нетерпеливо выводить этого прекрасного свободомыслящего человека — подобные попытки неизбежно приведут к очередному геноциду.

Ж. Свербилов

ЧП, КОТОРОГО НЕ БЫЛО...

Это было в июле 1961 года. Подводная лодка «С-2...», которой я в то время командовал, участвуя в учениях под кодовым названием «Полярный круг», находилась в северной части Атлантического океана. В этом районе было свыше тридцати подводных лодок. Поднявшись для очередного сеанса связи на глубину девять метров, мои радисты приняли радио: «Имею аварию реактора. Личный состав переоблучен. Нуждаюсь в помощи. Широта 66° северная, долгота 4°. Командир „К-1...“».

Собрав офицеров и старшин во второй отсек, я прочитал им шифровку и высказал свое мнение — наш долг идти на помощь морякам-подводникам. Офицеры и старшины меня поддержали.

Сомнение вызывало только место нахождения аварийной подводной лодки: долгота в радиограмме была не обозначена. То ли восточная, то ли западная. Наша «С-2...» в это время была на Гринвиче, то есть на нулевом меридиане.

И тут старпом Иван Свищ вспомнил, что суток семь тому назад мы перехватили радио, в котором командир «К-1...» (ныне погибшей) доносил для командира этой лодки состояние льда в Датском проливе. Так мы догадались, что долгота, на которой находится аварийная лодка, западная.

Мы всплыли в надводное положение и полным ходом пошли к предполагаемому месту встречи. Погода была хорошей. Светило солнце. Океан был спокоен. Шла только крупная зыбь.

Часа через четыре обнаружили точку на горизонте. Приближаясь, опознали в ней подводную лодку в крейсерском положении. На наш опознавательный запрос зеленой сигнальной ракетой получили в ответ беспорядочный залп разноцветных ракет. Это была она.

До этого нам, то есть мне и моим офицерам, матросам, не доводилось видеть первую советскую ракетную атомную лодку. Вся ее команда собралась на носовой надстройке. Люди махали руками, кричали: «Жан, подходи!!», узнав от командира мое имя.

По мере приближения к лодке уровень радиации стал увеличиваться. Если на расстоянии 1 кабельтова он был 0,4—0,5 рентген/час, то у борта поднялся до 4—7 рентген/час.

Ошвартовались мы к борту в 14 часов. Командир лодки Николай Затеев был на мостике. Я спросил, в какой он нуждается помощи. Он попросил меня принять на борт одиннадцать человек тяжелобольных и обеспечить его радиосвязью с флагманским командным пунктом, то есть с берегом, так как его радиостанции уже скисли и не работали.

На носовой надстройке «К-1...» среди возбужденных людей трое лежали на носилках с опухшими лицами. Сразу же возникла проблема — как переносить людей на нашу лодку; подводные лодки, уходя в море, оставляют сходни на пирсе в базе. Я предложил Затееву отвалить носовые горизонтальные рули и, продвигаясь вперед вдоль его борта, подвел под них форштевень «С-2...». Теперь по рулям, как по сходне, можно было перенести трех человек на носилках. Это были лейтенант Борис Корчилов, главный старшина Борис Рыжиков и старшина I статьи Юрий Ордочкин. Восемь человек перебежали сами.

Едва эти одиннадцать человек разместились в первом отсеке, в нем сразу же стало 9 рентген/час. Когда я сообщил об этом Коле Затееву, он предложил раздеть ребят и одежду выбросить за борт. После этой процедуры в нашем отсеке стало 0,5 рентген/час. Но сами эти ребята излучали значительно больше, особенно когда их рвало. Наш доктор Юрий Салиенко обработал каждого спиртом и одел в наше аварийное белье.

Свербилов Жан Михайлович (р. в 1927 г.) — капитан I ранга, по окончании Высшего военно-морского училища им. Фрунзе служил штурманом на подводных лодках Балтики, Каспия и Тихого океана. Командовал подводными лодками на Северном флоте, в частности — подводной лодкой «С-2...», о которой идет речь в описываемом эпизоде. В настоящее время — доцент Ленинградского института методов и техники управления (ЛИМТУ). Публикуется в журнале впервые.

Я дал радио на ФКП: «Стою у борта „К-1...“. Принял на борт 11 человек тяжелобольных. Обеспечиваю „К-1...“ радиосвязью. Жду указаний. Командир „С-2...“». Приблизительно через час в мой адрес пришли радиограммы от Главкома ВМФ и от Командующего Северным флотом почти одного и того же содержания: «Что вы делаете у борта „К-1...“? Почему без разрешения покинули завесу? Ответите за самовольство».

Прошу Затеева составить шифровку о состоянии его лодки, чтобы передать ее моей рацией на ФКП. Часа через полтора после того, как шифровка пошла на берег, ФКП приказал подводным лодкам «С-1...» под командованием Григория Вассера и «С-2...» под командованием Геннадия Нефедова следовать к аварийной подводной лодке и помочь Свербилову снимать людей.

А мы продолжали стоять у борта. Больными в первом отсеке занимался доктор Юра Салиенко. Старпом Иван Свищ вместе с помощником Затеева Володей Ениным заводили швартовые концы с нашей кормы на их нос, чтобы попробовать буксировать подводную лодку. Но как только мы давали ход, обтянувшиеся концы рвались, как струны. Все попытки были тщетными — с буксировкой ничего не получилось.

Тогда я предложил Коле Затееву перебраться вместе с командой на нашу лодку, чтобы отойти от «К-1...» на полмили и ждать подхода Вассера и Нефедова. Он ответил, что не имеет приказа оставить корабль, а если я буду отходить сам — это морально убьет его людей.

И мы продолжали стоять. На аварийной лодке запустили дизель-генератор, и радиоактивный дым с брызгами повалил нам в лицо. Естественно, я попросил Затеева остановить машину. Тогда он вызвал меня на нос для совершенно секретных переговоров. Только тогда я узнал, что у него колоссальный тепловой режим в реакторе и он с минуты на минуту ждет... атомного взрыва. Оставалось радоваться, что мы в эпицентре и в случае чего не останемся калеками.

Никакие иностранные самолеты над нами не летали. Но на всякий случай мы с Затеевым разыграли и такой вариант: если появится американский военный корабль, то все перейдут к нам на лодку, а «К-1...» будем топить. Для этой цели была отдана команда командиру БЧ-3 нашей лодки Борису Антропову приготовить две боевые торпеды. К счастью, этот акт применить не пришлось. Ни самолетов, ни кораблей в период нашего стояния так и не появилось.

К трем часам утра следующих суток подошли подводные лодки Вассера и Нефедова. С ФКП поступила команда всему личному составу аварийной подводной лодки перейти к Свербилову и Вассеру, и Нефедову отойти на милю от «К-1...» и наблюдать за ней до подхода наших надводных кораблей. Коля Затеев ушел с корабля последним.

Принимая людей, мы их раздевали. Они шли по рулям голыми, неся в руках автоматы Калашникова, но Иван Свищ и Боря Антропов, раскрутив, выбрасывали это оружие за борт. Деньги, партийные и комсомольские билеты закладывали в герметичный кранец. На нашу лодку, помимо тех одиннадцати, перешло еще 68 человек. Среди них два дублера командира Владимир Першин и Василий Архипов. На нашу лодку также перетащили большие мешки с секретной документацией. Коля Затеев с остальными людьми перешел на лодку Гриши Вассера.

ФКП приказал мне и Вассеру полным ходом, кратчайшим путем, следовать на базу. В наш адрес все это время шли радиограммы различного содержания. Начсан флота рекомендовал кормить облученных фруктами, свежими овощами, соками и антибиотиками. А у нас к тому времени уже и картошка кончилась. Представитель особого ведомства интересовался, кто из экипажа аварийной подводной лодки может толково объяснить причину аварии. На этот запрос помощник Володя Енин предложил послать спрашивающего подальше, но я ответил, что имею на борту 79 человек, нуждающихся в медицинской помощи. Пришло радио, где сообщалось, что к исходу третьих суток пути будем высаживать людей на миноносцы, вышедшие нам навстречу.

Начала портиться погода. Поднялся шторм с большой волной, дождем и ветром. На третьи сутки мы обнаружили, что нас отслеживают локаторы. Поняли, что это миноносцы. Пошли к ним навстречу и вскоре обнаружили три эсминца. Шторм разгулялся, и нас с эсминцами по очереди взметало высоко в небо. Подойти было невозможно. Об этом я передал командиру отряда миноносцев по УКВ (он был на одном из них). Он ответил, что имеет категорическое приказание комфлота принять у меня людей, и предложил пройти близко от борта эсминца «Бывалый» и вместе с его командиром оценить обстановку. В это время на мостик вышел доктор Юра Салиенко и сказал: «Товарищ командир, они загибаются, я делаю все, что могу». И тогда я принял решение подходить. По УКВ передал, чтобы «Бывалый» лег на курс против волны, а другой миноносец прикрыл бы нас с носа, стоя к волне лагом. Так они и стали. Я подошел левым бортом к правому борту «Бывалого». Под прикрытием второго миноносца этот маневр удался.

На «Бывалом» верхняя команда была одета в химкомплекты и в противогазы. Командир «Бывалого» стоял на мостике тоже в противогазе. С миноносца подали нам швартовые концы и на крышу нашего ограждения рубки подали сходню. Предварительно людей с аварийной лодки мы собрали в нашем центральном посту и боевой рубке. На

миноносец успело перебежать 30 наиболее здоровых людей. Когда корабль, прикрывавший нас с носа, стал на нас наваливать, миноносец дал ход. Нас с «Бывалым» развернуло лагом к волне и начало бить друг о друга. Ни о какой дальнейшей высадке речи быть не могло. Нужно было срочно отходить. Но так как парусность у надводного корабля значительно больше, чем у подводной лодки, отбросить корму и отойти удалось с огромным трудом. При этом боковой киль миноносца распорол весь наш левый борт, и наша лодка получила большой статический крен на левый борт.

Все тяжелобольные остались у нас. На мостик вышел наш замечательный инженер-механик Толя Феоктистов и доложил, что остойчивости у нас осталось не более 7-8 % и для спрямления подводной лодки необходимо частично заполнить цистерны главного балласта правого борта и при постоянной работе компрессоров поддувать заполняющиеся на качке цистерны левого борта. Спрямив таким образом лодку, мы уже не полным ходом, а скоростью в шесть узлов под острым углом к волне стали продвигаться в сторону базы.

Матросы, старшины и офицеры нашей лодки делали все возможное, чтобы облегчить страдания больных. Мы отдали им все наши койки, одели в наше аварийное и водолазное белье, на камбузе горячую пищу готовили только для их экипажа. Доктор Салиенко не отходил от больных. Матросы-торпедисты в первом отсеке кормили лежачих с ложечки. В моей каюте разместились дублеры командира Володя Першин и Вася Архипов.

Прошло еще двое суток. Погода стала улучшаться, волна уменьшилась. Получили радио, что в районе Нордкапа будем высаживать людей на другие миноносцы. Подойдя к точке встречи, обнаружили два миноносца проекта «30-БИС». К этому моменту нас нагнала и лодка Гриши Вассера.

Чтобы не добить и окончательно не утопить свою поврежденную подводную лодку, я предложил командиру одного из миноносцев следовать в ближайший фиорд и там, на спокойной воде, принять у нас людей. Так мы и сделали. Вошли в узкий фиорд в районе Нордкина (название фиорда не помню). Глубины большие. Слева и справа на расстоянии 100—120 метров отвесные скалы, отражающие могучее эхо. Вопреки нашим разведсводкам, никаких постов наблюдения и ракетно-артиллерийских точек на побережье этого фиорда мы не обнаружили. На спокойной воде я ошвартовался к миноносцу и высадил 49 оставшихся человек. Вассер высаживал людей на другой миноносец на шлюпках.

После этого мы легли на курс к базе. Стали производить дезактивацию в отсеках. Мыли борта, переборки, приборы, настилы и т. п. При подходе к Кольскому заливу все посты без нашего запроса поднимали сигнал: «Командиру „ДОБРО" на вход». Мы дали сигнал на пост Кильдин: «Прошу обеспечить швартовку. Швартовых концов не имею».

Ошвартовались на базе у третьего пирса. Сойдя на пирс, я не знал, кому же доложить о прибытии — такое количество адмиралов и генералов на сравнительно небольшой площади пирса я видел впервые. Генералы были в основном медики. Наконец среди адмиралов я увидел начальника штаба Северного флота Анатолия Ивановича Рассохо. Ему и доложил о прибытии. Генерал-медик обратился ко мне с вопросом, есть ли у нас судовой врач, и если есть, то нельзя ли его пригласить на пирс. Вызвали доктора Салиенко. Юра, который так смело и самоотверженно вел себя в море, увидя большое медицинское светило, настолько растерялся, что отдал генералу честь левой рукой. Генерал взял руки доктора в свои и сказал: «Здравствуйте, коллега». Доктор наш покраснел и пошел с генералом в торец пирса беседовать на их профессиональные темы.

С лодки начали выгрузку мешков с секретной документацией. Я стоял рядом с начальником штаба флота и смотрел, как наши матросы складывают эти мешки на пирсе, а служба радиационной безопасности флота производит замеры уровней радиации. К Рассохо подошел флагманский секретчик флота и спросил, что делать с этой документацией. «А много на ней?» — спросил Рассохо. «Много»,— ответил тот. «Жечь немедленно!!!» — вмешался в разговор начальник медицинской службы флота генерал-майор м/с Ципичев.

Затем старпом построил команду нашей лодки на берегу. Я поблагодарил матросов, старшин и офицеров за службу. Они не совсем дружно ответили традиционное «Служим Советскому Союзу», и мы все пошли в баню на санобработку. Мылись долго и тщательно. В предбаннике стоял стол, за которым сидела девушка-регистратор, а рядом стояли старшина-химик с бета-гамма-радиометром и флагманский химик Северного флота капитан I ранга Кувардин.

Первым из мыльной вышел наш радиометрист старшина II статьи Боков. Подойдя к столу, замерили его уровень — 2700 по бета-частицам. «Сколько у него?» — спросил Кувардин. «2700»,— ответила девушка. Кувардин хлопнул Бокова по мокрому плечу и сказал: «Повезло тебе, парень! 3000 — норма». Когда у следующего оказалось 4200, Кувардин и его ободрил, сказав, что норма — 5000. У нас, у офицеров, стоявших на мостике, уровни по бета-частицам в районе щитовидной железы были от 8000 до 11 500.

Всю нашу одежду отобрали и выдали белую матросскую робу — своей одежды у нас не было. Для наших с Вассером экипажей подогнали плавбазу «Пинега». На ней матросов поместили в освобожденные специально для нас кубрики, а офицеров развели по каютам.

Друзья-офицеры с подводных лодок, стоящих на базе, пришли ко мне в каюту, принесли спирт, который на всех флотах Советского Союза моряки называют «шилом», видимо, потому, что шила в мешке не утаишь. Принесли еду-закуску, и мы выпили за здоровье тех, кого спасли, и за здоровье людей нашего экипажа. Алкоголь снял напряжение и усталость этих суток. Наши гости расспрашивали нас, как все происходило. Их интересовали подробности случившегося и как кто себя вел в этой экстремальной ситуации. А рассказать было что.

На фоне общей порядочности и, если хотите, смелости имел место быть (как пишут в суконноязычных официальных документах) и факт трусости. Коротко суть дела. Когда мы ошвартовались к борту «К-1...», то первым к нам на лодку перебежал вполне здоровый человек, а уж после перенесли на носилках трех тяжелобольных. Передавая мне бланк шифрограммы для передачи на ФКП о состоянии его лодки, Коля Затеев попросил после передачи отдать ему бланк как документ секретный и строгой отчетности. Ну и когда радиограмма была передана, я обратился к этому первым покинувшему лодку матросу, чтобы он передал бланк Затееву. И услышал ответ, что он не матрос, а офицер, что он является представителем одного из управлений штаба флота и обратно на аварийную лодку не пойдет. Тогда я приказал ему отправляться в первый отсек, где находились уже одиннадцать человек тяжелобольных. Он мне ответил, что туда он тоже не пойдет и доложит командованию флота о моем самоуправстве. Его неподчинение я расценил как бунт на военном корабле, о чем сообщил ему и всем присутствующим на мостике. После чего приказал старпому Ивану Свищу вынести пистолет на мостик и расстрелять бунтаря у кормового флага. Иван начал спускаться в центральный пост за пистолетом. Штабист понял, что с ним не шутят, и, изрыгая угрозы, пошел в первый отсек. В дальнейшем он первым перебежал на «Бывалый». Я не называю фамилию и имя этого человека только потому, что, как сказали Володя Енин и мой замполит Сергей Сафронов, он не струсил, а просто «дал моральную утечку». И еще я не называю его фамилии потому, что за этот поход он был награжден орденом. А ордена у нас зря не раздаются. Так нас учили.

Мы много говорили и пили в эту ночь. Потом под гитару пели смеляковскую «Если я заболею». Разошлись в четыре утра. Перед тем, как заснуть, я думал о том, что мы, то есть наш экипаж и я как его командир, сделали святое дело. Все подводные лодки, участвовавшие в учении, приняли радио Коли Затеева, но никто, кроме нас, к нему не пошел. Если бы не наша «С-2...», они бы все погибли, а их было более ста человек. Самой высокой наградой для меня и для всех нас было видеть глаза людей, уже почти отчаявшихся и вдруг обретших надежду на спасение. И если Бог есть, предположил я, мы будем в раю. С надеждой на это я заснул.

Проснулся оттого, что меня кто-то трясет за плечо. Будил меня флагманский связист одного из соединений подводных лодок Ким Батманов. «Мы, офицеры флота,— сказал он,— все за тебя, Жан, но на флот приехал Бутома — самый главный в советском судостроении. Все перед ним ходят на цыпочках, ведь он представитель ЦК. Так вот, он заявил, что промышленность поставляет флоту превосходную технику, а флот — дерьмо, не умеет ее эксплуатировать. Затеев — паникер, а ты, Жан,— пособник паники. Обвиняешься ты по трем пунктам. Первый — почему вышел без приказания из завесы. Второй — почему, подойдя к борту, не дал сигнал об аварии подводной лодки в соответствующей радиосети. Третий — почему, стоя у борта „К-1..." и принимая людей, не обеспечил радиологическую защиту своему экипажу».

Выслушав все эти пункты, я с великим трудом заставил свою похмельную голову прийти в рабочее состояние так, чтобы мысли шли справа по два, как у нормального военнослужащего. «По первому пункту,— сказал я,— мы вышли из завесы, так как я решил, что это радио с ФКП, то есть берег дублирует радио Затеева. По второму — сигнал об аварии должен был дать Затеев через мою радиостанцию, так как он потерпевший аварию. И по третьему — для всех резиновых химкомплектов и противогазов имеются какие-то нормы, сроки пребывания в них, исчисляемые в часах, а не в сутках. Пятисуточное пребывание в них нам здоровья бы не прибавило».

Батманов остался доволен моим объяснением, все записал и сказал, что гора свалилась с его плеч, поручение ему дали пренеприятнейшее, а он не привык подставлять товарищей.

К 14 часам мне приказали прибыть к командующему Северным флотом адмиралу Андрею Трофимовичу Чебаненко. В назначенное время, в белой матросской робе, я доложил комфлота: «Товарищ адмирал, командир „С-2..." капитан 3-го ранга Свербилов по вашему приказанию прибыл». Он спросил, почему я в таком виде. Я объяснил, что нашу форму отобрали на захоронение. Он тут же вызвал зам. комфлота по тылу вице-адмирала Поликарпова и отдал приказание сшить нашим офицерам новую форму. Затем я ему доложил обо всех своих действиях с момента получения радио об аварии. Командующий очень тепло, дружески разговаривал со мной. Тогда я не знал, сколько крови ему попортил Бутома, обвинявший во всем флот и выгораживавший промышленность.

Вечером на базе меня встретил Иван Свищ и сказал, что только я один не прошел примерку в ателье. Сняли мерку и с меня. На следующий день форма была готова.

Нашу лодку нужно было ставить в док для заделки рваного левого борта. Но представители противорадиационной службы завода отказались принимать такой заказ, поскольку в нашем первом отсеке рабочие могут находиться не более 20 минут в рабочую смену, во

втором — около часа, в центральном посту — 2 часа и т. д. При этом представители данной службы сообщили, что мыльно-щеточная дезактивация не поможет. Нужно вырубать экспанзит, снимать линолеум и вырубать все дерево (столы, диваны, ширмы) в отсеках. Этим наш экипаж и занимался все последующие шесть дней.

Мы навестили моряков с аварийной лодки, находившихся в местном госпитале. Всех очень тяжелых отправили в Ленинград. Замполит Сергей Сафронов наблюдал, как грузили в вертолет одиннадцать человек на носилках. Вертолет поднялся с матросского стадиона метра на три, хвостовым винтом задел плакат «МОРЕ ЛЮБИТ СИЛЬНЫХ» и рухнул на колеса. Первым через распахнутую дверь с матом выпрыгнул генерал-медик, а за ним уже вынесли лежачих ребят. Никто, к счастью, не пострадал. Пришлось воспользоваться дешевым морским путем, и на катере командующего больные были доставлены в Североморск, а затем самолетом в Ленинград.

Оставался в госпитале Володя Енин. У него мы с Сафроновым спросили, что делать с их партийными, комсомольскими билетами и деньгами, всем тем, что мы сохранили в герметичном кранце. Билеты он предложил сдать в политотдел соединения, а деньги отнести ребятам в госпиталь, потому как они покупательной способности не утратили.

Когда мы с Сергеем Сафроновым положили стопку партийных и комсомольских билетов на стол начальнику политотдела соединения капитану 1 ранга М. Репину, он посмотрел на них, как на неразорвавшуюся гранату. «Зачем вы их сюда принесли?» — спросил он. «А куда должны мы были их принести?» — спросили мы. Тогда он вызвал молоденькую вольнонаемную секретаршу и приказал запереть их в ее сейф. Дальнейшая судьба этих партбилетов мне неизвестна.

Команда ежедневно работала на лодке по многу часов. Нужно было стать в док. Начальник отдела кадров соединения подводных лодок Караушев, встретив меня на пирсе, сказал, что на наш экипаж подготовлены наградные документы. С его слов, меня представляли к званию Героя Советского Союза. Но пройдет месяц (лодка стояла уже в доке), и Глеб Караушев скажет, что наше награждение не состоится, так как Никита Сергеевич Хрущев, не разобравшись, на чьей лодке была авария, на моем представлении напишет: «За аварии мы не награждаем. Н. Хрущев».

К сожалению, из-за неразумной сверхсекретности на флотах не разобрали этот случай. Не довели до сведения моряков-подводников причину и следствие аварии. Не оценили действия всех участников катастрофы.

В медицинских книжках моряков наших трех экипажей не оставили ни единой отметки о полученных дозах радиации.

В конце июля 1961 года, находясь в отпуске в Зеленогорске, я случайно встретил похоронную процессию. Как мне сказали провожающие, хоронили моряка-подводника с Севера. Я спросил: «А от чего умер?» — «Током убило»,— ответили мне. «Как фамилия покойного?» — спросил я. «Рыжиков». Да, это тот самый главный старшина Борис Рыжиков, который в числе первых трех на носилках был перенесен в наш первый отсек.

Когда нас горький опыт чему-нибудь научит?

А между тем после этой аварии аварийная лодка получила печальную кличку «Хиросима». Впоследствии на «Хиросиме» были еще аварии, и также с гибелью людей. Но об этом пусть вспомнят и напишут очевидцы.

Вот на этом можно было бы и закончить мою скучную одиссею, если бы через 29 лет после случившегося в газете «Правда» от 1.06.90 г. не была бы опубликована статья В. Изгаршева «За четверть века до Чернобыля». Спасибо В. Изгаршеву за то, что предал гласности то, что было закрыто, и помянул добрым словом участников этой катастрофы. Но есть небольшие неточности в этой публикации. А именно: подошли к аварийной лодке первыми мы, а Вассера зовут не Лев, а Григорий. А в остальном спасибо.

По приглашению нынешнего командира «К-1...», моего товарища, я прилетел на базу, где с 12 по 14 июля 1990 г. отмечали 30-летие первого советского атомного ракетоносца. Съехались со всех концов страны члены первого экипажа этой лодки. Приехал и ее первый командир Николай Затеев. Приехал помощник Володя Енин. Ему дважды меняли костный мозг. Схватил он тогда много. Встречи были очень сердечные. Люди обнимались, плакали. Меня спрашивали: почему же ты все-таки без приказания вышел из завесы и пошел к нам, это ведь для тебя пахло трибуналом. А я объяснял, что это все от моей врожденной недисциплинированности.

И только теперь, по прошествии многих лет, я понял, почему нас так плохо приняло тогдашнее руководство судостроением: мы привезли не только больных — мы привезли вещественные доказательства несовершенства проекта, неотработанности узлов и отсутствия четкой методики эксплуатации новой атомной лодки.

Умерли от лучевой болезни в июле 1961 года: капитан-лейтенант Ю. Повстьев, лейтенант Б. Корчилов, глав. ста шина Б. Рыжиков, старшина 1 ст. Ю. Ордочкин, старшина 2 ст. Е. Кашенков, матрос С. Пеньков, матрос В. Харитонов, матрос Н. Савкин. В 1970 г. от последствий облучения умер командир БЧ-5 капитан I ранга А. Козырев. ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!

А остальные-то все живы!

Новые переводы

Курт Воннегут

МАТЬ ТЬМА

Роман

Глава двадцать вторая

СОДЕРЖИМОЕ СТАРОГО ЧЕМОДАНА...

— Послушай,— сказал я моей Хельге в Гринвич Виллидж после того, как рассказал ей то немногое, что знал о ее матери, отце и сестре,— эта мансарда не может быть любовным гнездышком даже и на одну ночь. Мы возьмем такси. Поедем в какую-нибудь гостиницу. А завтра мы выкинем все это барахло и купим все совершенно новое. А потом поищем действительно приятяое место для жилья.

— Я очень счастлива и тут,— сказала она.

— Завтра,— сказал я,— мы найдем кровать, такую же, как наша старая — две мили в длину и три в ширину и с изголовьем, прекрасным, как закат солнца в Италии. Помнишь? О, боже, помнишь?

— Да,— сказала она.

— Сегодняшняя ночь в гостинице, а завтрашняя в такой постели.

— Мы едем сию минуту?

— Как скажешь.

— Можно я сначала покажу тебе мои подарки?

— Подарки?

— Подарки для тебя.

— Ты — мой подарок. Что мне еще надо?

— Это тебе, наверное, тоже надо,— сказала она, открывая замки чемодана.— Надеюсь, надо.— Она раскрыла чемодан. Он был набит рукописями. Ее подарком было собрание моих сочинений, моих серьезных сочинений, почти каждое искреннее слово, когда-либо написанное мною, прежним Говардом У. Кемпбэллом-младшим. Здесь были стихи, рассказы, пьесы, письма, одна неопубликованная книга — собрание сочинений жизнерадостного, свободного, молодого, очень молодого человека.

— Какое у меня странное чувство,— сказал я.

— Мне не иадо было это привозить?

— Сам не знаю. Эти листы бумаги когда-то были мною.— Я взял рукопись книги — причудливый эксперимент под названием «Мемуары моногамного Казановы».— Это надо было сжечь,— сказал я.

— Я скорее сожгла бы свою правую руку.

Я отложил книгу, взял связку стихов.

— Что мог сказать о жизни этот юный незнакомец? — сказал я и прочел вслух стихи, немецкие стихи:

Kühl und hell der Sonnenaufgang,
leis und süss der Glocke Klang.
Ein Mägdlein hold, Krug in der Hand,
sitzt an des Brunnens Rand.

А в переводе? Примерно так:

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 2.

Свежий ясный восход,
Колокол сладко звенит.
Юная дева с кувшином
В глубокий колодец глядит.

Я прочитал это стихотворение вслух, затем еще одно. Я был и остался очень плохим поэтом. Я привожу эти стихи не для того, чтобы мной восхищались. Второе стихотворение, которое я прочел, было, я думаю, предпоследнее из написанных мною. Оно датировалось 1937 годом и называлось:

«Gedanken über unseren Abstand vom Zeitgeschehen», или, в переводе, «Размышления о неучастии в текущих событиях».

Оно звучало так:

Eine mächtige Dampfwalze naht
und schwärzt der Sonne Pfad,
rollt über geduckte Menschen dahin,
will keiner ihr entfliehn.
Mein Lieb und ich schaun starren Blickes
das Rätsel dieses Blutgeschickes.
«Kommt mit herab», die Menschheit schreit,
«Die Walze ist die Geschichte der Zeit!»
Mein Lieb und ich geht auf die Flucht,
wo keine Dampfwalze uns sucht,
und leben auf den Bergeshöhen,
getrennt vom schwarzen Zeitgeschehen.
Sollen wir bleiben mit den andern zu sterben?
Doch nein, wir zwei wollen nicht verderben!
Nun ist's vorbei! — Wir sehn mit Erbleichen
die Opfer der Walze, verfaulte Leichen.

В переводе:

Мчит огромный паровой каток,
Закрывая солнца свет.
Все кидаются наземь, наземь,
Считая — спасенья нет.
Мы глядим потрясенно, я и любимая,
На кровавую эту мистерию.
«Наземь!» — все вокруг кричат.—
«Эта машина — история!»
Но мы убегаем в горы, прочь,
Я и любимая.
Нас катку не догнать,
Позади осталась история!
Мы не хотим умереть, как все,
Вернуться вниз, назад.
Нам сверху видно, что за катком
Смердящие трупы лежат.

— Каким образом все это оказалось у тебя? — спросил я у Хельги.

— Когда я приехала в Западный Берлин,— сказала она,— я пошла в театр узнать, сохранился ли он, остался ли кто-нибудь из знакомых и есть ли у кого-нибудь сведения о тебе.— Ей не надо было объяснять мне, какой театр она имела в виду. Она имела в виду маленький театр в Берлине, где шли мои пьесы и где Хельга часто играла ведущие роли.

— Я знаю, он просуществовал почти до конца войны,— сказал я.— Он еще существует?

— Да,— сказала она.— И когда я спросила о тебе, никто ничего не знал. А когда я рассказала им, кем ты когда-то был для этого театра, кто-то вспомнил, что на чердаке валяется чемодан, на котором написана твоя фамилия.

Я погладил рукописи.

— И в нем было это,— сказал я. Теперь я вспомнил чемодан, вспомнил, как я закрыл его в начале войны, вспомнил, как подумал тогда, что чемодан это гроб, где похоронен молодой человек, которым я никогда больше не буду.

— У тебя есть копии этих вещей? — спросила она.

— Совершенно ничего,— сказал я.

— Ты больше не пишешь?

— Не было ничего, что я хотел бы сказать.

— После всего, что ты видел и пережил, дорогой?

— Именно из-за всего, что я видел и пережил, я и не могу сейчас ничего сказать. Я разучился быть понятным. Я обращаюсь к цивилизованному миру на тарабарском языке, и он отвечает мне тем же.

— Здесь было еще одно стихотворение, наверное, последнее, оно было написано карандашом для бровей на внутренней стороне крышки чемодана,— сказала она.

— Неужели? — сказал я.

Она продекламировала его мне:

Hier liegt Howard Campbells Geist geborgen,
frei von des Körpers quälenden Sorgen.
Sein leerer Leib durchstreift die Welt,
und kargen Lohn dafür erhält.
Triffst du die beiden getrennt allerwärts,
verbrenn den Leib, doch schone dies, sein Herz.

В переводе:

Вот сущность Говарда Кемпбэлла бедного,
Отделенная от тела его бренного.
Тело пустое по белому свету шныряет,
Что ему нужно для жизни, себе выбирает.
И раз уж у сущности с телом так разошелся путь,
Тело его сожгите, но пощадите суть.

Раздался стук в дверь.

Это Джордж Крафт стучал ко мне в дверь, и я его впустил.

Он был очень взбудоражен, потому что исчезла его кукурузная трубка. Я впервые видел его без трубки, впервые он продемонстрировал, как необходима трубка для его спокойствия. Он был так расстроен, что чуть не плакал.

— Кто-то взял ее или куда-то засунул. Не понимаю, кому она понадобилась,— скулил он. Он ожидал, что мы с Хельгой разделим его горе, видно, он считал исчезновение трубки главным событием дня.

Он был безутешен.

— Почему кто-то вообще трогал трубку? — сказал он.— Кому это было надо?

Он разводил руками, часто мигал, сопел, вел себя как наркоман с синдромом абстиненции, хотя никогда ничего не курил.

— Скажите мне,— повторял он,— почему кто-то взял мою трубку?

— Не знаю, Джордж,— сказал я раздраженно.— Если мы ее найдем, дадим тебе знать.

— Можно я поищу ее сам?

— Давай.

И он перевернул все вверх дном, гремя кастрюлями и сковородками, хлопая дверьми буфета, с лязгом шуруя кочергой под батареями.

Что сделал этот спектакль для нас с Хельгой, так это сблизил нас, привел нас к таким близким отношениям, к которым мы пришли бы еще не скоро.

Мы стояли бок о бок, возмущенные вторжением в наше государство двоих.

— Это ведь не очень ценная трубка? — спросил я.

— Очень ценная — для меня,— сказал он.

— Купи другую.

— Я хочу эту, я к ней привык. Я хочу именно эту.— Он открыл хлебницу, заглянул туда.

— Может, ее взяли санитары? — предположил я.

— Зачем она им? — сказал он.

— Может, они подумали, что она принадлежит умершему. Может, они сунули ее ему в карман? — сказал я.

— Вот именно! — заорал Крафт и выскочил в дверь.

Глава двадцать третья

ГЛАВА ШЕСТЬСОТ СОРОК ТРИ...

Как я уже говорил, в чемодане Хельги среди прочего была моя книга. Это была рукопись. Я никогда не собирался ее публиковать. Я считал, что ее может напечатать разве только издатель порнографии.

Она называлась «Мемуары моногамного Казановы». В ней я рассказывал, как обладал сотнями женщин, которыми для меня была моя жена, моя единственная Хельга. В этом было что-то патологическое, болезненное, можно сказать, безумное. Это был дневник, запись день за днем нашей эротической жизни первых двух военных лет — и ничего больше. Там не было даже никаких указаний ни на век, ни на континент.

Там были только мужчина и только женщина в самых разных настроениях. Обстановка обрисовывалась весьма приблизительно и то лишь в самом начале, а затем и вовсе исчезала.

Хельга знала, что я веду этот странный дневник. Это был один из многих способов поддерживать на накале наш секс. Книга была не только описанием эксперимента, но

я частью самого эксперимента — неловкого эксперимента мужчины и женщины, безумно привязанных друг к другу сексуально.

И более того.

Являвшихся друг для друга целиком и полностью смыслом существования, достаточным, даже если бы не было никакой другой радости.

Эпиграф к книге, я думаю, попадал прямо в точку.

Это стихотворение Вильяма Блейка «Ответ на вопрос»:

Что в женщине мужчина ищет?
Лишь утоленное желанье.
В мужчине женщина что ищет?
Лишь утоленное желанье.

Здесь уместно добавить последнюю главу к «Мемуарам», главу 643, где описывается ночь, которую я провел с Хельгой в нью-йоркском отеле после того, как прожил столько лет без нее.

Я оставляю на усмотрение деликатного и искушенного издателя заменить невинными многоточиями все то, что может шокировать читателя.

Мемуары моногамного Казановы, глава 643

Мы были в разлуке шестнадцать лет. Вожделение мое этой ночью началось с кончиков пальцев. Постепенно оно охватило... другие части моего тела, и они были удовлетворены вечным способом, удовлетворены полностью, с... клиническим совершенством. Ни одна клеточка моего тела и, я уверен, моей жены тоже не осталась неудовлетворенной, не могла пожаловаться ни на досадную поспешность, ни на тщетность усилий, ни на... непрочность постройки. И все же наибольшего совершенства достигли кончики моих пальцев...

Это вовсе не означает, что я оказался стариком, не способным дать женщине ничего, кроме радостей... любовной прелюдии. Напротив, я был не менее... проворным любовником, чем семнадцатилетний... юноша со своей... девушкой.

И так же полон жажды познавать.

И эта жажда жила в моих пальцах.

Дерзкие, изобретательные, умные, эти... труженики, эти... стратеги, эти... разведчики, эти... меткие стрелки исследовали свою территорию.

И все, что они находили, было прекрасно...

Этой ночью моя жена была... рабыней в постели... императора, она, казалось, ничего не слышала и даже не могла произнести ни слова на моем языке. И тем не менее, как выразительна она была, все говорили ее глаза, ее... дыхание, она не могла, не хотела сдерживать их...

И как до каждой жилки было знакомо и просто то, что говорило ее... тело... Это был рассказ ветра о ветре, розового куста о розе...

После нежных умных благодарных моих пальцев вступили другие инструменты наслаждения, полные нетерпения, лишенные памяти и условностей. Их моя рабыня принимала с жадностью... пока Мать-Природа, повелевавшая нашими самыми непомерными желаниями, уже не могла требовать большего. Мать-Природа сама возвестила конец игры... Мы откатились друг от друга...

Мы заговорили членораздельно впервые после того, как легли.

— Привет,— сказала она.

— Привет,— сказал я.

— Добро пожаловать домой,— сказала она.

Конец главы 643.

На следующее утро небо было чистое, высокое, ясное, словно волшебный купол, хрупкий и звенящий, словно огромный стеклянный колокол.

Мы с Хельгой бойко вышли из отеля. Я был неистощим в своей учтивости, а моя Хельга была не менее великолепна в своем внимании и благодарности. Мы провели фантастическую ночь.

Я был одет не в свои военные излишки. Я был в том, что надел, когда удрал из Берлина и сорвал с себя форму Свободного Американского Корпуса. На мне было пальто с меховым воротником, как у импресарио, и синий шерстяной костюм — то, в чем меня схватили.

Причуды ради я был с тростью. Я делал потрясающие штуки с этой тростью: демонстрировал затейливые ружейные приемы, вращал ее, как Чаплин, играл ею, как в поло, объедками в водосточных канавах.

И все это время маленькая ручка моей Хельги скользила в бесконечном эротическом исследовании чувственной зоны между локтем и тугим бицепсом моей левой руки.

Мы шли покупать кровать, такую, как была у нас в Берлине.

Но все магазины были закрыты. День не был воскресеньем и, как мне казалось, не был

праздником. Когда мы дошли до Пятой авеню, там, насколько видел глаз, развевались американские флаги.

— Великий Боже! — воскликнул я в изумлении.

— Что это значит? — спросила Хельга.

— Может, ночью объявили войну? — сказал я.

Она судорожно сжала пальцами мою руку.

— Ты ведь так не думаешь, правда? — сказала она. Она думала, что это возможно.

— Я шучу,— сказал я.— Наверное, какой-то праздник.

— Какой праздник? — спросила она.

Я был в недоумении.

— Как твой хозяин в этой чудесной стране я должен был бы объяснить тебе глубокое значение этого великого дня в нашей национальной жизни, но мне ничего не приходит в голову.

— Ничего?

Я так же озадачен, как и ты. Или как принц Камбоджи.

Одетый в форму негр подметал тротуар перед жилым домом. Его синяя с золотом форма поражала удивительным сходством с формой Свободного Американского Корпуса вплоть до последнего штриха — бледно-лавандовых полос вдоль штанин. Название дома было вышито на нагрудном кармане. «Лесной дом» называлось это место, хотя единственным деревом поблизости был саженец, подвязанный и закрепленный железными оттяжками.

Я спросил негра, какой сегодня праздник.

Он сказал, что День ветеранов.

— Какое сегодня число? — спросил я.

— Одиннадцатое ноября, сэр,— ответил он.

— Одиннадцатое ноября — День перемирия, а не День ветеранов.

— Вы что, с луны свалились? Это изменено уже много лет назад.

— День ветеранов,— сказал я Хельге, когда мы пошли дальше.— Прежде это был День перемирия. Теперь День ветеранов.

Это тебя расстроило? — спросила она.

— Это такая чертова дешевка, так чертовски типично для Америки,— сказал я.— Раньше это был день памяти жертв первой мировой войны, но живые не смогли удержаться, чтобы не заграбастать его, желая приписать себе славу погибших. Так типично, так типично. Как только в этой стране появляется что-то достойное, его рвут в клочья и бросают толпе.

— Ты ненавидишь Америку, да?

— Это так же глупо, как и любить ее,— сказал я.— Я не могу испытывать к ней никаких чувств, потому что недвижимость меня не интересует. Без сомнения, это мой большой минус, но я не могу мыслить в рамках государственных границ. Эти воображаемые линии так же не реальны для меня, как эльфы и гномы. Я не могу представить себе, что эти границы определяют начало или конец чего-то действительно важного для человеческой души. Пороки и добродетели, радость и боль пересекают границы, как им заблагорассудится.

— Ты так изменился,— сказала она.

— Мировые войны меняют людей, иначе для чего же они? — сказал я.

— Может быть, ты так изменился, что больше меня не любишь? — сказала она.— Может быть, и я так изменилась...

— Как ты можешь это говорить после нашей ночи?

— Мы ведь еще ни о чем не поговорили,— сказала она.

— О чем говорить? Что бы ты ни сказал, это не заставит меня любить тебя больше или меньше. Наша любовь слишком глубока, слова ничего не значат для нее. Это любовь душ.

Она вздохнула.

— Как это прекрасно, если это правда.— Она сблизила ладони, но так, что они не касались друг друга.— Это наши любящие души.

— Любовь, которая может вынести все,— сказал я.

— Твоя душа чувствует сейчас любовь к моей душе?

— Безусловно,— сказал я.

— Ты не заблуждаешься? Ты не ошибаешься в своих чувствах?

— Ни в коем случае.

— И что бы я ни сказала, не сможет разрушить твою любовь?

— Ничто,— сказал я.

— Прекрасно. Я должна тебе сказать что-то, что боялась сказать раньше. Теперь я не боюсь.

— Говори,— сказал я с легкостью.

— Я не Хельга,— сказала она.— Я ее младшая сестра Рези.

Глава двадцать четвертая

ПОЛИГАМНЫЙ КАЗАНОВА...

Когда она огорошила меня этой новостью, я повел ее в ближайшее кафе, где мы могли посидеть. В кафе были высокие потолки, беспощадный свет и адский шум.

— Почему ты так поступила? — спросил я.

— Потому что я люблю тебя,— сказала она.

— Как ты можешь любить меня?

— Я всегда любила тебя, с самого детства,— сказала она.

Я обхватил голову руками.

— Это ужасно.

— Я... я думала, что это прекрасно.

— Что же дальше? — сказал я.

— Разве это не может продолжаться?

— О, господи, как все запутано,— сказал я.

— Выходит, я нашла слова, способные убить любовь,— сказала она,— любовь, которую убить невозможно?

— Не знаю,— сказал я. Я покачал головой.— Какое странное преступление я совершил.

— Это я совершила преступление,— сказала она.— Я, должно быть, сошла с ума. Когда я сбежала в Западный Берлин и там мне велели заполнить анкету, где спрашивалось, кто я, чем занималась, кто мои знакомые...

— Эта длинная, длинная история, которую ты уже рассказывала,— сказал я,— о России, о Дрездене — есть в ней хоть доля правды?

— Сигаретная фабрика в Дрездене — правда,— сказала она.— Мой побег в Берлин — правда. И больше почти ничего. Вот сигаретная фабрика — чистая правда — десять часов в день, шесть дней в неделю, десять лет.

— Прости,— сказал я.

— Ты меня прости. Жизнь была слишком тяжела для меня, чтобы испытывать чувство вины. Муки совести для меня слишком большая роскошь, недоступная, как норковое манто. Мечты — вот что давало мне силы день за днем крутиться в этой машине, а я не имела на них права.

— Почему?

— Я все время мечтала быть не тем, кем я была.

— В этом нет ничего страшного,— сказал я.

— Есть,— сказала она.— Посмотри на себя. Посмотри на меня. Посмотри на нашу любовь. Я мечтала быть моей сестрой Хельгой. Хельга, Хельга, Хельга — вот кем я была. Прелестная актриса, жена красавца-драматурга — вот кем я была. А Рези — работница сигаретной фабрики,— она просто исчезла.

— Ты могла бы выбрать что-нибудь попроще,— сказал я.

Теперь она осмелела.

— А я и есть Хельга. Вот я кто! Хельга, Хельга, Хельга. Ты поверил в это. Что может быть лучшим доказательством? Ты ведь принял меня за Хельгу?

— Ну и вопрос, черт возьми, ты задаешь джентльмену,— сказал я.

— Имею я право на ответ?

— Ты имеешь право на ответ «да». Справедливость требует ответить «да», но я должен сказать, что и я оказался не на высоте. Мой разум, мои чувства, моя интуиция оказались не на высоте.

— Или, наоборот, на высоте,— сказала она,— и ты вовсе не был обманут.

— Скажи, что ты знаешь о Хельге? — спросил я.

— Она умерла.

— Ты уверена?

— А разве нет?

— Я не знаю.

— Я не слышала о ней ни слова,— сказала она.— А ты?

— Я тоже.

— Живые подают голос, верно? — сказала она.— Особенно если они кого-нибудь любят так сильно, как Хельга тебя.

— Наверное, ты права.

— Я люблю тебя не меньше, чем Хельга,— сказала она.

— Спасибо.

— И ты обо мне слышал,— сказала она.— Это было не легко, но ты слышал.

— Действительно,— сказал я.

— Когда я попала в Западный Берлин и мне велели заполнить анкету — имя, занятие, ближайшие живые родственники,— я сделала выбор. Я могла быть Рези Нот, работницей сигаретной фабрики, совсем без родственников. Или Хельгой Нот, актрисой, женой красивого обаятельного блестящего драматурга в США.— Она наклонилась вперед.— Скажи, что я должна была выбрать?

Прости меня, Боже, я снова принял Рези как мою Хельгу.

Получив это второе признание, она понемногу начала показывать, что ее сходство с Хельгой не столь уж полное. Она почувствовала, что может мало-помалу приучать меня к себе самой, к тому, что она отличается от Хельги.

Это постепенное раскрытие, отлучение от памяти Хельги началось, как только мы вышли из кафе. Она задала несколько покоробивший меня практический вопрос:

— Ты хочешь, чтобы я продолжала обесцвечивать волосы, или можно вернуть им настоящий цвет?

— А какие они на самом деле?

— Цвета меда.

— Прелестный цвет волос,— сказал я,— Хельгин цвет.

— Мои с рыжеватым оттенком.

— Интересно посмотреть.

Мы шли по Пятой авеню, и немного позже она спросила:

— Ты напишешь когда-нибудь пьесу для меня?

— Не знаю, смогу ли я еще писать.

— Разве Хельга не вдохновляла тебя?

— Вдохновляла, и не просто писать, а писать так, как я писал.

— Ты писал пьесы так, чтобы она могла в них играть.

— Верно,— сказал я.— Я писал для Хельги роли, в которых она играла квинтэссенцию Хельги.

— Я хочу, чтобы ты когда-нибудь сделал то же самое для меня,— сказала она.

— Может быть, я попытаюсь.

— Квинтэссенцию Рези, Рези Нот.

Мы смотрели на парад Дня ветеранов на Пятой авеню, и я впервые услышал смех Рези. Он не имел ничего общего с тихим, шелестящим смехом Хельги. Смех Рези был радостным, мелодичным. Что ее особенно насмешило, так это барабанщицы, которые задирали высоко ноги, вихляли задами, жонглировали хромированными жезлами, напоминавшими фаллос.

— Я никогда ничего подобного не видела,— сказала она мне.— Для американцев война, должно быть, очень сексуальна.— Она захохотала и выпятила грудь, как будто хотела посмотреть, не получится ли из нее тоже хорошая барабанщица?

С каждой минутой она становилась все моложе, веселее, раскованнее. Ее снежно-белые волосы, которые ассоциировались сначала с преждевременной старостью, теперь напоминали о перекиси и девочках, удирающих в Голливуд.

Отвернувшись от парада, мы увидели витрину, где красовалась огромная позолоченная кровать, очень похожая на ту, которая когда-то была у нас с Хельгой.

В витрине была видна не только эта вагнерианская кровать, в ней как призраки отражались я и Рези с парадом призраков на заднем плане. Эти бледные духи и такая реальная кровать составляли волнующую композицию. Она казалась аллегорией в викторианском стиле, великолепной картиной для какого-нибудь бара, с проплывающими знаменами, золоченой кроватью и двумя призраками, мужского и женского пола.

Что означала эта аллегория, я не могу сказать. Но могу предположить несколько вариантов. Мужской призрак выглядел ужасно старым, истощенным, побитым молью. Женский выглядел так молодо, что годился ему в дочери, был гладкий, задорный, полный огня.

Глава двадцать пятая

ОТВЕТ КОММУНИЗМУ...

Мы с Рези брели обратно в мою крысиную мансарду, рассматривая в витринах мебель, выпивая здесь и там. В одном из баров Рези пошла в дамскую комнату, оставив меня одного. Один из посетителей заговорил со мной.

— Вы знаете, чем отвечать коммунизму? — спросил он.

— Нет,— сказал я.

— Моральным перевооружением.

— Что это, черт возьми? — сказал я.

— Это движение.

— В каком направлении?

— Движение Морального Перевооружения предполагает абсолютную честность, абсолютную чистоту, абсолютное бескорыстие и абсолютную любовь.

— Я искренне желаю им всем всех благ,— сказал я.

В другом баре мы встретили человека, который утверждал, что может удовлетворить, полностью удовлетворить за ночь семь совершенно разных женщин.

— Я имею в виду действительно разных,— сказал он.

О Боже, что за жизнь люди пытаются вести.

О Боже, куда это их заведет!

Глава двадцать шестая

В КОТОРОЙ УВЕКОВЕЧЕНЫ РЯДОВОЙ ИРВИНГ БУКАНОН И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ...

Мы с Рези подошли к дому только после ужина, когда стемнело. Мы решили провести вторую ночь в отеле. Мы вернулись домой, потому что Рези хотелось помечтать о том, как мы преобразуем мансарду, поиграть в свой дом.

— Наконец у меня есть дом,— сказала она.

— Нужна куча средств, чтобы превратить это жилье в дом,— сказал я. Я увидел, что мой почтовый ящик снова полон. Я не стал вынимать почту.

— Кто это сделал? — сказала Рези.

— Что?

— Это,— сказала она, указывая на табличку с моей фамилией на почтовом ящике. Кто-то под моей фамилией нарисовал синими чернилами свастику.

— Это что-то новенькое,— сказал я беспокойно.— Может быть, нам лучше не подниматься. Может быть, тот, кто сделал это, там, наверху.

— Не понимаю,— сказала она.

— Ты приехала ко мне в неудачное время. У меня была уютная маленькая нора, которая бы нас так устроила.

— Нора?

— Дырка в земле, секретная и уютная. Но боже мой,— сказал я в отчаянии,— как раз перед твоим появлением некто обнаружил мою нору.— Я рассказал ей, как возродилась моя дурная слава.— Теперь хищники, вынюхавшие недавно вскрытую нору, окружают ее.

— Уезжай в другую страну,— сказала она.

— В какую другую?

— В любую, какая тебе нравится,— сказала она.— У тебя есть деньги, чтобы поехать, куда ты захочешь.

— Куда захочу,— повторил я.

И тут вошел лысый небритый толстяк с хозяйственной сумкой. Он оттолкнул плечом меня и Рези от почтового ящика, извинившись с неизвинительной грубостью.

— Звиняюсь,— сказал он. Он читал фамилии на почтовых ящиках, как первоклассник, водя пальцем по каждой, долго-долго изучая каждую фамилию.

— Кемпбэлл! — сказал он в конце концов с явным удовлетворением.— Говард У. Кемпбэлл.— Он повернулся ко мне обвиняюще.— Вы его знаете?

— Нет,— сказал я.

— Нет,— повторил он, излучая злорадство.— Вы очень на него похожи.— Он вытащил из хозяйственной сумки *Дейли ньюс*, раскрыл и сунул Рези.— Не правда ли, похоже на джентльмена, который с вами?

— Дайте посмотреть,— сказал я. Я взял газету из ослабевших пальцев Рези и увидел ту давнюю фотографию, где я с лейтенантом О'Хара стою перед виселицами в Ордруфе.

В заметке под фотографией говорилось, что правительство Израиля после пятнадцатилетних поисков определило мое местонахождение.

Это правительство сейчас требует, чтобы Соединенные Штаты выдали меня Израилю для суда. В чем они хотят меня обвинить? Соучастие в убийстве шести миллионов евреев.

Человек ударил меня прямо через газету, прежде чем я успел что-нибудь сказать.

Я упал, ударившись головой о мусорный ящик.

Человек стоял надо мной.

— Прежде чем евреи посадят тебя в клетку в зоопарке, или что еще они там захотят с тобой сделать,— сказал он,— я хочу сам с тобой немножечко поиграть.

Я тряс головой, пытаясь очухаться.

— Прочувствовал этот удар? — сказал он.

— Да.

— Это за рядового Ирвинга Буканона.

— Это вы?

— Буканон мертв,— сказал он.— Он был моим лучшим другом. В пяти милях от Омаха Бич. Немцы оторвали у него яйца и повесили его на телефонном столбе.

Он ударил меня ногой по ребрам, удерживая Рези рукой: «Это за Анзела Бруэра, раздавленного танком „Тигр" в Аахене».

Он ударил меня снова: «Это за Эдди Маккарти, он был разорван на части снарядом в Арденнах. Эдди собирался стать доктором».

Он отвел назад свою огромную ногу, чтобы ударить меня по голове. «А это за...» — сказал он, и это было последнее, что я услышал. Удар был за кого-то, тоже убитого на войне. Я был избит до бесчувствия.

Потом Рези рассказала мне, что за подарок был для меня в его сумке и что он сказал напоследок.

«Я — единственный, кто не забыл эту войну,— сказал он мне, хотя я не мог его услышать.— Другие, как я понимаю, забыли, но только не я. Я принес тебе это, чтобы ты избавил других от забот».

И он ушел.

Рези сунула веревочную петлю в мусорный ящик, где на следующее утро ее нашел мусорщик по имени Ласло Сомбати. Сомбати и в самом деле повесился на ней, но это уже другая история.

А теперь о моей истории.

Я пришел в себя на ломаной тахте в захламленной, жарко натопленной комнате, увешанной заплесневелыми фашистскими знаменами. Там был картонный камин, грошовый символ счастливого Рождества. В нем были картонные березовые поленья, красный электрический свет и целлофановые языки вечного огня.

Над камином висела цветная литография Адольфа Гитлера. Она была обрамлена черным шелком.

Я был раздет до своего оливкового нижнего белья и укрыт покрывалом под леопардовую шкуру. Я застонал, сел, и огненные ракеты впились мне в голову. Я посмотрел на леопардовую шкуру и что-то промычал.

— Что ты сказал, дорогой? — спросила Рези. Она сидела совсем рядом с тахтой, но я не заметил ее, пока она не заговорила.

— Не говори мне,— сказал я, заворачиваясь плотнее в леопардовую шкуру,— что я снова с готтентотами.

Глава двадцать седьмая

СПАСИТЕЛИ — ХРАНИТЕЛИ...

Мои консультанты здесь, в тюрьме,— живые энергичные молодые люди — снабдили меня фотокопией статьи из нью-йоркской *Таймс*, рассказывающей о смерти Ласло Сомбати, который повесился на веревке, предназначенной мне.

Значит, мне это не приснилось.

Сомбати отмочил эту шутку на следующую ночь после того, как меня избили.

Согласно *Таймс*, он приехал в Америку из Венгрии, где в рядах Борцов за Свободу боролся против русских. *Таймс* сообщала, что он был братоубийцей, то есть убил своего брата Миклоша, помощника министра образования Венгрии.

Перед тем как уснуть навсегда, Сомбати написал записку и приколол ее к штанине. В записке не было ни слова о том, что он убил своего брата.

Он жаловался, что был уважаемым ветеринаром в Венгрии, а в Америке ему не разрешили практиковать. Он с горечью высказывался о свободе в Америке. Он считает, что она иллюзорна.

В финальном фанданго паранойи и мазохизма Сомбати закончил записку намеком, будто он знает, как лечить рак. Американские врачи, писал он, смеялись над ним, когда он пытался им об этом рассказать.

Ну, хватит о Сомбати.

Что касается комнаты, где я очнулся после того, как меня избили: это был подвал, оборудованный для Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции покойным Августом Крапптауэром, подвал доктора Лайонеля Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б. Где-то выше работала печатная машина, выпускавшая листовки *Белого Христианского Минитмена.*

Из какой-то другой комнаты в подвале, которая частично поглощала звук, доносился идиотски-монотонный треск учебной стрельбы.

После моего избиения первую помощь оказал мне молодой доктор Абрахам Эпштейн, который констатировал смерть Крапптауэра. Из квартиры Эпштейнов Рези позвонила доктору Джонсу и попросила совета и помощи.

— Почему Джонсу? — спросил я.

— Он единственный человек в этой стране, которому я могу доверять,— сказала она.— Он единственный человек, который, я уверена, на твоей стороне.

— Чего стоит жизнь без друзей? — сказал я.

Я ничего не мог вспомнить, но Рези рассказала мне, что я пришел в себя в квартире Эпштейнов. Джонс посадил нас с Рези в свой лимузин, привез в больницу, где мне сделали рентген. Три ребра были сломаны, и меня забинтовали. Потом меня перевезли в подвал Джонса и уложили в постель.

— Почему сюда? — спросил я.

— Ты здесь в большей безопасности.

— От кого?

— От евреев.

Появился Черный Фюрер Гарлема, шофер Джонса, с подносом, на котором были яичница, тосты и горячий кофе. Он поставил поднос на столик возле меня.

— Болит голова? — спросил он.

— Да.

— Примите аспирин.

— Спасибо за совет.

— Мало что на этом свете действует, а вот аспирин действует,— сказал он.

— Республика — республика Израиль — хочет заполучить меня,— сказал я Рези с оттенком неуверенности,— чтобы... чтобы судить за... что там говорится в газете?

— Доктор Джонс говорит, что американское правительство тебя не выдаст,— сказала Рези,— но евреи могут послать людей и выкрасть тебя, как они сделали с Адольфом Эйхманом.

— Такой ничтожный арестант,— пробормотал я.

— Дело не в том, что какие-то евреи будут просто гоняться за вами туда-сюда,— сказал Черный Фюрер.

— Что?

— Я хочу сказать, что у них теперь есть своя страна. Я имею в виду, что у них есть еврейские военные корабли, еврейские самолеты, еврейские танки. У них есть все еврейское, чтобы захватить вас, кроме еврейской водородной бомбы.

— Боже, кто это стреляет? — спросил я.— Нельзя ли прекратить, пока моей голове не станет легче?

— Это твой друг,— сказала Рези.

— Доктор Джонс?

— Джордж Крафт.

— Крафт? Что он здесь делает?

— Он отправляется с нами.

— Куда?

— Все решено,— сказала Рези.— Все считают, дорогой, что лучше всего для нас убраться из этой страны. Доктор Джонс все устроил.

— Что устроил?

— У него есть друг с самолетом. Как только тебе станет лучше, дорогой, мы сядем в самолет, улетим в какое-нибудь прекрасное место, где тебя не знают, и начнем новую жизнь.

Глава двадцать восьмая

МИШЕНЬ...

И я отправился повидать Крафта здесь, в подвале Джонса. Я нашел его в начале длинного коридора, дальний конец которого был забит мешками с песком. К мешкам была прикреплена мишень в виде человека.

Мишень была карикатурой на курящего сигару еврея. Еврей стоял на разломанных крестах и маленьких обнаженных женщинах. В одной руке он держал мешок с деньгами, на котором была наклейка «Международное банкирство». В другой руке был русский флаг. Из карманов его костюма торчали маленькие, размером с обнаженных женщин под его ногами, отцы, матери и дети, которые молили о пощаде.

Все эти детали были не очень четко видны из дальнего конца тира, но мне не надо было подходить ближе, чтобы понять, что там изображено.

Я нарисовал эту мишень примерно в 1941 году.

Миллионы копий этой мишени были распространены по всей Германии. Она так восхитила моих начальников, что мне выдали премию в виде десяти фунтов ветчины, тридцати галлонов бензина и недельного оплаченного пребывания для меня и жены в Schreibenhaus[1] в Ризенгебирге.

Я должен признать, что эта мишень была результатом моего особого рвения, так как вообще я не работал на нацистов в качестве художника-графика. Я предлагаю это как

[1] Schreibenhaus *(нем.)* — дом для писателей.

улику против себя. Я думаю, что мое авторство — новость даже для Института документации военных преступников в Хайфе. Я, однако, подчеркиваю, что нарисовал этого монстра, чтобы еще больше упрочить свою репутацию нациста. Я так утрировал его, что он был бы смехотворен всюду, кроме Германии или подвала Джонса, и я нарисовал его гораздо более по-дилетантски, чем мог бы.

И тем не менее он имел успех.

Я был поражен его успехом. Гитлерюгенд и новобранцы СС не стреляли больше ни в какие другие мишени, и я даже получил письмо с благодарностью за них от Генриха Гиммлера.

«Это увеличило меткость моей стрельбы на сто процентов,— написал он.— Какой чистый ариец, глядя на эту великолепную мишень, не будет стараться убить?»

Наблюдая за пальбой Крафта по этой мишени, я впервые понял причину ее популярности. Дилетантство делало ее похожей на рисунки на стенах общественной уборной; вызывало в памяти вонь, нездоровый полумрак, звук спускаемой воды и отвратительное уединение стойла в общественной уборной — в точности отражало состояние человеческой души на войне.

Я даже не понимал тогда, как хорошо я это нарисовал.

Крафт, не обращая внимания на меня в моей леопардовой шкуре, выстрелил снова. Он стрелял из люгера, огромного, как осадная гаубица. Люгер был рассверлен до двадцать второго калибра, однако стрелял с легким свистом и без отдачи. Крафт выстрелил опять, и из мешка в двух футах левее головы мишени посыпался песок.

— Попытайся открыть глаза, когда будешь стрелять в следующий раз,— сказал я.

— А,— сказал он, опуская пистолет,— ты уже встал.

— Да.

— Как ужасно получилось.

— Да уж.

— Правда, нет худа без добра. Может быть, мы все смоемся отсюда и будем благодарить Бога за то, что произошло.

— Почему?

— Это выбило нас из колеи.

— Это уж точно.

— Когда ты со своей девушкой выберешься из этой страны, найдешь новое окружение, новую личину, ты снова начнешь писать, и ты будешь писать в десять раз лучше, чем раньше. Подумай о зрелости, которую ты внесешь в свои творения!

— У меня сейчас очень болит голова.

— Она скоро перестанет болеть. Она не разбита, она наполнена душераздирающе ясным пониманием самого себя и мира.

— Ммм... мм,— промычал я.

— Как художник и я от перемены стану лучше. Я никогда раньше не видел тропиков — этот резкий сгусток цвета, этот зримый звенящий зной.

— При чем тут тропики? — спросил я.

— Я думал, мы поедем именно туда. И Рези тоже хочет туда.

— Ты тоже поедешь?

— Ты возражаешь?

— Вы тут развили бурную деятельность, пока я спал.

— Разве это плохо? Разве мы запланировали что-то, что тебе не подходит?

— Джордж,— сказал я.— Почему ты хочешь связать свою судьбу с нами? Зачем ты спустился в этот подвал с навозными жуками? У тебя нет врагов. Свяжись ты с нами, Джордж, и ты приобретешь всех моих врагов.

Он положил руку мне на плечо, заглянул прямо в глаза.

— Говард,— сказал он,— с тех пор, как умерла моя жена, у меня не было привязанности ни к чему в мире. Я тоже был бессмысленным осколком государства двоих, а потом я открыл нечто, чего раньше не знал,— что такое истинный друг. Я с радостью связываю свою судьбу с тобой, дружище. Ничто другое меня не интересует. Ничто ни в малейшей степени меня не привлекает. С твоего позволения, для меня и моих картин нет ничего лучше, чем последовать за тобой, куда поведет тебя Судьба.

— Да, это действительно дружба,— сказал я.

— Надеюсь,— отозвался он.

Глава двадцать девятая

АДОЛЬФ ЭЙХМАН И Я...

Два дня я провел в этом подозрительном подвале беспомощным созерцателем.

Когда меня избивали, одежда моя порвалась. И из хозяйства Джонса мне выделили другую одежду. Мне дали черные лоснящиеся брюки отца Кили, серебристого оттенка

рубашку доктора Джонса, рубашку, которая когда-то была частью формы покойной организации американских фашистов, называвшейся довольно откровенно, «Серебряные рубашки». А Черный Фюрер дал мне короткое оранжевое спортивное пальтишко, которое сделало меня похожим на обезьянку шарманщика.

И Рези Нот и Джордж Крафт трогательно составляли мне компанию — не только ухаживали за мной, но и мечтали о моем будущем и все планировали за меня. Главная мечта была — как можно скорее убраться из Америки. Разговоры, в которых я почти не участвовал, пестрели названиями разных мест в теплых странах, предположительно райских: Акапулько... Минорка... Родос... даже долины Кашмира, Занзибар и Андаманские острова.

Новости из внешнего мира не делали мое дальнейшее пребывание в Америке привлекательным или хотя бы возможным. Отец Кили несколько раз в день выходил за газетами, а для дополнительной информации у нас была болтовня радио.

Республика Израиль продолжала требовать моей выдачи, подстегиваемая слухами, что я не являюсь гражданином Америки и фактически человек без гражданства. Развернутая Израилем кампания претендовала и на воспитательное значение — показать, что пропагандист такого калибра, как я, такой же убийца, как Гейдрих, Эйхман, Гиммлер или любой из подобных мерзавцев.

Возможно. Я-то надеялся, что как обозреватель я просто смешон, но в этом жестоком мире, где так много людей лишены чувства юмора, мрачны, не способны мыслить и так жаждут слепо верить и ненавидеть, нелегко быть смешным. Так много людей хотели верить мне.

Сколько бы ни говорилось о сладости слепой веры, я считаю, что она ужасна и отвратительна.

Западная Германия вежливо запросила Соединенные Штаты, не являюсь ли я их гражданином. Сами немцы не могли установить моего гражданства, так как все документы, касающиеся меня, сгорели во время войны. Если я — гражданин Штатов, то они так же, как Израиль, хотели бы заполучить меня для суда.

Если я — гражданин Германии, заявляли они, то они стыдятся такого немца.

Советская Россия в грубых выражениях, прозвучавших подобно шарикам от подшипника, брошенным на мокрый гравий, заявила, что нет никакой необходимости в процессе. Такого фашиста надо раздавить, как таракана.

Но что действительно смердило внезапной смертью, так это гнев моих соотечественников. В наиболее злобных газетах без комментариев публиковались письма, в которых предлагалось в железной клетке провезти меня через всю страну; письма героев, добровольно желавших принять участие в моем расстреле, как будто владение стрелковым оружием — искусство, доступное лишь избранным; письма от людей, которые сами не собирались ничего делать, но верили в американскую цивилизацию и потому считали, что есть более молодые, более решительные граждане, которые знают, как надо действовать.

И эти последние были правы. Сомневаюсь, что на свете когда-либо существовало общество, в котором не было бы сильных молодых людей, жаждущих экспериментировать с убийством, если это не влечет за собой жестокого наказания.

Судя по газетам и радио, справедливо разгневанные граждане сделали свое дело — ворвались в мою крысиную мансарду, разбивая окна, круша и расшвыривая мои вещи. Ненавистная мансарда была теперь под круглосуточным надзором полиции.

В редакционной статье нью-йоркской *Пост* подчеркивалось, что полиция едва ли сможет защитить меня, так как мои враги столь многочисленны и их озлобленность столь естественна. Что необходимо, безнадежно говорилось в *Пост*, так это батальон морской пехоты, который будет защищать меня до конца моих дней.

Нью-йоркская *Дейли ньюс* считала моим тягчайшим военным преступлением, что я не покончил с собой как джентльмен. Выходило, что Гитлер был джентльменом.

Ньюс напечатала письмо Бернарда О'Хара, человека, который взял меня в плен в Германии и недавно написал мне письмо, размноженное под копирку.

«Я хочу сам расправиться с ним,— писал О'Хара.— Я заслужил это. Это я схватил его в Германии. Если бы я знал, что он удерет, я бы размозжил ему голову там, на месте. Если кто-нибудь встретит Кемпбэлла раньше, чем я, пусть передаст ему, что Берни О'Хара летит к нему беспосадочным рейсом из Бостона».

Нью-йоркская *Таймс* писала, что терпеть и даже защищать такое дерьмо, как я,— парадоксальная неизбежность истинно свободного общества.

Правительство Соединенных Штатов, сказала мне Рези, не намерено выдать меня Израилю. Это не предусмотрено законом.

Правительство Соединенных Штатов, однако, обещало произвести полное и открытое расследование моего запутанного случая, чтобы точно выяснить мой гражданский статус и выяснить, почему я даже никогда не привлекался к суду.

Правительство выразило вызвавшее у меня тошноту удивление по поводу того, что я вообще нахожусь в стране.

Нью-йоркская *Таймс* опубликовала мою фотографию в молодые годы, официальную фотографию тех лет, когда я был нацистом и кумиром международного радиовещания. Я могу только догадываться, когда был сделан этот снимок, думаю, в 1941-м.

Арндт Клопфер, сфотографировавший меня, приложил все силы, чтобы сделать меня похожим на напомаженного Иисуса с картин Максфилда Перриша [1]. Он даже снабдил меня неким подобием нимба, умело расположив позади меня размытое световое пятно. Такой нимб был не только у меня. Таким нимбом снабжался каждый клиент Клопфера, включая Адольфа Эйхмана.

Про Эйхмана я это знаю точно, даже без подтверждения Института в Хайфе, так как он фотографировался в ателье Клопфера как раз передо мной. Это был единственный случай, когда я встретился с Эйхманом в Германии. Второй раз я его встретил здесь, в Израиле, всего две недели назад, в тот короткий период, когда я сидел в тюрьме в Тель-Авиве.

Об этой встрече старых друзей: я был уже двадцать четыре часа в заключении в Тель-Авиве. По дороге в мою камеру охранники остановили меня перед камерой Эйхмана, чтобы послушать, о чем мы будем разговаривать, если заговорим.

Мы не узнали друг друга, и охранники нас представили.

Эйхман писал историю своей жизни, как я сейчас пишу историю своей. Этот старый ощипанный стервятник с лицом без подбородка, который оправдывал убийство шести миллионов жертв, улыбнулся мне улыбкой святого. Он проявлял искренний интерес к своей работе, ко мне, к охранникам, ко всем.

Он улыбнулся мне и сказал:

— Я ни на кого не сержусь.

— Так и должно быть,— сказал я.

— Я дам вам совет.

— Буду рад.

— Расслабьтесь,— сказал он, сияя, сияя, сияя.— Просто расслабьтесь.

— Именно так я и попал сюда,— сказал я.

— Жизнь разделена на фазы,— поучал он,— они резко отличаются друг от друга, и вы должны понимать, что требуется от вас в каждой фазе. В этом секрет удавшейся жизни.

— Как мило, что вы хотите поделиться этим секретом со мной,— сказал я.

— Я теперь пишу,— сказал он.— Никогда не думал, что смогу стать писателем.

— Позвольте задать вам нескромный вопрос? — спросил я.

— Конечно,— сказал он доброжелательно.— Я сейчас в соответствующей фазе. Спрашивайте, что хотите, сейчас как раз время раздумывать и отвечать.

— Чувствуете ли вы вину за убийство шести миллионов евреев?

— Нисколько,— ответил создатель Освенцима, изобретатель конвейера в крематории, крупнейший в мире потребитель газа под названием Циклон-Б.

Недостаточно хорошо зная этого человека, я попытался придать разговору несколько гротескный тон, как мне казалось, гротескный.

— Вы ведь были просто солдатом,— сказал я,— не правда ли? И получали приказы свыше, как все солдаты в мире.

Эйхман повернулся к охраннику и выстрелил в него пулеметной очередью негодующего идиш. Если бы он говорил медленнее, я бы его понял, но он говорил слишком быстро.

— Что он сказал? — спросил я у охранника.

— Он спрашивает, не показывали ли мы вам его официальное заявление,— сказал охранник.— Он просил нас не посвящать никого в его содержание, пока он сам этого не сделает.

— Я его не видел,— сказал я Эйхману.

— Откуда же вы знаете, на чем построена моя защита? — спросил он.

Этот человек действительно верил в то, что сам изобрел этот банальный способ защиты, хотя целый народ, более чем девяносто миллионов, уже защищался так же. Так примитивно понимал он божественный дар изобретательства.

Чем больше я думаю об Эйхмане и о себе, тем яснее понимаю, что он скорее пациент психушки, а я как раз из тех, для которых создано справедливое возмездие.

Я, чтобы помочь суду, который будет судить Эйхмана, хочу высказать мнение, что он не способен отличить добро от зла и что не только добро и зло, но и правду и ложь, надежду и отчаяние, красоту и уродство, доброту и жестокость, комедию и трагедию его сознание воспринимает не различая, как одинаковые звуки рожка.

Мой случай другой. Я всегда знаю, когда говорю ложь, я способен предсказать жестокие последствия веры других в мою ложь, знаю, что жестокость — это зло. Я не могу лгать, не замечая этого, как не могу не заметить, когда выходит почечный камень.

Если бы нам после этой жизни было суждено прожить еще одну, я бы хотел в ней быть человеком, о котором можно сказать: «Простите его, он не ведает, что творит».

Сейчас обо мне этого сказать нельзя.

---

[1] Перриш, Максфилд — американский художник, декоратор. Писал фрески, характерен тонкой манерой письма, тщательной деталировкой.

Единственное преимущество, которое дает мне умение различать добро и зло, насколько я понимаю, это иногда посмеяться там, где эйхманы не видят ничего смешного.

— Вы еще пишете? — спросил меня Эйхман там, в Тель-Авиве.

— Последний проект,— сказал я,— сценарий торжественного представления для архивной полки.

— Вы ведь профессиональный писатель?

— Можно сказать, да.

— Скажите, вы отводите для работы какое-то определенное время дня, независимо от настроения, или ждете вдохновения, не важно, днем или ночью?

— По расписанию,— ответил я, вспоминая далекое прошлое.

Я почувствовал, что он проникся ко мне уважением.

— Да, да,— сказал он, кивая,— расписание. Я тоже пришел к этому. Иногда я просто сижу, уставившись на чистый лист бумаги, сижу все то время, что отведено для работы. А алкоголь помогает?

— Я думаю, это только кажется, а если и помогает, то примерно на полчаса,— сказал я. Это тоже было воспоминание молодости.

Тут Эйхман пошутил.

— Послушайте,— сказал он,— насчет этих шести миллионов.

— Да?

— Я могу уступить вам несколько для вашей книги,— сказал он.— Я думаю, мне так много не нужно.

Я предлагаю эту шутку истории, полагая, что поблизости не было магнитофона. Это одна из незабвенных острот Чингисхана-бюрократа.

Возможно, Эйхман хотел напомнить мне, что я тоже убил множество людей упражнениями своих красноречивых уст. Но я сомневаюсь, что он был настолько тонким человеком, хотя и был человеком неоднозначным. Возвращаясь к шести миллионам убитых им — я думаю, он не уступил бы мне ни одного. Если бы он начал раздавать все свои жертвы, он перестал бы быть Эйхманом в его эйхмановском понимании Эйхмана.

Охранники увели меня, и еще одна последняя встреча с этим Человеком века была в виде записки, загадочно проникшей из его тюрьмы в Тель-Авиве ко мне в Иерусалим. Записка была подброшена мне неизвестным в прогулочном дворе. Я поднял ее, прочел, и вот что там было: «Как вы думаете, необходим ли литературный агент?» Записка была подписана Эйхманом.

Вот мой ответ: «Для клуба книголюбов и кинопродюсеров в Соединенных Штатах — абсолютно необходим».

Глава тридцатая

ДОН КИХОТ...

Мы должны были лететь в Мехико-сити — Крафт, Рези и я. Таков был план. Доктор Джонс должен был не только обеспечить наш перелет, но и наш прием там.

Оттуда мы должны были выехать на автомобиле, разыскать какую-нибудь затерянную деревушку, где и оставаться до конца своих дней.

Этот план был прекрасен, как давнишняя мечта. И определенно казалось, что я снова смогу писать.

Я робко говорил это Рези.

Она плакала от радости. Действительно от радости? Кто знает? Могу только заверить, что слезы были мокрые и соленые.

— Я имею хоть какое-нибудь отношение к этому прекрасному божественному чуду? — сказала она.

— Прямое,— крепко обнимая ее, сказал я.

— Нет-нет, очень небольшое, но, слава богу, имею. Это великое чудо — талант, с которым ты родился.

— Великое чудо — это твоя способность воскрешать из мертвых,— сказал я.

— Это делает любовь. Она воскресила и меня. Неужели ты думаешь, что я раньше была жива?

— Не об этом ли я должен писать? В нашей деревушке там, в Мексике, на Тихом океане, не об этом ли я должен писать прежде всего?

— Да, да, конечно, дорогой, о, дорогой! Я буду так заботиться о тебе. А у тебя, у тебя будет ли время для меня?

— Время после полудня, вечера и ночи твои. Все это время я смогу отдать тебе.

— Ты уже подумал об имени?

— Об имени?

— Да, о новом имени — имени нового писателя, чьи прекрасные произведения таинственно появятся из Мексики. Я буду миссис...

— Señora,— сказал я.

— Señora кто? Señor и Señora кто? — сказала она.

— Окрести нас,— сказал я.

— Это слишком важно, чтобы сразу принять решение,— сказала она.

Тут вошел Крафт.

Рези попросила его предложить псевдоним для меня.

— Как насчет Дон Кихота? — сказал он.— Тогда ты была бы Дульцинеей Тобосской, а я бы подписывал свои картины Санчо Панса.

Вошел доктор Джонс с отцом Кили.

— Самолет будет готов завтра утром. Будете ли вы себя достаточно хорошо чувствовать для отъезда? — спросил он.

— Я уже сейчас хорошо себя чувствую.

— В Мехико-сити вас встретит Арндт Клопфер,— сказал Джонс.— Вы запомните?

— Фотограф? — спросил я.

— Вы его знаете?

— Он делал мою официальную фотографию в Берлине,— сказал я.

— Сейчас он лучший пивовар в Мексике,— сказал Джонс.

— Слава богу,— сказал я,— последнее, что я о нем слышал, что в его ателье попала пятисотфунтовая бомба.

— Хорошего человека просто так не уложишь,— сказал Джонс.— А теперь у нас с отцом Кили к вам особая просьба.

— Да?

— Сегодня вечером состоится еженедельное собрание Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции. Мы с отцом Кили хотели устроить нечто вроде поминальной службы по Августу Крапптауэру.

— Понятно.

— Мы с отцом Кили думаем, что нам будет не под силу произнести панегирик, это было бы ужасным эмоциональным испытанием для каждого из нас,— сказал Джонс.— Мы хотим, чтобы вы, знаменитый оратор, можно сказать, человек с золотым горлом, оказали честь произнести несколько слов.

Я не мог отказаться.

— Благодарю вас, джентльмены. Это должен быть панегирик?

— Отец Кили придумал главную тему, если вам это поможет.

— Это мне очень поможет, я бы охотно использовал ее.

Отец Кили прочистил глотку.

— Я думаю, темой может быть «Дело его живет»,— сказал этот протухший старый служитель культа.

Глава тридцать первая

ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ...

В котельной в подвале доктора Джонса расселась рядами на складных стульях Железная Гвардия Белых Сыновей Американской Конституции. Гвардейцев было двадцать, в возрасте от шестнадцати до двадцати. Все блондины. Все выше шести футов ростом.

Одеты они были аккуратно, в костюмах, белых рубашках и при галстуках. На принадлежность к Гвардии указывала только маленькая золотая ленточка в петлице правого лацкана.

Я бы не заметил этой странной детали — петлицы на правом лацкане, ведь на нем обычно нет петлицы, если бы доктор Джонс не указал мне на нее.

— Вот по ней-то они и отличают друг друга, даже когда не носят ленточку,— сказал он.— Они могут видеть, как растут их ряды, тогда как другие этого не замечают.

— И каждый должен нести пиджак к портному и просить сделать петлицу на правом лацкане? — спросил я.

— Ее делают их матери,— сказал отец Кили.

Кили, Джонс, Рези и я сидели на возвышении лицом к гвардейцам, спиной к топке. Рези была на возвышении, так как согласилась сказать парням несколько слов о своем опыте общения с коммунизмом за железным занавесом.

— Большинство портных — евреи,— сказал доктор Джонс.— Мы не хотим пачкать руки.

— И вообще хорошо, что в этом участвуют матери,— сказал отец Кили.

Шофер Джонса, Черный Фюрер Гарлема, с большим полотняным транспарантом поднялся вместе с нами на возвышение и привязал транспарант к трубам парового отопления. Вот что на нем было:

«Прилежно учитесь. Будьте в классе во всем первыми. Держите тело в чистоте и в силе. Держите свое мнение при себе».

— Все эти подростки местные? — спросил я Джонса.

— Нет, что вы,— сказал Джонс,— только восемь вообще из Нью-Йорка. Девять из Нью-Джерси, двое из Пиксхилла — двойняшки, а один даже приезжает из Филадельфии.
— И он каждую неделю приезжает из Филадельфии? — спросил я.
— Где еще он мог получить все то, что давал им Август Крапптауэр?
— Как вы их завербовали?
— Через мою газету,— сказал Джонс.— Вернее, они сами завербовались. Обеспокоенные честные родители все время писали в *Христианский Белый Минитмен,* спрашивая меня, нет ли какого-нибудь молодежного объединения, желающего сохранить чистоту американской крови. Одно из самых душераздирающих писем, которое я когда-либо видел, было от женщины из Бернардсвилля, Нью-Джерси. Она позволила своему сыну вступить в организацию Бойскауты Америки, не понимая, что истинное название БСА должно было бы быть Бестии и Семиты Америки. Там парень за успехи получил звание бойскаута первой степени, потом пошел в армию, попал в Японию и вернулся домой с женой-японкой.
— Когда Август Крапптауэр читал это письмо, он плакал,— сказал отец Кили.— Вот почему он, несмотря на переутомление, стал снова работать с молодежью.
Отец Кили призвал собравшихся к порядку и предложил помолиться.
Это была обычная молитва, призывавшая к мужеству перед лицом враждебных сил.
Одна деталь была, однако, необычна, деталь, которой я никогда не встречал раньше, даже в Германии. Черный Фюрер стоял в глубине комнаты у литавр. Литавры были приглушены — покрыты, как оказалось, искусственной леопардовой шкурой, которую я уже использовал как халат. В конце каждого изречения Черный Фюрер извлекал из литавр приглушенный звук.
Рези рассказывала об ужасах жизни за железным занавесом скомканно, скучно и на таком низком для воспитания уровне, что Джонс даже пытался ей подсказывать.
— Правда ведь, что большинство убежденных коммунистов — это евреи или выходцы с Востока? — спросил он ее.
— Что? — переспросила она.
— Конечно,— сказал Джонс.— Это и так ясно,— и довольно резко прервал ее.
А где был Джорж Крафт? Он сидел среди зрителей в самом последнем ряду, недалеко от прикрытых литавр.
Затем Джонс представил меня, представил как человека, не нуждающегося в рекомендации. Но он просил меня подождать, потому что у него есть для меня сюрприз.
Сюрприз у него действительно был.
Пока Джонс говорил, Черный Фюрер оставил свои литавры, подошел к реостату возле выключателя и стал постепенно уменьшать свет.
В сгущающейся темноте Джонс говорил об интеллектуальном и моральном климате Америки во время второй мировой войны. Он говорил о том, как патриотичных и мыслящих белых преследовали за их идеалы и как почти все американские патриоты гнили в федеральных тюрьмах.
— Американец нигде не мог найти правду,— сказал он.
Теперь комната погрузилась в полную темноту.
— Почти нигде,— сказал Джонс в темноте.— Найти ее мог только счастливчик, имевший коротковолновый приемник. Вот где был единственный оставшийся источник правды. Единственный.
А затем в полной темноте — шум и треск приемника, обрывки немецкой, французской речи, кусок Первой симфонии Брамса... и затем громко и отчетливо:

> Говорит Говард У. Кемпбэлл-младший, один из немногих свободных американцев. Я веду передачу из свободного Берлина. Я приветствую моих соотечественников, а именно: чистокровных белых американцев-неевреев сто шестой дивизии, занимающих сейчас позиции перед Сен-Витом.
>
> Родителям парней из этой необстрелянной дивизии могу сообщить, что в настоящее время в районе спокойно. 442-й и 444-й полки — на передовой, 423-й — в резерве.
>
> В последнем номере *Ридерс Дайджест* помещена прекрасная статья под названием «Неверующих в окопах нет». Мне бы хотелось немного расширить эту тему и сказать, что хотя война инспирирована евреями и война на руку только евреям, однако в окопах евреев нет. Рядовые 106-й дивизии могут это подтвердить. Евреи так заняты учетом вещевого довольствия в интендантской службе, или денег в финансовой службе, или спекуляцией сигаретами и нейлоновыми чулками в Париже, что не приближаются к фронту ближе, чем на сто миль.
>
> Вы там, дома, вы, родные и близкие парней на фронте,— вспомните всех евреев, которых вы знаете. Я хочу, чтобы вы хорошенько о них подумали.
>
> И теперь скажите: делает их война беднее или богаче? Питаются они хуже или лучше, чем вы? Меньше у них бензина, чем у вас, или больше?
>
> Я знаю ответы на эти вопросы, и вы тоже узнаете, если откроете глаза пошире и подумаете покрепче.
>
> А теперь я хочу спросить вас: знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона — некогда столицы свободного народа,— знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона, которая начинается словами: «По поручению военного министра с глубоким прискорбием сообщаю Вам, что ваш сын...»

И так далее.
Пятнадцать минут Говарда У. Кемпбэлла-младшего, свободного американца, здесь, в темноте подвала. Я не имел в виду скрыть свой позор за тривиальным «и так далее».
Записи всех без исключения передач Говарда У. Кемпбэлла-младшего имеются в Институте документации военных преступников в Хайфе. Если кто-то хочет прослушать эти передачи, выбрать из них самое мерзкое, что я говорил,— не возражаю, пусть это будет добавлено к моим запискам как приложение.
Я едва ли могу отрицать, что говорил это. Могу лишь подчеркнуть, что сам я в это не верил, я понимал, какие невежественные, разрушительные, непристойные, абсурдные вещи я говорю.
Все, что происходило в этом темном подвале, ужасные вещи, которые я говорил когда-то, не шокировали меня. Было бы, наверное, полезнее сказать в свою защиту, что я весь покрылся холодным потом или другую подобную чепуху. Но я всегда хорошо знал, что делал. И спокойно уживался с тем, что делал. Как? Благодаря такой широко распространенной благодати современного человечества, как шизофрения.
Тут в темноте произошло нечто, заслуживающее упоминания. Кто-то с нарочитой неловкостью, чтобы я это заметил, сунул мне в карман записку.
Когда зажегся свет, я даже не мог предположить, кто это сделал.
Я произнес свой панегирик Августу Крапптауэру, сказав, между прочим, то, во что действительно верю: крапптауэровская правда, вероятно, будет жить вечно, во всяком случае, пока есть люди, которые прислушиваются скорее к зову сердца, чем к разуму.
Я был награжден аплодисментами публики и барабанным боем Черного Фюрера.
Я пошел в клозет прочитать записку.
Записка была написана печатными буквами на маленьком листке в линейку, вырванном из блокнота. Вот что в ней говорилось:
«Черный ход открыт. Немедленно выходите. Я жду вас в пустой лавке прямо напротив через улицу. Срочно. Ваша жизнь в опасности. Записку съешьте».
Записка была подписана Моей Звездно-Полосатой Крестной — полковником Фрэнком Виртаненом.

Глава тридцать вторая

РОЗЕНФЕЛЬД...

Мой адвокат здесь, в Иерусалиме, мистер Алвин Добровитц сказал мне, что я непременно выиграю дело, если хотя бы один свидетель подтвердит, что видел меня в обществе человека, которого я знаю как полковника Фрэнка Виртанена.
Я встречался с Виртаненом три раза: перед войной, сразу после войны и, наконец, в пустующей лавке напротив резиденции его преподобия доктора Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б. Только во время первой встречи, встречи на скамейке в парке, нас могли видеть вместе. Но те, кто видел нас, зафиксировали нас в своей памяти не больше, чем белок или птиц.
Во второй раз я встретил его в Висбадене, в Германии, в столовой того, что когда-то было школой подготовки офицеров инженерного корпуса вермахта. Одна из стен столовой была расписана — танк, движущийся по живописной извилистой сельской дороге под сияющим на ясном небе солнцем. Вся эта буколическая сцена, казалось, вот-вот рухнет.
В роще на переднем плане картины была изображена небольшая группа саперов, эдаких веселеньких Робин Гудов в стальных шлемах, которые забавлялись минированием этой дороги и установкой противотанкового орудия и пулемета.
Они были так счастливы.
Как я попал в Висбаден?
Меня увезли из Ордруфа, где я находился в лагере для военнопленных Третьей армии, 15 апреля, через три дня после того, как меня взял в плен лейтенант Бернард О'Хара.
Меня в джипе перевезли в Висбаден под охраной младшего лейтенанта, имени которого я не знаю. Мы с ним почти не разговаривали. Он мной не интересовался. Всю дорогу он был в глухой ярости по поводу чего-то, не имевшего ко мне отношения. Надули его, оклеветали, оскорбили? Неправильно поняли? Не знаю.
В любом случае он не мог бы стать свидетелем. Он выполнял наскучившие ему приказы. Он спросил дорогу к лагерю, а затем в столовую. Он высадил меня у двери столовой и приказал войти и подождать внутри. А сам уехал, оставив меня без охраны.

Я вошел в столовую, хотя мог вообще спокойно уйти.

В этой унылой конюшне в полном одиночестве на столе у расписанной стены сидела Моя Звездно-Полосатая Крестная.

Виртанен был в форме американского солдата — куртка на молнии, штаны цвета хаки, рубашка, расстегнутая у ворота, и походные ботинки. При нем не было оружия. И никаких знаков отличия.

Он был коротконог. Он сидел на столе, болтая ногами, которые не доставали до пола. Ему тогда, наверное, было лет пятьдесят пять, на семь лет больше, чем когда мы виделись в первый раз. Он облысел и потолстел.

У полковника Фрэнка Виртанена был вид нахального розовощекого младенца, какой тогда часто придавали пожилым мужчинам победа и американская походная форма.

Он улыбнулся, пожал дружески мне руку и сказал:

— Ну и что же вы думаете о такой войне, Кемпбэлл?

— Я бы предпочел вообще в ней не участвовать.

— Поздравляю,— сказал он.— Вы, во всяком случае, выкарабкались из нее живым. А многие, знаете, нет.

— Знаю. Например, моя жена.

— Очень жаль,— сказал он.— Я узнал, что она исчезла, одновременно с вами.

— От кого вы это узнали?

— От вас. Это содержалось в информации, которую вы передали той ночью.

Новость о том, что я передал закодированное сообщение об исчезновении Хельги, передал, даже не подозревая, что я передаю, почему-то ужасно меня расстроила. Это расстраивает меня до сих пор. Сам не знаю, почему.

Это, наверное, демонстрирует такое глубокое раздвоение моего «я», которое даже мне трудно представить.

В тот критический момент моей жизни, когда я должен был осознать, что Хельги уже нет, моей израненной душе следовало бы безраздельно скорбеть. Но нет. Одна часть моего «я» в закодированной форме сообщала миру об этой трагедии. А другая даже не осознавала, что об этом сообщает.

— Это что, была такая важная военная информация? Ради выхода ее за пределы Германии я должен был рисковать своей головой? — спросил я Виртанена.

— Конечно. Как только мы ее получили, мы сразу начали действовать.

— Действовать? Как действовать? — сказал я заинтригованно.

— Искать вам замену. Мы думали, вы тут же покончите с собой.

— Надо было бы.

— Я чертовски рад, что вы этого не сделали,— сказал он.

— А я чертовски сожалею,— сказал я.— Знаете, человек, который так долго был связан с театром, как я, должен точно знать, когда герою следует уйти со сцены, если он действительно герой.— Я хрустнул пальцами.— Так провалилась вся пьеса «Государство двоих», обо мне и Хельге. Я не включил в нее великолепную сцену самоубийства.

— Я не люблю самоубийств,— сказал Виртанен.

— Я люблю форму. Я люблю, когда в пьесе есть начало, середина и конец, и если возможно, и мораль тоже.

— Мне кажется, есть шанс, что она все-таки жива,— сказал Виртанен.

— Пустое. Неуместные слова,— сказал я.— Пьеса окончена.

— Вы что-то сказали о морали?

— Если бы я покончил с собой, как вы ожидали, до вас, возможно, дошла бы мораль.

— Надо подумать,— сказал он.

— Ну и думайте на здоровье.

— Я не привык ни к форме, ни к морали,— сказал он.— Если бы вы умерли, я бы сказал, наверное: «Черт возьми, что же нам делать?» Мораль? Огромная работа даже просто похоронить мертвых, не пытаясь извлечь мораль из каждой отдельной смерти. Мы даже не знаем имен и половины погибших. Я мог бы сказать, что вы были хорошим солдатом.

— Разве?

— Из всех агентов, моих, так сказать, чад, только вы один благополучно прошли через войну, оправдали надежды и остались живы. Прошлой ночью я сделал ужасный подсчет, Кемпбэлл, вычислил, что из сорока двух вы оказались единственным, кто не только был на высоте, но и остался жив.

— А что с теми, от кого я получал информацию?

— Погибли, все погибли,— сказал он.— Кстати, всё это были женщины. Их было семеро, и каждая, пока ее не схватили, жила только для того, чтобы передавать вам информацию. Подумайте Кемпбэлл, семь женщин вы делали счастливыми снова, снова и снова, и все они в конце концов умерли за это счастье. И ни одна не предала вас, даже после того, как ее схватили. И об этом подумайте.

— У меня и так хватает, над чем подумать. Я не собираюсь преуменьшать вашей роли учителя и философа, но и до этого нашего счастливого воссоединения мне было о чем подумать. Ну и что же со мной будет дальше?

— Вас уже нет. Третья армия избавилась от вас, и никаких документов о том, что вы прибыли сюда, не будет.— Он развел руками.— Куда вы хотите отправиться отсюда и кем вы хотите стать?

— Не думаю, что меня где-нибудь ожидает торжественная встреча.

— Да, едва ли.

— Известно ли что-нибудь о моих родителях?

— К сожалению, должен сказать, что они умерли четыре месяца назад.

— Оба?

— Сначала отец, а через двадцать четыре часа и мать, оба от сердца.

Я всплакнул, слегка покачал головой.

— Никто не рассказал им, чем я на самом деле занимаюсь?

— Наша радиостанция в центре Берлина стоила дороже, чем душевный покой двух стариков,— сказал он.

— Странно.

— Для вас это странно, а для меня нет.

— Сколько человек знали, что я делал?

— Хорошего или плохого?

— Хорошего.

— Трое,— сказал он.

— Всего?

— Это много, даже слишком много. Это я, генерал Донован и еще один человек.

— Всего три человека в мире знали, кто я на самом деле, а все остальные...— Я пожал плечами.

— И остальные тоже знали, кто вы на самом деле,— сказал он резко.

— Но ведь это был не я,— сказал я, пораженный его резкостью.

— Кто бы это ни был, это был один из самых больших подонков, которых знала земля.

Я был поражен. Виртанен был искренне возмущен.

— И это говорите мне вы, вы же знали, на что меня толкаете. Как еще я мог уцелеть?

— Это ваша проблема. И очень немногие могли бы решить ее так успешно, как вы.

— Вы думаете, я был нацистом?

— Конечно, были. Как еще мог бы оценить вас достойный доверия историк? Позвольте задать вам вопрос?

— Давайте.

— Если бы Германия победила, завоевала весь мир...— Он замолчал, вскинув голову.— Вы ведь лучше меня должны знать, что я хочу спросить.

— Как бы я жил? Что бы я чувствовал? Как бы я поступал?

— Вот именно,— сказал он.— Вы, с вашим-то воображением, должны были думать об этом.

— Мое воображение уже не то, что было раньше. Первое, что я понял, став шпионом, это что воображение — слишком большая роскошь для меня.

— Не отвечаете на мой вопрос?

— Теперь самое время узнать, осталось ли что-нибудь от моего воображения,— сказал я.— Дайте мне одну-две минуты.

— Сколько угодно,— сказал он.

Я мысленно поставил себя в ситуацию, которую он обрисовал, и то, что осталось от моего воображения, выдало разъедающе циничный ответ.

— Есть все шансы, что я стал бы чем-то вроде нацистского Эдгара Геста [1], поставляющего ежедневный столбец оптимистической рифмованной чуши для газет всего мира. И когда наступил бы старческий маразм — закат жизни, как говорят, я бы даже, наверное, пришел к убеждению, что «все к лучшему», как писал в своих куплетах.— Я пожал плечами.— Убил бы я кого-нибудь? Вряд ли. Организовал бы вооруженный заговор? Это более вероятно; но бомбы никогда не казались мне хорошим способом решать дела, хотя они, я слышал, часто взрывались в мое время. Одно могу сказать точно: я больше никогда не написал бы ни единой пьесы. Я потерял этот дар.

Я мог бы сделать что-нибудь действительно жестокое ради правды, или справедливости, или чего-то там еще,— сказал я своей Звездно-Полосатой Крестной,— только в состоянии безумия. Это могло случиться. Представьте себе, что в один прекрасный день я мог бы в трансе выскочить на мирную улицу со смертоносным оружием в руках. Но пошло бы это убийство на пользу мира или нет — вопрос слепой удачи.

Достаточно ли честно ответил я на ваш вопрос? — спросил я его.

— Да, спасибо.

— Считайте меня нацистом,— устало сказал я,— считайте меня кем угодно. Повесьте

[1] Эдгар Гест (1881—1959) — очень популярный в 1910—1930 годы автор сентиментальных псевдонародных стишков, которые он ежедневно печатал в газете «Детройт фрее пресс».

меня, если вы думаете, что это поднимет общий уровень морали. Моя жизнь не такое уж большое счастье. У меня нет никаких послевоенных планов.

— Я только хотел, чтобы вы поняли, как мало мы можем для вас сделать. Я вижу, вы поняли.

— Что же вы можете?

— Достать фальшивые документы, отвлечь внимание, переправить в такое место, где вы сможете начать новую жизнь,— сказал он.— Какие-то деньги, немного, но все-таки.

— Деньги? И как оценивается моя служба в деньгах?

— Это вопрос традиции, сказал он. Традиция восходит по меньшей мере к временам Гражданской войны.

— Вот как?

— Жалованье рядового. Я считаю, что оно причитается вам со дня нашей встречи в Тиргартене до настоящего момента.

— Как щедро! — сказал я.

— Щедрость не имеет большого значения в этом деле. Настоящие агенты вовсе не заинтересованы в деньгах. Была бы разница, если бы вам заплатили как бригадному генералу?

Нет,— сказал я.

Или не заплатили бы совсем?

Никакой разницы,— ответил я.

— Дело здесь чаще всего не в деньгах и даже не в патриотизме,— сказал он.

— А в чем же?

— Каждый решает этот вопрос сам для себя,— сказал Виртанен.— Вообще говоря, шпионаж дает возможность каждому шпиону сходить с ума самым притягательным для него способом.

— Интересно,— заметил я сухо.

Он хлопнул в ладоши, чтобы рассеять неприятный осадок от разговора.

— А теперь — куда вас отправить?

— Таити? — сказал я.

— Если угодно, сказал он.— Я предлагаю Нью-Йорк. Там вы сможете затеряться без всяких затруднений, и там достаточно работы, если захотите.

— Хорошо, Нью-Йорк,— сказал я.

— Сфотографируйтесь для паспорта. Вы улетите отсюда в течение трех часов.

Мы пересекли пустынный плац, по которому крутились пыльные вихри. Мое воображение превратило их в призраки погибших на войне бывших курсантов этого училища, которые вернулись сюда и весело пляшут на плацу совсем не по-военному.

— Когда я говорил вам, что только три человека знали о ваших закодированных передачах...— начал Виртанен.

— И что?

— Вы даже не спросили меня, кто был третий?

— Это был кто-то, о ком я мог слышать?

— Да. Он, к сожалению, умер. Вы регулярно нападали на него в своих передачах.

— Да? — сказал я.

— Вы называли его Франклин Делано Розенфельд. Он каждую ночь с удовольствием слушал ваши передачи.

Глава тридцать третья

КОММУНИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ...

Третий и, по всему, последний раз я встретился с Моей Звездно-Полосатой Крестной в заброшенной лавке против дома Джонса, в котором прятались Рези, Джорж Крафт и я.

Я не торопился входить в это темное помещение, резонно ожидая, что могу там встретить все что угодно, от караульных Американского цветного легиона до взвода израильских парашютистов, готовых меня схватить.

У меня был пистолет, люгер Железных Гвардейцев, рассверленный до двадцать второго калибра. Я держал его не в кармане, а открыто, наготове, заряженным и взведенным. Я разведал фасад лавки, не обнаруживая себя. Фасад был не освещен. Тогда я добрался до черного хода, продвигаясь короткими перебежками между контейнерами с мусором.

Любой, кто попытался бы схватить меня, Говарда У. Кемпбэлла, был бы изрешечен, прошит, как швейной машинкой. И я должен сказать, что за все эти короткие перебежки между укрытиями я полюбил пехоту, чью бы то ни было пехоту.

Человек, думается мне, вообще пехотное животное.

В задней комнате лавки горел свет. Я посмотрел в окно и увидел полную безмятежности сцену. Полковник Фрэнк Виртанен, Моя Звездно-Полосатая Крестная, опять сидел на столе, опять ожидал меня.

Теперь это был совсем пожилой человек, совершенно лысый, как будда.

Я вошел.

— Я был уверен, что вы уже ушли в отставку,— сказал я.

— Я и ушел — восемь лет назад. Построил дом на озере в штате Мэн, топором, рубанком и этими двумя руками. Меня отозвали как специалиста.

— По какому вопросу?

— По вопросу о вас,— ответил он.

— Откуда этот внезапный интерес ко мне?

— Именно это и я должен выяснить.

— Нет ничего загадочного в том, что израильтяне охотятся за мной.

— Согласен,— сказал он.— Но весьма загадочно, почему это русские считают вас такой ценной добычей.

— Русские? — сказал я.— Какие русские?

— Эта девица — Рези Нот и этот старик, художник, именуемый Джордж Крафт,— сказал Виртанен.— Они оба — коммунистические агенты. Мы наблюдаем за человеком, называющим себя Крафтом, с 1941 года. Мы облегчили въезд в страну этой девице только для того, чтобы выяснить, что она собирается делать.

Глава тридцать четвертая

ALLES KAPUT...

Я с жалким видом сел на упаковочный ящик.

— Несколькими удачно выбранными словами вы уничтожили меня,— сказал я.— Насколько я был богаче еще минуту назад! Друг, мечты и любовница,— сказал я.— Alles kaput.

— Почему? Друг ведь у вас остался,— сказал Виртанен.

— Как это? — сказал я.

— Он ведь вроде вас. Он может быть в разных обличьях — и все искренне.— Он улыбнулся.— Это большой дар.

— Какие же у него были планы относительно меня?

— Он хотел вырвать вас из этой страны и отправить туда, откуда вас можно будет выкрасть с меньшими международными осложнениями. Для этого он выудил у Джонса, кто вы и что вы, и натравил на вас О'Хара и других патриотов. Все — чтобы вырвать вас отсюда.

— Мехико — вот мечта, которую он внушил мне.

— Знаю,— сказал Виртанен.— А в Мехико-сити вас уже ждет другой самолет. Если вы прилетите туда, вы проведете там не более двух минут. Вас сразу же перебросят в Москву на самом современном реактивном самолете, и все расходы уже оплачены.

— И доктор Джонс тоже в этом участвует? — спросил я.

— Нет, он искренне желает вам добра. Он один из немногих, кому вы можете доверять.

— Зачем я им в Москве? Зачем русским этот старый заплесневелый отброс второй мировой войны?

— Они хотят продемонстрировать всему миру, каких фашистских военных преступников укрывают Соединенные Штаты. Они также рассчитывают, что вы расскажете обо всех тайных соглашениях между Соединенными Штатами и нацистами в период становления фашистского режима.

— Как они собираются заставить меня сделать такие признания? Чем они могут меня запугать?

— Это просто,— сказал Виртанен,— даже очевидно.

— Пытками?

— Вероятно, нет. Просто смертью.

— Я не боюсь ее.

— Не вашей смертью.

— Чьей же?

— Девушки, которую вы любите и которая любит вас. Смертью — в случае, если вы откажетесь сотрудничать,— маленькой Рези Нот.

Глава тридцать пятая

НА СОРОК РУБЛЕЙ ДОРОЖЕ...

— Ее задачей было заставить меня полюбить ее? — спросил я.

— Да.

— Она прекрасно с этим справилась,— с грустью сказал я.— Правда, это было и несложно.

— Жаль, что я вынужден вам это сказать,— сказал Виртанен.

— Теперь проясняются некоторые загадочные вещи, хотя я и не стремился их прояснять. Знаете, что было в ее чемодане?

— Собрание ваших сочинений?

— Вы и это знаете? Подумать только, каких усилий стоило им раздобыть ей такой реквизит! Откуда они знали, где искать мои рукописи?

— Они были не в Берлине. Они были надежно упрятаны в Москве,— сказал Виртанен.

— Как они туда попали?

— Они были главным вещественным доказательством в деле Степана Бодовскова.

— Кого?

— Сержант Степан Бодовсков был переводчиком в одной из первых русских частей, вошедших в Берлин. Он нашел чемодан с вашими рукописями на чердаке театра. И взял его в качестве трофея.

— Ну и трофей!

— Это оказался на редкость ценный трофей! — сказал Виртанен.— Бодовсков хорошо знал немецкий. Он просмотрел содержимое чемодана и понял, что это — мгновенная карьера.

Он начал скромно, перевел несколько ваших стихотворений на русский и послал их в литературный журнал. Их опубликовали и похвалили. Затем он взялся за пьесу,— сказал Виртанен.

— За какую? — спросил я.

— «Кубок». Бодовсков перевел ее на русский и заработал на ней виллу на Черном море даже раньше, чем были убраны мешки с песком, защищавшие от бомбежек окна Кремля.

— Она была поставлена?

— Не только поставлена, она и сейчас идет по всей России как на любительской сцене, так и на профессиональной. «Кубок» — это «Тетка Чарлея» современного русского театра. Вы более живы, чем даже можете себе представить, Кемпбэлл.

— Дело мое живет,— пробормотал я.

— Что?

— Знаете, я даже не могу вспомнить сюжет этого «Кубка»,— сказал я.

И тут Виртанен рассказал мне его.

— Небесной чистоты девушка охраняет Священный Грааль. Она должна передать Грааль только такому же чистому, как и она сама, рыцарю. Появляется рыцарь, достойный Грааля.

Но тут рыцарь и девушка влюбляются друг в друга. Надо ли мне рассказывать вам, автору, чем все это кончилось?

— Я как будто впервые слышу это,— сказал я,— как будто это действительно написал Бодовсков.

— У рыцаря и девушки,— продолжал историю Виртанен,— появляются греховные мысли, несовместимые с обладанием Граалем. Героиня начинает упрашивать рыцаря убежать с Граалем пока не поздно. Рыцарь клянется уйти без Грааля, оставив героиню достойно охранять его. Так решает герой,— говорил Виртанен,— когда у них появляются греховные мысли. Но Священный Грааль исчезает. И, ошеломленные таким неопровержимым доказательством своего грехопадения, двое любящих действительно его совершают, решившись на ночь страстной любви.

На следующее утро, уверенные, что их ждет адский огонь, они клянутся так любить друг друга при жизни, чтобы даже адский огонь казался ничтожной ценой за это счастье. Тут перед ними появляется священный Грааль в знак того, что небеса не осуждают такую любовь. А потом Грааль снова навсегда исчезает, а герои живут долго и счастливо.

— Боже, неужели я действительно написал *это?*

— Сталин был без ума от нее,— сказал Виртанен.

— А другие пьесы?

— Все поставлены, и с успехом,— сказал Виртанен.

— Но вершиной Бодовскова был «Кубок»? — спросил я.

— Нет, вершиной была книга.

— Бодовсков написал книгу?

— Это вы написали книгу.

— Я никогда не писал.

— «Мемуары моногамного Казановы»?

— Но это же невозможно напечатать!

— Издательство в Будапеште было бы удивлено, услышав это,— сказал Виртанен.— Кажется, они издали их тиражом около полумиллиона.

— И коммунисты разрешили открыто издать такую книгу?

— «Мемуары моногамного Казановы» — курьезная главка русской истории. Едва ли они могли быть официально одобрены и напечатаны в России, однако это такой привлекательный, удивительно высоконравственный образец порнографии, такой идеальный для страны, испытывающей недостаток во всем, кроме мужчин и женщин, что типографии в Будапеште каким-то образом осмелились начать их печатать, и каким-то образом никто их не остановил.— Виртанен подмигнул мне.— Один из немногих игривых безобидных проступков, который может позволить себе русский без риска для себя, это протащить через границу домой экземпляр «Мемуаров моногамного Казановы». И для кого он это протаскивает? Кому собирается он показать эту пикантность? Своему закадычному другу — старой карге — собственной жене.

— В течение многих лет,— сказал Виртанен,— существовало только русское издание, но теперь есть переводы на венгерский, румынский, латышский, эстонский и, что самое забавное,— обратно на немецкий.

— Бодовсков считается автором? — спросил я.

— Хотя все знают, что автор — Бодовсков, на книге не указаны ни автор, ни издатель, ни художник — они якобы неизвестны.

— Художник? — сказал я в ужасе, представив себе, что нас с Хельгой изобразили кувыркающимися нагишом.

— Четырнадцать цветных иллюстраций, как живые,— сказал Виртанен,— и на сорок рублей дороже.

Глава тридцать шестая

ВСЕ, КРОМЕ ВИЗГА...

— Хоть бы не было иллюстраций! — сердито сказал я Виртанену.

— Вам не все равно? — сказал он.

— Это все портит! Иллюстрации только искажают слова. Эти слова не предполагают иллюстраций! С иллюстрациями это уже не те слова.

Он пожал плечами.

— Боюсь, это уже не в вашей власти. Разве что вы объявите войну России.

Я поморщился и закрыл глаза.

— Что говорят о чикагских бойнях, про то, как они поступают со свиньями?

— Не знаю,— сказал Виртанен.

— Они хвастаются тем, что используют в свинье все, кроме визга,— сказал я.

— Да? — сказал Виртанен.

— Вот так я сейчас себя чувствую — как разделанная свинья, каждой части которой специалисты нашли применение. О господи, они нашли применение даже моему визгу! Та моя часть, которая хотела сказать правду, обернулась отъявленным лжецом. Страстно влюбленный во мне обернулся любителем порнографии. Художник во мне обернулся редкостным безобразием. Даже самые святые мои воспоминания они превратили в кошачьи консервы, клей и ливерную колбасу,— сказал я.

— Что за воспоминания? — спросил Виртанен.

— О Хельге — моей Хельге,— сказал я и заплакал.— Рези убила их в интересах Советского Союза. Она заставила меня предать их, и теперь с ними покончено.— Я открыл глаза.— Г... все это,— сказал я спокойно.— Думаю, что и свиньи, и я можем гордиться тем, что нашу полезность так здорово доказали. Одному я рад,— сказал я.

— Чему же?

— Я рад за Бодовскова. Я рад, что кто-то смог пожить артистической жизнью благодаря тому, что я сделал когда-то. Вы сказали, что его арестовали и судили?

— И расстреляли.

— За плагиат?

— За оригинальность. Плагиат — одно из самых безобидных преступлений. Какой вред от переписывания того, что уже было написано? Истинная оригинальность — вот тяжкое преступление, часто влекущее за собой необычно жестокое наказание, вплоть до coup de grâce [1].

— Не понимаю.

— Ваш друг Крафт-Потапов понял, что большая часть того, что Бодовсков приписывает себе, написана вами,— сказал Виртанен.— Он сообщил об этом в Москву. На вилле

[1] coup de grâce *(фр.)* — последний удар. Очевидно, автор имеет в виду высшую меру наказания.

Бодовскова произвели обыск. Волшебный чемодан с вашими произведениями был обнаружен под соломой на чердаке его конюшни.

— Вот как?

— Каждое ваше слово из этого чемодана было опубликовано.

— И...?

— Бодовсков начал постепенно наполнять чемодан волшебством собственного производства,— сказал Виртанен.— Милиция нашла две тысячи страниц сатиры на Красную Армию, написанных определенно не в стиле Бодовскова. За эту небодовскую манеру он и был расстрелян. Но хватит о прошлом! — продолжал Виртанен.— Поговорим о будущем. Примерно через полчаса в доме Джонса начнется облава. Он уже окружен. Чтобы не усложнять дело, я хочу, чтобы вас там не было.

— Куда же, по-вашему, мне деваться?

— Не возвращайтесь в свою квартиру. Патриоты уже ее разгромили. Они, наверное, растерзали бы и вас, окажись вы там.

— Что же будет с Рези?

— Только высылка из страны. Она не замешана ни в каких преступлениях.

— А с Крафтом?

— Большой тюремный срок. Это не позор. Я думаю, он предпочтет отправиться в тюрьму, чем вернуться на родину. Почетный доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б.,— сказал Виртанен,— снова попадет в тюрьму за нелегальное хранение огнестрельного оружия и за всякие другие преступления, которые ему можно пришить. Для отца Кили, по-видимому, ничего не запланировано, и я полагаю, что он опять вернется к бродяжничеству. И Черный Фюрер тоже.

— А Железные Гвардейцы? — спросил я.

— Железной Гвардии Белых Сынов Американской Конституции,— сказал Виртанен,— будет прочитана внушительная лекция о незаконности в нашей стране частных армий, убийств, нанесения увечий, мятежей, государственной измены и насильственного ниспровержения правительства. Их отправят домой просвещать своих родителей, если это возможно.— Он снова взглянул на часы.— Вам пора уходить, выбирайтесь отсюда немедленно.

— Могу я спросить, кто ваш человек у Джонса? — сказал я.— Кто сунул мне в карман записку?

— Спросить вы можете,— сказал Виртанен.— Но вы же понимаете, что я не отвечу.

— Вы до такой степени мне не доверяете? — сказал я.

— Могу ли я доверять человеку, который был таким прекрасным шпионом? А?

Глава тридцать седьмая

ЭТО СТАРОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО...

Я ушел от Виртанена.

Не успев сделать и нескольких шагов, я понял, что единственное место, куда я хочу пойти,— это в подвал Джонса, к моей любовнице и к моему лучшему другу.

Я уже знал, чего они стоят, но факт остается фактом: они — все, что у меня оставалось.

Я вернулся в подвал Джонса тем же путем, как и исчез,— через черный ход.

Когда я вернулся, Рези, отец Кили и Черный Фюрер играли в карты.

Никто меня не хватился.

В котельной шли занятия Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции, отрабатывались почести, воздаваемые флагу. Занятия вел один из гвардейцев.

Джонс ушел наверх писать, творить.

Крафт, этот Русский Супершпион, читал *Лайф* с портретом Вернера фон Брауна на обложке. Журнал был раскрыт на центральном развороте с панорамой доисторического болота эпохи рептилий.

Из приемника доносилась музыка. Объявили песню. Название ее запечатлелось в моей памяти. Нет ничего удивительного в том, что я его запомнил. Название как раз подходило к тому моменту, впрочем, к любому моменту. Название было: «Это старое золотое правило: что посеешь, то пожнешь».

По моей просьбе Институт документации военных преступников в Хайфе нашел мне слова этой песни. Вот они:

О, бэби, бэби, бэби,
Зачем ты мне сердце разбила?
Говорила, что будешь верна мне,
А сама давно изменила.
Я так огорчен,
Но не удивлен,
Ты меня в дурака превратила,

Ты плакать меня заставила,
Ты смеялась надо мной и лукавила,
Почему ты не знала, девушка, золотого
Старого правила.

— Во что играете? — спросил я игроков?

— В ведьму,— ответил отец Кили.

Он относился к игре серьезно. Он хотел выиграть, я увидел, что у него на руках дама пик, ведьма.

Я, наверное, показался бы более человечным, вызвал бы больше сочувствия, если бы сказал, что в тот момент у меня голова пошла кругом от ощущения нереальности происходящего.

Извините.

Ничего подобного.

Должен признаться в ужасном своем недостатке. Все, что я вижу, слышу, чувствую, пробую, нюхаю,— для меня реально. Я настолько доверчивая игрушка своих ощущений, что для меня нет ничего нереального. Эта доверчивость, стойкая, как броня, сохранялась даже тогда, когда меня били по голове, или я был пьян, или был втянут в странные приключения, о которых не стоит распространяться, или даже под влиянием кокаина.

В подвале Джонса Крафт показал мне фотографию фон Брауна на обложке *Лайф* и спросил, знал ли я его.

— Фон Брауна? — спросил я.— Этого Томаса Джефферсона космического века? Естественно. Барон танцевал однажды в Гамбурге с моей женой на дне рождения генерала Вальтера Дорнбергера.

— Хороший танцор? — спросил Крафт.

— Что-то вроде танцующего Микки Мауса,— сказал я.— Так танцевали все крупные нацистские деятели, когда им приходилось это делать.

— Как ты думаешь, он бы сейчас тебя узнал? — спросил Крафт.

— Уверен, что узнал бы,— сказал я.— С месяц назад я наскочил на него на Пятьдесят второй улице, и он окликнул меня по имени. Он очень поразился, увидев меня в таком плачевном положении. Он сказал, что у него много знакомых в информационном бизнесе, и предложил подыскать мне работу.

— Ты бы в этом преуспел.

— Вообще-то я не чувствую мощного призвания заниматься перепиской с клиентами,— ответил я.

Игра в карты кончилась, проиграл отец Кили, он так и не смог отделаться от жалкой старой ведьмы — пиковой дамы.

— Ну и ладно,— сказал отец Кили, как будто он много выигрывал в прошлом и собирается и дальше выигрывать.— Всего не выиграешь.

Вместе с Черным Фюрером он поднялся наверх, останавливаясь через каждые несколько ступенек и считая до двадцати.

И теперь Рези, Крафт-Потапов и я остались одни.

Рези подошла ко мне, обняла меня за талию, прижалась щекой к моей груди.

— Только представь, дорогой,— сказала она.

— Что? — сказал я.

— Завтра мы будем в Мексике.

— Гм.

— Ты чем-то обеспокоен.

— Обеспокоен.

— Озабочен,— сказала она.

— Тебе тоже кажется, что я озабочен? — сказал я Крафту. Он все еще изучал панораму доисторического болота в журнале.

— Нет,— сказал он.

— Я в обычном, нормальном состоянии,— сказал я.

Крафт показал на птеродактиля, летающего над болотом.

— Кто бы мог подумать, что такое чудовище может летать? — сказал он.

— А кто бы мог подумать, что такая старая развалина, как я, может покорить сердце такой прелестной девушки и, кроме того, иметь такого талантливого верного друга?

— Мне так легко тебя любить,— сказала Рези.— Я всегда тебя любила.

— Я как раз подумал...— сказал я.

— Расскажи мне, о чем ты подумал,— попросила Рези.

— Может быть, Мексика не совсем то, что нам нужно,— сказал я.

— Мы всегда сможем оттуда уехать,— сказал Крафт.

— Может быть, в аэропорту Мехико-сити мы можем сразу пересесть на реактивный самолет...

Крафт опустил журнал.

— И куда дальше? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я.— Просто быстро куда-то отправиться. Я думаю, меня возбуждает сама мысль о передвижении, я так долго сидел на месте.
— Гм,— сказал Крафт.
— Может быть, в Москву? — сказал я.
— Что? — сказал Крафт недоверчиво.
— В Москву,— сказал я.— Мне очень хочется увидеть Москву.
— Это что-то новое,— сказал Крафт.
— Тебе не нравится?
— Я... я должен подумать.
Рези стала отодвигаться от меня, но я держал ее крепко.
— Ты тоже об этом подумай,— сказал я ей.
— Если ты хочешь,— сказала она едва слышно.
— Господи! — сказал я и как следует тряхнул ее.— Чем больше я об этом думаю, тем это становится привлекательнее. Мне бы в Мехико-сити и двух минут между самолетами хватило.
Крафт встал, старательно сгибая и разгибая пальцы.
— Ты шутишь? — спросил он.
— Разве? Такой старый друг, как ты, должен понимать, шучу я или нет.
— Конечно, шутишь,— сказал он.— Что тебя может интересовать в Москве?
— Я бы попытался найти одного старого друга,— сказал я.
— Я не знал, что у тебя есть друг в Москве.
— Я не знаю, в Москве ли он, но где-то в России,— сказал я.— Я бы навел справки.
— Кто же он? — спросил Крафт.
— Степан Бодовсков, писатель.
— А...— сказал Крафт. Он сел и снова взял журнал.
— Ты о нем слышал? — спросил я.
— Нет.
— А о полковнике Ионе Потапове?
Рези отскочила от меня к дальней стене и прижалась к ней спиной.
— Ты знаешь Потапова? — спросил я ее.
— Нет.
— А ты? — спросил я Крафта.
— Нет,— сказал он.— Расскажи мне о нем.
— Он — коммунистический агент,— сказал я.— Он хочет увезти меня в Мехико-сити, где меня схватят и отправят в Москву для суда.
— Нет! — сказала Рези.
— Заткнись! — сказал ей Крафт.
Он вскочил, отбросив журнал, и пытался вытащить из кармана маленький пистолет, но я навел на него свой люгер.
Я заставил его бросить пистолет на пол.
— Гляньте-ка,— сделав удивленный вид, сказал он, словно был здесь ни при чем.— Прямо ковбои и индейцы.
— Говард,— сказала Рези.
— Молчи! — предупредил ее Крафт.
— Дорогой,— сказала Рези плача,— мечта о Мексике — я надеялась,— она станет реальностью. Нас *всех* ждало избавление! — Она раскрыла объятия.— Завтра,— сказала она тихо.— Завтра,— прошептала она снова.
И тут она бросилась к Крафту, как будто хотела вцепиться в него. Но руки ее ослабли и бессильно повисли.
— Мы все должны были родиться заново,— сказала она ему хрипло.— И ты — ты тоже. Разве... разве ты сам этого не хотел? Как же ты мог с такой нежностью говорить о нашей новой жизни и не хотеть ее?
Крафт не ответил.
Рези повернулась ко мне.
— Да, я — коммунистический агент. И он тоже. Он действительно — полковник Иона Потапов. У нас действительно было задание доставить тебя в Москву. Но я не собиралась этого делать, потому что люблю тебя; потому что любовь, которую ты дал мне,— единственная моя любовь, другой у меня не было и не будет. Я же тебе говорила, что не желаю этого делать, правда? — сказала она Крафту.
— Она мне говорила,— сказал Крафт.
— И он согласился со мной,— сказала Рези,— и тоже мечтал о Мексике, где все мы выскочим из западни и заживем счастливо.
— Как ты узнал? — спросил меня Крафт.
— Американские агенты все время следили за вашими действиями,— сказал я.— Это место сейчас окружено. Вы погорели.

О, СЛАДКОЕ ТАИНСТВО ЖИЗНИ...

Об облаве —
О Рези Нот —
О том, как она умерла —
О том, как она умерла на моих руках, там, в подвале преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б.
Это было совершенно неожиданно.
Казалось, Рези так любила жизнь, была создана для жизни, что мне в голову не приходило, что она может предпочесть смерть.
Я — человек, достаточно умудренный опытом или недостаточно одаренный воображением,— уж решайте сами,— чтобы представить себе, что такая молодая, красивая, умная девушка даже при самых тяжелых ударах судьбы и политики будет думать о смерти. Притом я говорил ей, что самое худшее, что ее ожидает, это депортация.
— И ничего более страшного? — сказала она.
— Ничего. И я сомневаюсь, что тебе даже придется оплачивать обратный проезд.
— И тебе не жалко будет, если я уеду?
— Конечно, жалко. Но я ничего не могу сделать, чтобы ты осталась со мной. С минуты на минуту сюда могут войти и арестовать тебя. Не думаешь же ты, что я буду драться с ними?
— А ты не будешь с ними драться?
— Конечно, нет. Какой у меня шанс?
— А это имеет значение?
— Ты хочешь знать,— сказал я,— почему я не умираю за любовь, как рыцарь в пьесе Говарда У. Кемпбэлла-младшего?
— Именно это я и хочу знать,— сказала она.— Почему бы нам не умереть вместе, прямо здесь, сейчас?
Я рассмеялся.
— Рези, дорогая, у тебя вся жизнь впереди.
— У меня вся жизнь позади,— сказала она,— вся в этих нескольких счастливых часах с тобой.
— Это звучит как строка, которую я мог бы написать, когда был молодым человеком.
— Это и есть строка, которую ты написал, когда был молодым человеком.
— Глупым молодым человеком,— сказал я.
— Я обожаю того молодого человека,— сказала она.
— Когда же ты полюбила его? Еще девочкой?
— Маленькой девочкой, а потом уже женщиной,— сказала она.— Когда они дали мне все, что ты написал, и велели изучить, я полюбила тебя уже женщиной.
— Извини, но я не могу одобрить твой литературный вкус.
— Ты уже не веришь, что любовь — единственное, ради чего стоит жить?
— Нет.
— Тогда скажи, ради чего стоит жить вообще? — сказала она умоляюще.— Если не ради любви, то ради чего же? Ради всего этого? — Она жестом обвела убогую обстановку комнаты, еще резче усилив и мое собственное ощущение, что мир — это лавка старьевщика.— Я что, должна жить ради этого стула, этой картины, ради этой печной трубы, этой кушетки, этой трещины в стене? Вели мне жить ради этого, и я буду! — кричала она.
Теперь ее ослабевшие руки вцепились в меня. Она закрыла глаза и заплакала.
— Значит, не ради любви,— шептала она,— ради чего же, скажи.
— Рези,— сказал я нежно.
— Скажи мне! — требовала она. Сила вернулась в ее руки, и она с нежным неистовством теребила мою одежду.
— Я старик,— беспомощно сказал я. Это была трусливая ложь. Я не старик.
— Хорошо, старик, скажи мне, ради чего жить,— сказала она.— Скажи, ради чего ты живешь, чтобы и я могла жить ради того же — здесь или за десять тысяч километров отсюда! Объясни, почему ты хочешь остаться в живых, и тогда я тоже захочу жить!
И тут началась облава.
Силы закона и порядка ворвались через все двери, они размахивали оружием, свистели в свистки, светили яркими фонарями, хотя света и так было достаточно.
Это была целая небольшая армия, и они шумно веселились по поводу мелодраматично-зловещего реквизита нашего подвала. Они веселились, как дети вокруг рождественской елки.
Целая дюжина их, молодых, розовощеких, добродетельных, окружили Рези, Крафт-Потапова и меня, отобрали мой люгер и обращались с нами, как с тряпичными куклами, в поисках еще какого-нибудь оружия.

Другие спускались по лестнице, толкая перед собой преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Черного Фюрера и отца Кили.

Доктор Джонс остановился на середине лестницы и повернулся к своим мучителям:

— Все, что я делал,— сказал он величественно,— должны были делать вы.

— Что мы должны были делать? — сказал агент ФБР, который явно был здесь главным.

— Защищать республику,— сказал Джонс.— Что вам от нас надо? Мы делаем все, чтобы сделать нашу страну сильнее! Присоединяйтесь к нам, и пойдем вместе против тех, кто пытается ее ослабить!

— Кто же это? — спросил агент ФБР.

— Я должен вам объяснять? — сказал Джонс.— Вы еще не поняли этого за время вашей работы? Евреи! Католики! Черномазые! Желтые! Унитарии! Эмигранты, которые ничего не понимают в демократии, которые играют на руку социалистам, коммунистам, анархистам, нехристям и евреям!

— К вашему сведению,— сказал агент с холодным торжеством,— я — еврей.

— Это только подтверждает то, что я сказал!

— То есть? — сказал агент.

— Евреи проникли всюду! — сказал Джонс, улыбаясь, как логик, которого никогда нельзя сбить с толку.

— Вы говорите о католиках и неграх, но один из ваших лучших друзей — католик, другой — негр.

— Что тут удивительного? — сказал Джонс.

— У вас нет к ним ненависти? — спросил агент ФБР.

— Конечно, нет. Мы все исповедуем одну основную истину.

— Какую же?

— Наша страна, которой мы когда-то гордились, сейчас оказалась не в тех руках,— сказал Джонс. Он кивнул, а вслед за ним отец Кили и Черный Фюрер.— И, чтобы она снова вернулась на путь истинный, кое-кому надо свернуть голову.

Я никогда не встречал такого наглядного примера тоталитарного мышления, мышления, которое можно уподобить системе шестеренок с беспорядочно отпиленными зубьями. Такая кривозубая мыслящая машина, приводимая в движение стандартными или нестандартными внутренними побуждениями, вращается толчками, с диким бессмысленным скрежетом, как какие-то адские часы с кукушкой.

Босс из ФБР ошибался, думая, что на шестернях в голове Джонса нет зубьев.

— Вы законченный псих,— сказал он.

Джонс не был законченным психом. Самое страшное в классическом тоталитарном мышлении то, что каждая из таких шестеренок, сколько бы зубьев у нее ни было спилено, имеет участки с целыми зубьями, которые точно отлажены и безупречно обработаны.

Поэтому адские часы с кукушкой идут правильно в течение восьми минут и тридцати трех секунд, потом убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на две секунды, правильно идут два часа и одну секунду, а затем убегают на год вперед.

Недостающие зубья — это простые очевидные истины, в большинстве случаев доступные и понятные даже десятилетнему ребенку. Умышленно отпилены некоторые зубья — система умышленно действует без некоторых очевидных кусков информации.

Вот почему такая противоречивая семейка, состоящая из Джонса, отца Кили, вице-бундесфюрера Крапптауэра и Черного Фюрера, могла существовать в относительной гармонии...

Вот почему мой тесть мог совмещать безразличие к рабыням и любовь к голубой вазе...

Вот почему Рудольф Гесс, комендант Освенцима, мог чередовать по громкоговорителю произведения великих композиторов с вызовами уборщиков трупов...

Вот почему нацистская Германия не чувствовала существенной разницы между цивилизацией и бешенством...

Так я ближе всего могу подойти к объяснению тех легионов, тех наций сумасшедших, которые я видел в свое время. И моя попытка такого механистического объяснения — это, наверное, отражение отца, сыном которого я был. И есть. Ведь если остановиться и подумать, что бывает не часто, я, в конце концов, сын инженера.

И поскольку меня некому похвалить, я похвалю себя сам — скажу, что я никогда не прикасался ни к одному зубу своей думающей машины, она такая, какая есть. У нее не хватает зубьев, бог знает почему,— без некоторых я родился, и они уже никогда не вырастут. А другие сточились под влиянием превратностей Истории.

Но никогда я умышленно не ломал ни единого зуба на шестеренках моей думающей машины. Никогда я не говорил себе: «Я могу обойтись без этого факта».

Говард У. Кемпбэлл-младший поздравляет себя! В тебе еще есть жизнь, старина!

А где есть жизнь...

Там есть жизнь.

Глава тридцать девятая

РЕЗИ НОТ ОТКЛАНИВАЕТСЯ...

— Единственное, о чем я жалею,— сказал доктор Джонс боссу фебеэровцев на лестнице в подвал,— что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать отечеству.

— Посмотрим, не удастся ли нам откопать еще что-нибудь, о чем вы будете жалеть,— сказал босс.

Теперь Железная Гвардия Сынов Американской Конституции толпой вываливалась из котельной. Некоторые из них были в истерике. Паранойя, которую родители годами вбивали в них, внезапно реализовалась. Вот теперь их действительно преследовали!

Один из парней вцепился в древко американского флага. Он так размахивал им, что орел на древке цеплялся за трубы под потолком.

— Это флаг вашей страны! — кричал он.

— Мы это уже знаем,— сказал босс.— Отберите у него флаг!

— Этот день войдет в историю,— сказал Джонс.

— Каждый день входит в историю,— сказал босс.— Ладно, где человек, называющий себя Джорджем Крафтом?

Крафт поднял руку. Он сделал это почти что весело.

— Это флаг и вашей страны? — сказал босс с издевкой.

— Мне нужно рассмотреть его повнимательнее,— сказал Крафт.

— Как чувствует себя человек, когда такая долгая и блестящая карьера приходит к концу? — спросил босс Крафта.

— Все карьеры когда-нибудь кончаются,— сказал Крафт.— Я это понял уже давно.

— Может, о вашей жизни сделают фильм,— сказал босс.

Крафт улыбнулся.

— Возможно. Я бы запросил немало денег за право снимать этот фильм.

— Есть только один актер, который действительно мог бы сыграть вашу роль,— сказал босс.— Но его будет нелегко заполучить.

— Да? — сказал Крафт.— Кто же это?

— Чарли Чаплин,— сказал босс.— Кто еще смог бы сыграть шпиона, который был постоянно пьян, с 1941 по 1948 год? Кто еще мог бы сыграть русского шпиона, который создал агентуру, состоящую почти сплошь из американских шпионов?

Весь лоск сошел с Крафта, и он превратился в бледного морщинистого старика.

— Это неправда! — сказал он.

— Спросите ваше начальство, если не верите мне,— сказал босс.

— А они знают? — спросил Крафт.

— Они наконец поняли. Вы были на пути домой, а там вас ожидала пуля в затылок.

— Почему вы спасли меня?

— Считайте это сентиментальностью,— сказал босс.

Крафт обдумал ситуацию и укрылся за спасительной шизофренией.

— Все это не имеет ко мне отношения,— сказал он и вновь обрел свой прежний лоск.

— Почему?

— Потому, что я художник. И это главное мое дело.

— Непременно возьмите в тюрьму этюдник,— сказал босс и переключил внимание на Рези.— Вы, конечно, Рези Нот.

— Да,— сказала она.

— Доставило ли вам удовольствие ваше короткое пребывание в нашей стране?

— Какого ответа вы от меня ожидаете?

— Любого. Если у вас есть жалобы, я передам их в соответствующие инстанции. Знаете, мы пытаемся увеличить приток туристов из Европы.

— Вы говорите очень забавные вещи,— сказала она без тени улыбки.— Простите, я не могу ответить в том же духе. Сейчас не самое забавное время для меня.

— Жаль,— сказал босс небрежно.

— Вам не жаль,— сказала Рези.— Жаль только мне. Мне жаль, что мне незачем жить. Все, что у меня было, это любовь к одному человеку, а этот человек меня не любит. Жизнь его так поизносила, что он не может больше любить. От него ничего не осталось, кроме любопытства и пары глаз. Я не могу сказать вам ничего забавного,— сказала Рези.— Но я могу показать вам кое-что интересное.

Рези как будто прикоснулась пальцами к губам. На самом деле она сунула в рот капсулу с цианистым калием.

— Я покажу вам женщину, которая умирает за любовь.

И Рези Нот тут же упала мертвой мне на руки.

Глава сороковая

СНОВА СВОБОДА...

Я был арестован вместе со всеми, кто находился в доме. Меня освободили в течение часа, я думаю, благодаря вмешательству Моей Звездно-Полосатой Крестной. Место, где меня содержали в течение этого короткого времени, была контора без вывески в Эмпайр Стейт Билдинг. Агент спустил меня на лифте и вывел на улицу, возвратив в поток жизни. Не успел я сделать и пятидесяти шагов, как остановился.

Я оцепенел.

Я оцепенел не от чувства вины. Я приучил себя никогда не испытываать чувства вины.

Я оцепенел не от страшного чувства потери. Я приучил себя ничего страстно не желать.

Я оцепенел не от ненависти к смерти. Я приучил себя рассматривать смерть как друга.

Я оцепенел не от разрывающего сердце возмущения несправедливостью. Я приучил себя к тому, что ожидать справедливых наград и наказаний так же бесполезно, как искать жемчужину в навозе.

Я оцепенел не от того, что я так не любим. Я приучил себя обходиться без любви.

Я оцепенел не от того, что Господь так жесток ко мне. Я приучил себя никогда ничего от Него не ждать.

Я оцепенел от того, что у меня не было никакой причины двигаться ни в каком направлении. То, что заставляло меня идти сквозь все эти мертвые бессмысленные годы, было любопытство.

Теперь даже оно угасло.

Как долго я стоял в оцепенении — не знаю. Чтобы я вновь начал двигаться, надо было, чтобы кто-то другой придумал для этого причину.

И этот кто-то нашелся. Полицейский на улице наблюдал за мной некоторое время, затем подошел и спросил:

— У вас все в порядке?

— Да,— сказал я.

— Вы стоите здесь уже давно.

— Знаю.

— Вы ждете кого-нибудь?

— Нет.

— Тогда лучше идите.

— Да, сэр.

И я пошел.

Глава сорок первая

ХИМИКАЛИИ...

От Эмпайр Стейт Билдинг я пошел к центру. Я шел пешком в Гринвич Вилледж, туда, где некогда был мой дом, наш с Рези и Крафтом дом.

Всю дорогу я курил сигареты и стал воображать себя светлячком.

Я встречал много других таких же светлячков. Иногда я первым подавал им приветственный красный сигнал, иногда они. Я все дальше и дальше уходил от подобного морскому прибою рокота и северного сияния огней сердца города.

Время было позднее. Теперь я ловил сигналы светлячков-сотоварищей, захваченных в ловушки верхних этажей.

Где-то, как наемный плакальщик, выла сирена.

Когда я наконец подошел к зданию, к своему дому, все окна были темны, кроме одного — окна в квартире молодого доктора Абрахама Эпштейна.

Он тоже был светлячком. Он просигналил, и я просигналил в ответ.

Где-то завели мотоцикл, как будто разорвалась хлопушка.

Черная кошка перебежала мне дорогу перед входной дверью.

В парадном тоже было темно. Выключатель был испорчен. Я зажег спичку и увидел, что все почтовые ящики взломаны.

В темноте в неверном свете спички погнутые и пробитые дверцы почтовых ящиков напоминали двери тюремных камер в каком-то сожженном городе. Моя спичка привлекла внимание дежурного полицейского. Он был молодой и унылый.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Я здесь живу, это мой дом.

— У вас есть документы?

Я показал ему какой-то документ и сказал, что живу в мансарде.

— Так это из-за вас все эти неприятности? — Он не упрекал меня, ему было просто интересно.

— Если хотите.

— Удивляюсь, что вы вернулись сюда.

— Я скоро снова уйду.

— Я не могу приказать вам уйти. Я просто удивляюсь, что вы вернулись.

— Я могу подняться к себе?

— Это ваш дом. Никто не может вам запретить.

— Благодарю вас.

— Не благодарите меня. У нас свободная страна, и все одинаково находятся под защитой.— Он сказал это доброжелательно. Он давал мне урок гражданского права.

— Вот так и нужно управлять страной,— сказал я.

— Не знаю, смеетесь ли вы надо мной или нет, но это правда,— сказал полицейский.

— Я не смеюсь над вами, клянусь, что нет.— Мое клятвенное уверение удовлетворило его.

— Мой отец был убит на Иводзима [1].

— Сочувствую.

— Полагаю, что там погибли хорошие люди и с той, и с другой стороны.

— Думаю, что правда.

— Думаете, будет еще одна?

— Что — еще одна?

— Еще одна война.

— Да,— сказал я.

— Я тоже так думаю,— сказал он.— Разве это не ад?

— Вы нашли верное слово,— сказал я.

— Что может сделать один человек?

— Каждый делает какую-то малость,— сказал я.— Вот и все.

Он тяжело вздохнул.

— И всё это складывается. Люди не понимают.— Он покачал головой.— Что люди должны делать?

— Подчиняться законам,— сказал я.

— Они не хотят даже и этого делать, половина, во всяком случае. Я такое вижу, люди такое мне рассказывают. Иногда я просто падаю духом.

— Это с каждым бывает,— сказал я.

— Я думаю, это частично от химии,— сказал он.

— Что — это?

— Плохое настроение. Разве не обнаружено, что это часто бывает из-за химических препаратов?

— Не знаю.

— Я об этом читал. Это одно из открытий.

— Очень интересно.

— Человеку дают какие-то химикалии, и он сходит с ума. Вот над чем они работают. Может быть, все из-за химии.

— Вполне возможно.

— Может быть, это разные химикалии, которые люди едят в разных странах, заставляют их в разное время действовать по-разному.

— Я никогда раньше об этом не думал,— сказал я.

— Иначе почему люди так меняются? Мой брат был там, в Японии, и говорит, что японцы — приятнейшие люди, каких он когда-либо встречал, а ведь это японцы убили нашего отца! Вдумайтесь в это.

— Ладно.

— Это *точно* химикалии, верно ведь?

— Наверное, вы правы.

— Я уверен. Подумайте об этом хорошенько.

— Ладно.

— Я все время думаю о химикалиях. Иногда мне кажется, что мне снова надо пойти в школу и выяснить досконально все, что открыли насчет химикалиев.

— Думаю, вам так и надо поступить.

— Может быть, когда о химикалиях узнают еще больше — не будет ни полицейских, ни войн, ни сумасшедших домов, ни разводов, ни малолетних преступников, ни пьяниц, ни падших женщин, ничего такого.

— Это было бы прекрасно,— сказал я.

— Я думаю, это возможно.

— Я вам верю.

---

[1] Иводзима — принадлежащий Японии остров в Восточно-Китайском море. В ходе второй мировой войны в 1945 году американцы высадили на остров десант и овладели им.

— На этом пути сейчас нет ничего невозможного, надо только работать — найти деньги, найти самых способных людей, создать четкую программу — и работать.

— Я — за,— сказал я.

— Посмотрите, как некоторые женщины просто сходят с ума каждый месяц. Выделяются какие-то химические вещества, и женщина уже не может вести себя иначе. Иногда после родов начинает выделяться какое-то химическое вещество, и женщина даже может убить ребенка. Это случилось в одном из соседних домов как раз на прошлой неделе.

— Какой ужас,— сказал я.— Я и не слышал.

— Самое противоестественное, что может сделать женщина, это убить собственного ребенка, но она это сделала. Какая-то химия в крови заставила ее поступить так, хотя она вовсе этого не хотела.

— Гм... гм,— сказал я.

— Хотите знать, что случилось с миром,— сказал он.— Химия — вот в чем собака зарыта.

Глава сорок вторая

НИ ГОЛУБЯ, НИ ЗАВЕТА...

Я поднялся в свою крысиную мансарду вверх по отделанной дубом и трубой лепкой спирали лестницы.

Обычно воздух на лестнице сохранял тоскливые запахи кухни, угольной пыли, испарений клозета, а сейчас он был свежим и холодным. Все окна в моей мансарде были разбиты. Все теплые газы с запахами жилья поднялись по лестничной клетке наверх и высвистали через мои окна, как сквозь вентиляционную трубу.

Воздух был чист.

Это ощущение, когда провонявшее старое здание внезапно оказывается открытым и зараженная атмосфера очищается, было мне хорошо знакомо. Я достаточно часто испытывал это в Берлине. Нас с Хельгой дважды разбомбили. Оба разв лестница осталась, и можно было вскарабкаться наверх.

Первый раз мы карабкались по ступенькам в свое жилье без крыши и окон, но тем не менее чудом уцелевшее внутри. В другой раз, поднимаясь по лестнице, мы внезапно оказались на холодном свежем воздухе двумя этажами ниже нашей бывшей квартиры.

Оба раза это было незабываемое ощущение — на верхней площадке разбитой лестницы под открытым небом.

Правда, это ощущение быстро пропадало, ведь, как всякая семья, мы любили наше жилье и нуждались в нем. Но асе равно мы с Хельгой чувствовали себя, как Ной и его жена на горе Арарат.

Нет чувства приятней этого.

А затем снова начинали выть сирены воздушной тревоги, и мы осознавали, что мы обычные люди без голубя и без завета и что потоп далеко еще не кончился, а только начинается.

Я вспоминаю, как однажды мы с Хельгой спускались с разбитой лестничной площадки под открытым небом в бомбоубежище глубоко под землей, а наверху вокруг падали тяжелые бомбы. Они падали и падали, и казалось, это никогда не кончится.

И убежище было длинным и узким, как железнодорожный вагон, и было переполнено.

И там на скамье против нас с Хельгой сидели мужчина и женщина с тремя детьми. И женщина начала причитать, обращаясь к потолку, к бомбам, самолетам, к небу и к самому Господу Богу там, наверху.

Она начала тихо, не обращаясь ни к кому в убежище.

— Ну хорошо,— говорила она,— вот мы тут. Мы тут внизу. Слышим тебя над нами. Мы слышим, как ты гневаешься.— Голос ее вдруг перешел в крик.— Великий Боже, как ты гневаешься! — кричала она.

Ее муж — изможденный штатский с повязкой на глазу, со значком нацистского Союза учителей на лацкане, попытался ее предостеречь.

Но она не слышала его.

— Чего ты хочешь от нас? — обращалась она к потолку и ко всему, что было над ним.— Что мы должны делать? Скажи, и мы сделаем все, что ты хочешь!

Бомба разорвалась совсем рядом, с потолка посыпалась штукатурка, женщина с криком вскочила, и ее муж тоже.

— Мы сдаемся! Сдаемся! — завопила она. И чувство великого облегчения и радости отразилось на ее лице.— Остановись же! — вскричала она. Она рассмеялась.— С нас хватит! Все кончилось! — Она повернулась к детям с радостной вестью.

Муж ударил ее так, что она потеряла сознание.

Этот одноглазый учитель усадил ее на скамейку, прислонил к стене. Потом он обратился к находившемуся в убежище высокопоставленному лицу, как оказалось, вице-адмиралу.

— Она — женщина... истеричка, они все стали истеричками... Она так не думает... Она имеет Золотой орден материнства...— говорил он вице-адмиралу.

Вице-адмирал не удивился и не рассердился. Он не счел, что ему отвели неподходящую роль. Преисполненный чувства собственного достоинства, он дал этому человеку отпущение грехов.

— Все в порядке,— сказал он.— Это понятно. Не беспокойтесь.

Учитель пришел в восторг от системы, которая может простить слабость.

— Heil Hitler! — сказал он, кланяясь и пятясь назад.

— Heil Hitler! — ответил вице-адмирал.

Теперь учитель начал приводить в чувство жену. У него были хорошие вести — что она прощена, что все до одного поняли.

А тем временем бомбы падали и падали у них над головой, а трое детишек школьного учителя и глазом не моргнули.

Они, подумалось мне, вообще никогда глазом не моргнут.

И я, подумалось мне, тоже.

Больше никогда.

Глава сорок третья

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ И ДРАКОН...

Дверь моей крысиной мансарды была сорвана с петель и исчезла. Вместо нее привратник прибил мою походную палатку, а поверх нее — доски крест-накрест. На досках золотой краской для батарей, блеснувшей в свете моей спички, он написал:

«Внутри никого и ничего».

Как бы то ни было, кто-то с тех пор отодрал нижний угол холстины, и у моей крысиной мансарды образовалась небольшая треугольная дверца вроде входа в вигвам.

Я пролез вовнутрь.

Выключатель в мансарде тоже не работал. Свет проникал сюда только через несколько оставшихся целыми оконных стекол. Разбитые стекла были заменены кусками газет, тряпками, одеждой и одеялами. Ночной ветер со свистом врывался через это рванье. Свет был каким-то синим.

Я выглянул через заднее окно около плиты, посмотрел вниз в уменьшенное перспективой очарование маленького садика, маленького рая, образованного примыкающими друг к другу задними дворами. Никто там сейчас не играл.

И никто не мог закричать оттуда, как мне хотелось бы:

«Олле-Олле-бык-на-воле-ееееее...»

Что-то зашевелилось, зашуршало в темноте мансарды. Я подумал, что это крыса.

Я ошибся.

Шорох исходил от Бернарда О'Хара, человека, взявшего меня в плен так много лет назад. Это шевелился мой злой рок, человек, главной целью которого было травить и преследовать меня.

Я не собираюсь порочить его, сравнивая звук, который он производил, со звуком, производимым крысой. Я не сравнивал О'Хара с крысой, хотя его действия были так же раздражающе неуместны, как ярость крыс, скребущихся в стенах моей мансарды. Я в сущности не знаю О'Хара и знать не хочу. Тот факт, что в плен в Германии взял меня именно он, имеет для меня субмикроскопическое значение. Он не был моим карающим мечом. Моя игра была кончена задолго до того, как О'Хара взял меня в плен. Для меня О'Хара был не более чем сборщиком мусора, развеянного ветром по дорогам войны.

О'Хара придерживался другой, более возвышенной точки зрения насчет того, кем мы были друг для друга. Во всяком случае, напившись, он вообразил себя Святым Георгием, а меня — драконом. Когда я увидел его в темноте моей мансарды, он сидел на перевернутом оцинкованном ведре. На нем была форма Американского легиона. Перед ним стояла бутылка виски. Он, очевидно, уже давно ожидал меня, прикладываясь к бутылке и покуривая. Он был пьян, но его форма была в полном порядке. Галстук был на месте, фуражка надета под должным углом. Форма много значила для него, и предполагалось, что для меня тоже.

— Знаешь, кто я? — сказал он.

— Да,— сказал я.

— Я уже не так молод, как тогда. Я здорово изменился?

— Нет,— ответил я. Я уже писал, что раньше он был похож на поджарого молодого волка. Теперь в моей мансарде он выглядел нездоровым, бледным, одутловатым, с воспаленными глазами. Я подумал, что теперь он больше похож на койота, чем на волка. Его послевоенные годы были не слишком лучезарными.

— Ждал меня? — сказал он.
— Вы же меня предупреждали,— сказал я. Мне следовало вести себя с ним вежливо и осторожно. Я, конечно, ничего хорошего от него не ждал. То, что он был в полной форме, и то, что он ниже меня ростом и легче весом, наводило меня на мысль, что у него есть оружие, скорее всего пистолет.
Он неловко поднялся с ведра, и стало видно, насколько он пьян. При этом он опрокинул ведро.
Он ухмыльнулся.
— Являлся я тебе когда-нибудь в кошмарных снах, Кемпбэлл? — спросил он.
— Часто,— сказал я. Это была, конечно, ложь.
— Удивляешься, что я пришел один?
— Да.
— Многие хотели прийти со мной. Целая компания хотела приехать со мной из Бостона. А когда я прибыл в Нью-Йорк сегодня днем, пошел в бар и разговорился с незнакомыми людьми, они тоже захотели пойти со мной.
— Угу,— сказал я.
— А знаешь, что я им ответил?
— Нет.
— Я сказал им: «Извините, ребята, но эта встреча только для нас с Кемпбэллом. Так это должно быть — только мы двое, с глазу на глаз».
— Угу.
— «Эта встреча была предопределена давно, сказал я им,— сказал О'Хара.— Сама судьба решила, что мы с Говардом Кемпбэллом должны встретиться через много лет». Ты не чувствуешь этого?
— Чего именно?
— Что это судьба. Мы должны были встретиться так, именно здесь, в этой комнате, и ни один из нас не мог этого избежать, как бы мы ни старались.
— Возможно,— сказал я.
— Как раз тогда, когда думаешь, что жить больше незачем, внезапно осознаешь, что у тебя есть цель.
— Я понимаю, что вы имеете в виду.
Он покачнулся, но удержался.
— Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь?
— Нет.
— Я диспетчер грузовиков для замороженного крема.
— Простите? — сказал я.
— Целый парк грузовиков объезжает заводы, пляжи, стадионы — все места, где собирается народ.— О'Хара, казалось, на несколько секунд совсем забыл обо мне, мрачно размышляя о назначении грузовиков, которые он отправлял.— Машина, производящая крем, стоит прямо на грузовике,— бормотал он.— Всего два сорта — шоколадный и ванильный.— Теперь он был в таком же состоянии, как бедная Рези, когда она рассказывала мне об ужасающей бессмысленности своей работы на сигаретной машине в Дрездене.— Когда кончилась война, я рассчитывал добиться многого и не думал, что через пятнадцать лет окажусь диспетчером грузовиков для замороженного крема.
— Я думаю, у каждого из нас были разочарования,— сказал я.
Он не ответил на эту слабую попытку братания. Его беспокоили только собственные дела.
— Я собирался стать врачом, юристом, писателем, архитектором, инженером, газетным репортером,— сказал он.— Я мог бы стать кем угодно.
Но я женился, и жена сразу начала рожать детей, и тогда мы с приятелем открыли чертово заведение по производству пеленок, но приятель удрал с деньгами, а жена все рожала и рожала. После пеленок были жалюзи, а когда и это дело прогорело, появился замороженный крем. А жена все продолжала рожать, и чертова машина ломалась, и нас осаждали кредиторы, и термиты кишмя кишели в плинтусах каждую весну и осень.
— Как печально,— сказал я.
— И я спросил себя,— сказал О'Хара.— Что все это значит? Для чего я живу? В чем смысл всего этого?
— Правильные вопросы,— сказал я миролюбиво и пододвинулся ближе к тяжелым каминным щипцам.
— И тут кто-то прислал мне газету, из которой я узнал, что ты еще жив,— сказал О'Хара, и его снова охватило страшное возбуждение, которое вызвала в нем та заметка.— И вдруг меня осенило, зачем я живу и что в этой жизни я должен сделать.
Он шагнул ко мне, глаза его расширились.
— Вот я и пришел, Кемпбэлл, прямо из прошлого!
— Здравствуйте,— сказал я.
— Ты знаешь, что ты для меня, Кемпбэлл?
— Нет.

— Ты зло, зло в чистом виде.
— Благодарю.
— Ты прав, это почти комплимент,— сказал он.— Обычно в каждом плохом человеке есть что-то хорошее, в нем смешано почти поровну добро и зло. Но ты — чистейшее зло. Даже если в тебе есть что-то хорошее, все равно ты — сущий дьявол.
— Может быть, я и в самом деле дьявол.
— Не сомневайся, я обдумал это.
— Ну и что же вы собираетесь со мной сделать?
— Разорвать тебя на куски,— сказал он, раскачиваясь на пятках и расправлял плечи.— Когда я услышал, что ты жив, я понял, что я должен сделать. Другого выхода нет. Это должно было кончиться так.
— Не понимаю, почему?
— Тогда, ей-богу, я тебе покажу, почему. Я тебе покажу, ей-богу. Я родился, чтобы разорвать тебя на куски как раз здесь и сейчас.— Он обозвал меня подлым трусом. Он обозвал меня нацистом. Затем он обругал меня самым непристойным словосочетанием в английском языке.
И тут я сломал ему каминными щипцами правую руку.
Это был единственный акт насилия, когда-либо совершенный в моей, кажущейся теперь такой долгой, долгой жизни. Я встретился с О'Хара в поединке и победил его. Победить его было просто. О'Хара был так одурманен выпивкой и фантазиями о торжестве добра над злом, что даже не ожидал, что я буду защищаться. Когда он понял, что побит, что дракон намерен сразиться со Святым Георгием, он страшно удивился.
— Ах, вот ты как,— сказал он.
Но тут боль от множественного перелома окончательно доконала его нервы, и слезы брызнули у него из глаз.
— Убирайся,— сказал я.— Или ты хочешь, чтобы я сломал тебе другую руку и вдобавок проломил череп? — Я ткнул его щипцами в правый висок и сказал: — Прежде чем ты уйдешь, ты отдашь мне пистолет, нож или что там у тебя есть.
Он покачал головой. Боль была так ужасна, что он не мог говорить.
— У тебя нет оружия?
Он снова покачал головой.
— Честная борьба,— хрипло сказал он,— честная.
Я обшарил его карманы. У него не было оружия. Святой Георгий хотел взять дракона голыми руками!
— Ах ты, полоумный ничтожный пьяный однорукий сукин сын! — сказал я. Я сорвал тент с дверного проема, отодрал доски. Я вышвырнул О'Хара на площадку.
О'Хара наткнулся на перила и, потрясенный, уставился вниз в лестничный пролет, вдоль манящей спирали, туда, где его ждала бы верная смерть.
— Я не твоя судьба и не дьявол,— сказал я.— Посмотри на себя. Пришел убить дьявола голыми руками, а теперь убираешься бесславно, как человек, сбитый междугородным автобусом! И большей славы ты не заслуживаешь. Это все, чего заслуживает каждый, кто вступает в борьбу с чистым злом,— продолжал я.— Есть достаточно много причин для борьбы, но нет причин безгранично ненавидеть, воображая, будто сам Господь Бог разделяет такую ненависть. Что есть зло? Это та большая часть каждого из нас, которая жаждет ненавидеть без предела, ненавидеть с Божьего благословения. Это та часть каждого из нас, которая находит любое уродство таким привлекательным. Это та часть слабоумного, которая с радостью унижает, причиняет страдания и развязывает войны,— сказал я.
От моих ли слов, от унижения ли, опьянения или от шока из-за перелома О'Хара вырвало, не знаю, но его вырвало. Содержимое его желудка изверглось с четвертого этажа в лестничный пролет.
— Убери за собой! — крикнул я.
Он взглянул на меня, глаза его все еще были полны концентрированной ненависти.
— Я еще доберусь до тебя, братец,— сказал он.
— Может быть, но это все равно не изменит твоего удела: банкротств, мороженого крема, кучи детишек, термитов и нищеты. И если ты так уж хочешь быть солдатом в легионах Господа Бога, вступи в Армию Спасения.
И О'Хара убрался.

Глава сорок четвертая

«КЭМ-БУУ»...

Общеизвестно, что арестанты, придя в себя, пытаются понять, как они попали в тюрьму. Теория, которую я предлагаю для себя по этому поводу, сводится к тому, что я попал в тюрьму, так как не смог перешагнуть или перепрыгнуть через человеческую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О'Хара в вестибюле у лестницы.

Я вышел из мансарды вскоре после ухода О'Хара. Ничто меня там не удерживало. Совершенно случайно я прихватил с собой сувенир. Выходя из мансарды, я ногой поддал что-то на лестничную площадку. Я поднял этот предмет, и он оказался шахматной пешкой, из тех, что я вырезал из палки от швабры.

Я положил ее в карман. Она и сейчас со мной. Когда я опускал ее в карман, то почувствовал вонь от нарушения общественного порядка, которое учинил О'Хара.

По мере того, как я спускался по лестнице, вонь усиливалась.

Когда я дошел до площадки, где жил молодой доктор Абрахам Эпштейн, человек, который провел свое детство в Освенциме, вонь остановила меня.

И тут я понял, что стучусь в дверь доктора Эпштейна.

Доктор подошел к двери в халате и пижаме, босой. Он очень удивился, увидев меня.

— В чем дело? — спросил он.

— Можно войти? — спросил я.

— По медицинскому делу? — спросил он. Дверь была на цепочке.

— Нет. По личному — политическому.

— Это очень срочно?

— Думаю, что да.

— Объясните вкратце, в чем дело?

— Я хочу попасть в Израиль, чтобы предстать перед судом.

— Что-что?

— Я хочу, чтобы меня судили за преступления против человечности,— сказал я.— Я хочу поехать туда.

— Почему вы пришли ко мне?

— Я думаю, вы должны знать кого-нибудь — кого-нибудь, кого надо поставить в известность.

— Я не представитель Израиля,— сказал он.— Я американец. Завтра утром вы сможете найти всех тех израильтян, которые вам нужны.

— Я бы хотел сдаться человеку из Освенцима.

Он взбесился.

— Тогда ищите одного из тех, кто только и думает об Освенциме! Есть много таких, кто только о нем и думает. Я никогда о нем не думаю! — И он захлопнул дверь.

Я оцепенел, потерпев неудачу в достижении единственной цели, которую я смог себе придумать. Эпштейн был прав — утром я смогу найти израильтян.

Но надо было еще пережить целую ночь, а у меня уже не было сил двигаться. За дверью Эпштейн разговаривал со своей матерью. Они говорили по-немецки.

Я слышал только обрывки их разговора. Эпштейн рассказывал матери о том, что только что произошло.

Из того, что я услышал, меня поразило, как они произносят мою фамилию, поразило ее звучание.

«Кэм-буу»,— повторяли они снова и снова. Это для них был Кемпбэлл.

Это было концентрированное зло, зло, которое воздействовало на миллионы, отвратительное существо, которое добрые люди хотели уничтожить, зарыть в землю...

«Кэм-буу».

Мать Эпштейна так разволновалась из-за Кэм-буу и того, что он затевает, что подошла к двери. Я уверен, что она не ожидала увидеть самого Кэм-буу. Она хотела только испытать отвращение и подивиться на воздух, который он только что вытеснил.

Она открыла дверь, а сын, стоящий сзади, уговаривал ее не делать этого. Она едва не потеряла сознание от вида самого Кэм-буу, Кэм-буу в состоянии каталепсии.

Эпштейн оттолкнул ее и вышел, как будто собираясь напасть на меня.

— Что вы тут делаете? Убирайтесь к черту отсюда! — сказал он.

Так как я не двигался, не отвечал, даже не мигал, даже, казалось, не дышал, он начал понимать, что я прежде всего нуждаюсь в медицинской помощи.

— О, Господи,— простонал он.

Как покорный робот, я позволил ему ввести себя в квартиру. Он привел меня в кухню и усадил там за белый столик.

— Вы слышите меня? — сказал он.

— Да,— ответил я.

— Вы знаете, кто я и где вы находитесь?

— Да.

— С вами такое уже бывало?

— Нет.

— Вам нужен психиатр,— сказал он.— Я не психиатр.

— Я уже сказал вам, что мне надо,— сказал я.— Позовите кого-нибудь, не психиатра. Позовите кого-нибудь, кто хочет предать меня суду.

Эпштейн и его мать, очень старая женщина, спорили, что со мной делать. Его мать сразу поняла причину моего болезненного состояния, поняла, что болен не я сам, а скорее весь мой мир болен.

— Ты не впервые видишь такие глаза,— сказала она своему сыну по-немецки,— и не впервые видишь человека, который не может двигаться, пока кто-то не скажет ему куда, который ждет, чтобы кто-то сказал ему, что делать дальше, который готов делать все, что ему скажут. Ты видел тысячи таких людей в Освенциме.

— Я не помню,— сказал Эпштейн натянуто.

— Хорошо,— сказала мать.— Тогда уж позволь мне помнить. Я могу вспомнить все. В любую минуту. И как одна из тех, кто помнит, я хочу сказать — надо сделать то, что он просит. Позови кого-нибудь.

— Кого я могу позвать? Я не сионист. Я антисионист. Да я даже не антисионист. Я просто никогда об этом не думаю. Я врач. Я не знаю никого, кто еще думает о возмездии. Я к ним испытываю только презрение. Уходите. Вы не туда пришли.

— Позови кого-нибудь,— повторила мать.

— Ты все еще хочешь возмездия? — спросил он ее.

— Да,— отвечала она.

Он подошел ко мне вплотную.

— И вы действительно хотите наказания?

— Я хочу, чтобы меня судили,— сказал я.

— Это все — игра,— сказал он в ярости от нас обоих.— Это ничего не доказывает.

— Позови кого-нибудь,— сказала мать.

Эпштейн поднял руки.

— Хорошо! Хорошо! Я позвоню Сэму. Я скажу ему, что он может стать великим сионистским героем. Он всегда хотел быть великим сионистским героем.

Фамилии Сэма я так никогда и не узнал. Доктор Эпштейн позвонил ему из комнаты, а я и его старуха-мать остались в кухне.

Его мать сидела за столом напротив меня и, положив руки на стол, изучала мое лицо с меланхолическим любопытством и удовлетворением.

— Они вывинтили все лампочки,— сказала она по-немецки.

— Что? — спросил я.

— Люди, которые ворвались в вашу квартиру,— они вывинтили все лампочки на лестнице.

— М... м...

— В Германии было то же.

— Простите?

— Они всегда это делали. Когда СС или гестапо приходили брать кого-нибудь,— сказала она.

— Я не понимаю,— сказал я.

— Даже когда в дом приходили люди, которые хотели сделать что-нибудь патриотическое, они всегда начинали с этого. Кто-то обязательно вывинтит лампочки.— Она покачала головой.— Казалось бы странно, но они всегда это делают.

Доктор Эпштейн вернулся в кухню, отряхивая руки.

— Все в порядке,— сказал он.— Сейчас прибудут три героя: портной, часовщик и педиатр — все трое в восторге от роли израильских коммандос.

— Благодарю,— сказал я.

Эти трое пришли за мной минут через двадцать. У них не было оружия, и они не были официальными агентами Израиля или какой-нибудь другой страны, они были сами по себе. Их статус определяла моя виновность и мое страстное желание сдаться кому-нибудь, все равно кому.

Так случилось, что этот арест обернулся для меня возможностью провести остаток ночи в постели в квартире портного. Наутро, с моего согласия, они передали меня официальным израильским представителям.

Когда эти трое пришли за мной к доктору Эпштейну, они громко постучали во входную дверь.

Услышав этот стук, я в момент совершенно успокоился. Я был счастлив.

— Ну как, все в порядке? — спросил Эпштейн, прежде чем впустить их.

— Да, спасибо, доктор.

— Вы еще хотите ехать?

— Да,— ответил я.

— Он должен ехать,— сказала его мать. И тут она наклонилась ко мне через кухонный стол и пропела по-немецки нечто, прозвучавшее как кусочек полузабытой песенки из счастливого детства.

То, что она пропела, была команда, которую она слышала по громкоговорителю в Освенциме,— слышала годами много раз в день.

— Leichenträger zu Wache,— пропела она.

Прекрасный язык, не правда ли?

Перевод?

Уборщики трупов — на вахту.

Вот что спела мне эта старая женщина.

Глава сорок пятая

ЧЕРЕПАХА И ЗАЯЦ...

Итак, я здесь, в Израиле, по своей собственной воле, хоть моя камера заперта и находится под вооруженной охраной.

Мой рассназ окончен, и как раз воврема — завтра начинается процесс. Заяц истории в очередной раз догнал черепаху литературы. Больше не будет времени писать. Приключения мои продолжаются.

Против меня будут свидетельствовать многие. За меня — никто.

Обвинение, как мне сказали, намерены начать с прослушивания записей наиболее страшных моих радиопередач, так что самым безжалостным свидетелем против меня буду я сам.

Бернард О'Хара приехал сюдв за свой счет и надоедает обвинителю лихорадочной бессвязностью своих слов.

Так же ведет себя и Гейнц Шильдкнехт, некогда мой лучший друг и партнер по пинг-понгу, мотоцикл которого я украл. Мой адвокат говорит, что Хейнц полон злобы и, к моему удивлению, собирается дать существенные показания. Откуда взялась эта респектабельность у Хейнца, ведь он работал за соседним со мной столом в министерстве пропаганды и народного просвещения?

Потрясающе: Хейнц — еврей, член антифашистского подполья во время войны, израильский агент после войны и до настоящего времени.

И он может это доказать.

Браво, Хейнц!

Доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б. и Иона Потапов, он же Джорж Крафт, не смогли прибыть на процесс, они оба отбывают сроки в Федеральной тюрьме Соединенных Штатов.

Однако они прислали письменные показания, данные под присягой.

Их показания не очень помогут, скорее наоборот.

Доктор Джонс под присягой показал, что я святой и мученик за святое дело нацизма. Он также заявил, что у меня самые арийские зубы, какие он когда-либо видел, если не считать зубов на фотографиях Гитлера.

Крафт-Потапов показал под присягой, что русская разведка никогда не могла доказать, что я был американским агентом. Он выразил мнение, что я — ярый нацист, но не могу нести ответственности за свои поступки, ибо я политический кретин, человек искусства, не способный отличить действительность от вымысла.

Те трое, которые взяли меня в квартире доктора Эпштейна — портной, часовщик и педиатр,— тоже участвуют в процессе, и проку от них не больше, чем от О'Хара.

Говард У. Кемпбэлл-младший, вот твоя жизнь!

Мой израильский адвокат мистер Алвин Добровитц перевел сюда всю мою почту, без всяких оснований надеясь найти в ней какие-нибудь доказательства моей невиновности.

Ни черта.

Сегодня пришли три письма.

Я распечатаю их сейчас и по порядку расскажу их содержание.

Говорят, надежда вечно живет в человеческой душе. Она вечно живет, во всяком случае, а душе Добровитца, в потому, наверное, он так дорого мне обходится.

Чтобы выйти на свободу, мне необходимо хоть какое-нибудь доказательство существования Фрэнка Виртанена и того, что он сделал меня американским шпионом, считает Добровитц.

Ну, а теперь о сегодняшних письмах.

Первое начинается достаточно тепло: «Дорогой друг»,— называют меня, несмотря на все приписываемые мне дьявольские деяния. Авторы письма предполагают, что я учитель. Мне кажется, я уже упоминал в одной из предыдущих глав, как мое имя попало в список предполагаемых работников на ниве просвещения, как я стал получателем корреспонденции, предназначенной для тех, кто занимается обучением молодежи. Это письмо было от фирмы «Творческие игры».

> Дорогой друг [обращается фирма ко мне, сидящему в иерусалимской тюрьме], не хотите ли вы создать творческую атмосферу вашим ученикам у них дома? Очень важно, что происходит с ними вне школы. Ребенок находится под вашим наблюдением в среднем 25 часов в неделю, тогда как с родителями проводит 45 часов. Влияние родителей может усложнить или облегчить ваши усилия.
>
> Мы полагаем, что игрушки, созданные компанией «Творческие игры», будут прекрасно стимулировать дома ту творческую атмосферу, которую вы как наставник пытаетесь пробудить в ваших маленьких воспитанниках.
>
> Как «Творческие игры» могут это сделать?

> Наши игрушки должны обеспечивать физические потребности растущих детей. Эти игрушки помогают ребенку открывать и разыгрывать разные жизненные ситуации дома и в обществе. Эти игры способствуют выражению индивидуальности, что затруднено при групповом воспитании в школе.
>
> Эти игрушки помогают ребенку избавиться от агрессивности...

На что я ответил:

> «Дорогие друзья! Как человек, имеющий большой опыт в индивидуальной и общественной жизни, и используя опыт реальных людей в реальных жизненных ситуациях, я сомневаюсь, что какие-либо игры могут подготовить ребенка даже на одну миллионную к тем зуботычинам, которые ждут его в жизни. Я убежден, что ребенок должен начинать знакомиться с реальными людьми и с реальным обществом по возможности с момента рождения. И только в случае, если по каким-то причинам это невозможно, стоит использовать игрушки.
>
> Но не такие спокойные, приятные, приглаженные, простые в обращении, как в вашей брошюре, друзья. В этих игрушках не должно быть ничего гармоничного, чтобы дети не выросли в ожидании спокойствия и порядка и не были потом съедены заживо.
>
> Что касается подавления детской агрессивности, то я против этого. Им понадобится вся их агрессивность, которую они могут накопить, чтобы полностью высвободить ее во взрослом состоянии. Назовите хоть одного великого человека в истории, который бы не бурлил и не кипел в детстве, как котел с закрытым предохранительным клапаном.
>
> Позвольте мне сказать, что дети, вверенные моему попечению в среднем 25 часов в неделю, вовсе не расслабляются за те 45 часов, которые они проводят с родителями. Они не играют в Ноев Ковчег с вырезанными из дерева животными, уж поверьте мне. Они все время шпионят за реальными взрослыми, пытаясь понять, за что они борются, чего они алчут и как они удовлетворяют свою алчность, почему и как они лгут, что сводит их с ума, каковы их безумства и так далее.
>
> Не могу предсказать, в какой именно области эти мои воспитанники преуспеют, но гарантирую им всем без исключения успех в любом цивилизованном обществе.
>
> Ваш сторонник реалистической педагогики
>
> Говард У. Кемпбэлл-младший».

Второе письмо?

Оно тоже обращается к Говарду У. Кемпбэллу-младшему как к «Дорогому другу», доказывая, что, по крайней мере, двое из трех авторов сегодняшних писем не имеют никаких претензий к Говарду У. Кемпбэллу-младшему. Это письмо от биржевого маклера из Торонто, Канада. Оно взывает к моим капиталистическим чувствам.

Мне предлагается купить акции вольфрамовых рудников в Манитобе. Прежде чем я сделаю это, я должен более подробно познакомиться с этой компанией. В частности, я должен знать, что она имеет способных управляющих с хорошей репутацией.

Я ведь не вчера родился.

Третье письмо?

Оно адресовано прямо мне сюда, в тюрьму.

И это действительно любопытное письмо. Позвольте мне привести его целиком.

> Дорогой Говард!
>
> Порядок всей человеческой жизни рушится сейчас, как легендарные стены Иерихона. Кто же Иешуа и что за звуки издают его трубы? Хотел бы я знать. Музыка, которая произвела такие разрушения в таких старых стенах, негромкая. Она расплывчатая, тихая, необычная.
>
> Это могла бы быть музыка моей совести. В этом я сомневаюсь.
>
> Я не сделал вам ничего плохого.
>
> Я думаю, что эта музыка, скорее всего,— непреодолимое желание бывшего солдата совершить небольшую измену. И измена — это письмо.
>
> В этот момент я нарушаю прямые и точные приказы, которые были мне даны, даны в интересах Соединенных Штатов Америки.
>
> Я заявляю, что я тот человек, которого вы знали как Фрэнка Виртанена, и сообщаю вам свое настоящее имя.
>
> Мое имя Гарольд Дж. Спэрроу.
>
> Я ушел в отставку из армии Соединенных Штатов в чине полковника. Мой личный номер 0—61134.
>
> Я существую. Меня можно увидеть, услышать, потрогать почти каждый день внутри или возле единственного дома в Коггинс Понд, в шести милях к западу от Хинкливилла, штат Мэн.
>
> Я подтверждаю и готов подтвердить под присягой, что завербовал вас как амери-

канского агента и что вы, ценой невероятных жертв, стали одним из наиболее полезных агентов второй мировой войны.

И если над Говардом У. Кемпбэллом-младшим состоится суд, затеваемый фарисействующими националистами, пусть это письмо будет решающим свидетелем.

Искренне ваш,
«Фрэнк».

Итак, я скоро снова буду свободным человеком и смогу отправляться куда захочу.

Эта перспектива вызывает у меня тошноту.

Я думаю, что сегодня ночью и должен повесить Говарда У. Кемпбэлла-младшего за преступления против самого себя.

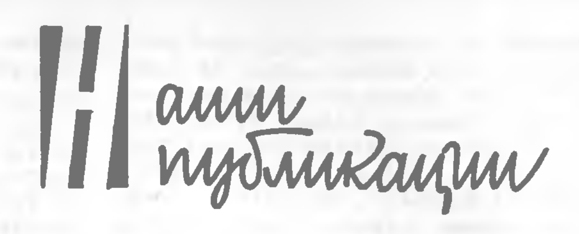
Я знаю, что сегодня та самая ночь.

Говорят, что человек, которого вешают, слышит великолепную музыку. К сожалению, у меня, как и у моего отца, в отличие от моей музыкальной матери, совершенно нет слуха. Все-таки я надеюсь, что мелодия, которую я услышу, не будет «Белым Рождеством» Бинга Кросби.

Прощай, жестокий мир!

Auf Wiedersehen?

Перевели с английского
Л. С. Дубинская и Д. Ф. Кеслер



ПРЕДСМЕРТНЫЕ ПЕСНИ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

Среди загадочных, до сих пор не до конца прочитанных русских поэтов нашего столетия выделяется Николай Клюев, знаменитый олонецкий «песнослов-баян» (так он сам называл себя), автор незабываемо прекрасных строк о таинственной «избяной» России — Великой Матери.

Он впервые появился в петербургских и московских салонах в 1911—1912 годах. Выходец из Заонежья — края раскольников и сектантов, из глухой северной деревушки, одетый «по-народному», говоривший с оканьем, Клюев быстро привлек к себе общее внимание. Народными казались также «песни» и «были», которые поэт не без вызова читал перед «интеллигентной» публикой. Однако было видно, что поэт учился словесному мастерству, прежде всего у русских символистов.

За короткое время — с осени 1911 до весны 1913 года — выходят в свет несколько стихотворных сборников Клюева. Первый из них, озаглавленный «Сосен перезвон», был посвящен Александру Блоку — с ним Клюев переписывался несколько лет. Предисловие же написал Валерий Брюсов. Тепло встреченный критикой, этот сборник принес олонецкому поэту заслуженную известность. Не удивительно: интерес к «народу» (точнее — крестьянству) и его духовным возможностям был в ту пору чрезвычайно велик; немалым успехом пользовалась и стилизованная деревня. Клюевым увлекались многие. Среди его почитателей были Блок, Андрей Белый, Сергей Городецкий, А. Н. Толстой, Гумилев, Анна Ахматова... В нем видели подлинно «народного» поэта, чему способствовали, с одной стороны, его талантливые стилизации в фольклорном духе, с другой — представления о нем как о крестьянине-сектанте, страннике-богомольце и певце-пророке, выступающем от лица «народа». Впрочем, такой ореол вокруг Клюева создавался не без его собственного участия.

К 1917 году слава Клюева становится всероссийской. Он дружит с Есениным, совершает гастрольные поездки по России вместе с известной певицей Надеждой Плевицкой. Его стихи публикуются в крупнейших русских газетах и журналах.

С воодушевлением воспринял поэт революционные события 1917 года. Он верил в духовное «преображение» мира, в грядущий патриархальный рай, где будут господствовать жнецы и пахари — люди «естественного» труда. Как и многим, Клюеву тогда казалось, что пробудившийся «народ-Святогор» сможет наконец выпрямиться во весь свой могучий рост. Но в картине счастливого будущего, что рисовалась Клюеву, не было места Городу — машинной цивилизации, фабрично-заводскому укладу, «железному Молоху»; все это им отвергалось как начало, враждебное Природе и Богу.

Мечты Клюева и других «новокрестьянских» поэтов (Есенина, Клычкова) оказались несбыточными, утопическими. История жестоко посмеялась над поэтами-романтиками. Неонародническая доктрина, которую лелеял и утверждал Клюев, стала рушиться сразу же после Октябрьского переворота. Поэт «подлонной» святой Руси, певец ее древних патриархальных устоев, Клюев был обречен изначально — самим ходом русской истории.

Впрочем, в 1917—1918 годах еще трудно

Азадовский Константин Маркович (р. в 1941 г.) — кандидат филологических наук, переводчик, литературовед, автор многочисленных публикаций по истории русской и немецкой культуры. Член СП и ПЕН-клуба. Живет в Ленинграде.

было себе представить, куда пойдет революция. Еще сохранялись иллюзии и надежды... Еще раздавались отдельные голоса, славословившие Клюева на прежний лад. Так, известный критик Иванов-Разумник в статье «Поэты и революция» (1917) с пафосом возглашал, что Клюев — «подлинно *первый* народный поэт ⟨...⟩ он вскрывает перед нами не только удивительную глубинную поэзию крестьянского обихода ⟨...⟩ но и тайную мистику внутренних народных переживаний». Приблизительно так же отзывался тогда о Клюеве и Андрей Белый.

Живя в родной Вытегре (с весны 1918 г.), Клюев в ту пору проявляет себя убежденным сторонником советской власти: активно сотрудничает в местной печати, пишет публицистические статьи и стихи, прославляющие революционное «красное» время и даже... вступает в партию большевиков. (Впрочем, пребывание Клюева в партии оказалось недолгим — весной 1920 года он был из нее исключен за религиозное мировоззрение.)

Но уже тогда Клюев испытывал неуверенность и тревогу. Ему все более становилось ясно, что победившая — «пролетарская»! — идеология несовместима с его идеалами крестьянского «ржаного рая» и «святой Руси», которые он упорно продолжал воспевать («Уму — республика, а сердцу — Матерь Русь...»). Ощущение обреченности, неминуемой гибели охватывало поэта уже в начале 1918 года. «Я очень и очень удручен,— писал он в те месяцы издателю В. С. Миролюбову,— ни за что придется пропадать, хотя при пролетарской культуре такие люди, как я, и должны погибнуть». В своих стихах тех лет Клюев охотно спорил с поэтами Пролеткульта, воспевавшими заводы, турбины, домны и «железного» пролетария. Полемика с ними занимает видное место в его поэзии 1918—1921 годов (три таких стихотворения впервые публикуются ниже). С некоторыми из пролетарских поэтов (В. Кириллов, И. Садофьев и др.) Клюев был знаком лично, что не мешало ему обличать их гневными, изобличительными строками:

Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные ⟨...⟩
Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово...

«И цвести над Русью новою Будут гречневые гении»,— столь явным вызовом завершал Клюев это известное стихотворение, обращенное к В. Кириллову.

Горечь поэта усугублялась тем, что происходило в стране: разруха, война, террор. Трагическим, подчас апокалиптическим видением действительности окрашены стихотворения, составившие сборник «Львиный хлеб» (М., 1922). Центральный образ книги — окровавленная, казнимая, неприкаянная Россия. Вот несколько строк стихотворения «Из избы вытекают межи...»:

Хмура Волга я стевь непогожа,
Где курганы пурга замела.
Где Светланина треплется лента,
Окровавленный плата лоскут...
Грай газетный и щекот конвента
Славословят с оковами кнут.

Впрочем, настроения, владевшие в ту пору Клюевым, выражались у него чаще исподволь, намеком, иносказательно. «Вы пишете о стихах! — отвечает Клюев В. С. Миролюбову в конце 1919 года.— Стыдно мне выносить их на люди. Они уже с занозой, с ядком. Бесенята обсели их, как мухи». Это красноречивое признание — ключ к стихам Клюева первых послереволюционных лет. И, кстати, не все из них поэту случалось «выносить на люди». Те стихотворения, в которых чувство свершившейся катастрофы было выражено слишком откровенно, не вошли в сборник «Львиный хлеб» и надолго остались под спудом. Таково, например, публикуемое ниже стихотворение «Потемки — поджарая кошка...».

Летом-осенью 1923 года Клюев был вынужден окончательно расстаться с Вытегрой и поселиться в Петрограде. К тому времени ему было нанесено несколько жестоких ударов. Против его «сермяжной» и «пахотной» идеологии наиболее ополчался поэт В. Князев, выпустивший затем отдельную книгу «Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)» (Пг., 1924). Но особенно слышно прозвучала в 1922 году статья Л. Д. Троцкого, с которой, собственно, берет начало новый миф о Клюеве — «кулацком» и «контрреволюционном» поэте (тогда как миф о «народном» поэте необратимо отступал в прошлое).

На берегах Невы Клюеву жилось неспокойно. Официальная советская критика (рапповцы и др.) держат «крестьянского» поэта под постоянным прицелом. Печататься удавалось лишь с большим трудом. Однако именно в 20-е годы Клюев создает большие эпические произведения («Плач о Сергее Есенине», «Деревня», «Погорельщина»); в них как художник он достигает новых вершин. Особенной мощью и зрелостью отличается поэма «Погорельщина» (1928), полностью опубликованная в СССР лишь в 1987 году. Это уже не стихи «с занозой, с ядком», но своего рода плач по уничтоженной «погорелой» России и ее погибшей поруганной красоте.

В 1928 году выходит в свет последний прижизненный сборник Клюева — «Изба и поле». В последующие годы ситуация поэта стремительно ухудшается. Провозглашенная в стране политика коллективизации и ликвидации кулачества подчиняла себе и положение дел в культуре. Достаточно вспомнить, что крестьянские писатели получают в 1931 году название... «пролетарско-колхозных». Объявленный «врагом» и подвергнутый неутихающей травле, Клюев вовсе устраняется из советской литературы.

Слово «враг» в условиях того времени было равносильно обвинительному приговору. И поэт, конечно, угадывал, что ему предстоит. Тем более замечательно, что и в ту эпоху — 30-х годов — Клюев не идет на уступки, пытается сохранить себя как поэт и личность. Не лишенный актерства и даже лукавства в обыденной жизни, он не желал притворяться в главном. И в своих последних стихах он вновь и вновь проговаривается о том, какой видится ему современная Россия — торжеством «дьявольских сил» или новой «татарщиной», горестно сокрушается о судьбе страны:

Отлетает Русь, отлетает
С косогоров, лазов, лесов...

Все чаще пишет Клюев о собственной неминуемой смерти, призывает ее. В начале 1933 года эти настроения усугубляются личными обстоятельствами: «изменой» близкого ему человека, молодого художника Анатолия Яр-Кравченко (1911—1983), с которым поэта в течение нескольких лет соединяла тесная дружба. Возникает цикл стихотворных «ламентаций»; в них поэт оплакивает «свежую могилу» своей любви (см. два публикуемых ниже стихотворения). То и дело мелькают в его стихах упоминания о погосте, гробовой доске, появляются жуткие образы проказы, нетопыря или змеи с ядовитым жалом.

Старикам донашивать кафтаны,
Нам же рай смертельный и желанный,
Где проказа пляшет со змеей!

Ощущение скорой и страшной развязки не обмануло поэта. 2 февраля 1934 года он был арестован в Москве, где жил постоянно с начала 30-х годов. На допросах Клюев держался стойко, не скрывал своих истинных убеждений.

«Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении „Есть демоны чумы, проказы и холеры...“,— подтвердил Клюев на допросе.— ⟨...⟩ Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни». А про коллективизацию поэт сказал, что это процесс, «разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа».

Решением коллегии ОГПУ Клюев был выслан из Москвы сроком на 5 лет в город Колпашев Нарымского края (Западная Сибирь). Через несколько месяцев его переводят на жительство в Томск. В сохранившихся письмах (подчас потрясающих по своему звучанию) поэт оплакивает себя и свою музу, «которой зверски выколоты провидящие очи» (из письма к С. А. Клычкову от 12 июня 1934 года). В неописуемо тяжких, страдальческих условиях проводит Клюев эти сибирские годы. «Я последние три месяца не вставал с койки — все болел и болел,— рассказывает он своей знакомой Н. Ф. Христофоровой 6 апреля 1937 года.— Время делает свое — все реже и реже приходит милостыня и вести от моих далеких друзей, а ведь осталось еще не так много — полтора года, если я их вынесу — продержусь, то я и спасен, если Бог грехам потерпит...» Но мечтам о «спасении» не суждено было сбыться. Ровно через два месяца его вновь арестовывают — по обвинению в деятельности вымышленной «монархо-кадетской» организации. Как стало известно в 1989 году, Клюев был расстрелян в Томске по приговору «тройки» между 23 и 25 октября 1937 года. «Поэт великой страны, ее красоты и судьбы», он разделил ее горькую, несправедливую участь.

Ниже публикуются семь стихотворений Клюева 1919—1921 годов и два «любовных послания» к Анатолию Яр-Кравченко 1933 года. Три стихотворения печатались ранее: первое и второе — в газете «Звезда Вытегры» (№ 74 от 4 октября 1919 г.) в составе цикла «Вороньи песни»; стихотворение «Потемки — поджарая кошка...» — в 8-м номере Литературного приложения к парижской газете «Русская мысль» (№ 3781 от 23 июня 1989 г.). Широкому читателю эти произведения, таким образом, труднодоступны.

Остальные стихотворения публикуются впервые. Третье, четвертое, пятое и шестое стихотворения сохранились в копии, выполненной Николаем Ильичем Архиповым (1887—1967), близким другом Клюева. Тетрадь, в которую были переписаны им эти и другие стихотворения поэта, находится ныне в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Там же, в бумагах Архипова, хранятся и машинописи обоих «посланий»: «Моему другу Анатолию Яру» и «Из предсмертных песен». Машинописный экземпляр двух последних текстов обнаружен также в архиве Р. В. Иванова-Разумника (Рукописный отдел Пушкинского дома, фонд 79, опись 4, № 92). В целом эти копии совпадают, если не считать отрывков из книги П. Флоренского «Столп и утверждение истины», образующих эпиграф к стихотворению «Моему другу Анатолию Яру» (в списке Архипова они опущены).

В основе стихотворений «Я обижен сестрою родной, домашней...» и «Воры в келье: сестра и зять...» лежит реальное событие: ссора Клюева с его родной сестрой Клавдией Алексеевной Расщепериной (1881—1941?), которая в голодные послереволюционные годы на время переселилась из Петрограда в Вытегру. Причины

ссоры не вполне выяснены. «Сестра и зять вдобавок обокрали меня,— рассказывал Клюев Есенину 28 января 1922 года,— я уезжал в Белозерский уезд, они вырезали замок в келье, взломали дубовый кованый сундук и выкрали все, что было мною приобретено за 15-ть лет...»

О стихотворениях «Григорий Новых цветистей Бессалько...» и «Статья в широченных „Известиях"...» следует сказать, что они навеяны, очевидно, статьями из петроградских «Известий» за май 1920 года. В первой из них (№ 104 от 14 мая) под названием «Библиотека Пролеткульта» (статья подписана: А. К-н) восхвалялось творчество пролетарских поэтов И. Садофьева и А. Самобытника (Маширова). «...Новый социальный мир,— восклицал автор статьи,— на новом фундаменте выстроенный, мощном и крепком (железо и гранит), т. е. социально-справедливом и моральном,— к этому надо стремиться». Слова о железе и граните были цитатой из стихов Садофьева:

На железе и граните
Разобьем цветистый сад.

Сочувственно отмечалось также, что в стихах Садофьева слышна «заводская жизнь с ее шумом машины, лязгом железа и стали, стуком молота, с дымящимися высокими трубами и вечно закоптелым удушливым воздухом в мастерских и горнах». Говоря иначе, возвеличивался тот самый неприемлемый для Клюева бездуховный машинный мир, враждебный Слову, Искусству, Тайне.

Автором другой статьи в петроградских «Известиях» (№ 111 от 24 мая), озаглавленной «Крестьянские поэты», был литератор П. В. Пятницкий, писавший под псевдонимом Кий (отсюда — клюевская строчка в пятом стихотворении: «Пересыплют в „Известиях" Кии...»). Касаясь одних лишь Клюева и Есенина, Пятницкий заявлял, что «крестьянские поэты недостаточно размашисты, стойки и проникнуты духом коллективизма». Кроме того, Клюеву ставилось в вину то, что «он в неизмеримо большей степени является певцом былой статики, чем текущей динамики уже мирового размаха». Не эти ли слова назвал Клюев «сулемой» и «построчной ваксой»?!

Стихотворения расположены в хронологическом порядке: первые два относятся к 1919 г., третье, четвертое и пятое, по всей видимости,— к 1920 г., шестое — к 1921 г. После стихотворения «Моему другу Анатолию Яру» в машинописи имеется помета: «Первого мая 1933 г. Москва»; после стихотворения «Из предсмертных песен» — «10-го мая 1933 г.».

Эпиграф к стихотворению «Моему другу Анатолию Яру» воспроизводится по книге Флоренского, с сохранением сделанных Клюевым перестановок в тексте. Эпиграф к стихотворению «Из предсмертных песен» представляет собой две строки самого Клюева: поэт ласково уподоблял своего питомца лосенку, себя же — старому лесному ручью. В стихотворении «Повесть скорби» читаем:

Жил дед и Анатолий Яр —
Лосенок, что пришел напиться
К ручью лесному... и т. д.

Последняя строфа стихотворения «Статья в широченных „Известиях"...» приписана другими чернилами.

Недостающие в копиях знаки препинания расставлены публикатором.

К. Азадовский

1

Мы верим в братьев многоочитых,
А Ленин в железо и в красный ум.
В придорожных хлябких ракитах
Многоверстный горестный шум.

Неспроста и застольный ломоть,
Как душа, златисто-духмян.
Погрозится облачный коготь,
На болотце выйдет туман.

С пихты белка обронит шишку,
Подарив земле семена...
Братья, время ли в пламя-книжку
Пеленать бойцов имена?

Не в ракитах ли Луначарский
Нашептывает деревням:
«Кнутобойный облик татарский
Ненавистен знанья сынам».

Не Зиновьев ли множит ветры
И зловеще ставнею бьет?..
Нарядилась Россия в гетры,
Позабыв узорный камлот.

Тихий Углич, Ростов Великий
Не пахнут родимым углом,
И стихи — седые калики
Загнусавили вороньем.

Грай пророчит «Остров Елены»,
Из Гейне «Двух гренадер»...
Сшивают саван измены
Из мглы и страхов пещер.

Чернобыльем цветет Рассудок,
И пургою пляшет Порок.
Для кого же из незабудок
Небеса сплетают венок?

2

Я обижен сестрою родной, домашней,
В чьих напевах детства свирель.
Многоярусной зоркою башней
Вознеслась за оконцем ель.

Белка-совесть теребит хвои;
Слезка канет, как круглый год.
В нумидийском мускусном зное
Дозревает мщения плод.

Искривятся мои иконы,
Воздохнет в чулане тулуп,
И слетятся на ель вороны,
Чуя теплый, лакомый труп.

Не найдется в целой коммуне
Безутешней моих зрачков.
В октябре, как в смуглом июне,
Много алых, жгучих цветов.

Полыхают они на знаменах,
На товарищеских губах...
В листопадных, предзимних звонах
Притаился холодный страх.

В марсельезе коршуна крики,
И в плакатах буйственный лев.
Генеральским смехом Деникин
Покрывает борьбы напев.

Оттого в опустелом доме
Ненавистна песня сестры...
Мы очнемся в Красном Содоме,
Где из струн и песен шатры,

Где русалкою Саломия
За любовь исходит в плясне...
Обезглавленная Россия
Предстает, как поэма, мне.

3

Воры в келье: сестра и зять
С отмычкой от маминой укладки.
Как же мне не рыдать
Ввечеру при старой лампадке!

Как же мне не седеть,
Не складывать лба в морщины!..
Паучья липкая сеть
Заткала горы, долины.

И за каждым выступом вор
С рысьими зелеными глазами...
Не пролазеи терновый сор,
Накопленный злыми веками.

Сестра, хитроглазый зять —
Привиденья из жуткой сказки...
Чрез болото, лесную гать
Мчатся зимы салазки.

Леденеет мое перо,
И кудрявятся вьюгой строки,
Милосердие, жертва, добро —
Только сон голубой, далекий.

На глухих руинах стихов
Воронье да совы гнездятся,
И, кляня под звон кандалов,
Запевает сестра о братце.

4

Статья в широченных «Известиях»,
Веющая гибелью княжны Таракановой,
Вещает о песенных бедствиях,
О смерти крестной, баяновой:

«В рязанском небе не клюют жаворо́нки
Золотого проса, бисера слезного,
Лишь вокзалов глотки да плавилен заслонки —
Зыбка искусства чугунного, грозного!»

Недаром избы родимые
Дымятся скорбью глухой, угарною,
И песни-гуси, орлом гонимые,
Ныряют в загуменья стаей янтарною.

Гумно — гусыня матёрая
Гогочет зловеще молотьбой недородною:
«Я матка созвучий, столетняя хворая,
Яйцо мое — тайна с судьбиной народною!»

Гусак стальноклювый, чей мозг —
индустрия,
Чье сердце — турбина, крыло — маховик,
Кричит из-за моря: «Россия, Россия,
В миры запрокинь огневеющий лик!» [1]

Великая Матка поет пред кончиной,
Но лавой бурлит адамант-яицо...

Невнятно «Известиям» дымкой овинной
Повитое Слово, как сфинкса лицо.

Под треск пулеметов и визги трактиров
Родились поэты — наседка галчат.
За Гете — Садофьева [2], за Гюго —
Маширов [3] —
Над распятой книгой чернильный закат.

5

Григорий Новых [4] цветистей Бессалько [5]:
В нем глубь Байкала, сметка бобров.
От газетной ваксы и талька
Смертельно выводку слов.

Пересыплют в «Известиях» Кни
Перья сиринов сулемой,
И останутся от России
Кандалы с пропащей сумой.

Ни соло́вки, ни зелена сада,
Только шишки да бедный Макар...
Из чернильного водопада
Вытекает речка «товар».

Вниз по быстрой плывет ватага
Буквенной голытьбы...
Словно тучи застит бумага
Лик Коммуны и русской судьбы.

Утопает в построчной ваксе
Златоствольный искусства сад,
И под Смольным сюртук на Марксе
Продырявил брошюрный град.

Брат великий, сосцы овина
Пеклеванный вскормили цвет,
Избяных напевов ряднина
Свяжет молот и злак в букет.

Разгадать ли красную тайну
Кляксопанировым ведунам?
От Печоры на Буг и Майну [6]
Мчится всадник — Ржаной Хирам [7].

То строитель звездных просонок
Всеплеменной песни-избы...
Не Садко, а шрифтный бесенок
Баламутит глуби судьбы.

6

Арский [8], Аксён Ачкасов [9] —
Чужие далекие слова,
Отчего же, как в пестрых Яссах [10],
Кру́жится голова?

Не розы ль в голодной книжке,
В ощеренных волчьих стихах?
Не останется сердце в излишке
От секущих язвы и страх.

Это ран дурманящий запах,
Браунинговый смертный след,
В россомашьих неслышных лапах
Убаюкан рабочий поэт.

Баю-бай! Вместо речки — уголь,
Купоросные берега!..
Эй, петля, затянута ль туго
На шее у музы-врага?

Эй, заплечный рогатый мастер,
Готовь для искусства дыбу!
Стальноклювым вороном Гастев [11]
Взгромоздился на древо-судьбу,

Клюет лучезарные дули:
Ухо Скрябина, тютчевский глаз...
В голубом васильковом июле
Свершится мужицкий сказ:

Городские злые задворки
Заметелят убийства след,
По голгофским русским пригоркам
Зазлатится клюевоцвет.

Выйдет жница в насущное поле
Жаворонком размыкать тоску,
В пестрядинном родном подоле
Быть душе — заревому цветку!

7

Потемки — поджарая кошка
С мяуканьем ветра в трубе,
И звезд просяная окрошка
На синей небесной губе.

Земля не питает, не робит,
В амбаре пустуют кули.
А где-то над желтою Гоби
Плетут невода журавли.

А где-то в кисичном [12] улусе
Скут [13] пряжу и доят овец...
Цветы окровавленной Руси —
Бодяга и смертный волчец.

На солнце саврасом и рябом
Клюв молота, коготь серпа...
Плетется по книжным ухабам
Годов выгребная арба.

В ней Пушкина череп, Толстого,
Отребьями Гоголя сны,
С Покоем горбатое Слово
Одрами в арбу впряжены.

Приметна ль вознице сторожка,
Где я песноклады таю?..
Потемки — поджарая кошка
Крадутся к душе-воробью.

8. МОЕМУ ДРУГУ АНАТОЛИЮ ЯРУ

Сердце, изъязвленное Другом, не залечится ничем,— кроме Времени да Смерти. Но Время стирает язвы его, удаляя и больную часть сердца,— частично умерщвляет,— а Смерть изничтожает всего человека. Поскольку жив, стало быть, человек, постольку неисцельны и болезненны раны его от дружбы. И будет он ходить с ними, чтобы явить их Вечному Судие.

Для всяких скорбей находятся слова, но потеря друга и близкого — выше слов: тут — предел скорби, тут какой-то нравственный обморок. Одиночество — страшное слово: «быть без друга» таинственным образом соприкасается с «быть вне Бога». Лишение друга — это род смерти.

Потрясающие стоны 87-го псалма обрываются воплем,— *о друге*:

«Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал как человек без силы между мертвыми брошенный,— как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не *вспоминаешь*.— Господи. *Ты удалил от меня Друга искреннего*: знакомых моих не видно!»

(Из книги «Столп и утверждение истины» Павла Флоренского, стр. 476, 416—417.)

Не верю, что читать без слез
Ты будешь ветхие страницы,
Где хвоями цветут ресницы
И ручейком журчит вопрос:
За что поэту преподнес
Ты скорпиона в нежной розе?..
В скрипучем жизненном обозе
Есть жернов смерти тяжелей —
Твое предательство, злодей,
Лукавый раб, жених, владыка...
Ах, не лесная голубика
Украсит черное копье,—
В крови певучей лезвие,
С зарею схожей, самой чистой!..
Тебя завидя, вяз росистый
Напружит паруса по корень,
Чтобы размыкать на просторе,
В морях или в лесном пожаре,
Глухую весть, что яхонт карий
Твоих зрачков горит слюдой,
Где месяц мертвой головой
Повис на облачной веревке!..
Есть Святки, синие Петровки —
Любимый праздник косарей,
Не с ними брачится злодей:
Страстная крестная суббота
Убийцу нудит из болота
К поэту постучать в оконце...
В Москве или в глухом Олонце,
Кровь на ноже — одна и та же!..
Будь счастлив, милый!.. Хвойной пряжей
Моя струится борода,
И в сердце рана, как звезда,
Лучится лебедем на плёсе.
Уже не турьим рогом сосен,
Узорною славянской сагой —
Крикливой нотною бумагой
Повеет на твои ресницы,

И не дослушанной певицы,
Каких на свете миллионы,
Ты почерпнешь руладо-звоны
Душой ли, пригоршней любимой?!
Но только облик серафима
Пурге седин как май погожий...
У русских рек и подорожий
О яхонтах звенит мой посох:
Они глядят из трав и проса

С мольбою смертной, огнепальной...
Не песней Грузии печальной [14],
А вдовьей ивовой свирелью
Я убаюкиваю келью:
Бай-бай! Усните, злые боли,
Нож не натачивает Толи,
Он в белом гробике уснул
Под заревой сосновый гул.

9. ИЗ ПРЕДСМЕРТНЫХ ПЕСЕН

Под солнцем жизни было двое —
Лосенок и лесной ручей...

Змея змею целует в жало,
Ручей полощет покрывало
В ладонях матери-реки,
И ткут запястья тростники,
Друг друга к лебедю ревнуя,
Рассветной тучки поцелуи
Пылают на щеке сосновой,
Вещуньяграет слово в слово,
Что вороненок сыт, зобат,
Скулит мухтарко, что богат
Облавами с соседским псом,
По тополю скучает дом
Вечерним ласковым дымком,
И даже куцая метла
Приятством к заступу тепла,—
А я, как тур из Беловежьн,
Где вывелась трава медвежья,
Чтоб жвачкой рану исцелить,
Зову турёнка тяжким мыком,
Но пряжей ель и липа лыком
Расшили дебрь не впрок и сыть!
Судьба безглаза. Тур один —
Литовских кладов властелин,
Он рухнет бухлым ржавым дубом,
Рога ломая о порубы,
Чтобы душа — глухарь матерый —
Дозором облетела боры,

Где недоласканный туренок
Влюбился в гарпию спросонок:
Совиха с женской головой,
Рысиный зуб и коготь злой.
За что отель покинул вымя
И теплый пах, в каком Нарыме
Найдет он деда с грудью турьей?!
Там мягко рожкам в стыть [15] и в бури...
Иль мало взмылено слюны
На ножки-брыки, губы-ляли,
Иль яхонты зрачков устали
Пить сусло северной весны
И мед звериной глубины,
Где вечность в хвойном покрывале?!
Мой первородный,— плачет дед,
Как ель смолою, в чащу лет,—
Она, как озеро лесное!..
О, Лель! О, дитятко родное!

Душа-глухарь о ребра бьет,
Туман крадется из болот,
Змея змею целует в жало,
И земляное одеяло
Крот делит с пегою кротихой,
А я, как тур настигнут лихом,
С рогатиной в крестце сохатом,
Покинут в смерти милым братом!

Примечания

[1] Видимо, отголосок заключительных строк из стихотворения Андрея Белого «Родине» (1917):

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

[2] Илья Иванович Садофьев (1889—1965) — поэт.

[3] Алексей Иванович Самобытник (наст. фамилия Маширов; 1884—1943) — поэт.

[4] Новых — Распутин Григорий Ефимович (1872—1916). Образ Распутина волновал Клюева, что отразилось и в его творчестве.

[5] Павел Карпович Бессалько (1887—1920) — писатель, один из видных деятелей Пролеткульта; критически отзывался о поэзии Клюева.

[6] Майна — река в Симбирской губернии (ныне — Ульяновской области).

[7] Хирам — тирский царь X в. до н. э.

[8] Павел Александрович Арский (наст. фамилия — Афанасьев; 1886—1967) — поэт, драматург.

[9] Правильно: Аксевь Ачкасов — один из псевдонимов Ильи Садофьева.

[10] Яссы — город в Румынии.

[11] Алексей Капитонович Гастев (1882 — 1939 или 1941) — поэт, революционный деятель, ученый.

[12] Правильней: «кизичном» — от слова «кизик» или «кизяк» (сухой навоз, используемый как топливо).

[13] Скать, то есть сучить, свивать, скручивать *(диал.)*.

[14] Обыграна известная строка из пушкинского стихотворения «Не пой, красавица, при мне...».

[15] Правильней: стыдь *(диал.)* — мороз, стужа.

Публикация и примечания
К. М. Азадовского

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ

За почти шесть десятилетий литературной деятельности поэт, журналист, прозавк, эссеист, критик Илья Эренбург представал перед читателем в самой разной ролв, выступая поочередно и одновременно в разных жанрах. В молодости он нередко после встреч и бесед с видными поэтами и художниками писал об этих встречах, приводил высказывания деятелей искусства о творчестве. Едва ли не первый такой очерк «У Франсиса Жамма» появился еще в феврале 1914 года в «Нови». Потом были очерки о крупных художяиках-кубистах в «Биржевых ведомостях». Это еще в дни первой мировой войны. В двадцатые — тридцатые годы Эренбургу, ввовь ставшему корреспондентом газеты, вриходилось брать интервью и у видных государственных деятелей...

Но со временем писатель занял такое место в культурной и общественной жизни и стал известен в такой мере, что уже к нему самому обращались за интервью представители советской и мировой печати. Например, когда летом 1934 года он вместе с Андре Мальро прибыл на пароходе из Франции в Ленинград, «Литературная газета» дала беседы своих корресвондентов — одну с Мальро, другую — с Эренбургом. Естественными были обращения журвалистов к Эренбургу, приезжавшему в Москву в разгар Испанской войны (конец 1937 — начало 1938).

Несколько лет назад я повторил маршрут Эренбурга, которым ов проехал через Болгарию осенью 1945 года. Там я слушал рассказы участников встреч с писателем и перечитал отчеты о беседах с ним журналистов Софии и Пловдива. Наши читатели еще мало знают о том, как встречали в братской страве знаменитого публицаста, чьи статьи передавала в годы оккупации подпольная радиостанция «Христо Ботев». Не знают и тогдашних интервью Эренбурга.

После Болгарии была поездка еще в несколько европейских страв, а весной 1946-го Эреабург (вместе с К. Симововым) отправился в Америку. Там ему пришлось отвечать на нелегкие вопросы. Потом Симонов вспомииал об этом. Наших писателей принимали представители американской общественности, но бывали встречи, которых Эренбург искал сам. С робостью ехал в гости к А. Эйнштейну. Эренбург не брал у него интервью, но постарался вередать каждое слово, сказанное великаном науки, и дал в мемуарах портрет ученого.

Эренбург был щедр в своих писаниях, о многих статьях и тем более интервью он ве помнил. При жизни напечатано почти десять тысяч его статей, более четырехсот (!) после смерти. Во многих газетах и журналах не только нашей страны, во и Фравцви, Англии, США публиковались беседы с вим видных журналистов. Эренбург, естественно, отвечал на вопросы. Но он также в сам вел беседу, полемизировал со своими оппонентами. Конечно, в этих антервью всегда виден и его собеседник, который знал, что без согласия Эренбурга не сможет опубликовать и строки. С любого рода искажевиями писатель боролся, протестовал, когда мысль его передавалась неточно. К сожалению, такое случалось и с нашими газетами.

Ниже публикуется беседа с Эренбургом, относящаяся к осени 1959 года. В этот год писатель начал свой большой труд «Люди, годы, жизвь». Общую обстановку в стране он оценивал как хорошую: еще шел процесс, намечеввый XX съездом партии. Н. С. Хрущев оставался лидером, с которым связавы были надежды на дальнейшую демократизацию общества. Именно в эту пору Эренбург даже нависал небольшую статью «Портрет Хрущева», овубликованную в № 1 «Звезды» за этот год. В ней он выражал надежду на улучшение международного климата...

В то же время уже произошли события, омрачившие нашу общественную жизнь. К ним относилось и «дело Пастернака». Логическим продолжением этой истории стали дальвейшие нападки ва интеллигенцию, когда, через несколько лет, уже «прорабатывали» самого Эренбурга за его мемуарную эпопею.

Затем последовала вынужденная отставка нашего лидера и постепенный отход от линии XX съезда...

Судя по интервью, Эренбург не до конца понял причины травли Пастерпака, зато многие другие мысли, высказанные им почти тридцать лет вазад, звучат весьма своевременно. Перевод текста дается по экземпляру, находящемуся в архиве пвсателя.

ЧИТАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ В РОССИИ

Беседа с Ильей Эренбургом в Москве. Автор — Норман Казинс.

В кабинете своей московской квартиры Илья Эренбург разговаривает о книгах, о проблемах, встающих перед писателями, о Пикассо, Пастернаке и американо-советских отношениях. Почти все время он изъясняется по-французски, широко используя мелодичность и тончайшие оттенки языка, который он, судя по всему, любит.

— Вы спрашиваете меня о наших выдающихся писателях,— говорит он,— не думаю, что у нас есть подлинно выдающиеся писатели. Правда, имеются у нас литераторы, пользующиеся известным признанием, но нет группы или школы писателей, которых можно было бы сравнить с плеядой авторов, выдвинувшихся в последние годы в Америке, таких, например, как Хемингуэй, Стейнбек, Фолкнер, Драйзер, Синклер Льюис, Элтон Синклер и так далее.

Начиная с двадцатых годов Америке везло больше в том смысле, что она сумела выдвинуть писателей истинного таланта, у которых есть что сказать, которые обладают литературным мастерством, соответствующим их замыслам, которые пользуются словами, находящими отклик у людей. В течение всего этого периода ваша литература была лучшей в мире — по крайней мере, с двадцатых по сороковые. Современная советская литература далека от подобных масштабов.

Почему же это так? — продолжает он.— Я много размышлял над этим вопросом. Когда несколько лет назад я посетил Соединенные Штаты, я пытался уяснить себе, почему американские писатели высказывают более зрелое дарование. Мне думается, что я нашел ответ. Я установил, что лучшие американские писатели не начинают писать, пока не накопят настоящий большой опыт. Автор, подобный Хемингуэю, черпает материал не только в своем воображении, но и в богатстве жизни. Джон Стейнбек, вероятно, перепробовал не меньше двенадцати профессий раньше, чем начал писать. Так или иначе, суть состоит в том, что сначала они жили и наблюдали, а писали уже потом. Здесь же многие наши писатели сначала пишут, а потом живут. У слишком многих еще молоко на губах не обсохло, а они уже вовсю начинают излагать свои мысли о великих вопросах, занимающих человечество; между тем эти вопросы не удалось разрешить некоторым из самых зрелых умов мира.

Он закурил сигарету, откинулся назад, сложил руки под подбородком.

— Есть и другое, что можно было бы сказать в этой связи,— резюмировал он.— Ваши писатели знают свою страну и свой народ, но ваш народ не знает своих писателей. В Америке я обнаружил, что средний, наудачу выбранный человек лишь редко знает о ваших действительно выдающихся писателях. Так, в Оксфорде (штат Миссисипи) я встретил множество людей, решительно ничего не знавших о творчестве своего земляка Вильяма Фолкнера. В других местах я сталкивался с американцами, знавшими Хемингуэя лишь по кинофильмам, снятым по его произведениям. У нас все знают писателей, но в какой мере сами писатели знают жизнь народа?

Ваши писатели заслужили у американского народа больше, чем они получают. Здесь же дело обстоит как раз наоборот. В Советском Союзе писателей ставят очень высоко. Это положение длится уже давно. Вспоминаю, как в дореволюционные годы — тогда я был еще мальчиком — народ почитал Толстого. Мой отец был специалистом по пиву. Пивоваренный завод, на котором он работал, находился рядом с домом Толстого. Все рабочие завода ценили величие Толстого, воздавая ему дань всяческого уважения. Но, будучи неграмотными, они не могли читать его книг. Так было и в других местах. Но народ знал, что у него есть выдающиеся писатели.

Затем произошла революция. Одна из великих перемен, осуществленных ею, заключалась в том, что неграмотность была быстро искоренена. Многие миллионы людей впервые начали читать серьезные книги. Но я боюсь, что мы достигли ширины за счет глубины. В течение долгого времени читатели были не столь взыскательны, как это должно быть. Но в последние годы наш читатель вырос, повысился его вкус и искушенность. Однако наши писатели не шли с ним вровень. И в результате многие наши читатели оказались далеко впереди наших писателей. Они заслуживают лучшего, чем то, что получают.

Он улыбнулся, и глаза его засветились, словно их озарила вспышка далекого воспоминания.

— Я вспоминаю слова одного весьма известного советского автора, произнесенные им на Первом съезде писателей в 1934 году. Он сказал, что у него нет ощущения того, что он пишет именно для тех, кто впоследствии читает его книги. Они, мол, не способны понять то, что он пытается высказать. Пять лет спустя я присутствовал на литературной конференции в одном из писательских клубов Москвы. В числе присутствующих было немало читателей. Один из них вступил со мной в разговор по поводу произведения писателя, которого я только что упомянул. «Я потерял интерес к книгам этого писателя,— сказал мне мой собеседник.— Они слишком незрелы и элементарны». Я не говорю, что положение во всей стране могло измениться за короткий промежуток в пять лет. Но в сравнении с первыми послереволюционными годами изменения, конечно, произошли. Теперь народ способен воспринимать литературные произведения значительного масштаба и содержания, тонкие, полные нюансов, точно выраженных настроений. Но мы не производим литературу такого типа. Вот почему я говорю, что наши писатели не поднялись до уровня нашего народа. Было бы идеально, если бы смогли сочетать манеру письма, существующую в Америке, с той читательской аудиторией, которая имеется в Советском Союзе.

Я сказал моему хозяину, что он дал мне самое лучшее из всех слышанных мною

объяснений факта популярности американских писателей в России, особенно таких, как Хемингуэй, Стейнбек, Драйзер, Сароян, Синклер Льюис.

— Но знаете,— сказал он,— рост нашей культуры дает мне некоторую надежду, что мы сможем работать лучше. Назову поэта Мартынова. Очень тонкий поэт, серьезный поэт. Долгое время его стихи не публиковались, потому что работники издательств считали его творчество безумным. Его близкие друзья захотели отпраздновать его пятидесятилетие. Некоторые из членов Союза писателей отнеслись к этой идее не очень одобрительно, но все же празднование состоялось, и я присутствовал на нем как единственный представитель своего поколения. Все же два месяца спустя книга его стихов была принята для издания. Мартынов был «реабилитирован». Он не сдал своих позиций, несмотря на давнишние обвинения в обособленности и «темноте». Постепенно читательская аудитория доросла до него.

Как я сказал, я питаю некоторые надежды.

Когда Эренбург говорил о трудностях, с которыми связано стремление выразить новые мысли или оттенки, я рассматривал многочисленные произведения современного изобразительного искусства, развешанные в его квартире. Где-то мне сказали, что он, пожалуй, самый крупный частный коллекционер современной живописи во всем Советском Союзе. Я слышал также, что лишь немногие коллекционеры в Европе имеют большее количество работ Пикассо, чем Эренбург.

— Чувствуете ли вы такое же сопротивление художникам, подобным Пикассо, какое существовало некогда по отношению к писателям типа Мартынова? — спросил я.

— Чудесный художник этот Пикассо,— сказал он с нежностью.— Чудесный человек. Мне казалось, что его творчество недостаточно понято и оценено здесь. Но недавно мне посчастливилось организовать большую выставку его работ в одной из крупнейших картинных галерей Москвы. Как отнеслись русские критики к его абстракциям и художественным концепциям? Выставка прошла с большим, даже очень большим успехом. Ее пришлось продлить. Ее осмотрело около шестисот тысяч человек. Затем мы отправили ее в Ленинград, где ее посетило еще пятьсот тысяч зрителей. Все это оказалось весьма обнадеживающим. Особенно если учесть, что кое-кто предсказывал, будто советские люди никогда не отнесутся с интересом к направлению искусства, представляемого Пикассо.

Я заметил господину Эренбургу, что сказанное вм только что особенно интересно для меня, поскольку у меня сложилось впечатление, что русская революция была ограничена рамками политического и социального. По-видимому, она была революцией в узком смысле слова, если судить по искусству и архитектуре, которую видишь здесь. Новые здания в значительной степени традиционны по проектировке. Они приземисты, массивны, орнаментальны. Можно понять необходимость строить быстрее, но вызывает удивление, что строят так консервативно. Стекло, открытые площадки и смелые прямые линии, революционизировавшие архитектуру во многих странах мира, здесь, как мне кажется, почти совершенно отсутствуют. Не считает ли господин Эренбург парадоксальным, что страна может быть такой революционной в одном направлении и такой консервативной в другом?

Эренбург снова закуривает сигарету, делая это неторопливо и обстоятельно.

— Много мыслей приходит на ум, когда слышишь подобные вопросы,— сказал он.— Сперва поговорим об общей исторической ситуации, затем о живописи, затем об архитектуре.

Общая ситуация: вы говорите о революции «в узком смысле слова». Быть может, труднее изменить характер культуры, чем политические факторы. Для изменения политического режима не требуется много времени. В некоторых странах это совершалось за недели или даже в течение минут. Для изменения экономической системы требуется десять лет или больше. Но для того, чтобы изменить человеческое сознание и основные культурные ценности, требуется много, очень много времени. Если у нас нет расцветшего современного искусства, то это не потому, что мы не имеем художников, тяготеющих к нему и соответственно одаренных. Здесь дело в том, что требуется много времени для создания атмосферы, в которой произведения такого искусства могли бы встретить подлинное понимание и оценку. Отношение публики к творчеству Пикассо обнадеживает в этом смысле, ибо оно показывает, что наш народ развивает художественный вкус.

Что касается живописи, то было бы неверно утверждать, что у нас нет новаторства или радикальных идей. Я знаю, некоторые люди за рубежом считают, что мы выступали со всевозможными нелепыми заявлениями о том, что мы первые изобрели все самое значительное. Однако факт остается фактом: то, что в настоящее время известно под названием модернистского, или абстрактного, искусства, появилось впервые в Советском Союзе.

В годы революции у нас неожиданно расцвела абстрактная живопись. Очень быстро появилась целая группа художников-модернистов, которые создали прекрасные произведения — и притом в значительном количестве.

Государство приобрело большое число таких полотен и разослало их по местным музеям — по всей стране. Но местным вкусам гораздо больше соответствовала старая академическая манера, и большая часть модернистских или кубистских картин была отправлена на склады в резервные фонды. Я помню высказывание одной дамы, которая в 1918 году увидела на выставке неподалеку от Москвы такую кубистическую картину. «Это работа самого дьявола»,— сказала она.

Боюсь, что такая точка зрения довольно точно соответствовала реакции рабочих в то время. Они были озабочены и, пожалуй, даже недовольны. Но теперь кубистские и абстрактные картины постепенно извлекаются из кладовых и резервных фондов. Не так давно одно модернистское произведение искусства было выставлено для обозрения в небольшом городке в центре России. Директор местного кафе заявил, что эта картина по идеологическим причинам неприемлема для рабочих. Но рабочие собрались и приняли резолюцию с требованием оставить картину на месте. Они одержали верх. Я узнал об этом случае и рассказал о нем художнику. Он очень обрадовался и сказал: «Для меня это значит больше, чем самая высокая награда».

Это — еще один пример того, как публика начинает проявлять свою зрелость. Почти все теперь ходят в музеи. Мы начинаем понимать искусство.

Теперь относительно архитектуры. Тогда к нам приехал Корбюзье и кое-кто из ведущих архитекторов «Баухауса». Они считали, что нашу страну можно подчинить любой радикальной идее, которая только может прийти в голову. Мы были как бы полем для литературных экспериментов. Корбюзье построил дом. Он был хорош, но в нем было зверски холодно зимой и чертовски жарко летом — какие бы меры вы ни принимали изнутри.

Отвлекаясь от Корбюзье, можно сделать следующий общий вывод: чем хуже строительный материал, тем больше украшательства. Это так же, как с зажигалками: обратите внимание, что их плохое качество всегда пытаются скрыть причудливыми формами. В двадцатые годы у нас были плохие строительные материалы. Отсюда завитушки и все лишнее в конструкции зданий.

Эти здания постройки 20-х годов мы теперь называем «гробами». Но они служили нам жильем. И нет сомнения, что первое поколение крестьян, приехавшее в город, было счастливо, что могло жить в них.

С тех пор вкусы безусловно изменились. Мы еще строим уродливые дома, но в целом перспективы в этом отношении хорошие. Мы умеем распознавать низкий уровень мастерства и плохие материалы. В результате улучшается и будет продолжать улучшаться качество и конструкций и строительных материалов.

Госпожа Эренбург, милая, привлекательная женщина, прервала наш разговор приветливым предложением выпить чаю. Я воспользовался этим, чтобы расспросить Эренбурга, как он строит свой рабочий день. Эренбург ответил, что старается как можно больше времени писать на своей даче, хотя его деятельность в Москве заставляет его проводить довольно много времени в городе, где у него квартира. Когда госпожа Эренбург налила мне вторую чашку чая, я спросил Эренбурга, как он относится к делу Пастернака.

— Мы живем в трудное время. Мне представляется, что Пастернак и его книга относятся к числу жертв холодной войны. Им не так бы восхищались за границей и его не так порицали бы у нас, если бы между Соединенными Штатами и Советским Союзом не было бы такой напряженности в отношениях.

Я поинтересовался, не хочет ли господин Эренбург узнать мнение многочисленных американских писателей и критиков. Улыбнувшись, он возразил, что, вероятно, хорошо знаком с их аргументацией. Я ответил, что старался, собственно, как можно вежливее подготовить почву для изложения моей собственной точки зрения. Не переставая улыбаться, Эренбург попросил меня продолжать. Я сказал, что в разговоре со мною о деле Пастернака русские критики и писатели заявляли, что не сомневаются в контрреволюционной направленности книги. Когда я слушал их аргументы, у меня складывалось впечатление, что русские критики считают своим долгом доказать, что книга обвинена по заслугам.

С нашей точки зрения, однако, это совершенно не относится к делу. Предположим, «Доктор Живаго» действительно контрреволюционное произведение. Какое это имеет значение? Почему автор не имеет права ошибаться, вернее говоря, ошибаться, если судить с общепринятых или предписанных позиций?

Почему публике — а не писателям — не дать право оценить истинную позицию автора? Кроме того, наказание Пастернака внутри Советского Союза началось только после присуждения ему Нобелевской премии. Именно тогда его осудили столь энергично. Где же справедливые пропорции? Какое преступление совершил господин Пастернак, чтобы оно могло вызвать такое суровое наказание, фактически отлучение?

В конце концов, господин Пастернак не был членом жюри по присуждению Нобелевских премий, которое выразило ему всемирное одобрение.

Господин Эренбург поднялся и подошел к окну. Ему уже 68 лет, и мне рассказывали, что он изнуряет себя работой. Я почувствовал угрызение совести за то, что отнял у него так много времени, и встал, чтобы попрощаться. Он снова усадил меня. По его словам, он встал не потому, что ждал еще кого-нибудь из посетителей, а просто ему хотелось размяться.

— Относительно Пастернака. Конечно, у меня есть свое собственное мнение. Я его очень ценю как поэта. Как писатель он вызывает у меня известные оговорки. Но дело совсем не в этом. Только что я сказал, что все дело с «Доктором Живаго» представляет собой трагическое последствие холодной войны. Что случилось, то случилось. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у всякой проблемы выискивать самую суть. Если бы мы смогли каким-либо образом избавиться от напряженности и уменьшить страх перед войной, творческий и культурный климат улучшился бы.

Я стараюсь делать, что могу, возможно, в малой степени как председатель Советского комитета защиты мира. Я в свое время посетил Америку и я знаю некоторых ваших писателей. Поэтому я в состоянии спорить с иными заявлениями об Америке, которые, по-моему, неправдивы.

Я напомнил, что некоторое время тому назад он выразил публичное несогласие со статьей в «Советской литературе» (речь идет о статье Казем-Бека в «Литературной газете»), в которой отрицалась американская культура. «Критик просто ошибался, только и всего»,— сказал Эренбург. Была ли связана эта защита Соединенных Штатов против критики в Советском Союзе с какими-либо последствиями?

Он вновь сел и откинулся.

— Некоторые говорят, что я настроен прозападно. Но я не рассматриваю себя каким-то образом настроенным в пользу чего-то одного или другого. Возникает какой-то вопрос. У меня может быть то или иное мнение по этому поводу; у меня могут быть какие-то факты, которые, как я думаю, должны учитываться при обсуждении этой проблемы. Конечно, последствия есть. Человек не должен становиться писателем, если он не готов к тому, что ему время от времени будет крепко попадать.

Труд писателя — не легкий труд, если это настоящий писатель. Но, пожалуйста, не думайте, что единственные последствия, с которыми я сталкиваюсь, бывают только здесь. Меня также критикуют и за границей. Между прочим, даже когда меня хвалят за границей, отклики здесь, дома, бывают иногда неблагоприятными.

Например?

— Когда меня хвалят по ложному поводу. Некоторые люди за границей считают, судя по всему, что единственный путь говорить обо мне что-нибудь доброе, это рисовать меня врагом моей страны.

Кстати, в течение некоторого времени меня беспокоит практика некоторых ваших изданий, которые, публикуя книгу советского автора, выдают ее за что-то иное, чем она есть,— то же самое касается и автора. Вы публикуете предисловия без ведома автора — предисловия, которые представляют дело так, что писатель ведет смертельную борьбу против всего своего общества.

Но эта практика не ограничивается только Соединенными Штатами. Несколько лет назад одна моя книга была издана в Дании и была лживо преподнесена в качестве атаки на советский образ жизни. Я вас уверяю, что это не могло прибавить ничего к моей популярности в моей собственной стране.

Когда моя книга «Оттепель» была опубликована в Лондоне, мой английский издатель прислал телеграмму с сообщением, что один американский издатель запросил права на публикацию книги в США. Я ответил ему, чтобы он не представлял таких прав, пока не будет подписан контракт, ограждающий меня от включения какого-либо предисловия или вступления без моего согласия. Если моя книга заслуживала публикации, пусть ее публикуют, какой она есть. Пусть читатели судят о ней. Я не хотел, чтобы мои книги были представляемы кем-то, кто хотел бы представить их в определенном свете.

Американский издатель принял условие, и договор был подписан. Книга вышла в Соединенных Штатах. В ней не было ни предисловия, ни вступления, как и было оговорено в договоре. Но в ней было послесловие. Это послесловие не могло бы носить, по-моему, более наступательного характера. Оно представляло собой попытку сделать книгу чем-то, чем она не была. Это было явным нарушением духа договора. Мне не показывали послесловия, я даже не знал о его существовании. Что можно сказать о поведении такого рода? Оно свидетельствует об интеллектуальной нечестности и, кроме того, заставляет думать, что некоторые американские издатели, может быть, думают не столько о выполнении своего долга перед литературой, сколько о необходимости казаться антикоммунистами.

(От редакции «Сатердей ревью»: «Оттепель» Ильи Эренбурга издал в Америке Генри Регнери и К° из Чикаго. Еще до опубликования заявления господина Эренбурга мы поставили господина Регнери в известность о нем и сообщили, что он может дать ответ на страницах «Сатерди ревью»).

Я сказал господину Эренбургу, что лишь очень немногие писатели и издатели

США не осудили бы такого поведения. При этом я поинтересовался, не может ли весь инцидент быть результатом недоразумения, ибо выдвинутое Эренбургом обвинение очень серьезно.

— Я не выдвигаю обвинения,— сказал Эренбург дружеским тоном.— Я стараюсь рассказать, что произошло, и наметить характер некоторых из проблем, с которымя связано улучшение культурных отношений между нашими странами. Но я не испытываю чувства злобы. Как я уже сказал, человек не должен становиться писателем, если он не в состояниии выносить разочарования и даже личные обиды.

Говоря о вопросе американо-советских отношений в целом, я сказал господину Эренбургу, что он не может не знать о недовольстве американских издателей тем фактом, что очень часто их книги издаются в Советском Союзе без разрешения с их стороны. Я подчеркнул, что поднимаю этот вопрос отнюдь не потому, что хочу противопоставить его рассказанному им случаю с американским издателем. Больше года назад губернатор Эдлай Стивенсон, по поручению американской лиги писателей, во время пребывания в Москве возбудил вопрос об авторском праве и гонорарах. Я, в свою очередь, находясь в Москве, по поручению Стивенсона обсуждал этот вопрос с Исполнительным комитетом Союза советских писателей. Боюсь, что это обсуждение не дало желаемых результатов.

— Это, как вы знаете, сложная проблема,— заметил Эренбург.— Но мне представляется, что через некоторое время мы сможем достигнуть в этом направлении лучшего взаимопонимания. Я не склонен вдаваться в подробности, могу лишь снова подтвердить, что отношения между писателями обеих стран связаны с более широким вопросом отношений между правительствами. Напряженность и антагонизм холодной войны неизбежно откладывают свой отпечаток на контакты между представителями культуры СССР и США. Я стараюсь делать все, что могу в этом отношении. Может быть, некоторые называют меня за это проамериканцем, профранцузом или еще бог весть кем, это не имеет значения. Самое важное — это найти путь к миру. Если мы сможем отказаться хотя бы от части наших предрассудков, если мы сможем проявить известное уважение друг к другу, ну, что ж — тогда у нас довольно много шансов на то, что мы найдем мир. Если же нет, тогда все, буквально все представляет собой пустую трату времени.

Слова Эренбурга о мире перекликались с моими мыслями, и я так и сказал ему. Но больше всего меня волнуют конкретные меры, которые надлежит предпринять для достижения мира. Слов нет, взаимная добрая воля и уважение имеют существенное значение, но разве настоящий мир не зависит от конкретных изменений политики и программы? Разве он зависит только от атмосферы мира, а не от действующего аппарата, посредством которого должен найти свое претворение мир?

— По крайней мере, мы пришли к соглашению, что хорошая атмосфера является хорошей стартовой площадкой,— ответил Эренбург.

В этом не может быть никаких сомнений.

«Сатердей ревью», 3 октября 1959.

Публикация и предисловие
А. Рубашкина

Я. С. Лурье

РАЗМЫШЛЕНИЯ О Ю. ДОМБРОВСКОМ

Мое знакомство с Юрием Осиповичем Домбровским началось в конце 1964 года, на квартире моего друга Саши Зимина (А. А. Зимин, известный историк), где я обычно жил, приезжая в Москву. В 1963 году Зимин совершил необычный и во многом переломивший его научную биографию поступок: выступил с докладом, в котором утверждал, что «Слово о полку Игореве» — сочинение XVIII в., написанное на основе реального памятника XV в.— «Задонщины» и Ипатьевской летописи. Скандал возник огромный: работа Зимина была отпечатана ротапринтом в количестве 100 экземпляров, которые были розданы участникам совещания, происходившего весной 1964 г. (среди тех, кто участвовал в нем, был и я, настаивавший, как и некоторые другие, на публикации книги), в по окончании совещания эти экземпляры были конфискованы и до настоящего времени, насколько мне известно, покоятся в каком-то спецхране.

Но о спорах вокруг «Слова о полку Игореве» стало довольно широко известно, и Юрий Осипович, всегда интересовавшийся такими вопросами, попросил одного из своих знакомых привести его к Зимину. Так мы и встретились. Для меня эта встреча имела особое значение. В июле-августе 1964 г. в «Новом мире» был опубликован «Хранитель древностей» Домбровского, и книга эта сразу же произвела на меня ошеломляющее впечатление. Осенью того же года в больнице во Львове тяжко болел и умер мой отец, историк античности, и последней книгой в его жизни, которую я читал ему, был «Хранитель древностей». Тем более дорого было для меня знакомство с автором книги.

Знакомство это продолжилось, и дружеские отношения с Юрием Осиповичем длились до самой его смерти. 12 мая 1978 года Юрий Осипович позвонил мне из Москвы и сказал, что ему в этот день исполнилось 69 лет (я не знал даты его рождения, и потому звонил он мне, а не наоборот, как следовало бы). Это было за семнадцать дней до внезапной смерти Юрия Осиповича.

С 1964 г. в каждый мой приезд в Москву я неизменно заходил к Ю. О. и проводил у него немало часов — сперва в комнатке обширной коммуналки на Б. Сухаревском переулке, а с 1972 г.— в двухкомнатной квартире на девятом этаже стандартного дома на Просторной улице, за станцией метро «Преображенская». Собственная квартира, кажется, единственная в жизни Домбровского, была для него событием. Примерно тогда же подобная квартира была получена Надеждой Яковлевной Мандельштам, знавшей и ценившей Юрия Осиповича. Когда ее спросили, не хочет ли она эмигрировать, она ответила: «Впервые у меня квартира с собственной уборной. Как я могу ее покинуть?!»

Думаю, что имею право сказать, что с Юрием Осиповичем мы были друзьями (хотя друзей у него было множество). Но жили мы все-таки в разных городах: я ездил в Москву довольно часто, но он в Ленинграде побывал всего однажды. Этот приезд, крайне неудачный, описан С. Тхор-

---

Лурье Яков Соломонович (род. в 1921 г.) — доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе и истории. Основные работы: «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XVI — начала XVII в.», 1960; «Истоки русской беллетристики» (ред. и автор основных глав), 1970; «Общерусские летописи XIV—XV вв.», 1976; автор ряда исследований о М. А. Булгакове. Живет в Ленинграде.

жевским («Звезда», 1989, № 7); я могу лишь продолжить описание злоключений Юрия Осиповича в нашем городе. Из гостиницы «Выборгская», где он нашел было приют, его стали выселять уже на следующий день: номер понадобился какому-то более важному постояльцу. Мне пришлось добывать в Пушкинском доме, где я тогда работал, специальную бумагу в гостиницу. Она сохранилась у меня; привожу текст: «4 июня 1975 г. В Дирекцию гостиницы „Выборгская“. Просим продлить члену Союза советских писателей Ю. О. Домбровскому пребывание в Вашей гостинице в связи с тем, что он работает в ленинградских архивах над темой „Пушкин и декабристы“. Ученый секретарь (подпись)». С этой бумажкой я явился к директору гостиницы — точной копии аналогичного персонажа из сценки А. Вампилова «Случай с метранпажем». Директор сперва наорал на меня за то, что я посмел беспокоить его из-за таких пустяков, а затем объяснил, что Домбровский — не писатель, а пьяница. Разозленный, я ответил, что, по моим сведениям, Шолохов пьет ничуть не меньше: упоминание столь номенклатурной фигуры довело гнев директора до предела, и на заявлении появилась сакраментальная резолюция: «Продлить возможности нет (подпись залихватская, но, к сожалению, неразборчивая)». Устроили Юрия Осиповича в комнате моих друзей, но и там ему не повезло: полы в комнате были свеженатертыми, отражали питерские белые ночи — это мешало ему спать и довело его мрачное настроение до предела. Пришлось срочно брать билет на самолет до Москвы.

Разделенные пространством, мы обменивались письмами. Их у меня сохранилось восемнадцать, и я могу поэтому добавить к воспоминаниям фрагменты его эпистолярного творчества.

О чем писал Ю. Домбровский? В большой степени его письма — комментарий к «Факультету ненужных вещей», который он давал мне главу за главой по мере их перепечатки на машинке. «Книга эта — не продолжение „Х⟨ранителя древностей⟩“, а нечто совсем иное... Времени от последних страниц „Хр⟨анителя⟩“ и до первых строчек „Ф⟨акультета⟩“ прошло всего ничего, ну неделя, декада, не больше. Я не хотел путать читателя и поэтому сознательно пошел на большую изоляцию этой книги от предыдущей...» — указывал он в первом письме. «Насчет „их-эрцелунга“ (рассказа от первого лица в „Хранителе“.— *Я. Л.*). Мне тяжело было от него отказаться, но тут ничего, очевидно, поделать было нельзя... И вообще может ли человек (я писал об этом в ВОП'лях) рассказывать о себе коечто очень тяжелое? Ну напр⟨имер⟩, о том, как из него вынимали душу. Хорошо ли это? Так что проблема „я“ и „он“ в данном случае не стилевая, а этическая (если не моральная)...» — писал он об окончании «Факультета» в 1975 г., незадолго до поездки в Ленинград. В одном из последних писем, отвечая на вопрос, собирается ли он продолжать «Хранителя» и «Факультет», Ю. О. отвечал отрицательно: «Продолжать дальше бессмысленно, ибо „сход в ад“ — вряд ли сейчас актуален и интересен. Во-первых, она разработана достаточно и достоверно без меня, во-вторых, в ней нет принципиального начала. Мученье человека человеком всегда омерзительно, даже независимо от того, заслужил ли их этот человек или нет („Позор не то, что делают люди, а то, что делается над людьми“,— написал В. Дорошевич в „Восточных сказках“). Важно и принципиально — сила сопротивления человека государственной лжи — а это мной показано, важна потеря государственной совести, ибо время от времени она повторяется и господствует в истории. А победа над этой темной, аморфной, внеразумной и в конце концов трусливой силой — возможна даже для отдельного человека...»

В ряде писем упоминается последняя, незавершенная книга Домбровского — о Н. А. Добролюбове. Она должна была выйти в серии «Пламенные революционеры», участвовать в которой Домбровский решил позже других писателей, из-за чего ему предложили только двух персонажей — Добролюбова и... А. А. Жданова. Ю. О., естественно, выбрал Добролюбова. Но книга писалась с трудом: «С Добролюбовым у меня не больно хорошо. Беда, что он вещь в себе. Настолько в себе, что у него нет ни одной зарезанной статьи. А ведь серия-то „Пламенные революционеры“! Поди-ка обнаружь в нем пламя. Приходится писать о холодном огне, а это требует такие выражения, которые я пока не нашел...»

Не раз возникала в переписке тема национальных отношений, в частности, антисемитизма (Ю. Домбровский читал книгу моего отца «Антисемитизм в древнем мире» и высказывал ряд интересных мыслей о возможном разнообразном восприятии этой книги — Бен Гурионом и Шульгиным, Вергелисом и «нашими доморощенными антисемитами»). Недавно в журнале «Молодая гвардия» некий Н. Кузьмин, встретивший Домбровского у общих знакомых, решил поделиться своими размышлениями о писателе. «Факультет ненужных вещей» он не одобрил: «Мне он показался похожим на разоблачительные книги последних лет. Весь упор там делается на тяготы заключенного в подвале, на допросах. Слов нет, завидовать арестованным (в 1937 г.— *Я. Л.*) не приходится, однако разве нынешним и подследственным, и получившим срок приходится легче? Пожалуй, как бы не труднее...» (1989, № 7, с. 106). Тут же Домбровскому приписывается «хлестаковщина» и заодно — антисемитские эмоции. Спорить с такими заявлениями мне, не раз беседовавшему с писателем на национальные темы, противно и неинтересно. Приведу только один текст из писем Домбровского, связанный с выездом из СССР писателя-еврея Г. Свирского, первого человека, поставившего (в публичных выступлениях и в самиздате) вопрос о подлинном характере «дружбы народов» в брежневские времена и именно в связи с этим вынужденного эмигрировать. Извинившись за то, что во время одного из моих приходов к нему он оказался в почти невменяемом состоянии, Ю. О. писал: «Очень идиотски получилось, конечно. Но так меня поразила эта вопиющая, и даже не дурацкая, а просто внерассудочная история с Гришкой Свирским, что я совершенно выбыл из строя. Ведь не хочет парень никуда ехать, не хочет! Такой же он, как и Вы и я и Клара и миллионы других, и вот пожалуйста — надо! надо!! — вот в чем вся пакость. Ради какого черта и кому это надо?!»

Содержатся в письмах Домбровского и вынужденно лаконичные упоминания о «Петькиных откровениях» (показаниях П. Якира на пресс-конференции, направленных против А. Д. Сахарова в «Хроники текущих событий»), о М. Хейфеце, осужденном на заключение в лагере (впоследствии уехавшем): «Все более и более думаю о судьбе Михаила (жена звонила, мать приходила). Просто физически передергивает от несправедливости, совершенной над человеком, фактически ничего не совершившим. Страшно погано себя чувствуешь, когда думаешь об этом».

Какая черта в личности Юрия Осиповича кажется мне наиболее своеобразной, отличающей его от огромного большинства собратьев по перу? Я бы назвал прежде всего интеллигентность, но слово это, к сожалению, теперь часто употребляется всуе. С легкой руки Александра Исаевича Солженицына возникло разграничение на «интеллигентов» и «образованцев», но как именно отличить первых от вторых, далеко не ясно. Признаками интеллигентности чаще всего считается сознание своей особой роли, стремление к «высшей правде», непреходящим духовным ценностям и приверженность традиционным святыням.

А между тем гораздо более заметной особенностью русской дореволюционной интеллигенции представляется ее гуманитарная образованность (вовсе не предполагавшая, однако, обучения на историко-филологическом факультете). Такая образованность была присуща ряду писателей 20-х годов — таким, как Тынянов (любимый писатель Домбровского), Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков, Замятин. Теми же чертами отличался от большинства своих собратьев по перу, писателей нашего времени, Юрий Осипович Домбровский. Само собой разумеющимся было для него знание европейских языков — он постоянно читал и по-французски, и по-английски, и по-немецки, знал латынь. В студенческие годы (на Высших литературных курсах) занимался римской историей, в Алма-Ате — археологией. Совсем поразил он меня, когда, передавая книгу нашему общему знакомому, известному гебраисту И. Д. Амусину, сделал на ней надпись по древнееврейски.

Эта интеллигентность, зародившаяся еще в гимназии и поддерживавшаяся всю жизнь, не исключая и лагерные годы, во многом определила и мировоззрение Ю. О. Домбровского. В разговорах он сравнивал себя с киплинговской «кошкой, гулявшей сама по себе». Он не пережил эволюции, столь обычной для многих интеллигентов 50—80-х годов: от былого признания прогрессивности сталинского «социализма» — к восстановлению «ленинских норм», а затем, обычно без всяких промежуточных стадий,— к осуждению любой революции, к почитанию Столыпина, Розанова, Флоренского. Сын адвоката, с юных лет впитавший в себя уважение к древней науке о праве, которую «вырабатывали, проверяли, шлифовали в течение тысячелетий», Домбровский уже в юности был свободен от иллюзий: он понял и отверг провокаторскую деятельность школьного комсомольского вожака 20-х годов (Жора Эдинов в «Факультете», ч. II, гл. 1)[1] и липовый процесс над «богемой» в 1930 г. (там же). В 1933 году он был сослан из Москвы в далекую Алма-Ату, и далее начались его многолетние мытарства.

Но именно поэтому никакие испытания не потребовали от него того поворота в мировоззрении на 180°, который был присущ столь многим. Кто еще из авторов 70-х годов, заведомо писавших не для печати, мог взять для своего романа эпиграф из статьи Маркса и Энгельса, да еще такой редкой (из рецензии на Карлейля, 1850 г.), что при публикации «Факультета» в Советском Союзе с трудом удалось найти человека, способного атрибутировать соответствующий текст?

В сложности, продуманности и историчности мировоззрения заключается коренное различие между alter ego Домбровского — Георгием Зыбиным, и другим опальным интеллигентом, действующим в обоих романах,— Владимиром Корниловым. В начале они кажутся почти двойниками — оба не по своей воле попали из Москвы в Алма-Ату, оба провели детство на Чистых прудах, оба когда-то наслаждались выставленной там «электростереопанорамой» с наивными диапозитивами.

Но в «Факультете» они оказываются антагонистами. Даже когда Зыбина арестовывают, Корнилов не сочувствует, а скорее

---

[1] Ср.: Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей. Роман в двух книгах. М., 1989, с. 293—305 (далее указываю в тексте страницы этого издания).

злорадствует. За что он ненавидит своего сослуживца? Как это ни странно, за любовь Зыбина к революции, той, далекой, которая была началом нового времени: «Он ведь историю французской революции наизусть знает...» («Факультет», с. 394—395). И это действительно характерная черта Зыбина — Домбровского. В письме, в котором он писал мне о возможности «сопротивления человека государственной лжи», о возможности моральной победы над этой «аморфной, неразумной и в конце концов трусливой силой», содержатся и такие слова: «На знаменах солдат французской революции были выгравированы слова из „Фарсалии" — „единственное спасение погибающих не надеяться ни на какое спасение"». «Фарсалия» — римская поэма, дань уважения французов XVIII века к традициям античности, но ссылка эта важна тем, что отражает верность памяти Великой французской революции, сохраненной Домбровским до конца жизни. Для Корнилова и многих его новоявленных единомышленников это смешно и непонятно. Даже попав за рубеж, современные русские интеллигенты сохраняют твердое убеждение, что уж они-то знают, к чему ведут всякие революции, и искренне удивляются тому, что наивные французы два века ежегодно празднуют день взятия Бастилии.

Корнилов убежден, что после ареста Зыбина он и его тюремщики в один голос вдруг запоют: «Опять что-нибудь про французскую революцию...» Но «в один голос» со следователями запевает именно Корнилов, убежденный, что «дряпь и мерзость всяк человек»,— он поддается на несложную провокацию и становится осведомителем. А Зыбин и в застенке остается самим собой и объясняет практикантам школы НКВД — «будильникам», что главный их способ воздействия на заключенных — пытка бессонницей — не новость, что изобретена она была уже в XVI веке и в России применялась с особенной тщательностью к Дмитрию Каракозову, покушавшемуся на Александра II.

Кстати, и к Царю-освободителю, санкционировавшему это следственное производство, Домбровский относится без того пиетета, который принят ныне у интеллигентов, придерживающихся моды. Из революционеров прошлого сейчас допустимо уважать лишь декабристов; Юрий Осипович помнил и о народовольцах. Как-то мы ходили с ним смотреть выставку новых поступлений в отдел письменных источников Государственного исторического музея. Там оказались подлинники двух знаменитых писем 1881 года, ставших достоянием гласности в 1917 г.: заявление Желябова в тюрьме 2 марта («Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы... было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь царя и не принявшему участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1-го марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения...») и предсмертное письмо Софьи Перовской матери. Оказалось, что оба мы знаем эти тексты, столь мало известные сейчас, почти наизусть.

В очерке о Пушкине и декабристах Ю. Домбровский писал о февральских днях 1917 года: «После уроков мы бежали на Тверской бульвар и видели Пушкина с красным флагом в руке. И все вокруг было красным — ленты, лозунги, цветы. Так он и вошел в нашу ребячью память...» («Новый мир», 1975, № 12).

Но если слово «революция» отнюдь не вызывало у Домбровского отрицательных эмоций, то как же относиться к террору, который часто сопровождает революцию и может затем превратиться в систему? Именно этот вопрос обсуждает автор (Зыбин) со встретившимся ему в лагере замнаркома Мирошниковым, когда-то пытавшимся перевоспитать «хранителя древностей» в коммунистическом духе («Из записок Зыбина» — своеобразный эпилог обоих романов). Мирошников, «непробиваемый болван», и в роли зека оправдывающий все происходящее, спрашивает Зыбина, признает ли он, что существуют «законы революции».

«— Но постойте,— сказал я...— революция-то кончилась в 22-м году вместе с гражданской войной... Революция не строит, она ломает старое, а потом приходит государство и создает свои законы. Революционные меры после окончания революции превращаются в контрреволюционные, потому что их сейчас же присваивают политические авантюристы...» (с. 629—630).

Однако могут ли «революционные меры», возникшие в ходе восстания, кончиться с революцией, и не приведет ли она неизбежно к диктатуре «политических авантюристов»? Историк Домбровский знал, что далеко не всегда бывает так. Не привели к диктатуре ни Нидерландская революция конца XVI в., ни Американская революция конца XVIII в.[1] Английский «Великий бунт» 1649 г. завершился диктатурой Кромвеля, но новое свержение Стюартов, «Славная революция», было бескровным. За Великой французской революцией последовали революции XIX века во Франции, которые привели в конечном счете не к диктатуре, а к созданию демократической республики. События 1989 г. в Восточной Европе вновь показали возможность такого пути. Видимо, французы имеют основания праздновать 14 июля, а Зыбин — наизусть знать историю Французской революции.

[1] Недавно Г. С. Померанц, обратившись к истории революций, объяснил эту особенность Американской революции тем, что она «прошла в рамках религиозной морали» (Померанц Г. С. Помраченный ум. «Век XX и мир», 1990, № 7, с. 15). Но Великая английская революция была еще крепче связана с религией — она шла под знаменем религиозной реформации,— однако это не помешало ей окончиться диктатурой.

Спор Зыбина и Мирошникова имеет у Домбровского и весьма многозначительное окончание. После реабилитации Зыбин возвращается в Алма-Ату, и старый знакомый, директор музея, ведет его в гости к Мирошникову. Тот, оказывается, дошел до «познания истины», и истина эта — в религии. Директор, который, по его словам, сам «никаким богам не молился», говорит Мирошникову, что тот «бил поклоны без памяти одному богу земному, он тебя обманул, а ты человек расчетливый, себе на уме: раз обманул, другой раз не поверишь... Надо ж тебе на что-то опереться... Смерти боишься ты, товарищ Мирошников, вот в чем дело. Перед ней хвост поджал. Боишься ведь?» (с. 638—639).

Разговор этот, в котором Зыбин явно на стороне своего бывшего директора, очень существенен для понимания мировоззрения Домбровского. Многим людям, жаждущим сегодня вернуться к духовным ценностям прошлого, главной чертой, отличающей подлинного интеллигента от «образованца», представляется религиозность. Домбровского всегда интересовала судьба христианства, его истоки. Недаром в «Факультете» столь важное место отводится сочинению бывшего священника Куторги об Иисусе Христе и Пилате. Тема эта была настолько важной для Домбровского, что он посвятил ей особое приложение к «Факультету». Следует отметить, что решение этой темы у Домбровского резко отличалось от трактовки ее в «Мастере и Маргарите». «Ненавижу эти олеографии у Булгакова — какая-то непотребная смесь Н. Ге с Семирадским»,— замечал он в одном из писем[1]. Меня такое отношение одного моего любимого писателя к другому очень огорчало (подобно тому, как огорчают утверждения Марка Твена об отсутствии юмора в «Пиквикском клубе»), но понять его суть я мог. Для Булгакова тема Христа и Пилата — «вечная» литературная тема, прежде всего нравственная. Домбровский же подходил к ней как историк. «Понтий Пилат... в Иудее чувствовал себя римским патрицием... Терпеть он не мог этих грязных иудеев. А так как иудеи платили ему той же монетой, то все и запутывалось окончательно... Так вот первая причина колебаний Пилата. Он просто не хотел никого казнить в угоду иудеям... Два момента из учений Христа он уяснил себе вполне. Во-первых, этот бродячий проповедник не верит ни в революцию, ни в войну, ни в переворот... Значит, он против бунта. Это первое. Второе: единственное, что Иисус хочет разрушить и действительно все время разрушает,— это авторитеты. Авторитет синедриона, саддукеев и фарисеев, а значит, и, может быть, незаметно для самого себя, авторитет Моисея и храма. А в монолитности и непререкаемости всего этого и заключается самая страшная опасность для Империи. Значит, Риму именно такой разрушитель и был необходим...» (с. 428—431). В письмах Домбровский отмечал, что Куторга, излагающий эти мысли, здесь — «рупор автора», и соглашался с тем, что передача этих мыслей попу, ставшему сексотом, наталкивается на некое художественное затруднение, которым он, однако, «решил пренебречь»[1]. Во всяком случае, евангелия для него в данном случае — исторический источник, составители которого их «трижды и четырежды» переделывали (по свидетельству Цельса), но не могли избегнуть «самого страшного из изобличений — изобличения в правде» (с. 426).

Это — отнюдь не ортодоксальная позиция. Религиозные темы глубоко занимали Домбровского, но воззрения его едва ли можно считать христианскими. «Кто его знает, что-то, возможно, есть. Но в личное бессмертие я, во всяком случае, не верю»,— ответил он мне на прямой вопрос, верит ли он в Бога.

Вспомним, как кончается поразительное стихотворение об убийстве лагерного стукача («Когда нам принесли бушлат, И оторвав на нем подкладку, Мы отыскали в нем тетрадку...»):

Где были списки всех бригад,
Все происшествия в бараке —
Все разговоры, споры, брань,
Всех тех, кого ты продал, гад...
Лети ж к созвездиям веселым
Сто миллиардов лет подряд!
А там земле надоедят
Ее великие моголы,
Ее решетки и престолы,
Их гнусный рай, их скучный ад.
Откроют фортку: выйдет чад,
И по земле — цветной и голой —
Пройдут иные новоселы,
Иные песни зазвучат.
Иные вспыхнут Зодиаки,
Но через миллиарды лет
Придет к изменнику скелет —
И снова сдохнешь ты в бараке!

(«Юность», 1988, № 2, с. 57)

[1] Впоследствии Домбровский, возможно, изменил свою оценку этой темы у Булгакова. В послесловии к изданию «Факультета» Г. Анисимов и М. Емцев пишут, что «в романе „Мастер и Маргарита" Домбровский особо выделял историю Пилата и Христа, как высшее достижение Булгакова...» (с. 699).

[1] Об этом же Ю. О. Домбровский говорил и С. С. Тхоржевскому («Звезда», 1989, № 7, с. 195—196).

Стихи эти никак не подкрепляют мнение С. Семеновой, что Домбровский воспринял в «Факультете» евангельский рассказ о Христе органичнее, чем Булгаков, пленяющий нас «художественным визионерством», но не «глубиной раскрытия учения Христа». Если, как полагает С. Семенова, уничтожению на Страшном суде, согласно Новому завету, «подлежат природные, греховные качества людей», а не самые грешники («Новый мир», 1989, № 11, с. 231—236), то Домбровский, приемлющий лагерный самосуд и предрекающий убитому предателю ту же кару «через миллиарды лет»,— сомнительный христианин.

И еще одна особенность мироощущения Юрия Осиповича. Кем он считал себя? В одной из публицистических «Записок» Домбровского, имевших хождение в самиздате («Записки мелкого хулигана» или открытое письмо о показаниях И. Стрелковой[1] во время его последнего ареста), я, еще до знакомства с ним, прочел, что в трех приговорах, по которым он был осужден в разные годы жизни, указывались три различные национальности — русский, поляк и еврей,— и во всех случаях неверно. Когда наше знакомство стало более близким, я спросил его: кто же он в действительности?

— Цыган,— ответил Домбровский.

Цыганская тема занимала его постоянно. Она стала даже предметом особого очерка, опубликованного посмертно («Цыганы шумною толпой...». «Вопросы литературы», 1983, № 3). Были ли воспоминания пятилетнего Юрия («...я цыган, правнук цыгана, сосланного в 1863 году вместе с польскими повстанцами куда-то в места не столь отдаленные») точны или дополнены его писательским воображением — не столь важно. «Цыганство» было для него в значительной степени символом — воплощением кочевой жизни, бездомности, национальной униженности («нас с вами — евреями — на одних кострах жгли»), беспочвенности. «Почвенником» он никогда не был.

В «Истории моего современника» Владимира Галактионовича Короленко — человека, воплощавшего в себе самые прекрасные черты русской интеллигенции,— рассказывается о том, как ему, сыну украинца, русского чиновника, и польки, пришлось решать вопрос о своем национальном самоопределении. За душу юного гимназиста боролись и официальные обрусители, и польские патриоты, и носители запорожской романтики. «...Очарование националистского романтизма уже встречалось с другим течением, более родственным моей душе... Статьи Добролюбова, поэзия Некрасова и повести Тургенева несли с собой что-то прямо бравшее нас на том месте, где заставало... Всегда за непосредственным образом некрасовского „народа“ стоял интеллигентный человек, с своей совестью и своими запросами... вернее — с моей совестью и моими запросами...

Эта струя литературы того времени, этот особенный двусторонний тон ее — взяли к себе мою разноплеменную душу... Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература...» («История моего современника». Л., 1976, с. 235—236).

Юрий Осипович любил Тацита, писал о Шекспире, переводил казахских писателей. Но родиной цыгана Домбровского была все-таки прежде всего русская литература.

[1] Выдержки из этого письма Домбровского опубликованы А. Жовтисом (Жовтис А. Вопреки эпохе и судьбе. «Нева», 1990, № 1, с. 173—174).

Алексей Машевский

ЕСЛИ ПРОЗА, ТО КАКАЯ?

О повести Валерии Нарбиковой «Около эколо...»

Если стихотворение, по определению Осипа Мандельштама, это запечатанная бутылка, брошенная в море с терпящего бедствие корабля, то с чем же сравнить критическую статью? Со сплетней (еще не так давно можно было бы и с доносом)? Или сравнить с разговором с глазу на глаз? Не проще ли было бы в таком случае воспользоваться услугами обычной почты, ведь главный-то адресат здесь один, и говорить с ним надо вроде бы на его языке, не разбирая (фу, какое слово нехорошее!), а перетолковывая затронувший тебя текст. Например, выучив английский язык, хотелось бы написать англичанину: «Дорогой сэр, я обнаружил такие странные и волнующие возможности в Вашей речи». Конечно, так и следовало бы поступить: запечатать конверт, надписать адрес. Но в наше абсурдное время невозможно удержаться от такой веселой соблазнительно-абсурдной идеи, как адресовать выбранному тобой человеку несколько сотен тысяч (учитывая тираж) одинаковых посланий, да еще снабженных к тому же солидным бесплатным приложением. В конце концов, печатают ведь переписку — это эпистолярным жанром называется.

Машевский Алексей Геннадиевич (р. в 1960 г.) — поэт, автор сборника «Летнее расписание» (1989). Живет в Ленинграде.

Итак, начнем.

Прежде всего, не вполне понятно, как вообще автор мог придумать, взлелеять, вырастить такую повесть с бог знает откуда взявшимися именами, обстоятельствами, андрюшами, черными курицами, орденами и прочей национально-советской геральдикой. Все тут нарушает действие, делает необязательным место, затемняет содержание. Впрочем, с самого начала повести разговор и идет и про место, и про время, и про то, о чем же, собственно, писать-то, не о себе же? Или о себе, не зная, как распорядиться автобиографическими подробностями: «Если мысль, то какая?»

Вот Ездандукта (так зовут одну из героинь) — это точно автобиографическое, и имени такого ни за что не придумать, его можно только застать уже имеющимся в наличии. В конце концов, помучившись с сомнениями (сомнения — налицо, они, собственно, и есть содержание: «Если слова, то какие? Какие нужно сказать, чтобы они дошли до Ездандукты» — и ничего, что в данном случае под неудобоваримым именем выступаем мы с тобой, читатель),— в конце концов, честно заявив, что ни за место, ни за время, ни за наши с вами подозрения нести ответственности не намерен, автор начинает прямо, просто, решительно, в духе здорового дореалистического, допсихологического примитивизма: «жили-были», «в некотором царстве, в некотором государстве», «Петя влюбилась в Бориса. Она знала, что она любит только его и больше никого...» А вот дальше продолжать фразу пока не будем. Интересное начало?

Так сразу, без всякой экспозиции... То есть экспозиция есть, но не обстоятельств или героев, не времени и места, а экспозиция авторских сомнений и размышлений: разрешается ли еще высказывание? можно ли еще наполнить событиями и мыслями текст, не придавая ему отвратительной видимости жизненного правдоподобия, когда раскрашенная, размалеванная сцена притворяется рощей, полной движения, солнечных бликов, листьев, насекомых, цветов?

Нет, нам ни на минуту не позволят забыть, что перед нами не жизнь, а литература, что идет работа, «сочинитель сочиняет», посвящая читающего в мельчайшие детали этого достаточно странного и, по всей видимости, малопродуктивного занятия («Отчеты о жизни после того, как жизнь прошла. Ведь мы же разлагаемся»). В любой момент, прорезав ткань повествования, авторский голос готов обратиться к читателю с вопросом, с замечанием или насмешкой над собственной неуклюжестью, готов съехать с наезженной колеи, отклониться: «Вино Европейское, дешевое безликое винцо, которое с таким же успехом могло называться Азиатское, Африканское, Американское, „когда открыли Австралию?“ — „в 19 в.“, Австралийское с 19 в.».

Боится, боится автор экспозиций, расставляет всюду сигнальные флажки и указатели: не с вещами и людьми имеете вы дело, а с лексическими единицами, почти самопроизвольно складывающимися в штампы, почти одичавшими от идеологического употребления, от всяких и всяческих контекстов, газетных полос, нравственных проповедей, исповедей и призывов: «И день, накачанный звуками, где каждый звук — „торжество“ сознательной „человеческой“ деятельности: звуки троллейбусов, трамваев, эти „звуки венчают“ „человеческую“ „мощь“, то, на что способен „человек“ в это „прекрасное“ „солнечное“ „утро“ в конце двадцатого века». Можно, правда, в качестве эксперимента, отдавая дань модному демократизму, уравнять в правах все части речи, отказаться от прилагательных вообще (ибо нас терзает подозрение, что любая связь прилагательного с существительным уже пошла и банальна в силу общеупотребительной обязательности; только и выкручиваемся, удлиняя шлейф расталкивающих друг друга определений). А попробуйте, как Нарбикова,— на одних местоимениях и наречиях: «И утро, такое какое-то, какое бывает только в такие дни, тогда, когда и тогда как; и тогда, когда так всё, что уже остальное всё кажется каким-то таким, что это всё не может измениться ничего».

Непонятно? Нет, все же признаемся, что понятно. Даже более того, дурацкий шутовской прием талдыченья как бы ничего не значащих наречий вдруг делает фразу разомкнутой, похожей на сбивчивое дыхание говорящего. Можно давать экспозицию волнения, описывать волнение (так бы и поступил соцреалист, следующий традициям бородатых наших классиков, по странности следующий именно тем традициям, которые ныне уже не пригодны для гальванизации). Но можно ведь сам язык сделать сбивчивым, волнующимся, пребывающим «как бы не в себе», тем вернее обеспечивая попадание читателя в состояние, адекватное переживаемому автором — персонажем (ах, не будем разделять, все зыбко в пределах этой странной лирической автобиографичности).

Так это и кружится, развертывается в шажочке от языковой банальности и сумбура. «Петя засыпала с мыслью о Борисе»... — пока все в порядке, все традици-

онно-благостно, гладко, за этой гладкостью даже как будто теряется семантика слов, но погодите, вот дальше: «и только она просыпалась от мысли о Борисе, как мысль о Борисе не давала ей заснуть. Самая ранняя мысль — о Борисе — поднимала ее с постели, у нее и в мыслях не было другой мысли». И это вместо малосодержательного: бредила днем и ночью. «Мысль», «в мыслях», «о мысли»... Навязчивость повторяющегося слова подобна навязчивой неотступности чувства. Где-то мы уже это читали? У Пруста в «Любви Свана», у Набокова в «Лолите»? Хорошо, что расходятся кругами ассоциации — один, другой, третий. Может быть, бегущая рябь лучше выявит необозримость морской поверхности?

Нужно сломать, обязательно сломать привычную и потому не действующую уже логику фразы. Как это делается? — Вот пример: «...и теперь Петя не знала, почему нет Бориса и где он есть и оставаться ли ей в начале перрона или пойти к первому вагону в другой конец перрона». Достаточно убрать маленькую связочку (или, напротив, «развязочку») «и где он есть», чтобы фраза потеряла все свое алогичное напряжение. Правда, дважды повторяется слово «перрон» — но это уж излюбленное занятие Нарбиковой играть в кошки-мышки с попавшимся ей словечком. При этом ее виртуозность порой становится даже несколько нарочитой: «... Петя села рядом с телефоном в полном отчаянии, причиной которого была Ездандукта. Она, как причина, без всякой причины ходила из одного угла в другой и своим беспричинным хождением причиняла Пете боль».

Слова, словечки, покинувшие свои привычные насиженные места, играющие друг с другом в прятки, постоянно нарушающие правильность фраз, устраивающие логическую чехарду, неразбериху — по воле автора или вопреки его воле? Иногда кажется, что язык сам служит сюжетообразующим фактором. Мотивацией перехода от одного сообщения к другому выступает лексическое ерничание: «Кострома отдал парень-ку-шоферу три рубля, и троллейбус покатил в бор, который был не стеклянный, не деревянный, а серебряный с одним „н", может, из-за сосен, довольно-таки серебряных зимой, и серебряной речки, а может, из-за тридцати сребреников плюс деревянного, с двумя „н", дома, который по службе получил дедушка Костромы за свою верную службу».

Заметим, что подобный пируэт сразу избавляет автора от нудной и малопочетной обязанности долго нам растолковывать, кто такой этот дедушка, откуда взялся дедушка, при чем тут дедушка и какая ему отводится роль в дальнейшем повествовании. Да никакая, да ни при чем — так, приблудился вместе с расшалившейся фразой, словно бы говорит автор, облегчая конструкцию, не давая персонажу вполне вылупиться из языковой среды, сквозь которую он лишь проглядывает, загустевая. Главное, чтобы не загустел до тошнотворной определенности литературного манекена, подменяющего собой живое.

Таковы, кстати, и остальные персонажи повести Нарбиковой, кажущиеся странными лишь постольку, поскольку они не вполне отделились от авторской интонации, авторского языка, а значит, и авторского сознания — и именно в этом смысле более чем автобиографичные. Герои, пропущенные через призму авторского восприятия жизни, слова, времени, герои по своему социальному статусу, по условиям жизни — банальные, судачащие о политике, читающие Набокова, распивающие бутылку на стадионе, любящие и надеющиеся на любовь.

Любовь... Любовь, пережитая, переживаемая как событие, вытесняющая все, как нечто единственное, единое в нерасчленимое в своей подлинности. Нерасчленимое не потому, что в чувстве этом тонут все остальные потребности и желания, и остается главное — одно, а потому, что, наоборот, этих желаний и потребностей, страхов и связей, побуждений и отступлений становится так много, что все равно уже не справиться, не разобраться, не понять, а только всегда знаешь, угадываешь: с тобою, с тобою, не отпускает. Может быть, и имя придумываешь этому невыразимому, как Петя — своему: «Borisus». Забавно, что в латинском названии косвенно проглядывает традиционное уподобление любви — болезни с ее обязательным медицинским девизом и лекарственными атрибутами. Кстати, таких традиционных уподоблений достаточно много. Например, нельзя не вспомнить евангельскую притчу о Марфе и Марии с характерным противопоставлением двух типов, двух начал: основательного, ездандукто-хозяйственного, занудливого в Марфе и созерцательно-подвижного, духовно-нетерпеливого в Марии. Беда только, что Марии-Пете в наше время все же приходится варить суп, вступать в бесплодное, заранее обреченное на поражение соревнование с теми, кого удобно «любить как человека». И некому уже сказать: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук., 10, 41—42). Как раз отнимется, поскольку, как написано в повести: «любовь исторически не любила Петю и Бориса». А почему не любила? Ведь была же — и такая, за которую ордена нынче давать надо, что и сделал Кострома, тоже любящий, понимающий, но нелюбимый (а значит, в этой истории, в этой любви, в этой исторической любви, в этой любовной истории как бы и не участвующий, лишний). «А тот, кто не может иметь ребеночка, может иметь андрюшу, это такая небольшая металлическая скульптурка, которая вещает, или другого андрюшу можно вывести из яйца; взять яйцо черной курицы и вместо белка влить сперму, заткнуть пергаментом, чуть увлажненным, и в первый день мартовской луны положить его на кучу навоза; через тридцать дней инкубации появится монстр, напоминающий человечка, его нужно кормить земляными червями и канареечником... и пока он будет жив, ты будешь счастлив...» — так появляется в повести грустная тема заменителя чувства, иллюзорного прерывистого ожидания удовлетворения, ожидания минутного облегчения, которое одно только и остается от любви, скукоживающейся, усыхающей, чудовищной любви — но заменитель этот, монстрик, проецируемое в будущее воспоминание дает возможность хоть как-то выжить и жить.

По сути дела, это беда всех ослепительных и ослепляющих связей, у которых все в начале и ничего в конце, поскольку в начале — именно все: оглушающе рушащийся на тебя, расширяющийся мир, случайно выигранное в рулетку счастье, не само по себе счастье, а счастье — потому, что так неожиданно и огромно, что выиграно просто так, на лету, и еще опомниться не успели, приготовиться, а вот, вот — все в тебе, все для тебя. «Высший момент счастья, куда еще выше? Самый кратчайший путь к счастью — начать прямо со счастья. Не такой длинный путь, как в прошлом веке, где счастье начинается с легкого ветерка и кончается бурей, начать с бури и кончить бурей». И это не только о методе литературной фиксации пережитого, но и о самом пережитом, не имеющем ничего в перспективе.

Любовь, которую, кроме любви, ничего не интересует, которая тоталитарно и властно ассимилирует, приспосабливает к своим нуждам все — даже язык (а вы думали, почему он такой странный!), даже политику (она постоянно вплетается в канву повествования), любовь, которая не прощает малейшей ошибки и вся, вся на пределе, на грани срыва («не уезжай!»),— такая любовь никуда дальше развертываться и эволюционировать не хочет и не может. Направленные на себя силы становятся разрушительными, и сердце, не способное вынести пустоты и отступления, идет на подмену, замещая одну страсть другою, будущее — прошлым, любовь — страданием. Вот он, нежно взлелеянный, вскормленный монстрик, свиристящий в груди как полоумное радио, затемняющий ясное сознание о происходящем.

Так жизнь превращается в сон, в вечную погоню за призраком, пропитывается ревнивой ненавистью или ненавистной ревностью до конца. И опять вспоминаешь прустовского Свана, набоковского Гумберта Гумберта, манновского Ашенбаха. Точка, заключавшая целый мир, превращается в мир, сузившийся до одной точки, одной страсти, одной нерасчленимой эмоции. И в дыму этом, в бреду как-то само собой самоубийство Костромы становится странным отплытием в никуда, а бывший любимый — нынешний муж нелюбимой сестры — утомительно-необходимым любовником.

Так на чем же держится это повествование, изобилующее фантастическими аллегориями, смущающее лексической акробатикой, сюжетной прерывистостью и неразберихой? На стилистическом единстве и цельности придуманного автором языка, сбивчивого, кружащегося, как волчок, говорка косноязычного собеседника? Да, конечно... Но не только, этого мало.

Своеобразие языка накладывается на настойчивую решимость непридуманного чувства быть высказанным, чувства все время присутствующего, увлекающего нас, пронизывающего весь текст. Так часто случается: мы многого не понимаем в лирическом стихотворении, но реальное событие (известное, может быть, лишь автору) проступает в какой-то особой убедительности интонации, в случайной детали, поверив которой, мы доверяемся поэту и в остальном, завороженно следуя за ним, еще не осознавая, сопереживаем, ощущаем цельность и волнующую подлинность строки, строфы.

«Только любовь останется, сказал поэт, и он сказал чистую правду, и с тех пор, как он это сказал, через сто лет осталась любовь, а революция пришла и ушла, и от нее остались флажки, тюрьмы и памятники, культ пришел и ушел, и от него остались памятники как тюрьмы (но не памятники искусства и архитектуры), а завтра что останется? Флажки?» Так считает Валерия Нарбикова, и мне остается только к ней присоединиться.

Виктор Топоров[1]

ЛИТЕРАТУРА НА ИСХОДЕ СТОЛЕТИЯ

Опыт рассуждения в форме тезисов

1. *Предмет исследования* — литературная ситуация наших дней, какой она видится как итог длительного всемирного взаимодействия, взаимовлияния и противоборства методов критического реализма, модернизма, беллетризма, постмодернизма и социалистического реализма. Понятие «беллетризм» вводится здесь в обиход и раскрывается впервые. Остальные термины, за исключением, пожалуй, критического реализма, носят дискуссионный характер, причем само существование социалистического реализма как метода, а не как некоей искусственно сконструированной идеологемы, ставится в последнее время под все большее сомнение.

2. *Жанр исследования* — тезисы, в которых формулируются и, по возможности, раскрываются, главным образом, принципиально новые идеи и постулаты. Доказательство выдвигаемых здесь и заведомо спорных положений путем систематического подкрепления их конкретными примерами или полемикой с конкретными оппонентами представляется в рамках данной работы излишним. Тем самым декларируется и отказ от художественного анализа упоминаемых здесь произведений. Анализируются не они, а складывающаяся в результате их появления и бытования литературная ситуация.

3. *Разработку развернутых доказательств или опровержений* данных тезисов автор препоручает их эвентуальным сторонникам и, соответственно, противникам. Остается надеяться, что эти отклики будут, как и сами тезисы, представлять собой системное исследование.

4. *Критический реализм* — ведущий художественный метод XIX столетия — изжил себя в столкновении с методами XX века, а именно: с модернизмом, беллетризмом и социалистическим реализмом. Это столкновение было катастрофическим: в ходе его критический реализм как бы раскололся на куски, и каждый из зародившихся тогда же методов получил от него в наследство свою долю. В дальнейшем художественные методы XX века взаимодействовали уже не с критическим реализмом, а между собой. Последним произведением «чистого» критического реализма был, во всяком случае на русской почве, «Тихий Дон»: художественно цельное отображение уже утратившего всякую цельность миропорядка.

5. *Модернизм* возник как выражение и отражение кризиса рационалистического сознания и рационалистического познания, а также религиозного и кантианского гуманизма. В основе метода лежало деформированное отображение деформированного (то есть утратившего прежние недвусмысленные очертания) мира, и эта двойная деформация — минус на минус дают плюс — приводила в итоге к созданию подлинной или иллюзорной художественной действительности, представавшей куда более убедительною, чем образцы, явленные миру на стезе критического реализма, оказавшегося не столько старомодным, сколько более не пригодным. Взгляд на мир, представленный в произведениях модернизма, неизбежно субъективен, но сама эта субъективность скорей группового (стратового), чем личностного свойства. Кроме того, она имеет заразительное, почти гипнотическое воздействие. Титаны раннего модернизма — Джойс, Кафка, Пруст — создали не только новый литературный мир, но и иное читательское сознание.

6. *Художественная практика модернизма* привела к появлению читателя элитарного. Читателя, смирившегося и с необходимостью немалых усилий, потребных для постижения модернистического текста, и с исчезновением установки на удовольствие, на эстетическое наслаждение, получаемое в процессе и в результате чтения, которое (наслаждение) обязательно сулила ему ранее литература. Эстетическое наслаждение и ожидание его не ушли из литературы модернизма полностью, но приобрели в ней маргинальное значение, сходное с эффектом нечаянной радости. Жизнеспособность модернистской литературы поддерживалась (наряду с фактом создания и осознания новой художественной действительности) неким восторгом посвященности, порой снобистского толка, но чаще — вполне натуральным и первородным. Разумеется, такая литература, чтобы не задохнуться в вакууме, чтобы выжить и расцвести, нуждалась в поддержке со стороны просвещенных высокообеспеченных слоев населения, прежде всего, паразитической части крупной буржуазии (такая поддержка приходила далеко не ко всем и не сразу — отсюда многие драмы непризнания и исковерканные судьбы). В поддержке сознательной и бескорыстной, потому что классовых или каких бы то ни было иных групповых интересов литература модернизма не выражала. Ее идейная свобода сочеталась с экономической зависимостью от правящих классов, что возможно только в цивилизованном плюралистическом обществе. Поэтому ни у нас, ни в нацистской Германии модернизма не было и быть не могло. Более того, малейшие поползновения в эту сторону рассматриаались в обоих тоталитарных государствах — и совершенно логично — как нелепая аномалия. Отсюда и клеймо вырожденчества или формализма.

7. *Беллетризм* представлял и представляет собой оборотную сторону той же медали. Взяв у критического реализма такие свойства, как жизнеподобие (на сорочьем языке нашего литературоведения: изображение жизни в формах самой жизни), занимательность, типизацию, а также изрядный (но всегда дозволенный) заряд критицизма, беллетризм обратился к широким кругам читающей публики с произведениями «товарных жанров» (детектив, приключения, мелодрама, историческое повествование, производственный роман в широком и вовсе не отрицательном смысле слова и прочее) в «товарной» же упаковке. Подавляющее большинство книг, становящихся бестселлерами, писалось и пишется по сей день методом беллетризма. Правда, следование этому методу приводит к созданию хотя и не обязательно второсортных, но непременно не претендующих на чересчур многое произведений. Поэтому обращение к «чистому» беллетризму, характерное для Ремарка и Сименона, Голсуорси и Алданова, Ирвина Шоу и Артура Хейли,— случай все же не самый распространенный и уж, при любом раскладе, не самый интересный.

8. *Беллетризм в СССР* получил широкое распространение и как следствие подражания западным образцам, переводившимся и издававшимся у нас сравнительно легко и адекватно, и как реакция на объективное желание читательских масс получать облегченное и занимательное чтение. Чтение, сулящее и обеспечивающее удовольствие. Идеологизация подобной литературы у нас, в сверхидеологизированном обществе, не меняла сути дела: «социальный заказ» воспринимался в рамках советского беллетризма как условие игры, но не более того,— и, забегая вперед, можно отметить, что советский беллетризм был не худшей составной частью советской литературы в целом. Герман, Каверин, Рыбаков — классики отечественного беллетризма, признанные «первые среди вторых». А на первые, на ведущие позиции беллетризм и у нас не выходил никогда. Характерно, что даже ошеломительный успех «Двух капитанов» или «Открытой книги» не побуждал никого причислять их создателей к сонму великих.

9. *Беллетризм в сочетании с модернизмом* стал (на Западе) ведущим художественным методом XX века. Этот метод у нас принято называть «современным критическим реализмом» или «реализмом XX века», а в некоторых его ипостасях — и авангардизмом. Эти определения ошибочны, так как они не отражают и не учитывают генезис метода. Они могут также служить образчиками «благонамеренной конъюнктурщины»: будучи на протяжении десятилетий внедряемы в сознание наших идеологов, издателей, цензоров усилиями литературоведов «сучковского» (по имени покойного Сучкова) направления, они помогали провести многих зарубежных художников слова по ведомству реализма, а следовательно, освободить их от подозрения в эстетической (а значит, так у нас до недавнего времени рассуждали) и в идеологической крамоле. Так получили мы советского Фолкнера, советского Гарсиа Маркеса, под тем же соусом подали и советского Кафку. И все же необходимо уяснить: с появлением модернизма и беллетризма, а верней, с момента распада критического реализма на модернизм, беллетризм и прочее, сам по себе критический реализм перестал существовать. Новый синтез — о котором идет речь в данном тезисе — осуществился под знаком модернизма. Во вновь создавшейся связке — модернизм плюс беллетризм — первый главенствует, ведет за собой партнера, делает всю игру. И это — вне зависимости от того обстоятельства, что доля элементов и признаков модернизма и беллетризма, точнее, их долевое участие (со-участие) в каждом конкретном произведении могут варьироваться в самом широком спектре: от многословной и многодумной модернистской конструкции, вроде романов Ганса Генри Йана или Джона Фаулза, с едва намеченной в них — дань беллетризму — детективной или бытовой интригой, до заурядного, хотя и добротного развлекательного чтива, в которое вкраплены, например, техника кино-монтажа или потока сознания. Вспомним в этой связи творчество сверхпопулярного в последнее время Стивена Кинга или мастерски написанные детективы Себастьяна Жапризо. Преобладание признаков модернизма или, соответственно, беллетризма в каждом конкретном произведении, написанном в следовании этому методу, говорит лишь о сознательной или невольной установке писателя на моральный или, наоборот, на коммерческий успех. Примечателен случай с Фолкнером, задумавшим, чтобы разбогатеть, написать сенсационный бестселлер — и написавшим замечательный, типично фолкнеровский роман «Святилище», не имевший, однако, и тени ожидавшегося писателем успеха.

10. *Успех,* в той или иной форме,— мерило существования художника в обществе. Современная западная цивилизация предоставляет творцу право тройного выбора: или, вступив на стезю модернизма,

[1] Топоров Виктор Леонидович (род. в 1946 г.) — критик, переводчик Блейка, Элиота, Рильке и других англоязычных и немецкоязычных поэтов. Член СП. Живет в Ленинграде.

апеллировать к знатокам и уповать на меценатов, или, сняв голову, не плакать по волосам — и создавать беллетристику, граничащую с масскультом (сам масскульт, называемый на Западе тривиальной литературой, здесь не рассматривается как антитворчество априори), что приводит к финансовой независимости и подчас к преуспеянию пусть и не слишком высоко чтимого, но читаемого, покупаемого, а значит, свободного от чьего бы то ни было диктата профессионального писателя, или, наконец, избрать третий путь, на котором можно снискать и лавры лауреата, и миллионы нувориша, а главное — добиться в той или иной степени как творческой, так и экономической свободы, найти свою, максимально удобную для тебя лично точку на довольно растянутой линии между полюсами модернизма и беллетризма. Разумеется, в этих рассуждениях сознательно игнорируются уточняющие обстоятельства, затрагивающие меру таланта того или иного художника. Подчеркну, что и вопрос о мере продажности (или, наоборот, неподкупности) здесь не ставится: в данном тезисе вскрывается логика писательского поведения, а не его мотивы.

11. *Попытки следования этому методу* предпринимались и у нас, правда, с немалой осторожностью. И если элементы модернизма в творчестве таких писателей, как Айтматов, Пулатов, Чиладзе, Ким, Орлов, были и остаются явно заемными, то беллетризм расцвечен национальным или (как в последнем случае) фольклорно-городским орнаментализмом, почему и вся комбинация с преобладающим все же в ней, как отмечено выше, влиянием модернизма легитимировалась в условиях гонений на модернизм и отрицания его продуктивности как метода. Была даже найдена легализующая формула: произведения этого ряда проходили под знаком натурфилософской прозы, каковой нет и никогда не было.

12. *Феномен постмодернизма* представляет собой дальнейшее развитие художественной практики модернизма в сочетании с беллетризмом. Для литературы постмодернизма характерно прежде всего сознательное выстраивание произведения на двух (и более) уровнях сразу, характерна одновременная апелляция и к элитарному читателю, и к массовому. Своеобразие писательской техники постмодернизма — от «Лолиты» до романа «Имя Роза» — в рационально осуществляемой структурной организации глубинных слоев повествования, в замене малеванных задников задниками выстроенными. При этом (что является обязательным условием при создании текста такой степени сложности, верней, таких разных степеней сложности) строительным материалом здесь служат элементы и осколки предшествующей — стремящейся в своей ретроспективной протяженности к бесконечности и поддающейся бесчисленному множеству истолкований — культуры. В постмодернизме элементы модернизма и беллетризма не теснят друг друга, как было раньше, не перетягивают одеяло каждый на себя, но, в постоянном соревновании, вырастают одновременно и параллельно в высоту и в глубину. Возникают комбинации типа: чем натуралистичней, тем невнятней. Или: чем головоломней сюжет, тем трудней для восприятия фактура произведения. Писатель не остается при этом в накладе, принимая дань признания (в той или в иной форме) и от элитарного, и от массового читателя. Именно статус, обретаемый писателем, и природа этого статуса позволяют говорить о постмодернизме (на Западе) как о новой, усложненной разновидности сочетания модернизма с беллетризмом. Только помянутый выше тройной выбор оказывается в данном случае замещен реализацией всех трех возможностей в одном произведении.

13. *Влияние постмодернизма* на творчество многих новых и новейших советских писателей бесспорно. Здесь налицо как прямое подражание, вплоть до копирования и буквальных заимствований, так и склонение этого заморского, во всяком случае, закордонного (не будем забывать и о таких медиумах, как С. Соколов и Ф. Горенштейн) новшества на наши нравы. Последнее означает, что строительным материалом для доморощенных постмодернистов становится, в первую очередь, литература социалистического реализма, или то, что принято называть (теперь уже обзывать) литературой социалистического реализма. К ней-то нам и надлежит сейчас обратиться, преодолевая барьеры вчерашнего и сегодняшнего непонимания и пытаясь избежать кессонной болезни, угрожающей сегодня — применительно не только к литературе — нашим душам не в меньшей степени, чем СПИД угрожает нашим телам.

14. *Что такое социалистический реализм*, до сих пор остается в высшей степени загадочным. Спор с позиции силы, который на протяжении десятилетий вели литературоведы в штатском, мало кого мог в чем-нибудь убедить. Огульное отрицание социалистического реализма как официозной абстракции, равно как и осмеяние и пародийное выворачивание его (так, согласно одной из теорий русского зарубежья, соцреализм это мазохизм в литературе; уже в 1990 году Вик. Ерофеев назначил поминки по советской литературе — и самое смешное в том, что с ним принялись всерьез спорить) также представляются малопродуктивными. Вещее указание Андрея Синявского на религиозную сущность и подоплеку социалистического реализма не оценено по достоинству. В сегодняшних, истерических или глумливых по тону, дискуссиях некорректной представляется уже изначальная постановка вопроса: что

такое социалистический реализм — благо, зло или фикция? Признать его фикцией мешает интуитивное отношение к лучшим произведениям советской литературы двадцатых — пятидесятых годов как к единому целому, причем на наднациональном и надъязыковом уровне. Признать его злом, как чаще всего и происходит сегодня, означает предать забвению книги и имена, восхищавшие и продолжающие восхищать миллионы людей во всем мире. Признать его благом не поворачивается язык.

15. *Значение социалистического реализма* как объединяющего и вдохновляющего фактора в нашей литературе непреложно. И, в той же мере, непреложно его значение как фактора деструктивного и ограничивающего. Сказать, по аналогии с рассуждениями историков и специалистов по «научному коммунизму», о достижениях СССР, все-таки имевших место в истекшие десятилетия, что, мол, все лучшее в литературе создавалось не благодаря социалистическому реализму, а вопреки ему,— значит подменить познание парадоксом. Ведь если и вопреки, то все же, со всей неизбежностью,— в соотнесенности с ним, а значит, уже и не только вопреки.

16. *Социалистический реализм — данность*, и литература, созданная в русле социалистического реализма и в соответствии с его методом,— данность, и разговор о том, добро это или зло, неуместен. По логике вещей, социалистический реализм мог и должен был стать ведущим (если не единственным) методом в литературе и искусстве тоталитарного по своему характеру и теократического по своему духу государства, каким был и отчасти еще остается СССР. Художник, лишенный в нашем обществе как политической свободы, так и экономической, вынужден был осознавать свои отношения с государством как решающие, экзистенциально главенствующие, судьбоносные. По Марксу, источником любой человеческой деятельности является страх смерти — насильственной смерти или голодной смерти,— то есть принуждение политическое и, соответственно, экономическое. В государстве, созданном по заветам Маркса (а то, что оно именно таково, могут оспаривать только ханжи), художник оказался под гнетом двойного принуждения. Ему оставалось покоряться или роптать — но в обоих случаях определяющим становилось отношение художника к государству, к власти, к системе (а в черных коридорах и застенках нашего государства — еще и непредсказуемое порой отношение власти к художнику, незаслуженное третирование его ею, ее неблагодарность применительно к собственному «певцу», но этот вопрос здесь рассматриваться не будет. Нам важнее справедливая оценка художника — как своего адепта или противника — властью, заслуженное воздаяние или возмездие за его труды).

17. *Стоило художнику возроптать* — и, увы, понятно, что его в нашей стране ожидало. Карой могло стать и физическое уничтожение, и тюрьма, и изгнание, и ссылка, и запрет на публикации. В разные периоды советской истории все эти кары применялись с неодинаковой интенсивностью и неодинаковой вероятностью, но всегда — во всем диапазоне. Возроптавшего художника могли запросто убить и в «вегетарианские времена», как это произошло на исходе семидесятых с поэтом-переводчиком К. Богатыревым, но могли даровать ему «покой» и в тридцатые — пример Булгакова! Но стоило художнику возроптать, так или иначе выразить несогласие или протест — и начиная с этой минуты ему надлежало считаться с возможностью применения к нему любой кары. Поэтому, прибегая к мрачному каламбуру, можно отметить, что роптать художнику все же не стоило.

18. *В системе тоталитарного теократического государства* художнику надлежало покориться власти, предаться ей, по возможности, безраздельно и до конца. Это можно было сделать искренне или лукаво (не зря же одним из центральных событий первой оттепели была публикация статьи «Об искренности в литературе» с последующими оргвыводами по адресу автора и редакции). Слукавивший художник с огромной долей вероятности переставал быть художником или же опускался на несколько порядков ниже «положенного» ему по дарованию уровня, если, конечно, не отличался патологической беспринципностью, свойственной все же лишь единицам. Предаться власти, таким образом, надлежало и предстояло искренне, на пути подлинной веры или, как минимум, честного самообмана. Воспеть, например, Беломорканал! Этот путь был по сути своей путем религиозным, на что и указал в свое время Синявский. На этом пути создавалась литература социалистического реализма, вооруженная единым методом социалистического реализма. И в этом была не ущербность ее, а особенность, своеобычность! Несколько параноидальная, конечно, особенность, но ведь именно паранойя — установленный ныне диагноз, характеризующий общественное сознание в истекшем семидесятилетии. Диагноз не следует путать с приговором.

19. *Метод социалистического реализма* выдуман, разумеется, не Горьким и не Луначарским. Да и не Сталиным, который сказал писателям: «Пишите правду»,— с присущим ему кавказским акцентом и висельным юмором. Метод социалистического реализма возник и до определенного времени развивался согласно общим законам литературы и искусства, играя при этом исторически определенную ему в мировом литературном процессе роль. Метод социалистического реализма был третьим,

наряду с модернизмом и беллетризмом, осколком критического реализма XIX столетия. Социалистический реализм взял у критического существенно больше, чем модернизм и беллетризм,— взял, по сути дела, все, кроме гносеологической воли. Акт познания, каким являлся в XIX веке акт творения, был подменен процессом подгонки решения любой задачи под заранее известный ответ. Иногда этот ответ спускали с самого верха, иногда даже меняли в ходе решения, что приводило к творческим и личным трагедиям, как в случае с Фадеевым, но чаще всего художник угадывал нужный ответ — и горе было ему, если он ошибался. Не из-за этого ли и сам процесс угадывания протекал с такой интенсивностью, что становился почти равнозначным акту познания? Верхи же пребывали алогичными и непредсказуемыми, а потому и неподкупными, не падкими на прямую лесть, на своей религиозной высоте (что в рамках модернизма замечательно предвосхитил Кафка на страницах романа «Замок»).

20. *Предтечей и провозвестником* социалистического реализма следует признать Достоевского, гениальный изобразительный дар которого и так называемая полифония поначалу мешают нам распознать в зрелом творчестве писателя приметы подгонки решения под звранее известный ответ. Лишь глубоко вчитавшись, мы понимаем, что перед нами не полифония идейного спора, а ее имитация (заинтересовавшегося этой частной проблемой можно отослать к исследованиям Ветловской): писателю заранее известно — и чем закончится диспут, и чем он должен закончиться. Концы искусно упрятаны в воду, но не настолько, чтобы их вообще нельзя было отыскать. В отличие от назидательной литературы эпохи Просвещения и периода классицизма с ее откровенным морализированием и в противовес общему течению литературы критического реализма, создатели которой руководствуются прежде всего логикой характера и ситуации, Достоевский имитировал познание, выводя его из собственного пред-знания. Мы восхищаемся пророческой силой романа «Бесы» и упускаем при этом из виду, что он (как это и было безошибочно воспринято современниками) представлял собой злонамеренную карикатуру на революционное движение. И наша история в XX веке, со всеми ее трагедиями и уродствами,— это не сбывшееся пророчество, а дьявольской волею оживленная карикатура. Конечно, нам от этого не легче, но в литературном споре об этом полезно помнить. Но уж таково было писательское умение Достоевского, знавшего, к чему должны привести революционистские порывы (так ему, по крайней мере, казалось), а вовсе не распознавшего этой угрозы в намерениях и действиях Нечаева со товарищи. Именно это умение наследует в своих лучших, наиболее искренних и жизнеспособных образцах у представителя критического реализма Достоевского литература социалистического реализма.

21. *Выбор,* сделанный Достоевским, мучителен и, вместе с тем, субъективно свободен. Этим лишний раз доказывается, что тенденциозность, ангажированность, в том числе — и государственнической ориентации, отнюдь не отменяют писательской честности перед самим собою и перед читателем. Применительно к нашей теме это означает, что литература социалистического реализма не может быть отвергнута с порога как нечто заведомо и априорно ущербное. Принадлежность произведения или совокупности произведений писателя к литературе социалистического реализма — фактор типологический, а не оценочный.

22. *Массовое приятие социалистической революции* мелкобуржуазной интеллигенцией, из среды которой вышло подавляющее большинство советских писателей двадцатых-тридцатых годов, ее (среды) восторженная и обескураживающе слепая вера в справедливость протекающих в нашем обществе процессов (включая и пресловутые Процессы, в известной мере примирившие с действительностью даже Булгакова и Пришвина), патриотический подъем в годы Великой Отечественной, энтузиазм поколения победителей — все это, в сочетании с систематическим подкупом литературной элиты со стороны власть предержащих (а еще Розанов указал на то, что в глубине души российскому писателю хочется не столько свободы, сколько красной рыбы) и, разумеется, с более или менее регулярным «отловом и отстрелом» ее, осуществляемыми на протяжении всех этих десятилетий, фундаментальным образом крепило веру, а тем самым — и метод социалистического реализма. Писатель не то чтобы не задумывался над происходящим — он совершенно искренне верил, что задумываться и не надо (пример К. Симонова). Писательство стало, по сути дела, исполнительским искусством. Но не перестало от этого быть искусством.

23. *«Оттепель»,* разбив и опрокинув идолы одной веры, тут же посулила другую, подновленную и улучшенную,— и социалистическому реализму по-прежнему ничего не грозило. Само по себе обновление представало исполненным сакрального смысла, коммунистическая доктрина слилась с мифом о возвращающемся Озирисе. Лишь в эпоху застоя вера рухнула — но социалистический реализм под своими руинами не погребла. Его дальнейшая судьба сложилась куда причудливей.

24. *Литература социалистического реализма,* как сказано выше, тенденциозна и искренна одновременно. В годы застоя была у нас литература искренняя и была литература тенденциозная. Правда, это бы-

ли две разные литературы, едва соприкасавшиеся между собой, и провести по ведомству социалистического реализма нельзя ни одну из них.

25. *Литература искренняя* вернулась к изображению и анализу жизни, свободным от заданности четких идеологических норм, от подгонки решения под заранее известный ответ. Некая мера свободы, еще не выветрившейся из послехрущевского воздуха, равно как и не вполне оправданное ощущение личной безопасности в переменившиеся времена способствовали ее появлению и становлению. Здесь выделились три основных направления: военная («окопная», «лейтенантская»), городская (Трифонов, затем «московские сорокалетние», сюда же примкнула и драматургия «новой волны») и деревенская проза. Во всех трех случаях можно говорить об отказе от канонов социалистического реализма и о возврате на позиции реализма критического. Правда, это был — в методологическом смысле — не ренессанс, а реанимация традиций отечественной классики: отказ от лжи, но и невозможность сказать всю правду (ср. сложный феномен Тендрякоаа), обращение к патриархальным, во многом устаревшим, а во многом и анахронистически изобретенным идеалам, равно как и отказ от каких бы то ни было идеалов. Отмечу, что подобная творческая позиция во всех своих вариантах сулила удовлетворительные результаты лишь на поприще прозы (отчасти и драматургии), в поэзии же отсутствие «последней прямоты» приводило к вырождению даже самых значительных талантов. Возникла и расцвела «поэзия пустяков»: стихи писали не о любви, а о пустяках любви, не о жизни, а о пустяках жизни, и т. д.

26. *Литература неискренняя,* задававшая в эти десятилетия тон, к литературе, строго говоря, отношения не имела, а к социалистическому реализму — имела лишь весьма опосредованное. Это была когда более, когда менее искусная имитация подлинных достижений социалистического реализма, и правила бал здесь не вера, пусть и слепая, а вполне зрячая корысть. В те годы социалистическим реализмом слыло творчество писателей, живущих в стране реального социализма и реалистически учитывающих это обстоятельство. Разумеется, это был лже-соцреализм, но его-то у нас и пропагандировали, его-то и анализировали, его-то и увенчивали лаврами; его продукцию мы, стыдясь самих себя, случалось, почитывали. И, справедливо клеймя его сегодня, полагаем этот лже-соцреализм социалистическим реализмом подлинным — и торопимся именно в таком качестве утопить. Понятно, что вместе с водой мы выплескиваем ребенка.

27. *Подлинный социалистический реализм,* заключающийся в искреннем и вместе с тем тенденциозном отображении действительности, базирующийся на отношении к государству как на решающей экзистенциальной связи, подменяющий акт познания процессом подгонки решения под заранее известный ответ — и поступающий так с религиозной, по своей сути, верой в собственную правоту и в правоту своего дела,— этот социалистический реализм ушел в литературу запрещенную, в подпольное, потаенное творчество, реализовывавшее себя, да и то далеко не в каждом случае, лишь через сам- или тамиздат. Как часто мы, читая с трудом раздобытые книжицы, неразборчивую машинопись или толстые папки фотокопий, скажем, Владимира Корнилова или Владимира Максимова, стихи и пьесы Галича, прозу Войновича, невольно восклицали: да это ведь тот же соцреализм, только наизнанку! Только с противоположным знаком! И действительно, герои и акценты в этих произведениях менялись местами по сравнению с тем, что публиковалось официально, менялись цветами, как в шахматной партии, но расстановка фигур оставалась одною и тою же. Бывало, такое «перевернутое» произведение нечаянно прорывалось на журнальную полосу или в книгу — и тут же становилось ясно его несомненное родство ие с тем, что печатают здесь, а с тем, что публикуют «за бугром» («Кануны» В. Белова). И сегодня многие литературоведы на Звпаде именно так — соцреализмом наизнанку — именуют сочинения типа «Белых одежд» или «Детей Арбата». Но, простите, почему же наизнанку? Разве метод определяется политическими убеждениями и устремлениями? Писатель, подменивший в своем творчестве акт познания процессом подгонки решения под заранее известный ответ, становится — или остается — представителем социалистического реализма независимо от того, как он относится к социализму, капитализму и прочим идеологическим измам.

28. *Показателен пример* с дилогией Василия Гроссмана. Внутреннее художественное единство романов «За правое дело» и «Жизнь и судьба» бесспорно. И в той же мере бесспорна полярность политических оценок, данных в обоих романах. Последнее обстоятельство сумело даже подвигнуть противников Гроссмана на разговоры о двурушничестве писателя, что, разумеется, абсурдно. Как абсурдны и рассуждения некоторых его поклонников о том, что вот, дескать, Гроссман сперва лгал, а потом дорос до произнесения всей правды. Гроссман переменился. Проделав колоссальную политическую эволюцию, совершив поворот на 180 градусов, Гроссман как художник остался верен себе и раз навсегда выбранному им для себя методу социалистического реализма. Кстати говоря, и в «свободном мире» точно такая же метаморфоза отнюдь не исключена — пример Говарда Фаста.

29. *Занятен пример от противного:* незадолго до своего бегства на Запад писатель Анатолий Кузнецов опубликовал в журнале «Юность» роман «Огонь», основным идейным содержанием которого был спор между убежденным коммунистом из столицы и завзятым циником и антисоветчиком из провинции. Спор этот звучал вполне объемно, вполне полифонически, оба антагониста были по профессии журналистами, чем объяснялось их умение формулировать свои мысли. Лишь факт публикации в советском журнале (а значит, и одобрения цензурой) подсказывал читателю, на чью сторону ему должно встать. Но факт бегства писателя, не изменив в романе ни единой запятой, подсказывал нечто прямо противоположное. Предлагаю моим эвентуальным оппонентам самостоятельно ответить на вопрос: о соцреализме или о лжесоцреализме тут шла речь?

30. *Ведущий представитель позднего социалистического реализма,* его титан и завершитель — Александр Солженицын. Есть у писателя небольшой рассказ «Для пользы дела», который вполне укладывается в рамки социалистического реализма в традиционном понимании этого термина, но дело, конечно, не в нем. Автобиографические свидетельства Солженицына, в особенности книга «Бодался теленок с дубом», убеждают в том, что неприятие писателем тоталитарного режима с самого начала носило тотальный характер — и значит, в данном случае рочь идет как раз о лжесоцреализме, о соцреализме неискреннем (показательна и «порча», по слову автора, романа «В круге первом»). Впрочем, именно эти черты лжесоцреализма (и прочитанный соответствующим образом «Один день Ивана Денисовича») позволили Георгу Лукачу, а позднее Генриху Беллю сопричислить Солженицына к школе социалистического реализма. Однако оба ранних романа писателя и в особенности эпопея «Красное колесо» несут в себе все не раз обговоренные выше приметы подлинного социалистического реализма. Солженицын государственник, Солженицын свято верит в то, что он пишет, а главное, свято верит в свое право «перегибать» историю (и не только ее), подгонять образы под нужные ему — заранее известные ему — выводы. То, что он делает это с поразительным и непревзойденным мастерством, равно как и то, что метод, оторвавшись от своего идеологического источника, оказался столь блистательно обращен в орудие борьбы против последнего, лишний раз доказывает, что социалистический реализм — категория не оценочная, а типологическая. И в любом случае — не мировоззренческая.

31. *Взаимоотношения поздних — подпольных — представителей социалистического реализма с государством* строились на основе все той же — правда, на этот раз действительно вывернутой наизнанку — формулы успеха, свободы, экономической независимости. Представители подлинного социалистического реализма добиаались экономической независимости, уходя в сторожа, перебиааясь с хлеба на квас, получая жалкие подачки с Запада. Успех для них заключался в том, чтобы привлечь к себе общественное внимание, вызвать огонь на себя, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Личную свободу если не гарантировали, то хоть в какой-то мере обеспечивали успех и известность за рубежом. Логика была такова: прославиться раньше, чем посадят, тогда, по крайней мере, не придется сидеть в полной безвестности. Любопытен пример с покойным писателем Кормером, проведшим автоцензуру рукописи не предназначавшегося для публикации в СССР романа «Наследство», чтобы не дать материала для обвинения себя по семидесятой статье. Любопытен и наивен — потому что, как известно, был бы человек, а статья найдется! Эмиграция на Запад не освобождала писателей ни от духовной зависимости, ни от страха: рука КГБ могла найти неугодного художника слова и там. Гибель Галича и Амальрика ничуть не менее загадочны, чем смерть Машерова или подлинные обстоятельства убийства Джона Фицджеральда Кеннеди.

32. *Нынешний несомненный кризис советской литературы* — это прежде всего кризис метода. Подлинный социалистический реализм живет в добровольном духовном единении с государством или в отчаянном противостоянии ему; это литература тоталитарного теократического режима, и вместе с его крушением гибнет и она. Уже даже сейчас вершинные произведения социалистического реализма удручают своей ненужностью. А писать или читать полуправду не хочет уже никто. А каким-то иным методом наши даже лучшие сочинители овладеть просто не в состоянии.

33. *Догонять Запад,* перенимать у него все нужное и, увы, ненужное нам придется и в отношении литературы. Собственно говоря, это уже начинается, и творчество отечественных постмодернистов, о котором упоминалось выше, тому пример. Уже пробиваются ростки орнаментальной и экспрессионистической прозы, концептуальной поэзии, соцарта, черного юмора. Их почти не видно в пылевой буре, поднятой политическими событиями и экономическими треволнениями, и они в любой момент могут, как, впрочем, и многое другое, оказаться затоптаны солдатскими сапогами — но они есть. И не здесь ли родится наша новая литература? Но тогда это будет совершенно иная литература — вдвойне маргинальная по отношению ко всему, чем мы живем.

34. *Не будем чрезмерными оптимистами,* потому что и литература Запада, до уровня и состояния которой нам еще предстоит дорасти, влачит сегодня довольно жалкое существование. То есть вполне нормальное — и все же жалкое по нашим меркам, по нашим представлениям и мечтам о все новых и новых властителях дум. Солженицын — завершитель еще и потому, что он последний властитель дум. Больше не будет. Писатель будет пописывать, читатель — почитывать, критика — анализировать и рекламировать. Предвижу глубокий кризис «толстых» журналов, раздутые тиражи которых лопаются, как мыльные пузыри; предвижу полный упадок поэзии и серьезной прозы; предвижу все нарастающее презрение к литературе и ее создателям со стороны всего общества. Беллетризм и тривиальная литература останутся на плаву, элитарная литература превратится в разновидность «игры в бисер», писатели, успешно разваливающие ныне свой союз по идейным и расовым соображениям, окажутся, каждый поодиночке, перед лицом общего «врага»: тотального равнодушия и небрежения к литературе. Книги, за которыми сегодня еще гоняются и в которые вкладывают деньги, обесценятся, как сами деньги, хотя по номиналу и взлетят в цене. Человек сытый, благополучием которого мы все сегодня так озабочены, вообще не читает художественной литературы. Человек голодный стремится стать сытым. Интерес к литературе — удел несытых или уже окончательно зажравшихся (тех самых просвещенных паразитических слоев, которые поддерживают литературу и искусство на Западе). Несытыми мы быть перестаем, распадаясь на голодных и сытых, зажравшиеся появятся еще ой как не скоро. И это — в самом благополучном варианте развития событий.

Петр Вайль и Александр Генис

ТОРЖЕСТВО НЕДОРОСЛЯ

ФОНВИЗИН

Случай «Недоросля» — особый. Комедию изучают в школе так рано, что уже к выпускным экзаменам в голове не остается ничего, кроме знаменитой фразы: «Не хочу учиться, хочу жениться». Эта сентенция вряд ли может быть прочувствована не достигшими половой зрелости шестиклассниками: важна способность оценить глубинную связь эмоций духовных («учиться») и физиологических («жениться»).

Даже само слово «недоросль» воспринимается не так, как задумано автором комедии. Во времена Фонвизина это было совершенно определенное понятие: так назывались дворяне, не получившие должного образования, которым поэтому запрещено было вступать в службу и жениться. Так что недорослю могло быть и двадцать с лишним лет. Правда, в фонвизинском случае Митрофану Простакову — шестнадцать.

При всем этом вполне справедливо, что с появлением фонвизинского Митрофанушки термин «недоросль» приобрел новое значение — балбес, тупица, подросток с ограниченно-порочными наклонностями.

Миф образа важнее жизненной правды. Тонкий одухотворенный лирик, Фет был дельным хозяином и за помещичьи 17 лет не написал и полудюжины стихотворений. Но у нас, слава Богу, есть «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» — и этим образ поэта исчерпывается, что только справедливо, хоть и неверно.

Терминологический «недоросль» навеки, благодаря Митрофанушке и его творцу, превратился в расхожее осудительное словечко школьных учителей, стон родителей, ругательство.

Сделать с этим ничего нельзя. Хотя и существует простой путь — прочесть пьесу.

Сюжет ее несложен. В семье провинциальных помещиков Простаковых живет их дальняя родственница — оставшаяся сиротой Софья. На Софью имеют брачные виды брат госпожи Простаковой — Тарас Скотинин и сын Простаковых — Митрофан. В критический для девушки момент, когда ее отчаянно делят дядя и племянник, появляется другой дядя— Стародум... Он убеждается в дурной сущности семьи Простаковых при помощи прогрессивного чиновника Правдина. Софья образумливается и выходит замуж за человека, которого любит,— за офицера Милона. Имение Простаковых берут в государственную опеку за жестокое обращение с крепостными. Митрофана отдают в военную службу.

Все заканчивается, таким образом, хорошо. Просветительский хэппи-энд омрачает лишь одно, но весьма существенное обстоятельство: посрамленные и униженные в финале Митрофанушка и его родители — единственное светлое пятно в пьесе.

Живые, полнокровные, несущие естественные эмоции и здравый смысл люди — Простаковы — среди тьмы лицемерия, ханжества, официоза.

Угрюмы и косны силы, собранные вокруг Стародума.

Фонвизина принято относить к традиции классицизма. Это верно, и об этом свидетельствуют даже самые поверхностные, с первого взгляда заметные детали: например, имена персонажей. Милон — красавчик, Правдин — человек искренний, Скотинин — понятно. Однако при ближайшем рассмотрении убедимся, что Фонвизин классицист только тогда, когда имеет дело с так называемыми положительными персонажами. Тут они — ходячие идеи, воплощенные трактаты на моральные темы.

Но герои отрицательные ни в какой классицизм не укладываются, несмотря на свои «говорящие» имена.

Фонвизин всеми силами изображал торжество разума, постигшего идеальную закономерность мироздания. Как всегда и во все времена, организующий разум уверенно оперся на благотворную организованную силу: карательные меры команды Стародума приняты — Митрофан сослан в солдаты, над родителями взята опека. Но когда и какой справедливости служил учрежденный с самыми благородными намерениями террор?

В конечном-то счете подлинная бытийность, индивидуальные характеры и само живое разнообразие жизни — оказались сильнее. Именно отрицательные герои «Недоросля» вошли в российские поговорки, приобрели архетипические качества — то есть они и победили, если принимать во внимание расстановку сил на долгом протяжении российской культуры.

Но именно поэтому следует обратить внимание на героев положительных, одержавших победу в ходе сюжета, но прошедших невнятными тенями по нашей словесности.

Мертвенно страшен их язык. Местами их монологи напоминают наиболее изысканные по ужасу тексты Кафки. Вот речь Правдина: «Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно».

Язык положительных героев «Недоросля» выявляет идейную ценность пьесы гораздо лучше, чем ее сознательно нравоучительные установки. В конечном счете понятно, что только такие люди могут вводить войска и комендантский час: «Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнев быть без аины обойдену, нежели без заслуг пожаловану».

Легче всего отнести весь этот языковой паноптикум на счет эпохи — все же XVIII век. Но ничего не выходит, потому что в той же пьесе берут слово живущие рядом с положительными отрицательные персонажи. И какой же современной музыкой звучат реплики семейства Простаковых! Их язык жив и свеж, ему не мешают те два столетия, которые отделяют нас от «Недоросля». Тарас Скотинин, хвалясь достоинствами своего покойного дяди, изъясняется так, как могли бы гоаорить герои Шукшина: «Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолоку... Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?»

И положительные и отрицательные герои «Недоросля» ярче и выразительней всего проявляются в обсуждении проблем образования и воспитания. Это понятно: активный деятель Просвещения, Фонвизин, как и было тогда принято, уделял этим вопросам много внимания. И — вновь конфликт.

В пьесе засушенная схоластика отставного солдата Цифиркина и семинариста Кутейкина сталкиваются со здравым смыслом Простаковых. Замечателен пассаж, когда Митрофану дают задачу: сколько денег пришлось бы на каждого, если б он нашел с двумя товарищами триста рублей? Проповедь справедливости и морали, которую со всей язвительностью вкладывает в этот эпизод автор, сводится на нет мощным инстинктом здравого смысла г-жи Простаковой. Трудно не обнаружить некрасивую, но естественную логику в ее простодушном энергичном протесте: «Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке».

Недоросль дурацкой науке учиться, собственно говоря, и не думает. У этого дремучего юнца — в отличие от Стародума и его окружения — понятия обо всем свои, неуклюжие, неартикулированные, но и не заемные, не зазубренные. Многие поколения школьников усваивают — как смешон, глуп и нелеп Митрофан на уроке грамматики. Этот свирепый стереотип мешает понять, что пародия получилась — вероятно, вопреки желанию автора — не на невежество, а на науку, на все эти правила фонетики, морфологии и синтаксиса.

«П р а в д и н. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

М и т р о ф а н. Дверь, котора дверь?

П р а в д и н. Котора дверь! Вот эта.

М и т р о ф а н. Эта? Прилагательна.

П р а в д и н. Почему же?

М и т р о ф а н. Потому что она приложена к своему месту. Вот у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна».

Двести лет смеются над недорослевой глупостью, как бы не замечая, что он мало того, что остроумен и точен, но и в своем глубинном проникновении в суть вещей, в подлинной индивидуализации всего существующего, в одухотворении неживого окружающего мира — в известном смысле предтеча Андрея Платонова. А что касается способа словоизъявления — один из родоначальников целого стилевого течения современной прозы: может

ведь Марамзин написать — «ум головы», или Довлатов — «отморозил пальцы ног и уши головы».

Простые и внятные истины отрицательных и осужденных школой Простаковых блистают на сером суконном фоне прописных упражнений положительных персонажей. Даже о такой деликатной материи, как любовь, эти грубые необразованные люди умеют сказать выразительнее и ярче.

Красавчик Милон путается в душевных признаниях, как в плохо заученном уроке: «Душа благородная!.. Нет... не могу скрывать более моего сердечного чувства... Нет. Добродетель твоя извлекает силою все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье». Здесь сбивчивость не столько от волнения, сколько от забывчивости: что-то такое Милон прочел в перерывах между занятиями строевой подготовкой — что-нибудь из Фенелона, из моралистического трактата «О воспитании девиц».

Г-жа Простакова книг не читала вообще, и эмоция ее здрава и непорочна: «Вот послушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой... У кого достаточек, хоть и небольшой...»

Вся историко-литературная вина Простаковых в том, что они не укладываются в идеологию Стародума. Не то чтобы у них была какая-то своя идеология — упаси Бог. В их крепостническую жестокость не верится: сюжетный ход представляется надуманным для вящей убедительности финала, и кажется даже, что Фонвизин убеждает в первую очередь себя. Простаковы — не злодеи, для этого они слишком стихийные анархисты, беспардонные охламоны, шуты гороховые. Они просто живут и по возможности желают жить, как им хочется. В конечном счете, конфликт Простаковых — с одной стороны, и Стародума с Правдиным — с другой, это противоречие между идейностью и индивидуальностью. Между авторитарным и свободным сознанием.

В естественных для современного читателя поисках сегодняшних аналогий риторическая мудрость Стародума странным образом встречается с дидактическим пафосом Солженицына. Сходства много: от надежд на Сибирь («на ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть» — Стародум, «наша надежда и отстойник наш» — Солженицын) до пристрастия к пословицам и поговоркам. «Отроду язык его не говорил „да", когда душа его чувствовала „нет"»,— говорит о Стародуме Правдин то, что через два века выразится в чеканной формуле «жить не по лжи». Общее — в настороженном и подозрительном отношении к Западу: тезисы Стародума могли быть включены в Гарвардскую речь, не нарушив ее идейной и стилистической цельности.

Примечательные рассуждения Стародума о Западе («Я боюсь нынешних мудрецов. Мне случалось читать из них все, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель») напоминают о всегдашней злободневности этой проблемы для российского общества. Хотя в самом «Недоросле» ей уделено не так уж много места, все творчество Фонвизина в целом пестрит размышлениями о соотношении России и Запада. Его известные письма из Франции поражают сочетанием тончайших наблюдений и площадной ругани. Фонвизин все время спохватывается. Он искренне восхищен лионскими текстильными предприятиями, но тут же замечает: «Надлежит зажать нос, въезжая в Лион». Непосредственно после восторгов перед Страсбургом и знаменитым собором — обязательное напоминание, что и в этом городе «жители по уши в нечистоте».

Но главное, разумеется, не в гигиене и санитарии. Главное — в различии человеческих типов россиянина и европейца. Особенность общения с западным человеком Фонвизин подметил весьма изящно. Он употребил бы слова «альтернативность мнения» и «плюрализм мышления», если б знал их. Но писал Фонвизин именно об этом, и от русского писателя не ускользнула та крайность этих явно положительных качеств, которая по-русски в осудительном смысле именуется «бесхребетностью» (в похвальном называлось бы «гибкостью», но похвалы гибкости — нет). Он пишет, что человек Запада, «если спросить его утвердительным образом, отвечает: да, а если отрицательным о той же материи, отвечает: нет». Это тонко и совершенно справедливо, но грубы и совершенно несправедливы такие, например, слова о Франции: «Пустой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в женщинах, другого, право, ничего не вижу».

Возникает ощущение, что Фонвизину очень хотелось быть Стародумом. Однако ему безнадежно не хватало мрачности, последовательности, прямолинейности. Он упорно боролся за эти достоинства, даже собирался издавать журнал с символическим названием «Друг честных людей, или Стародум». Его героем и идеалом был — Стародум.

Но ничего не вышло. Слишком блестящ был юмор Фонвизина, слишком самостоятельны его суждения, слишком едки и независимы характеристики, слишком ярок стиль.

Слишком силен был в Фонвизине Недоросль, чтобы он мог стать Стародумом.

Он постоянно сбивается с дидактики на веселую ерунду и, желая осудить парижский разврат, пишет: «Кто недавно в Париже, с тем бьются здешние жители об заклад, что когда по нем (по Новому мосту) ни пойди, всякий раз встретится на нем белая лошадь, поп и непотребная женщина. Я нарочно хожу на этот мост и всякий раз их встречаю».

Стародуму никогда не достичь такой смешной легкости. Он станет обличать падение нравов правильными оборотами или, чего доброго, в самом деле пойдет на мост считать непотребных женщин. Зато такую глупейшую историю с удовольствием расскажет Недоросль. То есть — тот Фонвизин, которому удалось так и не стать Стародумом.

КРИЗИС ЖАНРА

РАДИЩЕВ

Самый лестный отзыв о творчестве Александра Радищева принадлежит Екатерине Второй: «Бунтовщик хуже Пугачева».

Самую трезвую оценку Радищева дал Пушкин: «„Путешествие в Москву", причина его несчастья и славы, есть очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге».

Самым важным в посмертной судьбе Радищева было высказывание Ленина, который поставил Радищева «первым в ряду русских революционеров, вызывающим у русского народа чувство национальной гордости».

Самое странное, что ничто из вышесказанного не противоречит друг другу.

Потомки часто обращаются с классиками по произволению. Им ничего не стоит превратить философскую сатиру Свифта в диснеевский мультфильм, пересказать «Дон Кихота» своими немудреными словами, сократить «Преступление и наказание» до двух глав в хрестоматии.

С Радищевым наши современники обошлись еще хуже. Они свели все его обширное наследие до одного произведения, но и из него оставили себе лишь заголовок — «Путешествие из Петербурга в Москву». Дальше, за заголовком — пустота, в которую изредка забредают рассуждения о вольнолюбивом характере напрочь отсутствующего текста.

Нельзя сказать, что потомки так уж неправы. Пожалуй, можно бы даже согласиться с министром графом Уваровым, считавшим «совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения», если бы не одно обстоятельство. Радищев — не писатель. Он — родоначальник, первооткрыватель, основоположник того, что принято называть русским революционным движением. С него начинается длинная цепочка российского диссидентства.

Радищев родил декабристов, декабристы — Герцена, тот разбудил Ленина, Ленин — Сталина, Сталин — Хрущева, от которого произошел академик Сахаров.

Как ни фантастична эта ветхозаветная преемственность (Авраам родил Исаака), с ней надо считаться. Хотя бы потому, что эта схема жила в сознании не одного поколения критиков.

Жизнь первого русского диссидента необычайно поучительна. Его судьба многократно повторялась и продолжает повторяться. Радищев был первым русским человеком, осужденным за литературную деятельность. Его «Путешествие» было первой книгой, с которой расправилась светская цензура. И, наверное, Радищев был первым писателем, чью биографию так тесно переплели с творчеством.

Суровый приговор сенатского суда наградил Радищева ореолом мученика. Преследования правительства обеспечили Радищеву литературную славу. Десятилетняя ссылка сделала неприличным обсуждение чисто литературных достоинств его произведений.

Так родилась великая путаница: личная судьба писателя прямо отражается на качестве его произведений.

Конечно, интересно знать, что Синявский написал «Прогулки с Пушкиным» в мордовском лагере, но ни улучшить, ни ухудшить книгу это обстоятельство не в силах.

Итак, Екатерина даровала Радищеву бессмертие, но что ее толкнуло на этот опрометчивый шаг?

Прежде всего, «Путешествие из Петербурга в Москву» путешествием не является — это лишь формальный прием. Радищев разбил книгу на главы, назвав каждую именем городов и деревень, лежащих на соединяющем две столицы тракте.

Кстати, названия эти сами по себе замечательно выразительны — Завидово, Черная Грязь, Выдропуск, Яжлебицы, Хотилов. Не зря Венедикт Ерофеев соблазнился все той же топонимической поэзией в своем сочинении «Москва — Петушки».

Перечислением географических точек и ограничиваются собственно дорожные впечатления Радищева. Все остальное — пространный трактат о... пожалуй, обо всем на свете. Автор собрал в свою главную книгу все рассуждения об окружающей и неокружающей его жизни, как бы подготовил собрание сочинений в одном томе. Сюда вошли и написанные ранее ода «Вольность», и риторическое упражнение «Слово о Ломоносове», и многочисленные выдержки из западных просветителей.

Цементом, скрепляющим все это аморфное образование, послужила доминирующая эмоция — негодование, которое и позволило считать книгу обличительной энциклопедией российского общества.

«Тут я задрожал в ярости человечества»,— пишет герой-рассказчик. И дрожь эта не оставляет читателя на всем нелегком пути из Петербурга в Москву сквозь 137 страниц немалого формата.

Принято считать, что Радищев обличает язвы царизма: крепостное право, рекрутскую повинность, народную нищету. На самом же деле он негодует по самым разным поводам. Вот Радищев громит фундаментальный порок России: «Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию мертвы в законе, называться блаженным?!» Но тут же с не меньшим пылом атакует обычай чистить зубы: «Не сдирают они (крестьянские девушки.— *Авт.*) каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками». Только автор прочел отповедь цензуре («цензура сделалась нянькой рассудка»), как его внимание отвлечено французскими кушаньями, «на отраву изобретенными». Иногда в запальчивости Радищев пишет нечто уж совсем несуразное. Например, описывая прощание отца с сыном, отправляющимся в столицу на государственную службу, он восклицает: «Не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу?»

Обличительный пафос Радищева до странности неразборчив. Он равно ненавидит беззаконие и сахароварение. Надо сказать, что и эта универсальная «ярость человечества» имела долгую историю в нашей литературе. Гоголь тоже нападал на «причуду» пить чай с сахаром. Толстой не любил медицины. Наш современник Солоухин с равным усердием призывает спасать иконы и изводить женские брюки. Василий Белов выступает против экологических катастроф и аэробики.

Однако тотальность радищевской мании правдоискательства ускользнула от читателей. Они предпочли обратить внимание не на обличение, скажем, венерических заболеваний, а на атаки против правительства и крепостничества. Именно так поступила Екатерина.

Политическая программа Радищева, изложенная, по словам Пушкина, «безо всякой связи и порядка», представляла собой набор общих мест из сочинений философов-просветителей — Руссо, Монтескье, Гельвеция.

Самое пикантное во всем этом, что любой образованный человек в России мог рассуждения о свободе и равенстве прочесть в оригинале — до Французской революции никто ничего в России не запрещал (цензура находилась в ведомстве Академии наук, которая цензурой заниматься не желала).

Преступление Радищева заключалось не в популяризации западного вольнодумия, а в том, что он применил чужую теорию к отечественной практике и описал случаи немыслимого зверства.

До сих пор наши представления о крепостном праве во многом зиждятся на примерах Радищева. Это из него мы черпаем страшные картины торговли людьми, от Радищева пошла традиция сравнивать русских крепостных с американскими чернокожими рабами, он же привел эпизоды чудовищного произвола помещиков, который проявлялся, судя по Радищеву, зачастую в сексуальном плане. Так, в «Путешествии» описан барин, который «омерзил 60 девиц, лишив их непорочности». (Возмущенная Екатерина велела разыскать преступника.) Тут же с подозрительными по сладострастию подробностями выведен развратник, который «лишен став утехи, употребил насилие. Четыре злодея, исполнителя твоея воли, держа руки и ноги ее... но сего не кончаем». Однако судить о крепостном праве по Радищеву, наверное, не лучше, чем оценивать античное рабство по фильму «Спартак».

Дворянский революционер Радищев не только обличал свой класс, но и создал галерею положительных образов — людей из народа. Автор, как и последующие поколения русских писателей, был убежден в том, что только простой народ способен противостоять гнусной власти: «Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей». При этом народ в изображении Радищева остается риторической фигурой. Только внутри жанра просветительского трактата могут существовать мужики, восклицающие: «Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле?» Только автор таких трактатов мог приписывать крестьянам страстную любовь к гражданским правам. Радищев пишет: «Возопил я наконец сице: человек родился в мир равен со всем другим», что в переводе на политический язык эпохи означает введение конституции наподобие только что принятой в Америке. Именно это ставила ему в вину императрица, и именно этим он заслужил посмертную славу.

В представлении потомков Радищев стал интеллектуальным двойником Пугачева. С легкой руки Екатерины эта пара — интеллигент-диссидент и казак-бунтовщик — стала прообразом русского инакомыслия. Всегда у нас были образованные люди, которые говорят от лица непросвещенного народа,— декабристы, народники, славянофилы, либералы, правозащитники. Но, говоря от лица народа, они говорят далеко не то, что говорит сам народ.

Лучше всего это должен был бы знать сам Радищев, который познакомился с пугачевским движением во время службы в армейском штабе в качестве прокурора (обер-аудитора).

Радищев требовал для народа свободы и равенства. Но сам народ мечтал о другом. В пугачевских манифестах самозванец жалует своих подданных «землями, водами, лесом, жительством, травами, реками, рыбами, хлебом, законами, пашнями, телами, денежным жалованьем, свинцом и порохом, как вы желали. И пребывайте, как степные звери».

Радищев пишет о свободе — Пугачев о воле. Один хочет облагодетельствовать народ конституцией, другой — землями и водами. Первый предлагает стать гражданами, второй — степными зверями. Не удивительно, что у Пугачева сторонников оказалось значительно больше.

Пушкина в судьбе Радищева больше всего занимал один вопрос: «Какую цель имел Радищев? Чего именно он желал?»

Действительно, благополучный чиновник (директор таможни) в собственной типографии выпускает книгу, которая не может не погубить автора. Более того, он сам разослал первые экземпляры важным вельможам, среди которых был и Державин. Не полагал же он в самом деле свергнуть абсолютную монархию и установить в стране строй, списанный из французской Энциклопедии?

Возможно, одним из мотивов странного поведения Радищева было литературное честолюбие. Радищев мечтал стяжать лавры пиита, а не революционера. «Путешествие» должно было стать ответом всем тем, кто не ценил его литературные опыты. О многочисленных зоилах он глухо упоминает в оде «Вольность»: «В Москве не хотели ее печатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах не ясен и много стихов топорной работы...»

Уязвленный подобными критиками, Радищев намеревался поразить читающую Россию «Путешествием». О таком замысле говорит многое. Необъятный размах, рассчитанный на универсального читателя. Обличительный характер, придающий книге остроту. Назидательный тон, наконец. Изобилующее проектами «Путешествие» есть своего рода «Письмо вождям». Радищев все время помнит о своем адресате, обращаясь к нему напрямую: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкой или нахмуришь чело...» Радищев знал о судьбе Державина, обязанного карьерой поэтическим наставлениям императрице.

Однако главный аргумент в пользу писательских амбиций Радищева — художественная форма книги. В «Путешествии» автор выступает отнюдь не политическим мыслителем. Просветительские идеи — лишь фактура, материал для построения сугубо литературного произведения. Поэтому-то Радищев и выбрал для своей главной книги модный тогда образец — «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Стерна.

Стерном зачитывалась вся Европа. Он открыл новый литературный принцип — писать ни о чем, постоянно издеваясь над читателем, иронизируя над его ожиданием, дразня полным отсутствием содержания.

Как и у Радищева, в «Путешествии» Стерна нет никакого путешествия. Есть только сотня страниц, наполненных мозаичными случайными рассуждениями по пустячным поводам. Каждое из этих рассуждений никуда не ведет, и над каждым не забывает подтрунивать автор. Заканчивается книга Стерна замечательно и характерно — последнее предложение: «Так что, когда я протянул руку, я схватил горничную за —».

Никто уже не узнает, за что схватил горничную герой Стерна, но читателей покорила как раз эта издевательская недосказанность. Радищев был среди этих читателей. Одна его глава кончается так: «Всяк пляшет, да не как скоморох,— повторял я, наклоняяся и, подняв, развертывая...»

«Путешествие» Радищева почти копирует «Путешествие» Стерна, за тем исключением, что Радищев решил заполнить намеренно пустую форму Стерна патетическим содержанием. Кажется, он принял за чистую монету дурашливые заявления Стерна: «Рядись, как угодно, Рабство, все-таки ты горькая микстура!»

При этом Радищев тоже пытался быть смешным и легкомысленным («когда я намерился сделать преступление на спине комиссарской»), но его душил обличительский и реформаторский пафос. Он хотел одновременно писать тонкую, изящную, остроумную прозу, но и приносить пользу отечеству, бичуя пороки и воспевая добродетели.

За смешение жанров Радищеву дали десять лет.

Хотя эту книгу давно уже не читают, она сыграла эпохальную роль в русской литературе. Будучи первым мучеником от словесности, Радищев создал специфический русский симбиоз политики и литературы.

Присовокупив к званию писателя должность трибуна, защитника всех обездоленных, Радищев основал мощную традицию, квинтэссенцию которой выражают неизбежно актуальные стихи: «Поэт в России больше, чем поэт».

Так, развитие политической мысли в России стало неотделимо от художественной формы, в которую она облачалась. У нас были Некрасов и Евтушенко, но не было Джефферсона и Франклина.

Вряд ли такая подмена пошла на пользу и политике и литературе, но теперь уже поздно об —

Димитрий Панин

«ЛУБЯНКА — ЭКИБАСТУЗ». ЛАГЕРНЫЕ ЗАПИСКИ

Главы из книги первой

Глава 19

НА КАТОРГЕ (Продолжение)

Отпор террору чекистов

Осенью пятидесятого я перешел на инженерную работу по восстановлению кислородной установки и одновременно занимался для себя объяснением механики на квантовом уровне. Я возобновил свои воркутинские бдения: на этот раз также подымался в четыре утра и работал почти до семи над своими изысканиями; из зэковского десятичасового рабочего дня ухитрялся выхватывать тоже часа два, вечером спал до поверки, затем бодрствовал до двенадцати ночи. Я был поглощен своими поисками и для друзей оставлял только выходной и вечер накануне. От людей я окончательно не оторвался, но сильно ограничил свою активность и вмешательство в дела заключенных. За время этапа и первых двух месяцев на общих работах я постарался передать ближним свой опыт, установки и заповеди, особенно налегая на те, что требовали борьбы и преодоления сопротивления. Я договорился с товарищами, что в случае необходимости всегда постараюсь помочь, но просил не привлекать меня к обсуждению повседневных дел. Одновременно я добился, чтоб Солженицына вообще оставили в покое и не отвлекали от его творческих планов.

События подкрались удивительно незаметно. На этап из Долинки в первое время не обратили внимания. Лишь недели через две дошли слухи, что в Долинке, где было такое же, как наше, отделение Песчанлага, произошел какой-то шум и пожар — скорей поджог. Разнесся слух, что среди долинцев нет ни одного стукача и они имеют возможность разговаривать в бригаде громко о том, о чем мы только вполголоса поверяли хорошим знакомым. На работе они вели себя тоже как-то необычно: загорали, много сидели и разговаривали, курили. На замечания прикрепленного к объекту надзирателя, который обязан был раз в день наведываться в разное время, чтобы пресекать нарушения, они вежливо отвечали, что не его дело вмешиваться в производственные дела бригады. Когда надзиратель угрожал записать номер отвечавшего зэка, ему вежливо, но твердо заявляли, что они все так говорят и пусть он записывает всех подряд... У вольнонаемных прорабов, десятников, представителей треста они потребовали, чтобы наряды были заранее выписаны и выданы им на руки. Затем нагло обсуждали каждую норму, объясняли ее нереальность, говорили, что она придумана идиотом либо циркачом. Предлагали нормировщикам сначала показать своими руками возможность выполнения записанного в наряде, а они тем временем посидят, покурят и посмотрят. Торговля проходила в атмосфере шуток, подначек и приводила к максимально благоприятным нормам, в которых учитывались все необходимые подсобные, вспомогательные работы, и бригада шутя-играючи вырабатывала свой гарантийный паек. Вечером, когда надзиратель вызывал кого-либо для отправки в карцер или в бур, ему вежливо объясняли, что у Мыколы или Стасика живот сегодня разболелся и одного его не отпустят, но раз виноваты все — не отказываются вместе туда проследовать. Если надзиратель пробовал схватить за руку «Стасика», то перед ним вырастала стена из его собригадников. При этом все улыбались, разговаривали приветливо, предлагали закурить... Начальство поняло, что потеряло способность управлять этими людьми, а без стукачей невозможно было узнать, что зэки говорят, думают, намереваются делать, кто зачинщики... Было принято решение расформировать долинцев и раскидать их по остальным бригадам. Долинцы были в основном бандеровцами, власовцами, литовскими робингудами. Молодые парни хорошо познакомились за время лесной партизанской войны с автоматами и пулеметами, но обзавестись гражданскими профессиями не успели, поэтому к нам в мехмастерскую никто из них не попал.

Вскоре в одной из соседних бригад на чердаке был обнаружен труп повешенного самоубийцы. За тринадцать лет лагеря я помню считанное число достоверных самоубийц. У друзей счет был такой же, за исключением самоубийств подследственных. Пополз слух, и вскоре он подтвердился, что самоубийца был замеченным, провалившимся стукачом. Через две недели на объектах в один день были убиты два стукача.

Стукачи были самыми страшными и опасными врагами. Чекист без стукача бессилен. Количество заключенных, уничтоженных вследствие предательства, провокаций и клеветы, огромно и сравнимо лишь с погибшими от искусственно созданного в лагерях голода. Ни блатные, ни комендатура, ни надзорсостав, ни сами чекисты без помощи стукачей не смогли бы нанести и малой части того урона, который был обеспечен их деятельностью. Около лагерной больницы находился барак, заполненный чахоточными молодыми людьми, заработавшими болезнь в карцерах, в основном зимой. Все они были жертвами стукачей. Из-за них были переполнены карцер, изолятор, бур. Чувство мести и ненависти против них накопилось и ждало лишь выхода. Разбросанные по бригадам зэки из Долинки охотно делились своим опытом.

Борьба со стукачами велась всегда, но в разное время по-разному. В военное время помогали силы природы и условия, в которые попали те, кто был на общих работах, поэтому отдельной расплаты не требовалось. На Воркуте стукачей ненавидело само начальство, и их списывали на шахты, где они уничтожались самими блатарями. На шарашке борьба с предателями была невозможна. В спецлаге появилась новая для всех форма истребления стукачей средь бела дня. Естественно, это вызвало живейшее обсуждение.

Всю жизнь я был против террора в любом виде и всегда был сторонником борьбы с ним. Чекисты осуществляли неослабевающий террор. Его проводниками в среде заключенных были стукачи. Следовательно, они были необходимейшим орудием террора и сами являлись террористами. При таких обстоятельствах уничтожение крупного стукача, убившего несколько заключенных и подорвавшего здоровье многих, было актом самообороны и защиты от терроризма. Спруту надо было отрубить щупальца: ведь он сам избрал такое применение себе, вкрадывался в доверие, выпытывал, вызывал на откровенность, доносил, врал и клеветал. Есть ли что-нибудь более отвратительное на земле, чем служба таких иуд?.. Они хуже чекистов, палачей, прямых исполнителей актов террора...

Стукачей можно уподобить ленинской агентуре, действовавшей на германские деньги в 1917 году после свержения царя. Агенты обманывали простых людей, прикидывались радетелями за блага трудящихся, призывали открыть фронт, оставлять позиции, убивать своих офицеров и верных солдат, любой ценой кончать уже почти выигранную войну... Долг велел отдавать этих изменников под военно-полевой суд. Проявленная мягкотелость и безынициативность привели страну к гибели.

Стукачи непрерывно вели скрытую, тайную войну с заключенными и в любой момент могли ожидать — и многие дождались — расплаты. В нашем особлаге сами стукачи и их хозяева переусердствовали. Непомерный град репрессий валился на головы заключенных, которые, несмотря на беззаконный их перевод в положение каторжан, неплохо работали и вели себя вполне сносно.

Расплата с пособниками чекистского террора — стукачами — велась систематически в течение восьми месяцев. Уничтожено было сорок пять человек. Операциями руководили из строго законспирированного центра, видимо, состоявшего из нескольких заключенных с долинского этапа. Мы были свидетелями того, как ряд заключенных, не выдерживая ожидания и стремясь избежать своей участи, убегали в лагерную тюрьму, куда их прятали от неминуемой, как им казалось, расправы. Беглые стукачи содержались все в одной камере, получившей прозвище «забоюсь».

Свирепая борьба со стукачами резко парализовала и крайне ослабила их деятельность. Без них чекисты *ослепли и оглохли*. С целью разрядить обстановку они устроили фарс: подготавливалось якобы снижение сроков наказания. Вызывали зэка и спрашивали, в какой город он хочет ехать после освобождения. Зэк отвечал, что у него еще двадцать три года впереди. «Нет. Вам сидеть столько не придется, идет пересмотр дела», — отвечали ему. Все это шито белыми нитками, и скоро, после наших разъяснений, над такой болтовней стали открыто смеяться.

Несколько раз чекисты делали неуклюжие попытки вызвать взаимную резню между заключенными разных национальностей. Ставка делалась на распрю между бандеровцами и магометанами (чеченцами, ингушами, татарами, азербайджанцами). Но план сразу удалось разгадать и обезвредить. Особенно старался устроить такую Варфоломеевскую ночь начальник надзорслужбы лейтенант Мочеховский, чекист, прошедший школу у красных партизан Ковпака. Часто видели, как лейтенант что-то вынюхивает на лагпункте, но к нему и к другим вольным расправа не относилась, так как охота шла только на стукачей-зэков. После неудачи с взаимной резней Мочеховский сотворил жестокую провокацию и, сам того не желая, нанес ею удар в самое сердце особлагов.

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 1—2.

Уже на Западе я прочел книгу Краснова «Незабываемое». Он отбывал свой срок в те же годы в Озерлаге и сообщает о фактах, которые у нас, благодаря сплоченности, были невозможны. Разница колоссальна! Они были задавлены страхом, покорны, не помышляли о протесте, смотрели в рот каждому конвоиру. За это их расстреливали, мучали, изводили на нечеловеческих работах. Без хорошей закваски люди немногого стоили. Именно в ней была сила!

В гитлеровских лагерях заставляли заключенного стоять и кричать: «Я, марксистская свинья, продал Германию». Вздумали ввести такую практику в Спасском лагере, населенном инвалидами и умирающими от туберкулеза и силикоза, приобретенных на шахтах Джезказгана. Но ничего не получилось. В нашу бытность в Экибастузе не могли добиться, чтобы зэк здоровался или снимал шапку при встрече с надзирателем. Зэк обычно отворачивался в сторону и проходил мимо.

Весной пятьдесят первого произошло «гордое самоубийство», как мы его позже окрестили. В одной из строительных бригад был замкнутый суровый мужчина лет тридцати, бывший немецкий или венгерский офицер. Он держался обособленно и одиноко. В бригаде его очень уважали. Однажды, когда зэков привели к месту работы, без всякого внешнего повода он молча вышел из последнего ряда и пошел прямо на конвоиров, которые замыкали шествие. Руки он спрятал в карманы бушлата, на окрики не отозвался и был сражен веером пуль, которые не могли задеть колонну,— с таким расчетом он выбрал автоматчика, на которого шел. Так и осталось неизвестным, что он при этом думал. На всех нас его убийство произвело огромное впечатление, многие поняли, что среди нас есть истинно гордые люди. Своей великолепной смертью он как бы зажег факел нашего глухого восстания. Вероятно, где-нибудь были у него родные и близкие, но в холодном задуманном протесте он пренебрег всем. Так поступают только герои.

До последнего времени охранявшие нас солдаты, видимо, согласно уставу конвойной службы, держались от нас на почтительном расстоянии. Однако после «гордого самоубийства» отношение к нам резко изменилось. Атмосфера стала сгущаться; на разводах сыпались ругательства, зэков обзывали «фашистами», «контрой», «бендерой»... Видимо, на политзанятиях солдат накачивали крепче обычного. Как-то по прибытии в мастерскую не досчитались одного человека и приказали всем вернуться назад, за ворота вахты. Заключенные уже разошлись по своим цехам, бригадиры отказались выполнить команду конвоя, предлагая пересчитать людей на рабочих местах. Сопротивление было выдержано в стиле глухой борьбы, которую мы вели в то время. Громче всех из бригадиров разорялся наш Павлик. Начальник конвоя пригласил его как представителя заключенных пройти на вахту и дать там свои объяснения. Ловушка была слишком очевидной. Ведущих зэков поблизости не было, и Павлик, движимый отнюдь не благоразумием, а львиной отвагой и стремлением геройски отличиться, сделал то, на что не рассчитывали сами конвоиры,— решительными шагами отделился от кучки бригадиров и прошел на вахту. Бригадиры, поняв опасность, бросились врассыпную и стали созывать зэков. Через несколько минут, как по военной команде, перед вахтой столпились почти две сотни, остальные бегом спешили к воротам. Кто-то завопил: «Верните бригадира!»; сотни глоток подхватили. Через две-три минуты дверь вахты резко, как от пинка ногой, отворилась, и на пороге появился красный как рак Павлик. Резким броском он миновал критические десять метров, где его еще могли сзади застрелить, не задевая пулями толпу, и пошел к воротам быстро и уверенно. Кратко он поведал о происшедшем за закрытой дверью. Он безбоязненно стоял в центре вахты. Вопросы-ответы сразу перешли в ругань и угрозы. В ушах звучало: «Контрреволюционный саботаж». Взбеленившись, но не показав виду, Павлик ответил примерно так: «Мы революционеры, не вы. Мы борцы с вашим тюремным фашизмом. Хватит вам тридцать четыре года считать себя революционерами. Раз вы против нас, то вы — настоящая контра. Зарубите себе это на носу». Его слова произвели ошарашивающее впечатление на солдат. Такой взгляд на события был для них совершенно новым. Начальник опомнился и приказал солдатам скрутить обличителя. Выполнить его приказ оказалось не так просто. Крестьянских парней, видимо, не обучили боксу, дзюдо, да силенок было не ахти сколько, как говорится, «кишка тонка». Павлик расшвырял их, как котят, и выскочил в дверь.

Отвага, убежденность, готовность к борьбе остальных заключенных лишили палачей возможности применять их обычные методы. В толпе зэков, в лагере и на производстве Павлик был в безопасности. Взять его можно было, только применив вооруженную силу. Но в той атмосфере ввести в зону взвод автоматчиков было очень опасно: они рисковали остаться без автоматов. Одно дело — дать залп с безопасной позиции, другое — войти в толпу безоружного, но решительно настроенного врага.

Выражаясь по-лагерному, начальство «попало в непонятное». Заключенные по-прежнему выходили на работу, подчинялись лагерному режиму, но сеть осведомителей была приведена в негодность. Лагерные придурки вдруг стали вежливыми — прекратились крики, ругань, требования бригадиров находили полное понимание; лагерный нормировщик начал оспаривать применение норм трестом. Все бригадиры получали повышенный паек, ни одного доходяги не было, больше того, заключенные каждые два дня без ущерба отдавали в изолятор часть своих запеканок... Жаловаться лагерное начальство боялось — могли обвинить в неумелости. Каждый осведомительский чекистский отдел также дрожал за свою шкуру, боялся расследований и потому молчал. Возможно, что их донесения задерживались в соответствующих отделах Песчаилага, а может, и замораживались в недрах самих министерств, поскольку говорили не о достижениях чекистов, а о провалах.

Свыше пяти тысяч заключенных было сосредоточено в лагере. Начальство надумало разделить лагпункт пополам, выделив всех украинцев-бандеровцев. Так предполагали ослабить общий фронт и выследить руководителей.

В изоляторе томились зэки, подозреваемые в убийствах стукачей. Следствие ничего не дало, и под влиянием лагерного настроения их приходилось постепенно выпускать обратно на лагпункт. Тогда Мочеховский, вероятно, с разрешения чекистов, стал «бросать» отдельных подозреваемых в камеру, где прятались сбежавшие стукачи, чтобы они снимали допрос своими силами, с применением пыток. Терроризм несет в себе зерно развала и уничтожения. В данном случае терроризм сработал против их системы: этим актом чекисты сами взорвали фундамент особлагов.

Крики и стоны пытаемых доносились до остальных камер изолятора. Дня через два сообщения о пытках дошли до лагпункта. 21 января 1952 года бригады мехмастерской, как всегда, пришли в зону последними, так как у работавших под крышей смена была более продолжительной. Я услышал характерный звук отдираемых от забора досок, сопутствующий пожару, когда выходил из столовой и прятал ложку в валенок. Описанный Солженицыным в рассказе «Один день Ивана Денисовича» бывший узник Бухенвальда, тугой на ухо зэк, и то всполошился. Мы с ним переглянулись и быстро пошли в направлении шума. У линейки — центральной дороги, разделяющей лагерь подобно оси симметрии,— мы заметили черные фигуры, которые бегали и что-то кричали. Изолятор был рядом с вахтой, справа от нее, и я припустился в этом направлении. Мой спутник Клекшин отстал и, видимо, повернул налево, к нашему бараку. Зэки выламывали доски у забора, окружающего каменный изолятор, и, как тараном, пытались сбить решетки с окон в камере стукачей. Решетка не поддавалась, но тут подкатили бочку с горючим, которое употребляли для разжигания печей (так как экибастузский уголь содержал до шестидесяти процентов золы и пользоваться им было крайне трудно). В камеру плеснули ведра три горючего. Поджечь не успели: заработали пулеметы на вышках, с линейки солдаты, вызванные из штаба, начали стрельбу из автоматов. Почти все участвующие в операции зэки, бывшие фронтовики, бросились врассыпную, пригнувшись, как во время перебежек в атаках. Через минуту уже никого не было. Положение зэков, проживавших в бараках слева, было рискованнее, так как надо было пересечь линейку, по которой строчили автоматчики. Поэтому мы короткими перебежками достигли дверей соседнего с изолятором барака, прозванного «Карабас» по имени знаменитой казахстанской пересылки. Мы ворвались в барак и остановились у притолоки.

От разгоряченных участников я узнал о причине штурма тюрьмы. Все произошло стихийно и поэтому крайне необдуманно: хлебонос сообщил усталым людям, пришедшим в зону после работы, о криках пытаемых, и умы воспламенились, чувства взорвались... Плана никакого не было, и операция не принесла ощутимых результатов. Под прикрытием хлебоноса можно было войти в изолятор заранее через дверь, связать тюремщиков, выпустить узников и разделаться со стукачами соответственно с раскаленной атмосферой. Во время стрельбы я анализировал события и нащупал это решение. Внезапно стрельба прекратилась, и я бросился к своему бараку. «Стой, стрелять буду!» — раздался окрик. Быть пойманным в зоне означало смерть, и я надеялся только, что дверь в барак не будет закрыта изнутри. В это мгновение я совершенно выпустил из виду, что в тех лагерях ее запирали снаружи после отбоя. Пара пуль из пистолета вонзилась в притолоку над моей головой. Я рванул ручку: на полу коридора вплотную сидели спасавшиеся от выстрелов. Через несколько минут вбежали Володя Тимофеев, Богдан и еще несколько молодых ребят — явных участников штурма. Оправдываться было бесполезно — в наших бригадах стукачи уцелели, так как не подверглись избиению, и отметили меня в своих кондуитах. Стреляли больше для острастки, и пули не достигали живых мишеней из-за преград бараков. Поэтому убиты были немногие, но зато надзиратели добили нескольких раненых железными палками. Общее число убитых не превышало десятка.

Мы были не подготовлены к решительным событиям, и на следующий день бригады мехмастерской, наиболее советские по своему составу, не отдавая себе отчета в действиях,

вышли на работу и задним умом поняли, что наделали. Было не до выполнения заданий: нас бесконечно посещали вольнонаемные, имевшие пропуск в мастерскую, и выпытывали подробности событий, которые кто-то назвал «ленинским расстрелом», коль скоро он произошел в годовщину смерти Ленина.

Вечером, к стыду своему, мы узнали, что были единственными. Остальные бригады в знак протеста отказались выйти на работу, и нас справедливо обругали штрейкбрехерами. Конечно, координации никакой не было, нас никто не предупредил, сами же не сообразили.

В последующие дни решили объявить забастовку и одновременно голодовку протеста. Стало ясно, что руководство находится в надежных руках. В бараках были зачитаны требования заключенных к администрации лагеря: вызов республиканского прокурора, прекращение непрерывных репрессий, наказание виновников пыток в изоляторе. Три тысячи зэков остались в бараках, не пошли в столовую и за хлебом, наотрез отказались работать. Надзиратели лебезили, уговаривали, но из задних рядов их обзывали палачами, убийцами, спрашивали, не устали ли они, добивая раненых. Ушли они не солоно хлебавши. Те, кто получал посылки, снесли остатки припасов в общую кучу, и побригадно было организовано по сути дела символическое питание, так как посылки обязаны были храниться в каптерке, а на руки выдавали лишь необходимое на несколько дней. В первый день повара и пекари вышли на работу, но сваренную еду пришлось из котлов ведрами вынести на помойку. Связь между бараками поддерживали ребята, доставлявшие уголь. Они передали поварам требование больше не готовить. Трубы пищеблока перестали дымиться, лагпункт производил грозное впечатление. Дни были морозные, безветренные, дым из бараков образовывал подобие серых длинных свечей. В зоне ни души. Тишина!

На второй и третий день стали забегать начальники. Им повторяли требования заключенных и категорически заявляли, что до приезда прокурора об окончании голодовки не может быть и речи. От связных мы узнали мрачную новость: бандеровцы на своем лагпункте, смежном с нашим, к забастовке не присоединились. Мы поняли, что центр смутьянов из Долинки разделился по лагпунктам, а связь между ними нарушена. К концу третьего дня из «Карабаса», где находились инвалиды и «слабосиловка», вышедшая из больницы, пришло тревожное сообщение о том, что их силы на исходе и они просят прекратить голодовку. Кое-как удалось уговорить. На четвертый день прилетели прокурор и высшее лагерное начальство. Они обходили бараки, выслушивали требования, ничего толком не обещали, но пригрозили, что если мы на работу завтра не выйдем, то будем отданы под суд за контрреволюционный саботаж (по статье 58[14]). С задних рядов кричали: «Долой! Мало вам нашей крови! Прокурора!» Не верили утверждениям чина, что он и есть прокурор. «Прокурор должен наказать виновных, а вы нам только угрожаете!»

Прокурор со свитой удалился, но оказалось, что немало людей он сумел напугать. Поползли разговоры об окончании назавтра голодовки. Молодые хлопцы, в том числе Володя, Богдан, метались, уговаривали... Наконец решили устроить общее собрание и обсудить положение. Но что могли сделать пылкие и чистые дети, когда опыт последних десятилетий, чекистская машина террора, полное бесправие рабов, страшный произвол людоедов были против них. Одного движения Сталина было достаточно, чтобы всех немедленно перестреляли. Привычными доводами оказалось крайне легко разбить их шаткие в своей новизне предложения. Мне было ясно, что советское нутро брало верх, и если не вмешаться, то вынесут позорное предложение о сдаче. За эти дни я отчетливо понял, что участь моя все равно давно решена: приму я участие или нет — безразлично, все видели, как я вбежал в барак, когда в меня стреляли. На шее все равно висела тяжелая гиря лагерного срока за подготовку восстания. Настал момент оправдать это обвинение.

С легким сердцем я взял слово и начал убеждать продолжить забастовку. Сильных доводов я выставить не мог, так как мне тоже была ясна неизбежная расправа и месть чекистов. Но все во мне говорило, что нельзя сдаваться — еще день-даа, и мы одержим крупную моральную победу. Я говорил несвойственными мне туманными фразами, и не было ясности и логики мысли, к которой я всегда стремился. Но в этой аудитории интуитивно я выбрал самый верный путь. Мне удалось убедить не идеями, а всем своим существом. Конечно, не обошлось без веских аргументов. Мое выступление сводилось к следующему:

— Раньше всех бросит голодовку «Карабас». Позор его опередить. Мы и так «отличились» выходом на работу в день после расстрела. Пусть возьмут слово те, кто может доказать, что сытые, здоровые люди с большим числом посылок и возможностями приработка должны бросить раньше всех голодовку. Виновников измены памяти погибших мы будем рассматривать только как предателей общелагерной честной, справедливой борьбы с местным произволом и беззаконием. «Мы ждем и запоминаем».

— Кончить голодовку мы можем, только вырвав у прокурора и начальства согласие удовлетворить наши требования. Потом обещания, конечно, нарушат, но победа будет все равно одержана нами. Следует думать не только о завтра, но и о послезавтра. У людей громадные сроки. Репрессии можно пережить, но победа даст нам право добиваться улучшений, и тогда сами репрессии будут слабее.

— Для нас пустяк поголодать еще пару дней, но для начальства любого ранга каждый день нашего протеста может обернуться трагедией всей их жизни. И это обстоятельство для них важнее.

Саня Солженицын считал, что это лучший день моей жизни. «Твой голос переливался и звенел, как серебро. В твоем облике были убеждение и вера в свою правоту»,— сказал он мне. Так или иначе, но предложение кончить забастовку было провалено. В своей дальнейшей судьбе я тоже не сомневался: с рук это сойти не могло, хотя я плел все в рамках законности...

На следующий день прокурор и начальство совершенно изменили тон. Они уговаривали по-хорошему, обещали все исправить, репрессий не производить, виновных из лагерного начальства наказать. Нам было ясно, что это обман и они обязательно возьмут реванш, но радостное сознание одержанной победы нас не покидало. Забастовка-голодовка длилась пять суток. Начальство отдало нам за эти дни весь хлеб, первые дни нам отпускали двойные порции. Кроме того, разрешили кино, выдали постельные принадлежности. Вскоре начали устраивать совещания бригадиров, успокаивать, но одновременно выпытывали, приглашали высказаться... Это было предвестием репрессий.

Стукачей из камеры «забоюсь» немедленно вывезли. Жертвы их пыток были выпущены на лагпункт, а когда начались репрессии, их куда-то отправили.

Расправа

Расправа началась через две недели. Из Караганды приехала бригада следователей, начались допросы. Мы нагнали, видимо, страху, и первое время они не пытались арестовывать в зоне: знали, что ничего не получится, боялись новых эксцессов. Первый арест был произведен в поле. Во время шествия на работу колонну остановили, ее окружила со всех сторон вооруженная автоматами и ручными пулеметами рота солдат. Нам приказали сесть. Такую команду я услышал в первый и последний раз. Незнакомый офицер предупредил, что оружие находится на боевом взводе, в случае нарушения порядка стрельба начнется без предупреждения, и, кончив речь, плотоядно облизнулся. После этого он выкликнул пять фамилий из числа ребят-связистов во время голодовки, которых засекли надзиратели. Всем было ясно, что расправы не избежать, но сопротивляться недельку-другую еще было можно. Людей не надо было отдавать. Посидели бы пару часов, начали бы кричать, напугали бы конвой, и отвели бы нас на работу. Моральное право было за нами: ведь нам обещали не производить репрессий. Центр руководстаа забастовкой решил иначе. Они считали, что расплаты не миновать, но надо пережить эту фразу и нести факел борьбы в другие места. В таком рассуждении был смысл — сталинская деспотия была в своем зените. Названные ребята поднялись, не желая, чтобы из-за них морозились остальные, и подошли к конвоирам. На них немедленно надели наручники. После этой акции стали вызывать на допросы в зоне. Большинство возвращалось обратно. Всем передавалась главная установка: пережить трудное время и разносить повсюду пламя борьбы, так как было ясно, что в таком составе нас чекисты не оставят, сладят с нами не мытьем, так катаньем и обязательно развезут по другим лагпунктам.

При разделении нашего лагпункта тюремный изолятор остался на нашей половине, а больница — на другой. Оттуда под конвоем приводили врачей для осмотра больных, а на излечение переводили на украинский лагпункт. Солженицына уже несколько месяцев мучила опухоль. Время шло. Вначале врачи колебались в диагнозе, затем разделили лагпункты, и произошли грозные события. Наконец Саня добился перевода в больницу и в начале февраля покинул нас. Наша четырехлетняя жизнь под общим кровом, а теснейшем общении окончилась. Дороги наши разошлись, по выходе на волю мы встречались редко и нерегулярно: я обиделся за искажение образа Сологдина, и черная кошка пробежала между нами.

Тринадцатого февраля мне приказали не выходить на развод, а часов в десять утра привели на допрос. Я знал, что на лагпункт мне не вернуться, поэтому простился с друзьями и попросил их позаботиться о моих пожитках, в которых были мои записи по механике, диалектике и кузнечная работа. Несколько следователей, половина которых были казахи, ждали меня. Они переговаривались на своем родном языке. На все вопросы я отвечал однотипно: «Нет, не знаю, не ведаю, не слышал, не видел...» Меня стали шантажировать остатком срока, но я отрубил: «Год или десять лет лагеря ничто по сравнению с вечной жизнью бессмертной души». Я давно понял, как с ними надо разговаривать, и поэтому держался крайне независимо и даже дерзко. Еще во время совещаний начальства с бригадирами мы с радостью отметили, что антисоветской политической подкладки под происшедшие события не подводят. Они считали, что это «волынка», то есть своего рода массовое хулиганство. Начальники заботились о целости своих голов, так как за политический провал их могли бы всех перестрелять. На вопрос о моем участии в событиях я ответил, что хулиганством не занимаюсь, с хулиганами не вожусь, а являюсь, правда, не по своей вине, неудавшимся ученым. На случай, если им придет фантазия запутать

меня в политическое дельце, которое они смогут пожелать испечь, я объяснил, что хорошо понимаю, почему они выдумали слово «волынка», и сумею доказать их намерения, используя некоторые свои соображения для защиты. Наглостью и дерзостью к тому времени удивить их было невозможно: из общего уровня я не выделялся. Они погуторили на непонятном мне языке, и меня отвели в лагерную тюрьму.

Изолятор был построен год назад. Каменные стены еще не обсохли, в углах был иней, так как печи почти не топили; выбитые во время штурма стекла не вставили, а сами зэки заткнули их тряпками. Помещение отапливалось теплом человеческих тел. Потянулись тюремные будни. На допросы меня не вызывали, и я просидел так полтора месяца.

В тюрьме я сдружился с татарином Юсупом. Он был родом из Азербайджана, сын высокопоставленных партийных работников. В тридцать седьмом сталинский сатрап Багиров пересажал всех из своего партийного окружения, предъявив им обвинение в желании оторвать Азербайджан от СССР. Допросы главных деятелей вел сам Багиров. Восточная изощренность этого сатрапа не знала пределов. Он обрушил град страшнейших пыток на своих недавних сотрудников и близких людей. Юсуп тогда был еще юношей. Ему перебили нос, несколько раз завязывали в смирительную рубашку, он ослаб настолько, что заболел чахоткой... В его родительском доме было вытравлено понятие о религии, и в детстве он ничего не слыхал о магометанской вере, но под влиянием поучений друзей и всего пережитого вернулся к заветам предков. Человек он был прекрасной, необыкновенно чистой души, и на него, безусловно, можно было положиться.

Польский еврей, портной, ждал освобождения, а пока что рассказывал много интересного о движении сторонников Жаботинского в предвоенной Польше. Третьим обитателем камеры был громадный детина, по профессии — уголовник, по недавнему прошлому — власовец. Из его рассказов, впрочем, следовало, что в Германии тоже он промышлял воровством и грабежами; о своих ратных подвигах он умалчивал. Воров в особлаге не жаловали, и, возможно, он придумал про власовца, чтобы реабилитировать себя в глазах окружающих.

В первую неделю пребывания в тюрьме разнесся слух, что горит «новый док» (деревообделочный комбинат). Строения дока почти все были деревянными. Под знойным солнцем и ветрами Казахстана дерево высохло и горело, как порох. К вечеру от дока остались одни головешки. На его строительстве работали только бригады с бандеровского лагпункта. Всем нам было ясно, чьих рук это дело. Для себя я назвал эту операцию «похороны викинга», так как среди нас шумным успехом пользовалось произведение Персиваля Рена того же названия и с похожей фабулой. Викингами были для меня все борцы, сложившие голову в борьбе с террором. Много красочных, блестящих, сильных, несгибаемых разнообразных людей встретил я в особлаге. Жизнь там была чрезвычайно богата событиями. Можно бы вспомнить ряд интересных, содержательных эпизодов, из которых читатель почерпнул бы ценный материал. Об особлаге следует написать отдельную книгу, и в глубине души я надеюсь, что этот пробел будет восполнен кем-либо из молодых очевидцев.

Однажды ночью мы были разбужены и переведены в другую камеру. Начались сборы на этап. Тем, кому задержали посылки на время посадки в изолятор, раздали их перед отправкой. Началось дикое обжорство, но другим перепало мало, а обо мне и Юсупе вообще забыли. Мы были не в претензии: ребята из других камер не могли нас знать. Большой удачей было то, что Мочеховский, руководивший обыском и выдачей вещей, пропустил мои записки. С его на этот раз легкой руки тюремщики и конвоиры на моем тяжелом пути штрафника один за другим пропускали эти рукописи. В пути у меня отобрали только в Спасске книжечку с напечатанными типографским способом двенадцатью Евангелиями. Рядом отбирали куда менее подозрительные и крамольные вещи, мне же удалось провести мое сокровище через двенадцать обысков, свирепых и придирчивых, ибо нас везли как опасных бунтарей и смутьянов.

Наш этап прошел через Павлодар, Омск, Караганду и прибыл в Спасск, который был прозван лагерем смерти, так как в нем производили расстрелы и умирали тысячи инвалидов и неизлечимых больных. Нас встречали и провожали как штрафников, соответственно держали в наиболее тяжелых тюремных условиях, главным образом в подвалах, казематах, штрафбараках. Мы всегда с радостью читали там на стенах уборных: «Привет героям Экибастуза!» или аналогичные надписи. Строго говоря, подлинно героического мы не совершили, но доказали то, что мне давным-давно было ясным и что я старался внушать другим:

— Борьба со сталинизмом даже в самых тяжелых условиях лагерей — возможна и необходима. Она увенчается успехом, если отбросить рабий страх и стряхнуть гипноз, нагнетаемый органами подавления.

— В целом сумма репрессий за активные, смелые, дружно проводимые действия гораздо меньше, чем когда начинается взаимная продажа даже при пустяковых нарушениях.

— Чекисты наглы, кровожадны, беспощадны, когда их боятся. Достается гораздо меньше тем, кто понимает шаткость положения прислужников режима, умеет нащупать

слабое звено в их рядах и взаимоотношениях и, главное, дает отпор. Под натиском людей доброй воли зло отступает.

Забастовка трех тысяч человек впервые доказала возможность открытой борьбы легальными средствами с произволом сталинских сатрапов, когда система подавления и террора была доведена до предела. Мы нанесли поражение чекистам, пронзили сердце особлагоа, после чего началась вереница непрерывных уступок и смягчений, и показали дорогу всем, кто хотел вести борьбу с произволом и унижением человека. Эхо быстро разнеслось по империи ГУЛАГа, и стали возможны последующие возмущения в Джезказгане, на Воркуте и в других местах, окончательно добившие массовое рабовладение в стране.

Шестимесячное путешествие в качестве штрафника, пребывание в штрафизоляторе Спасска, столкновения со следователями, встречи с простыми тружениками, водворение в «спокойный» лагпункт Караганды, освобождение из лагеря и «вечная» ссылка в Северный Казахстан, оказавшаяся, к счастью, трехлетней, будут, если представится возможность и время, описаны во второй книге этих «Записок».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Повествуя о прошлом, я стремился к возможно большей точности передачи, тщательно отцеживая все сомнительное и недостоверное. В каждом новом лагере я стремился сразу узнать все опасное, скверное, угрожающее.

Когда я попал в новый для меня мир, моя душа раскрылась для восприятия свободы, и я хочу поделиться с читателем моими самыми первыми впечатлениями.

В феврале 1972 года случилось невероятное: я приехал на Запад и сразу в центр христианского мира — в Рим. Я не знаю языка этой страны и воспринимал поначалу Италию только зрительно. Одновременно, как изголодавшийся путник, я набросился на изданные за границей русские книги и журналы. С подсоветским «самиздатом» я познакомился именно на Западе, так как мнение о его широком распространении в Советском Союзе сильно преувеличено. Новые друзья и знакомые, владевшие русским или французским, были носителями изысканной европейской культуры и вызывали в нас глубокое уважение.

Но главной достопримечательностью Рима, особенно в первое время, были для нас рядовые итальянцы и их быт. Не тянуло даже к храмам, музеям, древностям — хотелось просто ходить по улицам. Каждая лавочка воспринималась как произведение искусства: перед нами возникал маленький Лувр. Я подолгу останавливался у витрин и, насколько позволяло приличие, рассматривал внутреннее убранство маленьких магазинов, харчевен, табачных киосков. Сколько любви, стараний, размышлений вложили в них владельцы! Наверное, среди ночи просыпается хозяин и думает: «Надо бы эту баночку переставить, так будет красивее, привлекательнее»,— и становится его заведение как игрушка, ласкает взор.

Итальянцы очень милы, вежливы, рады помочь. Никого из нас — приехавших россиян, неловких, не знающих языка и обычаев,— не обругали, не оговорили. Когда мы обращались, как дикари, с расспросами, они терпеливо вникали, старались помочь, объяснить. При этом мы чувствовали радушие, видели улыбки. Один из новых юных эмигрантов, приехавший до нас, по неумелости жить самостоятельно не смог в первый месяц распорядиться выданным ему пособием и остался без денег. Хозяин траттории, где обедал раз в день мальчик, увидев, как он заказывает воробьиные порции, оказал ему кредит и не взял с него впоследствии денег, сказав: «Господь с тобой, я вижу, что ты бедняк». У этого же юноши разболелся зуб, и врач вылечил его бесплатно. Владелец траттории и врач отнеслись к ближнему в беде, как повелел Спаситель.

Более двух месяцев прожили мы на окраине Рима в новом доме. Нам он показался прекрасным и благоустроенным. Все время нашего пребывания мы наблюдали за двумя солидными мастеровыми. По моим представлениям, лестница была отделана отлично и в ремонте не нуждалась. С трудом я понял, что к стенам подгонялись мраморные плитки у каждой ступеньки. В разное время дня рабочие совершали ювелирную кропотливую работу без «перекура», столь распространенного на стройках и предприятиях в СССР; каждый вечер лестница была чисто вымыта. Я с уважением раскланивался с мастерами и с удовольствием высказал бы им свое восхищение, если бы владел их родным языком. Мне также хотелось пожать руку домовладельцу, тратящему немалые деньги на изящество сдаваемых помещений. Как высоки были культура труда и уровень жизни по сравнению с отечественными! Я понял, почему после всех разорений бывший Санкт-Петербург до сих пор пленяет дворцами, особняками с лепными украшениями. До 1917 года в нем трудились около сорока тысяч итальянцев, среди которых преобладали мастера по камню, лепке, отделке, а также резчики и скульпторы...

Мне не удалось побывать в Италии ни на одном крупном заводе, хотя как конструкто-

ру-механику хотелось. Но пробел этот был восполнен еще в СССР рассказами знакомых инженеров, побывавших в командировке в городе Ставрополе, где итальянская фирма «Фиат» взяла на концессию постройку автомобильного завода. Ценную повесть можно было написать по их впечатлениям об итальянских инженерах и мастерах. Позорная советская система, построенная на полурабстве, давно отучила работать, как на Западе, где свободные люди заинтересованы в заработке. В СССР были крики, обман, лозунги, обещания, а в результате — пришлось через пятьдесят лет пойти на поклон в страну, которая в начале века была в техническом отношении более отсталой, чем тогдашняя царская Россия.

Поразила меня также выправка карабинеров. В первые дни мне казалось, что ожили древнеримские легионеры, а их интеллектуальные лица заставляли думать, что форму надели на аспирантов и доцентов. Большую роль, несомненно, играет наследственность, но не следует преуменьшать роли воспитания и выучки.

В тридцать шестом году, по окончании института, мы с товарищами частенько посещали рестораны в центре Москвы. Это был пир во время чумы. В то время официанты оставляли мерзкое впечатление. Все они практически были сексотами, к тому же обсчитывали посетителей и особым образом вымогали чаевые, «унижающие достоинство советского человека», как явствовало из плакатов, висящих обычно на стенах. По рассказам московских знатоков я знал, что с тех пор положение еще ухудшилось.

В Риме друзья несколько раз приглашали нас в ресторан, и с особым интересом я рассматривал официантов. Передо мной были свободные люди — вежливые, общительные, веселые или сдержанные, но никак не заискивающие и не грубые. Вознаграждение за обслуживание было известно заранее и исчислялось процентом от стоимости обеда.

Одни из моих друзей имели постоянного шофера, но иногда по вечерам прибегали к помощи друга. Их семья сумела в чем-то ему содействовать по окончании войны. С тех пор дела его давно поправились, но в память о прошлом он не отказывал этим людям в своей помощи. Несколько раз он заезжал за нами, был изысканно любезен, мил, внимателен. Передо мною был сеньор, хранивший в благодарность подобие вассальной верности своим уже пожилым благожелателям. Такие отношения могут связывать истинно свободных людей. В тот же год, в ноябре ночью, я поехал поездом в Базель, где должен был сделать пересадку на Женеву. Спутник средних лет еще в купе объяснил мне, что вокзал до четырех утра заперт, и предложил довезти до Лозанны в своей машине, которую он оставил на ближайшей улице. Я не знал, прощаясь, как его благодарить, но понял, что он был одним из людей доброй воли и предложенные мною деньги его обязательно обидят.

Я мог свободно присутствовать на мессах, заходить в переполненные по воскресеньям церкви. В первый день Пасхи был на богослужении на площади у собора Святого Петра. День был яркий, солнечный, небо голубое. Тысячи верующих запрудили даже прилегающие улицы. Я стоял на помосте недалеко от папы, рядом с хором мальчиков, монахов, монахинь. Детские голоса звенели, как серебряные колокольчики. Хороший мужской хор отличается силой и глубиной. К женскому хору я относился с некоторым предубеждением, так как в русской церкви уже более четырех десятилетий не слышал его классических участников. В эту Пасху я понял, что раньше мне не привелось слышать настоящего женского церковного пения. У меня захватило дух: казалось, что звучат голоса ангелов. Певчие разных стран были разных рас и наций. В первом ряду стояла небольшого роста вьетнамка или кореянка. Две рослые монахини выделялись строгой красотой и как бы вырезанными из дуба лицами. Возможно, то были испанки, ирландки, шведки, немки... Мне они напомнили кержацких и уральских раскольниц-староверок, истовых, сильных, уверенных, непоколебимых. Подле них была небольшая монахиня, скорей всего, индианка из Южной Америки, смахивающая на нашу бурятку; она пела с самозабвением и подъемом. В богослужении принимали участие священники разных континентов и оттенков кожи, подчеркивая международность и универсальность Церкви. На многих языках обратился папа с приветствием к пастве, в том числе на украинском и русском. После службы начался благовест, и мне казалось, что Святой Петр гудел на весь Рим. У портала колонны стояли, судя по шапочкам, два африканских епископа. Я поцеловал благословившую меня руку и сохранил в сердце их милые, застенчивые улыбки.

На протяжении веков мечтали о братстве людей, о единении и дружбе народов, изобретали утопии и дошли до кровавых химер. В центре христианского мира, веками, мать-Церковь зовет своих сынов, указывает дорогу единения в любви, устраняет расовые конфликты. Девушки-американки подходят к чернокожим священникам под благословение: у разных рас один Бог. Когда вера в Бога одна, то, на основе выполнения воли Божьей, международные проблемы решаются гораздо проще.

В своих размышлениях я не раз считал, что западный мир в основных вопросах подобен арсеналу, от отдельных хранилищ которого утеряны ключи. О его прекрасном оружии, легко поддающемся модернизации, забыли или интерес к нему пропал. Я воочию убедился в правильности своих предположений на площади Ватикана.

Современный западный мир представлялся мне водоемом со здоровыми хорошими рыбами. Но там же плавают останки разложившихся, попавших туда из глубин океана

чудовищ. Они выделяют бактерии, которые заражают мальков и рыбешку послабее. С берега все кажется простым и ясным: надо устранить рассадник отравы и очистить воду.

Можно уподобить Запад также проходческой клети, которую опускают для бурения в шахту. Клеть снабжена и оборудована всем необходимым и при этом во время работы висит на канате. В клети давно заметили, что злоумышленник подпиливает канат, но активных мер не принимают, успокаивая себя надеждой, что перепилить сталь не так просто; а если это и произойдет, то — когда клеть уже опустится и обрыв каната не будет связан с катастрофой, а чреват лишь неприятными переживаниями, как при падении с небольшой высоты.

В Швейцарии, Бельгии, Франции у меня не было языкового барьера, и я охотно беседовал с рядовыми тружениками, пытаясь получить ответ на несколько контрольных вопросов. В большинстве случаев я восхищался ясностью мысли простых свободных людей Запада:

— они относились с отвращением к терроризму и осуждали его;

— прекрасно понимали, кто во Вьетнаме — жертва, а кто — агрессор, инспиратор и виновник непрерывных бедствий;

— выражали недовольство односторонним освещением событий в газетах;

— не приветствовали поведение некоторой части молодежи.

Впечатление было крайне отрадным. Как правило, суждения выносились с незамутненных позиций и незаметно сложились в сознании людей благодаря многовековой христианской культуре.

С интеллектуалами обстояло сложнее. Среда и окружение давили на них. Несколько либеральных газет создавали общественное мнение.

Одна из первых встреч под Парижем была у меня с первоклассным хирургом, шефом больницы. Рослый сильный француз с выразительным, живым лицом, отброшенными назад волосами напоминал мне мушкетера Атоса. Вместо шпаги он владел ножом хирурга, но видно было, что в случае необходимости сумеет постоять за правое дело. Его жена и две очаровательные дочки радушно встретили нас в загородном доме с традиционным камином, где все было просто, уютно, удобно оборудовано. Когда во время обеда мы заговорили о Южном Вьетнаме, у него на все были заранее готовы ответы. Не так относится он к своим больным, мысленно задавая себе сотни вопросов даже в ходе уже заранее продуманной операции. По нашей просьбе он показал нам свою больницу и попутно сообщил некоторые сведения. Условия были райские. Я мысленно качал головой и смеялся: «Какой еще нужен коммунизм?!» Контингент пациентов моего хирурга был из рядовых рабочих, лечение им было по карману, основные расходы оплачивала касса социального обеспечения. В Советском Союзе в таких больницах имеют право лечиться только члены правительства и ответственные чины.

Советский врач — бледное замученное существо, очень низко оплачиваемое. У него нет возможности оказать подлинную помощь, и он теряет квалификацию. Советская бесплатная медицина — издевательство над больным, насилие над врачом. Один врач в Москве часто повторял: «Лечиться даром — даром лечиться». Правда, в СССР, как и всюду, существуют и выручают идеалисты, но режим не содействует их появлению, и они немногочисленны.

С детских лет я усвоил, что во Франции прирост населения равен нулю. В центре Парижа я попал в католическую семью крупного инженера, у которого было восемь детей. Мальчики были все как на подбор — рослые, здоровые. Сестра — красавица. Семья — дружная, веселая, работящая. Это был необыкновенный мир, исчезнувший у нас, когда началась коллективизация. Даже в Москве, находящейся на более привилегированном положении, обычно в семье растет один ребенок. Русский народ вымирает. Большая семья всегда развивает дружелюбие, братство, отзывчивость. Глава семьи немедленно предложил мне провести у него лето в горах — в большой семье не бывает тесно. Счастье иметь таких верных друзей.

Познакомился я с видным профессором, человеком высокой культуры. Он и его обаятельная жена всегда готовы протянуть руку помощи. Меня пленила независимость взглядов профессора, которые сформировались в ходе объективного изучения вопросов, которых мы касались. Конечно, у него есть союзники и противники. Полагаю, что он рассмеялся бы, если бы ему заявили о необходимости подчинить свою работу постановлениям партии и правительства, как это предлагают советским ученым. А живет он, по сравнению с теми из них, кто не занимается изготовлением смертоносного оружия,— сказочно. Пробным камнем в нашей беседе был снова Вьетнам. От ряда французских интеллектуалов я не раз слышал, что свободный мир в опасности, что в Южный Вьетнам в 1972 году вошли агрессоры и повторилось вторжение фашистских полчищ Гудериана во Францию. Ханой и Вьетконг оправдывали, забывая, что южане много лет были подвержены актам террора, нападениям под покровом ночи, из-за угла. Ни разу не слышал я ссылок на атлантическую хартию и Декларацию прав человека. Приводимые мне доводы были поверхностны, неубедительны, и создавалось впечатление, что такое мнение разделяют

то.— Очень жалко... По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать „Беседу“ на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: „не пущать, тогда Горький воротится домой“. А он и не воротится. Он тоже упрямый».

Однако прав оказался Ходасевич: получив категорический отказ, Горький начал «размякать», а затем, под давлением некоторых лиц, пошел на сближение с большевиками. Он дал свой рассказ для 1-го № ленинградского журнала «Русский Современник» (1924) и уверовал в возможность возобновления *Б* прямо в России. «Весь материал,— сообщал обманываемый Горький,— подготовляется здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов, пока, не ставит».

Ходасевич отвечал Горькому, что журнал типа *Б* в СССР издавать нельзя, потому что типическая черта *Б* в том и заключалась, что журнал издавался за границей, вне советской цензуры. «Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью».

Контакты Ходасевича и Горького на этом прекратились: «Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял».

В семи № *Б* были напечатаны, в частности, стихи Александра Блока, Федора Сологуба, Владислава Ходасевича, Софьи Парнок, Нины Берберовой, Николая Оцупа, Самуила Киссина, проза М. Горького, А. Ремизова, В. Шкловского, Л. Лунца, П. Муратова. По инициативе Горького в журнале печаталось много иностранных авторов: Луиджи Пиранделло, Стефан Цвейг, Ромэн Роллан, Панайот Истрати, Мэй Синклер.

Именно для горьковской «веры в науку» было характерно привлечение в *Б* таких материалов, как «Первобытное население Европы» проф. Брауна, «Рентген» проф. О. Винера (перевод с рукописи) или «Основы современного учения о наследственности» д-ра Г. Вернера и даже «Основы радиотелефонии» проф. Гарри Шмидта. Напечатанный в *Б* философский этюд Л. Ульвига «Чудо в науке» отвечал в этой связи каким-то глубоким основам горьковского миропонимания.

Много места в журнале уделялось истории литературы (очерки о Байроне, о Гете, о французской, английской, немецкой и американской литературе). Достаточно случайными в *Б* выглядели переводы из классики («Ленора» Бюргера в пер. Н. Берберовой и древнекитайская повесть в пер. проф. В. М. Алексеева).

Но чего совершенно не было в *Б* — так это материалов о современной России. Буревестник революции издавал в начале 20-х годов журнал вне политического времени. Единственным исключением выглядит статья Андрея Белого в 1-м № *Б* «О „России“ в России и о „России“ в Берлине» с ее чужеродными для тематики журнала высказываниями: «Увы, понял ненужность теперешних выступлений в Берлине ⟨...⟩; настроение русской публики кажется мне „курфюрстендаммным“ каким-то ⟨...⟩ Стало быть: есть какая-то светлая линия в жизни России, есть люди, которые в голоде, в холоде не потеряли друг друга, и братство возникло, которого не было».

Ив. Т.

«ГРАНИ»

Г (журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли) — традиционный «толстый» журнал, отличающийся от тех, что выходят в России, только периодичностью — он не ежемесячный, а квартальный.

Основаны *Г* в лагере перемещенных лиц в 1946 году на территории Германии. Потом журнал издавался в Лимбурге, а теперь уже более трех десятилетий во Франкфурте-на-Майне. Основатель журнала Е. Р. Романов. Журнал издается издательством «Посев», выпускающим и журнал «Посев» — общественно-политический ежемесячник. В 1946—1961 гг. редакторами *Г* были Е. Романов и Л. Ржевский, первый из них позднее в течение многих лет был председателем исполнительного бюро НТС, второй — известный писатель (Нью-Йорк). С 1962 по 1982 год бессменным главным редактором *Г* была Наталья Борисовна Тарасова. В редколлегию при ней в разное время входили Е. Романов, Р. Редлих, Н. Рутыч, А. Неймирок, Л. Ржевский, Н. Росс, В. Чернявский, В. Бетаки, Е. Брейтбарт и постоянный ответственный секретарь Д. Мусина.

После ухода Н. Б. Тарасовой в монастырь журнал редактировали Р. Редлих и Н. Рутыч (1982—1983), Георгий Владимов (1984—1986), а с 1986 года главный редактор — Екатерина Брейтбарт.

Но мы тут рассмотрим журнал лишь за то двадцатилетие, с которым связано имя Н. Б. Тарасовой. До того журнал выходил не столь регулярно и имел несколько иной вид, а после — в течение двух лет (1982—1983) — он практически изменил профиль: в нем не было почти никакой прозы или поэзии, лишь публицистика и военно-исторические материалы. С 1984 года *Г* снова стали литературно-художественным журналом.

Именно в этом журнале впервые увидели свет такие произведения тогдашнего самиздата, как «Верный Руслан» Г. Владимова, «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича, главы из романа В. Гроссмана «За правое дело», «Девочки и дамочки» и «Рыжикан» В. Корнилова, «Прощание из ниоткуда» В. Максимова, «Фотограф Жора» Б. Окуджавы, «Крохотки» А. Солженицына, его же пьесы «Олень и шалашовка» и «Свеча на ветру», некоторые стихи И. Бродского, поэма П. Вегина «Над крышами», лирика Лии Владимировой, Елены Игнатовой, главы из фундаментального труда А. Авторханова «Происхождение партократии».

В *Г* же полностью перепечатывались самиздатовские журналы «Синтаксис» (составленный Александром Гинзбургом; не путать с журналом М. Розановой!), «Феникс» (составитель Юрий Галансков). В *Г* публиковался впервые «Крутой маршрут» Е. Гинзбург.

Именно эти первые публикации того, что сегодня стало классикой, и делают *Г* памятником литературы шестидесятых-семидесятых годов. Перечислим наиболее значительные публикации. Пьесы М. Булгакова «Блаженство», «Собачье сердце», «Верный Руслан» Г. Владимова, «Чонкин» В. Войновича, «Концерт для трубы с оркестром» А. Гладилина, инсценировки В. Максимова по Достоевскому для театра Ю. Любимова, рассказы вашингтонской писательницы А. Кторовой, отрывки из «Продолжения легенды» Анат. Кузнецова, романы В. Максимова, «Четвертая проза» О. Мандельштама, роман Р. Редлиха «Предатель», главы из «Гадких лебедей» А. и Б. Стругацких, рассказы и повести В. Тарсиса, рассказы В. Шаламова.

Из поэзии наиболее крупные публикации за двадцатилетие — стихи Г. Айги, Л. Алексеевой, В. Батшева, В. Бетаки, И. Бродского, Л. Владимировой, Н. Горбаневской, Георгия Иванова, В. Иверни, Дм. Кленовского, Н. Коржавина, Ник. Моршена, А. Неймирока, Ю. Стефанова, И. Чиннова, первые публикации песен А. Галича. В разделе «Очерки современности» наиболее интересны были «Рейс 265» Шалома Йосмана, «Русский хлеб» Е. Лобаса, «Площадь Маяковского» Вл. Осипова (с биографиями многих диссидентов в приложении) и «Только невозможное» О. Соханевича.

В отделе мемуаров — воспоминания В. Буниной-Муромцевой, Ю. Кроткова о семье Б. Пастернака, И. Шейна о С. Михоэлсе и другие.

Среди опубликованных документов — Письмо Сталину М. Булгакова, письма О. Мандельштама к К. Чуковскому, документы суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем, Письмо А. Солженицына IV съезду СП СССР.

В отделе критики — статьи В. Вейдле, В. Завалишина, Б. Вышеславцева, Н. Коржавина, Дм. Кленовского, Эм. Райса, Н. Тарасовой, К. Фотиева.

Философские статьи игумена Г. Эйкаловича «Исихазм», Учение о человеке св. Григория Паламы, С. Левицкого о Б. Расселе, Киреевском, Н. Лосском.

Исторические материалы и труды А. Авторханова, известного статистика проф. И. Курганова.

Статьи таких публицистов, как М. Джилас, Е. Варга, Г. Померанц, В. Поремский, О. Шик.

Среди документов публиковались в *Г* «Дело Пастернака», «Белая книга» (составленная А. Гинзбургом о деле А. Синявского и Ю. Даниэля), материалы суда над В. Буковским, Е. Кушевым и В. Делоне.

Г № 100 — особый выпуск, двойного объема. Открывается он стихами двенадцати поэтов, постоянных авторов журнала. В этом же юбилейном номере — большой роман Л. Ржевского «Две строчки времени», статьи Н. Лосского, глава из работы А. Авторханова «Загадка смерти Сталина».

Выпущено было также библиографическое приложение — содержание всех номеров журнала, с 1-го по 100-й. Позднее содержание номеров публиковалось в самом журнале, но нерегулярно — то за пять номеров, то за десять.

Последний номер под редакцией Н. Б. Тарасовой — 123-й — вышел в 1982 году. Сквозная нумерация — вообще характерна для русской зарубежной журналистики. Но этот номер был первым номером года. После чего начались, собственно говоря, совсем другие *Г*.

Василий Бетаки

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ХОЛОПОВ

Умер Георгий Константинович Холопов, писатель, бывший главный редактор «Звезды». Более 30 лет были связаны у Георгия Константиновича со «Звездой». Здесь в 1936 году была напечатана его первая повесть, в «Звезде» были опубликованы почти все его основные произведения.

Родился Г. К. Холопов в 1915 году в городе Шемаха в бедной армянской семье. Ребенком пережил ужасы геноцида, семья спаслась от погрома бегством в Астрахань. Потеряв отца, Г. К. Холопов рано остался единственным кормильцем семьи, помощником безногой матери. Работая докером, закончил среднюю школу.

С 1931 года Г. К. Холопов жил в Ленинграде. До войны работал на заводе им. К. Маркса, учился на вечернем отделении Литературного института им. А. М. Горького, совмещая это с обязанностями спецкора в «Крестьянской газете».

С первого до последнего дня войны был фронтовым журналистом.

Главные романы Георгия Константиновича — «Огни в бухте», «Грозный год», «Гренада», «Докер». За сборник повестей и рассказов «Иванов день» он удостоен Государственной премии им. А. М. Горького.

В годы безвременья, когда литературе приходилось трудно, «Звезда» под руководством Г. К. Холопова оставалась одним из самых интеллигентных журналов. Вениамин Каверин, Юрий Тынянов, Борис Бурсов, Михаил Дудин, Василий Шукшин (когда его не печатал даже «Новый мир»), Глеб Горбовский, Станислав Лем, Вера Панова, Анастасия Цветаева, Ирина Одоевцева, Даниил Гранин, Юрий Герман, Виктор Конецкий, Андрей Битов, Вадим Шефнер и многие другие — вот авторы «Звезды».

Георгий Константинович страстно любил свое дело и отдал ему всю жизнь.

Светлая память о Г. К. Холопове останется в наших сердцах.

Редколлегия и редакционный коллектив журнала «Звезда»

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

КРИТИКА

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

КНИЖНЫЙ УГОЛ